Игорь Волгин

Игорь Волгин

Собрание сочинений

Родиться в России

Пропавший заговор

Ничей современник

Странные сближенья

Последний год Достоевского

Екатерининский канал

Круговая порука

Homo poeticus

Игорь Волгин

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОСТОЕВСКОГО

(ИЗ ПЯТИ КНИГ)

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
2023

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
В 67

Издано при финансовой поддержке
Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации

Волгин И.Л.

В 67 Круговая порука. Жизнь и смерть Достоевского (из пяти книг). — М.: «Издательство Культура», 2023. — 870 с.

ISBN 978-5-902768-05-0

Игорь Волгин — историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведённые на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе.

Настоящее издание является своего рода путеводителем по нескольким фундаментальным работам автора. Основанная на многих неизвестных или малоизученных обстоятельствах, эта книга позволяет представить жизнь и смерть Достоевского как непреходящую национальную драму.

УДК 929 Достоевский (075.8)
ББК 83.3 (2Рос=Рус) 1я7

© Волгин И.Л., 2023
© Оригинал-макет, оформление.
«Издательство Культура», 2023

ISBN 978-5-902768-05-0

От автора

Приходилось — уже не раз — толковать о том, что жизнь писателя сценарна. И в конце нередко срабатывает тайная мысль сценария.

В жизни и смерти Достоевского подобная закономерность явлена с особою силой.

Биография автора «Братьев Карамазовых» исключительна и обыденна одновременно. Она неповторима по сокрытым в ней творческим взлётам, по духовным напряжениям и неожиданным катастрофам, по внутреннему смыслу происходящего. С другой стороны, это обычное человеческое существование — с его радостями и горестями, с будничным, порой утомительным бытом, с повседневными заботами о хлебе насущном... В «случае Достоевского» всё это неделимо. Ибо большинство событий его удивительной жизни пребывают в некой тайной связи.

Иными словами, их объединяет ***круговая порука***.

Так называется книга, которая ныне предлагается вниманию читателей. В неё вошли фрагменты из пяти ранее изданных книг: хотелось бы верить, что этот выбор также обнимается приведённым выше названием.

Следует уточнить замысел.

В настоящее время из намеченного к выходу авторского семитомника издано шесть томов. Один из них — «Homo poeticus. Стихи и о стихах» (2021), как явствует из его именования, претендует на лирическое высказывание — «о времени и о себе». Седьмой том «Екатерининский канал. Достоевский: свидетель цареубийства» готовится к печати. Остальные пять книг («Родиться в России», «Пропавший заговор», «Ничей современник», «Странные сближенья», «Последний год Достоевского») в большинстве случаев объединённые общим замыслом и общим героем, выборочно представлены в настоящем издании.

Разумеется, здесь присутствуют далеко не все сюжеты этих повествований. Автор понимает рискованность такого подхода. Однако его утешает мысль, что просвещённый читатель захочет

обратиться к полной версии названных книг. И это несомненно будет правильное решение.

Из громадного мира Достоевского здесь выбраны по преимуществу моменты, до последнего времени малоисследованные или неизвестные вовсе. Опущены литературоведческая аналитика, интерпретация отдельных произведений, разбор многих философских и политических коллизий, т. е. то, что в значительной мере присутствует в отдельных изданиях. Акцент сделан главным образом на историко-биографических и психологических аспектах, на скрытых обстоятельствах семейной и личной жизни.

Возможные в иных случаях цитатные и содержательные повторы обусловлены внутренним единством текста*.

«Пушкин, — говорит Достоевский, — умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Эти слова можно отнести и к самому автору Пушкинской речи. Но вряд ли эту загадку нам удастся разгадать до конца.

* В предлагаемой версии книг «Родиться в России» и «Пропавший заговор» некоторые цитаты не имеют библиографических ссылок: в полном издании эти ссылки присутствуют в документальной части.

Из книги:

РОДИТЬСЯ В РОССИИ

Родиться в России. Достоевский: начало начал
М., 2018. Академический проект. 749 с.

Книга состоит из четырёх частей, 38 глав и приложения. Каждая часть снабжена фундаментальным блоком подлинных исторических документов: архивными материалами, мемуарными источниками, письмами, дневниками, свидетельствами прессы и т. д. и т. п.

Исследуется родословие Достоевского, скрытые обстоятельства его детства и юности, ранние потрясения, смерть отца... Воссоздаётся история ошеломляющего литературного дебюта автора «Бедных людей», драматические отношения с современниками.

Представленные в настоящем издании ***выбранные места*** позволяют получить представление как о главных сюжетах книги, так и об её уникальном творческом характере.

От автора

Рекомендуя английским читателям письма Кромвеля, опубликованные историком Карлейлем, Честертон писал: «Только, прежде чем их читать, заклейте поаккуратней всё, что писал Карлейль. Вычеркните из каждой книги всю критику, все комментарии. Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые о мёртвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди»*.

Для жаждущего любое даяние — благо. Но ни с чем не сравнима радость — припасть к источнику.

Эту потребность в своё время осознал В.В. Вересаев, создав документальные повествования («Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни»), которые захватывают тем сильнее, чем глубже иллюзия авторского невмешательства. Будучи воскресителем времени, вырванного им из неполного бытия (ибо единичный, прозябающий на отшибе исторический факт бесконечно одинок), автор делает вид, что безучастно присутствует на очной ставке свидетелей. Но кто же тогда задаёт наводящие вопросы?

Вересаевский Пушкин выступает прежде всего в качестве частного человека. Подобный ракурс сказался в самом названии (писатель — «в жизни»): оно подразумевает полемику с академическим литературоведением. Автор посягнул на традицию, предпочитавшую рассматривать писателя в рамках «истории литературы». И сделал это, не унизив героя.

Однако чем больше эмпирических знаний, тем заметнее отсутствие целостных постижений. Становится очевидным, что нельзя разъять художника (тем более такого, как Достоевский: впервые произносимое имя для защиты от сглаза уместнее придержать в скобках) на «писателя» и «человека» и что понятием «жизнь» обнимаются все без исключения её ипостаси.

Достоевский оставил нам лучшее, что имел: им сотворённый мир. Неужели мало этого бессмертного дара? Для чего сквозь разделившее

---

* *Честертон Г.К.* Пять эссе // Прометей. 1967. Вып. 2. С. 299.

нас пространство тщимся мы различить смертный человеческий лик?

Если творец «Преступления и наказания» обладает «самой замечательной биографией, вероятно, во всей мировой литературе»* (утверждение, которое трудно оспорить), то одно это обстоятельство оправдывает наш — как сугубо «учёный», так и заботливо от него отмежёванный «обывательский» — интерес (неясно, правда, кто размечал межу).

Но дело ещё и в том, что Достоевский — это мы.

Нам — как роду человеческому — необходимо знать: не посрамил ли нашего имени один из нас — тот, кому было много дано и кто, по общему мнению, составляет соль земли. Сохранил ли он лицо — в радости и в печали, в сиянии славы и под ударами рока, в минуту общественных ликований и в годину гражданских смут? Мы желаем понять, как одолевал он сопротивление жизни и истории, чтобы совпасть с ними в их вечном созидательном деле.

Сказано: познай самого себя. Не потому ли нам так важен Достоевский: не только история текстов, но — больше — история души.

Страшась литературного одиночества, мы заранее озаботились тем, чтобы обзавестись компаньоном: ссылка на авторитеты ещё никому не вредила. Так возник тот, кто был почтительно наречён *Чувствительным Биографом* (далее иногда именуемым Ч. Б.). Легко догадаться, что указанный персонаж — лицо в высшей степени собирательное. За подлинность приводимых цитат мы, однако, ручаемся головой.

Остается последнее. Возможна ли вообще *биография* — человека, страны, эпохи? Может быть, прошлое невосстановимо, и, вызывая оттуда духов (чтобы, как водится, вопросить их о будущем), мы только обманываем самих себя?

Как замечает (в предисловии к «Братьям Карамазовым») наш герой: «Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения».

Он, разумеется, шутит.

---

* *Гроссман Л.П.* Достоевский на жизненном пути. М., 1928. Вып. 1. С. 5.

Из главы 2

БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ

Отцы и дети

О родителях Достоевский говорит глухо и непространно.

Все воспоминатели сходятся на том, что он с благоговением отзывался о матери и избегал касаться отца. Подразумеваются *разговоры*. Что же до его собственных письменных свидетельств, кажется странным, что отца и мать он упоминает, как правило, *вместе* («родители») и за одним-двумя исключениями предпочитает не давать им характеристик*.

Остановимся на исключениях.

В письме к Михаилу Михайловичу от 31 октября 1838 г., сообщив о том, что присланное братом стихотворение «Видение матери» «выжало несколько слёз из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний», Достоевский продолжает: «...я не понимаю, в какой странный абрис облёк ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен. Но зато стихи хороши, хотя в одном есть промах».

Эти тонкие филологические соображения могли бы изумить своей надмирной холодностью, если бы не был известен текст: сочинение Михаила Михайловича не отличается большими поэтическими достоинствами. Однако не только поэтому его корреспондент столь сдержан: он говорит *о литературе*, в силу душевного целомудрия избегая касаться остального...

«Ежели будет у тебя дочка, то назови Марией», — напишет он брату в 1843 г.

Мария Фёдоровна была моложе Пушкина на один год и пережила его на один месяц. Его гибель, совпавшая с их семейным несчастьем,

---

* Речь идёт о прямых, внехудожественных суждениях. Отражение этой темы в художественной прозе — вопрос особый.

тоже воспринималась как личное горе («братья чуть с ума не сходили»).

Смерть матери означала конец семьи: у отца не было ни сил, ни душевных возможностей соединить вместе семерых детей в возрасте от 2 до 17 лет. Да и собственная его жизнь, по существу, завершилась.

В том же самом письме, где обсуждаются стихи о покойной матери, содержится единственная у Достоевского хоть сколько-нибудь подробная характеристика Михаила Андреевича (который в это время был ещё жив): «Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенёс он! Горько до слёз, что нечем его утешить. — А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нём 50 лет и остался при своём мненье о людях, какое он имел 30 лет назад. Счастливое неведенье».

Под «светом» здесь, конечно, разумеется не светское или полусветское общество, которое Михаил Андреевич действительно не знал, а общество вообще: человеческое общежитие, люди, мир — свет. «Папенька» отстал, он не искушён в жизни (если иметь в виду её сокровенный, лишь избранными постигаемый смысл) — то есть как раз в том, в чём литературно образованные братья мнили себя истинными знатоками. И нотка некоторого превосходства, которое позволяет себе 17-летний сын (за день до написания письма ему стукнуло именно столько), вполне уживается с искренней жалостью по отношению к «бедному отцу».

Из того, что Достоевский любил мать, необязательно следует, что к отцу он испытывал прямо противоположные чувства: версия, на которой с профессиональным удовлетворением настаивают фрейдисты. Так, проф. И. Нейфельд, указывая на «волкофобию» юного Достоевского («Мужик Марей»!), приходит к такому умозаключению: в деревне «мальчику не приходилось разделять материнскую нежность с другим конкурентом, которого он боялся; это подтверждает наше предположение, что боязливый крик “волк идет!” был в сущности страхом перед отцом, который может придти и нарушить эту идиллию летней жизни»*. У молодого Достоевского обнаруживают страстное, хотя и подсознательное желание скорейшей смерти одного из родителей в целях беспрепятственного овладения другим (эдипов комплекс), а также — тяжкие угрызения совести, когда эта заветная мечта наконец-то

* *Нейфельд И.* Достоевский. Психоаналитический этюд / Под ред. проф. З. Фрейда. Л., 1925. С. 20.

осуществилась — «в части, — как сказано у одного автора, — касавшейся отца».

(С этой точки зрения «Братья Карамазовы» трактуются как акт компенсации — запоздалого искупления легкомысленных детских грёз.)

С отцом действительно не было душевной близости. Но отсутствие таковой ещё не предполагает наличия уголовных намерений. Тем более рискованно приписывать Достоевскому подобные чувствования после кончины матери: ведь не спешил же он в самом деле — пусть даже бессознательно — остаться круглым сиротой. Не говоря уже о том (следует извиниться за столь *интересные* доводы), что гипотетическая смерть Михаила Андреевича не слишком улучшала материальное положение семьи.

Позднейшие умолчания об отце могут быть связаны с трагическими обстоятельствами его кончины: об этом ещё будет сказано ниже.

Для иллюстрации домашних антагонизмов ссылаются на свидетельства Андрея Михайловича — о том, как отец самолично преподавал старшим братьям латынь и как те страшились вспышек его гнева. Но ученический страх перед главой семейства вовсе не обязательно должен перерастать во взрослую неприязнь. Тем более что отцовский авторитет держался исключительно на моральных основаниях: детей никогда не пороли и не ставили в угол.

(Запомним: ни в отчем доме, ни в Инженерном училище Достоевский ни разу не вкусил прелестей розги. Что же касается каторги, то об этом тоже речь впереди.)

Наиболее резкие характеристики Михаила Андреевича восходят к дочери Достоевского, Любови Фёдоровне, которая родилась через тридцать лет после кончины своего деда. Будучи женщиной нервной и вообще довольно болезненной, она имела склонность приписывать свои недуги исключительно наследственным факторам: мрачный характер пращура служил ей некоторым оправданием.

В 20-е годы минувшего столетия племянник Достоевского Андрей Андреевич (сын Андрея Михайловича) сообщал М.В. Волоцкому: «В неправильной характеристике нашего деда Михаила Андреевича Любовь Фёдоровна, может быть, и не так повинна. Эта неправда про него пошла с нелёгкой, в данном случае, руки покойного проф. Ореста Фёдоровича Миллера. С его слов в течение многих лет разные исследователи без всяких других оснований увеличивали его недоб-

рую славу и она росла, как лавина, превратив его в какое-то исчадие человеческого рода»[*].

Однако первый биограф Достоевского О.Ф. Миллер нарочно ничего не придумывал. Его сведения восходят к семейному кругу самого Достоевского. Когда Андрей Андреевич раздражительно замечает о «каких-то преданиях, неизвестно откуда идущих»[**], он упускает из виду, что сами эти предания, если даже и допустить их принадлежность к биографическому фольклору, возросли на семейной почве.

К счастью, существует первоисточник, которому хотелось бы отдать предпочтение: переписка самих родителей.

Вера Степановна Нечаева в своих превосходных работах подробно прокомментировала эту семейную эпистолярию[***]. Соглашаясь с многими из её оценок, позволим некоторые параллельные отступления.

Какое чувство преобладает в письмах Михаила Андреевича? Это — ощущение враждебности окружающего его пространства. Ощущение, что им хотят пренебречь или его обмануть: от императора Николая Павловича, обошедшего его наградой, до прачки Василисы, подозреваемой в краже белья и присвоении сломанной серебряной ложки. Мало, крепостной человек Григорий обвинён в беззаконном распитии двух бутылок отправленной из Дарового наливки. Тень подозрения падает и на самоё Марию Фёдоровну — на сей раз в преступлении гораздо более капитальном: сокрытии имевшей место супружеской неверности.

Очередная беременность Марии Фёдоровны (по собственному её выражению, «седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей»), сопровождаемая изжогой, вызывает у супруга-медика сильные нравственные сомнения, которые он и выразит с максимальной деликатностью: «В прежних беременностях никогда оной (т. е. изжоги. — *И. В.*) не было». Конечно, это невинное замечание не вызвало бы столь бурной реакции, если бы предварительно не случилось описанного Андреем Михайловичем эпизода с «истерическим плачем».

Михаил Андреевич не только постоянно угнетён жизненным неблагополучием — безденежьем, неурожаем, плохой погодой, нерадением прислуги и, наконец, расстроенным здоровьем (болезненные припадки, хандра, трясение рук и головные боли), не только посто-

---

[*] *Волоцкой М.В.* Хроника рода Достоевского. М., 1933. С. 52.

[**] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930. С. 6.

[***] См.: *Нечаева В.С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939; Ранний Достоевский. 1821–1849. М., 1979.

янно страдает от всех этих напастей, но, кажется, и не очень-то желает выходить из подобных хронических обстоятельств. Он не устаёт на них жаловаться, но они — его естественная среда, они оправдывают его неистребимую мнительность, хотя, быть может, именно ею нередко и вызываются.

Порою кажется, что сам жалобщик находит в постигающих его бедах известное моральное удовлетворение.

Здесь самое время потолковать о наследственности: некоторые делают это с особенным удовольствием. Не будем умножать их число. И не потому, что те или иные черты Михаила Андреевича не отразились на душевной структуре его тоже в высшей степени мнительного и подверженного тяжёлым настроениям сына. Но дело в том, что сама эта душевная организация была иной: *там* господствовал иной дух, иные понятия, иная нравственная культура. Конечно, наследственность не исчезла (да и куда ей деваться?). Хотя сын и обладал качествами, как будто не совпадавшими с отцовскими, — такими, как щедрость, широта, исключительная отзывчивость на чужую боль, — несмотря на это, по ряду психических признаков он действительно напоминает отца. Однако отдельные наследственные свойства не оказались механически пересаженными на новую, равнодушно приемлющую их почву: они подверглись очень мощной личностной трансформации.

Было бы рискованно утверждать, что Достоевский сделался жертвой генетического детерминизма: его личность победила «биологию» или по меньшей мере не позволила ей диктовать свои условия.

Но вернёмся к Достоевскому-старшему.

Не существует серьёзных доказательств, позволяющих винить Михаила Андреевича (во всяком случае при жизни его жены) в хроническом алкоголизме, болезненной скупости или непомерном сластолюбии — то есть как раз в том, что, по мнению Любови Фёдоровны, свидетельствует о сходстве её деда с Фёдором Павловичем Карамазовым. И без этого сходства он был весьма далёк от идеала.

Почитая своим сыновним долгом преследовать неблагоприятные отзывы о родителе, Андрей Михайлович пишет: «Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюмым и подозрительным, то есть каким-то *букой*. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас и весёлым».

И опять-таки нет оснований не доверять столь авторитетному свидетельству, хотя свидетель — в данном случае лицо заинтересованное. И снова изображение двоится, одни образы наплывают на другие — то проглянет насупленный лик отца с «мефистофельскими

бровями», то его же расплывающееся в радушной («а подчас и весёлой») улыбке лицо.

Кстати, о веселье.

В одном из писем к супруге Михаил Андреевич подробнейшим образом описывает, как он тренировал («трессировал») няньку Алёну Фроловну: была надежда, что «сорокавёдерная бочка» победит в соревнованиях по обжорству. Няньке для возбуждения аппетита пускалась кровь, ей давалась глауберова соль, постное масло пополам с вином и многие другие неслабые средства. Возможно, эта «дикая бурсацкая затея» (как справедливо именует её позднейший комментатор) имела в глазах Михаила Андреевича важное учёное оправдание.

Кто действительно обладал неистощимым оптимизмом, так это маменька. Свойственная ей «весёлость природного характера» нередко (хотя и не всегда) умягчала ипохондрический нрав её супруга. Письма Марии Фёдоровны, свободно соединяющие в себе высокий литературный «штиль» и живую пластику разговорной речи (что выгодно контрастирует с вязким семинарским слогом её корреспондента), являют натуру искреннюю и жизнелюбивую. Ответное письмо мужу относительно его вздорных и неосновательных предположений исполнено оскорблённого чувства. Но при этом оно ещё деликатно, оно щадит адресата, оно написано искусным пером.

Действительно, послания Марии Фёдоровны обнаруживают не одну только искренность чувств. Уроки русской сентиментальной прозы не прошли для неё даром: «Наконец, мелькнула сия гибельная догадка, как стрелой пронзила и легла на сердце». Или: «...клянусь тебе, друг мой, самим Богом, небом и землёю, детьми моими и всем моим счастьем и жизнию моею, что никогда не была и не буду преступницей сердечной клятвы моей, данной тебе, другу милому, единственному моему перед святым алтарём в день нашего брака».

Так, пожалуй, могла бы писать и бедная Лиза.

Через много лет Достоевский в сугубо ироническом плане обыграет некогда избранную им с братом для материнского надгробия скорбно-оптимистическую строчку: «Покойся, милый прах, до радостного утра» (т. е. до конца света и всеобщего воскрешения). Этой эпитафией ёрник и шут Лебедев почтит свою якобы отстреленную в 1812 г. и погребённую на Ваганьковском кладбище ногу (по коей он ежегодно совершает церковные панихиды). Подобный поворот отнюдь не свидетельствует о кощунственных наклонностях автора «Идиота». Карамзинская строка понадобилась исключительно для

целей литературных. В этом смысле *воскрешение* старой надгробной надписи есть ещё и средство самопародии: усмешка над своим тогдашним жизне- (и *смерте*-) ощущением.

Но вернёмся к переписке. Отдадим должное той эпистолярной свободе, с которой её участники переходят от «низкой» житейской прозы (когда, скажем, горячо дебатируется вопрос, почему корова «не стельна») к предметам более возвышенного толка — например, к области супружеских чувств*.

Едва ли можно судить о стилистике семейных отношений Достоевских на основании одних только эпистолярных источников. «Чувствительная» часть писем — как бы очищенная, идеальная модель действительности. Оба корреспондента даже в конфликтной ситуации ни на минуту не забывают о существующей литературной норме. Они блюдут выработанный предыдущим столетием эпистолярный этикет.

Стоит, пожалуй, вспомнить написанные в те же 30-е годы изумительные по своему слогу и духу послания Пушкина к Наталье Николаевне. Конечно, о прямом сравнении не может быть и речи: несоизмеримы масштаб личности, воспитание, уровень культуры. Пушкин сам создаёт норму. Его письма поражают богатством эпистолярных интонаций — от назидательно-нежных до грубовато-фамильярных. Но главное, что Пушкин абсолютно свободен в проявлении собственной индивидуальности. То есть как раз в том, в чём родители Достоевского чувствуют себя несколько скованными и зависимыми от существующих литературных образцов.

Вместе с тем наложение разнородных стилей придаёт семейной переписке Достоевских неизъяснимую прелесть. Этот домашний диалог, в котором ревность, любовь, забота, подозрение и обида принуждены украшаться цветами условного красноречия и где обилие мелких и мельчайших подробностей теперь, по прошествии едва ли не двух веков, наводит на мысль о некоторой насмешливости бытия, — эта проза истинно поэтична.

Итак, в какой же нравственной атмосфере возрос будущий разрушитель семейного романа?

Трудно отдать безоговорочное предпочтение одной из биографических версий. Сгущение мрачных красок в семейно-исторических

---

* Заметим, что не только для «частного», но и для официального языка эпохи характерно сочетание сугубой откровенности и сентиментальной иносказательности. Так, Мариинская больница без обиняков именуется больницей для бедных, а, скажем, служащие в ней сиделки (рекрутируемые главным образом из Вдовьего дома) получают — согласно штатному расписанию! — элегическое обозначение «сердобольные вдовы».

экскурсах Любови Фёдоровны (рассчитанных к тому же на уже приуготованного к «русским ужасам» западного читателя*) вызывает понятный скептицизм. Но, очевидно, и полнокровное перо Андрея Михайловича, как любил выражаться его старший брат, *стушёвывает* отдельные детали.

Что же несомненно?

Несомненно, что мать и отец Достоевского искренне любили друг друга. Несомненно, что они были людьми порядочными. Бесспорно также и то, что интересы семьи составляли для них смысл жизни и что они чрезвычайно серьёзно подходили к своим родительским обязанностям — делали всё, чтобы дать детям наилучшее, с их точки зрения, воспитание и образование.

Много лет спустя Достоевский писал младшему брату, что их родители были одержимы идеей «стремления в *лучшие люди*» и следовали ей, «несмотря на все уклонения».

Может быть, именно это стремление он и имел в виду, когда незадолго до смерти высказал тому же корреспонденту следующую рискованную (и как бы рассчитанную на потенциальные возражения) мысль: «Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые... и в настоящую минуту они были бы передовыми!..»

Заметим, однако, что, горячо расхваливая идею, Достоевский ничего не говорит о способах её осуществления. А глухое упоминание «уклонений» заставляет внимательнее взглянуть на принятую Михаилом Андреевичем систему воспитания.

Всем в жизни обязанный самому себе, многое перенёсший, Достоевский-старший не желал, чтобы его детям пришлось пройти сквозь те же мытарства. Покинув родительский кров (не исключено, что наперекор отчей воле), он, очевидно, опасался повторения этого «сценария» во втором поколении. Он хотел, чтобы его собственные дети не только безоговорочно признавали его родительский авторитет, но и полагали последний тем краеугольным камнем, на котором зиждется вся иерархия — религия, общество, государство, весь мировой порядок. Его сыновья должны были естественно и, главное, безболезненно вписаться в существующие социальные координаты, использовав наработанный ещё в детстве капитал.

Именно таковым нарушением могли выглядеть в его глазах прискорбные события 1825 г. и другие отступления от заведённого по-

* Воспоминания Любови Фёдоровны были написаны в начале 20-х годов на французском языке. Первый русский перевод (неполный) сделан с немецкого издания. Ныне вышел первый перевод с французского. *Достоевская Л.Ф.* Мой отец Фёдор Достоевский. М., 2017. В настоящей книге мы ссылаемся на оба издания.

рядка вещей. Бывший военный лекарь отлично понимал, что залогом жизненного успеха является дисциплина и что уважение к главе семейства есть первая ступень законопослушания. Его сыновья должны были выдержать социальную конкуренцию и выйти в люди. Весь педагогический процесс был подчинён этой великой цели.

У Достоевского имелись основания говорить о «безотрадной обстановке» своего детства. Но не забудем и его слов о высшей идее, которой были одержимы родители. Суровость воспитания позволила не только легче пережить переход из-под родительского крова в закрытое военно-учебное заведение. Именно в семье были заложены те понятия, которые, надо полагать, не остались для него бесполезными: добра и зла, благородства и чести, порядочности и долга. Жестокость требований, предъявляемых к детям, не помешала бурному развитию воображения, а прикосновение к источникам культуры дало первотолчок тому духовному движению, которое уже не могло остановиться никогда.

Может быть, счастье Михаила Андреевича, что он не дожил до того дня, когда его второй сын, взойдя на эшафот, продемонстрирует непредсказуемые эффекты отцовской педагогики: он не перенёс бы подобного удара.

Что мог думать сын — об отце?

На процессе Мити Карамазова не чуждый новейших веяний адвокат Фетюкович обращается к заполнившей судебную залу публике со следующими прочувствованными словами: «...пусть сын станет перед отцом своим и осмысленно спросит его самого: “Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?” — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, то вот и настоящая нормальная семья... В противном случае, если не докажет отец, — конец тотчас же этой семье; он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим».

Тончайшая авторская ирония пронизывает эту чужую прямую речь.

Ибо отцов не выбирают.

В 1857 г. в письме к Врангелю, касаясь его недоразумений с отцом, Достоевский скажет, что «знал в жизни... точно такие же отношения». И добавит: «Его тоже нужно понять...»

Последняя фраза звучит как рефрен той, давней: «Мне жаль бедного отца!» Именно к этому слову — *жалость* (жаление, со-жаление) обращается Достоевский, говоря об отце, — к слову, которое в русском просторечье имеет ещё один смысл...

В детстве у него как будто не было оснований посягать на отцовский авторитет. Но в 15–16 лет он мог ощущать некий душевный разлад: внушаемые ему с детства представления колебались под напором «высокого и прекрасного». «Домашние» и «мировые» идеалы вступали в извечное противоборство.

Как уловить момент, когда главные его интересы (или, как сейчас сказали бы, — приоритеты) выделяются из семейного круга? Когда перешёл он этот рубеж, когда захватил его собственный личный *Sturm und Drang**?

Источники хранят на сей счет абсолютное молчание.

В конце жизни он вспоминал, что это началось «ещё с 16-ти, может быть, лет», а ещё точнее: «когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду». Детство кончилось: он впервые задумался о будущем, о призвании, о том, зачем явился на этот свет. «...В душе моей был своего рода огонь, в который я и верил, а там, что из этого выйдет, меня не очень заботило...»

Ещё совсем недавно мы наблюдали ребёнка — живого, отзывчивого на все впечатления бытия, самозабвенно предающегося весёлой игре. Теперь, в пансионе Чермака, «это был сериозный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом». Он берёт под защиту своего младшего товарища (Каченовский младше Достоевского на пять лет); в нём самом не осталось ничего от былого инфантилизма. Недавнего предводителя «диких», его не занимают ныне шумные игры — он предпочитает более умеренные удовольствия.

Очевидно, именно в эти годы у Достоевского вырабатывается та глубокая внутренняя сосредоточенность и самоуглублённость, которая со стороны могла представляться замкнутостью или даже нелюдимостью.

В набросках к неосуществлённому «Житию великого грешника» сказано: «Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, овладела им ещё в детстве». Случайно ли мысль о собственной необыкновенности названа «опасной»?

Среди всех мыслимых вариантов один пример был особенно зрим, ослепителен и недавен. Он являл собой как бы квинтэссенцию земной человеческой славы.

В год, когда Достоевский вышел из пансиона Чермака и готовился к новой неведомой жизни, Россия отмечала 25-летие Отечественной войны 1812 г.

---

* Буря и натиск (*нем.*).

Развенчанная тень

Девять лет отделяют рождение Достоевского от недавних мировых событий. И всего полгода от смерти их главного виновника и героя.

Он родился в октябре 1821-го. В мае того же года на острове Святой Елены «угас» Наполеон.

«Мир был наполнен этим именем, — говорит князю Мышкину генерал Иволгин, — я, так сказать, с молоком всосал».

Детские годы Достоевского озарены отблеском великого московского пожара. Его окружают живые *воспоминатели* — свидетели, жертвы и очевидцы. Он жадно впитывает их рассказы; он бродит по саду, где слышатся голоса французских солдат; он видит дома, встающие на пепелище. Вещественный мир духовен: он полон знаков, намёков и тайн.

В отличие от ревности к грядущему, ревность к прошедшему не губительна для настоящего...

Могут ли мальчики не играть в войну? Особенно — в войну недавнюю, следы которой ещё не изгладились — ни в памяти, ни в душе? Ребёнок ближе к *до*жизни: у него просто нет иных воспоминаний.

Его не было *в той* Москве: для мечтателя это дело поправимое.

Рассказ генерала Иволгина о его камер-пажестве у Наполеона — первая историческая «поэма» Достоевского. (Второй (и последней) станет Легенда о великом инквизиторе.)

Следует задуматься о литературных истоках. Насколько самобытен сей плод (своего рода Легенда о великом императоре!), взращённый в чудном генеральском саду?

Вспомним, что юный Достоевский — усердный читатель Вальтера Скотта. Он начинает читать великого шотландца примерно в том возрасте, в каком будущий генерал Иволгин удостаивается дружбы завоевателя Москвы.

Прямого влияния Вальтера Скотта на Достоевского как будто не наблюдается: слишком различны их художественные миры. Между тем «наполеоновская» новелла в «Идиоте» — вальтер-скоттовская по всем статьям.

Наполеоновская тема занимает Достоевского с раннего детства до конца его дней.

Можно сказать, все девятнадцатое столетие пронизано отзвуками наполеоновского мифа. Наполеон — человек века: он потряс вообра-

жение нескольких поколений. К нему — к его славе и судьбе, к его взлёту и падению прикованы взоры.

Достоевский впервые упоминает императора французов в контексте, не имеющем прямого отношения к деятельности названного лица. Наполеон является здесь не в своём конкретном историческом обличье, а в, казалось бы, совершенно проходном вербальном смысле. У господина Прохарчина, героя одноимённого рассказа, сурово вопрошают: «...Для вас свет, что ли, сделан, Наполеон вы, что ли, какой», давая тем самым ему понять неуместность его амбиций*. Комическая пара «Прохарчин — Наполеон» вполне случайна. До появления другого тандема «Наполеон — Раскольников» ещё далеко. Случайна и речевая ситуация, однако мысль, что свет «сделан» *для Наполеона*, выражена достаточно ясно.

Отсюда не так уж далеко до основополагающего тезиса подпольного парадоксалиста «свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить»: взглянувший в *такое* зеркало «классический» Наполеон должен был бы устыдиться.

«...Почерк — моё единственное сходство с Наполеоном...» — говорит Достоевский в одном письме.

В отличие от Достоевского, князь К. из «Дядюшкиного сна» полагает, что он походит на Наполеона и внешне: это в его глазах составляет известный нравственный капитал.

«— Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарте похож... а в профиль будто я разительно похож на одного старинного папу? Как ты находишь, мой милый, похож я на па-пу?

— Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.

— Ну да, это *en-face*. Я, впрочем, и сам то же думаю, мой милый».

Так рушится «образ врага», замещённый если не дружеским шаржем, то довольно игривым литературным портретом. Князь К., прибегая к Наполеону, желал бы подчеркнуть в себе «оттенок благородства» — тайную санкцию на замышляемое им дело. Но и «сам Наполеон», сопряжённый с князем К., обретает оттенок комического величия.

---

* Ср. у М. Булгакова («Мастер и Маргарита»): «Никанор Иванович... совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз в день произносил фразы вроде: “А за квартиру Пушкин платить будет?” или “Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?”, “Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?”». В отличие от «более узкого» Наполеона, Пушкин абсолютный универсальный заместитель всех тех, кто не выполняет своих функций или выполняет их недолжным образом. Не в этой ли связи замечено Аполлоном Григорьевым: «Пушкин наше всё»?

Сравнение с Наполеоном у Достоевского всегда усмешливо. Назвать кого-то Наполеоном — значит сыграть на понижение. С Наполеоном сравниваются (или — сравнивают себя) такие жалкие существа, как уже упомянутый господин Прохарчин, впавший в *детство* князь К., умирающий от чахотки Ипполит («Идиот»). Даже косвенное уподобление возникает в минуту величайшего унижения героя («Записки из подполья»), когда, застигнутый врасплох, в драном халате, он из последних сил старается сохранить лицо: «Я ждал минуты три, стоя перед ним (слугой. — *И. В.*), с сложенными a la Napoleon руками». Эта «позицья» — последняя линия обороны подпольного парадоксалиста, переживающего своё Ватерлоо.

В «Дядюшкином сне», наряду с князем К.*, сравнения с великим человеком удостоена дама.

Марью Александровну Москалёву «сравнивали даже, в некотором отношении, с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку её враги, более для карикатуры, чем для истины». В действительности же император французов и в подмётки не годится почтеннейшей Марье Александровне: «у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко», а «у Марьи Александровны никогда и ни в коем случае не закружится голова, и она останется первой дамой в Мордасове».

«Люди верят только Славе, — говорит Пушкин, — и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою».

Мечтает ли 16-летний Достоевский о славе? Или ему достаточно сознания, что он — «человек необыкновенный»?

Смерть матери, гибель Пушкина, близкое уже расставание с домом — все эти события обрушиваются на него в первые месяцы 1837 г.

---

* В том же «Дядюшкином сне», кстати, содержится первая «притча» Достоевского о Наполеоне — если второй считать рассказ генерала Иволгина. Обе фантасмагории вложены в уста претендующих на особое уважение стариков. Между тем и генеральский рассказ, и рассуждения князя К. о том, как он поступил бы с пленённым Наполеоном, — всё это чисто детские грёзы. Князь К. говорит, что с «Бонапарте» обращались бы «отечески», его бы потчевали пирожками, ему бы дозволялись прогулки — «разумеется, под присмотром», а также невинные «развлечения» в виде театра и т. п. Можно подумать, что это маленького Иволгина назначили «начальником режима»! «Остранение» ситуации (Наполеон — вроде приручённого злого духа, с которым можно и поиграть в «необитаемый остров», и поделиться пирожками) присуще именно детскому сознанию. Любопытно, что льготы, предназначаемые Наполеону князем К. (театр, прогулки под присмотром и т. п.), довольно точно воспроизводят «развлекательные» реалии авторского детства.

У него вдруг пропадает голос — и нет рядом мужика Марея, который бы смог коснуться его онемелых губ.

(Что означает это изъятие *дара речи*: не весть ли о том, что служение начинается с поста?)

Он едет в Петербург — поступать в Инженерное училище — в самый разгар захватившей его духовной работы. Ему ещё нет 16; он читает Жорж Санд и грезит Италией; он полон надежд и смутных предчувствий.

По дороге он наблюдает сцену: фельдфебель лупит по шее мужика-возницу. Впечатление глубоко врежется в сердце и отзовётся через много лет; пока же он сочиняет «роман из венецианской жизни».

Между тем возок подкатывает к столице — и в белёсом тумане уже различим шпиль Петропавловской крепости.

Из главы 3

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Портрет второгодника

Что происходит с нашим героем осенью и зимой 1838-го, весной 1839-го? Никогда прежде мы не задумывались над этим. Может быть, именно здесь — точка перелома? Избегая сакральной формулы «духовный переворот», выразимся скромнее: с героем происходит *нечто*.

Меняются его письма: их дух, содержание, тональность. Если раньше в них господствовал своего рода биографический фатализм (безграничное упование на волю Божью, что щедро отражено в словаре), то теперь этот *предмет* практически изъят из употребления. Автор Нагорной проповеди, как помним, сравнивается с Гомером, автор Пятикнижия — с Шекспиром. Меняется стиль мышления: все ценности становятся эстетически измеримы. Литература оказывается столь же универсальной, как само бытие. Бог и человек обретаются в ней почти на равных.

Из писем к отцу исчезают все рассуждения на «отвлечённую» тему — тот «отстал» окончательно. Зато в письмах к брату «идейная» часть возрастает.

Эту зиму он тесно общается с Шидловским. Но, может быть, следует назвать ещё одно имя. Хотя он упоминает его только единожды («к чему мне сделаться Паскалем или Остроградским»).

Тёзка Ломоносова, Михаил Васильевич Остроградский, — первый встреченный им в жизни гений (он встретит их, надо сказать, не так уж много). Остроградский преподавал математику — и о том, как он её преподавал, ходили легенды. Его знали в Европе. «Каково идёт учёность?» — осведомлялся при встрече государь Николай Павлович. «Очень хорошо, Ваше Императорское Величество», — отвечал Остроградский.

«...Не терплю математики», — признаётся Достоевский, может быть, поражённый тем, чего достиг в этом деле его гениальный учитель и чего ему самому никогда не достичь. Но наставник и не призывал к подражанию. Его заботит другое.

И в лекциях, и в печатных трудах академик не устаёт повторять: надо быть первым в *своём* деле.

Достоевский желает быть первым.

Но пока он оставлен на второй год.

Последнее происшествие, при известии о котором папеньку чуть было не хватил удар (а пожалуй что и хватил), произвело не меньшее впечатление и на самого потерпевшего: с ним, по его словам, «сделалось дурно». Это немудрено: здесь жестоко страдало самолюбие и — уже не впервой — оскорблённое чувство справедливости. Помимо прочего, неперевод в следующий класс открывал добавочную статью родительских расходов.

«Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их ещё очень много», — бодро сообщают братья летом 1837 г., в первые месяцы своего столичного житья. Кажется, это единственный случай: более они никогда не решатся на столь легкомысленные заявления.

Почти все письма Достоевского к Михаилу Андреевичу полны просьб о денежном вспомоществовании. Почтительный сын, он никогда не просит денег просто так — аккордно и неподотчётно, он самым подробнейшим образом исчисляет свои — в большинстве своём крайние — нужды. Так, извещая Достоевского-старшего, что решительно все его новые товарищи обзавелись собственными киверами, он тонко даёт понять неизбежность и для себя этих чрезвычайных трат. Дело, оказывается, отнюдь не в стремлении не отстать от прочих, а главным образом в том, что старый его кивер «мог бы броситься в глаза царю».

Подобные аргументы, долженствующие, по мысли автора, продемонстрировать его непосредственную близость к источнику власти (и произвести тем самым неотразимое действие на законопослушного родителя), эти *государственные* мотивы сменяются со временем доводами более прозаическими: «...я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери, потому что туда надо запасаться этим».

О возможном неудовольствии монарха по поводу не совсем исправных сапог на сей раз умалчивается.

Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна утверждает, что её дед «владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям», а посему будущего автора «Преступления и наказания» глубоко возмущали те лишения и унижения, которым его «подвергала скупость отца».

Любовь Фёдоровна по обыкновению несколько преувеличивает: мы знаем, что «именье» не приносило почти никакого дохода, а приданым для дочерей пришлось озаботиться всё тем же Куманиным. Сам Достоевский ни разу — ни прямо, ни косвенно — не попрекает отца за прижимистость. Наоборот, он всячески пытается войти в его положение. «Боже мой! Долго ли я ещё буду брать у Вас последнее... Знаю, что мы бедны». Он говорит, что, если бы он обретался «на воле», он бы не требовал от отца ни копейки: «...я обжился бы с железною нуждою».

Отметим в скобках энергическую точность эпитета.

Те материальные и сопряжённые с ними нравственные стеснения, о которых он повествует в письмах к отцу и брату, отнюдь не досужий плод его юношеских фантазий. Он действительно принуждён отказываться от многих благ, которыми походя пользуются его более обеспеченные соученики. Уместно всё же предположить, что воспитанники одного из самых престижных военно-учебных заведений с голоду не пухли...

Здесь, пожалуй, впервые явила себя одна из характернейших его черт. Он всегда был склонен драматизировать свои обстоятельства.

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, обитавший в том же полевом лагере, что и Достоевский, свидетельствует: ему самому на все лагерные надобности хватало десяти рублей. А поскольку казённый чай давали утром и вечером, он вполне обходился без своего чая.

На этом сюжете мы обещали остановиться подробней.

Испрашивая у отца необходимые ему сорок рублей, Достоевский настоятельно подчёркивает, что он не включает в эту сумму расходы на чай и сахар. При этом даётся понять, что чай — не роскошь, а средство существования, ибо в условиях лагерного житья отсутствие этого ободряющего напитка влечёт невосполнимый ущерб здоровью. Но — тут следует самое патетическое место: «Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».

Такое самоотвержение призвано было до глубины потрясти душу чадолюбивого родителя. Что, собственно, и входило в авторский замысел. Благородный отказ от предмета первой необходимости (только в силу бесконечной сыновней покорности трактуемого как

баловство: «Что же, не пив чаю, не умрёшь с голода»), эта добровольно приносимая жертва оборачивалась немым укором. Уж если в уважении родительских нужд отказывают себе в таком невинном удовольствии, надо иметь воистину каменное жестокосердие, чтобы немедленно не удовлетворить все прочие пожелания бескорыстного просителя — хотя бы в вознаграждение за его стоический дух.

И тут, откуда ни возьмись, вновь возникает уже знакомый *павловский* мотив. «Однажды училище почтила Своим посещением... вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. Осведомясь о пище кондукторов, Ея Величество приказала дозволить им по вечерам пить чай, для чего и подарила училищу самовар. В то время во всех прочих военно-учебных заведениях чай положительно не допускался»[*].

В тоне официального историографа Училища, запечатлевшего этот замечательный, но, увы, пропущенный потомками факт, звучит законная гордость. Высочайше пожалованный чай — привилегия не менее почётная, чем отсутствие телесных наказаний. Поддержание доброй традиции в полевых условиях (уже на собственный счёт) становится делом чести.

Конечно, чай — только знак, символ нравственной независимости (Семёнов-Тян-Шанский замечает, что чаепитие носило скорее ритуальный характер — «чтобы не отстать от других товарищей»). И хотя нелепо (вслед за Страховым) отождествлять автора «Записок из подполья» с его героем, нельзя упускать из виду, что слова подпольного парадоксалиста («Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить») могли заключать в себе реминисцентную пародию: во-первых, некоторых реальных обстоятельств авторской юности[**], а во-вторых, той эпистолярной методики, которая использовалась в сношениях с отцом.

Молодой Достоевский решает вопрос в пользу «света»: впрочем, последнее даётся ему не без известных усилий.

...Михаил Андреевич ещё успеет отозваться на указанное письмо. Он изобразит картину надвинувшейся беды: чёрные выжженные

---

[*] *Максимовский М.С.* Исторический очерк развития Главного Инженерного училища. 1819–1869. СПб., 1879. 1-я пагин. С. 111.

[**] Кстати, фамилия одного из персонажей «Записок из подполья», школьного товарища героя, — Зверков (лицо, надо признать, малосимпатичное). В списках воспитанников Главного инженерного училища находим: Зверков Харлампий, в 1842 г. выпущен из кондукторского класса юнкером в 4-й Саперный батальон. (См.: *Максимовский М.С.* Указ. соч. 2-я пагин. С. 100).

поля, обнажённые для корма скоту крыши, безысходность, отчаяние и гибель. Он высылает просимую сыном сумму, уведомляя, что не скоро сможет возобновить присылки. И — как бы в усиление его слов — это даяние оказывается последним.

На что способен народ

Надо признать, что малоподвижная судебная машина действует хотя медленно, но последовательно, не обходя ни одного из возникающих обстоятельств и формально исполняя все требования закона. Уездный суд надёжно страхует себя от возможных обвинений в недобросовестности или попытках замять дело. При этом главная ответственность перелагается на земский суд.

Удивительно другое. В 1925 г. деревенские старожилы — с чужих, разумеется, слов — «вспоминают» подробности (во многом совпадающие, заметим, с теми, что приводятся в воспоминаниях Андрея Михайловича). Так, сквозь тьму времён доходит известие, что в момент покушения «навоз мужики возили». Эта устойчивая деталь, фигурирующая также и в официальных бумагах, как бы намекает на тайное равноправие обеих версий...

Допустим и «промежуточный» вариант: припадок и смерть, последовавшие в результате нападения.

Апоплексический удар под бесцветным, пустым, выжженным июньским небом столь же вероятен, как и зверское умерщвление опостылевшего и распутного помещика. Среди убийц находились и родственники 16-летней Катерины, которая незадолго до того прижила от барина вскоре умершее дитя. А само нападение, по некоторым сведениям, совершилось во дворе крестьянина Ефимова — двоюродного брата Катерины. «Убийство Михаила Андреевича, — замечает Нечаева, — ...имело особый характер (сдавливание гениталий. — *И. В.*), который может быть истолкован как месть за женщину». Надо думать, однако, что метод предполагал прежде всего неоставление улик. Иначе — если длить аналогию — вливание в барскую глотку бутылки спирта тоже может быть истолковано в сугубо символическом смысле...

Ч. Б., разумеется, не может проигнорировать такой сюжет. Его не удовлетворяет скупая информация Андрея Михайловича («Катя... была огонь-девчонка»), и он смелыми мазками дополняет картину: «рано развившаяся девочка с широкими бедрами и пышной грудью (вот, вот они, недостающие подробности, уличающие, но отчасти

и оправдывающие поздние мужские порывы Михаила Андреевича! — *И. В.*), так не соответствующими её тонкому, скорбному лицу и тихим, задумчивым глазам...» (само собой, с «задумчивыми глазами» более гармонировали бы узкие бедра). Оказывается, вовсе не маменьку ревновал несовершеннолетний Федюша, а пышногрудую горничную отца: какое, однако, посрамление для фрейдистов! Но и её настигает рок. «...Катерину вытащили из неумело прилаженной на сеновале петли», — горько заключает Ч. Б.: бестактно вопрошать подлинного художника, откуда он известился об этом не отражённом ни в одном источнике приключении...

Откуда, собственно, пошёл слух? Почему у Хотяинцевых возникли подозрения о насильственной смерти соседа? Лейбрехт, говорящий с их слов, утверждает, что «какая-то девка Г-на Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат её запрещал».

Какая такая «девка»? И какой такой «брат»?

Известно, что после появления первенца — незаконнорожденного сына Михаила Андреевича — Катерина была возвращена из господского дома в деревню, в семью своего двоюродного брата (она была сирота). Именно у него во дворе, по словам крестьян, совершилось убийство.

«Девка Г-на Достоевского» — очень похоже, что это всё та же Катерина. Она «слышала крик»: что пробудил он в её смятенной душе? В отличие от Ч. Б., загнавшего бедную самоубийцу на сеновал, у нас нет никаких оснований подозревать Катерину в чувствах, враждебных отцу её ребёнка. Мы бы даже рискнули предположить обратное, хотя сознаём, что такое допущение способно навлечь на нас упрёк в притуплении классового чутья. Молодая мать слышала смертный крик убиваемого. Несмотря на угрозы брата, она могла поведать об услышанном: например, крестьянам Хотяинцева или даже самим Хотяинцевым. Толки дошли до Лейбрехта... Ход делу был дан.

«Ищите женщину!» — радостно восклицаем мы, указуя на тайный движитель преступлений. Но не она ли (женщина) есть и вернейшее средство к разоблачению оных?

Достоевский, по свидетельству очевидцев, не любил говорить об отце. Это объясняют его неприязнью к покойному. Но не вернее ли предположить, что сыновняя сдержанность была вызвана и воспоминаниями о чудовищных подробностях отцовской кончины?

Незадолго до смерти автор «Мёртвого дома» скажет А.С. Суворину: «Вы не видели того, что я видел... вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».

Интересно, где именно мог наблюдать он эти проявления слепой и стихийной ярости? На каторге? Разумеется. Хотя там — не столько видел, сколько слышал («страшные истории» — непременная принадлежность каторжного фольклора). Не правильнее ли поэтому отнести его слова о народной ярости к собственному семейному опыту («видел» = «знал»)?

Независимо от того, как отвечаем мы на сакраментальный вопрос, «был ли убит отец Достоевского», трудно предположить, чтобы у самого писателя существовала на этот счёт точка зрения, отличная от семейной. В свою очередь, документы, призванные как будто поколебать уверенность в возможности криминального исхода, цели этой не вполне достигают. Оказывается, что слухи об убийстве отца не позднейшие домыслы, не навет, порождённый мстительным воображением потомков, — о преступлении догадывались современники событий.

Не исключено, правда, что именно «вмешательство» Лейбрехта явилось тем спусковым крючком, который запустил миф о насильственной гибели Михаила Андреевича. То есть как раз тщательное расследование (долгая нерешаемость дела, доследования, допросы крестьян и т. д. и т. п.) породило слухи о криминальной подоплёке события, а услужливая молва подхватила и раздула первоначальные пересуды, персонифицировав предполагаемых участников убийства. Историки в равной мере могут как благодарить дотошного ротмистра, так и ретроспективно журить его.

Но тут различим ещё один поворот темы.

Дом с привидениями

Долгие годы автор «Братьев Карамазовых» проводит в стенах Михайловского замка. Между тем стены эти хранят *государственную тайну*. Повествуя о пребывании Достоевского в училище, Савельев говорит, что будущий инженер хорошо изучил топографию замка. Думается, его не меньше интересовала история.

События той роковой ночи — с 11 на 12 марта 1801 г., — конечно же, принадлежали к числу самых захватывающих училищных преданий. Надо полагать, дошли и кое-какие детали. Спальня императора — та самая — не была доступна для обозрения, что, конечно, усугубляло её мрачную репутацию. Окровавленный призрак (как и положено

призракам) скитался по лестницам и переходам замка — порой не без помощи изобретательных «кадетов». Не для его ли успокоения основал позднее Александр II домовую церковь — на месте бывшей царской опочивальни?

Павловский мотив возникает вновь.

И отец Достоевского, и император Павел Петрович оказались умерщвлёнными *тайно*. И в том, и в другом случае официальная версия гласила, что они скончались скоропостижно. Совпадает даже диагноз: апоплексический удар. И тогда, и теперь (как можно предположить) медицинские заключения были фальсифицированы. В обоих случаях обстоятельства кончины не являлись секретом для окружающих, но о них не принято было говорить вслух. И, наконец, оба убиения сопровождались достаточно отвратительными подробностями.

«Бывают странные сближенья», — сказал Пушкин.

Разумеется, гвардейский заговор, имевший целью смену царствования, мало напоминает мужицкое возмущение (хотя в последнем случае тоже можно обнаружить элементы умысла или сговора). Скарятинский шарф и массивная золотая табакерка, послужившие орудиями убийства, конечно, несопоставимы с бутылкой спирта и прочими пособиями, употреблёнными для аналогичной цели. (И там, и здесь выдержан соответствующий социальный уровень, но наиболее чудовищная деталь в обоих случаях совпадает.) Проницательный обществовед мог бы добавить, что ни то, ни другое происшествие не повлекло за собой изменений самой системы. Однако последнее соображение вряд ли нам пригодится.

И тем не менее. Странное схождение разновременных и тайно аукающихся обстоятельств могло оставить глубокий след: не только в душе 17-летнего юноши, но и в его дальнейшей деятельности.

Речь идёт о «Братьях Карамазовых».

Брат Иван Фёдорович, желающий смерти отца и дающий молчаливую санкцию на убийство, отправляется в Чермашню (название вспомнилось как нельзя кстати). Этот шаг означает «*добро*»: Смердяков довершает дело.

Известно, что наследник престола цесаревич Александр Павлович (будущий император Александр I) был извещён заговорщиками заблаговременно. Он ждал; пребывая в одном из покоев Михайловского замка, он в ночь на 12 марта лёг спать *не раздеваясь*. Правда, он решительно потребовал от заговорщиков сохранить жизнь родителю: в русских условиях это было трудноисполнимо.

Молчаливое согласие сына на переворот могло означать только одно: смерть. Как и брат Иван Фёдорович, Александр *самоустранился*.

Рассказывают, что, ошибочно приняв одного из ворвавшихся к нему гвардейцев за кого-то из своих сыновей, Павел воскликнул: «И ваше высочество здесь?» (российский парафраз к античному — тоже *мартовскому* — «И ты, Брут...»). Многие в Европе расценили петербургские события как отцеубийство.

В «Братьях Карамазовых» — разумеется, в самом общем виде — различима та же нравственная схема. Император Александр и брат Иван Фёдорович сопоставимы по своим сюжетным функциям*.

5 августа 1841 г. он получает свой первый офицерский чин. Ещё через год — делается подпоручиком и переводится в верхний офицерский класс. Помимо прочих благ, это давало ещё одно неоценимое преимущество — свободу в выборе места жительства. Впервые он обрёл возможность жить как хотел.

Однако о том, *как* он жил, мы осведомлены сравнительно мало. Круг его знакомых ограничен. Немногочисленные воспоминания содержат довольно общую информацию о герое. Даже такой опытный мемуарист, как Григорович, живописует главным образом внешние подробности, не посягая на сокровенный мир своего приятеля и — некоторое время — соседа по квартире. То же можно сказать и о другом его знакомце (и тоже соседе) — докторе Ризенкампфе, чьи сетования по поводу расточительности его пациента не менее любопытны, чем профессиональные медицинские наблюдения.

Можно было бы обратиться к самому Достоевскому, но, увы, сделать это не так просто. Два письма (к брату) за весь 1841 г., одна пятистрочная записка за 1842-й, пять писем за 1843-й — вот все тексты, оставленные нам будущим сочинителем многостраничных романов и плодовитым невольником эпистолярного жанра.

...Практически ничего не ведая о ранних опытах Достоевского, можно попытаться по ряду косвенных признаков «вычислить» их художественный вектор. Конечно, «расчёты» эти сугубо условны — предпочтительнее поискать сам текст...

Но даже при отсутствии рукописей ясно одно. Тому триумфальному вступлению в литературу, которое и доныне возбуждает благо-

* Можно также допустить, что отчество Фёдора Павловича Карамазова есть своего рода отсылка всё к той же павловской теме. Тогда и совпадение имён автора и героя приобретает особый смысл. Фёдор ведёт своё происхождение (и как бы «отталкивается») от Павла. Круг замыкается самоистреблением ещё одного Павла — Смердякова.

родную зависть в талантах и графоманах (ночь, объятия, мгновенная и лёгкая слава), — всему этому *кино* предшествовала немалая литературная работа. Она осталась сокрытой от современников и потомков.

Он утаивает свои труды от постороннего взора почти так же ревностно, как и свои болезни, хотя постоянно мучается тем и другим.

Несколько более различимы контуры его холостого офицерского житья. Правда, и здесь обнаруживаются существенные пробелы.

У него нет знакомств в обществе; не вхож он пока и в литературный мир. Иногда он наезжает в Ревель, к брату, который недавно обзавёлся семейством, и эти испрашиваемые у начальства («для пользования тамошними ваннами») отлучки — единственные за двенадцать лет петербургской жизни перемещения его в географическом пространстве. Вплоть до того дня, когда судьба швырнёт его за тысячу вёрст от Петербурга — но уже на казённый счёт.

Он ведёт достаточно уединённое существование, и его удовольствия ограничиваются в основном посещением театров да истощающей его финансы бильярдной игрой. Иного, кажется, и не разглядеть: годы эти как бы теряются в бледном петербургском тумане...

«Замечал он и толпившихся у трактиров ярко нарумяненных и принаряженных женщин», — погрустнев, сообщает Ч.Б.: тут, однако, с ним не поспоришь. В развитие темы живописуется визит героя в известное заведение, где тот, само собой, знакомится с девушкой: «...сквозь густой слой пудры явственно проступало свежее, молодое лицо». (Мы рискнули бы добавить, что сквозь «слой пудры» проступает и нечто ещё, чрезвычайно знакомое. Наглядный урок начинающим авторам: желаешь правдиво изобразить личную жизнь писателя — не поленись полистать его книги!) И хотя «всё дальнейшее», естественно, «произошло как в тумане», герой с присущей ему социальной чуткостью догадывается, что состояние его *избранницы* «не имеет ничего общего с его состоянием, что ей нехорошо». Весьма возможно, снова добавим мы; зато как хорошо нам, читателям, не устающим поражаться бесстрашному психологизму автора и зрелой мужественности его наблюдений!

В письмах Достоевского конца 30 — начала 40-х годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определённым ударением. Ни одного увлечения, ни — хотя бы — намёка на влюблённость (разительный контраст с пушкинским или лермонтовским мироощущением). Мерной поступью минует он пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и при-

знаний. (Сочувственный отзыв о роковой и литературно облагороженной страсти Шидловского лишь подчёркивает его собственный индифферентизм в этом отношении.) Между тем его первая повесть явит глубокое знание женского сердца.

Личный опыт, безусловно, желателен, но не всегда необходим для художника.

Дочь Достоевского утверждает, что до сорока лет её отец жил «как святой» (*wie ein Heiliger*). Эта замечательная гипотеза столь же недоказуема, сколь и мрачные подозрения прямо противоположного толка (например, счастливая догадка уже упоминавшейся эссеистки, будто интересующий нас период был «необычайно бурен в половом отношении»[*]). Последнее умозаключение, пожалуй, и можно было бы подкрепить игривым намёком из письма к Михаилу Михайловичу (у Достоевского в это время гостит брат Андрюша): «Ничем нельзя ни заняться, ни развлечься — понимаешь», — однако эта братская откровенность вовсе не обязательно подразумевает то, что тщится различить наше ретроспективное любопытство. Ещё меньше оснований, как уже говорилось, числить за автором «Записок из подполья» тот специфический «подпольный» опыт, через который проходит его «уединённый» герой.

Изображение вновь расплывается и двоится, но это тот извинительный случай, когда, признаться, и не хотелось бы большей чёткости.

Упомянув об отсутствии у Достоевского чрезвычайных, связанных с интимными потребностями расходов, доктор Ризенкампф выказывает удивление, куда же он девал деньги: они у него никогда не задерживались. В свою очередь, отнюдь не широкая по натуре Любовь Фёдоровна полагает, что безмерное расточительство её отца было своеобразной формой борьбы с наследственной скупостью.

Почти все письма Достоевского наполнены просьбами о деньгах или предположениями о том, где бы их раздобыть. Он желает казаться оборотистым и тёртым; на самом деле — он беспечен, непрактичен и прост. Он постоянно жалуется на бедность, однако способен в один вечер спустить присланную опекуном и рассчитанную на довольно продолжительный срок сумму. Его собственный денщик почти от-

[*] *Кашина-Евреинова А.* Подполье гения. Сексуальные источники творчества Достоевского. Пг., 1923. С. 21. Автор этой завлекательной книжки, утверждая, что её «изыскания в области физиологической жизни Достоевского не ограничиваются геморроем», предвосхитила ряд позднейших суждений на ту же тему.

крыто обкрадывает его; он проигрывает последнее, делает долги и поминутно оказывается в затруднительном положении.

Он надеется поправить свои обстоятельства с помощью переводов. В письмах к старшему брату возникают захватывающие проекты будущих совместных изданий.

Но пока удаётся завершить только одну работу.

Рождественскими праздниками 1843 г. он до неправдоподобия быстро переводит «Евгению Гранде» Бальзака*. Перевод — разумеется, без имени переводчика — появляется в шестой и седьмой книжках «Репертуара и Пантеона» за 1844 г.

«Какой дурак это чертил?»

Худо-бедно первый гонорар (за «Евгению Гранде») был получен, и литературная карьера — пусть анонимно — начата. Сообщая московским родственникам, что младший брат «желает вполне предаться литературе», Михаил Михайлович успокоительно добавляет: «...до сих пор он работал только для денег, т. е. переводил для журналов («Отечественные записки», «Репертуар»), за что ему очень хорошо платили».

Современный комментатор говорил так: «Переводы Достоевского, помещавшиеся в “Отечественных записках” и “Репертуаре русского и пантеоне всех европейских театров”, полностью не выявлены»**.

Действительно, известна только «Евгения Гранде». Но в том же шестом номере «Репертуара и Пантеона», где печатался упомянутый роман, мы находим рассказ ещё одного французского автора, Эдуарда Лемоаня. Заманчиво атрибутировать перевод Достоевскому: впрочем, это отдельный вопрос. Пока же отметим название:

«СЛЕЗА РЕБЁНКА».

«Слезинка... слезинка очистила, открыла сердце моё!» — восклицает сентиментальный автор. Конечно, этот пассаж не имеет прямого отношения к грядущей беседе братьев — Ивана и Алёши Карамазовых. Но не тогда ли запала на ум великая формула?

Переводы, вопреки уверениям брата, не принесли ни денег, ни славы. Между тем первые были необходимы даже больше второй,

* Отметим ошибку (или описку) комментаторов Полного собрания сочинений Достоевского, отнёсших это событие к концу 1844 г. (Т. 1. С. 459).

** *Ланской Л.Р.* Достоевский в неизданной переписке современников // Литературное наследство. Т. 86. С. 366.

ибо росли долги. Достоевский решается на отчаянный шаг: изъявляет готовность отказаться от своей доли родительского наследства — всего за 1000 рублей серебром.

Последнее зависело исключительно от Петра Андреевича Карепина.

Пётр Андреевич, женившись на сестре Варе (жених был старше 18-летней невесты на каких-нибудь 26 лет), делается официальным опекуном осиротевшего семейства. Он жительствует в Москве, с завидной аккуратностью высылая братьям причитающиеся им части. Однако брат Фёдор неосновательно полагает, что ему выгоднее разом покончить с этой зависимостью.

Он требует свою тысячу и отказывается от всех прочих наследственных притязаний. Положительный Пётр Андреевич опасается, сомневается и жмётся.

Достоевский вдумчиво объясняет новоявленному родственнику, что спать под колоннадою Казанского собора нездорово, ибо от этого можно протянуть ноги. Он уведомляет, что имеет «величайшую надобность в платье», ибо зимы в Петербурге холодны, а осени — ненастны. «Наконец, нужно *есть*. Потому что *не есть* нездорово...» Он заявляет, что его терпение истощилось «и остаётся употребить все средства, данные мне законами и природою, чтобы меня услышали, и услышали обоими ушами».

Разумеется, такое исполненное сокрушительного сарказма послание больше, чем просто письмо. Оно отвечает всем требованиям искусства: нельзя не заметить, как за последние годы возмужало его перо.

Он аттестует свою переписку с Карепиным как «образец полемики». Но это ещё и *проба* (не менее важная, чем предпринятый им перевод Бальзака). Проба характера, умения настоять на своём и, главное, — изложить свои претензии литературно. Он мгновенно нащупывает у оппонента «комическую черту» — его высокомерное «озлобление на Шекспира» — и, как бы лично задетый, наносит ответный удар.

«Свинья Карепин», трактуя об «отвлечённой лени и неге шекспировских мечтаний», снисходительно вопрошает: «Что в них вещественного, кроме распалённого, раздутого, распухлого — преувеличенного, но пузырного образа?»

Уязвлённый, как уже было сказано, «Шекспиром», родственник немедленно лезет в бутылку: «...Вам не следовало бы так наивно выразить своё превосходство... шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от Вас Шекспиру. Бедный Шекспир!» И, всё ещё негодуя, в письме к брату вновь обрушивается

на московского опекуна: «Говорит, что Шекспир и мыльный пузырь всё равно... Ну к чему тут Шекспир?»

Думается, что Шекспир был «к чему».

Чуткий Карепин сразу уловил в письмах своего корреспондента их подчёркнутую литературность. И, очевидно, решил сыграть с ним в ту же игру.

Назидая пребывающего в петербургском отдалении «брата» (человека, как он догадывался, непростого), Пётр Андреевич решает блеснуть своей эрудицией и знанием европейских литератур. Очень похоже, что его сентенции относительно «пузырного образа» имеют совершенно конкретный литературный источник. А именно: Шекспир, «Макбет», акт 1, сцена 3.

Сравним:

> *(Ведьмы исчезают.)*
> БАНКО
> И на земле бывают пузыри,
> Как на водах, — вот нам пример. Куда
> оне исчезли?
>
> МАКБЕТ
> В воздух: что казалось
> Телесным, как дыханья пар от ветра,
> Пропало <...>.
>
> БАНКО
> Конечно, часто с умыслом лукавым
> Клевреты мрака говорят нам правду,
> Нас обольщают истиной в безделке.
> Чтоб погубить изменою в важнейшем[*].

Как видим, «мыльные пузыри» здесь ни при чём. Имеются в виду вовсе не они, а те самые «пузыри земли», на которых спустя десятилетия неосторожно споткнутся лирические герои Блока[**].

---

[*] *Шекспир В.* Макбет / Пер. с англ. М.В. СПб., 1837. С. 11, 13.

[**] Впрочем, она захотела,
Чтоб я читал ей вслух «Макбета».
Едва дойдя до пузырей земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.
Оказалось, что большой пёстрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Достоевский в гневе «не опознал» текст. Хотя вряд ли можно усомниться в том, что он, столь высоко ставящий Шекспира и сам увлечённый «шотландским» сюжетом, читал прославленную трагедию в русском или французском переводе. Но если даже он и знаком с «Макбетом», ему «выгоднее» *забыть*: фигура «свиньи-Карепина» уже обрела художественную завершённость, и он, этот образ, несовместим ни с каким Шекспиром.

Приходится слегка уточнить картину. Сухой, рассудочный, велеречиво резонёрствующий Пётр Андреевич (по-нашему говоря, зануда) неожиданно выказывает ловкий литературный вкус и изящно обыгрывает своего петербургского оппонента (хотя последний уверен как раз в обратном!).

Здесь надлежит закрыть потерявшуюся скобку.

«Даже в отношении Достоевского к родственникам, — замечает М.П. Алексеев, — сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвящённым»*. Тем важнее для него сочувствие посвящённых.

«Мои письма *chef d'oeuvre летристики*», — пишет он брату. Между тем уже двинулся в путь его первый — эпистолярный — роман.

Отказавшись от своей доли наследства, он перестаёт быть помещиком и владельцем крепостных душ. И — почти одновременно — лицом, состоящим на государственной службе.

Если высочайшая резолюция, за некую архитектурную погрешность гневно поименовавшая его дураком, не очередной биографический миф, тогда, похоже, это автобиографический розыгрыш или самооговор. О.Ф. Миллер усматривает в данной истории своего рода lapsus memoriae (ошибку памяти), возникшую на основе другого случая — оплошности Достоевского при титуловании великого князя Михаила Павловича («превосходительство» вместо «высочества», что вызвало августейшую реплику — «посылают же таких дураков»). С другой стороны, настаивая на подлинности своей версии (о нелицеприятном царском резюме), доктор Яновский добавляет, что на его вопрос, почему Достоевский оставил инженерную карьеру, последний якобы отвечал: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы...» Николай Павлович действительно имел обыкновение лично рассмат-

---

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

* *Алексеев М.П.* Ранний друг Достоевского. С. 21.

ривать даже второстепенные архитектурные проекты. (В 1831 г. на плане одной из построек Мариинской больницы для бедных государь собственноручно начертал: «Украшение это походит на древнюю гробницу»*, что в ретроспективе может выглядеть как «рифма» к сюжету, изложенному Яновским.)

Как бы то ни было, монаршее вопрошение на эскизе лишённой ворот крепости — («Какой дурак это чертил») — вся эта туманная, но вместе с тем поучительная история имела в виду намекнуть на личное вмешательство императора в его судьбу. Через несколько лет этот неосторожный намёк овеществится в подлинной царской сентенции — на приговоре: государство отечески наложит на него свою карающую руку.

Пока же, в 1844 г., он разрывает тяготившие его узы, чтобы — уже до конца дней — возложить на себя новые бремена.

Сообщаемые родным причины его отставки выглядят не вполне логично. И здесь множественность версий — в том числе грозящее ему откомандирование из Петербурга — затемняет действительную подоплёку событий. Конечно, «служба надоела, как картофель**», — в этом можно признаться брату. Но главная цель, которая подвигла его на сей решительный шаг, не называется.

Это поворот судьбы, поступок, как уже говорилось, в чём-то напоминающий уход Михаила Андреевича из отчего дома. Как бы намеренно создаётся экстремальная ситуация: отныне он может рассчитывать только на себя.

Михаил Михайлович горячо уверяет родственников в недюжинных дарованиях брата: москвичам предоставляется право поверить ему на слово. Сверстники (например, Григорович, на всю жизнь запомнивший откровение — о *подпрыгивающем пятаке*) уже проявили данные им от Бога таланты. Он же в свои 23 года, кроме перевода «Евгении Гранде», ещё не опубликовал ни строки. Тем временем «разлад между чертёжничеством и авторством» (как изящно выражается О.Ф. Миллер) становится всё невыносимее.

Поэтому он сжигает мосты. Отныне ничто не мешает ему отдаться любимому делу. У него не остаётся никаких иных надежд, кроме этой. Его поступок обличает не только цельность натуры, но и азарт игрока.

Он идёт с козырей.

---

* Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. С. 69.

** Кстати, на сленге того времени «картофель» обозначал дамское общество, как выразились бы ныне, «с пониженной социальной ответственностью».

Из главы 4

БЕЛАЯ НОЧЬ

«Это выше сна!»

Осенью 1825 г., завершив «Бориса Годунова», сочинитель «бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Через двадцать лет, весной 1845-го, Достоевский сухо сообщает брату (речь идёт о «Бедных людях»): «Около половины марта я был готов и доволен».

Сравнение уязвимо. 26-летний Пушкин изгнан, признан, любим, почитаем, печатаем, знаменит. Он ни в каком отношении не схож с пребывающим в полной безвестности 23-летним самодеятельным автором. И все жё их роднит чувство: то самое, которое заставляет победителя прибегать к сильным выражениям (блоковское, по окончании «Двенадцати» сказанное: «Сегодня я гений», — *типологически* соответствует пушкинской ликующе-изумлённой самооценке) и которое в застенчивой школьной адаптации обретает вполне благородный вид («Ай да молодец!»).

У Достоевского, правда, всё происходит с некоторым замедлением.

Осенью 1844 г. Михаил Михайлович уверяет строгих московских родственников, что не далее как в январе первое сочинение брата явится почтеннейшей публике. И действительно, оно явилось в январе — правда, с задержкой на год. Но в расчётах Михаила Михайловича не было намеренных искажений. Его информация основывалась на сведениях, полученных от самого автора.

Через много лет в «Дневнике писателя» Достоевский заметит, что «Бедные люди» были начаты зимой 1845 г. и что до них он ничего не писал. Оба эти утверждения не вполне точны. «Забыты» (может быть, умышленно) ранние драматические опыты. Но не упомянуты и труды 1844 г.: ведь ещё 30 сентября автор бодро сообщал брату, что роман почти окончен и уже перебеляется для отправки издателю.

Такая хронология психологически объяснима. Автор как бы намеренно игнорирует то, что писалось им *до* отставки — «параллельно» учению и службе. Он ведёт отсчёт лишь с момента, когда стал свободен: независимость — условие профессионализма.

Не выпустив ещё сочинение из рук, сочинитель уже исчисляет день, когда получит редакционный ответ («к 14-му»!). Черта знаменательная. И позднее он будет планировать свои действия (и ответные шаги партнёров) на несколько ходов вперёд, порою жестоко ошибаясь и попадая впросак.

Разумеется, к 14 октября 1844 г. редакционный ответ не последовал — по той причине, что рукопись в редакцию не поступала.

Проходит *семь* месяцев: вместо уведомления о выходе романа брат извещается о всё новых и новых редакциях и переделках (их можно насчитать не менее пяти). Даже после известного «готов и доволен» рукопись ещё раз подвергается капитальнейшей правке. Стремление к совершенству, как известно, не имеет границ. Но наконец 14 мая 1845 г. автор резким усилием воли пресекает судорожные попытки улучшить текст: «Я слово дал до него не дотрагиваться».

Итак, труд, занявший, очевидно, никак не менее года, благополучно завершён. Но вот странность: подробно информируя корреспондента о ходе работ, Достоевский, как помним, никогда не таивший от брата своих творческих мечтаний, на сей раз воздерживается сообщить, что, собственно, он сочиняет. Роман — это понятно: но о чем, *из какой жизни?* (Надо надеяться, не из венецианской!) Даже непосредственный свидетель, а именно Григорович, отстранён от каких бы то ни было обсуждений: он видит только множество листов, исписанных мелким бисерным почерком...

Труд совершается прикровенно: до его окончания автор доверяет только собственному суду. Уж не опасается ли он *сглаза?* Даже название будущего творения оглашению не подлежит.

Трудно сказать, на какой стадии роман получил имя, которое нам известно. Никакие иные варианты заголовка до нас не дошли. Но, кажется, вещь и не могла быть названа иначе.

Имя первого сочинения Достоевского — эпиграф ко всей его будущей прозе.

Однако вернёмся к герою.

Дело было сделано. Оставались сущие пустяки: обнародовать написанное. Но тут в образе мыслей автора вновь обнаруживается странная непоследовательность.

В марте, явно отступив от первоначальных намерений, он уверяет брата, что ни за что не отдаст своё детище в журналы, ибо там рукопись прочтут через полгода, а если и напечатают, то заплатят гроши. Следовательно, выгоднее издавать самому. «...На что мне... слава, когда я пишу из хлеба?» Экономический мотив выставляется нарочито грубо — словно бы в противовес могущим возникнуть романтическим подозрениям. Этот напускной реализм с его демонстративным презрением к причинам высшего порядка как нельзя лучше оттеняет эти последние...

Не проходит и двух месяцев — и настроение снова меняется. «Итак, я решил обратиться к журналам...» Разумеется, к «Отечественным запискам»: где же и начинать, как не здесь — в самом видном и почитаемом органе российской словесности? Именно здесь вершит свои приговоры не ведающий страха (но внушающий его другим!) Виссарион Белинский. Может быть, это имя, вслух, впрочем, не произносимое, и есть решающий довод в пользу журнала? Да и сто тысяч потенциальных читателей (из интересного расчёта — 40 человек на номер!) — дело нешуточное*. Это именно та самая слава, которая ранее высокомерно отвергалась. «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву... Я не переживу смерти моей idée fixe».

Для литератора, пишущего «из хлеба», подобный максимализм не вполне оправдан.

Достоевский вступил в литературу в мае.

«Прозрачный сумрак, блеск безлунный» как бы подсвечивают этот дебют. Событие совершается ночью, и, как всё совершающееся в ночи, оно приобретает неверный, полуфантастический колорит. Собственно, этого и следовало ожидать, ибо само словосочетание «белая ночь» — отважный поэтический образ. Время как бы вывернуто наизнанку («здесь ночи ходят невпопад» — почти через век усмехнётся Н. Заболоцкий), и в этом зеркальном, изнаночном, неестественно-отчётливом мире гулко, как на пустой сцене, перекликаются голоса...

Григорович и Некрасов читают рукопись *вслух*. (Жаль, что этот высокоторжественный миг не обрёл ещё своего ваятеля и живописца!) У Некрасова, ровесника Достоевского, славного пока лишь

* Достоевский ошибался. Он исходит из того, что тираж «Отечественных записок» равен 2500 экземплярам. Между тем в 1845 г. тираж этот приближался к 4000. Таким образом, если подсчёты будущего автора «Отечественных записок» принимать всерьёз, журнал должна была читать поистине гигантская аудитория.

удачными издательскими спекуляциями, голос прерывается, и, не выдержав, он стукает ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» (полная рифма пушкинскому — увы, одинокому — восторгу в Михайловском). Между тем белая ночь длит своё призрачное действо... И вот звучит знаменитое: «*Это* выше сна!» — и два молодых силуэта уже летят по вымершим петербургским улицам: надо закончить дело до наступления дня. И третий силуэт, качнувшись в распахнутом окне, поднимется им навстречу, изумлённый внезапным приходом двоих...

Ночь белая болезненна, бледна.
Вот юный Достоевский у окна.
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович...

Любопытно бы знать: с чем рифмуется Григорович?

При этом (что уже не впервой) сюжет вновь начинает двоиться. Правда, на сей раз — сущие пустяки. Григорович уверяет, что однажды утром Достоевский торжественно призвал его и прочитал вслух своё творение. Восхищённый слушатель (вернее, *перво*слушатель — честь в данном случае немалая!) почти силком забрал у автора рукопись и поспешил доставить её Некрасову. Затем оба читателя посещают Достоевского, а по уходе Некрасова Григорович (последний, натурально, остаётся, ибо он у себя дома), «лёжа на своём диване», ещё долго слышит шаги взволнованного соседа.

Версия самого Достоевского несколько иная. Он говорит, что Григорович в то время жил у Некрасова, которому он, Достоевский, отвёз рукопись самолично. Ночной звонок (у Григоровича стук) в дверь наводит на мысль, что Достоевский, пожалуй, ближе к истине: зачем звонить, если у Григоровича должен иметься собственный ключ? Достоевский определённо говорит об уходе обоих ночных посетителей, что порождает некоторое недоумение относительно *диванного* свидетельства Григоровича.

Не вполне ясно и то, чем занимался герой в первые часы этой незабываемой судьбоносной ночи. По его позднейшему (адресованному широкой публике) признанию, после отдачи рукописи Некрасову он мирно направился «к одному из прежних товарищей», где и предался занятию, как нельзя более подходящему к случаю. «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Отчего же не почитать — «и, пожалуй, всю ночь». Он вернулся домой в четыре. Страшно подумать, как выглядела бы история отечественной словесности, если бы любитель поздних чтений замедлил с приходом и ночные гости удалились несолоно хлебавши.

Между тем одна воспоминательница утверждает, что автор «Бедных людей» в тесном дружеском кругу излагал этот хрестоматийный сюжет несколько иначе. Отослав рукопись в редакцию (т. е., очевидно, отдав её Некрасову?) и терзаемый авторскими сомнениями, он якобы ринулся в пучину разврата («закутил с горя») и в ту самую ночь вернулся домой как раз после таких непохвальных отвлечений. Трудно сказать, домысел ли это мемуаристки или лукавый самооговор, имеющий целью подчеркнуть опасную близость порока к чистым источникам творческого труда...

«Бедные люди» сделали его знаменитым — буквально в одну ночь. Но это ночное признание — с блицвизитами, объятиями и слезами, а главное — с восторженным поминанием Гоголя (чья незримая тень, отбрасываемая из Италии, многозначительно маячит на заднем плане) — всё это, хотя и предвосхитило характер дальнейших событий, однако ж не отменяло необходимости взглянуть на происходящее при свете дня.

Достоевский отдал роман Некрасову. Тем самым он вверял свою литературную участь той партии, душой и совестью которой был Белинский. От его приговора зависело всё.

От Белинского зависело всё, но сам он, горячий, вспыльчивый и прямой, не выказывал и тени литературного генеральства. Он был инстанцией, производящей в генералы других. Он признавался лидером и теоретиком школы, которая вскоре, заслужив у Булгарина бранную кличку натуральной, обратит это прозвище в своё боевое знамя. Белинский жаждал социальности, сопряжённой с психологизмом: «Бедные люди» пришлись как нельзя кстати.

Геральдский клик Некрасова «Новый Гоголь явился!» (автор «Мёртвых душ» — мера и точка отсчёта, что позволяет усмотреть в некрасовском возгласе ещё и *геральдический* оттенок) — эта весть должна была отозваться сладкой музыкой в сердце «первого критика». Произведение восхитило его сразу и целиком. Это был сигнал для всех остальных.

«...И в гроб сходя, благословил»: благословившему оставалось жить ровно три года.

Когда всё-таки был он *представлен*? Белые ночи всё водят свой призрачный хоровод — и май неприметно переходит в июнь, и тянет на летний воздух, и грех в такую погоду сочинять письма или вести дневники, и будущие биографы недоумённо разводят руками...

И всё же... В 1873 г. бывший дебютант напишет М.П. Погодину: «С Белинским я познакомился в июне 45-го года и тут же

с Некрасовым». Месяц обозначен твёрдо, без затей. Конечно, прошло двадцать восемь лет, но *такие* вещи помнятся хорошо.

Что удивительно: Некрасов и Достоевский покинули столицу в один и тот же день (следовало бы запатентовать это ценное наблюдение!). А именно — 7 июня. Достоевский отбыл в Ревель к брату, Некрасов — к Герцену и его друзьям в Москву — дабы обзавестись вкладчиками для будущего «Петербургского сборника» (именуемого пока «1 января»: издание замышлялось к Новому, 1846 году). Следовательно, если принять во внимание исчисления самого бенефицианта, ночной визит к нему двух молодых друзей и последующее знакомство его с Белинским — все эти события совершились в первую неделю июня 1845 г.*

Итак, внесём важную хронологическую поправку: Достоевский вступил в литературу в июне! Что, впрочем, ничуть не меняет ни освещения сцены, ни расположения фигур.

«Я вышел от него в упоении... — говорит Достоевский о своём первом визите к Белинскому. — Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая её, укреплялся духом».

Он запомнит свидание: звёздный свой час. Отныне он обречён в поте лица своего отрабатывать выданный ему непомерный аванс.

Он признан: правда, пока только в кругу «своих». Но «неофициальный» успех «Бедных людей», сколь ни странно, отсрочит появление их в печати. Теперь не было нужды отдавать роман в «Отечественные записки», где он — с подачи Белинского — мог бы явиться незамедлительно. Имело смысл повременить — до выхода некрасовского «Петербургского сборника»: там роману была уготована особая роль.

...Делать в пустеющем Петербурге было более нечего — и, как уже говорилось, 7 июня, сев на пароход, он отправляется в Ревель, к брату — единственному своему наперснику и конфиденту. Там приступает он к «Приключениям господина Голядкина» (будущему «Двойнику»): надо ковать железо, пока горячо. Какие ещё заботы одолевали его в это лето, томительное лето 1845 г., можно только догадываться: писем нет, да и писать-то, собственно, было не к кому...

1 сентября он возвращается в Петербург. Он едет морем — и от города, казалось бы, расположенного встретить его литаврами, веет

* Косвенное подтверждение такой датировки: указанные факты не отражены в письмах к брату, как это непременно случилось бы, относись они, скажем, к середине мая. Но в начале июня Достоевский уже готов отправиться в Ревель, поэтому последние ошеломляющие новости припасены для личной встречи.

на него неизъяснимой печалью. Может быть, оттого, что дело вновь происходит глубокой ночью.

«Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда...» Он смотрит на город своей судьбы, на глухую и величественную панораму надвигающейся столицы. Кажется, никогда ещё не возникало у него подобного чувства — такого грозного ощущения грядущей беды, такого мучительного сомнения в неотменимости выбора: «Весь этот спектакль решительно не стоит свечей».

Как будто чёрная сентябрьская ночь молча меряется с той, белой...

Между тем подходит октябрь, столица наполняется публикой — и в тоне его начинают звучать более мажорные ноты. Он запросто поминает *имена*, давая понять брату, что это теперь — его круг, что он здесь — свой среди своих. Он бойко рассуждает о замышляемых им и его друзьями журнальных предприятиях. Он сочиняет весёлое объявление об издании «Зубоскала» и публикует его в «Отечественных записках»: следствием сего неосторожного шага станет запрещение объявленного журнала. Плачевный результат первого оригинального выступления в печати (в том самом органе, о котором мечталось) не очень огорчит автора, ибо *этот* его дебют, по счастью, останется анонимным.

Главный дебют — ещё впереди: ожидание приносит ни с чем не сравнимую радость. Тем более что, «терзаемый угрызениями совести», Некрасов обещает доплатить ещё 100 рублей серебром сверх положенной за «Бедных людей», ранее обговорённой суммы, ибо, как сокрушённо признает, 150 рублей — «плата не христианская».

Согласимся, что подобная (без требований со стороны автора) надбавка — событие в писательском мире довольно редкое. Во всяком случае, с Достоевским такого больше не приключалось.

Хорошее дело — арифметика.

Достоевский надеялся продать роман (семь печатных листов) Краевскому в «Отечественные записки» за 400 рублей серебром. Выходит — около 60 рублей за печатный лист. Некрасов, крайне стеснённый в средствах, первоначально предлагает автору «Бедных людей» аккордную плату — упомянутые 150. Автор, не колеблясь, соглашается.

Для человека, пишущего «из хлеба», подобный поступок довольно странен.

Он согласен получить плату едва ли не в три раза меньшую: немногим более 20 рублей за печатный лист. Даже после широкого некрасовского жеста плата, сделавшись чуть более «христианской»,

всё же остаётся весьма и весьма умеренной (примерно 35 рублей за лист). Таким образом, автор готов потерять 250, а затем, после добровольной некрасовской компенсации, — 150 рублей: деньги, которые по расчёту он мог бы взять с издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.

Обременённый расходами и долгами, ради чего он идёт на такие жертвы?

Передача рукописи в «Петербургский сборник» — акт идейной солидарности. Солидарности с Некрасовым, с Белинским, но, впрочем, и с Краевским, поскольку все они в 1845 г. составляют ещё одну компанию.

Конечно, солиднее (да и выгоднее!) иметь дело с «самим» Краевским. Но дебютант выбирает «мечты и звуки». И не потому, что так уж чтит автора одноимённой, наверняка позабытой им стихотворной книжки, а скорее — в силу молодой симпатии к сверстнику, к кругу литературных идей, ими обоими разделяемых...

Он примыкает к *направлению*.

«...О к ним, с ними!»

Любимец публики

15 ноября он впервые посещает Панаевых: там обыкновенно сходится весь кружок*.

На следующий день — под впечатлением — он пишет брату. Если бы мы наверное не знали, кому принадлежит текст, это послание можно было бы принять за жестокую и сокрушительную пародию.

«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдёт до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать... Откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собствен<ной> славой своей».

Вспомним: «Я вышел от него в упоении». Именно это чувство, впервые захватившее его тогда, весной, после встречи с Белинским,

* Панаевы жительствуют на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в доме купца Лопатина. Здесь же с 1843 г. живёт Белинский (он занимает освободившуюся квартиру Краевского). Осенью 1845 г. этот «литературный дом» — главная точка притяжения для дебютанта. Накануне его прихода, 14 ноября, из Петербурга отбывает Герцен, гостивший у Панаевых: его с Достоевским знакомство откладывается на год.

вновь возрождается осенью. Правда, теперь это упоение иного рода: оно требует приставки *само-*. Дебютант словно напрочь забыл о своих недавних предчувствиях: как будто вовсе не ему пригрезилось «мене, текел, фарес» нагнавшей на него тоску петербургской ночью...

«Эх, самолюбие моё расхлесталось!» И — как высший градус этого «расхлеставшегося» самолюбия — передача чужого, но отнюдь не отвергаемого мнения: «Гоголь... не так глубок, как я».

Гоголь упомянут как нельзя кстати. Поразительно только, что такой знаток и ценитель гоголевских писаний не улавливает в собственной захлёбывающейся речи этот знакомый звук. Впрочем, может быть, в слове «расхлесталось» как раз и содержится скрытое указание на имя?

«Да, и в журналы помещаю... “Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь”. Думаю себе: “Пожалуй, изволь, братец!”»

Автор «Бедных людей» проговаривает свой эпистолярный монолог в той же — хлестаковской — тональности. Он, автор, тоже «с Пушкиным на дружеской ноге». Во всяком случае, фамилии «аристократишек» — князя Одоевского и графа Соллогуба — помянуты с насмешливым пренебрежением: не столько даже к их титулам, сколько к заискивающим, с точки зрения автора, попыткам добиться немедленного знакомства. Между тем «Бедные люди» будут украшены в печати эпиграфом из того же князя Одоевского.

Здесь различима грань: между литературой и «окололитературой».

Трудно поверить, что «Бедные люди» и письма с известиями о литературных успехах их автора писаны одним и тем же пером. Там — уверенная рука мастера, искусно владеющего слогом и точно рассчитывающего каждый речевой жест. В письмах — наоборот, отсутствие «формы», неумение «художественно», со стороны, оценить ситуацию, коробящая порой откровенность. Достоевский словно нарочно спешит навлечь на себя обвинения в заносчивости, зазнайстве и саморекламе.

Стоит, однако, вслушаться в интонацию всех этих нескромных признаний. Не сквозит ли в его ранних восторгах что-то искусственное, лихорадочно-преувеличенное и, как это и можно было предположить, не вполне в себе уверенное? Не носят ли подобные упоения не только наивный, но и несколько театрализованный характер?

Никогда ещё «вхождение в литературу» не осуществлялось таким ошеломляющим образом. Даже у наиболее счастливых дебютантов — Пушкина, Гоголя, позднее Толстого — писательская известность нарастала постепенно. Никогда ни одному начинающему автору

Белинский не говорил: «...цените же ваш дар и... будете великим писателем!..»

Для Достоевского, не принадлежавшего ни к светскому, ни к полусветскому кругу, ведшего уединённое, будничное, «угловое» существование, неожиданный литературный успех значил перемену всех личных и общественных обстоятельств. Информация, предназначаемая брату, должна была как можно резче подчеркнуть именно этот аспект: мгновенное, почти сказочное достижение желанной цели, обретение нового жизненного качества. Автор писем старается растолковать эти перемены как можно «популярнее», то есть грубее.

Лев Толстой, например, никогда не допустил бы подобных экзальтаций. Он не любил выглядеть смешным. Кроме того, писательство оставалось для него лишь одним из возможных жизненных вариантов, порою далеко не главным. Недаром Тургенев не без ехидства вопрошал автора «Детства»: «...что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец?» Толстой словно не уверен, что именно литература позволит ему реализовать своё жизненное предназначение*.

У Достоевского нет таких сомнений. Для него писательство — единственная и исключительная возможность. Его самооценка целиком зависит от осуществления этой главной задачи.

«Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16-ти, может быть, лет, — пишет он в 1877 г. одному начинающему литератору, — но я как-то уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень». «Не беспокоился», веря в *единственность* своего выбора: с такой верой можно было и не поспешать. «Насчёт же места, которое займу в литературе, был равнодушен...»

С первого своего шага он «вдруг» занял в литературе место, о котором не смел и мечтать. Не отсюда ли мальчишеская «упоённость» его писем: в них видна душа доверчивая и открытая, ещё не наловчившаяся прикрывать собственные слабости спасительной самоиронией. Ничто так не выдает возраст автора, как полнейшая неспособность сохранить на лице важность, приличествующую моменту...

Достоевский ревностно осваивает выпавшую ему роль. Он не без удовольствия примеряет костюм внезапного любимца муз, этакого баловня фортуны и, чтобы, не дай бог, не спутали, спешит выставить

* Заметим, что и у Пушкина занятия словесностью — только одна из его видимых ипостасей. Не меньше, чем литературной репутацией, он дорожит репутацией светской. Более того, в своей «внелитературной» жизни он как бы игнорирует свою главную роль. (См.: *Лотман Ю.М.* Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1983. С. 157–159).

объяснительную табличку: «любимец муз». Разумеется, не только музы, но и все прочие обязаны испытывать к счастливцу тёплые чувства: «Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного». Язык спотыкается, речь переходит в лепет... «Я, признаюсь, литературой существую... тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» Простодушный Иван Александрович врал вполне бескорыстно. Неискушённый автор «Бедных людей» не менее бескорыстно старается рассказать правду. Но как раз поэтому слова его выглядят чистейшей хлестаковщиной.

Неслучайно именно в таком контексте возникает небрежное: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег» — замечание, навлёкшее на неосторожного бонвивана столько учёных подозрений*. Между тем — независимо от своего реального содержания — фраза эта абсолютно отвечает характеру играемой роли. Ибо ничто так не оттеняет успех, как внимание женщин. Но поскольку героиня отсутствует, делается указание на временно заменяющую её принадлежность театрального реквизита.

Впрочем, героиня может вот-вот явиться.

15 ноября 1845 г., как уже было сказано, Достоевский проводит вечер у Панаевых: у Ивана Ивановича и Авдотьи Яковлевны (которые в домашнем быту именуют друг друга запросто: Жанно и Евдокси). На следующий день он сообщает брату, что, «кажется», влюбился в хозяйку дома. Так впервые (хотя и с некоторым опозданием) возникает, наконец, нота, которая, едва себя обозначив, вскоре оборвётся, чтобы вновь зазвучать только через десять лет...

Если это первая любовь (а о других нам ничего не известно), то к тому же — с первого взгляда. И взгляд этот, хоть и затуманенный душевным волнением, зорко подмечает высокие достоинства предмета («умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя»).

«Хорошенькая» — ещё слабо сказано: 25-летняя Авдотья Яковлевна, судя по всему, была неотразима. Хотя, как сокрушённо замечает Чувствительный Биограф, и страдала от несовершенства мужа, «от сознания его вторичности среди окружающих его талантов». Надо полагать,

* Так, А. Кашина-Евреинова не без сочувствия приводит слова одного авторитета, якобы заявившего: «Да, для меня совершенно ясно, что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины». (Подполье гения. С. 21). Хотя подобного рода гипотезы и не подлежат обсуждению, уместно в настоящем случае обратиться к сообщаемому Яновским мнению самого заинтересованного лица — относительно его нелюбви к «юпке».

что здесь содержится деликатный намёк на имеющие воспоследовать вскоре перемены. Авдотья Яковлевна — на долгие годы — станет верной подругой одного из «окружающих талантов» (а именно Некрасова) и деятельной сотрудницей его журнала. Что же касается нынешнего панаевского гостя, то по прошествии двух с половиной месяцев он подтвердит серьёзность своего чувства: «Я был влюблён не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю ещё». То есть не знает, пройдёт ли... Впрочем, имя Панаевой больше не будет названо — никогда.

Но не возникнут более ни разу и пресловутые «Минушки и Кларушки», которые, к слову, фигурируют в том же самом письме, где речь впервые заходит об Авдотье Яковлевне (с последней эти внесценические персонажи вступают даже в некую вербальную связь: «хорошенькая... и пряма донельзя» — «похорошели донельзя»). Тема исчерпала себя так же неожиданно, как и появилась, что свидетельствует о её относительной периферийности. (В переписке современников такие подробности тоже довольно редки — не столько из-за непристойности сюжета, сколько в силу его обыденности.) Дальнейшие сетования Достоевского на беспутную жизнь — жалобы, которые иные специалисты склонны трактовать в совершенно определённом смысле, могут означать всё, что угодно*.

Приведя известный случай, когда её отец упал в обморок перед светской красавицей (мы ещё коснемся этого эпизода), Любовь Фёдоровна не без остроумия добавляет: «Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обмороки он не падает».

Насмешливая дочь ошибается: период страстей начался гораздо раньше. Точнее, имела место «одна, но пламенная страсть» — она-то и потеснила все остальные.

С 1845 г., по его собственному выражению, он живет «как в чаду».

Отныне и уже навсегда его биографическое время сопряжено с жёсткими сроками журнальных публикаций. Отныне он будет жить, задыхаясь от издательской гонки, стараясь поспеть в номер, растрачивая взятые вперёд деньги и вновь залезая в долги. Его бурная и краткая слава сменится, несмотря на упорство и интенсивность его творческого труда, вялым интересом к нему читающей публики, которая, как водится, быстро охладевает к недавним своим любимцам. Никогда больше не переживёт он минут, хотя бы отдалённо напоминающих восторг первых дней. Неслыханный, беспрецедент-

* Забавно, что в обратном переводе с немецкого слова Достоевского (из его письма к брату) «порядочно жить я не могу, до того я беспутен» звучат следующим образом: «я так распутен, что уже не могу жить нормально...» (*Нейфельд И.* Достоевский. М., 1923. С. 24). Как можно догадаться, это не совсем одно и то же.

ный успех будет мниться всё более случайным: он отравит ему кровь и замучит воспоминаниями. И так — вплоть до разразившейся над ним катастрофы, которая положит конец этому мучительному состоянию, позднее названному им однозначно: болезнь.

...Наконец, 15 января 1846 г. долгожданный альманах поступает в лавки книгопродавцев. Недели через две, 1 февраля, во втором номере «Отечественных записок» появляется «Двойник». И, хотя совпадение было чисто случайным, невольно могло закрасться подозрение, что расчётливый дебютант так подгадал события, чтобы шарахнуть публику сразу из двух стволов.

Как и следовало ожидать, сюжет снова двоится.

...Казалось, дразнящий ореол тайны, почти полгода мерцавший вкруг авторского чела, должен смениться, наконец, ровным свечением нимба. На деле, однако ж, не обошлось без скандала.

Достоевский ступил на литературную арену в момент относительного затишья. Совсем недавно смолкли корифеи — Пушкин, Лермонтов, Крылов... После громового успеха первого тома «Мёртвых душ» наступила томительная пауза. На подходе была новая литературная волна. Однако мужающая натуральная школа ещё не осознала себя в качестве таковой. Потребовались «Бедные люди», чтобы дело приняло серьёзный вид.

С первых шагов дебютант заявил о себе как человек партии. Вернее, так посчитали его литературные восприемники. Для Белинского «Бедные люди» явились сильнейшим художественным подтверждением его теоретической правоты. «Петербургский сборник» с первой повестью молодого автора был брошен на стол как неоспоримое доказательство. В полемической ажитации сюда же поначалу присоединили и «Двойника».

«Белинский, служака исправный, — желчно заметит А. Блок, — торопливо клеймил своим штемпелем всё, что являлось на свет Божий».

Естественно, что все противники натуральной школы, начиная с немедленно ринувшегося в бой Булгарина и кончая высокоумными и язвительными критиками «Москвитянина», — все они поспешили оповестить публику, что её ожидания жестоко обмануты. Причём если одни рецензенты отвергают само наличие дарования, другие тонко дают понять, что робкие зачатки таланта были погублены неумеренными похвалами мнимых друзей.

Реакция самого виновника этих журнальных ристаний на ещё не привычную для него печатную брань вполне отвечает правилам игры. «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачьё строят», — пишет он брату 1 февраля 1846 г. в день выхода

«Двойника». Он словно повторяет — в ещё более откровенной форме — слова Белинского, явившиеся в «Отечественных записках» тем же самым днём, 1 февраля: «...слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья...» «Г. Достоевский» с лёгкостью принимает эту точку зрения; для него авторитетны только мнения «наших». А все «наши», не исключая Белинского, находят необходимым признать, что самый юный из них «далеко ушёл от Гоголя».

Самого Гоголя немедленно известят о событии. Три корреспондента из России (поэт Н.М. Языков и, не сговариваясь с ним, сёстры Виельгорские) вышлют ему «Бедных людей», причём один экземпляр следует с царской почтой (двор, а вместе с ним М.Ю. Виельгорский проводят лето в Италии). Гоголь, «пролистнув» текст, обронит несколько слов в пользу таланта автора и его «качеств душевных»: сказано будет благожелательно, но скупо.

Это единственный собственноручный отзыв Гоголя о Достоевском. (А ведь им вместе жить на этом свете ещё целых шесть лет.) Возможно ли? Неужто Гоголь не вглядывается с робкой надеждой в туманную петербургскую даль, как бы стараясь различить наконец-то явившегося преемника?

18 февраля 1846 г. — ранее всех — Н.М. Языков сообщает Гоголю о появлении нового гения («какой-то Достоевский»[*]) и просит его высказать мнение относительно «Бедных людей». Книги (в том числе «Петербургский сборник»), посланные Языковым отдельно от этого письма, проищут Гоголя до июля. И хотя он уже прочёл отправленный ему Виельгорскими роман, он «не услышит» вопроса Языкова, давая понять последнему, что недоволен задержкой:

«Письмо твоё от 19 марта получил, но книг не получил; они канули бог весть где... Как нарочно в этом году так было легко получать книги: курьеры приезжали всякую неделю в Рим, всем что-нибудь привозили, одному мне ничего»[**].

Автор «Ревизора» раздосадован, как ребёнок.

«Я ничуть не виноват в неполучении тобою книг: виноват или кн. Вяземский, или Виельгорский! — срочно оправдывается Языков. — Не посланы ли эти книги во Франкфурт...»[***]

---

[*] Точно такую же формулу употребит в письме к Гоголю и П.А. Плетнёв, присовокупив, что для него, Плетнёва, «это пока — ничто». «Гоголевская» партия воспринимает новость весьма скептически.

[**] *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 61.

[***] Русская старина. 1896. № 12. С. 643.

Курьеры, курьеры... тридцать пять тысяч одних курьеров! И каких — Вяземский, Виельгорский...

Но наконец книги получены — и ошалевший от ожидания Гоголь (в рассеяньи он именует присланный сборник «Невским альманахом», хотя его-то Языков как раз и не посылал) может быть удовлетворён. Между тем нетерпеливый поэт вторично требует от знаменитого друга начальственной оценки «Бедных людей», извещая его попутно, что автор «из числа твоих подражателей». Казалось, теперь надо бы отозваться. Гоголь безмолвствует.

Это — невероятно.

Ещё весной 1846 г. автор «Мёртвых душ» просил Языкова сберегать его, Гоголя, письма, особенно те, в которых он касается материй литературных. Ибо автор писем не оставляет надежды подарить читателей избранными местами из своей переписки. Гоголь обещает своему корреспонденту (долженствующему немедленно возликовать от подобных посулов) почаще сообщать те мысли, «которые нужно будет пустить в общий оборот»*.

Если б мы не знали обратного, можно было бы заключить, что Гоголь писал без черновиков.

Исполнительный Языков аккуратно снимает копии с писем-оригиналов и отправляет их автору в Рим. Не было ли среди этих бумаг искомой? Неужели, решив обозреть современную словесность, Гоголь даже не счёл нужным отозваться на упорный, дважды повторённый вопрос?

Между тем можно не сомневаться, что пребывающий в отдалении классик (которому, кстати, нет ещё сорока) присматривается к новичку. В 1846 г. он просит прислать ему годовой комплект «Отечественных записок» («Двойник»!), в 1847 г. — «Современника» («Роман в девяти письмах»!) — и нет никаких оснований полагать, что просьбы эти не были уважены.

Но... В «Выбранных местах из переписки с друзьями» о Достоевском не сказано ни полслова. Разве что — косвенный след в одной, по обыкновению, предварительно трижды сожжённой главе с длинным названием: «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность». Гоголь пишет: «Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазнёй»**.

Вот так-то.

---

* *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. Т. XIII. С. 62.

** *Он же.* Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847. С. 226.

Конечно, Гоголь говорит «все». Но, во-первых, «все» — значит *и* «Бедные люди», *и* «Двойник». Достоевский легко мог отнести это на собственный счёт. А во-вторых, сказанное близко к отзыву о «Бедных людях» в письме к Виельгорским («много говорливости» и т. д.).

С передачей лиры, во всяком случае, выходила заминка.

Но вернёмся к «нашим»: они, судя по всему, исполнены дружелюбия и приязни. Достоевский не подозревает, что именно с этой стороны воспоследуют самые чувствительные удары.

«Страшно нервный и впечатлительный молодой человек» (Панаева), попавший к тому же в общество незнакомых или малознакомых ему людей, он поначалу не может преодолеть природной застенчивости, насторожённости и скованности. Он дичится, робеет, ёжится, чувствует себя явно не в своей тарелке. Умная женщина, Авдотья Яковлевна тактично приходит ему на помощь (недаром он так восхваляет её любезность).

Он и впредь будет отдавать предпочтение тем, кто его жалеет: только возникшие на этой почве романы завершатся законным браком.

В зрелые годы он нередко жалуется, что у него «нет жеста»: тем более не было его в молодости. Это означает не только отсутствие светских навыков, но и неумение поддержать ровный тон в своих житейских и деловых отношениях. Ему абсолютно чужд усреднённо-вежливый тип общения.

Как сейчас сказали бы — он неадекватен. Он незащищён, открыт, в высшей степени уязвим. Он не спешит украсить собственное дарование лёгким игриво-кокетливым (аристократическим!) к нему пренебрежением — что обычно примиряет друзей и обескураживает завистников. Он относится к тому, в чём его уверяют, серьёзно (слишком серьёзно), полагая тем самым угодить уверяющим. Но именно это делает его смешным.

«...Этих людей только и есть в России... — восклицал он белой петербургской ночью, — о к ним, с ними!» Он не ошибся: *других* людей в России (точнее, в Петербурге) не было. Он готов разделить их высокий порыв, ещё не догадываясь о том, что далеко не всегда носители идеала соответствуют столь обременительной ноше. Он старается вписаться в среду, что называется, передовую: её скрепляет громадный моральный авторитет одного человека — того, кого Тургенев назовёт позднее *центральной натурой*.

Масштаб остальных чрезвычайно различен — от таких незаурядных личностей, как Некрасов, до мелких литературных сочувствователей, которые задают «настоящим» писателям званые обеды, выполняют

их комиссии, ссужают им деньги, а также разносят новейшие слухи из дома в дом.

Явись в этой компании хоть сам Гоголь, он не избежал бы общей участи. Правда, автор «Мёртвых душ» стоит слишком высоко: ему не страшны никакие пересуды (лишь «Выбранные места» окажутся способными поколебать это положение). Что же касается Гоголя «нового», то навязанное ему амплуа юного гения при полнейшей неспособности героя достойно поддержать эту роль (ситуация усугубляется полууспехом-полупровалом «Двойника») — всё это делает недавнего дебютанта фигурой в высшей степени привлекательной для битья.

Изумительная откровенность, явленная им в письмах к родному брату, была совершенно неуместна в сношениях с братьями-писателями. Ибо для этой специфической публики нет большего удовольствия, как, увенчав коллегу лаврами, тотчас же почесть таковые фиговыми листами и приступить к их дружному ощипу. Делается всё это, разумеется, по-домашнему, то есть самым добродушным образом.

В том самом письме, где сообщается о внезапном чувстве к Панаевой (и о столь же внезапно похорошевших Кларушках и Минушках), заключено ещё одно важное признание. Это восторженные строки о молодом Тургеневе. Он, если верить приводимым тут же словам Белинского (характерная для Достоевского ссылка на мнения третьих лиц, когда речь касается его самого), с первой встречи влюбился в автора письма. «Я тоже едва ль не влюбился в него», — говорит автор.

Он мог бы «влюбиться» в него значительно раньше.

«И чуть-чуть скоропостижно...»

Меж тех двоих, вбежавших к Достоевскому ночною порой, так и хочется разглядеть ещё одного. Этот *третий*, судя по всему, должен быть где-то рядом, где-то невдалеке! Но нет, мимо! 20 мая 1845 г. — не дотянув всего чуть-чуть — Иван Сергеевич Тургенев отбывает в Европу. Ему — впервые — позволено почтительно сопровождать семейство Виардо. Запись в тургеневском «мемориале» гласит: «Отъезд в чужие край. — Куртавнель. Жорж Санд. Поездка в Пиренеи. *Самое счастливое время моей жизни.* — Возвращение к зиме»[*].

[*] Литературное наследство. Т. 73. Кн. 1. С. 344.

Он действительно вернётся к зиме. Знакомство с Достоевским им никак не отмечено. Тем не менее 1845 г. — самое счастливое время для них обоих. Каждый из них счастлив по-своему, и всё у них — впереди.

Не здесь ли, однако, корни будущих драм?

27-летний Тургенев оказывается среди зачинщиков той бескорыстной *приятельской* травли, которая очень веселила её участников и которую спустя много лет Достоевский должен был вспомнить не без некоторого содрогания.

Но, собственно, почему надо было его щадить? Ведь на лбу у него не обозначено, что он — будущий творец «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Зато невооружённым глазом можно различить претензии, явно превышающие заслуги. Что с того, что герой болезнен, неуравновешен, легко раним; его друзья не обязаны быть ни врачами, ни педагогами...

«...Характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе» — таково первое впечатление Достоевского от Тургенева. Он, по обыкновению, приписывает новому знакомцу черты, которых, как он полагает, недостаёт ему самому. Исчислив неоспоримые достоинства друга («поэт, талант, аристократ, красавец, богач»), Достоевский опускает одну, может быть, ещё неведомую ему деталь: Тургенев любил позлословить. Если верить Панаевой, именно благовоспитанный и, как мы помним, «влюблённый» в Достоевского Иван Сергеевич мастерски *доводит* плохо владеющего собой дебютанта, выставляя на всеобщее обозрение его и без того очевидные слабости и пороки.

О, разумеется, Тургеневым движут самые тёплые порывы! Что может быть невиннее дружеской затрещины, наносимой бескорыстно и с неподдельной приязнью! И если осмеянное лицо не зовут немедленно присоединиться к общему веселью, то единственно из деликатности чувств: сочинители порой щекотливы, как дети...

«Как всегда, блистал остротами и стёклышком в глазу... Тургенев», — в свою очередь шутит Ч. Б.

А.Я. Панаева туманно говорит о каких-то тургеневских стихах «на Девушкина», благодарящего своего создателя, и даже припоминает, что в них часто повторялось характерное для «Бедных людей» слово «маточка» — деталь очень правдоподобная. Однако эти эпиграмматические упражнения до нас не дошли.

Зато — к сожалению, только в отрывках — дошло сочинение другого автора, не менее остроумного, чем Тургенев.

В 1917 г. К.И. Чуковский, выбрав для этого не самое подходящее время, обнародовал найденные им в бумагах Некрасова черновые наброски какой-то неизвестной доселе повести. Автограф не имел названия, был написан наскоро и испещрён поправками.

«Сначала, — говорит Чуковский, — я не догадался, в чём дело... мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то смешном Глажиевском, авторе "Каменного сердца", и я уже прочитал страниц пять, когда меня вдруг осенило: да ведь этот Глажиевский — Достоевский!»*

Было чему дивиться. Ведь Некрасов так и не написал мемуаров. Новонайденная рукопись частично восполняла этот пробел.

Повесть Некрасова — сочинение ироническое.

Люди 40-х годов — тот круг, к которому принадлежал сам автор, — живописуются здесь с нескрываемой насмешкой. (Что, в свою очередь, заставляет вспомнить позднейшие изображения Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».) Досталось всем: Анненкову, Боткину, Панаеву, Григоровичу, литературным сочувствователям... Единственный персонаж, о котором автор отзывается с полным почтением, — это Мерцалов (т. е. Белинский).

Повесть написана, скорее всего, в первой половине 50-х годов — в период нахождения одного из её героев в Сибири. Не потому ли сочинение осталось незаконченным?

Достоевский в изображении Некрасова довольно забавен. Он впадает в безумное волнение накануне своего первого визита к Белинскому; он опасается, как тонко замечает автор, «своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный» (справедливости ради укажем, что это место в рукописи зачёркнуто); он чуть не сбегает в последний момент — у дверей квартиры, где жительствует знаменитый критик. Всё это выглядит вполне достоверно. Следует любопытная подробность: Глажиевский, желая «щегольнуть» развязностью (это одна из

---

* Неизданные произведения Н.А. Некрасова. Пг., 1918. Т. 1. С. 9. Ср.: *Некрасов Н.А.* Каменное сердце. (Повесть из жизни Достоевского). Пг., 1922: С. 11. Рецензируя открытие Чуковского, известный историк М.К. Лемке (под псевдонимом М. Маврин) неожиданно заявил о существовании литографического издания (тираж — 10 экземпляров) с титулом: «Н.А.Н. "Как я велик!" Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продаётся». (См.: Книга и революция. 1920. № 1. С. 34–36). Лемке утверждал, что полный текст повести, опубликованный в Перми, значительно больше отрывка, найденного Чуковским, и состоит из пяти глав. Однако загадочное пермское издание до сих пор не разыскано, и есть основания полагать, что сведения о нём мистифицированы. (См.: Альманах библиофила, 1979. Вып. 7. С. 179–183.)

двух крайних точек его поведенческой амплитуды), рассказывает Белинскому «анекдот о своём Терентии», который «по незнанию грамоты» закусил пластырем, прописанным ему для наружного употребления. Если припомнить очень похожий случай, отмеченный в мемуарах Андрея Михайловича (где жертвой является сам воспоминатель), тогда закрадывается подозрение, что сообщённый Глажиевским «анекдот» есть художественная трансформация вполне реального происшествия, причём замена родного брата «Терентием» свидетельствует в пользу высокого представления рассказчика о родственной чести.

Глажиевский у Некрасова наивен, бесхитростен, прост — и, может быть, в силу всего этого не только смешон, но и — симпатичен. И хотя трудно согласиться с К.И. Чуковским, что «вместо сатиры на автора "Бедных людей" Некрасов (нечаянно!) дал блестящую его апологию», следует всё же признать, что по сравнению с другими действующими лицами юный Глажиевский выглядит пристойно.

«Достоевский, милый пыщ...» — сказано в знаменитом «Послании».

Пыщ — значит человек напыщенный, надутый. Однако этот подлежащий осмеянию персонаж именуется «милым»: тональность свидетельствует о том, что объект пародии всё ещё находится внутри дружеского круга.

«Послание Белинского к Достоевскому» сочинено Некрасовым и Тургеневым (возможно, не без содействия Панаева), как полагают, в самом начале 1846 г. (у нас ещё будет возможность уточнить дату). Это коллективное детище не лишено остроумия и литературного блеска. Литературоведы, почитающие серьёзность едва ли не единственной принадлежностью ушедшей исторической жизни, осудительно прилагают к этому дружескому пашквилю эпитет «злой». Однако таковым он становится лишь в контексте дальнейших событий.

Не следует забывать, что зимой 1846 г. Достоевский — один из самых необходимейших «наших». Он не только не враг кружка, он — его главный козырь. Поэтому «Послание» не есть орудие литературной борьбы: это средство для внутреннего употребления.

В «Послании» вовсе не ставится под сомнение правомерность литературных успехов героя: ирония относится лишь к неумеренному их воздействию на его, так сказать, моральное самочувствие. «На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ», — не очень, конечно, респектабельно, но среди «своих» вполне допустимо и, учитывая

специфику жанра, даже лестно. Неоскорбителен здесь и возможный намёк на гоголевского героя («А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»): как-никак имеется в виду всё-таки Гоголь, а, скажем, не какой-нибудь барон Брамбеус...

Можно указать на ещё одну гоголевскую аллюзию: «За тобой султан турецкий скоро вышлет визирей». Ирония авторов «Послания» в этом случае не вполне понятна. Однако стоит вспомнить: «До сих пор нет депутации из Испании... Я ожидаю их с часу на час» — и участие в этой литературной игре «Записок сумасшедшего» теперь, кажется, не вызовет сомнений.

Пойдём далее. «Хоть ты юный литератор, но в восторг уж всех поверг. Тебя знает император...» (в одном из вариантов — «любит») — подобная констатация тоже нимало не унижает адресата. Правда, при желании здесь можно усмотреть иронический намёк на уже известную нам высочайшую резолюцию («какой дурак это чертил») — отзыв тем более обидный, если распространить его и на первые литературные опыты бывшего военного инженера. Однако вряд ли авторы «Послания» осведомлены об этой не слишком лестной для героя истории. Остаётся предположить, что до Зимнего дворца действительно дошли какие-то слухи о «Бедных людях», а возможно, был прочитан и сам текст.

Строка «уважает Лейхтенберг» также намекает на какие-то высшие (но, увы, неизвестные нам) обстоятельства, ибо герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой дочери императора, слыл большим поклонником и покровителем изящных искусств*.

Далее в «Послании» следует игривое описание уже упоминавшегося обморока, который, как явствует из других источников, действительно приключился с Достоевским при его представлении некой светской красавице:

Но когда на раут светский
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

* Максимилиан Лейхтенбергский мог узнать о «Бедных людях» от князя В.Ф. Одоевского, восторженно принявшего роман. Именно к этому периоду относится деловое сотрудничество герцога и князя: в 1846 г. Одоевский избран председателем только что образованного Общества попечения бедных, а герцог — его почётным попечителем. (См.: Русская старина. 1904. № 8. С. 418). Мы, впрочем, далеки от мысли рассматривать возникновение общества как результат прямого педагогического воздействия «Бедных людей».

Да, пасквиль есть пасквиль — и, естественно, он содержит не очень корректную аттестацию наружности пародируемого субъекта, особенно по контрасту с его подразумеваемой собеседницей. (Как помним, внешность Глажиевского не удостоилась одобрения и в прозе.) Сообщается и о грозивших герою опасностях:

...Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Позднейшие комментаторы делают здесь негодующую мину. И в самом деле: нехорошо насмехаться над больным человеком. При этом, однако, забывают, что в указанное время никто из друзей Достоевского (да и он сам) ещё не подозревает у него эпилепсии. (Некрасов в своей повести вскользь упоминает о каком-то ночном обмороке с Глажиевским, но это упоминание указывает скорее на повышенную чувствительность героя, нежели на его болезнь.) Изображённый соавторами конфуз на светском рауте трактуется ими как обыкновенное бытовое происшествие: комизм заключается в несоответствии персонажа предлагаемым обстоятельствам*.

Именно это несоответствие и породило первую строчку. «Витязь горестной фигуры» — конечно же, Рыцарь Печального Образа (в одном из вариантов «Послания» так и сказано: «Рыцарь»).

Но, собственно, почему? Только ли в силу видимой нелепости героя, непригодности его к светской жизни, смеси в нём гордыни, подозрительности и идеализма — всего того, что так зорко подмечено одарёнными памфлетистами? Или — как деликатный намёк на лёгкую его ненормальность? (Тогда, кстати, становится понятной и косвенная отсылка к «Запискам сумасшедшего».) Или, наконец, — как убийственная догадка о некой утаённой платонической страсти (Авдотья — Дуня — Дульсинея): если они действительно догадывались *об этом*, это ужасно.

Как бы то ни было, бедный идальго понадобился для целей исключительно прикладных. Никто не вспомнил при этом, что он ещё и Алонсо Кихано *Добрый*.

Много лет спустя и герой «Послания», и один из его сочинителей выскажутся о прототипе.

---

* Драгоценны в этой связи медико-литературные наблюдения Чувствительного Биографа. Справедливо указав, что припадки «проявляются у добрых под влиянием хищных» и что у Достоевского, как ни странно, встречаются отдельные произведения, где вовсе «нет припадков и обмороков», Ч. Б. проницательно добавляет: «Там упасть некому — не те люди».

«...Под словом “Дон Кихот”, — говорит в 1860 г. Тургенев, — мы часто подразумеваем просто шута, — слово “донкихотство” у нас равносильно с словом: нелепость...» Однако, добавляет автор, «этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире».

«Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей...» — «откликается» Достоевский в 1877 г.: тут — случай довольно редкий — он полностью солидарен с вечным своим оппонентом.

«Его фигура (разумеется, *горестная*! — *И. В.*) едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом», — продолжает Тургенев, чрезвычайно высоко ставящий героя Сервантеса и, конечно же, напрочь забывший об игровом соотнесении этого бессмертного персонажа с автором «Двойника».

«Эту самую *грустную* из книг, — заключает Достоевский, — не забудет взять с собою человек на последний суд Божий».

Он не подозревает, что, защищая Дон Кихота, он защищает себя — того: юного, наивного, простодушного и — смешного. И это незнание даёт ему право высказать мысль, которая в силу полнейшего бескорыстия автора решает спор.

Достоевский говорит, что лучшие качества («величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум») — всё это «обращается ни во что» единственно потому, «что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам... недоставало одного только последнего дара — именно: *гения*...».

Слово произнесено: не отнесённое к нему самому, оно тем не менее стало его оправданием.

Но этим же даром «оправдан» и Белинский. Ибо подставной автор «Послания» некоторыми своими чертами удивительно напоминает его героя. Белинский — тоже сын лекаря и внук священника. Он существует исключительно литературой: она для него — дело жизни и смерти. (Недаром он говорит, что умрёт на журнале и в гроб велит положить под голову книжку «Отечественных записок».) Разночинец не только по духу, но и по образу жизни, Белинский, как и Достоевский, «очень застенчив» и совершенно теряется в незнакомом обществе. С мягкой (или, как принято говорить, любовной) усмешкой повествует Герцен о его судорожных попытках уклониться от представления некой незнакомой даме: по счастью, этот визит не повёл к такой печальной развязке, как в случае с Достоевским.

Однако и с Белинским случались казусы.

Герцен и Панаев — с равной убедительностью, хотя и с разночтениями — живописуют другой замечательный эпизод. На рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, «Белинский был совершенно потерян... между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались») критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало «пресерьёзно» поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского. «Во время этой суматохи, — говорит автор "Былого и дум", — Белинский исчез и, близкий к кончине (ср. «и чуть-чуть скоропостижно...»! — *И. В.*), пешком прибежал домой». По другой — панаевской — версии, дело едва не кончилось обмороком («едва» — может быть, потому, что на вечере не было дам): «Белинский потерял равновесие и упал на пол... хозяин дома... повёл его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты...»

Герцен воссоздаёт картину с чужих слов, Панаев, можно предположить, присутствовал при сём лично.

«Падение Белинского со стула, — заключает Панаев, — было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста»[*]. Как мало надо для славы, добавим мы: ведь популярность Достоевского сильно выросла благодаря очень схожим обстоятельствам.

И тут обнаруживается неожиданный и до сих пор нигде не отмеченный поворот сюжета. Оказывается — об этом в 1882 г. поведал Анне Григорьевне доктор Яновский — Достоевскому тоже довелось наблюдать очень похожую сценку. В доме Виельгорских (что в плане «социальной привязки» равнозначно «литературно-дипломатическому» салону князя Одоевского) верный себе Белинский опрокинул рюмку с вином. Свидетелю этого происшествия, а именно Достоевскому, удалось даже подслушать реплику хозяйки дома, жены графа Соллогуба, в адрес незадачливого гостя: «Они не только неловки и дики, но и неумны». Употреблённое множественное число («они») наводит на мысль, не имелся ли при этом в виду и присутствовавший тут же автор «Бедных людей» (который позднее с горечью скажет Яновскому: «*Нас* пригласили... для выставки, напоказ»).

Но этого мало.

---

[*] Панаев утверждает, что всё это случилось в канун Нового 184* г. (как тонко заметил один выдающийся писатель, «русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — недоговаривают единиц»).

Чисто теоретически предположив, что оба эпизода (обморок Достоевского и битье посуды Белинским) имеют шанс совместиться в рамках одного и того же вечера, мы в ходе дальнейших разысканий не без изумления убедились, что такая сугубо рабочая гипотеза очень смахивает на правду. (Доказательства будут явлены ниже.) Но тогда существенно меняется вся картина. «Катализатором» обморока могла стать услышанная Достоевским реплика: после неё эмоциональное напряжение достигает предела. Неизвестной прелестнице оставалось лишь повести бровью...

Впрочем, в обморок мог бы упасть и Белинский.

«Я просто боюсь людей; общество ужасает меня, — признаётся он Боткину в 1840 г. — Но если я вижу хорошенькое женское лицо: я умираю — на глаза падает туман, нервы опадают, как при виде удава или гремучей змеи, дыхание прерывается, я в огне»*.

И Достоевский, и Белинский — оба они «неловки и дики». Оба — уравнены в глазах света. Но — отнюдь не в глазах «наших».

«Милый Белинский! — говорит Герцен, вспоминая конфуз на вечере у князя Одоевского (что, конечно же, имеет несколько иной оттенок, чем «милый пыщ»), — как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом...»

«С ужасом» — не меньшим, думается, чем и «витязь горестной фигуры», грохнувшийся в обморок перед той, которую даже Ч. Б. не отважился бы именовать его дамой сердца.

Но кто же она, прекрасная незнакомка?

Всеведущий Григорович — единственный, назвавший имя: г-жа Сенявина. Ни инициалов, ни социальной принадлежности он не обозначает. Впрочем, одно ценное указание всё-таки есть: Сенявина именуется «красавицей».

Это, пожалуй, единственное, что нам известно.

Поэтому остановимся на чаровнице.

Трудно вообразить, чтобы молодого человека, каковым был тогда Достоевский, могли так запросто знакомить с незамужней особой. Это не принято, тем более — у Виельгорских, где, надо надеяться, соблюдались правила хорошего тона. Светскую барышню представляли

* *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. XI. С. 20.

постороннему лицу только её родные. В 1859 г. в Твери жена местного губернатора графиня Баранова напомнит следующему из Сибири Достоевскому о том, как много лет назад, девушкой, она была представлена ему у тех же Виельгорских (и, как мы подозреваем, на том же вечере!): рекомендовал её один из хозяев дома, граф Соллогуб, её кузен.

Знакомство с будущей губернаторшей (в девичестве — Васильчиковой) не повлекло тогда, по-видимому, никаких осложнений. Чего нельзя сказать о знакомстве с губернаторшей бывшей: чуть ниже мы постараемся разъяснить этот туманный намёк.

«Г-жа Сенявина» — подобная формула вряд ли приложима к незамужней барышне. По сути, «госпожа» адекватно французскому «мадам». Но если гипотетическая дочь директора Азиатского департамента состояла к тому времени в браке, Григорович, разумеется, назвал бы её фамилию по мужу.

Достоевский на вечере у Виельгорских был подведён к даме. Светская львица, благосклонно (а, кто знает, может, и *с тайным волнением*) взирающая на юную знаменитость, — это ли не вечная грёза поэтов, обитающих «на чердаках и в подвалах»? Вот оно, воздаяние за годы лишений... но в момент, когда мечта готова сделаться явью, силы изменяют мечтателю...

«...И чуть-чуть скоропостижно...»

Правда, Панаев годы спустя, в фельетоне, речь о котором впереди, будет толковать именно о барышне — «с пушистыми пуклями и блестящим именем». Блестящее имя, как мы ещё убедимся, действительно наличествовало. Но — вовсе не у той. Ибо самой «барышни» не существовало: это скорее всего пригодный для фельетонных надобностей образный штамп.

Так кто же?

В «Петербургском некрополе» сказано: член Государственного совета Лев Григорьевич Сенявин умер в 1862 г. и погребён на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (там, к слову, будет погребён и Достоевский). Зная год рождения Льва Григорьевича (1805) и предположив, что женился он, как все порядочные люди, где-то около тридцати, нетрудно расчислить возраст его предполагаемой дочери (буде последняя вопреки всему всё-таки не фантом). В 1846 г. ей лет этак одиннадцать-двенадцать. Если даже она и впрямь красавица и к тому же, невзирая на нежные лета, допущена на свет-

ские рауты, всё равно хлопаться перед ней в обморок по меньшей мере непедагогично.

Вместе со Львом Григорьевичем не покоится никто из членов его семейства*. За исключением старшего брата — Ивана Григорьевича, который заслуживает того, чтобы им заняться поближе.

И тут в стройный порядок рассказа, как всегда, мешая колоду, врывается Пушкин.

Иван Григорьевич Сенявин (1801–1851) — двоюродный брат «полумилорда, полукупца» М.С. Воронцова, под бдительным призором которого знаменитый изгнанник отбывал одесскую ссылку. 1 апреля 1824 г. Пушкин писал брату Льву: «Письмо это доставит тебе Синявин, *адъютант* графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель...»

Бессмертие г-ну Сенявину сим обеспечено; пока, правда, нет никаких намёков на «г-жу».

Но вот в 1829 г. полковник Сенявин женится и вскоре выходит в отставку. Его избранница — Александра Васильевна Оггер (или Гоггер) — дочь бывшего голландского посланника в России Иоанна-Вильгельма (Василья Даниловича тож) Гоггера. Последний в 1810 г., не перенеся, очевидно, захвата любимой отчизны войсками Бонапарта, принял русское подданство и сделался губернатором Курляндским.

Женитьба «славнейшего малого», которому его давний одесский приятель посылает на новый, 1830 г. свою визитную карточку, отмечена и обсуждена в пушкинском круге. «Они устроили свой дом на Аглицкой набережной, — пишет А.О. Смирнова-Россет. — Она (Сенявина. — *И. В.*) сказала, что принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет»**.

Когда наконец Александра Васильевна выступает из этого «таинственного полусвета», первое, в чём мы немедленно убеждаемся, что она-то уж точно красавица.

В 1846 г., достигнув бальзаковского возраста (она старше Достоевского лет, наверно, на десять), Александра Васильевна не утратила былого блеска и обаяния.

...И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

...Для вящего удобства растаскивая вечность «по эпохам», мы забываем порой, что она, собственно, неделима и что время медленно перетекает во время. Знакомые тени встречают нас на пороге гря-

---

* См.: *Саитов В.И.* Петербургский некрополь. Т. 4. СПб., 1913. С. 58–59.

** *Смирнова-Россет А.О.* Автобиография. М., 1931. С. 119.

дущих времён! Защитники натуральной школы проливают вполне натуральную слезу — и вот уж «Бедная Лиза» машет слабеющей рукой вослед почти одноимённому роману... Пушкинские красавицы внезапно являются людям совсем иной поры — и ослепляют их, и восхищают, и повергают в смятение...

Мы искали портрет Сенявиной, но — не нашли.

Итак, Александра Васильевна: более некому. К тому же выясняется, что она имеет некоторое касательство к русской литературе.

«Я получил приглашение от Сенявиной на завтрашний вечер, — пишет Ю.Ф. Самарин К.С. Аксакову. — Загоскин и Вельтман будут читать. Любопытно послушать».

Письмо это — от одного литератора к другому (с упоминанием ещё двух писательских имен) — написано в 1843 г., в Москве, где муж Сенявиной исполнял должность гражданского губернатора. Дом Ивана Григорьевича был «одним из центров московского общества», а *губернаторша* (вот, наконец, разъяснение мелькнувшего выше намёка!) отличалась — что отчасти нам уже не в новинку — «красотою и любознательностью»[*].

Любознательность Сенявиной простиралась настолько, что она даже посещала лекции Т.Н. Грановского в Московском университете. Впрочем, последнее было модно. «...Вероятно, — пишет И.С. Аксаков родным, — лекции Грановского скоро потеряют первобытный характер, ибо где светское общество, там всегда пустота, возбуждающая насмешку. Особенно эти дамы!.. Сенявина записывает!»[**]

Сам Грановский, однако, не выказывал признаков недовольства. «Лекции дали мне много новых знакомств, — пишет он Н.Х. Кетчеру 14 декабря 1843 г., — между прочим, я познакомился с Сенявиной. Она мне понравилась: умная и живая женщина, с которою легко говорить»[***].

Достоевскому с Сенявиной «говорить» было трудно.

---

[*] *Самарин Ю.Ф.* Сочинения. СПб., 1911. Т. 12. С. 39.

[**] Отец Аксаковых, Сергей Тимофеевич, чтобы продемонстрировать сыну красоты плохо усвоенной русской речи, не поленился переписать для него записку, которую губернаторша адресовала другому его сыну, Константину Сергеевичу: «Завтра вечером четверг я буду дома и с удовольствием увижу, господин Аксаков, что вы не упустите случай мне доказать вашу признательность к нашему обществу...» (В кн.: *Аксаков И.С.* Письма к родным. М., 1988. С. 573–574). Учитывал ли взыскательный автор «Записок ружейного охотника», что Александру Васильевну несколько извиняет её иностранное происхождение?

[***] В кн.: *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1961. Т. 22. С. 286.

Пока гражданский губернатор Москвы тщетно пытался искоренить во вверенном ему городе взятки, его супруга занималась делом более исполнимым. Она собирает вокруг себя избранных литературных друзей и вообще, если верить тогдашней прессе, выступает покровительницей «всех отличных дарований»[*]. Когда в 1844 г. Иван Григорьевич получил новое назначение (на пост товарища министра внутренних дел) и семья засобиралась в Петербург, московское литературное общество положило подарить на память своей ценительнице и меценатке «великолепный альбом с видами Москвы», украсив оный стихами и прозою.

Николай Михайлович Языков, некогда тонкий лирик, а ныне обличитель безродных космополитов, вписал в альбом *гражданской* губернаторше свои гражданские стихи. Они были выдержаны в выражениях не вполне парламентских. Так, Пётр Яковлевич Чаадаев аттестовался в них как «плешивый идол строптивых баб и модных жён» (не имелась ли в последнем случае в виду счастливая обладательница альбома?), а любимый Москвою Грановский был поименован оракулом юных неучей и — что значительно хуже — сподвижником «всех западных гнилых надежд»[**].

«Подобная проделка была совершенно непозволительна, — замечает Б.Н. Чичерин. — ...Когда же этот пасквиль рукою автора был внесён в альбом великосветской дамы, занимающей видное общественное положение... то неприличие достигало уже высшего своего предела»[***].

Короче, Сенявина пала едва ли не первой жертвой великой национальной распри — идейной схватки западников и славянофилов, распри, которую Достоевский много позже назовёт недоумением ума, а не сердца. Как и на всякой войне, женщины терпят безвинно...

Надо признать, что появление Александры Васильевны у Виельгорских совершенно уместно. Где ещё в Петербурге женщина света могла удовлетворить свои литературные интересы, не рискуя при этом добрым именем и репутацией?

Установив личность «г-жи Сенявиной», попытаемся теперь воссоздать всю картину.

Где, собственно, происходит дело?

---

[*] Москвитянин. 1844. № 5. Отд. 111. С. 167–168.

[**] Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929. С. 23. Мемуарист, вероятно, приводит по памяти варианты языковских стихов: в окончательном тексте эти строки звучат несколько по-иному.

[***] Там же. С. 22–23.

Граф Владимир Александрович Соллогуб со своей 25-летней женой, Софьей Михайловной, жительствует в доме тестя, графа Михаила Юрьевича Виельгорского, женатого, в свою очередь, на Луизе Карловне, урождённой герцогине Бирон. Строго говоря, у каждого члена семьи собственная жизнь и собственные приёмы. Луиза Карловна собирает у себя исключительно аристократический круг; граф Михаил Юрьевич — светско-артистически-музыкальный; граф Владимир Александрович — светско-литературный. Последние два круга — взаимопроницаемы.

Разумеется, Достоевский был в гостях у Соллогубов.

Гоголь говаривал, что графиня Софья Михайловна (кстати, это именно она *выдрала* для него из альманаха «Бедных людей») — ангел кротости. Что же могло вывести её из себя и вызвать столь неадекватную, «неангельскую» реакцию? Уж не уронил ли ненароком Белинский злополучную рюмку на новое платье хозяйки: он, если вспомнить погубленные панталоны Жуковского, был мастером по этой части.

(В 1880 г. в гостях у издателя «Русского вестника» М.Н. Каткова (чей московский дом — своего рода политический высший свет) Достоевский опрокинул чашку чая и при этом, как с горестью сообщает он Анне Григорьевне, «весь замочился». Добро что чай не был пролит на брюки Каткова и дело, таким образом, не получило *литературной* огласки.)

Реплика Софьи Михайловны («они не только неловки и дики, но и неумны») могла уязвить смертельно.

Положим, о «дикости» Белинского Софья Михайловна могла быть осведомлена и заранее. Для неё, очевидно, не являлось секретом злополучное приключение у князя Одоевского. Хозяйке дома, ей подобало окружить необычного гостя особой заботой и сквозь пальцы смотреть на его светские промахи. Графиня не снизошла до этой демократической роли.

Положим; но почему же ещё «и неумны»? Не была ли довершена физическая неловкость Белинского неуместностью его суждений? (Нельзя всё-таки забывать, что ты не у себя дома, где позволительно нести Бог весть что!) В салонах беседуют степенно, не горячась. И да послужат хрустальные осколки немым укором тому, кто дерзнул нарушить этот закон!

Итак, фраза («они не только...» и т. д.) была произнесена. С кем, однако, делилась графиня своими любопытными наблюдениями? Уж не перед её ли собеседницей один из гостей пал, как остроумно замечено в «Послании», «чухонскою звездой»?

И ещё вопрос. Каким образом Достоевский мог подслушать этот доверительный разговор? Ведь не орала же Софья Михайловна на всю залу!

Дочь графа Виельгорского и жена графа Соллогуба слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе такую промашку. Фраза, скорее всего, была произнесена вполголоса, с улыбкой и — по-французски. Белинский не понимал этого языка. Софья Михайловна могла полагать, что французским не владеет и никто из «диких и неумных» его сотоварищей.

Относительно переводчика «Евгении Гранде» графиня заблуждалась.

Стоит ли толковать о предчувствиях? Сенявина, в конце концов, не только красавица, но и жена товарища министра — одного из высших чиновников того самого ведомства, которое вплотную займётся Достоевским годика через три. Как тут не зашататься от страха? Однако эти мистические предположения завели бы нас слишком далеко.

Возможно, существовала ещё причина — на сей раз сугубо прозаического свойства.

Достоевский не любил вина.

Особенно дурно действовало на него шампанское.

Незнакомое и высокомерное общество, выпитое вино, неловкость, совершённая глубоко уважаемым им человеком, и обида за него после случайно услышанной фразы, ослепительная «аристократическая» красота Сенявиной, наконец, — всего этого вполне достаточно, чтобы повести к злополучной развязке. Сознание, как помним, защищается от сильных чувств при помощи обморока...

Впрочем, ему (сознанию) ничего иного не остаётся, ибо оно (сознание), как известно любому школьнику, определяется бытием. Кажется, автор «Двойника» нарушил это капитальное установление. Художественный вымысел оказался у него первичным. И судьба немедленно подвергла его взысканию, избрав своим орудием женщину...

Вспомним «петербургскую поэму».

Решительным пунктом в помешательстве господина Голядкина становится его беззаконное вторжение на бал в день рождения несравненной Клары Олсуфьевны. При этом герой совершает ряд непростительных ошибок: «Наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавив ему ногу, кстати, уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и ещё кой-кого...» Кульминация сцены — отчаянная попытка героя заставить виновницу торжества пройтись с ним в ново-

модной польке. Господина Голядкина оттаскивают и с позором изгоняют из начальственного дома. На обратном пути от Берендеевых впервые является герою его двойник.

Разумеется, Сенявина — не Клара Олсуфьевна, да и Достоевский у Соллогуба — гость желанный и званый. И всё же на этом празднике жизни он тоже *чужой*. Поэтика «Двойника» накладывается на поэтику действительности, и ущемлённое своей вторичностью бытие как бы мстит непрошеному провидцу...

...Но надо ли так пристально вглядываться в один-единственный день (даже вечер!) из жизни героя?

Отрочество и юность Достоевского — это цепь судьбоносных мгновений. Встреча с мужиком Мареем, смерть девочки из Мариинской больницы, часы ночного дебюта, обморок у Виельгорских и, наконец, Семёновский плац — все эти однократные (и неравнозначные) события будут востребованы неоднократно. Они потрясут душу и отложатся в ней навсегда.

«Я, брат, пустился в высший свет, — лихо сообщает герой 1 февраля 1846 г., — и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения». О последних больше не будет упомянуто ни разу.

Но слово не воробей. Стыдливо потупясь, биографы вынуждены признать, что автор «Бедных людей» на некоторое (недолгое, к счастью) время поддался искушениям и соблазнам красивой жизни. Даже строгие к фактам комментаторы Полного (академического) собрания сочинений говорят о его *визитах* к Соллогубу — во множественном числе.

О В.А. Соллогубе Достоевский впервые упоминает в письме к брату от 16 ноября 1845 г. По его словам, граф якобы усиленно допрашивает Краевского, где ему *достать* автора ещё не опубликованных «Бедных людей».

Владимир Александрович Соллогуб был восемью годами старше Достоевского. Светский человек, он писал неплохую прозу и слыл модным беллетристом. (Государь, по словам Пушкина, «литератор не весьма твёрдый», даже путал его с Гоголем.) Автор «Тарантаса» принадлежал к кругу Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева — к той самой «литературной аристократии», на которой всё ещё лежал отблеск пушкинской славы. И сам Соллогуб, и его тесть — царедворец, композитор и меценат в одном лице — граф Михаил Юрьевич Виельгорский, оба они — приятели Пушкина: это дорогого стоило.

Интерес Соллогуба к Достоевскому — не просто любопытство большого света. Это как бы знак внимания большой литературы.

Такое внимание льстит и настораживает одновременно.

В письме Достоевского, лично ещё не знакомого с графом, сквозят нотки явного недоброжелательства. Он именует Соллогуба «аристократишкой» (зачёркнуто: «мерзавец»), который «становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки».

«Аристократишка» — это не только форма социальной самозащиты. Это ещё и точка зрения круга, лишённого родовых преимуществ, но свято чтущего своё духовное первородство.

Так и не сумев познакомиться с Достоевским осенью 1845-го, Соллогуб знакомится с его «Бедными людьми» в конце января 1846-го. Придя от романа в восторг, граф неожиданно посещает дебютанта. Описав в своих воспоминаниях скромную обстановку, в какой он застал молодого писателя, Соллогуб добавляет, что тот был чрезвычайно сконфужен его посещением и особенно — его похвалами. Граф объясняет это природной застенчивостью хозяина. Он, разумеется, прав. Но, может быть, Достоевский вспомнил ещё свои нелестные эпистолярные отзывы — и ему сделалось совестно?

Граф настоятельно приглашает коллегу посетить его запросто. Достоевский конфузится и благодарит.

«Соллогуб, мой приятель», — небрежно роняет он в письме к брату: оно, судя по всему, написано либо в самый день визита, либо буквально назавтра.

1 февраля 1846 г. (дата написания письма) Достоевский в высший свет ещё не «пустился». Он лишь зван в этот чарующий мир. Но нетерпеливый герой, как всегда, опережает события.

Есть документ, который, возможно, связан с визитом Достоевского к Соллогубу. Это записка Белинского к автору «Двойника» — единственное дошедшее до нас письменное свидетельство их отношений.

Белинский слегка интригует адресата. Он зовёт его в дом, куда должен проводить приглашённого человек, доставивший эту записку. Очевидно, Достоевский в доме том ранее не бывал, хотя с хозяином скорее всего знаком. «Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас увидеть у себя».

Очень похоже, что Белинский писал свою записку, находясь в гостях у Соллогуба, который, как помним, однажды уже приглашал адресата. В пользу такого предположения говорит «иерархический подтекст». Вряд ли Достоевский мог дичиться кого-то

из «наших»: для такого визита не требовалось особенных уговоров[*].

Сочинитель записки явно успокаивает Достоевского, уверяя его, что там, куда он зван, в основном будут *свои*. Такое заверение могло относиться исключительно к «чужому» дому (где «наши», как брезгливо заметит графиня Софья Михайловна, — это «они»). По сути, приглашённый ставится в положение почти безвыходное. Ибо очень трудно отказать сразу двоим (Белинскому и хозяину дома), тем более что передатчик записки имеет, очевидно, инструкции лично доставить адресата[**].

Новейшие исследователи датируют записку Белинского ноябрём — первой половиной января 1846 г.[***]

Хотелось бы уточнить датировку.

Как мы знаем, Соллогуб посещает Достоевского, очевидно, в самом конце января (не позже 1 февраля) 1846 г. Достоевский тогда уклонился от приглашения. Записка Белинского (если она писана действительно у Виельгорских) должна была возыметь своё действие. Во-первых, в данном конкретном случае повторный отказ выглядел бы просто невежливым. А во-вторых, присутствие у Соллогуба «наших» являлось серьёзной моральной поддержкой для самого стеснительного из них.

1 февраля — сразу же после визита Соллогуба! — заявлено о намерении поразить высший свет (хотя, повторяем, глагол «пустился» может быть истолкован как констатация действий уже совершённых). В следующем письме к брату, от 1 апреля, тема эта не возникает. Автор письма сообщает о реакции публики на «Двойника», о литературных новостях, о здоровье. «Идей бездна и пишу беспрерывно», — говорит он.

---

[*] В качестве потенциальных хозяев можно было бы, пожалуй, назвать ещё и Панаевых. Но это допущение маловероятно, так как у Панаевых Достоевский уже бывал. Если же он идёт туда впервые (15 ноября 1845 г.), то «дичиться» хозяина у Достоевского нет пока никаких причин, а с прекрасной хозяйкой гость, естественно, ещё не знаком.

[**] Отметим также одну второстепенную подробность (впрочем, кто возьмётся определить её настоящий размер?). В 1845 г. Соллогуб был в натянутых отношениях с Белинским и его кругом — из-за статьи критика о «Тарантасе». Статья не показалась Соллогубу достаточно лестной. (Не вызвана ли первоначальная неприязнь Достоевского к графу солидарностью с общей позицией «наших»?) Записка Белинского могла быть сигналом того, что мир заключён и идти к автору «Тарантаса» можно и даже должно. Сам раут «с литераторами», очевидно, замышлялся Соллогубом как акт примирительный. Достоевскому надлежало способствовать успеху предприятия.

[***] *Немзер А. С., Осповат А.Л.* Две заметки о Белинском // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1982. Т. 41. Вып. 1. С. 66–68.

Нет, не так ведут себя удачники, литературные везунчики, кумиры толпы! Замирая от нетерпения, поспешают они в гостиные и будуары («Сказала: “Будь смел” — не вылазил из спален. Сказала: “Будь первым” — я стал гениален...» — в этой мировой формуле следовало бы, пожалуй, поменять последовательность событий), — поспешают, дабы насладиться заслуженной славой или по меньшей мере убедиться в отсутствии таковой. «Пишу беспрерывно» — это удел непризнанных гениев: заслуженным талантам можно и отдохнуть...

«Я, брат, пустился в высший свет...» Полно; при всём уважении к автору мы позволим себе ему не поверить.

Ибо если февраль и март прошли в каждодневных трудах, следовательно, воинственные намерения остались только в проекте. Это, собственно, подтверждает и сам искуситель — хозяин салона, граф Соллогуб (никакой другой территории для «похождений» не просматривается). Он говорит, что «только месяца два спустя» после его приглашения автор «Бедных людей» появился наконец в его «зверинце».

Сам Достоевский не упоминает об этом визите.

Следующее письмо его к брату — от 26 апреля — представляет разительный контраст с предыдущими. В нём нет и тени былой хлестаковщины; ни малейших следов дебютной эйфории. Между 1 и 26 апреля должно было случиться нечто чрезвычайное. Достоевского поражает болезнь, и длится она, по-видимому, не менее двух-трёх недель.

Следовательно, визит к Соллогубу мог состояться в первых числах апреля. То есть как раз спустя те два месяца, о которых толкует граф.

«Лечение же моё должно быть и физическое и нравственное», — замечает Достоевский. Обморок у Виельгорских выглядит как первый приступ тяжёлой апрельской болезни. Да и сама болезнь могла быть спровоцирована волнением, пережитым «перед сонмищем князей».

Доктор Яновский, пользовавший больного, хорошо запомнит рассказ своего пациента. Не тогда ли было поведано ему о сентенции графини, которая взирала на нерасторопного Белинского и в *дурном вкусе* чувствительного Достоевского почти как на двух ковёрных?

Так сколь же часто бывал Достоевский в высшем свете?

Сам Соллогуб определённо говорит (и его слова благополучно игнорируются), что скромный дебютант появился у него *только однажды.*

В это — единственное! — своё посещение он становится свидетелем неловкости Белинского, «подслушивает» оскорбительную реплику хозяйки дома, наконец, сам падает в обморок. Подобная плотность событий почти немыслима в жизни, но как раз характерна для его романов, где единицей измерения часто бывает скандал.

«...Скоро, — продолжает граф, — наступил 1848 г., он (Достоевский. — *И. В.*) оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь...» Естественно, визиты прекратились.

Мемуарист полагает, что доверчивого читателя устроит подобное объяснение. Но ведь до ареста героя оставалось ещё целых три года! Не проще ли предположить, что впечатлительный гость не испытывал особого желания вновь побывать на месте своего позора? Следует, впрочем, отдать должное деликатности графа: будучи, без сомнения, свидетелем происшествия, он не считает возможным о нём распространяться... В отличие, скажем, от Панаева, который не только дважды (1847 и 1855) обыграл эпизод в печати, но, по-видимому, собирался капитально изложить его в своих позднейших воспоминаниях, чего сделать, однако, не успел, вследствие внезапной кончины.

Решившись посмеяться над Достоевским в *третий* раз, Панаев как бы понёс магическую кару. Что, впрочем, не остерегло других, даже не заметивших знака.

В своих предсмертных записях Достоевский глухо упоминает о какой-то ссоре своей с И.И. Панаевым. Возможно, следствием (или причиной?) этой ссоры был фельетон Панаева в четвёртом номере «Современника» за 1847 г., где содержался прозрачный намёк на известный (правда, уже годичной давности) обморок. У Панаева было злое перо. Разумеется, герой фельетона не мог не узнать себя. Отметим сходство отдельных фразеологических оборотов в панаевском тексте и в тексте «Послания Белинского к Достоевскому»: «Я, признаюсь... чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни...» (фельетон Панаева). «...И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет» («Послание»). Если даже Панаев не был одним из соавторов «Послания» (о такой вероятности будет сказано ниже), он выжал из происшествия всё, что мог. Не поддадимся соблазну усмотреть в этом факте наличие супружеской обиды: ведь перед А.Я. Панаевой Достоевский в обморок не падал!

...В апреле он был «при смерти в полном смысле этого слова». Может ли болезнь уврачевать дух?

Весной 1847 г., в Казани, восемнадцатилетний Толстой решает вести дневник: занятие, которое, несмотря на пробелы, он не оставит до конца своих дней. Первая запись (17 марта) гласит: «Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот уже шесть дней, как я почти доволен собой. *Les petites choses produisent de grands effets*[*]. Я получил *Гаонарею*, понимается от того, от чего она обыкновенно получается; и это пустое обстоятельство дало мне толчок, от которого я стал на ту ступень, на которой я уже давно поставил ногу...»

Досадное (и унизительное) физическое расстройство становится побудительной причиной начавшегося нравственного переворота, сподобливает автора дневника подняться на давно присмотренную, но до этого «пустого обстоятельства» никак не дающуюся «ступень». И юный Толстой, и старший его семью годами Достоевский, оба они, несмотря на существенную разность недомоганий, стараются обрести в своих несчастиях душевное исцеление.

О Господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной...

«Здесь я один, — продолжает свою больничную хронику будущий автор "Детства", — мне никто не мешает... Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души... (Ср.: «...Некрасов и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь: жаль, что у Толстого не было таких гувернёров! — *И. В.*). Отделись человек от общества, взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему всё в превратном виде...»[**].

Будет ли *помогать* Достоевскому его грядущий недуг? Станет ли он для него вечным напоминанием, грозным *memento mori*[***]?

Автор «Дневника писателя» не вёл дневников.

...Таков был печальный итог его «похождений». Единственное посещение большого света не принесло ему славы. Но — запомнилось крепко: к счастью для биографов, не только ему одному.

Что ж, теперь, пожалуй, можно по-новому датировать плод коллективных досугов — «Послания Белинского к Достоевскому»: не ранее апреля 1846 г.

---

[*] Малые причины производят большие следствия (*фр.*).

[**] *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 46. М.; Л., 1934. С. 3–4.

[***] Помни о смерти *(лат.)*.

Страсти вокруг каймы

Вернёмся, однако, к самому «Посланию».

Остановимся на последней строфе. В ней содержался намёк, который в 1880-м — спустя 34 года! — породил громкий литературный скандал.

Речь идёт о пресловутом требовании, которое Достоевский якобы предъявил своим издателям: обвести одно из его произведений особой печатной каймой, подчеркнув тем самым высокие достоинства текста.

Но, прежде чем обратиться к этой истории, зададимся вопросом: знал ли о «Послании» его герой?

А.Я. Панаева описывает выразительную сцену. Достоевский «в очень возбуждённом состоянии» является к Некрасову; между ними происходит бурное объяснение.

«...Оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу».

Осведомлённый читатель понимающе усмехнётся. Как же! Разумеется, Авдотья Яковлевна, втайне гордясь происшествием, описывает ссору двух ревнивцев, один из которых, бросив в лицо счастливому сопернику *жалкие слова*, с горестью покидает поле боя («в мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав»). Но в XIX в. мемуаристки ещё стеснялись сообщать широкой публике такие подробности! Поэтому Авдотья Яковлевна, покривив душой, указывает *литературную* причину.

Не в наших правилах в чём-то разубеждать читателя.

После ухода Достоевского Некрасов «дрожащим от волнения голосом» заявляет, что его посетитель «просто с ума сошёл»: «И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочинённый мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошёл».

Когда происходит сцена? Авдотья Яковлевна воссоздаёт её с точки зрения *хозяйки дома* (перемещающейся из кабинета Некрасова в столовую и обратно). Следует вспомнить, что осенью 1846 г. Некрасов жительствует уже в квартире Панаевых; так отныне будет всегда.

Поскольку никакой иной некрасовской эпиграммы на Достоевского мы не знаем, остаётся предположить, что речь идёт о «Посла-

нии». Однако, если даже «витязь горестной фигуры» извещён о *существовании* подобного опуса, это ещё не означает, что ему известен сам текст. Во всяком случае, авторы, зная обидчивость героя, не были особенно заинтересованы в том, чтобы это сочинение до него дошло.

Нет никаких указаний на то, что ранее весны 1880 г. (т. е. его *последней* весны) те или иные строки «Послания Белинского к Достоевскому» были знакомы адресату.

В мае 1880 г., когда разразился упомянутый литературный скандал (речь о нём ещё впереди), одна строфа «Послания» появилась в «Вестнике Европы»: редакция извлекла её из забвения как исторический аргумент. Так Достоевскому стала известна единственная (последняя) строфа, где имя его, впрочем, не называлось. Несколько позже он заносит в предсмертную записную тетрадь, что эти стихи «*без сомнения* не на меня написаны». Если бы он знал всё стихотворение (или хотя бы его название!), он бы, разумеется, думал иначе.

Впрочем, он думал бы иначе и в том случае, если бы после выхода с каторги, пребывая в Семипалатинске, имел возможность более основательно следить за столичной периодикой.

В декабрьском номере «Современника» за 1855 г. Новый Поэт (Иван Иванович Панаев: опять он!) предавал осмеянию некоего литературного кумирчика, которому автор фельетона и его друзья когда-то восторженно поклонялись. Кумирчик якобы потребовал от своего издателя, чтобы тот напечатал его произведение «в начале или в конце книги» и чтобы оно было обведено «золотым бордюром или каймою». Издатель, дабы угодить юному гению, немедленно согласился на все его условия:

Ты доволен будешь мною,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец!

Таким образом, последняя строфа «Послания» была впервые обнародована ещё в 1855 г.: герой был легко узнаваем (во всяком случае, 19-летний Добролюбов узнал немедленно). Однако ни в письмах из Сибири, ни позже Достоевский никогда не упоминает об этом навете. Знакомство со стихотворным текстом состоялось только через четверть века — в 1880 г., когда — в ходе полемики — в номере «Нового времени» от 3 мая В.П. Буренин изложил забытый панаевский фельетон*.

* Авторство В.П. Буренина мы устанавливаем из неопубликованного письма А.С. Суворина к Достоевскому от 12 мая 1880 г.

Но даже и теперь Достоевскому не хочется верить! Однако верить приходится. И в его последней тетради появляется запись:

«*Каторга*...

И мужик постыдится, он не попрекнёт “несчастного”».

Иначе говоря, автор «Мёртвого дома» не без горечи констатирует, что его бывшие друзья и единомышленники потешались над ним как раз в тот момент, когда он пребывал «в мрачных пропастях земли».

Здесь обнаруживается одна знаменательная аналогия. В своё время Достоевским были публично отвергнуты обвинения в том, что его повесть «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» — не что иное, как пародия на заключённого в Петропавловскую крепость Николая Гавриловича Чернышевского. Для него, бывшего узника этой крепости, подобные шутки — нравственно невозможны.

В 1855 г. Панаев с легкостью необыкновенной позволил себе то, в чём позднее был негодующе упрекаем автор «Крокодила». У Достоевского имелись основания заметить, что этика Нового Поэта несколько проигрывает в сравнении с этикой «мужика».

Однажды, говоря о Панаеве, Белинский со свойственным ему оптимизмом заметил: «От таких недостатков должно исправлять людей гильотиною». Но Панаев — «свой», поэтому ему легко прощается его «свистунское начало», выражающееся как в неуёмном стремлении поражать окружающих своими модными штанами, так и в его «бабьей страсти к сплетням литературным»: последним Новый Поэт был особенно славен.

«Кумирчик наш, — вовсю веселится Панаев, словно не ведая, где именно обретается в настоящий момент означенный “кумирчик”, — стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт... Бедный! Мы погубили его!..»

«О ком это писано? — негодующе откликнулся в 1918 г. Корней Иванович Чуковский. — О Достоевском! “Достоевский забыт”! И кто это пишет! Панаев, которого так прочно забыли, словно его и не было на свете. О, как бы изумился Панаев, если бы мог хоть на миг воскреснуть из своей забытой могилы и увидеть, что этот смешной Достоевский, этот ходячий анекдот, этот “прыщ” — есть величайшая святыня России, что он приворожил к нам Европу, которая увидела в нём залог, обетование и знамение наших сказочно-грандиозных судеб»*.

* В кн.: Неизданные произведения Н.А. Некрасова. С. 44.

Но каким образом через столько лет после предполагаемых событий вдруг снова всплыла эта история? Почему за восемь месяцев до смерти Достоевский вынужден был публично оправдываться в возводимых на него клеветах?

Апрель 1880: в журнале М.М. Стасюлевича «Вестник Европы» (издание, к которому близок весь тургеневский круг) печатаются одни из лучших русских воспоминаний — «Замечательное десятилетие» Павла Васильевича Анненкова.

Повествуя о славных днях, Анненков, разумеется, не мог не упомянуть Достоевского. Требование «каймы» — открыто, без каких-либо экивоков — влагалось в уста названного своим полным именем героя. Автор ещё не законченных печатанием «Братьев Карамазовых» представал перед всей читающей Россией в довольно-таки дурацком виде.

Либеральная («тургеневская») партия наносила своему давнему ненавистнику и оппоненту идейный удар, более похожий на личное оскорбление. Недаром Достоевский расценил этот выпад как акт моральной дискредитации, как попытку опорочить его писательский облик в глазах читающей публики («чтобы запачкать»).

Суворинское «Новое время», только и ждущее случая, чтобы почувствительнее задеть респектабельный «Вестник Европы», не без злорадства уличает Анненкова в клевете. Газета даёт точную библиографическую справку: в известных экземплярах «Петербургского сборника» никакой каймы нет.

Честь мемуариста была поставлена на карту — и он из Бадена немедленно высылает Стасюлевичу свои письменные оправдания. Автор «Замечательного десятилетия» горячо уверяет редактора, что он-де самолично видел первые экземпляры сборника «с рамками». Разумеется, это не намеренная ложь, а невольная аберрация старческой памяти. (Трогательно, что, уверяя Стасюлевича в её абсолютной надёжности, Анненков тут же именует первый роман Достоевского «*Добрыми* людьми».)

Любопытна также трансформация давних слуховых впечатлений в устойчивый зрительный образ. Дело в том, что в 1846 г. будущий воспоминатель покинул Петербург 8 января, то есть за четыре дня до появления цензурного разрешения на выход «Петербургского сборника» и примерно за одну-две недели до его поступления в продажу. Так что сам он «видеть» ничего не мог — он мог только *слышать*.

Ни одного экземпляра «Петербургского сборника» с «каймой» доселе не обнаружено.

Неточности в воспоминаниях Анненкова были отмечены не только на родине их автора. В той же апрельской книжке «Вестника Европы» мемуарист поведал о своих встречах с Карлом Марксом (они познакомились в Брюсселе весной 1846 г. — как раз после отбытия Павла Васильевича из Петербурга). Анненков, в частности, излагает разговор Маркса с одним русским «степным помещиком»*. Этот номер журнала попался на глаза Марксу, который наконец-то *обратил свои взоры* к России и, как бы томясь тайным предчувствием, принялся за изучение языка («Я русский бы выучил только за то...»). Анненков подвернулся как нельзя кстати. На полях 496-й страницы «Вестника Европы» основоположник сделал следующую выразительную помету: «Это ложь! Он (т. е. помещик. — *И. В.*) ничего подобного не говорил»**.

Таким образом, Анненков-мемуарист подвергся критике не только в Петербурге. Его не одобрили и в Лондоне. Интересно: добрался ли Маркс до эпизода, где фигурировал Достоевский, и сказала ли ему что-нибудь эта фамилия?

Встречи и переписка с Марксом относятся к тому весьма непродолжительному периоду в жизни Анненкова, когда он мог позволить себе известное вольномыслие. Правда, те, кто хорошо изучил характер Павла Васильевича, никогда не обольщались на этот счёт. В 1856 г. Некрасов и Дружинин жестоко отделали своего приятеля в совместно написанной эпиграмме (чувство юмора в 40-е и 50-е годы тесно увязано с чувством коллективизма):

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьёт себя по ляжке,
В нём наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей чёрств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.

Замечательно, что Анненков (точно так же, как и Достоевский в случае с «Посланием») почти четверть века ничего не ведал об

---

* К.И. Чуковский установил, что речь идёт о Григории Толстом, приятеле Некрасова и Панаева. См.: Лит. наследство. Т. 49–50. С. 365–396.

** См.: *Ан<дреев>ский С.А.* К характеристике Маркса // Рус. мысль. 1903. № 8. 2-я пагин. С. 63. Автор статьи утверждает, что эту книжку «Вестника Европы» Маркс читал «с большим вниманием»: многие страницы отмечены его синим карандашом.

этой характеристике: вплоть до возникновения «дела о кайме», когда Суворин, желая побольнее уязвить оппонента, опубликовал указанную эпиграмму в «Новом времени» (4 мая 1880 г.). Разобиженный Павел Васильевич не нашёл ничего лучшего, как приватно возразить, что он «фуражки — ей-Богу — никогда не носил» и что «это напраслина»[*].

Впрочем, по сравнению с «каймой» «фуражка» выглядела сущей безделицей.

Достоевский не мог поверить в то, что он является адресатом «Послания». В свою очередь, Анненков, ознакомившись с эпиграммой на себя, усомнился в авторстве Некрасова: «А впрочем может быть и он состряпал — таков был человек».

Полемика вокруг «каймы» сильно огорчила мемуариста. Спустя три месяца, когда, казалось бы, должны были стихнуть страсти, он, всё ещё негодуя, пишет Стасюлевичу, что прибывающая в Карлсруэ великая княгиня Мария Максимилиановна (внучка Николая I и дочь того самого «Лейхтенберга», который некогда «уважал» Достоевского) «упорствует считать меня порядочным и честным человеком, несмотря на все возражения “Нового времени”. Вероятно — не читает его»[**].

Надо полагать, Достоевский негодовал не меньше. Он даже положил не подавать руки Павлу Васильевичу, если вдруг встретит его на Пушкинском празднике в Москве. Они действительно встретились — и Анненков наградил Достоевского поцелуем: интересующихся подробностями отсылаем к другой нашей книге[***].

Между тем «Вестнику Европы» надо было срочно спасать лицо, ибо, доверившись мемуаристу, редакция попала в пренеприятное положение. Дабы не усугублять конфуз, Стасюлевич, естественно, отказался воспроизвести в печати путаные и маловразумительные оправдания своего баденского корреспондента. Издатель обратился к другому лицу — единственному благополучно здравствующему автору «Послания». Именно Тургенев, находившийся в эти дни в Петербурге, поспешил подтвердить истинность слов своего старого друга, заменив при этом, однако, «Бедных людей» на никому не ведомый «Рассказ Плисмылькова». (Что окончательно запутало дело. Ибо «Рассказом Плисмылькова» первоначально (в журнальном объявлении) именовался будущий рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в 1848 г. в запрещённом цензурой «Иллюстрированном

[*] М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3. С. 387.
[**] Там же. С. 387, 390.
[***] См.: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. М., 2017. С. 385, 390.

альманахе» Некрасова и Панаева. Никакой «каймы» вокруг «Ползункова» в дошедших до нас экземплярах нет*.)

Конечно, в редакционном ответе «Вестника Европы» нет прямой ссылки на новый источник информации (т. е. на Тургенева), да и в качестве сочинителей «Послания» упомянуты лишь покойники (Некрасов и Панаев). Тургенев предпочёл сокрыть своё участие под неопределённым «и др.». У живого автора, и без того состоявшего в сложных отношениях с героем, не было ни малейшего желания настаивать на своих правах. Но, разумеется, именно с его слов была обнародована на страницах журнала последняя строфа «Послания» — с прозрачной заменой рифмующего слова «подлец» вызывающе деликатными точками... Скромность чрезмерная, особенно если вспомнить, что указанная строфа уже опубликована Панаевым в 1855 г., причём в неурезанном виде.

«Новое время» ответило на объяснения «Вестника Европы» очередными насмешками, а 18 мая Суворин уже от имени самого Достоевского опубликовал решительное опровержение журнальной сплетни. Полемика оборвалась...

Но не оборвалась *традиция* («...ставши мифом и вопросом» — как в воду глядели авторы «Послания»: действительно *мифом* и действительно *вопросом*). История с «каймой» периодически всплывала в той или иной мемуарной интерпретации, причём надо заметить, что все версии в конечном счёте восходят к Тургеневу. Достоевский, правда, до этого уже не дожил. И хотя нынешние исследователи склонны сюжет с «каймой» считать чистейшим, ни на чём не основанным вымыслом**, настойчивость упоминаний заставляет поискать какие-то реальные обстоятельства, хотя бы и до неузнаваемости искажённые логикой мифа.

Для того чтобы отвергнуть легенду, необходимо постичь её механизм.

Кто в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отличить «Бедных людей»? Разумеется, сам издатель. Он прекрасно понимал, что «эта штука» (похитим у будущего бессмертную формулу) если и не посильнее «Фауста» Гёте, то тем не менее всё же способна стать

* В «Иллюстрированном альманахе» 1848 г. «Ползунков» (т. е. «Рассказ Плисмылькова») снабжён рисунками П.А. Федотова. Это единственное произведение Достоевского, иллюстрированное в 40-е годы. В тексте альманаха «Ползункову» непосредственно предшествует рассказ А.В. Станкевича «Дурак Федя»: справедливо ли усмотреть в этом *случайном* соседстве тонкий выпад издателей против одного из авторов?

** См. обстоятельную и конструктивную работу В.Н. Захарова «По поводу одного мифа о Достоевском» (Север. 1985. № 11. С. 113–120).

главной приманкой «Петербургского сборника». И Некрасов действительно *выделяет* роман, открывая им свой альманах.

Ни о какой «кайме» толков пока нет. Правда, говорят о другом: об иллюстрациях.

Что собираются иллюстрировать?

Открыв «Петербургский сборник», каких-либо картинок к «Бедным людям» мы там не обнаружим. И всё же они существовали. Указания на это содержатся по меньшей мере в двух независимых друг от друга источниках.

Во-первых, свидетельство художника П.П. Соколова: ему были заказаны Некрасовым иллюстрации к роману.

Во-вторых, «Северная пчела». Её сотрудник Л.В. Брандт, как и следовало ожидать, был покороблен «великолепно-картинным» объявлением о «Петербургском сборнике», которое он углядел в кондитерской на Невском проспекте.

Без риска ошибиться можно утверждать, что речь у Брандта идёт о первых в мире иллюстрациях к сочинениям Достоевского.

Выше уже говорилось, что булгаринская газета встретила дебютанта решительным поношением. И на сей раз упоминание о «Бедных людях» выдержано в таком же глумливом тоне. Но для нас в данном случае важна не оценка, а информация. Очевидно, те самые рисунки Соколова, которые по неизвестным причинам не попали в печатный текст, были использованы для рекламы. И не исключено, что автор «Бедных людей», так и не дождавшийся обещанных иллюстраций, высказал в связи с этим своё неудовольствие.

Подобные огорчения не могли укрыться от его весёлых литературных друзей: об этом свидетельствует блистательное «Послание».

Но что удивительно. Кроме указанного стихотворного текста (32 строки), не существует *ни одного* относящегося к 40-м годам источника, где бы упоминалась история с «каймой». Ни в переписке современников, ни в их дневниках на это нет и намёка. Каким же образом такой соблазнительный факт мог ускользнуть от внимания друзей и врагов? Белинский, например, сообщает о Достоевском «анекдоты» куда менее занимательные. О «кайме» же впервые вспоминают лишь в 1855 г. (фельетон Панаева): тут уже она повышена в ранге и именуется «золотым бордюром». В самый момент происшествия «нехудожественные» известия о нём отсутствуют.

Всё это наводит на мысль, что слух о «кайме» возрос не на основе конкретного, достоверно известного и твёрдо зафиксированного в общественной памяти события, а синтезировался из разного рода пересудов и кривотолков. Но как возникли эти последние?

И снова сквозь *шум времени* (который, как водится, большей частью состоит из звуковых помех) доходит до нас слабый голос героя. Доходит, правда, не «напрямую», а в позднейшей передаче Константина Леонтьева. Да и сам Константин Леонтьев в данном случае лишь ретранслятор: он старательно воспроизводит рассказ Ивана Сергеевича Тургенева.

Тем не менее — вслушаемся.

«Знаете, — *мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести*!»

Вот она, криминальная фраза! Очевидно, на этих (действительно неосторожных!) словах и основывались авторы «Послания». Для них совершенно безразлично, когда и при каких обстоятельствах слова эти были произнесены.

Между тем самое замечательное тут — это интонация: она прорывается сквозь двойные литературные фильтры. В словах Достоевского нет ни гордыни, ни самоупоения; тон здесь скорее просительный, почти защитный («*каким-нибудь* бордюрчиком»!). Нам как-то уже приходилось говорить, что так мог бы изъясняться и Макар Девушкин.

К какому же тексту относится указанная просьба?

«Бедные люди» и «Двойник» уже опубликованы, «Рассказа Плисмылькова» («Ползунков») нет ещё и в намётках. Между тем Белинский, увлечённый издательским успехом Некрасова, затевает собственный сборник — «Левиафан». Достоевский, поспешая, пишет для него повесть «Сбритые бакенбарды».

Справедливо замечено, что по буквальному смыслу «Послания» его герой «потребовал обвести каймой произведение, которое просто не существовало». А этого быть не могло, поскольку «Достоевский так не шутил»[*].

Не было текста — не было и просьбы о «кайме». Но, может быть, Достоевский и позволял себе такие шутки именно потому, что произведение ещё не написано?

На титульном листе «Петербургского сборника» значится: «Некоторые статьи иллюстрированы». И это действительно так. К примеру, стихи Тургенева украшены 19 отличными рисунками, а рассказ Панаева — 25 политипажами! В «Бедных людях» обещанные ранее иллюстрации отсутствуют. Так отчего же не намекнуть непрактичному Белинскому, что недурно бы в предполагаемом «Левиафане»

[*] Север. 1985. № 11. С. 118.

украсить предполагаемую повесть хотя бы «каким-нибудь бордюрчиком» (сиречь иллюстрациями), раз чести этой удостаиваются и другие авторы. Чем он, Достоевский, хуже остальных?

Попробуем на минуту *отвлечься* и представить, как происходит дело. (Мысленная инсценировка — при скудности документов — не худшая форма познания.) Честная компания сидит у Белинского и обсуждает альманашный проект. Некрасов, Тургенев, Панаев — люди в издательском деле тёртые — наперебой предлагают: мне хорошо бы такие-то иллюстрации, мне — такие-то... Достоевский, ущемлённый, как помним, художниками «Петербургского сборника», робко встревает: и мне... Какое, однако, самомнение!

Между тем он требует не преимуществ, а равенства. И если бы речь шла именно о рисунках, никому бы не пришло в голову обыгрывать этот сюжет. Но герой, к несчастью, выражается непрямо. Он предпочитает иносказания. Эвфемистическое «бордюрчик» — бесценный подарок литературным остроумцам. Они подхватывают словцо и превращают его в *улику*.

Через тринадцать лет, в письме к брату из Семипалатинска, обсуждая планы переиздания «Бедных людей», Достоевский заметит: «Как бы хорошо сделал Кушелев, если б издал с иллюстрацией! Это было бы очень хорошо».

Опять интонация: не сожаление ли об упущенных некогда возможностях?

И, наконец, последнее.

«Обведу тебя каймою, помещу тебя в конец», — сулит обозлённый издатель. То есть? То есть преподнесу твой текст так, как положено, увы, подавать в печати неизбежные *горестные заметы*... Не намекалось ли тут самым невинным образом, что требующий «каймы» как бы печётся о собственном некрологе?

Итак, если «каймы» физически не существовало, то, как полагают иные, «что-то без сомнения было». И это «что-то» принадлежит к тому же ряду *двоящихся* сюжетов, которые словно для того и возникают, чтобы подчеркнуть соблазнительное сходство (первым соблазнился Белинский) между автором и героем «Двойника».

Отозвавшись в 1877 г., что «повесть эта мне положительно не удалась», Достоевский тут же добавляет: «...серьёзнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».

Двусмысленная судьба «Двойника»...

К истории болезни

Главы из повести читались у Белинского ещё в декабре 1845 г.: об этом много лет спустя поведал сам Достоевский. Избирательная, как у всех авторов, память запечатлела подробности. Тургенев, прослушавший половину, «похвалил и уехал» («очень куда-то спешил», — добавляется в скобках, — и эта *тридцатилетней выдержки* ирония свидетельствует о незабытых обидах). Самому же Белинскому всё, что ни пишет его литературный крестник, нравится как бы по инерции. Правда, в его печатном отзыве уже различимы мягкие укоряющие нотки.

Это едва наметившееся охлаждение гораздо откровеннее заявляет о себе в коллективном «Послании»: «Из неизданных творений удели не „Двойника"». И не знающий этих строк, но известный своей чуткостью герой более всего огорчён тем обстоятельством, что «наши» (и прежде всего — Белинский) недовольны им «за Голядкина».

Впрочем, первый истолкователь «Бедных людей» ещё столь пламенно верует в возможности молодого таланта, что, торопя Герцена поскорее дать повесть в проектируемый «Левиафан», уверяет своего корреспондента, что она (повесть) была бы в альманахе капитальною вещью, «разделяя восторг публики с повестью Достоевского» («Сбритые бакенбарды»): последней между тем ещё не существует в природе, и она никогда не будет дописана.

Неуспех «Двойника» вызывает у его создателя сильнейшие душевные муки. И если первое сообщение брату, будто *литературные* переживания повели к тому, что автор «заболел от горя», выглядит столь же литературно, то подробности, явившиеся позже (после обморока у Виельгорских), не оставляют сомнений в том, что апрельский кризис 1846 г. потряс весь его организм.

«Каждый мой неуспех производил во мне болезнь», — скажет он позднее.

Речь зашла о здоровье: о том, чего Достоевскому всегда не хватало.

В отличие, скажем, от Пушкина или Толстого он не был человеком физически крепким. К нему легко привязывались мелкие телесные недуги. Его преследовали нервические расстройства. Все воспоминатели отмечают бледность его лица.

В год своего дебюта он всё время меняет квартиры — словно одержимый каким-то тайным беспокойством. Душевная неприкаянность прежде всего воплощается в быте: он буквально не может найти себе места.

Он любит селиться в угловых домах — в точке схождений и пересечений — там, где запинается линейный ритм городской застройки и просматриваются разные пространственные возможности. При этом он отдаёт предпочтение тем квартирам, из окон которых можно наблюдать церковные купола и шпили: зримые знаки обетованной миру гармонии.

Но пока гармонии не предвидится — не только в мире, но и в одной, отдельно взятой душе...

За несколько лет до смерти он продиктовал Анне Григорьевне, именуя себя в третьем лице, краткую свою биографию (сделано это было в первый и единственный раз — по чьей-то настоятельной просьбе). Не без гордости поведав о беспримерном успехе «Бедных людей», автор далее замечает: «Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям».

Сами «литературные занятия» — не столь, заметим, малозначительные — не расшифрованы хотя бы в названиях. Зато «нездоровье» упомянуто как важный (пожалуй, даже решающий) биографический фактор. Ни с каким другим периодом своей творческой жизни Достоевский не будет так тесно увязывать указанное обстоятельство.

И тут является мысль: сугубо ли медицинскими причинами были вызваны его тогдашние недомогания? Или же естественные расстройства усугублялись отчасти их *литературным* происхождением?

Ни в детстве, ни в юности (т. е. *до* начала серьёзных занятий словесностью) никаких признаков эпилепсии у Достоевского не наблюдается. Правда, доктор Яновский говорит о каких-то нервных явлениях (может быть, галлюцинациях? вспомним: «Волк бежит!»), которым, по словам его пациента, тот был подвержен в детские годы. Но только к одной эпохе — «вступлению на поприще» — сам больной относит зримое торжество мучившей его болезни.

Внимательный наблюдатель, он совершенно отчётливо характеризует своё состояние 1845–1849 гг. как душевную болезнь. Он избавится от неё только на каторге, которая, по его словам, обновит его физически и духовно. Но ведь именно на каторге — опять же по его собственному счёту — настигнет его эпилепсия. Как примирить эти, на первый взгляд, несовместимые вещи? Одна ли болезнь вытеснила другую? Или за счастливое исцеление от «болезни нравственной» пришлось заплатить столь высокую цену?

С эпилепсией у Достоевского обычно соединяется равнодушие к женскому полу.

О Смердякове замечено:

«...Женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Фёдор Павлович Карамазов стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения...

— С чего у тебя припадки-то чаще? — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. — Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?..

Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал».

Обладающий немалым житейским опытом, Карамазов-старший склоняется, очевидно, к мысли, что обострение природной болезни Смердякова сопряжено с вынужденным и не всегда полезным в его возрасте воздержанием. Правда, сам больной таковым обстоятельством вроде бы не удручён.

Высказывалась мысль, что появление у Достоевского эпилепсии (в её «классической» форме) именно на каторге связано с теми же неудобствами, которые вызывали искреннюю озабоченность Фёдора Павловича Карамазова. Намекалось даже, что сама эта болезнь была неизбежным следствием слишком резкого перехода от вольного петербургского житья к суровой каторжной прозе.

Эта гипотеза не хуже всех остальных, хотя не вполне ясно, почему болезнь не пошла на убыль вместе с уничтожением вызвавших её причин.

В «Идиоте» Рогожин и князь Мышкин обмениваются следующими суждениями:

«— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!

— Я н-н-нет! Я ведь... Вы, можете быть, не знаете, я ведь по прирождённой болезни моей даже совсем женщин не знаю».

«Незнание» женщин князем — прямой результат его недуга, в то время как у Смердякова сама болезнь, возможно, провоцируется высокомерной нравственностью героя.

Для эпилептиков Достоевского характерна некоторая непроявленность пола. «Священная болезнь» не только не подстёгивает половой инстинкт, но скорее притупляет его.

Всё это, разумеется, не означает, что анамнез автобиографичен: у Достоевского сложные отношения со своими героями.

Сложные отношения у автора «Двойника» и с самим собой. В одном из писем к брату он просит простить его за то, что был «угловат и тяжёл», гостя у него в Ревеле, и «нарочно злился» даже на маленького Федю (племянника, названного так, разумеется, в его честь).

Он говорит, что был «смешон и гадок», приписывает это своему болезненному состоянию и выказывает раскаяние. Он знает о своём нелёгком характере, осуждает свои «уклонения» и просит поверить, что вовсе не они составляют его человеческую суть. Он занят не только самоанализом, но и тем, что позже будет названо им *самоодолением*.

Его всегда занимало, что думают о нём окружающие. Но в эти годы из всех своих современников он наиболее дорожит мнением одного. Он трудится с постоянной оглядкой на этого человека — того, чей образ всю его жизнь не будет давать ему покоя.

Чехов заметил, что царствование Белинского было для автора «Бедных людей» существеннее, чем царствование императора Николая.

Русский мат с идеологической подоплёкой

«К нему, — говорит П.В. Анненков о Белинском, — всегда являлись несколько *по-праздничному*, в лучших нарядах, и моральным нерях нельзя было перед ним показаться...»

«Лучшим нарядом» Достоевского были «Бедные люди». Праздник, однако, длился недолго.

Три капитальных момента определяют стремительное сближение и последующее расхождение... — ученика и учителя, по старой школьной привычке чуть было не обмолвились мы, но на ходу сообразили, что эти определения здесь не вполне уместны. Итак, три момента («три составных части...» — если уж на то пошло). Во-первых, эстетика. Во-вторых, проблемы общего мировоззренческого толка. И, наконец, меняющаяся литературно-журнальная ситуация.

Всё, что писал Белинский о Достоевском в «Отечественных записках», отмечено превосходной степенью. Даже указания на отдельные недостатки должны были льстить самолюбию: недостатки эти сопрягаются с избытком таланта, ещё не ведающего собственных сил.

Всего около полутора лет Достоевский мог числить себя принадлежащим к ближайшему окружению Белинского. Он вхож не только в духовный мир критика: он принимает посильное участие в его издательских и даже домашних делах. Когда весной 1846 г. жена Белинского вместе с сестрой и годовалым ребёнком отправляется на воды в Гапсаль, Достоевский предваряет их приезд в Ревель письмом к брату, где даются подробнейшие инструкции относительно

приискания для Белинских «порядочной няньки». Он умоляет Михаила Михайловича оказать дружественному семейству всяческое содействие и гостеприимство.

Пока Достоевские приискивают няньку для дочери Белинского, сам глава отъехавшего в Ревель семейства путешествует по югу России.

Осенью 1846 г. все, как и положено, сходятся в Петербурге. Но за лето успели произойти события, которые явятся полной неожиданностью как для Белинского, так и для его литературного протеже.

Об этих изменившихся обстоятельствах будет сказано ниже. Пока остановимся на изменившихся *оценках*.

«...Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе», — жалуется Достоевский брату в ноябре 1846-го. Он словно предчувствует недоброе.

Предчувствия оправдались. В первой же статье Белинского в первом номере обновлённого «Современника» (январь 1847-го) Достоевский помянут в тональности, прежде к нему не применимой. Правда, и тут об авторе «Бедных людей» и «Двойника» сказано несколько сочувственных слов. Однако третья его вещь, «Господин Прохарчин», напечатанная в «Отечественных записках», оценена неприязненно.

Хотя и в ней Белинский усматривает искры таланта, он раздражительно замечает, что искры эти сверкают «в такой густой темноте, что их свет ничего не даёт рассмотреть читателю».

В мае тон ещё более ужесточается. Возникают — что ранее полностью исключалось — откровенно насмешливые нотки.

О «Хозяйке» говорено с таким негодованием («что-то чудовищное», «странная вещь! непонятная вещь!»), какое может быть сравнимо лишь с восторгами, возбуждёнными «Бедными людьми». А в предназначенном исключительно для дружеских глаз послании (П.В. Анненкову) Белинский прилагает к новой повести Достоевского уж вовсе непечатные определения*.

В 60-е годы Тургенев тактично предположил, что прославление Белинским «свыше меры» «Бедных людей» «служило доказательством

* Письма Белинского (с несколько смягчённой издателями формулировкой: «Хозяйка» названа здесь «нервической *чепухой*», хотя в подлиннике употреблено более энергическое выражение) были опубликованы в № 187–188 «С.-Петербургских ведомостей» за 1869 г. и вполне могли стать известными находившемуся в то время за границей, но по мере сил следившему за отечественной прессой Достоевскому. Таким образом, спустя двадцать с лишним лет он имел возможность ознакомиться с «внутренними» отзывами «наших», что, конечно, могло лишь усилить его раздражение против изображаемых в «Бесах» «людей 40-х годов».

уже начинавшегося ослабления его организма». Казалось бы, пришедшее наконец прозрение должно свидетельствовать об окрепшем здоровье.

Увы, увы! Знаменитое — «надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!» — доносится почти из гроба: жить Белинскому остаётся всего чуть-чуть.

Выходит — *не* благословил?

Через тридцать примерно лет Достоевский запишет в рабочей тетради: «При огромном таланте можно высказать много чувств (Белинский), но всё-таки не быть критиком».

Он не отказывает Белинскому в таланте. Он не отказывает ему в чувстве. Он ставит под сомнение его профессионализм.

В той же рабочей тетради замечено: «Человек ограниченный (Белинский), который не в состоянии разглядеть в виновном невиноватого, а в ином и праведном виновного. Уж у него, кого признал праведным, — вечно праведен, а злодеем — тот вечно злодей».

Современники отмечают, что в своих симпатиях и антипатиях Белинский, напротив, был непостоянен, как женщина.

Кому же прикажете верить?

Верить приходится всем. Ибо по сути речь идёт об одном. С переменой точки зрения Белинский радикально уничтожал всё, с этой точкой зрения связанное. Он не ведал полутонов. Он не включал в своё *новое* понимание ни одного из элементов понимания старого. Неумение разглядеть в невиновном виновного и т. д. — не намекает ли это на отсутствие той душевной пластичности, которая только и позволяет оценить явление в *разных* его ипостасях, обозреть его с *разных* сторон?

Конечно, Белинский «вне середины». В этом — его сила. Но в этом же — слабость. «И — и» не для Белинского. Диалектический метафизик, он признаёт лишь «или — или». Он верен принципам, в которые свободно уверовал — и ничто не в силах поколебать в нём эту фанатичную убеждённость. Искусство должно споспешествовать исправлению нравов! Нравы, как видим, ухудшились, а искусство всё ещё живо.

«Я меняю убеждения, это правда, — говаривал “первый критик”, — но меняю их, как меняют копейку на рубль!»

Он был нерасчётлив, но искренен.

Да, Белинский был искренен: и тогда, когда превозносил «Бедных людей», и тогда, когда два года спустя признавался, что трепещет при мысли перечитать их. К счастью, он, кажется, так и не успел этого сделать: *первое* чувство (которое, как свидетельствует опыт, нередко оказывается самым верным) не подверглось ревизии ожесточённого критического рассудка.

Рассудку, впрочем, было отчего ожесточиться. Ибо время с 1846 по 1849 г. оказалось для Достоевского периодом *проб* (благозвучие требует непременного «и ошибок», но мы, затруднившись расшифровкой термина, пожертвуем им вовсе). Автор «Бедных людей» нимало не убеждён, что, сочинив этот роман, он раз и навсегда решил вопрос о творческом методе. Он находится в постоянном поиске, «сталкивая», казалось бы, взаимоисключающие приёмы письма и отваживаясь на рискованные художественные эксперименты. («В моём положении однообразие — гибель»).

Белинского, только недавно провозгласившего принципы новой реалистической поэтики, не мог не насторожить гипертрофированный психологизм «Двойника». Размытое, двоящееся, «несфокусированное» изображение представлялось ему отходом от этих принципов. Рецидивы поверженного романтизма, обнаруженные в «Хозяйке» (этой негодной попытке «помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя»), должны были окончательно вывести его из себя.

Особого неудовольствия удостаивается «фантастический колорит». «Фантастическое, — строго замечает критик, покоряя друга-читателя неоспоримостью аргумента — в наше время может иметь место только в домах умалишённых, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов... В искусстве не должно быть ничего тёмного и непонятного...» Не будем, однако, спорить с этой замечательной мыслью: автор не виноват, что он не дожил до лучших времён и не читывал того, что читывали мы...*

...Какое, всё же, подспорье для совести и души — счастливое озарение, что Александр Андреевич Чацкий несколько не в себе! Сколь утешительна эта мысль, а главное, сколь необходима она

* А ведь писано тем же автором в 1840 г.: «Фантастическое есть тоже один из романтических элементов духа, который должен быть развит в человеке, чтоб он был человеком» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. III. С. 506.). Неужели так скоро всё это принесено в жертву новейшим откровениям позитивизма? И «фантастическое» изгоняется потому, что и религия может быть отнесена к этой туманной области духа?

при всех наших недоумениях и печалях! И вот уж велено докторам ежедневно свидетельствовать себя не сознающего басманного жителя и оказывать ему всяческие пособия и попечения. Можно ли не умилиться мягкосердечию высшей власти, избавившей бедного больного от заслуженных им взысканий! И мы облегчённо вздыхаем, уверясь в том, что смущавшие нас парадоксы — всего лишь следствия гибельных для здоровья занятий, частых и непомерных напряжений ума. Но, Боже правый! Зачем ненавистники власти так рабски копируют её же приёмы, и не из того же ль посева возрос этот жалкий ребяческий плагиат? Двусмысленный шепоток предшествует появлению «Выбранных мест», а по выходе их разносится громовое: «Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...» «Конечно, конечно, лечиться!» — радостно подхватываем мы, желая отклонить от неосторожного автора ещё более мрачные подозрения. Конечно, лечиться — в спецучреждениях, в психушках — к вящей пользе тех, кто, как выяснилось, скорбен главой. Ибо помыслить их здоровыми — значит признать безумными самих себя. Лишь бы не догадаться, что наша история — это *история болезни*: всё дело в неадекватности отдельных лиц!

«Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный», — говорит Достоевский. На дворе осень 1846 г. Но отношения не могут долго оставаться «добрыми», если само добро понимается розно.

Справедлива мысль, что, будучи одним из «виновников» такого явления, как Достоевский, Белинский влиял на будущего автора «Братьев Карамазовых» «*вовсе не как критик*» (вернее, не только как критик)*. Гораздо могущественнее было его воздействие как идеолога и ересиарха.

Если вера Достоевского прошла через «горнило сомнений», можно сказать, что впервые это горнило раздул Белинский.

«...Он тотчас же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма». Так говорит автор «Дневника писателя» в 1873 г.

Атеизм становится мировой религией.

За четыре года до знакомства с автором «Бедных людей» Белинский писал В.П. Боткину, что он не может веровать «в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, <- — -> под себя, окружён-

* См.: *Виноградов И.* Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика // Знамя. 1986. № 6. С. 230.

ный сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отрадно... — заключает Белинский, — плевать ему в его гнусную бороду».

Крепкие выражения употреблялись, как видим, по поводам не только литературным.

В 1842 г., сообщая тому же корреспонденту о внезапной смерти 25-летней жены А.А. Краевского (старшей сестры Авдотьи Яковлевны Панаевой), Белинский позволяет себе не меньшее богохульство. «Велик Брама — ему слава и поклонение во веки веков!.. Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьёт-то нас, не думая о нас, а так — надо ж ему что-то делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли — он слушает их с цыгаркою во рту и только поплёвывает на нас в знак своего внимания к нам».

Сказано также неслабо.

Конечно, отсюда ещё далеко до принципиального неверия: отрицается, скорее, определённый тип религиозности. Но доводы подобного рода запоминаются крепко. Не эта ли сокрушительная аргументация была обрушена на голову Достоевского при вступлении его на поприще?

И не тогда ли незамутнённая «слезинка ребёнка» (вспомним французский рассказ), утрачивая свойственную ей литературность, начала отливаться в грозное философское вопрошение?

«...Я *страстно* (выделено нами. — *И. В.*) принял всё учение его», — говорит Достоевский. «Всё учение» означает и «бунт». Богоборческие инвективы Ивана, его этически неопровержимые «contra» — всё это столь выстрадано и *страстно*, что заставляет задуматься о возможных автобиографических мотивах.

(Да: «...принял всё учение его». Весной 1846 г., сообщая брату литературные новости, Достоевский роняет загадочную обмолвку: «Пропускаю жизнь и моё *учение*...» В многозначительно подчёркнутом слове желательно бы, конечно, углядеть тайный намёк на успехи Белинского в духовном совращении своего прозелита.

Но с равным основанием нам могут указать и на конкурентов — помянутых выше Минушек и Кларушек... В жизни всё смешалось, почти как в доме Облонских, и кто возьмётся по прошествии столь-

ких лет без риска ошибиться отделить идейных агнцев от безыдейных козлищ?..)

Славно, что мы хотя бы имеем возможность прислушаться к спору.

«— Да знаете ли вы, — взвизгивал он (Белинский. — *И. В.*) раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился, обращаясь ко мне), — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведён к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже захотел»[*].

Творец сам виноват, что не создал человеку приличных условий: тогда бы и он, человек, смог бы вести себя много пристойнее!

Достоевскому тоже довелось размышлять над коварным вопросом.

«Делая человека ответственным, — напишет он в 1873 г., — христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку».

«Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать?»[**]

Кажется, Белинский мало преуспел, обращая Достоевского в свою веру (вернее, в своё без-верие). Слишком различен был их духовный состав. Зато почти безошибочно можно обозначить общую точку. Это жгучий интерес к проблеме теодицеи (т. е. богооправдания, снятия вины с Творца за существование мирового зла). Ни Белинский, ни Достоевский вовсе не приходят в восторг от несовершенства творения. Но в их кажущемся единомыслии таится нота смертельного разлада.

Строго говоря, аргументация Ивана Карамазова неопровержима с точки зрения формальной логики. Алёшино «Расстрелять!» — красноречивое тому свидетельство. Но у Алёши есть запасной козырь —

[*] Дневник писателя. 1873. Январь. *Старые люди.*

[**] Там же.

тот, который одинаково чужд как брату Ивану, так и «предтече» Ивана — Виссариону Белинскому. Белинский полагал, что в творение только ещё предстоит внести искупающий его смысл. По Достоевскому, такие обетования уже даны.

В 1867 г., находясь за границей, он пишет для готовящегося в России литературного сборника статью «Знакомство моё с Белинским». Работа подвигается туго, и в одном из писем можно отыскать намёк на причину авторских мучений: «Только что притронулся писать и сейчас увидел, что возможности нет написать *цензурно*...»

Статья (немалая по объёму) была всё же написана, отослана и — бесследно исчезла. Она не найдена до сих пор. Однако ряд косвенных указаний позволяет понять, какой именно аспект смущал мемуариста.

В своём кругу Белинский никогда не стеснялся в выборе выражений. Отвергая христианскую доктрину как не соответствующую новому гуманизму и новой морали, Белинский, естественно, не мог щадить и Того, чьим именем обозначалась традиционная вера.

Между тем имя это исполнено для Достоевского высочайшего обаяния и смысла.

При каждом упоминании Белинским Иисуса Христа у будущего автора «Карамазовых» мгновенно менялось лицо — «точно заплакать хочет...». «Учитель» бил в самую уязвимую точку. Его собеседник мог простить ему многое, мог даже понять необходимость «бунта». Но Белинский, как бы дразня «чуть не плачущего» Достоевского, употреблял крепкое словцо (оно, как помним, наличествовало в последней строфе «Послания», однако применительно ко Христу не имело ни малейших шансов появиться в печати). Это было непереносимо, и через много лет вспоминалось как тяжёлое личное оскорбление.

Через много лет... Если бы (попробуем вообразить) в семидесятые годы того же столетия кто-либо из знакомцев героя позволил себе такую стилистику, можно не сомневаться, что всякие отношения с кощуном и охульником были бы прерваны. С Белинским отношения сохраняются. (Разрыв произойдёт позднее и, как мы убедимся, совсем по другим причинам.) Очень похоже, что за «экстремой» и нещадными ругательствами своего оппонента Достоевский различает что-то иное. Догадывается ли он, что религиозная холодность не в силах породить такие неистовства?..

В 1867 г., в Базеле его поразит картина Ганса Гольбейна Младшего «Мёртвый Христос». Человек, снятый с креста, — не прекрасное

тело Бога, не золотое, озарённое нимбом чело, а истерзанный труп со следами тления и распада — такого изображения Спасителя он не встречал нигде. Анна Григорьевна, поведавшая в своих мемуарах о потрясении, которое пережил её муж, не приводит при этом его собственных слов. В записях, сделанных «для себя», она откровеннее: «...он тогда сказал мне, что "от такой картины вера может пропасть"»[*].

Может пропасть — не одолев «горнило сомнений».

Ипполит в «Идиоте» — в связи с той же картиной — замечает, что природа мерещится ему в виде бессмысленной «новейшей» машины, которая «поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо». «Вечная», «равнодушная» природа отвратительна и лишена всякого смысла, если она пожирает свой собственный цвет — лучших своих детей.

Белинский никогда не видел полотна Гольбейна и, естественно, не читал «Идиота». Но кажется, что и его вера могла «пропасть» от впечатлений подобных.

«Боткин, — Станкевич умер! — пишет Белинский 12 августа 1840 г. — Боже мой!.. Да каждому из нас казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти безвременно к такой божественной личности и обратить её в ничтожество. В *ничтожество*, Боткин! После неё ничего не осталось, кроме костей и мяса, в которых теперь кишат черви»[**].

Смерть не разбирает между «Христом» и «Станкевичем», и если она есть — она есть для всех. «Бунт» Белинского по сути есть бунт против смерти: он не может простить Богу, что бессмертия не дано. Сокрушение религиозных основ — не пароксизм ли это жаждущей веры души? От вероотступника до богоискателя — подать рукой.

Речи Ивана Карамазова не отвращают от него брата Алёшу, как речи Великого инквизитора не отвращают Христа: в обоих случаях «бунт» вознаграждается поцелуем.

Достоевский вспоминает, как однажды во время жаркого спора «друг Белинского» («мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате») высказал мысль, что, родись Христос «в наше время», он бы непременно «примкнул к движению» или, что ещё вероятнее, «стал во главе его». Белинский принял гипотезу с восторгом.

---

[*] Примечания А.Г. Достоевской к сочинениям Ф.М. Достоевского. В кн.: *Гроссман Л.П.* Семинарий по Достоевскому. М.; Пг., 1922. С. 59.

[**] *Белинский В.Г.* ПСС. С. 537–538.

Знакомая — «в белом венчике из роз» — фигура неслышно выскальзывает из скромной петербургской гостиной и — до поры — исчезает во мгле. За белой слепой метелью не разглядеть лица. Не тот ли это, однако, кто молвил в Севилье: «Сегодня сожгу тебя»?

И — каково имя «друга», меряющего шагами комнату, которая видится нам плотно уставленной цветами (слабость, простительная эстетику; глава *натуральной* школы обожал *живые* цветы). Очень похоже, что это Василий Петрович Боткин: именно его Белинский «весьма уважал и во многом слушался» (хотя и замечал приватно, что приятель его, недавно вернувшийся из Европы, «заразился европейским развратом, а великие европейские идеи пропустил мимо ушей»). Разговор, надо полагать, сильно поразил одного из участников, поскольку через много лет Коля Красоткин огорошит Алёшу Карамазова умозаключением, совпадающим с мнением «друга» почти дословно: «...Он бы (Христос. — *И. В.*) прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль».

«С каким это дураком вы связались!» — в сердцах восклицает Алёша. Конечно, трудно предположить, чтобы «друг Белинского» (весьма, надо полагать, постаревший) поверил свои откровения гимназисту 60-х годов. Да и сам Коля указывает иной источник:

«— Это ещё старик Белинский тоже, говорят, говорил.

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... впрочем, чёрт...»

Достоевский не зря заставил своего юного героя чертыхнуться. Ещё бы! Ведь не мог же Коля Красоткин сослаться на личное свидетельство автора!

«Нельзя пройти мимо того факта, — тонко замечает один исследователь, — что Алёша Карамазов оказывается таким хорошим знатоком Белинского, что может *категорически* заявить Коле: “Он этого нигде не написал”. Трудно сказать определённо, сознательно или бессознательно Достоевский заставил своего любимца прочитать все сочинения Белинского, но нигде в романе мы не находим указаний, чтобы это чтение помешало Алёше сделаться той прекрасной личностью, какой изобразил его Достоевский».

За месяц до смерти, отвечая одному своему корреспонденту на вопрос, что бы он рекомендовал для чтения его сыну, Достоевский советует давать ему лишь то, «*что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли*». В этом списке, наряду с Библией, наличествует и Белинский.

Алёша читал Белинского, но он никогда не слышал его речей. А если бы слышал — не исказилось бы болью и его молодое лицо?

Ибо печаль — одна.

«Дитя неверия и сомнения», убеждённый, что останется таковым «даже... до гробовой крышки», автор «Карамазовых» тем не менее «сложил в себе символ веры». Ему удастся пронести эту веру через «горнило сомнений»: кажется, излюбленный им образ лишь закалился в его всепожирающем пламени.

В 1854 г., выйдя с каторги, он напишет Н.Д. Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Нам однажды уже приходилось останавливаться на этих удивительных словах*.

Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: например, если «арифметика» авторитетно докажет, что дело обстоит именно так. Но в таком случае сам Христос как бы оказывается *вне* Бога (вернее, вне «арифметики», тождественной в данном случае мировому смыслу). И Достоевский предпочитает остаться «со Христом», если вдруг сама истина не совпадёт с идеалом красоты. Это тоже своего рода бунт: остаться с человечностью и добром, если «истина» по каким-либо причинам окажется античеловечной и недоброй.

Он выбирает «слезинку ребёнка».

Однажды Белинский сказал Тургеневу — «с горьким упрёком»: «Мы не решили ещё вопроса о существовании Бога, — а вы хотите есть!..» Достоевский, пожалуй, мог бы взять эту фразу в качестве эпиграфа к одной из глав «Братьев Карамазовых»...

В 1881 г., за несколько дней до смерти, знакомясь с письмом Л. Толстого к графине А.А. Толстой (в нём отрицалась божественность главного евангельского персонажа), автор «Карамазовых» хватался за голову и «отчаянным голосом» восклицал: «Не то, не то!..»** Уж не припомнились ли ему те давние споры?

Его позднейшие оценки Белинского пристрастны и разноречивы. Ни об одном из современников не отзывался он с такой вызывающей

---

* См.: Последний год Достоевского. С. 540–541.

** Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой, 1857–1903. СПб., 1911. С. 26.

непоследовательностью. Порою (это следует признать с особенной грустью) он доходит до чудовищных несправедливостей, почти до площадной брани.

В своих *официальных* высказываниях Достоевский гораздо сдержаннее.

Казалось бы, что мешало ему поведать о своих идейных несогласиях с автором рокового письма, публичное чтение которого обернулось для читающего смертным приговором? Лицу, находящемуся под следствием, афиширование подобного разномыслия (особенно политического и религиозного) сулило несомненную *выгоду*. Бывшему же его собеседнику никакие признания были уже не страшны. Достоевский между тем не говорит об этом ни слова. В качестве главной и единственной причины их с Белинским размолвки указываются мотивы чисто эстетические: они-то как раз интересовали следователей в последнюю очередь.

Конец прекрасной эпохи

...Один из самых сильных припадков поражает Достоевского, когда он узнаёт о смерти номинального автора «Послания» (Белинский умрёт 26 мая 1848 г. — в день рождения Пушкина и за четыре дня до собственного 37-летия). Проведай об этом факте (т. е. о припадке) иной расторопный фрейдист, он не преминул бы связать его с теми тайными помыслами, которые якобы питал Достоевский относительно собственного родителя и расплатой за каковые явилась болезнь. Белинский тоже «отец» (хотя бы и крёстный).

Присутствовал ли Достоевский на похоронах?

Вопрос, которым никто не задавался.

Единственное дошедшее до нас описание этого события принадлежит И.И. Панаеву (в его статье 1861 г. «По поводу похорон Н.А. Добролюбова»: автор вспоминает по аналогии).

Похороны Белинского состоялись 28 мая*. «...По Лиговке к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращая на себя особенного внимания встречных. За гробом шло человек

* И.И. Панаев ошибочно датирует похороны 29 мая. Как свидетельствует запись в «Приходо-расходной книге церкви Волкова кладбища», они состоялись, когда и положено, — на третий день, 28 мая.

двадцать приятелей умершего, а за ними, как это обыкновенно водится на всякого рода похоронах, тащились две извозчичьи четвероместные колымаги, запряжённые клячами... Это были литературные похороны, не почтённые, впрочем, ни одной литературной или учёной знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции "Отечественных записок" и только что возникшего "Современника") не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату...»

Кто же шёл за этим, почти *отверженным*, гробом?

«Из числа двадцати, провожавших этот гроб, — говорит Панаев, — собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек».

Мы не знаем, был ли среди этих «пяти-шести» автор «Бедных людей». Последний год он не посещал Белинского. Их отношения прекратились. Но смерть — случай чрезвычайный.

Впрочем, следует обратить внимание на одну деталь.

Герой «Записок из подполья» со вкусом живописует своей случайной ночной подруге её грядущую участь. Он говорит о виденных им утром похоронах. Он предполагает, что в могиле, куда опустят гроб, вынесенный из «дурного дома», будет стоять вода.

«— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством...

— Как же, вода на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое, здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...»

«Эти слова, — замечено в позднейших комментариях, — ...навеяны, по-видимому, поэмой Некрасова "О погоде"...»[*]

Но схожая картина есть и у Панаева! «Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него, по обычаю, горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого слова над этим дорогим для них гробом»[**].

Герой Некрасова, придя на похороны, ищет на кладбище чью-то старую затерянную могилу («где уснули великие силы»). Чуткому к намёкам и иносказаниям российскому читателю нетрудно было догадаться, что речь идёт о могиле Белинского.

---

[*] *Серман И.З.* Примечания // Достоевский Ф.М. Собр. соч. М., 1956. Т. 4. С. 600.

[**] Современник. 1861. № 11. Отд. II. С. 69–70.

Вообще-то мотив этот отчасти и литературный. 14 августа 1836-го Пушкин, как бы предчувствуя, что жить ему остаётся менее полугода, написал стихи, в которых возобновил (продлил?) давнее, небезразличное для него размышление («И хоть бесчувственному телу равно...» и т. д.).

Пушкин говорит о некоем безымянном столичном некрополе. В «Записках из подполья» точно указано место: Волково кладбище. То есть то самое, на котором похоронен Белинский. «Я видел сам...» — настаивает рассказчик. (Правда, он тут же добавляет: «Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали», но эта *психологическая* подробность, естественно, относится не к автору, а к повествователю — «подпольному парадоксалисту».)

Мог видеть, а мог и слышать, как рассказывали другие — и не только Панаев*.

«Записки из подполья» написаны через шестнадцать лет после смерти Белинского. Еще через девять лет (т. е. спустя четверть века после похорон) в рассказе «Бобок» вновь возникает тот же мотив: «Заглянул в могилки — ужасно! вода, и какая вода! Совершенно зелёная и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком».

И в «Записках из подполья», и в «Бобке» одна и та же поразившая воображение картина: очень близкая той, какую нарисовал Панаев.

Конечно, все эти подробности могли быть сообщены Достоевскому очевидцами. Но в тексте они «оформлены» как личное впечатление.

Нам неизвестно ни о каких петербургских похоронах (в 40-е годы), в которых принимал бы участие автор «Бедных людей».

Куда он направился от Яновского в тот майский полдень — после того, как принёс роковую весть? Преследовал, терзал ли его вопрос — пойти или не пойти? Во всяком случае, и то и другое решение могло стать причиной нагрянувшего вскоре припадка.

В ночь, полагаем, с 28 на 29 мая 1848 г.

Смерть Белинского была для него потрясением: может быть, не меньшим, чем первое их знакомство. Пожалуй, никто более не играл

* В одном из писем к Достоевскому (1869 г.) А.Н. Майков говорит, что первые литературные похороны, на которых он, Майков, присутствовал, — это похороны Белинского. (См.: Памятники культуры. Новые открытия. 1982. М., 1984. С. 77). Автор письма — ещё один потенциальный рассказчик.

в его жизни такой громадной и исключительной роли. Белинский навсегда останется «вечным спутником» своего — на тридцать три года пережившего его — современника.

Но отложился ли этот образ в художественной памяти романиста?

Однажды, рассматривая иллюстрации к «Идиоту», мы вдруг испытали странное чувство. Почудилось, что в облике князя Мышкина проступили чьи-то знакомые черты...

Трудно сказать, входила ли такая трактовка в творческие намерения иллюстратора — Ильи Глазунова или же перекличка возникла случайно — под влиянием, скажем, малоизвестного портрета Белинского работы художника Н. Аввакумова (1941). Как бы то ни было, персонажи Аввакумова и Глазунова разительно схожи*. Не будем вторгаться в зыбкую область бессознательного (которое у художников, как известно, еще бессознательнее, чем у простых смертных). Признаем лучше, что для сближения «тихого князя» Мышкина с «неистовым Виссарионом» имеются некоторые основания.

Вглядимся внимательнее.

«Я увидел, — говорит И.С. Тургенев о своей первой встрече с Белинским, — человека небольшого роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем судорожным и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей...» Но вот собеседник заговорил — «и всё лицо его преобразилось... привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда заметил». В «Идиоте» Лев Николаевич Мышкин описан следующим образом: «...роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с лёгонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные... Лицо... приятное, тонкое и сухое, но бесцветное...»

Эти описания можно, пожалуй, поменять местами. Особенно если к перечисленным Тургеневым «структурным» деталям добавить ещё известные по другим воспоминаниям и по портретам.

«Я не видел глаз более прелестных, чем у Белинского», — говорит Тургенев. Не заимствованы ли «большие, голубые и пристальные»

* Ср.: Лит. наследство. Т. 55. С. 369 и: *Достоевский Ф.М.* Собр. соч. М., 1982. Т. 6. С. 96–97 (вклейка).

глаза князя Мышкина у его возможного (осмелимся это сказать) прототипа? Но сопоставима не только внешность. Сопоставимо и поведение. Дело даже не в том, что князь, несмотря на свой титул, человек несветский, что он порой диковат и неловок, что, наконец, совершенно в духе Белинского, он разбивает в гостях китайскую вазу. Дело в более глубоких аналогиях.

И князь Мышкин, и Белинский — оба они моралисты и проповедники. Оба преображаются, когда речь заходит о дорогих им предметах.

«Князь даже одушевился говоря, лёгкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь по-прежнему была тихая». Тут, конечно, есть и отличие. Белинский, по словам Достоевского, волнуясь, «*взвизгивал*».

Сразу же после написания «Идиота» его автор особенно резко отзывается об уже канонизированном Белинском. Не был ли образ «положительно прекрасного человека» предвосхищающей компенсацией — тех обвинений, которые уже повисли на кончике авторского пера?

«Смеялся он от души, как ребёнок, — говорит Тургенев и добавляет: Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою...»

Детскость, открытость, непосредственность, прямота, чистота помыслов и житейская наивность — все эти качества в высшей степени присущи как «первому критику», так и далёкому от изящной словесности князю.

...В том же «Идиоте» Аглая Епанчина с чувством декламирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» В сознании героини Дон Кихот, «рыцарь бедный» и князь Мышкин — фигуры родственные. Но Белинский, в свою очередь, родствен с ними со всеми. Он тоже беззаветно предан «прекрасной даме» — русской литературе.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Достоевский — ещё одно звено этой великой цепи. Он полон той же «чистою любовью». И — к вящему нашему удивлению — мы вдруг постигаем, что «Жил на свете рыцарь бедный...» и «Витязь горестной фигуры...» написаны одним и тем же стихотворным размером — четырёхстопным хореем. И улавливаем в этой звуковой перекличке тайный и знаменательный смысл.

Да, Достоевский — человек того же духовного склада.

Он человек того же типа и склада не потому, что и физически чем-то напоминает Белинского, а потому, что в нём и в Белинском как бы раздваивается некая общая идея и каждый из них, взглянув в лицо другому, уже не в силах признать собственного двойника.

Их противоборство есть следствие общей духовной драмы.

...По его собственному признанию, все эти годы он живёт «как в чаду». И, помимо прочих тягот и испытаний, для него припасено страдание особого рода. «Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдёт этот ад».

Так кончаются «упоения».

Позднее он скажет: «...моё первое вступление на литературное поприще... грустное, роковое для меня время».

Свой звёздный час он именует роковым: эпитет справедлив, но несколько преждевременен.

Как контрастирует эта «сомнительная известность» с тем, что возглашалось всего годом ранее («слава моя достигла до апогеи»). «Они» — этим личным *безличным* местоимением (так разнящимся от интимно-доверительного «наши») гневно обозначены вчерашние поклонники и адепты. Мог ли он всего год назад предположить, что судьба (литературная судьба) сыграет с ним такую коварную шутку и слова его сбудутся *буквально*. Первый шаг окажется «апогеей», выше которой — так полагает обманутое в лучших ожиданиях большинство — ему уже никогда не подняться.

Ни одно из следующих за «Бедными людьми» сочинений не вызывает со стороны его бывших друзей заметных критических сочувствий. А иные тексты будут восприняты как очередное падение.

Достоевский в отчаяние не повергается. Он продолжает писать, подгоняемый нуждой и *привычкой*. Покоя не будет никогда, как не будет работы несрочной*. Но он этого ещё не знает. Поэтому своё обычное жизненное состояние он воспринимает как временное и неестественное. Отторжение от враждебного теперь ему литературного круга, лихорадочные надежды на *повторное* признание («ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь, придёт время, что и вы заговорите»), повторяющееся каждый раз несовпадение замы-

* Так, над «Двойником» автор ещё трудится за четыре дня до появления повести в «Отечественных записках», что делает честь не только его художнической взыскательности, но и невообразимой (спустя сто шестьдесят лет) быстроте производственного цикла.

сла и результата — всё это создаёт то «прыгающее» эмоциональное напряжение, которое разрешается острыми приступами нервной болезни.

Раньше у него были могущественные союзники. Теперь он остаётся один.

Так кончаются «упоения».

Позднее он скажет: «...Моё первое вступление на литературное поприще... грустное, роковое для меня время».

Из книги:

ПРОПАВШИЙ ЗАГОВОР

Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот
М., 2017. Академический проект. 869 с.

Четыре части, 21 глава.

Часть I. Прекрасные порывы
Гл. 1. Домик в Коломне
Гл. 2. «Липранди тебе кланяется...»
Гл. 3. Тайный агент
Гл. 4. «Жар гибели свирепой...»
Гл. 5. Злоумышленник в жизни частной
Гл. 6. Неоконченные люди
Гл. 7. Арестование на рассвете

Часть II. Из подполья – с любовью
Гл. 8. Приглашение в Зазеркалье
Гл. 9. В направлении Содома
Гл. 10. Преимущества камерной прозы
Гл. 11. «Где не любят Гутенберга...»
Гл. 12. Соузники царей
Гл. 13. Царь-лицедей
Гл. 14. Сильный барин

Часть III. Семёновский плац и его окрестности
Гл.15. Превращения Петра Антонелли
Гл. 16. «Делает ужасное впечатление...»
Гл. 17. Живой труп
Гл. 18. Post scriptum как жанр: к судьбе генерала
Гл. 19. Россия и Европа
Гл. 20. Смертная казнь в стихах и прозе
Гл. 21. Английский след

Книга посвящена трагическому эпизоду русского XIX столетия и одновременно — решающему перелому в жизни Достоевского. Большинство архивных материалов, многие из которых незнакомы читателю позволили автору реконструировать неизвестные доселе аспекты политического процесса петрашевцев, завершившегося грандиозной инсценировкой смертной казни на Семёновском плацу.

Хотя в представленные здесь ***избранные тексты*** не вошли обширные документальные блоки, а также некоторые остросюжетные темы (например, судьба внедрённого в общество Петрашевского агента-провокатора П.Д. Антонелли, роль в этом деле И.Л. Липранди и т.д.), читателю предоставляется возможность ознакомиться с основными моментами этой исторической драмы.

Несколько вступительных слов

22 декабря 1849 года, по возвращении с Семёновского плаца «домой» — в Петропавловскую крепость, Фёдор Достоевский пишет письмо старшему брату Михаилу Михайловичу. Он говорит, что не утратил надежды когда-нибудь, после Сибири, увидеть и обнять близких ему людей. «Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь ещё раз живу!»

«Три четверти часа», настаивает автор письма — и это исчисление, конечно, более верно, нежели время, указываемое им через десятилетия и, по своей отдалённости, сокращённое до пятнадцати минут. Три четверти часа он пребывает «в состоянии смерти». Примерно столько же заняла произнесённая им 8 июня 1880 года триумфальная Пушкинская речь. Два ключевых и противоположных по смыслу события его жизни — крайние точки её нисхождения и восхождения — совпали по протяжённости и как бы отразились друг в друге.

Он говорит в письме к брату: живу *ещё раз*. Эта вторая жизнь, начавшаяся на эшафоте, окажется дольше первой: она продлится тридцать один год.

Процесс Петрашевского и его друзей сам по себе достаточно драматичен. Прикосновенность к этому делу будущего автора «Бесов» сообщает всей ситуации глобальный метафизический смысл.

Эмпирические подробности петрашевской истории не менее важны, чем её побудительные мотивы и видимые общественные последствия. Ибо сам ход *политического процесса* (включая в это понятие не только следствие, суд, приговор и т. д., но и скрытое протекание исторической жизни) выводит нас, если можно так выразиться, в царство ментальностей: именно от них зависят «последние судьбы» России. Здесь пересекаются роковые пути человека и государства, причём каждый оказывается по-своему прав. Здесь по сути начинается история русской интеллигенции (и — что характерно — история провокаторства): впервые такую большую роль играет идейный аспект.

Дело даже не в том, что жертвы Семёновского плаца — это первые русские социалисты, как бы угадавшие тенденцию и предвосхитившие «направление пути». (За что им спешили отдать ритуальную дань их более преуспевшие исторические последователи.) И не столь уж существенно, были ли они умеренными реформаторами или

оголтелыми радикалами. Здесь — одна из завязок нашей национальной судьбы. В этом отношении дело 1849 года ещё не закрыто. В нём таятся такие интимные обстоятельства и наличествуют такие сшибки характеров и воль, что, пожалуй, самым главным становится чисто человеческий аспект. Это действительно «процесс о намерениях»: может быть, тех, что присущи человеку как разумному существу.

Архитектоника и общее построение данной работы должны напомнить структуру другой нашей книги — «Родиться в России. Достоевский и современники: жизнь в документах». К её предисловию, небесполезному в методологическом плане, мы и отсылаем любопытствующего читателя.

Стараясь не задерживаться на достаточно изученных сюжетах, мы отдаём предпочтение обстоятельствам тайным или не вполне прояснённым (и, разумеется, неизвестным архивным документам). Впрочем, как хотелось бы верить, все они тяготеют к некоему единому тексту: биография Достоевского стремится стать «биографией» русского XIX столетия. Последнее возможно лишь потому, что жизнь создателя «Карамазовых» вообразима и как «действующая модель» России, совокупный образ её национальной судьбы.

Разумеется автор отдаёт предпочтение первоисточникам. Хотя написание отдельных слов и словосочетаний приведено в соответствие с современными нормами, в некоторых случаях сохранены грамматические и стилистические особенности оригинала. (В цитируемых материалах советского периода оставлено принятое тогда написание заглавных и строчных букв.) Иногда в авторском тексте приходится цитировать тот или иной документ, присутствующий также в части документальной. В таком случае он, как правило, приводится без ссылки.

Все авторские подчёркивания даются *обычным курсивом*, подчёркивания в цитатах и документах — ***курсивом полужирным***.

Из главы 1 (Часть I)

ДОМИК В КОЛОМНЕ

Уличное знакомство

В феврале 1826 года Пушкин писал Дельвигу из Михайловского: «С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародование заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя»*.

Заговор *обнародован* не был: человеколюбие «молодого царя» поспешило явить себя во всемилостивейшей замене четвертования общей виселицей на пять персон. Минует двадцать три года — и нескудеющее монаршее великодушие будет простёрто над новым молодым поколением. Недаром Достоевский добрым словом вспомянет императора Николая, пожалевшего в нём «молодость и талант».

Молодость между тем была на исходе. Что же касается таланта, он, как и прежде, доставлял утешение читателям «Отечественных записок». Мелкие и немногочисленные рассказы, а также более капитальные создания — «Слабое сердце», «Белые ночи» и прерванная на полувздохе «Неточка Незванова», не производя такого эффекта, как «Бедные люди», всё же поддерживали авторскую репутацию на уровне, достаточном для того, чтобы без зазрения требовать у Андрея Александровича Краевского не менее пятидесяти рублей серебром за печатный лист.

Он, как и мечталось, стал известным писателем. «Апогея», однако, была позади. Тот, кто некогда прочил ему «венцы и капитолии», отходя в лучший мир, с горечью отречётся от своих, очевидно, внушённых минутой, предсказаний. Умерший, как выразился один современник, «вовремя» Белинский ещё успеет расслышать первые раскаты европейской грозы. Годом раньше, летом 1847-го, утонул,

---

* *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. М., 1956–1960. Т. 10. С. 200.



Дом Шиля на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы, в котором Достоевский жил с весны 1847 г. до ареста. Рисунок Добужинского, 1923 г.

как бы нечаянно предварив грядущую участь Писарева, 23-летний Валериан Майков — едва ли не единственный, чьи критические сочувствия оставляли бывшему любимцу публики некоторую надежду.

Последнее его пристанище в Петербурге — перед десятилетним отсутствием — дом Шиля на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта. Из окон (все его жилища, как правило, располагались на углу — так, чтобы окна выходили на церковь) открывался вид на Исаакиевский собор. Условия обитания были соблюдены. Он переезжает сюда от Бекетовых, где жили вскладчину: любезная его сердцу *ассоциация* просуществовала всего несколько месяцев. Впрочем, не по слабости одушевлявшей её идеи, а потому что сами братья-основатели, словно предчувствуя имеющие вскоре воспоследовать перемены, заблаговременно отбыли в более отдалённый от фурьеристских соблазнов город Казань.

...Достоевский снова остаётся один. Правда, в Петербурге теперь литераторствует и старший брат Михаил Михайлович: поддавшись искусительному примеру младшего, он распрощался с инженерной карьерой и переехал из Ревеля в столицу. Но душа жаждет не только родственных приязней...

Всегда напряжённый в кругу «своих», автор «Бедных людей», казалось бы, гораздо легче должен сходиться с натурами *простыми*, далёкими от треволнений, возбуждаемых близостью к изящной словесности. Глубокомысленный, как все доктора, Степан Дмитриевич Яновский (судя по некоторым отзывам — порядочный зануда) составляет отныне его домашнее общество. Этот ласковый резонёр, кажется, искренне верит, что он — ближайший наперсник своего замкнутого и мнительного пациента, которого более всего на свете влекут загадки черепных шишек...

Достоевского между тем занимают и другие проблемы. Позднее, желая утолить любопытство членов Следственной комиссии и как бы впутать в дело саму судьбу, он припомнит, что его знакомство с Петрашевским было вполне случайным: он, мол, вовсе не искал этой встречи.

Действительно, чернобородый странноватого вида мужчина мог бы и не отнестись к нему (на улице!) с, по-видимому, неуместным и отчасти даже праздным вопросом: об идее его будущей повести. Это уличное знакомство столь же случайно, как и не предвиденное никем совпадение: оба они однолетки и, что ещё удивительнее, один из них (а именно — Достоевский) всего на два дня старше своего нового знакомца. Но почему бы не усмотреть в этих упрямых сближениях властное дуновение рока?

Не говорим уже о том, что отцы у обоих — медики, участники войны 1812 года (во время Бородинского боя Петрашевский-старший заведовал медицинской частью русского левого фланга) и что оба родителя не доживут до печальной развязки.

Петрашевского-младшего крестил генерал М.А. Милорадович («заочно от государя императора Александра I Павловича Благословенного»*, — покажет крестник на следствии). Через четыре года крёстный будет сражён на Сенатской пулей Каховского: её попытается извлечь кум смертельно раненного генерала, Петрашевский-старший.

При всей разности натур у одногодков есть кое-что общее.

Оба они (в момент знакомства — 25-летние молодые люди) — цвет поколения, возросшего на том, что есть, но рано задумавшегося над тем, что до́лжно. Вопрос, заданный Достоевскому, — лишь повод для знакомства. Не напиши он «Двойника», Петрашевский спросил бы его о чем-нибудь не менее замечательном. Он интересен собеседнику прежде всего как человек духа. Оба они принадлежат к одному духовному братству.

В России подобному союзу уместнее оставаться тайным.

После Белинского автор «Бедных людей» уже далеко не таков, каким был *до*. Ему не чуждо теперь не только ничто человеческое, но и — *обще*человеческое. Мир, лежащий во зле, не может быть ни оправдан, ни принят. Его следует изменить радикально!

Куда бы он ни пошел, он бы попал в Коломну:

> У Покрова
> Стояла их смиренная лачужка...

Возможно, он усмехался, вспомянув по случаю эти строки. Ибо титулярный советник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, второй переводчик департамента внутренних сношений Министер-

---

* Дело петрашевцев. М.; Л., 1937–1951. Т. 1. С. 97. Ср.: *Семевский В.И.* М.В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Т. 1. С. 24.



Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. С акварельного портрета

ства иностранных дел, обитал именно здесь, в отдалённой местности столицы. Его деревянный, недавно открытый для посещений дом, доставшийся ему по праву наследования (покойный родитель не допустил бы никаких сомнительных сходбищ), тоже стоял «у Покрова». Разумеется, Пушкиным воспето было другое домостроение («лачужки этой нет уж там»), но, как, надеемся, заметит читатель, нам интересны не вещественные совпадения, а метафизические ауканья.

Достоевский пытается уверить членов Следственной комиссии, что «ни в характере, ни во многих понятиях» он не имеет сходства с хозяином дома. (Это, пожалуй, единственный пункт, когда он с *ними* вполне откровенен.) Подобное признание нимало не могло повредить главному участнику процесса. Более того: оно как бы служило к некоторому его оправданию. Выставляя Петрашевского в качестве безобидного чудака, чистого теоретика, весьма удалённого от практических нужд, вопрошаемый осторожно подталкивал вопрошающих к простой, но в данных условиях крайне желательной мысли: все эти невинные странности и уклонения суть лучшие доказательства легкомыслия обсуждаемого лица, то есть полной его непригодности на роль политического трибуна. «Психология» (а в некоторых ответах на вопросы Комиссии употреблено именно это средство) понадобилась исключительно для того, чтобы замаскировать политику. Ибо изъяны характера, сколь бы они ни были огорчительны, не подпадают под статьи Уголовного кодекса.

«Впрочем, — добавляет Достоевский, — я всегда уважал Петрашевского, как человека честного и благородного»[*].

Конечно, протоколы допросов — не самый надёжный источник для выяснения подлинных мнений. Но надо учесть, что Комиссия вовсе не требовала от подследственных лестной оценки главного злоумышленника. И иные из них сочли за благо обвинить его во всех своих несчастьях. В этих условиях признание Достоевского обретает особую цену.

Он не только не ставит под сомнение личную честность Петрашевского, он готов — может быть, по особенному чувству — извинить его странности.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1971–1991. (Далее — ПСС.) Т. XVIII. С. 118.

Он сказал однажды о герое Сервантеса: «Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире...».

«И я бы мог, как шут...» — оборвёт Пушкин строку и изобразит рядом виселицу с пятью повешенными.

«Как мы смешны в этих костюмах», — скажет на эшафоте Петрашевский: круговорот переодеваний завершится смертным балахоном.

Вхождение в новый круг (*смертников*: он будет стоять меж ними на эшафоте) не потребовало от Достоевского особых усилий. И тем более не оказалось для него таким потрясением, как знакомство с Белинским. Он уже был *в курсе*.

Имена Сен-Симона, Фурье, Оуэна произносились здесь с таким же пиететом, с каким, скажем, несколькими десятилетиями ранее среди людей образованных поминались имена Вольтера или Руссо. Идеи, от которых захватывало дух, золотые зёрна социальных утопий пали на почву, менее всего приуготованную для выживания подобных растений. Они должны были либо вымерзнуть на корню, либо принести фантастические плоды.

Но чем дальше отстояла российская явь — с миллионами оброчных душ, универсальной табелью о рангах и публичными порками на площадях — от новейших откровений взыскующего европейского духа, тем искусительнее были его призывы для тех, кто без видимой цели бродил в белых петербургских ночах, когда предметы меняют свои значения — и вот уже мнится, что чуть различимая в тумане крепость и есть тот предназначенный для общей радости дом, где утишается страдание и каждому воздаётся по заслугам его...

...Что стоит судьбе слегка оттянуть финал, дабы те, над кем уже подпилены шпаги, успели бы проскочить за черту — туда, где лейб-медик Мандт в ужасе шепнёт цесаревичу: «Каротида не бьется больше», и Герцен в своём лондонском далеке, невзирая на ранний час, велит откупорить шампанское.

Но пока император вполне здоров: он не спускает глаз с крайнего запада Европы. Министерство Гизо падёт: петербургская развязка будет приближена громом парижских пушек. Царь явится средь шумного бала. Звучным голосом, словно самой природой рассчитанным на славный исторический резонанс, произнесёт он знаменитую фразу: «Седлайте коней, господа, во Франции республика!»*.

* Эта формула прочно вошла в предание, хотя некоторыми историками почитается не вполне достоверной. В своём романе «Итоги жизни» П.М. Ковалевский говорит: «Очень высокое лицо объявило на бале кавалергардам, чтоб они теперь танцевали, а потом готовились сесть на лошадей: француз, дескать, дурит — унять пора». (*Ковалевский П.М.* Итоги жизни. Кн. I. Опасные люди // Вестник Европы.



«Без руля и без ветрил». Французская карикатура на перепуганных революцией европейских монархов. «Charivari» от 18 апреля 1848 г.

Сим надлежало остеречь не только мятежные народы, но и неблагомыслящих соотечественников. Последние окажутся величиной исчезающе малой (однако же не настолько, чтобы исчезновение их прошло совсем незамеченным). Официальная формула 49-го года — «горсть людей совершенно ничтожных» — вполне созвучна правительственной аттестации почти четвертьвековой давности — тех подозрительных штатских, кои затесались в каре на Сенатской площади: «несколько человек гнусного вида во фраках».

Так блюлось эстетическое единство.

«...Петрашевцы были совершенно одного типа с декабристами», — подтвердит позднее Достоевский. Сравнение будет признано неуместным, и цензор «Дневника писателя» вычеркнет всю главу.

Между тем на это любопытное сходство указывал не только автор «Дневника». Оно учтено и в известной периодизации русского освободительного движения: петрашевцы, как и декабристы, рачительно отнесены к его дворянскому этапу.

«И те, и другие, — продолжает Достоевский, — принадлежали бесспорно к одному и тому же ***господскому***, «барскому», так сказать, обществу; и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников... решительно не было никакого различия»[*]. Можно добавить, что и тех, и других одушевлял дух высокого идеализма. Правда, у петрашевцев появляется один новый мотив. Они имеют в виду не только национальное обновление, но и нечто неизмеримо большее. Они жаждут мирового переустройства. И не ощутим ли в будущих глобальных прозрениях автора Пушкинской речи (разумеется, в кардинально переосмысленном виде) этот первоначальный

1883. № 2. С. 504.) К любопытному сочинению П.М. Ковалевского, современника описываемых событий, нам ещё предстоит обращаться.

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVI. С. 25.

порыв? Ибо, как и призываемый им потрудиться на родной ниве «русский скиталец» (тот же социалист), сам автор Пушкинской речи тоже уповает не на призрачное «отдельное» счастье (которое на фоне несчастья других не может быть совершенным), а — на мировую гармонию: он тоже «дешевле не примирится».

Сын живописца

В «Введении по делу Петрашевского...» Липранди решает признаться в том, о чем умалчивал раньше: «Наконец, мне передана была высочайшая воля употребить все средства ввести агента на эти вечера».

Итак, тайного вторжения требует сам государь. Он продолжает зорко следить за ходом событий, не брезгуя никакими подробностями и лично определяя характер игры. Он понимает, что необходим шпион. Антонелли вызван к исторической жизни именно им.

«Сын живописца» (читай: действительного академика живописи), 23-летний не докончивший курса студент, обладал двумя важными преимуществами: обширной памятью и нескучным слогом. Первое позволяло ему не растерять информацию; второе — прилично изложить её на бумаге. Что он и делает регулярно — с января по апрель 1849 года.

Некоторые воспоминатели называют Антонелли родственником Липранди: очевидно, из-за экзотического звучания их средиземноморских имен. Это несправедливо: они не состояли в родстве (хотя испанские предки Липранди переселились в Россию именно из Италии, откуда явились и предки Антонелли). Что мешает, однако, заподозрить и Дубельта, чей отец, согласно семейным преданиям, похитил мать его, происходившую из испанского королевского рода?

Донесения Антонелли — Липранди (в их дуэте неожиданно прорывается высокий оперный звук!) читаются с истинным интересом.

Спешно устроенный в тот департамент, где служил Петрашевский, Антонелли без особого труда знакомится с «известным лицом» (так будет именоваться в его отчётах объект наблюдения). Вскоре они сходятся короче.

«Хотя ***Петрашевский и Агент 1-й*** часто посещают друг друга, — сообщает Липранди Перовскому, — но первый ещё не приглашал его на собрания свои, на чем этот, впрочем, и не настаивал (как ему сделано наставление), чтобы не пробудить ни малейшей тени подозрения, тем более, что *Петрашевский* чрезвычайно умён и хитёр».

Липранди не оставляет Агента 1 неусыпным своим попечением. Когда хозяин дома в Коломне предлагает Антонелли переехать к нему (что последний считает немалой удачей), мудрый Иван Петрович

велит отклонить подобный соблазн — «и последствия показали уже, — с удовлетворением констатирует он, — что этот отказ имел большое влияние на рассеяние подозрения, которое бы могло ещё гнездиться в голове ***Петрашевского***».

«Известное лицо» было природным пропагатором: Антонелли сыграет именно на этой струне. Он принимает роль неофита, жаждущего приобщиться к откровениям новой веры. Он следует за Петрашевским по пятам: посещает его в утренние часы; жертвуя молодым здоровьем, коротает с ним ночи за домино; обедает с ним в ресторациях и т. д. Порою в пылу беседы Антонелли тайно любуется своим поднадзорным: в одном из отчётов он с чувством упомянет о его прекрасном лице.

Одновременно выясняется круг знакомств.

До и после полуночи

1 марта 1849 года впервые называется *имя*. Сообщается, что «известное лицо заходило к Достоевскому», и в скобках указывается род занятий: «сочинителю».

5 марта следует развитие темы. «Известное лицо» повествует внимательному слушателю о своём споре с братьями Достоевскими: оба последних упрекаются «в манере писания». (Позднее один из братьев попытается уверить следствие, что такого рода разговорами и ограничивалось их участие в деле.)

Между тем, время идет — и Липранди начинает беспокоиться: его агент приглашаем к Петрашевскому во все дни недели, помимо пятницы. Вернее, вхож он и по пятницам, но — исключительно в утренние часы, когда, терзаемый любопытством, вынужден молча наблюдать распоряжения, отдаваемые мальчишке-слуге относительно покупки на вечер свечей, лампового масла и возобновления запасов вина. Приказы эти воспринимаются томящимся Антонелли как серьёзные военные приготовления.

Позже, уже в Сибири, пытаясь восстановить в памяти все обстоятельства дела, Петрашевский и Львов придут к заключению, что шпион был введён на вечера учителем русской словесности Феликсом Толлем, «человеком доверчивым»[*]. Однако сам Антонелли придерживался иного взгляда.

[*] Иначе говоря, им не запомнился сам момент появления Антонелли на «пятницах» в Коломне. Что же касается Ф. Толля, он действительно сблизился с Антонелли, но после: фактически их знакомство состоялось именно в тот вечер у Петрашевского, на котором впервые присутствовал агент.



Обложка дела о петрашевцах (Архив III Отделения)

Он явился к Петрашевскому незваным — в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера. Парадный подъезд был заперт; не растерявшись, агент идет с чёрной лестницы. Он застает общество врасплох — человек десять мирно беседуют за столом. Будучи высокого мнения о сокрытых в нём дарованиях, отважный визитёр не пожалеет красок, чтобы описать Липранди свой актёрский триумф. Он изображает сцену, чем-то напоминающую известную картину В.М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу»: смятение якобы поражённого его визитом хозяина; шёпоты в кабинете; косые взгляды гостей. Любящей кистью живописует он своё натуральное простодушие и светскую развязность, которые в конце концов вознаграждаются тем, что первоначальная настороженность сменяется всеобщей приязнью.

Роль самого Липранди в этой операции тоже не столь мала. Он спешит поведать Перовскому, что, получив в пятницу, 11 марта, в десять часов вечера «сведения от ***Агента 2-го*** (очевидно, наружное наблюдение. — *И. В.*), что к ***Петрашевскому*** собралось уже около 10-ти человек, я тотчас сообщил это ***Агенту 1-му***, а он немедленно отправился к ***Петрашевскому***».

Нельзя не признать, что, несмотря на медленность тогдашних сношений, система действует безотказно.

Итак, Антонелли, наконец, проникает *внутрь*. До финала остаётся немногим более месяца.

Достоевский на вечере отсутствует.

Он будет отсутствовать и на следующих «пятницах» — вплоть до 1 апреля. И лишь 15 апреля, когда будет прочитано вслух письмо Белинского к Гоголю, Антонелли обратит сугубое внимание на чтеца.

Помета против фамилии Достоевского в списке лиц, подлежащих арестованию, гласила: «один из важнейших». Это кажется странным. Очевидно, ввиду его литературной известности власть подозревала за ним более тяжкие вины.

Итак, 15 апреля Достоевский читает Письмо.



В. Тимм. Могила В.Г. Белинского на Волковом кладбище. 1862 г.

В том тексте приговора, который будет опубликован в печати, сделана одна малозаметная, но в высшей степени деликатная поправка. Из текста исчезает имя Белинского: речь идет лишь о письме «одного частного лица». (Это было первое публичное *неупоминание*: запрет сохранится до 1855 года — вплоть до кончины Незабвенного.) Не будет упомянут и жительствующий в Италии адресат письма. Во-первых, он ещё здравствует; во-вторых, — не несёт ответственности за безумные речи своего покойного корреспондента. И, наконец, в-третьих, — и это, пожалуй, самое главное — у начальства нет ни малейшей охоты впутывать в историю самое знаменитое в России литературное имя.

Чтение письма Белинского к Гоголю — единственное «официальное» выступление Достоевского на «пятницах» в Коломне. И фактически — единственная против него серьёзная улика. (О втором обвинении будет сказано ниже.)

Ему не повезло. Антонелли, присутствовавший на семи вечерах (с 11 марта по 22 апреля), только на двух из них (1 и 15 апреля) застаёт Достоевского. И именно в последнее своё посещение Достоевский становится главным действующим лицом.

Имена Гоголя и Белинского вновь обозначат для него поворот судьбы.

«Вообще я человек неразговорчивый, — заметит он в своих показаниях, — и не люблю громко говорить там, где есть мне незнакомые»[*].

«Говорил он всегда мало и тихо...»[**] — подтверждает Ястржембский.

Действительно: по сравнению с другими участниками «пятниц» — такими, например, как тот же Ястржембский, Тимковский, Толль, Ахшарумов, которые произносят речи и оглашают заранее составленные рефераты, — Достоевский ведёт себя достаточно скромно. Трудно представить, чтобы он читал у Петрашевского отрывки из своих повестей, как об этом уверенно сообщает один из нечасто появлявшихся на «пятницах» мемуаристов.

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 122.

[**] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. (Далее — Биография.) С. 95.


Н.В. Гоголь

Не уклоняясь от участия в общей беседе, он всё же предпочитает «говорить один на один». Молчаливостью и скрытностью, этими *защитными* своими чертами, он напоминает одному из свидетелей истого заговорщика.

(Образ, как обычно, двоится, ибо другой мемуарист, напротив, различает в нём черты умеренности и законопослушания.)

Он оживляется, если речь заходит о литературе. Горячо вступается за Крылова, когда Петрашевский отказывает баснописцу в праве зваться великим художником. Очевидно, он отстаивает в спорах с хозяином дома и свою «манеру писания». Он не скроет от следователей, что нелестно отзывался о цензуре: её бдительное невежество, по его скромному разумению, достигает размеров, невыгодных для видов правительства.

Друзья Петрашевского ратуют за свободу *тиснения*, власть — за свободу *теснения*: можно предположить, что посетителям дома в Коломне приходил в голову этот незатейливый каламбур.

«При мне говорил Достоевский об изящном»*, — признается один из подследственных, полагая, что такое признание ничем не сможет повредить говорившему.

Рассказ Достоевского о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, к разряду «изящного» отнести трудно. Равно как и приводимые Пальмом слова — когда при обсуждении различных возможностей эмансипации крестьян автор «Бедных людей» «со своей обычною впечатлительностью» воскликнул: «Так хотя бы через восстание!»** Иные из позднейших интерпретаторов приняли этот *душевный порыв* за обдуманную политическую программу — с чем, заметим, не замедлили бы согласиться и члены Следственной комиссии, буде указанное восклицание им ведомо.

Без сомнения, заинтересовало бы членов Комиссии и лестное предположение дочери Достоевского, Любови Фёдоровны, что Петрашевский, «которому были известны ум, мужество и нравственная сила» её отца, предназначал для него «одну из первых ролей в будущей республике»***. Но следователям, слава Богу, подобные мысли не пришли в голову.

---

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 71.

** Биография. С. 85.

*** *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 53.

Да, он был молчалив, но когда одушевлялся, говорил замечательно. Недаром его одноделец свидетельствует, что «страстная натура» Достоевского производила на слушателей «ошеломляющее действие».

Именно такое действие произвело чтение письма Белинского Гоголю (что довольно живо изобразил Антонелли, упорно именующий оратора *Петром*: просвещённый Липранди собственноручно исправит ошибку). Достоевский мог уверять Комиссию, что оглашённый им документ занимал его исключительно как достойный внимания литературный памятник, который «никого не может привести в соблазн»; что при чтении письма сам чтец ни жестом, ни голосом не обнаружил своего одобрения. Все эти оправдания были излишни: текст говорил сам за себя*.

Достоевский осмелится публично огласить абсолютно нецензурное завещание покойного критика — этот желчный приговор не пожелавшему узнать в нём себя николаевскому царствованию. И система отреагировала так, как того и следовало ожидать: она отомстила мёртвому автору, покарав живых.

В подлинном приговоре военно-судной комиссии (ещё не отредактированном для печати) сказано, что Достоевский подлежит смертной казни расстрелянием «за недонесение о распространении... письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева»**. В формулировке этой содержится ряд несообразностей.

Строго говоря, «недонесение о распространении» приложимо лишь к «Солдатской беседе» Григорьева, которую Достоевский слышал в авторском исполнении (на следствии, впрочем, он будет утверждать, что не ведал имени сочинителя). Что же касается «письма литератора Белинского», то упрёк в недонесении нелеп, ибо автор послания давно в могиле, а распространителем письма являлся не кто иной, как сам обвиняемый. Ему-то, очевидно, и предлагалось донести на самого себя!

Кроме того, смертная казнь «за недонесение» — не вполне адекватная мера: даже с точки зрения военно-полевой юстиции. Не потому ли в окончательном виде формула виновности несколько изменена: тонкость, на которую до сих пор не обращали внимания.

---

* Список письма прислал из Москвы А.Н. Плещеев, который, натурально, объявит Комиссии, что нашёл его в сундуке покойного дядюшки. Очевидно, этот документ, написанный ещё летом 1847 года и ходивший в кругу друзей Белинского, не был знаком Достоевскому: он уже не принадлежит к «нашим» (как именовал он некогда этот круг).

** Петрашевцы. Т. 3. С. 207–208.

Генерал-аудиториат постановил так: «за... участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского... и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии...»*

Это звучит уже гораздо солиднее. Хотя некоторые недоумения остаются.

Исчезает поручик Григорьев со своей «Солдатской беседой»: по сравнению с прочими провинностями грех недонесения почитается уже не столь важным. Появляется «участие в преступных замыслах». Не уточняется, правда, в каких именно, ибо (как явствует из дела) таковое участие следствием не доказано. Зато — во изменение прежнего мнения — уже сам обвиняемый признается распространителем письма.

И, наконец, — литография. На этом сюжете следует остановиться подробно.

* Петрашевцы. Т. 3. С. 335.

Из главы 4

«ЖАР ГИБЕЛИ СВИРЕПЫЙ...»

Раскол в нигилистах

Вопрос о заведении домашней литографии возник в кружке, который как бы откололся от общих сходбищ в Коломне и зажил самостоятельной жизнью. Это произошло в самом конце зимы 1849 года.

«...Мы выбирали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского» — так определит критерий отбора один из посетителей новых — субботних — собраний у Дурова. Сам хозяин дома воспрепятствовал «официальному» приглашению Петрашевского: тот, по его мнению, «как бык уперся в философию и политику» и не понимает «изящных искусств»*. Впрочем, это ещё далеко не разрыв: отец-основатель посещает Дурова в «неприемные» дни, а дуровцы по-прежнему вхожи на его «пятницы».

Из попавших в руки властей бумаг Александра Пальма особое внимание привлекла та, где были означены пятнадцать человек — участники тех вечеров, о которых следствие пока оставалось в полном неведении:

Шестнадцатым был Момбелли: фамилия его с отметкою за первый месяц почему-то вычеркнута из списка. (Может быть, он замедлил с внесением помесячной платы, которая для каждого из участников составляла посильные три рубля. Кстати, за второй месяц не внес положенную лепту и Ф. Достоевский, что неудивительно, если принять во внимание его отчаянные письма к Краевскому, как раз приходя-

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 273.

щиеся на февраль, март и апрель, с просьбами о денежной помощи.)


С.Ф. Дуров

Кружок украшают своим присутствием литераторы: в том числе, один знаменитый (Достоевский) и один довольно известный (Плещеев). Сам Дуров также пописывает. (Возможно, это наследственная черта: в числе его родственников по восходящей линии — привеченная Пушкиным Надежда Дурова — героиня 1812 года, «кавалерист-девица».) Пописывают Михаил Достоевский, Милюков, Григорьев и Пальм. Да и едва ли не все остальные станут в будущем *авторами*: заявят себя в тех или иных отраслях письменного труда.

Конечно, круг этот по силе и изощренности дарований, его составлявших, явно уступает тому, какой обретался вокруг покойного Белинского и откуда автор «Бедных людей» вынужден был удалиться — с уязвленным сердцем и с горьким осадком в душе. Здесь нет Панаевых, Некрасовых, Тургеневых, Григоровичей, Анненковых и т. д. Нет здесь, разумеется, и «аристократов» — Соллогубов и Одоевских. Отсутствуют даже Майковы (в том числе Аполлон, хотя последний, как мы ещё убедимся, чуть было не появился). Дух журнальной борьбы, соперничества, тайных писательских склок начисто отсутствует в этом *около*литературном кругу. Но и в обществе Петрашевского, вдохновенного демагога, возбудителя сухих головных страстей (к тому же — с подозрением относящегося к искусству), он не может ощущать себя вполне «своим». Он ищет более подходящую *нишу*.

«После первого вечера у Петрашевского, — показал Григорьев, — Дуров зазывал меня и Монбелли (это имя современники часто пишут через “н”. — *И. В.*) к себе и говорил, что ему противен Петрашевский, называл его быком и человеком без сердца»*. После чего Дуров и предложил «составить» свои вечера — «литературные»: для большего, как он выразился, сближения.

«...В нем, — скажет впоследствии о Дурове А.П. Милюков, — не было никаких чисто революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писаного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом».

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 248.



Михаил Михайлович Достоевский. Рисунок (карандаш) К. Трутовского. 1847 г.

Законопослушный Милюков полагает, что у Дурова собиралась «кучка молодежи более умеренной»*. На первый взгляд, это выглядит действительно так. Недаром Достоевский рисует на следствии столь же благостную картину: «Приглашались в это собрание другие, открыто, прямо, безо всякого соблазна; никто не был завлечен приманкой посторонней цели...»**

Позднейший воспоминатель — граф П.П. Семёнов-Тян-Шанский тоже толкует *о целях*. Он говорит, что для Дурова революция (граф выражается именно так) «по-видимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем»***.

Иначе говоря, одному из участников дела приписан некий *личный* мотив. Это в высшей степени любопытно. Выходит, что Дуров печется не столько об общем благе, сколько тщится изменить собственную судьбу, своё положение в мире...

Была ли такая цель у автора «Бедных людей»? Об этом стоит сказать чуть позже.

Знал ли Достоевский, чьи предки долгое время обретались на территории Великого княжества Литовского, что небогатый дворянский род Дуровых тоже происходит из Литвы? Дуровы выдвинулись при Иване Грозном, который о них говаривал: «И развлечь сумеют, и тайну сохранят». Вряд ли Сергей Фёдорович Дуров был причастен той тайне, которая исподволь вызрела в недрах его кружка, но развлечь почтенную публику он старался. Среди его родственников (уже по нисходящей) окажутся те, кого любит народ: знаменитые дрессировщики — укротители зверей. Стоит ли удивляться, что будущий «Уголок Дурова» затмит совокупную славу всех российских интеллигентских кружков?

Дуров на пять лет старше Достоевского. Он образован: закончил университетский пансион. Его карьера не удалась. Он служил в Государственном Коммерческом банке, затем — переводчиком в канцелярии Морского министерства. Недавно, в 1847-м, он, подобно братьям Достоевским, тоже вышел в отставку — дабы жить исключитель-

* Русская старина. 1881. № 3. С. 695.
** Достоевский Ф.М. ПСС. Т. XVIII. С. 160.
*** *Семёнов-Тян-Шанский П.П.* Детство и юность. С. 205.

но литературным трудом. Печатается он нерегулярно и мало. Рассчитывает ли он на то, что «революция» улучшит качество его стихотворных творений и откроет путь к славе?

«Для него это тем более было необходимо, — продолжает Семёнов-Тян-Шанский, — что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка...»*

Трудно сказать, на какие «безнравственные поступки» намекает осведомлённый мемуарист. Но интересен ход его рассуждений. Если Дуров ждёт от «революции» изменения своих частных обстоятельств, то чем, спрашивается, он лучше Липранди, который, если верить его недоброжелателям, инициировал политический процесс («контрреволюцию»!) — с тем, чтобы найти в нём спасение от якобы грозивших ему служебных невзгод?

Сокрытые от любопытных глаз интересы личные могут порой повести к событиям историческим.

Под музыку Россини

Достоевский и Дуров проведут бок о бок четыре года — на нарах омской каторжной тюрьмы. Они покинут её в один день. Что-то тяжёлое случится там между ними. Очевидец утверждает, что «они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собою ни единым словом». Возможно, свидетель преувеличивает. Но, во всяком случае, каторга не сделает их *братьями*. «...Они оба пришли к заключению, — пишет знавший их обоих Семёнов-Тян-Шанский, — что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению».



М.М. Достоевский. Фотография. 1850-е гг.

Дело, очевидно, не только во вдруг открывшейся разности идеалов. Вряд ли чёрная кошка могла пробежать между двумя арестантами из-за несовпадений в трактовке

* *Семёнов-Тян-Шанский П.П.* Детство и юность. С. 599.



Ф.Н. Львов. Фотография. 1860-е гг.

тех или иных тонкостей гармоничной системы Фурье. Причина размолвки, скорее всего, в человеческом (может быть, даже «слишком человеческом») — в том, что всегда выступает на авансцену в ситуациях крайних — когда человек, освобождаясь от внешних покровов, становится не только более смертен, но и — душевно — более наг.

Но пока, на свободе, Достоевский поспешает на дуровские вечера. И затем, оказавшись в крепости, всячески выгораживает подельника.

На первом же допросе ему была предъявлена вызвавшая особую тревогу Следственной комиссии фраза Дурова, «что нужно посредством литературы показывать чиновникам самый корень зла, или иначе — высшее начальство»[*]. Достоевский немедленно отвечает, что «зная его (т. е. Дурова. — *И. В.*) образ мыслей», он убеждён, что слова эти либо «не поняты передававшим их» (так, походя, ставится под сомнение профессиональная компетентность Антонелли), либо «сказаны в припадке, в досаде от противуречий, в горячке». Тонкий сердцевед и психолог, он спешит указать следователям на «смягчающие обстоятельства»: трудный характер своего товарища по несчастью. «Я знаю Дурова как за самого незлобивого человека; но вместе с тем он болезненно раздражителен, раздражителен до припадков, горяч, не удерживается на слова, забывается и даже из противуречия говорит иногда против себя, против своих задушевных убеждений, когда раздражён на кого-нибудь»[**]. Иначе говоря, «задушевные убеждения» Дурова вовсе не совпадают с их вербализацией в случайных и неосновательных спорах. Нельзя придираться к словам (ибо, как справедливо выразился поэт, чьим стихом Достоевский мог бы подкрепить свои тюремные заметы, «мысль изреченная есть ложь»). «Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть ли не наедине[***]?» Автор показаний напоминает следователям, что на этот счёт существуют тонкие юридические дефиниции. Частные разговоры не должны становиться предметом полицейского внимания, ибо «семейный и публичный человек — лица разные». Элементарнейшие правовые истины втолковываются Достоевским общедоступно, благожелательно, терпели-

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 151.
[**] Там же.
[***] Там же.

во. Допрашиваемый словно бы заранее «подстраховывает» себя и своих подельников от возводимых на них напраслин. «Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь, при этом ответе моём»[*], — плавно заключает Достоевский.

Другие подследственные более откровенны.

На требование Комиссии открыть, по какому случаю проявилось у него либеральное или социальное направление, Н. Григорьев прямодушно ответствует: «Я прежде не ведал об этом, а узнал со времени моего знакомства с Достоевским, Дуровым и его кружком...»[**] Сын генерал-майора, поручик лейб-гвардии Конно-гвардейского полка, он склонен объяснить своё падение тлетворным влиянием искусивших его лиц. «Видя во мне практика (он хочет сказать — военного? — *И. В.*), социалисты заманили меня... Потом меня закрутили. Плачевный конец вы знаете»[***].

Достоевский никогда не будет объясняться с Комиссией в подобном тоне.

Между тем в арестованных бумагах Пальма следствие обнаруживает ещё один обличительный документ:

РАСХОД НА ВТОРОЙ ВЕЧЕР

3-е марта	
Ужин	3.
Херес и медок[****]	3.20.
Папиросы	40.
Чай и сахар	1.25.
Переноска фортепьян	1.20.
Свечи и табак	85.
Сухари	30.
Сливки	10.
Хлеб	40.
Лимон	10.
Салат	25.
	11.05
	1.20[*****]

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 151.

[**] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 246.

[***] Там же. С. 247.

[****] Это, очевидно, не уменьшительно-ласкательное от слова «мёд», а название одного из сортов французских вин — Медок.

[*****] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 257.

Вещественная сторона духовных по преимуществу трапез (в коих принимает участие не менее пятнадцати человек) обходится крайне недорого: в каких-нибудь десять рублей.

Декабристы, если верить литературной традиции, предпочитали шампанское. Они толковали о политическом перевороте в России «между Лафитом и Клико». («...Вся будущность страны, — скажет Чаадаев, — в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина».) Дуровцы ограничиваются «хересом и Медоком». Как свидетельствуют *улики*, их гастрономические потребности очень скромны.

Более состоятельный Петрашевский угощал гостей холодным ужином. Приемы у Дурова делались в складчину.

В новом кружке хотели толковать «об изящном». «Политики» пусть скучают в Коломне. В отличие от них членов новой *ассоциации* можно было бы именовать «эстетиками». «Поэзия, музыка, живопись были культом нашего небольшого кружка», — вздохнет элегически Пальм по прошествии жизни — в 1885 году.

«*...Общество чисто литературно-музыкальное, и только литературно-музыкальное*»*, — усиленно втолковывает Комиссии Достоевский. «Переноска фортепьян — 1.20» — значится в приведенной выше и приобщенной к делу записи субботних расходов, что косвенно как бы подтверждает справедливость его слов. (Не за эти ли фортепьяны присядет однажды заглянувший на огонёк Глинка?)

Достоевский любил хорошую музыку.

Именно здесь, под звуки Россини, «бывший студент» Филиппов высказал мысль литографировать бесцензурно, а штабс-капитан и «репетитор химии» Львов — предложил свои технические услуги.

Интересно, что сам разговор возник не случайно. Об *умножении текстов* заговорили после прочтения всё того же письма Белинского Гоголю (оно читалось у Дурова дважды — ещё *до* оглашения на «пятнице» 15 апреля).

Эпизод с литографией изложен в показаниях Достоевского и подтвержден другими участниками собраний. Факт этот вызывает недоумение.

На всем протяжении следствия Достоевский придерживается железного правила: он никогда не говорит о том, о чём его не спрашивают. Он не называет ни одного имени, которое и без того не было бы известно следствию; он не касается ни одного сюжета, о котором господа члены Комиссии уже не были бы осведомлены.

---

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 160.

Предложение Филиппова представлялось в высшей степени дерзким. И упоминание о нём (даже со всеми смягчающими оговорками) грозило виновным, и в первую голову самому Филиппову, серьёзными неприятностями.

Не будем говорить о нравственном облике Достоевского: тут автор «Бедных людей» сам постоит за себя. Но и тщательно продуманная им тактика поведения исключает предположение, будто он мог «расколоться». Откуда тогда Комиссия узнала про литографию?

Об этом поведал ей не кто иной, как сам Павел Филиппов.

Приведём доказательства.

Грустная повесть из жизни Филиппова

Дело Филиппова утрачено. Поэтому у нас нет возможности проанализировать его собственный текст. Но во всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата, где обобщены все следственные и судебные материалы, говорится: «Сам Филиппов с *первого допроса* (курсив наш. — *И. В.*), сделав сознание во всём вышеизложенном...»* Среди «вышеизложенного» наличествует и сюжет с литографией.

Свои показания Достоевский давал постепенно — в течение нескольких дней (большинство его ответов не датировано). В предварительном письменном объяснении, которое предшествовало формальному (по пунктам) допросу, он вообще ни слова не говорит о кружке Дурова, очевидно, полагая, что эта информация укрылась от любопытства Комиссии. Наконец, его спрашивают *напрямую* — и на это краткое вопрошение он отвечает весьма пространно. Сам характер его ответов свидетельствует о том, что всё, о чём он счёл нужным осведомить Комиссию (включая и эпизод с литографией), так или иначе фигурировало при *устных* расспросах. Отвечая письменно, он тщательнейшим образом учитывает содержание этих прелиминарных бесед.

Он знает, что они знают. И стараясь не отрицать уже известные факты, он пытается дать этим фактам собственное истолкование.

Он уверяет Комиссию, что мысль Филиппова не имела никаких реальных последствий. Хотя ей и сопутствовали некоторые — праздные, в сущности, — разговоры.

Сначала Филиппов, как явствует из других показаний, всего лишь предложил переписывать разные статьи — для распространения в публике. «Впрочем, я не помню, чтобы Филиппов произнёс слов: ***в либе-***

* Петрашевцы. Т. 3. С. 306.



В.Г. Белинский

ральном духе...» — как всегда, старается выгородить товарища Достоевский. Просто предлагалось заняться разработкой «статей о России», «делиться друг с другом нашими наблюдениями и познаниями». Это выглядит совершенно невинно. Остается, правда, неясным, почему «статьи о России» (этот своего рода совместный учёный проект) нельзя отдавать в печать, а следует непременно переписывать от руки.

Новая инициатива Филиппова в корне меняет дело. Достоевский называет его предложение «несчастным», разумея, конечно, угрозу печальных последствий. Ибо в России заниматься подобной деятельностью волен не каждый.

В законе сказано: «Право содержать типографию или литографию не иначе может быть приобретено, как по представлении просителем достаточных свидетельств о его благонадежности. Свидетельства сии рассматривает Министерство внутренних дел и, в случае удовлетворительности оных, об открытии означенных заведений сносится с Министерством народного просвещения».

Между тем сведущий в прикладной учёности Львов, исчислив цену литографического камня, заключил, что всё предприятие может обойтись около двадцати рублей серебром. Достоевский при этом справедливо заметил, что присутствующие «незаметно уклонились в опасный путь, и что он на это вовсе не согласен». Никто ему не перечил.

Не одобрил идею и брат Михаил Михайлович. Он признает на следствии, что примерно после пятого вечера «наши мирные сходки начали принимать характер политический».

Достоевский в свою очередь подтвердил: Михаил Михайлович объявил ему, что не будет больше посещать Дурова, «если Филиппов не возьмет назад своего предложения», и что то же самое было говорено Филиппову.

«Наш государь милостив, — скажет Григорьев на следствии. — Он очень понимает, что между Петрашевским и М. Достоевским большая разница»*. Должен ли государь понимать то же самое относительно Фёдора Достоевского? Григорьев об этом умалчивает, но, очевидно, имеет в виду. Ибо «всему вина Петрашевский и Белинский». Что же касается остальных, то они далеко не безнадёжны. «Мы все заблуждающиеся, но честные люди». Григорьев, как бы для облегчения следовательских трудов, даже набрасывает краткий списочек тех, у кого,

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 251.

по его мнению, есть перспектива: «Повторяю, если б не Петрашевский, эти молодые люди, в особенности такие практические головы, как Достоевские, Монбелли, Дуров и Милюков, помечтав, обратились бы на путь полезный и принесли б много пользы отечеству»*.

Достоевский великодушно отнесен здесь к разряду «практических голов». «Помечтав», он вполне ещё может исправиться. Воззвав к милости государя, Григорьев уверяет монарха, что указанные лица показались ему, Григорьеву, «не злыми, не способными на *очень* дурное (курсив наш: на "просто дурное" способны, видимо, все. — *И. В.*), но любящими потолковать, поболтать, ругнуть подчас». И для искоренения подобных досад сын генерал-майора рекомендует простейшее средство: «Я полагаю, что если бы дать им ход, способы комфорта, из некоторых из них вышли бы деловые и верные тебе, государь, люди»**.

Увы: государь не внемлет этому доброжелательному совету. Ни «хода», ни «способов комфорта» никому предоставлено не будет.

Что же касается лично его, Григорьева, он согласен на малое: «Да, мои почтенные судьи, не для того, чтобы сидеть в каземате я готовил себя. Теперь молю только о свежем воздухе да клочке земли, где бы я мог жить и умереть спокойно, благословляя своего государя»***.

«Свежий воздух и клочок земли» — вовсе не поэтическая метафора. Это — *подсказка.* Наивный, он полагает, что дело может закончиться ссылкой.

Тяга к писанию не сойдет ему с рук.

Цена графоманства

7 апреля на обеде у Спешнева поручик Григорьев огласит творение своего пера под названием «Солдатская беседа». Предназначенное как бы для «народного чтения», сочинение это очень напоминает другой, ещё не написанный и сокрытый в грядущем текст. А именно — знаменитую прокламацию «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»: за неё автора (впрочем, авторства своего не признававшего) на много лет упекут в Сибирь. Как и Чернышевский, Григорьев старается быть простым и доступным *каждому мужику.* События во Франции излагаются им в высшей степени популярно: «Король слышь больно деньги мотал, богачей любил, а бедных обижал. Да вот в прошлом году как поднялся народ да солдаты — из булыжнику в городе сделали завалы (слово «баррикады» ещё дико для

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 250.
** Там же. С. 239.
*** Там же. С. 248.

девственного народного слуха. — *И. В.*), да и пошла потеха. Битва страшная. Да куда ты, король с господами едва удрал. Теперь они не хотят царей и управляются, как и мы же в деревне. Миром с обща и выборным». Так система Второй республики ненавязчиво сопрягается с милым солдатскому сердцу общинным порядком родного села. Сходство с прокламацией Чернышевского заметно ещё и в том, что оба сочинения, рассчитанные на читателей малограмотных, будут тщательно изучены говорящим по-французски начальством и дальше него не пойдут.

В «Солдатской беседе» употреблены выражения сильные: «Царь строит себе дворцы, да золотит б... да немцев». Великий князь Михаил Павлович поименован «рыжей собакой». Сам государь изображён в качестве держиморды, который гоняется «за солдатиками» по кабакам и собственноручно тузит подвыпивших служивых*.

Император Николай Павлович был в этом отношении весьма щекотлив. Григорьева в числе первых трёх привяжут к столбам, прежде чем он (как и другой офицер — поручик Момбелли) получит свои пятнадцать лет.

Милюков через три десятилетия припомнит, что к григорьевской «статье», где излагался известный в городе анекдот, Достоевский «отнесся неодобрительно и порицал как содержание ее, так и слабость литературной формы»**.

Достоевский верен себе: в сочинении абсолютно нецензурном он находит литературные изъяны. Видимо, он не слишком лукавит, заявив следователям, что впечатление от статьи «было ничтожное» и что если кто-нибудь и сказал несколько одобрительных слов, то исключительно из учтивости. Да и трудно ожидать, чтобы автором «Бедных людей» было одобрено сочинение, которое начинается фразой: «Жестокий мороз трещал на улице» (что легко заменимо ещё более емким «Мороз крепчал»). Вряд ли его привлекала возможность начать великое дело переустройства России с обнародования подобной прозы.

Объясняя дотошной Комиссии, почему он в первом своём показании ничего не сказал про «утро» у Спешнева, где читалась «Солдатская беседа», Достоевский приводит в своё оправдание неотразимые доводы. Зачем-де было распространяться об этом обеде, если там не происходило ничего интересного. А продолжался всё тот же, для всех неприятный спор о литографии. «Впрочем, утро было самое скучное и вялое, потому что между Спешневым и Дуровым, как мне

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 233–237.
** Русская старина. 1881. № 3. С. 697.

показалось, были недоумения. Эти недоумения, сколько я знаю, возникли из-за предложения филипповского»[*].

Он не уточняет характер этих «недоумений». Но, как можно понять из других источников, Спешнев решительно отказался от предложения перенести дуровские вечера к нему. Да и это утро, как скажет один из подследственных, хозяину навязали. Спешнев дорожит своей независимостью и не желает связывать себя никакими кружковыми обязательствами. Во всяком случае, его не устраивает *этот* кружок. Кажется, он очень недоволен тем, что филипповская затея вообще обсуждается.

Вряд ли можно заподозрить Спешнева в робости. Значит, у него (как, впрочем, и у Достоевского) имеются свои резоны.

Все спрошенные в связи с литографией согласны в одном: братья Достоевские дружно выступили против. По возрасту они старше многих членов кружка. Неудивительно, что именно им надлежало проявить осторожность. Сделать это было тем легче, что предложение Филиппова не вызвало особенного энтузиазма. «Все чувствовали, что зашли слишком далеко, — говорит Достоевский, — и ждали, как каждый выскажется». Это затруднение носило, как ему представляется, скорее психологический характер: «Не знаю, может быть, я ошибся, но мне показалось, что половина присутствующих только оттого тут же не высказали противного Филиппову мнения, что боялись, что другая половина заподозрит их в трусости...»[**] Он хочет уверить Комиссию, что вся эта история не стоит выеденного яйца.

Итак, версия Достоевского такова: предложение Филиппова было необдуманно и случайно. Оно не имело никаких дурных результатов. Сам же он, Достоевский, действуя «легкой насмешкой», споспешествовал тому, чтобы это предложение было окончательно «откинуто».

И тут мы сталкиваемся с ещё одной — правда, уже позднейшего происхождения — загадкой. Относительно дуровского кружка до сего времени наблюдается известное разномыслие. Если одни исследователи считают посетителей дуровских вечеров умеренным крылом петрашевцев, то другие, напротив, склонны полагать, будто у Дурова собирались как раз наиболее радикальные из них. Причём каждое из этих, казалось бы, взаимоисключающих мнений находит подтверждение в источниках.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 157.

[**] Там же. С. 156.

Разумеется, трудно не согласиться с тем, что, например, такие члены кружка, как Дуров, Пальм, Милюков или Михаил Достоевский, были далеки от каких-либо серьёзных антиправительственных поползновений. Но — с другой стороны...

Ночной визит к Аполлону Майкову

...В 1922 году был впервые обнародован документ, который не вызвал тогда особой сенсации.

Речь идет о письме поэта Аполлона Николаевича Майкова историку литературы Павлу Александровичу Висковатову. (Кстати, тому самому, на которого *как на источник* ссылается Страхов, поверяя Л. Толстому знаменитую (в будущем) сплетню о растлении Достоевским малолетней девочки.) Письмо было написано через четыре года после смерти Достоевского — в 1885 году. Майков не отправил это послание адресату, и оно почти четыре десятилетия дожидалось своего часа.

Повод к написанию письма оказался сугубо культурного свойства.

«Жид Венгеров» (как изящно выражается Майков) в своей «Истории русской литературы» имел неосторожность упомянуть о молодости поэта. Этот *неуч и сукин сын*, жалуется Майков другому знатоку отечественной словесности, «говорят, написал, что я участвовал в деле Петрашевского и изменил потом его святым принципам». Такое искажение исторической правды глубоко возмутило 64-летнего Майкова. Может быть, именно поэтому он решился нарушить (правда, в частном и, повторим, так и не отосланном письме) данный когда-то обет молчания.

«К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний. Все вздор, главное, что в нём было серьёзного, до Комиссии не дошло»[*].

Русские тайны остаются мало что не разгаданными: даже о самом их наличии ни современники, ни потомки порой не имеют понятия. В 1885 году Майков приоткрывает завесу. Через тридцать шесть лет (1922) его письмо публикуют. Пройдёт ещё три десятилетия — и в бумагах поэта А.А. Голенищева-Кутузова обнаружат черновую тетрадь, содержащую сделанную в 1887 году карандашную запись. Это будет рассказ всё того же Майкова, изложенный им ранее в письме к Виско-

[*] Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долина. Сб. 1. М.: Пб., 1922. С. 268.

ватову, а через два года повторенный Голенищеву-Кутузову и тогда же им записанный.


А.Н. Майков

В обоих документах речь идет об одном и том же: о намерении Достоевского в 1849 году учредить вместе с другими тайную типографию.

«Заводите типографии! Заводите типографии!» — этот обращенный к России глас раздастся из Лондона спустя почти полтора десятилетия после процесса петрашевцев. Правда, первый русский свободный станок заработает уже в 1853 году, но он будет действовать на чужбине.

Радищев печатал свою книгу открыто, хотя трудно понять, на что он рассчитывал. У декабристов был свой легальный альманах; они, кажется, не помышляли всерьёз о тайной печати.

Дело, в котором участвовал Достоевский, — первая в России попытка такого рода.

Она чуть было не увенчалась успехом.

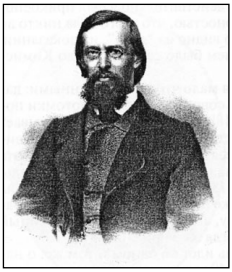
Призванный в Следственную комиссию Аполлон Николаевич Майков не напрасно старался вызвать у её членов чувство здоровой мужской солидарности, когда позволил себе игривую шутку относительно тех неудобств, которые мог бы претерпеть в будущем фаланстере, где все на виду, неженатый молодой человек, принимающий даму. (Бесхитростный приём удался: «общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне».) Сколь бы хотелось ему, чтобы вся беседа велась в таком же легкомысленном роде! Единственный (как он полагал) оставшийся на свободе *хранитель тайны*, он более всего опасался, что добродушно похохатывающие генералы, отсмеявшись, спросят его о разговоре, который состоялся у него с Достоевским той памятной ночью.

(Заметим в скобках, что решающие события в жизни Достоевского, начиная с его дебюта, совершаются в ночное время. Он так и останется навсегда «совой», приурочив литературную работу к этим *своим* часам.)

Майков говорит, что Достоевский явился к нему «в возбужденном состоянии». У него к хозяину имелось «важное поручение».

Время было позднее, и гость остался у Майкова ночевать.

По-доброму интригуя читателя, один исторический беллетрист (в одной из прежних книг почтительно названный нами Ч.Б., то есть Чувствительный Биограф) так живописует сцену несостоявшегося майковского падения: «Только когда улеглись — Майков в своей



А.Н. Майков

кровати, Достоевский на диване напротив, — началось главное».

Достоевский аффилирует (или, выражаясь доступнее, вербует) Майкова: для успешной деятельности типографии потребны профессионалы. Причем, не только «техники», но и — литераторы. Называются имена семерых потенциальных типографов. Майкову предлагается быть *восьмым*.

Майков так передаёт слова Достоевского: «Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, несерьёзный человек и что из его затей никакого толка выйти не может. А потому из его кружка несколько серьёзных людей решились выделиться (но тайно и ничего другим не сообщая) и образовать особое тайное общество с тайной типографией для печатания разных книг и даже журналов, если это будет возможно»*.

«Для печатания разных книг *и даже журналов*» — цель поставлена именно так. То есть, мог иметься в виду и бесцензурный периодический орган (первый в России подпольный журнал!). Весной 1847-го дебютировавший в «Санкт-Петербургских ведомостях» в качестве фельетониста Достоевский, как видим, готов продолжить журналистскую карьеру «записками из подполья» — разумеется, несколько иного толка, чем классические «Записки».

Любопытна также аргументация. Почему Петрашевский — человек несерьёзный? По логике Достоевского, он своего рода Репетилов. Необходимы не разговоры, а *дело*. Инициатива теперь переходит в руки «серьёзных людей».

Это кажется невероятным.

В одну историческую ретроспективу как бы вписаны два взаимоисключающих плана. То самое лицо, которое мудро и с «легкой насмешкой» отвергло филипповский прожект, теперь ввязывается в предприятие, несравненно более опасное. И изо всех сил старается втянуть в него других лиц.

Закон так отзывается о подобных намерениях:

«Всяк, кто, не приобрев законным образом права на содержание типографии, уличен будет в печатании рукописи или книги, хотя бы оная, впрочем, ничего вредного в себе не содержала и даже напечатана была с одобрения цензуры, подвергается трехмесячному заключению, отобранию всего типографского заведения, всех напечатанных экземпляров и пени пяти тысяч рублей».

* Исторический архив. 1956. № 3. С. 223.

Менее всего Достоевский и его друзья собирались печатать что-либо «с одобрения цензуры». Дабы в крайнем случае отделаться трехмесячным заключением и громадным, но всё же менее ощутимым, нежели смертный приговор, денежным штрафом.

На едва ли не риторический вопрос Достоевского, желает ли он, Майков, вступить во вновь образованное тайное общество, Аполлон Николаевич, естественно, отвечает вопросом: с какой, собственно, целью? И получает исчерпывающий ответ: «Конечно, с целью произвести переворот в России. Мы уже имеем типографский станок, его заказывали по частям в разных местах, по рисункам Мордвинова; все готово»*.

На это Майков, ровесник Достоевского, резонно возражает, что он не только не желает вступать в указанное сообщество, но и другим советует отстать от него. «Какие мы политические деятели? Мы поэты, художники, не практики, и без гроша. Разве мы годимся в революционеры**?»

Любопытно, что материальная бедность является в глазах Майкова серьёзным препятствием для участия в революционных затеях. Он упускает из вида, что для такого случая могут найтись богатые *спонсоры*.

Автор «Двойника» меж тем стоит на своём.

Ночной гость, по свидетельству хозяина дома, сидит перед ним «в ночной рубашке с незастегнутым воротом» (в записи Голенищева-Кутузова её цвет — очевидно, в соответствии с замышленным делом — обретает красный гарибальдийский оттенок) и горячо убеждает Майкова примкнуть к полезному для отечества начинанию.

В 1849 году все это выглядит чистейшим безумием.

«Поутру Достоевский спрашивал:

— Ну, что же?

— Да то же самое, что и вчера. Я раньше вас проснулся и думал. Сам не вступлю и, повторяю, — если есть ещё возможность, — бросьте их и уходите.

— Ну, это уж моё дело. А вы знайте. Обо всем вчера <сказанном> знают только семь человек. Вы восьмой — девятого не должно быть!

— Что до этого касается, то вот вам моя рука! Буду молчать»***.

К Майкову явятся не скоро: 3 августа — через три с половиной месяца после того, как возьмут остальных. Дело, разумеется, будет происходить на рассвете.

---

* Исторический архив. 1956. № 3. С. 224.

** Там же.

*** Там же.

«Что бы я сказал?» (К протоколу ночного допроса)

Накануне Дубельт направит полковнику корпуса жандармов Станкевичу (запомним имя: нам ещё придется встретиться с ним в ситуации драматической) следующее предписание: «...Предлагаю Вашему Высокоблагородию отправиться завтра 3-го Августа, в шесть часов утра, к библиотекарю Румянцевского музеума Аполлону Майкову, квартирующему в Большой Садовой в доме Аничкова, опечатать все его бумаги и оныя вместе с ним доставить в 3-е отделение собственной Его императорского Величества канцелярии»[*].

Майков говорит, что перед отъездом из дома он вместе со своим гостем напился чаю.

В III Отделении (как о том единодушно свидетельствуют все там побывавшие) обращались любезно и подавали обед, после которого Майков «преспокойно заснул». В десять часов пополудни его разбудили и повезли в крепость.

Однако он не был немедленно заточен в каземат. Его доставили в комендантский дом: там (как когда-то, в 1826-м) заседала Комиссия. В XIX веке тоже порой любили допрашивать по ночам.

В ожидании, когда его позовут, Майков рассматривал висящие на стенах виды Венеции. (Их, несомненно, обозревал и приводимый сюда Достоевский, в юности тщившийся сочинить роман «из венецианской жизни»: то-то порадовался встрече.) Он также пытался растолковать привезшему его в крепость жандармскому офицеру («из простых»[**]), что в этом чудном город нет ни улиц, ни лошадей, а только каналы, по причине чего кухарки отправляются за провизией исключительно в лодках; аналогичным образом передвигаются и купцы. Жандарм упорно молчал и смотрел недоверчиво: он принимал арестованного за опаснейшего враля.

Наконец, его *пригласили*. Майков довольно подробно воспроизвёл это ночное действо, особо отмечая приветливость Дубельта. Что и позволило Майкову отпустить уже известное нам замечание насчет неудобств системы Фурье. Но вплоть до последней минуты он *ждал*.

«Слава Богу, что не спрашивали о типографии: что бы я сказал?» — напишет он Висковатову, всё ещё сохраняя в душе тот давний полуночный страх.

---

[*] ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 78. Л. 2.

[**] Это был, разумеется, не полковник Станкевич, который производил утренний арест, а просто дежурный офицер.



Ф.М. Достоевский. Рисунок Трутовского. 1847 г.

Сюжет с типографией действительно не был затронут. Это можно подтвердить документально. Следственное дело «О титулярном советнике Майкове», хранящееся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), бесстрастно свидетельствует, что поэту вполне удалась его роль.

Он кратко, но дельно отвечает на обычные в таких случаях вопросы: о родителях, где воспитывался, в какой должности состоит и т. д. и т. п. При этом не забывает присовокупить, что в начале 40-х годов «имел счастье обратить внимание Государя Императора на мои сочинения (книжка стихотворений) и на произведенную мною картину, вследствие чего получил Высочайшее пособие и позволение ехать в Италию...» Ни движимого, ни недвижимого состояния не имеет; живет жалованьем в размере 1500 рублей ассигнациями (разумеется, в год), а также «литературными трудами»[*].

На вопрос, с кем он имел «близкое и короткое знакомство», Майков отвечает, что близких друзей у него нет, за исключением разве двух старых товарищей. Посещает же он главным образом знакомых семейства — тех, кто в свою очередь ходят к ним. Далее следует осторожная фраза, которая как бы предваряет могущие возникнуть подозрения: «Занимаясь литературой, весьма естественно, знаком с большей частью литераторов; впрочем, — спешит добавить вопрошаемый, — коротких сношений с ними не имею»[**]. Комиссии дается понять (в случае если она *знает*), что никто из знакомых литераторов не стал бы делиться с поэтом своими сокровенными тайнами.

Отвечая на вопрос о сношениях своих «внутри Государства и за границею», он вновь позволяет себе иронический тон: «Не только за границей, но и внутри России я писем не пишу и оттуда не получаю; если получу письмо, то с какой-нибудь комиссией от моей бабушки»[***].

Его просят истолковать слова Петрашевского, что существует ещё «общество литераторов», в котором главную роль разыгрывает сам Майков и братья Достоевские, и что якобы они распускали слух, будто Петрашевского вскоре хотят схватить. Майков раздумчиво предполагает, что Петрашевский таким странным способом мог отозваться на то, что он, Майков, позволил себе смеяться над ним. «Общества

[*] РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. № 55. Ч. 92. Л. 3 об.
[**] Там же. Л. 4 об.
[***] Там же. Ч. 32. Л. 4 об.

же литераторов я не знаю, то есть ***положительно*** организованного общества. Что же касается до цели (было спрошено, не совпадает ли она с целями Петрашевского. — *И. В.*), то цель моя, как литератора, состоит в достижении доступного моим силам достоинства моих сочинений», — со сдержанным благородством завершает поэт.

«Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» — грозно сдвигает брови Комиссия. «Никогда не принадлежал и уверен, что принадлежать не буду», — твёрдо ответствует Майков. Его спрашивают, не ведает ли он о каком-нибудь злоумышлении, и просят показать о сем «с полною откровенностию». И вновь библиотекарь Румянцевского музеума не даёт слабины: «О злоумышлении мне неизвестно никакой, и если бы я знал, то объявил бы».

«Надо сказать, — заметит он позднее, — в моих ответах не было никакой лжи...»

В его ответах не было никакой лжи; не было в них, однако, и чаемой следствием истины. «Меня все ещё как будто связывает слово, данное в "эту ночь" Достоевскому, — напишет он в 1885 году. — ...Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее; особенно это приходит мне в голову, когда жиды и кретины станут писать свои истории о нас».

«Дитя добра и света», он не может скрыть дурных исторических предчувствий...*

Но вернёмся к ночному допросу.

Кроме одного беглого упоминания (в связи с «обществом литераторов»), имя Достоевского больше не возникает в протоколе допроса. Однако об авторе «Белых ночей» Майков, по-видимому, был спрошен устно. Причём в достаточно нейтральном контексте.

«О Дост<оевско>м, — пишет Майков Висковатову, — говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из большого самолюбия и неуживчивости».

В записи Голенищева-Кутузова это изложено более подробно:

«Я сказал, что знаю Достоевского и очень его люблю, что он человек и товарищ хороший, но страшно самолюбив и неуживчив, что он перессорился со всеми <после> успеха своих "Бедных людей"

* Сам Аполлон Николаевич Майков, тонкий элегик и певец античных красот, вряд ли догадывался, что сын его, «вольный художник» А.А. Майков, станет членом Главного совета Союза русского народа и ему будет поручено «выполнение самых грязных дел, связанных с подготовкой наемных убийц». (См.: *Степанов А.С.* Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992. С. 113.) «Сыны отражены в отцах», — сказал Александр Блок. Коллизия Степан Трофимович — Петр Верховенский — обоюдоостра.

и — что единственно со мною не было положительной ссоры, но что в последние годы (я нарочно распространил несколько время, ибо, действительно, после этого разговора мы почти не видались) Достоевский ко мне охладел и мы почти не видались»*.

Этим психологическим этюдом Майков и ограничился.

Когда ему сказали «можете идти — вы свободны», Майкову стало «ужасно весело» — именно потому, «что не спросили ничего о "той ночи"». Он вспоминает, как вышел из светлой комнаты в совершенно темный коридор, пошел наудачу и натолкнулся рукой во тьме на что-то железное: то была звезда генерала Набокова (председателя Следственной комиссии и коменданта Петропавловской крепости). *Добрый старик* указал ему путь. Он вышел на пустой крепостной двор: луна ярко озаряла стены собора. Где-то, совсем рядом, обретался Достоевский: он мог теперь спать спокойно.

«Целый заговор пропал»

Вспоминая, каким предстал «той ночью» сидящий перед ним в красной рубашке с расстегнутым воротом автор «Бедных людей» (надо всё же надеяться, что это интимное одеяние он не принёс с собой, а получил от хозяина дома), Майков находит сравнение. «Как умирающий Сократ перед друзьями»**, — говорит он. Он не улавливает той разницы, что в данном случае самоубийство носит вполне добровольный характер.

«Жар гибели свирепый», — сказал Пушкин.

Эта тяга к «перемене судьбы», к жертве и искуплению, в ещё большей степени присуща другому участнику — тому, кого с полным основанием можно назвать душой всего предприятия.

Мы имеем в виду Николая Александровича Спешнева.

Мало, что «аристократ и красавец» с безукоризненными манерами и романтическим прошлым, он обладал сверх того независимым умом и твердо направленной волей. Его скрытую силу чувствовали окружающие.

Он был несуетлив и достаточен: во всяком случае, мог позволить себе некоторый комфорт.

Женщины были от него без ума, хотя, как прозорливо замечает тот же Чувствительный Биограф (Ч.Б.), «дело не только в женщинах». Ниже мы ещё убедимся, насколько он прав!

---

* Исторический архив. 1956. № 3. С. 224.

** Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб. 1. М.; Пб. 1922. С. 268. Ср.: Исторический архив. 1956. № 3.



Н.А. Спешнев.
1840-е гг.

Спешнев нигде не служил и располагал досугом. Он успевает повсюду: появляется у Петрашевского, посещает Плещеева, участвует в дуровском кружке, обедает у Европеуса (эта *идейная* трапеза — в честь дня рождения Фурье, — когда восторженный Ахшарумов призвал «разрушить столицы», дорого обойдётся обедавшим). При этом ему удаётся держаться в тени: недаром в самом начале следствия его относят к фигурам второстепенным.

Скрытный, невозмутимый Спешнев (год рождения — всё тот же: 1821) — полная противоположность Петрашевскому, «актеру и болтуну» (как запальчиво поименует его Достоевский в ночном разговоре с Майковым, напомним, что в официальных показаниях он, несмотря на очевидную для себя выгоду, удержится от подобных определений). Петрашевский — «человек несерьёзный»: поэтому его не посвящают в дело. (Может быть, ещё и потому, что Спешнев не желает *двоевластия.*) В глубоком секрете от остальных семёрка вступает в сговор; это тайное общество так и не будет открыто.

«Целый заговор пропал»*, — скажет впоследствии Достоевский. Он, впрочем, не пояснит, что имелось в виду.

«Пропавший заговор» — это заговор Спешнева.

Но тут возникает вопрос, на который доселе не дано сколько-нибудь удовлетворительного ответа. А именно: почему Достоевский, только что «с легкой насмешкой» отвергнувший предложение Филиппова относительно литографии, вдруг безоглядно ввязывается в другое предприятие, несравненно более опасное? Почему он так радикально меняет точку зрения и, более того, — пытается убедить других в своей правоте?

Это — непостижимо.

«Кружок Спешнева» — это, очевидно, та же типографская «семёрка». Но едва ли не все её участники — члены дуровского кружка. Концы не сходятся. Получается, что во вполне умеренный, аполитичный («литературно-музыкальный»!) круг затесались отчаянные головы.

Не сходится и хронология.

Филиппов делает своё предложение «в конце марта или в начале апреля»**. И в связи с этим «апреля 17 или 18 числа»*** (показания

* Биография. С. 90.

** Поскольку нам известна дата второго вечера у Дурова (3 марта), нетрудно расчислить, что предложение Филиппова обсуждалось начиная с 17 или 24 марта.

*** Дело петрашевцев. Т. 3. С. 204.

Дурова) вечера прекращаются. До ареста остаётся лишь *пять дней*: для перемены убеждений срок слишком ничтожный. События должны совершаться с головокружительной быстротой: формируется конспиративная семёрка, делаются чертежи («рисунки»), заказывается оборудование, и, наконец, уже готовый станок водворяется на квартире Мордвинова.



С.Д. Яновский. Фотография с дарственной надписью: «Ф. М. и А.Г. Достоевским». 1872 г.

Если даже накинуть для верности две-три недели, всё это представляется в высшей степени сомнительным.

Однако посмотрим внимательнее. Майков говорит, что Достоевский явился к нему в январе 1848 года. Он, конечно, ошибается: речь может идти лишь о 1849-м. Но перепутан ли при этом и месяц? Майков помнит, что дело происходило зимой. Достоевского арестовали в апреле. Когда же состоялся ночной разговор?

Если бы арест Достоевского случился вскоре после его визита к Майкову, последний наверняка соотнёс бы оба события. Но поэт ничего не говорит на сей счет.

Правда, Майков утверждает, что, по дошедшим до него сведениям, типографский станок был собран «за день, за два до ареста». Допустим, что это действительно так. Но ведь Достоевский, сообщая Майкову о том, что станок «заказывали по частям» и нынче «всё готово»*, мог иметь в виду лишь исполнение этого заказа, а не окончательную — разумеется, силами самих заговорщиков — сборку. Такие дела быстро не делаются. Между январем и апрелем времени было достаточно. Позволительно поэтому предположить, что Майков, говоря о *январском* визите Достоевского, правильно называет время года.

Но если это так, то литографию и типографию следует поменять местами. И замыслы относительно последней отнести на несколько месяцев раньше.

Это очень важное обстоятельство. Ибо тогда предложение Филиппова о домашней литографии выглядит не столько смелым, сколько опрометчивым. Оно грозило провалить всю конспирацию.

Из примерно пятнадцати посетителей дуровских «суббот» о типографии, если верить Майкову, знают шестеро: Достоевский, Спешнев, Филиппов, Момбелли, Григорьев, Мордвинов. Седьмое имя — Владимир

* Исторический архив. 1956. № 3. С. 224.

Милютин. Он, правда, давно отстал от Петрашевского (не посещает «пятниц» с 1847 года) и не замечен на вечерах у дуровцев, однако близок с некоторыми из них и, как мы убедимся ниже, находится в курсе событий. Среди остальных дуровцев преобладают лица, отнюдь не склонные к подобного рода авантюрам. Например, всецело преданный музыке Кашевский или осмотрительный Милюков. Или — тот же Михаил Достоевский, которого младший брат ни в коем случае не стал бы приобщать ни к каким рискованным предприятиям, хотя бы по тому соображению, что Михаил Михайлович обременён семейством.

Заметим, что хозяева вечеров (то есть Дуров, Щелков и Пальм) не принадлежат к семёрке и отстранены от всякого участия в конспиративной затее.

Почему же тогда так неосторожен Филиппов?

Дуровский кружок мог служить для «типографов» местом встреч и легальным прикрытием. Он устраивал их именно в этом качестве. Предложение завести литографию ставило всех участников кружка в положение двусмысленное. Те, кто не знал о типографии, вовлекались в неожиданное и весьма опасное дело. (Не было ли само предложение Филиппова своего рода зондажем непосвящённых, попыткой через «промежуточный вариант» — литографию — приобщить их к более положительной цели?) Те же, кто был посвящён (то есть участники «семёрки»), подвергались теперь риску быть вовлечёнными в ещё одно предприятие, которое ввиду слабой конспирации обладало всеми шансами провалиться в самом неотдалённом будущем.

У «спешневцев» имелись причины быть недовольными неловкостью одного из своих товарищей. Затея Филиппова была дружно похерена*.

Повторяем: схема эта справедлива, если допустить, что замысел типографии созрел до щекотливых мартовских разговоров у Дурова. Но когда именно?

Из показаний Спешнева**, Петрашевского, Львова, Черносвитова и Момбелли известно, что в декабре 1848 года между ними ведутся интенсивные переговоры о создании «настоящего» тайного общества. Хотя отобранный у Спешнева при обыске проект «обязательной подписки»*** для будущих членов общества не был известен никому из остальных арестованных (сам автор утверждал, что документ этот на-

* В некоторых следственных показаниях инициатором этой затеи назван Ф.Н. Львов. Это неверно — он только сделал расчёты стоимости литографического камня. На допросах Филиппов, как мы уже говорили, признал своё авторство.

** Отрывки из утраченного дела Спешнева дошли до нас в следственных копиях.

*** Дело петрашевцев. Т. 3. С. 445.

писан им несколько лет назад — во время пребывания за границей), он, если бы переговоры удались, мог бы лечь в основу возникающего революционного содружества. Декабрьские беседы ни к чему не повели: отчасти из-за неготовности участников, отчасти из-за разницы их характеров и темпераментов. Спешнев принимает решение выйти из игры.

В своих показаниях Момбелли утверждает, что Спешнев написал учредителям будущего общества письмо, в котором «иронически отзывался о нашей затее...» и в заключение отказывался от неё, говоря (обратим внимание на мотивировку!), что он «*связан другими условиями, более положительными*» (эти слова подчеркнуты не только нами, но и следовательским карандашом князя Гагарина).

Петрашевский, продолжает Момбелли, посмеялся над сим туманным намеком, «приписывая это ребяческому хвастовству, желанию показаться действующим»*. Несмотря на явленную в карандашных пометках тревогу, члены Комиссии в конце концов, очевидно, согласились с этой трактовкой, которую Спешнев, конечно, не стал бы теперь оспаривать.

Меж тем существует одно любопытное свидетельство, которое, хотя его обычно не соотносят с вышеприведенными словами Спешнева, находится с ними, как думается, в некоторой связи.

«А вот и я!» (К явлению беса)

В своих воспоминаниях доктор Яновский с горестью повествует о перемене, которая внезапно случилась с его пациентом. Тот вдруг «сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым», стал придираться к пустякам, чаще жаловался на дурноты и т. д. и т. п. Перемена эта, по свидетельству наблюдательного доктора, «совершилась... не в очень длинный промежуток времени, а так примерно в течение двух-трех недель».

Когда же всё это происходит? Яновский указывает точное время: *конец 1848 года*.

Воспоминатель ни секунды не сомневается относительно истинной причины подобных метаморфоз. Это — неожиданное сближение Достоевского со Спешневым, с которым он ранее близко сходиться избегал («этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому»).

«Сближение» — не совсем точное слово: насколько можно судить, здесь имеет место скорее *деловой* интерес.

---

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 459.


А.А. Краевский

«Нет, нет, не пройдёт, а долго и долго будет меня мучить...»* — так отвечает Достоевский на профессиональные утешения своего домашнего врачевателя, от которого, впрочем, не скрывается глубинная подоплёка всех этих мук. Оказывается, взятые в долг у Спешнева 500 рублей серебром и мысль о невозможности их отдачи лишают совестливого должника сна и покоя.

При всей положительности мотива он выглядит не вполне убедительным.

Достоевскому — и раньше и позже — случалось залезать в долги. Бывали суммы и покрупнее. Он адресует просьбы о помощи брату Михаилу Михайловичу, Краевскому, Майкову, Герцену, Врангелю, Каткову и т. д. — кажется, у него не остаётся знакомых, которые со временем не обращались бы в его кредиторов. Порою отдача затягивалась на десятилетия (как, например, с долгом Плещееву), но — никогда не отменялась.

Он не хотел быть должным никому.

Недавно удалось доказать, что рассказ Яновского — чистая правда.

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки, в описи бумаг, отобранных у Спешнева при аресте, мы обнаружили документальное подтверждение сделанного Достоевским займа. Под номером 71 (от 20 мая 1849 г.) в описи значится: «Письмо ***Достоевского*** — прибегает с просьбою о денежном пособии; упоминает об участии в литературных занятиях у ***Краевского***»**. Следовательно, существовало письмо: вряд ли адресат отказал просителю в просьбе.

Письмо Достоевского до сих пор не разыскано (хотя *в принципе* оно должно находиться в деле: в числе прочих бумаг, которые, согласно сопроводительным пометам, были «препровождены к Председателю Следственной комиссии»).

Любопытно, что просьба «о денежном пособии» носила письменный (то есть формальный) характер. С другой стороны, упоминание Краевского наводит на мысль, что в письме оговаривались условия отдачи долга, ибо единственным источником денежных поступлений было для автора «Неточки Незвановой» сотрудничество в «Отечественных записках».

«...Он не возьмет *деньгами* назад...», — говорит Достоевский о Спешневе. Но если *не деньгами*, то — чем же?

---

* Русский вестник. 1885. № 4. С. 816.

** ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 2. Л. 59 («Копии некоторых бумаг, найденных у злоумышленников»).

«...Теперь я с *ним* и *его*»[*]. Подобная формула не употреблялась даже в случае, когда брались огромные авансы под ещё не написанные романы. Не прилагалась она, скажем, и к Тургеневу, долг которому в период их позднейшей вражды был для Достоевского особенно мучителен. За что же Спешневу выпала такая честь?

Уместно предположить, что в декабре 1848 года Достоевского со Спешневым связывает какое-то дело. А возможно — и *слово*. Очевидно, при этом получена взаймы известная сумма, тогда положение того, кто её взял, становится весьма деликатным.

Если замысел тайной типографии возник в декабре 1848 года, тогда становится понятным угнетённое состояние духа одного из тех, кто одобрил идею и, следовательно, связал с нею свою судьбу. Дело, разумеется, не в деньгах (вернее, не только в них). «...У меня... есть свой Мефистофель»[**], — говорит Достоевский. Но Мефистофель требует *душу*. Невозможность вернуть 500 рублей равносильна в этом смысле невозможности возвратить данное слово. Фауст уже *повязан*.

Самое любопытное, что отдача денег (если здесь действительно имел место заём) ещё не освобождала *от долга*. Хотя — восстанавливала равенство отношений.

Не будем усугублять ситуацию драматическим предположением, что часть занятой суммы предназначалась для покупки типографических принадлежностей. Деньги на это дело получил Филиппов. 4 июня 1849 года на допросе в Петропавловской крепости он впервые произнес слово «типография».

Стуки в Алексеевском равелине

Добровольно поведав об этом, доселе совершенно неизвестном для следователей намерении, Филиппов признал себя единственным инициатором всей затеи. В свою очередь Спешнев, подтвердив справедливость самого факта, категорически заявил, что «сей умысел» принадлежит исключительно ему, Спешневу, и он один должен нести за это ответственность.

Трудно сказать, какими соображениями руководствовались Филиппов и Спешнев. Была ли у них надежда спасти остальных? Может быть, они полагали, что кое-кто из посвящённых не сумеет сохранить тайну и поэтому торопились взять вину на себя?

---

[*] Русский вестник. 1885. № 4. С. 815.

[**] Там же.

Нельзя исключить и предварительную — на случай провала — договорённость.

Заметим: и Филиппов, и Спешнев настоятельно подчёркивают, что попытка организовать типографию — их личное дело. Таким образом, ослабляется подозрение в сговоре или заговоре. Что, с одной стороны, несколько облегчает вину, а с другой — выводит из-под удара конспиративную «семёрку», относительно которой следствие остаётся в полном неведении. Утверждая, что «целый заговор пропал», Достоевский, как мы уже говорили, скорее всего имел в виду именно это обстоятельство.

Но догадывается ли он о том, что Комиссия знает о типографии?

В одном из предъявленных ему вопросов прямо спрашивается о намерении Филиппова печатать нелегальные статьи. Ответ Достоевского в высшей степени любопытен.

«Павел Филиппов сделал такое предложение. Но в вопросе сказано о ***домашней типографии. О печатании*** никогда и ничего я не слыхал у Дурова; да и нигде. Об этом и помину не было. Филиппов же предложил ***литографию***. Это мне совершенно памятно»*.

Достоевский недаром подчёркивает ключевые слова. Он настаивает на различении понятий. Литография — да, пожалуйста: об этом и так уже известно следствию. Но ни о каком «печатании» речи у Дурова не было. «Да и нигде», — поспешно добавляет Достоевский: в этой стремительной оговорке ощутима тревога.

Тем не менее он отвечает так, как если бы был вполне убеждён, что следователям пока ничего не известно о «заговоре семи».

Откуда такая уверенность?

Следует признать, что при всём своём почти четвертьвековом опыте III Отделение допустило существенную профессиональную оплошность. (У русской тайной полиции ещё нет практики «массовых» политических дознаний.) Большинство злоумышленников, взятых в ночь на 23 апреля, были первоначально собраны в одном помещении. У них оказалось некоторое время для того, чтобы обменяться впечатлениями. И — хотя бы вчерне — наметить образ действий на допросах.

Но это — не единственная возможность.

Во время следствия Достоевский сидел в Секретном доме Алексеевского равелина — в камерах № 7 и № 9. «Сношения с товарищем — соседом по заключению (Филипповым), — говорит О.Ф. Миллер, — происходили при помощи постукивания»**.

---

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 159.

** Биография. С. 109–110.

«Рассказывал... про Петропавловскую крепость, — стенографически записывает в своём дневнике Анна Григорьевна, — про то, как он переговаривался с другим<и> заключенным<и> через стенку»*.

Публикаторы этой расшифрованной стенограммы добавили буквы, стоящие в угловых скобках. Думается, это излишне: речь, конечно, идёт об *одном* человеке — Павле Филиппове. Поэтому следует читать именно так, как в оригинале: «с другим заключенным».

Итак, у двух членов «семёрки» была в крепости возможность контакта! (Правда, не совсем ясно, каким образом они понимали друг друга: ведь не выучили же заранее тюремную азбуку — «бестужевку». Или «переговаривался» следует понимать буквально?) И если учесть, что один из них «взял на себя» подпольную типографию, то второй — по взаимной договоренности — мог делать вид, что ему об этой истории ничего не известно.

О «семёрке» не упомянул на допросах ни один из посвящённых. А ведь такой риск существовал: Григорьев, например, «сломался» и давал очень откровенные показания. Значит, либо действительно состоялся предварительный сговор, либо не все из обозначенных Достоевским в разговоре с Майковым лиц принадлежали к сообществу, а были названы, так сказать, в качестве *кандидатов*. Во всяком случае, пока с уверенностью можно указать только троих: Спешнева, Филиппова и Достоевского.

«Семёрка» на поверку могла оказаться «тройкой»**.

И Филиппов, и Спешнев единодушно утверждают, что мысль о нелегальном печатании возникла у них после того, как идея литографии была отвергнута. Желательно было убедить следствие, что тут имело место не давно обдуманное намерение, а легкомысленный, совершенно случайный порыв, который и возник-то всего за несколько дней до ареста. Филиппов и Спешнев наперебой берут вину на себя. Исполненная зрелой государственной осторожности, не верящая *словам* Комиссия настолько поражена борьбой двух благородств, что не настаивает на дальнейших разысканиях.

Не исключено, конечно, что у неё имелись какие-то свои соображения.

Любопытно бы выяснить — какие.

---

* Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 234.

** Можно представить и такой вариант. Хотя «семёрка» реально существует, в замысел типографии посвящены только некоторые из её членов.

О пользе семейных связей

Свидетельство А.Н. Майкова о том, что типографский станок был собран на квартире Н.А. Мордвинова, не замечен среди разных физических приборов при обыске, а затем тайно изъят домашними, находчиво снявшими с петель опечатанные двери мордвиновского кабинета, — эта детективная история вызывает сомнения.

«...Неужели Мордвинов, — задаётся вопросом Б.Ф. Егоров, — свыше четырёх месяцев после арестов друзей спокойно держал станок в комнате, не подумав об его укрытии или уничтожении?! Не спутал ли Майков квартиры Мордвинова и Спешнева?»*

Действительно: каким образом станок мог оказаться у Мордвинова?

В докладе генерал-аудиториата сказано: Филиппов «заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были к Спешневу и оставлены... в квартире его», а Спешнев в свою очередь «взял к себе на сохранение заказанные вещи». Но где же они, эти вожделенные вещественные улики?

Жандармы, *повторно* посланные в квартиру Спешнева, обнаружили там только пустые ящики. Станок бесследно исчез — и удивительно, что профессионалы из III Отделения не сделали более ни малейших попыток его обнаружить. (В этой исполненной поразительных загадок истории нам ещё предстоит разобраться.) Может быть, домашние Спешнева заявили, что, устрашившись, они выбросили подозрительные предметы в Неву?

Домашние Спешнева?** Но почему же не Мордвинова, как утверждает Аполлон Николаевич Майков?

22-летний чиновник Министерства внутренних дел Николай Александрович Мордвинов — фигура в деле петрашевцев малозаметная (вернее, как мы ещё убедимся, его пытаются сделать таковой). Он — неизменный посетитель дуровских вечеров; он, по-видимому, довольно короток со Спешневым; ему одному даёт Григорьев в руки свою «Солдатскую беседу» — вещь оскорбительную лично для государя. Его имя упоминается во многих показаниях. Однако — и это обстоятельство упустили из вида почти все комментаторы майковского рассказа — его даже не арестовывают. Мордвинов остаётся на свободе, и лишь несколько месяцев спустя после взятия остальных его тоже берут. Но — только на один день: с тем, чтобы немедленно выпустить после допроса.

---

* *Егоров Б.Ф.* Петрашевцы. С. 163.

** Ф.Н. Львов, уже находясь в Сибири, утверждал, что типографский станок был всё-таки обнаружен, и обнаружен именно у Спешнева.

Следовательно, не было никаких опечатанных дверей. Во всяком случае, в квартире Мордвинова.

Станок мог быть вынесен из другой квартиры.

И всё-таки не стоит сбрасывать со счетов того, на кого указывал А. Майков. В качестве хранителя станка из всех участников «семёрки» он — лицо идеальное.

Юный Н.А. Мордвинов — сын сенатора Александра Николаевича Мордвинова. С 1831 по 1836 год Мордвинов-старший являлся не кем иным, как управляющим делами III Отделения*. То есть исправлял ту самую должность, которую ныне, в 1849-м, благополучно занимает Леонтий Васильевич Дубельт.

Надо полагать, сработали старые связи. Сына бывшего начальника не только не арестовали, но и допросом-то обеспокоили в самом конце: 2 сентября (всего за полмесяца до завершения следствия**!).

Разумеется, Мордвинов-отец сделал всё, чтобы спасти сына.

Но согласившись с таким допущением, мы тут же наталкиваемся на сильный контраргумент. Зачем, казалось бы, Дубельту, сменившему Мордвинова у руля III Отделения, спасать детей своего предшественника, падение которого споспешествовало его собственной карьере?

А.Н. Мордвинов был отрешён от должности за то, что пропустил в печать книгу «Сто русских литераторов» с тремя произведениями декабриста А.А. Бестужева. Это вызвало такой гнев царя, что только благодаря заступничеству Бенкендорфа А.Н. Мордвинов не был уволен с государственной службы, а получил место вятского губернатора. Казалось бы, у Дубельта имелись резоны топить Мордвинова-младшего. Однако этого он почему-то не сделал и, как оказывается, даже помог ему выплыть. Мы ещё попытаемся разъяснить это недоумение. Пока же следует перенестись на шесть лет вперед.

В ноябре 1855 года Н.А. Мордвинов, остававшийся после привлечения его по делу петрашевцев под секретным полицейским надзором (именно таким эфемерным взысканием отделался он тогда), был арестован в городе Тамбове, куда прибыл, заметим, по собственной воле и где благополучно продолжал свою чиновничью карьеру. Этот едва ли не первый при Александре II политический арест — в самом начале царствования, при явных признаках «оттепели» — произвёл тогда сильный эффект. Н.А. Мордвинову грозили серьёзные неприятности: он был уличён в распространении нелегальных сочинений

* В этом качестве А.Н. Мордвинов осуществлял надзор за Пушкиным и был доверенным лицом Бенкендорфа в его отношениях с поэтом.

** Между тем имя Мордвинова впервые стало известно Комиссии ещё 29 апреля.

и хранении возмутительных бумаг. Среди последних оказались документы шестилетней давности, принадлежавшие старым его друзьям — Филиппову, Григорьеву и Плещееву. В том числе — тексты, предназначенные когда-то к тайному печатанию и распространению. Это, во-первых, доказывает, что в 1849 году бумаги избегли обыска, а во-вторых, что у Мордвинова скапливались тогда материалы для подпольной печати.

Но, как и в 1849 году, совершается чудо. Меч, уже занесенный над его головой, благополучно вкладывается в ножны.

В январе 1856 года старый граф Алексей Фёдорович Орлов (по-прежнему — начальник III Отделения) представил молодому государю доклад относительно участи Н.А. Мордвинова. В докладе предлагалось «вменить ему в наказание арест, под которым он ныне находится, и, сделав ему строжайшее внушение, подвергнуть его надзору»*.

Государь одобрил этот отеческий проект.

«...Напрашивается предположение о том, — резонно замечает биограф нашего удивительного счастливца, — что граф А.Ф. Орлов проявил в деле Н.А. Мордвинова необычайную снисходительность. Видимо, отец арестованного — сенатор А.Н. Мордвинов оказал своё влияние на ход следствия»**.

Действительно, история повторилась — вплоть до деталей. Молодой Мордвинов вновь отделывается лёгким испугом. (Лёгкость эта особенно очевидна, если вспомнить, что наказуемый и так уже состоит под надзором***.)

Остаётся пожалеть, что Достоевский был сирота.

Ещё не раз на протяжении своей жизни (он умрёт в 1884 году, достигнув высоких чинов) «генерал-студент», как звали Н.А. Мордвинова современники, будет ходить по самому краю пропасти — словно искупая наследственную вину. Но всегда находилась рука (в том числе — министра двора и уделов, всесильного графа В.Ф. Адлербер-

---

* Цит. по кн.: *Порох И.В.* История в человеке. Н.А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40–80 годов XIX в. Саратов, 1971. С. 171.

** Снисходительность власти простиралась до такой степени, что жене Мордвинова было дозволено провести в его камере новогоднюю ночь.

*** Приведём в связи с этим любопытную запись из дневника Н.А. Добролюбова: «...гр. Орлов является к государю с огромным докладом о Мордвинове как государственном преступнике и т. п. Александр узнал, в чем вина Мордвинова, и сказал только: «Мне прискорбно, что говорят дурно о моем незабвенном родителе, и я бы этого не желал; но что говорят обо мне — так это мне решительно все равно. Мордвинов довольно уже наказан заключением: выпустить его...» И Мордвинов действительно выпущен... Не знаю, что и думать о таком образе действий. Это всех поражает в высшей степени» (*Добролюбов Н.А.* Собр. соч. Т. 8. С. 473–474).

га), которая отводила от фантастического удачника, казалось бы, неминуемую беду.

Вернёмся в год 1849-й обогащённые теми сведениями, которые помогают натурально объяснить явления почти сверхъестественные.

Ибо теперь становится ясным всё остальное. Поразительное равнодушие, проявленное обычно бдительной и дотошной Комиссией к столь заманчивому, а главное, *верному* следу, объясняется мощным воздействием больших закулисных сил. Шеф жандармов и личный друг государя согласился не форсировать дело. Его ведомство отнюдь не заинтересовано в отыскании *слишком* серьёзных улик: не все гипотезы подлежат отработке. Дубельт и его коллеги почтут себя вполне удовлетворёнными признаниями Спешнева и Филиппова. Уверения последних в исключительной личной ответственности за типографию следователи примут без малейших сомнений. (Не была ли сама эта версия заботливо подсказана заключённым?) Достоевскому и другим не будут досаждать навязчивыми вопросами. Упоминания о типографии в материалах следствия окажутся скупы и неопределенны.

Вспомним: «...Целый заговор пропал». Он действительно *пропал*: сюжет благополучно замяли.

Ни в одном из произнесённых над ними приговоров (кроме, разумеется, приговоров Филиппову и Спешневу) о типографии не упомянуто ни словом. Литографии в этом отношении более повезло. (Кстати, исчезновение дел Филиппова и Спешнева, то есть именно тех, в которых только и упоминается «типографский вопрос», тоже наводит на интересные мысли.)

Теперь попробуем ещё раз восстановить всю картину. Спешневская «семёрка» (или часть её) возникает в самом конце 1848 года. Очевидно, тогда же появляется мысль о нелегальном печатании и, возможно, делаются какие-то предварительные расчёты. В конце марта 1849-го на одном из вечеров у Дурова Филиппов возбуждает вопрос о домашней литографии: идея не вызывает энтузиазма. Достоевский также выступает против — скорее всего, по соображениям конспиративным. (Правда, нельзя исключить, что к этому времени он уже охладевает к прежней идее и искренне пытается отговорить остальных.)

Может быть, неудача с литографией даёт последний толчок: в жизнь начинает срочно воплощаться первоначальный проект.

Но времени уже нет. Действительному статскому советнику Липранди приказано завершить годовые труды.

Из главы 5

ЗЛОУМЫШЛЕННИК В ЖИЗНИ ЧАСТНОЙ

«Когда из мрака заблужденья...»

Сообщая о своей московской хандре, Плещеев добавляет, что его могло бы, пожалуй, немного развлечь одно лишь женское общество. «Но я ещё с приезда не видал женского лица (если я говорю женского, разумею, во-первых — молодое, а во-вторых — не б...)*». Состоящие в браке знакомые не показывают своих жён: «...должно быть или слишком хороши, или, напротив, только для домашнего обихода годятся». Мужские лица не радуют глаз. И вообще автор письма находит, что уличной публичной жизни в Москве несравненно меньше, чем в Петербурге. «Одни старые салопницы шмыгают к вечерне да к всеночной». Отсюда является подозрение, что здесь «любят развратничать тайно, келейным образом».

Чтобы развлечь своих петербургских друзей, Плещеев сообщает две романтические истории. И хотя эти новеллы, в отличие от письма Белинского к Гоголю, не стали предметом государственного дознания, они были тоже приобщены к делу.

Первая история в силу своих этнографических достоинств заслуживает того, чтобы привести её целиком.

«Один гусар-офицер волочился за женой красильщика. Муж, возвратясь однажды из клуба ранее обыкновенного, застает его у себя, пьющего чай с его женой и облаченного в его халат; красильщик не отвечал ни слова на сказку, выдуманную офицером для истолкования такого пассажа, и сам присоединился к чаю. Часа два спустя красильщик зовет офицера посмотреть его фабрику. Офицер, обрадованный, что муж ничего не подозревает, согласился. В красильной в это время стоял огромный чан с ***синей*** краской, на изо-

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 292.

бретение которой красильщик только что получил привилегию. Когда они подошли к чану, оскорбленный супруг схватил офицера за шею и трижды окунул его лицом в краску. По окончании этого процесса офицер был совершенно ***небесный***. Ну, давайте я вас вытру, — сказал, рассмеявшись, красильщик и, помочив тряпку в какую-то жидкость, стоявшую на окне в миске, стал вытирать ею лицо офицера. Но это была не вода, а такой состав, после которого краска уже не могла никогда сойти. Офицер в отчаянии бросился в клинику, но что ни делали доктора, все напрасно. Призвали красильщика, он отвечал, что получил привилегию и не откроет своего секрета никому, но что перекрасить в черную краску может. Теперь бедный офицер лежит облепленный шпанскими мухами и не имея довольно денег, чтобы заплатить красильщику за открытие секрета. Красильщик французский подданный, и наказать его нельзя. Не правда ли, славная история*?»

Автор говорит о «совершенно *небесном*» по окончании экзекуции офицере: эпитет, часто прилагаемый к форменной одежде известного ведомства («И вы, мундиры голубые...»). К счастью, обычно проницательная Комиссия не смогла или не захотела уловить столь тонкий намек...

Другая история посвящёна гвардии полковнице Толстой — «страшной богачке», которая «прожила все имение на монахов». Кредиторы хотели засадить её в яму (то бишь в долговую тюрьму); полковница, натурально, не соглашалась. Тогда её повезли обманом, уверив, что доставят в Надворный суд. «Когда она увидела, что это не суд, а яма, вылезши из кареты, села прямо голой ж... на снег и начала кричать “не пойду”. Призвали будочника и казаков. Полковница рвется, казаки тащут, голые ляжки видны, народ скопился и приговаривает: ишь дворянские ляжки! Словом орёл!! Орёл! Орёл! Орёл!»**

Плещеев желает не просто потешить друзей-петербуржцев. У него более специальная цель — обличить гуманное, как он выражается, московское дворянство, которое «нисколько не негодует на то, что, например, один из их сословия завёл у себя в деревне гарем и сасильничал одну девушку в глазах её отца и матери». . Он хвалит московского генерал-губернатора Закревского, не только отпустившего на волю всех потерпевших, но и отдавшего самого барина (которого так и тянет по старой школьной привычке аттестовать «Нестором негодяев знатных») под строжайший полицейский надзор.

---

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 293.

** Там же.

Сюжет с распущенным гаремом, кажется, не совсем посторонний для автора письма.

В послании Плещеева Достоевскому от 14 марта после слов «salut et fraternite» следует текст, который никаких вопросов у членов Комиссии не вызвал. Но и позднейшие комментаторы тоже стыдливо обошли его стороной.

Плещеев пишет:

«Теперь несколько слов об известном члене общества, даром тяготящем землю, а именно о Ваньке (Насте, Типке тож). Что она поделывает, как живет? Пожалуйста, напишите поподробнее, есть ли у ней деньги; не достали ли вы сколько-нибудь от Дурова? Поцелуйте её от меня»[*].

Слава Богу: у следователей хватило ума догадаться, что «известным членом общества» именуется отнюдь не лицо, посещавшее Петрашевского или Дурова. Ибо, как можно понять из дальнейшего, упомянутая «Ванька» (Настя, Типка тож) относится к категории женщин, которые занимаются совсем другим ремеслом. Плещеев, очевидно, попытался добиться того, чем на его месте озаботился бы любой *мечтатель*: вывести падшую «из мрака заблужденья».

Поэтом движет не только высокий альтруизм. Будучи знаком с предметом своих забот не первый день, он руководствуется и более интимными чувствами. И, судя по тексту письма, вся эта история прекрасно известна Достоевскому.

«Я бы дорого дал, — продолжает Плещеев, — чтобы она была в эту минуту подле меня. В последнее время я её полюбил ещё больше, мне грустно ужасно, что её нельзя перевоспитать... или, если можно, то нужны для этого деньги; признаюсь вам, что это была главная причина моей хандры перед отъездом»[**].

Итак, можно заключить: в начале 1849 года (но, очевидно, и раньше) и вплоть до самого своего ареста Достоевский был наперсником той, чьи черты, возможно, скажутся в его героинях 60-х годов и кого пытался спасти и «перевоспитать» его возвышенный друг. В *их* доме (только в каком? Плещеев, как мы знаем, жительствует с матерью, хотя и «в особых покоях»: вряд ли та бы одобрила явление Насти) он — свой человек. Часто ли оставлял поэт свою ветреную подругу на попечение автора «Белых ночей», героиня которых, кстати, носит такое же имя? Вообще, не может не изумить «совпадение жизни» с коллизиями этого (уже написанного!) «сентиментального

[*] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 290.
[**] Там же.

романа»: Мечтатель, опекающий девушку, которая ждет возвращения своего любимого из Москвы. Правда, в реальности «девушка» — особого рода. Но её потенциальный «жених» (т. е. Плещеев) — не меньший мечтатель, чем герой «Белых ночей».



А.И. Пальм. Портрет маслом. 1840-е гг.

Впрочем, подобные попечения нередки в этом кругу.

Конечно, Настенька «Белых ночей» — это не Настя плещеевских писем. Да и Достоевский не обязательно влюблен в «чужую соседку». Однако сюжет наводит на размышления.

Ибо есть основания полагать: мотив «спасения падшей», возможно, заключает у Достоевского и некоторые автобиографические черты. Даже если автор «Белых ночей» сам не «спасал», то во всяком случае по мере сил старался споспешествовать этому богоугодному делу.

И Лиза «Записок из подполья», и героиня «Преступления и наказания» — родные сестры плещеевской Насти.

«...Помню, — через тридцать с лишним лет скажет подельник Достоевского И.М. Дебу, — с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному «проценту», олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова».

«Кларушки, Минушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег», — тоном любимца публики жаловался он брату в 1846-м, «звездном» своём году*. Теперь, в 1849-м, средства нужны для другого.

«Я благодарен за наслаждение, которое она мне доставляла, — делится с Достоевским Плещеев, — и желал бы чем-нибудь воздать ей; а между тем я оставил её почти ни с чем, если принять в соображение, какие ей нужны для первого обзаведения расходы. Да и сам-то поехал я без гроша почти. У меня остаётся теперь всего 8 рублей сер. Что будет, то будет»**.

---

* В «Родиться в России» мы предположили, что, независимо от своего реального содержания, эта неосторожная фраза (вырвавшаяся у Достоевского после его блистательного дебюта, когда слава автора «Бедных людей» и «Двойника», по его собственным словам, достигла «апогеи») полностью отвечает характеру играемой им роли. Ибо ничто так не оттеняет успех, как внимание женщин. Но, поскольку героиня отсутствует, появляется указание на временно заменяющую её принадлежность театрального реквизита.

** Дело петрашевцев. Т. 3. С. 290.

Дурову, который «тоже поэт» и которого Плещеев тоже числит среди своих близких друзей, о Насте не молвлено ни слова. Эта материя доверяется только опытному сердцеведу. Хотя последний, казалось бы, не обладает богатством впечатлений на этот счёт.

«До ссылки Фёдора Михайловича в Сибирь, — пишет доктор Яновский, — я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер какой-либо из знакомых нам дам или девиц, что, однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири составляло одно из любимых его развлечений»*.

Знакомые «дамы и девицы», о которых упоминает Яновский, принадлежат, разумеется, к приличному кругу. Но, может быть, изобразитель петербургских углов совершал свой «психологический практикум» в той среде, которая была недоступна наблюдениям добропорядочного мемуариста?

В «Записках из подполья» главный герой, которого трудно почесть за образец благородства, обращает к Лизе свои высокочувствительные монологи. Указуя на градус её падения, он рисует одновременно умилительные картины возможного семейного счастья. Сокрушительную пошлость этих воззваний автор старается подчеркнуть эпиграфом — «из поэзии Некрасова»:

Когда из мрака заблужденья,
Горячим словом убежденья,
Я душу падшую извлек...

Цитата довольно пространна. Достоевский обрывает её самым немилосердным образом:

И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена...
И т. д., и т. д., и т. д.

Пожалуй, такие стихи мог бы написать и Плещеев. (Хотя, разумеется, без неповторимого рыдающего некрасовского звука.)

«— Любишь ли ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю, — говорит Подпольный (которому, заметим, всего двадцать четыре года: столько в 1849 году было Плещееву). — Знаешь — розовенький такой мальчик, грудь тебе сосёт, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит!»

* Русский вестник. 1885. № 4. С. 815.



Р.К. Жуковский. Разъезд из Александринского театра. 1843 г.

«— Что-то вы... точно по книге», — отвечает герою бедная Лиза. И «что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в её голосе», — добавляет автор.

Тут, как выразился бы другой писатель, герой понимает, что он открыт. «Больно укололо меня это замечанье», — нехотя признается он.

Меж тем Лиза не хотела обидеть героя. Она лишь случайно отметила литературность подхода. Она не догадывается о том, что её ночной собеседник — *тоже* мечтатель.

И вся, полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок...

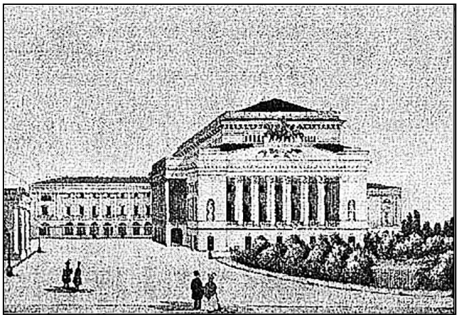
Своими нравоучительными речами герой «Записок из подполья» предполагает вызвать именно такой педагогический результат. Не сталкивался ли со схожими ситуациями Достоевский в своей докаторжной жизни?

«Прощайте, жду Вашего письма скоро, — заканчивает своё послание автору «Белых ночей» Плещеев. — Не забудьте мне сообщить сведения о Насте»[*].

Но адресат письма, погружённый, как мы помним, в другие заботы, очевидно, замедлит с ответом[**]. И пребывающий в неизвестности и тревоге Плещеев спешит напомнить о своей просьбе особым письмом. «Напишите мне, прошу Вас, что-нибудь о Н<асте>. Мне очень хочется знать, что с ней», — настоятельно требует он. Засим на автора «Бедных людей» возлагаются новые комиссии — очевидно, ввиду их деликатности изъяснённые на французском языке: «Если

[*] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 290.

[**] В бумагах Плещеева не были найдены ответные письма Достоевского. Их либо не было вовсе, либо, как уже говорилось, Плещееву удалось в числе прочих бумаг уничтожить их перед самым арестом.



Александринский театр в С.-Петербурге

у вас будут деньги, не забудьте о ней, дорогой. Вы мне должны немного, отдайте ей этот пустяк. Я тоже постараюсь послать ей что-нибудь, но нет ничего верного в этом низком мире. Я и сам без денег, совсем растратился»*. У «неслужащего дворянина» Плещеева практически нет средств.

В самом конце 50-х, после каторги, автор «Бедных людей» займёт у получившего наследство поэта огромную сумму — тысячу рублей. Он будет выплачивать долг до конца своих дней. (Остаток вернёт уже Анна Григорьевна.) Но сейчас, мучимый жестоким безденежьем (и — неотданным долгом Спешневу!), успел ли он возвратить «этот пустяк»?

«Если бы вы только знали, — заканчивает Плещеев, — как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему. Дорогой друг, постарайтесь так устроить, чтобы она до моего приезда не ушла бы из дому. Это было бы самое большое одолжение с вашей стороны»**.

Как видно, корреспондент Достоевского начинает сомневаться в непогрешимости умозрительных схем. Ибо объект перевоспитания с трудом поддается «горячему слову убежденья». («Мне ужасно грустно, что её нельзя перевоспитать... или, если можно, то нужны для этого деньги».) А ведь вполне допустимо, что оба юных романтика не исключали и такой вариант:

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

«Из той же поэзии», — жёстко пометит автор «Записок из подполья», избрав вышеприведенные строки в качестве эпиграфа к одной из очередных глав.

«Как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему...» — говорит Плещеев. Он понимает, что одними увещеваниями тут не помочь. Свидригайлов избавит Сонечку Мармеладову от рецидивов панели более положительным способом — обеспечив её сводных брата и сестер. Не был ли при этом учтён горький плещеевский опыт?

---

* Дело петрашевцев. Т. 3. С. 297.

** Там же.

И ещё: не объясняется ли издерганность Достоевского накануне ареста и его судорожные попытки раздобыть у Краевского денег, помимо прочего, ещё и возложенным на него поручением?

Плещеев меж тем беспокоился не напрасно. И если Настя стараниями Достоевского «не ушла из дому» до приезда поэта, то безусловно она сделает это несколько позже. Ибо сам поэт домой уже не вернётся...

Каковы, однако, сердечные склонности у остальных?

Суета вокруг борделя

В полицейском деле Плещеева сохранился документ:

«Квитанция. 2 мая 1849.

Дана сия поручику Московского Жандармского Дивизиона ***Потапову*** в том, что литератор ***Плещеев***, доставленный им <...> со всеми принадлежащими ему ***Плещееву*** бумагами в Санктпетербург, принят в 3-е отделение Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА канцелярии в должной исправности»*.

Он действительно будет доставлен «в должной исправности» и присоединён к остальным. Среди которых вот уже десять дней находился автор «Белых ночей».

Трудно, однако, предугадать, где, когда и при каких обстоятельствах может явить свою усмешку судьба. И что, например, деликатная тема, связавшая двух молодых друзей, вдруг зазвучит в совершенно неподходящем для этого месте: в мрачных стенах их крепостного узилища.

В тот самый день, 14 марта, когда Плещеев пишет своё письмо Достоевскому, один из агентов Липранди, В.М. Шапошников, тоже сочиняет некоторый текст. Он доносит начальству, что табачная лавка его однофамильца П.Г. Шапошникова служит пристанищем для самых отъявленных бунтовщиков**. В качестве таковых называются студенты Катенев и Толстов. Сообщается о ведущихся разговорах — «кому из ми<нистров> какой конец» и о намерении истребить царя***. Докладывается также, что злоумышленники — очевидно, желая вознаградить себя за грядущие подвиги, — прихватывают с собой другого агента — Наумова и отправляются «в один вольный дом содержательницы Блюм».

---

* ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 219. Ч. 43. Л. 9.

** Об этом почти не соприкасавшемся с главными участниками дела «околопетрашевском» круге (также охваченном пристальным взором Липранди) речь впереди.

*** *Егоров Б.Ф.* Петрашевцы. С. 139.

«Такое соседство подпольной революционной организации с публичным домом выглядит фантасмагорической комедией...», — справедливо замечает Б.Ф. Егоров*.

Агент Наумов доносит: в указанном заведении Блюм Василий Катенев «провозглашал республику», причём делал это в присутствии многих лиц (среди которых, надо полагать, были и те, кто трудятся в заведении: об их реакции на популистские призывы Катенева, впрочем, умалчивается). Обеспокоенные этой содержащейся в деле информацией члены Комиссии в августе потребовали г-жу Блюм для объяснений. «Но, — сообщает Б.Ф. Егоров, — она к этому времени уже умерла»**.

Итак, г-жа Блюм умерла. Уж не под впечатлением ли от другого допроса — учинённого ей чиновниками III Отделения, в чьих архивах сохранился подлинник дела? Ибо прежде чем доставить свидетельницу в Комиссию, её решили предварительно допросить в тайной полиции.

10 августа Дубельт по поручению секретной Следственной комиссии имеет честь покорнейше просить петербургского обер-полицмейстера А.П. Галахова «отыскать и доставить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии содержательницу публичного дома ***Блюм***», об исполнении чего не оставить его, Дубельта, «благосклонным уведомлением»***.

Для городской полиции не составляло труда «отыскать и доставить». Блюм допросили: ниже мы будем цитировать протокол.

«Вопросы, предложенные содержательнице публичного дома ***Блюм***, и ея ответы» — так называется документ.

Первый вопрос — сугубо формальный: «Как ваши имя и фамилия, какого вы звания, чем вы занимаетесь и какие имеете средства для содержания себя?» Спрашиваемая кратко, но с достоинством отвечает: «Зовут меня Вильгельмина ***Блюм***, рижская гражданка, вдова, отдаю внаем квартиры и от этого имею содержание»****.

Тут бы и оставить честную вдовицу в покое. Но бдительные чиновники III Отделения желают ведать подробности. «Справедливо ли, что вы содержите непотребных женщин, — без тени смущения осведомляются они у г-жи Блюм, — и если это справедливо, то не припоминаете ли вы двух молодых людей, купеческих сыновей, Василья ***Пронина*** и Василья ***Катенева***?»

---

* *Егоров Б.Ф.* Петрашевцы. С. 140.

** Там же. С. 140.

*** ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 114. Л. 2.

**** Там же. Л. 9.

Г-жа Блюм, как женщина умная, понимает, что запирательство бесполезно, — и соглашается сразу, нимало не настаивая на предыдущей (строчкой выше заявленной) версии: «Это справедливо; но не помню и не знаю ни Василья ***Пронина***, ни Василья ***Катенева***; быть может, они были у меня, и если бы я их увидала, то могла бы сказать, что они посещали или не посещали мою квартиру; ещё и то должна присовокупить, что означенные лица могли быть у меня в то время, когда я была в отсутствии и, следовательно их не видела»[*].

Впрочем, отвечая на первый вопрос, вдова не обязательно лжет.

Не исключено, что, помимо основной своей деятельности, она действительно сдавала квартиры внаем (да и основной её промысел при желании можно квалифицировать как краткосрочную сдачу жилья). Но неужели г-жа Блюм запамятовала, что в данном случае закон не на её стороне?

В архивах III Отделения покоится весьма специфический документ, который, казалось бы, не имеет касательства к деятельности этого учреждения: «Правила содержательницам борделей (утвержден Министерством внутренних дел 29 мая 1844)». Очевидно, направляя копии «Правил» в распоряжение тайной полиции, Перовский мудро предвидел, что интересы обоих ведомств могут совместиться на означенном поприще.

Итак, первые три пункта «Правил» гласят:

«1. Бордели открывать не иначе как с разрешения полиции.

2. Разрешение открыть бордель может получить только женщина средних лет, от 30 до 60. (Разумное попечение о молодых девушках и престарелых; похвально также, что из числа потенциальных содержателей исключены мужчины. — *И. В.*)

3. Содержательница борделя, если имеет детей, не должна держать их при себе. (Тоже не лишённое гуманности правило. — *И. В.*) Равно не может иметь жилиц»[**].

Г-же Блюм надлежало бы выбрать что-то одно: либо сдавать квартиры, либо содержать бордель.

Что же касается двух Василиев, Пронина и Катенева, г-жа Блюм действительно не обязана помнить всех своих случайных гостей. Но удивляет не это. Реальная (официально задокументированная!) ситуация, в которую вовлечена почтенная уроженка города Риги, разительно напоминает другую: ту, которая спустя семнадцать лет будет изображена в русской классической прозе.

---

[*] ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 114. Л. 4–4 об.

[**] Там же. Оп. 1844. Д. 111. Л. 1.

Вглядимся в портрет: «...Дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала».

Хозяйка публичного дома явилась в полицейскую часть: ей приходится держать ответ за учинённый посетителями скандал.

«— Луиза Ивановна, вы бы сели, — сказал он (письмоводитель. — *И. В.*) мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.

— Ich danke*, — сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белою кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от неё так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством».

Да, текст узнаваем. Луиза Ивановна из «Преступления и наказания», несмотря на понятную робость, имеет дело с полицией, надо полагать, не впервой. Можно, однако, представить степень её смятения, если бы вдруг она, как и другая немка, её товарка по ремеслу, оказалась перед всевидящим оком полиции тайной — в самом грозном присутственном месте империи.

«Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресле. Пышная дама так и подпрыгнула с места, его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать; но офицер не обратил на неё ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нём садиться. Это был помощник квартального надзирателя...»

Луиза Ивановна (как, впрочем, и Блюм, которая вряд ли догадывалась, по какому поводу её вытребовали в здание у Цепного моста) могла подозревать, что с неё взыщут за нарушение упомянутых «Правил». Выбор предлогов для этого был довольно широк:

«4. Содержательница борделя, при получении разрешения, обязывается подпискою в том, что будет соблюдать все относящиеся к здоровью женщин ея правила, которые будут установлены <...>

5. Чтобы в борделе промысел производился только теми женщинами, которые значатся по их спискам; посторонние же ни в каком случае к тому допускаемы не были <...>

8. В число женщин в борделях не принимать моложе 16-ти лет».

---

* Благодарю (*нем.*).

Луизу Ивановну призвали в полицию по другой статье. Темпераментный поручик Порох «всеми перунами» набрасывается на бедную немку:

«— А ты, такая-сякая и этакая, — крикнул он (поручик. — *И. В.*) вдруг во все горло... — у тебя там что прошедшую ночь произошло? а? Опять позор, дебош на всю улицу производишь. Опять драка и пьянство. В смирительный мечтаешь! Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя десять раз, что в одиннадцатый не спущу! А ты опять, опять, такая-сякая ты этакая!»

Г-жу Блюм допрашивал, разумеется, не помощник квартального надзирателя, и обращение там, где она очутилась, было, как можно предположить, повежливее, чем в полицейском участке. Но сама г-жа Блюм — тот же психологический тип, что и романная героиня Достоевского. Это особенно видно в ответе *свидетельницы* на третий вопрос: он, по-видимому, должен был произвести на неё сильное впечатление.

«Если помните или, быть может, знаете, то объясните, с полною откровенностию, что они говорили бывши у вас в Апреле месяце сего года, и не имели ли какого-либо вольного против правительства разговора, а равно не произносили ли они слова: “республика”».

Г-жа Блюм — не лыком шита. Она немедля смекает, что дело нешуточное: И отвечает так, чтобы не только обезопасить себя лично, но и поддержать репутацию заведения:

«Кто был у меня в Апреле месяце, решительно не помню, относительно же политических предметов не только в назначенное время, но никогда не слыхала, чтобы приходящие ко мне посетители говорили о подобных делах или о правительстве или произносили слово: “республика”. Ручаться же не могу, быть может, в отсутствие мое из квартиры посетители и имели таковые рассуждения, и если правительству угодно дозволить, то я допрошу всех жительствующих у меня женщин, и донесу обо всем, что они объяснят мне по означенному предмету»[*].

«Содержательница борделя» спешит заявить, что у неё не может быть никакого скандала, тем паче — с оттенком политическим. Здесь она так же изобретательна, как и романная Луиза Ивановна, уверяющая поручика Пороха в собственных добродетелях и, очевидно, очень похожим слогом[**]:

---

[*] ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 114. Л. 4 об. — 5.

[**] Ответы Блюм зафиксированы писарской рукой и, конечно, отредактированы: им придан обычный канцелярский вид. Можно, однако, предположить, что устная речь допрашиваемой не менее колоритна, чем речь романной Луизы Ивановны.

«Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, — затараторила она вдруг, точно горох просыпали, с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски, — никакой шкандаль, а они пришоль пьян, и это я все расскажит, господин капитэн, а я не виноват, у меня благородный дом, господин капитэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, всегда сама не хотель никакой шкандаль»...»

Г-жа Блюм тоже старается уверить полицию, что она — хозяйка благородного заведения. Заявив собственное алиби, она тут же высказывает желание помочь начальству в деле установления истины. А именно — учинить розыск на месте («допрошу всех жительствующих у меня женщин»).

В том месте упомянутого выше романа Ковалевского «Итоги жизни», где повествуется об апрельских арестах, замечено: «Понахватали женщин — обездолили даже приют Софьи Фёдоровны...»* Не отзвук ли это происшествий реальных? Романная Софья Фёдоровна должна корреспондировать, по-видимому, с реальной Вильгельминой Блюм. Но что стоит за словами — «понахватали женщин»? Не говорит ли это о том, что девушки из заведения были допрошены?

Сама Вильгельмина Блюм, ввиду того, что интерес к ней тайной полиции обнаруживал явную политическую подкладку, очевидно, уже не опасалась административных кар за нарушение «Правил». Хотя некоторые из пунктов при желании могли быть обращены против неё. Например:

«21. На ответственности содержательницы лежит охранение в борделе тишины и возможной благопристойности...

23. Мужчин несовершеннолетних, равно воспитанников учебных заведений ни в коем случае не допускать в бордели».

Следует отдать должное составителям. Понимая специфику предмета, они толкуют отнюдь не о соблюдении нравственного закона. Речь идет токмо об охранении тишины и *возможной* благопристойности, то есть внешних приличий. Произнесение слова «республика» может почесться нарушением этих условий.

Что же касается «мужчин несовершеннолетних», 19-летний Василий Катенев подпадает под этот запрет. Правда, он не *воспитанник* учебного заведения: термин этот более приложим к учащимся закрытых военных или гражданских школ (таких, как Главное инженерное училище, кадетские корпуса, Училище правоведения и т. п.). Вольнолюбивых студентов труднее удержать от соблазна.

---

* Вестник Европы. 1883. № 2. С. 592.

Разумихин сообщает Раскольникову об одном их общем знакомце: «Теперь приятели; чуть не ежедневно видимся... У Лавизы с ним два раза побывали. Лавизу-то помнишь, Лавизу Ивановну?»

Раскольников может помнить Лавизу Ивановну только в том случае, если он состоял в числе её обычных клиентов. (Кстати, и он, и Разумихин обучаются в том же университете, вольнослушателем которого состоял Василий Катенев.)

Но только ли юный Катенев, никогда не бывавший в Коломне, посещал заведение Блюм? Не появлялись ли там (да простится нам это кощунство) и некоторые из завсегдатаев «пятниц»?

В том самом донесении Антонелли, где он повествует о своём блестящем дебюте у Петрашевского (в пятницу 11 марта), есть одно довольно туманное место. Антонелли говорит, что он вышел от Петрашевского вместе с Толлем и Львовым. При этом, заметив, что хозяин дома особенно расположен к Толлю, агент стал искать случай как-нибудь сблизиться с последним. «...Как вдруг он сам, — продолжает Антонелли, — предложил нам, т. е. мне и Львову, провести где-нибудь вместе ночь. Львов сперва согласился, но потом потихоньку ушёл. Проведши с Толлем целую ночь, утром он (т. е. Толль. — *И. В.*) пил у меня чай, потом я был у него и, наконец, мы вместе в Пассаже завтракали»[*].

Эпизод совершенно невинный, облагороженный сверх того внезапно вспыхнувшей дружбой. Однако имеется документ, где те же события зафиксированы повторно. Это — уже упоминавшиеся нами (неопубликованные) донесения Липранди министру внутренних дел.

Липранди, как сказано, не просто переписывает антонеллиевские отчёты. Он позволяет себе слегка дополнять и редактировать их. У Липранди фраза о совместном времяпровождении Антонелли и Толля выглядит так: «Проведя в одном *из известных домов* (курсив наш. — *И. В.*) оставшуюся часть ночи...» и т. д.[**]

Вряд ли Липранди возводит напраслину на своего целомудренного агента. Просто Антонелли в своих официальных письменных изъяснениях не столь откровенен. При устных же доношениях он не считает нужным скрывать от начальства некоторые пикантные подробности.

В каком же «известном доме» побывали Антонелли и Толль? Не воспользовались ли они гостеприимством всё той же г-жи Блюм?

Не будем распространять эти вопрошения на того, чьей творческой фантазией или опытом (одно, впрочем, не исключает другого) вы-

[*] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 416.
[**] ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 1. Л. 65 об.

зван к жизни незабываемый облик Луизы Ивановны. Заметим только: автор знает предмет.

Владимир Владимирович Набоков утверждал, что автор предмета *не* знает.

Катков и Набоков против Сонечки Мармеладовой

Правда, создатель «Лолиты» не простирал это своё утверждение на содержательниц публичных домов. Его негодование направлено преимущественно против *благородных проституток*, чьи образы представляются Набокову нестерпимо пошлыми. Касаясь известной сцены чтения Евангелия в «Преступлении и наказании», Набоков цитирует фразу Достоевского, которая, по его мнению, не имеет «себе равных по глупости во всей мировой литературе»: «Огарок уже давно погас в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищей комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Набоков полагает, что это не только «ключевая фраза романа», но и «типично достоевский риторический выверт»[*].

Согласимся, что приведённая Набоковым цитата — не самый удачный пример из Достоевского. (Хотя в ней нет ничего страшного: в худшем случае она напоминает бойкое литературоведческое *наблюденьице.*) Но пассаж этот как раз «не типичен» для Достоевского. Ибо в цельном, лишённом явных дидактических акцентов стилистическом поле романа сей «указующий перст» выглядит чужеродно.

Вряд ли, читая свои лекции американским студентам (а комментарий к «достоевскому выверту» содержится именно в оных), Набоков мог помнить (или, допустим, знать), какие метаморфозы происходили с романом.

Летом 1866 года издатель «Русского вестника», где печаталось «Преступление и наказание», М.Н. Катков потребовал от Достоевского кардинальной переделки именно той сцены, которая привлекла негодующее внимание автора «Дара».

И Достоевский *вынужден* был подчиниться.

«***Зло*** и ***доброе*** в высшей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет», — пишет Достоевский одному из редакторов «Русского вестника» — Н.А. Любимову. Сама интонация этих эпистолярных отчётов свидетельствует о том, что автором принесены немалые жертвы: «А теперь до Вас величайшая просьба моя: ***ради Христа*** — оставьте все остальное так, как есть теперь. Все

[*] *Набоков В.В.* Лекции по русской литературе. М., 1998. С. 189.


В.В. Набоков

то, что Вы говорили, я исполнил, все разделено, размежевано и ясно. (То есть нарушен существеннейший принцип художественной диалектики автора: взаимопроникновение противоположных стихий. — *И. В.*) ***Чтению Евангелия*** придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на Вас понадеяться: поберегите бедное произведение мое, добрейший Николай Алексеевич!»*

По требованию редакции исправив главу, автор умоляет о снисхождении. И здесь, конечно, уместен вопрос: не является ли фраза, столь покоробившая Набокова, следствием вынужденных литературных усилий? Или даже — этот (впрочем, не очень заметный) художественный диссонанс вызван прямым редакторским вмешательством в текст?

Через несколько дней после своего оправдательного письма Достоевский сообщает А.П. Милюкову некоторые подробности. Он говорит, что Катков и Любимов были едины во мнении, что одну из представленных глав «***нельзя напечатать***»: «Я с ними с обоими объяснялся — стоят на своем! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал её в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за ***нравственность***»**.

«Дело не в литературном достоинстве...» (То есть не в том, что важнее всего, скажем, тому же Набокову.) Тогда — в чём же? Конечно, по причине отсутствия изначального текста трудно судить, что именно смутило высокоморальных редакторов «Русского вестника». Высказывалась даже смелая мысль, что в исключённом фрагменте Соня «стала возлюбленной» Раскольникова. (Интересно: как бы воспринял чуткий Набоков этот *беспроигрышный* сюжетный ход?) Существует также предположение (оно принадлежит комментаторам академического Собрания сочинений), что Катков и Любимов были скорее всего недовольны тем, что «слова Евангелия Достоевский в этой главе вложил в уста “падшей женщины”, сделав её вдохновенной толковательницей учения Христа и наставницей героя на пути его возрождения». Правда, в таком случае оба редактора должны были бы протестовать против причисления Марии Магдалины к лику святых...

Сам Достоевский был убежден, что он не преступал требований морали и законов художественности. «...Ничего не было против

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVIII. Кн. II. С. 164.
** Там же. С. 166.


М.Н. Катков

нравственности, — пишет он Милюкову, — и даже ***чрезмерно напротив***, но они видят другое и, кроме того, видят следы ***нигилизма***»[*].

Публикуя это письмо в 1889 году, через восемь лет после смерти Достоевского и спустя два года после смерти Каткова (Любимов был ещё жив), редакция с запоздалым сочувствием присовокупила, что её автору «нелегко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшей само-пожертвованье до жертвы своим телом». Из этих слов становится ясно, почему автор «Преступления и наказания» уверяет, что в сцене чтения Евангелия не только не была попрана нравственность, но даже — «***чрезмерно напротив***». Ибо он, автор — в силу собственных художественных задач — как раз и стремится к «утрированной идеализации» героини. И, надо думать, делает это совершенно сознательно. Трудно, правда, постичь, почему редакция «Русского вестника» обнаружила здесь признаки нигилизма. Не потому ли, что «падшей» приличнее выступать в традиционной роли спасаемой, нежели брать на себя функции социального педагога?

И тут мы вдруг замечаем удивительный парадокс. Сугубо идеологические претензии редакторов к своему не вполне удобному автору рифмуются с эстетическими недоумениями того писателя, который, как это очевидно всякому, кто хоть раз заглядывал в его текст, на дух не переносит никаких идеологических предпочтений.

Набоков не может принять «добродетельных проституток» Достоевского потому, что они далеки от *правды жизни*. «Что же касается Сони, — замечает автор “Лолиты”, — мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом. Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово»[**].

Со своей колокольни «настоящий художник» Владимир Набоков абсолютно прав. Но в задачу Достоевского (в условия *его* «фантастического реализма») вовсе не входит изображение того, как Сонечка Мармеладова «занимается своим ремеслом». Его «добродетельные проститутки» столь же нетипичны, сколь и Раскольников, которого, в свою очередь, тоже можно было бы поименовать «добродетельным убийцей». (Как, скажем, Свидригайлова — «добродетельным негодяем».) Творца «Преступления и наказания» не интересует *предмет-*

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVIII. Кн. II. С. 164.
[**] *Набоков В.В.* Лекции... С. 190.

ность — в том смысле, как её понимает (и гениально изображает) Набоков. Достоевского занимают не хищно подмеченные подробности, а, как сказал бы Иосиф Бродский, метафизика темы.

Совершенно неважно, распространялся ли опыт его общения с потенциальными прототипами будущих героинь на сферу их профессиональных занятий, или же опыт этот (как, очевидно, в случае с плещеевской Настей) ограничивался *разговорами*. Важно, что из того и другого Достоевский извлекал не то, что ему предлагалось, а то, что он хотел бы извлечь.

Теперь ещё раз вернёмся к той злополучной фразе, которая так возмутила автора «Дара». Говоря об исправленной им версии этого текста, Достоевский выказывает сильнейшее опасение — «удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли *сами*?» Автор волновался не зря. Катков посылает Достоевскому «для просмотра» корректуру всё той же главы. При этом издатель деликатно сообщает: «...Я позволил себе изменить некоторые из приписанных Вами разъяснительных строк относительно разговора и поведения Сони». Так, может, набоковские претензии уместнее было бы обратить к непрошеному *соавтору*? С которым Набоков (читатель, во всём Каткову полярный) вдруг оказался в незаконном родстве.

Мы забыли, однако, о г-же Блюм.

«В чем заключались сношения...»

Комментируя по просьбе Следственной комиссии некоторые материалы процесса, Липранди делает попутно одно профессиональное замечание.

В бумагах Комиссии сказано: «Гостиница Блум на Садовой улице против управы благочиния». (То есть напротив здания, где размещалась полиция!) «Это не гостиница, — снисходительно уточняет всезнающий Липранди, — а публичное заведение, как это и названо в донесении № 11, оно обратило мое внимание потому, что как некоторые члены общества Петрашевского, так и Петра Григорьева (так именуется владелец табачной лавки П.Г. Шапошников. — *И. В.*) преимущественно посещали это заведение публичных женщин, где я и устроил было надлежащее наблюдение»[*].

Итак, выясняется: Иван Петрович Липранди простёр своё внимание до самых последних мелочей. Однако каким же образом осу-

[*] ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 2. Л. 114 об. (Тетрадь 4-я. Дополнительные сведения о злоумышленниках).

ществлялось устроенное им «надлежащее наблюдение»? Естественнее предположить, что «были задействованы» сотрудницы г-жи Блюм: к числу уже упомянутых агентов-мужчин Липранди мог добавить одну-двух из наиболее смышлёных девиц. Вряд ли, впрочем, они составляли *письменные* отчёты: следов последних мы не обнаружили в деле.

При этом наша гипотеза (могущая показаться неосновательной, а то даже и фривольной) находит косвенное подтверждение в одном солидном источнике. Это «Конфиденциальная записка, составленная генерал-адъютантом графом Ридигером в августе 1855 г.». Говоря о новшествах, введённых в Министерстве внутренних дел при графе Перовском, генерал замечает, что «особенное внимание было употреблено на образование тюремной тайной полиции, подобно как некогда она существовала при Фуше». (То есть, очевидно, подразумевается система осведомителей и что-то вроде курирующих их «спецотделов» в пенитенциарных учреждениях России.) И Ридигер добавляет: «Точно то же насчет женщин свободной жизни: многие из них в разных случаях были употребляемы с незаменимою пользою»*. Не имеет ли в виду осведомлённый генерал успехи, достигнутые по этой части в заведении г-жи Блюм?

Но вернёмся к призванной в III Отделение хозяйке «гостиницы». По многим своим статьям она, как уже говорилось, корреспондирует с образом, созданным автором «Преступления и наказания». Обе героини — ханжи и лгуньи; дамы изворотливые и заискивающие перед сильными мира сего. Но на этом совпадения не заканчиваются.

Заметим: у интересующего Следственную комиссию Василия Катенева имеется одно существенное достоинство. Он в некотором роде *литератор*. Он, как и Раскольников, печатается в газете: в данном случае, в «Ведомостях СПб. полиции».

Неужели идейный посетитель скрыл от хозяйки борделя, что сотрудничает в полицейских «Ведомостях», — обстоятельство, могущее обеспечить ему уважение *окружающих* и ряд связанных с этим мелких привилегий и льгот?

Но ведь и лицо, учинившее дебош в заведении Луизы Ивановны (этот, так сказать, внесценический персонаж «Преступления и наказания»), тоже причастно литературе. Ему, музицирующему на фортепьяно при помощи ног, подбившему глаз девушке «Генриет» и дворнику Карлу, и даже дерзнувшему «пять раз» по щекам саму

* Русская старина. 1905. № 6. С. 627.

Луизу Ивановну, хватает ума заявить, что он напечатает про всех «большой сатир». Ибо, как излагает его угрозу напуганная Луиза Ивановна, «я во всех газет про вас всё сочиниль».

«— Из сочинителей значит?» — оживляется при этих словах поручик Порох. Собственно, на этой ноте и завершается сцена:

«Вот они, сочинители! — и он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. — ...Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи...тьфу! А ты пошла! Я вот сам к тебе загляну... тогда берегись! Слышала?

Луиза Ивановна с утопленною любезностью пустилась приседать во все стороны и, приседая, допятилась до дверей...и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы».

Трудно сказать, таким ли манером покинула другую «контору» Вильгельмина Блюм. Но, если судить по её ответу на последний вопрос («Если знаете что-либо ещё предосудительное или противузаконное об этих лицах, то скажите все чистосердечно, под страхом строгой ответственности?»), то сделала она это с чувством совершённого долга: «С полною откровенностию, повторяю, что кроме вышеозначенного, я ничего добавить не могу»*.

Ведал ли что-нибудь автор «Преступления и наказания» о г-же Блюм, умершей, как уже сказано, вскоре после упомянутого допроса? Конечно, велико искушение отнести эту даму к числу литературных прототипов. Достоевский не мог, разумеется, видеть показаний бедной вдовы, хотя, возможно, и имел удовольствие наблюдать воочию её самое. Очень вероятно также, что он кое-что слышал о привлечении г-жи Блюм к следствию по их делу.

Но суть вовсе не в этом. Самое забавное в «деле Блюм» — само существование этого *дела*. Чем, собственно, занимаются чины высшей полиции (и, если бы не смерть свидетельницы, — занялись бы члены Секретной комиссии, первые должностные лица империи)? Разбором скандала в публичном доме — вернее, тем угрожающим государственной безопасности фактом, что некий Катенев в сильном подпитии кричал там невесть какие слова. Для разбора такого рода происшествий с лихвой хватило бы помощника квартального надзирателя.

Думается, что в романе П.М. Ковалевского (автор, кстати, был близок с Дуровым и Пальмом) косвенно отражен именно этот сюжет. Вернее — счастливое его разрешение.

«Благонадежные девицы Софьи Фёдоровны были возвращены по первому же её слову к месту их служения, благодаря связям почтенной

* ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 114. Л. 5.

женщины в комиссии... (Не хочет ли автор намекнуть, что сами господа генералы пользовались услугами заведения? — *И. В.*) Пробовали было, для порядка, допросить и заговорщиц; но совершенно непосредственное хихиканье при первом заданном вопросе: в чем заключались их сношения с заговорщиками? и лаконичный ответ: "Занимались с ними", — заставили допустить в их пользу исключение»[*].

Фантасмагория русской жизни тем и неодолима, что носит универсальный характер.

Но следует обратить внимание ещё на один аспект.

Нам, как уже сказано, не хотелось бы возвращаться к давнему спору — вёл ли Достоевский в молодости рассеянный образ жизни или же он и в самом деле жил «как святой». Это в конце концов ничего не меняет. Важно другое. В его прозе щедрой кистью изображены содержательницы и содержанки публичных домов, сводни и их жертвы — короче, «панель» в разных её ипостасях. История семейства Мармеладовых в «Преступлении и наказании», Лиза из «Записок из подполья» (кстати, тоже рижская уроженка) и едва избежавшая этой участи Нелли Смит из «Униженных и оскорбленных» — всё это разные стороны темы, которая обретает у Достоевского воистину метафизический смысл. Ни у одного из русских писателей XIX столетия нет ни этого направленного интереса, ни такого знания специальных подробностей. (Что бы ни говорил по этому поводу Владимир Набоков.) Будучи поверенным Плещеева и его вызволяемой «из мрака заблужденья» подруги, автор «Белых ночей» как бы собственным опытом изживает предрасположенность романтического сознания к высоким или сентиментальным развязкам. Что, как это ни парадоксально, неким загадочным образом связано и с преодолением социального романтизма.

Пожалуй, последнее его искушение на этом пути — Николай Александрович Спешнев.

Но о Спешневе разговор будет отдельный. Пока же дело идёт к развязке: часы петербургских мечтателей уже сочтены.

---

[*] Вестник Европы. 1883. № 2. С. 594.

Из главы 7

АРЕСТОВАНИЕ НА РАССВЕТЕ

По высочайшему повелению

Апреля десятого числа был *знак*. В маскараде, имевшем место в Дворянском собрании (тема маскарада является вновь, возвещая о скором финале), некая маска приблизится к Пальму и интимно шепнёт ему о необходимости соблюдать осторожность. Петрашевский, в свою очередь, полагает, что всё это вздор: попросту их решила разыграть *девка* Милютина (которую иные исследователи почему-то предпочитают именовать горничной: меж тем персонаж этот, возможно, по роду занятий соответствует плещеевской Насте). Хороший французский выговор таинственной незнакомки заставляет Пальма отвергнуть такое предположение.

Государь узнал о них «через баб» — о близком финале их извещают теперь способом аналогичным.

15 апреля, на предпоследнем собрании в Коломне, Достоевский оглашает знаменитое Письмо.

В те же самые дни чтеца одолевают и другие заботы. Он в очередной раз умоляет Краевского прислать ему некоторую сумму (спешневские деньги, надо полагать, давно уже вышли). «Что Вам 15 руб.? А мне это будет много... Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в “От<ечественных> записках”»*.

Наступает последний вечер: пятница, 22 апреля 1849 года.

Антонелли аккуратно подсчитывает, что на сей раз собралось двенадцать человек — не считая хозяина. Засим перечисляются имена. «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня».

«Послушайте, молодой человек! — якобы молвил однажды граф П.А. Пален (главное действующее лицо в заговоре, поведшем к умер-

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVIII. Кн. 1. С. 155.

щвлению государя) тёзке убиенного императора, Пестелю Павлу Ивановичу. — Если вы хотите сделать что-нибудь путем тайного общества, то это глупости, потому что, если вас двенадцать, двенадцатый непременно окажется предателем...»

Антонелли оказался тринадцатым.

Но чем же занят в эти часы один из отсутствующих учеников?

В шесть часов пополудни Андрей Михайлович Достоевский, проходя по Загородному проспекту, неожиданно сталкивается с братом Фёдором. Брат говорит, что хочет поехать на лето куда-нибудь подлечиться.

Они условливаются сойтись послезавтра, в воскресенье, — у брата Михаила Михайловича.



Николай I

Всё, о чём было говорено, сбудется с некоторым перекосом. Один из беседующих действительно *переменит обстановку*: у него будет веселое лето. Сойдутся же они вновь даже чуть раньше, чем предполагали, — через какие-нибудь двенадцать часов, в здании у Цепного моста. (Лишь благодаря досадной случайности третий брат будет отсутствовать.)

Мы забыли упомянуть, что беседа братьев протекает на фоне церкви Семёновского полка. У режиссёра хватило такта не втаскивать в кадр Семёновский плац.

Меж тем, множа грозные предвестья, не на шутку разыгрывается непогода. В семь часов вечера вымокший до нитки прохожий стучится в квартиру Яновского. Они пьют с доктором чай; у огня сушатся сапоги гостя. В девять Достоевский поднимается: пора в Коломну. Дождь продолжает лить, как бы заграждая дорогу. У Достоевского нет денег на извозчика — и из железной копилки, назначенной для вспомоществования нищим, извлекаются шесть серебряных пятаков. Вскоре на берегу Иртыша он получит первое своё подаяние: четверть медной копейки.

Судьба предпочитает косвенные намеки.

Итак, в девять он покидает Яновского. Он уходит в ночь, и следы его теряются во мраке. Не будем вычеркивать предыдущую фразу, ибо со следами действительно наблюдается известная путаница.

Принято считать, как нечто само собой разумеющееся, что Достоевский участвовал в последнем вечере у Петрашевского[*]. Откуда это известно?. Попробуем не спеша перечитать документы.

Яновский утверждает, что его гость прямо от него направился в Коломну. Допустим, что у гостя действительно было такое намерение. Однако до Петрашевского он не дошёл.

Утром 23 апреля, донося о вчерашнем вечере (почти все участники которого уже находятся в III Отделении), Антонелли не упоминает о Достоевском. Зато он излагает речь Баласогло, который после ужина попросил у присутствующих позволения «излить желчь». Присутствующие охотно позволили, и тогда (повествует самый внимательный из них) почему-то досталось «бедным, несчастным литераторам» (в эпитетах Антонелли можно уловить ноту профессиональной солидарности, он как-никак тоже *пишет*). При этом Баласогло подверг персональному осуждению автора «Неточки Незвановой»[**]. Находись автор тут же, у него, надо думать, нашлись бы возражения, да и его обвинитель не был бы столь суров.

Достоевский — последняя из тем, обсуждаемых в Коломне: под занавес.

Но прежде, чем занавес упадёт и тьма поглотит действующих лиц, ещё раз зададимся вопросом: где наш герой?

Михаил Михайлович известил следствие: «Мне крайне нужно было говорить с братом... В надежде увидеться с ним я пошел к г-ну Петрашевскому... Но брата там не было»[***]. (Присутствие самого Михаила Михайловича аккуратно зафиксировано ночным стенографом.)

И, наконец, решающее свидетельство.

«Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева...»[****] Это говорит сам Достоевский.

Итак, Достоевский был у Григорьева. Не совсем ясно, почему он пренебрёг возможностью посетить собрание, где всего неделю назад так блистательно выступил в качестве чтеца. Впрочем, у него и Григорьева могли быть свои заботы. Достоевский, кстати, не утверждает, что он был единственный гость.

---

[*] Подобное утверждение содержится даже в комментариях к такому высокоавторитетному изданию, как академическое Полное собрание сочинений Достоевского: «Вечером того же дня (22 апреля. — *И. В.*) состоялась последняя “пятница” у Петрашевского, на которой присутствовал Достоевский» (*Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. Примечания. С. 320).

[**] Дело петрашевцев. Т. 3. С. 442.

[***] Достоевский Ф.М. Материалы и исследования. Вып. 1. Л., 1974. С. 262.

[****] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVIII. С. 174.

Никто из членов спешневской «семёрки» (кроме поручика Момбелли) не присутствует у Петрашевского в эту ночь.

Вряд ли это случайность.

Очевидно, накануне ареста все, кто связан между собой замыслом типографии, проявляют повышенную нервозность (не этим ли объясняется возможный перенос печатного станка — или его частей — от Спешнева к Мордвинову: «за день, за два до ареста», как говорит Майков?). Может быть, до них доходят какие-то тревожные слухи? Во всяком случае, из всего круга петрашевцев ареста должны были в первую очередь опасаться именно они — те, кто был вовлечен в настоящий заговор.

Но вернёмся к Григорьеву.

«Фёдор задумался, — повествует Чувствительный Биограф, — наряду с явно непривлекательными чертами в этом Григорьеве открылось и что-то симпатичное». «Фёдор», очевидно, уже догадывается, что «непривлекательные черты» Григорьева станут ещё непривлекательнее во время допросов.

Далее, если верить тому же повествователю, Достоевский, испытывая мужество хозяина, сообщает ему о предсказаниях таинственной маски. В неописуемом ужасе Григорьев хватает своего гостя за рукав. «Теперь его нижняя челюсть мелко тряслась, и в душе Фёдора поднялась волна отвращения... Ему стало скучно и захотелось спать» — так психологически безупречно завершает сцену наш романист.

«Я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас заснул»*, — вот всё, что сообщает по этому поводу сам герой. «Постель раскрыта, простыни чистые, белые, прохладные...», — деликатно суфлирует как всегда более осведомлённый в таких подробностях мастер исторической прозы.

Их взяли на рассвете.

24 апреля 1849: доклад министру

Эта архивная папка насчитывает 221 лист и называется длинно: «Разные сведения по производимому делу о злоумышленных действиях Титулярного Советника Буташевича-Петрашевского и его сообщников. Донесения Действительного Статского Советника Липранди Господину Министру Внутренних дел. С 24 Апреля по Декабря 1849 года и некоторые другие бумаги».

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XXVIII. С. 174.


Князь А.Ф. Орлов

Так озаглавлен второй том документов, о которых уже шла речь. Том этот, как и предыдущий, находится в рукописном собрании Российской государственной библиотеки*.

Посмотрим на крайние даты. Бумаги охватывают период с момента ареста петрашевцев и, очевидно, до самого дня их «казни» — в декабре 1849 года. Отстранённый от главных следственных и судебных процедур Липранди (к этой печальной истории мы ещё обратимся) продолжает внимательно наблюдать за развитием уже не зависящих от него событий. Он терпеливо накапливает относящиеся к процессу бумаги, облегчая тем самым жизнь будущим разыскателям. Удивительно, что последние пренебрегли кратким (всего на восьми листах) документом, которым открывается указанное архивное дело.

Это — копия доклада Липранди Перовскому от 24 апреля 1849 года. Снятая скорее всего самим предусмотрительным автором, она помечена грифом «Конфиденциально» и датирована днём, следующим за тем, когда были арестованы Достоевский и его сотоварищи.

Текст этот никогда не публиковался, на него отсутствуют ссылки в литературе**. Между тем секретная записка Липранди представляет немалый интерес.

Из текста доклада можно заключить, что утром того же дня его автор уже представил Перовскому «краткое словесное донесение» о состоявшейся ночной операции. Однако новоиспечённый граф (он получил этот титул совсем недавно и, как впоследствии будет настаивать Липранди, — за успешное раскрытие настоящего дела) пожелал иметь в руках более положительное свидетельство.

О чём же сообщает министру внутренних дел усерднейший из чиновников его министерства?

«Вашему Сиятельству известно, — начинает Липранди, титулуя начальника в соответствии с его новым достоинством, — что арестование злоумышленников решено было произвести не во время собрания их у ***Петрашевского*** с соблюдением предложенных мною мер, но каждого порознь, на своей квартире сего числа в 5 часов утра»***.

---

* ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 2.

** Следы знакомства с этими документами можно обнаружить в некоторых беллетристических сочинениях, посвящённых делу петрашевцев, — без указания, однако, на источник.

*** В бумагах Липранди имеется также его краткое донесение Перовскому за № 39, помеченное: «23 апреля, 9 часов утра». (ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 1.



Граф Алексей Фёдорович Орлов. С гравированного портрета Турнера

Иван Петрович докладывает начальству, что на протяжении двух суток «денно и нощно» он трудился вместе с генерал-лейтенантом Дубельтом «для приведения некоторых обстоятельств в ясность и чтобы сдать ему дело, которое было ведено мною в течение 13 месяцев в глубочайшей и никем не проникнутой тайне и которое до того времени вовсе не было ему известно»[*]. Липранди не считает возможным утаить от министра, что первое (если не считать самого графа Орлова) лицо из «параллельного ведомства» было крайне уязвлено таким оборотом событий. «При всем желании его скрыть негодование, я в каждом слове видел оное». Иван Петрович не берётся сказать, к чему собственно относится возмущение его бывшего сослуживца — «к тому, что он не мог проникнуть в общество, организованное за семь лет пред сим и, наконец, что общество это будучи открыто более, чем за год пред сим, было следимо не людьми, ему подведомственными, или, наконец, оскорбленный тем, что граф Орлов, зная с самого начала и следя за ходом оного, не вверил оного ему...»[**]. Или, наконец, по той причине, что сам Липранди, «видаясь с ним почти ежедневно по необходимости бывать в III Отделении»[***], не счёл нужным поделиться столь важной для Леонтия Васильевича информацией. Неудобство усугублялось тем, что Липранди, как он говорит, знал Дубельта (своего «одноштабного с 1812 года») тридцать семь лет. Оба пролили кровь за отечество: Дубельт был ранен при Бородине; Липранди получил тяжелую контузию под Смоленском.

Прошедшие после славной войны десятилетия могли бы служить порукой их взаимного доверия.

Во всяком случае, несмотря на такую весьма щекотливую для Липранди позицию, он полагает справедливым довести до сведения

Л. 154.) Сообщая о совершившихся минувшей ночью арестах, бывший подполковник Генерального штаба подчёркивает, что стратегический замысел брать всех на квартирах принадлежит лично ему. При этом он исходил из расчёта, что, если «накрыть» часть намеченных к арестованию лиц на квартире у Петрашевского, оставшиеся пока на свободе успеют истребить письменные улики.

[*] ОР РГ. Ф. 203. Оп. 221. Ед. хр. 2. Л. 1 об.

[**] Там же. Л. 1 об. — 2.

[***] Там сидели «прибывшие из Австрии» раскольничий «лжеархимандрит» Терентий со своими единомышленниками — а это уже сфера компетенции Липранди. Как видим, в отличие от коллеги, Дубельт не препятствовал ему заниматься его делами.

своего министра «о полном желании генерал-лейтенанта Дубельта содействовать успеху дела». У генерала «при всем оскорбленном самолюбии» хватило ума и такта поставить пользу государственную выше, как ныне принято выражаться, личных амбиций.

Липранди походя указывает фантастический срок существования преступного сообщества — целых семь лет. Но единственно потому, что желает сделать приятное своему министру: представить друзей-соперников из III Отделения в невыгодном свете.

Тут мы вынуждены прервать мерное течение адресованного графу Перовскому рассказа и вновь обратиться к «Введению по делу Петрашевского». В его неопубликованной части Липранди, помимо прочего, останавливается на событиях, случившихся несколькими сутками раньше. Описание это содержит ряд таких пикантных подробностей, которые, конечно, не могли попасть в предназначенный министру официальный отчёт.

Как свидетельствует автор «Введения...», 20 апреля, его потребовал к себе граф Перовский. В кабинете министра, как и год назад, Липранди застал графа Орлова. (Заметим, что начальник III Отделения по мере надобности сам заезжает к стоящему ниже его по негласной иерархии министру внутренних дел — запросто, не чинясь. Что как будто говорит в пользу их личной близости.) Орлов довёл до сведения Липранди, что во исполнение высочайшей воли арестования должны быть произведены в ближайшую пятницу и поэтому «теперь необходимо будет действовать Дубельту»*. Граф Алексей Фёдорович велел Липранди явиться к нему в III Отделение в шесть часов пополудни. Точно в назначенный срок Иван Петрович явился.

Плачущий генерал

«Я подъехал к крыльцу, — говорит Липранди, — в одно время с Дубельтом; он, в самом веселом расположении духа, удивился видеть меня в такое время у графа и, узнав, что я потребован, остался ещё более озадаченным. Относительно к нему я был в самом неловком положении».

Положение это стало воистину драматическим, когда граф Орлов пригласил обоих приятелей в свой кабинет. Шеф жандармов кратко изъяснил своему начальнику штаба суть дела, не умолчав о годовых заботах Липранди и его полицейских трудах. Затем граф распорядился о принятии дел от Липранди и о скорейшей «по взаимном совеща-

* ОР РГБ. Ф. 223. Оп. 221. Ед. хр. 3. Л. 16 об.

нии нашем» подготовке к арестованиям, повторяя несколько раз как громом пораженному Дубельту слова: «Чтоб в эти два дня была соблюдена тайна так (и указав на меня присовокупил), как он более года сохранил ее», и, усмехнувшись, прибавил: «и от тебя даже»[*].

Надо думать, слова графа Орлова (в особенности его усмешка) сделали сильное впечатление на чувствительную натуру Дубельта, который, само собой, полагал, что у его непосредственного начальника не может быть от него никаких секретов служебного толка. И даже то обстоятельство, что граф в знак дружеского расположения (и одновременно как бы в уравнительном смысле) положил руки на плечи обоих генералов, повторив свой давний, тогда, правда, относящийся только к Липранди, отеческий жест, — даже это не внесло успокоения в смятенную душу Леонтия Васильевича. Ибо здесь была задета его профессиональная честь.

Липранди продолжает:

«Дубельт, бледный во все время, не произнес ни одного слова и, выйдя на крыльцо, пригласил меня сесть с ним в карету, употребив для сего слово “вы”, которого с 1812 года в употреблении между нами не было. Я очень хорошо понимал все, что он должен был чувствовать, и объяснил ему, как все происходило...»[**]

Именно так поступил смешавшийся поначалу Иван Петрович: внятно и с достоинством стал изъяснять управляющему III Отделением суть происшедшего. При этом им было замечено, что ежели бы министр внутренних дел приказал ему, Липранди, сокрыть нечто от всеведущего Леонтия Васильевича, то он бы, пожалуй, и не исполнил бы этого приказания. Он даже просил бы его содействия в деле, для него, Леонтия Васильевича, более привычном. Но поскольку приказ о сохранении тайны последовал от непосредственного начальника Леонтия Васильевича, то в настоящем случае, он, Липранди, не смел нарушить данное этому начальнику слово.

Дубельт, если верить Липранди, был искренне тронут.

«Слезы брызнули из глаз его: “Вполне сознаю, любезный друг, — сказал он мне, — твое положение, и верь, что я никак не сержусь на тебя: на твоем месте я поступил бы точно так же. Но согласись, что граф, с которым мы ежедневно говорим о делах высшей важности и о лицах высоко и очень высоко стоящих, мог, в продолжение более года, скрывать от меня то, чем он руководил и что есть прямою моею обязанностью”»[***].

---

[*] ОР РГБ. Ф. 223. Оп. 221. Ед. хр. 3. Л. 17.

[**] Там же. Л. 17 об. — 18.

[***] Там же. Л. 18–18 об.

Сцена глубоко патетическая. Мужественная сдержанность Дубельта не уступает благородной искренности Липранди, чьё перо нимало не дрогнуло, изображая жандармские слёзы. Управляющий III Отделением великодушно принимает резоны своего удачливого собрата. Но пережитые потрясение и обида ещё настолько свежи, что Леонтий Васильевич позволяет себе лёгкий укор в адрес обманувшего его надежды начальства («мог скрывать от меня»!). Действительно, если уж граф вполне откровенен с ним относительно дел «высшей важности» и лиц «высоко и очень высоко стоящих» (интересно, кто имеется тут в виду: такая формулировка позволяет подозревать едва ли не лиц царской фамилии), то тем досаднее скрытность графа по такому, казалось бы, ничтожному поводу. Тем более, если Дубельт и сам проявлял похвальную бдительность, что можно заключить из сделанных им Ивану Петровичу горьких признаний.

«Я тебе скажу более, — присовокупил он, — как-то, не помню теперь по какому случаю, я испрашивал графа разрешение вызвать в отделение Петрашевского и помыть ему голову за некоторые выходки, кажется, в купеческом клубе, но он приказал мне оставить эти дрязги. Ты видишь сам, могу ли я быть равнодушным?»*

Интуиция, таким образом, не подвела Леонтия Васильевича. И не охлади граф не вовремя его служебного рвения, он бы наверняка вышел на верный след. Липранди готов это признать — правда, не без некоторой ретроспективной усмешки.

Вернёмся, однако, к донесению от 24 апреля. Его автор продолжает излагать графу Перовскому волнующие подробности позавчерашнего дня.

Конспирация по-русски: с точки зрения знатока

22 апреля, в час пополудни, начальник III Отделения прибыл на место службы и объявил высочайшую волю: брать на квартирах. В каждую из каковых надлежало отправиться по одному жандармскому штаб-офицеру вместе с офицером городской полиции. Неустрашимый Леонтий Васильевич лично вызвался арестовать Петрашевского.

В шесть часов пополудни 22 апреля Липранди поспешает к своему министру — лично донести о приготовлениях к бою. Иван Петрович обещает Дубельту вернуться в III Отделение часа за два до начала арестов. «Хотя, — замечает он, — предпринятые уже доселе распоря-

* ОР РГБ. Ф. 223. Оп. 221. Ед. хр. 3. Л. 18 об.

жения к арестованию стольких лиц, по такому важному делу не совершенно согласовались с моими понятиями насчет соблюдения необходимой тайны...»[*]

Меж тем близится ночь.

Уже с 10 часов вечера Дубельт начинает выказывать явные признаки беспокойства. (Может быть, повторяя при этом — разумеется, применительно к собственным нуждам — давнее пушкинское: «Где и что Липранди?».) «Трое посланных, — точно исчисляет Иван Петрович, — следовали один за другим». (Опять, как и в самом начале, возникает тема курьеров.) Наконец, в 11 часов незаменимый Липранди вновь направляется в III Отделение.

Далее в докладе следует изложение оперативной обстановки. Оно по-своему замечательно.

«...Проезжая около церкви Пантелеймона, — пишет Липранди, — я увидел множество стоящих здесь экипажей, большею частью четвероместных извозчичьих карет; не обратив на это внимание, полагал, что совершался какой-нибудь церковный обряд; но каково было мое удивление, когда, повернув у Цепного моста налево по Фонтанке, я заметил, что ряд экипажей продолжался ещё далеко за дом, занимаемый III Отделением, а у самого крыльца оного стояло несколько также карет, дрожек и кабриолетов. Оба этажа дома были освещены, парадное крыльцо отворено настежь»[**].

Автор записки не может скрыть от своего министра, что был неприятно удивлён таким странным и отнюдь несогласным с видами государственной безопасности оживлением, тем более неуместным в преддверии белых ночей. Далее, однако, автора доклада подстерегали ещё большие неожиданности.

«Тут с самого верха лестницы появилось множество жандармов и полицейских штаб- и обер-офицеров и нижних чинов. Не постигая причины сему и в первую минуту вообразив, не последовало ли чего особенного, я спросил у встречных (так в тексте. — *И. В.*) мною знакомых, что это значит? Все в один голос отвечали, что они собраны для каких-то арестований и что Леонтий Васильевич ожидает только меня»[***].

Поражённый увиденным, Липранди спешно направился в кабинет Дубельта, от которого не счёл возможным скрыть свои опасения. Он позволил заметить благодушному Леонтию Васильевичу, что намеченные к арестованию лица жительствуют в различных частях

[*] ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 211. Ед. хр. 2. Л. 3.

[**] Там же. Л. 3 об.

[***] Там же. Л. 3 об. – 4.

города, а поэтому резонно предположить, что, направляясь сегодня на собрание к Петрашевскому или возвращаясь с оного, они могут проехать мимо III Отделения. Последнее же между тем «с 11 до 4-х часов утра будет представлять что-то необыкновенное, как своим освещением, так равно множеством <эки>пажей и собранием стольких жандармских офицеров и со всех кварталов города надзирателей...»*. Естественно, подобное зрелище «может побудить каждого, знающего за собой грехи, принять меры и истребить все, что могло бы его компрометировать». Иными словами, старый опытный конспиратор тонко дал понять бывшему товарищу по оружию, что тот как руководитель тайной полиции допускает непростительную беспечность. Кажется, автор записки весьма озабочен тем, чтобы предоставить своему вхожему к государю начальнику сильный «компромат» на коллег. Он обвиняет III Отделение не только в служебной оплошности; он почти открыто указывает на его достойный всяческого сожаления непрофессионализм. Иван Петрович также не прочь намекнуть, что именно он, Липранди, буде он облечён достаточной властью, исполнил бы возложенную на Дубельта миссию более положительным образом.

«Иван Липранди, — говорит Н.Я. Эйдельман, — был ценным работником: мог возглавить отряд лихих башибузуков и после написать толковый канцелярский отчёт о действиях этого отряда...»

Этой ночью ему не довелось «возглавить отряд»; «толковый отчёт» тем не менее был составлен.

Выслушав резоны многоопытного, хотя и пребывающего всего лишь в звании генерал-майора Ивана Петровича (он получил этот чин в 1832 году и за минувшие семнадцать лет так и не поднялся на следующую ступень), генерал-лейтенант Дубельт мягко ответствовал ему, «что для арестования такого множества лиц более предосторожностей сделать нельзя и что каретам велел он поместиться во дворе». На что неугомонный Иван Петрович вновь возразил что пятьдесят четыре «четвероместные» извозчичьи кареты, собранные из разных частей города, при всём желании во дворе III Отделения поместиться никак не могут, а ежели присовокупить к тому полицмейстеров, частных приставов и надзирателей, каждый из которых прибыл в своём экипаже («не говоря уже о пеших и о экипажах жандармских офицеров»), то такое чрезвычайное скопление транспортных средств выглядит в высшей степени подозрительно. «...Я начал было делать и другие с моей стороны замечания, все отвергавшиеся», — с сердцем

* ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 211. Ед. хр. 2. Л. 4 об. — 5.

продолжает Липранди. Но в это время от графа Орлова и за его подписью были доставлены предписания «на имя каждого жандармского офицера и полицейского чиновника, числом более ста». Их появление повергло Ивана Петровича в ещё пущее расстройство, ибо он тотчас же сообразил, что такое количество бумаг не могло быть заготовлено «в течение нескольких часов одною и даже пятью руками»[*]. А это, в свою очередь, тоже заключало потенциальный ущерб, ослабляя эффект внезапности. И уже в совершенном сокрушении действительный статский советник указывает на тот демаскирующий операцию факт, что «об аресте некоторых лиц, независимо всех писано было и прямо их ведомствам!».

Узрев таковые попущения чинов тайной полиции (причём, увы, не последних её чинов!), Липранди осознаёт тщетность дальнейших с его стороны попечений и укоризн. Он решает предоставить всё на волю Божью — даже под угрозой того, что злоумышленники успеют истребить изобличающие их бумаги. «...И тогда место их в карете должен был занимать я, следивший в течение 13 месяцев за этим делом...»[**] Смирив кипевшие в его груди чувства и стараясь соблюсти наружное спокойствие, Иван Петрович делает ряд важных наставлений тем, кто готовится выполнить свой служебный долг.

Но тут его постигает новый удар. Как выясняется, некоторые полицейские чины, первыми получившие на руки предписания графа Орлова, «давно уже отправились к себе домой с тем, чтобы в 4 часа ехать из своих квартир к месту назначения». Эти достойные ученики графа Алексея Фёдоровича (который, как помним, отличался изнеженностью нравов) предпочли ужин в кругу семьи и, может быть, даже краткий, но ободрительный сон суровому бдению в здании у Цепного моста. «...Таким образом, — завершает Иван Петрович свой не лишённый оттенка государственной скорби отчёт, — четвероместные кареты, с двумя жандармами в каждой, независимо офицеров, отправились по всем направлениям столицы на совершенном уже рассвете!»[***]

Да: их возьмут на рассвете.

---

[*] ОР РГБ. Ф. 203. Оп. 211. Ед. хр. 2. Л. 5–5 об.

[**] Там же. Л. 6 об.

[***] Там же. Л. 7.

Из главы 8 (Часть II)

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В 1836 году Пушкин взял эпиграфом к своей, так и не пропущенной цензурой статье «Александр Радищев» слышанное им некогда суждение Карамзина «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'etre pendu» («Честному человеку не следует подвергать себя виселице» — именно так переводил эту фразу П.А. Вяземский).

Слова эти можно трактовать по-разному. В них как будто различимо предостережение: честный человек в своих действиях и поступках не должен нарушать границ, преступив которые, он обрекает себя на неизбежную гибель. Но, с другой стороны, вынесенная в эпиграф карамзинская мысль заключает, если вдуматься, ещё один оттенок. Честный человек имеет шанс оставаться таковым даже в том случае, если он будет защищать свои убеждения, не вступая в смертельную вражду с правительственной властью. Общество, воздвигшее пределом свободомыслия граждан государственный эшафот, может быть усовершенствовано без обязательного самозаклания достойнейших из своих сочленов. Радищев, говорит Пушкин, будучи политическим фанатиком, действовал «с удивительным самоотвержением, с какой-то рыцарскою совестливостию». Однако, действуя таким образом, он в то же время «как будто старался раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было бы, — заключает автор, — указать на благо, которое она в состоянии сотворить?».

Сам Пушкин тщетно указывал на это благо: власть оказалась вполне равнодушной к его призывам. Ему удалось избегнуть эшафота и остаться честным человеком. Но он не ушел от судьбы.

...Никто из петрашевцев (может быть, за одним-двумя исключениями) не готовил себя на гибель. Никто из них не оставлял надежды



Н.М. Карамзин

рано или поздно убедить противную сторону в своей правоте. Ради этого они способны были *претерпеть*. Но никому из них не приходило в голову, что государство, всегда вольное обрушить на них свою карающую длань, обрушит её в полную силу и со всего размаха. Такая реакция, если бы они могли её предвидеть, показалась бы им неоправданной и чрезмерной.

Случаются времена, когда человеку — желает он этого или нет, — приходится подвергать себя виселице.

...Их, как уже говорилось, взяли на рассвете.

Правительственная поспешность выглядит не вполне понятной. Только-только после почти целого года внешнего полицейского наблюдения намечается верный успех. Смышлёный агент почтил своим посещением всего семь «пятниц», а перед Липранди уже лежал изрядный список имён. С каждым днём он умножался: грядущее сулило новые волнующие открытия. И вот у графа Перовского отнимали его законную добычу — в момент, когда предвкушение абсолютной удачи позволяло несколько отдалить скромную радость глотания. Кроме того, министр не без основания опасался, что у будущего суда не достанет серьёзных улик: состав преступления заключался покамест в произнесении фраз, а не в совершении дел.

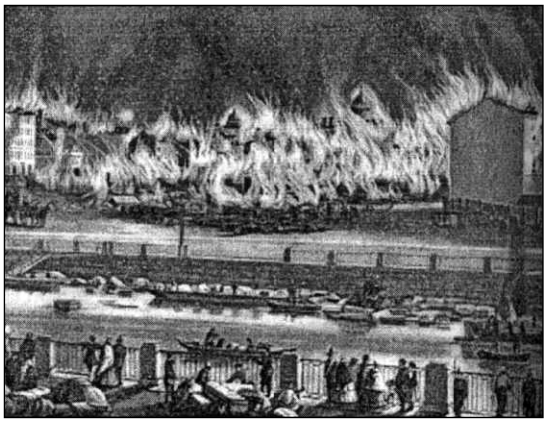
Принято считать, что царь торопился, потому что ему «не терпелось» расправиться с заговорщиками. Возможно, это естественное желание имело место. Однако вряд ли государь руководствовался чувствами. У него был положительный расчет.

Через несколько дней, 26 апреля, будет подписан высочайший манифест о вступлении русских войск в пределы Австрийской империи: надо было спасать пошатнувшийся союзный трон. Отправляясь в поход, Николай не решился оставить в тылу ещё не взятую крепость.

Домик в Коломне был обречён.

21 апреля императору представляется обзор всего дела и список подлежащих арестованию лиц.

«...Дело важно, — выводит резюме августейший читатель, — ибо ежели было только одно враньё, то и оно в высшей степени преступно и нетерпимо». Под «враньём», естественно, разумеются не донесения Антонелли, а содержание отражённых в этих депешах бесед.



Пожар 28–29 мая 1862 г. в Петербурге. Раскрашенная литография, современная событию

Операция держится в величайшем секрете: даже коменданту Петропавловской крепости не даётся загодя знать о скорой присылке гостей.

«С Богом! Да будет воля Его!»* — отрывисто заключает царь. Так напутствуют накануне битвы.

Страхи, впрочем, оказались напрасными: как удовлетворенно выразится Орлов, всё было совершено «с большой тишиной».

Достоевского, как сказано, разбудят, в четыре...

...Минуло ровно четыре года с того дня, когда в такой же предутренний час к нему явились вестники славы (Некрасов и Григорович — в восторге от «Бедных людей»). Нынешние посланцы также имели весть: по тайному сходству с ангелами добра они были облачены в голубое.

В Петербурге, как сказано, начинались белые ночи.

Господин майор С.-Петербургского жандармского дивизиона Чудинов не бросался на шею, но был любезен: как бы в награду за это незлобивая арестантская память произведёт его в подполковники.

Два ночных визита обозначат уходящую в прошлое юность. Первый — возвестит начало литературной судьбы, второй — отлучение от неё на долгие десять лет (многим казалось, что — навсегда). Это — крушение, крах, катастрофа, насильственный разрыв всех существующих связей, мгновенный переход в официально узаконенное небытие.

Но он об этом ещё не знает. Он шутит по поводу обнаруженного при обыске пятиалтынного («Уж не фальшивый ли?»); шутка, однако, не вызывает ожидаемого веселья.

При нём окажется шестьдесят копеек: весь его капитал.

---

* Былое. 1906. № 2. С. 245.

Впрочем, на первых порах деньги не понадобятся: принимающая организация угостит всех обедом и кофе на собственный счёт.

Мраморная Венера при входе в заведение смутит кое-кого из вновь прибывающих. Хотя, если вдуматься, само присутствие античной богини в столь неподобающем месте должно было бы послужить ко всеобщему ободрению. Ибо тем самым уничтожались неблагородные слухи о практикуемом здесь тайном сечении (с такой кремационной подробностью, как внезапное опускание пола), — слухи, бесившие ещё Пушкина, на которого сочувственно хихикающая молва указывала как на жертву.

Вообще, ночь изобиловала сюрпризами. В зеркальной зале, где, переговариваясь, толпились поднятые с постелей посетители «пятниц» (перед тем, как отправиться в *зазеркалье*), Достоевский с изумлением обнаружит младшего брата — Андрея Михайловича, ни сном ни духом не ведавшего о самом существовании Буташевича-Петрашевского (лишь наивное предположение арестованного, что это два разных лица, заставит Комиссию усомниться в его виновности). Старший же брат, Михаил Михайлович, в результате сей мелкой полицейской оплошности останется необеспокоенным ещё целых две недели.

Штабс-капитана генерального штаба Кузьмина приведут с *дамой*: распоряжение графа Орлова, дабы из найденных на месте улик «ничего не было скрыто», исполнители поймут слишком буквально.

Полицейские неловкости, впрочем, вполне извинительные при отсутствии опыта массовых посадок (ночью будет захвачено 33 человека, позже к ним присоединят ещё три десятка интересующих следствие лиц) — некоторые из этих «проколов» окажутся для арестованных благом. Статский господин «со списком в руках», о котором упоминает Достоевский (очевидно, генерал Сагтынский), как бы впав в задумчивость, позволит им заглянуть в документ: там будет подчеркнуто имя с демаскирующей карандашной пометой («агент по найденному делу»). «Так это Антонелли! — подумали мы».

Не лишена основательности догадка, будто указанная небрежность была умышленной. III Отделение хоть таким образом постаралось досадить непрошеному помощнику, благодаря рвению которого общая полиция коварно присвоила дело, по праву принадлежащее полиции тайной*.

* Любопытно также указание на презрительное отношение генерала Сагтынского к собственной агентуре. В 1840-м он спрашивал Герцена, убеждён ли тот, что в его окружении нет мерзавца, способного на донос. «Я честным словом уверяю, — говорит Герцен, — что слово "мерзавец" было употреблено почтенным старцем». (*Герцен А.И.* Былое и думы. М., 1969. Т. 1. С. 371.)

В отличие от мирового прототипа, «агент по найденному делу» не кончит свои дни на осине и даже не будет заколот чьей-нибудь мстительной рукой. Правда, несколько позже учитель Белецкий, встретив на улице Антонелли (тот дружески поприветствует недавно освобожденного *приятеля*), нанесёт ему пощёчину, за которую немедленно проследует в Вологду. При этом он не будет ведать о том, что в одном из своих недавних сообщений оскорблённое им лицо между прочим пометило: «Белецкий — это такое существо, которое так и напрашивается на оплеуху...» — ещё одно из доказательств обратных угадок судьбы...

Ночные аресты не останутся незамеченными. Весть всколыхнет обе столицы. Хотя толки относительно намерений клубистов уничтожить церкви, «перерезать всех русских до единого, и для заселения России выписать французов»* окажутся, как выразится Хомяков, несколько преувеличенными, они произведут в обществе известный эффект. Через тринадцать лет, весной 1862-го, памятливая молва свяжет грандиозные петербургские пожары с тайным нероновским планом, якобы существовавшим у заговорщиков 49-го года...

Барон Корф со сдержанной гордостью сообщает, что на другой день после потрясших столицу катаклизмов император спокойно прогуливался по улицам, «как всегда, совершенно один»**, а вечером почтил своим присутствием публичный маскарад. Шаг этот требовал известного мужества: под любой из масок мог в принципе скрываться ещё не схваченный злодей...

В самый день ареста, 23 апреля, высочайше учреждается секретная Следственная комиссия. Иван Александрович Набоков, старый солдат, участник войн с Наполеоном, недавно принявший необременительную должность коменданта Петропавловской крепости, назначается председателем. Генерал, ещё не ведающий о том, что в грядущем столетии судьба произведёт его в двоюродные прадеды знаменитого писателя (который в одной из своих книг родственно упомянет о доброте предка к необыкновенному узнику), окажется слишком прост для необходимых по делу письменных занятий. Поэтому это бремя возложит на себя один из членов Комиссии, 60-летний князь Павел Петрович Гагарин. (Он оправдает надежды: недаром именно ему в 1866-м будет доверено отправить на виселицу Дмитрия Каракозова.)

Кроме того, в Комиссию войдут: 57-летний Леонтий Васильевич Дубельт: «генерал-лейтенант по кавалерии» будет представлять свое,

---

* *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. 12. С. 270.

** Русская старина. 1900. № 4. С. 40.

преимущественно пешее, ведомство; товарищ военного министра (будущий военный министр и шеф жандармов) князь Василий Андреевич Долгоруков (45 лет); начальник штаба управления военно-учебных заведений Яков Иванович Ростовцев (46 лет): «благородный предатель», в декабре 1825-го предупредивший нового государя о заговоре и незамедлительно донёсший его участникам на таковой свой поступок.

Четверо военных и один статский генерал пожилого и среднего возраста займутся участью нескольких десятков молодых людей — титулярных советников, коллежских секретарей, капитанов, поручиков.

59-летний Иван Петрович Липранди мог почесть себя обделённым: виновник торжества был введён лишь во вспомогательную (под председательством князя А.Ф. Голицына) комиссию, ведавшую разбором монблана захваченных книг и бумаг.

За дело, однако, принялись дружно.

Из главы 10

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРНОЙ ПРОЗЫ

«Требовать явки обвинителя...»

Кто больше всех поражает Комиссию (и вместе с ней — будущих историков) — так это сам Петрашевский. В письме Белинского к Гоголю, которое было оглашено Достоевским на вечере 15 апреля, говорится, что для России явилось бы благом исполнение хотя бы тех законов, которые уже существуют. В отличие от автора письма, не питающего иллюзий на этот счет, Петрашевский тщится привести указанную мысль в исполнение. Дотошный знаток русского гражданского и уголовного права, имеющий за плечами ценный, хотя и не очень утешительный тяжебный опыт, главный обвиняемый тотчас указывает Комиссии на ряд допущенных ею грубых процессуальных нарушений.Не смущаясь отказом предоставить ему для справок Свод законов, он по памяти восстанавливает дарованные ему права и изъясняет следователям их обязанности.

Петрашевский настоятельно требует, чтобы в соответствии с законом ему и его товарищам было в кратчайший срок предъявлено формальное обвинение. Он не признаёт в собственных действиях, повлекших его арест, состава преступления и именует всё дело procés de tendences (суд над намерениями). Он считает, что пал жертвой злостного политического навета: настаивает на том, чтобы ему назвали имя доносчика и предоставили копию самого доноса. Мало того, дойдя до последних степеней вольномыслия, этот первый русский правозащитник требует отвода «штатского» члена Комиссии (то есть — князя Гагарина), приняв его по неосведомленности за представителя III Отделения и корыстного инспиратора всего дела*.

* Ошибку Петрашевского можно объяснить тем, что он был отделён от прочих арестованных. Поэтому первое время он не догадывался, что доносчиком был Антонелли.



Алексеевский равелин

Надо ли говорить, что подобный, не отмеченный доселе в российских судебных анналах способ защиты поверг «господ почтеннейших следователей» в глубочайшее изумление. Они не могли допустить, чтобы в государстве самодержавном законы трактовались столь непосредственным образом. Дух был для них гораздо важнее буквы, а он, этот дух, решительно восставал против мелочных казуистических придирок впавшего в непозволительную гордыню узника, который мог, по их мнению, просить только об одном: о снисхождении.

Презумпция невиновности не входила в круг юридических понятий высоких следователей. Предложение арестованного нарядить вместо уголовного следствия некий учёный комитет и заняться философскими прениями о достоинствах и недостатках социальной системы Фурье — это скромное пожелание могло представляться членам высочайше учреждённой Комиссии не только ни с чем не сообразным, но даже обидным.

Между тем узник переходит в наступление.

Отчаянная инструкция на русско-французском языке, зубцом от вентилятора запечатлённая на кусках отбитой от стены штукатурки — эти *клинописные* улики окончательно утвердили следователей в их подозрении, что они имеют дело с лицом чрезвычайно опасным. «Требовать явки обвинителя... Не отвечать на вопросы неопределенные, неясные, вкрадчивые... Задавать вопросы следователю. Стараться по возможности стать в положение нападающего...» — все эти наспех нацарапанные, но тщательно продуманные тактические указания доказывали, что за притворной искренностью заключенного № 1 кроется дьявольский расчёт опытного конспиратора и интригана*.

* Через много лет заключённый в Петропавловскую крепость и лишённый письменных принадлежностей С.Г. Нечаев будет выводить свои заявления и даже прошения на высочайшее имя на стенах камеры, откуда их аккуратно перепишут и подошьют к делу.

Уличённый автор великодушно признал свою вину «в порче казенного имущества»(и даже попросил отнести окраску повреждённой стены на его счёт), однако категорически отверг обвинение в незаконных посягательствах, сославшись по обыкновению на одну из статей уголовного кодекса, где, в частности, говорится, что «содержащиеся под стражей до объявления приговора акты совершать могут».

Он совершает *акты*: на протяжении всего следствия не даёт следователям скучать. Он несколько раз меняет линию поведения. Убедившись, что его правозащитные аргументы падают в пустоту, он пытается воззвать не только к закону, но — к разуму: обратить своих обвинителей в собственную веру. Когда же и это не удаётся, подследственный пытается возбудить в следователях дремлющую государственную жилку. Он разворачивает перед ними — с настоятельной просьбой довести эти мысли до сведения государя — ряд блистательнейших проектов, осуществление которых позволит, по его мнению, резко увеличить доходы казны. Так, в частности, отстаивается финансовая выгода невозбранного курения на городских улицах и подробно исчисляется сумма, которую сможет выручить правительство по введении этой, только на первый взгляд либеральной, но по сути вполне охранительной меры.

Далее следуют уже совершенные интимности. Выбрав, как говорится, время и место, Петрашевский открывает следователям сугубую тайну: доверительно сообщает им, что он — пишет стихи, и даже приводит образцы своих поэтических вдохновений.Можно, однако, предположить, что как раз такое *признание* мало обрадовало господ генералов.

Речь заключённого становится всё бессвязнее — и в ней, как ни странно, вдруг прорываются рыдающие интонации грядущей молодёжно-сентиментальной прозы: «Вырастет зорюшка... Мальчик сделает... дудочку... Дудочка заиграет... Придет девушка... И повторится та же история, только в другом виде...»

И, наконец, на свет появляется документ, в котором завещатель, будучи «в полной памяти и уме», заявляет о своём непременном желании вверить наследственные капиталы главе французских фурьеристов Консидерану, а свои будущие останки — анатомическому театру, причём из кишок или жил покорнейше просит изготовить музыкальные струны. (Схожий порыв романтического утилитаризма будет отмечен Достоевским в «Бесах», где капитан Лебядкин желает употребить свою кожу для барабанов Акмолинского пехотного полка.)


Д.Д. Ахшарумов

Завещание содержит также пункт в пользу больницы умалишённых. Это могло бы навести на мысль о тайной боязни завещателя сменить камеру равелина на комнату в доме скорби. Некоторые из заключённых действительно были близки к подобной метаморфозе.

Ахшарумов и Достоевский свидетельствуют о бывших у них в крепости галлюцинациях; есть указания на начавшуюся у Дебу душевную болезнь. Двое из подследственных (В.П. Катенев и В.В. Востров) сойдут с ума и умрут в больнице, а один (Н.П. Григорьев) начнёт впадать в «меланхолическое умопомешательство» (от которого он не излечится никогда) — ещё до того, как его, привязанного к столбу, продержат несколько секунд под ружейным прицелом. Ахшарумов говорит, что им вслух зачитывали статьи закона, угрожающие смертной казнью (вид психологического давления не самый слабый). Вряд ли можно сомневаться в том, что большинство подсудимых за восемь месяцев одиночного заключения вынесли жесточайшее нравственное истязание. Что не снимает вопроса и о других методах воздействия.

«Пытка существует, вот горестное открытие, которое сделал», — обращается Петрашевский к Военно-судной комиссии; последняя, положила записать в протокол, что «извет Петрашевского оказался не имеющим никакого основания».

«Одно из самых темных и загадочных пятен в истории следствия — это проблема пыток...» — пишет Б.Ф. Егоров, добавляя, что «если пытка электрической машиной и ядами — плод воспаленного воображения узника, то успокоительные и усыпляющие лекарства, морение голодом и жаждой, угроза физической расправы — вещи, возможно, реальные»*.

И впрямь, описанные Петрашевским симптомы весьма похожи на те, какие могут быть вызваны действием наркотических веществ. Естественно, судьи не обязаны были рассматривать подаваемые узнику медицинские снадобья (дабы утишить его нрав и отклонить от совершения негодных поступков) в качестве средства для выпытывания нужных показаний**. Формально блюдя закон, воспрещающий пытку, тюремная психиатрия имела шанс обойти его, не нарушая приличий.

---

* *Егоров Е.Ф.* Петрашевцы. Л., 1988. С. 185.

** Напомним, что распространёнными успокоительными средствами служили в то время препараты опия.

Заботясь о товарищах, Петрашевский указывает высокой Комиссии, что от длительного тюремного заключения могут пострадать наиболее чувствительные из них. В том числе — Достоевский, которому ещё и до крепости «едва ли призраки не мерещились». Уповая на потенциальную интеллигентность великолепной «пятерки», Петрашевский осторожно напоминает господам следователям о том, что природная одарённость есть достояние общественное, и добавляет в скобках: «талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе».

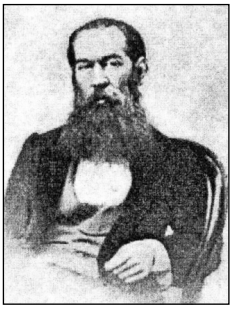
Это единственная фраза во всём девятитысячестраничном деле, где упомянуто о литературных заслугах автора «Двойника».

Сотворение имиджа, или Работа над текстом

Сам Достоевский касается своих литературных занятий вскользь. Он нигде не говорит о себе как об известном писателе. Очевидно, полагает, что это обстоятельство не укроется от внимания любознательных членов высочайше учреждённой Комиссии.

Во всяком случае, «энтузиаст» Яков Иванович Ростовцев с творчеством подследственного знаком. Генерал в молодости и сам был не чужд «высокого и прекрасного». Бывший элегик, он не грозит заключённому земными карами, но полагает более уместным воззвать к его авторской гордости: «Я не могу поверить, чтобы человек, написавший “Бедных людей”, был заодно с этими порочными людьми».

Хотя следующая за этим фраза — о том, что государь уполномочил Ростовцева объявить Достоевскому прощение в обмен на его, Достоевского, чистосердечие — не находит подтверждения ни в одном из известных источников, мы не рискнули бы настаивать на её безусловной апокрифичности. Император Николай Павлович в уважение к литературе мог позволить себе подобную милость. («Тебя знает Император...» — сказано в известном послании.) Хотя Комиссия «с радостным для русского народа чувством» поспешила отметить, что в среде злоумышленников «не является ни одного лица, стяжавшего себе не только значительность, но даже известность», её более просвещенные сочлены могли бы догадаться, что автор «Бедных людей» — в общественном плане — самая «авторитетная» фигура процесса (правда, с *государственной* точки зрения соображение это представлялось совершенно ничтожным). Демонстративное отделение молодого дарования от малосимпатичных и к тому же никому не известных «порочных людей» позволило бы не только засвидетельствовать отеческую снисходительность верховной власти, но



К.Н. Тимковский. Поздняя фотография

и произвело бы должный политический эффект. Спектакль, разыгранный Ростовцевым после отказа Достоевского от сотрудничества, — с убеганием в другую комнату и патетическими выкриками из-за кулис («не могу больше видеть Достоевского!») — также вполне правдоподобен. «Благородный предатель» ищет союзников среди людей действительно благородных: их слабость оправдала бы его собственное прошлое.

Свою линию поведения Достоевский выбирает с самого начала и следует ей до конца.

Если Петрашевский апеллировал преимущественно к закону, то его соузник почти полностью игнорирует эту призрачную реальность. Пребывая, если воспользоваться счастливым выражением Ю.М. Лотмана, «в военно-бюрократическом вакууме», он уповает главным образом, на то, что, спокойно и беспристрастно вникнув в его показания, его обвинители сами убедятся в неосновательности своих подозрений.

Он не взывает к милости и не выказывает раскаянья.

Тщательно (можно сказать — художественно) он выстраивает собственный образ, равно как и образы других участников драмы. (Поправки, зачеркивания и вставки, которыми изобилуют его показания, свидетельствуют, что автор отнёсся к этой работе творчески — *как к тексту.*)

Нет, он не старается убедить следователей, что, будучи человеком образованным, старался убегать разговоров на жгучие политические темы. Он берёт на себя *эту* вину, дабы, во-первых, заслужить следовательское доверие, а во-вторых, пользуясь достигнутым успехом, обойти обстоятельства более щекотливые.

«На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная». Разумеется, он не может оставаться равнодушным к этим событиям, но это вовсе не означает, что его интерес носит характер одобрительный. Что же касается до отечественных применений пагубного европейского опыта, то здесь он вполне твёрд: «Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта» («бессмысленного и беспощадного» — могла бы продлиться фраза; счастье, что другая — «а хотя бы и через восстание!», — застряв, как уже говорилось, в памяти мемуариста, так и не достигнет следовательских ушей). Он не жалеет резких слов в адрес цензуры и не страшится упомянуть о её бессмысленных и жестоких придирках. При этом он тактично даёт понять, что подобная, ничем не оправ-

данная словобоязнь прежде всего не в интересах самой власти (и может быть даже «обидой правительству»). «...Литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть...» Не в позднейших статьях и не в «Дневнике писателя», а именно здесь, на тесном поприще тюремной словесности он впервые говорит власти о её собственных выгодах — о необходимости следовать идеалам справедливости и чести.

Он ненавязчиво втолковывает членам Комиссии, что фурьеризм — «это система мирная» и что она «очаровывает душу своею изящностью...». Но — тут следует очень характерное добавление — «эта система вредна... уже по одному тому, что она система». Он вряд ли лукавит: неприязнь к теоретическим отвлечённостям сохранится у него на всю оставшуюся жизнь.

Итак, образ почти сотворён. Перед лицом мужей государственных, призванных отделить добро от зла, выступает человек искренний и доброжелательный, вовсе не скрывающий своих сокровенных убеждений. Он даже готов признать, что «если ***желать лучшего*** есть либерализм, ***вольнодумство***, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец».

Так строится самозащита. Не менее искусно проводится и защита других.

Уже приходилось говорить, что Достоевский не сообщил следствию ни одного компрометирующего кого-либо из его товарищей факта. Он упоминает только о том, что уже известно. Но даже и в этом случае он пытается смягчить возможный следовательский удар.

Он категорически отрицает, что Головинский утверждал, будто освободить крестьян нужно бунтом. И после словесных настояний Комиссии задумчиво добавляет, что, по-видимому, говоривший «выражал эту идею как факт (то есть как объективную возможность. — *И. В.*), а не как желание свое», ибо он, Головинский, всегда был «далек от бунта и от революционного образа действий». Его, Головинского, лишь сильно занимает сам крестьянский вопрос, но при этом он, безусловно, предпочитает меры мирные, а отнюдь не сокрушающие. «Вот с какой стороны я знаю Головинского».

Тимковский? «Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье». (Опять упор на социальную эстетику!) Мало того, Тимковский показался вопрошаемому «совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем». (Вспомним, что относительно самого себя Достоевский позволяет более рискованные формулировки.) И вообще, Тимковский «религиозен и в идеях самодержавия».

Дуров? О, это человек самый незлобивый, но, к несчастью, болезненно раздражительный. Поэтому «в горячке» способный иногда говорить «против себя, против своих задушевных убеждений». Сами же убеждения не должны вызывать у следователей ни малейшей тревоги.

Филиппов? В нём масса прекрасных качеств (следует перечисление). Он, правда, ещё очень молод и оттого — горяч и самолюбив (приводится трогательный анекдот о Филиппове, который в доказательство своей неустрашимости холерой молодецки съел горсть зелёных рябиновых ягод). Отсюда предоставляется сделать вывод, что если Филиппов даже и предложил литографию, то это был такой же мальчишеский жест, как и описанное выше гастрономическое безумство.

С особенным чувством говорит Достоевский о брате (Михаил Михайлович был взят 5 мая — «в обмен» на выпущенного, наконец, брата Андрея Михайловича). Он самым решительным образом отрицает хотя бы малейшую прикосновенность его к делу. Это он, младший брат, виновен во всём: ввёл Михаила Михайловича к Петрашевскому, на «пятницах» которого брат, впрочем, не проронил ни слова. У брата осталась на воле семья — совершенно без средств, и поэтому «арест должен быть для него буквально казнию, тогда как виновен он менее всех».

«***Совершенно откровенных*** сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим...» — скажет Достоевский, отвечая на вопросные пункты: нет оснований ему не верить. Думает ли он меж тем о главной опасности, которая может обнаружить себя в любую минуту и погубить его?

Пора вспомнить о *типографии*.

Из главы 11

«ГДЕ НЕ ЛЮБЯТ ГУТЕНБЕРГА...»

Злоключения актёра Бурдина

В Государственном архиве Российской Федерации (чьё новое каркающее название ГА РФ немногим благозвучнее, чем старое цокающее ЦГАОР) хранится дело, озаглавленное по форме: «О помещике Николае Спешневе». Однако эта находка вовсе не та, которую втайне ждёшь. То есть не то большое следственное делопроизводство, задолго до крушения империи загадочным образом исчезнувшее из императорских архивохранилищ. Документы, отложившиеся в ГА РФ, принадлежат III Отделению: в них зафиксированы результаты его собственной деятельности. И результаты эти — ошеломляют.

Итак, вновь обратимся к архивам.

31 июля 1849 года Леонтий Васильевич Дубельт предписывает подполковнику корпуса жандармов Брянчанинову «отправиться завтра 1-го августа в 6 часов утра в квартиру служащего в Министерстве внутренних дел Николая Александровича Мордвинова, сына сенатора, квартирующего в доме Кокошкина на Воскресенской улице, арестовать его, опечатать все его бумаги и книги и оныя с ним вместе доставить в III Отделение Соб. Его В-ва Канцелярии». Хотя имя Мордвинова известно едва ли не с первых допросов, с приказом о его задержании начальство, как видим, не поспешало.

Следствие движется к концу; главные фигуранты давно в крепости; малозамешанные — уже выпущены на свободу. Новых берут более для очистки совести. Тем не менее арестование, как всегда, должно происходить на рассвете. Политических оппонентов предпочтительнее захватывать сонными.

«Если же по большому количеству бумаг и книг, — добавляет Дубельт обычную в таких случаях канцелярскую формулу, — невозможно будет

немедленно представить их в III Отделение, то запечатать их в квартире, как окажется удобным, и доставить одного только г. Мордвинова»*.

Не приходится сомневаться, что подполковник Брянчанинов был готов точно следовать данным ему инструкциям.

Но увы: ни самого Николая Мордвинова, ни бумаг его не оказалось в наличии. То есть бумаги скорее всего имелись, но интересоваться ими в отсутствие хозяев не сочли деликатным. Как-никак «сын сенатора» живёт не отдельно, а в доме своего сановного родителя. 1 августа подполковник Брянчанинов ответствует непосредственному начальству, что подлежащего арестованию лица «здесь в С.-Петербурге нет, а находится он, как по разведываниям моим оказалось, в деревне, вместе с отцом своим, Псковской губернии, верстах в 250-ти отсюда, о чем Вашему Превосходительству имею честь доложить».

Это была чистая (хотя для Дубельта, может быть, и не столь неожиданная) правда. Позднее, письменно отвечая на вопросы Комиссии о его сношениях «внутри Государства и за границей», Мордвинов не будет скрывать, что ездит иногда в имение отца своего в Псковской губернии; с заграницей же никаких сношений не имеет.

В деревне сына сенатора решили не беспокоить. (Хотя технически это было легко исполнимо: Черносвитова, например, срочно вернули в Петербург аж из Томской губернии.) И только 2 сентября, по окончании летних вакаций, Дубельт извещает генерала Набокова, что имеет честь «представить при сем в распоряжение Вашего Высокопревосходительства арестованных сего числа чиновника Николая Мордвинова и Актера Бурдина»**.

Обнаружив в скучной служебной бумаге имя Бурдина, автор этой книги испытал странное чувство. Он вспомнил, что его первая аспирантская работа (впрочем, так и не увидевшая свет) называлась «Достоевский и Бурдин». Один из её героев, актёр императорских театров, в начале 1860-х годов был жестоко ругаем журналом братьев Достоевских «Эпоха» — за неодобряемую редакцией манеру игры. Особенно усердствовал в этом отношении Аполлон Григорьев, придумавший — в качестве синонима театральной напыщенности — поносительный термин «бурдинизм». Разобиженный лицедей (кстати, задушевный приятель драматурга Островского) написал Достоевскому довольно-таки резкое письмо: оно-то и стало нашей первой архивной находкой. Мы ухлопали на выяснение всех обстоятельств

* ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 140. Л. 2–2 об., 3.

** РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 107.

этой склочной истории добрых полгода, хотя, как ныне догадываемся, могли бы провести их более удовлетворительным образом.

Тогда мы не ведали, что Фёдор Алексеевич Бурдин подвергался аресту в 1849 году. И что сохранился рассказ о его кратком пребывании в здании у Цепного моста.

Он был ни жив ни мертв, когда длинными коридорами его ввели в особую комнату, где предложили, впрочем, переодеться и отужинать. Всю ночь 22-летний узник не сомкнул глаз. Хотя, по его словам, обхождение было вежливое и ласковое, а сама комната — чисто меблирована и вообще обладала признаками комфорта. «Просто барская квартира в сравнении с моей каморкой», — не без удивления добавляет скромный труженик сцены. Были поданы кофе, сигары и папиросы. Принесли также газеты и журналы. *В одно прекрасное утро*, повествует Бурдин (что, видимо, как и *бессонная ночь*, — не более чем риторическая фигура: Фёдор Алексеевич, если верить документам, не задержался в III Отделении свыше одного дня), жандармский офицер пригласил его к Леонтию Васильевичу.

«Наше вам почтение, российский Колло д'Эрбуа, — встретил он меня, насмешливо кланяясь, — ты-то как в эту гнусную историю попал?»

С актёром императорских театров можно было разговаривать в подобном тоне*: обзывать, хотя и в виде начальственной шутки, громкими революционными именами.

«Я только руками развел», — говорит Бурдин, не ведавший за собой никакой вины.

Дубельт меж тем вспоминает о «сказках» — всё тех же секуциях, якобы производимых в этом гостеприимном доме. «...И тебя, Федька, — добавил он, — действительно стоило бы отпороть на обе корки. Ведь врешь, чтобы ты ничего не знал об этом дурацком заговоре?»

В ответ «Федька» истово божится, что он и в самом деле — ни сном ни духом. Иначе немедля прервал бы сомнительные знакомства.

«— Но не донес бы? — усмехнулся Дубельт. (Может быть, вспомнив другого — неудавшегося — актёра Антонелли, которому Бурдин, к счастью для себя, не успел попасться на глаза. — *И. В.*)

— Боже сохрани! Вы бы сами первый назвали меня подлецом.

---

* Императорские театры были учреждением официальным: они подчинялись Министерству императорского двора. Поэтому театральные рецензии (в отличие, скажем, от рецензий литературных, подлежащих общей цензуре) допускались в печать с ведения III Отделения. Что давало его первому (до 1844 г.) начальнику графу А.Х. Бенкендорфу (большому любителю театральных учениц) законную возможность влиять на судьбы своих избранниц.

— Что же нам делать с тобой? В Сибирь, в крепость или на одиннадцатую версту? Что побледнел! Ну, ступай с Богом... — махнул он рукой.

Я вышел, не чувствуя под собою ног от радости»*.

Надо иметь в виду, что вышеприведенный рассказ не «принадлежит перу» самого Бурдина. Эпизод изложен П.П. Каратыгиным (родственником знаменитого трагика) в статье «Бенкендорф и Дубельт», которая была напечатана в октябрьской книжке «Исторического вестника» за 1887 год.

Существует возможность уточнить эту *театральную* версию.

Неопубликованный допрос Бурдина, хранящийся в РГВИА, занимает всего несколько страниц.

На вопрос: «Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» Бурдин с благородным негодованием отвечает: «Никогда не принадлежал и не имел ничего подобного в моих мыслях». С Данилевским, которому нравится его, Бурдина, «сценическое искусство», он познакомился случайно — в маскараде, имевшем место быть в Большом театре, а через сказанного — с Катеневым и Европеусом. Но об их «неблагонамеренных действиях» он ничего не знал.

Бурдин не отрицает знакомства с 26-летним Николаем Данилевским — лучшим в России знатоком фурьеризма. Их могла связывать только молодость и общее поклонение Мельпомене. Автор «Бедных людей» тоже встречался с Данилевским на «пятницах» в Коломне и у Плещеева. Зимой 1849 года оба они (вкупе, разумеется, с вечным искусителем Спешневым) толкуют о возможности печататься за границей. Будущий автор «России и Европы» мог бы свести с Достоевским и молодого актёра Бурдина. Может быть, критика в журнале «Эпоха» была бы тогда более сдержанной: редактор не имел обыкновения публично бранить подельников и старых друзей.

Но Данилевский знакомит Фёдора Бурдина с совершенно другими лицами. И на единственный серьёзный вопрос — правда ли, что он, Бурдин, в апреле 1849 года «ходил в маскарад» с Катеневым, во время которого тот предполагал разбросать билеты, где было написано, что в Москве вспыхнул бунт и прибывший туда государь убит, — Бурдин отвечает: «Действительно, я находился в Маскараде с Катеневым, точно как и с другими моими знакомыми, но он подобных слов мне никогда не говорил»**.

---

* Исторический вестник. 1887. Октябрь. С. 178–179.

** РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 109. Л. 5–9.

После чего неосторожный в своих знакомствах любимец публики был, как мы помним, отпущен на волю.

С ровесником Бурдина, 22-летним Мордвиновым, обошлись ещё более гуманно.

Человек без особых примет

В этот же день, 2 сентября, генерал А.А. Сагтынский (тот самый, который «расшифровал» Антонелли) отправляет генералу Набокову очередное секретное отношение. В нём сказано, что Комиссия по разбору бумаг, рассмотрев оные у арестованных коллежского секретаря Николая Мордвинова и актёра Бурдина, не нашла в этих бумагах ничего, «относящегося к известному делу, ниже обращающего внимание».

Собственно, этого и следовало ожидать. Вряд ли Мордвинов, чей дом был уже однажды почтён жандармским визитом, проводил лето 1849 года в беспечности и неге. Уж ежели, как сказывают, из его квартиры был незаметно вынесен типографский станок, что тогда толковать о каких-то бумагах...

Его архивное, тоже неопубликованное, дело* немногим толще скудного досье Бурдина.

На вопросные пункты Мордвинов отвечает кратко, но вразумительно. Он не скрывает, что мать его умерла, а отец, тайный советник, живёт в Петербурге. И что он, их сын, имел честь окончить С.-Петербургский Императорский университет. На службу вступил осенью 1847 года, но штатного места не имеет; под следствием и судом не бывал. Недвижимым имением или собственным капиталом не обладает; не обладает и семейством; на пропитание получает средства от отца. «Кроме своих родных, ни с кем не имел особенно близких и коротких знакомств...», — пишет Мордвинов, не обременяя следствие сведениями о своих конфиденциях с членами типографской «семёрки».

«Не принадлежали ли вы к какому-либо тайному обществу?» — вяло (более для порядка) спрашивает подуставшая за лето Комиссия. — «Нет», — кратко отвечает Мордвинов.

Он не отрицает своих посещений дуровских вечеров, однако настоятельно подчёркивает, что «первоначальная цель их была музыкальная и литературная». То есть слово в слово повторяет показания других участников кружка, в том числе Достоевского: устойчивость

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 107.

формулы наводит на мысль о её предварительном обсуждении. Кроме того, Мордвинов мог получить консультацию у тех, кто уже имел удовольствие отвечать на указанные вопросы. Вспомним, что Михаил Достоевский был выпущен из крепости ещё 24 июня, а, скажем, Н.А. Кашевский, вообще не подвергшийся заключению, допрошен 1 августа. И, наконец, тоже остававшийся на свободе А.П. Милюков был призван к допросу 29 августа, то есть буквально за пару дней до ареста Мордвинова. Вряд ли последний пренебрёг возможностью тщательно подготовиться к встрече, которой, как он понимал, уже нельзя было избежать. За пять месяцев *ожидания* он, несомненно, продумал тактику защиты и, по-видимому, был вооружён некоторым знанием следовательских уловок. Поэтому он действует крайне осторожно и взвешенно; повторяет лишь то, что уже говорили другие.

Можно, однако, представить, как напрягся Мордвинов, узрев невинный с виду письменный пункт: «Часто ли собирались к Спешневу вы и ваши сотоварищи, кто именно, чем занимались и какое вы принимали участие?». Спрашиваемый отвечает подчёркнуто бесстрастно, как бы не придавая вопросу (равно как и своему на него ответу) никакого значения: «Я у Спешнева бывал большею частию не один, для обеда или с визитами, но собраний у него не бывало»*.

Спешнев действительно избегал публичности. Он, как помним, предпочитал индивидуальный подход.

Надо заметить, что вопросы следователей носят достаточно общий характер. Они *обязаны* допросить Мордвинова, поскольку его имя упоминается в деле. Трудно, однако, избавиться от впечатления, что, формально следуя процедуре, дознаватели не хотят *углубляться*. И поэтому, устрашив допрашиваемого протокольным требованием открыть злоумышление, «которое существовало, где бы то ни было», они готовы удовольствоваться благонравным ответом: «Мне ничего не известно». Видимо, уяснив из характера вопросов, что никаких серьёзных показаний против него не существует, сын тайного советника отвечает твердо и с сознанием собственной правоты: «Либеральное и социальное направление считаю преувеличенным желанием изменить и уничтожить все несовершенства, которые постепенно, мало-помалу, уничтожаются и прекращаются стараниями Правительства, а потому не могу в себе признать ни социального, ни либерального направления».

После чего автор этих положительных объяснений с лёгким сердцем подписуется в том, что будет хранить в строгой тайне сделанные

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28, 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 107. Л. 18.

ему в Комиссии расспросы, а также торжественно обещает не принадлежать к тайным обществам и впредь не распространять никаких преступных социальных идей.

Да, пять месяцев, миновавших после весенних арестов, не прошли для Мордвинова даром. Он был освобождён в тот же день, 2 сентября. Его отец, сенатор и действительный тайный советник, мог вздохнуть с облегчением.

В деле Мордвинова сохранились и выписки о нём из допросов других фигурантов. Не может не броситься в глаза удивительное единодушие отвечавших. Все они, *словно сговорившись*, характеризуют Мордвинова как лицо, абсолютно ни в чем не замешанное и к тому же совершенно бесцветное. Во что трудно поверить, если иметь в виду его дальнейшую судьбу.

Ещё в 1846 году Плещеев посвятил своему 19-летнему другу следующие стихи (они стали известны сравнительно недавно):

И не походишь ты на юношей-педантов,
На этих мудрецов, отживших в цвете лет,
В которых чувство спит под пылью фолиантов,
Которым все равно, хоть гибни целый свет.

Ты не таков. В тебе есть к истине стремленье,
Ты стать в ряды защитников готов,
Ты веришь, что придет минута искупленья,
Что смертный не рожден для скорби и оков.

Несмотря на то, что отмеченная в этих стихах готовность «стать в ряды защитников» не прояснена толкованием — *защитников чего?* — они дают некоторое представление о духовных качествах воспеваемого.

Он водит приятельство со Спешневым и Плещеевым; он близок с Филипповым; он посещает Дурова. Нет ничего удивительного, что он упомянут Майковым *как посвящённый*.

В показаниях Филиппова о Мордвинове есть одна любопытная фраза: «В рассуждении о домашней литографии один из первых согласился с мнением Достоевского (Михаила. — *И. В.*) насчет бесполезности и опасности этого предприятия»*. Как и братья Достоевские, Мордвинов должен был действовать именно таким образом. Литография «бесполезна и опасна» ещё и потому, что может обнаружить подводную часть айсберга (то есть конспиративную деятельность типографов).

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 109. Л. 18.

Если арестованные члены «семёрки» («тройки»? «пятёрки»?) догадываются, что Мордвинов ещё не взят (а они не наблюдали его среди ночных арестантов, собранных в III Отделении), они крайне заинтересованы в том, чтобы такое положение продлилось как можно дольше. Ибо Мордвинов — единственный из них, кто может уничтожить *улики*.

Действительно: из всех потенциальных типографов на свободе остались только двое — Милютин и Мордвинов. Но Милютин отъезжает из Петербурга ещё до апрельской развязки и поэтому выпадает из игры. Если типографские принадлежности находились в каком-то известном только членам «семёрки» тайнике, извлечь их оттуда (до того, как они попадут в руки властей) не мог никто, кроме Мордвинова.

Спешнев и Филиппов — то есть те двое, кто официально признал свою причастность к заведению типографии, не могли этого не понимать.

На вопрос: «Какое Николай Мордвинов принимал участие на собраниях, бывших у Дурова, Плещеева и у Вас?» Спешнев отвечает: «Просто только посещал их по знакомству с одними господами и со мною — с Плещеевым он вместе воспитывался и много был дружен. Речей никаких не произносил никогда, и вообще ни резкого ничего особенного не говорил и никаких социальных мыслей не разделяет, да собственно и не знает»[*].

Как видим, Спешнев, может быть, с ещё большей настойчивостью, чем другие, пытается создать впечатление, что роль Мордвинова — совершенно ничтожна. Тот, положим, и рад бы разделить «социальные мысли», однако попросту их «не знает». Какой с него в этом случае спрос?

«Следует обратить внимание на то, — говорит видевшая в архиве мордвиновское дело В.Р. Лейкина-Свирская, — как старательно выгораживали его (Мордвинова. — *И. В.*) Спешнев и Филиппов»[**]. Мы можем прибавить к этим двоим ещё одно имя: Фёдора Достоевского.

«Объясните, какое Николай Мордвинов принимал участие в собраниях у Плещеева?» — спрашивает Комиссия. Достоевский с готовностью отвечает: «Николай Мордвинов, как мне известно, старый знакомый Плещеева и товарищ его по Университету, он приезжал к нему как близкий знакомый. Но он всегда был молчалив. Я ничего не заметил особенного».

---

[*] РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 109. Л. 17.

[**] Исторические записки. 1954. № 47. С. 218.

То есть, надо понимать так: связь у Плещеева и Мордвинова сугубо приятельская и не заключает в себе никакого политического оттенка. Они просто старые друзья.

«Я ничего не заметил особенного», — говорит о Мордвинове Достоевский, как бы обобщая высказывания всех остальных. «Особенное» в Мордвинове не подлежит ни малейшей огласке. Только тогда он имеет возможность тайно вынести то, что было тайно приобретено — из своего ли дома или из дома Спешнева.

Но тут мы сталкиваемся с новым поворотом сюжета. С таким, признаться, какой мы ожидали меньше всего.

Тайный визит (Ещё одно потрясение Дубельта)

Вспомним: о существовании типографии упомянул впервые Павел Филиппов — на допросе 4 июня. В Журнале Следственной комиссии имеется об этом чёткая запись.

Филиппов показал, что во исполнение вышеупомянутого замысла он «занял у помещика Спешнева денег и заказал для типографии нужные вещи, из коих некоторые уже привезены были Спешневу и оставлены, по его вызову (т. е. инициативе. — *И. В.*), в квартире его». И, сделав это, как сказали бы ныне, сенсационное заявление, подследственный добавляет: «Сей умысел не касается никакого кружка и никаких лиц, кроме его, Филиппова, и Спешнева, ибо оба они положили хранить это дело в величайшей тайне».

Филиппов говорит, что он «*занял* денег» у Спешнева, то есть как бы относит к себе и все финансовые издержки. Во что, конечно, верится плохо: вряд ли здесь предполагалась *отдача*. Надо полагать, этот «долг» мучил одолженного значительно меньше, нежели Достоевского.

Неожиданное признание Филиппова тут же повлекло за собой цепочку следственных процедур. Они отражены в единственном и до последнего времени практически неизвестном источнике: полицейском (не путать со следственным!) деле неслужащего дворянина помещика Спешнева*. В отличие от большинства других

* Доселе было известно лишь несколько обрывочных упоминаний этого эпизода, которые не связывались ни с общим документальным контекстом дела, ни с той интригой, которая, как выясняется, в нём сокрыта. (См., напр.: *Лейкина-Свирская В.Р.* Революционная практика петрашевцев. Исторические записки. М., 1954. Т. 47. С. 215.) Впервые некоторые из цитируемых источников приведены нами при публикации журнального варианта настоящей книги. (Октябрь. 1998. № 1, 3, 5;


Л.В. Дубельт

относящихся к Спешневу бумаг, исчезнувших из архивов Военного министерства*, эти документы не были потеряны (уничтожены? похищены? изъяты?). Они сохранились, как уже говорилось, в собственном делопроизводстве III Отделения. Если бы не рачение его архивистов, мы никогда не узнали бы о том, о чём сейчас пойдёт речь...

Итак: ГА РФ, фонд 109, экспедиция 1, опись 1849 г., дело 214, часть 30.

Уже 5 июня, то есть на следующий день после признания Филиппова, один из членов Следственной комиссии товарищ военного министра князь Долгоруков пишет Дубельту: «Я не помню, просила ли Вас вчерашний день комиссия сделать распоряжение о взятии ***в квартире Спешнева*** домашней ***типографии***, которая была изготовлена по заказам Филиппова. Мне кажется, мера эта была бы неизлишнею и что её можно бы привести в исполнение, даже если бы о том определения комиссии ещё не состоялось»**.

Дубельт не заставляет себя просить дважды. 6 июня он отдаёт полковнику корпуса жандармов Станкевичу, «состоящему по особым поручениям при шефе корпуса жандармов А.Ф. Орлове», следующее распоряжение: «За отсутствием г. Генерал-Адъютанта графа Орлова, предписываю вашему Высокоблагородию, испросив от г. С.-Петербургского Обер-Полицеймейстера одного из полицейских чиновников, отправиться вместе с ним в квартиру, уже содержащегося в Санкт-Петербургской крепости, помещика Николая Алексеевича ***Спешнева***, состоящую Литейной части, в Кирочной улице, в собственном его, ***Спешнева***, доме, и отыскав там домашнюю типографию, сделанную

2000. № 3). Большинство документов, связанных со Спешневым, воспроизведено в книге Л.И. Сараскиной «Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба» (М., 2000) — разумеется, как и свойственно этому автору, без обременительных ссылок на предшественников. В частности, на хорошо известные специалистам научные доклады 1976–1996 гг. Б. Улановской, В. Новосёлова, Е. Джусоевой: «Неизвестные письма Н. Спешнева»; «Н. Спешнев в творческом сознании Достоевского»; «У меня есть свой Мефистофель...», где подробно анализировались спешневские материалы, находящиеся в иркутском архиве и связанные с ними коллизии.

* Все следственные дела, связанные с процессом 1849 года, оказались сосредоточенными в архиве Военного министерства в силу того, что петрашевцев судила военно-судная комиссия, а приговор утверждался генерал-аудиториатом. Об этом ещё будет сказано ниже.

** ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 30. Л. 9–9 об.

по заказу студента Филиппова, доставить оную ко мне, с донесением об исполнении вами сего поручения»[*].

Цель обыска указана с максимальной определённостью: захватить типографию. Выражена полнейшая уверенность в том, что типография есть. Никто не посмел бы упрекнуть Дубельта в халатности или преступном бездействии.

В тот же день князю Долгорукову за подписью Дубельта отправляется следующая бумага: «Спешу довести до сведения Вашего Сиятельства, что я, признавая важность сообщенного вами известия, не ожидая требования следственной комиссии, уже сделал распоряжение к новому осмотру квартиры помещика ***Спешнева***, и взятию из оной домашней типографии»[**].

Ни князь Долгоруков, ни Дубельт не сомневаются в успехе операции. Из запечатанной квартиры исчезнуть ничего не могло.

Спешнев был арестован вместе со всеми — в ночь на 23 апреля. Его досье открывается «типовым» отношением графа Орлова — на имя прапорщика столичного жандармского дивизиона Беляева, где предписывается арестовать Спешнева и «опечатать все его бумаги и книги и оныя, вместе со Спешневым, доставить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии»[***].

Ни о каких посторонних предметах (научных или других приборах) в приказе Орлова, конечно, не упомянуто. Можно, поэтому, согласиться с версией Майкова: увидев в кабинете (конечно, не Мордвинова, как полагает поэт, а Спешнева) «разные физические и другие инструменты и аппараты», обыскивающие, на всякий случай, опечатали помещение.

Теперь, распечатав двери, полковник Станкевич должен был извлечь вещественные улики. Но вместо законных трофеев, сопровождаемых победной реляцией, Дубельту отправляется полковничий рапорт довольно скромного содержания.

Это — ключевой документ. Неизвестный ранее, он сообщает всей «типографской» истории новый неожиданный интерес.

Станкевич — Дубельту 7 июня 1849 года:

«В исполнение секретного предписания вашего Превосходительства, сего числа ***сделан был*** мною при местном помощнике квартального надзирателя ***самый строгий осмотр в квартире дворянина*** Николая Александровича ***Спешнева; но типографии не найдено***, причём мать его объявила, что недели три или четыре тому назад, квартира сына

[*] ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 30. Л. 11–11 об.

[**] Там же. Л. 12.

[***] Там же. Ч. 109. Л. 18.

её была отпечатана Действительным Статским Советником Липранди с Корпуса Жандармов Подполковником Брянчаниновым и все найденное подозрительным взято им с собою. О сем донося вашему Превосходительству, имею честь представить составленный на месте акт»*.

Это — невероятно.

Оказывается: не «родные Мордвинова», не домашние Спешнева и не какие-либо другие приватные лица, а персоны как бы вполне официальные снимают печати с опечатанного помещения и преспокойно выносят из него всё, что считают необходимым. Но самое удивительное, что они не ставят об этом в известность того, кому положено ведать о таких вещах в первую голову. И управляющий делами III Отделения узнаёт об этом событии лишь по случайному стечению обстоятельств — из служебного рапорта, который, надо думать, немало его изумил.

Непонятно: кто отдал распоряжение об этом *тайном* осмотре и принял на себя ответственность за него? Куда девался письменный на сей случай приказ? И где же отчёт о совершении операции или, на худой конец, полицейский протокол?

Ничего этого нет. Ни в каких служебных бумагах (кроме, разумеется, *удивленного* рапорта Станкевича) не содержится и намёка на происшествие,

«Где и что Липранди?» — вопрошал некогда Пушкин. А он, оказывается, недалече — вот тут.

Но обратимся к акту от 7 июня, приложенному к рапорту Станкевича. Ввиду исключительной важности документа, приведём его целиком:

«Вследствие предписания Господина Генерал-Лейтенанта по Кавалерии Дубельта от 6 июня № 1235-й Корпуса Жандармов Полковник Станкевич, прибыв Литейной Части 4 квартала в Кирочную улицу, в дом г. Спешнева с Помощником Надзирателя Чудиновым, делали самый тщательный обыск в квартире г. Помещика Николая Александровича Спешнева, но при всех принятых мерах домашней Типографии не найдено; причём мать г. Спешнева Поручица Спешнева объявила: что недели три или четыре тому назад, в воскресенье, в исходе первого часа дня, приезжали Действительный Статский Советник Липранди с Корпуса Жандармов Подполковником Брянчаниновым, которые, распечатав квартиру г. Спешнева, бывшую до того времени запечатанною, делали в ней осмотр и все, что нашли

* ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 109. Л. 13.

подозрительное, взяли с собою; квартиру же, не опечатав, передали оную под росписку матери г. Спешнева, о чем и положили составить Сей Акт.

Корпуса Жандармов Полковник Станкевич

Подпоручица Анна Сергеева дочь Спешнева

При обыске находил<ся> Литейной Части 4 Квартала Помощник <надзирателя> Чудинов»*.

Когда состоялся визит Липранди? «Недели три или четыре назад, в воскресенье», — гласит документ. Нетрудно расчислить, что это произошло либо 8-го, либо 15-го мая. То есть всего через две или три недели после апрельских арестов.

Об искусстве сокрытия улик

В до сих пор не опубликованном Журнале Следственной комиссии имеется запись под № 27 от 24 мая. Приведём текст:

«По важности обвинений, упадающих на помещика Курской губернии Спешнева, комиссия считает необходимым иметь сколь возможно подробные сведения о частной жизни его, о лицах, с которыми он был в ежедневных сношениях, о времени, когда он их посещал, и обратно, когда был посещаем ими. Для приведения всего этого в известность нужно допросить прислугу его, кучера или извозчиков, которые его возили, и вообще всех домашних, но к произведению таковых исследований самая комиссия никаких средств не имеет».

Ни к одному из участников процесса (даже к Петрашевскому) не подходили с подобными мерками. Исследовать частную жизнь Спешнева, со всеми её волнующими подробностями, выяснить весь круг его знакомств (с хронометражем взаимных посещений), сделать предметом этих глобальных разысканий прислугу, кучера или извозчиков — всё это столь же грандиозно, сколь и неисполнимо. Недаром Комиссия сетует на ограниченность средств. Но надо отдать должное её изобретательности.

Комиссия вспоминает, что ещё 5 мая с разрешения наследника цесаревича военный министр сделал представление графу Перовскому — дабы «со стороны полиции продолжаемы были секретные разыскания о лицах, бывших в сношениях» со злоумышленниками. А посему и в настоящем случае Комиссия полагает возможным отнестись к господину министру внутренних дел — «с тем, чтобы он поручил, кому признает нужным, сделать без всякой огласки озна-

* ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 30. Л. 14–14 об.



Петербургские типы в начале XIX столетия. Дворник и почтальон. С рисунка с натуры Щедровского

ченные расспросы, как в отношении помещика Спешнева, так и на будущее время по всем тем случаям, кои при дальнейших розысках найдены будут нужными к раскрытию обстоятельств обвиняемых в преступлении лиц, и о том, что открыто будет, доставлять своевременно в комиссию сведения»*.

Из этого следует, что Министерству внутренних дел даны полномочия продолжить свои секретные наблюдения. И, как можно понять из несколько туманных формулировок Журнала, даже проводить (негласным, разумеется, образом) кое-какие следственные действия.

Казалось бы, теперь хоть что-то можно бы объяснить. А именно: Липранди — в рамках полученных его министерством полномочий — является на квартиру Спешнева, производит повторный обыск и т. д. Но эта гипотеза не выдерживает критики сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о том, что намерения Следственной комиссии были исполнены. Во-вторых, если бы даже Липранди действовал по её поручению, где-то в архивах должен был обретаться его отчёт о сделанных на месте открытиях. (Скорее всего — на имя Перовского.) В-третьих, «мандат» Комиссии предполагал только негласные операции: проведение обыска (состоявшегося, заметим, при свете дня) трудно отнести к таковым.

И, наконец, хронология.

Комиссия, если верить её Журналу, формулирует свои предложения 24 мая. Липранди же побывал у Спешнева 8-го или 15-го. Таким образом, его визит никак не связан с позднейшими записями в Журнале.

Повторим ещё раз: всеми арестами и обысками занимается III Отделение.

---

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28, № 55. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 4. Л. 91 об. — 92 об.

Но тогда спрашивается: каким образом активность Липранди и Брянчанинова могла ускользнуть от внимания Дубельта? Это могло произойти только в единственном случае: если приказ о повторном визите к Спешневу отдавал не кто иной, как лично граф Алексей Фёдорович Орлов. Разумеется — через голову своего начальника штаба.

Собственно, кто-то другой сделать этого и не мог. Не высочайшее же тайное повеление исполняет Липранди! Да если бы даже и так, всё равно высочайшую волю должен был бы сообщить исполнителям шеф жандармов.

Но, думается, император в данном случае *чист*. Приказ отдается непосредственно графом — причём втайне от его ближайшего помощника и конфидента. Ситуация, когда Дубельт был отстранен от тех разысканий, какими тринадцать месяцев занимался Липранди, повторилась с пугающей частотой.

Можно представить состояние Леонтия Васильевича.

Санкцию на повторный обыск (не ведая, что таковой уже состоялся) он даёт в отсутствие графа Орлова. Но начальник может вот-вот вернуться. Предав огласке сведения, доставленные ему Станкевичем, Дубельт поставил бы шефа жандармов (но прежде всего, разумеется, и себя) в крайне неловкое положение*.

Между тем 8 июня всё тот же полковник Станкевич направляет Дубельту ещё один документ: «В дополнение донесения моего от 7 июня за № 48, взятые мною в квартире дворянина ***Спешнева*** два ящика с доскою простого, белого дерева, и два ящика, оклеенных ореховым деревом запертых, которые по вскрытию моем оказались пустыми; при сем вашему Превосходительству представить честь имею, докладываю, что чугунной доски и оловянных букв мною не отыскано»**.

Почему об этом сообщается «в дополнении»? Видимо, поначалу Станкевичу были конкретно указаны могущие встретиться при обыске предметы, как-то: шрифт, чугунная доска и т. д. Пораженный тем, что кто-то здесь до него уже побывал, Станкевич в первом своём донесении опустил сопутствующие детали. Теперь от него, очевидно, потребовали представить хоть какие-то вещественные знаки того, что миссия его состоялась.

---

* Некогда мы взяли на себя смелость указать на ошибку в одной работе, где Дубельт поименован начальником III Отделения. За что и были обруганы г-ном Кувалдиным, который искренне полагает, что между Орловым и Дубельтом нет никакой существенной разницы, ибо «два сапога — пара!». Оно, возможно, и так, но неплохо иметь в виду, что указанные «сапоги» — весьма неодинакового размера.

** ГА РФ. Ф. 109. Эксп. 1. Оп. 1849. Д. 214. Ч. 30. Л. 15.

Четыре найденных при обыске ящика, которые к тому же оказались пустыми, надо полагать, мало утешили Дубельта. Но, в отличие от Липранди, он не счёл возможным утаить эту добычу от внимания высокой комиссии.

9 июня Дубельт честно сообщает генералу Набокову о сделанных полковником Станкевичем находках и препровождая оные, удостоверяет его высокопревосходительство в совершенном своём почтении и преданности.

Он посылает его высокопревосходительству пустые деревянные ящики, но при этом не упоминает о главном. Он не говорит ни слова о том, что в квартире Спешнева *уже побывали*.

Сколь ни поразительно, это так. Дубельт скрывает от членов Комиссии крайне важное (и к тому же официально задокументированное) обстоятельство. И тем самым фактически совершает должностной подлог. Более того — он как бы становится сообщником Липранди. Но недаром Леонтий Васильевич слывёт за очень умного человека. Он прекрасно понимает, что самостоятельная, без ведома непосредственного начальства «раскрутка» этого дела могла бы повести к грандиозным последствиям. В конце концов, он подчиняется графу Орлову, а не генералу Набокову. Как бы ему этого ни хотелось, он предпочитает не вести собственной игры.

На очередном заседании, не отрываясь от прочих дел, Следственная комиссия бодро записывает в своём Журнале (под номером 41), что вследствие сделанного дворянином Спешневым показания были произведены все описанные выше действия, которые, впрочем, повели лишь к тому, что генерал-лейтенант Дубельт препроводил в Комиссию «означенные два ящика и доску простого дерева»*.

Никто из высоких следователей (кроме Дубельта, разумеется) так и не узнают о тайном визите Липранди: эта информация будет погребена в бумагах III Отделения. Трудно сказать, какое употребление найдёт Комиссия доставшимся ей трофеям — пустым ящикам, число которых во время их перемещений в пространстве — между квартирой Спешнева, зданием у Цепного моста и Петропавловской крепостью почему-то сократилось до двух.

Что же, однако, кроется за всей этой загадочной историей? Ведь не подкупили же, наконец, и самого графа Орлова коварные заговорщики, дабы с его помощью уничтожить вещественные улики. Ещё более дико предположение, что Липранди вдруг исполнился сочувствия к Спешневу и, рискуя карьерой (а может, и головой) ре-

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. Д. 55. Ч. 4. Л. 126.

шился ему помочь. (Хотя такая *романтическая* версия, безусловно, устроила бы тех, кто желал бы оправдать в глазах потомства неразборчивость молодых пушкинских дружб.) И всё-таки Липранди был послан не для того, чтобы что-то найти, но скорее — чтоб скрыть. Судя по всему, с этой задачей он справился блестяще. И если бы не откровенность типографов, вынудившая начальство послать Станкевича туда, где уже и без него обошлись, о миссии Липранди мы не узнали бы никогда.

Впрочем, *в деле* этой информации и нет. А все документы, могущие вызвать нежелательные вопросы, оказались *во внутренней переписке*.

Между тем для самого Липранди находка типографии могла бы стать важнейшей личной удачей и сильнейшим козырем в затеянной им игре.

17 августа 1849 года, на исходе следствия, он направляет в высочайше учрежденную Комиссию *особое мнение*. Тот, кто по истинной совести мог почитать себя главным открывателем преступных деяний, внушает Комиссии, что расследуемое ею злоумышление гораздо серьёзнее, нежели члены Комиссии полагают. Он приводит в подкрепление этого своего тезиса массу примеров, рисуя устрашающую картину тотального, охватившего едва ли не пол-России заговора. Но о том, что могло бы самым существенным образом подтвердить справедливость его опасений, он почему-то умалчивает.

Более того: в собранных и сохранённых им бумагах, где тщательно зафиксированы мельчайшие подробности его участия в петрашевской истории, нет ни единого намёка на его воскресный, совместно с подполковником Брянчаниновым, визит в дом на Кирочной улице. Жестоко обиженный III Отделением и никогда не упускавший возможность указать на его промахи и огрехи, он применительно к данному случаю ни разу не употребит известный ему *компромат*. Он не пожелает открыть эту тайну даже после смерти графа Орлова. Ибо сознаёт: его, Липранди, собственное участие в той давней истории сокрушит его репутацию безукоризненного служаки и истового блюстителя государственных нужд. Он предпочитает молчать.

Но знает он гораздо больше, чем говорит.

В своей «итоговой» рукописи «Грустные думы ветерана великой эпохи с 1807 года» (она не опубликована до сих пор) 88-летний Липранди твердо называет главной фигурой процесса не Петрашевского, а Спешнева. Впрочем, и здесь он не вдаётся в подробности.

Ещё осторожнее он в публично оглашаемых документах. В одном из его позднейших примечаний к уже упомянутому особому, от 17 августа, мнению (в 1862 году этот текст был опубликован Герценом

в «Полярной звезде») сказано: «Впоследствии, как я слышал, открыто комиссиею, что была заготовлена и тайная типографиия, долженствовавшая скоро начать работу и действовать, конечно, для удобства распространения идей, а может быть, уже и для печатания воззваний»*. «Как я слышал...» — туманно замечает Липранди. Автор записки вполне мог это и *видеть*. Но он не позволяет себе углубляться.

Однако какими мотивами руководствовался тот, кто, как мы подозреваем, отдал приказ?

Изо всех причин, способных побудить графа Орлова (даже при всём высоком его положении) решиться на этот крайне рискованный шаг, можно с большей или меньшей уверенностью назвать только одну. Это — просьба очень влиятельных и очень высокопоставленных лиц. Одного Мордвинова-старшего тут недостаточно. Очевидно, были «задействованы» ещё кое-какие связи — родственного или бюрократического порядка. Не приходится сомневаться, что всё совершалось деликатнейшим образом — посредством вздохов, намёков, мимических знаков и эвфемизмов. Графу Орлову оставалось *поддаться*: он, говорят, был человек незлой. Приказ о повторном обыске у Спешнева, судя по всему, носил устный характер и был сформулирован в выражениях неопределённых. То есть Липранди и Брянчанинову могли только намекнуть на необходимость изъятия (сокрытия) тех или иных предметов, а внешне всё представлялось обычной полицейской заботой.

Во всяком случае, вряд ли можно сомневаться в том, что неофициальному визиту (а мы вынуждены, пока не будут предъявлены доказательства противного, считать его именно таковым) в дом Спешнева двух сугубо официальных лиц предшествовала сложная многоходовая интрига. Но дать ей первоначальный толчок мог только один человек: оставшийся на свободе, скромный, ничем не приметный Мордвинов-младший. Тот самый, за которым его арестованные друзья дружно не замечали никаких особых достоинств.

Попробуем теперь (хотя бы вчерне) восстановить общую картину событий.

Типографские принадлежности, купленные Филипповым, находятся на квартире Спешнева (возможно, какая-то часть — на квартире Мордвинова.) Их не обнаруживают во время апрельских арестов. Далее события могли развиваться по двум сценариям.

1. Домашние Спешнева снимают опломбированную дверь в его кабинете и выносят печатный станок. Это же — разумеется, с согла-

* Полярная звезда. 1862. Вып. VII. С. 39.

сия тех же домашних — мог сделать и Николай Мордвинов. Прибывшие в половине мая Липранди с коллегой не обнаруживают ничего.

2. Липранди и Брянчанинов, распечатав дверь, увозят всё, что нашли подозрительного. Естественно, к этому времени Мордвинов уже избавляется от улик, которые частично могли находиться и у него.

Всё это, разумеется, лишь гипотезы. Трудно судить, что на самом деле происходит за сценой.

...Когда-то, в самом начале своей литературной карьеры Достоевский задумал сочинение со странным названием: «Повесть об уничтоженных канцеляриях». Теперь он, пожалуй, мог бы сочинить «Повесть об уничтоженных типографиях». Правда, у этого фантастического произведения не было б шансов пройти отечественную цензуру.

Что ж: дело благополучно замяли. Конечно, успех этой акции выглядит едва ли не чудом. Из политического процесса выпало самое «криминальное» звено. В едином и, казалось бы, неделимом бюрократическом пространстве возникла некая «черная дыра», которая сделала видимое невидимым, а бывшее — небывшим. «Чудовищно, как броненосец в доке», дремавшее государство было предано своими же «личардами верными»: точнее, его просто *обошли*.

Боимся, это был не единственный случай.

«Родные люди вот какие...»

Как должен был поступить Дубельт, получив из Следственной комиссии официальную бумагу с просьбой о проведении нового обыска у Спешнева? Член Комиссии князь Долгоруков, который эту бумагу ему направил, само собой, не догадывался о том, что просимое посещение уже состоялось. Дубельт не мог не дать официального хода официальной бумаге. Он посылает в квартиру Спешнева полковника Станкевича, зная прекрасно, что тот там ничего не найдёт. Так оно в сущности и случилось. Леонтий Васильевич честнейшим образом осведомляет Комиссию о неуспехе визита, умолчав, впрочем, о скрытых причинах. (То есть выводя фактически из-под удара Липранди и Брянчанинова.) Для пущей убедительности он присовокупляет к своему докладу то, что можно назвать пародией на вещественные улики.

Формально исполнив все требования Комиссии, Дубельт не дал интриге развиться. Едва возникнув, дело о типографии уходит в песок. Большего Леонтий Васильевич сделать бы не сумел. Он негоду-

ет, когда жена неосторожно вопрошает его о судьбе мордвиновских сыновей.

Впрочем, всё это — не более, чем гипотеза. И если когда-нибудь будет найдено подлинное дело курского помещика Спешнева, возможно, именно там обнаружатся все недостающие звенья. В том числе и документы, опровергающие наши предположения и подтверждающие вполне официальный характер визита Липранди и Брянчанинова в спешневскую квартиру. А также — полную непричастность *подозреваемых лиц* к каким-либо противозаконным умыслам и поступкам.

Но пока таких доказательств нет, вопросы, увы, остаются. *Фантастический реализм* и *открытый финал* имеют место не только в романической прозе.

Ибо в толще родственных интересов может увязнуть тупой государственный меч. Поэтому двое из потенциальных подследственных избегли грозивших им суровых взысканий: крепости, тайного и неправедного суда, смертного приговора. Их миновала чаша сия.

Другие, однако, испили её до дна.

Из главы 12

СОУЗНИКИ ЦАРЕЙ

Частная жизнь Алексеевского равелина

Анна Григорьевна занесла в записную книжку слова своего мужа, что он сошёл бы с ума, «если бы не катастрофа, которая переломила его жизнь». Величайшее несчастье почитается благом. Ему не приходилось искать далёких примеров, когда он говорил о целительной силе страдания.

Катастрофа спасла его от безумия. Если это действительно так, стоит ли толковать о цене?

Какая же, однако, явилась ему идея, «перед которой здоровье и забота о себе оказались пустяками»? Мы можем о том лишь гадать — с разной степенью вероятия. Но тот духовный переворот, который обычно связывают с пребыванием в Мертвом доме, начался здесь, в камере Алексеевского равелина, когда в первый и последний раз в жизни он — не метафорически, а буквально — остался наедине с самим собой.

Речь, разумеется, идёт не о перемене убеждений (до этого пока далеко), а о переоценке всех жизненных ценностей: самоей жизни, в том числе.

Нервный, вспыльчивый, раздражительный, пребывающий на грани душевной болезни (которая, заметим, могла провоцироваться и постоянной угрозой ареста), он вдруг успокаивается. Несчастье свершилось; самое худшее позади. Вместо томительного и изматывающего ожидания наступила *определённость*. Это не значит, что он враз избавляется от своих комплексов и недугов. Вовсе нет. Но всё это отступает на задний план: изменились пропорции. Рок стёр «случайные черты» — и мир на поверку оказался подлиннее, проще, грубее. Добро и зло, совесть и долг, жизнь и смерть явили себя в своём беспримесном виде, в такой же нагой очевидности, как глоток воды и кусок тюремного хлеба. Именно здесь, в равелине, включился могучий механизм



Великий князь Михаил Павлович

нравственной и физической самозащиты: его «завода» хватит на долгие десять лет.

...У него не осталось ничего своего: даже носовой платок и гребенка были изъяты из употребления. Его облачили во все казенное, старое, арестантское — *чужое*. Единственное, что ещё принадлежало ему — это он сам.

«...Хорошее расположение духа зависит от одного меня», — пишет он недавно выпущенному на свободу старшему брату. Он уже не надеется на впечатления внешние.

Отвезённый в крепость с шестьюдесятью копейками наличных денег, он, как всегда, занимает в долг. (В этом смысле соблюдены условия, существовавшие на воле, хотя на сей раз занимать приходится у кого-то из его крепостных стражей.) Ему позволены умеренные, но важные удовольствия — собственные табак, сахар и чай. Михаил Михайлович — с готовностью, но не всегда аккуратно — присылает ему потребные для этих надобностей суммы. Десятилетие назад терпеливо изъяснявший родителю своё неоспоримое право *пить чай*, узник в настоящем случае избегает этой метафизической темы.

После того, как были отобраны письменные показания и не стало надобности воздействовать на искренность узников с помощью *быта*, суровый поначалу режим несколько смягчается. Обитателю Секретного дома позволено читать и — что не менее важно — писать. Он пишет «Маленького героя» — произведение почти идиллическое.

Здоровье — тема для тюремной переписки вполне позволительная. Но она занимает в ней место меньшее, чем можно было бы предположить.

Меж тем многомесячная изоляция даёт себя знать — и вот уже пол камеры, словно палуба, колышется под ногами, и снятся «по ночам длинные безобразные сны».

«Мне снились тихие, хорошие, добрые сны», — будет сказано через много лет Вс.С. Соловьеву; возможно, впрочем, что эти слова относятся к первым месяцам пребывания в крепости.

«Может быть, и не увидишь зеленых листьев за это лето», — пишет он брату 18 июля. Странная мысль, ибо прогулки разрешены. Видимо, подразумеваются *другие листья* — которые там, на воле: он всё ещё надеется на благоприятный исход.

Он насчитывает в тюремном саду «почти семнадцать деревьев»: это для него — «целое счастье». Природа, не слишком занимавшая его прежде, видится крупно и подробно сквозь решётку окна.


Великий князь Михаил Павлович

В крепости ему (как и Петрашевскому) исполняется 28 лет.

«***Частная*** жизнь моя по-прежнему однообразна», — сообщает он в августе, прося Михаила Михайловича прислать ему «Отечественные записки», которые он «в качестве иногороднего подписчика» ждёт с величайшим нетерпением. Усмешка не очень веселая, но всё же — усмешка: в такой ситуации она дорогого стоит.

Он благодарит брата за книги: это его спасение. Находясь «как будто под воздушным насосом», когда вся жизнь уходит «в голову», он должен особенно остро ощущать нужду в собеседнике. «Но всего лучше, — пишет он, — если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне нужно». Сказано как если бы книга была нужна для работы. Впрочем, так оно по сути и есть.

Кроме того, последняя просьба — лучшее доказательство того, что узник смирился со своей участью и уповает лишь на милосердие Божие.

«Алексеевский равелин... Филиппов — бежать...»*, — именно эти слова вдруг, через много лет, возникают в его рабочей тетради**. Они могут означать только одно: тогда в равелине Филиппов предлагал своему соседу план побега — оттуда, откуда ни до, ни после не смог убежать никто.

Они собирались бежать из Петропавловской крепости. Мысль не менее безумная, чем попытка завести типографию.

Между тем лето проходит. Дети Михаила Михайловича в рассуждении, куда подевался дядя, ждут от него по приезде много конфет и подарков.

Лето проходит — и вот уже мятежник Гергей положил оружие к ногам России, и Петербург извещён об этом громом крепостных пушек, никогда не ведших огонь по настоящему неприятелю. (Бог весть, что подумалось им в казематах, когда они, не знавшие о венгерском походе, услышали эту оглушительную пальбу.)

* Литературное наследство. Т. 83. С. 420.

** Это уже не косвенное, а прямое, от первого лица, подтверждение контактов двух узников во время следствия.

Других развлечений не было никаких, если не считать похорон великого князя Михаила Павловича. Они могли бы состояться значительно раньше, если бы тогда, на Сенатской, Кюхельбекер тщательнее выбил снег из своего пистолета. Михаил Павлович спасся, чтобы теперь, через четверть века, как и все почившие в бозе члены царского дома, стать вечным узником главной российской тюрьмы: покойников не смущают соседи.

Штабс-капитан генерального штаба Кузьмин, занимавший выгодную позицию в одном из крепостных бастионов, живо опишет погребальную церемонию — с прохождением генералитета, вспугнутыми салютационной пальбой лошадьми, грозно накренившимся катафалком. (Последняя деталь могла бы очень пригодиться иным историческим романистам — как символ кризиса всей феодальной системы. Но они лишь переадресуют наблюдения Кузьмина нашему герою: нужды нет, что окна равелина не выходили на соборную площадь.)

17 сентября 1849 года Следственная комиссия завершила свои труды. В обстоятельном, с бюрократической честностью сооруженном докладе подробно исчислялись действия каждого обвиняемого.

Картина получилась довольно стройная.

А был ли заговор? (К проблеме инакомыслия)

С самого начала процесса всему расследуемому делу был придан государственный вид. Но при всём старании ничего схожего, скажем, с заговором 14 декабря обнаружено не было.

Декабристов брали с оружием в руках. Это было открытое неповиновение, бунт на площади, военный мятеж. У мятежников существовали давние тщательно законспирированные организации, писаные уставы и т. д. В их замыслы входили государственный переворот, смена власти и — при определенных условиях — цареубийство. В их действиях — с точки зрения любого законодательства — наличествовал состав преступления.

На этот раз всё обстояло иначе. «Заговор идей» не повёл к настоящему делу. Вербальная оппозиция режиму не поколебала режим. О желательности тайного общества велись разговоры, но они кончались ничем. Поэтому для того, чтобы предать петрашевцев суду, необходимо было перво-наперво раздуть дело. С другой стороны, не следовало раздувать его слишком сильно.

Судьба *отдельных людей* оказалась в прямой зависимости от взаимоотношений *отдельных частей* государственного механизма.



Император Николай I, великий князь Михаил Павлович, цесаревич Алексей Николаевич, князь П.М. Волконский и граф А.Х. Бенкендорф. С портрета, писанного Крюгером

И всё же было бы опрометчиво полагать (как это делают некоторые мемуаристы), что III Отделение лезло из кожи вон, чтобы преуменьшить серьёзность дела (чем, в частности, объясняют *ласковость* Дубельта на допросах). Это была бы вторая — и последняя — ошибка руководителей тайного сыска. К их счастью, ничего не надо было преуменьшать. Дубельт и его начальство могли испытывать удовлетворение уже от одной мысли, что никакого заговора нет и в помине и что сотрудники графа Перовского, желая быть большими католиками, чем папа, выглядят не очень солидно. III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии хотело бы намекнуть, что оно и уступило-то это дело Министерству внутренних дел только потому, что не усматривало в нём явной угрозы для безопасности государственной.

Дубельта абсолютно не волновало, какова будет мера наказания. Для него важно было подчеркнуть, что само явление, хотя и в высшей степени преступно, но всё же носит локальный характер.

Именно поэтому особое мнение действительного статского советника Липранди, уличающего Комиссию в том, что она в благодушии своём не разглядела всеобъемлющего общерусского заговора (принятие этой версии повлекло бы цепную реакцию арестов и возникновение тысяч новых дел, что теоретически представлялось возможным, но практически бесполезным), — это мнение было изящно, с комплиментами по адресу обвинителя отвергнуто Комиссией, которая в своём заключении недрогнувшей рукой записала: «...организованного общества пропаганды не обнаружено».

Но раз так, процесс заговорщиков превращался в судилище над инакомыслящими. Не обнаружив наличия преступных деяний (таковыми по необходимости были признаны чтение рефератов, произнесение речей и оглашение частных писем), следователи невольно констатировали чисто идеологический характер расследуемого

дела. Криминальными были сочтены не поступки, но мысли. Согласно этой логике, Родиона Раскольникова следовало бы судить не за убийство им старухи-процентщицы, а за его газетную статью, где обосновывалось право на такого рода поступки.

Так — невзначай — обозначилась тема, которую через семнадцать лет гениально разовьёт один из нынешних обвинённых.

Правда, мечты о всеобщей гармонии, которыми вдохновлялись посетители «пятниц», имели мало общего с идефикс героя будущего романа. (Хотя, если вспомнить, Раскольников тоже печётся *о благе.*) Довольно далеки эти мечты и от нравственной диалектики другого теоретика — Ивана Карамазова. Общее здесь лишь то, что во главу угла ставится теория.

В 1849 году была осуждена *идея*[*]. Как и будущий автор «Преступления и наказания», судьи догадывались о её потенциальных возможностях.

Был ли Достоевский революционером?

Во всяком случае, он совершил такие поступки, которые не оставляют сомнений на этот счёт. Но нет оснований сомневаться и в его искренности, когда в своих показаниях он неодобрительно отзывается о перспективах «русского бунта».

Он хотел бы искоренить «важные пороки» России — крепостничество, бюрократию, деспотизм. Он не может примириться с социальным неравенством. Но мы остереглись бы утверждать, что он отвергает саму идею монархии — даже тогда, в 1849 году. Он желает совокупить русскую историческую власть с идеалами добра и правды, придать этой надчеловеческой силе иной — человеческий — облик (созиждить своего рода «самодержавие с человеческим лицом»). Не будучи правоверным фурьеристом, он поражён «изящной стороной» социалистических утопий, и эта тяга к красоте, неотделимой от истины, останется у него навсегда.

Принято считать, что после каторги он изменил убеждения. Не правильнее ли толковать о слиянии старого и нового душевного опыта — с сохранением всё той же потребности мировой справедливости, всё того же нравственного ядра?

В 1849 году он подверг себя «виселице», ибо хотел оставаться человеком честным.

Но таковым хотел бы остаться и его главный судья.

---

[*] В тексте приговора учение Фурье поименовано «зловредным». Преступными были признаны другие идеи — «клонящиеся» к изменению государственного устройства, уничтожению крепостного состояния, подготовке возмущения и т. д. При этом замысел был фактически приравнен к его осуществлению.

Из главы 13

ЦАРЬ-ЛИЦЕДЕЙ

К проблеме семейного сходства

Он царствовал без малого уже четверть века. К исходу 1849 года он должен был чувствовать некоторую усталость. Ему было за пятьдесят: после Петра Великого, которым он восхищался и на кого тщился походить, ни один из государей-мужчин не доживал до столь почтенного возраста.

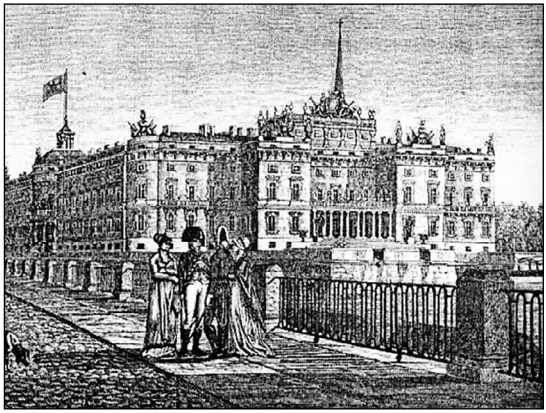
Он не пал жертвой дворцового переворота, как его дед и отец, о чьей судьбе, которую не пожелал разделить уступивший ему престол старший брат Константин, он, разумеется помнил и делал всё, чтобы её избежать. Правда, подобный финал, равно как и омрачивший начало его царствования военный мятеж, ныне не представлялись возможными, да и, пожалуй, не имели шансов на успех. Гвардия была уже не та, что при императоре Павле Петровиче или даже при Александре Благословенном. (И сам он был, конечно, *не тот*). Да и кто бы осмелился — после 14-го декабря?

Он навсегда запомнил тот роковой день.

«...Хорошенькое начало царствования, — сказал Николай по-французски одному из находившихся рядом с ним генералов, — трон в крови!»* Меж тем такие слова могли бы произнести, всходя на престол, его железная бабка или мучимый запоздалым раскаянием брат Александр.

Умудрённый горьким семейным опытом, он, очевидно, не обольщался относительно своего ближайшего будущего и был готов ко всему. В ночь с 13 на 14 декабря он заглянул к супруге, которая, объятая страхом, молча плакала у себя в кабинете. Он встал на колени и начал молиться. «Неизвестно еще, что ожидает нас, — передаёт

* 14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994. С. 289.



Вид Михайловского замка со стороны Летнего сада.
С гравюры Патерсона, 1801 г. (год убийства императора Павла I)

в дневнике его речь Александра Фёдоровна, — обещай мне проявить мужество и, если придется, умереть с честью»[*].

Она обещала. Но с той поры у неё начала трястись голова: впрочем, недуг этот был почти незаметен и мало вредил её общепризнанной красоте. Он обнаруживал себя лишь в минуты, когда государыня испытывала сильное душевное волнение.

29-летний государь проявил характер уже в самые первые часы. Свидетели отмечают, что находясь на площади, в виду мятежных полков, он ни разу не пустил лошадь в галоп. Правда, после одного из ружейных залпов, раздавшихся от памятника Петру, лошадь запнулась и шарахнулась в сторону. При этом толпа простолюдинов, которую он минутой ранее не без успеха пытался вразумить, «стала надевать шапки и смотреть с какой-то наглостью». Но будущий усмиритель холерных бунтов уже догадывался, как следует обращаться с народом. «Шапки долой», — закричал государь с невольной строгостью, и в одно мгновение все головы обнажились, и толпа отхлынула от него[**].

Бывшие на площади отмечают, что государь был чрезвычайно бледен.

Когда всё было кончено и он возвратился во дворец, его супруге показалось, что вернувшийся выглядел «особенно благородным».

---

[*] Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах царской семьи. М.; Л., 1926. С. 88. (Далее — Междуцарствие 1825 года...) Их дочь, великая княгиня Ольга Николаевна, королева Вюртембергская (которой, правда, в ту пору было три года) так вспоминает эти события: «Папа́ на мгновение вошел к нам, заключил Мама́ в свои объятья, разговаривал с ней взволнованным и хриплым голосом. Он был необычайно бледен». (Сон юности. Записки дочери имп. Николая I, вел. кн. Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. Париж, 1963. С. 10. Далее — Сон юности.)

[**] Русская старина. 1891. № 2. С. 409–410.

Мало того: «лицо его как-то светилось». Императрица обняла победителя: «...Он вернулся ко мне совсем другим человеком»[*].



Император Александр I

Его деда умертвили во время дружеского застолья. Его отец был задушен в собственной спальне. Его сын будет сражён народовольческой бомбой. Его внук, император Александр III, всю жизнь будет страшиться подпольных убийц. Его правнука вместе с женой, детьми и домочадцами застрелят в екатеринбургском подвале. Императору Николаю Павловичу повезло.

Сам он как будто не опасался покушений. Хотя для подобного рода страхов и были известные основания. Но выдержавший ружейный огонь на Сенатской, он признавал за благо являться подданным без охраны.

В 1829 году, коронуясь в Варшаве королем польским, он в свободный от балов и парадов час шествует по стогнам града рука об руку с императрицей — без конвоя и свиты. «Этот знак доверия и эта простота, — замечает историк царствования, — очаровали всех жителей; единодушные виваты долго сопровождали августейшую чету по улице»[**].

После подавления польского мятежа подобные прогулки сделались невозможны. Однако и тут государь не утратил свойственной ему безмятежности. Во время августейшего путешествия 1833 года, повествует генерал Бенкендорф, им были получены сведения, что несколько польских выходцев поклялись лишить государя жизни «и что для исполнения этого гнусного замысла выбраны окрестности Динабурга и Риги». Бенкендорф хотел было взять свои меры, но единственно, что разрешил государь в видах собственной безопасности, — это поместить на козлах одного линейного казака. В 1835-м на границе Царства Польского он отпускает приготовленный для него конвой. «И мы, — сокрушается Бенкендорф, — проехали до Калиша краем, ещё кипевшим горькою ненавистью к России, совершенно одни». «...С императором Николаем, — говорит его вечно озабоченный спутник, — не могло быть речи о каких-либо мерах предосторожности: они были чужды его свойствам и тому беспредельному упованию, которое он полагал на Провидение. “Бог — мой

[*] Междуцарствие 1825 года... С. 90–91.

[**] *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Т. II. 1903. С. 219.



Вера Засулич. Первая русская террористка. Фото

страж! — говаривал государь в подобных случаях. — И если я уже не нужен более для России, то Он возьмет меня к Себе”»*. (Кстати, в этом отношении на него походил его старший сын, который, несмотря на чрезвычайные меры по его охранению от беспрестанно следующих покушений, тоже более полагался на защиту небес.)

Один воспоминатель приводит следующий, весьма выразительный эпизод.

«Когда император был у великого князя Михаила Павловича, в Михайловском дворце, то отправил свои сани к Мраморному дворцу, желая дойти до них пешком. После завтрака Николай Павлович отправился из Михайловского дворца по протоптанной по снегу дорожке, через Царицын луг. Пройдя почти уже полдороги, он встретил хорошо одетого человека, державшего руку за бортом пальто и свирепо смотревшего на императора. Догадавшись о его намерении, Николай Павлович быстро и прямо пошел на него и громким голосом закричал ему: “Брось!”, и тот выронил пистолет. Тогда государь сказал ему: “Беги, а я буду смотреть, чтобы тебя не задержали, так как никто не должен знать, что кто-либо осмелился посягнуть на жизнь императора Николая”».

Разумеется, это чистейшей воды анекдот, выдаваемый простодушным повествователем за сущую правду — дабы, по его словам, доказать «величие души и вместе с тем мужество императора Николая». Истории ничего не известно о «хорошо одетом» (то есть явно не принадлежащем к простонародью) герое, который на пустынном пространстве между двумя великокняжескими дворцами пытался перехватить пальму первенства у ещё пребывающего во младенчестве Дмитрия Каракозова. Государь Николай Павлович был не таков, чтобы отпускать преступника с миром. Он никогда бы не согласился с «формулой» Достоевского, отнесённой им к Вере Засулич: «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». (Автор «Бесов» присутствовал на процессе первой русской террористки и высказал собеседнику оптимальную с его точки зрения версию приговора**.) «Державец полумира», громовым голосом повелевающий цареубийце бросить

* Записки графа А.Х. Бенкендорфа (1832–1837 гг.). Цит. по: *Шильдер Н.К.* Указ. соч. С. 703, 665.

** Подробнее см.: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. Исторические записки. М., 1991. С. 40–41.

«цареубийственный кинжал», — лицо, конечно, мифологическое. Легендарно и завершение этого поучительного рассказа: «Злодей убежал, а император, подняв пистолет, повернул назад и неожиданно зашел в кабинет Леонтия Васильевича, в III Отделении. Положив пистолет на стол, он рассказал ему о случившемся, отдав строгое приказание не разыскивать злодея»*.

В 1848 году Фаддей Бенедиктович Булгарин письменно умоляет высшее начальство, чтобы оно всепокорнейше присоветовало государю не совершать одиноких прогулок вкруг Зимнего дворца, ибо счастие и спокойствие целой Европы зависят от жизни и здравия одного человека.

Недаром на первых порах его сравнивали с титанами:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

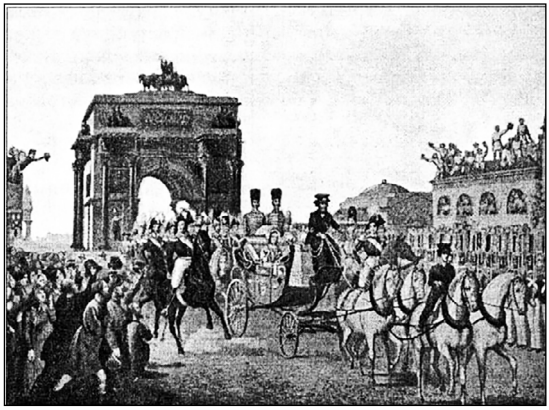


П.Г. Каховский стреляет в графа Милорадовича.
Гравюра по рисунку А. Шерляманя. 1862 г.

На автора этих стихов молодой, старше его всего тремя годами, царь произвёл сильное впечатление. При всех, порой драматических, колебаниях их отношений Пушкин, пожалуй, до конца не терял уважения к государю: чувство, совершенно ему незнакомое, скажем, в случае с предшественником, властителем «слабым и лукавым».

Автору «Стансов» не мог не импонировать цельный характер императора Николая Павловича, державный стиль его поведения, его твердость и прямота. Говоря (в письме к Чаадаеву) о своей сердечной привязанности к государю, Пушкин вряд ли лукавит. Его дневниковая запись, оформленная как передача чужих слов, — что в государе немного от Петра Великого и много от прапорщика — тоже далеко не случайна. В «прапорщике» трудно отыскать то, что в первую очередь хотел бы увидеть в новом монархе Пушкин:

* Русская старина. 1888. № 11. С. 494–495.



Въезд императора Николая Павловича и императрицы Александры Фёдоровны в Москву.
С литографии того времени

Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.

Высказанное в 1826 году в форме достаточно жёсткого императива, это пожелание не возымело последствий. При всех прочих своих достоинствах император не обладал именно этим: незлобивостью памяти. Особенно — памяти политической. Он помнил всех своих врагов наперечёт, но в отличие от Петра не прощал их до своего последнего вздоха. Наивно укорять его за это. Но ещё наивнее предполагать, что он руководствовался при сем исключительно мотивами личной мести.

Невольник чести

При том, что многих будущих декабристов их будущий сокрушитель знал по имени и в лицо, он вряд ли слыхивал что-либо о подсудимых 1849 года (может быть, за исключением лишь автора «Бедных людей», если верить насмешливому: «Тебя знает Император...» и т. д.). Тем не менее формальный приговор «апрелистам» был ещё более жесток, нежели тот, что был вынесен в 1826 году подвижникам декабря. Смерти — без различия в объеме и степени вины — подлежали практически все. В возрастном измерении это была кара как бы даже отеческая: большинство осуждённых годились императору в сыновья. (В 1826-м он карал преимущественно ровесников.) И хотя, к счастью, ни один приговор не был приведён в исполнение (о некоторых скрытых доселе причинах такого великодушия нам доведётся ещё сказать), долг был исполнен. Тот самый, диктуемый жёсткой государственной по-

требностью долг, который некогда заставил молодого царя не пощадить тех, кто собственно принадлежал к его поколению.

Первый поэт его царствования был назван «невольником чести». К императору Николаю тоже приложимы эти слова.

Он был убеждён: всё, что бы он ни совершал, он совершает для блага России. Он почитал себя бичом Провидения, орудием Божьей воли и не сомневался в том, что его собственные стремления всегда согласны с высшими интересами вверенной его попечению страны. Здесь смолкало всё личное и «слишком человеческое»: долг был превыше всего. Он полагал, что, если хоть раз отступит от своих царских обязанностей, это будет началом конца. Он знал, что его система не терпит потачек: стоит только хоть в чём-то дать слабину — и всё кончится крахом. Он повесил пятерых и четверть века спустя чуть было не расстрелял ещё два десятка не слишком опасных для отечества лиц не потому, что был злобен, мстителен или жестокосерд. Он, как выразился бы при сем случае один из проходивших по делу, «не старушонку зарезал»: надо было соблюсти принцип, в истинности которого он не мог сомневаться.



Граф Алексей Андреевич Аракчеев.
С портрета, написанного Доу

Он любил ссылаться на букву закона.

В 1827 году уже отставленный от всех своих должностей граф А.А. Аракчеев позволил себе солгать в одном щекотливом и касающемся покойного императора Александра деле. Устрашённый последствиями открывшейся лжи, некогда всесильный временщик воззвал к новому монарху о снисхождении. Он пишет царю, что его терзает мысль об императорском гневе и он опасается, что «оный гнев меня ускорит к смерти». Николай ответил в немногих строках, что такие страхи излишни: «Там где есть законы, там и защита каждому; мое же дело: смотреть за соблюдением их без лицеприятий, но с должною справедливостию»*.

Он отводит себе скромную, но почётную роль — правоохранителя и законоблюстителя. Он как бы даёт понять, что там, где существует закон, лично от него почти ничего не зависит.

---

* *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый... Т. II. С. 58–59.



Император Николай Павлович и герцог Лейхтенбергский. С литографии того времени

В деле петрашевцев он повёл себя именно таким образом. Однако благодаря исключительно его личной воле они были преданы военному суду. Сам этот акт мог бы подсказать подсудимым характер грядущей кары. Две смертные казни — одна натуральная, другая — бутафорская, но от этого не менее ужасная для казнимых, открывают и завершают собой это царствование, на исходе которого он, как сказано, не мог не почувствовать скуки, одиночества и пустоты.

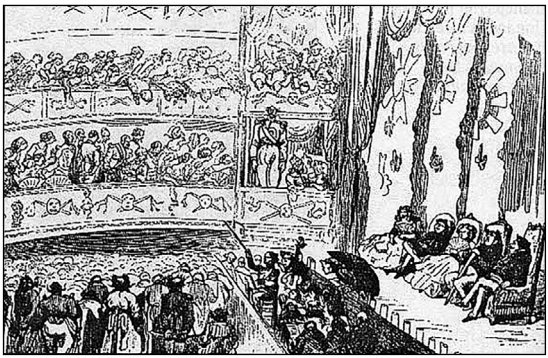
Что же стяжал он в конце?

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, —
Все было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Можно подумать, что эти стихи сочинил страдающий разливами гражданской желчи Некрасов или, на худой конец, мрачно веселящийся Добролюбов. Ничего подобного: они принадлежат всегда сдержанному и более чем благожелательному к монархии Фёдору Ивановичу Тютчеву.

Дочь поэта, Анна Фёдоровна*, фрейлина цесаревны, а затем императрицы Марии Александровны (жены Александра II) пишет в своих воспоминаниях: «...Надо признать, что в ту эпоху русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность. Он ещё сохранил весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто, лучше, как он, не был создан

* В день смерти императора она обедала у родителей «и застала их под очень сильным впечатлением». Первая реакция Ф.И. Тютчева несколько отличается от его поэтического резюме: «“Как будто нам объявили, что умер Бог”, — сказал отец со свойственной ему яркостью речи». (*Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. Тула, 1990. С. 127.) Предвосхищая, добавим, «формулу» Ницше.



Гюстав Доре. Николай I в театре

для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд, все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нём живым божеством, всемогущим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение в своём призвании»*.

Он поднимался обычно в семь часов утра, выпивал стакан мариенбадской воды и выходил на прогулку с пуделем. В Петергофе он шёл непременно смотреть на работы в парке. В десять часов начинались доклады министров. Если это случалось в Зимнем, он принимал их в большом кабинете с тремя столами и низкими шкафами вдоль стен. Он держал у себя под стеклянным колпаком каску и шпагу генерала Милорадовича: того, кто был сражен пулей Каховского 14 декабря на Сенатской. Он не любил балов и предпочитал танцевать только кадриль. Он работал по восемнадцать часов в сутки (на его старом мундире без эполет, в который он облачался во время своих домашних трудов, были протёрты локти — от долгих занятий за письменным столом), спал на тюфяке, набитом соломой, «ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга»**.

И всё это оказалось напрасным.

«Когда он узнал, — говорит об отце великая княгиня Ольга Николаевна, — что существуют границы даже для самодержавного монарха и что результаты тридцатилетних трудов и жертвенных усилий принесли только очень посредственные плоды, его восторг и рвение уступили место безграничной грусти. Но мужество устоять никогда

* *Тютчева А. Ф.* При дворе двух императоров. Тула, 1990. С. 46.
** Там же. С. 46–47.



Император Николай Павлович на ночных манёврах.
С литографии Шмидта, сделанной с рисунка Шварца

не оставляло его, он был слишком верующим, чтобы предаваться унынию, но он понял, как ничтожен человек»*.

Несомненно, государь искренне любил страну, в которой родился и истинную пользу которой всеми силами желал наблюдать. Он не цеплялся за абсолютную власть: она принадлежала ему по праву. Самодержавие почиталось им естественной скрепой всего народного бытия.

«В России ещё существует деспотизм, — заявил он господину де Кюстину, — ибо в нём самая суть моего правления; но он отвечает духу нации»**.

Он был откровенен с заезжим иностранцем, чем немало удивил проницательного маркиза. Трактуя о разных способах государственного устройства в их первой, казалось бы, сугубо протокольной беседе, император поразил французского путешественника рядом необычных суждений.

«Мне понятна республика, — молвил самодержавнейший из монархов, — это способ правления ясный и честный либо по крайней мере может быть таковым; мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него»***.

Его старший брат говорил, что он лучше отпустит бороду и уйдёт, как простой крестьянин, в леса, нежели положит оружие перед Наполеоном. Император Николай Павлович также готов противоборствовать до конца — «отступать до Китая». В конституционном прав-

* Сон юности. С. 81.
** *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1. С. 211.
*** Там же. С. 212.



Великий князь Николай Павлович

лении он видит такую же угрозу для нации, как Александр I — в нашествии иноплеменных.

Меж тем выясняется, что надёжнейший столп Священного союза и первый во всей Европе охранитель монархических начал был не чужд республиканских симпатий.

Та же великая княгиня Ольга Николаевна так передаёт слова своего державного родителя: «По убеждению я республиканец. Монарх я только по призванию. Господь возложил на меня эту обязанность и, покуда я её исполняю, я должен нести за неё ответственность»*.

Тут уместно вспомнить Карамзина, который, будучи неколебимо привержен основам русской исторической власти, лелеял в душе совсем иной идеал. Как и Николай, автор «Истории государства Российского» полагал, что республиканские установления хороши для Первого, но отнюдь не Третьего Рима (даже в том случае, когда Третий Рим потеснён новой «европейской» столицей) и что небрежение монархическими началами поведёт к гибели государства. Можно бы, конечно, именовать такое раздвоение национальной души русским ментальным парадоксом, если бы не трудности, проистекающие из необходимости объяснять, что тут имеется в виду.

С другой стороны, решительные попытки преодолеть эту пугающую дихотомию (то есть осуществить идеал во плоти) ведут к катаклизму, ставящему под вопрос само существование страны. Раскольников тоже не расчёл своих сил, пытаясь соединить теорию с жизнью.

В этом смысле император Николай, действуя, как принято говорить, в качестве тормоза исторического прогресса, выступает одновременно как ревнитель народного блага. Он исходит из национальной исторической практики. Его «теория» подкреплена суровым опытом предков. Он отнюдь не против республики: однако не здесь и не сейчас.

Итак, выбору подлежит отнюдь не хорошее или дурное: речь идёт о другом. Выбирать приходится между должным, необходимым, действующим применительно к случаю и — всем остальным. Это «остальное» *в принципе*, может быть, и достойно восхищения, но увы, не имеет шансов процвесть на просторах возлюбленного отечества.

Ибо заявлено: «Умом Россию не понять».

---

* Сон юности. С. 135.

Первыми на эту утешительную гипотезу посмели посягнуть декабристы. Попытка не удалась. (Как выразится тот же Тютчев: «Зима железная дохнула — и не осталось и следов».) Достоевский полагал, что она и не могла удаться. Воображая ближайшие последствия якобы завершившегося в Петербурге успехом переворота, он записал однажды «для себя»: «Освободили бы декабристы народ? Без сомнения нет. Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и все бы повалили за ними. Удивительно, как этого не постигли декабристы». То есть даже безусловная победа восстания в северной столице не означает победу в стране: козыри всё равно остаются в руках царствующей династии.

Но зачем тогда автор «Бедных людей» поспешает в Коломну?

Его холодность к блестящим утопическим проектам очевидна: он слабо верит в осуществимость хрустального рая. У него не может не вызвать усмешки (скорее не язвительной, а печальной) картина фаланстера, населённого дружелюбными соотечественниками: он слишком хорошо знает людей.. Нет также никаких указаний на то, что он желал бы изменить образ правления. Не только в позднейшие времена, когда столичные либералы станут потешаться над его «старческим недужным бредом», разумея под последним ежемесячный «Дневник писателя», но и тогда, в туманной юности, у него не возникает никаких демократических обольщений. В отличие от своего императора он никогда не будет уверять, что считает республику правлением «ясным и честным». И в то же время он хочет совокупить абсолютную монархию с царством духовной свободы: ему не терпится подвигнуть русского царя на этот рискованный путь. Дух утопизма не перебродит в нём никогда*.

Но каков же на самом деле был тот, на чьё царствование пришлись его первые тридцать три года**, по прошествии коих узник сподобился воскреснуть из мертвых: как выяснилось, для жизни вечной.

Инженеры человеческих душ

Ещё с послепушкинских времён в русском сознании укоренился образ холодного и казнелюбивого владыки. Само собой, сей властелин

---

* См. об этом подробнее в наших книгах: Последний год Достоевского. М., 1986, 1990, 1991, 2010, 2017; Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., 1998.

** Разумеется, включая в этот срок четыре последних александровых года, которые, по причине своего малолетства Достоевский, конечно, вряд ли мог помнить в качестве таковых..

ограничен в своих вкусах и привычках, не очень далёк и, разумеется, чужд просвещению. Последнее особенно ставилось императору в вину. «Остановили науку при Николае», — занесёт Достоевский в одну из своих записных тетрадей: он, конечно, имеет в виду 1848 год*.



Император Николай Павлович на охоте

Меж тем именно при Николае были отставлены Аракчеев, Рунич и Магницкий; процвела Румянцевская библиотека; открыты новые гимназии и училища; действовали Лобачевский и Пирогов. «Замечательное десятилетие» с его подземной и мощной духовной работой приходится на николаевские годы. Однако ощущение неподвижности и застоя, бессобытийности жизни, того, что «ничего не происходит», не покидает современников и передаётся потомкам.

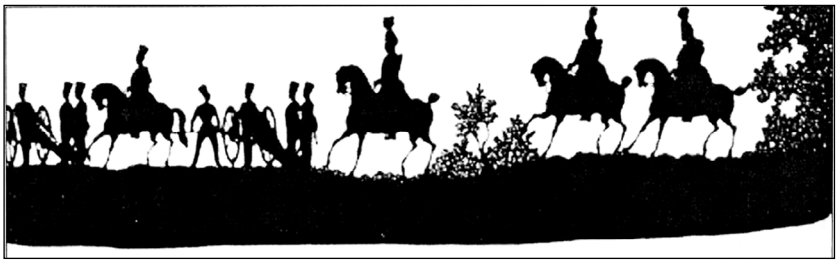
Кстати, в художественных текстах Достоевского практически нет упоминаний покойного государя. Пожалуй, единственное исключение — это «Подросток». Один из героев романа, Пётр Ипполитович, не без патриотической гордости повествует о том, как взыскательный император заметил на улице непорядок — наличие громадного камня.

«Ездил государь много раз, и каждый раз этот камень. Наконец, государю не понравилось, и действительно: целая гора, стоит гора на улице, портит улицу: “Чтоб не было камня”. Ну, сказал, чтоб не было — понимаете, что значит “чтоб не было”? Покойника-то помните?»

Покойника нельзя было не помнить — именно с этой, внушающей уважение стороны. Герцен не зря именовал его Незабвенным.

Характер государя налагает неизгладимый отпечаток на всё его царствование. «Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все, живущие в нем», — сказано в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова.

* К этому времени относится не только принятие экстраординарных мер по надзору за печатью — создание меншиковского, а затем бутурлинского («2-го апреля») комитетов, но и стеснительные нововведения в области университетского образования, академической жизни и т. д.



Ф.П. Толстой. Кадеты на манёврах

Эти слова берёт в качестве эпиграфа к своей книге «Россия в 1839 году» уже упомянутый выше маркиз Астольф де Кюстин. Он посещает страну ровно за десятилетие до событий, которые кончатся Семёновским плацем. Впрочем, в 1849-м здесь мало что изменилось.

«Российская империя, — заметит путешествующий маркиз, — это лагерная дисциплина (согласно другим переводам — «военный стан». — *И. В.*) вместо государственного устройства — это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества»*.

Что ж, Достоевского и его друзей будут судить по военно-полевому уставу. Недаром говорено, что «Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света».



Ф.П. Толстой. Автопортрет с семьёй, 1812. Барельеф. Воск

Будущий государь (которого в молодости, однако, вовсе не готовили для этой ответственной роли) взрастал в полном согласии с указанной препозицией. «Лучшею наградою для него было, — сообщает биограф великого князя, — когда воспитатель его Ламсдорф мог ему обещать свозить его в день парада на место развода»**. Созерцание экзерциций приводило его в полнейший восторг. Позже он никогда не оставлял попечений о своём многочисленном войске: тем горше окажутся для него первые неудачи Крымской войны.

Особое рвение выказывал юный великий князь в строительном деле — может быть, тоже следуя примеру того, кто за успехи на этом поприще был удостоен эпитета «чу-

* *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. I. С. 132.

** *Корсаков А.* Детство и отрочество Николая Павловича // Рус. мысль. 1896. № 6. С. 289.

дотворный». В детстве он обожал возводить фортификационные сооружения — даже при производстве работ, казалось бы, сугубо гражданских. «Когда Николай Павлович, — говорит М.А. Корф, — строил дачу для няни или гувернантки из стульев, земли или игрушек, то он никогда не забывал ***укрепить*** её пушками “для защиты”»*. Эти ребяческие забавы были высочайше поощрены: в 1817 году двадцатилетний великий князь назначается генерал-инспектором по инженерной части.



Ф.П. Толстой. Натурщик, 1805

«Мы, инженеры...» — любил говаривать государь.

Император был неплохим рисовальщиком и любил собственноручно вычерчивать планы флешей, редутов и крепостей. Его гневное вопрошение («Какой дурак это чертил?») на проекте представленной Достоевским крепости, которая по причине непростительной рассеянности проектировщика была начисто лишена крепостных ворот, есть не только реакция попечительного монарха, но и техническая претензия сведущего в настоящем деле лица**. Так что высочайший инженер мог «узнать» Достоевского ещё до появления «Бедных людей».

Дочь вице-президента Академии художеств графа Фёдора Петровича Толстого приводит в своих воспоминаниях замечательный эпизод.

Ее отец, знаменитый рисовальщик и медальер, однажды представил государю проект медали с изображением славянского воина — для коллекции в память 1812-го года. Внимательно рассмотрев рисунок, государь заметил:



Ф.Я. Толстой. Бой при Малом Ярославце в 1812 году

«— Послушай, Фёдор Петрович, воля твоя, а колено у твоего славянского воина повернуто неправильно!..

---

* *Корф М.А.* Материалы и черты к биографии Императора Николая I. СПб., 1896. С. 36.

** Этот случай, который, возможно, послужил причиной отставки Достоевского, не находит пока документального подтверждения. Подробнее см.: Родиться в России. С. 278, 355–359.

— Нет правильно, — с уверенностью отвечал папенька».

Чтобы доказать собственную правоту в этом эстетическом споре, государь изволил даже встать перед зеркалом в позу славянского воина.

«— Вот видишь от самого колена ты отвел ногу в сторону, а так она твердо стоять не может. Славянский воин манерничать, по-моему, не будет; он поставит ступню вот так...»

И не отрывая взгляда от зеркала, император начал двигать нижней конечностью, наглядно демонстрируя, как, по его убеждению, должен был выглядеть славянский воин. Засим Николай Павлович «присел к письменному столу и тут же на папенькином рисунке легонечко нарисовал карандашом ногу так, как ему казалось, что она будет стоять правильно».

Глубоко уязвлённый граф Фёдор Петрович, негодуя по причине того, что кто-то — пусть даже это будет сам государь! — вздумал учить его ремеслу («Да ещё рисуют на моем рисунке. Как это вежливо!»), отправился домой и заперся в кабинете. Там, раздевшись донага, граф начал принимать различные позы перед трюмо. Спустя некоторое время он смиренно потребовал у домашних баночку с лаком.

Император, увы, оказался прав. И безоговорочно признав его правоту, взыскательный художник вознамерился немедленно покрыть лаком царскую карандашную поправку — дабы в неприкосновенности донести её до восхищенного потомства.

Лаком, впрочем, покрывались все царские резолюции и пометы. С ненайденной (и, возможно, до сих пор покоящейся в архивах) высочайшей сентенцией относительно «дурака» было поступлено точно так же.

К любимому им вице-президенту Академии художеств Николай Павлович отнёсся куда снисходительнее, нежели к безвестному проектировщику крепостей. Роковое для Достоевского слово не было тут ни произнесено, ни «обессмерчено». «Скверную кличку дал мне государь», — якобы сказал будущий автор «Идиота». Прося об отставке, он, возможно, желал сохранить честь своей инженерной alma mater.

В Петропавловской крепости все ворота будут на месте.

Взойдя на престол, император не оставит заботами бывшее некогда под его управлением ведомство. И особенно — Михайловский замок, недолгое обиталище его убитого в этих стенах отца. Там нынче воспитывались юные военные инженеры.

Молчит неверный часовой.
Опущен молча мост подъемный...

— операция, как видим, потребовала некоторых инженерных усилий.

«Мы, инженеры...» Вспомнив позднейшую формулу, трактующую писателей нового времени в качестве инженеров человеческих душ и обратив эту явленную с державных высот метафору на нашего героя, мы могли бы — не без легкой постмодернистской усмешки — объявить его тяжбу с верховной властью предметом внутрикорпоративного спора.

В письмах к отцу, изъясняя причины, подвигнувшие его на покупку нового кивера, Достоевский устрашает родителя тем соображением, что старый казенный «мог бы броситься в глаза царю». Тем самым ненавязчиво даётся понять, что владелец кивера постоянно пребывает в поле зрения государя. Действительно, участвуя в парадах и смотрах, которыми нередко командовал сам император, юный кондуктор имел шанс привлечь внимание самодержца. Надо ли говорить, что и Достоевский при случае не мог оторвать от него глаз?

Красивейший мужчина Европы

Он видит его чуть ли не ежедневно, когда император объезжает военные лагеря под Петергофом, где проходят летнюю практику воспитанники военно-учебных заведений. По знаку государя будущие офицеры штурмуют Самсона: тем, кто сквозь бьющие струи фонтана первым достигнет верхней площадки, императрица собственноручно вручает призы. Достоевский, правда, в этих спортивных подвигах не замечен. Не могущий похвастаться ни выправкой, ни особой сноровкой, вряд ли он мог привлечь внимание тех, кто пока не подозревает о его грядущих литературных заслугах.



Император Николай Павлович

Вообще в Петергофе царь отечески надзирает за лагерной жизнью. «Его Величество, — говорит историограф Училища, — посетив раз кадетский лагерь, нашел, что кондукторы лежали в сырости и на совершенно мокрой соломе. Он приказал отправлять маленьких на ночь во дворец, а большим умывать по вечерам ноги водкою»*.

* *Максимовский М.С.* Исторический очерк развития Главного Инженерного Училища. СПб., 1869. I. С. 112.



Император Николай Павлович.
Гравюра с оригинала Ф. Крюгера

Насчёт возможного употребления названного лекарства вовнутрь историограф умалчивает.

Мало кому доводилось наблюдать государя с непарадной, можно даже сказать, демократической стороны. Облачившись в холщовую куртку кондуктора, Николай Павлович изволит возводить учебные укрепления вместе со своими несовершеннолетними подданными. (Опять как бы оживляя в себе дремлющий дух Петра.) И не был ли Достоевский свидетелем уже совершенно домашних царских забав? «Государь, — вспоминает один из счастливцев, — играл с нами; в расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух». Завидовал ли автор «Подростка» в свои восемнадцать лет совсем юным кадетам, позволявшим себе эти *царские* фамильярности? «Любовь к себе он (государь. — *И. В.*) умел вселять в детях...»* — заключает умилённый мемуарист.

С воспитанниками более зрелого возраста дело обстояло сложнее.

«Никогда не забуду того страха, — вспоминает другой очевидец, — который я испытал в минуту раздражения Государя после одного из учений, которое он делал в Петергофе отряду военно-учебных заведений». В поле за лагерем было грязно, стояло много обширнейших луж — и некоторые из воспитанников предпочитали не форсировать вброд эти водные преграды, а просто обойти лужу или перепрыгнуть через неё. Государю не понравились эти не предусмотренные уставом экзерсисы, и по окончании учения, он, «подойдя к нашей роте, начал кричать на нас». И что же? «В свою очередь мы были утомлены, голодны, а следственно, и нетерпеливы; двое или трое из нас довольно громко, в ответ на его брань, посылали по его адресу очень резкие эпитеты. Я думал, что если только он услышит, то беда нам всем неминучая; но, к счастью, он в пылу гнева не слыхал, и дело окончилось благополучно»**.

Решиться на подобную дерзость можно лишь в очень тесной мужской компании, будучи уверенным в том, что на тебя не донесут. Не

---

* *Жемчужников Л.М.* Мои воспоминания из прошлого. М., 1971. С. 38.

** Русский архив. 1907. Кн. 1. С. 383–384.

станем усматривать в этом поступке скрытые политические мотивы. Ограничимся *безрассудной отвагой* : только в юности можно так рисковать головой.

Император умел внушать любовь, трепет и страх..

Сохранилось принадлежащее соотечественнику описание государя. Оно относится к 1828 году: то есть на десятилетие раньше того времени, когда Николая впервые увидели Достоевский и маркиз де Кюстин.



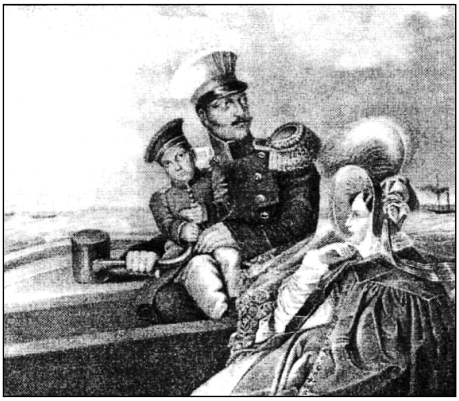
Граф А.Х. Бенкендорф

«Император Николай Павлович, — говорит наблюдатель, — был тогда 32-х лет; высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой». После этого перечисления, более напоминающего *описание примет*, является попытка портрета. «Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости. Свежесть лица и все в нём выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностию. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии»*.

В свою очередь граф Александр Христофорович Бенкендорф называет наружность Николая бесподобной. Он восхищается также его прекрасной посадкой и «серьёзною степенностью», с какой император имел обыкновение командовать войсками. Шеф жандармов полагает, что русский царь — красивейший мужчина во всей Европе.

Государь, внимательно читавший записки Бенкендорфа и придирчиво отметивший на полях многие ошибки и неточности, никак не изволил отозваться на эти уверения друга. Он не стал в угоду ложно понятой скромности противоречить общей молве. Маркиз де Кюстин с удовольствием говорит о его «великолепном челе», о властном, исполненном значения голосе (очевидно, с годами государь избавится от тенорских нот и скороговорки) и, наконец, о его магнетическом

* Записки Иосифа Петровича Дубецкого // Русская старина. 1895. Т. 83. С. 106.



Император Николай I, императрица Александра Фёдоровна и великий князь Константин Николаевич. С литографии

взгляде. В отличие от шефа жандармов у автора записок нет оснований для лести.

Молодой Достоевский, имевший в зрелые годы неосторожность заметить, что мир спасёт красота, должен был с жадностью вглядываться в черты этого человека. Она символизировала могущество и обаяние власти. Скажутся ли эти впечатления в его романической прозе? Заметим пока, что образы его красавцев-мужчин почти всегда имеют несколько оттал-

кивающий характер.

Впрочем, в каждом портрете сказывается судьба портретиста. Можно поэтому понять и автора «Былого и дум». Он скажет про «этот острог, перед которым шагал двадцать восьмой год (речь идёт о 1853-м. — *И. В.*), в своих ботфортах, свирепый часовой со "свинцовыми пулями" вместо глаз, с назад бегущим малайским лбом и звериными челюстями, выдающимися вперед!»[*] «Свирепый часовой», — клеймит императора Герцен. «Папá стоял, как часовой на своём посту», — восхищается августейшая дочь[**]. Справедливо ли винить наблюдателей в том, что они обладают разным устройством зрения?

Внешность императора Николая была для России серьёзным политическим капиталом. Благородство черт как бы намекало на благородство поступков. О рыцарственности царя, имевшего все основания в 1829 году взять Стамбул, но остановившего свои армии в Адрианополе, не упоминал только ленивый. (Даром, что Секретная комиссия, высочайше учреждённая именно для настоящего случая, пришла к заключению о невыгоде для России полного исчезновения Блистательной Порты.) Не сопряжённый ни с какими дальнейшими выгодами добровольный отход в 1833 году русских войск из Проливов также призван был доказать умеренность императора Николая, который даже в самых искусительных положениях всегда умел властвовать собой.

---

[*] Десятилетие Вольной русской типографии в Лондоне. Сборник её первых листов. Лондон, 1863. С. VI.

[**] Сон юности. С. 74.

Читая записки Бенкендорфа, государь никак не отозвался и на игривый пассаж, касающийся его визита к якобы страстно добивавшейся этой встречи княгине Меттерних, супруге фактического правителя Австрийской империи. Опасаясь «остаться наедине с прелестнейшею женщиною, самым обворожительным образом предавшеюся увлечению своей радости», государь взял с собой автора записок. «Оказалось, — продолжает наблюдательный граф, — что и она, движимая, вероятно, тем же страхом уединенной беседы с красивейшим мужчиною в Европе, вооружилась против него присутствием двух замужних своих падчериц». Вследствие принятия этих взаимных оборонительных мер чистота русско-австрийского союза не была подвергнута опасному испытанию.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних...

«Свидание, — заключает Бенкендорф, — было чрезвычайно любезно с обеих сторон, но несколько принужденно»*.

Повествователь не может не отдать должное государственной деликатности императора Николая, который, являя собой поразительный контраст с австрийским императором Фердинандом («слабенькое существо, тщедушное телом и духом, какой-то призрак монарха»), ни разу не позволил себе обнаружить своё превосходство. Бенкендорф именует союзного монарха «высшей ничтожностию», который «как бы вообще не существовал»: даже принимая гостей, он «скорее походил на мебель, чем на хозяина». При этом в силу своей умственной ограниченности глава Австрийской (ещё недавно — Священной Римской) империи не мог совладать с предметом простейшего разговора. Разумеется, он не чета своему российскому собрату — не только прирожденному властелину, но и любезному, хорошо воспитанному собеседнику, который способен по достоинству оценить тех, кто оказывается перед ним. (О чём, добавим, мог бы свидетельствовать и его отзыв о Пушкине после их первого свидания — как об умнейшем человеке в России.)

Правда, Бенкендорф дарит своим партнёрам по Священному союзу один исторический комплимент. Он особенно знаменателен в устах российского министра, отвечающего за порядок и тишину в государстве.

«Но тем благороднее и величественнее, — пишет граф, — было зрелище, даваемое свету австрийскою нациею и управляющими ею

* Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый... Т. II. С. 718.

министрами. Все благоговело перед троном, почти праздным, все соединилось вокруг власти, представлявшей один призрак монарха». Все части управления и все начальства строго следовали по предначертанному им пути; истинная власть была сосредоточена в руках нескольких министров; все про это знали «и все, однако же, скрывали это от самих себя, делая вид, что повинуются только воле императора»[*].

Это — торжество самого принципа легитимизма, который независимо от личных качеств монарха направляет весь ход государственной машины. Однако император Николай Павлович не нуждается в такого рода уловках. Он не только царствует, но и — в чём может не сомневаться никто — управляет. Он вмешивается буквально во всё; он входит во все подробности и детали; ни одна мелочь не может ускользнуть от его царственного взора. Без его участия невозможна та драма, в которой заняты Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский. При этом сам он — как бы внесценический персонаж: грозный призрак, готовый явиться из-за кулис. Возникая, как бог из машины, он резко меняет мерное течение пьесы. Ему нравятся эти внезапные наезды: приехать, нагнать страху, наказать, а там — может быть, и помиловать. Он не забывает о миссии воспитателя и социального педагога. Возможно, он и разрешил «Ревизора» только потому, что ему пришлась по душе финальная сцена.

Он любит неожиданные развязки: казнь на Семёновском плацу относится к их числу.

Он может ранним утром заехать в правительствующий сенат и, не обнаружив в присутствии никого из сенаторов, громко заметить: «Это кабак». «Уходя, — говорит единственный свидетель этого высочайшего посещения, — он поручил мне передать моим сотоварищам сенаторам, что он был у них с визитом, но никого не застал»[**]. Выехав в Новгород для осмотра гренадёрских полков, он вдруг резко меняет маршрут, чтобы через тридцать четыре часа появиться в кремлевском дворце — к вящему изумлению москвичей. «Все были в восторге и удивлении, — говорит, как всегда, сопутствовавший императору Бенкендорф. — На дворцовой площади (в Кремле. — *И. В.*) происходило такое волнение, что можно было бы принять его за бунт, если бы на всех лицах не изображалось благоговения и радости, свидетельствовавших напротив о народном мнении»[***].

---

[*] *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый... Т. II. С. 711.

[**] Если верить другому источнику, высочайший урок, преподанный сенату, «сделал полезную электризацию парализованному».

[***] «Северная пчела» живописует один из царских визитов в первопрестольную: «Народ радостно зашумел, стеснился, не давал дороги, ловил руки Государя

«В России единственный дозволенный шум — суть крики восхищения», — замечает Кюстин.

Весной 1849 года Плещеев, как помним, скажет в своём, адресованном Достоевскому, письме о холодности москвичей к царской фамилии и двору. Правда, это уже закат царствования: нет былого энтузиазма, и апатия как бы разлита в воздухе.

Мальчишки позволяют себе в строю послать императора — очевидно, в выражениях непечатных. Ястржембский на вечерах в Коломне открыто именует его богдыханом, Момбелли в дневнике называет государя зверем, извергом и антихристом. Частная жизнь обладает некоторыми степенями свободы.

Но в любой момент в неё может вторгнуться государство.

С неменьшим основанием, чем Людовик XIV, Николай мог бы утверждать: государство — это я.

Ревнивец маркиз, или Невинность по исторической части

«...Нельзя быть более императором, чем он», — замечает о Николае маркиз де Кюстин.

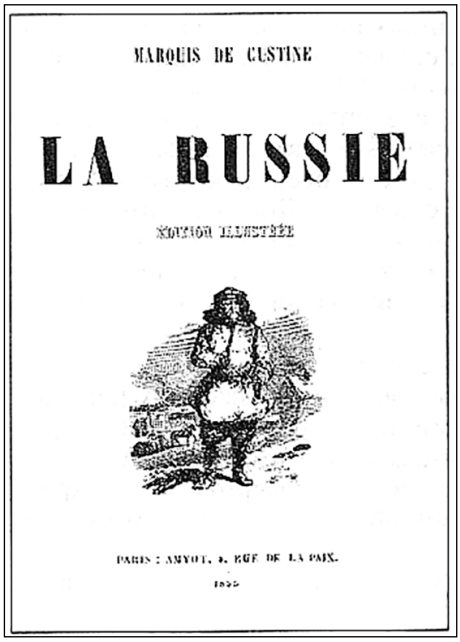
Маркиз не скрывает, что русский царь произвёл на него чрезвычайное впечатление. Он говорит о постоянном выражении «суровой озабоченности» на лице императора и указывает на отсутствие добродушия в его чертах, что, по мнению автора, «изъян не врожденный, но благоприобретенный». «Впрочем, — добавляет Кюстин, — порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображённое этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе».



Маркиз Астольф де Кюстин. 1846 г.

Об *античной* красоте государя, классической правильности его черт, говорят, как мы убедились, едва ли не все очевидцы. И если российских подданных, как сказано, ещё можно заподозрить в патриотической лести, иностранцы отдают дань Николаю вполне бескорыстно.

и целовал, восхищенный любовью и веселостью, какие видны были на лице монарха. ...В один из выездов Государя... народ тесно окружил сани Государя. — "Перестаньте, уроните!" — говорил Государь ласково народу. — "Нет, нет, батюшка: русские не уронят своего Государя", — восклицал народ...» (Северная пчела. 1830. № 39. 1 апреля. Прибавление).


MARQUIS DE CUSTINE

LA RUSSIE

PARIS : AMYOT, 8, RUE DE LA PAIX.

Одно из изданий книги маркиза А. де Кюстина

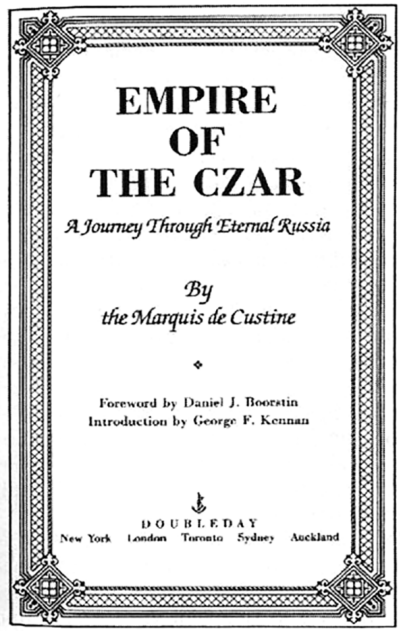
«У императора греческий профиль, — продолжает Кюстин, — высокий лоб, слегка приплюснутый сзади, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлиненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нём скорее немца, чем славянина».

Кюстин восхищается внешностью императора многократно, неустанно, подробно. Он замечает, какой наряд венценосцу больше к лицу («В парадном мундире алого цвета император особенно красив».) Те, кто осведомлён об интимных предпочтеньях маркиза, готовы усмотреть в таковых описаниях сугубо прикладной смысл. Тем паче, что Кюстин невысокого мнения о русских женщинах, в особенности о простолюдинках, которые, как он полагает, «на удивление уродливы и до отвращения нечистоплотны». Он говорит, что ни разу не встречал на улице женщины, которая бы привлекла его взор. «Странно подумать, что именно они — жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами, с греческим профилем (оказывается, «греческий профиль» присущ не одному лишь императору Николаю! — *И.В.*), так изящно и гибко сложенных, как видишь это даже в низших классах русской нации». Впрочем, трактуя о том, что привлекательные мужчины встречаются в России чаще, чем интересные женщины, Кюстин присовокупляет, что это «отнюдь не мешает обнаружить и среди мужчин множество плоских, лишенных выражения физиономий»*. Уж не столковался ли он с автором «Философических писем», горько сетующего на извечную «немоту наших лиц».

И тут на сцену вновь выступает наш старый знакомец — Борис Парамонов. Разумеется, такой автор, как Кюстин, вызывает у него глубокий творческий интерес.

* *Кюстин А.* Россия в 1839 году. Т. I. С. 161–239.

Б. Парамонов цитирует один французский источник, согласно которому в ночь на 28 октября 1824 года маркиз был найден без сознания, избитым, раздетым до пояса на дороге из Версаля в Сен-Дени. У него оказались сломаны пальцы, с которых исчезли кольца. «Это сделала с ним компания солдат, с одним из которых, предположительно, Кюстин пытался устроить свидание»*.


EMPIRE
OF
THE CZAR
A Journey Through Eternal Russia
By
the Marquis de Custine
Foreword by Daniel J. Boorstin
Introduction by George F. Kennan
DOUBLEDAY
New York London Toronto Sydney Auckland

Английское издание книги А. де Кюстина

Отсюда, полагает Б. Парамонов, в душе несчастного маркиза навеки поселился смешанный с вожделением страх перед мундиром. Вот почему отважный путешественник трепещет вблизи императора Николая. И вообще, «Россия у Кюстина — это метафора ***половой*** несвободы», а его пресловутая книга — не более чем «фантазия гомосексуалиста». И если маркиз попросту без ума от императора Николая, то невозможность обладания предметом возбуждает в нём политическую желчь. «Можно сказать, что недовольство Кюстина Россией — это обыкновеннейшая ревность влюбленного, которому предпочли другого (другую)».

Итак, не принадлежи маркиз де Кюстин к сексуальным меньшинствам, его оценки страны посещения носили бы куда более тёплый характер. В этой связи стоило бы повнимательнее приглядеться к тем иностранцам, которые опрометчиво позволяли себе нелестные суждения о России. Их, может быть, тоже страшила вовсе не императорская цензура как таковая, а «образ цензуры, налагаемый культурой на чувственную вседозволенность». «Именно об этой цензуре, — заключает Б. Парамонов, — всё время ведётся речь у Кюстина, а не об отсутствии в России 1839 года свободы слова и прочих гражданских прав»**.

Думается, такая гипотеза полностью бы устроила императора Николая.

---

* Цит. по: *Парамонов Б.* Маркиз де Кюстин: интродукция к сексуальной истории коммунизма // Знамя. 1995. № 2. С. 183.

** Там же. С. 185.



Император Николай I

Тем более, что как бы в компенсацию за ущерб, нанесённый им женщинам из народа, Кюстин весьма благожелателен к дамам русского императорского семейства. В первую очередь — к императрице (урождённой прусской принцессе), которая буквально покоряет его своим обаянием, любезностью и умом. Но одновременно внушает и некоторую скорбь.

Описывая императрицу Александру Фёдоровну, Кюстин старается всячески подчеркнуть её телесную немощь: хрупкость, прозрачность, угрожающую худобу, явно выраженную возможность чахотки. Преисполненный горестного сочувствия, автор записок не исключает, что жена императора имеет шанс отправиться в мир иной ранее своего августейшего супруга.

От внимания Б. Парамонова не может укрыться этот тонкий намек. Со свойственной ему проницательностью он утверждает, что императрица абсолютно здорова. И что Кюстин упирает на её болезненное состояние с единственной и вполне извинительной целью. Ведь сказано, что маркиз неравнодушен к мужу псевдобольной. Кюстин, оказывается, втайне сам жаждет обладать красивейшим мужчиной Европы. Поэтому в мрачных глубинах его подсознания бродит коварная, хотя по-своему и остроумная, мысль. Он стремится устранить нежелательную, но могущественную соперницу. Маркиз мобилизует для этого все силы своего воображения: так в Александру Фёдоровну вселяется смертоносная болезнь.

«Только совершенной невинностью Б. Парамонова по исторической части можно объяснить его трактовку этого сюжета...» — меланхолически замечают современные комментаторы записок маркиза, попутно приводя бесспорные свидетельства серьёзной болезни императрицы*.

* См.: *Кюстин А.* Россия в 1839 году. Т. I. С. 465. Комментарии В. Мильчиной и А. Осповата.



Увеселение помещика.
Иллюстрация к книге А. де Кюстина

Надо отдать должное Б. Парамонову: в качестве *знатока* он совершенно неуязвим. В той области, где он с такой эффективностью подвизался и которую можно было бы условно назвать сексуальной культурологией, он действует сокрушительно. Он объясняет всё сущее, исходя из некоторого универсального подозрения. Или, как сказал бы Достоевский, из идеи, попавшей на улицу, которая (то есть идея) сделалась своего рода шпаргалкой для доверчивых школяров. «Невинность по исторической части» является здесь необходимым условием жанра. И если автор «Подростка» (чьё отдающее педофилией название должно было бы крепко насторожить Парамонова) наделяется тайным влечением к роковому красавцу Спешневу, что мешает маркизу де Кюстину, легитимисту и преданному стороннику Бурбонов, усмотреть в русской законной монархине узурпаторшу его заветнейших прав*?

«Папá после шести лет брака был влюблен в Мамá, — говорит их дочь, — любил видеть её нарядно одетой и заботился о самых мелочах её туалета. Мамá тотчас же соглашалась с ним, и Папá, немного смущенный и сконфуженный, усиливал свою нежность к ней»**.

В 1837-м английская «Таймс» позволяет заметить, что русский император, который «долгое время был образцом супружеской верности, ныне явно пренебрегает женой». Кюстин в свою очередь упоминает про «тайные любовные похождения», которые злые

---

* Осмелимся предложить ещё несколько сюжетов для размышлений в избранном Б. Парамоновым направлении. Например: не убирает ли Пётр Степанович Верховенский (в отличие от А. Кюстина — не мысленно, а буквально) своих потенциальных соперниц — Лизавету Тушину и Марью Лебядкину, — чтобы безраздельно завладеть красавцем-аристократом Ставрогиным, к которому малопривлекательный демократ Петруша явно неравнодушен. И затем: не кажется ли несколько подозрительной привязанность государя к А.Х. Бенкендорфу, который не только чрезвычайно обласкан монархом (чьей красотой генерал так искренне восхищался), но и неизменно приглашаем в императорскую коляску во время долгих поездок и продолжительных «отрывов» императора от семьи. Полагаем, можно было бы с блеском развить эти скромные наблюдения.

** Сон юности. С. 36.

языки приписывают царствующему монарху. «Злые языки» особенно развяжутся после кончины государя.

В 1855 году девятнадцатилетний Н.А. Добролюбов сочиняет (разумеется, для внутреннего употребления — рукописной газеты «Слухи») статью под названием «Разврат Николая и его приближенных любимцев». Предмет описан со стороны: это воистину *слухи*.

Николай, говорит Добролюбов, пользовался репутацией неистового рушителя девических невинностей. «Обыкновенно порядок был такой: брали девушку знатной фамилии во фрейлины, употребляли её для услуги благочестивейшего, самодержавного государя нашего, и затем императрица Александра начинала сватать обесчещенную девушку за кого-нибудь из придворных женихов». Что нередко влекло разочарование мужей, «не нашедших в жене того, что они ожидали».

Юный автор статьи даёт разыграться своему разночинскому воображению. Он плохо представляет себе строгий этикет николаевского двора. Впрочем, государь действительно не был безупречен.

Пушкин полушутливо назидает жену, чтобы она не кокетничала с царём, который по причине её жестокости «завел себе гарем из театральных воспитанниц». Эти слова есть в большей мере семейственный юмор, нежели свидетельство исторического порядка. Ещё менее последнее относимо к рассуждениям иностранцев.

«Царь, — утверждает один из них, — самодержец в своих любовных историях: если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особа, привлекшая внимание божества, попадает под наблюдение. Предупреждают супруга или родителей о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением благодарности. (Драматическая судьба актрисы Варвары Асенковой опровергает это безапелляционное утверждение. — *И. В.*) Равным образом нет ещё примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекли прибыли из своего бесчестья».

Все эти занимательные подробности сильно преувеличены. (Описанная методика скорее будет применяться лет через сто.) Хотя, повторяем, император не был святым: достоверно известно о его достаточно длительных связях*. При этом нельзя сомневаться в том,

* А.Ф. Тютчева записывает на следующий день после кончины императора: «В то время, как мы шаг за шагом следили за драмой этой ночи агонии, я вдруг увидела, что в вестибюле появилась несчастная Нелидова. Проходя, она задела меня, схватила за руку и судорожно потрясла. «Une belle nuit, m-lle Tutcheff, une belle nuit» («Прекрасная ночь, м-ль Тютчева, прекрасная ночь». — *И. В.*), — сказала она хрип-

что Достоевский был, в общем, осведомлён об этой стороне жизни императорского двора. Весьма убедительной представляется версия, согласно которой в образе князя Петра Валковского сказались черты князя Петра Волконского, министра императорского двора и уделов. Именно он был «признанным устроителем романов государя». П.А. Вяземский называет его «Перекусихиной нашего времени».

Князь Валковский просит Наташу Ихменеву принять десять тысяч рублей от некоего графа N., чьи могущество и щедрость всячески подчёркиваются в романе. «Низкий и грубый, — сказано о Валковском, — он не раз подслуживался графу N., сластолюбивому старику, в некого рода делах». Трудно оспорить мнение, что в таинственном графе N. «Униженных и оскорбленных» заключён «осторожный намек» на императора Николая*.

Но этот намек, возможно, присутствует и в другом романе.

Не припомним, мелькала ли в обширнейшей литературе о Достоевском мысль, что не только Спешнев, но и император Николай — тоже один из прототипов Ставрогина (своего рода альянс *трёх Николаев*). Но если даже это нам померещилось, следует обсудить такую гипотезу. Она не так безумна, как кажется.

«Император пленил меня»

Действительно: преувеличенная, невозмутимая, *неживая* красота Ставрогина как бы корреспондирует с выражением холодного величия, которое, по отзывам современников, наиболее характерно для лица государя. Это маска, личина, лярва: результат прилежных актёрских усилий.

Кюстин говорит, что лицо императора Николая «становится холодным и застывает» из-за постоянной привычки сдерживать

лым голосом. Видно было, что она не сознаёт своих слов, что безумие отчаянно овладело её бедной головой. Только теперь, при виде её, я поняла смысл неопределённых слухов, ходивших во дворце по поводу отношений, существовавших между императором и этой красивой женщиной, отношений, которые особенно для нас, молодых девушек, были прикрыты с внешней стороны самыми строгими приличиями и полной тайной». Далее автор дневника говорит, что «императрица с той ангельской добротой, которая является отличительной чертой её характера, вспомнила в эту минуту про бедное женское сердце, страдавшее если не так законно, то не менее жестоко», и сказала умирающему, что «Варенька Нелидова» хотела бы проститься с ним. «Император понял и сказал: “Нет, дорогая, я не должен больше её видеть, ты ей скажешь, что я прошу меня простить, что я за неё молился и прошу её молиться за меня”». (*Тютчева А.Ф.* При дворе двух императоров. С. 121–122.)

* См.: *Назиров Р.Г.* О некоторых прототипах персонажей Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 1. 1974. С. 202–206.



Император Николай Павлович.
С литографии

свои страсти. Но чем же, как не сдерживанием страстей занят денно и нощно Николай Всеволодович Ставрогин, не ответивший даже на оскорбление действием и принудивший себя после нанесённой ему пощечины убрать руки за спину? Эта самовоспитательная и не лишённая элементов мазохизма методика приносит плоды. Соединённая с демонической внешностью героя, она подчиняет ему людей и заставляет их взирать на него едва ли не с обожанием.

«...Признаюсь, император пленил меня! — восклицает Кюстин. — ... Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным...» Тем более, добавим, когда она сопряжена с тайной, каковой в случае с Николаем Павловичем является власть, а в случае с Николаем Всеволодовичем — вся биография героя. Последний, пожалуй, согласился бы с маркизом Кюстином: «Заставить другого восхищаться собой — один из способов держать его в повиновении». И у царя, и у гражданина кантона Ури есть одна объединяющая их черта: театральность поведения. И у царя, и у гражданина кантона Ури есть одна объединяющая их черта: театральность поведения.

«Император настолько вошел в свою роль, — замечает Кюстин, — что престол для него — то же, что сцена для великого актера».

Император вошёл в свою роль; он, как замечено по другому поводу Достоевским, «самосочиняется». Но не обладает ли даром лицедейства и тот, кого Пётр Верховенский воображает в образе Иванацаревича?

«Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин», — восклицает Петруша.

При внешней невозмутимости и Николай Павлович, и Николай Всеволодович пребывают в постоянном внутреннем напряжении. «Видно, — продолжает Кюстин, — что император ни на мгновение не может забыть, кто он и какое внимание привлекает; он постоянно



Александр Иванович Полежаев

позирует и, следственно, никогда не бывает естественен...». При этом, когда глаза императора улыбаются, губы остаются неподвижны, и соответственно наоборот. «...Это несовпадение выдает постоянную принужденность, которой вовсе не было видно в лице его брата Александра, быть может, менее правильном, но куда более располагающем». (Кюстину приходится верить: будучи помощником Талейрана на Венском конгрессе в 1815 году, он имел возможность близко наблюдать победителя Наполеона.) Возможно, непринуждённость Александра проистекала и оттого, что его с младых ногтей готовили к трону и ни в каком ином качестве он себя просто не мыслил, хотя и выказывал порой робкую мечту отказаться от обременительной ноши и предаться тихим семейным радостям на берегах Рейна. Николай же занял трон способом достаточно экстравагантным. Он вынужден — тут мы не согласимся с А.Ф. Тютчевой — всё время подтверждать (в том числе, при помощи «мимики и жеста») свои императорские права.

Три основных выражения подмечает маркиз на лице русского царя. Это суровость, торжественность и — когда надо расположить собеседника — восхитительная любезность. Причём каждое из этих выражений исчезает внезапно, не оставляя после себя никаких следов. «На моих глазах без всякой подготовки происходит смена декораций; кажется, будто самодержец надевает маску, которую в любое мгновение может снять... император всегда играет роль, причём играет с великим мастерством»*.

Ты был не царь, а лицедей.

Пушкин, настойчиво рекомендовавший государю везде и во всём быть подобным великому пращуру, очевидно, полагал, что сам играемый «текст» окажет могущественное воздействие на характер и дух самодержца. И что «милость к падшим» будет, наконец, излита.

Нет! Он с подданными мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;

* *Кюстин А.* Россия в 1839 году. Т. I. С. 178.



Петербург. Сенная площадь. Литография. 50-е гг. XIX в.

И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Николай тоже порой целует своих недоброжелателей. Однако это вовсе не означает, что он простил их.

В 1826 году, в Москве, к нему доставляют студента Московского университета Александра Полежаева. В присутствии министра народного просвещения А.С. Шишкова* (дабы продемонстрировать адмиралу, чему научаются в подведомственных ему заведениях молодые люди) доставленному было велено прочитать вслух его поэму «Сашка».

«— Что скажете? — спросил Николай Павлович по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату, это все ещё следы... последние остатки... Я их искореню!»

Благо, что Пушкину не было велено при первом свидании с государем прочитать вслух ещё неизвестную царю «Гавриилиаду»: судьба поэта могла бы сложиться по-иному**. Полежаев был отдан в солдаты

* Адмирал А.С. Шишков, некогда литературный противник Карамзина, глава партии «шишковистов», был автором знаменитых царских манифестов 1812 года. Современники шутили, что для того, чтобы возбудить красноречие Шишкова, должно было сгореть Москве. Пушкин почтил его бюст двустишием:

Сей старец дорог нам: он блещет средь народа
Священной памятью двенадцатого года.

** Прощение Пушкина и «закрытие» дела после признания поэта в авторстве «Гавриилиады» (это признание, впрочем, было доверено только императору — в личном письме) явилось актом неслыханной милости. Николай прекрасно понимал, что в настоящем случае он нарушает букву закона, и Пушкин, который тоже не мог этого не понимать, должен чувствовать себя глубоко обязанным. Государь вообще, склонен проявлять милость только там, где это диктуется соображениями политической целесообразности. В том же 1828 году (когда разгоралась история с «Гавриилиадой») Николай прощает запорожцев, некогда бежавших за Дунай и отдавшихся под покровительство султана, а после, в ходе русско-турецкой войны, воз-



А.М. Волков.
Сенная площадь.
60-е годы XIX в.

и погиб. Но перед тем ему было сказано: «Я тебе даю военной службой средство очиститься. От тебя зависит твоя судьба». После чего государь, «поцеловав его в лоб, отпустил»*.

Пётр целует подданного в уста; Николай — в лоб. Но в первом случае царский поцелуй означает прощение и примирение; во втором — это холодный сценический жест, лишь подчёркивающий тяжесть царской немилости. (Христос в поэме Ивана Карамазова целует Великого инквизитора в губы: поступок довольно загадочный. Алёшу Карамазова, повторившего это действие в отношении самого брата Ивана, тот обвиняет в литературном воровстве. Означает ли поцелуй Христа, что он *прощает* Великого инквизитора? Или, по меньшей мере, понимает его мотивы?)

Между тем император Николай знает свою аудиторию. И как всякий верящий в собственную планиду актёр, он решается на рискованные импровизации.

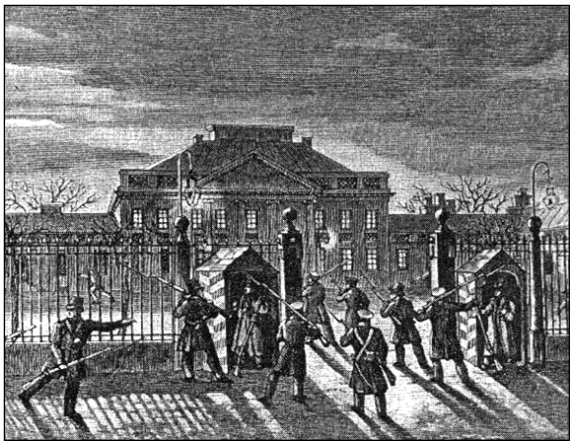
«Явилась условная честь»

Как было замечено, в романах Достоевского практически нет упоминаний императора Николая. Крайне редко встречается это имя и в его записных тетрадях. Правда, однажды Достоевскому представился случай высказаться публично.

25 мая 1880 года, в Москве, в ожидании пушкинских торжеств (открытие памятника поэту откладывалось из-за кончины императрицы) автора ещё неоконченных «Карамазовых» чествовали в ресторане «Эрмитаж». Это был первый (и, очевидно, последний) обед, нарочито устроенный в его честь. Присутствовала московская про-

намеривишихся вернуться под юрисдикцию России. (*Гладкий О.М.* Кошевой атаман Запорожской Сечи // Русская старина. 1861. Т. 30. С. 384.) Возвращение запорожцев отвечало стратегическим интересам России.

* Русский архив. 1881. Кн. 1. С. 338.



Польское восстание 1830 года.
Бельведор 17-го ноября 1830 года
С акватинты Дитриха

фессура — преимущественно либерального толка. Произносились лестные для гостя из Петербурга тосты. В ответном слове (которое, к сожалению, до нас не дошло) он, по некоторым сведениям, позволил себе процитировать слова императора Николая о Пушкине — как об умнейшем человеке России. «Сказано это было, — говорит современник, — очевидно, чтобы раздражить большинство присутствующих и насладиться их беспомощностью — невозможностью ответить на этот вызов»*.

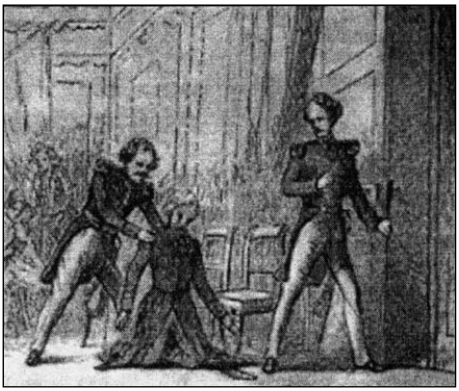
Конечно, в 1880 году имя монарха, царствование которого не отличалось свободой духа, звучит несколько одиозно для «интеллигентской среды». (Портрет Николая — что многим не могло не броситься в глаза — отсутствует на пушкинских торжествах.) Однако вряд ли Достоевский сознательно совершил ту общественную бестактность, которую пытаются ему приписать. Он отдаёт кесарю кесарево. Его отношение к человеку, столь необычным образом почтившему в нём «молодость и талант», тоже весьма необычно.

— Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка, — заметит Достоевскому один из его старых приятелей.

— Нет, — возразит бывший каторжанин, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ. — И добавит: может быть, «Самому Высшему» нужно было провести его через эти испытания.

«Однажды, — пишет И.С. Аксаков, — проезжая через Москву, Достоевский зашел к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче». Во время беседы Аксаковых посетил известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, хорошо

* *Тимирязев К.А.* Наука и демократия. М., 1920. С. 370.



В приёмной Бенкендорфа.
Иллюстрация А. Шенка из французского издания «Былого и думы» А.И. Герцена, 1860 г.

знающий русский язык и знакомый с русской литературой. Убедившись, что перед ним Достоевский, Мэкензи «загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Фёдора Михайловича о Николае Павловиче». Достоевский вскоре уехал. «Вы говорите, что это Достоевский? — спросил нас англичанин. — Да. — Автор "Мертвого дома"? — Именно он. — Не может быть. Ведь он был сослан на каторгу? — Был. Ну, что же? — Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? — Вам, иностранцам, это трудно понять, — отвечали мы, — а нам это понятно, как черта вполне национальная»*.

Нам уж приходилось комментировать этот текст:

«И.С. Аксаков ответил заморскому гостю как истинный славянофил. Думается, однако, что в данном случае для Достоевского была важна не столько славянофильская трактовка взаимоотношений русского государя с его подданными, сколько то обстоятельство, что император выступил в качестве "орудия провидения": исполнив, так сказать, волю рока, замысел самой судьбы»**.

Его занимает характер прошедшего царствования. И — характер самого императора Николая. В набросках к «Дневнику писателя» за 1876 год замечено: «Меж тем с исчезновением декабрист<ов> исчез как бы чистый элемент дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь. Явилась условная честь (Ростовцев) — явились поэты. <...> И, однако же, личность Николая».

Достоевский толкует об изменении морального климата, о некоторой нравственной деградации дворянства после «исчезновения» декабристов. Что означает в этом контексте «условная честь», для иллюстрации коей вдруг вспомянут Ростовцев? Разумеется ли здесь «условный донос», с которым накануне 14 декабря будущий генерал-адъютант поспешил явиться к будущему царю? «Благородный преда-

* Русь. 1881. 14 марта.
** *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. М., 1991. С. 363.

тель» надеялся подобным манером сохранить честь: вряд ли он согласился бы трактовать её как условную*.

Но, возможно, Достоевский имеет в виду сделанное ему Ростовцевым предложение: о нём уже говорилось выше. Купить себе свободу ценой выдачи других — разумеется, в рассуждении высшей государственной пользы — всё это соответствует формуле, которую употребил Достоевский. Но если предложение исходило от самого государя, распространима ли «условная честь» также и на него?

«Явились поэты», — продолжает Достоевский. Сказано иронично. Не имеется ли в виду: поэты условной чести? Кстати, Яков Иванович Ростовцев в молодости был не чужд стихотворства. И даже едва не сподобился напечатать свою элегию с характерным названием «Тоска души» в так и не вышедшей «Звездочке» — «малой версии» рылеевской «Полярной звезды».

Итак, после «изъятия» декабристов возобладал цинизм: вот сухой остаток николаевского царствования.

Между тем сам Николай был весьма щепетилен в вопросах чести. В 1829 году он получает известие о позорной сдаче фрегата «Рафаил», спустившего флаг при встрече с турецким флотом. Тут же издаётся указ, где выражается надежда, «что неустрашимый флот Черноморский, горя желанием смыть бесславие фрегата “Рафаил”, не оставит его в руках неприятеля». Однако этим задача не ограничивается. Ибо, продолжает император, когда корабль будет возвращён из плена, то почитая «фрегат сей недостойным носить флаг Российский», повелевается предать его огню. Почти через четверть века, во время синопского боя, злополучный фрегат, получивший турецкое имя «Фязли-аллах», будет зажжён по приказу адмирала Нахимова выстрелами с русского флагмана «Императрица Мария» — и взлетит на воздух «в виду всей русской эскадры»**.

Недаром после слов о цинизме у Достоевского следует фраза: «И однако же личность Николая...» То есть, по-видимому, надо понимать так: характер императора не вполне отвечает требованиям момента. Приуготовив почву для торжества бесчестья (или, если угодно, условной чести), сам Николай вовсе не является воплощением морального зла. Очевидно, Достоевский всё же отличает государя от того мертвящего фона, который не в последнюю очередь

* История с Ростовцевым напоминает воображаемый эпизод, который сконструировал Достоевский в разговоре с А.С. Суворины в 1880 году: знаменитая «сцена у магазина Дациаро». См. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. М., 2017. С. 188–191.

** *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый... С. 234.

возник благодаря его державным усилиям. И полагает, что пестуя ту политическую систему, законными плодами которой стало отсутствие чести и всеобщий цинизм, сам император не был ни циником, ни человеком бесчестным.

Таков один из парадоксов николаевского царствования. Задавлены малейшие признаки вольномыслия; похерены упования на возможность введения в России хотя бы самых умеренных политических свобод; установлено завидное единообразие всех форм государственной жизни. Подчинив всё и вся своей личной воле, Николай, на первый взгляд, сумел добиться *стабилизации*. Или, как сказал бы К. Леонтьев, «подморозить» Россию. Но чем незыблемее казалось его скучное царство, чем глубже загонялись вовнутрь хронические недуги, тем интенсивнее шло разложение и накапливался тот самый «потенциал распада», который явит себя при Александре II. «Личность Николая» — с его рыцарственностью, прямотой, культом закона и подчёркнутым благородством «античного профиля» была парадной ширмой для творившихся в стране беззаконий. В «империи фасадов» он сам был главным из них. Играя (и довольно успешно) роль всеведущего монарха, «замыкая» на себя все события жизни (от объявления войны до увольнения последнего прапорщика), император сам как бы оставался вовне: он был эмблемой, символом, знаком. Изъяв из общества «чистый элемент», он взял на себя функции единственного блюстителя чести, которая вдруг стала условной. И нужен был дуэльный выстрел на Чёрной речке или, положим, отказ автора «Двойника» *от сотрудничества*, чтобы отстоять её безусловный смысл.

Из главы 16 (Часть III)

«ДЕЛАЕТ УЖАСНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ...»

Смертный приговор (Попытка юридической экспертизы)

...В конце сентября дело, наконец, проследовало в следующую инстанцию.

Мятежников 1825 года (преимущественно — гвардейских офицеров) судил Верховный уголовный суд. Для производства суда над «апрелистами», между которыми, как уже говорилось, военных насчитывались единицы, высочайше учреждалась особая Военно-судная комиссия. Как и её предшественница, комиссия Следственная, она была смешанной по составу: три генерала делили бремя ответственности с тремя сенаторами. Председателем государь назначил В.А. Перовского (брата министра). Через тридцать два года его родная племянница махнёт на Екатерининском канале платком — и прекратит царствование.

Осенью 1849 года Россия ни с кем не воевала (Кавказ — не в счёт, ибо это относилось к категории дел *домашних*). Да если б даже и совершалась война, это ещё не означало бы отмену законов гражданских. Для петрашевцев, однако, было сделано исключение. Их судили на основании Свода Военных Постановлений. Иначе говоря — сугубо военным судом.

В связи с последним обстоятельством у некоторых членов суда зародились робкие недоумения юридического порядка. Но, как явствует из всеподданнейшего доклада военного министра князя А.И. Чернышева, сомнения эти были рассеяны с помощью довода, более приличествующего не русскому, но английскому уголовному

праву. А именно — ссылкой *на прецеденты*. После чего дело пошло как по маслу.



В.А. Перовский. Литография с оригинала Ф. Крюгера

Наступила осень; рано темнело; в крепости по утрам топили печи. Пошло второе полугодие их заключения. Укоряя своих судей в медлительности, они были не совсем справедливы: горы исписанной бумаги росли день ото дня. Да и кто, собственно, виноват в том, что для сидящих в одиночке и гуляющих на свободе время имеет обыкновение течь неодинаково?

Члены Военно-судной комиссии трудились не менее ревностно, чем господа следователи. Свет в квартире генерала Набокова не гас допоздна. Правда, самих обвиняемых беспокоили теперь гораздо реже: с ними и так всё уже было ясно. *Судоговорение* заключалось в том, что дело — разумеется, в отсутствие тех, кто был обвинён — читалось вслух. (Так как огласить весь текст оказалось немыслимым, ограничились специально составленными извлечениями.)

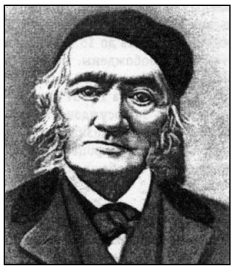
Этот титанический труд занял полтора месяца.

«Оказывается, нас судили!» — воскликнул в своё время один из декабристов, ни разу не вызванных в суд, но любезно приглашённых для выслушивания вердикта. Нынешние подсудимые были лишены даже и этой малости. О приговоре они впервые узнают в момент исполнения.

Из двадцати трёх человек, преданных суду, пятнадцать были приговорены к смертной казни расстрелянием, шесть — к более мягким исправительным мерам, один (Черносвитов) — оставлен «в сильном подозрении» и один приговор (над 19-летним Катеневым) отложен ввиду того, что обвиняемый подвергся «расстройству ума» и был отправлен в больницу Всех Скорбящих. (Долготерпеливый закон, как мы помним, так и не дождётся его выздоровления.)

Помнил ли 26-летний Дмитрий Ахшарумов (он-таки доживёт до 87 лет), взывая к милости государя ради заслуг своего отца, о том, что родитель его был в своё время прикосновен к сочинению того самого Свода Военных Постановлений, согласно которому сына его осудили ныне на смертную казнь?

В самом приговоре судьи тщательно поименуют статьи, на основании которых они вынесли своё резюме. Очевидно, никому из приговоренных (кроме, пожалуй, Петрашевского) не приходило



Шарль Фурье

позднее в голову обратиться к первоисточнику. Никто из них не получит на руки копию приговора. Они услышат его впервые на эшафоте — в виде неразборчивой аудиторской скороговорки, подхлёстываемой 20-градусным морозом.

В приговоре Достоевскому перечислены девять военно-уголовных статей. Взглянув на них трезвым ретроспективным взором, мы имеем возможность убедиться в том, что юридическое обоснование высшей меры, мягко говоря, не бесспорно.

Статьи 142, 144, 169 и 170, 172 трактуют: о богохулении; о злоумышлении «противу священной особы Государя Императора»; о недонесении относительно указанных действий — в случае, если злоумышленник «имел твердую волю и намерение» их произвести.

Что касается Достоевского, предварительное следствие не доказало его вины ни по одному из означенных пунктов.

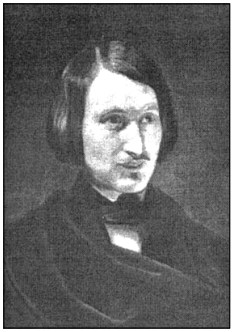
Письмо Белинского к Гоголю? Но в нём нет богохуления как такового (и даже дана высокая оценка личности Иисуса Христа); там лишь содержатся нелестные отзывы о православных попах и о религиозных чувствованиях народа. Нет, строго говоря, в письме и оскорбления величества — в том смысле, как понимает это закон. Зато высказывается неодобрение моральному состоянию отечества и общему ходу внутренних дел. Конечно, статья 174 предусматривает кару за издание письменных или печатных сочинений, «заключающих поносительные слова к личным качествам государя или к управлению государством». Однако чтение вслух частного письма только при очень развитом воображении можно почесть его *изданием*. И если даже допустить, что Достоевский действительно виновен во всех этих прегрешениях, на его счастье существует статья 171 (не упомянутая в приговоре!), которая предусматривает, что смертная казнь может быть назначена лишь тогда, «когда преступления сии по особой их важности предаются Верховному уголовному суду; когда же они судятся в *Военно-судных комиссиях в мирное время* (выделено нами. — *И. В.*), тогда определяются наказания, заменяющие смертную казнь». Для дворян таковой заменой является «лишение всех прав состояния, преломление над головами их чрез палача шпаги и ссылка в каторжную работу».

Но пойдём далее.

Статьи 177–178 трактуют о бунте или восстании «скопом и заговором», сопряжёнными «с вооружением войск и насильственными действиями, как-то: грабежом, убийством, зажигательством, взломом тюрем» и т. д. и т. п. Ни сам Достоевский, да и никто из его друзей

описанных ужасов не планировал и участия в них не принимал.

Для сравнения есть смысл обратиться к закону гражданскому. Так, Уложение о наказаниях содержит тоже не упомянутую в приговоре статью 297: имеющие у себя противоправительственные сочинения, но «не изобличенные в злоумышленном распространении оных» (а Достоевский категорически отрицал такое злоумышление) подвергаются «смотря по важности дела» аресту «на время от трех дней до трех недель или же токмо выговору в присутствии суда».



Н.В. Гоголь. Портрет Ф. Моллера. Начало 1840-х годов

Выговору в присутствии суда суд предпочёл смертную казнь — в своём отсутствии.

«Государство только защищалось, осудив нас», — скажет впоследствии Достоевский. Положим, что так; мера необходимой обороны была, однако, сильно превышена.

Из главы 19

РОССИЯ И ЕВРОПА

Титулярный советник как бунтовщик

В этот же день, 17 января 1850 года, ещё одна парижская газета — «Насьональ» отзывается на событие в Петербурге. Но в отличие от своих газетных собратий «Насьональ» оглашает такие детали, которые, стань они известны участникам дела (неважно — судьям или осуждённым), повергли бы их в сильнейшее изумление.

«Письмо, которое пришло в Париж (не по почте), — начинает газета, — даёт нам некоторые очень интересные подробности о русском заговоре, который только что провалился и на главных участников которого в настоящее время обрушился удар императорского мщения».

Из этого предуведомления можно заключить, что в распоряжении редакции имеется конфиденциальная информация, которая поступила непосредственно из России и что сам способ её передачи («не по почте») гарантирует высокую степень достоверности.

Послушаем же газету «Насьональ».

«Как явствует, инициатива заговора принадлежит совсем ещё молодому человеку, Николаю Кашкину, охарактеризованному в списке арестованных как титулярный советник. Выданный одним из многочисленных платных осведомителей, которых содержат в России на государственный счет всюду, где стоит только появиться признакам недовольства, Кашкин был арестован и доставлен к царю, который принял его с неожиданной добротой и любезностью».

Итак, если верить газете, во главе всего предприятия стоит не кто иной, как 20-летний Николай Сергеевич Кашкин. Недавний лицеист, он занимал скромную должность младшего помощника столоначальника в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Он тоже умудрился собрать вокруг себя небольшой кружок, целью кото-

рого было усердное изучение системы Фурье и совместные размышления о пользе фаланстеров в условиях русской равнины. Он делал вечера у себя на квартире один раз в неделю — как не без укоризны отмечено в докладе генерал-аудиториата, «во время отсутствия своих родителей». Крайняя степень вольномыслия, которую позволил себе Кашкин со товарищи, — это устройство обеда 7 апреля 1849 года — в день рождения всё того же Фурье. На следующий день, в пятницу, Кашкин отправился к Петрашевскому, которого он видел накануне, на упомянутом обеде — причём, в первый раз. Ему не повезло: на вечере у Петрашевского присутствовал Антонелли.



Н.С. Кашкин. Акварель

«Вообще, — записано в докладе генерал-аудиториата (разумеется, со слов самого Кашкина), — он, Кашкин, чувствовал себя как-то неловко в обществе Петрашевского и вскоре уехал от него, вынеся впечатление тяжелое и неприятное и уже не собираясь никогда более в гости к Петрашевскому»*.

Младший помощник столоначальника отнюдь не был тем, кем пытается представить его парижская газета. Собственно, ему официально инкриминировали только одну вину: недонесение. (Как помним, приверженность к системе Фурье военный суд не почёл преступлением.) Первоначально его приговорили — как малозамешанного — *всего* к четырём годам каторги. Генерал-аудиториат «во внимание к весьма молодым его летам и раскаянию» будет всеподданнейше ходатайствовать о ссылке его в Холмогоры (разумеется, по лишении дворянства). Император решит иначе: рядовым в Кавказские линейные батальоны. Что было, конечно, привлекательнее каторги, но всё же опаснее мирного житья на родине Ломоносова. Однажды Кашкин прочитал собравшимся у него друзьям учёный доклад. В нём между прочим представлена и точка зрения убеждённого атеиста, который, уверясь в неизбежности бедствий земных, восклицает: «Если такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего начала! <...> К чему нам все это поразительное величие звездных миров, когда нет конца нашим страданиям?» Бог виноват уж тем, что, имея довольно обширные возможности, «он не позаботился о счастии людей». Кашкинский интеллектуальный герой сетует на Творца, видя в нём не начало «все-

* Петрашевцы. Т. 3. С. 146.



Н.С. Кашкин

го доброго и прекрасного», а, скорее, воплощение духа зла. «Нет, страдания человечества гораздо громче провозглашают ***злобу Божью***», — горестно заключает он.

«Это бунт», — как отозвался бы по сему случаю Алёша Карамазов. Справедливо замечено, что кашкинские недоумения весьма близки к тем, какие будут занимать брата Алёшу и брата Ивана во время их памятного застолья в трактире «Столичный город».

В черновике письма, найденном у Кашкина и рачительно приобщённом к делу, автор, сетуя на своё неверие, говорит: «Бог, если Ты существуешь, помоги мне, и Ты не будешь иметь более ревностного поклонника». Богу ставятся некоторые *условия*. Не будут ли они выполнены там, на Семёновском плацу?

«Мы будем вместе с Христом», — скажет в свой смертный час Достоевский.

Знаком ли он с соседом по эшафоту?

Последнее причастие

«Что же касается до Кашкина, — спешит удовлетворить Достоевский любопытство Комиссии, — то я его и в лицо не знаю, и у Петрашевского никогда не видал». 8 апреля, в тот единственный раз, когда Кашкин заявился в Коломну, автор «Бедных людей» среди присутствующих не наблюдался. «С господином Кашкиным и Кузьминым я совсем не знаком», — терпеливо повторяет допрашиваемый.

«...Трудно доверять словам Достоевского...»[*], — замечает в связи с этим позднейший комментатор. Да отчего же? В данном случае у подследственного нет особых причин морочить Комиссию. Но если они впервые сошлись на эшафоте, это давало им право сделаться близкими навсегда.

9 октября 1856 года барон А.Е. Врангель сообщает из Петербурга всё ещё пребывающему в Сибири Достоевскому: «Головинский Ваш был последнее время у своего отца в деревне, но я не знаю, прощен ли он или был только в отпуску; Кашкин давно офицер»[**].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. XVIII. С. 139, 149.

[**] Достоевский. Материалы и исследования. Т. 3. Л., 1978. С. 265.

«Головинский *Ваш*», — то есть прикосновенный к вашему делу. Кашкин значится в том же ряду. Врангель пишет о нём, как о лице, его адресату известном. Хотя, возможно, имя упоминается в той лишь связи, что и у Кашкина, и у Достоевского способ обрести свободу оказался практически одинаков: через награждение первым офицерским чином.

Несмотря на разницу лет, их не могло не сблизить общее несчастье: факт их *последующего* знакомства неоспорим. В августе 1861 года Кашкин пишет автору «Мёртвого дома» дружеское письмо: кланяется супруге и просит засвидетельствовать своё уважение брату. Восстановленный в дворянских правах калужский помещик, он посылает бывшему соузнику «экземпляр пояснительной записки к трудам Калужского комитета по крестьянскому делу»*: вопрос этот, ныне разрешаемый «сверху», как помним, весьма занимал посетителей «пятниц». «Быть: <...> у Каш<к>ина», — записывает Достоевский летом того же года: он намеревался подарить самому молодому из «наших» экземпляр только что вышедших «Униженных и оскорблённых».

В самом конце 1880 года бывший подсудимый, а ныне член Калужского окружного суда пятидесятиоднолетний Кашкин просит Достоевского высылать ему в Калугу «Дневник писателя» на следующий, 1881 год: первый и единственный номер будет получен подписчиком уже после смерти автора.

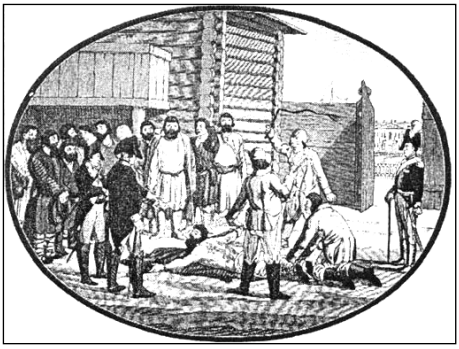
Узнает ли когда-нибудь Кашкин о той роли, какую приписала ему газета «Насьональ»?

Но нам-то, по крайней мере, известно: «инициатива заговора» исходила не от него. Не был он по арестовании и «доставлен к царю». В отличие от узников декабря ни один «апрелист» не удостоится этой чести**. Так что сцена личного свидания г-на Кашкина с самодержавным монархом — «цитата» совсем из другой эпохи.

Правдой в сообщении французской газеты является только то, что Кашкин, как, впрочем, и другие его подельники, был выдан (вернее, продан — *sold*) платным осведомителем и что он — сын политического преступника. Отец Кашкина, как Липранди и Дубельт, участник войны 1812 года, вместе со своим двоюродным братом Евгением Оболенским основал в 1819-м общество «Добра и Правды». Позднее он стал декабристом. Он водил приятельство с Пущиным: по примеру последнего Кашкин-старший оставил службу и записал-

* Достоевский. Материалы и исследования. Т. 9. Л., 1991. С. 277.

** Единственное исключение — возможно, Д.А. Кропотов, но обстоятельства его предполагаемого привоза в Зимний дворец довольно туманны.



Наказание плетью в Тайной канцелярии в конце XVIII столетия. Со старинной акварели

ся в надворные судьи — дабы творить означенные в названии общества правду и добро.

Он отделался, можно сказать, пустяками: был сослан сначала в Архангельскую губернию, а затем водворён в свои калужские имения — без права въезда в столицы. Впрочем, после 1842 года он получил возможность проживать в Петербурге и лично наблюдать за воспитанием сына.

Почему, окончив Лицей в 1847-м, сын декабриста не отправился без промедления вице-консулом в Данциг или первым секретарём посольства в Бразилию, как ему предлагалось? Он легкомысленно отказался: через два года император сошлёт его на Кавказ.

«11 числа (апреля. — *И. В.*) я встретился с Кашкиным в министерстве, — доносит Антонелли, — и успел завязать с ним довольно короткое знакомство».

Знакомство будет коротким ещё и в непредвиденном смысле: гулять на свободе Кашкину остаётся всего десять дней.

В своей неопубликованной записке (на которой было начертано императорское «Переговорим») Антонелли изо всех описанных им персонажей особо выделяет недавнего знакомца: тот «невольно родил к себе какую-то во мне симпатию».

«Кашкин, — благожелательно доносит начальству Антонелли, — человек милый, образованный, с физиономией, невольно говорящею в свою пользу, с душою, должно быть, ещё светлою <...>». Поэтому он не может быть заражен «какими-нибудь грязными убеждениями». Он просто увлёкся «свирепствующей здесь модой»*.

В своих донесениях Антонелли отмечает у Кашкина преимущество, которое отсутствует у других наблюдаемых: «Он действительно принадлежит к аристократическому кругу, что подтверждается и тем, что 10 числа в маскараде он был постоянно в кругу молодых людей знатных фамилий, и тем, что поминутно входил в особенную для придворных дам ложу и обращался с ними совершенно как свой человек».

* РГВИА. Ф. 801. Оп. 84/28. 4 отд. 1 стол. 1849 г. Св. 387. № 35. Ч. I. Л. 14.

Не являлась ли, часом, и Кашкину таинственная маска? Если, как помним, государь впервые известился о существовании Петрашевского «через баб», не участвуют ли те же лица в финале? Почему бы осведомлённой «придворной даме» не предупредить «своего» о предстоящем аресте — как это сделала незнакомка, говорившая с Пальмом?

Во всяком случае, благодаря своим аристократическим связям Кашкин узнал о дарованной им жизни чуть раньше других. Или, может быть, Бог просто раньше услышал его молитвы.



Подвес за ребро. Гравюра XVIII века

Повествуя об оглашении на эшафоте смертного приговора, барон М.А. Корф замечает: «Тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина <...> имевшего престарелого отца». Насчёт «престарелого отца» Корф несколько преувеличивает (бывшему декабристу в это время не более пятидесяти лет). Что же касается *слёз*, тут он, по-видимому, прав.

Сам Кашкин рассказывает об этом так.

Когда привязанным к столбам и облачённым в саваны жертвам надвинули на глаза капюшоны, ни у кого уже не осталось сомнений, что казнь действительно совершится. Тогда Кашкин обратился к стоящему возле помоста обер-полицмейстеру генералу Галахову (они, вероятно, были знакомы) и спросил его по-французски: «Кому я могу передать мою последнюю просьбу дать мне приготовиться к смерти? (Я разумел исповедь и причастие.)». На что генерал громко (и тоже по-французски) ответил, что государь был так милостив, что даровал всем осуждённым жизнь. «Даже и тем», — добавил генерал, указывая на привязанных к столбам. Таким образом, за минуту до остальных Кашкин уже знал о *счастливой развязке*.

Этот примечательный диалог — в виду эшафота (как, впрочем, и между Достоевским и Спешневым, о чём ещё пойдёт речь) — ведётся на французском языке. Ибо на нём, как справедливо замечено, *с друзьями* разговаривать прилично...

Но обо всём этом ни слова не сказано во французской газете «Насьональ», произведшей в главари заговорщиков самого молодого из выведенных на эшафот. Однако поведанная газетой история с Кашкиным-младшим (вернее, с его мифическим двойником) напоминает один позднейший сюжет. На сей раз в числе героев оказывается Достоевский.

«Под вами вдруг раздвигается пол...» (Секреты III Отделения)

В 1866 году в Вюрцбурге на немецком языке выходит роман некоего Пауля Гримма «Тайны Санкт-Петербурга. (Последние дни императора Николая)». Роман переводится на французский («Тайны царского двора времен Николая I») и выдерживает несколько изданий. Летом 1868 года книжка (в России, естественно, запрещённая) попадает в руки находящегося за границей Достоевского. По прочтении этого захватывающего произведения Достоевский набрасывает письмо-протест, адресованное, судя по всему, в редакцию какого-то зарубежного издания. «И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим с наглостью почти непостижимою», — негодует автор письма, которое так и осталось неотосланным.

В книге Пауля Гримма* Достоевский назван своим подлинным именем и поставлен во главе заговора — так же, как в своё время это было проделано газетой «Насьональ» с Николаем Кашкиным. Правда, сам заговор отнесён рассеянным Гриммом к 1855 году, а его руководитель Достоевский умирает по дороге в Сибирь. Но подобные мелкие вольности не должны смущать мало осведомлённых европейских читателей. «Поэт» (так ещё именуется в романе автор «Белых ночей») председательствует на конспиративных собраниях, произносит пламенные речи и вместе с другими заговорщиками хором (хотя и вполголоса) исполняет крамольные песни на слова другого поэта — Некрасова. В заговоре (ещё одна параллель с Кашкиным) принимает участие сын декабриста — князь Оболенский**. Такие выражения, как «Wodka», «Mersavetz», «Schapki doloi», «Rebiata» и т. д., снабжённые добросовестным подстрочным переводом, удачно оттеняют лингвистическую самобытность немногословной русской души.

---

* Её сюжет кратко изложен в комментариях к 28 (II) тому Полного собрания сочинений Достоевского, в книге Н.Ф. Бельчикова «Достоевский в процессе петрашевцев», а также в книге Л.И. Сараскиной «Одоление демонов», где приводится (в переводе С.Д. Серебряного) ряд цитат из французского издания. Мы пользуемся в основном немецким оригиналом: *Grimm P.* Geheimnisse von St. Peterburg (Letate Lebenstage des Kaisers Nicolaus). Deutsche Original-Ausgabe. Wurzburg: Verlag von F. A. Julien, 1866.

** Этот персонаж адресует своим собратьям по сословию гневный упрек: «Доколе обращенная в золото кровь наших крепостных будет расточаться нами за зелёными столами Гомбурга и Бадена, в будуарах лореток на Рю Бреда и Сент-Джордж Стрит...» Подобный ход мысли должен был заинтересовать Достоевского, который как раз в это время «расточал» последние деньги за вышеупомянутыми «зелёными столами».

Желая спастись от неминуемого ареста, «благородный поэт» обдумывает возможность бежать на лодке по Невскому взморью — навстречу крейсирующему в виду Кронштадта английскому флоту. (Идущая полным ходом Крымская война предоставляет находчивому герою шанс осуществить этот смелый кульбит.) Но по здравом размышлении проект отвергается, ибо поступок сей никак не согласуется с врождённым чувством патриотизма. («...Это значит предать родину! Нет, нет!»)

Хотя книжка Гримма, рассчитана на простаков, выглядит она респектабельно и солидно: чёрный переплёт, золотое тиснение на корешке и т. д. Имя её сочинителя не значится ни в одном библиографическом словаре. Скорее всего, подлинный автор счёл за благо укрыться под псевдонимом. (Его перу принадлежит ещё книжка — «Грехи Кристины и Изабеллы Испанской», изданная в том же Вюрцбурге в 1869 году, что свидетельствует о стойком интересе рассказчика к тайнам европейских дворов.) Но, может быть, сама фамилия «Гримм» намекает на сугубую сказочность его исторических ретроспекций?*

Кашкина, если верить газете «Насьональ», после ареста доставили к государю. Главу заговорщиков в романе Гримма привозят в ведомство графа Орлова, где подвергают жёсткому наказанию.

«Когда позорная экзекуция закончилась, Достоевского быстро отвели к графу.

— Теперь, молодой человек, вы стали благоразумнее? — спросил граф.

Ярость сверкнула в глазах поэта, он сжал кулаки».

Полагаем, что «ярость» сверкнула в глазах Достоевского и по прочтении им указанных строк. Романтический автор вольно или невольно возрождал давние слухи — о порке, которой якобы был подвергнут узник Мёртвого дома во время своего пребывания в Сибири. (Гримм просто сдвинул этот «факт» на стадию следствия.) Но, возможно, неведомый автор доверился тому устойчивому преданию, которое числило исполнение названных исправительных мер по ведомству тайной полиции. Причём П. Гримм описывает операцию именно в том виде, как она мнилась привозимым в III Отделение арестантам.

«Пациент, предназначенный к пытке поркой, — пишет Гримм, — проваливается по грудь; в помещении внизу постоянно находятся жандар-

* Так что Достоевский был не вполне прав, сетуя, почему на фантастическом сочинении П. Гримма не обозначено: «сказка». Интересно также, что иностранец П. Гримм — первый, кто изобразил Достоевского в художественной прозе. (Ещё до появления книги А. Пальма.) Этот славный почин будет подхвачен в XX веке отечественными беллетристами, чьи психологические угадки по силе убедительности могут смело соперничать с фактами, сообщаемыми П. Гриммом.

мы, держащие розги, готовые нанести удар. Преступника раздевают до пояса; если это женщина, поднимают одежду, и экзекуция начинается».

Впрочем, в здании у Цепного моста иные опасались не только стоять, но и *сидеть*. Известный своим благомыслием цензор А.А. Крылов признавался, что, будучи вызван к графу Орлову, он с трепетом ждал приглашения садиться, ибо страшился, что за какие-то служебные упущения тут же будет подвергнут секуции — как раз по форме, описанной Гриммом.

Подобные страхи восходят ко временам достаточно отдалённым. Существуют свидетельства (степень их достоверности — это отдельный вопрос), что знаменитый С.И. Шешковский имел обыкновение «любезно, но настойчиво» усаживать приглашённого в особого рода кресло. Когда доверчивый гость уступал настояниям хозяина, ручки кресла внезапно смыкались, обхватывая неосторожную жертву, и кресло *автоматически* опускалось. При этом плечи и голова посетителя продолжали оставаться в кабинете Шешковского. В то время, как сотрудники Тайной экспедиции трудились над нижней частью секомого, Шешковский отворачивался и делал вид, что не замечает этой маленькой неприятности. По совершении экзекуции кресло возвращалось в исходное положение и хозяин с любезной улыбкой продолжал прерванный на полуслове разговор. (Молва утверждает, что один находчивый и обладавший недюжинной физической силой посетитель Шешковского заставил как-то его самого занять злополучное седалище, после чего с достоинством удалился.)

Достоевский — второстепенный персонаж иностранного романа «из русской жизни». Но недаром телесному наказанию подвергается в нём именно «поэт». Это участь Тредиаковского, Полежаева и других. «Княжнин умер под розгами», — записывает Пушкин. Русский литератор в любой момент может быть опозорен и оскорблен. «Разнесся слух, будто я был отведен в тайную канцелярию и высечен», — сказано в пушкинском (неотправленном) письме к императору Александру.

Этот *исторический страх* не мог не отложиться в художественной памяти Достоевского.

Степан Трофимович Верховенский (тоже в известном смысле литератор) устрашён перспективой ждущего его наказания. В черновых записях к «Бесам» приводится его смятенная речь:

«— Под вами вдруг проваливается половица до половины вашего тела, и вдруг снизу два солдата распорядятся, а над вами стоит генерал или полковник, которого нельзя не уважать, но который, вы чувствуете, отечески советует и вас, профессора... учёного, приглашает молчать. Это известно».

«Это известно», — говорит Степан Трофимович. Уж не читал ли он Пауля Гримма? Ибо воображаемая сцена — почти точная «цитата» из «Тайн царского двора», сочинитель которых изображает будущего автора «Бесов» в ситуации аналогичной:

«Унтер-офицер взял Достоевского за руку и подвел к месту, где неожиданно, по сигналу, поданному унтер-офицеркой ногой, половица, на которой стоял Достоевский, опустилась, так что он провалился по грудь».

В окончательном тексте «Бесов» сюжет обретает пластическую законченность и полноту.

Хроникёр от имени которого ведётся повествование, застаёт Степана Трофимовича в глубоком отчаяньи. Тот «рыдал, рыдал как крошечный, нашаливший мальчик в ожидании розги, за которою отправился учитель». (Вспомним гриммовское: «Поэт был высечен, высечен, как ребёнок!»)

«— Я погиб! Cher, — сел он вдруг подле меня и жалко-жалко посмотрел мне пристально в глаза, — cher, я не Сибири боюсь, клянусь вам, я другого боюсь...»

Хроникёр никак не может взять в толк, чего страшится его мнительный друг, о каком таком грядущем своём позоре он пытается намекнуть.

«— Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, — погибать так погибать! Но... я другого боюсь.

— Да чего, чего?

— Высекут, — произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня.

— Кто вас высечет? Где? Почему? — вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума.

— Где? Ну, там... где это делается».

Интересно, что с чисто технической стороны экзекуция представляется впечатлительному Степану Трофимовичу всё в тех же леденящих душу подробностях.

«— Э, cher, — зашептал он почти на ухо, — под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины... Это всем известно».

И хотя собеседник Верховенского-старшего называет всё это старыми баснями, он не в силах опровергнуть их положительно. Миф, устрашавший арестантов 1849 года и послуживший источником вдохновения для Пауля Гримма, получает как бы второе дыхание на страницах классического романа.

В «Братьях Карамазовых» Коля Красоткин, холодея от собственной смелости, заявляет:

«— Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего отделения и брать уроки у Цепного моста.

Будешь помнить здание
У Цепного моста!»

Юный Красоткин цитирует стихотворение неизвестного автора:

«Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно...»

А.Е. Тимашёв в 1856-м сменит Дубельта на его посту. Герои «Братьев Карамазовых», живущие в относительно либеральную эпоху Александра II, подвержены всё тем же хроническим русским фобиям.

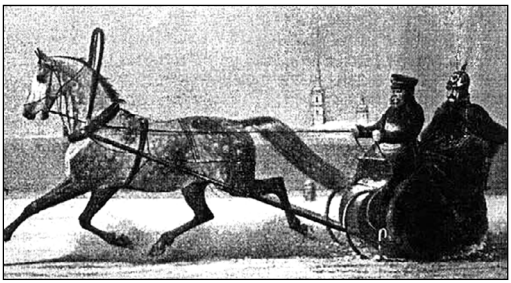
Конечно, книга П. Гримма не понравилась Достоевскому. Но она «пригодилась» ему — так же, впрочем, как всё остальное: *все* впечатления бытия.

Он оставил своё намерение — протестовать против инсинуаций. Но и Николай Кашкин, если б вдруг каким-нибудь чудом ему попалась в руки газета «Насьональ», тоже не смог бы опровергнуть её публично.

«Но с царём опасно вздорить...»

Чем же, однако, если верить автору пришедшего «из России» письма, захотел порадовать Кашкина самодержавный монарх, который далеко не всегда отличался ласковостью приёма? Газета «Насьональ» спешит воспроизвести августейшую речь: «Вы молоды, г-н Кашкин, и у вас есть ещё одно, лучшее оправдание, — сказал ему великодушный император, — под прикрытием политики вы хотели, как я подозреваю, удовлетворить своё желание мести за осуждение вашего отца. Власть, которая держит его в Сибири, не может быть законной в глазах хорошего сына, и я способен понять опрометчивый порыв, который отдал вас на мою милость. Я не стану поэтому злоупотреблять ужасной властью, которую я имею над вашей судьбой, и если ваше раскаяние подскажет вам признания, которые дали бы мне право даровать вам полное прощение — если вы сообщите подробности заговора, — все может быть забыто и т. д.».

Надо отдать должное изобразительному таланту автора (или авторов) таинственного «письма из России». Император Николай Павлович трактован ими в качестве тонкого сердцеведа, готового по-отечески вникнуть в те побудительные мотивы, которыми руководствовался его неопытный собеседник. Странно, однако, что государь не сулит вернуть при этом Кашкина-старшего «из Сибири».



Император Николай I в санях на набережной Невы.
С рисунка Тимме, сделанного с картины Сверчкова

Пускай такое свидание никогда не имело места и велеречивый императорский монолог сочинён от первого до последнего слова. Но, признаться, нечто чрезвычайно знакомое чудится нам в указанной сцене.

Вспомним: член Следственной комиссии генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев предлагает молодому, но уже известному литератору Фёдору Достоевскому монаршее прощение. Он обращается к автору «Бедных людей» прямо от лица государя и не может скрыть своего возмущения, когда получает отказ.

Отозвалось ли хоть в малой мере реальное происшествие с Достоевским (если, конечно, оно было реальным) в той уже бесспорно фантастической пьесе, которая каким-то непостижимым образом попала на страницы французской печати? Или г-ну Кашкину *тоже* делались аналогичные предложения — если и не от царского имени, то, может быть, по почину какого-то высокопоставленного лица? (Вспомним об его аристократических связях.) Конечно, ставки в этой игре были не столь высоки: Кашкин всё же не та фигура, которую «знает император» и — что тоже существенно — «уважает Лейхтенберг». И в возможных попытках (не исключающих элементов шантажа) склонить юношу к откровенности и тем самым отделить от участи остальных можно уловить отголоски другой, более правдоподобной истории.

Но всё это остаётся пока в области предположений. Ибо у нас (кроме туманной ссылки на пришедшее «не по почте» письмо) нет никаких указаний на те источники, откуда газета «Насьональ» черпает свою бесподобную информацию.

Но чем же завершился разговор в кабинете царя?

«Государь, — прервал его г-н Кашкин, — не продолжайте далее и прежде всего оставьте ваше заблуждение. В нашей семье осуждение моего отца рассматривается как почетная ему награда. Касательно же до меня лично, я не думаю, что смог бы каким-либо из деяний умножить славу нашего имени, кроме как содействием истреблению вашего рода и вашей позорной власти».

Это, конечно, чистейшая шиллеровщина. Но у русской исторической драмы свои законы. За всё время существования дома Романовых ни один из противников власти не позволял себе разговаривать с нею в подобном тоне. Даже самые неустрашимые из героев 14 декабря не отваживались в своих объяснениях с государем на столь дерзкие речи. Тем меньше оснований полагать, что на это решились бы деятели 1849 года, будь они допущены пред царские очи. Они не были настолько безумны, чтобы замыслить цареубийство (кроме бахвалившегося подобным намерением и, очевидно, уже тогда не совсем вменяемого Катенева), а тем паче признаваться в этом публично. И уж, конечно, «милый, образованный» Кашкин (с физиономией, как вынужден признать Антонелли, «говорящею в свою пользу») был способен на эти подвиги менее всех.

Французская газета предпочла завершить сцену в духе автора «Дон Карлоса» или раннего Виктора Гюго.

«Разговор происходил при свидетелях, у которых вырвался возглас ужаса, подлинного или притворного. Император сделал вид, что это его нисколько не взволновало. "Этот молодой человек безумец — он заслуживает не темницы, но сумасшедшего дома". В самом деле, именно в сумасшедший дом Кашкин и был отправлен»*.

И опять романтическая фантазия мешается с малыми осколками правды. Мотив безумия однажды уже был разыгран правительством: чаадаевская история хорошо запомнилась всем. Но и из нынешних — тех, кого схватили весной 1849-го, трое и впрямь повредятся в уме.

Бесполезно гадать, кто был информатором парижской редакции и откуда ему известны все эти волнительные подробности. (Не доставлено ли упомянутое письмо с дипломатической почтой?) Во всяком случае, это корреспондент из России, хотя, возможно, и иностранец. Подчёркнутая театральность сюжета и достаточная его отдалённость от подлинного хода событий как будто бы свидетельствуют в пользу такого предположения. С другой стороны, возникает законный вопрос: из какого российского первоисточника дипломатический агент в Петербурге черпал свои любопытные сведения?

Но из каких сомнительных кладовых извлекал свою развесистую клюкву осведомлённый Пауль Гримм? И хотя газетный отчёт сильно отличается от жанра исторического романа, надо признать, что в обоих случаях сработал один и тот же подход. Отсутствие инфор-

* Весь этот текст из «Насьональ» был перепечатан на следующий день, 18 января, в англоязычной парижской «Галиньяниз Мессенджер» в разделе «Последние новости».

мации из России подвигает западное сознание на восприятие мифов: реальные обстоятельства приносятся в жертву жгучему интересу к «тайнам царского двора».

(Этот интерес имеет некоторое типологическое сходство с теми усиленными историко-эротическими дознаниями, которые предпринимаются в наши дни. «Чтобы превратиться в пошляка, — говорит В. Набоков, — крестьянину нужно перебраться в город». Можно сказать, массовый переезд уже завершён. Очередь в спальню сегодня куда длиннее, чем в кабинет. Фантазия Пауля Гримма меркнет перед «концептами», которыми нас хотят просветить.)

Впрочем, русское правительство никак не откликнулось на инсинуации газеты «Насьональ». Для него было важно, что в европейских изданиях появилась официальная версия случившегося. И, следовательно, — укоренена мысль о ничтожности заговора и политической маргинальности заговорщиков. (Хотя в то же время карательная акция в Петербурге подавалась именно как мера по пресечению мятежа. В противном случае Европе трудно было бы объяснить, почему полночные прения относительно достоинств системы Фурье или свободы книгопечатания должны непременно оканчиваться лишением живота.) Газетные байки типа «Император и г-н Кашкин» не могли произвести серьёзного впечатления на умы. Титулярный советник не имел шансов сделаться русским Карлом Моором.

...Он сделается сначала унтер-офицером, а затем — прапорщиком. В 1853 году, в Железноводске, он познакомится с вольноопределяющимся по имени Лев Толстой. (Они были погодки.) Добрые отношения сохранятся у них навсегда. Кашкин останется единственным из живущих (кроме, разумеется, членов семьи), с кем яснополянский старец будет *на ты*.

«...Друг Достоевского...» — запишет Душан Маковицкий в 1905 году слова Толстого о давнем знакомце.

Он не был другом — ни Достоевского, ни Толстого. Но он знал их обоих лично. *Теоретически* у него был шанс познакомить двух современников, свести их друг с другом*. Этот подвиг в глазах потомства значил бы, пожалуй, не меньше, чем гневная отповедь государю...

...29 октября 1910 года, по дороге в Оптину пустынь, Толстой, бегущий из Ясной Поляны, осведомится у ямщика — что это за имение невдалеке? Оказалось — Николая Сергеевича Кашкина, давнего приятеля беглеца. Толстому оставалось жить чуть больше недели.

---

* Подробнее об истории «незнакомства» Толстого и Достоевского см. нашу книгу «Последний год Достоевского».

Старый петрашевец Николай Кашкин умрёт 29 ноября 1914 года. Он будет последним из них.

Кому из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Бывший лицеист и сын участника кампании 1812 года покинет сей мир в возрасте 85 лет, под гром начавшейся мировой войны. Так замкнутся линии жизни и смерти, связующие Семёновский плац, Оптину пустынь, Ясную Поляну... Так в потоке простой «немудрёной» жизни вдруг блеснёт сокрытый в ней провиденциальный смысл.

«Мы будем вместе с Христом!»

Разумеется, *не был готов* и Достоевский: как и большинству осуждённых, «мысль о смерти» не приходила ему в голову. В противном случае вряд ли в эти минуты он стал бы делиться с Момбелли планом сочинённой в крепости повести. Он не поверил и тогда, когда были произнесены роковые слова. И лишь *приглашение на казнь* убедило всех в серьёзности происходящего.

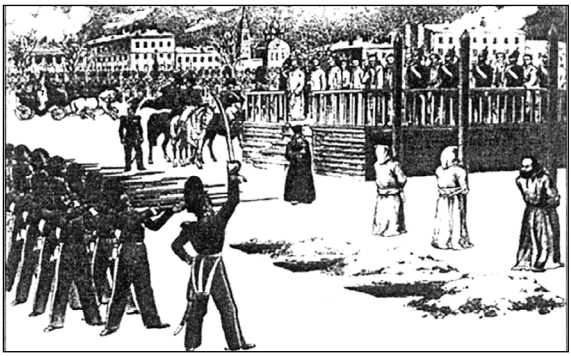
Священник был в погребальном облачении: последний штрих маскарада, где каждый — от платного агента до государя — славно сыграл свою роль. И хотя скромному любительству Антонелли далеко до размашистых императорских забав, некий метафорист мог бы заметить, что оба участника заслуживают равного права облечься в вывернутые наизнанку кафтаны — спецодежду паяцев и палачей.

Позднее свидетели и жертвы этой инсценировки будут расходиться в деталях. Но справедливо ли требовать более точных подробностей, когда главной из них является смерть?

...Из всех выведенных на эшафот к исповеди подошёл один П.Г. Шапошников (Кашкин *в это* мгновенье промедлил); к кресту, однако, приложились все. Не исключая и Петрашевского — явного атеиста.

«Мы будем вместе с Христом», — «восторженно» скажет Достоевский по прочтении приговора. «Горстью праха», — насмешливо (и тоже по-французски) отзовётся Спешнев. Предсмертный пафос Достоевского — не оборотная ли сторона поразившего их *последнего* ужаса? Вернее — способ защиты от него: столь же отчаянный, как и материалистическая усмешка Спешнева.

...У него ещё оставалось несколько минут — чтобы *подготовиться*. Он не знал, что ему будет дано пережить свою смерть.



Обряд казни петрашевцев на Семёновском плацу. 22 декабря 1849 г. Рисунок неизвестного художника

Стоял мороз: 21 градус ниже нуля.

Под рвущую ледяной воздух барабанную дробь над теми из них, кто назначался в каторгу, были преломлены шпаги*. «И братья меч вам отдадут», — сказал Пушкин. «Братья» замедлят отдачей на тридцать лет. Нынешним жертвам вернут дворянство («меч») гораздо быстрее — едва ли не одновременно с узниками декабря.

...Первую тройку уже повели к столбам.

«Я стоял шестым, — говорит Достоевский, — вызывали по трое (*куда* «вызывали»? да и *кто* может туда вызывать? — *И. В.*), след<овательно>, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты». Как сказали бы ныне, начался обратный отсчёт...

Обличавший пытку, запрещаемую законом, Петрашевский, конечно, не мог предвидеть, какого рода истязание ожидает их в самом конце.

...Когда первых троих привязали к столбам, остальным оставалось только молиться. Бедный 20-летний Кашкин, только что вместе со всеми отказавшийся от исповеди, как уже говорилось, вдруг возжелал её. Его, осенённого внезапной идеей облегчить свой загробный путь (и продлить тем самым на несколько кратких мгновений свою молодую жизнь), можно было бы уподобить той, не раз помянутой Достоевским графине Дюбарри, которая под ножом гильотины восклица-

* В одном из проектов исполнения приговора помечено: «Перед совершением казни повешением у преступников (офицеров) снимается мундирная одежда и переламывается над головою шпага. При расстрелянии обряд сей законом не предписан». Поэтому Н.Ф. Бельчиков полагает, что тут было допущено нарушение закона. Конечно, в государстве самодержавном эстетика выше права, но в данном случае закон был соблюдён. Обряд ломания шпаг («шельмования») предусматривался также для лиц, лишаемых дворянского достоинства и отправляемых на каторгу. Таким образом, из закона были извлечены и произвольно скомбинированы отдельные положения. Заметим, что ни военным, ни гражданским законодательством не предусмотрена процедура «незавершённого расстрела».

ла: «Ещё минуточку, господин палач!» — можно бы уподобить, да незачем: смерть сравнима только со смертью.

«Знаете ли вы, что такое смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это», — говорит Достоевский в «Дневнике писателя», касаясь уголовного случая, когда жертва «проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы». И он добавляет: «Это почти всё равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут мешок».

Да, он пережил свою смерть — и вернулся оттуда, откуда не возвращался никто. Он переступил черту — и назад уже не мог явиться таким, каким был прежде.

Дар напрасный, дар случайный.
Жизнь, зачем ты мне дана...

Цена той жизни, которая наступит потом, будет неисчислима. Ибо став — буквально — «даром случайным», она отныне навсегда утратит эту свою ипостась. Дар сделается бесценным — и вернуть его придётся, лишь приумножив. В его послании к брату, одном из самых поразительных писем, написанных на этой земле, нет ни слова благодарности тому, кто сыграл с ним такую славную шутку. Высочайший режиссёр — сам лишь орудие рока, посредник, без которого нельзя обойтись. «Брат, любезный брат мой! все решено!» Безличная форма глагола употреблена не зря. Решено не чьей-то человеческой волей, а той силой, которой он отныне подчинён и на благосклонность которой он всё ещё не теряет надежды. «Никогда ещё таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю».

Он ещё не знает, что тело — уже не только вместилище, но как бы и часть его духа: через несколько лет «священная болезнь» даст ему почувствовать эту невыносимую правду.

Изо всех своих тюремных посланий только на этом, написанном в день казни, он выставляет место: *Петропавловская крепость*.

«Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение моё».

Он исполнял обеты.

Из книги:

НИЧЕЙ СОВРЕМЕННИК

Ничей современник. Четыре круга Достоевского
М., СПб. 2019. Нестор-История. 736 с.

В книге, основанной на первоисточниках, творческое бытие Достоевского впервые исследуется в тесном соотнесении с личной жизнью писателя, проблемами его семьи. Реконструируется судьба двух его браков, внутрисемейные отношения, их влияние на творческий процесс. Хотя в настоящей издательской ***версии*** опущено значительное количество аналитических — литературоведческих и историко-литературных — сюжетов (в том числе и о посмертной соотнесённости Достоевского с В. Розановым, И. Ильиным, И. Шмелёвым и др.), автор «Дневника писателя» представлен в различных своих ипостасях.

Четыре части, 40 глав

Часть I. В кругу России (в том числе гл. Революция и власть)
Часть II. В кругу словесности
Часть III. В кругу семьи
Часть IV. В кругу интерпретаций
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Письма И.С. Аксакова к Ф.М. Достоевскому
2. Неизвестные фрагменты «Дневника писателя»

Из главы 5 (Часть I)

«ВСЕ ЕГО ЛЮБЯТ...»

«Дневник писателя» и его корреспонденты

«Как бы в самом деле...»

«Первый № “Дневника писателя” был принят приветливо, — отмечал Достоевский, — почти никто не бранил, то есть в литературе, а там дальше я не знаю»[*].

Молчание, однако, продолжалось недолго. В квартиру номер шесть дома Струбинского на Греческом проспекте стали стекаться письма со всех концов России.

Нас не удивляет громадный объём корреспонденции, полученной Львом Толстым в последние два десятилетия его жизни. Но в 1870-е гг. ни один из русских писателей не ощущал в такой степени биения читательского пульса. Непосредственный контакт между писателем и читателем был скорее исключением, нежели правилом.

«Нам, провинциалам, — пишет автору “Дневника” Х.Д. Алчевская, — каждый писатель представляется чем-то чуть ли не мифическим, недосягаемым, неслыханным и невиданным. Нам доступно читать его, и только. Видеть, слышать, переписываться мы лишены возможности[**].

---

[*] Дневник писателя. 1876. Февраль (О том, что все мы хорошие люди...) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 22. С. 39.

[**] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 1–1 об. (письмо от 10 марта 1876 г.). В своей книге «Передуманное и пережитое» (М., [1912]. С. 63–72) Х.Д. Алчевская, публикуя ответные письма к ней Достоевского, помещает лишь одно своё письмо — от

«Дневник писателя» создал важный прецедент.

Создатель «Дневника» выступал не только как его автор, но и как общественный адресат.

«К концу первого года издания “Дневника”, — вспоминает его метранпаж М.А. Александров, — между Фёдором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспримерное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде “Дневника писателя”. На него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула, и просили его разрешать их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени»*.

Архив Достоевского даёт солидное документальное подтверждение слов старого типографа. Ни один из романов писателя не вызывал такого обильного потока корреспонденции.

«Дневник» был ориентирован прежде всего на текущую действительность, он был злободневен в самом непосредственном смысле. Но его «второй», подспудный, глобальный слой совершенно неотделим от этого «первого» слоя.

Если выделить чисто событийный пласт «Дневника», он превратится в хронику, в политический комментарий, в фельетон, в ежемесячное обозрение, в серию очерков.

Если в свою очередь выпарить из этого слоя «идеологию», понимаемую как простую сумму политических убеждений, тогда придётся иметь дело с достаточно ординарной схемой, тем более фантастической и отвлечённой, чем дальше отнесена она от русла живого исторического потока. Такой подход начисто убивает феноменальность «Дневника» как явления русской культуры.

Читателя привлекала в публицистике Достоевского внутренняя сопряжённость её «глобальных» и «частных» сюжетов, её «тайная» устремлённость к некоему мировому идеалу. Сиюминутное «сейчас» и вечное «всегда» гармонизировались в «Дневнике» творческой волей его автора. Микрокосм неразрывно связан здесь с макрокосмом.

Поэтому в эпистолярии «Дневника» отклики на события мирового значения соседствуют с интимными признаниями юной гимназистки, филиппики крайних консерваторов уживаются с восторгами молодых людей, настроенных весьма радикально, исповеди са-

---

19 апреля 1876 г. Однако если судить по её собственным воспоминаниям, таких писем было по меньшей мере три. Два из них (от 10 марта и 19 апреля), находящиеся в РГАЛИ, приводятся нами по подлиннику. Местонахождение третьего (хронологически — первого) письма неизвестно.

* Русская старина. 1892. Апрель. С. 206.

моубийц и откровения нераскаявшихся авантюристов чередуются с наставительными сентенциями почтенных отцов семейств.

В генезисе «Дневника» внешняя корреспонденция играла существенную роль. Летом 1876 г., посылая мужу письмо в Эмс, Анна Григорьевна обмолвилась, что на его имя пришло послание от «одного провинциала с грубыми примечаниями на твои статьи». И Анна Григорьевна пренебрежительно добавляла: «Не стоит пересылать»*. Достоевский встревожился. «Напрасно, милочка, — отвечал он, — не прислала мне письмо того провинциала, который ругается. Мне это очень нужно для “Дневника”. Там будет отдел: “Ответ на письма, которые я получил”»**.

И хотя подобный отдел так и не появился, Достоевский практически непрерывно вёл диалог со своей аудиторией — как на страницах «Дневника», так и путём личной переписки. «...[З]а всё время издания моего “Дневника”, — отмечал писатель летом 1877 г., — я получил и продолжаю получать много писем, подписанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моём, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того***.

В письме к Х.Д. Алчевской автор «Дневника» признаётся: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более *в самом деле»*****.

Достоевский недаром выделил последние слова, для него чрезвычайно важно это «в самом деле». Ведь усилия автора «Дневника» были направлены как раз к тому, чтобы сокрушить невидимый вечный барьер, отделяющий того, кто пишет, от того, кто читает написанное, освободить печатное слово от тех условностей, на которые обрекает его публичность, сделать это слово интимным.

---

* *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. Л., 1976. С. 223. Очевидно, Анна Григорьевна имеет в виду письмо М.С. Черданцева от 23 июня 1876 г. из Петропавловска (см.: ИРЛИ. Ф. 100. № 29894. ССХI6.13).

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29_2. С. 109.

*** Дневник писателя. 1877. Май–июнь (Об анонимных ругательных письмах) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 126. У Достоевского никогда не было, как, например, у Льва Толстого, литературных секретарей (за исключением разве Анны Григорьевны); на обращённые к нему письма он отвечал собственноручно.

**** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 292. С. 75. Алчевская отвечала: «...так это и понятно: мне часто из-за пространных фельетонов разных “заурядных читателей” мерещатся пятачки, получаемые ими за строчки» (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 56. Л. 4 об.).

В общем, — свести (а вернее — поднять!) печатную речь до уровня устной (или хотя бы эпистолярной) речи.

Достоевский ценил в читательских письмах не только искренность, но и сам способ её выражения. Однократность письменной речи, её единичность и неповторимость как бы восстанавливали в его глазах тончайшую, интимнейшую связь между словесностью и остальным универсумом, между литературой и не-литературой — связь, существовавшую во времена древних пророков и расторгнутую дальнейшим развитием культуры.

Для эпистолярии «Дневника» характерна та исключительно высокая степень свободы, с какой читатели обращались к его автору. Установка «Дневника» на интимность была точно оценена его аудиторией: тональность читательских посланий как бы корреспондировала с тональностью самого издания.

«Я получил сотни писем изо всех концов России, — не без гордости признавался Достоевский, — и научился многому, чего прежде не знал... Во всех этих письмах если и хвалят меня, то всего более за искренность и прямоту. Значит, искренности и прямоты всего более жаждут и всего менее находят»[*].

Прерывая двухгодичное издание «Дневника» для работы над новым романом, Достоевский тепло прощался со своими читателями: «Я... прямо считаю многочисленных корреспондентов моих моими сотрудниками. Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне»[**].

Остановимся на тех письмах, в которых содержится оценка «Дневника» *как издания.*

«Ваша мысль гениальна...»

«Ваша мысль гениальна — издавать “Дневник”», — писал Достоевскому некто Гребцов из Киева[***].

Впрочем, имелось мнение совершенно противоположное:

> Милостивый государь Фёдор Михайлович, не приходило ли Вам когда-нибудь в голову, что Вы своим изданием «Дневника» в ступе воду толчёте. Для нас, читателей Ваших, это ясно как Божий день. И если мы пишем Вам настоящее письмо, то с искренним желанием посоветовать

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29_2. С. 284.

[**] Дневник писателя. 1877. Декабрь (К читателям) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 26. С. 126.

[***] Достоевский и его время. Л., 1971. С. 272.

Вам бросить издание бесполезного и даже бесталанного «Дневника», а заняться сочинением повестей и романов, которыми Вы действительно доставляете удовольствие, а главное, пользу публике. С истин, и проч. Жигмановский, Андреевский*.

За месяц до появления этого послания Достоевский сообщал в «Дневнике»: «Из нескольких сот писем, полученных мною за полтора года издания... лишь два письма оказались абсолютно враждебные». Однако во всей эпистолярии «Дневника» нам не удалось более обнаружить ни одного отзыва подобного рода. Отсюда следует, что, если бы мы захотели сравнить положительные и абсолютно отрицательные отклики на «Дневник писателя», мы не смогли бы этого сделать из-за фактического отсутствия последних.

Да, лишь в одном-единственном читательском письме был почти дословно воспроизведён уже известный нам тезис Скабичевского о том, что автору «Дневника» следует заниматься исключительно беллетристикой.

Тот же Гребцов пишет о «Дневнике»: «Все его любят — именно любят. Любят за то, что Вы просто, без всяких литературных форм приличий и обряда пишете как бы письма к знакомым... Вы просто подходите к самым глубокомысленным вопросам, к тому, что у всякого наболело, и затрагиваете эти вопросы прямо, откровенно, без тени аффектации или "научности"»**.

Последнее замечание знаменательно: «ненаучность» «Дневника» воспринимается читателями как момент сугубо положительный. «Я хочу прочесть тёплое, задушевное письмо, — пишет А.И. Дейниковский из местечка Гадяч Полтавской губернии, — а такое слово я нашел только (да, почти только) в вашем "Дневнике". Извиняюсь за сей P. S., в котором и дерзнул иметь суждение, я, уездный недоучившийся учитель»***.

Житель местечка Богач всё той же Полтавской губернии М.М. Данилевский полностью разделяет мнение своего земляка: «Признаюсь, что я узнал о Вашем "Дневнике" только в августе и с тех пор не могу оторваться от него; лучшего ничего я не читал. По-моему, Вы в "Дневнике" сразу возвысились над всеми писателями нашими, а может быть, и заграничными»****.

---

* *Волгин И.Л.* Письма читателей к Ф.М. Достоевскому. С. 188–189.

** Достоевский и его время. С. 272.

*** ИРЛИ. Ф. 100. № 29692. ССХI6.4. Письмо от 6 декабря 1876 г.

**** Там же. № 29690. ССХ16.4. Согласно почтовому штемпелю, письмо отправлено 13 ноября 1876 г.

Достоевскому даже предлагается бескорыстная читательская помощь. «Коли нет у Вас фактов резких и поражающих, — пишет Гребцов, — заведите у себя корреспондентов; я на первый раз к Вашим услугам. Господи, сколько страшных возмутительных историй, сколько трагических и потрясающих случаев мог бы я Вам сообщить»*.

Автор письма предлагает Достоевскому то, что практически уже осуществлялось на деле**.

Впрочем, большинство корреспондентов просто выражали своё личное отношение к «Дневнику»: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Фёдор Михайлович, за Ваш 1 февральский "Дневник". Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение духа, что спасибо вам. Мать»***.

Доверительность «Дневника писателя», его мощное, резко выраженное личностное начало, его высокое духовное напряжение, его исповедальность — всё это не могло не производить глубокого впечатления на читателя, уставшего от холодной риторики охранительной и либеральной печати.

Конечно, среди корреспонденции «Дневника», как и среди любой редакционной почты, попадаются письма маловыразительные, а порой — и курьёзные. Так, некто О.З. Левин из Самары, излагая принципы совершенно новой, «открытой» им философии, просит писателя высказаться в «Дневнике» в пользу его, Левина, наукообразных идей. На этом письме Достоевский кратко пометил: «Доморощенный философ (вздор)»****.

Однако, как правило, речь в письмах идет о предметах достаточно серьёзных. Это относится даже к тем самодеятельным стихотворным упражнениям, изрядное количество которых мы находим в архиве писателя.

Не будем высокомерно игнорировать эти неуклюжие откровения неистребимого поэтического духа. Нас в данном случае занима-

---

* Достоевский и его время. С. 273.

** Укажем несколько таких писем: С.Е. Лурье от 13 февраля 1877 г. (ИРЛИ. Ф. 100. № 29768. ССХІ6.7), Д.В. Карташова от 10 мая 1876 г. (Там же. № 29737. ССХІ6.7), К.И. Масляникова (РГБ. Ф. 93. Н.6.63), М.А. Юркевича от 11 ноября 1876 г. (ИРЛИ. Ф. 100. № 29911. ССХІ6.14).

*** Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 181.

**** ИРЛИ. Ф. 100. № 29757. ССХІ6.7. Письмо от 15 апреля 1877 г. Прилагая к письму изложение своего сочинения «Единство физических сил с точки зрения гипотезы непрерывного творчества эфирных частиц из небытия на границах пространства», Левин говорит, что защищаемые им идеи «слишком жизненны для того, чтобы они прошли бесследно для истории развития русской мысли».

ют не столько творческие способности авторов, сколько то, как реальные исторические обстоятельства влияли на их музу, какие струны затрагивал в них «Дневник писателя».

Житель города Киева Агафангел Архипов пишет: «Не вините за экспромтное послание, вызванное отчасти и Вашим уважаемым “Дневником писателя”, которому, сказать мимоходом, я сочувствую вполне... Буду, если пожелаете, посылать Вам время от времени кое-что. Много, конечно, не обещаю, но будет достаточно, как, надеюсь, увидите сами».

Сделав такое обнадёживающее заявление, Архипов переходит от прозы к стихам. Они называются «Ф.М. Достоевскому (многоуважаемому автору “Дневника писателя”)»:

Всюду — грустные картины:
Поникая головой,
Тщетно ищем мы причины —
Отчего наш край родной,
Русский край патриархальный —
Эпопейный, идеальный,
Отчего он так упал...
Обносился, обветшал?..
В деревнях везде тоскливо: Голод песен не поёт...
Только вот он, торопливо
В кабачок мужик идёт...
Там веселье разливное:
Молодецкое, хмельное,
Хлещет шумно, через край...
Вот он где, заветный рай![*]

И если, например, киевлянин Гребцов пишет Достоевскому: «Вы слишком благодушны: Вы словно игнорируете всю тьму и неурядицу»[**], то другого киевлянина — Архипова это кажущееся «благодушие» не может ввести в заблуждение. Стихи — в данном случае очень точный камертон.

Один читатель требовал от Достоевского более острой социальной критики. Другой — эту критику ощущал и даже откликался на неё стихами.

От публицистики в её «чистом» виде действительно можно было бы ожидать большей остроты. Но «Дневник» имел свою собствен-

[*] ИРЛИ. Ф. 100. № 29641. CCXI6.2. Письмо от 30 апреля 1877 г. На конверте помета Достоевского: «Стихи».

[**] Достоевский и его время. С. 272.

ную «сверхзадачу», при осуществлении которой его автор стремился избежать «лобовых» решений. При этом критика, объективно присутствующая в «Дневнике», действовала особенно эффективно как раз в силу своей «художественной зашифрованности».

Но, может быть, «Дневник» оказывал столь сильное воздействие лишь на неискушённую провинциальную публику и оставлял вполне равнодушными людей, так сказать, более «литературных»?

Забытая ныне писательница К.В. Назарьева между прочим замечает: «Каждый выпуск Вашего “Дневника” будит столько хороших струн в нашем подавленном обществе, что нет слов выразить, как хороша Ваша мысль делиться с обществом теми впечатлениями, которые Вы получаете в течение м<еся>ца. Ваша “Кроткая” — это верх психического анализа страдания. Вы — поэт страдания. Вы самый симпатичный, самый глубокий наш писатель»*.

Назарьева, можно сказать, принципиально не отделяет «чисто» художественное творчество Достоевского от его «дневниковой прозы». Ей в голову не приходит препарировать Достоевского так, как это делают Скабичевский и другие критики.

Профессор Харьковского университета Н.Н. Бекетов (брат деда А.А. Блока) пишет автору «Дневника»: «Фёдор Михайлович, пользуюсь правом, данным вами всякому читателю “Дневника”, сказать несколько слов. Не забыл я вас, хотя было мне всего 19 лет, когда я с вами расстался — с тех пор вы всё продолжали ваш неустанный труд изучения человеческой души. Чтение ваших произведений — это беседа с собственной совестью — до того они имеют общечеловеческий всеобъемлющий смысл»**.

Один из постоянных корреспондентов Достоевского прозаик и критик Всеволод Соловьёв отзывается о «Дневнике» почти в тех же выражениях, что и весьма далёкие от литературы читатели: «Дорогой мой голубчик, Фёдор Михайлович, сейчас прочёл июньский “Дневник” Ваш и совершенно нахожусь под его впечатлением... Прочтя его один раз, я уже, кажется, помню наизусть каждое Ваше слово, мне хотелось бы просто съесть эту дорогую тетрадку»***.

Следующее письмо тем более интересно, что оно не предназначалось Достоевскому. Его автор, известный публицист К.В. Лаврский обращается к своей матери (документ обнаружен нами в архиве Н.Я. Агафонова): «Читали ли Вы... “Дневник”? Какая прелесть

* Письма К.В. Назарьевой полностью опубликованы нами в журнале «Вопросы литературы» (1971. № 9. С. 179–181).

** РГБ. Ф. 93. Разд. II. Картон 1. Ед. хр. 75.

*** Письмо от 3 июля 1876 года // Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 182.

“Мальчик у Христа на ёлке”, “Мужик Марей”. А как хороша одна из первых глав в февральском номере, где он говорит о своём взгляде на народ. Мне кажется, я его понимаю во всей глубине его чувств и взглядов в этом отношении и потому чувствую к нему самое искреннее братское расположение...»[*]

Чем же было вызвано это «братское расположение»?

От чего «отрезвлял» «Дневник писателя»?

Один из читателей «Дневника» (упомянутый выше М.М. Данилевский) к обычной просьбе о подписке прибавляет следующее: «При этом не могу удержаться, чтобы не выразить Вам искренней благодарности за то величайшее счастье, которое я чувствовал, читая Ваш “Дневник”, который заставлял и меня, и всех, кому я его читал, и плакать и смеяться. Мне приходилось по три раза прочитывать каждый номер, и каждый раз я испытывал одинаковую радость, что у нас есть такие великие писатели, отрезвляющие ум и сердце»[**].

Не сговариваясь с ним, то же самое слово употребил преподаватель учительской семинарии из города Торжка Н. Горелов: «Не могу не сказать Вам спасибо за искренние, прямые, *отрезвляющие* речи»[***]. И, наконец, А.Ф. Гусев, профессор апологетики христианства Казанской духовной академии: «Позвольте... пожелать Вам дальше и дальше давать публике то глубоко полезное, *отрезвляющее* чтение»[****] (курсив везде наш. — *И. В.).*

В чём же заключалось «отрезвляющее» воздействие «Дневника писателя»?

Горелов пишет: «...среди напущенного тумана ваши беседы всегда затрагивали прежде сердце, а затем вступал в свои права разум и просветлялся логичностью мысли беседующего».

«Дневник» воздействует прежде всего «на чувство»; логическое выступает лишь «после» и как подтверждение «чувства». Читатель из Торжка, сам того не подозревая, постиг один из интимнейших секретов «Дневника», а именно — его «непублицистичность», антитеоретизм, его установку на целостное переживание. Иными словами — его «песенность».

«Под влиянием “Дневника”, — продолжает Горелов, — я сознаю, как я окреп во взглядах на самые дорогие стороны в жизни нашей

[*] Письмо от 21 марта 1876 г. // ИРЛИ. Ф. 13. № 275 (архив Н.Я. Агафонова).
[**] Там же. Ф. 100. № 26990. CCXI6.4.
[***] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 70.
[****] РГБ. Ф. 93. Разд. II. Картон 2.

родины; ваша любовь к народу и отечеству действовала на меня самым животворным образом»[*].

И об этом же — причём опять-таки в очень схожих выражениях — говорит М.М. Данилевский[**]:

«Дай бог, чтобы здоровье Ваше скорее поправилось, — вторит ему учитель Нарвской прогимназии К. Галлер, — чтобы Вы могли опять продолжать свой "Дневник". Примите и от меня мою искреннюю признательность за все свежие и новые мысли, которые я вычитал из "Дневника", где я особенно сочувствую Вашей любви к нашему простому народу, который и я привык любить и уважать...»[***]

Ни один — подчёркиваем это, ни один! — из корреспондентов Достоевского не заявляет о том, что в силу нашего традиционного устоявшегося представления о «Дневнике» мы могли бы ожидать. Никто не благодарит автора за отстаивание существующего порядка вещей или за поддержку каких бы то ни было охранительных взглядов.

Пишут о другом: о приятии взгляда Достоевского на народ, о своем сочувствии этому взгляду. «Ещё веришь, что настанет же когда-нибудь время, *когда начнут понимать русский народ или, по крайней мере, принимать его во внимание*»[****], — передаёт свои впечатления от «Дневника» писательница А.И. Ишимова.

Знаменательно, что большинство читателей «Дневника» уловили в нём самое главное: именно то, что вопрос о народе ставится Достоевским во главу угла и с разрешением этого вопроса связывается всё будущее России. При всех политических спорах и меняющихся общественных обстоятельствах такое категорическое указание придавало идеологической системе Достоевского видимость социально-психологической определенности и нравственной достоверности.

Могут возразить, что оппоненты Достоевского «слева» — революционные народники — указывали в ту же сторону, что и автор «Дневника». Но тут надо принять во внимание следующее обстоятельство.

Достоевский рассматривал народ в качестве источника и перводвижителя коренных социально-нравственных преобразований,

---

[*] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 70.

[**] ИРЛИ. Ф. 100. № 29690. CCXI6.4.

[***] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 64.

[****] РГБ. Ф. 93. Разд. III. Картон 5. Ед. хр. 39. Письмо от 4 апреля 1877 г. Подчёркнутые Ишимовой слова — неточная цитата из февральского (1877 г.) «Дневника». Любопытно, что Ишимовой адресовано последнее письмо Пушкина, написанное им накануне дуэли.

которые должны были, по мысли писателя, осуществиться принципиально безреволюционным путем.

Кто же были авторы этих писем?

Воссоздавая картину общественного развития 1870-х гг., мы нередко оставляем за скобками весьма значительные по численности социальные группы, относящиеся, если употреблять термин самого Достоевского, к так называемому «среднему обществу». Эта очень неоднородная и политически достаточно аморфная масса мелких чиновников, учителей, сельских священников, земских врачей и т. д. и т. п. была крайне неустойчива в своих симпатиях и антипатиях. Ее гражданские идеалы были чрезвычайно расплывчаты и неопределённы. Равно страшась крайностей реакции и революции, представители этих общественных слоев старались нащупать свой собственный, по возможности безболезненный путь.

«Дневник писателя» подавал надежду именно на это.

Он выводил реальные исторические противоречия в надысторическую сферу, разрешая их «в высшем смысле». Характерно, что рядовой читатель совершенно не чувствовал этого «отрыва» — именно в силу атеоретичности «Дневника», его «посюсторонности», насыщенности социально-бытовыми реалиями, его художественного реализма.

«Дневник писателя» в одно и то же время отрезвлял от иллюзий и вселял их. «Дневник» отрезвлял от нравственного индифферентизма, от самоуспокоенности и пренебрежительного отношения к народу. Не предлагая конкретного исторического решения, Достоевский пытался сформулировать наиболее общие этические предпосылки будущей «мировой гармонии». Но перенесение акцентов в нравственную сферу сообщает идеологической системе «Дневника» черты некоторой исторической иллюзорности.

Почему же большинство читателей «Дневника» не замечают этого? Дело, на наш взгляд, заключается в творческом методе «Дневника». Его концепция мира — прежде всего образ мира. Именно «художественность» (не только в чисто литературном, но и в идейном плане!) делает «Дневник» весьма уязвимым для строго рационалистической научной критики. Но, с другой стороны, именно «художественность» скрадывает логические обрывы и «неувязки» «Дневника» и придаёт его глобальным выводам высокую степень убедительности.

Отсюда можно понять, с какой надеждой ухватились за «Дневник» те, кто, колеблясь «между двух бездн», страшились сделать окончательный выбор и судорожно пытались найти опору в какой-либо «соединительной» концепции.

Но заключал лишь постольку, поскольку его собственная идеология не могла воплотиться ни в одной из существующих политических доктрин. Как только Достоевский предпринимал попытку такого «воплощения» (а он их предпринимал), он удостаивался комплиментов К.П. Победоносцева и Константина Леонтьева. Как только он отступал «назад» — к своим собственным идеалам, «в песню», — это вызывало инстинктивную насторожённость тех же Победоносцева и Леонтьева и неожиданную порой поддержку «слева». Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.

Консерватор или радикал?

«Такого цельного и полного консерватора я никогда не видел и не встречал, — вспоминает об авторе "Дневника" князь Мещерский. — Мы все были маленькими перед его грандиозною фигурой консерватора»[*].

Что ж, Мещерский не сообщает как будто ничего нового.

«Достоевский был враг современного женского вопроса, — пишет мемуарист. — ...А между тем эти стриженые и синеочковые девы, не подозревая ненависти к ним Достоевского, постоянно к нему лезли как к своему будто бы учителю»[**]. И далее Мещерский «припоминает» разговор Достоевского с одной из его поклонниц. Выслушав посетительницу, автор «Дневника» якобы обращается к ней со следующим монологом:

> «Всё, что вы говорили, пошло и глупо, понимаете вы, глупо: наука без вас может обойтись; а семья, дети, кухня без женщины не могут обойтись… У женщины одно призвание — быть женой и матерью… Другого призвания нет, общественного призвания нет и не может быть, всё это глупости, бредни, вздор…[***]»

Таким слогом изъясняется Достоевский в воспоминаниях князя. Ничего похожего, правда, мы не встретим у самого Достоевского. Это не его стиль, ибо писатель так не говорил.

Но оставим стиль на совести мемуариста. Быть может, он стремился прежде всего передать суть дела?

Обратимся теперь к первоисточнику. В майском «Дневнике» 1876 г. Достоевский высказывает свою «заветную идею»: в русской

---

[*] *Мещерский В.П., кн.* Мои воспоминания. Ч. 2 (1865–1881). СПб., 1898. С. 179.

[**] Там же. С. 180–181.

[***] Там же. С. 181.

женщине, по его мнению, «заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления». Далее автор «Дневника» пишет: «Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые даёт оно, Россия ещё раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества»[*].

Это нечто диаметрально противоположное тому, в чём с таким пафосом желает уверить нас Мещерский.

В июньском «Дневнике» за 1876 г. Достоевский излагает разговор с одной из своих посетительниц, молодой девушкой из Минска (С.Е. Лурье)[**]. «По уходе её мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин, — потребность самая настоятельная и именно теперь, ввиду серьёзного запроса деятельности в современной женщине, запроса на образование, на участие в общем деле. Я думаю, отцы и матери этих дочерей сами бы должны были настаивать на этом, для себя же, если любят детей своих»[***].

Подобные взгляды для Достоевского отнюдь не случайны: они вытекают из общего характера его мировоззрения. Недаром, завершая свой «Дневник», на последней странице его последнего выпуска он пишет: «...может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой *делать дело* и это до жертвы, до подвига»[****].

Эти слова не остались незамеченными. На имя Достоевского пришло письмо, которое в подлиннике занимает 30 страниц текста.

Автором этого письма является князь Н.Н. Голицын[*****].

В 1872–1875 гг. Н.Н. Голицын занимал пост подольского вице-губернатора, а позднее — начиная с 1879 г. — в течение четырёх лет был редактором «Варшавского дневника». Его перу принадлежит выдержавший несколько изданий «Словарь русских писательниц».

Он искренний единомышленник Мещерского, один из тех, кого его оппоненты «слева» относят к числу «деятельных реакционеров» 1870-х гг.

---

[*] Дневник писателя. 1876. Май (Несомненный демократизм. Женщины) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 23. С. 28, 29.

[**] Об этой посетительнице см. нашу публикацию: *Волгин И.Л.* Письма читателей к Ф.М. Достоевскому // Вопросы литературы. 1971. № 9. С. 181–182.

[***] Дневник писателя. 1976. Июнь (Опять о женщинах) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 53.

[****] Дневник писателя 1877. Декабрь (К читателям) // Там же. Т. 26. С. 127. См. также: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 252–256.

[*****] Род князей Голицыных / Сост. кн. Н.Н. Голицын. Т. 1. СПб., 1892. С. 193.

«Вы — искатель правды, — пишет Голицын, — вот права Ваши на всеобщее уважение в среде всех лагерей, всех партий!»* Однако, сделав подобный комплимент, Голицын спешит подчеркнуть, что он «далеко не разделяет всего, что говорилось в "Дневнике"», что он «далеко не согласен относительно многих и многих... из иллюзий "Дневника"»**.

Какие же «иллюзии» не разделяет князь Голицын?

В первую очередь он обрушивается на Достоевского за его взгляды по женскому вопросу. «Да где она, русская женщина? — с негодованием вопрошает Голицын. — Где наши Зинаиды Волконские, Елагины, Ростопчины, те русские матроны, которые воспитывали славянофилов и богатырей сороковых годов? Где теперь русские матери? Разве эти <нрзб> и педагогички, учащие умственному разврату чуть не с пеленок?»***

Весьма скептически относится Голицын и к стремлению русской молодёжи принять участие в освободительной борьбе славянских народов — стремлению, столь горячо приветствуемому на страницах «Дневника». «Меня не приводит в восторг, — пишет князь, — их стремление идти в Красный крест и лазареты, зная очень хорошо, что из них 80 % нигилисток, авантюристок, фельдшериц, акушерок, дочерей, живущих на воле и своевольно покинувших родной кров, жён — покинувших мужей, наконец, вообще, женщин эмансипированных и свободно гуляющих по белу свету».

Он приходит к заключению, что «русская женщина en masse пала до состояния последней умственной и физической блудницы, начиная от высших её сфер, куда быстро проникает подпольная интеллигенция, и кончая тою особою, которая стреляла в Трепова, и тем сонмом пропагандисток (или лучше сказать — публичных женщин), которыми красятся наши политические процессы»****.

Подобных моментов в письме Голицына предостаточно. Особое возмущение вызывает у него то обстоятельство, что Достоевский считает событием кончину Некрасова, что автор «Дневника» не только выступил с горячей речью на могиле поэта, но и посвятил ему целые главы своего моножурнала. «К чему же эти проводы, — возмущается Голицын, — эта народная скорбь, этот шум, демонстрация... Я спрашиваю, к чему?.. Хоронили сотоварища Чернышевского, "скорбного поэта", "певца горя народного", плаксивого деятеля,

* РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 1 об.
** Там же. Л. 2.
*** Там же. Л. 4 об.
**** Там же. Л. 4.

скорбящего и охавшиего всю жизнь, хотя, кажется, ему следовало после 19 февраля настроить свою лиру или гармонику на мажорный лад... Некрасов был один из великих развратителей России, один из корифеев между её погубителями... и, разумеется, честь ему и слава, венки и слёзы... Какая мерзость!»*

Возражения Голицына касаются не тех или иных частностей «Дневника», а, можно сказать, самых коренных вопросов. И тем не менее он числит Достоевского в своём стане и адресуется к нему как к единомышленнику.

Теперь обратимся к читательскому письму совсем иного рода. Оно написано политическим эмигрантом — М.П. Драгомановыми послано, по всей вероятности, из Женевы. Драгоманов пишет: «Не найдёте ли Вы возможности печатно высказаться по поводу частного применения тех общих мыслей, какие высказаны в Вашем "Дневнике" и какие лежат в основе моих брошюр... Мы бы вряд ли сошлись во многом, если бы стали по порядку говорить о политическо-социальных вопросах, — но я позволю себе сказать, что в основе идей и чувств — Вы наш, хлопоман (т. е. народолюбец. — *И. В.*)»**.

Осенью того же 1876 г. Достоевский получает ещё одно читательское письмо, автор которого скоро станет известен всей «подпольной России»: «Я скажу прямо, что жду от Вас помощи, а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому что знаю, что лучшего врача не найду»***.

Эти обращённые к Достоевскому строки принадлежат одной из тех «эмансипированных» женщин, чья деятельность вызвала такую ненависть князя Голицына. Через год автор этого письма будет перевязывать раненых в Болгарии, а ещё через несколько лет войдет в состав Исполнительного комитета «Народной воли». Её имя — А.П. Корба. Хотя в 1876 г. она ещё не успела вступить на путь, поведший к цареубийству 1 марта 1881 г. и обрёкший её на долгие годы карийской каторги. И тот факт, что А.П. Корба ищет нравственной опоры в «Дневнике», по-видимому, не случаен****.

В 1880 г. будущий великий физиолог И.П. Павлов пишет своей невесте: «Прочти, прочти непременно "Дневник". Достоевский за-

---

* РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 7–8 об.

** Письмо от 26 сентября 1876 г. См.: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935. С. 53.

*** Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. С. 52.

**** О А.П. Корбе и её возможной роли в «предсмертной коллизии» вокруг автора «Дневника» см.: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского.

говорил в нём не хуже всякого радикала» И ещё через полгода: «Думала ли ты, моя дорогая, что наш Достоевский мог быть таким социалистом, радикалом!»[*].

Эти свидетельства современников дают основания утверждать, что в их глазах «Дневник» не выглядел неким ретроградным изданием. Подобную репутацию усердно создавала ему позднейшая, преимущественно либеральная критика.

Пожалуй, в истории русской журналистики мы больше не встретим примера, когда одно и то же издание вызывало бы столь противоречивые суждения. Каждый ищет и находит в «Дневнике» что-то своё. Так, Голицын и Драгоманов, будучи прежде всего политическими деятелями, обращаются к «Дневнику» как к «чистой» публицистике. Для них «Дневник» лишь сумма тех или иных взглядов, мнений, точек зрения. Им, по-видимому, не приходит в голову, что все эти «точки зрения» объединяются некоей внутренней доминантой, определяющей целостность «Дневника» и выводящей его за пределы традиционного публицистического жанра.

Как целостность воспринимали «Дневник» чаще всего именно рядовые читатели. Может быть, в силу своего непосредственного восприятия они угадывали в «Дневнике» то, чем он являлся на самом деле.

Без «последнего» слова

«Февральский № , — пишет Алчевская, — понравился нашему кружку ещё больше I-го, особенно дело Кроненберга. Я тем не менее остаюсь верна рассказу “Мальчик у Христа на ёлке” и признаю это chef-d’oeuvre-ом “Дневника писателя”». Алчевская ставит в один ряд художественный вымысел и действительный случай, ребёнка «придуманного» (герой рассказа «Мальчик у Христа на ёлке») и ребёнка реального (дочь Кроненберга). «Впрочем, — добавляет Алчевская, — и “Мужик Марей” мне очень тоже понравился и, говорят, что и то и другое я прочла с большим пониманием и увлечением на наших литературных вечерах»[**].

На литературном вечере можно было прочесть «с большим увлечением» трогательную историю о замёрзшем мальчике, который попадает «к Христу на ёлку». Это — «литература». Но на литературном вечере немыслимо «с увлечением» читать дышащую болью

[*] Москва. 1959. № 10. С. 155, 177.
[**] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 56.

и гневом статью об истязаниях семилетней девочки. Ибо это уже «не-литература». Здесь нет катарсиса, нет очищении, нет ангелов, парящих вокруг потусторонней ёлки.

В «Дневнике писателя» жизнь и литература как бы растворялись друг в друге. Они не существовали рядом, подле, раздельно, а именно сливались, сталкивались, совоплощались. Реальный факт и факт художественный «работали» и взаимодействовали друг с другом в рамках единой системы, у которой — заметим это особо — нет аналогов в истории мировой журналистики.

Правда «в высшем смысле» была одна. Но — какая?

Л.Ф. Суражевская (псевдоним — Элес) пишет из Твери: «Вы хорошо говорите, т. е. Вы плачете хорошо и других плакать заставляете? Ведь Вы же правду говорите. Вы не кокетничаете впечатлительностью. Вы всё это знаете, видели, чувствовали, что пишете, или как?» Страждущий понимает страждущего — и читательница «Дневника» услышала то, чего не хотели слышать многоопытные газетные критики.

«Ведь всё время, — пишет Суражевская, — Вы <нрзб> одну и ту же ноту, во всём всё то же настроение, мне кажется, недовольство жизнью, потребность другой, лучшей?» Читательница очень точно уловила его основную ноту — «недовольство жизнью», неприятие «лика мира сего». Почувствовала она и другое, не менее важное: потребность лучшей жизни.

Она желает знать не только «что», но и «как». И с поразительной, чисто женской интуицией она высказывает вдруг одно подозрение.

Она подозревает Достоевского в *незнании*.

> Неужели Вы тоже *только спрашиваете* (курсив автора письма. — *И. В.),* неужели весь смысл жизни терпеть… Отчего Вы ни разу не проговорились ответною мыслью, хоть бы в виде предположения…[*]

Вспомним: «Вот если бы г. Достоевский указывал, где взять капиталы...» Он знал другое. «Жизнь хороша, и надо так сделать, чтоб это мог подтвердить на земле всякий»[**].

В «Сне смешного человека» Достоевский скажет: «Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей»[***].

---

[*] ИРЛИ. Ф. 100. № 29938. CCXI6.15.

[**] Литературное наследство. Т. 83. 1971. С. 623.

[***] Дневник писателя. 1877. Апрель (Сон смешного человека) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 118.

«Сон смешного человека» назван его автором «фантастическим рассказом». Мечта о «довольстве демоса» — «одна, положим, фантазия». Мысль об искренности в общественных вопросах — «фантастическая мысль». Слово это положительно преследует Достоевского.

Но преследует не одно лишь слово. Неотступна сама фантазия.

Как только автор «Дневника» заговаривал о своей положительной программе, — он становился «фантастом». Ибо его «программа» была проекцией в будущее. Он полагал, что это будущее органически вырастает из настоящего. На самом деле — оно отрицало настоящее.

Может быть, оттого он и не желал сводить своё «как» к определённому образу действия, к формуле.

«Формулой» был весь «Дневник писателя».

Между тем ответ хотели найти в той или иной его главе. «...“Дневник” оставляет в вас какое-то неполное впечатление, и всем нам кажется, что чего-то в нём нет»*, — публично заявлял Скабичевский. Ему вторит в частном письме Гребцов: «Но вы не доводите до конца. Доведите — и успех будет громадный»**. И, наконец, Суражевская: «Отчего Вы ни разу не проговоритесь ответною мыслью, хотя бы в виде предположения».

В последнем Суражевская ошибалась. Он «проговаривался» — и именно «в виде предположения». Но тут же сам называл свое предположение «фантастическим».

Доводить мысль до конца было опасно, ибо в структуре «Дневника» мысль не равна самой себе.

В своих воспоминаниях Всеволод Соловьёв приводит следующий эпизод. Автор воспоминаний узнаёт о намерении Достоевского завести «Дневник» — тогда ещё на страницах «Гражданина».

> — Ведь это, — заметил я, — такая удобная форма говорить о самом существенном, прямо и ясно высказаться.
>
> — Прямо и ясно высказаться! — повторил он, — чего бы лучше и конечно, о, конечно, когда-нибудь и можно будет; но нельзя, голубчик, сразу никак нельзя, разве я об этом не думал, не мечтал!., да что же делать… ну, и потом, есть вещи, о которых если вдруг, так никто даже и не поверит…***

---

* Биржевые ведомости. 1876. № 36. 6 февр.

** ИРЛИ. Ф. 100. № 29682. CCXI6.3.

*** Исторический вестник. 1881. № 3. С. 607. речь в “Дневнике”, многое затронул, но ничего ещё не довёл до конца, и ободрял не робеть (курсив Достоевского. — *И. В.)».*

Через несколько лет, в письме к тому же Вс. Соловьёву, автор «Дневника» развивает эту, по-видимому, совсем не случайную для него мысль: «Я никогда еще не позволял себе в моих писаниях довести *некоторые* мои убеждения до конца, сказать *самое последнее* слово. Один умный корреспондент из провинции укорял меня даже, что я о многом завожу речь в "Дневнике", многое затронул, но ничего ещё не довёл до конца, и ободрял не робеть (курсив Достоевского. — *И. В.*)».

Далее Достоевский даёт следующее объяснение подобной недосказанности: «Поставьте какой угодно парадокс, но не доводите его до конца, и у вас выйдет и остроумно, и тонко, и comme il faut, доведите же иное рискованное слово до конца, скажите, например, вдруг: "вот это-то и есть Мессия", прямо и не намеком, и вам никто не поверит именно за вашу наивность, именно за то, что довели до конца, сказали самое последнее ваше слово»[*].

Автор «Дневника» в сущности раскрывает здесь один из важнейших принципов своего миротворчества. Привнося в «Дневник писателя» элементы романного мышления, Достоевский тем самым распространял на эту дневниковую прозу наиболее общие закономерности своего художественного метода.

«Тот катарсис, который завершает романы Достоевского, — пишет Бахтин,— можно было бы — конечно, не адекватно и несколько рационалистично — выразить так: ничего окончательного в мире ещё не произошло, последнее слово мира и о мире ещё не сказано, мир открыт и свободен, ещё всё впереди и всегда будет впереди»[**].

«Последнее слово» не изречено и в «Дневнике». «Дневник» (как целое) открыт в будущее. Но будущее здесь фантастично, ибо оно не результат строгого научного расчета, не логически доказуемая возможность, а «всего лишь» надысторическая проекция, утопия, «песня».

Но случалось, что «Дневник писателя» как бы отрицал самоё себя.

Февральский выпуск «Дневника писателя» 1877 г. заканчивался следующими словами: «Прежде, чем проповедовать людям: "как им быть" — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю!.. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чём вся тайна первого шага»[***].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29_2. С. 101–102.

[**] *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 223.

[***] Дневник писателя. 1877. Февраль (Русское решение вопроса) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 63.

На этом февральский «Дневник», собственно, завершался. Но после всего, на самой последней странице следовал как бы post-scriptum:

В редакцию «Дневника писателя» пришло следующее письмо:

Милостивый государь Фёдор Михайлович!

12 января я послал на ваше имя 2 р. 50 к., прося Вас выслать мне ваше издание «Дневник писателя»; из газет я узнал, что 1 нумер вышел 1-го февраля; меж тем я ещё не получил его!

Не знаю, как для Вас, — а для меня подобный образ отношений к подписчикам кажется более чем оригинальным!

Если Вы вздумаете когда-нибудь выслать мне ваше издание — прошу адресовать: г. Новохоперск, врачу при городской земской больнице, В. В. К-ну.

Г. Новохоперск, 25.11.1877 В. К-н*.

Тут же Достоевский помещает свой ответ, с подчёркнутой безличностью названный «ответом редакции». Объяснив причины задержки (потери номеров на почте), автор «Дневника» заключал: «...Вы, милостивый государь, изо всех предположений: почему мог не дойти к Вам номер, — выбрали не колеблясь одно, именно обман со стороны редакции.

<...> Вследствие чего редакция спешит выслать Вам Ваши 2 р. 50 коп. обратно и просит уже более её не беспокоить. Принуждена же сделать это из понятного и естественного побуждения, которому Вы, милостивый государь, вероятно не удивитесь»**.

Инцидент, казалось бы, исчерпан. Во всяком случае, на страницах «Дневника» мы больше не встретим об этом ни слова.

Однако переписка «редакции» с врачом из Новохоперска имела свое продолжение.

В архиве Достоевского мы находим следующее письмо:

Многоуважаемый государь Фёдор Михайлович. Прочитав февральский выпуск «Дневника», я был тронут до глубины души Вашей проповедью о христианской любви и смирении. Сознаюсь, многое указали Ваши строки и невольно заставили задуматься и заглянуть в себя, даже скажу

* Оригинал этого письма сохранился (ИРЛИ. Ф. 100. № 29731. CCXI6.6). Его автор – Виссарион Васильевич Каверин.

** Дневник писателя. 1877. Февраль (Ответ на письмо) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 64.

больше, когда я прочёл в конце следующие слова: «А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага», — у меня при всей моей греховности пробила слеза умиления.

Но, увы! Перевернув страницу, я случайно увидел Ваш ответ на письмо доктора из Новохоперска, то невольно подумал, как часто бывает слово далеко от дела, даже у таких последовательных мыслителей, как Вы, Фёдор Михайлович!

Из Вашего ответа ясно видно, что Вы забыли и «самообладание» и «самоодоление» и с глубокой тонкостью посрамили своего «ближнего» перед целым городком, где всякий промах собрата делается общим достоянием для смеха и пересудов.

Я указал факт, который меня поразил своим противоречием, и далее предоставляю судить Вам, как специалисту в деле человеческих чувств и мыслей… Не желая отдавать своё христианское имя на посмеяние, подобно доктору из Новохоперска, фамилии подписать не решаюсь, — если тут недоверие, то оно порождено Вами. Остаюсь почитатель вашего таланта

NN.

Апрель 7 дня, Москва 1877*.

Достоевский сделал на этом письме энергичную помету: «За доктора. Аноним. Отвечать в газете».

Он не ответил — ни в газете, ни в «Дневнике». Да и что он мог ответить? Читатели только «указали на факт», но сам этот факт таил в себе горькую насмешку. Автор «Дневника», столь горячо призвавший «исполнить на себе» мировую преобразовательную задачу, тут же нарушал свой нравственный призыв. Ибо не мог (не знал, *как)* «перевернуть страницу».

Позитивный идеал «Дневника писателя» не удавалось осуществить даже на микросоциальном уровне. Он оставался «песней».

---

* ИРЛИ. Ф. 100. № 29950. CCXI6.15. Ср. с другим письмом аналогичного содержания (опубликовано нами в: *Волгин И.Л.* Письма читателей к Ф.М. Достоевскому. С. 191–192.

Из главы 7

ЧТО ЖЕ ЕСТЬ ИСТИНА?

Восточный вопрос в «Дневнике писателя»

«Выход в полноту истории...»

Весной 1875 г. вспыхнуло славянское восстание в Герцеговине, летом того же года оно охватило Боснию; весна 1876 г. ознаменовалась резнёй, учинённой турками над мирным населением Болгарии; вслед за этим маленькая Сербия объявила войну Блистательной Порте; наконец, 12 апреля 1877 г. выступила Россия: русские войска перешли Дунай.

«Вечный» восточный вопрос вступил в новую критическую фазу.

Кульминация восточного кризиса совпала по времени с периодом, быть может, наиболее активной журналистской деятельности Достоевского.

В идеологическом комплексе «Дневника писателя» восточный вопрос занимает особое место. Это тот идейно-композиционный стержень, который пронизывает большинство выпусков «Дневника» и вокруг которого в той или иной степени группируются почти все остальные части издания.

Чем объяснить это обстоятельство?

Восточный вопрос заключал для Достоевского ни с чем не сравнимую глобальную значимость

«Одним словом, — писал автор "Дневника", — этот страшный Восточный вопрос — это чуть не вся судьба наша в будущем. В нём заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории»[*].

Никто из современников Достоевского не ставил вопрос таким образом и в таком объёме.

---

[*] Дневник писателя. 1877. Март (Самые подходящие в настоящее время мысли) //Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 74.

Какой же именно аспект восточного вопроса наиболее глубоко преломлялся в сознании Достоевского?

Это — реализация исторического предназначения славянства в мировом историческом процессе, это «идея славянская... идея... судеб человеческих и Европы»*. Автор «Дневника» как бы сопрягает факты текущей действительности с «мировой гармонией», с «конечными» мировыми целями.

Либеральная критика упорно подчёркивала реакционные стороны «Дневника писателя», акцентируя внимание на «агрессивности» его внешнеполитических тенденций.

Некоторые исследователи склонны даже ставить знак равенства между взглядами Достоевского на славянский вопрос и «восточной» политикой царского правительства.

Не менее живуча и другая точка зрения, согласно которой позиция Достоевского в славянском вопросе не выделяется из общей достаточно аморфной программы поздних славянофилов и нередко отождествляется с последней. Говоря о его публицистике, как правило, подчёркивают скандальность отдельных положений («Константинополь должен быть наш» и т. д.) — без их всестороннего анализа, вне связи с целым.

Правда, никто не ставит под сомнение искренность Достоевского и его сочувствие борьбе славянских народов. Но подобное сочувствие было в 1876–1877 гг. характерно для самых различных кругов русского общества.

Слов нет, Достоевский воспринял многие существенные стороны славянофильской доктрины и нередко опирался на неё в своих рассуждениях. Терминология его статей нередко соответствует канонам славянофильской школы. Но посмотрим внимательнее.

Реальная политическая обстановка весной и летом 1876 г. складывалась таким образом, что речь могла идти либо о решительном освобождении балканских народов из-под гнета Оттоманской империи, либо об увековечении турецкого владычества.

Между тем западная дипломатия всячески стремилась оттянуть развязку, утопить восточный вопрос в бесконечных и бесплодных переговорах, пойти на сделку с Турцией за счёт её восставших подданных. Достоевский, писавший свои романы «руками, дрожащими от гнева», великий ходатай за всех униженных и оскорблённых, остаётся верен себе и в своем «Дневнике». С величайшим негодованием, с глубокой личной болью говорит писатель о равнодушии

* Дневник писателя. 1877. Январь (Три идеи) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 9.

к борьбе славян, о невозмутимости официальной Европы , которая ждёт, «когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли — Европе досаждающие, её тревожащие»[*].

Но и правящие круги России не спешили ввязываться в грозящие непредвиденными осложнениями балканские дела. А.А. Краевский писал А.Д. Градовскому: «У нас о войне не хотят слышать и собираются преследовать карами эту мысль в печати. Мне удалось слышать такое изречение от лиц, собственноушно слышавших его: "Я изо всех сил стараюсь улаживать мирное разрешение дела, а печать хочет меня поссорить с Европою; это нельзя допустить"».

Александр II, прочитавший приведённое письмо в перлюстрации, не замедлил засвидетельствовать истинность изложения Краевским его монарших намерений. «Весьма здравые мысли, — начертал император, — и совершенно согласные с моими»[**].

Даже такой близкий к придворным сферам публицист, как князь В. Мещерский, толкует о «ненависти высшего петербургского общества к славянству» и о «страхе войны»[***]: «Наши князья, бояре и воеводы говорят громко: уж этот славянский вопрос, надо его затушить — сунемся, и нас опять побьют, опять зададут Севастополь»[****].

Итак, весной и летом 1876 г. правительственные круги предпочитали сохранять в славянском вопросе известную сдержанность.

Теперь посмотрим, правы ли те исследователи, которые склонны отождествлять официальную политику царского правительства с идейной программой Достоевского.

Чёрные трупы на крестах

«Теперешний мир, — пишет автор "Дневника" в апреле 1876 г., — всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять»[*****].

---

[*] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Самое последнее слово цивилизации) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 23. С. 61.

[**] *Никитина С.А.* Славянские комитеты в России. М., 1960. С. 295.

[***] Правда о Сербии. Письма кн. В. Мещерского. СПб., 1877. С. 376. уж этот славянский вопрос, надо его затушить — сунемся, и нас опять побьют, опять зададут Севастополь».

[****] Там же. С. 378.

[*****] Дневник писателя. 1876. Апрель (Парадоксалист) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 22. С. 124–125.

«Если Бог пошлёт славянам успех, то до какого предела в успехе допустит их Европа? — спрашивал Достоевский. — Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой? Последнее очень трудно предположить. Не решат ли, напротив, после нового и торжественного консилиума, опять лечить его?..»*

Летом 1876 г. дипломатам пришлось немало поработать: министры составляли ноты, императоры встречались в Рейхштадте, развязка, естественная в данных условиях, отдалялась.

Негативное отношение к дипломатическому торгу вокруг восточного вопроса вовсе не было присуще одним славянофилам. Вот что писал в «Отечественных записках» Н.К. Михайловский: «Мы находимся или накануне великого исторического события, если славянам удастся протискаться на свободу сквозь сеть дипломатических тонкостей и гнилые путы турецкого владычества, или же накануне одной из позорнейших страниц истории человечества, если и теперь "больной человек" останется владыкой людей здоровых»**.

Идея освобождения славян с помощью России не была исключительно славянофильской. Еще в 1867 г. А.И. Герцен писал в «Колоколе»: «Может, и правительство наше <...> вспомнит, что есть ещё несчастные славяне, их соотчичи, разоряемые беспорядком, задавленные немцами, расстреливаемые генералитетом, и созовёт их на общую думу вместе погоревать, потужить да посоветоваться сообща, как горю пособить»***.

В связи с этой статьей М.А. Бакунин адресовал Герцену упрёк в том, что последний как будто завидует «настоящей деятельности Аксакова, Самарина et comp<anie>»****.

«Никогда Герцен не мог сойти за панслависта в духе императора Николая и профессора Погодина, — писал Огарёв, — и я вижу глубокое различие между панславизмом и освобождением славянских народов, ибо панславизм — только филологическая фантазия, тогда как освобождение из-под турецко-австро-мадьярского гнёта становится исторической необходимостью и требованием гуманности»*****.

Огарёв подчеркивает, что для России не может быть безразлично будущее славянского мира******.

---

* Дневник писателя. 1876. Июнь (Восточный вопрос) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 45.

** Отечественные записки. 1876. Октябрь. С. 236.

*** *Герцен А.И.* Славянская агитация // Колокол. 1876. № 241. 15 мая.

**** Письма М.Л. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огарёву. СПб., 1906. С. 303.

***** Литературное наследство. Т. 63. С. 156–157.

****** Там же.

Таким образом, даже убеждённые противники власти вполне допускали использование государственной мощи царской России в качестве внешней силы, объективно способствующей делу национального освобождения. Недаром, заканчивая свой ответ Бакунину, Огарёв замечает: «Но ты не можешь не видеть, что рано или поздно Россия и только Россия придёт на помощь освобождению славян. Это стремление — историческое тяготение, от которого так же невозможно уйти,как от земного тяготения»[*].

Эту закономерность осознавали не только русские публицисты. О ней писали некоторые мыслители и на Западе.

«В чем состоит status quo? — спрашивал Энгельс. — Для христианских подданных Порты это означает просто увековечение их угнетения Турцией. И пока они остаются под игом турецкого владычества, они будут видеть в главе греко-православной церкви, в повелителе 60 миллионов православных, своего естественного освободителя и покровителя»[**].

Но если, например, для противников самодержавия государство было лишь орудием исторической необходимости, то Достоевский искренне полагал, что монархическая Россия вполне сознательно способна выполнить свою освободительную миссию.

Исчерпывалось ли, однако, таким подходом отношение автора «Дневника» к восточному вопросу?

В июньском «Дневнике» за 1876 г. Достоевский в полном соответствии со славянофильской традицией пишет о единении всего славянства «под крылом России». «И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий...»[***]

Через год, когда русские войска уже вступят на Балканы, автор «Дневника» заметит: «О да, да, конечно — мы не только ничего не захватим у них, но именно тем самым обстоятельством, что чрезмерно усилимся (союзом любви и братства, а не захватом и насилием), — тем самым и получим наконец возможность не обнажать меча...»[****]

---

[*] Литературное наследство. Т. 63. С. 156–157.

[**] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 9. С. 31–32.

[***] Дневник писателя. 1876. Июнь (Утопическое понимание истории) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 47.

[****] Дневник писателя. 1877. Апрель (Не всегда война бич, иногда и спасение) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 100.

Итак, Россия призвана освободить славян. В этом Достоевский сходится с «партией» Ивана Аксакова. Как, впрочем, и с Огарёвым. Но какими мотивами должна при этом руководствоваться Россия?

В одном из выпусков своего «Дневника» Достоевский поминает недобрым словом тогдашнего руководителя английской внешней политики лорда Биконсфильда (Дизраэли): «Что же, — подумает Биконсфильд, — эти чёрные трупы на этих крестах... гм... оно, конечно... (речь идет о турецких зверствах в Болгарии. — *И. В.)* А впрочем, "государство не частное лицо; ему нельзя из чувствительности жертвовать своими интересами, тем более, что в политических делах самоё великодушие никогда не бывает бескорыстное". — Удивительно, какие прекрасные бывают изречения, — думает Биконсфильд, — освежающие даже, и главное, так складно. В самом деле, ведь государство... А я лучше, однако же, лягу...»*

Мы подошли к одному из стержневых моментов мировоззрения Достоевского. Речь идет о неделимости морали. Нравственность не подразумевает множественности альтернатив. Рассуждения лорда Биконсфильда — дань британскому (в данном случае «общеевропейскому») ханжеству. «Нет, — "отвечает" Достоевский, — надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить»**. Эту мысль автор «Дневника» отстаивает с чрезвычайной последовательностью и упорством: «...Выступают политики, мудрые учители: есть, дескать, такое правило, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости!»***

Но ведь по сути дела подобный вопрос стоял перед Родионом Раскольниковым: можно ли *в иных* случаях «преступить», обязана ли уверенная в себе сила руководствоваться тем же нравственным кодексом, что и «тварь дрожащая»?

---

* Дневник писателя. 1876. Сентябрь (Piccola bestia) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 111.

** Дневник писателя. 1877. Февраль (Меттернихи и Дон-Кихоты) // Там же. Т. 25. С. 51.

*** Там же. С. 48.

Вывод, который делает автор «Дневника писателя», на первый взгляд, чрезвычайно прост: «Что правда для человека как лица, то пусть остаётся правдой и для всей нации»[*].

Этика Достоевского не терпит раздвоенности: совесть, как и мораль, неделимы. Попробуем с этой точки зрения рассмотреть отношение Достоевского к насилию.

Насилие — не тот метод, который мог бы рекомендовать Достоевский для разрешения личных и общественных недоумений.

Действует ли, однако, этот принцип безоговорочно, при любых исторических обстоятельствах?

Можно ли убивать турку?

Летом 1877 г. русские войска перешли Дунай. И какими бы мотивами ни руководствовалось петербургское правительство, решившись на эту войну (причём решившись под давлением, крайне неохотно), русские солдаты несли балканским народам желанную свободу.

Достоевский пишет в апрельском «Дневнике»: «Подвиг самопожертвования кровью своею за всё, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъём духа нации ради великодушной идеи — есть толчок вперед, а не озверение»[**].

В принципе Достоевский самым решительным образом осуждает войну. Он с негодованием пишет о войне «...из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков <...> Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже совсем губят народы <...>»[***].

Вместе с тем автор «Дневника» подчёркивает, что «...Россия составляет собою, в теперешний исторический момент всей Европы, как бы некоторое исключение <...>»[****]. <...> [П]олезною оказывается лишь та война, — продолжает писатель, — которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губи-

[*] Дневник писателя. 1877. Февраль (Меттернихи и Дон-Кихоты) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 50.

[**] Дневник писателя. 1877. Апрель (Не всегда война бич, иногда и спасение) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 25. С. 98.

[***] Дневник писателя. 1877. Апрель (Спасает ли пролитая кровь?) // Там же. С. 102.

[****] Дневник писателя. 1877. Апрель (Не всегда война бич, иногда и спасение) // Там же. С. 99.

ли их. Не мы, так дети наши увидят, чем кончит Англия. Теперь для всех в мире уже "время близко". Да и пора»[*].

Насилие в «Дневнике писателя» признаётся нравственным и необходимым, когда речь идёт о том, чтобы уничтожить порядок вещей, при котором совершается насилие над человеческой личностью. Человек, защищающий свою жизнь и свободу или свободу и жизнь ему подобных, имеет право и обязан поднять оружие.

И если уяснить себе это обстоятельство, то не столь уж неожиданным покажется ответ Алёши Карамазова на вопрос, заданный Иваном, — что следует сделать с генералом, затравившим охотничьими псами крестьянского мальчика.

В «Братьях Карамазовых» Достоевский ставит своих героев перед такой же моральной дилеммой.

Вспомним всё тот же разговор Ивана с Алёшей: мысль о невозможности, нравственной недопустимости всеобщей гармонии, воздвигнутой на слезинке одного замученного ребёнка.

Но вот какими словами изображает Достоевский отношение «Европы» к балканским событиям: «Нет уж лучше пусть где-то там в глуши сдирают кожу. <...> Надо потушить Восточный вопрос и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоят ли две, три каких-нибудь кожицы спокойствия всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысяч кож — не всё ли равно?»

«Это учение, — восклицает писатель, — очень распространено и давнишнее, но — да будет и оно проклято! Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допустилось злодейство»[**].

Это убеждение проистекает из того же источника, какой питает и «Братьев Карамазовых».

Тут следует остановиться на одном в высшей степени знаменательном споре. Хотя спорящей стороной был, собственно, только Достоевский.

В одном из выпусков «Дневника» Достоевский подверг резкой критике только что вышедшую из печати восьмую часть «Анны Карениной».

Исходя из рассуждений толстовского героя, Достоевский рисует такую фантастическую сцену:

---

[*] Дневник писателя. 1877. Апрель (Спасает ли пролитая кровь?) // Достоевский Ф.М. ПСС. С. 103.

[**] Дневник писателя. 1877. Февраль (Меттернихи и Дон-Кихоты) // Там же. Т. 25. С. 48, 49.

Представим себе <…> стоит Лёвин уже на месте, там, с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребёнку, который уже у него в руках. Семилетняя сестрёнка мальчика кричит и как безумная бросается вырвать его у турка. И вот Лёвин стоит в раздумье и колеблется:

— Не знаю, что сделать. Я ничего не чувствую. Я сам народ. Непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.

Нет, серьёзно, что бы он сделал после всего того, что нам высказал? Ну, как бы не освободить ребёнка? Неужели дать замучить его, неужели не вырвать сейчас же из рук злодея турка?

Да, вырвать, но ведь, пожалуй, придётся больно толкнуть турка?

Ну и толкни!

Толкни! А как он не захочет отдать ребёнка и выхватит саблю? Ведь придётся, может быть, убить турку?

Ну и убей!

Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку. Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребёнку и замучает его, а я уйду к Кити*.

Автор «Дневника» до предела «обостряет» ситуацию. Ибо точка зрения Толстого не могла не вызвать у него глубочайшего неприятия.

Достоевский с удивительной прозорливостью уловил в рассуждениях Лёвина зачатки того миросозерцания, которое получит окончательное воплощение лишь через несколько лет и стяжает Толстому славу «апостола непротивления».

Каким же образом разрешает сам Достоевский эту мучительную нравственную коллизию?

Он пишет: «Как же быть? дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальничание, это исступлённая прямолинейность, это самое полное извращение природы»**.

Достоевский видит только один исход: «Но выкалывать глаза младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетённых накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда»***.

Несомненно одно: писатель, которого его многочисленные интерпретаторы — и в России и за рубежом — почитают как вели-

* Дневник писателя. 1877. Июль — август (Сотрясение Лёвина <...>) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 25. С. 220.

** Там же. С. 222.

*** Там же. С. 221.

чайшего поборника христианского смирения, со всей ответственностью признаёт необходимость *физически* противиться злу.

Он призывает обнажить меч ради слезинки «всё того же» ребёнка*.

Неплодотворно противопоставлять Достоевского-художника Достоевскому-мыслителю. Ибо «противоречия» обнаруживаются не столько между его романистикой и публицистикой, сколько коренятся внутри его творческой системы.

Достоевский пытается доказать, что истинное самодержавие и истинное православие будут способны на практике осуществить заповеди Христа или, выражаясь иначе, внести христианское начало в сферу реальной политики.

Трудно, однако, представить российскую монархию, осуществляющую идеалы Нагорной проповеди, равно как и лишённую самостоятельности государственную церковь, освящающую всечеловеческое братство. Но в подходе Достоевского к восточному вопросу заключалась именно такая *гипотеза*.

Автор «Дневника» полагал, что развязка восточного кризиса должна изменить духовный лик Европы.

Но этого мало. Достоевский придавал громадное значение, так сказать, обратному влиянию — воздействию восточного кризиса на внутреннее состояние самой России.

Автор «Дневника» усматривал в движении солидарности со славянами глубочайший этико-исторический смысл. Достоевский различал в этом народном сочувствии потенциальную возможность совершенно исключительного для России социального исхода.

В чём же состояла идея Достоевского?

Еще в 1860-х гг. он выступал в качестве одного из главных поборников «почвенничества». Он не уставал возвращаться к мысли о нравственном слиянии образованного общества с народом, он пишет об их духовном соединении. Синтез европейской образованности с «почвой», возвращение интеллигенции к национальным истокам, преодоление нравственного разрыва между «верхом» и «низом» — здесь таился, по мысли Достоевского, ключ к будущему России.

В 1860-х — 1870-х гг. «почвенничество» не осознавалось современниками как самостоятельное течение и нередко смешивалось ими с представлениями позднего славянофильства.

---

* Кстати, Достоевский одним из первых высказал мысль об уголовной ответственности за военные преступления и преступления против человечности — что было, как известно, осуществлено в международном масштабе лишь после Второй мировой войны (см.: Дневник писателя. 1877. Ноябрь (Самый лакейский случай, какой только может быть) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 26. С. 75).

В «Дневнике писателя» «почвенничество» как бы обретает новое дыхание. Но теперь оно получает некоторую историческую санкцию.

Беспримерный общественный подъём 1876 г. является в глазах Достоевского исключительной исторической возможностью для России и блистательным подтверждением теоретических прогнозов «почвенников». Судьба как будто давала автору «Дневника» возможность проверить истинность его идеалов, достроить здание до конца.

Завершая июльско-августовский выпуск «Дневника» за 1876 г., Достоевский говорит: «Нынешнее лето, знаете ли вы, что нынешнее лето в нашей истории запишется? И сколько недоумений русских разом разъяснилось, на сколько вопросов русских ответ получен! Для сознания русского это лето было почти эпохой»[*].

До сих пор во всех изданиях «Дневника писателя» главка «Оригинальное для России лето» оканчивается приведёнными выше словами. Но в наборной рукописи этого выпуска, хранящейся в Пушкинском Доме, нам удалось обнаружить ещё одну фразу, следующую за приведённой. Она-то первоначально и завершала главку, но затем не попала в окончательный вариант. В рукописном же тексте следует: «Мы вот готовы благодетельствовать и, пожалуй, даже свою кровь пролить, а между тем, знаете ли, что и сами мы многое получили, как вы думаете?»[**]

Достоевский полагал, что стремление русских людей отправиться добровольцами на Балканы свидетельствует о пробуждении национального самосознания. Высшая нравственная идея, одушевляющая нацию, способна, по его мнению, сплотить воедино все элементы разрозненного общественного организма.

«Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное, — пишет Достоевский. — Всякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас»[***].

По мнению автора «Дневника», именно эти новые обстоятельства способны «снять» противоречия, присущие русской действительности и обозначить новую эру общественной жизни: «Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных

---

[*] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Оригинальное для России лето) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 102.

[**] ИРЛИ. Ф. 100. № 28468. ССХ6.П. Л. 28 (авт.).

[***] Дневник писателя. 1876. Июль – август (Post scriptum) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 104.

идей, — все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве»[*].

Конечно, мысль о нравственном слиянии образованного общества с народом была достаточно утопичной. Однако не являлось ли подобное умонастроение следствием тех реальных процессов, свидетелем которых стал Достоевский?

Всеобщее сочувствие славянам действительно создавало некоторую иллюзию единства. И с этим вынуждены были считаться даже противники власти.

Очевидно, не случайно будущие революционеры — такие как А.И. Желябов, действовавший в пользу славян в Одессе, С.М. Степняк-Кравчинский, командовавший повстанческой батареей, или А.П. Прибылёва-Корба, перевозившая раненых, приняли самое активное участие в славянской борьбе. И бок о бок с ними сражались сотни других молодых людей, настроенных далеко не столь радикально. Это был цвет русской молодёжи. С другой стороны, как заметил Л. Н. Толстой, «выскочили вперёд и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные: главнокомандующие без армий, министры без министерства, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов»[**]. Славянский вопрос породил такую психологическую коллизию, когда одни и те же общественные действия диктовались порой совершенно различными побудительными мотивами. При этом оппозиционная печать подчас пользовалась такими же формулировками, которые не сходили с уст казённых патриотов.

Разумеется, Достоевский был не настолько наивен, чтобы полагать, будто бы переживаемые исторические обстоятельства положат конец всем нравственным и социальным антагонизмам русского общества. «Конечно, возможности нет представить себе, чтобы разрыв наш с народом был бы уже совершенно покончен и излечен, — писал автор “Дневника”, — он продолжается и будет долго еще продолжаться <...>». Но для Достоевского было важно другое. Трансформируя «текущее» в плоскость «идеального» и верно подмечая признаки парадоксальной исторической ситуации, он возводит эту ситуацию до уровня исторического откровения. И тут следует вернуться к вопросу: можно ли считать «идеологические ожидания» Достоевского вполне славянофильскими?

---

[*] Дневник писателя. 1876. Июль — август (Post scriptum) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 103.

[**] *Толстой Л.Н.* Собр. художественных произведений. М., 1948. Т. 8. С. 309.

«Россия поступит честно...»

Рассматривая сложившуюся ситуацию, автор «Дневника» пишет в августе 1876 г.: «...Славянская идея, в высшем смысле её, перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчётливо в общем сознании, а в *живом* чувстве совпала с движением народным»[*]. Но если славянская идея стала народным достоянием, то как понимает её народ? И как понимает её сам Достоевский?

В 1876–1877 гг. славянофилы вовсе не полагали, что их идеи вдруг обрели всемирно-историческую значимость.

Они в лучшем случае пытались приспособить старые славянофильские доктрины к нынешнему моменту, сообщить определённое направление текущей правительственной политике, не ставя перед ней каких-либо нравственных «сверхзадач».

Но именно осуществление такой «сверхзадачи» и предполагала прежде всего этико-историческая концепция «Дневника писателя».

«<...> Что же такое эта славянская идея в высшем смысле её?» — спрашивает Достоевский.

> <…> Это, прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и проч., — есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтоб, уравняв его с собою в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире[**].

Вот кредо «Дневника».

«Христова истина» — это для Достоевского не дежурная формула. Содержание, которое он вкладывает в это понятие, могло покоробить тех, кто полагал, что христианская этика прежде всего ставит во главу угла личное спасение.

Уже некоторые современники Достоевского высказывали сомнение в том, что его православие — канонично и ортодоксально: «Христос <...> ставил милосердие или доброту — личным идеалом, он не обещал нигде торжества поголовного братства на

[*] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Post scriptum) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 103.

[**] Там же.

земном шаре...»[*] И хотя К. Леонтьев дарит «Дневник писателя» эпитетом «восхитительный», у него имелись серьёзные основания упрекать его автора в отступлении от канонов «отеческой веры». И прежде всего — в стремлении к земному счастью, неприемлемому, с точки зрения Леонтьева, для официального православия. (Вспомним рассуждения старца Зосимы о том, что жизнь есть рай.) «Слишком розовый оттенок, вносимый в христианство г. Достоевским, — писал автор "Византийства и славянства", — есть новшество по отношению к Церкви, от человечества ничего особенно благотворного в будущем не ждущей!»[**]

С другой стороны, нравственного критерия Достоевского никак не выдерживала своекорыстная и абсолютно эгоистическая политика тех государств Европы, которые предпочитали наблюдать за балканской трагедией из своего «прекрасного далёка».

«...[В]оля ваша, — писал Достоевский, — это как-то режет ум пополам. Что-то есть тут такое, с чем никак нельзя согласиться. <...> Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, — ведь с этим можно очень далеко зайти <...> Да и практические ли только выгоды, текущие ли только барыши составляют настоящую выгоду нации, а потому и "высшую" её политику, в противоположность всей этой "шиллеровщине" чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос»[***]. Напротив, не лучшая ли политика для *великой* нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб её интересам (а на деле никогда не в ущерб)?»[****]

Сиюминутной выгоде, погоне за «торопливым барышом» Достоевский противопоставляет совсем иные этические требования. Нравственный закон, которым должна руководствоваться отдельная личность, Достоевский распространяет на такое сложное образование, как государство. И если нарушение норм личной нравственности приводит Раскольникова и Ивана Карамазова к тяжёлой душевной драме, то безнравственное мировое поведение великой державы чревато для неё не менее грозными последствиями.

---

[*] *Леонтьев К.* Наши новые христиане Ф.М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882. С. 20.

[**] *Леонтьев К.* Наши новые христиане...

[***] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Идеалисты-циники) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 23. С. 65.

[****] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Идеалисты-циники) // Там же. С. 65.

«...[П]олитика чести и бескорыстия, — пишет автор "Дневника", — есть не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и беспрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали»[*].

Достоевский как бы накладывает свою этическую схему на все перипетии текущей политической жизни.

«Россия поступит *честно* – вот и весь ответ на вопрос, — заявляет автор "Дневника". — <...> Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости»[**].

Именно в следовании высшим этическим целям видит Достоевский «сверхзадачу» России. «Одной материальной выгодой, одним "хлебом" — такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться»[***].

Итак, ещё раз вернемся к приведённому выше главному положению этико-исторической концепции Достоевского.

Историческая миссия России есть «жертва, потребность жертвы даже собою за братьев», с тем чтобы «основать вперёд великое всеславянское единение, во имя Христовой истины, т. е. на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетённых в мире».

Какой славянофильский публицист, а тем паче правительственный идеолог ставил вопрос подобным образом? Кто из приверженцев самодержавия и адептов официальной народности соединял исторические судьбы России с задачей «всеслужения человечеству»? Какой воинствующий панславист доводил свое понимание функций России на Балканах до признания необходимости «защиты всех слабых и угнетённых в мире»? Ни в статьях И.С. Аксакова, ни в сочинениях Н.Я. Данилевского, ни в трудах их единомышленников и последователей мы не обнаружим столь всеобъемлющего понимания славянской идеи, требования столь высокой жертвы, призыва поступиться «текущими» национальными инте-

---

[*] Дневник писателя. 1876. Июль–август (Идеалисты-циники) // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 23. С. 66.

[**] Дневник писателя. 1876. Июнь (Восточный вопрос) // Там же. С. 45.

[***] Дневник писателя. 1876. Октябрь (Новый фазис Восточного вопроса) // Там же. С. 150.

ресами ради «высших» приоритетов — добра, справедливости и правды.

Так ставит вопрос только Достоевский.

Если И. Аксаков, М. Погодин, Р. Фадеев заостряли внимание на военно-политических аспектах русской восточной политики, если Н. Данилевский выдвигал на первый план своё «культурно-историческое единство», то для Достоевского весь смысл восточного вопроса заключался в некой высшей этической цели — в нравственном долге России («жертве»), в соединении через эту жертву интеллигенции с народом и в грядущем духовном возрождении России, являющей миру образец подлинно человеческого разрешения всех мировых несогласий и обособлений.

Общественный подъём 1876–1877 гг. не привел ни к переустройству российской действительности на основах христианской любви, ни даже к простому оздоровлению общественного организма.

Но Достоевский не хочет отказываться от своей «заветной идеи». Правда, с течением времени несколько меняются отдельные акценты «Дневника». Значительно увеличивается удельный вес «чистой» политики, не столь жёстко, как прежде, связанной с нравственными первоосновами. Порой автор с величайшей увлечённостью обсуждает и прикидывает варианты текущих и будущих политических комбинаций, дипломатических и военных союзов. Он находит новые, неопровержимые подтверждения своим вселенским пророчествам в последних газетных телеграммах. Колебания европейской политики лишь укрепляют его давние исторические подозрения — о всемирном католическом заговоре, о вековом борении трёх мировых идей (католической, протестантской и православной) и т. д. «Дневник писателя» всё чаще являет черты исторического мистицизма. На первый план выступает «константинопольская» программа; будущая судьба славянских народов всё теснее связывается с мировыми судьбами восточного христианства.

Разумеется, Достоевский не может не понимать, что отстаиваемый им идеал находится в печальном разладе со всё быстрее удаляющейся от этого идеала действительностью*.

К этой теме, теме мирового исхода, автору «Дневника» суждено было вернуться лишь в своём «завещании» — в Пушкинской речи. Там в значительной мере учтён горький исторический опыт 1876–1877 гг.

---

* Дневник писателя. 1877. Декабрь (К читателям) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 26. С. 128.

Глава 10

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГЕРОЯ

Из раздела: Революция и власть

Московское полицейское досье 1864–1867 гг.

Весной 1875 г. старорусский исправник Готский, явно нарушая служебный долг, продемонстрировал изумлённой Анне Григорьевне Достоевской «довольно объёмистую тетрадь в обложке синего цвета»[*]: дело о полицейском надзоре над её мужем. Тетрадка эта, надо полагать, небезынтересная для потомков, канула в Лету[**].

Каждая новая находка, связанная с именем автора «Преступления и наказания», — чрезвычайная редкость. Правда, обнаруженные нами в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) документы — отнюдь не исчезнувшие рукописи «Братьев Карамазовых». Это бумаги сугубо официального свойства — очевидно, аналогичные тем, которые были доверительно показаны Анне Григорьевне благодушным полковником Готским. Однако в них заключена собственная — весьма показательная — интрига.

20 августа 1864 г. петербургский обер-полицмейстер направляет своему московскому коллеге следующее послание:

С.-Петербургского Обер-Полицеймейстера Канцелярия
Секретно Стол 1. № 4932
Московскому Обер-Полицеймейстеру

Состоявший в С.-Петербурге (под секретным надзором. — *И. В.)* по Высочайшему повелению, объявленному мне в предложении С.-Петер-

---

[*] Воспоминания о Достоевском. С. 277.

[**] Был опубликован другой источник — дело канцелярии новгородского губернатора, хранившееся в областном архиве Новгородской области. См.: *Жаворонков А., Белов С.* Дело об отставном поручике Фёдоре Достоевском // Русская литература. 1963. № 4. С. 197–202.

бургского Военного Генерал-Губернатора от 1 Декабря 1859 года за № 867, отставной подпоручик Фёдор Достоевский, сужденный в 1849 году по делу преступника Буташевича-Петрашевского, временно выбыл в г. Москву.

Сообщая о сём Вашему Сиятельству, имею честь покорнейше просить сделать распоряжение о продолжении за Достоевским означенного надзора и о времени выезда его из Москвы меня уведомить.

Генерал-Лейтенант Анненков*
Правитель Канцелярии Корсаков**.

В письме есть ссылка на высочайшее повеление, «объявленное» 1 декабря 1859 г. Именно тогда бывший каторжник, ненадолго задержавшийся в Твери по пути из Сибири, получает вожделенное разрешение вернуться в северную столицу. Одновременно за ним учреждается секретный надзор (который, впрочем, и так существовал с 1856 г.)***. Выезжая в Европу, автор «Бедных людей» в отличие от прочих граждан вынужден каждый раз обращаться в III Отделение «с особою просьбою»****.

Получив отношение из Петербурга, московский обер-полицмейстер Крейц спешит в свою очередь озаботить собственных подчиненных (в деле сохранился лишь черновик):

Секретно

К № 1433. 25 августа 1864 г. № 1545
Г. Полицеймейстеру I Отделения

С.-Петербургский Обер-Полицеймейстер от 20 сего Августа в № 4932 меня уведомляет, что состоявший в С.-Петербурге по Высочайшему повелению, по делу преступника Буташевича-Петрашевского, отстав<ной> подпоручик Фёдор Достоевский временно выбыл в г. Москву.

<Давая об этом знать> В<ашему> В<ысокоблагород>ию, для распоряжения к продолжению помянутого надзора за Достоевским, в случае прибытия его на жительство во вверенное Вам отделение и пред-

---

* Письмо подписано генерал-лейтенантом Иваном Васильевичем Анненковым и адресовано московскому обер-полицмейстеру генерал-майору свиты его императорского величества графу Генриху Киприановичу Крейцу (см.: Список высшим чинам государственных, губернских и епархиальных управлений. СПб, 1864. С. 101, 105).

** ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Дело о надзоре над Достоевским. 1864–1867. Л. 1.

*** См.: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. СПб., 1999. Т. 1. С. 279.

**** См. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 165–182.

лагаю о <последующем> и о времени выезда Достоевского <нрзб> мне донести.

1546 повещ<ено> 2 отделения

1547 повещ<ено> 3 отделение*.

На этот стереотипный запрос немедленно откликаются все полицейские округа:

24139/1461

Секретно — Господину Московскому Обер-Полицеймейстеру

Получ<ено> 28 Августа 1864 г. — Полицеймейстера 2-го Отделения

Рапорт

В исполнение предписания Вашего Сиятельства от 25 Августа за № 154 имею честь донести, что об учреждении секретного надзора за упомянутым в том предписании Отставным Подпоручиком Фёдором *Достоевским,* по вверенному мне Отделению распоряжение сделано.

Полковник Дурново № 3080 27 августа 1864 года**.

Власти обеих столиц не дремлют. Но обратим внимание на даты. Достоевский выехал из Петербурга в Москву в десятых числах августа и пробыл там всего несколько дней (21-го он уже навещает томящегося в петербургском долговом отделении Аполлона Григорьева***). Таким образом, громоздкая государственная машина крутится вхолостую: *фигурант* уже давно вернулся домой.

Интересно: где же была полиция раньше? Ведь практически всё начало текущего 1864 г. Достоевский проводит в Москве — у постели угасающей в чахотке жены. Однако это не отмечено в полицейских анналах.

Марья Дмитриевна скончалась 15 апреля. Через три месяца в Павловске неожиданно умер старший брат Михаил Михайлович, самый близкий ему человек, издатель «Эпохи». «В один год, — пишет Достоевский другому брату, — моя жизнь как бы надломилась. Эти два существа долгое время составляли всё в моей жизни.

---

* ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 2. На полях правка.

** Там же. Л. 4. Аналогичный рапорт прислан полицмейстером 3-го отделения — см. л. 3.

*** Летопись. Т. 1. С. 466.

<...> Впереди холодная, одинокая старость и падучая болезнь моя»[***].

Впереди были пять великих романов, счастливый брак, заграница, рождение и смерть детей, «Дневник писателя», поздняя слава...

Но и сейчас, несмотря на жизненные катастрофы, внешне всё выглядит прилично. Наблюдательный, как все доктора, Яновский в двадцатых числах июля 1864 г. встречает своего бывшего пациента в той же Москве в гостинице Дюссо: одет тот был «как всегда, безукоризненно, ездил на приличных извозчиках, платил всем и за всё самым добросовестным образом, имел деньги в кошельке и собирался за границу»[11]. За границу он действительно собирался («в Италию и в Константинополь»[***]) и даже получил иностранный паспорт. Однако навалившиеся заботы — осиротевшая семья Михаила Михайловича, громадные долги старшего брата по журналу, которые он, младший брат, берёт на себя, и т. д., — всё это удерживает его на родине. Недаром он несколько раз посещает Москву: «Выпросил у старой и богатой моей тетки 10 000, которые она назначала на мою долю в своем завещании[****], и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал»[*****].

Именно за теткиными деньгами отправляется он в город своего детства. Непонятно только, почему именно эта августовская поездка привлекает внимание полицейского начальства. Ибо, как сказано, всё первое полугодие никакого беспокойства власти не обнаруживают[******].

Что вообще представлял собой институт под грозным названием «секретный надзор» в 1860-е и 1870-е? Насколько он был эффективен и сильно ли досаждал надзираемым?

Примечательно, что до сих пор не обнаружено ни одного документа, который бы свидетельствовал о наличии специального наблюдения или каких-либо агентурных разработок в отношении «послекаторжного» Достоевского[*******]. Правда, есть указания на возможность

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 96.

[**] Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. Сб..2. Л., 1924 (1925). С. 394.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 97.

[****] То есть поступил почти таким же образом, как в 1844 г., когда за 1 тыс. рублей серебром, выплачиваемые единовременно, он отказался от своей доли родительского наследства.

[*****] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 118.

[******] В «Книге о лицах, состоящих под надзором полиции Басманной части 3-го квартала» за 1864 г. (амбарная книга, справа вручную вырезан алфавит) Достоевский среди поднадзорных не значится (ЦИАМ. Ф. 1255–1. Оп. 8. Д. 62).

[*******] Пожалуй, единственным исключением является рапорт старорусского уездного исправника Готского новгородскому губернатору от 25 сентября 1872 г.,

перлюстрации его корреспонденции внутри империи. Похоже, некоторые письма, посылаемые им из-за рубежа, также читались. Не укрылись от внимания агентов III Отделения и его посещения Герцена (в Лондоне в 1862 г.) и Огарёва (в Женеве в 1867)*. Но эти *невозвращенцы* сами находятся «под колпаком». Что же касается России, здесь он был вверен попечительству полиции не тайной, но общей. А это в основном переписка — чиновников между собой. Надзор осуществлялся, надо полагать, достаточно формально и заключался главным образом в фиксации перемещений наблюдаемого лица**.

Итак, Достоевский давно в Петербурге. 25 сентября от апоплексического удара умирает только что выкупленный из долгового отделения Аполлон Григорьев. "Eheu!" (т. е. «Увы!») — заносит Достоевский в записную книжку: этим горестным вздохом отмечает он самые чувствительные свои потери.

Между тем 19 сентября московский обер-полицмейстер начинает получать наконец «отзывы с мест».

29808/1595
Секретно получ<ено> 19 Сентября 1864 г. Господину
Московскому Обер-Полицеймейстеру
Московского Полицеймейстера I Отделения
Рапорт

В исполнение предписания Вашего Сиятельства от 25 минувшаго Августа за № 1545 имею честь донести, согласно с рапортами ко мне Част-

---

где помимо обычной информации о передвижениях писателя сказано: «Во время проживания в Старой Руссе Достоевский жизнь вёл трезвую, избегал общества людей, даже старался ходить по улицам менее многолюдным, каждую ночь работал в своем кабинете за письменным столом, продолжая таковую до 4-х часов утра...» (Русская литература. 1963. № 4. С. 198). Впрочем, подобного рода наблюдения не требовали особых агентурных усилий.

* «Я слышал, что за мной приказано следить, — пишет он из Швейцарии А.Н. Майкову 21 июля (2 августа) 1868 г. — Петербургская полиция вскрывает и читает *все* мои письма, а так как женевский священник, по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемых, задерживались. Наконец, я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (чёрт знает в чём), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать» *(Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 309). См. также: Секретные инструкции Достоевского (Материалы Одесского архивного фонда) // Творчество Достоевского. С. 36–38; Жизнь и труды. С. 278–279, 293; Литературное наследство. Т. 86. С. 596–605; *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 156–168.

** У государства не хватало сил на всё. Даже в конце 1870-х (в эпоху террора) в центральном аппарате III Отделения трудились всего 52 человека.

ных Приставов, что отставного подпоручика Фёдора Достоевского на жительстве в вверенном мне Отделении не оказалось; в случае же прибытия его надлежащий надзор за ним учреждён быть имеет, о чем буду иметь честь донести своевременно.

Полковник <нрзб>*.

Частные приставы — это наиболее приближённые к общей жизни полицейские чины. Они Достоевского не обнаружили. Но ведь надо же как-то реагировать на летний петербургский запрос. И вот в ноябре (ноябре!) 1864 г. в деле появляется очередной документ:

М<осковский> Г<ородской> Т<елеграф>.
Депеша № 955
Подано на ст<анции> Адреснаго ст<ола> 25 Ноября
1864 г. 10 ч. 19 м.
Получено на ст<анции> Обер-Пол<ицмейстера> — 21 м.
Экстра. На № 519. Г. Раевскому**

Отстав<ной> прапорщик Фёдор Достоевский прож<ивает> Басманной ч<асти> 3 кв<артала> в д<оме> <Бенорабикина> № 34.

Ларионов***.

Казалось бы: наконец-то! Однако сам этот текст являет собой некоторую загадку. Допустим, писатель в августе мог останавливаться у своих родственников Ивановых: они живут как раз на Старой Басманной. Но вовсе не в доме № 34, а в здании Константиновского межевого института, где служит доктором глава семейства. И среди московских адресов Достоевского адреса, указанного в справке, мы не знаем.

Уж не вкралась ли в телеграфическую депешу какая-либо ошибка?

Позволительно, однако, предположить, что адрес реален. Это, очевидно, квартира, которую Достоевский нанимал для Марьи Дмитриевны с ноября 1863 г. по день её смерти. Именно здесь он жил зимой и весной 1864 г. Именно здесь писались «Записки из подполья»****.

---

* ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 5–5 об.

** Очевидно, это столоначальник 5-го стола канцелярии московского обер-полицмейстера коллежский асессор Иван Васильевич Раевский (Адресная книжка... С. 181).

*** ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 6.

**** В письмах Достоевского из Москвы конца 1864 — начала 1865 г. обратный адрес не указан: скорее всего, он получал корреспонденцию на адрес Ивановых. В первом томе «Летописи» на с. 436 есть ссылка на документ, хранящийся в ИРЛИ

Увы, осенью 1864 г. в «доме Бенорабикина» (или Беложаева, как более четко читается это имя в другом документе) разыскиваемый не проживает.

Между тем по итогам предпринятых разысканий московский обер-полицмейстер отправляет запрос:

Секретно 27 ноября 1864. № 1920

Полицеймейстеру 3 Отделения

По справке в Адресном Столе оказалось, что Басманной Ч<асти> 3 кв<артала> в доме под № 34 проживает отставной офицер Фёдор Достоевский.

Предлагаю В<ашему> В<ысокоблагоро>дию немедленно донести мне, не тот ли это Достоевский, за которым, по предложению моему от 25 прошлаго Августа в № 1547 следует иметь полицейский надзор[*].

Полиция, не слишком напрягаясь, ищет писателя уже три с лишним месяца. Но ныне не проходит и десяти дней, как на вопрошение начальства следует весьма интригующий ответ:

Господину Московскому Обер-Полицеймейстеру

Полицеймейстера 3 Отделения

Рапорт

На предписание Вашего Сиятельства от 27 истёкшаго Ноября за № 1920, о доставлении сведения о проживающем Басманной части 3 квартала в доме <Беложаева> под № 34 Г-не Достоевском — не тот ли он самый Достоевский, за которым по предписанию Вашего Сиятельства от 25 Августа сего года за № 1547 следует учредить полицейский надзор, честь имею донести, что означенным предписанием велено учредить надзор за отставным подпоручиком Фёдором Достоевским; проживающий же в доме <Беложаева> есть отставной прапорщик Сибирскаго линейнаго баталиона Фёдор Достоевский.

Полковник <нрзб>[**].

Неодолимая российская неразбериха сбивает с толку ревностных разыскателей. О ком, собственно, идет речь?

В 1856 г. унтер-офицер Сибирского линейного батальона № 7 получает первый офицерский чин — прапорщика — и может наконец

(№ 29511): Достоевский 20 января 1864 г. поселяется в «Басманн<ой> ч<асти>». Характер документа не указан. Что касается даты — это, очевидно, день регистрации.

[*] ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 7.

[**] Там же. Л. 8–8 об.

жениться. В 1859 г. он подаёт в отставку, по получении которой, согласно существующему порядку, награждается очередным чином. Однако в виде на жительство, выданном ещё в Сибири, он значится как прапорщик. Отсюда — «поручик Киже».

Неизвестно, как справилась московская полиция с появлением *двойника*. Но проходит два года — и автор «Записок из подполья» вновь ускользает от внимания местных властей. То есть он как бы на самом деле оказывается *в подполье*.

С.-Петербургского Обер-полицеймейстера Канцелярия
Стол 1
17 июля 1866 года. № 1570
Московскому Обер-Полицеймейстеру

Проживавший в Санкт-Петербурге, состоящий под секретным надзором полиции отставной подпоручик Фёдор Достоевский ныне выбыл в Москву.

О чём имею честь уведомить, Ваше Превосходительство, на зависящее распоряжение, в дополнение к отношению предместника моего от 20 августа 1864 год<а> за № 4932.

Свиты Его Величества Генерал-Майор Трепов
За Правителя Канцелярии Усов*.

Новая бумага подписана новым петербургским обер-полицмейстером Ф.Ф. Треповым: он только что сменил своего «предместника» генерал-лейтенанта И.В. Анненкова на этом посту.

Указанная смена произошла не случайно. 4 апреля 1866 г. в Петербурге у решётки Летнего сада Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II. Первое в отечественной истории *публичное* покушение на государя произвело на современников чрезвычайное впечатление (в том числе и на Достоевского, который, ошеломлённый, вбежал с этим известием к Аполлону Майкову**). Происходит ряд назначений и перемен: теряет, как уже говорилось, свой пост обер-полицмейстер Анненков, начальник III Отделения В.А. Долгоруков заменяется П.А. Шуваловым. Упраздняется должность петербургского генерал-губернатора, которую занимал «гуманный внук воинственного деда» князь А.А. Суворов (именно он в 1862 г. уведомил Достоевского о том, что тот находится под секретным надзором). 12 апреля Суворов ещё успеет представить министру

* ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 9.
** Былое. 1906. № 4. С. 299.

внутренних дел П.А. Валуеву просьбу Достоевского о выезде за границу для лечения. Валуев относится в III Отделение. Там накладывают резолюцию: «Иметь в виду. По возвращении доложить об известном вопросе» (очевидно, по возвращении государя или князя Долгорукова, который пока еще не отставлен)[*]. «На этот раз, — пишет Достоевский Врангелю, — в выдаче паспорта за границу потребовались особые формальности, дело затянулось»[**]. Наконец, 4 мая только что назначенный начальником III Отделения Шувалов сообщает Валуеву, что «ко удовлетворению этой просьбы» он «со своей стороны препятствий» не встречает. А 17 мая Валуев в свою очередь уведомляет Шувалова, что по его всеподданнейшему докладу государь император «повелеть соизволил разрешить проживающему в С.-Петербурге под секретным надзором отставному поручику Фёдору *Достоевскому* отправиться за границу для пользования от падучей болезни». Писатель на сей раз высочайше поименован *поручиком*. Надо полагать, это не повлекло новой служебной переписки.

...Однако он не поедет в чужие края. «Преступление и наказание», первые главы которого уже печатаются в «Русском вестнике», удержит автора в России. Он направляется в Москву — дабы обговорить с М.Н. Катковым условия и сроки дальнейшей публикации романа.

Автор ещё не ведает, что проведёт в Москве всё это долгое лето.

Он пишет А.В. Корвин-Круковской: «Правда, грустный, гадкий и зловонный Петербург, летом, идёт к моему настроению и мог бы даже мне дать несколько ложного вдохновения для романа; но уж слишком тяжело»[***]. Чтобы описать «гадкий» Петербург, необходимо отдалиться от него. Пребывание «на месте преступления», т. е. в контексте того, что одномоментно изображается, пагубно для художества: это именуется *ложным* вдохновением. Не лучше ли взирать на предмет из «прекрасного далёка»?

Достоевский выехал в Москву 12 или 13 июня. Полицейская *сопроводиловка* от 17 июля, как водится, опаздывает на месяц.

Останавливается он, как всегда, в гостинице Дюссо близ Малого театра. И хотя каждый день обедает в Московском трактире, пьет квас и гуляет в Кремлёвском саду, «нестерпимая жарища, духота, а пуще всего знойный ветер (самум) с облаками московской белока-

---

[*] Переписка дается по: Летопись. Т. 2. С. 63, 64, 66, 67.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 157.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 158.

менной пыли, накоплявшейся со времен Иоанна Калиты (по крайней мере, судя по количеству), заставили меня бежать из Москвы»[*]. Бежать — в Люблино, к милому его сердцу семейству Ивановых, где рядом с их дачей «за половинную цену» нанимается «особая дача» — каменное двухэтажное строение, в коем кроме него никто не живёт. (Собственно, он занимает одну большую комнату, служащую ему кабинетом и спальней.) Приходится, как он выражается, «накупить хозяйства» — подсвечников, чаю, сахару, самовар, чашки, кофейник, «даже одеяло» и взять напрокат мебель. Люблино — в пяти вёрстах от заставы, близ Кузьминок: извозчик туда из города стоит порядочно — от полутора до двух рублей.

Обо всём этом подробно сообщается в его письмах. Если бы они подвергались перлюстрации, полиция с лёгкостью установила бы местопребывание неуловимого гостя.

Лето 1866 г. — совершенно исключительная пора в жизни Достоевского. И не только в силу экстремальных обстоятельств: до конца года надо успеть закончить роман и сверх того до 1 ноября согласно кабальному договору вручить издателю Ф.Т. Стелловскому новую повесть объёмом в 10 печатных листов. Дело не только в этом. Всегда трудившийся без свидетелей, он в первый и последний раз оказывается в совершенно необычной для себя обстановке. Он *творит* среди молодёжи, «на людях», в новой и непривычной ему среде[**]. Этот опыт приоткрывает нечто глубоко сокрытое в нём.

Семьёй Ивановых — 37-летней любимой сестрой Верой Михайловной, её мужем — «прекраснейшим и добродетельнейшим человеком», доктором и статским советником Александром Павловичем, их девятью детьми (среди которых юная племянница Соня: ей будет посвящён «Идиот») — не ограничивается его летнее общество. Дети Ивановых приглашают к себе на лето товарищей и подруг; здесь же обретаются студенты Межевого института, по добросердечию хозяев разделяющие с ними дачное житьё. 44-летний Достоевский без видимых усилий вписывается в эту пёструю молодую компанию; более того, по свидетельству очевидцев, становится «первым затейником всяких развлечений и проказ»[***].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 165.

[**] Краткое пребывание Достоевского в бекетовской ассоциации на рубеже 1846–1847 гг. было лишено (да и не предполагало) родственной теплоты или вовлечённости в общие досуги.

[***] *Нечаева В.С.* Из литературы о Достоевском: Поездка в Даровое // Новый мир. 1926. № 3. С. 138. В своё время старейшая исследовательница Достоевского Г.Ф. Коган, по ее устному свидетельству, готовила статью, посвящённую пребыванию писателя в Люблине.

Это единственная в его жизни пора, когда словно бы отодвинулись все его печали и беды. Он чувствует себя уважаемым и любимым. За отсутствием собственной семьи он обретает её идеальный суррогат. Он даже вызывает из Петербурга («из холеры») своего пасынка Пашу Исаева — видимо, желая приобщить сироту к радостям семейной жизни «в одном из прелестнейших местоположений в мире и в приятнейшей компании»[*].

Он выходит к обитателям ивановской дачи, как всегда, тщательно одетый — «в крахмальной сорочке, в серых брюках и синем свободном пиджаке»[**]. Он — душа этого дачного общества, которое оживляют «несколько очень хорошеньких и взрослых барышень» и которое в количестве до 20 человек дружно отправляется на весёлые ночные прогулки. Он принимает «самое деятельное участие» в театральных представлениях, сценарии которых сам же и сочиняет. Он является перед восхищённой аудиторией то в виде судьи «в красной кофте сестры, с ведром на голове и в бумажных очках», то закутанным в простынь — тенью отца Гамлета, то в качестве сочинителя экспромтов, тайно предвосхитивших будущие откровения обэриутов:

По дороге по железной
Шёл племянник мой Карепин.
Человек небесполезный
И собой великолепен!

Впрочем, не все его стихотворные опусы столь безобидны. Когда владельцы Люблина купцы первой гильдии Голофтеев и Рахманин («новые русские» здешних мест) приглашают дачную публику на званый — с фейерверком — обед в честь собственных именин, Достоевский заявляет сестре, что явится на это торжество только при условии публичного оглашения сочинённого им спича:

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 165.

[**] *Нечаева В.С.* Поездка в Даровое. С. 138. Умение аккуратно и чисто одеваться — его неизменная черта. Современники отмечают у него всегда белоснежное бельё — при некоторой изношенности верхнего платья (ср.: у лермонтовского Печорина из-под сюртука выглядывало ослепительно чистое бельё, «изобличавшее привычки порядочного человека»). Поэтому крайне неубедительно свидетельство (правда, свидетелю в то время было не более четырёх лет, и он говорит со слов своей матери), что Достоевский-дачник был тогда «какой-то мрачный, лохматый, одетый небрежно» и т. д. (Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. С.В. Белова. СПб., 1993. С. 180). Это пример «обратного действия» мифа, когда уже существующий стереотип как бы проецируется на «воспоминания современников».

Красуйтесь, радуйтесь, торгуйте
И украшайте Люблино.
Но как вы нынче ни ликуйте,
Вы оба всё-таки ...![*]

Никогда — ни до, ни после — он не чувствовал себя так непринуждённо и вольно. Он даже изменяет обычному распорядку своих занятий — вместо неизменных ночных бдений встаёт около девяти часов утра и трудится до обеда. Вторую половину дня и вечер он проводит у Ивановых. Но, как свидетельствует его племянница, порой в разгар веселья удаляется к себе на дачу, прося зайти за ним минут через десять; а когда приглашаемые являются — он, поглощённый работой, «сердился на пришедших и прогонял их». Впрочем, вскоре возвращался сам, «весёлый и опять готовый к продолжению игры»[**]. Homo scribens (человек пишущий), он одновременно и homo ludens (человек играющий): одно, впрочем, предполагает другое.

«Рассказывать о своей работе он очень не любил», — добавляет воспоминательница. Он не любил рассказывать о своей работе, которая вершится прикровенно и требует высшего напряжения душевных сил. Здесь, в Люблине, пишутся важнейшие главы «Преступления и наказания».

Странное дело. Один из самых сумрачных, разрывающих душу мировых романов создаётся в, казалось бы, совершенно неподходящей для этого обстановке — среди буколических затей, в атмосфере лёгкого невинного флирта, под переливы звонкого девического смеха. Сама жизнь представляется отдыхом и забавой. Но, видимо, именно такой контекст способствует появлению текста, ибо служит своего рода эстетическим противовесом «слишком серьёзному» романному действу. Произведение рождается по закону контраста: неизвестно, выиграл бы роман, если бы он создавался исключительно в «самом отвлечённом и умышленном городе на всём земном шаре».

Между тем лакей Ивановых, посланный ночевать к Достоевскому (для вспоможения на случай припадка), «решительно отказался это делать в дальнейшем», так как, по его словам, жилец «замышляет кого-то убить — все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух»[***]. (То есть ночная работа всё-таки имела место.) Любопытна

[*] *Нечаева В. С.* Поездка в Даровое. С. 140.
[**] Там же. С. 139.
[***] Там же. С. 138.

эта не отмеченная никем подробность — стремление проговаривать вслух романные диалоги (что, возможно, реализуется в будущих диктовках Анне Григорьевне).

Еще в декабре 1865 г., отправив в редакцию первые главы «Преступления и наказания», Достоевский пишет М.Н. Каткову (сохранился только черновик): «Если Вы намерены печатать роман мой, то покорнейше прошу редакцию "Русск<ого> вест<ника>" не делать в нем *никаких* поправок. Я *ни в коем случае* не могу на это согласиться»[*].

Неизвестно, остались ли эти слова в окончательном варианте письма. Но поправки в романе сделаны были.

В майскую книжку «Русского вестника» не вошла встреча «убийцы и блудницы» — посещение Раскольниковым Сони Мармеладовой и чтение ею вслух из Евангелия сцены воскрешения Лазаря. Редакторы (Любимов и Катков) решительно потребовали изменений — по причинам сугубо идеологического порядка, «в опасении за *нравственность*». «Эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал»[**], — пишет Достоевский А.П. Милюкову. «Тоску» не мог не заметить один из юных обитателей Люблина. По его словам, после поездок в редакцию (по отдалённости дачи обременительных, как помним, и в финансовом отношении) Достоевский «возвращался домой недовольный и расстроенный». Однако он никогда не жаловался, «так что никто из нас не знал, какие места романа исчезли бесследно для читающей публики»[***].

Остаётся пожалеть, что автор не доверил первоначальную версию этой злополучной главы вниманию своих люблинских сожителей: может, что-нибудь и сохранилось бы в пристрастной памяти века. Однако за всё лето он ни разу не почтил публику чтением вслух каких-либо собственных творений (кроме шутливых стихов, разумеется). И окружающие были столь деликатны, что «никто и не решался предложить ему книгу». Или, добавим, журнал, в котором печатался создаваемый в Люблине текст. А ведь этим памятным летом выбор журнального чтения не столь велик: «Современник» и «Русское слово» запрещены ещё в мае.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 147.

[**] Там же. С. 166. Мы предполагаем, что эта глава подверглась некоторой редактуре со стороны Каткова уже после её переделки Достоевским. См.: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор. С. 145–148.

[***] Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 56, 58.

...Что ж: достижения московской полиции оказались куда более скромными, нежели успехи полиции нравственной в лице Любимова и Каткова. Два последних так или иначе добиваются своего; власть же остаётся ни с чем.

Достоевский возвращается в Петербург в десятых числах сентября (примерно через неделю после казни Каракозова). А ещё через две недели его в очередной раз спохватываются в первопрестольной:

33389/2371

Секретно

Господину Московскому
Обер-Полицеймейстеру
Получено 29 Сентября 1866 года Полицеймейстера
1-го Отделения

Рапорт

Вследствие отношения Канцелярии Вашего Превосходительства от 22-го Июля сего года за № 1393, имею честь донести согласно с рапортами ко Мне Частных Приставов, что Отставнаго Подпоручика Федора Достоевскаго на жительстве во вверенном мне Отделении не оказалось, в случае же прибытия его, надлежащий надзор за ним учреждён быть имеет; о чём буду иметь честь донести своевременно.

Полковник <нрзб> № 333.28 Сентября 1866 года*.

Полковнику придётся ждать долго: Достоевский появится в Москве только в конце марта следующего, 1867 г. И сопровождать его будет молодая жена.

...После смерти Марьи Дмитриевны он с трудом переносит семейное одиночество. Он стремится к новому браку. Но измучившая его Аполлинария Суслова с насмешкой отвергает его брачные притязания. Не отвечает взаимностью и 22-летняя Анна Васильевна Корвин-Круковская, объяснение в любви к которой с горестью подслушивает её 16-летняя сестра Соня (будущая Софья Ковалевская), сама по-детски влюблённая в автора «Униженных и оскорблённых». Незадолго до Люблина, в марте 1866 г., во время поездки в Москву, он неожиданно делает предложение 20-летней хохотушке Марии Сергеевне Иванчиной-Писаревой, подруге его племянницы Сонечки Ивановой. Но получает отказ, тем более обидный, что он облечён в классическую стихотворную форму:

* ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 11.

Пылает сердце старика,
Окаменелое годами*.

45-летний Достоевский отдаёт явное предпочтение молодым девушкам**. Он внутренне ориентирован на большую разницу лет, хотя прекрасно сознаёт сопряжённые с этим опасности. Для него 1865–1866 гг. — время «предсвадебных ожиданий» или, если угодно, *томлений*. При этом брак мыслится им в том числе и как творческая необходимость.

В люблинском (двухмесячном!) сидении это состояние эротической напряжённости сублимируется мощной и, видимо, приносящей огромное наслаждение творческой работой (что можно было бы назвать «болдинским эффектом»). Однако стремление к «перемене судьбы» не оставляет Достоевского. Сама его встреча с Анной Григорьевной — в октябре 1866 г., ровно через месяц после отъезда из Люблина — воистину провиденциальна. Работа над «Преступлением и наказанием» вступает в завершающую фазу; одновременно пишется (диктуется!) «Игрок». Можно представить ту духовную эманацию, которая исходила в это время от автора. Этого не могла не почувствовать 20-летняя Анна Сниткина. Она полюбила Достоевского «вперёд», «заочно» — чисто по-женски угадав главное в нём.

Но, с другой стороны, и сама Анна Григорьевна — как бы продолжение *люблинского* лета. Она воплощает в себе дух той молодой интеллигентной компании, которая окружала Достоевского и, очевидно, споспешествовала его работе. Современники не зря отмечают исключительно весёлый нрав второй жены Достоевского: эта её черта не могла не производить умиротворяющего действия во время их не столь безоблачной брачной жизни.

Если Достоевский и женится «по закону контраста», то для него лично это конгениальный закон.

Через полтора месяца после свадьбы он с Анной Григорьевной едет в Москву. И вслед за ним, натурально, отправляется документ.

---

* *Нечаева В.С.* Поездка в Даровое. С. 143–144.

** Правда, в Люблине он делает «полупредложение» невестке главы семейства Ивановых — Елене Павловне. Пикантность ситуации состоит в том, что у *избранницы* ещё жив муж (правда, он весьма болен) и зондаж Достоевского носит, так сказать, прелиминарный характер. Елена Павловна — почти ровесница Достоевского (моложе его всего на два года), и можно предположить, что ей предназначалась роль утешительницы и сиделки в близкой «холодной старости». Позднее Достоевский был озабочен тем, не внушил ли он Елене Павловне неоправданные надежды.

С.-Петербургского Обер-Полицеймейстера Канцелярия
Отделение Секретное
Секретно 31-го Марта 1867 года. № 2077
Господину Московскому Обер-Полицеймейстеру

Состоящий по Высочайшему Повелению под секретным надзором отставной Подпоручик Фёдор Достоевский, сужденный в 1849 г. по делу преступника Буташевича-Петрашевского, — выбыл 29 Марта в Москву.

Сообщая об этом Вашему Превосходительству, имею честь покорнейше просить сделать распоряжение о продолжении за Достоевским означенного секретного надзора, и о времени выезда его из Москвы меня уведомить.

Генерал-Лейтенант Трепов*.

Надо на сей раз отдать должное оперативности Петербурга: Москву извещают о «выбытии» Достоевского буквально на следующий день, и при этом даже правильно называют его нынешний чин. Далее всё идет как обычно.

К № 941
Секретно 5 апреля 1867. № 860
Господину Полиц<еймейстеру> 1 Отд<еления>

С.-Петербургский Обер-Полицеймейстер отношением от 31 минувшего марта за № 2047 уведомляет меня, что проживавший в С.-Петербурге, состоящий под секретным надзором отставной Подпоручик Фёдор Достоевский, сужденный в 1849 г. по делу преступника Буташевича-Петрашевского — 29 Марта выбыл в Москву.

Давая об этом знать для зависящих распоряжений в дополнение к предложению моему от 22 Июля 1866 года за № 1393 к учреждению означеннаго надзора за Достоевским, в случае прибытия его на жительство во вверенное Вам отделение, предлагаю Вашему В<ысокоблагоро>дию об учреждении надзора и о последствиях онаго мне донести**.

К счастью, «последствия онаго» укрылись от бдительности властей. Иначе медовый месяц Достоевских (совпавший, кстати, с Великим постом) мог бы протекать и под секретным призором полиции, буде, конечно, последняя обнаружила новобрачных. Но 8 апре-

* ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 13. Д. 21. Л. 12.
** Там же. Л. 13–13 об.

ля они выезжают в Петербург. А ещё неделю спустя надолго покидают Россию.

...Секретный надзор над автором «Идиота» формально будет снят в 1875 г.* В том же списке освобождаемых от полицейской опеки лиц будет значиться еще одно имя: титулярный советник Александр Пушкин.

* См.: *Нечаева В.С.* Когда был снят секретный надзор за Достоевским // Русская литература. 1964. № 2. С. 170–172; Литературное наследство. Т. 86. С. 599–603; *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 173–183.

Глава 4 (Часть II)

«СТИХИ НЕ ТВОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Достоевский как стихотворец

27 мая 1869 г. Достоевский обращается к А.Н. Майкову: «Да вот ещё: пишите рифмой... Если не будет рифмы (и не будет почаще хорея) — право, вы дело погубите. Можете надо мной смеяться, но я правду говорю! Грубую правду!»

Прозаик даёт рекомендации стихотворцу; дилетант советует профессионалу. Причём речь идет не о каких-то общих и поэтому близких каждому художнику проблемах искусства; нет, обсуждаются вопросы, казалось бы, специальные, прикладные: размер, рифма...

Для многих отечественных прозаиков (Карамзина, Гоголя, Тургенева) стихотворство — класс приготовительный. Принято считать, что Достоевский избежал этой участи.

«Он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения»[*], — простодушно замечает современник, очевидно полагая, что отсутствие рифмы сильно облегчает жизнь писателя. Но вот что — мимоходом — сообщает дочь Достоевского Любовь Фёдоровна: «Мальчики (имеются в виду Достоевский и его старший брат Михаил. — *И. В.*) подбирали рифмы, составляли эпитафии и стихотворения...»[**]

---

[*] *Ризенкампф А.Е.* Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском // Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 325. Первый биограф Достоевского, публикуя этот отрывок, слегка подредактировал Ризенкампфа, заменив «рифму» на более академическое — «форму» (см.: Биография, письма и заметки из записной книжки // Полн. собр. соч. Ф.М. Достоевского. Т. 1. СПб., 1883. С. 35. 1-я паг.).

[**] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении его дочери. М.; Пг., 1923. С. 12.

С братом Михаилом всё ясно: позднее он станет известен как поэт-переводчик. Что же касается брата Фёдора, то он, по-видимому, *забавлялся.* В 1844 г., разбирая перевод шиллеровского «Дон Карлоса», 23-летний Достоевский пишет брату: «...может быть, всего-то пять, шесть строчек дурных. Я взял смелость кое-где поправить, также кое-где сделать стих позвучнее».

Автор письма не ограничивается замечаниями чисто редакционного характера, а позволяет себе творческое вмешательство в чужой поэтический текст. Он говорит о стихах как человек посвящённый.

«Любопытно бы знать, — осторожно замечает первый биограф Достоевского О.Ф. Миллер, — не стихами ли писал Фёдор Михайлович начатые им драмы (т.е. самые ранние, не дошедшие до нас произведения. — *И. В.)*». Вопрос этот хотя и риторический, но вполне резонный...

Известно: он прекрасно знал русскую поэзию. Известно: он был одним из глубочайших её интерпретаторов (стоит вспомнить его отзывы о Державине, Крылове, Фете, Некрасове или хотя бы его Пушкинскую речь). Известно, наконец: он замечательно читал чужие стихи.

Всё это свидетельствует о *понимании.* Но понимать ещё не значит мочь.

Может быть, отсутствие у Достоевского «серьёзных» лирических стихотворений объясняется не столько нехваткой профессионального терпения (вряд ли на «Бедных людей» его требовалось меньше, чем на «обработку рифмы»), сколько чрезвычайно высоким представлением о миссии поэта, об особой природе поэтического дара.

Его собственные поэтические опыты немногочисленны и носят в основном служебный характер. Это либо стихи, написанные «на случай», либо стихотворные вкрапления в прозаический текст. Последние демонстрируют творческие усилия его героев: своего рода «литература в литературе».

Представляет ли эта «стихотворная периферия» самостоятельный художественный интерес? До появления настоящей статьи литературоведы хранили на сей счет почти полное молчание*.

---

* Укажем на давнюю статью Л.П. Гроссмана «Гражданская казнь Ф.М. Достоевского» (Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935), где речь идет о сибирских стихотворениях писателя — главным образом об их идеологической направленности, эффектно определяемой автором как «церковно-монархический империализм». См. также: *Альми И.А.* О роли стихотворных вставок в системе рома-

Сюжет между тем заслуживает размышлений.

Только однажды (в период 1854–1856 гг.) Достоевский отважился выступить как профессиональный поэт. Пребывая после каторги в Семипалатинске в качестве рядового, а затем — унтер-офицера, он сочиняет *патриотические стихи*. Тема была весьма актуальной: начиналась война с коалицией.

Первая попытка вторгнуться в пределы чужеродного жанра обнаружила тёплые, хотя и не очень ловко выраженные поэтические чувствования. Однако дальнейшие упражнения в версификации (приуроченные ко дню рождения вдовствующей императрицы и заключению мира) дышали натужным пафосом и лирическим хладом. «Читал твои стихи и нашел их очень плохими. Стихи не твоя специальность», — лаконически заметит ему старший брат, не подозревавший о будущих откровениях капитана Лебядкина.

Впрочем, сам Достоевский, обычно крайне взыскательный к тому, что выходило из-под его пера, в настоящем случае остаётся совершенно равнодушным. Он прекрасно осознаёт, что его стихотворные опусы преследуют чисто утилитарную цель. Именно поэтому он не намерен обсуждать их литературные достоинства. «Хороши ли, дурны ли, — сообщает он А.Е. Врангелю о результатах своих поэтических подвигов, — но я послал здесь по начальству с просьбою позволить напечатать. Просить же официально (прошением) позволения печатать, не представив в то же время сочинения, по-моему, неловко. Поэтому я начал со стихотворения».

Он начал со стихотворения, дабы добиться разрешения «вернуться» в литературу. Он желает напомнить о себе власть имущим, напомнить о том, что он как-никак литератор («прочтите, перепишите и постарайтесь, чтобы оно дошло до монарха»). При этом он как бы хочет облегчить своим августейшим адресатам читательскую задачу: избирает наиболее уместный с их точки зрения литературный жанр.

Все сибирские стихотворения написаны как оды и выдержаны в высоком штиле. Демонстрация приёма носит откровенный (слишком откровенный) характер. Кажется, автор намеренно собрал здесь все цветы одической речи. Не претендуя на оригинальность, он стремится использовать уже готовые идеологические клише:

нов Достоевского // Slavia. 1984. № 3–4. (В последние годы были опубликованы и другие работы на эту тему. Из новейших публикаций: «Жил на свете таракан...»: Стихи Ф.М. Достоевского и его персонажей; «Витязь горестной фигуры.»: Достоевский в стихах современников / Сост., подг. текста, примеч., послесл. П.Н. Тихомирова. М., 2017.)

Спасёмся мы в годину наваждений,
Спасёт нас крест, святая вера, трон!

Он говорит с властью на её языке:

Звучит труба, шумит орёл двуглавый
И на Царьград несется величаво!

Этот величаво шумящий орёл, по-видимому, нимало не коробит эстетический слух одописца: сам образ взят напрокат.

В строчках, обращённых к вдове Николая I, образы автора и адресата тоже достаточно условны. А лексика и интонация ориентированы на сентиментальную (к середине XIX в. — безнадёжно устаревшую) поэтику:

Душа рвалась к тебе с горячими мольбами,
И сердце высказать хотелося словами,
И, в прах повергнувшись, вдовица, пред тобой.
Прощенье вымолить кровавою слезой.

Нелепо подозревать Достоевского в умысле. Он затевал слишком ответственное дело, чтобы позволить себе хотя бы тень усмешки. Но усиленное нагнетание торжественных одических штампов, казённая патетика и т.д. и т.п. — всё это диссонировало с тем реальным поэтическим звуком, который преобладал в поэзии 1850-х гг. Достоевский создаёт своего рода литературные «обманки». Это действительно «очень плохие» стихи, но зато прекрасные жанровые имитации.

В реальном литературном контексте стихи Достоевского, независимо от воли автора, обретали объективно пародийный оттенок.

Однако справедливо ли полагать, что стихотворство для Достоевского — дело вовсе непривычное? Он отлично владеет техникой версификации. Порой — настолько, что оказывается на грани допустимого:

Мы веруем, что Бог над нами может,
Что Русь жива и умереть не может!

Щегольское поигрывание рифмой (довольно рискованное в таком специфическом тексте!) намекало на непроявленные (а может быть — и тщательно скрываемые) авторские возможности.

Поэзия предполагает свободу.

Летом 1866 г. 44-летний Достоевский гостит в Люблине под Москвой — в семье сестры. Его племянница М.А. Иванова вспоминает, что, занятый работой над «Преступлением и наказанием», он тем

не менее принимал деятельное участие в забавах и игрищах обитавшей на дачах молодежи. Особенно если эти развлечения принимали вербальный характер.

Люблино принадлежало богатым купцам Голофтееву и Рахманину. В день своих именин они обычно устраивали званый обед, на который наряду с именитыми московскими негоциантами приглашались и окрестные дачники. Такое приглашение получил и Достоевский. «Сестра Вера Михайловна очень уговаривала его пойти на обед, он отказывался, наконец согласился с условием, что скажет в качестве спича приготовленные стихи. В.М. Иванова захотела заранее узнать, что он придумал, и Достоевский прочел:

О Голофтеев и Рахманин!
Вы именинники у нас.
Хотел бы я, чтоб сам граф Панин
Обедал в этот день у вас.
Красуйтесь, радуйтесь, торгуйте
И украшайте Люблино.
Но как вы нынче ни ликуйте,
Вы оба все-таки ...!

Пафос этого уже частично цитированного ранее произведения (и, можно сказать, его социальная направленность) заметно отличаются от стилистики его сибирских творений. Правда, и сверхзадача здесь несколько иная.

«Низким» жанром Достоевский владеет ничуть не хуже, чем высоким. «Ода в честь доктора Карепина» (Саня Карепин — молодой и не очень умный племянник Достоевского, над которым дружно потешалась вся люблинская компания): в стихах появляется профессиональный эпиграмматический блеск.

Тень Державина
Танцует, как медведь,
Поет, как филин, он.

Поэт
Такую отповедь
Не выношу я! Вон!

Конечно, такая каламбурная рифмовка (заметим, как искусно смещено *ударение:* медведь — отповедь) немыслима в стихах, предназначаемых начальству. Но она вполне уместна в *антиоде.* Уж не рассчитывался ли подобным образом автор со своим вынужденным стихотворным прошлым?

Но вот что самое удивительное.

По дороге по железной
Шел племянник мой Карепин,
Человек небесполезный
И собой великолепен! —

этот экспромт (уже приводившийся выше) тяготеет более к эпиграмматике XX в. Комический эффект достигается соединением характеристик, имеющих различное назначение: деловой («человек небесполезный») и сугубо декоративный («собой великолепен»). Так, пожалуй, могли бы изъясняться сатириконовцы.

Тончайший нюанс: в жизни герой не выговаривал букву «р». Рифма «Карепин — великолепен» изыскано обыгрывала это немаловажное для современников обстоятельство.

Саня! Ваших всех хотений
Я пророчу вам успех! —

и снова речевой жест, заставляющий вспомнить «игровую» поэзию нынешнего столетия.

Так выявляются глубинные возможности стихового юмора: не только смысл, но и само сочетание слов, синтаксические запинания и стилистические неувязки становятся причиной и предметом смеха.

Достоевский работает *слогом*.

Конечно, создавая свои стилистические пародии, он опирается на опыт предшественников (в первую очередь — Козьмы Пруткова). Но автор, если воспользоваться выражением Ю.М. Лотмана, не только «воспроизводит механизм плохой поэзии»[*]. Он воспроизводит тип сознания, с которым литература ещё не сталкивалась.

Когда «Столбцы» Н. Заболоцкого впервые сравнили со стихами капитана Лебядкина — это была поразительная угадка.

Вспомним поэтические упражнения героя «Бесов».

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства.

От этой лебядкинской «басни» ведут два пути. Один — к детски непосредственной, «наивной» «Мухе-Цокотухе» Чуковского. Дру-

[*] *Лотман Ю.М.* Анализ поэтического текста. С. 128.

гой — менее явный — к жутковато-весёлому алогизму обэ- риутов (недаром Н. Олейников взял лебядкинские строки эпиграфом к своему «Таракану»).

Словесная ущербность сигнализировала об ущербе души. Таракан, попавший «в стакан, полный мухоедства», предупреждал о провалах мирового смысла, о том, что под тонким слоем культуры «хаос шевелится».

Краса красот сломала член,
И интересней вдвое стала.
И вдвое сделался влюблен
Влюблённый уж немало*

«Смотрите, как на стихи, но не более, — комментирует капитан Лебядкин свои любовные послания, — ибо стихи всё-таки вздор и оправдывают то, что проза считает дерзостью».

Это уже целая художественная методология. Стихи — «вздор», так как сами по себе они ровно ничего не значат. Они могут служить только для целей прикладных. (Не аналогичную ли функцию выполняли сибирские оды Достоевского?) Но именно такой подход к поэзии — как к простому эстетическому камуфляжу прозы — делает стихотворную речь самопародийной.

Его верноподданнические, откровенно «лобовые» стихи оказались на грани пародии и не смогли выполнить своей художественной задачи. В то же время стихи иронические, «нелепые», пародийные по определению с такой задачей справились блистательно и в известном смысле сделались «пророческими».

Для русской поэзии XX в. опыт этот — бесценен.

* Подробнее о связи стихов капитана Лебядкина с поэзией «Столбцов» см.: *Волгин И.Л.* Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004. С. 471–495.

Глава 1 (Часть III)

«БРАТ, СТОЛЬКО ЛЕТ СОПУТСТВОВАВШИЙ МНЕ...»

Михаил Михайлович

Судьба Мих-Миха

Разве только ленивый не вспоминал этот знаменитый пассаж: «Человек есть тайна» и т.д. При этом, как правило, забывают об адресате. Между тем сакраментальной фразой завершается письмо 18-летнего Фёдора Достоевского к 19-летнему брату Михаилу. «Твой друг и брат», — подписывается автор письма[*]. Эта *расхожая формула* имеет в глазах обоих корреспондентов особенный смысл. Они чувствуют себя родными не только по крови. Они ощущают глубокое духовное родство. В их братство не допускается непосвящённый.

Пожалуй, у Достоевского не было в жизни более близкого человека. В крепости, отвечая на вопросы Следственной комиссии, т. е. находясь в обстоятельствах, когда чистосердечие вопрошаемого большая редкость, — он скажет: «*Совершенно откровенных* сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим...»[**] В настоящем случае он не лукавит.

Первенец Михаил крещён в Петропавловской церкви Московского военного госпиталя — тем же священником, что венчал отца и мать Достоевских[***]. Мальчик появился на свет ровно через девять месяцев (без одного дня) после указанного таинства. Из всех брать-

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 63.

[**] Там же. Т. 18. С. 136.

[***] О родителях братьев см.: *Волгин И.Л.* Родиться в России.

ев и сестёр (если не считать Любочку, умершую во младенчестве) он и уйдёт первым.

Будучи погодками, Михаил и Фёдор составляют отдельную ячейку внутри семьи. У них общие игры, общие интересы и, главное, общие секреты. Их внутренние миры полностью проницаемы друг для друга — разумеется, до той границы, которую не в силах переступить «не-Я». И если верить экзистенциальному философу, что существование другого — «непреодолимый скандал», то в *их случае* невосполнимой горестью стало бы *отсутствие второго*.

Изо всего семейства выраженный литературный интерес присущ только двум старшим братьям. И хотя один из них окажется мировым гением, а второй на ниве изящной словесности будет почти незаметен, в детстве это грядущее неравенство абсолютно неощутимо. Заметно другое: крепнущее с годами лидерство младшего брата, который, по словам родителей, «настоящий огонь». (Правда, темперамент ещё не есть непременный и отличительный признак таланта.) Старший пишет стихи (что не слишком радует папеньку); младший, хотя и сочиняет «роман из венецианской жизни», но делает это исключительно в уме, так что папенька совершенно не в курсе.

В письмах к отцу старший сын не чурается высокой патетики. «Пусть у меня возьмут всё, оставят нагим меня, но дадут мне Шиллера, и я позабуду весь мир!»* Нагой Михаил Михайлович, прижимающий к груди готический том, — зрелище, конечно, неслабое. До таких экзальтаций брат Фёдор — при всей его любви к Шиллеру — не доходит. Хотя, говоря о «прекрасном и высоком», заметит позднее, что «тогда это словечко было ещё свежо и выговаривалось без иронии»**.

Братья разлучатся почти на десять лет (Фёдор — в Петербурге, Михаил — в Ревеле): встречи будут довольно редки. Однако духовная связь не ослабнет. В первые годы их переписка в высшей степени литературна: она изобилует мировыми отвлечённостями и философическими восторгами. С течением времени в письмах появляются денежные расчёты и издательские прожекты, ибо литература становится *делом*.

Ранняя женитьба Михаила Михайловича окрашена во вполне романтические тона. Не достигнув двадцати двух лет, он сочетает-

---

* *Кумпан К.А., Конечный А.М.* Письма Михаила Достоевского к отцу. Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1981. С. 73.

** Дневник писателя. 1876. Январь (Российское общество покровительства животным...) // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 22. С. 27.

ся браком с двадцатилетней дочерью «Ревельскаго Гражданина» Эмилией-Каролиной Дитмар (Ditmer). «Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь, — пишет он младшему брату, — но когда я посмотрю на Эмилию, когда вижу в глазах этого ангела детскую радость — мне становится веселее»*. (Брата не слишком тронут подобные упоения, и он ещё долго пребудет холостым.) Принадлежность невесты к лютеранству отнюдь не смущает жениха, который, по-видимому, в глубине души полагает, что брак этот косвенно приблизит его к любезному его сердцу шиллеровско-германскому миру.

Михаил Михайлович будет заботливым мужем и хорошим — многодетным — отцом. Но он останется и преданным другом. Он ни минуты не сомневается в высоких достоинствах младшего брата и не упускает случая, чтобы уверить московских родственников (которые далеко не разделяют его оптимизма) в блистательном будущем Фёдора. Он без колебаний одобряет любые, в том числе довольно рискованные шаги новоиспечённого военного инженера: его неожиданную отставку, отказ от родительского наследства (за скромную, но зато выплачиваемую незамедлительно сумму) и, главное, его решительный переход на гадательную литературную стезю. Брат Миша ручается головой за честность и порядочность брата. Он до небес превозносит ещё не читанный им (да, впрочем, и не написанный) «роман» — то бишь будущих «Бедных людей». И, сверх того, соблазняет *москвичей* вестью, что пьесы брата «нынешней зимою явятся на петербургской сцене»**. (Они не явятся там ни зимой, ни летом, хотя сулящий *в принципе* не ошибся: инсценировок в XX в. будет неисчислимое множество.) «Это человек с сильным, самостоятельным талантом...» — пишет Михаил московским родственникам о младшем брате: вот самая ранняя из всех существующих аттестаций будущего автора «Карамазовых». И, надо признать, не самая худшая.

В их тандеме младший окончательно становится главным. Именно по его настоятельному призыву Михаил Михайлович оставляет ревельскую службу и переезжает в Петербург — дабы по примеру Фёдора Михайловича отдаться литературе. И именно потому, что они «в связке», Михаил Михайлович не может миновать сходбищ у Петрашевского.

---

* Цит. по: Литературное наследство. Т. 86. С. 371.

** Там же. С. 365.

Его посещения «пятниц» (равно как и кружка Дурова) довольно редки — правда, не настолько, чтобы не быть отмечены бдительным взором агента Антонелли. Его заботами Михаил Михайлович попадает в общий список: правда, без инициалов — как Достоевский-*второй*. Но по иронии судьбы в ночь на 23 апреля 1849 г. вместе с Достоевским-*первым* берут не его, а ни сном ни духом не ведающего ни о каком Петрашевском брата Андрея.

И только 6 мая власть исправляет прискорбную полицейскую оплошность. Михаила Михайловича, проведшего эти две недели в судорожном ожидании развязки, водворяют наконец в каземат Петропавловской крепости.

Кратко изъяснив на первом допросе, что у Петрашевского «собирались только для веселья» (которое кончится, однако, — о чём никто ещё не догадывается — 21 смертным приговором), арестант позднее даст более пространные показания. Он довольно безыскусно выстраивает собственную защиту — может быть, потому что против него действительно не имеется серьёзных улик. Облегчению его участи немало споспешествуют старания младшего брата, который изо всех сил выгораживает старшего, беря всю вину на себя. При этом он устрашает Следственную комиссию призраком голодной смерти всех четырёх оставленных без попечения братниных детей.

Впоследствии Достоевский публично заявит, что брат его «не дал *никаких показаний*, которые бы могли компрометировать других» (хотя, добавит, «*знал о многом*»). Найденное сравнительно недавно подлинное следственное дело М.М. Достоевского полностью подтверждает эти слова*.

Убедившись, что подследственный — лицо в противоправительственных деяниях мало замешанное, комиссия ходатайствует перед государем об его освобождении. Государь, к счастью, не возражает. Таким образом, Михаилу Михайловичу довелось пробыть в одиночном заключении всего около двух месяцев.

В качестве компенсации за не вполне заслуженную отсидку многосемейный Достоевский-второй получает всемилостивейшее пособие в размере 200 рублей. Этот скромный акт государственного раскаяния навлёк на получателя самые мрачные подозрения, которые, как сказано, полностью опровергаются беспристрастными документами упомянутого выше следственного дела.

---

* См.: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. С. 254–265; *Волгин И.Л.* Пропавший заговор. С. 385–386, 519–521.

Очутившись на воле, Михаил Михайлович становится единственным корреспондентом пребывающего в крепости младшего брата. Посылая ему деньги, он присовокупляет к ним «полсотни заграничных цыгар», не ведая, что через несколько лет сам начнёт производить подобные изделия — как бы в отместку романтическим упованиям юности. «Я уверен, что ты напишешь нечто, далеко выходящее из круга обыкновенных явлений»*, — ободряет он брата; пожелание сбудется очень нескоро.

22 декабря 1849 г., сразу же после «казни», брат Фёдор адресует Михаилу Михайловичу свое последнее перед сибирской разлукой письмо. Это — одно из самых сильных посланий, написанных на этой земле. «Брат, любезный друг мой! всё решено!» Он повествует о том, что пережил утром этого дня. Он не теряет надежды. «...Когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь ещё раз живу!»** Нетрудно догадаться, с каким чувством читал старший брат эти строки — он, который, повернись дело иначе, тоже мог бы стоять на эшафоте. (Через много лет вдова адресата покажет это письмо автору, и тот будет читать его «страшно волнуясь» и попросит обратно текст.)

Им ещё разрешат свидеться — на полчаса, в комендантском доме, перед тем как осуждённого закуют в кандалы и посадят в жандармские сани. Присутствовавший при том А.П. Милюков замечает, что из двух братьев страдал больше тот, кто оставался на воле. «В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Фёдор Михайлович был спокоен и утешал его»***.

Четыре года они ничего не будут знать друг о друге. Михаил Михайлович оставит не могущие его прокормить литературные занятия и, как уже сказано, займётся табачной фабрикой. Разразившаяся над братом катастрофа и его собственное полуторамесячное пребывание в крепости, очевидно, произведут на него неизгладимое впечатление. Мягкий, сдержанный, ровный, не выказывающий так резко, как брат, своего Я (его дочь не помнит, чтобы отец «когда-нибудь вспылил, сердился, кричал»), новоиспечённый табачный фабрикант делается ещё осторожнее, закрытее, суше.

Он страстно любит музыку; неплохо рисует. При этом — «чрезвычайно близорук, так что часто не узнавал на улице своих детей». Любовь Фёдоровна утверждает, что ее дядя (умерший, кстати, за-

* Искусство. Кн. 1. С. 111–112.

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 161, 163.

*** Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 269.

долго до её рождения) с годами пристрастился к алкоголю. «Излияние жёлчи» (квалифицируемое современной медициной как цирроз печени), что стало причиной его смерти, как будто подтверждает эти слова.

Со своей стороны, дочь, Екатерина Михайловна, потерявшая отца в десятилетнем возрасте, с негодованием отвергала эту гипотезу. По её словам, отец пил «всего только в исключительных случаях» и, следовательно, «никогда алкоголиком не был»[*].

Мнение дочери (которое, конечно, может быть субъективным) подкрепляется письмом самого Михаила Михайловича от 27 января 1864 г.: «Вчера собралось у меня несколько приятелей: нужно было спрыснуть новый журнал ("Эпоху". — *И. В.*), и мы подпили. Нынче, вследствие *непривычки* или простуды, у меня смертельно голова болит и маленькая дрожь»[**].

Это написано за полгода до смерти, причиной которой якобы стало то, что автор письма считает для себя делом не очень привычным. Как саркастически замечает по этому поводу А.А. Достоевский (сын третьего брата, Андрея Михайловича), «некоторые представители медицины склонны считать чуть ли не классическими алкоголиками таких лиц, которые всю свою жизнь перед обедом выпивают по рюмке водки» и тогда «все Достоевские без исключения — алкоголики, ибо ни у кого из них не было органического отвращения к спирту»[***].

...Их разлука продлится ровно десятилетие: братья вновь встретятся в самом конце 1859 г. Немедленно по выходе из омской каторги в январе 1854 г. Достоевский напишет брату. Известно, однако, что такие попытки предпринимались и раньше — арестант посылал письма с оказией, когда лежал в лазарете, т. е. использовал сугубо нелегальные пути. Адресат не отзывался; лишь по окончании срока он посылает в Сибирь первые 50 рублей.

В этой связи между братьями возникает некоторая эпистолярная напряжённость. Бывший каторжник выказывает недоумение, почему за четыре года разлуки брат не написал ему ни строки. «Но неужели ты не мог писать ко мне? Это для меня очень странно и горь-

---

[*] *Нечаева В.С.* Из воспоминаний об истории основания первого музея Ф.М. Достоевского (Общение с потомками писателя. У истоков позднейших книг и исследований) // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1985. Т. 6. С. 285.

[**] Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А.С. Долинина. Л., 1935. С. 546.

[***] Хроника рода Достоевских / Под ред. И.Л. Волгина. М., 2013. С. 286.

ко. Может быть, ты не просил разрешения сам; а письма разрешены. Это я знаю наверно»*. Он боится, что брат охладел к нему, каковым подозрением письменно делится с А.Е. Врангелем. Тот должен был доставить брату другое его письмо. Но тут, совсем как в романе, возникает интрига. Врангель по ошибке отдаёт Михаилу Михайловичу адресованный ему, Врангелю, текст, где явлена упомянутая братская скорбь. Уязвленный неблагорасположением брата Михаил Михайлович адресует в Семипалатинск свой горестный вопль: «Боже мой. Неужели я не заслужил перед тобою большего доверия к любви моей и моему сердцу. Неужели ты не мог предположить других причин, более важных, моему молчанию и вообще нежеланию писать тебе помимо официального пути»**.

Брат уверяет брата, что он не жалел усилий, дабы добиться разрешения вести с ним легальную переписку. Но все его хлопоты оказались напрасными. Затевать же тайные сношения, в обход власти, он, отец шестерых детей и лицо, находящееся под секретным полицейским надзором, позволить себе не мог. При этом он ещё пёкся о безопасности брата.

Нет оснований сомневаться в искренности этих резонов. С другой стороны, известно секретное распоряжение от 11 августа 1850 г., адресованное Военным министерством инспектору по инженерной части Омской крепости. В документе говорится о корреспонденции политических каторжан: «...если письма не будут заключать в себе ничего сомнительного или преступного, то получаемые тотчас отдавать осуждённым, а от них доставляемые отправлять по адресу».

Возможно, Михаил Михайлович действительно ходатайствовал о разрешении переписываться — естественно, через III Отделение. Но у ведомства тайной полиции могли иметься собственные инструкции на этот счёт — причём применительно к данному делу или даже к данному фигуранту. Военное министерство графу Орлову (и даже генерал-лейтенанту Дубельту) не указ. Так что хлопоты Мих-Миха, как его называли домашние, действительно могли оказаться пустыми.

Разумеется, никто из членов семейства не писал Достоевскому до выхода его из острога. Но уже в Семипалатинск, хотя и с большими интервалами, стали поступать вести от родных. Посылались и небольшие денежные вспоможения, одежда, белье... «Милый друг, —

---

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 178.

** Цит. по: Хроника рода Достоевских. С. 282.

адресуется Достоевский к Мих-Миху, — ты пишешь о сёстрах: это ангелы! Что за прекрасное семейство наше! Что за люди в нём!»*

Его радует, что он не забыт, что зов крови и родовая память не заглушены приговором и долгой разлукой. При этом вряд ли кто-либо из членов семейства всерьёз уповает — во всяком случае, до оглашения первых милостей нового царствования — на его скорое возвращение. Участь преступников 1825 г., канувших *во глубину сибирских руд*, у всех на виду. Похоже, не верит во второе (особенно литературное) пришествие брата и осторожный Мих-Мих. Хотя и старается по мере сил исполнять свой родственный долг. Благо этому способствует относительное преуспеяние, коего он добился в конце 1850-х: собственный выезд, гувернантка для детей, постоянные гости.

Время от времени снабжая брата деньгами, он отвечает на его письма редко и весьма непространно, оставляя без внимания жадные вопрошания о новостях литературных. Поскольку письма из Петербурга посылаются исключительно официальным путём, т. е. доступны для чужих глаз, это не может не сдерживать его перо.

«...Лучше вовсе не писать, чем писать подобные», — обронит он в одном из своих посланий, отправленных наконец с оказией**. Переписка оживится, когда, во-первых, появятся *тексты*, а во-вторых — реальная перспектива их публикации. Старший становится ревностным литературным агентом младшего брата, верным ходатаем по всем его журнальным делам.

Приезд Достоевского в Петербург в самом конце 1859 г. вновь решительно изменит судьбу Михаила Михайловича — как это уже однажды случилось в конце сороковых, когда он по настоянию брата перебрался в северную столицу. Он *тоже* возвращается в литературу. Сделать это тем проще, что они оба некоторое время жительствуют в одном доме — на углу Казначеевской улицы и Столярного переулка. («Время», а после его запрещения «Эпоха» — это журналы *братьев Достоевских*, где старший, являясь официальным издателем и редактором, добровольно вверяется вкусам и мнениям младшего.)

Зато Мих-Мих берет на себя все денежные заботы, что, натурально, побуждает иных из сотрудников характеризовать его как «порядочного мерзавца», «мошенника и барышника» и т. п.*** Даже вполне лояльно настроенный к редактору «Эпохи» Н.Н. Страхов заме-

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 247.

** Там же. С. 459.

*** Цит. по: Литературное наследство. Т. 86. С. 382.

чает в частном письме от 25 июня 1864 г., что «Михайло просто кулак», который «рад выезжать на других». Через две недели М.М. Достоевского не станет — и тот же Страхов с горестью заметит, что он умер «прямо от редакторства» (в частности, от запрещения цензурой его, Страхова, очередной статьи). Он немного не дожил до 44 лет.

Фёдор Михайлович в письме к брату Андрею тоже указывает на, так сказать, общественную подоплёку ранней кончины старшего брата. И прежде всего на запрещение «Времени» в 1863 г., что «его тогда как громом поразило». Недаром брат Михаил «весь последний год был постоянно в тревоге, в волнении, в опасениях»[*]. При этом почему-то не говорится ещё об одном постигшем покойника горе — смерти от скарлатины восьмилетней любимой дочери Вари.

«...Тоска томит нас с женою, — пишет Мих-Мих Достоевскому в марте 1864 г. — Точно душа наша отлетела от нас. Каждый день я плачу по Варе. Это был ведь наш последний рёбенок. Чуть только останусь один, так она и вертится передо мною с своей гримаской, за которую я обыкновенно называл её: Нос! Бедная, милая Люшка!» В семье, где росли автор и адресат этого письма, из восьми детей умер только один — что по тем временам, имея в виду обильную детскую смертность, скорее исключение из правил. У Михаила Михайловича умерли пятеро. Последнего скончавшегося ребёнка он не переживёт и на полгода.

Проводивший лето 1864 г. на даче в Павловске, он почувствует себя плохо во вторник 7 июля, а умрёт в пятницу 10-го. Никто из домашних не ожидал печальной развязки. Но приехавший доктор отозвал Достоевского в сторону и объявил ему, что нет никакой надежды. Он сказал, что больной «уже ощущает сонливость, что к вечеру он заснёт и уже более не проснётся»[**]. Врач не ошибся.

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто всё кругом.

Он мог бы повторить эти тютчевские строки, если бы тогда они уже были написаны.

В апреле умирает жена, в июле — брат. Достоевский остаётся один.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 94.
[**] Там же. С. 95–96.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Брата похоронят в Павловске, и агент III Отделения, отметив малолюдность церемонии, добавит: «Надгробной речи никто не говорил»*. Так секретный надзор, учреждённый в 1849 г., сопроводит тишайшего Михаила Михайловича до могилы.

Вдова с немецким акцентом

«Сколько я потерял с ним — не буду говорить тебе, — пишет Достоевский брату Андрею. — Этот человек любил меня больше всего на свете, даже больше жены и детей, которых он обожал»**.

Что касается жены, Эмилии Фёдоровны (происхождение отчества туманно: отца, как выясняется из её метрического свидетельства, звали Дитрих-Иоганн), Михаил Михайлович вступил с нею в брак, преодолев лёгкое сопротивление обеих семей. Во-первых, московских Куманиных, недовольных слишком ранними матримониальными намерениями племянника, а во-вторых, и ревельских Дитмаров, смущаемых разницей вероисповеданий. Так в род Достоевских замешалась не наблюдаемая прежде немецкая кровь. Правда, Мих-Мих *восстановил баланс*, заведя ребёнка на стороне — от Прасковьи Петровны Аникиевой, чьё простое русское имя не вызывает как будто никаких подозрений. Об этой связи, разумеется, знает Достоевский, чей «подпольный» роман с А.П. Сусловой протекает при молчаливом доброжелательстве брата, не очень жалующего его законную первую жену. Знает Достоевский и о наличии у брата внебрачного сына Вани; относится к нему приязненно и по смерти брата — не забывает. В письме к пасынку Паше Исаеву из Дрездена (1867) он наставляет: «Главное, справься: где Ваня? Хорошенько справься». Через того же Пашу пересылаются деньги для Прасковьи Петровны. «Кланяйся и целуй Ваню», — пишет он пасынку в другом письме.

Надо полагать, эти родственные приветы не очень нравились Анне Григорьевне, в глазах которой даже официальное семейство Михаила Михайловича выглядело обузой. В мужниных *нахлебниках* она усматривала угрозу скромному бюджету собственной семьи.

---

* ГА РФ. Ф. 109. Оп. 1. Ед. хр. 72. Цит. по: Литературное наследство. Т. 86. С. 399.
** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 96.

Стенографический дневник Анны Григорьевны за 1867 г., который молодая спутница Достоевского вела за границей, содержит с трудом поддающуюся расшифровке запись о каком-то письме «от Прасковьи», которое Анна Григорьевна с негодованием изорвала.

Для детей Михаила Михайловича наличие сводного брата вовсе не являлось секретом — во всяком случае, в их зрелую пору. «Остаюсь твоим братом», — заканчивает *законный* сын Федя своё письмо «голубчику Ване». Он просит адресоваться к нему «как к Ф.М. Дост<оевскому>-второму, а то может попасть в руки дяди»[*]. Дядя у обоих корреспондентов был общий.

Впрочем, следы Аникиевых теряются — и мы не знаем, продлилась ли эта ветвь рода.

Но вернёмся к законной супруге. При жизни брата Достоевский никогда не забывает передать ей поклон. После его смерти — как может поддерживает вдову. Находясь за границей, требует от Паши Исаева, живущего в семье покойного Михаила Михайловича, чтобы пасынок не оказался бы «как-нибудь в тягость Эмилии Фёдоровне и не наделал бы ей каких-нибудь неприятностей», а, напротив, был бы с ней почтителен и добр[**]. Пишет он из Женевы и самой вдове: «Не проходило дня, чтоб я об вас обо всех не думал». Он справляется о здоровье и успехах детей. «Мучает меня *очень* то, что в настоящую минуту ничем не могу помочь Вам. Мне это чрезвычайно тяжело. К Новому году хоть из-под земли достану, а с Вами поделюсь»[***]. Это пишется, когда Анна Григорьевна беременна их первым ребёнком.

Тем не менее Эмилия Фёдоровна числит его виновником семейных бед. Достоевский с горестью должен признать, что она «враг мой исконный (не знаю за что)»[****] и что он — объект её ненависти.

Эмилия Фёдоровна убеждена: муж продал табачную фабрику по наущению младшего брата и тем самым лишил собственную семью верного куска хлеба; во-вторых, дурным ведением «Эпохи» Достоевский разорил её законных наследников и владельцев. (После смерти издателя на титуле журнала в этом качестве значилось «семейство М.М. Достоевского», что вызывало насмешки публики.) В письме к Майкову от 11 (23) декабря 1868 г. Достоевский отклоня-

---

[*] Утро Юга (Ростов-на-Дону). 1914. 15 мая. № 112. См. также: Хроника рода Достоевских // Волгин И.Л. Родные и близкие. М., 2013. С. 953.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 201.

[***] Там же. С. 217, 218.

[****] Там же. С. 330.

ет все эти обвинения. Он говорит, что табачная фабрика была продана (всего за тысячу рублей) уже после того, как пришла в полный упадок, что журнал «спас брата от банкрутства» и что по его смерти он, Достоевский, принял на себя все его долги. Кроме того, он полагает, что падение подписки было вызвано уверенностью части публики, что умер сам Фёдор Михайлович, а не его брат.

Читала ли Эмилия Фёдоровна романы своего деверя?

В «Преступлении и наказании» изображены две немки — существа крайне несимпатичные. Одна — Луиза (Лавиза) Ивановна, содержательница публичного дома. Другая — Амалия Людвиговна (Мармеладов упорно именует ее *Фёдоровной*) Липпевехзель, хозяйка дома, где квартируют Мармеладовы, Лебезятников, Лужин. Обе — с чудовищным немецким акцентом. Нет оснований сопрягать этих откровенно карикатурных персонажей с Эмилией Фёдоровной, хотя, признаться, неудовольствия её с автором романа и не очень чистый русский выговор могли бы навести на эту игривую мысль. Кстати: однажды она ошеломила одну из родственниц известием о том, что поэт Яков Полонский именно ей, Эмилии Фёдоровне, сделал брачное предложение. (На самом деле последнее относилось к её дочери.) Это сенсационное признание, напоминающее известную сцену из «Ревизора», наглядно демонстрирует степень владения Эмилии Фёдоровны русским языком.

В 1879 г., узнав о её кончине (его ровесница, она умерла в возрасте 58 лет от рака груди), Достоевский говорит, что «с её смертью, кончилось как бы всё, что ещё оставалось на земле, для меня, от памяти брата». Он говорит, что не думает, «чтоб я был очень перед ней виноват» (оговорка, указывающая, что мысль эта всё-таки тяготит его), ибо «пожертвовал даже моими силами, именем литературным, которое отдал на позор с провалившимся изданием, работал как вол, даже брат покойный не мог бы упрекнуть меня с того света»[*]. На этом свете ему самому отпущено ещё полтора года.

Неудобства гражданского брака

Дети Эмилии Фёдоровны утверждают, что их мать была очень красива.

Эту красоту, судя по всему, унаследовала младшая из дочерей, Екатерина Михайловна. Она родилась в 1853 г.: Достоевский ещё отбывал свой каторжный срок. Он вернулся, когда ей исполнилось

[*] *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 30_1. С. 109.

шесть. Дядя очень любил племянницу, которая спустя 60 лет прекрасно помнила, как однажды на Рождество, когда дети собрались вокруг елки, «вдруг раздался громкий звонок и в зал торжественно вошел Фёдор Михайлович, ведя за руки две большие куклы для двух младших племянниц» — для неё, Кати, и маленькой Вари (той, которая умрёт в 1864 г.).

После смерти брата Достоевский не забывает его детей. Он пишет Паше Исаеву: «Катю искренне целую; я уверен, что она бесподобно выдержит экзамен. Как бы я рад был, если б мамаша сделала ей костюм несколько получше, чем прошлого и третьего года в Павловске»[*].

Его заботят такие подробности, в какие вникает не всякий отец. И через год, назначая из Женевы упомянутой «мамаше» 100 рублей, он настоятельно просит «10 р. употребить (для костюма и проч.) на Катю»[**]. Мысль о неудачном наряде, по-видимому, всё ещё волнует его.

Изо всех детей Михаила Михайловича Катя наиболее близко сходится с новой семьей дяди. Анна Григорьевна вспоминает её как «прехорошенькую девочку лет пятнадцати, с прекрасными чёрными глазами и двумя длинными белокурыми косами за спиной»[***], которая зимой 1867 г. — в первые недели их брака — едва ли не каждое утро забегает к молодой чете, благо живёт по соседству. Ей, очевидно, нравится Анна Григорьевна, которая старше её всего на семь лет. Не исключено, что она поступает на стенографические курсы, следуя примеру последней.

Её жизнь переломится в семидесятые годы, когда она встретит Вячеслава Авксентьевича Манассеина — крупного ученого, профессора Военно-медицинской академии и основателя журнала «Врач». Разница в возрасте у них не столь велика — 12 лет, но профессор, увы, несвободен. Бросившая его жена тем не менее не даёт ему развода. (Случай нередкий: вспомним судьбу В.В. Розанова, прижившего детей в *неузаконенном* браке, ибо ушедшая от него А.П. Суслова не пожелала освободить его от формальных уз.) Близкие вспоминают Манассеина как человека сильного духом, называют его «общественной совестью», говорят о необыкновенной чистоте их с Екатериной Михайловной отношений. Она прожила с ним в гражданском браке до самой его смерти в 1901 г. — более двадцати лет, пользуясь неизменным уважением его многочисленных коллег и знакомых.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 201.

[**] Там же. С. 269.

[***] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 114.

Достоевский до этого не дожил. Его дочь уверяет, что отец «рыдал как ребёнок, узнав о “позоре” своей племянницы», и что он запрещал своей второй жене «поддерживать какие бы то ни было отношения с виновной»*.

Не сгущает ли Любовь Фёдоровна, по обыкновению, краски?

Достоевский не был ни ханжой, ни лицемером. Ведь не рыдал же он от того, что Аполлинария Суслова, презрев условности, отдалась ему, своему первому мужчине, как раз в тот момент, когда он пребывал в законном супружестве. Его не остановила разница в летах между ним и Сусловой — значительно бо́льшая, нежели у Е.М. Достоевской с Манассеиным. Конечно, в случае с Екатериной Михайловной была задета семейная честь: за неимением отца Достоевский как бы вменял себе в обязанность блюсти интересы племянницы. Допустим, ему по каким-то причинам мог не нравиться Манассеин; он мог полагать, что тот воспользовался неискушённостью молодой девушки и союз их будет недолгим. Но ведь не воображал же он в самом деле племянницу Варенькой Добросёловой, Настасьей Филипповной, Грушенькой или, упаси бог, Сонечкой Мармеладовой! Впрочем, даже в таком случае он мог бы быть благосклоннее.

Как бы то ни было, такова была позиция семьи. Через много лет другой дядя Екатерины, Андрей Михайлович, с горестью скажет, что все Достоевские «крайне виноваты» перед своей «милой, доброй и симпатичной», но подвергнутой семейному остракизму родственницей. «Мы отвернулись от неё как от прокажённой! — с чувством восклицает брат Достоевского, чьи мемуары, вышедшие в 1930 г., Екатерина Михайловна теоретически ещё могла прочитать. — Отвернулись все, начиная с главы фамилии Ф.М. Достоевского, который при всём своём уме и гениальности сильно ошибался в своих на это воззрениях»**.

Ближайшим родственникам приходится верить. Но вот что интересно. В письме к брату Николаю от 6 декабря 1879 г.

Достоевский сообщает, что был «с месяц тому у Катерины Михайловны»***. Исследователи давно обратили внимание на это свидетельство, которое доказывает, что разрыв между дядей и племянницей был не столь уж необратим.

---

* *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 96.

** Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского / Под ред. А.А. Достоевской. Л., 1930. С. 310.

*** *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30_1. С. 132.

Тут, правда, есть одно тонкое обстоятельство. Достоевский узнаёт о смерти Эмилии Фёдоровны, находясь в Эмсе. Он не может присутствовать на похоронах. Он просит Анну Григорьевну сообщить ему адрес старшего сына Эмилии Фёдоровны, Феди, его крестника: он собирается ему написать. О любимой племяннице не говорится ни слова. Но, вернувшись в Петербург, писатель почтёт своим непременным долгом посетить дочь старшего брата, которая нынче осталась круглой сиротой. По словам самой Екатерины Михайловны, Достоевский приехав к ней, «долго сидел и беседовал».

Его собственная жизнь была на исходе. Кто знает, продлись она дольше, возможно, он испытал бы раскаяние, как и брат Андрей.

Следует остановиться на одном удивительном совпадении.

В 1839 г. Михаил Михайлович пишет дяде и тёте Куманиным: «Подивитесь предчувствию души моей. В ночь на 8-е июня — я видел во сне покойного папиньку. (То есть спустя полтора дня, как Михаила Андреевича не стало. — *И. В.*). Вижу, что будто он сидит за письменным столиком и весь как лунь седой; ни одного волоса черного; я долго смотрел на него, и мне стало так грустно, так грустно, что я заплакал; потом я подошёл к нему и поцеловал его в плечо, не быв им замеченным, и проснулся. Я тогда же подумал, что это не к добру...»[*]

Отец снится и брату Фёдору — причём для сновидца это не лучшее предвестье. «Я сегодня ночью видел во сне *отца*, — пишет он Анне Григорьевне в 1871 г. из Висбадена, где проигрался в пух и прах, — но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось»[**].

Анна Григорьевна говорит, что её муж придавал значение снам. «Очень тревожился он, когда видел во сне брата Мишу и в особенности своего отца». Их появление всегда предвещало что-то недоброе, и Анна Григорьевна была свидетельницей того, как спустя два-три дня после события в их семье «наступала чья-либо болезнь или смерть»[***].

Воспоминательница не называет дат и имен. Но, несомненно, она имеет в виду и случай, упомянутый Достоевским в его письме 1879 г. из Эмса: «Представь, какой я видел сон 5-го числа (я записал число): вижу брата, он лежит на постели, а на шее у него перерезана

[*] В кн.: Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. С. 414.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29_1. С. 197.

[***] В кн.: Письма Ф.М. Достоевского к жене. М.; Л., 1926. С. 316.

артерия, и он истекает кровью, я же в ужасе думаю бежать к доктору, и между тем останавливает мысль, что ведь он весь истечет кровью до доктора. Странный сон, и, главное, 5-е августа, накануне её смерти»[*]. Эмилия Фёдоровна умерла шестого.

«Человек есть тайна», — сказано им, восемнадцатилетним. Теперь, спустя 40 лет, он мог бы повторить эти слова.

Человек есть тайна — и сновидения едва ли не самое таинственное в нём. Это, как любил выражаться Достоевский, соприкосновение с мирами иными. Сон разума порождает не только чудовищ; может быть, это единственная возможность постичь нечто, недоступное бодрствующему уму. Недаром сновидения (от снов Раскольникова до сна Смешного человека) играют исключительную роль в художественном мире его романов.

«Ночью видел во сне брата, — записано в 1870 г., — он как бы воскрес, но живет особо от семы... Брат как будто ко мне ласковее»[**].

Тут любопытны два обстоятельства. Во-первых, «особое», без семьи, проживание Михаила Михайловича — может быть, сновидческий отзвук его внебрачной связи, а может, вообще полная «перемена судьбы» (что применительно к «живому» брату, всем жертвующему для блага семейства, представить немыслимо). И второе — брат стал «ласковее»: значит, ранее (в прежних снах?) он за что-то сердился на сновидца. И если чувство вины не оставляет Достоевского, то порождается ли оно его ночными видениями, или, напротив, сами они возникают как следствие этого чувства?

Его визит к Екатерине Михайловне — не только формальное исполнение долга. Конечно, это — внутренняя потребность, неотменимый душевный порыв.

Возможно, это была их последняя встреча.

Ослушница переживёт всех остальных детей Михаила Михайловича. У нее самой не будет потомства — она проведёт остаток жизни с воспитанницей, называвшей её «мама»[***].

В 1923 г. молодой учёный, в будущем первый директор московского музея Ф.М. Достоевского, Вера Степановна Нечаева не без трепета переступит порог старого трехэтажного петербургского дома, где бывал Достоевский. Ее встретит «пожилая женщина с очень правильным красивым лицом, седая, в гладком черном пла-

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30_1. С. 109.

[**] Там же. Т. 27. С. 104.

[***] Существует устное предание, согласно которому для такого именования имелись не только нравственные, но и естественные причины.

тье, с общим отпечатком чего-то немецкого и старомодного». Трудно было поверить, что ей — 70 лет.

В уютной и тоже старомодной столовой протекут их многочасовые беседы. Можно представить чувство, охватившее Нечаеву, когда Екатерина Михайловна извлекла «заветный пожелтевший конверт» с *ненапечатанными* письмами Ф.М. и М.М. Достоевских. «Сейчас, — пишет Нечаева М.В. Волоцкому, — я уже веду переговоры в Пушкинском Доме о помещении их в журнале “Атеней” и, вероятно, получу за них 4–5 червонцев. Этого Екатерине Михайловне вполне достаточно для операции (по поводу болезни глаз. — *И. В.*)». Именно тогда в руки Нечаевой попали редакционные книги «Времени» и «Эпохи», переданные ею впоследствии в отдел рукописей Ленинской библиотеки; понадобилось ещё полвека, чтобы эти материалы увидели свет.

Дочь М.М. Достоевского передаст в московский музей «за ничтожную сумму, которую мы тогда могли ей предложить» бесценные рукописи и портреты. В.С. Нечаева, в свою очередь, поможет ей в хлопотах о пенсии, получение которой «облегчило их (с воспитанницей. — *И. В.*) быт, усложнившийся рождением ребёнка, которого Екатерина Михайловна обожала как внука»*.

Она умрёт в 1932 г., в возрасте 79 лет, в городе «знакомом до слёз», и вскоре её прах затеряется среди праха тысяч блокадников, лёгших на Богословском кладбище.

Ф.М.-младший и его потомство

Брата Фёдора (названного так понятно в чью честь), старшего её на 11 лет, Екатерина Михайловна переживёт на четверть века. Тот, кого Достоевский «нянчил на руках», будет именоваться в семье Фёдором Михайловичем-младшим. В одном из писем 1847 г. автор «Двойника», жалуясь на свой «скверный, отталкивающий характер», признаётся старшему брату, что он иногда «нарочно злился на Федю, которого любил в то же самое время даже больше тебя». «Странно, — замечает по этому поводу М.В. Волоцкой, — что он мог испытывать такие сложные и противоречивые чувства по отношению к трёхлетнему ребёнку»**.

Между тем, тут ключевое слово — *нарочно*. Достоевский заставляет себя «злиться» на любимого племянника: это своего рода моральный эксперимент — разумеется, над самим собой.

---

* Материалы и исследования. Т. 6. С. 283–285.

** Цит. по кн.: Хроника рода Достоевских (2013). С. 292.

Он всегда будет благорасположен к своему полному тёзке, который, как он полагает, «ужасно похож, по сущности своего характера, на покойного брата Мишу». Он внимательно следит за его музыкальными успехами. (Для Фёдора, как и для его младшей сестры Марии, музыка станет профессией.) Его радует, что своими трудами Федя кормит семью. Для него племянник «бравый малый», которому непременно надо помочь. «Я его люблю очень. И тоже готов бы всё отдать, да покамест нечего», — пишет он в момент собственного безденежья, когда замедливается очередная выплата семейству брата.

Ученик А.Г. Рубинштейна, Федя окончит консерваторию и уедет в Саратов, где будет преподавать фортепианную игру в местном Мариинском институте (то бишь в институте благородных девиц). «В глуши, в Саратове» протечёт его жизнь. Он женится на младшей его восемнадцатью годами В.С. Копцевой, саратовской уроженке и своей бывшей ученице, которая служит в том же институте в должности классной дамы. Денег не хватает, и отец семейства, кавалер нескольких российских орденов, поддерживает существование домашними уроками за 1 рубль 85 копеек в час, а также собственной музыкальной торговлей — продажей скрипок, кларнетов, виолончелей. Страдающий болезнью сердца, он выйдет в отставку в 1904 г., за два года до смерти, в чине коллежского советника. Окажется, что на пенсию 750 рублей в год жить невозможно. «Говорят, за Царём служба не пропадет. А за Царицей?»[*] — пишет он родным в Петербург, намекая на покровительство государыни-матери тому учреждению, где он служил, и прося их походатайствовать у великого князя Константина Константиновича об увеличении ему пенсии до 1200 рублей. При этом он не просит прямо прибавки «за Достоевского» (что станет нормой для некоторых родственников писателя в новейшие времена) и не спешит напомнить К. Р., что автор «Карамазовых» был любимым писателем и собеседником великого князя (в чьём доме он встречался тогда также с будущей императрицей Марией Фёдоровной)[**]. Возможно, Фёдор Михайлович-младший рассчитывает, что они сами помнят об этом.

В 1884 г. он известит «знаменитую вдову» Анну Григорьевну о рождении у него сына со странным именем Милий: «...в честь великого музыканта Балакирева». Священник отказывался крестить ребенка, пока не убедился, что имя значится в святцах. (Опасения

[*] Хроника рода Достоевских (2013). С. 295–296.

[**] Подробнее см.: *Волгин И.Л.* 1) Последний год Достоевского. С. 278, 281–285; 2) Колеблясь над бездной. (См. по Указателю имён).

были уместны: через много лет, уже будучи взрослым, Милий Фёдорович получит из Германии письмо, адресованное «фрейлейн Эмилии Достоевской», после чего корреспонденцию, отправляемую за границу, предусмотрительно будет подписывать «Милиус».)

Археолог по образованию, востоковед (он жил и учился в Москве), владевший пятью иностранными языками, автор интересных, но ныне забытых статей, Милий Фёдорович не оставит значительного следа в науке. Болезнь сокрушит его, когда ему не исполнится и тридцати: на нервной почве у него отнимутся ноги. Оставшуюся жизнь — а это более двух десятилетий — он проведёт в инвалидном кресле. Его главным нравственным капиталом будет родство с двоюродным дедом.

Он окажется первым из родственников Достоевского, на которого *выйдет* М.В. Волоцкой, начиная свои разыскания*.

В.С. Нечаева, в начале 1923 г. посетившая Милия Фёдоровича в больнице хронических болезней им. Короленко, увидела мужчину «с измождённым, но живым, подвижным лицом и быстрой, не лишённой остроумия, юмора, речью». Страдавший ещё и туберкулезом, он безотлучно пребывал в грязной прокуренной палате «с идиотами, паралитиками вокруг». Его никто не навещал. Его попытки писать о китайском фарфоре не увенчались успехом, ибо ни стола, ни бумаги, ни денег на неё (не говоря уже о самом фарфоре) у него не было.

На автомобиле наркомздрава Семашко, завёрнутый в шубу профессора Котляревского, он был доставлен в Клинику нервных болезней МГУ, откуда его, сорокалетнего, переместили — уже до конца дней — в общежитие для престарелых учёных ЦЕКУБУ. Там, говорит Нечаева, он «оказался поселённым в отдельной комнате, окружённым вниманием, удобствами и медицинской помощью». Анна Ахматова, нашедшая на время одной из своих поездок в Москву приют в этой академической богадельне, могла быть его собеседницей.

Милий Фёдорович мало что мог поведать о своём деде Михаиле (хотя и преподнес Нечаевой некоторые его рукописи) и ещё меньше — о деде двоюродном; обоих он уже не застал. Хотя, конечно, лишь благодаря своему имени обрёл те скромные блага, которые в эпоху строящегося социализма могли стать достоянием немногих (тем более — инвалидов).

---

* См. *Волоцкой М.В.* Хроника рода Достоевского. 1506–1933. М., 1933.

Достоевский продолжал с лихвою отдавать старшему брату свои сибирские долги: его посмертное опекунство распространилось на потомков Михаила Михайловича уже во втором поколении.

Надо признать, что подобное положение стало возможным в какой-то степени благодаря культурной стратегии новой власти. «Не помнящая родства», но претендующая при этом на мировое духовное наследие, она срочно пыталась найти опору во внешнем авторитете — причём не только чисто революционного, но и общечеловеческого порядка. Не одни лишь «дети лейтенанта Шмидта» могли рассчитывать на ее благосклонность. Безжалостно обращаясь с современниками, власть хотела продемонстрировать, что она чтит великие имена. Литература входила в сферу государственных попечений. Забота о грядущем предполагала патернализм и в отношении прошлого. Материальная помощь потомкам знаменитых людей должна была помимо прочего компенсировать нелегитимность режима и одновременно стать признаком хорошего культурного тона.

В 1924 г. Милий Фёдорович показался одной из впервые навестивших его кузин «очень старым». К своему изумлению (и негодованию), та получила вскоре от него — родственника, с которым общалась всего полчаса, — письмо с предложением выйти замуж. В 1936 г. (за год до его смерти) юная племянница обратила внимание на его убелённую сединами красивую («как и у всех Достоевских») голову, удлинённое хорошо выбритое лицо, приятный баритональный голос: «Он показался мне очень яркой и значительной личностью. Спустя какое-то время я получила от него довольно странное письмо с комплиментами в мой адрес». С ещё одной родственницей велись вдумчивые разговоры о перспективах совместной супружеской жизни — до тех пор, пока женщина не обнаружила, что место, на которое её приглашают, давно уже занято сиделкой потенциального жениха.

Все эти «уклонения» объяснимы и извинительны, если вспомнить физическое состояние Милия Фёдоровича, отделённого от внешнего мира и прикованного к инвалидному креслу.

Между тем он некогда был женат.

О первой его супруге сведений не сохранилось. (Известно только, что от неё был ребёнок, умерший во младенчестве.) Что касается второй жены — Евгении Андреевны Щукиной, отмеченной у Волоцкого как «мещанка г. Белёва Тульской губернии», то ей в хронике рода принадлежит особое место.

Высказывалось предположение, что Волоцкой намеренно зашифровал социальное происхождение Щукиной: на самом деле она якобы была дочерью знаменитого московского купца и коллекционера, чьим попечением Россия стала обладательницей богатой коллекции новейшей западной живописи. Но сведения об этом почтенном родстве восходят, скорее всего, к самой Евгении Андреевне. Эта методология ей ещё пригодится.

Щукина была замужем за М.Ф. Достоевским почти что условный срок: всего три месяца. После чего получила развод. Волоцкой не указывает, к какому именно времени относится этот скоропалительный брак.

В 1923 г., по свидетельству В.С. Нечаевой, Милий Фёдорович был уже разведён. Учитывая лёгкость развода (немыслимую в дооктябрьские времена), а также — год рождения супруги (1897), позволительно предположить, что этот эфемерный союз приходился на самые первые советские годы.

Спустя два десятилетия, в 1942 г., Щукина неожиданно объявляется в оккупированном немцами Крыму, где проживает в это время «настоящая» Достоевская — Екатерина Петровна, невестка писателя, первая жена его сына Фёдора Фёдоровича. Сориентировавшись на месте и сообразив, что имя Достоевского худо-бедно почитается на родине Гёте и что это *товар,* она добивается вида на жительство, украшенного знаменитой фамилией. Неясно, по собственной или же по немецкой инициативе *родственница классика* начинает выступать по радио и в печати — разумеется, в определённом ключе. Не слишком осведомлённые в генеалогии подпольщики Крыма принимают именитую коллаборационистку за Екатерину Петровну Достоевскую и адресуют последней весьма недвусмысленные угрозы. В свою очередь Екатерина Петровна пытается уличить самозванку. «Даже мои знакомые, хорошо знающие меня и мою жизнь, — с негодованием пишет она А.Л. Бему, — сообщают мне, что моё выступление слыхали и мою благодарность Фюреру за заботу обо мне».

Вечная участь Достоевского — быть идеологом: разменным аргументом в борьбе миров. И если фашистские самолёты сбрасывают на позиции советских войск листовки с цитатами из «Дневника писателя»* (интересно, не привлекалась ли нами в качестве контрпропаганды «Ода к радости» Шиллера?), то ещё соблазнительнее

* Факт, сообщённый автору этих строк писателем Анатолием Рыбаковым, который полушутя-полусерьёзно сетовал, что из-за таких воспоминаний ему трудно читать Достоевского.

использовать в своих политических целях родственников цитируемого автора.

В 1952 г. в мюнхенском сборнике «Литературный современник» появляются «воспоминания» Щукиной — само собой, под другой, «родовой» фамилией. Там, естественно, уже нет благодарностей фюреру. Однако это сочинение тоже призвано произвести эффект.

Щукина пытается уверить эмигрантскую публику (от которой кратковременность её брака, и тем более факт развода тщательно скрываются), что её муж Милий Достоевский был арестован в марте 1923 г. как японский шпион (вспомним, что именно в те дни В.С. Нечаева вызволяет его из больницы имени Короленко для помещения в более комфортабельные условия), затем, отбыв срок, оказался в ссылке на Земле Франца-Иосифа, а после освобождения (по ходатайству Ворошилова и др.) вновь получил «десятку». Мемуаристка рисует трогательную картину встречи с дорогим мужем, которая состоялась в марте 1937 г. (он умер в феврале) «на ферме НКВД № 2» под Мариинском в Кемеровской области. Старик с седой бородой, с распухшими от непосильной работы руками сдержанно повествует готовой разрыдаться супруге о тяготах лагерной жизни. «Я видела, как он похудел, как изменился, как вздрагивал от каждого случайного стука...» Великодушно продлив жизнь мужу лет этак на пять, мемуаристка не забывает указать место его последнего успокоения — разумеется, в недрах Сибири.

«Это поэма», — говаривал в подобных случаях Герцен.

Екатерина Петровна Достоевская, после войны также оказавшаяся за границей, кропотливо собирала материал «по делу Щукиной»: по смерти собирательницы он (бесследно?) исчез.

Итак, Милий Фёдорович Достоевский умер бездетным. Однако ветвь Ф.М.-младшего в этом поколении не пресеклась*.

Младшая сестра Милия Фёдоровича Татьяна по примеру отца избирает музыкальную карьеру. Близкие характеризуют её как умную, самостоятельную и довольно замкнутую особу. В 1919 г. она оказывается в Калуге, где в возрасте 33 лет рожает дочку Ирину, отцом которой (что долгое время скрывалось) становится 18-летний В.В. Софроницкий, будущий знаменитый пианист и сталинский лауреат. ...Татьяна Фёдоровна умрёт в 1958 г. в Москве — от гнойного аппендицита, который искушённые столичные медики по ошибке диагностируют как рак. О судьбе её дочери будет сказано ниже.

* Материалы по биографии М.Ф. Достоевского и Е.А. Щукиной см. подробнее: Хроника рода Достоевских (2013). С. 317–325. Цитаты приводятся по архивным источникам, упомянутым в этом издании.

У Ф.М.-младшего имелся ещё один — внебрачный — ребёнок. Скрупулёзный Волоцкой указывает на некую М.В. Филиппову, родившуюся, как выяснилось, около 1880 г., т.е. когда ее отцу было 37–38 лет. О матери практически ничего не известно. Можно сказать, что во втором поколении повторяется «сценарий» Михаила Михайловича Достоевского с его внебрачным сыном Ванечкой Аникиевым. Правда, дочь Ф.М.-младшего появляется на свет накануне его официальной женитьбы, так что справедливее было бы назвать ребенка *до*брачным. О Марии Владимировне (почему не Фёдоровне?) Филипповой до нас дошли весьма скудные сведения — она любила цветы, писала стихи и безумно боялась вверять свою жизнь любому из видов транспорта. Её первый муж Борис Лури был, как сообщает Волоцкой, убит полицией 9 января 1905 г. (погиб во время расстрела демонстрации или последующих волнений?), со вторым мужем — Исааком Юзефовичем она развелась в 1924 (так в матримониальных раскладах Достоевских робко возникает еврейская тема). Её сын от первого брака Игорь Лури, виолончелист, *незаконный внук* Фёдора Михайловича-младшего, будет давать совместные — можно сказать, семейные — концерты со своей теткой Татьяной Фёдоровной, *законной дочерью* его деда, имевшей в свою очередь внебрачного ребенка от Софроницкого (момент, как видим, упорно повторяющийся в этой генеалогической цепочке). Так музыка примирит все родовые побеги.

Из главы 2

«ШЁЛ ПЛЕМЯННИК МОЙ КАРЕПИН...»

Варвара Михайловна

В семье Достоевских были по меньшей мере две насильственных смерти.

Одна — в 1839 г. (если Михаил Андреевич был-таки убит) и вторая — с переменой местами двух последних цифр — в 1893-м. Причем, как и убийство отца, смерть сестры Достоевского, семидесятилетней Варвары Михайловны, первоначально квалифицируется в качестве несчастного случая — хотя и прискорбного, но не имеющего криминального оттенка.

21 января 1893 г. обезображенный пламенем и всё еще тлеющий труп находят в пятикомнатной квартире её собственного московского дома: там Варвара Михайловна в полном одиночестве проживала последние годы. Полиция приходит к заключению — и информация об этом попадает в газеты, — что причиной пожара стала лопнувшая керосиновая лампа: пламя мгновенно охватило несчастную жертву.

В семейной хронике Достоевских отмечен подобный случай. В 1855 г. тетка писателя Екатерина Ставровская, будучи на девятом месяце беременности и находясь в церкви, фактически сгорела заживо: платье на ней вспыхнуло от церковной свечи. Спасти её не смогли. Что ж говорить о Варваре Михайловне — дело происходило без свидетелей. Выяснилось, однако, что это убийство. Карепина была задушена дворником и его подручным: само собой, они польстились на деньги покойной. Труп облили керосином и подожгли. Местным Порфириям Петровичам, видимо, не составило труда обнаружить весьма неискусно сокрытую истину.

Конечно, велик соблазн соотнести происшествие с сюжетом «Преступления и наказания». Тем более что Любовь Фёдоровна

настоятельно подчеркивает патологическую скупость сестры своего отца и даже именует её в этой связи «бедной помешанной». Однако эти уверения опровергаются другими свидетельствами. Брат Андрей Михайлович, который по смерти Ф.М. Достоевского как бы принял на себя миссию хранителя фамильной чести, публично выступает в защиту старшей сестры. Он утверждает, что, жестоко стесняя себя буквально во всём, Варвара Михайловна никогда не отказывала в помощи своим близким — в частности, содержала многочисленное семейство дочери. По свидетельству крестницы, «настоящая московская тетушка» любила потчевать родственников и гостей. Она была музыкальна. Всё это никак не тянет на «старухупроцентщицу», хотя образ жизни Карепиной в её последние годы и даёт известные основания для сближений такого рода.

Изо всех сестёр с Варварой Михайловной отношения у Достоевского, пожалуй, наиболее близкие. По словам младшего брата, Андрея Михайловича, он любил её как сестру и уважал «как женщину редкого ума и твёрдого характера». Вдова, обременённая детьми, она посылает ему в Семипалатинск свою скромную лепту. Именно ей сообщает Достоевский «план» своего первого брака — делает старшую из сестёр своим конфидентом. Именно ей доверяет он довести до сведения «москвичей» этот в высшей степени несвоевременный с их точки зрения прожект.

Варвара Михайловна была добрым и преданным другом. На протяжении жизни брат ни разу не упрекнул ее ни в чём.

«Я её люблю; она славная сестра и чудесный человек», — скажет он за два месяца до собственной смерти. «Ты один вспомнил обо мне 4 декабря (в день её именин; это письмо Достоевского неизвестно. — *И. В.*), — пишет она брату в первый день нового 1881 г. — Все мы разбросаны в разных городах и живем точно чужие... Крепись и мужайся, милый мой братику, ведь мы с тобой не Бог знает какие старики. Бог даст поживём». После этого Бог даст ему ещё четыре недели.

Родившаяся в 1822 г., годом позже брата Фёдора, она вместе с ним, а также с Михаилом и, отчасти, Андреем принадлежала к первому, старшему поколению детей: здесь крепки именно горизонтальные связи.

Судьба сестры Вареньки волновала Достоевского.

Круглая сирота, она выйдет замуж семнадцати лет — за П.А. Карепина: первый брак среди всех братьев и сестер. Двадцать пять тысяч, полученных в приданое от Куманиных, очевидно, сыграли в этом замужестве не самую последнюю роль. Во всяком случае, так

мог полагать брат Фёдор Михайлович, которому никогда не доведётся увидеть сорокачетырехлетнего вдовца, мужа его сестры. Однако они переписывались.

Став супругом Варвары Михайловны, Пётр Андреевич Карепин сделался одновременно и опекуном осиротевшего семейства (совокупно со старшим братом М.М. Достоевским). Именно из его рук братья и сёстры получали теперь причитающиеся им доли родительского наследства.

Принято считать, что черты Карепина нашли отражение в образах: господина Быкова в «Бедных людях», который берёт за себя сироту — *Вареньку* Доросёлову; Петра Александровича в «Неточке Незвановой»; Петра Петровича Лужина в «Преступлении и наказании». Два последних обладают одинаковым с Карепиным именем (оно вообще имеет у Достоевского исключительно отрицательные коннотации), а Лужин ещё и чином: надворный советник. Господин Быков и П.П. Лужин — богаты; намереваясь жениться на бедных девушках, изображают их благодетелей. Видимо, незнакомый ему лично Карепин весьма занимал Достоевского, если сподобился отразиться в трёх не самых привлекательных романных персонажах.

Хотелось бы указать здесь ещё на одного героя, возможно, причастного всё к тому же прообразу. Это — Юлиан Мастакович, сквозной персонаж ранней (докаторжной) прозы. В «Петербургской летописи» (1847) он именуется так: «...мой хороший знакомый, бывший доброжелатель и даже немножко покровитель мой». Карепин, если судить по их переписке, в известном смысле действительно «хороший знакомый» Достоевского, а в качестве опекуна — несомненный «доброжелатель» и «покровитель». (Разумеется, все эти определения имеют у Достоевского сугубо иронический оттенок.) Юлиан Мастакович намерен жениться, причем жениться *на деньгах*. «Истинно сказать, трудно жениться в более благоразумных летах. Он ещё не женился, ему ещё три недели до свадьбы; но каждый вечер надевает он свой белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невесте, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведения зла». Особо подчёркиваются преимущества брачного возраста: «Нет, даже приятно жениться в подобных летах! По-моему, уж если всё говорить, даже неблагопристойно делать это в юношестве, то есть до тридцати пяти лет. Воробьиная страсть! А тут, когда человеку под пятьдесят, — оседлость, приличие, тон, округлённость физическая и нравственная — хорошо, право хорошо!»

В «Ёлке и свадьбе» (1848) всё тот же Юлиан Мастакович примечает «нимфетку» — одиннадцатилетнюю дочь богатого откупщика. Спустя пять лет он берёт за неё (ставшую, очевидно, уже Глафирой Петровной?) пятьсот тысяч приданого. Конечно, это не *жалкие* куманинские двадцать пять тысяч, но для Достоевского важен сам принцип. «Однако расчёт был хорош!» — восклицает рассказчик.

Портрет Юлиана Мастаковича вполне соответствует его душевному строю: «Это был человек сытенький, румяненький, плотненький, с брюшком, с жирными ляжками, словом, что называется, крепняк, кругленький, как орешек». Но любопытно и имя. Мастакович — это, конечно, ***мастак***, «дошлый делец» (В.И. Даль). «Вы человек *деловой*, Пётр Андреевич, — пишет Карепину Достоевский, — Вы и с нами действуете, как человек *деловой*, не иначе, так как Вы человек *деловой*...» и т. д. Но — Юлиан? Имя довольно редкое для наших палестин. Нелишне в этой связи заметить, что у Карепина наличествует дочь восьми лет от первого брака по имени Юлия.

Повторим ещё раз: Достоевский никогда не виделся с Карепиным (очевидно, на этом основании тот даже не включён в двухтомный энциклопедический словарь С.В. Белова «Ф.М. Достоевский и его окружение»). Все впечатления от новоявленного родственника возникли исключительно на эпистолярной почве.

Летом 1844 г. подпоручик Достоевский решается на отчаянный шаг: подаёт в отставку. Это вызвано интенсивной работой над «Бедными людьми». Никто, однако, кроме старшего брата, не посвящён в истинную подоплёку событий*.

Меж тем начинающему отставнику срочно необходимы деньги. Он изъявляет готовность отказаться от своей доли родительского наследства в пользу других членов семьи — всего за тысячу рублей серебром. Карепину, естественно, не слишком нравится этот план. Он почитает подобные экстравагантности следствием раздутого самомнения, неосновательности, молодой блажи и т.д.

«Офицеру в военном мундире нельзя останавливаться приготовлениями мягких пуховиков и Луколловой кухни, — назидательно пишет он брату своей молодой жены. — Почтовая кибитка, бурка и кусок битой говядины, приготовленной денщиком, всегда найдётся за прогоны и царское жалованье. Зато сколько приятных ощущений при удачном исполнении своего долга; сколько отрады во внимании начальников, в любви и уважении товарищей, а далее награ-

* Об истории отставки см. подробнее: *Волгин И.Л.* Родиться в России. С. 336–339, 433–443. Ниже мы цитируем небольшой фрагмент из этой книги.

да, заслуженная трудом своим путём прямым, благородным. Вот, Брат! настоящая поэзия жизни и сердечное желание Вам преданного П. Карепина».

Довольный собой, рассудочный, велеречиво резонирующий Пётр Андреевич вполне сопоставим в глазах его корреспондента с Фамусовым, Фальстафом и Чичиковым, о чём ему и сообщается почти прямым текстом.

Но неважно, каков был на самом деле Пётр Андреевич Карепин: образ уже сотворён. «Даже в отношении Достоевского к родственникам, — замечает один исследователь, — сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвящённым»[*]. Не являет ли у Достоевского случай с Карепиным (Лужиным, господином Быковым и др.) то же чувство, которое позднее исторгнет у А. Блока яростный вопль: «Отойди от меня, Сатана, отойди от меня, буржуа...»?[**]

Анна Григорьевна, отметившая в своих биографических записях, что Карепин был «действительно дрянной человек», разумеется, воспроизводит точку зрения мужа. Однако нет никаких оснований не верить свидетельству лично знавшего Карепина Андрея Михайловича: их опекун «был не просто добрым, но евангельски-добрым человеком». Надо признать, что, не имея особых причин веровать в блестящее будущее одного из опекаемых им лиц, а именно молодого инженер-подпоручика Фёдора Достоевского, Карепин в меру своих сил заботится о его материальных интересах. И когда эти усилия оказываются тщетными, выкладывает требуемую Достоевским сумму из собственного кармана.

Жесточайшие, следующие один за другим приступы эпилепсии сразят П.А. Карепина в самом начале 1849 г. В январе 1850 г., известившись из газет о приговоре над Достоевским, он ещё успеет высказать Андрею Михайловичу слова сочувствия и призыв уповать на милость царя: «Терять надежды не должно»[***]. Вскоре 54-летний Карепин отойдёт в мир иной, как бы завещав своему пребывающему на каторге «брату» собственную болезнь.

Карепин оставит после себя 27-летнюю вдову и малых детей, в том числе неизлечимо больную Елизавету — родственники будут называть её «несчастная идиотка». Впрочем, наследственность скажется и на остальных детях.

О дочери Марии известно лишь, что она была «со странностями»: неясно, правда — с какими. Других сведений почти не сохрани-

[*] *Алексеев М.П.* Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921. С. 21.
[**] *Блок А.* Дневник 1918 г. 26 февраля.
[***] Литературное наследство. Т. 86. С. 374.

лось. Родные Достоевского недоумевают, почему писатель жестоко демонизировал ее мужа В.Х. Смирнова, публично обвиняя последнего в хроническом алкоголизме, которым тот, судя по всему, не страдал. Но, возможно, отгадка заключается в том, что автор «Преступления и наказания» подозревал Смирнова (как выясняется, ещё одного «кандидата на Лужина») в корыстолюбии, полагая, будто тот «женился на Марии Петровне, польстившись на её деньги». То есть приписывал Смирнову гипотетические пороки давно уже почившего Карепина-старшего.

О сыне Александре сохранились любопытнейшие подробности.

Конечно, Любовь Фёдоровна несколько горячится, когда утверждает, что Александр Петрович Карепин «был настолько глуп, что его глупость граничила с идиотизмом». Вряд ли можно столь безапелляционно характеризовать человека, обладавшего феноменальной «компьютерной» памятью и без усилий овладевавшего иностранными языками.

С другой стороны, неостановимое многоговорение (независимо от заданной темы) и, словно бы по контрасту, радикальное заклеивание пластырем рта пациенту, всего лишь порезавшему губу, — всё это, конечно, указывает на некоторую психическую аномалию.

Тепло относясь к племяннику, Достоевский тем не менее любит подшучивать над ним. Что едва не приводит к публичным скандалам. Выше (см.с. 269) уже приводились посвящённые Карепину экспромты.

По дороге по железной
Шёл племянник мой Каренин...

И ещё:

Саня! Ваших всех хотений
Я пророчу вам успех!

Возможно, в какой-то степени «уклонения» Карепина-младшего были спровоцированы слепым материнским обожанием, в результате которого Саня был отпускаем в университет «не иначе как только с бонной». Однажды на экзамене он отказался отвечать на сугубо медицинский вопрос, ссылаясь на то, что мама запретила ему читать об этом предмете.

Как и отец, женившийся на его матери, когда та пребывала в первом цветении юности, он мечтает о невесте «не старше 16 лет» и вступает в брак, перевалив шестидесятилетний рубеж (тут он перещеголяет отца). Отвергая эмансипированных женщин, он, тем

не менее, находит идеал красоты в *стриженых*: трудно сказать, как разрешался этот конфликт между эстетикой и этикой.

Вряд ли А.П. Карепин, если он был безнадежно туп, смог бы участвовать в качестве военного врача в турецкой кампании 1877–1878 гг. Правда, проведав о знакомстве своего дяди с генералом Ф.Ф. Радецким, покорителем Шипки, и с главнокомандующим русской армией на Балканах, он пренаивнейшим образом просит мать, чтобы та в свою очередь обратилась к Достоевскому (и она с не меньшей наивностью это делает) — «нельзя ли написать кому-нибудь из этих высокопоставленных особ и попросить о покровительстве». Покровительство должно было заключаться в скорейшем получении Александром Петровичем очередного чина и ордена Станислава II степени. Достоевский действительно знал Радецкого — почти сорок лет назад они вместе учились в Инженерном училище (Радецкий классом выше). Что касается главнокомандующего — а им был великий князь Николай Николаевич, — то он, будучи во второй половине 1850-х генерал- инспектором по Инженерной части, ходатайствовал (по просьбе другого соученика Достоевского по училищу, генерала Э.И. Тотлебена) о производстве унтерофицера Сибирского линейного батальона в прапорщики. О личном их знакомстве ничего не известно. Но в любом случае не в таких отношениях был Достоевский с указанными лицами, чтобы озабочивать их подобными просьбами. «Милый брат, — пишет Варвара Михайловна, — я уверена, что если б ты написал к Главнокомандующему, то ради тебя он сделал бы что-нибудь для А. П.»* Когда-то не отпускавшая своего сына в университет без сопровождения гувернантки, теперь она готова передоверить эти функции всемогущему, по её мнению, брату.

И что ещё любопытно. Современники говорят о страстном увлечении Сани Карепина образом Дон Кихота. «До смешного кроткий» — и это при вспыльчивости и ревности — племянник Достоевского, возможно, чувствовал некое родство с любимым литературным героем писателя. Разумеется, это не повод, чтобы начать отыскивать в «человеке небесполезном» черты князя Мышкина. Вспомним, однако, что в названии романа заключён ещё и полемический смысл.

М.В. Волоцкой характеризует Александра Карепина как *тип эпилептоидно-кроткий*. Тут с ним как со специалистом не приходится спорить. Говоря о несомненно присущем Карепину комплексе

* Литературное наследство. Т. 86. С. 465.

эпилептоидной обстоятельности, он находит таковую же у его знаменитого дяди и, что самое интересное, распространяет этот комплекс на творчество последнего. «Это выразилось, — пишет Волоцкой, — в исключительной громоздкости и местами сумбурности его произведений, в чересчур подробной, вязкой трактовке сюжета, когда, как, например, в "Братьях Карамазовых", действие, происходящее на протяжении нескольких дней, излагается на многих сотнях страниц». Трудно, да и бессмысленно отрицать тот факт, что психофизиологические особенности автора «Карамазовых» сказались на характере его художественных изображений. Необходимо, однако, заметить, что несколько дней основное действие длится и в «Селе Степанчикове», и в «Преступлении и наказании», и в «Бесах»... Концентрацию многих событий на сравнительно небольшом временном отрезке (то, чего, скажем, совершенно нет у Льва Толстого) мы назвали бы следствием не столько эпилептоидной, сколько художественной обстоятельности, хотя, конечно, нельзя отрицать наличия между ними известной связи. Но *сжатое время* — это у Достоевского принцип мирочувствования, который, конечно, «зависит от физического», но, думается, не в такой степени, как это представляется специалистам по душевным расстройствам.

Печальная участь постигла семейство Карепиных. Мучительный конец Петра Андреевича, неизлечимая болезнь Лизы, трагическая смерть самой Варвары Михайловны.

И хотя представители второго поколения Карепиных, Александр и Мария, тоже имели детей, никто из тех, кого опросил Волоцкой в начале 1920-х, не мог ничего сообщить об их судьбе. Не знаем об этом и мы.

Не такой ли исход предчувствовал Макар Девушкин, тоскуя по отбывающей в неизвестность Вареньке?

«А в губки не смею...» Николай Михайлович

Из четырёх братьев Достоевских Николай Михайлович родится последним — в 1831 г. Он появится на свет, когда брату Фёдору минет десять. Разница весьма существенная — на поколение. Они расстанутся, когда младшему не будет ещё и шести, и встретятся вновь, когда он приблизится к тридцатилетнему рубежу. Почти четвертьвековая разлука не способствует упрочению родственных уз. Вряд ли братья писали друг другу, когда один из них находился в Сибири: во всяком случае, такие послания неизвестны. Неизвестно также, как прошла их поздняя встреча. Но, пожалуй, её можно было бы

обозначить по названию одной из глав — «Братья знакомятся» — в последнем романе старшего: правда, без заключённого в тексте *высшего* смысла.

Сведения о Николае Михайловиче очень скудны. Поначалу он шёл по накатанной тремя старшими братьями колее — вслед за ними *избрал* (само собой, не без поддержки Куманиных) инженерную карьеру.

Брат Михаил полагал, что из Николая «выйдет очень талантливый архитектор» (во всяком случае, добавим, более успешный, чем брат Фёдор, ничтоже сумняшеся изобразивший на представленном государю чертеже крепость без крепостных ворот). Архитектор из него получился. Но в середине 1860-х начинаются сбои. Он, ещё вполне молодой человек, теряет службу, а вскоре и приносящую постоянный доход частную практику. Он продаёт лошадь и экипаж — символы некоторой достаточности. Памятуя о необходимости поддерживать младшую сестру, Александру Михайловну, вскоре Николай сам поселяется у неё — на правах бедного родственника и, может быть, приживала. Чтобы провести так остаток своих, в общем, не столь продлившихся дней.

«Я был бы Крезом, если бы имел твердость характера», — признаётся он брату Андрею. Л.Ф. Достоевская называет своего дядю «несчастным пьяницей». Тут её нельзя упрекнуть в преувеличении или неточности. О пагубной склонности Николая Михайловича к алкоголю упоминают и остальные родственники — с тем большей печалью, чем более Николай Михайлович им близок и мил. К нему прилагают универсальное определение: *добрый*. Лишённый каких бы то ни было амбиций, не вздорный, с благодарной деликатностью принимающий всякую помощь, он вызывает всеобщую родственную приязнь.

Он часто болеет и полёживает в больнице.

«Много я думал о тебе, голубчик, — пишет ему Ф.М. Достоевский из Парижа в 1863 г.— ...Дорог ты мне теперь, больной и несчастный».

«Дорог ты мне *теперь*» — последнее слово имеет касательство не только к нынешнему положению Николая Михайловича, но и к собственному душевному состоянию автора письма.

Ибо следует обратить внимание на дату.

Письмо Достоевского помечено 28-м августа по новому стилю. А накануне, 27-го, разразилась катастрофа: приехав в Париж, он узнаёт, что прибыл «немножко поздно». Аполлинария Суслова, ждавшая его там, чтобы вместе отправиться в Италию, объявляет

ему о своей неверности. Переживая этот внезапный удар, Достоевский, как и большинство людей в подобных обстоятельствах, «вдруг» вспоминает о близких. Он пытается ухватиться за что-то основательное — незыблемое, не подверженное переменам, родное и вечное, что привязывает его к этой жизни. Он пишет в этот день тем, кто *остался*: брату Николаю, брату Михаилу, пасынку Паше Исаеву...

«Думаю о всех вас; думаю часто и о Марье Дмитриевне», — продолжает он письмо к младшему брату. Измена любовницы обостряет чувство вины: для него не секрет, что законной жене осталось жить очень недолго. «Как бы, как бы хотелось получить об ней добрые известия!» И, адресуясь к пасынку, словно остерегает его от опасностей и соблазнов близящегося сиротства: «Старайся, Паша, избегать глупых знакомств и Юсуповых садов»: всё это пишется из города Парижа. Фёдор Михайлович выбрал для своих наставлений не лучшее время и место. В только что приводившемся письме к Николаю от 28 августа 1863 г. он упоминает «одну особу», которая «даже заплакала, когда я рассказал о твоей болезни»[*]. Заплакала, разумеется, Суслова. Очевидно, в Париже они не только выясняли отношения. Достоевский поведал ей о своих домашних делах, в том числе о заболевшем брате. Вообще Николая Михайловича жалели и не очень близкие люди. Даже Анна Григорьевна, для которой он представлял хотя и незначительную, но возникающую перманентно финансовую угрозу, отзывается о нём с редкой для неё в подобных случаях теплотой.

Достоевский был старшим братом: он вменяет себе в обязанность помогать слабейшему в семье. Помимо ежемесячного пособия в размере 50 рублей, каждый визит «брата Коли» к брату-писателю доставляет посетителю дополнительную пятёрку. Анна Григорьевна замечает, что Николай Михайлович в этой связи учащал визиты. Ей, как говорится, виднее. Однако не менее достоверно и то, что инициатива исходила и от самого Достоевского: «Милый Коля, посылаю тебе ещё пять рублей. Может быть, тебе нужны деньги. Как твое здоровье и как твои обстоятельства? Я всё боялся и боюсь, что тебя посадят»[**]. Комментаторы Полного (академического) собрания сочинений полагают, что речь здесь идёт «о психиатрической лечебнице, в которой Н.М. Достоевский регулярно лечился»[***]. Представляется, однако, что речь идёт о самом натуральном аресте. Недаром в письме к сестре Вере Николай Михай-

[*] *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 28$_2$. С. 37–38.
[**] Там же. С. 101.
[***] Там же. С. 411.

лович сообщает, что «в один прекрасный день меня с полицейским унтер-офицером отправили в долговую тюрьму, из которой в тот же день я был выкуплен Емилею Фёдоровной (вдовой брата Михаила. – *И. В.*) и братом Фёдором».

Болезнь, едва не унёсшая Николая Михайловича в могилу, началась летом 1863 г., когда, как уже говорилось, брат Фёдор отправился за границу. Николай Михайлович не мог ходить, у него тряслись руки и резко ослабло зрение. (Два последних недуга в точности соответствуют тем, что заставили папеньку Михаила Андреевича — правда, в возрасте более позднем — просить об отставке.) Он пишет сестре в Москву, что родные не оставили его в беде. С особенным чувством говорится о брате Фёдоре.

В той характеристике, которую Николай Михайлович даёт старшему брату, речь идёт не о писательских заслугах, а исключительно о нравственных качествах. «Я не видал подобного человека. Брат предался весь семейству, работает по ночам, никогда не ложится спать ранее 5 часов ночи, работает как вол; а днем постоянно сидит и распоряжается в редакции журнала. Надо пожить и долго пожить, чтобы узнать, что за честнейшая и благороднейшая душа в этом человеке...» Какое семейство, которому «предался» брат, имеется здесь в виду? У Достоевского в этот момент практически нет семьи — он вдов и одинок. Он работает «как вол», дабы вытащить из нужды жену и детей покойного брата Михаила, чьи долги по журналу «Эпоха» он взял на себя. Хотя, заметим, мог бы и не приносить эту братскую жертву. «Он, — продолжает Николай Михайлович, — по моему мнению, самый несчастный из смертных. Вся жизнь его так сложилась. Он никогда не пожалуется и не выскажет всего, что у него, может быть, накипело на сердце; вот почему эти строки и вырвались у меня»[*]. У автора письма действительно добрая душа. Несчастнейшим из смертных почитается вовсе не он, Николай Михайлович, лишённый работы, здоровья, семьи и чем-то напоминающий ещё не сотворённого Мармеладова, а внешне благополучный и даже знаменитый Фёдор Михайлович, сапоги которого младший с благодарностью донашивает.

Некоторое охлаждение между братьями наступает в самом конце 1870-х — надо думать, из-за перессорившего всю родню наследства А.Ф. Куманиной. И хотя Николай Михайлович пишет брату Фёдору по поводу этих родственных тяжб, что во всём согласен с его желаниями и противоречить не будет, всё же — видимо, не без влияния

[*] Хроника рода Достоевских (2013). С. 863–864.

сестры Александры Михайловны — он чувствует себя в чём-то ущемлённым и уклоняется от встреч (опровергая тем самым уверения Анны Григорьевны о возрастающей частоте посещений). «Жаль, что ты переписываешься со мной письмами, — выговаривает ему Достоевский 26 декабря 1880 г. — Эти отчуждения отодвинут наши дела ещё на несколько лет, может, и на полную гибель». Он, старший, имеет право на такой тон. «Брат Николай Михайлович совершенно порвал со мной, точно меня нет на свете»*, — жалуется он брату Андрею.

«Полная гибель» и «нет на свете» — выражения по преимуществу фигуральные. Однако это написано в самом конце 1880 г.: жизнь автора действительно на исходе.

Николай Михайлович переживёт старшего брата ровно на два года. Единственный из Достоевских, он так и не заведёт семьи, предпочитая взятого в качестве слуги какого-то «бедного сироту». Его уснащённые бесконечными лобзаниями послания к юной племяннице, дочери сестры Веры («целую тебя в лобик, глазки, носик, в щёчки, а в губки не смею, стар стал, пожалуй и побрезгуешь») — эти родственные эпистолы, которые, по мнению М.В. Волоцкого, «отличаются исключительной экзальтированностью, носящей своеобразную сексуальную окраску», свидетельствуют об очень одиноком и очень несчастном человеке.

Единственный изо всех братьев и сестёр Достоевских, он не оставит потомства. Могила его затеряна.

---

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30_1. С. 229, 239.

Из главы 3

ПОСЛЕДЫШ

Александра Михайловна

Весной 1835 г., клянясь в вечной верности отцу писателя, Михаилу Андреевичу, супруга его напишет, что теперешняя её беременность «есть седьмой крепчайший узел взаимной любви нашей».

Ребенка, рождённого не в доме на Божедомке, как о том старался отец, а в сельском уединении, в Даровом, назвали Александрой: скорее всего, в честь тётки Куманиной. Но после смерти Марии Фёдоровны среди её детей, которых приютят Куманины, Александры как раз не окажется. Овдовевший Михаил Андреевич оставит младшую дочь при себе.

Достоевский не видел сестру Сашу с 1837 г. и до начала 1860-х. Он отбыл из Москвы в Петербург, когда ей не исполнилось и двух лет.

Осенью 1838 г. Михаил Андреевич получает от сына Фёдора письмо с известием, что тот оставлен на второй год. С родителем едва ли не случился удар. «Помню только, как во сне, — пишет отец второгодника дочери Варваре, — Сашинькин плач, что папинька умер»[*].

Он умрёт спустя семь месяцев — своей или насильственной смертью, — и находившаяся при нём младшая дочь станет невольной свидетельницей его кончины. Разумеется, её воспитают Куманины.

Через пятнадцать лет Достоевский напишет из Сибири брату Андрею, что никто из их семьи о нём, изгнаннике, не забыл.

Единственное исключение — «сестрица Сашенька»: «Она ко мне не писала, а мне как-то щекотливо»[**].

---

[*] *Нечаева В.С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939. С. 120.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 181–182.

К этой же теме возвращается он в 1857 г. в письме к брату Михаилу: «Но какова же сестра Саша? За что она нас всех заставляет краснеть? Именно краснеть! Ибо все в семействе нашем благородны и великодушны. В кого она так грубо развита? Я давно удивлялся, что она, младшая сестра, не хотела никогда написать мне строчки. Не оттого ли, что она *подполковница*?»[*]

Сто рублей, присланные «подполковницей» ему на шубу, кажется, смягчат братское сердце.

Несмотря на малое знакомство с давно уже взрослой сестрой, он, вернувшись из Сибири, печётся о том, чтобы младшая из Достоевских не отступила от добрых традиций семьи. Когда Сашин муж Н.И. Голеновский, «человек добрый, благороднейший», не поладив с начальством, выйдет в отставку, — Достоевский без колебаний одобрит этот шаг. Он жалеет сестру, когда Голеновский умирает.

Все три сестры Достоевские рано овдовели, хотя их избранники далеко ещё не достигли авраамовых лет. Варвара и Вера так и остались одни. Александра, потеряв мужа-военного, вышла замуж вторично — за В.В. Шевякова, человека сугубо штатского. С Шевяковыми у Достоевского отношения не сложились. Во-первых, его, старшего в роду, даже не известили о новом супружестве. Во-вторых, окончательному разрыву способствовало куманинское наследство — брат и сестра оказались вовлечены в судебные тяжбы. Адресуясь к заболевшему брату Николаю, жительствующему во флигеле того самого «домика на Петербургской», где обитает сестра Александра (младшие дети, они росли вместе, и связь тут, конечно, теснее), Достоевский пишет, что он навестит его «рискуя даже встретиться с Ш-ми (т. е. Шевяковыми. — *И. В.*)». Автора «Подростка» не может не обижать и то обстоятельство, что двое его племянников, сыновей сестры Веры, учась в Петербурге и квартируя у Александры Михайловны, ни разу не навестили своего дядю, который «в детстве их немало передарил им гостинцев и игрушек»[**].

Будучи моложе Достоевского четырнадцатью годами, сестра Александра Михайловна переживёт его на девять лет. По странному совпадению она умрёт в день, следующий за днём рождения брата. После неё останется четверо детей (от первого мужа) — два сына и две дочери.

Старшая дочь, Мария Николаевна, выйдет замуж ещё при жизни Достоевского — за своего родственника Максимилиана Ставровско-

[*] Хроника рода Достоевских (2013). С. 276.
[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 291. С. 313.

го (сына сгоревшей в церкви Е.Ф. Ставровской). Достоевский будет уязвлён тем, что его не пригласили на свадьбу. Но на церемонию не был зван даже Николай Михайлович, который, как сказано, обитал тут же, во флигеле, но отношения которого с сестрой испортились всё из-за того же куманинского наследства. Знавшая Марию Николаевну воспоминательница говорит о её сильном характере (сходном с характером тётки — В.М. Карепиной), о болезненной любви её к единственному ребёнку (тоже тёткина черта: вспомним «племянника моего» Саню Карепина, не отпускаемого без бонны в университет), о деспотической её власти над мужем. Последний, кстати, занимал довольно высокий пост директора департамента Министерства путей сообщения. Волоцкой глухо сообщает, что до Октябрьской революции Мария Николаевна была «очень зажиточна». О причинах её смерти в 1921 г. он говорит столь же лапидарно: «от воспаления легких и крайнего истощения вследствие пережитых материальных лишений и голода»*. Муж, М.Д. Ставровский, умрёт годом раньше. Оба родителя переживут свою единственную дочь, которую Мария Николаевна так страшилась потерять. Александра Максимилиановна, девушка весьма одарённая (особенно как живописец), умрёт в возрасте двадцати восьми лет, не оставив потомства.

Прерываются и линии ещё двух детей Александры Михайловны.

Зато её младший сын, Николай Николаевич, служивший в Кронштадте морским врачом, окажется плодовит.

Его первенец Дмитрий, сапёрный офицер, будет расстрелян как заложник в 1919 г. в возрасте двадцати двух лет**. В этом же возрасте туберкулёз — наследственная болезнь Достоевских — унесёт второго сына, Георгия (1925). Ещё один внук Александры Михайловны, Владимир Николаевич, по профессии инженер, доживет до 1935 г., чтобы сгинуть от туберкулёзного менингита в подмосковной больнице.

Последняя из Голеновских, Ирина Николаевна, окажется долгожительницей — встретит свои восемьдесят шесть. Она проживёт, как принято говорить, незаметную жизнь, трудясь «простой машинисткой» и стесняясь того, что не получила образования (редкий для рода, к которому она принадлежит, случай).

«Боясь жить», она останется бездетной и одинокой. Для неё естественно — не привлекать внимания, *стушёвываться,* оставаться в тени.

---

* Хроника рода Достоевских (2013). С. 871.

** Взятого в заложники бывшего офицера, его расстреляют за якобы дезертировавшего из Красной армии брата (хотя в действительности дезертирства не было).

Её страшит мысль, что музей Старой Руссы намеревается заплатить ей за доставшуюся от родителей семейную скатерть: «Мне будет просто неприятно, если вы пошлёте мне деньги»*. Когда в 1991 г. она умрёт, соседи по питерской коммуналке захватят комнату и выбросят немемориальные вещи покойной на свалку.

Линия рода, идущая от «подполковницы» Александры Михайловны, тихо угаснет в тот же год, когда перестанет существовать большая, породившая её гениального брата страна.

* Письмо И.Н. Голеновской, заведующей дома-музея Достоевского в Старой Руссе В.И. Богдановой от 10.IV.1980 (Хроника рода Достоевских [2013]. С. 875).

Из главы 4

“EHEU!”
Марья Дмитриевна: к истории первого брака

Ужасная женщина

В «Сибирской тетради» Достоевского («моей тетрадке каторжной», как он её называл) несколько раз встречается помета, которая из-за неясности написания многие годы не поддавалась расшифровке. Ее интерпретировали как «Елеи», «Елен» и даже «Елец» или просто заменяли точками — «ввиду неуверенности чтения». Наконец загадка разрешилась: интригующее «Елен» было опознано, как «Eheu» — латинское междометие, обозначающее «увы» или «ах». Но выяснилось и другое. Практически все «Eheu» так или иначе связаны с именем первой жены Достоевского. Этим горестным вздохом он отмечал самые драматические моменты их знакомства и брака*.

В «Хронике» М.В. Волоцкого, где характеристике иных персонажей посвящены десятки страниц, Марье Дмитриевне Исаевой уделено ровно три строки, к тому же принадлежащих случайному наблюдателю: «Эту первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервнорасстроенной женщины».

Автора «Хроники» можно понять. Его прежде всего интересует генетика, биологическое родство, кровная родовая связь. Марья Дмитриевна не отвечает этим критериям. Тем более что у неё с Достоевским не было общих детей. Но ведь недаром изречено: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2: 24).

---

* *Орнатская Т.И.* «Сибирская тетрадь» // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. С. 222–225.

Достоевскому некого было *оставлять*. Родителей к моменту женитьбы у него давно уже не было. С тем большей силой влёкся он к той, которая смогла бы составить с ним не только «одну плоть», но, как он полагал, и единую душу. Узы, соединившие их двоих, оказались куда прочнее иных кровнородственных связей.

В годы, когда Волоцкой работал над «Хроникой», просвещённый мир имел довольно смутные понятия о первой жене Достоевского. Едва ли не единственным источником информации об этом предмете были воспоминания Любови Фёдоровны. Дочь писателя от второго брака писала их в Швейцарии в 1918–1919 гг. по-французски. Впервые они были изданы в Мюнхене в 1920 г., а затем — переведены на многие европейские языки. Русский перевод появился в 1922 г., однако в сильно урезанном виде.

Публика, до сих пор мало что знавшая об интимных сторонах жизни писателя, однако горячо жаждавшая восполнить этот пробел, не могла не довериться сведениям, исходившим от одного из членов семьи. А именно — что после каторги «от запоздалой юношеской незрелости» автора «Бедных людей» «не осталось и следа, он стал мужчиной и хотел любить». Публика вместе с автором воспоминаний уже готова была порадоваться за героя.

Но... «Но какую ужасную женщину послала судьба моему отцу!»[*] Взыскательную дочь не устраивают ни характер, ни моральные качества Марьи Дмитриевны. Однако прежде всего ее коробит *антропология*. Согласно уверениям Любови Фёдоровны, М.Д. Констант (девичья фамилия Исаевой) лишь выдавала себя за француженку. На самом же деле — «эта бесстыжая женщина была дочерью наполеоновского мамелюка, попавшего в плен во время бегства из Москвы»[**]. Причем, счастливо унаследовав от матери её русский тип, она тщательно скрывала от окружающих своё африканское происхождение (не в пример, скажем, «прекрасной креолке» Надежде Осиповне Ганнибал, чьи африканские черты неосторожно воспроизвел ее сын, «потомок негров безобразный»). Достоевский, таким образом, пал жертвой гнусного генетического обмана, а сверх того подверг испытанию свой патриотизм, связав собственную судьбу с наследницей коварных завоевателей России.

Новейшие разыскания позволяют, однако, значительно скорректировать эту впечатляющую картину.

---

[*] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 77.

[**] Там же. С. 79.

В Россию переселился не отец, а дед Марьи Дмитриевны — Франсуа-Жером-Амадей де Констант. Он был отнюдь не наполеоновским мамелюком, а дворянином и капитаном королевской дворцовой гвардии, который после падения Людовика XVI покинул взбунтовавшееся отечество и, как многие другие эмигранты, был привечен щедрой российской императрицей (заболевшей, говорят, при известии о казни французского короля). Дед будущей жены Достоевского поступил на русскую службу, принял православие и новое имя: Степан. Женился он, однако, на француженке. Так что сын его, Дмитрий, отец Марии Дмитриевны — чистокровный француз. В 1820 г. Дмитрий Степанович недолгое время служит переводчиком в штабе генерала И.Н. Инзова, где в то же время и в том же качестве подвизается его одногодок А.С. Пушкин. История, впрочем, умалчивает об их знакомстве.

Дмитрий Констант женится на русской дворянке по имени Софья Александровна (фамилия, увы, неизвестна). В 1824 г. рождается дочь — Мария. Когда она впервые встретит Достоевского, ей будет 29. В своих письмах из Сибири Достоевский всегда твёрдо указывает возраст избранницы — на три года меньше истинного. Эта хронологическая поправка, надо думать, заслуга самой Марьи Дмитриевны.

Родившись в Таганроге, она в 14 лет лишается матери. Семья переселяется в Астрахань, где Дмитрий Степанович занимает должность директора Карантинного дома. Марья Дмитриевна выходит замуж за А.И. Исаева, как и ее отец, служившего по таможенной части. В 1851 г. Исаева переводят в Сибирь.

Достоевский знакомится с их семейством буквально через два-три месяца после выхода из каторги и водворения в Семипалатинске. Он предчувствует, что приближается «к кризису всей моей жизни», что созрел для чего-то такого, что он именует: «может быть *грозное*, но во всяком случае *неизбежное*»[*]. Эпитеты, однако, имеют свойство материализоваться. Спустя два года в письме к Врангелю они будут приложены к уже совершившемуся: «О, не дай Господи никому этого *страшного, грозного* чувства»[**].

Чувство между тем растёт и делается необоримым. Он признаётся, что думал о самоубийстве — *буквально* (он, не сокрушённый эшафотом и Мёртвым домом) и что для него нет выбора: «...или с ума сойду, или в Иртыш!» Так десятилетием ранее мнившийся ему не-

[*] *Достоевский Ф.М.* Письмо Н.Д. Фонвизиной от января-февраля 1854 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28_1. С. 177.

[**] Там же. С. 212–213.

успех «Бедных людей» тоже решительно сопрягается с отказом от жизни: «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву»[*]. Изменились, как видим, только топографические предпочтения.

Конечно, можно сказать, что всё это *литература*. Но Достоевский по сути своей — экстремал. Для него не существует промежуточных вариантов. И если о возможном провале первого своего романа он говорит: «Я не переживу смерти моей idée fixe», то тут есть сходство: его сибирский *роман* — тоже первый и тоже владеет всем его существом.

Письма к одинокой девственнице

Любовь Фёдоровна уверяет, что в двадцать лет ее отец жил «как святой»[**]. «К женскому обществу, — в свою очередь замечает домашний врач, наблюдавший Достоевского в молодости, — он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию». И раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что»[***]. Иные из позднейших биографов стараются развить этот тезис, горячо настаивая на том, что досибирский период жизни автора «Белых ночей» был «необычайно бурен в половом отношении»[****]. Эта учёная гипотеза столь же труднодоказуема, сколь и дочерние уверения прямо противоположного свойства.

Как бы то ни было, в письмах Достоевского сороковых годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определенным ударением. (За исключением разве Авдотьи Панаевой, краткая и отчасти литературно окрашенная (жена поэта, вскоре — подруга другого поэта), влюблённость в которую, кажется, никак не сказалась в его судьбе.) Это — разительный контраст с пушкинским или лермонтовским жизнеощущением. Мерной поступью минует он пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и признаний. Во всяком случае, мы ничего не знаем о таковых[*****].

О какой-либо интимной жизни на каторге говорить не приходится, хотя, как ни странно, она полностью не исключалась. Осведомлённый наблюдатель, упомянув о калачницах — молодых бабах,

---

[*] *Достоевский Ф.М.* Письмо Н.Д. Фонвизиной от января-февраля 1854 г. С. 110.
[**] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 89.
[***] Цит. по: Биография, письма. С. 64. 1-я паг.
[****] *Кашина-Евреинова А.* Подполье гения. Пг., 1923. С. 21.
[*****] Подробнее см.: *Волгин И.Л.* Родиться в России. С. 332–333, 455–456.

продававших калачи арестантам у ворот острога, добавляет, что тут же завязывались романы, «развязка коих происходила во время работ в укромных местечках», и что подобное удовольствие ценилось недорого — «два-три гроша бабе»[*]. Если вспомнить описание «двугрошовых» в «Записках из Мёртвого дома», то можно сказать, что версия Любови Фёдоровны относительно «святости» её отца приложима именно к этой поре. Он провёл в омской крепости четыре года: пенитенциарная система не знала ещё практики личных свиданий. Да если бы даже они и были, кто бы к нему поехал? Да ещё — в этакую даль?

Итак, его обуревают предчувствия. Но до их исполнения ещё есть время.

Получив разрешение жить вне казармы (но близ неё, под ответственность ротного командира), он за пять рублей в месяц — плата за помещение, стирку и стол — нанимает комнату в довольно убогой, стоящей на отшибе избе, единственным украшением которой можно почесть двух хозяйских дочерей, 20 и 16 лет. Старшая, по сдержанному свидетельству Врангеля, «ухаживала за Фёдором Михайловичем и, кажется, с любовью, шила ему и мыла бельё, готовила пищу и была неотлучно при нём». Летом вместе с сестрой она совершенно по-домашнему показывалась перед обоими друзьями “en grand neglige, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее». Мемуарист не скрывает, что мать сестер, вдова-солдатка, «открыто эксплоатировала молодость и красоту дочерей». Когда Достоевский упрекнул её в этом, особенно напирая на печальную участь очень красивой младшей, старуха ответствовала в том смысле, что дочь «всё равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!..»[**] Нравы в Сибири были просты.

Дождь на стёклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она, —

это, разумеется, о другом, но тема — непреходяща.

Врангель не называет имён. Зато мы знаем, как звали двух других женщин, которые пользовались расположением Достоевского.

---

[*] *Врангель А.Е.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири 1854–1856 гг. СПб., 1912. С. 14.

[**] Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 353–354.

Первая — это 16–17-летняя Марина Ордынская: обладающая эффектной наружностью блондинка, дочь ссыльного поляка, который, овдовев, женился на собственной кухарке. Дочь, как Золушка, пребывала в небрежении и затрапезе. Достоевский — кстати, по просьбе М.Д. Исаевой, в чьём доме он знакомится с Мариной, — усердно занимается умственным развитием полячки-сибирячки*. Повзрослев и похорошев, но не вооружась при этом скромностью, она «очень оживляла» Казаков сад — дачу, нанимаемую Врангелем, где летом обитал также и Достоевский и где, между прочим, присутствовали упомянутые выше дочери его квартирной хозяйки, помогавшие друзьям наладить холостяцкий быт**. Марина «бегала, усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем». Трудно сказать, остался ли наставник холоден к стараниям ученицы. (Местный краевед Б.Г. Герасимов простодушно сообщает, что Достоевский, подружившись с отцом Марины, «иногда оставался у него для своих занятий и даже на ночь»***.) Неприязнь его к полякам не распространялась на их дочерей. Врангель, по его собственному признанию, безуспешно пытался с помощью Марины отвлечь своего друга от предмета его «роковой страсти» — Исаевой, отъехавшей в Кузнецк. Интересно, что протеже Марьи Дмитриевны позднее «не раз служила причиной ревности и раздора» между супругами.

С другой претенденткой на сердце рядового 7-го Сибирского линейного батальона дело обстоит сложнее. Известия об её отношениях с Достоевским дошли до нас не совсем обычным путем.

В 1909 г. сибирский литератор Н.В. Феоктистов знакомится в Семипалатинске с местной уроженкой, 72-летней Елизаветой Михайловной Неворотовой. То, о чём было поведано ему новой знакомой, он предал огласке только после её смерти, в 1928 г., в журнале «Сибирские огни»****.

Семнадцатилетнюю Неворотову Достоевский впервые увидел на семипалатинском базаре, где она продавала хлеб с лотка. Очевидно, это случилось в первые дни пребывания на новом месте службы. Девушка была хороша собой, и «неудивительно, — пишет Феок-

---

* Здесь и далее о ней по кн.: *Врангель А.Е.* Воспоминания о Ф.М. Достоевском в Сибири. С. 47, 81–84.

** Там же. С. 44.

*** *Герасимов Б.Г.* Ф.М. Достоевский в Семипалатинске // Сибирские огни. 1924. № 4. Цит. по: Достоевский в забытых... С. 148. См. также: Там же. С. 78.

**** *Феоктистов Н.В.* Пропавшие письма Ф.М. Достоевского // Сибирские огни. 1928. № 2. С. 119–125; То же // Достоевский в забытых... С. 80–88; *Вайперман В.С.* Достоевский и Омск. Омск, 1991. С. 58–65.

тистов, несколько путаясь в стиле, — что Достоевский заметил её и подошел к ней ближе, чем он обычно подходил к людям»*. Было бы удивительно, если бы он к ней не подошел.

Прекрасная калачница, ничуть не похожая на тех «лиц совмещённых профессий», которых он наблюдал в остроге, тем не менее тоже была, как выразился бы один его персонаж, — «из простых-с». Достоевский писал к ней письма: их было не менее восемнадцати (одно в стихах!). Неворотова хранила их всю жизнь. Она категорически отказывалась — даже за немалую для нее сумму в 500 рублей — предоставить их для печати. В мире литературном об этих письмах не ведал практически никто. Феоктистову, который добивался этой чести не один месяц, было дозволено лишь подержать в руках «довольно объёмистую серую стопку исписанной бумаги». На первом листе он успел прочитать: «Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...» — фраза, чем-то напоминающая начало «Бедных людей»: «Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив!»

Был ли счастлив Достоевский?

Неворотова говорила Феоктистову, что Достоевский её любил. Во всяком случае, кроме «Лизаньки», одной только женщине он посвящал стихи, а именно — вдовствующей императрице. Но там были свои резоны. Автор статьи в «Сибирских огнях» не сомневается, что и Елизавета Михайловна «глубоко любила Достоевского». Верная своему чувству, она не вышла замуж и навсегда осталась старой девой.

«Одинокая девственница», как именует Неворотову одна из её племянниц, была сиротой. У неё на руках остались малые братья и сестры: поднять их она почитала своей обязанностью и долгом. Та же племянница (Н.Г. Никитина, в 1927 г. пославшая свои заметки Феоктистову) уверяет, что в ответ на «полудетский лепет малограмотной женщины» Достоевский «иногда писал ей комплименты», но главным образом «тоном старшего» давал советы и наставления и «*подкреплял её в борьбе*». Есть подозрение — и весьма основательное — что Никитина, несмотря на её уверения в противном, самих писем никогда не читала: она говорит исключительно с тёткиных слов.

Сравнительно недавно было обнародовано ещё одно свидетельство, относящееся также к 1927 г. и принадлежащее семипалатинской жительнице, некой Губенко, к которой после смерти Е.М. Неворотовой письма перешли «по родовой линии». Письма эти, как

* Достоевский в забытых... С. 82.

говорит Губенко, лично ею «хранились в отдельном портфеле и изредка прочитывались»*.

Но куда же они исчезли?

Осенью 1919 г. в Семипалатинск входят красные — сформированная М.Н. Тухачевским 13-я Сибирская кавалерийская дивизия. В доме Никитиных, где при белых помещался штаб, учиняется обыск. Вместе с прочими бумагами изымаются и письма Достоевского. Уверения владельцев, что обнаруженные документы не имеют никакого отношения к политике, а принадлежат перу автора «Записок из Мёртвого дома», не производят на обыскивающих ни малейшего впечатления. Дальнейшая судьба писем неизвестна.

О чём же сообщает Губенко — судя по всему, *единственная* читательница этой переписки? Ее информация, доверенная тому же Феоктистову, весьма отличается от тех сведений, которые он счёл нужным предать огласке.

Заметим: в своих письмах, касающихся М.Д. Исаевой, Достоевский неоднократно повторяет: «Я честный человек». Он желает сориентировать свои отношения с будущей женой именно на этом фундаменте. Но, как выясняется, с «Лизанькой» он ведёт себя точно таким же образом. Губенко излагает содержание писем: «...признавался в любви Неворотовой и настойчиво искал её руки, предлагая свою жизнь в помощь воспитания её малолетних сестёр».

Этот факт поразителен. Тридцатитрёхлетний, всё ещё отбывающий наказание и лишённый гражданских прав рядовой, вчерашний каторжник без каких-либо видов на будущее — готов связать свою жизнь с юной девушкой из совершенно чуждой ему социальной и культурной среды. Трудно, почти невозможно представить этот гипотетический брак. Тем не менее, вопрос был поставлен.

«...Во всех письмах Достоевского, — пишет Губенко, — было выражено чувство не как только к женщине, а как к человеку, в котором он искал найти не только женщину, а друга». Годилась ли Неворотова на эту роль? В момент знакомства оба они как бы уравнены силою обстоятельств. Но обстоятельства рано или поздно должны были измениться.

Елизавета Михайловна Неворотова говорила Губенко, что не могла устроить своего счастья, поскольку ей нужно было воспитывать сестёр. Но ведь Достоевский как раз и хотел споспешествовать осуществлению этой задачи. Он не просто ищет её руки. Он предлагает *помощь*: больше ему нечего предложить.

---

* Здесь и далее слова Губенко цит. по: *Вайперман В.С.* Достоевский и Омск. С. 62–64.

Мог ли ещё не прощённый, отбывающий приговор политический преступник рассчитывать на то, что ему будет разрешено вступить в законный брак? Конечно, надежды возлагались на будущее. Но когда это будущее наступило, его сердце уже было занято.

«...Лучше бы никогда не любить»

О Марье Дмитриевне, как уже говорилось, известно сравнительно мало. Нет главного источника — её собственных текстов. До нас не дошло *ни одного* её послания к Достоевскому; вообще неизвестна какая-либо её переписка — за исключением единственного краткого послания к сестре. Из многочисленных писем Достоевского к ней уцелело только одно. Между тем он писал ей в Кузнецк едва ли не с каждой почтой.

Куда исчезла эпистолярия? Сколь это ни прискорбно, приходится допустить, что хранительная рука Анны Григорьевны, ревностно оберегавшей мужнин архив, в этом случае дрогнула. Или, если угодно, стала еще более *ревностной*. Подлинные свидетельства другой любви и другого брака, как бы они ни были драгоценны для биографа, непереносимы для женщины любящей. Эти *профессии* не должны совпадать. Всегда есть опасность, что «вечно женское» возобладает над скупым историческим долгом.

Очевидно, Анне Григорьевне было не слишком приятно читать появившиеся в 1912 г. воспоминания 79-летнего А.Е. Врангеля, весьма расположенного к первой жене своего семипалатинского друга. Мужской взгляд мемуариста не обнаруживает в Марье Дмитриевне серьезных изъянов: «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная». Благосклонен автор и к духовному облику героини: «начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна». Всё это, несомненно, выделяло Марью Дмитриевну — полуфранцуженку, для которой язык светского общества был родным, — из среды провинциальных семипалатинских дам. Её поклонник, в молодости свалившийся в обморок при виде светской красавицы (в старости в обморок будут падать перед ним и — преимущественно мужчины), сейчас ещё непривычен к дамскому обществу. Первый серьёзный опыт — это Семипалатинск. Он встречает женщину умную, отзывчивую и, главное, близкого ему культурного круга. Если даже она не читала его ранние вещи, то по меньшей мере должна была слышать его имя. Семипалатинск, конечно, ссыльными не удивишь. Но бывшие петербургские литераторы,

чья вина в отличие от явных мятежников не очень-то и понятна, попадаются здесь нечасто. Автору «Бедных людей» не было надобности изображать из себя Грушницкого. Независимо от его прошлого его личность не могла не производить впечатления. Формально принадлежа к разряду нижних чинов, он принят не только в доме своего батальонного командира подполковника Белихова, но и в других весьма приличных домах. (Однажды, правда, ему, бывшему в гостях — в своём неизменном солдатском мундире, — в прихожей подставит плечи посчитавший его денщиком незнакомый офицер: Достоевский ловко снимет с него шинель, после чего оба чинно прошествуют в гостиную. Эпизод, напоминающий сцену из «Идиота», когда князь Мышкин, будучи у Иволгиных, подхватывает шубу Настасьи Филипповны, принявшей его за лакея*.) Именно в гостях у Белихова Достоевский и был *замечен*.

Муж Марьи Дмитриевны А.И. Исаев — а в браке они состоят около восьми лет, — моложе Достоевского на год. Их сыну Павлу исполнилось шесть. Исаев служит по таможенной части и — сильно пьёт. Достоевскому жаль Исаева. Но кто тогда в Семипалатинске не пил?

Все знавшие Достоевского утверждают, что он был вполне равнодушен к спиртному и лишь изредка позволял себе рюмку-другую. Нет указаний, что он когда-либо отступал от этого правила. Тем удивительнее сообщение Губенко, основанное, по её словам, на письмах Достоевского к Е.М. Неворотовой и рассказах последней, будто её корреспондент «был склонен к употреблению спиртных напитков», сознавая при этом их пагубное действие, и что, по его мнению, согласие Неворотовой на их брак «кроме удовлетворения его чувственных качеств, спасает его и от алкоголя».

Либо Губенко всё-таки не совсем точна, либо действительно в первые месяцы свободы Достоевский позволил себе поддаться национальной привычке. Во всяком случае, подобный период, если только он имел место, длился очень недолго. В 1856 г., излагая в одном из писем свои крайне грустные обстоятельства, он восклицает: «Хоть вино начать пить!»**: сам тон демонстрирует зыбкость намерения. Трудно не согласиться с мнением, что, знаясь с Марьей Дмитриевной, он понимал, что потеряет любимую женщину, если будет демонстрировать тот же порок, какой вскоре сведёт в могилу её несчастного мужа.

---

* Достоевский в забытых... С. 79.

** *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Е. Врангелю от 21 июля 1856 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28_1. С. 240.

Говоря о первой любви своего отца, Любовь Фёдоровна объясняет эту запоздалую страсть его медленным физическим созреванием. Оно, как не без некоторой наивности полагает мемуаристка, завершается у *северных* русских мужчин не ранее 25 лет. Поэтому телесно-нравственное развитие юного Достоевского «было подобно развитию гимназиста», который восхищается женщинами на почтительном расстоянии, испытывая при этом страх и как бы не нуждаясь в сближении. «Период страстей, — докторально замечает Любовь Фёдоровна, — начинается у моего отца только после каторги, и тогда он уже не падает больше в обморок»*.

Да, *публично* таких казусов с ним больше не происходит. Но его состояние после разлуки с Исаевой (т. е. после перевода А.И. Исаева в Кузнецк) близко к безумию.

> Я был поражён как громом, я зашатался, упал в обморок (упал-таки! — *И. В.*) и проплакал всю ночь… Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить**.

Любила ли его Марья Дмитриевна?

Сам он в этом не сомневается. «Я знаю, что она меня любит», — напишет он Врангелю в марте 1856 г.*** И, адресуясь к тому же корреспонденту, повторит через девять лет, когда всё уже будет кончено: «О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо»****.

Любопытно, что всё это сообщается человеку, который был ближайшим свидетелем их романа (его начала) и, конечно, мог иметь о нём собственное мнение.

«В Фёдоре Михайловиче она приняла горячее участие, — пишет Врангель об отношении к нему будущей жены, — приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека». Мемуарист полагает, что это чувство сострадания Достоевский «принял за взаимную любовь».

Однако и сам Достоевский в своём единственном сохранившемся письме к Исаевой от 4 июня 1855 г. подчёркивает именно это обстоятельство: «Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни». Он именует её родной сестрой

---

* *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 50.

** *Достоевский Ф. М.* Письмо А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 г. // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28_1. С. 212.

*** Там же.

**** Там же. С. 116.

и всячески восхваляет её высокие качества («удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты» и т.д.). Не следует удивляться тому, что интимный мотив старательно приглушён в этом дышащем сдерживаемой страстью послании. Достоевский адресуется к замужней даме, чей супруг является потенциальным и, как ни странно, доброжелательным читателем их переписки. Поэтому автор письма старается соблюсти верную тональность. «Я не мог не привязаться к Вашему дому...»: как раз *дом* интересует его в последнюю очередь.

Врангель замечает, что Марья Дмитриевна, «возможно», тоже привязалась к Достоевскому, — но, решительно добавляет он, «влюблена в него ничуть не была».

Некоторые признаки указывают, однако, что высокая степень близости между будущими супругами была достигнута ещё до отъезда Марьи Дмитриевны в мае 1855 г. в Кузнецк, куда получил назначение А.И. Исаев.

Описывая «сцену разлуки» («Достоевский рыдал навзрыд, как ребёнок»), Врангель скромно добавляет, что, «желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной», он, Врангель, «здорово накатал шампанским её муженька». После чего перетащил в свой экипаж, где Исаев «скоро и заснул как убитый»; Достоевский в свою очередь перебрался к отъезжающей[*]. Чем не сюжет для куртуазного, с переодеваниями, романа?

"Eheu" — отметит он вынужденную разлуку.

Через десять месяцев, мучимый ревностью, он напишет Врангелю: «О друг мой! Мне ли оставить её или другому отдать. Ведь я на неё имею *права*, слышите, *права*!»[**] Конечно, источники этих прав могут быть весьма широкого, в том числе чисто морального свойства. Однако недаром Достоевский подчеркивает ключевые слова — в письме к человеку, который знал всё. Но ревность его относится уже не к мужу.

Александр Исаев скончается через два месяца после переезда в Кузнецк, в возрасте тридцати трёх лет. Достоевский будет искренне сожалеть о его печальной судьбе ("Eheu"). При этом он не может не понимать, что эта смерть способна коренным образом изменить его собственную жизнь.

«Предусмотрительно она уже подыскивала себе второго супруга, — уличает Любовь Фёдоровна ещё не овдовевшую М.Д. Исаеву. —

[*] Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 357.

[**] *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Е. Врангелю от 23 марта 1856 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28_1. С. 213.

Достоевский казался ей лучшей партией в городе: он был очень одарённым писателем, у него была в Москве богатая тётка, посылавшая ему теперь всё чаще деньги»[*].

Трудно сказать, чего в этих утверждениях больше — наивности или неправды. Одарённость Достоевского в забытом Богом Семипалатинске мало кого волновала. Тем более что у него пока нет позволения печататься. Что касается «богатой тётки», то Куманины если и помогают, то в очень скромных размерах (крупную сумму они пожертвуют только на свадьбу). Несмотря на материальную поддержку старшего брата — тоже довольно умеренную — Достоевский испытывает хроническое безденежье. Он даже занимает деньги у Врангеля — чтобы послать их в Кузнецк оставшейся после смерти мужа без каких-либо средств Марье Дмитриевне.

И, наконец, самое главное. «Выгодный жених» всё ещё остаётся ссыльным солдатом, изгоем, лишённым дворянства. Будущее его более чем неопределённо. Конечно, смерть императора Николая Павловича, случившаяся в феврале 1855 г., в самый разгар как Крымской войны, так и семипалатинского романа, даёт основание для надежды. Недаром с такой жадностью ловит он слухи, связанные с заключением мира и предстоящей коронацией — т.е. событиями, влекущими обычные в таких случаях высочайшие милости. Не без лирической натуги он сочиняет стихи (о них говорилось выше), предназначенные вдовствующей императрице. Он прекрасно сознаёт свое положение. «Ведь не за солдата же выйти ей», — пишет он Врангелю[**]: речь идёт о намерении кузнецкой подруги вступить в новый брак.

Именно последнее известие повергает Достоевского в состояние шока — с обмороком, рыданиями, с отчаянием (“Eheu”). Сообщая Врангелю эти подробности, он употребляет 62 восклицательных и 31 вопросительный знак: такой взрыв эмоций — редкость даже для него. Правда, Марья Дмитриевна лишь туманно предположила, что может найтись человек «пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный»[***]. И что, ежели таковой человек найдётся, ей будет небезразлично мнение на этот счёт Достоевского, которого она, между тем, искренне любит. Но пока вопрошаемый впадает в исступление от этой дружеской просьбы (впрочем, в глубине души сознавая её условность: «...не верю я в жениха кузнецкого!»), в Кузнецке нарисовался реальный соперник: бедный, но молодой.

---

[*] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 77.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 212.

[***] Там же. С. 212.

Счастливчик Вергунов

24-летний учитель Николай Борисович Вергунов моложе Исаевой на восемь лет (впрочем, благодаря невинным хитростям последней он полагает, что — на пять). Они сходятся на *педагогической* почве: он учит её сына Пашу, она даёт ему уроки французского. Их связь, насколько можно судить, исполнена страсти. Возможно, в посланиях из Кузнецка осторожно намекалось на этот роман. Недаром их семипалатинский адресат признаётся: «Я ревную её ко всякому имени, которое упомянет она в своём письме»[*]. Но как бы то ни было, Достоевского, совершившего в июне 1856 г. отчаянный (не санкционированный начальством) вояж в Кузнецк, ожидает страшный удар. Об этом он повествует в совершенно шиллеровских тонах: «Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого»[**]. Он не подозревает, что очень похожая сцена с пугающей неизбежностью повторится через семь лет, когда, *на крыльях любви* примчавшись в Париж, он услышит из уст Аполлинарии Сусловой — правда, уже без слёз и целования рук — ужасную весть, что он опоздал.

Можно представить, сколь титаническими были предпринятые им усилия, если после двух дней его пребывания в Кузнецке «её сердце опять обратилось» к нему. В ход, очевидно, было пущено всё — от грозных пророчеств о подстерегающей безрассудных любовников нищете (как будто у него самого положение было прочнее!) до возможных, предвидимых в будущем оскорблений со стороны молодого супруга — вроде того, что стареющая жена возжелала «сладострастно заесть» чужую ещё не отцветшую юность.

Достоевский возвращается в Семипалатинск «с *полной надеждой*».

Отсутствующий, однако, всегда неправ. Сердце Марьи Дмитриевны качнулось обратно — в сторону Вергунова, который поначалу согласился было с доводами семипалатинского визитёра и уже готов был уступить поле боя. «С ним я сошёлся, — говорит о сопернике Достоевский, — он плакал у меня, но он только и умеет плакать!»[***]

В историко-биографической литературе давно утвердилась манера трактовать молодого возлюбленного Исаевой как совершенно бесцветное существо, одолеть которое будущему автору «Преступления и наказания» не составляло большого труда. Как бы само собой разумеется, что кроме физических достоинств (которые опре-

[*] *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 281. С. 231.

[**] *Достоевский Ф.М.* Письмо от 14 июля 1856 г. // Там же. С. 235.

[***] Там же. С. 236.

деляются в основном словом «красавец», прилагаемым к герою никогда не видевшей его Любовью Фёдоровной) Вергунову якобы нечего противопоставить победительному обаянию Достоевского. Однако обнародованные сравнительно недавно архивные документы способны сильно поколебать эту успокоительную концепцию.

Во-первых, выясняется: скромный уездный учитель не столь уж безлик. Он дерзко вступает в заведомо безнадёжный спор с непосредственным начальством — смотрителем местных училищ, стремясь прежде всего отстоять своё человеческое достоинство. (Правда, этот конфликт случится лишь в 1863 г., но надо полагать, предшествующие семь лет не слишком изменят стиль поведения и личность Николая Борисовича.) На упреки куратора в невыполнении им, Вергуновым, педагогического долга он не без некоторого высокомерия ответствует, что «десятилетняя служба моя и формулярный список, которыми я постоянно аттестован “способен и достоин”, могут вывести Вас из того заблуждения, в которое Вы впали, вероятно, в запальчивости...» Претензии смотрителя училищ Вергунов почитает «уже не за личное оскорбление, а официальное». Он указывает вышестоящему чиновнику, что «Законами Российской Империи начальствующим лицам не дано право, право оскорблять подчиненных, в какой бы зависимости они не были». Разумеется, подобный тон, равно как и «система доказательств», не могли вызвать у адресата, от которого не в последнюю очередь зависела карьера Вергунова, особых к нему симпатий.

В общем, въедливый Николай Борисович — а ему в ту позднюю пору исполнится уже тридцать один, — заражён несвойственной его чину и возрасту амбициозностью. Отвергая ещё одно обвинение — в невежливости, он наставительно указывает смотрителю училищ, что «даже в простом быту, а не только в обществах образованных, входящий в частный дом или общественное заведение, какого рода оно бы не было, обязан предварительно поклониться и тем, в первом случае, — оказать привет хозяину, а во-вторых, — обществу, с которым желает провести время». Но увы! Посетивший его в училище адресат этих обвинений не счёл нужным руководствоваться такими простыми и очевидными правилами. «Вы, к сожалению, этих условий не соблюли, а снявши галоши и шинель, едва-едва поклонились учащимся, а не только мне — меня вы и не заметили. Следовательно, с моей стороны не было ничего ни неприличного, ни невежливого»*.

---

* *Кушникова М.М., Тогулев В.В.* Загадки провинции. «Кузнецкая орбита» Федора Достоевского в документах сибирских архивов. Новокузнецк, 1996. С. 35–41.

Это — характер. Можно аттестовать его как заносчивый и занудный, а можно — как весьма и весьма уязвимый. Во всяком случае, тут вопиёт самолюбие. Не схожа ли в чём-то эта административная полемика с давней почтовой дуэлью — между молодым Достоевским и его опекуном П.А. Карепиным, когда для одного из корреспондентов важен не столько практический результат, сколько нравственная победа?

Итак, Вергунов умел не только «плакать». И его «ругательное» (не дошедшее до нас) письмо к Достоевскому, у которого он при личной их встрече «сам просил и дружбы и братства» (опять сугубо шиллеровский мотив!), — более адекватный ответ на последовавшие затем эпистолярные призывы Достоевского одуматься и не обрекать Марью Дмитриевну на «вечный Кузнецк», нежели рыдания на груди увещевателя. Реакция Вергунова, который, очевидно, как и в будущем своем конфликте со смотрителем училищ, примет внушаемые ему советы «за личность и за оскорбление»*, — отнюдь не признак «дурного сердца», что было предположено Достоевским. Скорее, это естественная самозащита.

Конечно, автор «Белых ночей», как и годы спустя в случае с «победившим» его любовником Сусловой Сальвадором, мог тешить себя мыслью, что Вергунов — «не Лермонтов». Но — это было утешением слабым.

Счастье ускользает из рук — и Достоевский меняет тактику. К изумлению (как можно предположить) обладающего связями Врангеля, он просит барона походатайствовать перед высшим начальством за своего молодого соперника («хвалите его на чём свет стоит») — приискать Вергунову приличное место и приличное жалование. «Это всё для *неё, для неё одной*. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!»** Эти заботы принято квалифицировать как порыв чистейшего альтруизма — стремление к тому, чтобы даже в ненавистном для просителя браке любимая женщина не испытывала тяготы и нужды. И, конечно же, приходит на ум благородный Иван Петрович из «Униженных и оскорблённых», усердно хлопочущий о счастье любимой им Наташи с молодым князем Валковским.

Всё это так. Нет никаких оснований сомневаться ни в искренности Достоевского, ни в чистоте его помыслов. И всё же, устраивая судьбу Вергунова, он в глубине души не мог не сознавать, что его благодеяния будут расценены именно как *его* благодеяния. Что

* *Достоевский Ф.М.* Письмо А.Е. Врангелю от 14 июля 1856 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28_1. С. 236.

** Там же.

они — зримые доказательства его могущества и способности влиять на людские судьбы. Ему, а не Вергунову будет обязана избавлением от нищеты Марья Дмитриевна — и кто знает, не переменятся ли в этой связи её матримониальные планы.

До нас, как уже говорилось, не дошла интенсивнейшая переписка между Семипалатинском и Кузнецком лета-осени 1856 г. Отсутствуют также косвенные сведения, которые обычно можно извлечь из писем Достоевского к Врангелю: в их эпистолярии случился некоторый перерыв. Но можно сказать, что вплоть до конца ноября брачная перспектива для Семипалатинска не просматривается. «...Есть ли надежда, нет ли, мне всё равно, — пишет Достоевский. — Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь»[*]. Но преданность, упорство, настойчивость и усиливаемая расстоянием страсть приносят свои плоды. Речь о Вергунове как муже уже не идёт. И подоспевшее наконец производство в первый офицерский чин окончательно склоняет чашу весов в пользу новоиспечённого прапорщика.

«Чего доброго, — говаривал он в молодости, — женят меня ещё на какой-нибудь француженке, и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»[**] Жениться на *полу*француженке оставляла родной словесности какой-то шанс.

Следовало ещё объясниться с братом.

«Решенье моё неизменимо...»

Впервые о существовании *невесты* Михаил Михайлович узнаёт из письма Достоевского от 13–18 января 1856 г. Иными словами, почти полтора года, пока длился роман, брат ни о чём подобном не ведал. Его осведомляют об Исаевой одновременно с твёрдо заявленным намерением вступить в брак.

Как и следовало ожидать, Михаила Михайловича не приводят в восторг эти сибирские грёзы. «Не скрою от тебя, друг мой, что твоё желание сильно меня испугало», — пишет он Фёдору Михайловичу, хотя и добившемуся микроскопического продвижения по службе (он только что произведён в унтер-офицеры), но всё ещё лишённому гражданских прав. Он понимает, что унтер-офицеру самому не поднять семьи и предвидимые тяготы будут возложены на

---

[*] *Достоевский Ф. М.* Письмо А. Е. Врангелю от 9 ноября 1856 г. // Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28_1. С. 242.

[**] Приводится по: *Ризенкампф А. Е.* Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском // Литературное наследство. Т. 86. С. 330.

его, Михаила Михайловича, братские плечи. Разумеется, в своём письме он находит другие, однако не менее впечатляющие аргументы. «Я боюсь за тот путь, на который ты вступаешь, путь самых мелких прозаических забот, грошевых треволнений, одним словом, за эту мелкую монету жизни, на которую ты разменяешь свои червонцы. Выдержишь ли ты всё это? Не упадешь ли ты духом?» Брат умоляет брата одуматься и не жениться — «до тех пор, пока не устроятся твои обстоятельства»[*].

Ещё не дождавшись реакции корреспондента, Достоевский настоятельно просит его озаботиться тем, чтобы в случае поступления малолетнего Паши Исаева в Павловский корпус (намерение не осуществилось) мальчик был бы забираем по воскресеньям в семейство брата, дабы это общение благотворным образом сказывалось на нравственности ребёнка. «Не объел же бы тебя бедненький сиротка. А за сиротку тебе Бог ещё больше подаст», — вдохновляет он своего адресата[**].

Но это ещё не всё. Брат Фёдор с горячностью призывает брата Мишу написать незнакомой тому Марье Дмитриевне тёплое задушевное письмо — с изъявлением благодарности за её внимание к «бедному изгнаннику» и с готовностью в свою очередь «облегчить одиночество» её ребёнку, буде таковой окажется в Петербурге. Он простирает своё попечительство до того, что лёгким пером набрасывает подробный конспект (своего рода «рыбу») этого почти что родственного послания, после чего великодушно доверяет брату «покороче и получше» составить окончательный текст.

Отговаривая брата Фёдора от женитьбы, Михаил Михайлович прибегает ещё к одному неотразимому, как ему кажется, аргументу: «...Тебе 35 лет, но этого-то я и боюсь, мой бесценный. В эти годы уже нет той энергии. Тело просит покоя и удобств»[***].

Достоевский хорошо запомнит это братское назидание. (Интересно, что говорилось бы Михаилом Михайловичем через одиннадцать лет — доживи он до новой свадьбы своего корреспондента!) Спустя полгода, сообщая ему о предстоящей женитьбе («не пробуй меня отговаривать... Решенье моё *неизменимо*»), Достоевский добавляет: «Я уверен, ты скажешь, что в *36* лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду»[****]. Надо думать, сей реприманд навсегда отвратил тонко чувствующего Михаила Михайловича от дачи подобных советов.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 476, 477.
[**] Там же. С. 221.
[***] Там же. С. 479.
[****] Там же. С. 257.

Позднее старший будет исправно выполнять семейственные поручения младшего брата, как то: приискание шляпки для Марьи Дмитриевны, пока супруги ждут в Твери разрешения на въезд в Петербург (куда, кстати, таганрогская уроженка въезжает впервые). «Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, безо всяких украшений и цац, без цветов, одним словом, как можно проще, дешевле и изящнее (отнюдь не белая) — *расхожая в полном смысле слова*». При этом строго указывается, что ленты необходимы исключительно «с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими»[*].

Вспоминал ли автор, сочиняя свою *инструкцию*, скромную Вареньку Добросёлову, перед свадьбой требующую от бедного Макара Девушкина позаботиться о «фальбале»: «Да ещё: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром!»

Но вернёмся к письму брату Михаилу от 22 декабря 1856 г., где содержится окончательное известие о женитьбе. Своё письмо Достоевский пишет в знаменательную для него годовщину. Ровно семь лет назад — 22 декабря 1849 г. — он был выведен на Семёновский плац. И именно в этот день им было написано: «Брат, любезный друг мой! всё решено!»[**] Ныне, 22 декабря 1856 г., он мог бы повторить те же самые слова[***]. Или — прибегнуть к цитате, если бы, конечно, этот пушкинский текст был к тому времени обнародован: «Участь моя решена. Я женюсь...»[****]

Клеймя ничтожного Вергунова, Любовь Фёдоровна не упоминает о том, что именно Вергунов был на свадьбе «поручитель по жениху», иными словами — шафер. Так достигает кульминации навязшая в зубах шиллеровская тема. Конечно, в этом трагикомическом надрыве можно при желании усмотреть и «типовые признаки» того, что именуется достоевщиной. Но куда интересней сокрытый в этом событии смысл. А именно: кузнецкий брак стал возможен благодаря тайному «сговору трёх».

21 декабря 1856 г., сообщая Врангелю о свадьбе как о деле решённом, Достоевский пишет: «Она (Марья Дмитриевна. — *И. В.*) меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам

---

[*] *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 28_1. С. 332–333.

[**] Там же. С. 161.

[***] Удивляет эпистолярная активность Достоевского именно в эти дни — 21–22 декабря: пространные письма Врангелю, сестре Варваре, брату Михаилу, небольшие — двум неустановленным лицам. Предчувствуя «перемену судьбы», автор как бы подводит итоги.

[****] *Пушкин А.С.* ПСС. Т. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 580.

летом письмо моё. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Ещё летом по письмам её я знал это»[*]. Но если так, то тем самым подтверждается наше предположение, что просьбы о содействии Вергунову, изложенные как раз в том самом летнем письме, были, так сказать, средством двойного назначения: призванным, с одной стороны, помочь тому, о ком пекутся, а с другой — обеспечить моральное превосходство просителя.

Теперь, в декабре, Достоевский вновь возвращается к этому же сюжету. «Прошу Вас на коленях», — пишет он Врангелю, употребив наивысшую из находящихся в его распоряжении эпистолярных эмоций. Он вновь ходатайствует за соперника, ибо «теперь он мне дороже брата родного». О «дурном сердце» ныне не поминается вовсе. Напротив: «О Вергунове не грешно просить: *он того стоит*». Стоит сам по себе, независимо от поставленной некогда, а ныне неактуальной цели — осчастливить его будущую супругу.

Что же, однако, такого случилось с названным выше лицом, если оно удостаивается подобных похвал? Достоевский был в Кузнецке в конце ноября. Тогда им и было сделано официальное предложение. И «теперь» Вергунов ему «дороже брата родного».

Нет сомнения: Вергунов *отступился*. И сделал это достаточно благородным образом. Так или иначе, хлопоты за него Достоевского выглядят именно как *отступные*.

«Слишком долго, — замечается о Вергунове, — рассказывать мои отношения к нему»: оговорка многознаменательная. Достоевский, впрочем, и не рассказывает. Врангель, на которого возлагаются комиссии относительно Вергунова, не извещается о том, какую роль играл последний при заключении брака. Брату же, с которым автор письма, как правило, откровенен, лишь кратко сообщается, что шаферами были «порядочные довольно люди, простые и добрые»[**].

В «Обыске брачном № 17» кузнецкой Одигитриевской церкви означено, что «всё показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют своею подписью как они сами, так и по каждом поручители, с тем, что если что окажется ложным, то подписавшиеся повинны за то суду по правилам церковным и по законам гражданским». Эта хотя и рутинная, но не лишённая острастки формула не смогла оградить документ от вкравшихся в него, мягко выражаясь, неточностей. Против пункта третьего — «Возраст к супру-

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 252.
[**] *Он же.*. Письмо от 9 марта 1857 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28_1. С. 274.

жеству имеют совершенный, и именно жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме» — нечего возразить кроме, пожалуй, того рассуждения, что невесте, как знаем, всё же 32 года. Да и жениху — не 34, а 35. К пункту шестому, констатирующему — «Как жених, так и невеста родителей в живых не имеют», следовало бы добавить, что у невесты отец, слава богу, жив: он пребывает в Астрахани и худо-бедно поддерживает дочь материально.

Что касается пункта седьмого — «По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви, препятствий к сему браку никакого никем не объявлено», это сущая правда: о *препятствиях* будет объявлено гораздо позднее[*].

Признание в неверности

Любовь Фёдоровна заявит на всю Европу: «Ночь накануне свадьбы Мария Дмитриевна провела у своего любовника...»[**] Кто мог, однако, быть источником этой *эксклюзивной* информации, кроме самого Достоевского?

Вообще, хотя воспоминания Любови Фёдоровны и изобилуют ошибками, *специально* она ничего не придумывает (за исключением разве своих генеалогических гипотез относительно норманно-литовского происхождения предков). Говоря о первой жене Достоевского, она, конечно, транслирует мнение его второй жены и известные этому источнику факты. Что ж, Анна Григорьевна из лучших побуждений иногда *подчищала* биографию мужа. Однако мы не знаем примеров сознательных фальсификаций с её стороны. Поэтому можно предположить, что в откровениях Л.Ф. Достоевской наличествуют следы некоего устного предания — хотя и искажённого давностью лет, но имеющего внутрисемейные корни.

До самого последнего времени такое допущение с негодованием отвергалось. Как злостный вымысел расценивались утверждения дочери писателя, что его первая жена «тайно под покровом темноты посещала своего красавца-учителя, последовавшего за ней в Семипалатинск»[***]. Глухо признавался только тот факт, что Вергунов

---

[*] См.: *Герасимов Б.Г.* Материалы к пребыванию Ф.М. Достоевского в Семипалатинске // Сибирская летопись (Иркутск). 1916. № 11–12. С. 567; *Бекедин П.В.* Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке // Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. С. 232–233.

[**] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 79.

[***] Там же. С. 80.

«приезжал к молодожёнам» и что Достоевский «отнёсся подозрительно (! — *И. В.*) к его приезду»[*].

Недавно обнародованные документы позволяют вернуться к этой деликатной материи.

Достоевский венчается с Марьей Дмитриевной 6 февраля 1857 г., и в середине месяца молодые уже покидают Кузнецк. Но едва ли не на следующий день после их отъезда (а точнее, 17 февраля!) затевается дело об официальном перемещении Вергунова в Семипалатинск, где он благополучно и водворяется не позднее лета того же года[**].

В этой связи — ещё один удивительный факт. Супруги Достоевские проведут в Семипалатинске более двух лет. Но о том лице, которое теперь Достоевскому «дороже брата родного» и которое проживает с его семейством бок о бок, больше не будет сказано ни слова. Ни в переписке самого Достоевского, ни в воспоминаниях тех, кто оказался очевидцем его семипалатинской жизни. Был ли Вергунов вхож к молодожёнам или же ему было отказано от семейного дома, соблюдал ли он дистанцию или только видимость таковой — об этом ничего не известно. Но ведь не сквозь землю же он провалился. В городе с населением в пять тысяч человек разминуться довольно трудно. «Молчание о Вергунове» очень красноречиво[***].

Нельзя не согласиться, что безоглядный порыв молодого учителя, при первой возможности ринувшегося за уже не принадлежащим ему предметом страсти, не может не вызвать сочувствия и известного уважения. Вергунов выполнил главное условие договора: отказался от притязаний на руку Марьи Дмитриевны. Насчет сердца речь, скорее всего, не шла. Шестьсот вёрст между Кузнецком и Семипалатинском делали излишним обсуждение темы. Но приезд Вергунова, конечно, менял ситуацию — и не в пользу Достоевского.

Никто и никогда (мы имеем в виду *специалистов*) не принимал всерьёз «инсинуации» Любови Фёдоровны — что якобы летом 1859 г., когда чета Достоевских совершала четырёхтысячекилометровое путешествие из Семипалатинска в Тверь, за ними на расстоянии одной почтовой станции неотступно следовал Вергунов (чьего имени, кстати, мемуаристка не знает, обходясь, как сказано, универсальной формулой «красавец-учитель»). Ибо его Марья Дмитриевна

---

[*] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери.С. 225; *Герасимов Б.Г.* Материалы к пребыванию... С. 567–568.

[**] Загадки провинции. С. 46–47, 62–63; Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 7. С. 233.

[***] Впрочем, согласно новейшим разысканиям, Вергунов мог переехать в Семипалатинск уже после отъезда оттуда четы Достоевских.

«всюду возила с собой, как собачонку». На каждой станции ему оставлялись «написанные второпях любовные записки» с точными инструкциями о маршруте. «Что за удовольствие получала эта белокожая негритянка, — восклицает дщерь благородных викингов, — видя по-детски счастливое лицо своего бедного мужа-писателя»[*].

Ни в одном из источников мы не найдём намёков, могущих хотя бы косвенно подтвердить эту в высшей степени *волнительную* историю. Правда, дотошные новокузнецкие разыскатели недавно установили: незадолго до отъезда Достоевских из Семипалатинска в Тверь Вергунов подаёт рапорт об увольнении его в отпуск в Томск — «на всё вакационное время». Неясно, пребывал ли он в июле-августе именно в Томске или проследовал в какие-то другие края[**]. Выходит, что стопроцентного *алиби* у Вергунова всё-таки нет.

Но каким образом узнал Достоевский убийственные для него подробности? Любовь Фёдоровна не оставляет читателя в неведении на этот счёт. Она утверждает, что незадолго до смерти Марьи Дмитриевны Вергунов навестил умирающую, которая, снедаемая чахоткой, покинула Петербург и проживала во Владимире и в Москве. («Eheu. Отъезд М<аши>» — пометил Достоевский 6 сентября 1860 г.[***]) Для этого он специально наведался «на материк» из Сибири. «Кашляющая и харкающая кровью женщина скоро стала вызывать отвращение у своего молодого любовника», и он покинул её. Это событие настолько потрясло отчаявшуюся любовницу, что во время одной из семейных сцен она открылась обманутому супругу, «рассказав во всех подробностях историю своей любви к молодому учителю». Мало того, «с утончённой жестокостью» она поведала мужу, как они вместе с соперником «веселились и насмехались» над ним, «призналась, что никогда не любила его и вышла замуж только по расчёту».

Запомним, что эти откровения вырвались у Марьи Дмитриевны в момент ссоры, в состоянии сильнейшей экзальтации.

«Бедный отец! — восклицает попечительная дочь. — Сердце его разрывалось, когда он слушал безумную исповедь своей жены»[****].

Осторожное предположение новокузнецких исследователей, что семидневный домашний арест учителя Вергунова в 1864 г., о причинах которого архивные документы умалчивают, был вызван какой-то его самовольной отлучкой — возможно, поездкой к умира-

[*] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 82.
[**] Загадки провинции. С. 68–69.
[***] Цит. по: Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. С. 233.
[****] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 83.

ющей Марье Дмитриевне*, — эта гипотеза, хотя и эффектна, но, увы, малодостоверна. Ибо весьма затруднительно при тогдашних средствах сообщения и ничтожном учительском жаловании осуществить такой отчаянный прыжок — из глубин Западной Сибири в Центральную Россию. А вот то, что во время одной из ссор выведенная из себя больная *открыла глаза* недостойному супругу, — вероятность этого весьма велика.

Но тут возникает вопрос.

Способна ли Марья Дмитриевна, не сумевшая или не захотевшая летом 1856 г. скрыть от потенциального жениха своей новой привязанности, способна ли она уже после брака долгое время вести столь хитрую и расчётливую игру? Достоевский, конечно, как он сам признавался, был *прост,* однако не до такой же степени.

«Она никогда не имела тайн от меня», — писал он Врангелю ещё в период своего жениховства. Привычно добавляя: «О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»** — и в письме старшему брату сразу же после свадьбы: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь её оставила на её душе болезненные следы. Переходы в её ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не перестаёт быть доброю и благородною»***.

Из этих текстов — даже если учесть некоторые преувеличения, извинительные, впрочем, для человека, переживающего медовый месяц, — можно понять, что Марья Дмитриевна скорее непосредственна, нежели скрытна, коварна, зла «и лаяй». Её душевная организация просто не рассчитана на интригу, подобную той, о которой повествует Любовь Фёдоровна.

До нас дошёл только один текст, собственноручно написанный Марьей Дмитриевной. Это несколько строк, обращённых к её сестре Варваре. (Они приписаны к отправляемому в Астрахань Д.С. Константу, их отцу, почтительно-родственному письму Достоевского.) Новобрачная пишет: «Скажу тебе, Варя, откровенно — если б я не была так счастлива и за себя и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюблённым в меня мужем, — даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трын-травою. Столько я получила подарков, и все

* Загадки провинции. С. 38.

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 252.

*** Там же. С. 275.

один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями»[*].

Приписка М.Д. Достоевской, замечает А.С. Долинин, показывает, «что это была женщина образованная, чувствительная и вполне "ровня" своему знаменитому мужу»[**]. Не возражая в общем против подобной оценки (хотя, признаться, особую образованность здесь усмотреть трудно), добавим, что в настоящем случае был бы уместен, например, когнитивный анализ. Этот небольшой по объёму текст позволяет тем не менее разглядеть в авторе натуру непосредственную и в то же время амбициозную. «Сверхзадача» письма — как можно чувствительнее уязвить родную сестру в отместку за её молчание, невнимание и прочие действительные или мнимые прегрешения. Причем сделать это чисто по-женски, как бы снисходя с высоты собственного благополучия, своего не вызывающего сомнений личного счастья. Марья Дмитриевна, готовая было поссориться с «недоброю сестрой», великодушно прощает её потому, что в свете нынешнего своего положения она может не замечать холодности сестры. Что значат эти небрежности в сравнении с «умным, добрым, влюблённым в меня» мужем, а тем паче — с уважением его московской и петербургской родни. Их письма «так милы и приветливы» — очевидно, не чета сестринским. Тем более что новые родственники завалили Марью Дмитриевну таким количеством подарков («и все один другого лучше»), что теперь — «будь покойна»! — у неё нет надобности обращаться с подобными просьбами к чёрствой и неотзывчивой родственнице.

Всё это, высказанное, как кажется автору письма, не без тонкого ехидства, на самом деле очень бесхитростно и наивно. Может ли такая женщина длительное время таить свои чувства и вести двойную игру? Кстати, героини, в которых так или иначе отразились черты Марьи Дмитриевны, менее всего способны на перманентный обман.

Теперь допустим, что Марья Дмитриевна действительно сделала мужу свои страшные признания. Но вот она умирает — и обманутый супруг, казалось бы, должен теперь пересмотреть свои «итоговые оценки», с горестью принять то, о чём спустя полвека заявит воспоминательница-дочь: «Эту мегеру он считал любящей и преданной женой!»[***]

Но — ничуть не бывало. Ровно через год после смерти Марьи Дмитриевны Достоевский напишет Врангелю, что хотя он и знал,

---

[*] Цит. по: *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 484.

[**] Цит. по: *Донов А.* Мария Констант, жена Достоевского. СПб., 2004. С. 56.

[***] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 83.

что жена умирает, «но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда её засыпали землею». Да, он не отрицает, что они были «положительно несчастны вместе (по её странному, мнительному болезненно фантастическому характеру)», — однако «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». Ему ли не знать сближающую силу страдания?

Конечно, исходя из этих глухих намёков, *теоретически* можно предположить: Достоевский знал *всё*. И его христианское всепрощение (вариант: писательское всепонимание) простиралось до такой степени, что он жертвовал личным счастьем для блага ближнего, в роли какового в настоящем случае подвизалась его собственная жена. Это допущение ничем не хуже уверений одного из его героев, что он свою супругу любил, но после её измены стал ещё уважать.

Непреложно одно. По завершении этого брака он говорит то же, о чём толковал в самом начале: «Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь»[*]. Он не разочаровался в своей избраннице — и никогда не отзывался о ней худо. Во всяком случае, в письменном виде. Но, может быть, с Анной Григорьевной он более откровенен? И может, именно здесь сокрыт источник той информации, которой впоследствии поразит публику добросовестная Любовь Фёдоровна?

Надо ли ставить памятник бывшим женам?

«Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, — сдержанно замечает в своих мемуарах Анна Григорьевна, — но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Фёдор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне...»[**]

Это не совсем так.

О том, что автор «Игрока» был женат, Анна Григорьевна узнала ещё во время их совместных диктовок в октябре 1866 г. Через год в своём женевском стенографическом дневнике она вспоминает, как Достоевский тогда сказал ей, что его жена «была страшная ревнивица», и продемонстрировал её портрет. Изображение Анне Григорьевне не понравилось — «какая-то старая, страшная, почти мёртвая». Достоевский объяснил, что фотография сделана за год до смерти. Автор дневника добавляет, что первая жена «очень злая

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 116.
[**] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 89.

была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив».

Итак, речь о Марье Дмитриевне всё же заходила — и тогда, в период знакомства, и сейчас, когда заканчивался первый год их супружества. И если Врангелю можно признаться, что они с Марьей Дмитриевной были «положительно несчастны вместе», то молодой жене знать об этом совершенно необязательно. По *официальной версии* — первый брак удался.

«Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, — понятными только ей стенографическими знаками записывает Анна Григорьевна, — и он толковал, что ей непременно следует поставить памятник». Это намерение не нравится Анне Григорьевне («Не знаю, за что только?» — искренне добавляет она). За *предшественницей* не признаётся каких-либо особых заслуг[*]. Далее следует фраза ещё более замечательная: «Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет». Та, которой предстоит прожить с Достоевским ещё тринадцать лет, точно знает, с кем рядом ему положено лежать. Они должны покоиться вместе. Так оно в конце концов и случится, хотя путь к этому окажется совсем не таким простым, как ей представлялось.

Анна Григорьевна приводит в дневнике одну любопытную подробность. Она говорит, что, касаясь прошлого, муж рассказывал ей «о своих изменах». И в связи с этим осудительно замечает, что если бы он любил первую жену, то не стал бы ей изменять. Иначе «что это за любовь, когда при ней (очевидно, при жене. — *И. В.*) возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких»[**]. Интересно, что в этом рассуждении об «изменах» употреблено множественное число — вероятно, наряду с А.П. Сусловой могли называться другие, неведомые нам имена. Неудивительно, что когда Достоевский получает за границей письмо от «друга вечного», мучимой ревностью Анне Григорьевне начинает мерещиться, что Суслова самолично явилась в Швейцарию «и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 275. В одном из черновых набросков к своим воспоминаниям Анна Григорьевна пишет: «Я должна признаться в одном очень дурном чувстве, которое у меня тогда было, именно в ревности к Марии Дмитриевне. Я так любила Ф.М., что мне было обидно подумать о том, что другая женщина когда-нибудь была ему дорога и много значила в его жизни... Это было чисто детское чувство, которое с возрастом исчезло». Следует отдать должное этому позднему признанию.

[**] Там же. С. 319.

Дмитриевну»[*]. О том, что Марья Дмитриевна могла обманывать Достоевского, Анна Григорьевна не упоминает нигде — ни в дневниках («зашифрованных» так, что можно было не опасаться нескромного взгляда), ни в письмах, ни в каких-либо записях «для себя». Учитывая крайне раздражавшее её обстоятельство, что свою первую жену Достоевский имел обыкновение ставить в пример (очевидно, в воспитательных целях)[**], она не преминула бы зафиксировать столь впечатляющий *компромат.* Тем более что со временем муж стал с ней вполне откровенен.

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна останавливается на эпизоде, когда весной 1868 г., после смерти их первого ребёнка, трёхмесячной Сони, они покинули Женеву и направились в Веве. И тут, на пароходе, впервые за всё время их семейной жизни Достоевский возопил. Анна Григорьевна «услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую». Упомянуто было и первое супружество: «Говорил о своих мечтах найти в браке своём с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел», а из-за её характера был «очень несчастлив». Среди подобных откровений должно было бы непременно присутствовать ещё одно, самое важное — о Вергунове. Но этого нет.

При том что другие подробности Анне Григорьевне были ведомы.

По уверению Любови Фёдоровны, ее отец «с грустью... повторял позорные слова Марии Дмитриевны: “Ни одна женщина не полюбит бывшего каторжника”»[***]. Это — не злостная выдумка мемуаристки. Подтверждение этих слов мы находим в дневниковой записи двадцатилетней Анны Григорьевны: «Ведь вот Мария Дмитриевна ругала его каторжником, подлецом, колодником, и ей всё сходило с рук»[****].

Вот он — первоисточник. Хотя дочь и не читала стенографических дневников своей матери, именно у неё она черпает свою информацию. Почему же, повторим ещё раз, в записях Анны Григорьевны нет никаких следов другой истории — с красавцем- учителем, столь выигрышной, чтобы унизить *соперницу?*

Но посмотрим внимательнее.

Приведя «цитату» из Марьи Дмитриевны — о том, что нельзя любить бывшего каторжника, Любовь Фёдоровна комментирует её

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 250–251.

[**] Там же. С. 362.

[***] *Достоевская Л.Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 83.

[****] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 210.

следующим образом: «Лишь дочь раба могла следовать этому принципу лакейской души; подобная мысль никогда не зародилась бы в великодушной европейской душе»[*]. У самой Анны Григорьевны мы не найдем таких глобальных нравственноантропологических обобщений. Вполне бесхитростно она приводит следующий диалог. Однажды во время семейной ссоры, ответствуя на упрек Достоевского, что его никто не обзывал оскорбительными словами, находчивая Анна Григорьевна вспоминает покойную Марью Дмитриевну. Ибо она «его и каторжником ругала». Что же отвечает Достоевский на этот убедительный довод? Автор дневника аккуратно фиксирует его прямую речь:

> — Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума выжила, как говорят в народе, что она была полоумная, а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чертей выгоняла, так что с неё спрашивать[**].

Недаром, однако, столь многое зависит от контекста. Ругательства Марьи Дмитриевны обретают в свете сказанного Достоевским совсем иной характер, нежели тот, который через десятилетия старается придать им Любовь Фёдоровна. В её изложении — это сознательные оскорбления, исходящие от злой и неблагодарной особы, «дочери раба», «лакейской души» и т.д. Но разве так трактует их Достоевский? Он-то как раз находит оправдание своей оскорбительнице — в её крайне болезненном состоянии, в психической неадекватности и т. д.— «так что с неё спрашивать». То, что у Любови Фёдоровны выглядит как *криминал*, у Достоевского вызывает только жалость.

И ещё одно важное признание зафиксировано в женевском дневнике. Достоевский говорит, что Марье Дмитриевне «уж года 3 до смерти представлялись разные вещи, виделось то, чего вовсе и не было. Например, представлялся какой-нибудь человек и она уверяла, что такой человек был, между тем, решительно никого не было». Он приводит конкретный образчик ее фантазий: «Она ужасно не любила свою сестру Варвару (что подтверждается, в частности, проанализированным выше её письмом к последней. — *И. В.*), говорила, что она была в связи с её первым мужем (т.е. с А.И. Исаевым! — *И. В.*), чего вовсе никогда не было»[***].

Возможно, именно здесь находится ключ к разгадке.

---

[*] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 83.
[**] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 362.
[***] Там же. С. 286, 287.

«Маша лежит на столе»

Известно, что и внешность, и характер Марьи Дмитриевны отразились в образах двух Катерин — жены Мармеладова из «Преступления и наказания» и Катерины Ивановны Верховцевой из «Братьев Карамазовых». Но вот что говорит Достоевский об этом психологическом типе в последней, предсмертной своей тетради: «*Катерина Ивановна. Самосочинение.* Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, *самосочиняется*»[*].

Если иметь в виду состояние Марьи Дмитриевны в ее последние годы — «фантастичность», ревность, желание отомстить неверному мужу и т. д., и т. п., то вполне закономерен творимый ею романтический миф: везде и всюду сопровождающий её и преданный ей любовник. «Вечный Вергунов» — это то оружие, которым можно поразить легкомысленного супруга. Это возможность доказать, что она тоже любима, что ею восхищаются и ей верны. В этом смысле «Вергунов» выполняет функцию «танца с шалью», который Катерина Ивановна («Преступление и наказание») исполняла на выпуске, при губернаторе. Незримый любовник — тоже знак иной, достойной её и благосклонной к ней жизни. Он — оправдание её неудачного брака, её горестей и болезней. Его нельзя выгнать из комнаты, как тех чертей, ибо он — её последний и, пожалуй, единственный козырь.

«Чахоточную и обвинять нельзя в её расположении духа», — скажет Достоевский в одном из писем[**].

Поведанный некогда Достоевским Анне Григорьевне бред бедной больной, пройдя ряд трансформаций, обретает право на жизнь в мемуарной прозе Любови Фёдоровны.

Даже если Марья Дмитриевна действительно *призналась* мужу в этой роковой страсти, у него не было оснований менять своё отношение к ней. Он слишком хорошо знал её «фантастический» характер. Он сохранит в своей памяти и постарается донести до других её идеальный образ — тот, который привлёк его с самого начала и который «в высшем смысле» остался таким навсегда.

Он не оставит её до последнего дня.

Перевезя жену из Владимира в Москву в ноябре 1863 г., Достоевский почти неотлучно находится при ней. Здесь, в двух шагах от ее постели, пишутся «Записки из подполья». Здесь он постоянно за-

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 27. С. 59.

[**] *Достоевский Ф.М.* Письмо М.М. Достоевскому от 26 марта 1864 г. // Там же. Т. 28_2. С. 73.

нят делами только что разрешённой «Эпохи», издание которой настоятельно требует его присутствия в Петербурге. Но, понимая, что у жены нет шансов, Достоевский жертвует всем остальным.

А.Н. Майков, посетивший Достоевского в Москве в январе 1864 г., пишет своей супруге: «Марья Дмитриевна ужасно как ещё сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе расспрашивала, но кашель обуздывал её болтливость. Фёдор Михайлович всё её тешит разными вздориками, портмонейчиками, шкатулочками и т.п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей»[*]. Достоевский «тешит» безнадёжно больную: последнее, что он может для неё сделать. Но и она в свою последнюю минуту не забывает о нём.

Анна Григорьевна излагает в дневнике рассказ мужа — как он в день смерти первой жены «всё сидел у нее», отлучился на минуту к Ивановым (семейство сестры проживало рядом), и, когда вернулся, всё было кончено. «Перед смертью она причастилась, спросила, подали ли Фёдору Михайловичу кушать и доволен ли он был, потом упала на постель и умерла»[**]. Женщина, честившая его каторжником и другими обидными словами и признававшаяся в ужасных изменах, в смертный свой час, приобщившись святых тайн, не забывает осведомиться о том, пообедал ли он и, главное, остался ли доволен обедом. Его земное благополучие занимает её не менее, чем спасение собственной души.

«Жена умирает, *буквально*, — пишет Достоевский брату 2 апреля 1864 г. — Каждый день бывает момент, что ждём ее смерти. Страда-

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 393. Через месяц с небольшим Достоевский сообщает брату Михаилу Михайловичу о другой своей болезни — воспалении предстательной железы. Лечащий его А.П. Иванов (зять, он же лечил и Марью Дмитриевну) утверждает, что «болезнь серьёзная» — больной не может даже сидеть на стуле, и ему прописан постельный режим. «.Всё-таки надобно, — пишет Достоевский, — *окончательно* вылечиться, а не так, как вылечился я в Петербурге» (*Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 68). Уместно сопоставить это сообщение с несколько ироничной фразой из февральского письма Н.Н. Страхова к брату, где, очевидно, речь идёт о том же недомогании: «Ф. Достоевский приехал из Москвы больной <.> — зато лицо его не имеет в себе ничего эпилептического» (Литературное наследство. Т. 86. С. 394). Купюра, которую сделали в этом тексте публикаторы письма, имеет, видимо, отношение к названию болезни. (Оригинал письма: ЦНБ АН Украины. III. 19093). Также см. более раннее свидетельство — *Токаржевский Ш.* Сибирское лихолетье / Пер. с польск. М.М. Кушниковой. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. С. 188.

[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 286.

ния её ужасны и отзываются на мне, потому что...»[*] Он обрывает фразу, ибо не может, да, наверно, и не хочет высказать на бумаге то, о чём думает постоянно. Его не оставляет чувство вины. Оно движет его пером, когда 16 апреля 1864 г., на следующий день после ее кончины, он заносит в свою записную тетрадь (этот текст уже приводился выше, с. 220):

> Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?
>
> Возлюбить человека, *как самого себя*, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. *Я* препятствует. <…> Итак, человек стремится на земле к идеалу, *противуположному* его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил *любовью* в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом[**].

«Христианский идеал» противоположен человеческой натуре. Но во что превратился бы человек, если бы он следовал исключительно велениям этой самой натуры (т.е. тому, на что ориентированы, скажем, современное массовое сознание и массовая культура)? Вербально смысл такого превращения сформулирован героем той повести, которую Достоевский пишет в эти не лучшие для себя дни: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

«Возлюбить ближнего» способен не каждый. Но следует ли поэтому отказываться от попытки? «Основная идея и всегда должна быть недосягаемо выше, чем возможность исполнения, н<а>пр<имер> христианство», — записывает он «для себя»[***]. Он мучительно ощущает этот разрыв. «Я и Маша» — никто из них не осуществил «заповеди Христовой», и тому, кто остался жить, не уйти от чувства страдания и греха.

“Eheu” — ставит он рядом с записью о покойной жене.

И, наконец, хочется сказать об одном поразительном совпадении.

15 апреля 1864 г., за несколько часов до кончины жены, Достоевский пишет старшему брату: «Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить». Проходит семнадцать лет — и 28 января 1881 г., за три часа до собственной смерти, он диктует Анне Григорьевне «бюллетень» — письмо к графине Е.Н. Гейден (где говорит о себе

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 75.
[**] Там же. Т. 20. С. 172, 175.
[***] Там же. Т. 24. С. 69.

в третьем лице): «26-го числа в лёгких лопнула артерия и залила наконец лёгкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвы<чайной> потерей крови с задушением». Достоевский говорит о своих предсмертных страданиях почти теми же словами, что и о предсмертных страданиях первой жены. «Мы все ждали кончины», — пишет он Михаилу Михайловичу. И — о себе графине Гейден: «С 1/4 <часа> Фёд<ор> Мих<айлович> был в полном убеждении, что умрёт...»* И в том, и в другом случае он оказался прав.

* Цит. по: *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 242–243.

Из главы 5

НЕРАВНЫЙ БРАК

Анна Григорьевна: жена в России больше, чем жена

«Этой отваги и верности...»

Дочь Достоевского никогда не упускала случая напомнить о благородном происхождении своих нордических — по материнской линии — предков.

Любовь Фёдоровна любила повторять, что именно от скандинавов её мать унаследовала тот дар предвидения, который поражал её саму и в ещё в большей степени — знавших её людей. Но, кажется, в добрачной жизни Анны Григорьевны нельзя обнаружить никаких намёков относительно характера её будущего супружества. Интеллигентной девушке, ей не приходило на ум разбрасывать обувь в крещенский вечерок или выпытывать у прохожих имя суженого. У нее не было никаких *роковых предчувствий.*

Правда, позже она уверяла, что автор «Неточки Незвановой» (именем Неточка её шутя называли в детстве), будучи любимым писателем её отца, привлекал также и её девические симпатии. Но таким же кумиром мог бы, наверное, оказаться и Тургенев, выйди, положим, она за него замуж. Ничто так не способствует писательским бракам, как женская — сугубо литературная — приязнь.

После смерти имя её стало именем нарицательным, мировым эвфемизмом, едва ли не брендом — эталоном преданности, образцом служения, символом долга. (В этой связи обычно вспоминают светский, но, кажется, не лишённый скрытой горечи комплимент, сказанный ей Толстым, — что «многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них...» и т.д.)

Поэзия, впрочем, как ей и положено, сформулировала проблему наиболее лаконическим образом:

Этой отваги и верности
не привилось ремесло —
больше российской словесности
так никогда не везло.
(В. Корнилов)

И впрямь: *прецедент*, за двумя-тремя исключениями, не вызвал энтузиазма. Между тем «случай Анны Григорьевны» уникален и всеобщ. Уникален — как факт неслыханного *везения*, конгениальности двух ни в чём не схожих натур: шанс, единственный в своём роде*. Всеобщ — как зримое воплощение тех коренных свойств русской женщины, о которых толковал автор Пушкинской речи и которые «вдруг» оказали могущественное воздействие на его собственную судьбу.

Генеалогические корни Анны Григорьевны переплетаются между собой на пути из варяг в греки.

Её шведские предки, обитавшие средь «финских хладных скал» — точнее, в городе Або, — переместились в Петербург лишь к началу XIX столетия. Мать, Мария-Анна (урожденная Мильтопеус, по переходе вследствие брака из лютеранства в православие — Анна Николаевна Сниткина), родилась в славном 1812 г. и была на тринадцать лет моложе своего мужа, которого, прежде чем стать его невестой, легкомысленно именовала «старичком». Она не ведала, что у её собственной дочери разница лет с супругом окажется вдвое больше.

Отец Анны Григорьевны, Григорий Иванович Сниткин, в молодости завзятый театрал и, как уверяет его внучка, самый привечаемый из платонических воздыхателей прелестной Асенковой, вёл свою родословную от казаков, ставших позднее полтавскими помещиками и носивших фамилию Снитко. Малороссы, они обитали в тех местах, где армия Карла XII — в рядах которой вообще-то могли сражаться шведские предки Анны Григорьевны, — нашла свой бесславный конец. (Род Достоевского двигался несколько западнее этих земель, очевидно, тоже зачёрпывая из малороссийских истоков.) Хохлацкая и шведская крови смешались. В результате на свет явится та, кому автор «Братьев Карамазовых» посвятит свой «закатный» роман.

---

* По свидетельству вдовы Назыма Хикмета, супруг убеждал её никогда больше не выходить замуж за писателя, ибо не видел в России ни одной счастливой писательской жены: «Русская душа, соединённая с талантом, так же неподъёмна, как мешок золота» (*Тулякова-Хикмет В.* Последний разговор с Назымом // Октябрь. 2007. № 8. С. 133).

На этом, однако, не обрывается цепь «странных сближений». Родившаяся 30 августа 1846 г. (кстати, в год литературного дебюта автора «Бедных людей»), в день памяти святого Александра Невского, в доме, принадлежавшем одноимённой лавре, Анна Григорьевна в 1881-м похоронит на Тихвинском кладбище той же лавры своего знаменитого мужа. «...И, если будет угодно судьбе, — напишет она на исходе жизни, — найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения»*. Исполнение желания отдалится. Гроб с её телом будет долго стоять непогребённым; её могилу в чуждой ей стороне осквернят и забросят.

И лишь спустя полвека после её кончины прах обретёт взыскуемый ею покой: там, где она и хотела.

И опять повисает неизбежный вопрос: зачем? Зачем беспокоить тени, не предназначенные для академического внимания, тем более что обретаются они в донельзя замусоренном пространстве частной жизни? Какое касательство к духовным свершениям творца имеет его вторая половина — существо в лучшем случае *вспомогательное?* Казалось бы, она менее значимая фигура для понимания его жизненного и творческого пути, нежели другие современники — его именитые коллеги, они же — идейные друзья и враги. Жёны имеют довольно слабое отношение к *истории текста,* даже им посвящённого (взять тех же «Братьев Карамазовых»); в лучшем случае они его переписчики и хранители.

Между тем ни у Пушкина, ни у Толстого (до определенного срока), ни у Достоевского не было рядом никого важнее жены. Это касается всех сторон их существования, всей жизненной сферы. Автор «Войны и мира» говорил, что, когда он читает книгу какого-либо писателя, он всегда пытается представить, что это за человек. Кто, однако, мог бы ответить на этот вопрос лучше *вдовы писателя?* Конечно, она никогда не скажет *всей* правды. Зато ту правду, которую знает она, не знает никто.

В своих отношениях — с обществом, приятелями, родственниками, женщинами, издателями, читателями, властью и т.д., и т.п., и даже с Богом — художник волен выбрать тот или иной тип поведения, ту или иную маску, личину, роль. И с большим или меньшим успехом следовать этому выбору. Здесь, сколь бы он ни был искренен, почти неизбежно присутствует момент игры. Это не значит, что подобных «игровых» моментов начисто лишена семейная жизнь. Разумеется, это не так: вспомним хотя бы «Кроткую», где ге-

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 37.

рой разыгрывает перед юной *избранницей* тщательно продуманный спектакль. Но как раз эта «наивная» героиня прозревает истинную суть своего супруга — причём, кажется, в большей степени, нежели он сам. Перед женой трудно изображать того, кем ты не являешься на самом деле: при условии, конечно, что тебе не подыгрывает *партнёрша*.

Если российской словесности «повезло» с Анной Григорьевной, то самой Анне Григорьевне — в её посмертном статусе — повезло значительно меньше. Не в том смысле, что кто-либо дерзал оспаривать её выдающиеся достоинства. Напротив, они всячески превозносились. Но тот панегирический лепет, который имеет свойство заглушать любые обертона, не способствовал постижению тайны. Впрочем, её, быть может, и не обязательно постигать. Но задуматься стоит.

Почему произошло то, что произошло, почему «в беспредельности» сошлись именно они? И какие неведомые силы помогли ей исполнить *долг* до конца? А ему — не сокрушить её самое, не подавить, как это бывает, талантом и волей, а напротив, уважить личность, характер, ум? Что изменилось в них самих в результате этого неравного брака?

И наконец: какова была её жизнь после него — то, о чём нам на самом деле известно не слишком много.

Кроме некоторых специфических, связанных с его работой проблем («кроме» здесь и есть главное) их совместная жизнь — история в общем обыкновенной семьи. Они «притирались» друг к другу так, как это делают тысячи и тысячи пар. Они ссорились и мирились, как большинство из нас. Они боролись с безденежьем и заботились о здоровье детей. Их опыт не может не привлекать — как в силу своей исключительности, так и потому, что он близок людям вообще, людям как таковым. Их диалог происходит на равных, без скидок на гениальность. Их радости и горести, удачи и беды — не какого-то особого свойства; они в значительной мере присущи всем нам. Правда, не у всех нас наличествует такой муж. И тем более — такая жена.

Знакомство в день казни

Анна Григорьевна впервые увидела Достоевского 4 октября 1866 г. Она явилась к нему для срочной работы: он намеревался менее чем за месяц, к 1 ноября, продиктовать (а ей надлежало стенографически записать) семь печатных листов «Игрока».

При нарушении этого срока ему грозила девятилетняя потеря авторских прав на все вновь создаваемые сочинения (права переходили к издателю Стелловскому), разорение и гибель. Работу над публиковавшимся из месяца в месяц в «Русском вестнике» «Преступлением и наказанием» пришлось отложить: в отличие от Стелловского читатель мог подождать.

«Это чрезвычайно угрюмый господин, ужасно мрачный, — остерёг свою лучшую ученицу преподаватель стенографии Ольхин, предложивший ей эту первую (и, как выяснилось, последнюю) в её жизни оплачиваемую работу, — я решительно не знаю, как вы с ним сойдетесь». Дружеское предупреждение не устрашило юную стенографку. «...Что мне было за дело до характера человека, я ведь вовсе не для замужества с ним пришла», — воспроизводит она через год, состоя уже законной женой и беременная первым ребенком, свои тогдашние настроения*.

Она идёт к Достоевскому во всеоружии: по дороге, в Гостином дворе, за один рубль серебром приобретается черный коленкоровый зонтик с красивой деревянной ручкой; в лавке на Невском за 60 копеек — портфель, куда аккуратно складываются бумага и карандаши. «.Мне хотелось показать вид порядочности», — признаётся она: таков ее нехитрый стратегический умысел**.

В своём дневнике 1867 г., к которому нам придётся обращаться еще не раз, по относительно свежим, всего годичной давности следам она восстанавливает подробности первой встречи. Не все из них вошли в её позднейшие воспоминания, писавшиеся в иную эпоху — иной, куда более искушённой рукой. Так, во дворе дома Алонкина на углу Малой Мещанской и Столярного переулка, где квартировал Достоевский, автором дневника замечены «довольно неприличные хари», а на грязной лестнице «попались несколько человек очень неприличных и 2 или 3 жида»***. Анну Григорьевну, всегда отличавшуюся зоркостью взгляда, смущает *контекст*: известный писатель мог бы, по её мнению, выбрать и дом, и место почище.

Синяя домашняя куртка, в которой принимает её Достоевский, определена как довольно засаленная, зато с удовлетворением отмечено, что он был в безукоризненно чистом белье («В этом нужно было ему отдать справедливость, я его никогда не видела ходящим в грязном белье»)****. Но в общем работодатель Анне Григорьевне *не*

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 300–301.
** Там же. С. 302.
*** Там же. С. 303.
**** Там же. С. 305.

показался. «Он мне не понравился и оставил тяжёлое впечатление», — лаконически сказано в позднейших воспоминаниях*. В раннем же черновом наброске (1883 г.) об этом говорится пространнее: «Я должна сделать одно замечание: ни один человек в мире, ни прежде, ни после, не производил на меня такого тяжёлого, поистине удручающего впечатления, какое произвёл на меня Фёдор Михайлович в первое наше свидание»**. Как выяснится в дальнейшем, никто не производил и более светлого.

Ей почему-то запомнилось, что он проживал в квартире № 13 (по другим источникам — в квартире № 36).

После первого дня ей показалось, что они не сойдутся, что она лишится столь желанной работы и, следственно, платы в 30 рублей, назначенной за её месячный труд. Правда, в «Воспоминаниях» размер вознаграждения увеличивается до 50 рублей: очевидно, по прошествии лет реальная сумма уже не соответствует значимости момента***. Но это — результат концептуального редактирования, когда, в целом не искажая фактов, мемуаристка деликатно подвигает их в сторону, наиболее благоприятную для изображаемого лица.

...В своё время, восстанавливая подлинные обстоятельства этой встречи, мы были поражены одним ускользнувшим от общего внимания совпадением.

4 октября 1866 г., в то утро, когда Анна Григорьевна впервые перешагнула порог квартиры Достоевского, неподалёку, на Смоленском поле, вершилась публичная казнь. На эшафот был возведён проходивший по каракозовскому делу Николай Ишутин (самого Каракозова повесили месяцем раньше). Облачённого в белый балахон, его десять минут продержали с петлёй на шее, после чего объявили помилование (т.е. приговор к вечной каторге). Таким образом, почти в точности повторился жуткий сценарий 1849 г. Тогда, правда, петрашевцам грозила казнь расстрелянием — трое из смертников были уже привязаны к врытым в землю столбам.

Казнь Ишутина (оставим первое слово без кавычек, ибо, как и автор «Идиота», казнимый тоже пережил свою смерть) состоялась в начале девятого утра. Анна Григорьевна явилась к Достоевскому

---

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 53.

** РГБ. Ф. 93. Разд. III. Картон 5. Ед. хр. 15. Л. 8 об.

*** Учитывая, что из 30 рублей три отдавалось Ольхину как предложившему работу, на долю исполнителя приходилось не более рубля в день. При каждодневных многочасовых диктовках, последующей расшифровке и переписывании набело (не говоря уже о стоимости извозчиков, преодолевавших немалое расстояние от Песков до Столярного переулка) плата представляется не столь высокой.

в половине двенадцатого. Он, очевидно, ещё не знает, что Ишутин помилован.

«Он имел разбитый и больной вид», — говорится в «Воспоминаниях»[*]. «Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями, — записано в дневнике. — Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чём-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать»[**].

Чем же так угнетён хозяин кабинета? Помимо текущих забот (кабальный договор со Стелловским, неоконченное «Преступление и наказание», долги, кредиторы и т. д., и т. п.) его не может не мучить мысль о том, что совершается — или уже соверши — лось — *там*. Он объявляет несколько обескураженной Анне Григорьевне, что не в силах сейчас диктовать, и переносит диктовку на вечер — на восемь часов: время не самое удобное для визитов, пусть даже и деловых, молодой девушки из хорошей семьи.

Вечером Анна Григорьевна застаёт совсем иную картину. Достоевский, как сейчас бы сказали, расслабился: он заводит с гостьей доверительную беседу. «*Почему-то,* — добавляет она, — разговор коснулся петрашевцев и смертной казни»[***]. Бывший смертник не просто обозначает сюжет — он подробнейшим образом описывает всю процедуру, а также – то душевное состояние, в котором тогда пребывал. Невероятно, что подобные ретроспекции доверяются *девчонке* — юной особе, которую он видит практически первый раз и которая, кажется, ничем не заслужила таких откровений[****].

Разумеется, в восемь вечера он не может не знать о помиловании. И не это ли сближение судеб подвигло рассказчика на внезапную исповедь, столь поразившую его случайную слушательницу? Ведь следующим вечером родственники уверяли её, что Достоевский был сослан на каторгу за убийство жены[*****].

К этому следует добавить ещё одно, впрочем, может быть, неважное обстоятельство. Анна Григорьевна говорит, что она пришла к Достоевскому ровно через полгода после того, как начала заниматься необычным тогда делом — стенографией. Первый урок состоялся 4 апреля. В отличие от запомнившегося ей 4 октября она не придает особого значения этой дате. Но мы-то знаем: 4 апреля 1866 г. у решет-

---

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 52.
[**] *Она же.* Дневник 1867 г. С. 305.
[***] *Она же.* Воспоминания. С. 55.
[****] Подробнее об этом: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 200–206.
[*****] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 313.

ки Летнего сада Каракозов стрелял в Александра II: на русского государя впервые посягнули публично. (И Достоевский с истошным криком «В царя стреляли!» ворвался к потрясённому А.Н. Майкову.) Через полгода, 4 октября, круг замкнётся казнью Ишутина. На события жизни частной ляжет кровавый отсвет российской истории. Эта тень будет сопровождать автора «Бесов» до его смертного часа, когда — опять же по воле случая — последним его соседом окажется один из главных действователей народовольческого террора...*

Он записывает её адрес: «Анна Григорьевна, на Песках, у Первого Военного Сухопутного госпиталя, в Костромской улице, в собственном доме». (Всё это пишется на обложке тетради с заметками к «Преступлению и наказанию»: как бы крестильная запись, означающая — «приобщена».) И с сокрушением замечает, что она могла заболеть, а он даже не знал бы, где её искать. И не ведал бы, «как вернуть продиктованную частицу романа», если она «отдумала работать и к нему не пришла в назначенный день»**.

Она — не «отдумала».

Брачные игры

Чем могла привлечь Достоевского Анна Григорьевна? Нам уже приходилось говорить, что летом и осенью 1866 г. автор «Скверного анекдота» находится в состоянии «предсвадебных ожиданий». Недавнее неудачное объяснение с 22-летней Анной Корвин-Круковской; неожиданное, видимо, для него самого предложение 20-летней подруге его юных племянниц — Марии Иванчиной-Писаревой (странная тяга к девушкам с двойными фамилиями!), которое и было встречено весёлым девичьим смехом; «брачный зондаж» (это при живом-то, хотя и больном муже!) намерений дальней родственницы Елены Павловны Ивановой.

Всё это лишь доказывает: Достоевскому опостылело одиночество. Он пытается избавиться от него в дружественной среде — в Люблине под Москвой, где его окружает большое шумное семейство сестры Веры Михайловны и толпа гостящей у них молодёжи. (Об этом уже шла речь выше.) Подстёгиваемый очередными книжками «Русского вестника», он пишет «Преступление и наказание»: мрачный сюжет отнюдь не мешает ему вместе со всеми предаваться весёлым дачным забавам. Очевидно, подобные отвлечения необхо-

* Подробнее об этом: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 569–625.

** *Бельчиков Н.Ф.* [Предисловие] // Письма Достоевского к жене. С. IV. (В «Воспоминаниях» и дневнике даются разные версии появления этой записи.)

димы — в качестве эстетического противовеса. Недаром он даже ухитряется стать душой этой *молодёжной* компании.

Он покидает Люблино в начале сентября — ещё ощущая инерцию летнего праздника.

Через месяц к нему приходит Анна Григорьевна.

...По общему мнению, она не блистала красотой (кстати, он тоже не обольщался на этот счет: «.Ты мила и у тебя чрезвычайно доброе лицо, но ты далеко не красавица»[*]). Доброе лицо имело серый оттенок и другие изъяны, что ставилось ей на вид взыскательным мужем («он всё меня бранит за неровности кожи»[**]). Современница, помнящая ее гимназисткой, говорит о её настойчивости, живости и — что, может быть, необычно для наследницы викингов — пылком темпераменте. (Тут разумеется вовсе не чувственность, а именно темперамент.) Отмечаются серые глаза: «умные, лучистые». Сообщается, что «она привлекала к себе сердца своей правдивостью, искренностью»; что обладала способностью подмечать в жизни смешное и любила смеяться от души[***]. Впрочем, последнее свойство она умела скрывать.

Тот «вид порядочности», которому она решила следовать в общении с Достоевским, помимо прочего подразумевал серьёзность. И не только потому, что 20-летней Анне Григорьевне хотелось выглядеть старше своих лет. «Я давно уже решила, — говорит она, — в случае, если придётся стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово»[****]. Она старается соблюсти дистанцию, оградить себя от возможного амикошонства и других потенциальных угроз. Любившая «хохотать с подругами», в настоящем случае она, по собственному признанию, «кажется, даже ни разу не засмеялась»[*****]. Но именно эта её серьёзность импонирует Достоевскому: он «признавался мне потом, что был приятно поражён моим уменьем себя держать»[******].

Анна Григорьевна полагает, что она понравилась своему будущему мужу по контрасту — с теми «нигилистками», манеры и образ

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 332.

[**] Там же. С. 258.

[***] Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А.С. Долинина. 1924 (1925). Сб. 2. С. 578.

[****] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 54.

[*****] *Она же.* Дневник 1867 г. С. 307.

[******] *Она же.* Воспоминания. С. 54.

жизни которых его коробят. Недаром, взяв папиросы, он предлагает и ей закурить: разумеется, это *тест*. И на вопрос, не вежливостью ли вызван её отказ, слышит, по-видимому, не без удовольствия, что она не только сама не курит, но и «не любит видеть», как это делают дамы. Может быть, именно в этой связи он не удержался от комплимента. Он-де рад, что Ольхин прислал к нему стенографку, а не стенографа, ибо «мужчина непременно запьёт, уж наверно запьёт, а вы, я надеюсь, не запьёте». Анна Григорьевна без тени улыбки ответствует, что «в этом он может быть уверен»[*]. Он расспрашивает довольно подробно (как всегда поступает с интересующими его лицами) о её воспитании, образовании, семье. «На все эти вопросы я отвечала очень просто и серьезно; вообще я держала себя очень сдержанно, хотела поставить себя на такую ногу («на высшую ногу», как выразился бы один персонаж «Карамазовых». — *И. В.*), чтобы он не мог мне сказать ни одного лишнего слова, ни одной шутки»[**]. Она не желает нравиться: ей хочется *быть*.

Однажды, уже за границей, он по какому-то поводу упрекнёт её в неделикатности. (Деликатности учит не танцмейстер, сказано в «Идиоте».) Этот упрёк страшно обидит Анну Григорьевну. «Я помню, — заносит она в дневник, — когда я ходила к нему работать, я ему не предложила ни одного вопроса. Мне казалось неделикатным спросить его о чём-нибудь»[***].

Тем более невероятно, чтобы она могла сделать первый шаг.

Вообще, этот брак был предрешён. Одинокий мужчина почти целый месяц, день за днем, проводит в тесном общении с женщиной: по сути, наедине. У Достоевского не имелось особых возможностей для *интересных* знакомств. И тем паче — для бесед с молодыми девушками тет-а-тет. Он не был человеком светским, завсегдатаем салонов, жуиром; не вёл рассеянной жизни. Семейства, которые он посещал, — это в основном родственники и старые друзья. Там не существовало поля для романтических увлечений. Со своей «главной» возлюбленной Аполлинарией Сусловой он поначалу сошёлся как с автором — благодаря «Времени». На той же литературной стезе возникло сближение и с А.В. Корвин-Круковской. Ныне *его* журналы не выходили; шансов на личное счастье оставалось всё меньше.

И всё же второй его брак напрямую будет связан с писательством.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 305.

[**] Там же. С. 306.

[***] Там же.

Да: он был приуготован к женитьбе. Весь этот год он испытывал колоссальное напряжение: сочинялся хвалимый, ругаемый, но при этом читаемый всеми роман. Его могучая творческая воля не исчезала бесследно — он улавливал мощный ответный прилив. Это сгущение энергий не могло не сказаться на той сугубо интимной сфере, которая неотделима от творчества. Его писательский взлёт должен был материализоваться в *женщине*: не в тех пресловутых «Минушках и Кларушках», о которых он небрежно упоминал в письме к брату двадцать лет назад, в пору своего упоительного дебюта. Тогда это была фигура речи, долженствующая оттенить успех*. Теперь на карте стояли жизнь и судьба. Чтобы исполнить предназначение, требовалась подруга: сочувствовательница, утешительница, помощница, любовница, жена. Если бы вдруг в качестве стенографки к нему явилась не Анна Григорьевна, а другая (такой вариант просматривался), не исключено, что он тоже сделал бы ей предложение. Иной вопрос, смог бы он с ней прожить жизнь.

Конечно, тут можно толковать о предпочтениях сугубо профессионального свойства. Кто из литераторов — тем более много и к сроку пишущих — отказался бы от постоянной сотрудницы, владеющей столь редкой и в писательском деле весьма полезной специальностью? (Стенография была делом новым и необычным: в известном смысле можно рассматривать написание «Игрока» и как технический эксперимент.) Но, кажется, в брачных расчётах Достоевского подобное обстоятельство не играет решающей роли. Он всматривается в человека — в характер, в душевные и сердечные свойства своей собеседницы. (А их беседы, вернее, его растянувшийся на двадцать шесть дней монолог, занимают едва ли не большее место, чем собственно работа.) Ему не могли не нравиться её сдержанность и вместе — искреннее молодое сочувствие его обстоятельствам, всем перипетиям его, как он полагал, неудавшейся жизни. И главное — горячая вера в успех соединившего их труда. Ему нравилось, что, принадлежа к новейшему поколению и будучи для своего времени весьма образованной (первая в Петербурге женская гимназия, Педагогические курсы и т.д.), его соработница начисто лишена признаков «синечулковости».

А также — той умственной и бытовой развязности, которой бравировали иные её современницы. Во всяком случае, она не относится к категории «стриженых» и на поразившее её при первом

---

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 116. См. подробнее: *Волгин И.Л.* Родиться в России. С. 454–455.

знакомстве «бесцеремонное» замечание будущего супруга: «Какой вы большой шиньон носите, разве не стыдно носить чужие волосы» — с достоинством отвечает, что шиньон у нее не столь уж велик, а волосы, к слову, не чужие, а все свои*. (Вспомним, что вопрос задаётся автором «Дядюшкиного сна», повести, где трагикомический старый князь поддерживает собственное существование исключительно при помощи париков, накладок, механических пружин и т.д.) Его неприязнь ко всему *ненатуральному* объясняется не только бывшей принадлежностью к противоположной по названию школе: он выше прочего ценит естественность и простоту. Не укрылось от него и самое важное, на его взгляд, душевное качество будущей подруги. Недаром, получив на свой вопрос — какую следует выбирать жену: умную или добрую, — ответ «конечно, умную», он с живостью возразит своей незамужней советчице: «Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила»**. В русском языке оба этих глагола свободно замещают друг друга.

Ему не пришлось мучиться выбором. В Анне Григорьевне ум и доброта — во всяком случае, по отношению именно к нему — сочетались вполне органично.

Безусловно, она нравилась ему физически. Всегда в чёрном строгом платье (траур по умершему в апреле отцу), собранная и аккуратная, она привлекала молодостью, недоступностью, чистотой. Однако далеко не сразу он *настроился* на брак. Иначе как объяснить его в высшей степени нескромное предложение, когда в ответ на высказанную ею мечту — когда-нибудь увидеть Европу — он вдруг спрашивает, поехала бы она с ним на будущее лето за границу — если бы, добавляет он, её отпустили... В каком, интересно, качестве представлял он свою потенциальную спутницу? В роли Аполлинарии Сусловой? Не хотелось ли ему «переиграть» тот мучительный — трёхлетней давности — опыт, когда после пережитой им катастрофы они с Сусловой всё же отправились в путешествие по Италии, но — «как брат и сестра»? Может быть, сейчас это была *проба*: завуалированное предложение руки и сердца — с последующим заграничным вояжем? Но в таком случае (т.е. в случае законного брака) кто должен был её *отпускать*? Нет, обсуждался как будто иной вариант: скорее напоминающий предложение Кнурова из ещё не написанной «Бесприданницы», который звал Ларису «в Париж на выставку». Правда, Достоевский при всём желании

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 308.
** *Она же.* Воспоминания. С. 64.

не мог бы предложить Анне Григорьевне столь заманчивые финансовые условия. И сомнения приглашающего были отнюдь не напрасны. Трудно представить, чтобы «шведская мама» (которая всего-то на девять лет старше его самого) одобрила этот увлекательный тур. Да и приглашаемая сторона вряд ли бы отважилась на такой эксцентрический шаг. Даже перспектива просто пойти в ресторан, чтобы вместе с автором «Игрока» и его друзьями отпраздновать окончание работы, приводит её в смятение: «При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью»[*].

Но вот 1 ноября 1866 г. рукопись сдана под расписку приставу той полицейской части, где проживает Стелловский.

> Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
> Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
> Или, свой подвиг свершив, я стою, как подёнщик ненужный,
> Плату приявший свою, чуждый работе другой?
> Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
> Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

Этим торжественным гекзаметром Пушкин отмечает завершение своего главного труда. «Игрок», разумеется, не «Евгений Онегин» — ни по художественному объёму, ни тем более по затраченному для написания времени. Однако «непонятная грусть» вполне могла посетить как свершившего свой труд автора, так и его молодую помощницу, хотя ещё и не «приявшую» скромную плату (работодатель просил несколько дней подождать), но уже догадывающуюся, что не в деньгах счастье. И каждый вправе был ощутить себя «подёнщиком ненужным»: один — в силу исполнения пусть творческого, но всё же вынужденного труда, другая — в связи с прекращением целиком захватившей её работы.

Но прежде всего «непонятная грусть» была сопряжена с, казалось бы, неизбежным теперь расставанием.

30 октября, в последний день их совместной работы, ему исполняется 45 лет. Анна Григорьевна пишет в воспоминаниях, что, зная о дате, «решила заменить мое обычное чёрное суконное платье лиловым шёлковым»[**] (кстати, в дневнике чёрное квалифицируется тоже как шёлковое). Она хотела бы приурочить своё преображение к знаменательному для Достоевского дню. Однако если верить

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 67.
[**] *Она же.* Воспоминания. С. 67.

дневнику, то «лиловое шёлковое» было надето только сутки спустя, а именно 31-го, и то лишь потому, что его обладательница, «кажется», направлялась на чьи-то именины — и посетила Достоевского, так сказать, мимоходом. День рождения мужа, о котором он сам порой забывал, она узнала, видимо, позже. Но не суть важно: главное, что, увидев сотрудницу не в её обычном «рабочем» наряде, «он нашёл, что ко мне цвет платья удивительно как идет»[*].

Расхожий, проходной комплимент был в некотором смысле овеществлён при расставании.

«Когда я одевалась, он как-то уж очень страстно прощался со мной и завязал мой башлык. Он мне говорил: "Поедемте со мной за границу" (навязчивая, однако, идея! – *И. В.*). Я отвечала, что нет, я поеду лучше в Малороссию. "Ну, так поедемте со мной в Малороссию" (т.е. Европа уже не выступает в качестве культурной приманки — место не имеет значения, важно, чтобы ехали *с ним*. – *И. В.*). Я отвечала, что если поеду, то с малороссом, но, вероятно, лучше останусь на Песках»[**].

Этому выразительному диалогу в прихожей (ведущемуся на «языке цветов»!) предшествовала ещё одна, не менее замечательная беседа.

В тот же день, 31 октября — т.е. тогда, когда уже закончен «Игрок», а дальнейшего столь же тесного сотрудничества пока не предвидится, — ими как бы подводятся итоги: не только связавшего их труда, но, что не менее важно, и самого знакомства. Речь заходит о Корвин-Круковской: о ней, впрочем, Анна Григорьевна уже наслышана («Говорил, что это очень прекрасная девушка, что она недавно уехала, теперь за границей, и он недавно получил от неё письмо»[***]). На сей раз — в знак особого доверия и расположения — демонстрируется сама эпистола. Но этого мало. По ходу сюжета на сцену является ещё один значимый персонаж.

«Потом показал мне портрет С<условой> (речь идет о фотопортрете. – *И. В.*). Она мне показалась удивительной красавицей, так что я сейчас это и выразила. Он отвечал, что она уж изменилась, потому что этому портрету лет 6, не меньше, и что его просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать его»[****].

Что, собственно, происходит? Внешне — непринуждённый дружеский разговор. На самом деле Достоевский предъявляет Анне

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 364.
[**] Там же. С. 365.
[***] Там же. С. 318.
[****] Там же. С. 364.

Григорьевне свой интимный реестр — «главных» женщин своей судьбы. И — своих потенциальных невест. (О покойной жене уже было говорено ранее.) В отдельных случаях устная информация подкрепляется видеорядом. Изображение бывшей подруги — в отличие от фото жены — производит на слушательницу (и зрительницу) сильное впечатление. Ей тонко даётся понять, что к её собеседнику были неравнодушны весьма достойные дамы, в том числе «удивительные красавицы». И хотя всё это уже миновало и сердце рассказчика ныне совершенно свободно, ему небезразлична память о прежних привязанностях. (Чего стоит хотя бы его нежелание вернуть фотографию — как можно понять, самому запечатлённому лицу.) Достоевский не скрывает своего прошлого и даёт знать, что не отказывается от него. Но, как уже говорилось, он свободен и — собеседница может убедиться в этом сама — не очень счастлив. И сверх того — одинок.

Поведав о себе, Достоевский вправе ждать от Анны Григорьевны ответных откровений. «Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне женихи и кто они такие (за неимением интимного прошлого речь идёт о сегодняшнем дне. – *И. В.*), я ему сказала, что ко мне сватается один малоросс (очевидно, тот самый, с которым она "собиралась" отправиться в Малороссию. – *И. В.*), и вдруг он начал с удивительным жаром мне говорить, что малороссы — люди всё больше дурные, что между ними очень редко когда случается хороший человек». Знает ли он, однако, что предки Анны Григорьевны по отцовской линии обитали на щедрых просторах Украины, и помнит ли, что его собственные дед и отец обретались в тех же пределах? Он рад бы обругать конкурента персонально, но о нём ему ничего не известно. Остается выбранить малороссов en masse: неуклюжая, хотя и трогательная попытка остеречь Анну Григорьевну от опрометчивых шагов. «Вообще видно было, что ему очень не хотелось, чтобы я вышла замуж».

Для усиления именно этого чувства Анна Григорьевна прибегает к нехитрому женскому средству — сообщает о некоем докторе, который любит её и к ней сватается и за которого она «может быть» выйдет замуж, хотя не испытывает к нему особых симпатий.

Итак, рекогносцировка произведена. Каждый из собеседников в достаточной мере осведомлён о расположении боевых фигур. Учтено и наличие резервов. Кстати, Достоевский — чисто по-мальчишески — не может удержаться, чтобы не продемонстрировать Анне Григорьевне свой «паспорт» — дабы она могла убедиться, «в каких науках он сделал самые большие успехи». Как на грех, документ

куда-то запропастился — и лишь после усердных поисков был предъявлен. Будущей жене писателя надлежало не только восхищаться его талантом: ей полагалось удостовериться, «как много наук он произошел».

Так протекали их брачные игры.

И «страстное» завязывание Достоевским башлыка, и его настойчивое «поедемте со мной за границу» — это уже не гусарский наскок с ещё не вполне ясной перспективой, как было вначале: это серьёзный матримониальный зондаж. И вроде бы кокетливый ответ Анны Григорьевны, что в Малороссию лучше уж ехать с малороссом, — по сути внятный сигнал, что она предпочитает путешествовать с теми, кто хотя бы состоит в статусе жениха.

Ранее в тот день, когда она только вошла к Достоевскому, он «вдруг поднялся с места и даже краска показалась на его лице». Анна Григорьевна сочла это за добрый знак: «...значит, он меня любит... может быть, даже очень любит меня». (Не произвело ли на него впечатление лиловое платье, в котором он её увидел впервые?) В ходе их встречи её подозрение только подтвердилось: «Очевидно, я ему очень тогда нравилась, и он был уж очень тогда страстный. Мне показалось, что меня очень любит»[*]. Во всяком случае, объяснение, воспоследовавшее через несколько дней, не стало для неё неожиданностью.

Кто же был истинным виновником их брака?

Сюрпризы медового месяца

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна даёт понять, что созревание её чувства к автору «Преступления и наказания» несколько отставало от встречного процесса у указанного лица. По её версии, «приоритет влюбленности» должен быть закреплён за будущим мужем. Но записи в дневнике свидетельствуют об ином. «Он уже начинал мне тогда (т.е. в начале октября 1866 г. – *И. В.*) очень нравиться»[**]. И ещё: «Нравился он мне очень, но всё-таки как-то пугала его раздражительность и его болезнь»[***]. Признания важные, но, возможно, неполные: в этом месте по причинам, о которых можно только догадываться, двенадцать стенографических страниц из дневника аккуратно вырезаны. Осталось немного: «...Разговоры с Федей ста-

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 364, 365.
[**] Там же. С. 317.
[***] Там же. С. 332.

ли делаться мне всё более и более приятными, так что уж шла на диктовку с каким-то особенным удовольствием»[*].

Но самое поразительное — это запись-припоминание, повествующая о 9 октября 1866 г.: «Не знаю почему, но мне казалось, что он на мне непременно женится, я даже почему-то боялась, чтобы он даже вчера мне не сделал предложения, таким он мне показался странным; я не знаю, как бы я тогда на это и ответила, мне кажется, я бы сказала, что слишком мало его знаю, чтобы выйти замуж, но что пусть он даст пройти несколько времени и когда я его несколько узнаю, то, может быть, и пойду за него»[**].

Полно: уж не путается ли автор в своих хронологических исчислениях? Трудно (почти невозможно) представить, чтобы желание объясниться относилось к «вчера» — к 8 октября, пятому дню их знакомства. Такая скоропалительность даже при наличии сильной страсти (которая в первые дни ничем себя не обнаруживает) вряд ли возможна. Остаётся лишь восхищаться изумительному чутью Анны Григорьевны, прозревающей то, о чём автор «Игрока», скорее всего, ещё не догадывается.

Он объяснится с ней только через месяц, 8 ноября, и то не прямо, а в виде некоего вопрошения — о правдоподобии явившегося ему художественного сюжета: будет ли натурально, если, скажем, такая девушка, как она, полюбит уже немолодого и обременённого болезнями художника? «Поэт — издалека заводит речь». Меж тем в её дневниковых записях, где повествуется о первых днях их сугубо делового партнерства, все точки над *i* уже расставлены: «Не знаю почему, но мне казалось, что он на мне непременно женится».

И это при том, что у них «ни разу не было разговору ни о любви, ни одного нескромного слова»[***].

Не передалось ли ему — на метафизическом уровне — это матримониальное ожидание?

Однажды, уже после своего сватовства, на настойчивые вопросы невесты — когда он почувствовал, что любит её, — он простодушно ответил, что в первую неделю знакомства совершенно не замечал ее лица (и, добавим, не помнил имени-отчества): «Лишь в конце октября я обратил внимание на твои красивые серые глаза и добрую ясную улыбку»[****]. Автор «Белых ночей» мог бы заметить это и раньше.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 317.

[**] Там же. С. 322.

[***] Там же.

[****] *Она же.* 1) Воспоминания. С. 93; 2) Дневник 1867 г. С. 305.

Но не настолько же он был слеп (и самоуверен), чтобы отважиться просить её руки без каких-либо знаков расположения с её стороны.

«При конце романа (“Игрок”. – *И. В.*), — пишет он, — я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова...»* («Проклятый психолог!» — как мог бы выразиться по сему случаю один из его героев.) Итак, он замечает проявление чувства с *её* стороны. Надо, однако, помнить, *кому* это писано.

Адресат — Аполлинария Суслова, которая впервые «официально» извещается о женитьбе. Разумеется, в *таком* письме его собственная инициатива несколько стушёвана. В глазах бывшей, но до сих пор далеко не безразличной ему возлюбленной его брак должен выглядеть как простое стечение обстоятельств: личная воля не играет решающей роли в судьбе фаталиста. «Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти».

Тут можно усмотреть как оправдание, так и упрёк: ведь подобное предложение при тех же условиях ещё недавно делалось самой Сусловой, которая с раздражением его и отвергла. Сведения, сообщаемые им о новообретенной супруге, весьма лапидарны: «.молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером». Можно предположить, что вопреки желанию корреспондента такая анкетная простота уязвила Суслову сильнее всего.

Он должен быть убеждён, что его любят.

Он не рискнул бы вступить в брак на тех основаниях, которые Пушкин (положим, не без некоторого лукавства) изложил в письме к будущей теще: «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем её привязанность, но ничем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия её сердца»**.

Пушкин просит руки безусловной красавицы — это решает всё. И он — согласен на всё. Достоевский в известном смысле женится «по расчёту», что вовсе не исключает наличия чувства. Пушкин, страстно влюблённый, тоже рассчитывает брачную перспективу, хотя исходит из несколько других препозиций.

---

* *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 28_2. С. 182.

** *Пушкин А. С.* ПСС. Т. 10. С. 804–805.

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

И для Пушкина, и для Достоевского брак — это долгий душевный труд. Для того и другого семья — не только «приют спокойствия», но также — «трудов и вдохновенья». Иными словами, она есть творческая необходимость.

Истина, ставшая в XX в. банальной, — что ничто так не благоприятствует сближению мужчины и женщины, как общее дело, — эта истина во времена Достоевского была не столь очевидна. Ибо «общих дел» насчитывалось не так уж много. Мужчины и женщины не трудились бок о бок (в студиях, офисах, на производстве, в конструкторских бюро и т.д.) — местом их временного общения была гостиная или бальная зала. (Разумеется, речь идет о так называемом образованном классе — в деревне, при наличии общих работ, всё было гораздо проще.) В этом смысле двадцатишестидневный совместный труд Достоевского и Анны Григорьевны — это своего рода мировой прецедент: в дальнейшем ситуация будет воспроизведена многократно.

Не исключено, что чувства недавней Неточки носили на первых порах достаточно умозрительный характер. Главную роль играло обаяние имени, а не лица. Однако не следует забывать, что во время написания «Игрока» его автор пребывает в силовом поле другого текста — неоконченного «Преступления и наказания». Вообще, 1866 г. — как уже говорилось, одна из самых высоких точек в его полной взлетов и падений судьбе. Его внутренняя наполненность, уверенность в своих силах, целеустремлённость сказываются и на поведении в быту. В конце октября становится ясно, что роман Стелловскому будет завершён в срок. Это — писательская и человеческая победа. Развязка «Преступления и наказания», успех которого уже не вызывает сомнений, также не за горами (во всяком случае, план финала обдуман). Та могучая духовная эманация, которая, несмотря на все его жалобы и досады, несомненно, исходила от *автора текста,* не могла не ощущаться его одарённой интуицией современницей. Можно сказать (и мы уже говорили об этом), что она полюбила его авансом, вперед, ещё не разгадав этого человека, но чисто по-

женски почувствовав его значительность и духовную мощь. Жизни оставалось лишь подтвердить безошибочность выбора.

Впрочем, она не обольщалась на его счет.

Она понимала, что одной литературной известностью сыт не будешь (да и до славы, которая тогда не имела свойства немедленно обращаться в хлебы, было ещё далеко), что жених её беден, обременён долгами и семейными обязательствами, а сверх того — поражён ужасным недугом. Её не страшила такая судьба. В 13 лет возмечтавшая было уйти в монастырь (и только стараниями родителей удержанная от этого раннего шага), теперь она посвящала себя служению иного рода.

Поэту, чьи стихи об «отваге и верности» уже приводились выше, принадлежат и такие строки:

...Ровно, убого светя,
Анна Григорьевна Сниткина,
как при иконе — свеча —

что, кажется, не вполне справедливо. Иконой для нее Достоевский сделается лишь после смерти. Да и на *убогую свечу* это полувековое горение (14 лет при нем и 37 — без него) мало похоже. При жизни он был согрет этим неиссякающим пламенем, которое по кончине его как бы станет вечным огнем. Но, может быть, «убогая свеча» как раз и есть самый сильный светильник?

«Дух предков-норманнов, живший в матери, — говорит их романтическая дочь, — не вынес вида того состояния беспомощности, в котором находился великий русский». Анне Григорьевне надлежало, по-видимому, сыграть роль сурового, но справедливого Рюрика, призываемого для наведения порядка в бестолковой стране. «Послушная властному приказу» упомянутых предков, Анна Григорьевна бодро берётся за дело: занятие тем более привлекательное, что в жилах её избранника, по уверениям всё той же Любови Фёдоровны, тоже текла «смешанная норманнославянская кровь». Эти генеалогические открытия ничем не хуже других. Утешимся признанием мемуаристки, что мать ее «была украинкой только наполовину», ибо Сниткины, осев в Петербурге, «женились на русских». А посему «ей не было чуждым русское сострадание»[*].

И добавим — в высокой степени русский идеализм.

Несмотря на дружно отмечаемую современниками практичность, она оставалась идеалисткой. Это касается также и матери-

[*] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 112, 113.

альных аспектов их брачного союза: последние были далеко не блестящи. Две тысячи рублей приданого не спасали положения. Можно ли было ждать помощи со стороны её семьи?

С лёгкой руки М.Н. Стоюниной, оставившей воспоминания о семействе, Григория Ивановича Сниткина именуют *мелким чиновником*: это звание прочно укоренилось в литературе. Между тем должность его называлась красиво: мундкох при высочайшем дворе. Иначе говоря, он заведовал придворной кухней. Это, конечно, не камергер и даже не камер-юнкер, но в представлении, скажем, «классических» мелких чиновников — таких как Акакий Акакиевич Башмачкин или Макар Алексеевич Девушкин — едва ли не генерал.

Думается, находясь при подобной должности, Григорий Иванович не бедствовал. Он сумел прикупить на Песках пару участков земли и воздвигнуть каменный дом.

По смерти главы семьи благополучие пошатнулось. Вдова на оставшиеся 15 тыс. рублей построила ещё два деревянных жилища, но по сути это её разорило. Хотя деревянные дома и сдавались, они приносили мизерный доход. В каменном проживала семья, он, кстати, был заложен. Получала ли вдова пенсию — неизвестно. Выходя замуж, Анна Григорьевна могла рассчитывать только на себя.

Она могла рассчитывать только на себя и в борении с неизлечимой (как он сам полагал) болезнью мужа. Он *объявил* ей о своём недуге при первой же встрече (что немало её удивило), как бы предупреждая о возможных эксцессах. Но всё это пока оставалось в теории — до первого приступа, поразившего его во время родственного визита. Новобрачные навещали сестру невесты; среди мирной беседы «вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Фёдор Михайлович начал склоняться вперёд». Сестра в ужасе выбежала из комнаты — с ней сделалась истерика (очевидно, подобная той, какая случилась с первой женой Достоевского Марьей Дмитриевной, когда во время их брачного путешествия из Кузнецка в Семипалатинск она стала невольной свидетельницей пароксизмов «священной болезни», в серьёзности которой муж тогда ещё не был уверен и потому не счёл нужным её предуведомить). «Впоследствии, — почти эпически пишет Анна Григорьевна, — мне десятки раз приходилось слышать этот “нечеловеческий” вопль, обычный у эпилептика в начале приступа. И этот вопль меня всегда потрясал и пугал». Но в ту минуту она сохранила полное присутствие духа. Оставшись одна (зять и горничная хлопотали возле сестры), Анна Григорьевна вслед за мужем опускается на пол и во время судорог держит его голову на коленях. Достоевский посте-

пенно приходит в себя. Но, ко всеобщему ужасу, через час припадок повторяется (что бывало чрезвычайно редко) — «и на этот раз с такой силою, что Фёдор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли»*.

Приступ был спровоцирован шампанским, которым в эти дни обильно угощали новобрачных. «Вино, — говорит Анна Григорьевна, — чрезвычайно вредно действовало на Фёдора Михайловича, и он никогда его не пил». (Очевидно, имеется в виду именно шампанское, поскольку во время их заграничного путешествия другие вина, например белый рейнвейн — правда, в очень умеренных дозах — заказывались и покупались.)

Так начинался медовый месяц.

Судьба посылала знаки: двойной припадок был испытанием и соблазном. Анна Григорьевна выдержала то и другое. Неясно, брал ли Достоевский честное слово у своей последней жены (как это сделал один знаменитый писатель в XX столетии), — что он умрёт у нее на руках, но относительно этого пункта он мог быть совершенно спокоен.

Характер явил себя не только в рассуждении здоровья. С не меньшей твёрдостью Анна Григорьевна встала на защиту семьи — такой, как она её понимала.

«Враги человеку — домашние его»

Изрядное место в её мемуарной прозе уделено «смутному времени» (назовём его так) — когда, окружённая родственниками мужа, многие из которых относились к их браку, мягко говоря, без энтузиазма, воспоминательница вынуждена была самостоятельно принимать важнейшие в её жизни решения.

Собственно, с мужниной роднёй ей впервые пришлось столкнуться ещё задолго до свадьбы.

31 октября 1866 г. вдова старшего брата Достоевского Эмилия Фёдоровна явилась к своему деверю. Разумеется, присутствие юной особы её не очень обрадовало. Достоевский представил сотрудницу, но Эмилия Фёдоровна «как будто с каким-то презрением и с удивительной холодностью приняла меня, так что меня это просто даже обидело». Анне Григорьевне даже подумалось, что её принимают «за какую-нибудь авантюристку». Мудрено ли, что надменная

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 112–113.

визитёрша производит на будущую супругу «удивительно неприятное впечатление»[*]. Это мнение уже не изменится.

Два враждебных Анне Григорьевне «центра силы» предстают перед нами в ее мемуарах, хотя и написанных в десятых годах XX в., но пером, ещё не остывшим от давних обид. (Как сказано поэтом: «Старые обиды не стареют / Мы стареем, а обиды нет».) Первый «центр» — это юный пасынок Достоевского Паша Исаев, второй — Эмилия Фёдоровна. Оба рассматривают совершившийся брак как посягательство на их семейную *монополию*; оба стараются сохранить за собой то влияние, которое, как им представляется, они имеют на своего покладистого кормильца. Но если Эмилия Фёдоровна, наблюдая взаимные симпатии юной Анны Григорьевны и своих столь же юных детей (как помним, особенно к новой родственнице привязалась младшая, Катя), вскоре несколько смягчает гнев и ограничивается замечаниями в основном бытового свойства, то с пасынком дело обстоит сложнее.

«Не скажу, — пишет Анна Григорьевна, — чтобы Павел Александрович Исаев был глупый или недобрый человек. Главная его беда заключалась в том, что он *никогда* не умел понимать своего положения». И чтобы у неосведомленных читателей не возникло внезапных генеалогических подозрений, даёт точную хронологическую справку: сыном Фёдора Михайловича Исаев никак быть не мог, потому как «родился в 1845 году (в 1847-м. – *И. В.*) в Астрахани, а Фёдор Михайлович до 1849 года не выезжал из Петербурга»[**]. (Вообще-то он пару раз выбирался — к брату в Ревель, но последний расположен от Астрахани на ещё более безопасном расстоянии, нежели Петербург.)

Паша, в своё время сурово назидавший отчима в связи с его намерением жениться (и ради этого семейственного объяснения даже водрузивший на нос «знаковые» — в смысле свободомыслия — синие очки), теперь спешит поменять тактику и в присутствии хозяина дома становится необыкновенно предупредителен к молодой хозяйке — фактически своему погодку. Правда, любезность эта испаряется в тот момент, когда Достоевский покидает компанию. На бедную Анну Григорьевну тут же обрушиваются упрёки — как бытового, так и ментального свойства. Выросшая в «ладной», неконфликтной семье, она пребывает в некотором замешательстве: «Не надо забывать, что хоть мне и стукнуло двадцать лет, но в жи-

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 364.
[**] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 117, 118.

тейском отношении я была совершенный ребёнок»*. Пасынок мужа (которому она — чисто функционально — как бы приходится мачехой) остаётся сильнейшим раздражителем в первые недели их с Достоевским брака.

Этого Анна Григорьевна не могла простить ему никогда.

Она страшится, что под воздействием родственников муж разлюбит её, что между ними и ей случится крупная ссора, вследствие которой она никак не сможет остаться в семье. «Надо припомнить, что я принадлежала к поколению шестидесятых годов и независимость, как и все тогда женщины, ценила выше всего»**.

Это очень важное признание. Оно свидетельствует, что Анна Григорьевна никогда не согласилась бы с ролью бессловесной тени (или «убогой свечи»). По словам её дочери, она, глубоко презиравшая «свободную любовь», в то же время отнюдь не была сторонницей семейного рабства. Она готова покинуть мужа, если утратит его привязанность. (Что касается возможного убывания её собственной любви — подобная перспектива даже не рассматривается.) На склоне лет она «с ужасом» думает, что бы могло произойти в результате их разрыва: «...Фёдор Михайлович не мог со мной развестись, так как в те времена развод стоил громадных денег»***. (Не только: он был обставлен ещё массой труднопреодолимых формальностей. Вспомним длившуюся десятилетиями борьбу В.В. Розанова за «независимость» от Аполлинарии Сусловой****.) Вследствие этого Достоевский не смог бы «устроить счастливо» свою дальнейшую семейную жизнь, иметь детей и т.д. Что в свою очередь крайне огорчило бы великодушную мемуаристку.

После долгих сомнений она объясняется с мужем. Достоевский, не замечавший «подполья», которое образовалось в семье, искренне удивлён.

---

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 121.

** Там же. С. 123.

*** Там же.

**** Анна Григорьевна была косвенно причастна к этим его усилиям. Розанов, живший со своей второй женой («другом») в неузаконенном браке, просил Анну Григорьевну, близко знакомую с К.П. Победоносцевым, ходатайствовать о разрешении своего дела в Синоде (т.е. о разводе с Сусловой). Кстати, подобные комиссии ей иногда удавались.

В 1887 г. вдова Достоевского обратилась к жене Победоносцева с просьбой, чтобы та побудила мужа выхлопотать отсрочку высылаемому из России Ш.-В. Жаклару, участнику Парижской коммуны и супругу той самой А.В. Корвин-Круковской, в которую некогда был влюблён Достоевский. Просьба возымела действие, и политически неблагонадёжный Жаклар вместе с больной женой получил десятидневную отсрочку.

Супруги направляются в Москву — к Ивановым: в отличие от Петербурга дебют у новой московской родни проходит для Анны Григорьевны более или менее благополучно. Кроме того, идя навстречу пожеланиям автора, чьё только что завершённое сочинение, как уже говорилось, пользуется успехом, Катков выдаёт аванс в тысячу рублей — под ещё не написанный и даже не имеющий названия роман.

На выданные деньги решено ехать за границу.

Приступая к описанию этого решающего в своей жизни часа (весна 1867 г.), Анна Григорьевна испытывает волнение, которое не в силах притушить даже по истечении сорока с лишним лет.

Эмилия Фёдоровна, Паша и другие петербургские родственники, шокированные известием об отъезде молодых (а как было бы славно провести лето всем вместе! близ Павловска! на нанятой — разумеется, за счёт Достоевского — общей семейной даче!), приступают к будущему автору «Идиота», требуя от него средств для собственных неотложных нужд. Вслед за ними немедленно являются кредиторы. (Анна Григорьевна даже высказывает ретроспективное подозрение о неслучайности таких совпадений.) С мечтой о заграница как бегстве от всех невзгод, по-видимому, приходится распрощаться...

Но тут молодая, неопытная супруга идет ва-банк. Отстояв заутреню в церкви Вознесения, укрепив дух и утвердившись в своем намерении, она решает заложить всё своё приданое — мебель, посуду, шубы, рояль и т.д. — и на эти деньги совершить путешествие. Разумеется, ей безумно жаль «прелестные столики и этажерки, всё моё красивое, так недавно заведённое хозяйство»*, но она готова пожертвовать всеми этими дорогими её женскому сердцу предметами, дабы сохранить главное: надежду на счастье.

(Мнение о том, что, не выйди Анна Григорьевна за Достоевского, она открыла бы на Невском меняльную лавочку — очевидно, наподобие героя «Кроткой», — завистливо и несправедливо: не такой это характер.)

Обладающая нордической выдержкой мама (она же теща) одобрит манёвр. Но неожиданно этот план отвергает тот, ради кого замысливалась вся операция. Достоевский категорически не хочет основывать своё благополучие на «слезинке ребёнка» — в данном случае на заложенных вещах юной жены. «Я умоляла мужа, — пишет воспоминательница, — спасти нашу любовь, наше счастье и, не выдержав, так

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 140.

разрыдалась, что бедный Фёдор Михайлович совсем потерялся...»* Слезинка, уже в своём натуральном виде, пролилась не напрасно: Достоевский «поспешил на всё согласиться». Заграничный паспорт (при получении которого — в связи с политическим прошлым просителя — всегда возникала легкая бюрократическая заминка) не без помощи знакомого чиновника был оформлен в два дня.

Ошеломлённые и застигнутые врасплох родственники получают назначенное каждому из них вспомоществование (Паша для умягчения скорби — даже на новое летнее пальто**) — и 14 апреля 1867 г. чета Достоевских покидает Петербург.

Они полагали, что вернутся в конце лета. Медовый месяц, однако, оказался длиною в четыре года.

Стенография как тайнопись души

Наталья Николаевна Пушкина, по-видимому, не вела дневников. Софья Андреевна Толстая, напротив, не пренебрегала этой возможностью. Но в том и другом случае сохранилось значительное количество иных документов, в которых запечатлена жизнь их мужей. Не говоря уже о том, что сами они (т.е. указанные мужья) вели подённые записи: Пушкин — бегло и недолго, Толстой — основательно и до самого конца.

Достоевский никогда не заводил дневников в тесном смысле этого слова («Дневник писателя» — это всё-таки публичный жанр). О его четырёхлетней жизни за границей можно судить только по отправляемым в Россию письмам. Никаких «записок очевидцев» за этот период не существует, поскольку очевидцев практически не было. Никто из соотечественников (кроме, пожалуй, навещавшего их в Женеве изгнанника Огарёва) не наблюдал их супружескую пару вблизи. И если, скажем, в поздние годы Толстого вокруг него скрипели камер-фурьерскими перьями едва ли не все домочадцы (не говоря уже о могучем пере самого хозяина), то у Достоевского шансов на бессмертие в этом отношении было значительно меньше. Особенно — в зарубежье, куда они сокрылись от пригляда родственников и заимодавцев.

Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей...

---

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 143.

** Очевидно, более представительное, нежели предлагавшееся ему в 1864 г. двенадцатирублевое.

Можно бы, ломая размер, в слове «пашей» сделать ударение на первом слоге, а вместо Кавказа мысленно поставить Альпы.

Существует один совершенно исключительный документ: другого такого не сыщешь, пожалуй, в литературных анналах. Это стенографический дневник Анны Григорьевны, который она регулярно вела в первый год их с Достоевским заграничного путешествия. Часть оригиналов сохранилась: это небольшие записные книжки в коленкоровых переплётах, заполненные стенографическими знаками*. Записи сделаны преимущественно карандашом, что, видимо, не случайно. У Достоевских долгое время была лишь одна чернильница — ею по праву сильного пользовался глава семьи.

Анна Григорьевна бралась за расшифровку дневника (т.е. переписывала его обыкновенным письмом) по меньшей мере четырежды — в 1894, 1897, 1909 и 1911/1912 гг., затем оставила эту работу. Она прервала свои усилия на тексте, относящемся к пребыванию в Базеле — 12 (24) августа 1867 г. Именно в таком виде этот дневник был опубликован посмертно, в 1923 г.

Долгое время считалось, что остальная часть дневника утрачена. Тем более что в завещательном распоряжении "En cas de ma mort ou d'une maladie grave" («На случай моей смерти или тяжёлой болезни»), упомянув свои криптологические труды и даже указав место хранения расшифрованной рукописи (сейф Исторического музея), Анна Григорьевна добавляет: «Остальные тетради я *прошу* уничтожить, так как вряд ли найдётся лицо, которое могло бы перевести с стенографического на обыкновенное письмо»**. Такого лица действительно не находилось.

К счастью, *последняя воля* не была исполнена — тайнопись («остальные тетради») десятилетиями пылилась в архиве. Наконец в Ленинграде догадались пригласить профессиональную стенографистку — Цецилию Мироновну Пошеманскую. В поисках разгадки она проштудировала даже учебник стенографии Ольхина, по которому училась А.Г. Сниткина. Но увы: как выяснилось, изобретательная ученица по-своему сокращала слова, т.е. использовала собственную систему стенографической записи. И тут опытному исследователю-архивисту Вере Степановне Нечаевой, составлявшей в то время фундаментальное «Описание рукописей Ф.М. Достоевского», пришла в голову простая, но, как в таких случаях говорится, гениальная мысль: сличить имеющиеся стенографические оригиналы, уже

* См.: РГБ. Ф. 93. Разд. III. Картон 5. Ед. хр. 15а, 15б.

** Цит. по: Литературное наследство. Т. 86. С. 157.

расшифрованные самой Анной Григорьевной, с этой самой авторской расшифровкой.

Так Пошеманской был найден *ключ*. Составив словарь применяемых автором сокращений, она в 1958–1959 гг. расшифровала весь остальной текст, относящийся к августу — декабрю 1867 г.* (В нём, в частности, содержались приведённые выше записи-припоминания о предыдущем, 1866 г. — об истории знакомства автора дневника с Достоевским.) Этим, однако, дело не ограничилось. Выборочно сравнив расшифровку самой Анны Григорьевны со стенографическим оригиналом, Пошеманская (а вслед за ней — дипломированные специалисты) не без удивления убедилась, что оба текста не вполне идентичны. Анна Григорьевна работала творчески: она позволяла себе вносить в расшифрованные записи некоторые, порой весьма существенные, коррективы. Опубликованный в 1923 г. текст пришлось очищать от этих поздних редакторских вставок.

Наконец труд, справедливо названный «подвигом стенографистки», был завершён. Ныне мы имеем корпус записей, доведённых до 31 декабря 1867 г.**

Из четырёх лет пребывания Достоевских за границей подённые записи охватывают лишь первые восемь с половиной месяцев. Ни один русский писатель не имел подле себя такого прилежного хроникёра. Пообещав матери рассказать, вернувшись через три месяца, все подробности своего первого (и, как выяснилось, последнего совместно с мужем) путешествия по Европе, Анна Григорьевна приобрела перед поездкой упомянутые книжки в коленкоровых переплётах. Она объясняет своё намерение заботой о том, чтобы не забыть стенографию и даже усовершенствоваться в оной. Кроме того, это ещё и способ сохранить независимость: даже при наличии мужа женщине необходим конфидент.

Позднее она будет настаивать, что дневник затевался, дабы она могла лучше узнать и разгадать своего спутника, записывая его мысли и замечания. Всё это говорится задним числом — тогда же ей вряд ли приходило на ум, что она начинает *летопись*. Может быть, ценность последней и состоит в том, что автор этого не сознавал.

---

* См.: Расшифрованный дневник А.Г. Достоевской // Литературное наследство. Т. 86. С. 155–290.

** *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. Издание подготовила С.В. Житомирская. Здесь же напечатана статья публикатора «Дневник А.Г. Достоевской как историко-литературный источник», некоторые сведения из которой использованы в данной работе. Возможно, кроме дошедших до нас дневников Анны Григорьевны существовали и более поздние заметки.

Она была убеждена: благодаря «личному коду» никто и никогда не сможет прочесть её тайные знаки. (Полная противоположность общедоступности текста в нынешних интернет-блогах, где нарушен — впрочем, не без некоторой общественной пользы — основополагающий принцип дневниковой интимности: недоступность события или переживания для посторонних глаз и ушей.)

Это, конечно, не разговоры Эккермана с Гёте. И не яснополянские записи Душана Маковицкого, почтительно внимающего толстовским речам и судорожно пытающегося сокрытым в кармане карандашом запечатлеть их для признательного потомства. В отличие от этих твёрдо сознающих свою историческую миссию очевидцев, Анна Григорьевна наивна, бескорыстна, проста. Будучи, однако, не внешним наблюдателем, а одним из двух главных участников изображаемой ею жизни, она, разумеется — заинтересованное лицо. Она не записывает «за Достоевским», не пытается самонадеянно проникнуть в его внутренний мир. Она записывает «за собой»: Достоевский — её неотъемлемая часть.

Читателя, вознамерившегося с помощью Анны Григорьевны почерпнуть *эксклюзивные* сведения о «творческой лаборатории» писателя или насладиться произносимыми им афоризмами (типа «Красота спасёт мир» и т.п.), ожидает жестокое разочарование. Чрезвычайно внимательная к мелким и мельчайшим подробностям их материальной жизни (эта бытовая фактура буквально захлёстывает дневник), Анна Григорьевна крайне немногословна, когда речь касается материй иного рода.

«Потом вечером у нас обыкновенно идут разговоры; так, вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго». Это — *вся* информация. Можно лишь догадываться, что именно «очень долго» обсуждала она со своим собеседником. «Меня всегда радует, — продолжает автор дневника, — когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофе, да о сахаре...»[*]. Как раз «кофе и сахар» представлены в дневнике с поистине академической полнотой. Если, положим, вдруг понадобится воссоздать картину бытовой жизни Дрездена, Баден-Бадена или Женевы конца 60-х гг. XIX столетия, дневник Анны Григорьевны в этом отношении будет источником драгоценным.

С той же тщательностью и педантизмом, с какими заносятся сюда сведения о картинах в Дрезденской галерее или средневековых замках (для этой цели помимо дневника заведены ещё особые книж-

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 275.

ки), фиксируется «низкий» вещественный мир: качество и цена сдаваемого внаём жилья; стоимость верхнего платья, сапог, тканей, зонтиков, конвертов, почтовых марок, вуалей, шляпок, фруктов, сыров, молока, слив, яблок, груш, пирожков, пирожных, пива, вина, мыла, кремов, перчаток, пудры, ниток, карандашей, шоколада, чая; цены в кафе, ресторанах, магазинах, лавочках, банях, парикмахерских, кондитерских, концертных залах, музеях, читальнях, обменные курсы валют, проценты по закладам, плата кёльнерам, разносчикам, сторожам, домашней прислуге, размер подаяния нищим и т.д., и т.п. И всё это — с точностью до копейки, вернее, до пфеннига. Нелепо требовать от двадцатилетней девушки, чтобы она с таким же тщанием пыталась воссоздать сокровенный мир своего спутника жизни, к тому же — совсем недавно ставшего таковым. Благо что сохранился хотя бы рисунок внешний. Так, с удовлетворением отмечается, что после посещения бани «Федя» молодеет на пять- десять лет.

«Кончив мою работу (стирку и глажение платков. – *И. В.*), я принялась читать, а Федя сел опять писать. Нынче он пишет и вечером, всё составляет план романа. Господи, как я ему от души желаю, чтобы роман вышел очень хороший». Она даже молится, чтобы это желание осуществилось, хотя вовсе не уверена, что её молитвы «могли бы тут сколько-нибудь действовать»[*]. (Похвальная скромность: иные писательские жёны расценивают своё молитвенное заступничество как главный фактор творческого успеха мужей.)

В первые месяцы их пребывания за границей такие часы довольно редки. Достоевский не пишет ничего капитального — лишь урывками трудится над измучившей его (из-за невозможности высказаться цензурно) статьёй о Белинском, деньги за которую взяты вперёд. Работа над «Идиотом», а затем над «Бесами» ещё в будущем — она придётся в основном на годы, не охваченные дневниковыми записями. Однако в конце 1867 г. составляется тот самый план романа, о котором упоминалось выше: первые главы должны появиться в «Русском вестнике» уже в январе 1868 г.

«Вечером Федя сел писать, а я легла полежать, да немного и заснула. (Когда Толстой писал “Войну и мир”, Софья Андреевна любила располагаться в кабинете у его ног; неясно, правда, позволено ли было ей при этом дремать. — *И. В.*) Так у нас было хорошо в нашей комнате, право, что, может быть, так хорошо никогда и не будет»[**]. Подобных идиллических сцен наберется не так уж много.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 298.

[**] Там же. С. 299.

Нельзя не согласиться с Анной Григорьевной, что первые месяцы брака — самая тяжёлая в их жизни пора. Без малого месяц совместного труда над «Игроком» был периодом присматривания и разговоров; два с половиной месяца перед свадьбой — эпохой ухаживаний, предвкушений и грёз; первые послесвадебные недели — временем родственных притязаний и семейных обид. Семья как таковая ещё не сложилась. Очутившись за границей, они остались одни — лицом к лицу: без родных, без друзей, без деловых и даже без случайных знакомых. Правда, и без кредиторов тоже. Их семейная жизнь ограждена от каких-либо внешних вторжений. Наступает пора «притирки» — познания, удивления, привыкания, приятия, любви. Любви — не совсем такой, что зародилась при встрече, но принявшей иной облик и обретшей иную глубину. В этом герметичном, непроницаемом для других, замкнутом пространстве, в этом искусственно созданном вакууме можно было либо охладеть и разочароваться друг в друге — либо, напротив, тесно *обняться душами*: так, что уже не разъять.

И в своих воспоминаниях, и в расшифрованных ею дневниковых записях Анна Григорьевна устраняет всё, что, как верно замечено публикатором, «не укладывалось в рамки её концепции непогрешимой личности»[*]. «Мой дорогой муж» — для неё это не только привычный стилистический трафарет. Самоотверженными усилиями она как бы пытается воплотить в своей «очищенной» мемуарной прозе не вполне реализованный замысел автора «Идиота» — создать образ «положительно прекрасного человека». «Солнце моей жизни — Феодор Достоевский», — напишет она на склоне лет в альбом композитору Сергею Прокофьеву: в нём, Достоевском, смысл её беспримерного подвижничества. Именно её версия жизни и смерти «дорогого мужа» должна была утвердиться в культурном сознании человечества.

Но тогда, в первые месяцы их брака, она как будто ещё не чувствует груза лёгшей на её плечи ответственности, не заботится «об истории» — о том, что их отношения может *не так понять* взыскательное потомство.

Ни разу в своих записках Анна Григорьевна не позиционирует Достоевского как непогрешимого гения, который «право имеет» или которому, продолжая этот образный ряд, «всё позволено». Да и талант, пожалуй, остаётся за скобками: не поминаемый всуе, он

[*] *Житомирская С.В.* Дневник А.Г. Достоевской как историко-литературный источник // Достоевская А.Г. Дневник 1867 г. С. 402.

как бы подразумевается сам собой. Никаких нравственных скидок на дарование специально не предусматривается. Меньше всего Анна Григорьевна думает о величии супруга. Она любит его *без затей* — как единое существо, в котором «писательское» неотделимо от «всего остального».

Конечно, для жены, как и для лакея, не бывает великого человека: с той только разницей, что лакей не обязан *любить*. Словно опасаясь, что грядущий читатель заподозрит её в непокладистости (понынешнему: в отсутствии толерантности), а мужа — в мелочности, вздорности, неуживчивости и эгоизме, она, переписывая набело свой стенографический кондуит, старается облагородить оригинал. Эта позднейшая редактура призвана сгладить тогдашнюю непосредственность, задним числом расставить акценты и гармонизировать миф. Как замечает публикатор дневника, «иногда очень неожиданно и без связи с предшествующим текстом» появляются позднейшие вставки: «Все эти дни я страшно счастлива» или «Дорогой мой Федя, как я его люблю!»[*] Как будто чувство, которым буквально пронизан дневник, требует дополнительных подтверждений.

Толкуя о первых — петербургских — неделях их брака, отравленных постоянным вмешательством родственников, Анна Григорьевна замечает, что всё это «могло кончиться катастрофой»[**]. Но катастрофой могло кончиться и их четырёхлетнее одиночное заключение (в смысле отъединённости от русского мира) во время зарубежных скитаний.

И главная заслуга в том, что этого не произошло, безусловно, принадлежит той, кто была неопытней и моложе.

Долгие прощания

«...Я безгранично любила Фёдора Михайловича, — говорится в воспоминаниях, — но это была не физическая любовь, не страсть, которая могла бы существовать у лиц, равных по возрасту»[***]. Разница лет, заметим, вовсе не исключает наличия страсти — хотя бы у более старшего, умудрённого житейским и прочим опытом лица, если к тому же оно наделено пылким воображением (вспомним «утончённые» вожделения Свидригайлова и некоторых других героев Достоевского к их потенциальным, совсем ещё юным невестам).

[*] *Житомирская С.В.* Дневник А.Г. Достоевской... С. 403.
[**] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 122.
[***] Там же.

Как бы то ни было, сугубо интимные моменты почти не нашли отражения в дневнике. Это удивительно, если вспомнить, что текст писался исключительно «для себя» и возможность его прочтения посторонними полностью исключалась. Не только в силу своего воспитания или душевного целомудрия, но и следуя культурным обычаям эпохи, автор нигде не задерживается на интимных подробностях собственной брачной жизни. Это для неё тема абсолютно закрытая (заметим, что в те годы для такого рода описаний ещё и не существовало литературного языка). Самое большее, что Анна Григорьевна может себе позволить, — это упомянуть о «страстных прощаниях» перед сном, которые для врозь спавших супругов становятся ещё и нравственным долгом.

В первые месяцы Достоевский еженощно приходит «прощаться» — при этом, естественно, будит молодую жену. Отмена ночного визита — дурной знак для принимающей стороны, сигнал неблаговоления, изъявление недовольства*. Как можно понять, «прощание» не обязательно предполагает интимную близость: важен сам факт. Когда у Анны Григорьевны «вследствие известного обстоятельства» сильно расстраиваются нервы и Достоевский предлагает временно отменить ночную побудку («потому что эти все три дня я после долго не могла заснуть»**), она не пожелает жертвовать обычаем: «я упросила, чтоб он этого не делал» — т.е. чтобы не щадил её сон***.

Через много лет, переписывая дневник, она дополнила это место следующей «пояснительной» вставкой-комментарием: «Надо сказать, что я довольно рано ложусь, Федя же сидит до двух часов и позже. Уходя спать, он будит меня, чтоб “проститься”. Начинаются долгие речи, нежные слова, смех, поцелуи, и эти полчаса — час составляют самое задушевное и счастливое время нашего дня. Я рассказываю ему сны, он делится со мною своими впечатлениями за весь день, и мы страшно счастливы».

«...Федя разбудил меня, и мы долго целовались. (Он был сегодня в ужасном восторге)», — кратко помечено в оригинале****.

С годами физическая любовь отнюдь не уходит на второй план, как это часто бывает в браке, а напротив, осознаётся в качестве важного фактора семейной жизни. И не последнюю роль в этом иг-

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 30.

** Ср. на с. 28 дневника: «.Когда Федя придёт прощаться и разбудит меня, то это меня разгуляет, и я не сплю ещё часа 2 или 3».

*** *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 24.

**** *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 31.

рает всё более возрастающая степень душевной близости. В своих поздних письмах к Анне Григорьевне Достоевский признаётся, что его любовь к ней идёт крещендо и что после долгих лет брака его «супружеский восторг» только возрастает*. Конечно, здесь можно различить момент «сексуального манифестирования» — нарочитое подчеркивание уже немолодым человеком значимости для него чувственной составляющей их союза. Но нет оснований сомневаться в искренности этих заверений, в том, что помимо глубокой и с годами лишь крепнущей сердечной привязанности их брак скреплён обоюдной страстью.

Исходные импульсы, однако, были различны. Несомненно, что пуритански-сдержанную Анну Григорьевну (кстати, «стыдливая холодность» может быть сильнейшим эротическим стимулом: вспомним всё то же пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем».) в первую очередь привлекали именно те стороны личности Достоевского, о которых она говорит в своих воспоминаниях.

«Моя любовь, — сказано в воспоминаниях, — была чисто головная, идейная. Это было скорее обожание, преклонение пред человеком, столь талантливым и обладающим такими высокими душевными качествами. Это была хватавшая за душу жалость к человеку (вспомним: жалеть = любить. – *И. В.*), так много пострадавшему, никогда не видевшему радости и счастья. Мечта сделаться спутницей его жизни, разделять его труды, облегчить его жизнь, дать ему счастье — овладела моим воображением, и Фёдор Михайлович стал моим богом, моим кумиром, и я, кажется, готова была всю жизнь стоять пред ним на коленях»**.

Такой стилистики и таких пафосных оценок не встретишь в импульсивном, «непричёсанном» дневнике. Воспоминания — дело другое: это подсказанная временем и судьбой жизненная позиция. Но вместе с тем это и сознательная литературная поза: лик «дорогого мужа» (как, впрочем, и собственный авторский лик) очищен от «случайных черт». Однако в действительной жизни со всеми её вздорами, ссорами, огорчениями, а порой и отчаяньем смысл этого брака раскрывается куда полнее и человечнее.

Их заграничное путешествие началось не очень удачно.

По дороге, в Вильно, им не понравилась гостиница: слуги в ней оказались «олухами ужасными» (при расшифровке дневника они мягко трансформируются в «странных людей»). Само собой, не ра-

---

* *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 30_1. С. 114.

** *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 122.

дует также обилие «жидов со своими жидовками в жёлтых и красных шалях и наколках» (эта терминология при расшифровке сохраняется). Кроме того, Достоевский опасается, что их могут ограбить, — и заставляет все двери в гостинице чемоданами и столами. Ночью его сокрушает припадок (чаще всего они случаются именно во сне)*. Первый заграничный город на их пути — Берлин. Как это обычно бывает после припадка, Достоевского всё раздражает — и местные жители, и гостиница, и погода: «Федя всё время бранил немцев на чём свет стоит, даже мне наскучило»**. Бранит он, однако, не только аборигенов.

Во время прогулки по прусской столице жене недовольно замечено, что она дурно одета, в частности — у неё худые перчатки. Анна Григорьевна (обиженная тем больше, что покупка её туалетов целиком зависит от благорасположения мужа) заявляет, что в таком случае им вместе лучше не гулять. После чего поворачивается и идёт в противоположную сторону. Огорчённый муж якобы несколько раз окликает её и даже пытается за ней бежать. «Выписано из стенографической тетради», — стоит пометка в этом месте её мемуаров.

Однако в указанной тетради дело изображено несколько иначе. После обмена сердитыми репликами вовсе не она, а он разворачивается и, оставив супругу одну на улице незнакомого города, гордо удаляется в направлении неизвестном. В расшифрованный текст вносится комментарий: «...Федя своим замечанием вовсе не хотел меня обидеть». В виду любопытствующих потомков хроникёр спешит взять вину на себя***. Со дня их бракосочетания не прошло и девяти недель.

Попытка ревности

Анной Григорьевной описано немало случаев острой ревности мужа — как правило, неосновательной. Но сама она на первых порах ревнует его ничуть не меньше.

В его кармане (который при редактировании дневника благородно заменяется письменным столом) она находит письмо от Аполлинарии Сусловой и, натурально, спешит ознакомиться с ним. «Дело, конечно, дурное, — честно признаётся автор дневника, — но что же делать, я не могла поступить иначе». Письмо повергает её в отчаяние. (Текст его не сохранился, но, очевидно, Суслова ещё не знает

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 5, 6.
** Там же. С. 7.
*** *Она же.* 1) Дневник 1867 г. С. 8; 2) Воспоминания. С. 146–147.

о бракосочетании адресата: об этом новобрачный известит её в ответном письме.) «Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, чтобы старая привязанность не возобновилась и чтобы его любовь ко мне не прошла. Господи, не посылай мне такого несчастья!»* Она имеет представление о красоте конкурентки: как помним, Достоевский показывал будущей супруге её портрет.

...Они живут в Дрездене — то уверяя друг друга в безумной любви, то ссорясь из-за пустяков: порой то и другое происходит по нескольку раз на дню. Но по-настоящему мучит Анну Григорьевну только одно. Когда муж уходит в аптеку, она вдруг решает, «что он, вероятно, пойдет к моей сопернице». Казалось бы, откуда ей взяться в Дрездене? Но письмо, украдкой прочитанное Анной Григорьевной, было захвачено Достоевским ещё из Петербурга (а следующее, пришедшее по почте, переслано за границу с оказией). Этого Анна Григорьевна знать не могла. Поэтому подозревалась измена — тут же, на месте.

«Я тотчас же села на окно, рискуя выпасть из окна, и навела бинокль в ту сторону, из которой он пошёл и из которой он должен был воротиться»**. Увы, усиленное оптикой наружное наблюдение не даст результатов.

В отсутствие мужа (он отправляется в Гомбург на рулетку) она получит ещё одно адресованное ему сусловское послание. И по приходе домой, «страшно в душе волнуясь», с помощью ножа осторожно вскроет конверт. Затем, по прочтении, будут приобретены сургуч, кисточка и клей. С использованием этих подручных средств «проклятое письмо» аккуратнейшим образом запечатывается — «чтобы не было заметно, что его кто-то читал»***. (Разумеется, при авторской расшифровке дневника описание этой восстановительной операции из текста удаляется.)

Анна Григорьевна признаётся, что «переписывала письмо на память», хотя, добавляет она, оно того и не стоит. (С ее точки зрения, всё, что пишет «соперница», имеет невысокую ценность.) Такое заявление обнадёживает. Поскольку письма Сусловой не сохранились (и мы догадываемся о причинах), остаётся надежда, что хотя бы эта (скорее всего, стенографическая) перлюстрация когда-нибудь будет обнаружена. (Кстати, роясь в чемодане с перепиской мужа, Анна Григорьевна наталкивается и на письмо Прасковьи Аникиевой (от которой, напомним, у М.М. Достоевского был сын Ваня:

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 19, 20.
** Там же. С. 28.
*** *Она же.* Дневник 1867 г. С. 33, 37.

Фёдор Михайлович после смерти брата помогал им материально). «Я его изорвала», — жёстко заключает Анна Григорьевна, что лишний раз свидетельствует о не таком уж трепетном её отношении к известной части архива.)*

Отдав вновь запечатанное письмо вернувшемуся из Гомбурга Достоевскому и сделав вид, что не догадывается, кто автор послания, она пристально наблюдает за выражением лица супруга, когда тот читает это «знаменитое», как она выражается, но, увы, неизвестное нам письмо. «Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там написано... (Анна Григорьевна, собственно, могла бы это ему разъяснить. – *И. В.*) Мне показалось, что руки у него дрожали». Следуя принятой роли, наблюдательница безмятежно спрашивает адресата, «что пишет Сонечка» (племянница). Он отвечает, «что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения, или жалости, право, не знаю, но какая-то странная ("жалкая, потерянная" — исправлено в расшифровке. – *И. В.*). Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чём я говорю»**.

Анна Григорьевна — тонкий психолог. Она зорко подмечает все реакции мужа, его «мимику и жест». И за отсутствием самого письма только по этим динамическим признакам приходится судить о его содержании. Во всяком случае образ «подруги вечной» ещё сильно волнует её дрезденского корреспондента.

Ревность продолжает преследовать Анну Григорьевну и после переезда в Женеву.

Во время прогулки Достоевский случайно вытаскивает из кармана маленькую бумажку, на которой что-то написано карандашом. «Мне захотелось знать, что это было именно, я схватила записку; вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки...» Подобная (неадекватная) реакция мужа только разжигает её подозрения. Единоборствуя, они разрывают записку на несколько частей, и каждый в сердцах бросает свою добычу на землю. После чего, обозвав мужа дураком, Анна Григорьевна разворачивается в направлении к дому. Но, будучи совершенно уверенной, что автором записки является известная особа, бдительная супруга, выждав, когда муж скроется из виду, возвращается на поле брани и аккуратно подбирает разорванные клочки. Она спешит домой в страшном

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 33.

** Там же. С. 57.

волнении, ибо ей представляется, что роковая женщина уже добралась до Женевы — и муж тайно встречается с коварной разлучницей: «А разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине*, так отчего же ему не изменить и мне?» Она пишет, что решительно не допустит обмана («я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться»). Именно поэтому она, любя мужа, обязана не слишком ему доверять. «Положим, что это должно быть и очень дурно, но что же делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его. Да простит меня Бог за такой, должно быть, низкий поступок, что я хочу шпионить моего мужа. Нет, пусть даже это будет нечестно, но я постоянно буду наблюдать, чтобы не быть обманутой»**. Этот эпизод зафиксирован в одной из так и не расшифрованных Анной Григорьевной записных книжек. Можно не сомневаться, что, займись она расшифровкой, он был бы изъят либо сильно купирован. Подлинный текст, однако, носит следы некоторых нравственных терзаний.

Реставрация записки — иными словами, тщательное соединение отдельных её частей — оказывается ненамного сложнее той операции, какая, как помним, была предпринята для восстановления тайком нарушенной девственности сусловского письма. На бумажке прочитывается чей-то женевский адрес; Анна Григорьевна ни минуты не сомневается, кому он принадлежит: «Мне представилось, что он (т. е. Достоевский. – *И. В.*) вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней, что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне»***. Самой капитальной уликой в её глазах служит то, что подозреваемый отчаянно боролся за этот злополучный клочок бумаги.

Криминального толка догадки до того измучили Анну Григорьевну, что она начинает бурно рыдать. «Я кусала себе руки, сжимала шею <...> боялась, что сойду с ума». Её убивает мысль «об этой подлой особе, которая <...> способна нарочно ему отдаться для того, чтобы только насолить мне...» Она решает завтра же непременно отыскать означенное в записке место и, если её опасения подтвер-

---

* Это довольно тёмное место. Кого автор имеет в виду под «этой женщиной»? Марью Дмитриевну? Но почему она тогда прямо не названа? Суслову? Но, как известно, Суслова изменила ему, а не он ей. Или Анна Григорьевна обладает какой-то другой, неизвестной нам информацией?

** *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 249–250.

*** Там же. С. 250.

дятся, взять свои меры: может быть, даже уехать от мужа. При всей любви к нему она не желает поступаться своей женской гордостью и готова к страшному для неё разрыву. И хотя Достоевский по приходе домой, увидев заплаканную жену, признаётся, что в записке содержался всего-навсего адрес закладчика (и тогда его давешнее «рычание» можно объяснить лишь посягательством на его свободу), Анну Григорьевну это не успокаивает. Тем более что в эту ночь «Федя не пришёл ко мне прощаться»[*]. И несмотря на то что на следующий день они вроде бы помирились, Анна Григорьевна предпринимает некоторые топографические разведки: в частности, находит указанную в записке квартиру. Затем, как опытный филёр, следуя на некотором отдалении от мужа, сопровождает его в кофейню и, выбрав удобную точку, налаживает визуальное наблюдение. Впрочем, вскоре ей это наскучит, и, пренебрегая конспирацией, она откровенно заглянет в окно кофейни, где муж, не замечая её, «смирнёшенько сидит себе у стола и читает газету, так что тут мои подозрения решительно рушились»[**].

Прошлое мужа не оставляет его молодую супругу. Призрак Аполлинарии сопутствует им все первые месяцы брака — от Дрездена до Женевы.

Анна Григорьевна, как мы уже говорили, не упускает случая напомнить, что Достоевский был крайне ревнив. Так, в Дрездене во время их совместной прогулки им встречается «молодой человек, розовый и толстый, как поросенок»[***], который вежливо раскланивается с Анной Григорьевной. (Она видела этого немца единственный раз — на заседании местного стенографического кружка.) Достоевский устраивает ей сцену. Эта «тяжёлая и обидная для меня черта характера моего мужа заставила меня быть осторожнее, чтобы избежать подобных осложнений» — сказано в воспоминаниях, где подобные эпизоды приводятся неоднократно. Но добросовестная мемуаристка ни словом не обмолвится о приступах ревности с *её* стороны и о тех радикальных мерах, к которым она в этой связи прибегает.

Эта ревность носит преимущественно *виртуальный* характер, поскольку никакого женского общества, могущего возбудить у Анны Григорьевны известные подозрения, за все годы пребывания Достоевских за границей как будто не наблюдается. Пройдёт десять лет —

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 251.
[**] Там же. С. 253.
[***] *Она же.* Воспоминания. С. 156.

в свои последние годы писатель будет окружён множеством женщин, с некоторыми из них у него сложатся вполне дружественные отношения. И Анне Григорьевне придётся смириться с этим обстоятельством. «Хотя моя мать, — бесстрастно сообщает Любовь Фёдоровна, — и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини (речь идет о вдове А.К. Толстого. – *И. В.*), в то время уже вышедшей из возраста соблазнительницы»[*]. Суслова из этого возраста выйдет ещё не скоро.

Нордическая жена Достоевского, пожалуй, не менее импульсивна, чем ее вспыльчивый и подозрительный муж. Но в отличие от последнего она умеет сдерживать свои порывы. С годами взаимное доверие возрастает. Впрочем, на протяжении всего брака супруг не давал особенных поводов его ревновать. Автор «Воспоминаний» приводит его предсмертные слова, «которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!»[**] Правда, в своих черновых заметках, относящихся к этим последним дням, Анна Григорьевна придерживается несколько иной версии: «...Просил прощ<ения>, любил, [уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле]...»[***] (Заключённые в квадратные скобки слова записаны стенографически.) Талант мемуаристки честно уживается у Анны Григорьевны с тонким редакторским чутьём.

«Мы довольно сильно побранились...»

Но вернемся в 1867 г.

К его исходу их душевная близость возрастает настолько, что Достоевский позволяет жене знакомиться с его корреспонденцией. Её «ужасно как радует» такая откровенность — не в последнюю очередь потому, что «это избавляет меня от необходимости читать стороной его письма». Она абсолютно убеждена, что подобная необходимость в принципе существует и что это — её священное право: «Ведь не могу же я оставаться равнодушной к тому, что делает мой муж»[****]. Эта попечительность простирается столь далеко, что, читая мужу вслух — в собственном переводе — написанное по-немецки письмо Эмилии Фёдоровны, она «преспокойно» опускает то место,

[*] *Достоевская Л. Ф.* Достоевский в изображении дочери. С. 176.
[**] *Достоевская А. Г.* Воспоминания. С. 376.
[***] Достоевский в забытых... С. 284.
[****] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 295.

где корреспондентка без должного пиетета отзывается о её, Анны Григорьевны, родительнице. «Так что эта жалоба её так-таки и осталась для Феди неизвестной»[*]. Её цензорские усилия всегда устремлены к благой цели, которая оправдывает средства: «не нарушать покоя и мира в семье».

Надо признать, что бдительность Анны Григорьевны носит универсальный характер. Когда муж отлучается из дома, она берётся за изучение его записей к новому роману (сделанных, кстати, в той же тетради, что и записи к «Преступлению и наказанию»: возможно, будучи причастна к последнему — ею переписывались заключительные главы, — она полагает, что её юрисдикция распространяется и на всё остальное). «...Я всегда прочитываю, что он такое записывает, — замечает первый в мире текстолог-*достоевед*, — но, разумеется, ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы на меня ужасно как рассердился»[**].

В данном случае этот интерес совершенно бескорыстен. Ведь не рассчитывает же она в самом деле выудить из планов и черновиков какие-то сведения, относящиеся к интимным секретам мужа, лично к ней или к их общей семейной жизни. Ее всерьёз занимает то, чем в настоящий момент занят Достоевский. Она не хочет ждать той поры, когда все эти рукописи, к её величайшему горю, станут наконец её законнейшим достоянием. Она бережёт мужа от излишних волнений: «Зачем его сердить, право, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетради, лучше пусть он думает, что я решительно ничего не знаю, что такое он делает».

Всё это говорится с полным сознанием собственной правоты. (Ситуация довольно рискованная: вспомним, что через несколько десятилетий, правда, при совершенно других обстоятельствах, любопытство Софьи Андреевны относительно «потаённых» рукописей её супруга поведёт к уходу Толстого из Ясной Поляны и в конечном счёте — к трагической развязке.) Заметим только, что если Достоевский для Анны Григорьевны *проницаем* (во всяком случае, в отношении документальном), то у неё самой по-прежнему остаётся совершенно закрытое для мужа пространство. «Я, — сказано в черновике “Воспоминаний”, — могла свободно записывать, так как знала, что никто кроме меня не прочтёт мною записанного»[***]. Задуманный как отчёт о дорожных впечатлениях, дневник превращается в хронику брака, недоступную не только для посторонних,

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 310.

[**] Там же.

[***] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. 1-е изд. М.: Новая Москва, 1923. С. XII.

но даже для одного из участников, в «остановленное мгновенье», в дисциплинирующий самоотчёт, в «историю литературы», наконец. Вряд ли в последующие тридцать лет Анна Григорьевна хоть раз обратится к этим погребённым в её бумагах свидетельствам, но сейчас, в 1867 г., они необходимы ей в терапевтических целях — как тайное средство упорядочения их жизни, гармонизации быта и бытия.

«Обыкновенно вечером, — повествует молодая жена, — Ф. М. садился за свои занятия, я присаживалась к другому столу и писала свой дневник. (Карандашом, разумеется: чернильница, как сказано, уступалась *писателю. – И. В.*). Сколько раз говорил мне Ф. М.: как бы мне хотелось знать, что такое ты пишешь своими крючочками. Уж наверное меня бранишь!

— У кого достанет духа тебя не бранить, — отвечала я ему его же фразою, которую он часто говорил мне шутя»[*].

Впрочем, в дневнике Анны Григорьевны нет сколько-нибудь заметных *следов* интереса, проявляемого к её трудам. (Только однажды помечено: «Это Федя подошел ко мне и показал мне, где я должна ему прочесть, и размарал мне страницу, за что и получил нагоняй»[**].) Когда он сообщает Майкову, что жена исписала «своими стенографическими знаками» семь книжек, то прежде всего имеет в виду «какую-нибудь глупую ратушу», запечатлённую усердной путешественницей в ее дорожных записках, но отнюдь не самого себя[***]. Его нимало не занимает посмертный *имидж*.

Между тем она честно заносит в дневник сведения о мелких ссорах и стычках, которыми изобилует их заграничная жизнь. Надо заметить при этом, что крупных, принципиальных размолвок практически не случается. Неудовольствия имеют место по самым ничтожным поводам и чаще всего оказываются следствием раздражения (как правило, непредсказуемого) главы семьи.

«Федя проснулся не в духе. Сейчас же поругался со мной, я просила его не так кричать. Тогда он так рассердился, что назвал меня [проклятой гадиной]» (в стенографическом оригинале указанное определение аккуратно замарано)[****]. Сцена происходит на третьей неделе их путешествия и через два с половиной месяца после заключения брака. Они, кажется, уже вполне освоились друг с другом.

---

[*] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. 1-е изд. М.: Новая Москва, 1923. С. XII.

[**] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 178.

[***] *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 28_2. С. 205.

[****] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 22.

Но интересно другое. Каким образом Анна Григорьевна реагирует на подобную брань? «Это меня ужасно рассмешило, но я показала вид, что разобиделась, и ни слова не говорила с ним». Это её рассмешило, ибо она понимает, что сказано не от сердца, а *в сердцах*, что в устах мужа это своего рода цитата — чужая, «взятая напрокат» речь. Слова эти не только не выражают подлинное отношение неистового ругателя к бранимому им лицу, но даже, напротив, комическим образом подчёркивают неуместность определения.

Напрасно, однако, Анна Григорьевна сдерживает одолевающий её смех. Позднее в подобных случаях она не будет скрывать свойственную ей природную весёлость. И это нередко обезоруживает Достоевского и приводит в «нормальное» расположение духа. Смех, как ему и положено, снимает напряжённость. (Чего, кстати, не было в предыдущем браке: вечно экзальтированная Марья Дмитриевна не обладала подобным чувством юмора.) Воистину Достоевскому противопоказана слишком серьёзная жена. Недаром он заявляет своей молодой подруге, что если когда-нибудь она сделается «серьёзной, скучной, холодной и спокойной особой», он разлюбит её*.

«Фу, какая ты смешная! — говорит он, глядя на вдруг развеселившуюся от его бесконечных ворчаний супругу. — На тебя сердиться нельзя, ты так хорошо смеёшься!»** Смех выдаёт человека — для Достоевского это весьма существенный признак.

Но птица я — и не пеняй,
Что лёгкий мне закон положен.

«Смеху, веселья было много, — говорится в воспоминаниях, — и муж уверял, что он со мною помолодел на всю разницу наших лет»***. Эту не только физиологическую, но и поколенческую разницу Достоевскому важно было преодолеть: его семейный опыт должен был дать ему уверенность в том, что он как человек и писатель интересен «племени младому, незнакомому».

Однако лёгкий нрав Анны Григорьевны отнюдь не избавляет её от тяжёлых переживаний. Особенно — во время беременности, когда нередко ею овладевают приступы необъяснимой тоски. Она не считает необходимым посвящать в своё состояние мужа: «...Я знаю, что и ему очень тяжело, так зачем же увеличивать эту тягость»****.

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 189.
** Там же. С. 139.
*** *Она же.* Воспоминания. С. 152.
**** *Она же.* Дневник 1867 г. С. 149.

Поэтому она *старается* быть весёлой и даже рассказывает мужу забавные анекдоты. От Достоевского не могут укрыться её бесхитростные уловки, и он со своей стороны замечает, что «это очень хорошо», ибо «показывает довольно высокий характер — не унывать в беде, а, напротив, сохранять как можно больше бодрости»*. Он не забывает о своей миссии педагога.

Анна Григорьевна уже неплохо изучила его характер. Она, как и пасынок Достоевского Паша Исаев, знает, что глава семьи отходчив: «У Феди эти бури проходят через минуту, и через минуту нельзя бывает даже заметить, чтобы он даже сколько-нибудь сердился на меня»**. Вместе с тем она понимает, что в любой момент может попасть под горячую руку.

В тот день, когда в её адрес было произнесено приведённое выше обидное слово, он действительно пребывает не в духе: «Федя всю дорогу ругал немцев за их непонятливость, и когда встретился нам саксонский гусар, Федя был так разгневан, что бросился ругать саксонского короля, зачем он содержит 40 тысяч гвардии». В ответ на это стратегическое рассуждение Анна Григорьевна замечает, что отчего же не содержать, когда есть деньги. «Впрочем, мне было положительно всё равно, содержит ли он гвардию, или её вовсе не существует. Я отвечала только, чтобы что-нибудь сказать»***.

Лучше бы она промолчала. «Федя ужасно рассердился, но на этот раз и на меня, и объявил мне, что если я глупа, то пусть держу язык за зубами». Анна Григорьевна не стала противоречить. «Вот как мне иногда достаётся за немцев», — не без усмешки заключает она****.

Семейная жизнь предполагает высокую степень вербальной свободы. Достоевский взрывается по пустякам; Анна Григорьевна порой не остаётся в долгу.

На прогулке (это уже в Женеве), шествуя под одним зонтиком с мужем, она поскользнётся, чем вызовет его неожиданный гнев. На мужнин крик Анна Григорьевна ответит, «что зонтик не панцырь, и что он (т.е. муж. – *И. В.*) дурак». И демонстративно откажется от покровительства зонта, оставив мужа единственным его обладателем. Что, как покажется супругу, может пробудить смех у встречных торговок; Достоевский перейдёт на противоположную сторону.

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 149.

** Там же. С. 86.

*** Там же. С. 23.

**** Ср. запись того же дня: «Пошли. Федя бранился: зачем аллеи прямы, зачем тут пруд, зачем то, зачем другое — просто так мне надоело, и я решительно желала, чтоб поскорей кончился этот скверный день».

«...Идя по улице, ругался: чёрт, подлая, злючка, мерзавка и разными другими именами». Обедают они молча. «Вечером мне не хотелось с ним ссориться, я расхохоталась, заставила его тоже расхохотаться и не сердиться на меня». Однако это помогло ненадолго. Уличённая в недостаточной расторопности при подаче папирос, она, обидевшись, «почти бросила к нему на постель и портсигар и спички», что вызвало новый взрыв недовольства. «Вдруг Федя начал кричать, как, бывало, он кричал у себя дома (на служанку Федосью и порой на Пашу. – *И. В.*), ужасно, дико, и начал ругаться: каналья, подлая, стерва и проч. и проч.» Находящаяся на четвёртом месяце беременности Анна Григорьевна пытается дать отпор: «.мы довольно сильно побранились.»[*]

Чуть позже Достоевский начинает свою обычную диктовку, «а я писала и плакала, так мне было грустно, просто ужас, от одной только мысли, что он, тот человек, которого больше всего на свете люблю, тот-то и не понимает меня.» Муж в искреннем недоумении пытается выяснить причину её слёз.

Но плакать приходится и Достоевскому.

Без цинических выражений

Он не слишком обижается, когда в порыве гнева жена аттестует и его «первыми попавшимися на язык словами»: например «подлая тварь»[**]. Это своего рода реванш за «проклятую гадину», которая, как помним, тоже не производила на Анну Григорьевну особого впечатления. Оба понимают, что всё это — слова, слова, слова... Недаром одни и те же устойчивые обороты употребляются в значениях прямо противоположных. Когда Анна Григорьевна в день его рождения дарит ему красивую бронзовую папиросницу, он, польщённый презентом, благодарит её в следующих выражениях: «“Ах ты, подлая, ах ты, подлая, — продолжал он меня ругать, — ведь надо же было подарить”. <.> Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро»[***]. Как и ненормативная лексика, имеющая свойство вмещать в себя весь диапазон эмоций — от крайнего гнева до совершенной радости,— «обычные» бранные слова обладают у Достоевского множественностью смыслов.

«У нас такое согласие, — записывает Анна Григорьевна в Женеве 17 (29) сентября 1867 г., — или Федя соглашается, или я, споров нет,

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 256.
[**] Там же. С. 104.
[***] Там же. С. 360–361.

а если случится кому-нибудь рассердиться (большею частью мне), то я обругаю его дураком, но сейчас расхохочусь, и он вполне уверен, что я это его назвала вовсе не по злобе, а просто так вырвалось, и что я решительно не сержусь на него»[*].

Всё, однако, зависит не от самого слова, а от той обстановки, в которой оно произнесено.

«Я назвала его дураком, скотиной, болваном, — фиксируется в дневнике после одной из размолвок, — вообще изругала его ужасно, и, к моему ужаснейшему удивлению, он даже этим нисколько не обиделся, а как будто бы даже успокоился»[**]. Он понимает, что брань на вороту не виснет, тем более — из любящих уст. Но так бывает не всегда.

«Тут я его обругала дураком и болваном», — уже привычно записывается в другой раз. Ссора, однако, оказалась серьёзной. «Он сначала лёг в постель, но потом у него стали сильные боли в сердце, и он встал, потому что боялся лежать». Бранившая «сейчас же опомнилась» и стала просить у мужа прощения. (Она оправдывает свою невоздержанность беременностью, безденежьем, необходимостью закладывать последние вещи и т.д.) Но что же за этим следует? «Федя ужасно как обиделся, что я его назвала дураком, до того обиделся, что даже заплакал и плакал несколько времени»[***].

Плачущий из-за «дурака» автор «Идиота» (кстати, последнее слово в качестве ругательства не употреблено ни разу) — зрелище сильное[****]. Конечно, «дурак» здесь только предлог. Очевидно, огорчает что-то другое — более глубокое, скрытое. И Анна Григорьевна, чувствуя это, спешит спасти ситуацию. «Это уж было для меня слишком больно, видеть его слёзы. Но я постаралась с ним примириться».

Она постаралась с ним примириться — и это её стремление продиктовано не хитростью, не расчётом и не холодной женской корыстью.

Вообще семейная стратегия Анны Григорьевны, если только будет позволено так это обозначить, в первые годы их брака строится исключительно на её замечательной интуиции. При всей своей жи-

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 273.

[**] Там же. С. 353.

[***] Там же. С. 288.

[****] Не вспомнилось ли ему часом название некоего рассказа «Дурак Федя», в далеком 1848 г. напечатанного в «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева бок о бок с его собственным сочинением «Ползунков», в чём он мог тогда усмотреть тайную насмешку издателей?

тейской неопытности, наивности и не изжитой до конца инфантильности она безошибочным чутьем выбирает ту единственную линию поведения, которая не только естественна и возможна в отношениях с таким мужем, но, по-видимому, наиболее приемлема для него. Для Достоевского главное — искренность, а он со своей проницательностью и недоверчивостью «в одном флаконе» не мог, кажется, не видеть, что его юная спутница начисто лишена каких-либо признаков притворства и пустого кокетства. (Здоровое женское любопытство относительно его корреспонденции тут не в счет.) Он не мог не догадываться, что она его действительно любит, — и только эта уверенность, ежедневно и еженощно подкрепляемая, могла стать надёжной основой брака. Ни разу за четырнадцать лет их совместной жизни Анна Григорьевна не дала ему повода усомниться в «безальтернативности» её выбора и, следовательно, — в правильности его собственного.

Он не лукавит, когда, как уже говорилось, уверяет её, что его супружеская любовь с годами лишь возрастает: в немалой степени — это ответное чувство.

Но в начале их брака перспективы довольно туманны.

Только ли сугубой раздражительностью Достоевского, беременностью жены, изолированностью от внешнего мира и, наконец, непреодолимым, казалось бы, «несходством характеров» можно объяснить далеко не идиллическое протекание их «медового года»? Конечно, все указанные моменты играют определённую роль. Но, по-видимому, существует ещё одна, не столь явная причина, о которой следовало бы упомянуть.

Достоевский выезжает в Европу, забрав у Каткова в общей сложности 3 тыс. рублей вперёд за ещё не написанный роман. За границей этот долг возрастает до 4 тыс. и более. Автор намеревается тотчас же по приезде на Запад засесть за работу*. Сроки (декабрь, когда нужно послать в «Русский вестник» первые главы) неотвратимо приближаются, а у Достоевского ещё не написано ни строки. Вообще все летние месяцы 1867 г. он почти ничего не пишет, если, как уже говорилось, не считать двухлистной, через силу слагаемой заказной статьи о Белинском («до того дрянная, что из души воротит»**). Посланная издателю статья бесследно исчезнет. (Это, пожалуй, самый большой по объёму из не дошедших до нас текстов Достоевского, исключая, может быть, его ранние драмы.) Летом

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 205.
** Там же. С. 216.

нет даже плана будущего романа, т.е. того, чему всегда ещё до начала писания уделяется исключительное внимание. Вместе с Анной Григорьевной он осматривает достопримечательности (до которых, кстати, никогда не был большой охотник, предпочитая «наблюдать нравы»), гуляет по живописным окрестностям Дрездена, Бадена и Женевы, обедает в ресторанах, изучает в читальне русские газеты, ходит слушать «дешёвую музыку» (в смысле — за умеренную плату, на свежем воздухе), отчаянно играет, проигрывается, закладывает свои и женины вещи и т.д., и т.п. *Дело* между тем не двигается.

«Пока не требует поэта...» Хотя вряд ли всё это время душа его вкушала «хладный сон», до принесения «священной жертвы» ещё надо было дожить. И вообще не было уверенности, будет ли она в конце концов принесена. А пока: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Достоевский знал Пушкина наизусть.

«Что же я делал? — пишет он А.Н. Майкову 16 (28) августа 1867 г. — Прозябал. Читал, кой-что писал, мучился от тоски, потом от жары. Дни проходили однообразно». В отличие от Гоголя, которому неплохо писалось в Риме, где, правда, за неимением жены он обреталcя по преимуществу один, Достоевский своё зарубежное далёко не почитает столь прекрасным. (Они не поехали сразу в Италию из-за неспокойствия политического. Но чем лучше Германия, где недавно закончилась австро-прусская война и где их позже застанет война франко-прусская?) «Ничего или почти ничего до сих пор не сделал, — продолжает он письмо Майкову, — и только теперь принимаюсь за работу серьёзно и окончательно». (Первая запись к «Идиоту» появится только через две с лишним недели, 14 сентября.) И тут же, частично опровергая себя, добавляет, что за это время всё-таки «*кой-чего выдумалось*; но написанного, но *чёрного на белом* ещё немного, а ведь *чёрное на белом* и есть окончательное; за него только и платят»[*].

Разумеется, этот относительный творческий простой, эта тоска неписания, вынужденное внутренним непокоем самоотлучение от труда чрезвычайно тяготят Достоевского. Он не может собраться и заставить себя сесть за работу, которая только и способна обеспечить его существование. Постоянно преследующая его тревога, вечное недовольство собой находят исход в перепадах настроения,

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 205.

в угрюмстве, в повышенной раздражительности, жертвой чего прежде всего становится жена. Да и кто бы ещё (ведь не равнодушные же к его хулам немцы!) смог бы в этих условиях исполнить роль идеального громоотвода?

Но неверно полагать, что они только бранятся и, согласно народной присказке, тешатся этим.

«Когда мы устроились <в Дрездене>, — пишет Анна Григорьевна, — наступила для меня полоса безмятежного счастья <...> Воспоминания о том чудном времени, несмотря на протёкшие десятки лет, остаются живыми в моей душе»[*]. Нет основания не верить мемуаристке. Счастье, возможно, и не было безмятежным, но оно — было.

«Милый Федя, какой он славный и как меня любит. Это он мне говорит, и я вполне этому верю», — подобных записей в дневнике ничуть не меньше других, не столь радостных по тону. Автор дневника всегда фиксирует то, что Достоевский сообщает ей о своих чувствах — о том, что, если бы она ушла от него или умерла, то он «просто бы сошёл с ума от горя». Он признаётся, что «никак не ожидал встретить такой жены» и не надеялся, что она будет «такой хорошей»[**]. Правда, почти одномоментно упомянутой жене ставится на вид, что ничтоже сумняшеся она позволила себе прилечь на постель не раздеваясь; но это, как говорится, издержки жанра.

Жена в России больше, чем жена (а их пара за границей, конечно, сколок России). Его избранница становится для него открытием и чудом, по мере постижения которого удивление его возрастает. «...Анна Григорьевна, — пишет он Майкову, — оказалась сильнее и глубже, чем я её знал и рассчитывал, и во многих случаях была просто ангелом-хранителем моим; но в то же время много детского и двадцатилетнего, что прекрасно и естественно *необходимо*, но чему я вряд ли имею силы и способности ответить»[***].

При этом он вовсе не желает, чтобы их отношения были пущены на самотёк.

Сколь бы ни поглощали его повседневные заботы и раздумья художественные, он в письмах к ней старается сформулировать свою педагогическую и нравственную задачу: «Мне Бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропа-

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 149.
[**] *Она же.* Дневник 1867 г. С. 185, 189, 190.
[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 205.

ло, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохранённой, спасённой от всего, что низко и дух мертвит».*

В отличие от иных гениев, самонадеянно полагающих, что им воздастся именно за талант, он не обольщается мыслью выручить себя на Страшном суде предъявлением бессмертных творений. Нет, он хотел бы в своё оправдание указать на одну-единственную спасённую и выпестованную им душу. Она для него — последняя надежда на искупление собственных «огромных» грехов. Недаром он говорит (и Анна Григорьевна старательно записывает эти слова), что благодаря ей он может «решительно переродиться», что она дала ему много новых, хороших чувств и мыслей, «так что он и сам становится лучше»**. Кстати, один близко знавший его современник в своих биографических записках как общее впечатление отмечает, что после возвращения из-за границы Достоевский стал значительно мягче, терпимее и в характере его произошли благодетельные сдвиги***. Можно сказать, что в отличие от Анны Григорьевны, поведение которой диктуется исключительно чувством, брачная тактика её мужа если и не просчитана им намеренно, то во всяком случае твёрдо осознаётся и даже закрепляется письменно. Пусть житейская проза, отягчённая к тому же его *трудным характером,* нередко заставляет его отступать от прокламируемых идеалов, нет сомнений, что «в высшем смысле» он ориентирован именно на них. Он не старается избежать ни домашней рутины, ни нелегкого бремени главы семейства, ни добровольно взятых моральных обязательств.

Он не забывает о метафизике брака. Для него крайне важен религиозный смысл супружества. Замечательно, что при этом Достоевский расценивает исполнение своего семейного долга как акт покаяния и самоспасения: только это должно зачесться ему.

В том, что он на деле не отступал от этой «теории» и что их семейная жизнь, как и в случае с Пашей Исаевым (речь о нём впереди), ещё и роман воспитания, убеждают помимо прочего свидетельства воспитуемой: «С глубокою благодарностью вспоминаю я, как относился Фёдор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрёзный анекдот. В своих разго-

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 184.
** *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 190.
*** Биография, письма. С. 294–295. 1-я паг.

ворах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие»[*].

Эти строки вызваны нуждами посмертной полемики. Они содержатся в «Ответе Страхову» (к тому времени уже покойному) — и написаны после публикации в 1913 г. письма последнего к Л.Н. Толстому, где ставрогинский «поступок с отроковицей» (соблазнение малолетней) приписан самому автору «Бесов». Но в «Ответе» Анны Григорьевны нет полемических преувеличений. В её, как мы убедились, чрезвычайно откровенных дневниках нельзя найти ни одного указания на известного рода разговоры или шутки, а тем паче — на какие-либо «цинические выражения». «Каналья» и «проклятая гадина» — пожалуй, самые сильные из них.

Напечатавший в «Гражданине» статью о безграничных возможностях русского мата (где описывается, как несколько подвыпивших мастеровых изъясняют всю сложность занимающих их проблем при помощи одного-единственного «нелексиконного» существительного, к тому же «чрезвычайно удобно произносимого»), сам он, по-видимому, крайне редко обращается к этому универсальному национальному средству. Во всяком случае, при публикации всей его огромной эпистолярии издателям считанные разы пришлось прибегать к стыдливым академическим купюрам. (Чего нельзя сказать — и это вовсе не этическая оценка, а простая констатация факта — о письмах многих других писателей земли русской.) И дело здесь, разумеется, не в каком-то нравственном аскетизме (хотя и в нём тоже), а в общей стилистике жизни, в вербальных предпочтениях автора, владеющего, конечно, всеми ресурсами языка. Творец шокирующих его современников литературных сюжетов, он не склонен акцентировать внимание жены на рискованных темах. Но наверняка посвящает её в мотивы своих художественных решений.

«Из совместной четырнадцатилетней жизни с Фёдором Михайловичем, — замечает Анна Григорьевна, — я вынесла глубокое убеждение, что он был один из целомудреннейших людей. И как мне горько было прочесть, что столь любимый мною писатель И.С. Тургенев считал Фёдора Михайловича циником и позволил себе назвать его “русском маркизом де Сад”»[**]. У Тургенева были свои резоны, у Анны Григорьевны — свои.

...Они никогда не разлучались слишком надолго. В Германии и Швейцарии — на несколько дней, когда он «отрывался» на рулет-

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 403–404.
[**] Там же. С. 100.

ке в Гомбурге или Саксон-ле-Бэне; в России — когда ездил в Москву, или когда один из супругов находился в Петербурге, а другой в Старой Руссе. Были и более продолжительные отлучки — два раза он отправлялся в Эмс на минеральные воды. В эти промежутки времени супруги обменивались посланиями чуть ли не ежедневно.

Письма Достоевского к жене — это ещё один его эпистолярный роман, по объёму во много раз превосходящий его первую — эпистолярную — прозу. Они исполнены высокого интереса — как, скажем, и письма Пушкина к Наталье Николаевне. Правда, в своих, как правило, лаконичных и проникнутых легкой иронией супружеских посланиях Пушкин достаточно сдержан. Во всяком случае, он не позволяет себе никаких лирических излияний. Его чувство к жене уловимо лишь в тоне, в лексике, между строк. Сохраняется и возрастная дистанция: это письма *старшего к младшей,* письма умудрённого жизнью зрелого мужа к женщине молодой, неопытной и любимой. Пушкин может себе позволить обратиться к жене с нежным укором — «какая ты дура, ангел мой». Для Достоевского, не избегавшего в устном общении с Анной Григорьевной и более сильных выражений, на письме подобное невозможно. Его адресат либо просто «ангел» либо «ангел милый, бесценный» (как выразился бы Макар Девушкин, «ангельчик»). Вольности, присущие устной речи, не допускаются в «канонический» текст.

Его письма к Анне Григорьевне — это *песнь любви,* что в равной мере относится как к ранней, первого года их брака эпистолярии, так и к позднейшей. Он неистощим в своих любовных признаниях — и не только потому, что женщины, как он, очевидно, догадывается, любят ушами. Для него эти бесконечные уверения внутренне необходимы — он как бы фиксирует на письме, в твёрдом и окончательном виде («чёрное на белом»!) то, о чём, может быть, было говорено между ними неоднократно. Верящий в силу запечатлённого слова, он спешит придать тому, о чём толковал изустно, статус *официальный.* Он начинает первое в их первой разлуке письмо — «Обнимаю тебя и целую крепко-крепко. Всю дорогу думал о тебе» и заканчивает его — «Аня, ясный свет мой, солнце мое, люблю тебя!»*: это, собственно, лейтмотив всей последующей его с Анной Григорьевной переписки.

Конечно, это идеальный образ их отношений, очищенный от всего случайного, необязательного, преходящего. При том что письма переполнены разного рода бытовыми подробностями,

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 184, 185.

в них почти нет следов тех мелочных житейских неудовольствий, которые нередко отравляют им кровь в повседневной жизни. Более того, именно отдалённость в пространстве и возникающая в этой связи дистанция позволяет Достоевскому обозначить и собственную идеальную ипостась: «Ты меня видишь обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным и капризным: это только снаружи; таков я всегда был, надломленный и испорченный судьбой, внутри же другое, поверь, поверь!»*

Она любила получать его письма, уверяя, что он пишет «как никто».

В этих пространных посланиях, перегруженных повторами и подробностями (что всезнающие медики склонны объяснять характерной для эпилептиков вязкостью, а мы, признаться, ещё и другими причинами), захлёбывающихся, страстных, отчаянных, радостных, горестных, исповедальных, с «выворачиванием души», Достоевский говорит с Анной Григорьевной не только на равных, но сверх того — взывая к её снисходительности, кротости и уму; как бы признаёт её душевное старшинство и просит простить ему его легкомыслие, невзрослость, его ребяческий азарт.

В первую очередь подобное самобичевание относится к *игре*.

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 282. С. 186. «На лицо ужасные, добрые внутри», — словами известной песенки в исполнении Андрея Миронова мог бы прокомментировать данный текст нынешний «румяный критик» (он же «насмешник толстопузый»).

Из главы 6

БОЛЬШАЯ ИГРА

«...Не называй меня подлецом!»

Разумеется, с первых дней она знала об этой сокрушительной страсти. Ей диктовался «Игрок», где все симптомы болезни, её зарождение, протекание и неизбежный финал были исследованы с исчерпывающей художественной полнотой. Это был взгляд одновременно извне и изнутри — дана анатомия игры и поставлен не вызывающий сомнения диагноз.

Анна Григорьевна, своей рукой как минимум дважды воспроизвёдшая этот текст (стенографически и обычным письмом), могла полагать, что «Игрок», говоря нынешним слогом, есть акт сублимации, а человек, с такой беспощадной творческой трезвостью обобщивший собственный горестный опыт, навсегда избавлен от искушения его повторить.

Увы, она ошибалась.

В её мемуарной апологии именно она, а вовсе не «дорогой муж», представлена виновницей его первой в их общей жизни поездки на рулетку. Хотя Достоевского и тянуло «попытать счастья», он-де не мыслил оставить её одну. «Я стала уговаривать мужа поехать в Гомбург на несколько дней, уверяя, что за его отсутствие со мной ничего не случится»[*]. Долго уговаривать, однако, его не пришлось. «Я знала, — записывает Анна Григорьевна, оставшись одна, — что уж никто не придёт разбудить меня поцелуями» («и речами», — строго добавляет она спустя десятилетия, словно опасаясь, что поцелуи слишком легковесный предлог для ночного визита)[**].

---

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 157.

[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 37.

Он пишет ей из Гомбурга каждое утро, чтоб успеть отправить письмо с очередной почтой, и она в Дрездене с нетерпеливым волнением ждёт момента, когда покажется почтовый шарабан. «Как Федя умеет писать письма — это удивительно, просто как будто говоришь с ним»[*]. Иногда он непосредственен как ребёнок (с кем она его неоднократно сравнивает). Он горячо убеждает её, что открыл главный игральный секрет. «Вот моё наблюдение, Аня, окончательное: если быть благоразумным, то есть быть как из мрамора, холодным и *нечеловечески* осторожным, то непременно, *безо всякого сомнения,* можно выиграть *сколько угодно»*[**]. Сам он, однако, не в состоянии следовать этой победительной методе. Как сказано в письме к Майкову: «А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всём я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил»[***]. В этом он схож с некоторыми своими героями.

Еще в 1862 г., во время его первого выезда за границу и дебюта за игорным столом, старший брат предостерегал его: «Ради Бога не играй больше. Где уж с нашим счастьем играть? Что головой не возьмём, того счастье нам не даст»[****]. Но он-то как раз надеется «взять головой»: всё рассчитать и, оставаясь «как из мрамора, холодным», сорвать банк. В следующем, 1863 г., во время измучившего его совместного путешествия с Сусловой (когда после её признаний в измене *интим* по её настоянию был исключён), они посещают Баден, где он ведёт отчаянную игру. «Не понимаю, — вновь укоряет его Михаил Михайлович, — как можно играть, путешествуя с женщиной, которую любишь»[*****].

Для Достоевского это не являлось проблемой. Правда, можно было бы объяснить его первое баденское безумие как раз отсутствием интимной близости с женщиной, «которую любишь» — тем, что вся неудовлетворенная страсть уходила в игру. Но теперь-то, в 1867 г., указанная причина как будто отсутствует. Он *путешествует* с женщиной, которую любит и которая в свою очередь любит его. Однако это ничуть не мешает ему самозабвенно предаваться пороку и, кляня себя, «колебаться над бездной».

Само собой, в Гомбурге он проигрывает всё — «до последней копейки» («Что делать: не с моими нервами, ангел мой, играть»). Он закладывает за бесценок часы, чтобы было на что вернуться домой,

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 38.
[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 186.
[***] Там же. С. 207.
[****] Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А.С. Долинина. С. 536.
[*****] Там же. С. 542.

но проигрывает и это. Он умоляет жену незамедлительно прислать ему 20 империалов, дабы он смог расплатиться в отеле и выехать наконец в Дрезден. Она присылает деньги — результат предсказуем. «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом! Я сделал преступление, я всё проиграл, что ты мне прислала, всё, всё до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл». Он вновь взывает о помощи — *«Присылай скорей, сию минуту денег на выезд, – хотя бы были последние»* – и умоляет на сей раз поверить ему: «Ангел мой, не подумай как-нибудь, чтоб я и эти проиграл. Не оскорбляй меня уж до такой степени! (Это она-то его оскорбляет! — *И. В.)* Не думай обо мне так низко. Ведь и я человек! Ведь есть же во мне сколько-нибудь человеческого»[*].

Получив этот душераздирающий вопль, Анна Григорьевна уделяет происшествию несколько сухих слов, а именно: идя на почту, она «уже предугадала это письмо, т. е. что всё проиграл, что просит денег»[**]. Тут, впрочем, не надо быть ясновидящей.

В своё время А.С. Долинин обратил внимание на то, что тон вышеприведенной дневниковой записи никак не соответствует характеру полученного письма[***]. Но, собственно, как должна была Анна Григорьевна отозваться на это эпистолярное покаяние, на в общем уже не новый для её слуха крик души? (Оформленный, впрочем, вполне литературно: «Но не оттого я истратил, что был легкомыслен, жаден, не для себя, о! у меня были другие цели!»[****]) Она уже слишком изучила характер мужа, чтобы предаваться сантиментам. Она немедленно высылает ему просимое и спешит встречать приходящие из Гомбурга поезда.

Она не очень верит (а точнее, не верит совсем) в его навязчивую идею — получить разом «весь капитал». (Осуждающий пасынка Павла за подобные мысли, сам Достоевский в настоящем случае, невзирая на разность мотивов, не слишком отличается от него.) Её не прельщает быстрый и баснословный выигрыш, долженствующий разрешить все их денежные затруднения и, главное, удовлетворить кредиторов. Она не сомневается, что большая часть выигранной суммы тотчас уйдёт этим «подлым тварям», как именуются петербургские родственники мужа (аттестуемые также «подлецами», «щенками» и, наиболее обобщённо, «поганой ордой»)[*****].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 187, 189, 196–198.
[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 52.
[***] *Достоевский Ф.М.* Письма. Т. 2. С. 378.
[****] *Он же.* ПСС. Т. 28_2. С. 197.
[*****] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 256, 257 и др.

Однажды они в шутку сделали расчёт: как распорядиться деньгами, если бы у них вдруг оказалось двадцать тысяч. Достоевский определил так: одиннадцать тысяч — долги, Паше — две, Эмилии Фёдоровне и Феде (племяннику) — три, им самим — четыре на жизнь в течение года. Затем предполагаемая общая сумма была щедро увеличена до ста тысяч. (Любопытно, что все эти грандиозные расчеты производятся как раз в те дни, когда в доме заложены даже часы и супруги определяют время по бою городских курантов.) Тогда Паше перепало десять тысяч, Эмилии Фёдоровне — пятнадцать, и наконец, пишет Анна Григорьевна, «как-то случилось, что раз хотя обо мне вспомнил и сказал, что мне 15». Её, очевидно, задевает, что «цена» жены равняется сумме, отпускаемой семейству покойного брата.

«Заслужила, нечего сказать», — в сердцах заключает счастливая обладательница гипотетических пятнадцати тысяч*.

Она понимает, что даже крупный выигрыш не сможет радикально изменить их жизнь.

Достоевский отпускаем на рулетку по соображениям иного порядка.

Анна Григорьевна надеется, что вылазка в Гомбург развлечёт и встряхнёт его, снимет раздражение, освежит кровь и, главное, усилит его чувства к ней. Кстати, в последнем она была не так уж неправа. После каждой рулеточной катастрофы наступало сближение. Неудача сплачивала семью. Психотерапевтический эффект был несомненен. Кроме того, Анна Григорьевна питает надежду, что постоянные проигрыши станут для мужа хорошим уроком и порочная страсть сама изживёт себя: «Пусть лучше эта глупая идея о выигрыше у него выскочит из головы»**.

Догадывается ли она, что идея эта не есть единственный движитель его сумасбродных поступков, что существует ещё одна, глубоко скрытая причина, заставляющая его упорно влечься к почти неизбежному катаклизму, к тому, чтобы очутиться в положении крайнем, отчаянном и безнадёжном? Поскольку: все пути к отступлению отрезаны, все средства испробованы — и остаётся уповать только на самого себя.

«Напротив, теперь, теперь, после такого урока, — пишет он ей из Гомбурга, — я вдруг сделался совершенно спокоен за мою будущность. Теперь работа и труд, работа и труд, и я докажу ещё, что

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 100.
** Там же. С. 50.

я могу сделать!»[*] Он хочет доказать всем — себе, жене, родственникам, кредиторам, Каткову, всей читающей России, что способен собраться и победить в той Большой игре, которую он ведёт, можно сказать, всю свою жизнь.

Эпилептик или лицедей?

Он всегда любил рисковать. Чем иным, как не величайшим риском, был его внезапный выход в отставку в 1844 г., удаление от налаженной и дающей хоть какое-то обеспечение службы — поворот к гадательной и неверной литературной карьере? Бросив всё ради ещё не написанных «Бедных людей», он идет ва-банк: без имени, без литературных связей и, главное, отрезав себе все иные пути, он выбирает словесность. У Тургенева при «вступлении на поприще» в качестве «тыла» оставались его крепостные, у Толстого — армейская служба и родовое поместье, у Гончарова — принадлежность к классу чиновников, у Некрасова — хотя бы журнальная подёнщина. У Достоевского не было ничего. Он рискует головой, ввязываясь — фактически без малейших надежд на успех — в опасные политические игры: входя в круг петрашевцев (потенциальных смертников) и особенно — предпринимая попытку завести тайную типографию[**]. Он рискует потерпеть полный крах, отважившись после десятилетнего отлучения вернуться в литературу. Он рискует именем, а как выяснится позже, и состоянием, предпринимая вместе с братом издание «Времени» и «Эпохи». Он оказывается «на краю бездны», добровольно взяв на себя долги по этим изданиям.

И даже два его брака — первый, вступая в который, он продолжает тянуть армейскую лямку, с неясной надеждой на будущее, и второй, чреватый непредвиденными опасностями из-за «страшной» разницы лет — оба они исполнены отваги и риска. Можно сказать, Достоевский всегда ставит на zero.

Стихия игры — его родная стихия. Игра как бы собирает его в кулак. Он пишет из Гомбурга: «Я здесь здоров совершенно». И ещё раз — успокаивая жену: «Здоровье мое *превосходно*. Это нервное расстройство, которого ты боишься во мне, — только физическое, механическое! Ведь не нравственное же это потрясение. (То есть он

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 197.

[**] Об этом «суицидном синдроме» см. подробнее: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор.

хочет сказать, что игра не затрагивает его *главных* душевных струн! — *И. В.)* Да того и природа моя требует, я так сложён»[*].

Во время ристалищ за игорным столом у него ни разу не случалось припадков. (Как, впрочем, ни разу и во время его позднейших публичных выступлений, визитов и встреч — с Катковым, с Тургеневым, с членами императорского семейства и т. д., когда нервное напряжение тоже достигает высокой точки[**].) Анна Григорьевна — единственный человек, кто оказывает ему первую и фактически последнюю помощь.

Припадки, как говорилось, случаются чаще всего во сне: поэтому Анна Григорьевна чутко прислушивается к дыханию мужа. «В десять минут шестого, когда я уже была вполне уверена, что у Феди припадка не будет, он вдруг закричал»[***]. Однажды, проснувшись, она страшно испугалась, увидев мужа распростёртым на полу. Он, однако, молился. (Представить в подобной позе Тургенева, а тем паче Толстого весьма затруднительно.) Анна Григорьевна всегда наготове, всегда начеку. Во время припадка она укладывает мужа на постель или сама опускается на пол и держит его голову в руках, чтобы он ненароком не поранил себя. «...Судороги был страшные, руку всю скрючило ужасно и ноги тоже»[****]. В другой раз она замечает, что «губы у него совершенно посинели и лицо было совершенно красное»[*****].

Некоторые новейшие авторы, в основном медики по специальности, вообще ставят под сомнение наличие у Достоевского столь мучившего его недуга[******]. Почти протокольные описания Анны

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 190, 195.

[**] См. подробнее: *Волгин И.Л.* Колеблясь над бездной.

[***] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 102.

[****] Там же.

[*****] Там же.

[******] «Эпилепсия — священная болезнь Достоевского — на наш взгляд, во многом является хотя и красивой, но достаточно сомнительной легендой» *(Кузнецов О.Н., Лебедев В.И.* Достоевский над бездной безумия. М., 2003. С. 44). Авторы полагают, что эпилепсия являлась для больного едва ли не формой социальной мимикрии: «Нам кажется в какой-то степени обоснованным подозрение о наличии элементов демонстративности, частичной нарочитости в его припадках» (с. 50). (Уж не для проверки ли подлинных чувств аудитории, состоявшей за границей всего из одного человека, прибегал он к этому сильному средству? — *И. В.)* «Для придания максимальной достоверности умению Смердякова внутренне проиграть припадок, а при необходимости изобразить или вызвать его, Достоевский, по всей вероятности, использует свой личный опыт» (с. 59). Согласно этой замечательной логике, творца «Преступления и наказания» можно заподозрить и в использовании личного опыта при описании им убийства Раскольниковым старухи-процентщицы и сестры ее Лизаветы, и в «поступке с отроковицей» Ставрогина (в чём его, собственно,

Григорьевны, хотя она и не врач, кажется, не оставляют сомнений на этот счёт.

Первые дни после припадка (особенно, по наблюдениям единственного свидетеля, неблагоприятен третий день) Достоевский пребывает в крайне раздражённом состоянии, он мрачен, угрюм, тяжёл и т. д. Бывает, очнувшись, теряет на время память, обращается к жене по-немецки и просит оставить его в покое.

В Баден-Бадене, куда они переедут из Дрездена, он удивит Анну Григорьевну тем, что после одного из сильных пароксизмов станет требовать у неё денег, чтобы сей же час, немедленно отправиться в игорную залу. «Вот хорош игрок, — иронически замечено в дневнике, — воображаю, как бы он там играл, но мне кажется, что именно тогда бы он и выиграл...»* Она понимает иррациональность удачи.

«...Вспоминая проведённые в Баден-Бадене пять недель, — говорит она в мемуарах, — перечитывая записанное в стенографическом дневнике, я прихожу к убеждению, что это было что-то кошмарное, вполне захватившее в свою власть моего мужа и не выпускавшее его из своих тяжёлых цепей»**.

Мемуаристка ничуть не преувеличивает. Баденское лето 1867 г. — это, пожалуй, самый критический период их брака.

«...Пусть только он успокоится»

Они едут из Дрездена на юг, в Баден-Баден — через Лейпциг и Франкфурт, останавливаясь там ненадолго и наслаждаясь местными видами и историческими красотами. Волнует и злободневность: так, за сравнительно высокую цену приобретается герценовский «Коло-

---

и обвиняли) и т. д. Авторы полагают: «Красивая, романтическая (! — *И. В.*), но мрачная легенда о тяжёлой эпилепсии Достоевского» должна быть наконец разоблачена (с. 61). Ср.: «Слишком жизненно важно было для него не только на каторге, но и в дальнейшей многострадальной жизни использовать этот психологический механизм для утверждения своего пророческого предназначения и "ухода в болезнь" в непереносимых ситуациях» (*Кузнецов О.Н., Лебедев В.И.* Легенда о «священной болезни» Ф.М. Достоевского //Атеистические чтения. Вып. 20. М., 1990. С. 89). Между тем «непереносимые ситуации» возникали столь часто, что Достоевскому, как правило, мужественно с ними справлявшемуся, было бы, очевидно, *выгоднее* вообще не выходить из болезни. См. также статью Н.Н. Богданова «"Священная болезнь" князя Мышкина — morbus sacer Федора Достоевского» в кн.: Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001. С. 337–357 и «Хронику рода Достоевских», с. 959.

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 179.

** *Она же.* Воспоминания. С. 161.

кол» — уже не лондонский, а женевский, доживающий свои последние дни и в России почти забытый. С издателем Достоевский в последний раз встретится осенью — уже в Женеве.

Во Франкфурте Анна Григорьевна первый раз в жизни видит осла (не того ли самого, который в «Идиоте» будет аттестован князем Мышкиным как «добрый и полезный человек»?). В дневнике, правда, сказано проще: «Мне осёл понравился, такое милое, покорное животное, просто чудо»[*].

В вагоне Достоевский ссорится с немцем, который претендует на взятое — по недоразумению ими обоими — место. Сцена идёт на повышенных тонах — и неуступчивый русский (или, как выразились бы сейчас, *россиянин*) бросает в адрес своего оппонента: "Der Herr ist sehr liitzig" («Господин очень горяч»). Анной Григорьевной замечено в этой связи, что её муж, обычно с трудом справляющийся с немецкой речью, — если захочет выбранить кого-либо из аборигенов, «откуда и слова берутся, так и льются, точно он отлично говорит по-немецки»[**]. Конфликтная ситуация пробуждает его лингвистические ресурсы.

В письме к А.П. Майкову от 28 августа 1867 г. он изобразит своё посещение «Рулетенбурга» как некую туристскую прихоть: «Проезжая недалеко от Бадена, я вздумал туда завернуть»[***]. Так, мимоходом, попутно — «подъезжая под Ижоры».

Меж тем Баден выбран осмысленно и прицельно: цель от Майкова, собственно, не скрывается.

«Соблазнительная мысль меня мучила: пожертвовать 10 луидоров и, может быть, выиграю хоть 2000 франков лишних, а ведь это на 4 месяца житья, со всем, со всеми петербургскими»[****] (т. е. с обеспечением оставшихся в столице родственников). Далее следуют уже приводившиеся выше слова о собственной страстной натуре, о всегдашнем неудержимом «переходе за черту». Автор подробно описывает свои «подлости и позоры» — впрочем, с условием не отдавать их на суд людской[*****]. Он говорит, что во всём виноват попутавший его бес: выиграв «с необыкновенною легко-

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 117.

[**] Там же. С. 115.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 207.

[****] Там же.

[*****] Слово «позоры» употреблено Достоевским в «Записках из подполья» — в речи главного героя: «Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих *позорах,* которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много "прекрасного и высокого", чего-то

стию» 4000 франков, трудно было остановиться. «Знаете ли, как это втягивает. Нет, клянусь Вам, тут не одна корысть, хотя мне прежде всего нужны были деньги для денег»[*]. Иными словами, сам процесс игры, само единоборство с судьбой имеет для него безусловную ценность.

(Кстати: незадолго до них в Баден-Бадене проездом побывал Александр II, ещё не вполне оправившийся от потрясения после парижского выстрела Березовского. Надо полагать, государь не пытался развлечь себя в местном казино.)

...Они приезжают в Баден-Баден с единственной целью — выиграть. Вернее, цель эту преследует исключительно Достоевский. Но и Анна Григорьевна — во всяком случае, внешне — как будто бы покоряется его необузданной страсти. Она изъявляет согласие не противиться року.

В первый день по приезде супруг обещает сегодня не приступать к игре. Но, отправляясь в вокзал (т. е. на рулетку), чтобы лишь оглядеться и присмотреться, *на всякий случай* берет с собой 15 золотых (из 65 у них имеющихся). Через три часа он возвращается, проиграв всё. «У нас осталось ровно 50 золотых (один золотой равен 20 франкам. — *И. В.*). Было ещё возможно жить»[**]. Да, жить ещё было бы очень возможно, если не принимать во внимание характер самого игрока.

...На новом месте она продолжает свои записки. В лавочке за 30 крейцеров покупается новая книга (т. е. тетрадь) «для записывания наших похождений»[***]. Анна Григорьевна находит точное слово: в нём сквозит дух скитальчества и авантюры.

Казино, куда переписчица «Игрока» попадает впервые (проигравшийся муж доставляет её туда в первый же день), не производит на неё особого впечатления. По настоянию своего чичероне она ставит на impair (нечет) одну пятифранковую монету — и вопреки примете об удачниках-новичках проигрывает. Кажется, это единственная её попытка искусить счастье, в которое она, впрочем, не верит.

В отличие от неё Достоевский выигрывает три пятифранковика: по сравнению с проигранными утром тремястами франками сей «утешительный приз» не столь велик. Правда, при позднейшей

манфредовского». Ощущал ли Достоевский, откровенничая с Майковым, некоторую самопародийность текста?

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 207.

[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 120.

[***] Там же. С. 127.

редактуре дневника эта скромная сумма превращается в «сотни две пятифранковиков»[*]: вполне извинительное стремление укрупнить в глазах потенциальных читателей масштабы события[**].

Выигранный куш (два пятифранковика сверх прежних денег) по рачительному предложению выигравшего укладывается *в чулок* – с условием потревожить этот неприкосновенный запас лишь в случае крайней нужды — «когда проиграем весь капитал».

После обеда удача опять улыбается новоприбывшим. Еще пять франков (при расшифровке дневника щедро увеличенные в десять раз) отправляются в только что учреждённое убежище капиталов. (Далее, очевидно, устав корректировать выигранные и проигранные суммы, автор дневника оставляет всё как есть.)

Проводив Анну Григорьевну домой, Достоевский в четвёртый раз за день отправляется к «непобедимой силою» (как будет петь «Смердяков с гитарой») влекущему его зданию в парке... «Но через несколько времени воротился, сказав, что проиграл все 5 золотых, и просил достать эти 7 (пятифранковиков. — *И. В.),* положенных в носок. Я достала. Он просил меня приказать чаю, потому что он скоро сам придёт домой. Я была в этом уверена», — саркастически заключает Анна Григорьевна, очевидно, в глубине души полагая, что чайник ещё не успеет вскипеть. «И действительно, не прошло и получаса, как он воротился, сказав, что проиграл всё»[***]. Естественно, проигравший очень встревожен. Тем не менее у них остаётся ещё 45 золотых монет.

Собственно, первый их день в Баден-Бадене — это синопсис, краткий сценарий семинедельного пребывания в городе, который запомнится им навсегда. И это при том что первый день — один из самых благоприятных.

За восемь флоринов в неделю, рукой подать от вокзала, они снимают двухкомнатную квартиру. (Ныне на фасаде здания красуется бронзовый бюст постояльца — кажется, первый на Западе памятник автору «Игрока» — с надписью, что именно здесь писался этот роман. Ошибка невелика: во всяком случае, здесь разыгрывался не менее захватывающий сюжет.) Вскоре выясняется, что жильё находится прямо над кузницей, — удары молота взбадривают путешественников начиная с пяти утра. Кроме того, хозяйские дети оказыва-

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 120.

[**] Вспомним увеличение до 50 рублей тридцатирублёвого гонорара, причитающегося Анне Григорьевне за стенографирование и переписку «Игрока». Здесь та же тенденция, но явленная ещё сильнее: цифра возрастает уже на порядки.

[***] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 120.

ются сверх меры плаксивыми. Их перманентный рёв также скрашивает досуги русской — пока ещё бездетной — четы.

На следующее утро Анну Григорьевну сильно тошнит («лицо было зеленое, глаза мутные»), и она проводит день на диване. Взяв из оставшихся денег десять золотых, Достоевский отправляется в вокзал (чуть было не написалось — «к месту службы»), «Я проспала, я думаю, довольно долго, как вдруг, открыв глаза, увидела у моего изголовья Федю. Он был ужасно расстроен. Я <тотчас> поняла, что он, вероятно, проиграл эти десять золотых. Так и случилось»[*].

Что же предпринимает мигом очнувшаяся Анна Григорьевна? Она уговаривает мужа не сокрушаться из-за такой ерунды и участливо осведомляется, не надо ли ему ещё денег.

«Он попросил ещё пять. Я тотчас дала, и он меня ужасно как благодарил...» На сей раз он отсутствует семь часов. Обеспокоенной Анне Григорьевне начинает мерещиться, что на рулетке с ним случился припадок, в результате чего он «не знает, как им объяснить, где я, и он может там умереть, а я с ним не успею проститься». В одиннадцать вечера муж наконец является.

Его горестное повествование выстраивается по схеме, которая ей прекрасно знакома и с которой она будет сталкиваться ещё не раз. Выиграв четыреста франков (сверх имевшихся у него ста), счастливец возжелал большего и — не в силах был отойти от стола. Это своего рода «Сказка о рыбаке и рыбке», приспособленная к условиям казино. «...Я его утешала, уверяла, что это ничего, что это пустяки, пусть только он успокоится»[**]. Роль старухи из сказки явно не для неё. Напротив, Анна Григорьевна выступает в неизменном качестве жены-утешительницы, «старик» же сулит золотую рыбку, предаётся отчаянию, просит прощения, уверяет, что он её (т. е. «старухи») недостоин, что она ангел, а он подлец. Без этой борьбы благородств им было бы совсем худо.

Странное дело. Казалось бы, молодая и пекущаяся об их общем благе супруга должна умирять и умерять страсти своего беспутного мужа, укорять его в небрежении интересами семьи, взывать к благоразумию и по мере сил сводить на нет его безответственные порывы. Сделать это ей тем удобнее, что все наличные деньги по их обоюдному соглашению находятся у неё — и Достоевский каждый раз вынужден испрашивать необходимые суммы. Но увы. Никаким «противовесом» супругу Анна Григорьевна быть не желает. Здесь

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 121.

[**] Там же. С. 121.

действует не одна лишь женская интуиция, подсказывающая, как уберечь семью от неизбежных скандалов и в конце концов от развала. Это ещё и глубокое понимание характера мужа, который, встреть он откровенное сопротивление, может быть, ещё больше бы ожесточился. И ещё безрассуднее предался б пороку — уже в качестве оскорбляемой и унижаемой стороны. Этого, однако, не происходит. Не встречая ни малейшего осуждения извне, Достоевский обращает весь гнев на себя. Он бурно переживает свои «подлости и позоры». Он не устаёт обвинять себя во всех смертных грехах, главный из которых, по его убеждению, это то, что он мучает любимое им существо. Если в нём и присутствует внутренняя потребность того, что в просторечьи именуется мазохизмом, то Анна Григорьевна даёт ему полную возможность реализовать самоистязательный потенциал. Она не требует от него ничего, не твердит ему о необходимости регулярного труда, не напоминает даже об его обязанностях по отношению к будущему ребенку. Она просто — любит.

...Известно, какое сугубое неблагорасположение питала Анна Ахматова к жёнам «поэтов и отчасти писателей всех времен и народов». Особой неприязни удостаивалась Наталья Николаевна Пушкина-Гончарова (это ахматовское чувство вполне разделяла и Фаина Раневская: «...ненавижу её люто, неистово»[*]). Надежда Яковлевна Мандельштам в этой связи замечает: «Не помню, за что доставалось Анне Григорьевне Достоевской, скорее всего за бездарность и деловитость»[**] (а Наталье Николаевне, по-видимому, за её красоту). Что ж, Анна Сниткина — это, конечно, не Анна Ахматова, но толковать о её бездарности несправедливо. У нее был свой — и немалый — талант. Речь идёт не о литературных способностях, которые, кстати, тоже имели место. Но можно говорить, повторим это ещё раз, о её конгениальности мужу — разумеется, имея в виду не объём дарований, а поразительную способность находить с таким супругом общий язык. Надо было иметь особый душевный дар, чтобы стать необходимой ему больше, чем кто-либо на свете[***].

---

[*] *Щеглов Д.* Фаина Раневская: «Судьба — шлюха». М., 2003. С. 16.

[**] *Мандельштам Н.Я.* Об Ахматовой. М.: Новое издательство, 2007. С. 172.

[***] Из не столь большого числа преданных писательских жён следует упомянуть ту же Н.Я. Мандельштам. Ради того, чтобы остаться с ней, поэт пожертвовал связью с бесспорной красавицей — Ольгой Ваксель. Меж тем впечатляющий образ воспоминательницы, сотворённый Надеждой Яковлевной в ее мемуарной прозе, не всегда совпадает с отзывами современников. «Анна Андреевна любила это чудовище, верила ей, жалела, говорила о ней с нежностью. ...Анна Андреевна очень чтила Мандельштама и была дружна с крокодилицей его женой, потом вдовой, ненавидев-

В записках об Ахматовой Л.К. Чуковская приводит следующую реплику своей героини: «Анна Григорьевна жадна и скупа. Больного человека, с астмой, с падучей, заставляла работать дни и ночи, чтобы "оставить что-нибудь детям". Такая подлость!»[*] Что касается «жадности и скупости», к этому сюжету мы ещё обратимся. Но ни в одном известном источнике нет и намёка на то, что за весь 14-летний период их брака Анна Григорьевна хоть день *заставляла* Достоевского трудиться сверх меры, дабы обеспечить будущее детей.

Напротив, об этом в первую очередь пёкся сам Достоевский.

За полтора года до смерти, в 1879 г., он пишет жене по дороге в Эмс: «Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме...»[**]. В ее письмах к нему мы не встретим таких ламентаций. Она не чувствует себя вправе говорить с ним о том, что мучает его неотступно и о чём ей даже страшно помыслить. «Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти, — пишет он ей тем же летом 1879 г., — сам (серьезно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего»[***].

«Мне и рубля не накопили строчки», — мог бы он молвить вслед за тем, кто позаимствует словцо из его последнего романа для названия своей любовной поэмы (Алёша Карамазов не любил разговоров *про это)*. Он не станет богаче даже тогда, когда после Пушкинской речи и «Карамазовых» будет вознесён на вершину прижизненной славы. Денег достанет только на текущие расходы и — на похороны. Что же говорить о баденском лете 1867 г.: *строчки* были запроданы намного вперед, и из них не написана ещё ни одна.

Суета вокруг рулетки

Если верить Лидии Чуковской, Анна Ахматова, комментируя эпистолярные отчеты Достоевского супруге о том, что он «пообедал за рубль», с негодованием замечала: «Зарабатывал десятки тысяч и не

шей Ахматову...» (*Щеглов Д.* Фаина Раневская: «Судьба — шлюха». С. 68). См. эпиграмму Н.И. Харджиева на смерть Н.Я. Мандельштам: «Потоки грязи источила и христианкой опочила» (*Бабаев Э.Г.* Воспоминания. СПб., 2000. С. 327). Однако при всём различии (иногда громадном) и Н.Н. Пушкина, и Е.С. Булгакова, и Н.Я. Мандельштам, и теперь еще Н.Д. Солженицына — все они так или иначе вписываются в тот ряд, «эталонное» место в котором занимает Анна Григорьевна.

[*] *Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой. М.: Время, 2007. Т. 2. С. 369–370.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30_1. С. 81.

[***] Там же. С. 109.

мог пообедать за два рубля!»[*] Но, во-первых, «десятки тысяч» он не зарабатывал никогда. А во-вторых, на тот же рубль можно было вполне прилично закусить. (В Бадене обеденный стол обходился им в один флорин (т. е. 60 копеек) на двоих.)

На 7 июля 1867 г. (зарубежные даты приводятся здесь по новому стилю) всё состояние Достоевских заключается в 25 золотых. Впрочем, их скоро останется 20, ибо пять будут употреблены на игру. Тут нервы Анны Григорьевны не выдерживают. Ей становится «невыносимо грустно», она «даже несколько раз плакала, просто с ума сходила»[**]. Заметим, что всё это происходит в отсутствие мужа. При нём Анна Григорьевна не позволяет себе ни стенаний, ни слёз.

«Наконец он пришел, и я очень хладнокровно спросила: "Проиграл?", он отвечал: "Да"...» Натурально, после очередных самобичеваний, уверений в любви и кратких объятий он просит *спонсировать* его — пусть даже в минимальных размерах. Анна Григорьевна колеблется, советует сегодня больше не рисковать, подождать хотя бы до завтра. «Но он меня умолял дать ему хоть два золотых, чтоб он мог успокоить себя. Я вынула и отдала». Деньги даются уже не для победы, а исключительно как седативное средство. Успокаивается, правда, только берущий. «Он ушёл, а я ужасно как плакала»[***].

Два золотых проигрываются мгновенно. Остаётся 18. Накануне, помним, их было 65. Достоевский спрашивает ещё три монеты, объявив, что если он и их проиграет, то завтра они с Анной Григорьевной уезжают из Бадена. Как она и предполагала — он проигрывает всё, причём на сей раз в её присутствии. С 15 золотыми решено отправиться в Женеву: там, по счастью, нет игорных домов.

Возвращаясь с рулетки, они встречают Ивана Александровича Гончарова. (Он стоит в *престижной* гостинице «Европейский двор», платя два флорина в день и ещё за два получая там обед из восьми блюд.) Автор «Обломова» тоже поигрывает, хотя и не так интенсивно. Два сошедшихся на чужбине русских писателя вспоминают третьего — И.С. Тургенева: он обретается тут же, неподалёку. (Для *кворума* не хватает только Льва Толстого!) По словам Гончарова, автор «Отцов и детей» наблюдал Достоевского на рулетке, но не подошёл к нему, ибо «знает, что играющие не любят, когда к ним подходят». Достоевский понимает, что *он открыт*, мало того — что оказался в положении весьма деликатном. Он должен Тургеневу 50 талеров — ещё с 1865 г. (они были присланы в Висбаден — кстати, вместо

[*] *Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой.
[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 122.
[***] Там же.

просимых ста — когда он, проигравшись, сидел там без копейки — в размышлении, как получить в журналах аванс за ещё не написанное «Преступление и наказание»). После встречи с Гончаровым он решает, что немедленно должен сходить к своему кредитору — «иначе тот подумает, что Федя боится прийти из боязни, что тот потребует свои деньги»[*]. Если не потребовать, то хотя бы слегка намекнуть Тургенев имеет все основания. Ибо тогда, в 1865, заёмщиком было заявлено: «Само собою, что раньше *трёх недель*, может быть, Вам и не отдам. Впрочем, может быть, отдам и раньше»[**].

По дороге домой он мягко даёт понять супруге, что проиграл потому, что в её присутствии был нерасчётлив, нервничал и торопился (не подошедший к нему Иван Сергеевич косвенно как бы ставится ей в пример). Тогда Анна Григорьевна решительно предлагает ему взять ещё три золотых и уже без неё «в последний раз попытать счастья». Она подробно описывает реакцию мужа на это великодушное предложение. «Федя был удивительно как рад, начал меня называть разными хорошими именами, говорил, что желал бы лучше, чтобы у него была жена дерево, чтоб она его бранила, чем так кротко его принимала и даже вместо брани только утешала, потому что это больно, когда кротко с ним поступают»[***].

Да, конечно: он бы меньше страдал, когда бы его поползновениям давали отпор. Легко представить, какие сцены закатывала бы в подобных случаях Марья Дмитриевна, которую, к их обоюдному счастью, миновал игорный кошмар.

С дюжиной оставшихся золотых и с полным спокойствием, которое даётся лишь осознанием полной безнадёжности, Анна Григорьевна ожидает возвращения мужа. Он приносит взятые деньги плюс выигрыш — 40 талеров и пять золотых, которые отправляются «в чулок». (Не способствовало ли успеху то обстоятельство, что накануне он выбросил свой старый «несчастливый» кошелек и приобрёл новое портмоне, в которое «для развода» был положен презентованный Анной Григорьевной пфенниг?) Он говорит, что принёс бы и больше, но часть выигрыша поставил на среднюю — и проиграл. После чего счёл за благо отправиться домой. Анну Григорьевну радует не столько выигрыш мужа, сколько его решимость — по собственному желанию оставить игру. Это случается с ним нечасто.

В Женеву, разумеется, они не поедут.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 122–123.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 128.

[***] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 123.

После совместной прогулки и «музыки» они вновь отправляются на рулетку (он — так пятый раз за день). У Анны Григорьевны зоркий глаз, обострённый к тому же таким учебным пособием, как «Игрок». Она примечает всё: и великолепно одетую русскую даму, которая неизменно выигрывает, и бедную немку, с сокрушением проигрывающую последний талер, и везучую старуху в жёлтой шляпе, то и дело срывающую пятифранковики, и по виду благородного, но при этом жарко сопящего господина, который играет с переменным успехом... Достоевскому не везёт. «Проиграв всё, мы с Федей вышли из зала и отправились домой». Дорогой он говорит, что благодарит её за счастье, которое она ему подарила, но боится, что всё изменится, когда она его разлюбит. «Но я так думаю, — жёстко заключает Анна Григорьевна, — что этого совершенно не будет, а что всегда будем так любить друг друга»[*].

Скандинавские предки могут спать спокойно: наследственный дар предвидения не изменяет ей.

В любви везёт неудачникам

Любил ли её Достоевский?

В этом можно не сомневаться: стоит только взглянуть на их переписку, где подобные признания неизменны, а их откровенность и пылкость гораздо заметнее с его стороны. Казалось бы, Анна Григорьевна не должна задаваться вопросом на этот счёт.

И всё же однажды она позволяет себе высказать одну крамольную мысль.

Рассуждая об их общем желании — как можно скорее вернуться в Россию, молодая жена не скрывает, что её в то же время пугает подобная перспектива. Она страшится, что там, в России, муж перестанет её любить. (Видимо, она исходит из тех соображений, что здесь, за границей, у него просто нет альтернативы.) Её терзает тайная мысль, что на родине «другая займёт в его сердце то место, которое я теперь занимаю». И в этой связи делается неожиданный вывод: «Мне представляется, что этот человек никогда никого не любил, что это ему только так казалось, а любви истинной вовсе не было. Потому что думаю, что он даже и не способен на любовь: он слишком занят другими мыслями и идеями, чтобы сильно привязаться к чему-нибудь земному»[**].

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 124.

[**] Там же. С. 169.

Сказано вскользь, мимоходом — и следующая фраза как раз о «земном»: «Я прочитала в “Баденском Листке” цены на дрова, — это просто ужас». Любовь и дрова соседствуют вполне органично.

Под упомянутыми выше «мыслями и идеями» понимаются, конечно, не относящиеся к рулетке. Несмотря на явленную к последней страсть *эта* соперница Анне Григорьевне не страшна. Смущает другое — абсолютная поглощённость Достоевского тем, что, собственно, и составляет смысл его жизни. Анна Григорьевна — правда, только единственный раз — ревнует Достоевского к нему самому. Но кого из женщин, имевших дело с *вместилищами таланта,* не одолевали подобные страхи?

В настоящем случае такие терзания длятся недолго. Ибо на следующий день, 31 июля, описывая их восхождение на вершину местной горы, откуда открывался «довольно хороший вид», Анна Григорьевна замечает: «Разговаривали мы тут с Федей несколько времени и решили, что хоть у нас и денег нет, зато хоть любовь есть, зато мы так любим друг друга. Потому что, может быть, у других и деньги есть, и хотели бы любви, да её нет. Я с ним была совершенно согласна»* — последние слова удостоверяют, что излагается мнение собеседника. Интересно, доведены ли до его сведения её недавние опасения?

Да, первый их год — это, конечно, испытание. Кажется, всё оборачивается против них. И за неимением иных объяснений остаётся признать: действительно, их спасает только любовь. Ну, может быть, ещё и издатель «Русского вестника» — единственный источник поступления средств. «Сегодня Федя видел во сне, что Катков ему пустил кровь. Что это такое значит?»** Кровопускание, как известно, могло спасти от удара. Удары между тем следуют один за другим.

...Все последующие дни счастье то улыбается, то отворачивается от них. Случается, что «в чулке» (носке) остаётся один золотой. И тогда Достоевский закладывает своё обручальное кольцо, которое, впрочем, выкупается всего через час — после очередного выигрыша. Он становится перед женой на колени. И она безропотно отдаёт ему последние деньги, внутренне приуготованная к любому исходу.

Но зато они умеют ценить и мгновенья удачи.

Утром 10 июля, отправляясь на рулетку, он берёт у Анны Григорьевны свою обычную «рабочую долю» — пять золотых. Затем, вер-

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 170.

** Там же. С. 160.

нувшись домой, «с досадой» сообщает, что всё проиграл («его все толкали и не давали спокойно ставить ставки»: вечная жалоба проигравшихся), и просит ещё пять. Разумеется, деньги даются. «Осталось у меня опять 5 золотых, — меланхолически записывает Анна Григорьевна, — но я нынче попривыкла к этим историям, и они меня не так сильно беспокоят. Когда Федя ушёл, я сделалась удивительно спокойна, как будто бы это были вовсе не последние наши деньги»[*]. Живя с игроком, поневоле становишься фаталисткой.

Вернувшийся с рулетки в очередной раз, он покажется ей бледным сверх меры. Не сомневаясь в причине, она, как обычно, примется утешать его, уверяя, что проигрыш не беда и что ничего страшного не случилось. Окажется, однако, что он выиграл. Целое состояние — 46 золотых монет.

Окрылённый, он изъявляет готовность самолично отправиться за свечами, кофеем и вином. «Я всегда удивляюсь, — замечает Анна Григорьевна, — когда Федя у нас занимается хозяйством»[**]. Она говорит, что не поверила бы, что такой серьёзный человек, которого она впервые увидела 4 октября прошлого года, «такой угрюмый человек» может интересоваться подобными пустяками. (Позже, в России, эти заботы — например покупка сластей — будут непременно входить в круг его добровольных обязанностей.) С мальчиком-посыльным доставляется корзина земных даров — наподобие тех, что были наблюдаемы ими на полотнах Дрезденской галереи: малина, абрикосы, персики и особенно любимый Анной Григорьевной крыжовник. Затем является муж с ещё одним живым натюрмортом — роскошным букетом цветов, где нежные жёлтые и розовые розы красуются в обрамлении скромных гвоздик и фиалок. Кажется, это первые цветы, возникшие за месяцы их супружества или хотя бы за время пребывания за границей. Анну Григорьевну, не привыкшую к подобным знакам внимания, чрезвычайно трогает этот жест. Тем более что за букетом мужу приходится путешествовать довольно далеко.

Итак, имея в запасе уже полсотни золотых монет и чувствуя себя богачами или, по меньшей мере, прочно обеспеченными людьми, они отправляются на прогулку. Анна Григорьевна усиленно просит мужа больше в этот день не играть. Она примечает — удача не выпадает дважды за столь короткое время. Достоевский, однако, пре-

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 128–129.
[**] Там же. С. 129.

тендует на свои законные пять золотых. И, мысленно распрощавшись с ними, Анна Григорьевна продолжает прогулку уже одна.

На сей раз муж отсутствует вовсе недолго: он смиренно поджидает её на скамейке в одной из аллей. Как и предполагалось, проиграно всё. Естественно, это объясняется тем, что его снова толкали. «Плохому танцору...» — могла бы заметить Анна Григорьевна, если бы, положим, знала это присловье. Само собой, берутся ещё пять золотых и проигрываются таким же манером. Очередную пару монет, назначенных для реванша, постигает аналогичная участь.

Остаётся просто прогуливаться в парке. При этом Анна Григорьевна старается избегать людных мест, где фланирует нарядная публика: «Признаться, мне не особенно приятно ходить вечно в моём чёрном платье (уж не в том ли самом, в каком она прошлой осенью регулярно являлась к нему для диктовки? — *И. В.),* которое далеко не так хорошо среди их блестящих костюмов»[*]. Они возвращаются домой. И только теперь, за чаем, муж вспоминает ещё об одном происшествии, которое как-то затерялось в треволнениях этого дня.

Он рассказывает о своём визите к Тургеневу.

10 июля 1867 г.: свидание в Бадене

К Тургеневу, впрочем, он заходил и раньше — но не обнаруживал соотечественника дома. В этот день Достоевский встал в десять утра и отправился на Шиллерштрассе часам к двенадцати, ещё до своих подвигов на рулетке. Он застал коллегу за завтраком. Нелишне заметить, что рассказ о встрече *созрел* только к вечеру. До тех пор утренние впечатления были перекрыты счастливым выигрышем, а затем тщетными попытками повторить успех. Анна Григорьевна

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 131. Сюжет этот весьма волнует автора дневника: «...Федя постоянно мне толкует, что я очень дурно одета, что я одета как кухарка, что на кого на улице ни поглядишь, все одеты, туалеты, только одна я одета как Бог знает кто. Право, мне это было так больно слушать, тем более, что я и сама вполне хорошо понимаю, что я одеваюсь уж из рук вон плохо. Но что мне делать, разве я могу что-нибудь сделать: ведь если бы он мне давал хотя бы 20 франков (т. е. один золотой! — *И. В.)* в месяц для одежды...» (Там же. С. 262). Видимо, Достоевский ощущал эту вину. В письме к жене из Саксон-ле-Бэна, где после очередного проигрыша «расписывается» очередная сумма, которая будет испрошена в долг у Каткова, сказано: «...И, наконец, 100 франков для твоих летних платьев (это во что бы то ни стало!)» *(Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 288). В своей последней (декабрьской) дневниковой записи она отмечает, что Достоевский подарил ей «4 пары перчаток разных цветов, заплатил 10 франков...» *(Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 386). Так аукнулся их первый за границей конфликт — ссора «из-за перчаток» в Берлине.

утверждает, что муж просидел у Тургенева часа полтора. Интересно, была ли предложена гостю чашечка кофе?

О знаменитой баденской ссоре двух столпов российской словесности написано столько, что можно подумать, будто при сём присутствовала толпа взволнованных очевидцев. Между тем свидание проходило тет-а-тет.

«Вернулся от него муж мой очень раздражённый, — кратко отмечает в воспоминаниях Анна Григорьевна, — и подробно рассказывал свою беседу с ним»*. Однако никаких подробностей не сообщается.

То, о чём в мемуарах сказано глухо, одной фразой, в стенографической тетради расшифровано (вернее, зашифровано!) в более полном виде. Ещё подробнее говорит об этом сам Достоевский в письме к А.П. Майкову. Хотя оба документа восходят к одному источнику — т. е. к самому Достоевскому, они не во всём повторяют друг друга.

Тургенев крайне раздражён неуспехом своего «Дыма» (напечатанного в третьей книжке «Русского вестника» за 1867 г.). По словам визитёра, он поминутно сводит разговор на этот предмет. Это неудивительно. За месяц до баденской встречи автор романа напишет П.В. Анненкову: «Мне кажется, ещё никогда и никого так дружно не ругали, как меня за “Дым”. Камни летят со всех сторон. Ф.И. Тютчев даже негодующие стихи написал».

Тютчев действительно отозвался стихотворением «Дым». Кроме того, ему приписывали эпиграмму — надо признать, не слишком изящную:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» —
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш — и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

Напротив, А.Ф. Писемскому роман понравился — и обрадованный автор благодарил его за это от души. Но общие толки были нелестными.

«И представьте себе, — признавался Тургенев Анненкову, — что я нисколько не конфужусь: словно с гуся вода». (Чуткий стилист, он мог бы заметить, что тон письма говорит как раз об обратном.) В тот же самый день было отписано А.И. Герцену: «...Меня ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу — и сбоку — особенно сбо-

* *Достоевская А.Г.* Воспоминания. С. 164.

ку»[*]. «Сбоку» — это, очевидно, единомышленники, свой, ближний круг. Достоевский к нему не принадлежит. «Дым» его огорчил: свои впечатления он не счёл возможным скрывать от автора.

«Федя, по обыкновению, говорил с ним несколько резко»[**], — пишет Анна Григорьевна, и это, конечно, собственная самооценка говорившего. Резко, но не настолько же, чтобы всерьёз заявить, как будет уверять позднее Тургенев, что «Дым» подлежит «сожжению от руки палача»[***]. Может быть, это была, так сказать, ироническая метафора — «Дым», восходящий к небу вследствие аутодафе? Зато несомненно было произнесено (и нехитрая эта шутка, по-видимому, признана чрезвычайно удачной, поскольку повторяется как в письме Майкову, так и в записках Анны Григорьевны), что Тургеневу надлежит выписать из Парижа телескоп, дабы с помощью этого оптического прибора издалека наблюдать возлюбленное отечество («Федя, как он говорил, разговаривал всё больше с юмором»[****]). Остроумец не подозревает, что сам он окажется в России без малого через четыре года и связь с родиной будет поддерживаться преимущественно путём изучения русских газет, которые он находит время читать даже в этом бедламе.

Смех смехом, но истинное негодование у тургеневского гостя вызвало заявление собеседника: «Если б провалилась Россия, то *не было бы* никакого ни убытка, ни волнения в человечестве»[*****]. Достоевский, естественно, возмущён. Слова Тургенева подаются им как официальная декларация автора «Дыма», как заветное его убеждение. Между тем можно предположить, что это не совсем так.

Слова эти могли заключать и горечь, и боль. Кроме того, это всё-таки неточная цитата из «Дыма», где нечто подобное произносит один из героев — Потугин: «...Если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца (Лондонская всемирная выставка 1862 г. — *И. В.)* всё то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: всё бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые про-

---

[*] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 6. М.; Л., 1965. С. 258, 260.

[**] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 131.

[***] *Тургенев И.С.* ПСС и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 6. С. 85.

[****] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 131–132.

[*****] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 210.

дукты — не нами выдуманы»[*]. Звучит очень эффектно. Потугин, однако, *всего лишь* художественный персонаж.

Достоевский упрекает Тургенева в ненависти к России. «Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно»[**]. Но то же можно сказать, допустим, и о В.С. Печерине с его способным покоробить даже не очень патриотическое ухо:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья...

Не лишена основания и мысль, что это мог произнести человек, горячо любящий свою родину. И ведь не обвинял же Пушкин Чаадаева в нелюбви к России, хотя в том же «Философическом письме» присутствуют горькие исторические укоры.

«Опыт веков, — говорит Чаадаев, — для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли из него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества. <...> Мы ничего не выдумали сами и из всего, что выдумано другими, заимствовали только заманчивую наружность и бесполезную роскошь. <...> Если бы орды варваров, возмутивших мир, не прошли, прежде нежели наводнили Запад, страны, нами обитаемой, мы не оставили бы и одной главы для всемирной истории. Чтобы обратить на себя внимание, мы должны были распространиться от Берингова пролива до Одера»[***].

Слова, брошенные Чаадаевым, тяжелы и обидны. Для многих его соотечественников они звучали как личное оскорбление: «...В крови у нас есть что-то отталкивающее, враждебное совершенствованию <...> что бы ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумения». Автор «Философических писем» даже отваживается говорить о «немоте наших лиц».

Пушкин спорит с Чаадаевым, «по пунктам» возражает ему, однако не «шьёт» ему дело о национальной измене. Трудно заподозрить в русофобии и Белинского, написавшего приятелю в 1840 г.: «Любовь моя к родному, к русскому стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Всё субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло»[****]. Это «страдальческое чувство», эту «странную

---

[*] *Тургенев И.С.* ПСС и писем: В 28 т. Т. 9. С. 232–233.
[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 210.
[***] [Перевод А.С. Норова] // Телескоп. 1836. № 15.
[****] *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1982. С. 383–384.

любовь» можно заметить и у самого Достоевского: правда, они выступают у него в несколько иной эстетической огласовке.

Видимо, Тургенев в то утро был задет и другим. Он заступился за немцев, перманентно ругаемых гостем, и в полемическом гневе заметил, что относит себя к их числу.

Это могло быть сказано в «высшем», как любил повторять Достоевский, т. е. в культурно-историческом смысле. А именно — заключать ту же мысль, что содержится и в авторском предисловии к немецкому изданию «Отцов и детей»: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не иметь её как моё второе отечество». Эти слова признательности могли бы повторить многие из идеалистов 1840-х. (Кстати: не упоминался ли в баденском разговоре один из них — их общий наставник Белинский, о котором Достоевский вымучивает в то время большую статью, а Тургенев обнародует вскоре восторженный мемуар?)

«Он побледнел (буквально, ничего, ничего не преувеличиваю!), — сообщает Достоевский свои *наблюдения* Майкову, — и сказал мне: "Говоря так (о немцах. — *И. В.*), вы меня *лично* обижаете"»[*]. Говорящий спешит извиниться — надо думать, не без оттенка язвительности: он, мол, не ведал, что Тургенев онемечился до такой степени. Через несколько лет в «Бесах» «великий писатель» Кармазинов (т. е. Тургенев) с гордостью заявит: «Я сделался немцем и вменяю это себе в честь».

И, наконец, может быть, отголосок именно баденского спора вдруг промелькнет в словах Смердякова: «Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна».

В изложении Анной Григорьевной утреннего эпизода содержится один нюанс, который отсутствует в письме Достоевского Майкову. Она пишет: «Тургенев объявил, что он, Тургенев, реалист, но Федя говорил, что это ему только так кажется»[**].

Этот проходной, на первый взгляд, обмен репликами глубоко знаменателен. Сдаётся, собеседники касались не только сугубо политических или, скажем так, этнофилософских проблем. Кажется, не обошлось без *эстетики*. Достоевский, решительно отказывающий автору «Накануне» в праве быть реалистом, смотрит, разумеется, со своей колокольни. Он считает истинным реализмом — собственный, который будет квалифицирован им позднее как «реализм в высшем смысле». Но для Тургенева, срав-

[*] *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 28_2. С. 211.
[**] *Достоевская А. Г.* Дневник 1867 г. С. 131.

нившего — частным образом — «Преступление и наказание» с продолжительной холерной коликой, такой творческий метод совершенно неприемлем. В Бадене спорят между собой не одни лишь идеологические противники. Здесь происходит сшибка художественных систем*.

«Затем, — пишет Достоевский, — мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда»**. В отличие от иных клятв, даваемых Анне Григорьевне, это обещание он исполнил.

Может быть, именно стресс, пережитый «тургеневским утром», принёс ему игровую удачу. В тот день, будучи в выигрыше, он мог бы отдать Тургеневу его 50 талеров. Он упустил этот шанс. Но был упущен и другой.

Ещё ничего не зная о ссоре, Анна Григорьевна записывает в дневнике, что очень рада выигрышу, потому что он поможет им продержаться и, главное, «не придётся ходить к Тургеневу и просить у него дать нам денег до присылки от Каткова»***.

Выходит, того, долг которому ещё не погашен, держат в уме как потенциального заимодавца. И кто знает, не желал ли утренний гость *прозондировать почву*, когда направлялся туда, где покойно завтракал его долготерпеливый кредитор? И не помешал ли замысленному делу тот оборот, который принял их разговор — может быть, неожиданно для них самих?

Во всяком случае, утром 10 июля, когда после целой череды неудач в кармане помещаются пять отложенных для игры золотых, а последние десять, готовые разделить ту же участь, покоятся дома в чулке, Достоевский пребывает, очевидно, не в лучшем расположении духа. Что тоже могло послужить одной из причин раздражения, принимаемого им самим за язвительную иронию...

Могло, впрочем, раздражить и другое. Вряд ли для него оставалось секретом, что Баден-Баден выбран местом постоянного жительства и здесь заканчивается сооружение тургеневской виллы — бок о бок с жилищем семейства Виардо. Недаром через много лет в записях к «Дневнику писателя» появится желчное: «“Записки охотника” и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные, выстроена?»**** Вне зависимости от справедливости суждения оно весьма характерно.

---

* См. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 89–91.

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 211.

*** *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 129.

**** Записи к «Дневнику писателя» 1876 г. // Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 24. С. 74.

...Первая половина XIX столетия не знает крупных писательских ссор. Ни Жуковский, ни Пушкин, ни Гоголь, ни Баратынский, ни Вяземский, ни Одоевский, ни прочие литераторы не вступают в конфликты друг с другом и не разрывают отношений. Внутри пушкинского круга могли временами возникать какие-то недоумения, но они никогда не заканчивались скандалом. Сопровождаемое личными оскорблениями противоборство наблюдается лишь в отношениях с «маргинальной» словесностью — Булгариным, Гречем...

Литература между тем набирает силу. Вторая половина века запомнится в том числе и писательскими конфликтами. В частности, между Тургеневым и Толстым — в мае 1861 г. Толстой поступил неосторожно, заснув над данной ему для прочтения рукописью «Отцов и детей». Ещё печальнее, что автор романа, зайдя к гостившему у него в Спасском Льву Николаевичу, стал невольным свидетелем этого сна. На следующий день оба писателя отправились к Фету в Степановку. За обедом Тургенев с чувством поведал о своей незаконнорожденной (от крепостной крестьянки) дочери, которая, обучаясь во Франции и имея английскую гувернантку, не забывает о малых сих: собственноручно чинит беднякам их ветхие и грязные одежды. Толстой с присущей ему прямотой (сейчас бы сказали — упёртостью) объявил девичьи труды неискренними и театральными. Уязвлённый отец потребовал от Толстого выбирать выражения. Автор «Детства» ответил в том смысле, что привык говорить то, что думает. Тургенев, потеряв самообладание, совершил, как он сам признавался потом, «безобразный поступок» — в присутствии потрясенного Фета крикнул: «Если вы будете так говорить, я дам вам в рожу!» После чего, схватившись за голову, выбежал из комнаты.

Дуэли — хотя и с большим трудом — удалось тогда избежать. Отношения были погублены: думалось — навсегда. Через 17 лет Толстым — с высоты достигнутого величия и как частное следствие совершившегося с ним духовного переворота — будет написано примирительное письмо. Тургенев с радостью примет протянутую руку.

И в 1861, и в 1867 г. в подоплёке конфликта — конечно, отношение к *тексту*. «Отцы и дети» и «Дым» играют здесь роль запала. Несходство характеров усугубляется несходством художественных натур.

С Достоевским формальной ссоры как будто бы не случилось. (До угрозы физического насилия дело, к счастью, не дошло.) «История одной вражды» приняла тлеющий характер. Личные отношения были прерваны. В прежнем виде они уже не восстановятся никогда.

...Тургенев, будучи человеком хорошего тона, отдаст визит. Он явится на следующий день в самый невизитабельный час — десять утра, когда Достоевские ещё спят (о том, что они встают не ранее одиннадцати, он был извещён накануне). Не заходя в дом (а может быть, даже не выходя из кареты), он оставит визитную карточку: знак отказа от дальнейшего диалога. Долг вежливости будет формально отдан. При том что денежный долг за одним из них по-прежнему остаётся.

В 1871 г. автор «Рудина» напишет Я.П. Полонскому, что Достоевский пришёл к нему «лет 5 тому назад в Бадене — не с тем, чтобы выплатить мне деньги, которые у меня занял — а чтобы обругать меня на чём стоит за "Дым"...»* Но, конечно, баденский эпизод волнует его не из-за неотдачи 50 талеров. (Позже они-таки будут возвращены, но Тургенев по забывчивости решит, что Достоевский задолжал ему не 50, а 100 талеров, и потребует уплаты, что повлечёт очередное между ними недоразумение.) Волнует другое. Копия письма Достоевского Майкову — с описанием происшествия — по неосторожности адресата попала в третьи руки (а именно к издателю «Русского архива» П.И. Бартеневу). Узнавший об этом «донесении потомству» Тургенев спешит взять свои меры. Он посылает тому же Бартеневу нечто вроде опровержения, где твёрдо заявляет, что уж никак не мог открывать перед Достоевским свои заветные убеждения, ибо считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». Этот изящный диагноз как бы предваряет позднейшие публичные обвинения автора «Бесов» в его, мягко выражаясь, неадекватности. «Впрочем, — скромно заключает Тургенев, — это мнение моё разделяется многими другими лицами»**.

В Бадене они виделись еще раз, в вокзале, но — не поклонились друг другу.

Тургенев если и бывал на рулетке, то эпизодически — «как турист». Он не принадлежал к кругу поклонников азартных игр. Достоевским же, несмотря на провозглашаемые им благородные цели, прежде всего движет азарт.

В этой своей страсти он вовсе не одинок.

---

* *Тургенев И.С.* ПСС и писем: В 28 т. Т. 9. С. 85.

** Русский архив. 1902. № 9. С. 148. Цит. по: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 97.

Секрет выигрыша прост

Влечение к игре отличает не только русских литературных героев. Оно в высокой степени присуще и самим творцам — во всяком случае, многим из них. Не будем касаться Пушкина, проводившего ночи за зелёным столом: в конце концов, он умел находить упоение и в такого рода бою. Но вот тот же Белинский, чей неистощимый задор, казалось бы, должен быть целиком поглощаем журнальными бранями, пишет своему московскому другу: «Я готов играть утром, вечером, ночью, днем, не есть и играть, не спать и играть. Страсть моя к преферансу ужасает всех...»*

Интересно, был ли молодой Достоевский очевидцем этих скромных безумств (игра шла на копейки, и самый счастливый выигрыш не превышал одного-двух рублей) и собирался ли он упомянуть о них в своей сочиняемой ныне статье? Как, например, упомянул об этом другой воспоминатель, К.Д. Кавелин.

По его словам, Белинский (который однажды с упрёком бросил Тургеневу: «Мы не решили ещё вопрос о существовании Бога, а вы хотите есть!») вносил в картёжные баталии «все перипетии и страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях... Садился он играть с большим увлечением и, если ему везло, был доволен, весел», а проиграв, «становился мрачным, жаловался на судьбу, которая его во всём преследует, и наконец с отчаянием бросал карты и уходил в тёмную комнату»**. То есть вёл себя так же, как большинство игроков, в том числе — Достоевский. Правда, в отличие от автора так его восхитивших «Бедных людей» Белинский не проигрывал последнее.

Вряд ли «неистовый Виссарион» сражался в преферанс со своим молодым протеже: они толковали по преимуществу о высоком. Зато другой его ученик, желавший, как помнится, смиренно преклонить колени перед именем учителя, пожалуй, мог быть признателен ему ещё и за эту науку. У нас нет сведений, что в сороковые годы Достоевский расписывал пульку с указанным учеником (и первым своим издателем): Некрасов предался этой страсти несколько позже. Но в отличие от прекраснодушных коллег сумел стать в этом деле истинным профессионалом.

Игра повела к изменению всех его домашних привычек. Она захватила ночь, ещё недавно отдаваемую срочным литературным тру-

---

* *Белинский В.Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 526.

** Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 175–176.

дам. «Некрасов возвращается домой в 12 часов утра уж наготове и производит скандал в доме, — пишет А.Я. Панаева М.Л. Огарёвой. — Все люди дивятся перемене его: бывало ложился 7 часов вечера и вставал 6 утра, а теперь по ночам его с собаками не сыщешь»[*]. Всё это случается тогда, когда автору «Кому на Руси жить хорошо» удаётся поднакопить некоторый материальный ресурс.

А.М. Скабичевский замечает, что редактор «Современника» служит «вопиющим опровержением» той аксиомы, согласно которой карточная игра «отнимает у человека волю и разум». Железную волю, обретённую в жестокой борьбе, у Некрасова не так-то легко было отнять. Его рассудок был в полном порядке. Он держал себя в ежовых рукавицах, и тем, «кто не знал его близко, тому он мог показаться человеком совершенно бесстрастным»[**]. Но тем, кто находился рядом с ним долгие годы, так не казалось.

«Часто, целыми неделями, он не мог думать ни о чем, кроме игры», — пишет А.Н. Пыпину из своего вилюйского заточения Н.Г. Чернышевский, получивший горестную весть о смерти поэта. «Он знал: я смотрю на его игру как на пьянство. Любил же я пьяниц и уважал же. Из всех этих бесконечных рассказов об игре я скоро вывел убеждение: "он играет честно". И, я уверен, я не ошибался»[***].

Фраза о честности произнесена не случайно. Сплетня про шулерские приемы Некрасова переживёт его самого: посмертный отголосок завистливой к чужому успеху молвы. В отличие от своих литературных друзей Некрасов вёл крупную игру, и партнёрами у него были не бедные литераторы, а такие, например, люди, как министр императорского двора генерал от инфантерии граф А.В. Адлерберг. «О какой недобросовестности игры может быть речь, — говорит современник, — если мы вспомним, что Некрасов играл много лет сряду в чопорном Английском клубе, где у него никогда не было никаких недоразумений с партнёрами, принадлежащими к лучшему столичному обществу?»[****] Достоевский тоже играл честно. И не потому, что на рулетке возможности *мухлежа* ограничены (хотя бдительная Анна Григорьевна и заподозрила одного крупье в переглядах и, видимо, сговоре с помянутой выше удачливой русской дамой,

---

[*] Русская мысль. 1902. № 12. С. 173. Цит. по: Н.А. Некрасов в воспоминаниях и документах. Л.: Academia, 1930. С. 185.

[**] *Скабичевский А.М.* Кое-что из моих воспоминаний // Новости. 1892. № 215. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 128.

[***] Чернышевский в Сибири. Вып. III. С. 58. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 133–134.

[****] *С.У.* Мозаика // Исторический вестник. 1915. № 8. С. 474–475. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 138.

которая три раза срывала zero[*]). Он играл честно, потому что иначе не мог. Но в отличие от «ледяного» Некрасова ему не удаётся избегать столкновений.

16 июля, через неделю после ссоры с Тургеневым, он возвращается домой чрезвычайно взволнованный: пожалуй, даже в большей степени, чем тогда. Оказывается, во время игры он нечаянно загрёб монету рядом стоящего господина. «Когда тот Феде это заметил, — записывает Анна Григорьевна, — то Федя тотчас же отдал, извинился и сказал, что это случилось по рассеянности. Но господин сказал, что “это было вовсе не по рассеянности”. Тогда Федя подошёл к нему и хотел его отвести в сторону, чтобы с ним объясниться. Но господин отвечал, что “теперь это всё кончено”. Тогда Федя при всей публике назвал его подлецом, и тот этим не обиделся. Федя был в выигрыше около 40 монет, но этот случай так его раздражил, что он начал играть без расчёта и проиграл эти деньги»[**]. Было отчего прийти в ярость: тут задевалась личная честь. Его, собственно, обвиняли в присвоении чужих денег. И, что ещё хуже, с пренебрежением прощали несуществующую вину. На косвенное оскорбление Достоевский отвечает прямым. По российским понятиям, этого достаточно для дуэли. Но кто же в Бадене, в погоне за ускользающим счастьем, будет следовать сословному кодексу чести? Неизвестно, в каком звании состоял господин, публично названный подлецом, и был ли он дуэлеспособен, но он не захотел или убоялся выяснять отношения. На рулетке, как со слов мужа повествует Анна Григорьевна, «часто происходят разные истории и часто ужасные грубости говорят друг другу, и это всё ничего»[***]. Не сама ли чрезвычайность ситуации вызвала в его памяти, как это случалось и раньше, грубое немецкое словцо (Schuft, Bub, Lümp или особенно обидное Dreckskerl?), сильно обогатив его обиходный словарь?

Надо сказать, что инцидент происходит после большого выигрыша — с утра у Достоевских «в заначке» 166 золотых. «Следовательно, можно быть спокойной насчет жизни», — с несвойственным ей легкомыслием замечает Анна Григорьевна: впрочем, её оптимизм может быть не рассчитан на срок более суток. Для Достоевского важен сейчас уже не успех, а «демонстрация флага». «Он пришёл домой, чтобы просить дать ему ещё 20, которые он хотел непременно проиграть для того, чтобы показать, что он вовсе не ходит

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 123.
[**] Там же. С. 144.
[***] Там же. С. 146.

с целью выиграть, а ставит большими кушами и проигрывает»[*]. Намерение исполняется быстрее, чем он ожидал. Проиграв 20 (т. е. 400 франков), он берет ещё столько же и — с таким же успехом. Затем, не посягая на сам принцип дозировки денежных выдач, возвращается несколько раз: 20, 10, 10 — все рейсы заканчиваются одинаково. 2000 франков проигрываются с легкостью необыкновенной. «Под вечер, — с грустью говорит Анна Григорьевна, — у нас осталось всего только 66 монет»[**].

На следующий день этот капитал стремительно сокращается до двадцати. Причем с Достоевским снова происходит *история*. Высокий и толстый господин толкает его; на высказанное толкаемым недовольство резонно ответствует, что рулетка — для всех. «Федя сказал ему, чтоб он не брал чужого места. Тогда господин сказал, что "это не кончится для него так, как в прошлый раз"; очевидно, он намекал на трусость того господина и говорил, что в другой раз Феде это так не пройдёт»[***]. Достоевский слышит, как в стороне кто-то сказал: «Началось!» Он понимает, что его могут почесть возмутителем спокойствия и тогда вход ему на рулетку будет заказан — подобно тому, как это случится с его будущим героем Аркадием Долгоруким при ещё более драматических обстоятельствах: тот будет обвинён в воровстве, обыскан и с позором изгнан из «подлой залы» — игорного петербургского подполья.

> Меня вывели, но я как-то успел стать в дверях и с бессмысленной яростию прокричать на всю залу:
>
> — Рулетка запрещена полицией. Сегодня же донесу на всех вас!
>
> Меня свели вниз, одели и… отворили передо мною дверь на улицу.

Рулетки в объединённой наконец Бисмарком Германии запретят только через несколько лет после пребывания Достоевских в Бадене. Но не указывает ли приведённая сцена, что автору «Подростка» были знакомы и тайные притоны Петербурга?

Его герой говорит, что пристрастился ездить «в один клоак», где всё происходило с некоторой грязнотцой, «что многих, впрочем, и привлекало». Для Аркадия даже «клоак» — это всё же какое-никакое, но общество, где он страдает оттого, что никак не научится себя держать. «На всех этих рулетках и сборищах я решительно не умел приобрести себе никакой осанки: то сижу и упрекаю себя за излишнюю

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 144–145.
[**] Там же. С. 145.
[***] Там же. С. 145.

мягкость и вежливость, то вдруг встану и сделаю какую-нибудь грубость. А между тем какие негодяи, сравнительно со мной, умели там держать себя с удивительной осанкой — и вот это-то и бесило меня пуще всего, так что я всё больше и больше терял хладнокровие».

Разумеется, все эти *комплексы* характерны преимущественно для незрелых юношей. Но можно ли категорически утверждать, что здесь не отразился ещё и «взрослый» авторский опыт? «Я, конечно, испытывал наслаждение чрезвычайное, — говорит Аркадий, — но наслаждение это проходило чрез мучение; всё это, то есть эти люди, игра и, главное, я сам вместе с ними, казалось мне страшно грязным». Баденская рулетка — это, разумеется, не аналогичное заведение в Петербурге. Но игра — она и в Африке игра.

Проигрывая, Достоевский почти всегда находит причину. То его нещадно толкают, мешая делать удачные ставки; то «богатый поляк с полячком» выводят из себя своей болтовнёй; то находящийся рядом англичанин распространяет острый запах духов... В Английском клубе, где англичан особенно не наблюдалось, Некрасову было, по-видимому, куда комфортнее и веселее.

Тут, правда, существовала известная разница. Достоевский — играет с судьбой *напрямую*: один на один. Он не вступает в единоборство с *лицом*, если только это лицо не толкает его и тем паче не упрекает в мошенничестве. Некрасову, напротив, необходим олицетворённый противник. Между ним и фатумом всегда присутствует третий.

«Он, — говорит о Некрасове наблюдатель, — сразу определял слабые стороны противника и пользовался ими, заставляя его горячиться и тем делать ошибки...»[*] Для автора «Железной дороги» это прежде всего психологическая дуэль. Он чувствует не только поэтику игры, он знает её технологию, её тайные пружины и смертельные риски. «Он множество раз, — говорит Чернышевский, — излагал мне теорию, как играть, чтобы выигрывать. Сущность верна: “Кого я мало знаю, я смотрю в глаза ему. Не выдержит он моего взгляда, я иду на большую игру с ним: знаю, выиграю, но если он выдерживает мой взгляд, неизвестно, кто кого обыграет. Лучше нам разойтись”. Он понимал, впрочем, и без моего толкования: “Это — испытание силы характера”»[**].

«Муза мести и печали» здесь, разумеется, отдыхает. Некрасов во время игры не столько «страстный к страданию поэт» (как назовёт

[*] *С.У.* Мозаика // Исторический вестник. 1915. № 8. С. 474–475. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 138.

[**] Чернышевский в Сибири. Вып. III. С. 58. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 134.

его Достоевский), сколько опытный, профессиональный психолог. Трудно сказать, как вёл бы себя за картами, если б они его увлекали, тот, кто именовал себя изобразителем «глубин души человеческой». Подобное знание, явленное в тексте, не обязательно сказывается в игре. Писатель за карточным и рабочим столом — это два разных существа. Достоевский скорее всего горячился б, срывался и вряд ли сумел бы достичь некрасовских высот. Тем более что у Некрасова была своя система.

Его тактика заключалась не только в навязывании визуальных единоборств. У него был особый картёжный фонд, предназначенный исключительно для игры — и ни для чего иного. Деньги, правда, откладывались не так, как у Достоевских — в отдельно взятый чулок, а в особенный, специально для этой цели заведённый бумажник. Они были заранее обречены на игру, и сама игра велась лишь в пределах отложенной суммы. «Самое большое зло в игре, — признаётся Некрасов А.М. Скабичевскому, — проиграть хоть один грош, которого вам жалко, который предназначен вами по вашему бюджету для иного употребления»*. Он полагает, что в каждый момент существуют две разных игры — безумно счастливая и несчастная. «Вся мудрость в картах в том и заключается, чтобы уметь уловить первую и вовремя воздержаться от последней. Если же вы будете упорствовать в несчастной игре и добиваться в ней поворота счастья, — пропащее дело».

Эти универсальные заповеди вполне приложимы к рулетке. Достоевский нарушает их как только может. У него нет специально отложенных сумм: на кон ставится всё. Aut Caesar, aut nihil (или Цезарь, или ничего) — вот его внутренний игорный посыл. (Недаром, однако, один из его героев говорит, что игра, если полагать её выходом из беды, есть выход *лакейский*. Автор «Подростка» знает это как художник, но пренебрегает — как игрок.) Продуваясь вчистую, он тщится переломить игру. Притом, сколь это ни странно, у него тоже имеется *система*.

Ещё в 1863 г. он напишет В.Д. Констант (сестре первой жены), что на рулетке все «проигрываются дотла, потому что не умеют играть». Меж тем секрет выигрыша прост. Он состоит в том, «чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться». Пишущий уверен, что при соблюдении этих простых условий проиграть невозможно, зато выигрыш — гарантирован.

---

* *Скабичевский А.М.* Кое-что из моих воспоминаний // Новости. 1892. № 215. Цит. по: Некрасов в воспоминаниях и документах. С. 131, 132.

Но, не без усмешки (в том числе, видимо, и над самим собой) добавляет Достоевский, дело в том, что «постигнув секрет, умеет ли и в состоянии ли человек им воспользоваться? Будь семи пядей во лбу, с самым железным характером и всё-таки прорветесь. Философ Страхов и тот бы прорвался»[*].

Николай Николаевич Страхов помянут, скорее всего, не случайно. Только что по его литературной оплошности (из-за статьи «Роковой вопрос», благонамеренной, но туманной и потому превратно истолкованной начальством) был закрыт журнал братьев Достоевских «Время». Достоевский, очевидно, хочет сказать, что при всей своей философской предусмотрительности Страхов не смог бы расчесть последствия[**]. Жизнь — это тоже рулетка.

И тогда же, в 1863 г., Михаил Михайлович Достоевский рекомендует младшему брату придерживаться тактики, весьма похожей на некрасовскую: «<Как ты играешь,> всегда будешь в проигрыше: нужна известная система в игре. Выиграл 10 т<ысяч> и баста на время. Из них 7 т<ысяч> на другой же день ты должен был послать ко мне, для того чтоб я положил их для тебя в банк, а на остальные продолжай играть, и поверь ты будешь играть на них совсем легче»[***]. Но такие советы — не для будущего автора «Игрока».

«А так как я, — заявляет Аркадий Долгорукий, — и до сих пор держусь убеждения, что в азартной игре, при полном спокойствии характера, при котором сохранилась бы вся тонкость ума и расчёта, невозможно не одолеть грубость слепого случая и не выиграть — то, естественно, я должен был тогда всё более и более раздражаться, видя, что поминутно не выдерживаю характера и увлекаюсь, как совершенный мальчишка».

Автор «Подростка» ведёт себя именно так: как мальчишка.

В ожидании Годо

Если «тургеневский день» принес игровую удачу, то назавтра от вчерашних 50 золотых остается лишь 25. Однако не проходит и пары-

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_2. С. 40.

[**] Кстати, через много лет Страхов-таки «прорвался», если иметь в виду его печально знаменитое письмо 1883 г. Л.Н. Толстому с крайне негативными оценками Достоевского, в том числе обвинением его в педофилии. И этот страховский «прорыв» — в историко-литературном плане — повёл не совсем к тем последствиям, на которые рассчитывал автор. См.: *Волгин И.Л.* 1) Последний год Достоевского. С. 239–249; 2) «Уйти ото всех». Лев Толстой как русский скиталец // Толстой Л.Н. Последний дневник. М., 2010. С. 487–488.

[***] Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. А.С. Долинина. С. 540.

тройки часов, как семейный капитал стремительно возрастает — на 40 монет, что вновь немедленно отмечается фруктами и вином. Является и букет — «немного меньший, но тоже великолепный»[*]. Это повторное подношение ещё более утешает скромную в желаниях адресатку. «Решительно Федя меня балует», — замечает она. Цветы знаменуют успех: они становятся частью победного ритуала. Их постоянному покупателю предоставляется скидка. Хозяйка магазина, где Достоевский приобретает вино, увидев его с очередным букетом в руках, осведомляется, как давно он женат. «Я думаю, — замечает Анна Григорьевна, — она удивилась, что вот уже люди живут пять месяцев вместе, а муж носит своей жене букеты...»[**] Пять месяцев, по мнению автора дневника, — слишком долгий для букетоношения срок.

...У него была такая привычка: «сначала огорчить человека, а затем сильно обрадовать». Чаще всего он возвращается с рулетки далеко не в лучшем расположении духа. Но иногда после ритуальных жениных утешений вдруг вываливает на стол кучу серебра. Известный детский приём — оттенить удачу обманным нагнетанием негатива, грядущую радость — временным отдалением от неё. Этот нехитрый розыгрыш удаётся ему на славу. И тогда, вдохновлённый собственным везением и искренним ликованием близких (в число каковых входит одна Анна Григорьевна), он, как уже говорилось, рьяно берётся за устроение быта.

«Феде так и не сидится на месте. Он спросил меня, не надо ли чего-нибудь купить. Он нынче ужасно как любит ходить за покупками, так что совершенно избавляет меня от этого затруднения», — записывает благодарная Анна Григорьевна[***].

Он приходит нагруженный, доставляя заказанные супругой сыр, апельсины, лимон. А сверх того — презент, о котором здесь, в центре Европы, Анна Григорьевна не смела и помыслить: любимые ею рыжики. Он находит их в какой-то немецкой лавке, хозяин которой после долгих расспросов, коверкая милое русскому уху название, признаётся в наличии экзотического продукта. «Ну, это так муж! милый муж, что достал для жены в Бадене русских рыжиков», — восклицает Анна Григорьевна, удивлённая не столько проявленным к ней вниманием, сколько расторопностью и сметливостью «милого мужа», который, живя долгое время в Дрездене, никак не мог запомнить, где располагается королевская картинная галерея, куда

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 133.
[**] Там же. С. 137.
[***] Там же. С. 143–144.

нередко хаживал, а тут, в Бадене, без затруднений нашел примеченную им ранее съестную лавочку.

К рыжикам присовокупляются клюква, французская горчица, икра — «одним словом, всё, что я только люблю»[*]. Такой преимущественно русский стол доставляет Анне Григорьевне неизъяснимое утешение. Во-первых, в какой-то мере удовлетворяется её патриотическое чувство. А во-вторых, этот ностальгический рацион как нельзя более соответствует вкусам женщины, находящейся на втором месяце беременности.

Рыжики покупаются в понедельник 15 июля. А в четверг 18-го проигрывается последний золотой. Накануне их было 166 (3320 франков или свыше 800 рублей) — сумма достаточная не только для более или менее сносного существования за границей, но и для того, чтобы поддержать «поганую орду». Теперь же не на что не то чтоб играть — не на что жить. Нет даже денег, чтобы уехать из околдовавшего их ненавистного города («О баденцы, проклятое отродье...» — начнет сочинять стих не склонная к поэтическим медитациям Анна Григорьевна). Спешно закладываются единственные *материальные ценности* – а именно серьги и брошь. «Мне это было ужасно как больно; я так любила эти вещи, ведь они мне были подарены Федею». Она понимает, что больше их не увидит никогда. И Достоевский понимает это не хуже её. «Федя стал предо мной на колени, целовал меня в грудь, целовал мои руки, говорил, что я добрая и милая, что ещё и нездоровая, и что лучше меня нет никого на свете»[**]. Он уходит на рулетку, оставляя её в состоянии полного отчаяния, которое, впрочем, при нём никак не выказывается. Зато в его отсутствие она плачет громко, навзрыд — как случалось с ней лишь один только раз, во время визита кредиторов накануне свадьбы.

...Разумеется, он проигрывает всё: в том числе только что полученные закладные деньги. Тогда в ход идет сначала его, а затем и её обручальное кольцо. И уже не он, а она становится на колени и — пытается как может утешить его.

«Федя облокотился на стол рукою и заплакал. Да, Федя заплакал; он сказал: “Я у тебя последнее украл, унёс и проиграл” <...> Потом мы несколько времени сидели на диване, обняв друг друга»[***]. В очередной раз произносится клятва (которой вряд ли верит кто-то из них), что это — в последний раз и что больше он на рулетку ни ногой.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 144.

[**] Там же. С. 146.

[***] Там же. С. 147.

При всём при том она старается быть весёлой: смеётся, даже рассказывает анекдоты. Достоевский же, хотя и не предаётся веселью, тоже не теряет надежды. И надежда эта одна — он сам. Он знает, что у него есть только один спасительный выход — данный Богом талант. Его ничуть не волнует, что на проценты с этого капитала будет жить вовсе не он. А те отдалённые от него потомки, для коих слово его станет душевной необходимостью — или, на худой конец, *плановой темой*. Об этом он не задумывается. Ему внятно одно: для того чтобы выжить, он должен без всякой пощады тратить свой дар — здесь и сейчас.

Проигрываясь в прах, он как будто намеренно загоняет себя в тупик. Все средства испробованы, все козыри биты, отступать более некуда и надеяться не на что. Остается только одно — писать. Это — то, что в старину обозначалось на пушках: "Ultima ratio regum" («Последний довод королей»).

...Для Анны Григорьевны ужас положения отчасти смягчается тем, что, явившись «прощаться», муж говорит ей о своей любви — столь сильной, что за неё готов положить голову на плаху. Очевидно, сделать это ему легче, чем вовсе отказаться от игры.

...Попытки заложить или продать носильные вещи, как то: шубку Анны Григорьевны, её же мантилью, его пальто и сапоги и т. д. оканчиваются ничем или приносят копейки (которые, впрочем, тут же проигрываются). Достоевский решается идти в «Европейский двор» — к тоже проигравшемуся, по его наблюдениям, Гончарову — и просить его одолжить три золотых (т. е. 60 франков или 15 рублей). «"Сколько, сколько?" — вскричал Гончаров. Федя повторил, что три золотых. — "Ну, столько-то я могу всегда ссудить, — отвечал тот, — но никак не больше, потому что я и сам еду через неделю в Париж, следовательно, мне деньги нужны"»[*]. (Позднее благодарный заёмщик — который когда-то в частном письме так охарактеризовал Гончарова: «с душою чиновника, без идей и с глазами варёной рыбы, которого Бог будто на смех одарил блестящим талантом»[**], — с чувством напишет Майкову: «Но дай Бог ему здоровья, милому человеку: когда я проигрался дотла (а он видел в моих руках много золота), он дал мне, по просьбе моей, 60 франков взаймы. Осуждал он, должно быть, меня ужасно: "Зачем я всё проиграл, а не половину, как он?"»[***])

---

[*] *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 153.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 244.

[***] Там же. Т. 28_2. С. 210.

«Так они расстались, — сообщает Анна Григорьевна, — очень сконфуженные друг другом»*. Чуть позже неловкость возрастёт в сильнейшей степени: они узрят друг друга на рулетке как раз в тот момент, когда Достоевский будет проигрывать гончаровские деньги.

«Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом...» — будет сказано десятилетие спустя в «Дневнике писателя». Уж не баденские ли встречи имеются тут в виду?

«Голова моя обратилась в мельницу»

27 июля (15-го по старому стилю) был *их день*: пять месяцев, как они стали мужем и женой. Событие было отмечено с приличествующей случаю торжественностью: на последние деньги куплена бутылка вина.

...Они пробудут в Бадене ещё почти целый месяц. Счастья (если подразумевать под оным крупный выигрыш) так и не случится. Случится другое: семья устоит. Безнадёжнее часа в их жизни уже не будет. Хотя впереди их ещё ждут не столь малые беды: опять безденежье, опять кредиторы, болезни, размолвка с родными, смерть детей... Они едут из Баден-Бадена в Женеву — спасая себя и будущего ребёнка, которому суждено совсем ненадолго скрасить их жизнь. Достоевский, проведший лето «в ожидании Годо», как можно поименовать его предроманное состояние, наконец садится за *рабочий* стол. (Что не мешает ему иногда срываться к другому столу, в игорный Саксон-ле-Бэн — всё в той же надежде: а вдруг?) Долг Каткову (деньги, забранные вперед за роман) достигает четырёх с половиной тысяч. А в «Русский вестник» всё еще не отправлено ни строки. Однако «чёрным по белому» за осень написано, кажется, не так уж и мало. Чтобы поспеть в первый, январский номер (редакция честным словом заверена, что автор не подведёт), надо отправить начальные главы не позднее 11 (по новому стилю) января. «...Но, — напишет он Майкову, — 4-го декабря иностранного стиля бросил всё к черту». Практически за месяц до срока он уничтожает написанное и начинает с нуля. «Уверяю Вас, что роман мог бы быть посредствен; но опротивел он мне до невероятности именно тем, что посредствен, а не *положительно хорош*»**.

---

* *Достоевская А.Г.* Дневник 1867 г. С. 153.

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 239.

Он мог бы отправить и этот, как он полагает, посредственный роман — и больше не знать забот. Ведь о его посредственности догадывается пока только сам творец. Редакции «Русского вестника» об этом вовсе не обязательно знать. Они готовы принять любой текст — не только потому, что Достоевский задолжал им огромную сумму. Но и не в последнюю очередь потому, что автор — Достоевский.

Однако именно по этой причине написанное не устраивает его.

Он начинает *выдумывать* новый роман (за месяц до публикации!). «Я думал от 4-го до 18-го декабря нового стиля включительно. Средним числом, я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно. Голова моя обратилась в мельницу. Как я не помешался — не понимаю. Наконец 18-го декабря я сел писать новый роман...»[*]

«Начал диктовать новый роман, — подтверждает Анна Григорьевна в записи от 22 декабря, — старый брошен». И чуть ниже приписывает: «1867 год кончен».

Но здесь кончается и дневник. Их семейная жизнь, фиксируемая ежедневно, закрывается для постороннего взгляда. Возможно, что это и к лучшему.

5 января 1868 г. первые главы «Идиота» отправляются в Москву (вся обещанная в январский номер порция уйдет 11-го). В России ещё длится 1867-й — их первый год. Излагая Майкову идею романа — *«изобразить вполне прекрасного человека»* (не потому ли роман должен быть не посредствен, а «положительно хорош»?), — он говорит как о грандиозности замысла, так и о неимоверной трудности его исполнения. «Только отчаянное положение моё принудило меня взять эту невыношенную мысль».

Далее следует фраза: «Рискнул как на рулетке...»[**]

Что ж: по крайней мере, он верен себе.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28_1. С. 240.

[**] Там же. С. 241.

Из книги:

СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ

Странные сближенья. Национальная жизнь как литературный сюжет
М., 2019. Академический проект. 639 с.

Книга состоит из пяти частей и 51 главы. Собственно, Достоевский не является главным героем этого многоаспектного повествования. Он опосредованно присутствует лишь в первых четырёх главах, частично представленных в этой публикации: они посвящены уходу и смерти Льва Толстого. Именно эти события соотнесены с финалом жизни автора «Преступления и наказания» (о чём см. «Последний год Достоевского»). Драматическая развязка двух этих писательских жизней представляет исключительный интерес. Основная же часть книги посвящена другим значительным явлениям отечественной (в том числе современной) истории и культуры. Речь в полном варианте книги идёт о двухвековых скитаниях нашего национального духа, важнейшим движителем которого является Достоевский.

УЙТИ ОТО ВСЕХ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК РУССКИЙ СКИТАЛЕЦ

Глава 1 (Часть I)

ЗЕМНАЯ СЛАВА

«Е.Б.Ж.»: условное наклонение

Он никогда не собирался жить долго. Ещё в свои 62 на вопрос посетителя, когда они увидятся вновь, ответил: «Ну, уж не ранее как лет через шестьдесят, на том свете, то есть когда и вы умрёте... Здесь же навряд ли!»[*] Благо посетитель не понял это в том смысле, что его визитов больше не ждут.

Вообще, мысль о смерти никогда не оставляла Толстого. Это одна из его неотступных дум: фундаментальнейшее переживание (в пределе «арзамасский ужас»), определяющее всё остальное[**]. Раньше, правда, он не загадывал свои сроки. Однако заметное убывание физических сил и, может быть, сознание того, что главное дело жизни совершено, — всё это подвигает его трезво оценивать ближайшие перспективы. Он ни разу не говорит о ещё отпущенных ему *годах:* речь всегда идёт о днях, в лучшем случае — месяцах. Автор вполне понимает, что этот дневник — предсмертный.

---

[*] *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым: Дневники. Письма. Тула: Ясная Поляна, 2009. С. 110.

[**] См. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 462–465 и др.

«Е.б.ж.» (если буду жив) — привычная аббревиатура, завершающая очередной день и предваряющая день грядущий, обретает сугубо практический смысл: Толстой не может поручиться ни за один час.

Ещё в конце 1907-го, рассчитывая сроки работы над поглощавшим все его силы «Кругом чтения», он прикидывает, что она займёт более года. «Я почти уверен, что этого не проживу»[*]. Он проживет чуть больше — помня о близком конце.

Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Фет, Гаршин умерли *внезапно*. Некрасов, Салтыков-Щедрин и Тургенев долго болели. Но, кажется, только Гоголь сознательно торопил процесс и даже, как выражается Андрей Синявский, дирижировал собственными похоронами. У Толстого, несмотря на все его недомогания, нет какой-то явной, опасной для жизни болезни. Он ещё достаточно крепок. Во всяком случае, вплоть до последних дней самостоятельно садится на лошадь и совершает длительные (а иногда и рискованные) конные прогулки. Он ежедневно помногу ходит пешком. Он даже пытается за несколько дней до ухода вновь заняться гимнастикой, но по неловкости обрушивает на себя стоящий в комнате шкаф. («То-то дурак 82-летний»[**].) Правда, он часто хворает и в дневнике постоянно жалуется на усталость и слабость. Но, учитывая тот образ жизни, который он ведёт, и объём совершаемой ежедневно работы, вряд ли можно говорить о старческой немощи или угасании умственных сил (сюжет, который хотели бы обсудить иные родственники в надежде оспорить его завещание).

«Приятно б<ыло> думать, — записывает он после одного из показавшихся ему серьёзными недомоганий, — что мы<сль> о том, ч<то> это может быть смерть, не б<ыла> нисколько тяжела мне»[***]. Страх смерти преодолён, как, впрочем, и жажда жизни. «Как раз на точке равнодушия: не желаю и не боюсь ни жизни, ни смерти»[****].

«Я к смерти готов», — скажет через четверть века 43-летний поэт, которому в год ухода Толстого исполнится девятнадцать. Автор «Мы живем, под собою не чуя страны...» имеет в виду готовность к внезапному — с помощью государства — прекращению личного бытия: для таких, как он, эпоха почти не оставит шансов. Толстому, говорившему правду в лицо царям, эта участь, слава богу, не грозит. Хотя он и призывает казнящую своих противников власть покарать

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 56. С. 78.
[**] Там же. Т. 58. С. 142.
[***] Там же. С. 28. 21 марта 1910 г.
[****] Там же. С. 31. 31 марта 1910 г.

и его, «чтобы я своей тяжестью затянул на своём старом горле намыленную петлю»[*]. (И, пожалуй, это «старое горло» — самый сильный зрительный образ в его статье «Не могу молчать».) У него есть время, чтобы подготовиться к естественному уходу (пусть даже в свете того, что случится, эпитет «естественный» выглядит весьма условно).

«Готовлюсь к смерти, но плохо. Не равнодушен» (26 февраля)[**]. Остаётся гадать — неравнодушен *к чему:* к жизни или всё-таки к смерти. Он никак не может достичь вожделенного «буддистского» состояния духа: он слишком для этого жив или, если угодно, слишком смертен.

Веря в бессмертие души, Толстой не хочет (вернее, не позволяет себе) думать о *форме* своего загробного бытия. Это для него пустое праздномыслие, ибо «тайна сия велика есть». Он заносит в одну из записных книжек 1908 года: «Говорят о бессмертии души, о будущей жизни. Что тебе до будущего? Тебе дана возможность всё увеличивающегося и увеличивающегося блага, чего же тебе ещё? Вопрос о будущей жизни — это вопрос о том: как я буду ездить верхом, когда у меня не будет лошади, или что-нибудь подобное»[***].

В рассуждении о смерти для него чрезвычайно важна степень готовности к ней. Он желает не пропустить этот торжественный миг, пережить его, как всё, что он делает, в полном и неомрачённом сознании. Бесконечная вера в разум позволяет ему надеяться, что и на этот раз он сможет постигнуть истинный смысл происходящего.

17 октября 1910 года, после случившегося с ним накануне припадка, во время которого он потерял сознание, он пишет Черткову, что хотя «такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, оч<ень> хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, к<отор>ые могут быть так прекрасны»[****]. «Дорогие минуты» наступят через две недели.

Смерть — *личная трудность* Толстого. Он пристрастен к ней ещё и потому, что из его религиозного миропонимания изъята та встреча, о которой пророчествует Церковь. Переход к Богу (к толстовскому Богу) не есть одновременно и предстание перед Христом. То, что утешало бессчётное множество поколений, то, что для верующих есть олицетворение и залог бессмертия, что примиряет их

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 37. С. 95.
[**] Там же. Т. 58. С. 20.
[***] *Он же.* 1908. С. 139.
[****] *Он же.* ПСС. Т. 89. С. 226.

с земною судьбой, — всё это не существует для Толстого. Властно устранивший Церковь в качестве посредника между собой и своим Небесным Отцом, он лишает себя и посредничества (заступничества) Того, кого не желает считать второй ипостасью Троицы, отказываясь от Его покровительства. Полагая себя истинным христианином (т. е. твёрдым и сознательным последователем *учения* Христа), он в свой последний год не ждёт и не ищет поддержки в мистической полноте православия. Его вера зиждется не на отрицаемом им воскресении Христа, а исключительно на внутреннем, подтверждаемом тем же разумом убеждении. Его «одиночество на миру», может быть, усугубляется тем, что на призыв «Христос воскресе» он не может вместе со всеми ответствовать: «Воистину воскресе».

«...Та вера, — пишет он в своём вступлении к исследованию Евангелия, — которую исповедует наша иерархия и которой она учит народ, есть не только ложь, но и безнравственный обман»[*]. Толстой убеждён, что все чудеса, о которых толкуют Евангелия, есть позднейшие выдумки, ничего не добавляющие к совершенному самому по себе учению: «В том, что в христианском учении была сама истина жизни, я уже не сомневался». «Чистый» смысл проповеди Иисуса из Назарета важнее для него, чем какие бы то ни было сопровождавшие её чудесные обстоятельства[**].

Один из героев Достоевского говорит, что от созерцания картины Гольбейна-младшего «Мёртвый Христос в гробу» может пропасть вера. Для искренне верующего Толстого мёртвый Христос навсегда останется мёртвым: его вере не обязателен *прецедент*.

На Пасху 1908 года, повествует М.С. Сухотин (муж его старшей дочери), «...Л.Н. не преминул пустить несколько ядовитых замечаний по поводу воскресения. “Помимо невозможности воскресения с физической точки зрения, как можно допустить, чтобы Христос воскрес только для того, чтобы сказать несколько глупостей, половить рыбу и затем исчезнуть?!”» Сухотин вспоминает, как за четверть века до того, опять же на Пасху, произнеся «Христос воскресе», он двинулся к Толстому, чтобы его облобызать. «Он остановил меня рукой: “Милого Мишу Сухотина с удовольствием поцелую, но при чём тут Христос, не понимаю, а ещё менее того понимаю, как он мог воскреснуть». И затем ласково меня поцеловал»[***].

---

[*] *Толстой Л.Н.* Соединение, перевод и исследование четырёх Евангелий. Т. 1. М.: Посредник, 1907. С. 3, 4.

[**] См. подробнее: Последний год Достоевского. С. 530–543 и др.

[***] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 380.

«Чем ближе смерть, — записывает он в 1907 году, — тем сильнее чувствую обязанность сказать то, что знаю...»* Меньше всего он подразумевает здесь то, что «знает» его художественный талант.

Urbi et orbi

Поразительно: на страницах своего дневника Толстой почти не вспоминает о том, что он — автор знаменитых рассказов, романов и повестей, самодержавный властитель сотворённого им волшебного мира (хотя порой не без удивления отмечает позывы к чисто художественной работе). Он не оценивает свой вклад в мировое сознание в таких категориях и с такой — ныне не столь важной для него — точки зрения. Он иронизирует над прилепившейся к нему формулой — «великий писатель русской земли» («Почему не воды?»). Он убеждён, что перед человеком стоят слишком серьёзные задачи, чтобы тот отвлекался от них, предаваясь искусству. Или — что ещё огорчительнее — наслаждаясь им. Слушая фортепьянную игру Гольденвейзера, которая не раз исторгала у него слёзы, он признаётся, что «к стыду своему» его волнует эта игра**. «Я должен сказать, — говорит он, в очередной раз послушав Шопена, — что вся эта цивилизация — пусть она исчезнет к чёртовой матери, но — музыку жалко!»***

Его волнует игра, хотя, по его мнению, серьёзная музыка не может утешить тех, кто денно и нощно бьётся с бедностью и нуждой. Он сочувственно цитирует «какого-то маленького немецкого царька»: «“Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки”. Это — верная мысль, верное наблюдение...»****

Толстой уверен, что о религиозных вопросах следует говорить «с величайшей осторожностью и вниманием без риторики фраз и помилуй Б<ог> — рифм»*****. Если первое вполне справедливо, то последнее не может не изумить. Куда девать тогда державинское «Восстал всевышний Бог да судит...» или пушкинское «Отцы пустынники и жёны непорочны...»? Не предстают ли эти стихи одновременно и откровением религиозным? Христос, между про-

---

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 56. С. 78.

** *Он же.* Т. 58. С. 22.

*** *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л.Н. Толстого. М.: ГИХЛ, 1960. С. 124.

**** *Горький А.М.* Лев Толстой // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 463.

***** *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 57. С. 181. 3 декабря 1909 г.

чим, предпочитает говорить притчами: он знает толк в образной речи.

Главное для Толстого — *мысли* мудрых учителей, собранные им и расположенные по дням и неделям года. Именно этим максимам, а не каким-то поэтическим отвлечённостям надлежит вывести людей на правильную дорогу. Поэтому он ценит в себе прежде всего проповедника и моралиста, постигшего ряд простых и доступных всякому истин и спешащего как можно доходчивей сообщить это знание другим.

При всём при том он готов на столь жестокие самообличения, что даже у многих из тех, кто преклоняется перед грандиозностью его натуры, это может вызвать подозрение в неискренности, а пожалуй, и в ханжестве. Но Толстой так же беспощаден к себе, как и ко всему, что не совпадает с его идеалом. «Редко встречал человека, — пишет он, — более меня одарённого (тут он имел бы полное право поставить точку, но тогда это был бы не Толстой) всеми пороками: сластолюбием, корыстолюб<ием>, злостью, тщеславием и, главное, себялюбием. Благодарю Бога за то, ч<то> я знаю это, видел и вижу в себе всю эту мерзость и всё-таки борюсь с нею. Этим и объясняется успех моих писаний»*.

Итак, он мыслит свою писательскую удачу как следствие поставленного над самим собою эксперимента. Не акт творчества формирует его как личность — а, напротив, осмысленная борьба со всем низменным в себе позволяет ему создать нечто значительное. Свой литературный успех он опирает преимущественно на этическую основу: талант при этом как бы не берётся в расчёт.

Между тем всё философское, всё учительское в Толстом держится на его художественном авторитете. Начни он своё проповедничество как «чистый» мыслитель, профессиональный философ, интеллектуальный бунтарь, даже ересиарх — это никогда бы не произвело такого могущественного воздействия. Но именно то, что провозвестником новой веры явился не кто-нибудь, а автор «Войны и мира» — именно это привлекает к нему симпатии образованного (а затем — и не слишком образованного) общества. Из-за Толстого-проповедника стыдливо выглядывает вызывающая тем не менее всеобщее восхищение фигура гениального творца: именно она — хочет этого или нет «сам Толстой» — освящает все его «странности и уклонения». Отвергая искусство, он заставляет слушать себя ещё и в силу того, что сам есть его зримое воплощение.

---

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 90. 7 августа 1910 г.

Постигнув, как он полагает, истину, Толстой одержим стремлением безвозмездно передать её всем желающим. (Ровно так же он поступит со своим литературным наследием.) Он понимает, что далеко не все способны (а тем паче обязаны) пройти тот духовный путь, который проделал он. Поэтому он хотел бы представить результаты своей внутренней жизни на общую потребу — в виде уже готового к использованию «продукта». Он уповает на то, что непредвзятому «потребителю», если только тот не лишён здравого смысла, не составит труда согласиться с ним и принять его аргументы. Автор «Анны Карениной» (где героям приходится иногда поступать вопреки голосу рассудка) начинает вдруг напоминать нелюбимых им утилитаристов 1860-х, во всём послушных доводам ratio. Например, Писарева, уверявшего, что поэзия не имеет собственной ценности и её единственная задача — облегчить читателю усвоение того, что предлагает наука. Или Чернышевского, который в споре с философом Юркевичем сетовал, что тот не может разделить его взгляды исключительно потому, что не читал тех книг, которые прочёл он, Чернышевский, и любезно предлагал своему оппоненту имеющийся у него запас сочинений. (Автор «В чём моя вера?» тоже раздаёт свои нравоучительные книжки — отнюдь не романы! — всем желающим.)

Толстой не только взваливает на себя исполинскую задачу — довести до общего сведения весь объём мировой мудрости, которая, в свою очередь, подтвердила бы его правоту. Он щедро добавляет к этим накопленным веками сокровищам плоды собственных размышлений. Порой начинает казаться, что насельник Ясной Поляны думает за всё человечество, являя собой некий орган всемирного духа. Но он ещё и молится, чтобы его *не миновала* чаша сия. Напротив, он готов с радостью испить её до дна, хотя, может быть, в глубине души понимает, что ему ни при каких обстоятельствах не позволят этого сделать.

Увы: речи, обращённые urbi et orbi, достигают сравнительно немногих. Ленин, наградив его парой увесистых комплиментов, выразится с присущей ему прямотой: «истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом»[*]. Он, очевидно, имеет в виду и основную толстовскую аудиторию. Однако та самая публика, которую не без знания дела клеймит тот, о ком будет позднее сказано «идеалист, интеллигент», относится к Толстому (вернее,

[*] *Ленин В.И.* Лев Толстой как зеркало русской революции // В.И. Ленин о Л.Н. Толстом. М.: Художественная литература, 1972. С. 18.

к его духовным поискам) с лёгким пренебрежением, словно бы не всерьёз. В чём, кстати, несколько напоминает Софью Андреевну, которая, упиваясь славой мужа, вовсе не одобряет его *чудачеств*. И если призывы к непротивлению и ограничению материальных потребностей, целомудренной жизни и т. д. ещё находят какое-то количество последователей, то рассчитывать на массовое (прежде всего — крестьянское) сознание не приходится. Ещё меньше шансов поколебать основы веры, давно укоренившейся на Руси. (Большевикам в этом отношении будет проще: не вдаваясь в теологические споры о божественности Христа, они просто упразднят всю Троицу.)

Толстовство всё больше обретает черты замкнутой секты. Её адепты соединяемы не столько учением, сколько личностью основателя. Преследуя тех или иных толстовцев (за распространение запрещённых сочинений, отказ от воинской службы и т. п.), правительство не решается трогать *самого*. Любая репрессия по отношению к яснополянскому сидельцу выставила бы инициаторов этой затеи в довольно-таки дурацком виде. Такая вынужденная индифферентность правительства не то чтобы оскорбляет Толстого, но скорее вызывает у него острую моральную тревогу. «Верный признак того, что вся моя деятельность пустая, то, — записывает он 19 апреля 1908 года, — что на меня не только нет гонений, но меня восхваляют». И добавляет: «Хорошо для смирения»[*]. Для смирения, разумеется, гордыни, которая может явить себя как в желании хвалы, так и в призываемом мученичестве.

Власть понимала, что с её стороны было бы очень неумно сотворять из 80-летнего Толстого политического страдальца (он как бы сам провоцирует правительство на бездействие, публично призывая покарать его, Толстого, как можно жесточе). Даже после прогремевшего на весь мир «Не могу молчать» (1908), когда тяжкие моральные обвинения (без сомнения, могущие навлечь на любого другого автора всю полноту уголовного преследования) были брошены в лицо не только высшим чиновникам государства, но и самому государю, — даже тогда власть предпочла *не реагировать*.

Впрочем, опасения подобного рода существовали: обыск и домашний арест многим представлялись не самым худшим исходом.

Около полувека тому назад, в 1862 году, в Ясной Поляне уже проводился обыск: искали печатный станок[**]. Вызванный глупым и не-

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 56. С. 116.

[**] См.: *Сергеенко П.А.* В Ясной Поляне // Интервью и беседы с Львом Толстым. М.: Современник, 1986. С. 247, 486.

лепым доносом, он закончился ничем. Благо хозяина тогда не застали — иначе дело могло бы кончиться и кровью. Взбешённый и оскорблённый Толстой выразил готовность покинуть Россию. Инцидент не получил сколько-нибудь широкой огласки. Теперь, в 1910-м, Толстой, надо думать, принял бы гипотетическое вторжение в свой дом гораздо спокойнее. Зато общественный резонанс был бы оглушительный*.

Конечно, раздающиеся из Ясной Поляны инвективы равнозначны действию сотни печатных станков. Но Толстой был единственным человеком в России, который публично мог говорить всё, что ему вздумается, обладая при этом статусом неприкосновенности. Единственное, чем могла утешиться власть, — это то, что, отрицая российский политический и экономический строй, он тем не менее не призывал разрушить его силой.

Ни идейные террористы, ни экспроприаторы-практики, ни фанаты грядущего пролетарского мироустройства не вызывали у него ни малейших симпатий. Правда, он замечает: «Им в одном нельзя отказать: у них есть искреннее негодование против зла»**.

Как заметит позднее по поводу «Воскресения» один поэт: не хотели суд присяжных, получили «тройки».

---

* Интересно, что первый в России подпольный печатный станок — в отличие от толстовского, скорее всего, реально существовавший, — полиция пыталась обнаружить ещё в 1849 году, во время дела петрашевцев (см. подробнее: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот. М.: Академический проект, 2017).

** *Толстой Л.Н.* 1908. С. 204.

Глава 2

ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

«Шекспир его раздражает»

В жизни они никогда не встречались — хотя возможность была[*].

Умерев, автор «Бесов» так и не сможет занять в мире Толстого какого-то твёрдого и определённого места. Он то умиляет, то раздражает автора «Войны и мира» — причём порой это происходит одновременно.

22 сентября 1885 года Толстой беседует с писателем Г. Данилевским, который не замедлит поведать об этом разговоре в журнале «Исторический вестник»: «Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нём неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы, подобно тому, как один немец, по словам Карлейля, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него в любой момент нельзя закурить сигару»[**].

Метафора выразительная и по отношению к Достоевскому лестная, хотя о самом писателе сказано довольно общо. Отмечена его писательская независимость — черта, всегда импонирующая Толстому.

В феврале 1910 года он наталкивается в «Русской старине» на статью о пребывании Достоевского в каторге — и вдруг вспоминает о том, «сколько интересного материала заключается в сочине-

---

[*] Об истории этой знаменитой невстречи, как и о других аспектах взаимосуществования двух великих современников, см. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 239–263, 530–544 и др.

[**] Интервью и беседы с Львом Толстым / Сост. В.Я. Лакшин. М.: Современник, 1986. С. 28.

ниях Достоевского и как мало он заимствовал оттуда»[*] для своего сборника «На каждый день». А ведь Достоевский ставится им рядом с Гоголем и «как это ни странно» Пушкиным — писателями, которых Толстой особенно ценит. Впрочем, *ценить* – ещё не значит любить.

Проведав, что Достоевский — любимый писатель В. Булгакова, Толстой восклицает: «Вот как! Напрасно, напрасно! У него так всё спутано — и религия и политика... Но, конечно, это настоящий писатель, с глубоким исканием, не как какой-нибудь Гончаров»[**].

Чехов говорил Бунину, что особенно восхищается презрением Толстого ко всем прочим писателям, «или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто»[***]. Толстой иногда хвалит Мопассана, Куприна, того же Чехова. А вот *Шекспир* его раздражает.

Гончаров, конечно, Толстому *тоже* не соперник. С автором же «Идиота» дело обстоит не столь просто.

Он несколько раз повторяет, что хотел бы включить Достоевского в том мировых мыслителей. Однако мысли, выписанные для этой цели Булгаковым, «не особенно понравились ему.

— Не сильны, расплывчаты, — говорил он. — И потом какое- то мистическое отношение... Христос, Христос!..»[****]

Ему подавай именно *мысли* – в их, так сказать, чистом, беспримесном виде; «художественное» здесь как бы не принимается в расчёт. (Хотя не он ли уверял, что для того, чтобы выразить словами идею «Анны Карениной», «я должен был написать роман тот самый, который я написал»?) Он полагает, что мысль — альфа и омега всего.

Однажды (в 1902-м) на замечание Софьи Андреевны, что переписанная ею статья «О религии» — произведение «очень логичное, но не увлекает и не возвышает душу», он живо возразит: «...То только и надо, чтобы было *логично,* всякая поэзия и возвышенная неясность только путает понимание»[*****].

Ему не нравится *мистика* Достоевского («Христос, Христос!»), под которой, очевидно, он разумеет всё ту же «поэзию и возвышенную неясность». Для него Христос — всего лишь идеолог, учитель, лишённый какого бы то ни было мистического статуса.

---

[*] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 84, 85.

[**] *Он же.* О Толстом: Воспоминания и рассказы. Тула, 1978. С. 66.

[***] *Бунин И.А.* Из литературных воспоминаний // Бунин И.А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1956. С. 271.

[****] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 158.

[*****] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 37–38.

Читал ли он известное письмо Достоевского к Н.Д. Фонвизиной, написанное в 1854 году сразу же по выходе из каторги? (Частично этот текст уже приводился выше). Вопрос этот не возникал никогда. Но, думается, Толстому было бы трудно этот текст не заметить: он был напечатан в сборнике «Помощь голодающим» (1892), где помещалась его собственная статья «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»*.

«Я скажу Вам про себя, — пишет Достоевский, — что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»**.

Достоевский — «дитя неверия»: он не скрывает, что вера его, как будет сказано им позднее, прошла «через горнило сомнений». Собственно через то же горнило прошёл и Толстой — хотя с совсем иным результатом. И оба они признают высшей ценностью одно. Правда, тут можно обнаружить почти незаметное различение.

Для Толстого истина тоже в Христе. Но — в Христе, убеждающем не чудом и даже не «личным примером», а неотразимой логической правотой. Толстой предпочёл бы остаться с *таким* Христом: правым, но не воскресшим. У него вовсе нет сугубо личностного, интимного восприятия Иисуса из Назарета. Он скорее относится к нему *как к коллеге*. Недаром ещё в 1855 году, в возрасте 26 лет, он записал в дневнике: «Вчера разговор о божест<венном> и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии

* Текст Достоевского — на с. 387–390, текст Толстого — на с. 469–586. (Также в сборнике была опубликована сказка Толстого «Работник Емельян и пустой барабан».)

** Цит. по: *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28. Кн. 1. С. 176.

практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле»[*].

Знаменательно, что по прошествии более полувека этот эвдемонический проект не претерпел существенных изменений. «Запись Толстого, — замечает современный исследователь, — поразительно напоминает замысел великого инквизитора в “Братьях Карамазовых”»[**]. Нетрудно вообразить, как бы отнёсся к этой толстовской идее автор названного романа. Даже не жалующий Достоевского, но зато обожающий Толстого В. Набоков так выразится о религиозных воззрениях своего кумира: «помесь буддийского учения о нирване и Нового Завета»[***].

Пометив в дневнике 1860 года, что ему пришла «мысль написать матерьялистическое евангелие, жизнь Христа-матерьялиста»[****], Толстой, собственно, исполнил это замечательное намерение, создав через много лет «соединённый» перевод Нового Завета. Громадный труд (для совершения которого были выучены древнегреческий и древнееврейский) не произвёл ожидаемого эффекта: даже среди прозелитов толстовства нашлось мало охотников вникать в «материалистическую» версию христианства.

Не принимая Иисуса в качестве Бога, Толстой, однако, не очень-то жалует его и как человека.

Карта звёздного неба

«Я начал с того, — напишет он в своём ответе Синоду, — что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, *как я его понимаю»*[*****].

Толстой понимает христианство очень своеобразно.

«О Буддизме и Христе, — свидетельствует Горький, — он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 47. С. 37. 4 марта 1855 г.

[**] Прометей. Т. 12. М., 1980. С. 115.

[***] *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 223.

[****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 48. С. 30. 13(25) октября 1860 г.

[*****] Граф Лев Николаевич Толстой. Ответ на определение Синода от 20–22 февраля и полученные мною по этому случаю письма // Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 355.

и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню — его девки засмеют»[*].

«Я люблю истину...» — будет шептать он в предсмертном бреду: в отличие от Достоевского он хочет *остаться* именно с ней.

...В своё время, вспоминает автор «Бедных людей», Белинский «ругал мне Христа по матерну» (причём у слушателя при этом всё лицо изменялось — «точно заплакать хочет»). Очевидно, в этих беседах «неистовый Виссарион» был куда откровенней, чем даже в своём знаменитом послании к Гоголю. Но, говорит Достоевский, «оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться <...> оставался пресветлый лик Богочеловека, Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота»[**]. Толстой не считает эту красоту ни чудесной, ни чудотворной. Он готов признать лишь правоту учения: она-то, по его мнению, и спасёт мир.

«Говорят, — замечает Достоевский, — русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своём сердце искони. В этом нет никакого сомнения». Автор «Дневника писателя» допускает, что даже «без учения о вере» (т. е. без того, чем озабочен Толстой) последнее достижимо и возможно. «...Сердечное знание Христа и истинное представление о нём существует вполне. Оно передаётся из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания»[***].

Толстой «до страдания» любит правду, явленную Христом. Для него в конце концов неважно, кем эта правда возвещена.

...Из шестидесяти четырёх «мыслей» Достоевского, отобранных усердным Булгаковым, Толстой «отметил для включения в свои книжки тридцать четыре»[****]. В сборнике «Путь жизни» (тридцать первая книжка «Жизнь — благо») их осталось только две[*****].

Между тем в художественном опыте своего старшего современника Толстой мог бы обнаружить поразительные *угадки*. Рассуждая о свойствах русского национального характера, автор «Карамазовых», сам того не ведая, указывает на некоторые коренные особенности личности «неистового Льва».

---

[*] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 464.
[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 21. С. 10, 11. Дневник писателя. 1873.
[***] Там же. С. 38. Дневник писателя. 1873.
[****] *Булгаков В.Ф. Л.Н.* Толстой в последний год его жизни. С. 158.
[*****] Там же. С. 437.

Алёша Карамазов сообщает Коле Красоткину мнение «одного заграничного немца, жившего в России»: «Покажите <...> русскому школьнику карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». «Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника», — комментирует Алёша*.

Разумеется, автор «Исследования догматического богословия» далеко не школьник. Прежде чем приступить к «исправлению карты» (будь то всемирная история, религия, *Шекспир* и т. д.), он старается самым тщательным образом изучить предмет. Но характерен порыв. «Пересмотр мироздания» совершается без священного трепета и поклонения авторитетам; на «карту» взирают чистым, ничем не затуманенным взглядом. Недаром приведённый сюжет вызывает у юного собеседника Алёши полный восторг: «Браво, немец! <...> Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится <...> но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения <...> Но всё-таки немец хорошо сказал! Браво, немец!»

«Браво, немец!» — могли бы воскликнуть и мы, отнеся наблюдение уже не к гипотетическому русскому школьнику, а к самому Льву Николаевичу Толстому. «Исправление карты» — сугубо российская черта, в чём, кстати, убеждает нас социальная практика XX века.

Да и в своём религиозном бунтарстве Толстому есть на что опереться.

В «Дневнике писателя» 1873 года Достоевский приводит рассказ некоего исповедника-старца — о приползшем к нему на коленях деревенском парне: тот, по его собственному признанию, совершил величайший грех — по наущению дружка задержал во рту причастие, вынес его из храма и, положив в огороде на жердь, стал прицеливаться в него из ружья. Но как только он собрался выстрелить, ему явился на кресте Распятый, и он «упал с ружьём в бесчувствии».

Достоевский говорит, что упомянутые кощуны (подстрекатель и исполнитель) представляют собой «два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом». В чём же заключается эта столь поразившая автора национальная черта? «Это прежде всего забвение всякой мерки во всём <...> потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении дойти

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 14. С. 502.

до пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в неё как ошалелому вниз головой»[*].

Толстой ни в коей мере не признаёт себя осквернителем святынь. Он никогда не «приползёт» к старцу с сокрушением и раскаянием. (Хотя после ухода, уже в Оптиной, будет *нарезать круги* вокруг кельи старца Иосифа — в надежде на встречу.) Он «бросается в бездну» с полным сознанием собственной правоты, с упованием, что это и есть достойный каждого думающего человека исход. Он, говорит Достоевский (не о Толстом, разумеется, а о своём «деревенском Мефистофеле»), «придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую, и в её выборе выразилось целое мировоззрение народное»[**].

Итак, «неслыханная дерзость» — это тоже русское ментальное свойство. Но если «внизу» оно выступает как дикое озорство, искушение и преднамеренное, грозящее вечной гибелью кощунство, то «вверху» (у Толстого) — это осознанное религиозное вольномыслие (своего рода проявление свободы совести), которое служит орудием для достижения истины. Исходный импульс этих порывов различен; тем более несравнимы нравственные мотивировки. Однако ж и там и здесь привычная картина звёздного неба ставится под вопрос.

...Помимо прочего, Достоевский для Толстого — писатель «с заминкой». (Так охарактеризован он в письме 1883 года к Страхову, где автор «Преступления и наказания» сравнивается с рысаком, на котором ввиду указанного недостатка далеко не уедешь.) В отличие, например, от Тургенева, который «переживёт» Достоевского: «и не за художественность, а за то, что без заминки»[***].

Сравнение писателей с лошадьми — вполне в духе автора «Холстомера». («К лошадям, — говорит Гольденвейзер, — был требователен, как знаток, и редко хвалил их без оговорок и критических замечаний»[****].) Но что имеет в виду Толстой под «заминкой», способной опрокинуть незадачливого читателя-ездока в гипотетическую канаву? Ну, конечно, всё ту же неясность, нецельность, непоследовательность (как это ему представляется) авторского мировоззрения. И, может быть, некоторую непрямоту, изощрённость художественного языка, дающего искусительную возможность разных тол-

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 21. С. 33–35. «Влас».

[**] Там же. С. 37.

[***] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 63. С. 142. <30 ноября — 1 декабря> 1883 г.

[****] *Гольденвейзер А.Б.* Вблизи Толстого: Воспоминания. М.: Захаров, 2002. С. 642.

кований. Толстому — и как художнику, и как мыслителю — хотелось бы избежать этих «заминок». Он предпочитает, чтобы «рысак» мерно двигался к заранее обозначенной цели — без каких-либо остановок, плутаний и отвлечений.

Толстой отвечает Страхову на его печально знаменитое письмо (1883), где тот, посылая адресату свои «симпатические» по тону воспоминания о Достоевском, признаётся, что он боролся с подымавшимся в нём отвращением, хотя и «старался подавить в себе это дурное чувство». Герой воспоминаний был, по его словам, «зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провёл в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умён». Далее Страхов поверяет Толстому ту самую «мировую сплетню», которая будет окончательно опровергнута только в наши дни, — что Достоевский «соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка»[*].

В ответном письме Толстой фактически отклонил предложенную ему *заманчивую тему:* не стал обсуждать страховские наветы. Но при этом высказал некоторые собственные суждения.

«Книгу вашу прочёл, — пишет Толстой. — Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам»[**].

О чём рассуждает Толстой? Прежде всего о том, что образ Достоевского в передаче Страхова (не в книге, разумеется, а в письме) оказался вовсе не таким, каким, по мнению адресата, должен явить себя русский писатель. Страховское письмо «разочаровало» Толстого именно этим. И он «почти» верит автору. Оговорка для Страхова достаточно неприятная, ибо, конечно, ему хотелось бы, чтобы Толстой поверил ему целиком.

«Мне кажется, — продолжает Толстой, — вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророки и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Удивительно: Толстой оставляет без всякого внимания те нравственные изъяны обсуждаемого лица, на которые с горестью указыва-

[*] Л.Н. Толстой — Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки // Slavic Research Group University of Ottawa, 2003. Т. II. С. 652, 655. Воспроизводим сюжет, уже затронутый в нашей книге «Последний год Достоевского».

[**] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 63. С. 142. <30 ноября — 1 декабря> 1883 г.

ет Страхов. Он говорит о другом. О том, что нельзя принимать за образец («ставить на памятник») человека, находящегося в процессе внутренней борьбы. То есть, по мнению Толстого, «памятника» (или звания святого) заслуживает лишь тот, в ком этот процесс уже завершился безусловной победой добра; тот, чьё мировоззрение целостно и неколебимо и кто в этом отношении может служить примером для других. В общем, «в идеале» это скорее всего сам Толстой. Или — тот, кем он желал бы быть.

Но ещё интереснее, что Толстой, «почти» согласившись со Страховым, делает при этом собственный вывод.

«Из книги вашей я первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умён и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его».

«Из книги вашей», — говорит Толстой. То есть из присланного ему первого тома собрания сочинений Достоевского («Биография, письма и заметки из записной книжки»), где впервые был напечатан большой массив писем. Отсюда — понятие о «мере его ума», которого, впрочем, не отрицает и Страхов. Но Толстой произносит главное для него слово: «настоящий». Достоевский (несмотря на «заминку»!) — настоящий: а ведь как раз это Страхов и пытался опровергнуть.

Но, пожалуй, Толстого раздражает в Достоевском не только «Христос, Христос!». Он не может простить ему другой важный «грех»: несовершенство письма.

«О Достоевском он говорил неохотно...»

«Достоевский — богатое содержание, серьёзное отношение к делу и дурная форма» (у Тургенева, например, по его мнению, «прекрасная форма, никакого дельного содержания и несерьёзное отношение к делу»)[*].

Это говорится в 1890 году. Летом 1894-го, слушая читаемую по вечерам книгу В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского», Толстой раздумчиво замечает, что «Достоевский — такой писатель, в которого непременно нужно углубиться, забыв на время несовершенство его формы, чтобы отыскать под ней действительную красоту». Видимо, ему интересен ход розановских рассуждений. Что же касается «ремесла» — тут он по-прежнему строг. «А небрежность формы у Достоевского поразительная, однообраз-

[*] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 7.

ные приёмы, однообразие в языке»[*]. «Огромное содержание, но никакой техники», — настойчиво будет повторять он на протяжении десятилетий[**].

За этим недоверием к форме скрывается, кажется, нечто иное. Толстого не устраивает сама художественная методология Достоевского, сами принципы его миропостижения.

Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры действующих в его романах персонажей, твёрдо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, намёков, умолчаний: его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределённость.

Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, загнаны, запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится *вывести* эти смыслы наружу — в текст — из тьмы внетекстового хаоса; он хочет твёрдым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений[***]. Для него приёмы Достоевского — это та же «рифма», с помощью которой, как он полагает, поэты только отвлекают от сути дела.

Итак, творческие доминанты Толстого и Достоевского совершенно различны. Толстому трудно представить, каким образом героям Достоевского удаётся без особых хлопот произносить свои пространные монологи. И объяснить — почему его романные ситуации то и дело разрешаются конфузами, скандалами, падениями и катастрофами. Разумеется, «так в жизни не бывает». *В жизни* чаще бывает как у Толстого. Но ведь, в отличие от автора «Войны и мира» — «настоящего реалиста», Достоевский «всего лишь», как он сам себя именует, «реалист в высшем смысле». Его интересует не столько жизнь в её чувственно-осязаемых проявлениях (хотя и она тоже!), сколько метафизика жизни. У него, говорит Бердяев, «было одно ему присущее небывалое отношение к *человеку* и его судьбе — вот где нужно искать пафос, вот с чем связана единственность его творческого типа. У Достоевского ничего и нет, кроме человека, всё раскрывается лишь в нём, всё подчинено лишь ему»[****].

---

[*] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 67.

[**] Там же. С. 181.

[***] См. подробнее: *Волгин И.Л.* Ничей современник. Четыре круга Достоевского. С. 124–127. Последний год Достоевского. С. 256–263.

[****] *Бердяев Н.А.* Смысл творчества. М., 2003. С. 338.

У Толстого, надо заметить, «человек» тоже ничуть не забыт. Но видится он ему совсем по-иному.

Достоевский не стремится к внешнему правдоподобию — для него важнее «последняя правда».

Но та же правда важна и для Толстого. Перечисляя писателей, которые, по его мнению, являют образцы истинного искусства, проникнутого «христианским чувством» и «объединяющего людей», он наряду с Гюго, Диккенсом, Шиллером называет и Достоевского*. Достоевский назван также в числе трёх русских классиков (кроме ещё Пушкина и Гоголя), для которых «существовали нравственные вопросы». Толстому, убеждённому врагу алкоголя, нравится мысль Достоевского о том, что «в России добрые люди — почти всегда пьяные люди, и пьяные люди — всегда добрые люди». (Очевидно, это относится Толстым к области христианских чувств.) В заслугу Достоевскому также поставлено то, что он показал живую душу в преступнике: «даже среди самых отчаянных живорезов-каторжников — и у них находил хорошие стороны»**.

Однако душа самого автора «Бесов» остаётся для Толстого тайной за семью печатями. Он говорит Горькому, что один из «сумасшедших персонажей» Достоевского «живёт, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил». И Толстой добавляет: «Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя»***. (Подобное утверждение, кстати, полностью совпадает с мнением Н.Н. Страхова, высказанным в письме 1883 года, — о том, что Достоевский был похож на таких своих героев, как Подпольный, Свидригайлов, Ставрогин, и что все его романы «составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».)

Трудно судить, насколько «близко к тексту» автор «Песни о Буревестнике» передаёт толстовские сентенции: они недалеки от суждений самого Горького на сей счёт. С другой стороны, слова о том, что Достоевский при всей своей искренности «политиканствовал и кокетничал»****, вполне в духе позднего, бескомпромиссного и всеотрицающего автора «В чём моя вера?». Разброс оценок свидетельствует о том, что Толстой, обычно категоричный в своих литературных пристрастиях, с этим предметом ещё *не определился*.

---

* Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 86.

** Там же. С. 256; Интервью и беседы с Львом Толстым. С. 275.

*** Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2 С. 473.

**** Там же. С. 494.

«О Достоевском, — свидетельствует Горький, — он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая»[*]. То есть как бы избегая высказываться *до конца*. Толстого печалит не только их давняя невстреча: сомневающийся в личном бессмертии, он тем не менее задумывается о том, какой может быть их встреча *там*.

Когда, свидетельствует Маковицкий, Софья Андреевна сообщает Толстому, что они с Достоевским «соседи в Историческом музее» (т. е. комнаты с их архивами располагаются рядом), Толстой отвечает: «Надеюсь скоро в настоящем соседстве быть»[**]. Но в *том* соседстве уже неуместен диалог.

Толстой убеждён, что автору «Карамазовых» следовало бы познакомиться с «учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его». Ибо это — «главное, что нужно знать всем и всякому»[***]. Очевидно, он предполагает, что Достоевский в *своём* поиске истины успокоился бы на том, на чём хотел бы успокоиться сам Толстой. И — при благоприятном расположении звёзд — стал бы его единомышленником и сочувствователем.

Толстой говорит иногда странные вещи.

«Он был человек буйной плоти, — доверительно сообщает Толстой внимательно слушающему его Горькому, — рассердится — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает». Интересно, откуда явились столь впечатляющие физиологические подробности? Ведь сам Толстой Достоевского никогда не видел, а в доступной ему мемуаристике ничего подобного не встретишь. Приходится опять предположить, что источником подобных *наблюдений* был не кто иной, как покойный Николай Николаевич Страхов.

«Чувствовал много, а думал — плохо, — продолжает Толстой, — он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. (Вот бы поразился автор "Дневника писателя" этому сенсационному заявлению! — *И. В.)* Мнителен был, самолюбив, тяжёл и несчастен. (Опять — почти буквальный — повтор страховских характеристик. — *И. В.)* Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё — не так было, всё проще, понятнее».

Толстой верен себе, вернее — своему художническому взгляду. Если бы он писал обо «всех этих» Идиотах, Раскольниковых и т. д.,

[*] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 495.
[**] *Маковицкий Д.П.* Кн. 3. С. 298. 7 января 1909 г.
[***] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 495.

он бы, разумеется, изобразил их совсем иначе («проще, понятнее»!). Но ведь это — герои *Достоевского*. У Толстого невозможно вообразить подобных персонажей (как невозможно представить, чтобы Достоевский написал Андрея Болконского или Наташу Ростову). Это не только разные углы зрения, это разный опыт души. «Истинный» (допустим) реализм Толстого насторожённо вглядывается в *изыски* «реализма в высшем смысле»: не так ли Рафаэль взирал бы, положим, на полотна Марка Шагала? (Хотя публично, в трактате «Что такое искусство?», Достоевский отнесён к лучшим образцам изящной словесности.)

...Однажды И.И. Страхов, гостя в Ясной Поляне, заметит по поводу Сони Мармеладовой, что «это совершенная выдумка, что просто стыдно читать об этой Соне» (мнение, кстати, совпадающее с позднейшими инвективами В. Набокова[*]). «Вот как вы строго судите, и верно», — сочувственно удивится Толстой. Он, кстати, полагает шедевром только первые главы «Преступления и наказания»; дальше, по его мнению, Достоевский «мажет»[**].

П.А. Сергеенко свидетельствует, что к Достоевскому «как к художнику» Толстой относился «с глубоким уважением, и некоторые его вещи, особенно “Преступление и наказание” и первую часть “Идиота” <...> считал удивительными. “Иная, даже небрежная страница Достоевского, — как-то сказал Лев Николаевич, — стоит многих томов многих теперешних писателей. На днях для “Воскресения” я прочёл его “Записки из Мёртвого дома”. Какая это удивительная вещь!”»[***]

Вообще-то «для “Воскресения”» он мог бы прочитать и «Братьев Карамазовых», особенно сцену суда. (К этому сюжету мы ещё обратимся.)

В 1906 году Чертков запишет его слова: «Достоевский, да — это писатель большой. Не то что писатель большой, а *сердце* у него большое. *Глубокий* он. У меня никогда к нему не переставало уважение»[****].

«Большое сердце» — решающий аргумент для Толстого. Оно оказывается важнее всего остального. «У Достоевского никогда такой техники не было, какая теперь у барынь», — скажет он корреспонденту «Новостей дня», имея в виду понаторевших в этом деле пишущих

---

[*] См. подробнее: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот. М.: АСТ, 2017. С. 145–148.

[**] Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 68.

[***] Там же. С. 146.

[****] Там же. С. 120.

дам*. Понятна и неизменно высокая оценка «Мёртвого дома» — этого самого *толстовского* из произведений Достоевского. Недаром в «Круг чтения» включаются две главки — «Орёл» и «Смерть в госпитале».

Осматривая 31 января 1910 года вновь открытую народную библиотеку в Ясной Поляне и заметив на полках «Записки из Мёртвого дома», он осведомится: «Достоевский не весь?»** Вопрос можно понять двояко: то ли и этого достаточно, то ли — что вероятнее — желательно наличие *всего* Достоевского.

Он как-то скажет Булгакову: «У Достоевского нападки на революционеров не хороши: он судит о них как-то по внешности, не входя в их настроения».

Сколь изумился бы он, узнав, что автор «Карамазовых» задумывал сделать цареубийцей своего любимого героя — Алёшу***. Но написать повесть о революционерах — входит и в творческие замыслы позднего Толстого.

«Они, — замечает о персонажах Достоевского Ф. Степун, — принадлежат не миру эмпирической действительности, но миру духовной реальности. Неверно, однако, считать их видениями субъективной фантазии Достоевского. И Ставрогин и Кириллов (П. Верховенский? — *И. В.*) оказались главными силами и деятелями большевистской революции. И в этой их действенности заключается их действительность»****.

Да, движителями русской смуты стали отнюдь не Платон Каратаев и не Катюша Маслова.

Толстому на исходе жизни Достоевский вспоминается особенно часто.

«Не мог дочитать...»

«Чем больше я живу, — скажет он в своё предпоследнее лето, — тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными»*****. Он не подозревает (или запамятовал), что его «оппонент» был далеко не в восторге от современного ему церковного устроения.

---

* Интервью и беседы с Львом Толстым. С. 480.

** Там же. С. 422; *Маковицкий Д.П.* Кн. 4. С. 171.

*** См. подробнее: Последний год Достоевского. С. 36–55.

**** *Степун Ф.А.* Религиозная трагедия Льва Толстого // Л.Н. Толстой: pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С. 455.

***** Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 263.

«Церковь в параличе с Петра Великого», — говорится в записных книжках Достоевского. И еще: «Народу нас ещё верует в истину... если только наши “батюшки” не ухлопают нашу веру окончательно»[*]. Вообще о «батюшках» автор «Дневника писателя» судит иногда почти по-толстовски: «Кроме иных, ещё горящих огнём ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, ещё доносом на них. Другие до того отделяют от себя паству непомерными ни с чем поборами, что к ним не придёт никто спрашивать. На эту тему можно бы много прибавить. Но прибавим потом»[**]. И с другой стороны, не согласился бы Толстой с определением так и не встретившегося с ним современника: «Церковь — весь народ...»?[***]

Корзины цветов, доставляемые Толстому по случаю его отлучения, — верх либеральной пошлости, ничуть не меньшей, чем пошлость Синода, который В. Розанов вообще именует учреждением нерелигиозным. Отлучённый от Церкви, Толстой *автоматически* оказывается отлучённым и от государства, с ней неразрывно сросшегося. Религиозные деятели «сбыли его, изгнали за черту религиозной оседлости», говорит А. Белый[****].

Но если, как полагает другой русский мыслитель, атеизм есть одна из ступеней Богопознания, то можно предположить, что и антицерковность Толстого тоже входит в Божественный замысел. Если бы Толстого не было, Церкви — для своего же блага — надлежало бы выдумать такого могучего оппонента, ибо христианству необходима рефлексия, необходим внутренний диалог. От натиска Толстого оно отнюдь не стало слабее, но, может быть, урок был извлечён.

...Остаётся две недели до ухода. Обстановка в семье накаляется до предела. Все живут *накануне*.

12 октября 1910 года Толстой записывает в дневнике: «Встал поздно. Тяжёлый разговор с С.А. Я больше молчал. <... > После обеда читал Достоевского. Хороши описания, хотя какие-то шуточки,

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 27. С. 49. Т. 24. С. 99.

[**] Там же. Т. 25. С. 174. Дневник писателя. Июль — август 1877 г.

[***] Литературное наследство. Т. 83. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. М., 1971. С. 676.

[****] *Белый А.* Лев Толстой и культура // О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912. С. 142–171.

многословные и малосмешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны. Вечером опять тяжёлые речи С.А. Я молчал. Ложусь»[*].

Сообщение о чтении «Братьев Карамазовых» (а читается именно этот роман) вдвинуто в контекст разворачивающейся драмы. Но другого контекста в Ясной уже нет.

Толстой верен себе: ему не нравятся диалоги. «Описания» он ещё готов похвалить, но авторский юмор, «шуточки» его раздражают. *Карамазовские разговоры* он считает «совершенно неестественными».

То же самое он повторит Софье Андреевне — что она бесстрастно и зафиксирует в записи от 14 октября: «...Л.Н. встал бодрее, читает “Карамазовых” Достоевского и говорит, что очень плохо: где описания, там хорошо, а где разговоры — очень дурно; везде говорит сам Достоевский, а не отдельные лица рассказа. Их речи не характерны»[**].

Он не скрывает от жены своих читательских впечатлений. Может быть, литература — последняя между ними связь: единственный предмет, обсуждение которого не ведёт к истерике и скандалу.

По свидетельству Д. Маковицкого, Толстой, говоря о романе, употребит даже определение «отвратителен»: «ирония не у места», разговоры героев — «это сам Достоевский» и т. д[***]. Игумен, Иван Карамазов, семинарист — все говорят одним языком.

Эти претензии достаточно характерны. Конечно, «Братья Карамазовы» — трагикомический роман: комизм в нём неотделим от трагедии. Толстой предпочёл бы чистоту жанра. Что же касается языка, то здесь толстовское упорство загадочно. Ведь, скажем, речь штабс-капитана Снегирёва с его скороговоркой, словоёрсами, ёрничаньем или Фёдора Павловича Карамазова с его «коньячком» и «мовешками» имеет ярко выраженную личностную окраску. Да и все братья Карамазовы (включая Смердякова) обладают собственной речевой индивидуальностью.

«Однако меня поразило, — продолжает записывать за Толстым Маковицкий, — что он <Достоевский> высоко ценится. Эти религиозные вопросы, самые глубокие в духовной жизни, — они публикой ценятся. Я строг к нему именно в том, в чём я каюсь, — в чисто художественном отношении. Но его оценили за религиозную сторону — это духовная борьба, которая сильна в Достоевском»[****].

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 117.

[**] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 216.

[***] *Маковицкий Д.П.* Кн. 4. С. 380. 14 октября 1910 г.

[****] Там же. С. 380–381.

Итак, религиозный поиск более всего близок Толстому. Достоевский-художник его не удовлетворяет. Как не удовлетворяет в этом же отношении и Шекспир.

18 октября на вопрос своего доктора, как ему нравятся «Карамазовы», он отзовётся: «Гадко. Нехудожественно, надуманно, невыдержанно... Прекрасные мысли, содержание религиозное... Странно, как он пользуется такой славой»[*].

На следующий день он, кажется, постигнет этот секрет.

Проводя вечер 19 октября (до ухода остаётся восемь дней) за чтением «Карамазовых», он словно откроет для себя нечто, вдруг его поразившее: «Сегодня, — записывает Софья Андреевна слова мужа, — я понял то, за что любят Достоевского, у него есть прекрасные *мысли*»[**]. Толстой верен себе!

Пытаясь осознать истинные причины такой популярности, автор «Исповеди» отыскивает их в отдельных соображениях («мыслях») читаемого им романиста. Но, одобрив, так сказать, «направленность пути», вновь начинает бранить — за язык, длинные рассуждения и т. д.

Впрочем, он строг не только к Достоевскому. В эти же дни перечитывается и другое известное сочинение — Нагорная проповедь, откуда Толстой, в частности, позаимствовал главный для себя постулат «не противься злому». Как же судит об этом *тексте* взыскательный читатель?

«Лишнего много, — записывает Маковицкий его слова, — тяжело читать. Написано хуже Достоевского»[***]. Что ж, творец «Карамазовых» помещен здесь в не самый слабый авторский ряд.

Восемнадцатого октября зафиксировано: «Читал Дост<оев- ского> и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность...»[****] Роман читается неспешно, уже целую неделю. Одновременно с ним и с Нагорной проповедью изучается книга Н.П. Николаева «Понятие о Боге как о совершенной основе сознания»: она вызывает безоговорочное одобрение.

О Достоевском, которого ныне «ставят в Художественном театре», В. Булгакову говорится: «Прямо нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперёд знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждёшь». Толстой полагает, что

---

[*] Маковицкий Д.П. Кн. 4. С. 385. 18 октября 1910 г.

[**] *Толстая С.А.* Дневники. Т. 2. С. 221.

[***] *Маковицкий Д.П.* Кн. 4. С. 392. 22 октября 1910 г.

[****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 119.

всё это «наименее драматично, наименее пригодно к сценической постановке»[*].

Сюжетные ходы Достоевского раздражают Толстого: они обманывают его читательские ожидания. Герои «Карамазовых» поступают «наоборот». Автор «Войны и мира» не приемлет такой *извращённой* логики.

Правда, в иных случаях он готов смягчить свой приговор: «Есть отдельные места, хорошие. Как поучения этого старца, Зосимы... Очень глубокие. Но неестественно, что кто-то об этом рассказывает. Ну конечно, великий инквизитор...»[**]

Ему нравится прямое высказывание: своего рода «публицистика» романа. Может быть, он сам хотел бы чувствовать себя старцем — проповедующим, однако, вне монастырских стен. Не лишено оснований предположение, что он направится в Оптину пустынь («к старцам») не в последнюю очередь под влиянием впечатлившего его образа.

Софья Андреевна замечает, что её муж «привык играть роль центра, исключающего конкуренцию. Едва возле него появляется другая знаменитость, в какой бы отрасли знаний, деятельности это ни было бы, он уже чувствует себя как бы умалённым, обиженным, раздражается и злится. Только посредственности и ничтожества (например, “толстовцы”) его удовлетворяют, так как при них его гений — ещё ярче!»[***]

Софья Андреевна судит со своего шестка. Предложенная ею «бытовая» версия литературного поведения Толстого ничуть не хуже других. Для жены, как и для лакея, не существует великого человека.

...Между тем чтение первого тома продолжается.

19 октября записано в дневнике: «Дочитал, пробегал 1-й том Карамазовых. Много есть хорошего, но так нескладно. Велик<ий> инквизит<ор> и прощание Засима. Ложусь»[****]

Он отмечает самые важные для него места, о которых только что в столовой шёл разговор, прилежно воспроизведённый Маковицким: «Здесь очень много хорошего. Но всё это преувеличено, нет чувства меры <...> Великий инквизитор — это так себе. (А ведь с интересом слушал когда- то книгу В. Розанова! — *И. В.)* Но поучения Зосимы, особенно его последние, записанные Алёшей, мысли, хо-

---

[*] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 392.
[**] Там же. С. 392.
[***] *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. С. 294.
[****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 121.

роши». Далее повторяются «традиционные» упрёки в «странном» языке и ненатуральной оригинальности поступков. И в заключение: «швыряет как попало самые серьёзные вопросы, перемешивая их с романическими. По-моему, времена романов прошли. Описывать, "как распустила волосы...", трактовать (любовные) отношения человеческие...»[*]

Толстой предпочитает, чтобы «серьёзные вопросы» ставились и решались отдельно, вне романного поля. Что, собственно, он и пытается делать все последние годы. Изящная словесность бессильна исправить нравы: следовательно, надо действовать напрямую — «горячим словом убежденья». Когда Софья Андреевна замечает, что «любовные отношения — это интересы первой важности», Толстой с живостью возражает: «Как первой! Они 1018-й важности. В народе это стоит на настоящем месте. Трудовая жизнь на первом месте»[**].

С такой точки зрения «Братья Карамазовы» действительно выглядят подозрительно.

Справедливо замечено, что Толстой читал Достоевского на протяжении всей жизни. Но вот вопрос, который на первый взгляд может показаться излишним: знаком ли Толстому *весь* текст?

В 1883 году его спрашивают, читал ли он «Карамазовых». Толстой честно отвечает: «Не мог дочитать»[***]. (Тут он не одинок. Ленин, например, поступил точно так же: этот роман вкупе с «Бесами» аттестуются им как «пахучие произведения»: «"Братьев Карамазовых" начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило»[****]. Зосима, конечно, не его герой.)

В 1892 году Чертков пишет Толстому: «...Несколько лет тому назад вы мне говорили, что не читали ещё "Братьев Карамазовых"», — и советует непременно их прочитать. «Карамазовых я читал, — отвечает Толстой, — и в особенности всё, что касается Зосимы, но

---

[*] *Маковицкий Д.П.* Кн. 4. С. 388. 19 октября 1910 г. На это Софья Андреевна замечает: «Жена Достоевского стенографировала, и он никогда ничего не переделывал» — очевидно, имея в виду, что, трудись Достоевский над текстом столь же тщательно, как её муж, художественные результаты были бы значительно выше. Кстати, в 1904 году Софья Андреевна намеревается передать часть рукописей Толстого Историческому музею (об этом уже говорилось выше): ей дают две комнаты «в башне» — «прямо против комнат Достоевского» *(Толстая С.А.* Т. 2. С. 100). Не встретившись при жизни, они оказываются бок о бок в общей архивной вечности.

[**] Там же.

[***] *Русанов Г.А.* Воспоминания о Толстом. Воронеж, 1972. С. 34.

[****] *Валентинов Н.* Попытки узнать Ленина // [URL]: http://lenin. boom.ru/about/vall.htm

прочту ещё раз... »[*] И действительно, он берётся за роман и даже пишет Софье Андреевне, что текст читается вслух «и очень мне нравится»[**]. Более того — в 1905-м он сам «озвучил» главу «Поединок» — и при этом «рыдал и глотал слезы»[***].

Был ли, однако, роман, несмотря на рыдания, прочитан до конца? Заметим, все толстовские упоминания о нём относятся к первой части «Карамазовых»: в первом посмертном издании Достоевского (1883) это тринадцатый том. Именно там находятся пометы Толстого[****].

Читая роман, он загибает вдвое («типично толстовский приём») уголок страницы 15: характеристика старика Карамазова. Не это ли место имеет он в виду, хваля отдельные описания?

Он отчёркивает абзац поучений Зосимы (очевидно, как раз те «прекрасные мысли», которые так ему нравятся) и помечает текст знаком *NB*. В том числе следующее место: «Отцы и учители, мыслю: “Что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже больше любить”». Связывает ли он эти слова с тем, что происходит у него в доме? Как и другую фразу, тоже, как полагает В.Б. Ремизов, не случайно отмеченную на странице 120: «...я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь могут открыться самые неожиданные уши». Неожиданных ушей в Ясной Поляне хватает.

Но он мог бы уловить аналогию и в другом.

Вечером 25 октября (за два дня до ухода) в Ясную приезжает из Тулы старший сын Сергей Львович. («Приехал Серёжа. Он мне приятен», — помечено в дневнике[*****].) «Никого посторонних, — вспоминает сын, — не было, были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна. Я пошёл в кабинет к отцу, думая, что он хочет со мною поговорить о матери, а может быть и о моих делах. Но мать всё время была тут же и всё время говорила без умолку. Он начнёт говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и тогда продолжал говорить о том, о чём начал. Точно его перебивал посторонний шум». (Этот «шум» — постоянный звуковой фон последних месяцев Толсто-

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 87. С. 134, 131.

[**] Там же. Т. 84. С. 167.

[***] *Маковицкий Д.П.* Кн. 1. С. 239. 8 апреля 1905 г.

[****] О них впервые сообщил В.Б. Ремизов в ст.: *Ремизов В.Б.* «Я есмь и я люблю» (Лев Толстой за чтением “Братьев Карамазовых) // Уход. М., 2011. С. 606–607.

[*****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 123.

го.) Сергей Львович играет с отцом в шахматы, затем садится за фортепиано. «Когда я сыграл “Ich liebe dich” Грига, в аранжировке Грига же, он всхлипнул. Уходя спать, я пошёл в кабинет прощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня: “Почему ты скоро уезжаешь?” Я собирался уезжать рано утром на следующий день. Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило, и может быть помочь. Но мне сперва хотелось уладить свои личные дела. <...> Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела! Отец на это сказал: “А ты бы не уезжал”. Я ответил, что скоро опять приеду. Впоследствии я вспоминал, что он сказал эти слова с особенным выражением: он очевидно думал о своём отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на неё»[*].

Конечно, скорее всего это и имелось в виду. Но, думается, допустим и иной вариант. Толстой мог надеяться, что пребывание старшего сына хоть на какое-то время отсрочит уход — а кто знает, может быть, и утишит страсти. Не напоминает ли это «Братьев Карамазовых»: отъезд «в Чермашню» сына Ивана служит для Смердякова сигналом к убийству.

Не исключено, что отъезд Сергея Львовича ускорил самоубийство, если почесть таковым то, что случится чуть позже[**].

«Прощаясь, — заключает С.Л. Толстой, — он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку»[***].

Значит ли это, что роковое решение уже принято — и поцелуй действительно прощальный?

---

[*] *Толстой С.Л.* Очерки былого. 3-е изд. Тула, 1968. С. 426–427.

[**] В русских писательских биографиях обращает на себя внимание совпадение некоторых ключевых, структурных моментов. Казалось бы, что общего между гибелью Пушкина и уходом Льва Толстого из Ясной Поляны? Тем не менее здесь можно отметить некое типологическое сходство. Пушкин стремился «переменить участь», понимая, что после дуэли, если только он останется жив, жизнь его переломится. Во всяком случае — она будет протекать вне Петербурга (Михайловское, Болдино?). И Толстой, уходя из Ясной Поляны, тоже стремился «выписаться из широт»: кардинально изменить свой быт и бытие. Нечто подобное происходит и с Достоевским, который, ввязываясь в 1848–1849 годах в заранее обречённый «пропавший заговор», в безумную затею с подпольной типографией, не мог не понимать степень опасности. Но он влёкся навстречу ей — может быть, подсознательно ощущая некую исчерпанность своих художественных возможностей и необходимость нового биографического опыта. (Подробнее см.: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор.)

[***] *Толстой С.Л.* Очерки былого. С. 427.

Вообще-то карамазовские ассоциации могли возникнуть у Толстого только в одном случае: если он прочитал второй том. Но в этом позволительно усомниться.

«Я читал только первый том, второго не читал», — скажет он Булгакову*. Можно, правда, понять и так: давно не перечитывал, а сейчас успел перечитать только половину. Однако Толстой нигде не упоминает сюжеты второго тома**. (Это тем поразительнее, что, работая на сценой суда в «Воскресении», он, как уже говорилось, должен был бы вспомнить судебный процесс над Митенькой Карамазовым.) Покинув Ясную, он забывает на своём столе первый том, раскрытый на странице 389, и просит прислать «вдогон» — вместе с ножницами для ногтей — том второй.

Но уже поздно: «Карамазовы» так и не будут дочитаны до конца.

Предсмертные сны

Однажды в январе 1894-го молодой Иван Бунин (который тщился в то время быть правоверным толстовцем) посетит в Хамовниках автора «Анны Карениной». Бунин так передаёт речь своего собеседника:

«Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте *мундира* из неё, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...»***

Что-то очень знакомое слышится в этих словах. В июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год, касаясь только что вышедшей «Анны Карениной» (конкретно разговора Стивы и Лёвина на охоте — «о раздаче имения»), Достоевский пишет: «Да в сущности и не надо даже раздавать *непременно* имения, — ибо всякая *непременность* тут, в деле любви, похожа будет на *мундир,* на рубрику, на букву... Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: "Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки *мундир».*

В «Дневнике писателя» встречается ещё одна ключевая метафора, которая, как думается, перекликается с только что приведённой.

---

* *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 392. 22 октября 1910 г.

** Правда, по свидетельству Гольденвейзера, он употребляет выражение «прелюбодеяние слова» — что несколько напоминает характеристику адвоката из двенадцатой книги «Карамазовых»: «прелюбодей мысли».

*** *Бунин И.А.* Освобождение Толстого. Paris: IMKA-Press, 1937. С. 83.

«...Наши великие, — записывает Достоевский в подготовительных материалах к "Дневнику", — не выносят величия, золотой фрак. Гоголь вот ходил в золотом фраке. Долго примеривал. <...> С "Мёртвых душ" он вынул давно сшитый фрак и надел его. <...> Что ж, думаете, что он Россию потряс, что ли? С ума сошёл. Завещание. <...> Много искреннего в переписке. Много высшего было в этой натуре, и плох тот реалист, который подметит лишь уклонения». И далее: «Мне всю жизнь потом представля<лся> этот не вынесший своего величия человек, что случается и со всеми русскими, но с ним случилось это как-то особенно с треском. <...> Вероятнее всего, что Гоголь сшил себе золотой фрак ещё чуть ли не до "Ревизора"»[*].

Эти записи к июльско-августовскому «Дневнику» 1877 года не вошли в окончательный текст. То есть сам золотой фрак там остаётся, но имя Гоголя исчезает: «Русский "великий человек" всего чаще не выносит своего величия. Право, если б можно было надеть золотой фрак, из парчи например, чтоб уж не походить на всех прочих и низших, то он бы откровенно надел его и не постыдился»[**].

При всём различии функций золотой фрак и мундир — близнецы-братья. В своей критике Гоголя и Толстого (а в отзывах об «Анне Карениной» автор «Дневника» фактически выступает как первый критик толстовства, ещё не оформившегося в учение, в доктрину) Достоевский предпочитает не аналитический разбор, а точный художественный образ. Золотой фрак и мундир есть предметы внешние — по отношению к «внутреннему человеку», к тому, на кого напялили эти *искусственные* одеяния. Они не только прикрывают человека, его истинную суть, они как бы подменяют и замещают его самого. Золотой фрак — знак избранничества, недосягаемого величия, он создаёт непреодолимую дистанцию между обладателем подобного фрака и «всеми остальными». С другой стороны, мундир — это знак несвободы, нравственной обязаловки, *навязывания* любви. (Кстати, шинель для Башмачкина — это тоже своего рода мундир: знак принадлежности к известному кругу и т. д.) Всё это виды *защитной* одежды, призванные поставить преграду между человеком и окружающим миром.

Итак, в разговоре с Буниным Толстой употребляет тот же термин: мундир. Разумеется, это ещё не доказывает того, что автору

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 25. С. 240–241, 250.

[**] Там же. С. 169.

«Анны Карениной» крепко запомнились критические соображения автора «Дневника». Однако совпадение знаменательное. По сути, Толстой соглашается с давней мыслью Достоевского. Или — по прошествии лет — приходит к ней сам, независимо, употребив по чистой случайности ту же знаковую метафору.

Впрочем, если он и забыл статью Достоевского, ему поспешат об этом напомнить.

В эти октябрьские дни 1910 года жена В.Г. Черткова пересылает Толстому письмо его бывшего секретаря И.И. Гусева. Гусев замечает, что в последние годы о Достоевском очень много писалось в литературе и он «выставлялся величайшим и совершеннейшим учителем веры». Поэтому ему, Гусеву, «после романов было очень интересно познакомиться с теми писаниями Достоевского, где он говорит от себя лично». Он «много ждал» от «Дневника писателя», но, увы, «понёс жестокое разочарование. Везде Достоевский выставляет себя приверженцем народной веры; и во имя этой-то народной веры, которую он, смею думать, не знал <...> он проповедывал самые жестокие вещи, как войну и каторгу». Далее Гусев поминает статью Достоевского об «Анне Карениной», «в последней части которой Лев Николаевич тогда ещё выразил своё отрицание войны и насилия вообще». Из «Дневника писателя» Гусев неожиданно для себя узнаёт, «что Достоевский был горячим поборником противления злу насилием, утверждал, что пролитая кровь не всегда зло, а бывает и благом...»* И Гусев приводит «самое ужасное место из этой ужасной статьи» — фантастическую сцену, которую домыслил Достоевский, толкуя о «Карениной»:

«Представим себе <...> стоит Лёвин уже на месте, там (т. е. в Болгарии, где турками была учинена резня мирного населения. — *И. В.*), *с* ружьём и со штыком (зачем он этакую пакость возьмёт? — *Н. Г.*), а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глаза ребёнку, который уже у него в руках... Что бы он сделал? — Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку! — Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребёнку и замучает его, а я уйду к Кити».

Гусев сообщает, что он «пришёл в ужас», прочтя у того, кого считают теперь своим духовным вождём многие русские интеллигенты, следующие строки: «Как же быть? дать лучше прокалывать глаза, чтоб только не убить как-нибудь турку? Но ведь это извращение

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 554–555.

понятий, это тупейшее и грубейшее сантиментальничание, это исступлённая прямолинейность, это самое полное извращение природы». Не устраивает Гусева и практический вывод, который делает автор «Дневника»: «Но выкалывать глаза младенцам нельзя допускать, а для того, чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетённых накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда»[*].

Прочитав письмо Гусева, Толстой 23 октября пишет Чертковой: «Случилось странное совпадение. Я, — всё забывши, — хотел вспомнить забытого Достоевско<го> и взял читать Брать<ев> Карамаз<овых> (мне сказали, ч<то> это очень хорошо). Начал читать и не могу побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам. И вот Н.Н. пишет то, что мне всё объясняет»[**].

Это — опять же почти дословно! — совпадает со словами другого Николая Николаевича — Страхова, который, как помним, писал Толстому о своей работе над биографией Достоевского: «Я боролся с подымавшимся во мне отвращением...»

«Не то, не то!» — хватался за голову и «отчаянным голосом» повторял Достоевский, читая за несколько дней до смерти письмо Толстого к графине А.А. Толстой, где её корреспондент излагал свою новую веру. «Не то, не то!» — мог бы воскликнуть (да практически и восклицает) Толстой, уходя из Ясной Поляны (а точнее, из жизни) и читая «на посошок» *закатный* роман Достоевского[***].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 25. С. 220–222.

[**] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 89. С. 229. 6 июня 1910 года Гольденвейзер записал следующие слова Толстого: «Я нынче опять получил длиннейшее и очень умное (кажется, английское) письмо, и опять там тот же ребёнок, которого убивают на моих глазах. Я всегда говорю: я прожил 82 года и отроду не видал этого ребёнка, о котором мне все говорят <...> Да, наконец, кто мешает при виде такого ребёнка защитить его своим телом?..» (*Гольденвейзер.* С. 315). Имеется ли здесь в виду какой-то собирательный, «общий» ребёнок — или всё-таки это «ребёнок Достоевского»?

[***] Интересно сравнить это письмо Толстого с записью Маковицкого от 21 сентября 1908 года: «Я сегодня продолжал читать второй том биографии Л. Н-ча Бирюкова. Сильно подействовала критика Достоевским “Анны Карениной”. Я говорил об ней Л.Н., он пожелал прочесть и сказал: “Достоевский — великий человек”» (*Маковицкий Д.П.* Т. 3. С. 206). То есть, по-видимому, в 1910 году указанная критика не являлась уже новостью для Толстого. Удивительно, что в момент появления «Дневника» со статьёй об «Анне Карениной» этот несомненно важный и знаменательный текст не нашёл отражения в переписке Толстого (например, со Страховым). Как это нередко случалось с Толстым, его реакция могла зависеть от настроения, от минуты.

А между тем, если речь заходит о главном, Достоевский и Толстой обнаруживают удивительное сходство.

29 мая 1881 года Толстой записывает в дневнике: «Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. — Так оно глупости? — Нет, но неисполнимо. — Да вы пробовали ли исполнять? — Нет, но неисполнимо»[*].

То есть для Толстого христианство есть не отвлечённая теория, а своего рода «руководство к действию»: оно должно быть применимо ко всем без исключения явлениям действительной жизни. (Он-то как раз и «пробует исполнять».) Но не тем же, по мнению Достоевского, должен руководствоваться человек, причём не только в своём бытовом поведении, но, так сказать, на мировом поприще? Христианское сознание должно быть внесено во все сферы существования: только так будет исполнен Завет.

«Нет, — пишет автор "Дневника писателя" (в том же февральском выпуске за 1877 год, где речь идёт о Толстом), — надо, чтоб и в политических организмах была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: всё затемнится, замешается и потонет в цинизме»[**].

Евангельским заповедям надлежит стать конституцией посюстороннего мира: в противном случаем мир этот обречён. Но ещё поразительнее, как неожиданно сходятся художественные миры Достоевского и Толстого.

За сутки до ухода из Ясной Толстой записывает: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет»[***]. Здесь — схождение «чужого» романного вымысла («инфернальница» Грушенька) с обстоятельствами жизни реального лица — «добропорядочного», бестемпераментного, сторонящегося женщин и тем не менее уличённого Достоевским в тайных пороках Страхова («несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен»)[****]. Толстой, ничего не зная об этом мнении Достоевского, приходит к тому же.

Гениальным сновидцам снятся гениальные сны.

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 49. С. 42.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 25. С. 51. См. также Игорь Волгин. Ничей современник. Четыре круга Достоевского. С. 23

[***] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 123.

[****] Об этом см. подробнее: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 537–544.

...Принято считать, что читатели делятся на две категории: 1) любящие Толстого и не любящие Достоевского: 2) любящие Достоевского, но не любящие Толстого. (Хотя, признаться, встречаются не любящие обоих.) Допустим, что так оно и есть. Однако не снимает ли «нечаянно» эту полярность предсмертный толстовский сон?

Из главы 4

РАЗРЫВАНИЕ НА ЧАСТИ

«Я ни за что не вышла бы за него замуж...»

В первый раз он решился «уйти совсем», когда ему было 55 лет. В ночь на 18 июня 1884 года, захватив с собой странническую котомку, он оставил Ясную Поляну, чтобы больше туда не вернуться. Жена его между тем рожала: в семь утра на свет появится их 12-й ребёнок — дочь Александра. Именно она через 26 лет будет сопутствовать отцу в его последнем скитании. Но сейчас её появление предотвращает уход. Отец возвращается в родовое гнездо.

Софья Андреевна недолюбливала младшую дочь (от которой, по некоторым сведениям, пыталась избавиться во время беременности). Дочь платила ей тем же.

Через полтора года после рождения Саши ситуация почти повторилась. Муж заходит к Софье Андреевне: «Лицо страшное, — пишет она сестре, Т.А. Кузминской. — "Я пришёл сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку"».

(Для Достоевского, например, Америка — иное пространство, символ небытия, «тот свет», куда, выстрелив себе в висок, отправляется Свидригайлов.)

Развод (и разъезд) тогда не состоялся. Мало того, спустя два с небольшим года рождается последний ребёнок — Ванечка. Это, казалось бы, должно было скрепить семью.

Ванечка, всеобщий любимец, — удивительно похож на отца, который уверен, что сын продолжит его духовное дело.

Ванечка умирает в феврале 1895-го, не дожив до семи лет. Его старший брат Илья Львович напишет позже, что «если бы Ванечка был жив, многое и многое в жизни отца произошло бы иначе»[*]. Вернее — многое не произошло бы. Ванечке в 1910-м было бы 22 года.

---

[*] *Толстой И.Л.* Мои воспоминания. М.: Художественная литература, 1969. С. 218.

Однажды, ещё при жизни младшего сына, Толстой (которому в этот день исполнится 61 год) записал в дневнике: «Вчера Соня поразила меня. Рассуждая, как она любит Ванечку за его сходство со мной, она сказала: да, я очень тебя любила, только ничего из этого не вышло”»[*].

Что хотела она этим сказать?

Если в середине 1880-х у Толстого сложилось такое отношение к семье, какое в конце концов заставит его совместить теорию с жизнью (вернее, со смертью), то и в недрах семьи также уже созрела *концепция:* взгляд изнутри на него самого.

Осенью 1892 года военный юрист и литератор А.В. Жиркевич посещает Ясную Поляну. Он приезжает туда всего во второй раз — «и тем не менее графиня Софья Андреевна сама ввела меня в интимные подробности своей семейной жизни, не беря с меня слово, что всё это должно оставаться между нами»[**]. Позднее в эти подробности будет вводим едва ли не каждый встречный.

По словам графини (которые с готовностью подтвердила присутствующая тут же её сестра Т.А. Кузминская), Лев Николаевич, «в сущности, никого не любит, менее всего семью свою. Иначе он не заставлял бы их всех так страдать»[***].

Толстому ставится в вину, что в нём «очень сильно желание заставить всех говорить о нём», что его учение о непротивлении злу приносит только зло, что невозможно любить всех, поскольку это не любовь, а чувствительность, и т. д. и т. п. И главное, все последние его произведения продиктованы отнюдь не любовью, а «болезненно разлитой печенью».

За несколько дней до ухода Толстого она напишет в дневнике: «Как жадно, горячо читает Лев Ник<олаевич> в газетах всё то, что пишут и печатают о нём! Видно, нельзя никогда от этого отрешиться»[****].

Так ли она права?

Он порой не читает не только то, что пишут о нём в газетах, но даже — посвящённые ему книги; он не хочет утомлять себя знакомством с бесчисленными приветствиями, полученными по случаю юбилея. И ведь не лицемерит же он, не играет дешёвый спектакль, когда в свой смертный час, почти теряя сознание, вдруг скажет, «твёрдо и ясно выговаривая слова»: «Нет, только одно советую вам

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 50. С. 129.

[**] *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. С. 155.

[***] Там же. С. 165–166.

[****] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 222.

помнить, что на свете есть много людей кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва»[*].

Его безымянная могила — предвестье безмогильности многих русских писателей XX века (Цветаева, Мандельштам и др.). «...Сюда, на этот гордый гроб, пойдёте кудри наклонять и плакать...» Но приходить-то оказывается некуда. Правда, с иной точки зрения могильный холм в Засеке и есть тот самый «гордый гроб», по своей метафизической сути соперничающий с другим, ему противостоящим, — с Мавзолеем...

...Вернёмся, однако, к Жиркевичу, который не может не признать, что Софья Андреевна — женщина незаурядная. Пусть не красавица, но в молодые годы это, судя по всему, не мешало ей «быть очаровательной». «У неё — большие, выдавшиеся зубы, и это ей не к лицу. Но от неё веет настоящей барыней»[**], — замечает наблюдательный посетитель Ясной Поляны.

«Насколько я мог заметить, с мужем у неё в смысле идей, симпатий, антипатий и тому подобного мало общего. Нет-нет да и зазвучат у графини по отношению к мужу властные, резкие, гневные, осуждающие нотки. Она смело с ним спорит и, не стесняясь присутствием постороннего, не только ему оппонирует, но и высмеивает его...».

Повторим: всё это написано в 1892 году, за восемнадцать лет до ухода. Но кажется, что дело происходит в 1910-м.

Нет, правда, признаков хронической истерии одной из сторон. Однако ещё при первом визите Жиркевича, в 1890-м, было светски вопрошено — о Черткове: «Знаете ли вы, Александр Владимирович, этого идиота?»[***] Что повлекло демонстративное вставание из-за стола одного из, как их называла Софья Андреевна, «толстоистов» и оставление им обеденной залы, где «лакей в белых перчатках подавал (разумеется, "нетолстоистам". — *И. В.)* изысканные блюда».

Через одиннадцать лет, в 1903-м, она убеждённо заявит тому же посетителю, что Толстой «скрутил» её собственную жизнь и жизнь своих детей, что он «прежде всего эгоист, любит только одного себя, требует поклонения, упрям, несносен, ушёл в свою личную жизнь»[****].

Уверенность в отсутствии у мужа столь страстно проповедуемой им любви (не головного понятия, а реального чувства) всё более укоре-

---

[*] *Толстая А.Л.* Отец: Жизнь Льва Толстого. М.: Книга, 1989. С. 477.

[**] *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. С. 164.

[***] Там же. С. 109.

[****] Там же. С. 291.

няется в душе Софьи Андреевны: «Дописала сегодня в дневниках Лёвочки (она переписывает их. — *И. В.)* до места, где он говорит: "Любви нет, *есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни"*. Да, если б я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вы шла бы за него замуж» (14 декабря 1890 года)[*].

«Он убивает меня очень систематично и выживает из своей личной жизни, и это невыносимо больно. <...> Мне хочется убить себя, бежать куда-нибудь, полюбить кого-нибудь — всё, только не жить с человеком, которого, несмотря ни на что, всю жизнь за что-то я любила, хотя теперь я вижу, как я его идеализировала, как я долго не хотела понять, что в нём была одна чувственность»[**]. Это написано 46-летней С.А. Толстой: им быть вместе ещё двадцать лет.

«В дневниках Лёвочки *любви,* как я её понимаю, совсем не было: он, видно, не знал этого чувства» (7 января 1891 года)[***].

Вообще наличие чувственности у мужа как основного мотива для совершения и поддержания брака подчёркивается Софьей Андреевной всё настоятельнее.

Она родила ему Ванечку, когда ей было 44, а ему 60. Старушка няня, «очень симпатичная русская женщина», по-своему объясняла золотушность ребёнка: «И граф, и графиня — старики... Им не стыдно, в такие-то годы, заниматься такими делами! А ни в чём не повинное дитя от этого терпит!.. Бесстыдники!..»[****]

Всё это говорится целомудренной няней в 1892 году. Пройдёт ещё девять лет. Софья Андреевна записывает — о муже: «Со мною он ласков и опять очень страстен. Увы! это почти всегда вместе»[*****]. Толстому идёт 73-й год, Софье Андреевне 57-й.

2 декабря 1901 года в Крыму, в Гаспре, в краткий промежуток между двумя сокрушавшими Толстого болезнями она записывает: «С Львом Николаевичем вышло как раз то, что я предвидела: когда от его дряхлости прекратились (очень ещё недавно) его отношения к жене как к любовнице, на этом месте явилось не то, о чём я тщетно мечтала всю жизнь — тихая, ласковая дружба, а явилась полная пустота»[******]. Она объясняет прекращение супружеских отношений исключительно дряхлостью мужа. О своём, тоже не столь уже юном возрасте графиня умалчивает.

---

[*] *Толстая С.А.* Т. 1. С. 130.
[**] Там же. С. 124–125.
[***] Там же. С. 141.
[****] *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. С. 177.
[*****] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 16.
[******] Там же. С. 28.

И ещё — в ноябре 1903-го: «Свершилось то, что я предвидела: *страстный* муж умер, друга-мужа не было никогда, и откуда же он будет теперь?»[*]

Ежедневно посещая близтекущую речку — не только ради здоровья, но и для цели ещё более прагматичной («воспитаю в себе мысль о самоубийстве и утоплюсь в своей милой Воронке»), — Софья Андреевна вдруг вспоминает, «как давно, давно Лев Ник<олаевич> пришёл в купальню, где я купалась одна».

«Всё это забыто, и всё это давно и не нужно; нужна тихая, ласковая дружба, участие, сердечное общение...»[**] Но последнего нет — и тогда Софья Андреевна вспоминает «купальню».

По мнению автора дневника, новая, лишённая эротической подкладки реальность самым пагубным образом сказывается на их продолжающейся семейной жизни: «Утром и вечером он холодным, выдуманным поцелуем здоровается и прощается со мной; заботы мои о нём спокойно принимает как должное, часто досадует и безучастно смотрит на окружающую его жизнь, и только одно его волнует, интересует, мучит: в области материальной — *смерть,* в области духовной — его работа»[***].

Теперь, после сорока лет совместной жизни, поклонение и преданность мужу сменяются чувством, которое можно было бы назвать запоздалым прозрением, если бы признаки этого разочарования не обнаружились гораздо раньше. Вернее, преданность остаётся (да и куда ей деваться), но эта «инерция любви» не мешает смотреть на супруга горьким и *обиженным* взглядом.

Вообще-то Софья Андреевна никогда не была поклонницей его нравственно-философских писаний.

Но в любом случае она — «жена гения», которая сознаёт это и дорожит своим пожизненным статусом. Роль вдовы гения, привечаемой благодарным человечеством, тоже ей по плечу. Всей своей жизнью она заслужила это признание — и ни с кем не хочет делить свои исключительные права.

На её достояние посягает только один человек: один безжалостный и страшный соперник. Именно на него она обрушивает всю силу своей ненависти. Ненависти столь жгучей и необоримой, что и теперь, по прошествии века, чувство это смущает сердца и даже вносит раскол — не сказать в мировое сознание, но во всяком случае в умы тех, кто отваживается приблизиться к этой психологической драме.

---

[*] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 98

[**] Там же. С. 132.

[***] Там же. С. 28.

О Владимире Григорьевиче Черткове Толстой мог бы сказать словами булгаковского Иешуа: «Помянут меня — сейчас же помянут и тебя».

«Бывают странные сближенья...»

В романе «Бесы» «огорчённый литератор» — *интеллектуал* Степан Трофимович Верховенский покидает дом генеральши Варвары Петровны Ставрогиной, с которой у него были *высокие*, то есть исключительно духовные отношения, где он благоденствовал двадцать лет в неге и относительном покое. Для него этот чаянный шаг — разрыв с налаженным и комфортным существованием, момент истины, переход к иной, исполненной смысла жизни.

При этом Степан Трофимович — фигура трагикомическая.

Справедливо подмечено, что художественная ситуация, воспроизведённая в романе «Бесы» в 1872 году, в чём-то предвосхищает (в пародийном, гротескном, иронически-сниженном виде) те драматические события, свидетелями которых мир стал в году 1910-м.

«Последнее странствование Степана Трофимовича» — так называется в «Бесах» глава, повествующая об уходе Верховенского-старшего.

«...Он, — говорится в романе о Степане Трофимовиче, — и при самом ясном сознании всех ужасов, его ожидающих, всё-таки бы вышел на большую дорогу и пошёл по ней! Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. О, он бы мог принять роскошные условия Варвары Петровны и остаться при её милостях “comme un* простой приживальщик”! Но он не принял милости и не остался. И вот он сам оставляет её и подымает “знамя великой идеи” и идёт умереть за него на большой дороге! Именно так должен он был ощущать это; именно так должен был представляться ему его поступок»**.

Конечно, подобные сближения носят сугубо формальный характер: между «последними странствованиями» Льва Николаевича Толстого и Степана Трофимовича Верховенского — дистанция огромного размера. Тем удивительнее перекличка, казалось бы, мелких и случайных деталей, «аксессуаров», положений, сюжетных ходов: в контексте «идейного ухода» всё это обретает символический смысл. Так, Степан Трофимович, стремясь опроститься, захватывает в своё аскетическое пилигримство такую необходимую

---

* Как (*фр.*).

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 10. Бесы. С. 480.

для этого вещь, как зонтик. Толстой, огорчившись, что забыл в Ясной Поляне ножницы для ногтей (разрыв с прошлым не обязательно предполагает смену гигиенических привычек), просит наряду с «Братьями Карамазовыми» выслать ему этот бытовой предмет. Степан Трофимович «уходит в мир» с сорока рублями в кармане; сумма, захваченная Толстым (50 рублей), ненамного больше.

Но главное состоит в том, что оба беглеца панически боятся погони — преследования их теми женщинами, которых они оставили. Толстой, заметая следы, меняет поезда и даже приобретает билет, уже находясь в вагоне. Степан Трофимович «побоялся брать лошадей, потому что Варвара Петровна могла проведать и задержать его силой, что наверно и исполнила бы, а он наверно бы подчинился и — прощай тогда великая идея навеки». В конце концов преследователи настигают преследуемых — с той, правда, разницей, что генеральша Ставрогина ухаживает за больным Степаном Трофимовичем и закрывает ему глаза, а графиня Софья Андреевна будет *допущена* только тогда, когда начнётся агония.

И ещё «О, простим, простим, прежде всего простим всем и всегда, — восклицает пустившийся в бега Степан Трофимович. — Будем надеяться, что и нам простят. Да, потому что все и каждый один пред другим виноваты. Все виноваты!..»[*] Толстой перед уходом собирается писать «Нет в мире виноватых»[**].

В отличие от Толстого Степан Трофимович — старый безбожник. Он встречает женщину-книгоношу, которая предлагает ему Евангелие. «С величайшем удовольствием, — отвечает Верховенский-старший. — Jen'airien contre l'Evangile, et...»[***] Ему читают вслух Нагорную проповедь, и он вполне удовлетворён её содержанием («Неужто вы думаете, что *этого* не довольно!»). Да и сам он готов с охотой продавать эти «красивые книжки». «Народ религиозен, c'est admis[****], но он ещё не знает Евангелия. Я ему изложу его. В изложении устном можно исправить ошибки этой замечательной книги»[*****].

Такую задачу вскоре задаст себе и Толстой: именно он будет стараться — причём письменно и подробно — «исправить ошибки этой замечательной книги». И даже после ухода, останься он жив, он вряд ли отказался бы от устного проповедничества, более доступ-

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 10 Бесы. С. 491.
[**] *Гольденвейзер.* С. 580.
[***] Я ничего не имею против Евангелия, и... (*фр.*).
[****] Это установлено (*фр.*)
[*****] *Достевский Ф.М.* ПСС. Т. 10 Бесы. С. 486, 491, 497.

ного для народного разумения. («Я буду полезен и на большой дороге», — говорит Степан Трофимович.)

Когда-то автор «Села Степанчикова» усмешливо изобразил некоторые черты Гоголя в образе приживальщика-деспота Фомы Опискина. Это была довольно жёсткая ретроспективная пародия. Завершая «Бесов», он не мог предположить, что сама жизнь через много лет глумливо воспользуется его романным сюжетом и что трагикомедия, порождённая его фантазией, обратится в великую мировую драму — тоже не без комического оттенка.

Очевидно, прав В. Розанов, утверждавший, что «к гробу Толстого сбежались все Добчинские со всей России, и кроме Добчинских, никого там и не было, они теснотою толпы никого ещё туда и не пропустили. Так что "похороны Толстого" в то же время вышли "выставкою Добчинских"...»*

Увы, это так. И тем не менее кончины Достоевского и Толстого суть *ключевые моменты* русской истории. Можно даже сказать, что они — причём с противоположными знаками — как бы завершили её.

Достоевский умер вскоре после Пушкинского праздника в Москве (который оказался не чем иным, как «предпарламентом», соединившим едва ли не весь спектр наличных общественных сил). В обстановке напряжённых конституционных надежд с первой национальной трибуны прозвучал глухой голос Достоевского: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве». Призыв был обращён не только к террористическому подполью, но и к «террористической» власти, которая мнилась тоже своего рода «гордым человеком».

Беспрецедентные по размаху проводы автора «Дневника писателя» — когда все политические силы, от консерваторов до радикалов, склонили свои знамёна — были внятным сигналом, посылаемым обществом «снизу вверх»: возможен исторический компромисс. Смерть Достоевского как бы материализовала эту общественную иллюзию, открыв перспективу мирного выхода из глубочайшего национального кризиса, из кровавой неразберихи рубежа 1870–1880-х**.

Цареубийство 1 марта 1881 года, совершившееся через месяц после кончины Достоевского, перечеркнуло эти надежды.

---

* *Розанов В.В.* Опавшие листья. Цит. по: *Розанов В.В.* Миниатюры. М., 2004. С. 56.

** Подробнее см.: *Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. С. 626–687.

С другой стороны, смерть Л.Н. Толстого в ноябре 1910 года на глазах всего мира и последовавшие затем бесцерковные, подчёркнуто *оппозиционные* похороны знаменовали собой распад традиционной формулы «поэт и царь» (заменённой на «поэт *или* царь»), окончательный разрыв общества и власти. По своему историческому и философскому содержанию уход Толстого прямо противоположен «событию смерти» 1881 года: он стал предвестьем грядущей национальной катастрофы.

Но и в том и в другом событии был заключён общий — глубокий — смысл. Похороны Достоевского и Толстого стали первыми попытками самоорганизации *гражданского общества*, которое во втором случае отлучило от себя и государство, и Церковь.

Дальше началась совсем другая история.

«Девки мои хороши»

...Чертков даже умрёт (1936) в том же возрасте, что и его учитель. (Кстати, до восьмидесяти двух дотянет и верный толстовский слуга — камердинер Илья Васильевич Сидорков.) Он желает овеществить волю Толстого — чтобы после кончины все его сочинения издавались свободно и безвозмездно — и спешит воплотить эту мечту в конкретные, юридически бесспорные формы. Так возникает тайная мистерия-буфф — с конспирацией, скрытным обменом письмами, секретными встречами и, наконец, составлением судьбоносных бумаг. Впрочем, сей детектив уместней именовать деревенским, ибо всё происходит на лоне роскошной природы, в лесу, где завещатель ждет *заговорщиков* — «в белой блузе, с развевающейся седой бородой верхом на Делире»* — и где акт подписания совершается на случайном, но тут же становящемся историческим пне.

Завещание подписывается в двух верстах от Ясной, у деревни Грумонт (другое её название — Угрюмая).

Софья Андреевна ничего не ведает о случившемся.

Вечером того же дня, 22 июля, Чертков приезжает в Ясную. Хозяйка дома — на грани: взволнована, крайне раздражена, грубит незваному гостю и т.д. «Все сидели натянутые, подавленные. Чертков — точно аршин проглотил: выпрямился, лицо окаменело».

Как выглядел в эти минуты Толстой, Булгаков не сообщает**.

---

* *Гольденвейзер.* С. 429.

** *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 306.

«Когда я вспоминаю об этом вечере, — добавит позднее тот же свидетель (которого, кстати, тогда не посвятили в главную тайну), — я поражаюсь интуиции

Самое замечательное, что в пылу этих баталий о смерти главы семьи говорят как о деле решённом. Конечно, Толстой смертен, как все. И, по-видимому, понимает это лучше других. Однако его можно было бы и пощадить. Между тем Софья Андреевна вслух исчисляет выгоды от посмертных продаж, а скрупулёзный Чертков вдумчиво и многостранично объясняет Толстому, что именно будет происходить после его кончины: «Распоряжение ваше, объявленное после вас как ваша последняя воля и под непосредственным впечатлением вашей действительной смерти...»* Упомянуто также о толстовском «голосе из-за гроба». Можно подумать, что он уже умер и наследники, освобождённые от той деликатности, которая сдерживала их при живом ещё завещателе, делят наследство.

Тем не менее он принимает происходящее в высшей степени кротко. Правда, иногда сомневается в необходимости тайных юридических процедур. Ему близка мысль о Христе, который действовал прямо и никаких формальных распоряжений не оставлял, однако всё как-то образовалось...

«Делай, что должно, и пусть будет, что будет», — последние его слова, начало фразы, не дописанной в Астапове его ослабевшей рукой.

Сознавая, что всё движется к катастрофе, он из последних сил старается её отдалить. Фактически выживаемый из дома (причём обеим сторонами), он делает всё, чтобы утишить поднявшуюся вражду, мирить оппонентов, восстановить семейный покой. Он полагает, что уход — самое лёгкое из решений и будет выгоден только ему. Проще всего, конечно, уйти. Но это значит — не исполнить свой христианский долг (т. е. «закон любви»), не обрести «радость совершенную», не донести свой крест до конца.

Врачу, исцелися сам: герой собственного романа, он ставит на себе свой последний — писательский — эксперимент.

Зная характер мужа, Софья Андреевна не прочь сыграть на этой — весьма тонкой — струне. «Во время нашего тяжёлого объяснения вдруг из Льва Ник. выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое, я ненавидела его в эту минуту и сказала ему: “А! вот когда ты настоящий!”, и он сразу притих»**.

Софьи Андреевны: она будто чувствовала, что только что произошло что-то ужасное, непоправимое. <.> Итак, совершился акт, которого Софья Андреевна боялась больше всего: семья, материальные интересы которой она так ревностно охраняла, лишилась прав литературной собственности на сочинения Толстого после его смерти» (С. 307, сноска).

* *Чертков В.Г.* Уход Толстого. М., 1922.

** *Толстая С.А.* Т. 2. С. 121.

Выведя его из себя, она тут же ловит его на слове, на интонации, жесте. И он «сразу притих», ибо не может позволить себе распускаться и даже *в сердцах* отходить от той линии поведения, которую сознательно избрал и на которую ему находчиво указывают, дабы уличить в неискренности и двойном дне.

«Помоги мне, Господи, — пишет он в дневнике. — Опять хочется уйти. И не решаюсь. Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю».

Он остаётся «не для себя». Жена, почитавшая его эгоистом, могла бы оценить эту брачную жертву.

«То, что отец делает теперь, это подвиг любви, лучше всех 30 томов его сочинений», — заметит однажды его старшая дочь. «Когда я повторила отцу слова Тани, — вспоминает младшая дочь,— "Умница, Таничка", — сказал он и разрыдался». Он тронут этой догадкой. «Как-то вечером, — продолжает Александра Львовна, — отец сидел в большом вольтеровском кресле. Когда я проходила мимо, он улыбнулся и тихо сказал что-то. Я не расслышала.— "Что ты, папа?" — "Девки мои хороши", — прошептал он»*.

«Девки», особенно младшая, понимают его куда лучше, чем сыновья (иные из которых позволяют себе кричать на него и даже называть дрянью). Он хотел бы, чтобы дочери всегда оставались при нём. Ещё в 1892-м одна из них говорит ему: «Ты, папа, ничего не имел против, когда женились сыновья, а мешаешь выходить замуж дочерям». Толстой, свидетельствует присутствовавший при сём Жиркевич, «сконфузился, покраснел, делано засмеялся и стал отнекиваться»**.

Он умрёт на руках младшей дочери Александры, которая переживёт его на 69 лет. Из них 50 она проведёт вне России, учредит в США Толстовский фонд и покинет мир в 1979-м, перевалив 95-летний рубеж. Единственная из его дочерей, она останется незамужней.

Толстой, желающий любить всех людей равной любовью, упрекает себя в дневнике за «грех» исключительной привязанности к Александре Львовне. Но с этим он ничего не может поделать. После смерти в 1906 году средней дочери, 35-летней Марии (умирая, он вдруг «громким, радостным голосом» позовёт: «Маша! Маша!»***), Александра становится самым близким ему членом семьи.

«Дочери Толстого очень симпатичны, — пишет Чехов Суворину после посещения Ясной Поляны. — Они обожают своего отца и ве-

* *Толстая А.Л.* Отец: Жизнь Льва Толстого. С. 452.

** *Жиркевич А.В.* Встречи с Толстым. С. 208.

*** *Толстая А.Л.* Отец. С. 476.

руют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и небезупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведёшь...» С такой точки зрения к Толстому ещё не подходил никто. «Невесту и любовницу, — продолжает Чехов, — можно надуть как угодно, и в глазах любимой женщины даже осёл представляется философам, но дочери — другое дело»*.

В роковом конфликте 1910 года Саша полностью на стороне отца («дочь-предательница», именует её оскорблённая мать). Их едва ли не единственная упомянутая выше размолвка («Не нужно мне твоей стенографии!») возникает в связи с тем, что Толстой медлит перевесить обратно снятые в его комнате Софьей Андреевной и перемещённые в дальний угол фотографии — Черткова и самой Александры. Дочь выговаривает отцу за эту, как она полагает, ненужную слабость.

«Отец закачал головой, повернулся и ушёл.

“Ты уподобляешься ей”, — сказал он мне, уходя»**.

«Ты уподобляешься ей» — то есть раздуваешь пламя, которое надо тушить.

Александра Львовна считает мать притворщицей и фарисейкой. Разумеется, основания для этого есть. Лежание на полу, отказ от пищи, выслеживание с биноклем (полевым? театральным?) мужа, предположительно направляющегося в Телятинки, попытка (впрочем, весьма острожная) отравиться опиумом, демонстративное, рассчитанное на публику стреляние из детского пугача, молебен в доме (при отсутствующем Толстом) об изгнании духа Черткова, тайное привязывание конки ножке толстовской кровати и т.д. и т.п. — во всём этом наличествует столько безумия, сколько и явного умысла. Но Софья Андреевна уже и сама не ведает что творит.

И только один Толстой понимает, что это не только блажь, но и — недуг.

Сыновья (за исключением старшего, Сергея) оправдывают мать; младшая дочь — осуждает. Один Толстой говорит «не могу не жалеть».

«Знаю, — пишет он Черткову, — что всё это нынешнее, особенно болезненное состояние может казаться притворным, умышленно вызванным (отчасти это и есть), но главное в этом всё-таки болезнь,

* *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М: Наук, 19741983. Т. 6. Письма. С. 87.

** *Толстая А.*Л. Отец. С. 459.

совершенно очевидная болезнь, лишающая её воли, власти над собой»*.

28 августа он записывает: «Всё тяжелее и тяжелее с С.А. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть. — Да, эгоизм это сумасшествие. Её спасали дети — любовь животная (так он её понимает. – *И. В.*), но всё-таки самоотверженная. А когда кончилось это, то остался один ужасный эгоизм». Он как бы возвращает ей аналогичные упрёки в собственный адрес. Но при этом не считает такое её состояние свойством её натуры. Это лишь нарушение психического здоровья, «отступление в сумрак», патология. «...И Душан, и Саша не признают болезни. И они не правы». Специалисты-врачи, будучи вызваны в Ясную Поляну, рекомендуют прогулки и ванны.

Ей нужно совсем другое. Она, например, сразу расцветает, когда он становится с ней ласков, говорит доброе слово и т.д. Когда в конце сентября на недолгое время прекращаются посещения Черткова, а дочь Саша и её подруга Феокритова («скромная поджигательница вражды и передатчица всех сплетен о Софии Андреевне»**, как называет её Булгаков), поссорившись с хозяйкой дома, отбывают в Телятинки и, говорит Булгаков, «в Ясной Поляне, кроме стариков да меня с бесплотным и надмирным Душаном, никого не осталось, Лев Николаевич стал удивительно внимателен и нежен с Софией Андреевной: то грушу ей подаст, то о здоровье спросит, то посоветует раньше ложиться спать, чтобы сохранить это здоровье, то почитает ей что-нибудь. <.> При суровой, подозрительной и ревнивой Александре Львовне (“Разве это светская барышня? Это — кучер!” — говорила о ней мать. – *И. В.*) всё это было бы невозможно»***. Но это длится всего несколько дней. После случившегося с Толстым припадка (3 октября) дочь и подруга возвращаются в Ясную: ситуация обретает прежний вид.

Очевидно, Толстой сознаёт, что на поведение Софьи Андреевны влияют неизбежные для каждой женщины возрастные изменения (хотя в данном случае они наступают сравнительно поздно). Он ссылается на врачей, обследовавших больную: «Они нашли истерию. Говорят, что это тяжёлое состояние временно, что оно должно непременно пройти и она тогда обратится в обыкновенную старушку». И на слова Александры Львовны, что едва ли когда-нибудь её мать примет указанный образ, он возражает: «Нет, отчего же?

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 89. С. 205. 14 августа 1910 г.

** *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 126.

*** Там же. С. 144, 145.

Пройдёт известный период, и я думаю, эти явления смягчатся»[*]. Ему этот «известный период» уже не пережить.

Несмотря на то что в поведении Софьи Андреевны, во взвинченном самооправдывающемся и одновременно агрессивном слоге её дневников появляется нечто совершенно не графское, плебейское, «вечно бабье» и даже мещанское, несмотря на это, многое в ней не поддаётся распаду. Её письма (особенно к Черткову и его матери) написаны с присущей ей твёрдостью и достаточно внятны. Правда, надежды мужа н то, что она исцелима, оправдаются только после его кончины. Тогда она успокоится, примирится с Сашей, с неё быстро слетит владевший ею морок. Зять её, М.С. Сухотин, как-то заметит: «После смерти Льва Николаевича все стали хуже, одна София Андреевна стала лучше!»[**]

Толстой в отличие от всех окружающих гораздо тоньше понимает истинную причину драмы. Конечно, забота о благе детей (пятерых сыновей, двух дочерей и более двух десятков внуков), которых её муж своим завещанием якобы оставляет *голодными*, действительно мучает Софью Андреевну. Но с этим она ещё могла бы примириться. Она не может перенести другого. Чертков посягнул на то, что всегда, несмотря на все «идейные расхождения», оставалось ненарушимы: на сокровенность их общей жизни, на их душевную (оставим пока в покое духовную) связь. Она и муж, как бы ни складывалась судьба, оставались частью друг друга. Ныне это двуединство расторгнуто.

Она стоит рядом, когда его отлучает Синод. Но она не может перенести, когда отлучают её — от него.

В год смерти их последнего ребенка, в пору их родительского отчаяния он записал в дневнике: «...Как говорил Фет, у каждого мужа та жена, к<оторая> нужна для него. Она — я уже вижу как, была та жена, к<оторая> б<ыла> нужна для меня. — Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой, и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидал это после смерти В<анечки>»[***].

---

[*] *Гольденвейзер.* С. 418.

[**] *Булгаков В.Ф.* О Толстом. С. 199–200. Она даже готова постфактум признать правоту мужа. «Тысячу раз прав Лев Николаевич, что обогатил мужиков, а не сыновей, — записывает она в ежедневнике за 1914 год, узнав о 50-тысячном проигрыше сына Льва. — Всё равно ушло бы всё на карты и кутежи. И противно, и грустно, и жалко! А что ещё будет после моей смерти!» (*Толстая С.А.* Т. 2. С. 409). История очень скоро п-своему разрешит эту проблему.

[***] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 53. С. 61.

«Христианским другом» делается Чертков. Впрочем, она готова поставить этот факт под сомнение.

Попытка ревности

3 августа 1910 года Толстой записывает в дневник: «Вечером тяжёлая сцена, я сильно взволновался. Ничего не сделал, но чувствовал такой прилив к сердцу, что не только жутко, но больно стало»*.

Толстой весьма лапидарен. В последний год у него только голая хроника событий; оценки и комментарии по большей части скупы. И в данном случае о содержании «тяжёлой сцены» не сказано ничего.

Чуть подробнее он говорит о событии в своём тайном «заголенищевском» манускрипте, который по ночам прячет под подушку: «Вечером записка сумасшедшая от С.А. и требование, чтобы я прочёл. Я загляну<л> и отдал. Она пришла и начала говорить. Я заперся, потом убежал и послал Душана. Чем это кончится? Только бы самому не согрешить. Ложусь. Е.б.ж.»**.

Кое-что проясняет Булгаков: он называет сцену не только тяжёлой, но и «кошмарной». «Софья Андреевна перешла все границы в проявлении своего неуважения к Льву Николаевичу и, коснувшись его отношений с Чертковым <...> наговорила ему безумных вещей, ссылаясь на какую-то запись в его молодом дневнике»***.

Никто лучше Софьи Андреевны не разбирается в ранних его дневниках. Это знание она хотела бы обратить в «орудие истины». Ей кажется, что найденные ею улики убийственны и неопровержимы. Она спешит поделиться своим открытием с мужем (и, разумеется, со всеми желающими). Это — дневниковая запись Толстого от 29 ноября 1851 года, где простодушный автор непринуждённо сообщает: «Я никогда не был влюблён в женщин. <...> В мужчин я очень часто влюблялся...»**** Это наивное, но, как выясняется через 59 лет, крайне неосторожное заявление служит для Софьи Андреевны психологическим объяснением противоестественного и постыдного, на её взгляд, влечения Толстого к своему «идолу». (Недаром накануне она говорит мужу: «Вами ведётся тайная *любовная* переписка»*****.)

---

* Там же. Т. 58. С. 86.
** Там же. С. 180.
*** *Булгаков В.Ф.* О Толстом. С. 317.
**** *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 46 С. 237–238.
***** Там же. Т. 58 С. 180. 2 августа 1910 г.

Итак, в сюжете появляется новый неожиданный поворот. Он выглядит тем нелепее, что относится к автору «Отца Сергия» — к тому, кто, испытав в жизни немало соблазнов, никогда не был замечен *в этом*. Софья Андреевна снабдила толстовскую запись своим разоблачительным комментарием, но не пожелала вникнуть в её смысл. «Я влюблялся в м<ужчин>, — продолжает Толстой, — прежде чем имел понятие о возможности *педерастии*; но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входила мне в голову». Он говорит об «идеале любви» — так, как он его понимает: «совершенное жертвование собою любимому п<редмету>». (Очевидно, те или иные гендерные признаки здесь не важны.) «Никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение». Из всего этого Софьей Андреевной, наконец-то прозревшей после десятилетий, судя по всему, страстного брака, извлекается криминал.

Легко представить, как отнёсся к этой новости *подозреваемый*.

«Я видел, — пишет Булгаков, — как <...> Лев Николаевич быстрыми шагами прошёл через мою комнату к себе, прямой, засунув руки за пояс и с бледным, точно застывшим от возмущения лицом. ("Какая гадость, какая грязь!"[*]) Затем щёлкнул замок: Лев Николаевич запер за собой дверь в спальню на ключ. Потом он прошёл из спальни в кабинет и точно так же запер на ключ дверь из кабинета в гостиную, замкнувшись, таким образом, в двух своих комнатах, как в крепости»[**].

Софья Андреевна трактует эту сцену совершенно иначе, разве что фактические подробности там и тут совпадают. «Хотела объяснить Льву Ник-у источник моей ревности к Черткову и принесла ему страничку его молодого дневника **<...>** Я думала, что он, как П.И Бирюков, как доктор Маковицкий, поймёт мою ревность и успокоит меня, а вместо того он весь побледнел и пришёл в такую ярость, каким я его давно, давно не видала. "Уходи, убирайся! — кричал он. — Я говорил, что уеду от тебя, и уеду..." Он начал бегать по комнатам, я шла за ним в ужасе и недоумении. Потом, не пустив меня, он заперся на ключ со всех сторон. Я так и остолбенела. Где любовь? Где непротивление? Где христианство? И где, наконец, справедливость и понимание? Неужели старость так ожесточает сердце человека? Что я сделала? За что? Когда вспомню злое лицо, этот крик — просто холодом обдаёт»[***].

---

[*] *Гольденвейзер*. С. 480.

[**] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 318.

[***] *Толстая С.А.* Т. 2. С. 166–167.

Интересно, какой реакции она ожидала. Уж не предполагала ли, в самом деле, что этот «последний довод» расставит всё по своим местам, прояснит запутанную картину, и её устыжённый муж бросится к ней в объятия со слезами раскаянья и любви?

«Его несчастная жена, — заключает Булгаков, — подбегала то к той, то к другой двери и умоляла простить её ("Лёвочка, я больше не буду!") и открыть дверь, но Лев Николаевич не отвечал...»[*] Потом он прибежал к Александре Львовне и упал в кресло. Она пощупала пульс — «больше ста и сильные перебои»[**]. Затем обратился к доктору Маковицкому: «Скажите ей, если она хочет меня уморить, то уморит». «Он весь изменился», — говорит Душан, который выполнил поручение, которому честная Софья Андреевна немедленно дала прочитать злополучную выписку — «чтобы вы убедились, что я имею повод ревновать»[***].

Об этих подробностях извещается самый широкий круг домочадцев. «...Софья Андреевна, — записывает Гольденвейзер, — при всех, даже при маленьких детях, вслух говорит совершенно непристойные вещи о Л.Н.»[****]

Наконец-то она нашла удобный предлог. За всё время их почти полувекового супружества он, кажется, не давал ей повода для ревности. Единственная, к кому она не без оснований ревновала его, — местная (давно уж замужняя) крестьянка Аксинья Базыкина, последняя его возлюбленная до брака. После этой связи он уже никак не мог бы сказать, что «не был влюблён в женщин». («Я влюблён, как никогда в жизни, — записано в дневнике. — Нет другой мысли. Мучаюсь. <.> Уж не чувство оленя, а мужа к жене»[*****].) Софье Андреевне хорошо запомнился этот текст. Недаром через четыре месяца после свадьбы ей снится он, что она рвёт на клочки ребёнка Аксиньи («И ноги, голову — всё оторвала, сама в страшном бешенстве») — кстати, вполне реальное детище — следствие этой связи[******]. Снятся ли ей аналогичные сны про Черткова, которого она неоднократно грозится убить?

Она торопится посвятить в свои сексуальные подозрения и младшую дочь, которая с ужасом говорит Гольденвейзеру, что Софья Андреевна поведала ей «такие мерзости, о которых Александра Львов-

---

[*] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 318.
[**] *Гольденвейзер.* С. 480.
[***] *Маковицкий Д.П.* Кн. 4. С. 313–314. 3 августа 1910 г.
[***] *Гольденвейзер.* С. 472.
[****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 48 С. 15 3 мая 1858 г. С. 25. 6 мая 1860 г.
[*****] *Толстая С.А.* Т. 1. С. 47 14 января 1863 г.

на и понятия не имела (Толстой очень строго оберегал нравственность своих дочерей. – *И. В.*), так что она не выдержала и сказала Софье Андреевне: “Перестань, ты забываешь, что ты мне мать, и я вовсе не желаю от тебя узнавать про все эти гадости”»[*].

Известившись об этих поверяемых даже совсем посторонним людям рассказах, Толстой «ахнул, но, по-видимому, не принял этого очень близко к сердцу. Удивительно, — говорит Гольденвейзер, — его равнодушие к тому дурному, что говорят о нём!»[**]

Ему куда тяжелее, если дурное будут думать о ней. И не в последнюю очередь — он сам.

14 августа, после шахмат, выйдя из залы на лестничную площадку, он негромко скажет Гольденвейзеру: «Она ужасна. Она мне такие вещи нынче утром говорила, что я не могу никому этого повторить. Она совершенно больна»[***].

Он повторит это лишь старшей дочери, Татьяне Львовне.

Когда утром того же дня дочь зашла к нему, «он сидел за столом и, опустивши голову на руки, рыдал». «“Ты не можешь себе представить, с чем она сейчас ко мне приставала!..” — и Л.Н. сказал Татьяне Львовне, что Софья Андреевна требовала от него того, о чём ей в её возрасте давно бы уже пора перестать думать... “И я думаю, что самое ужасное ещё впереди.”»[****]

Булгаков о происшествии не сообщает ни слова: Толстой не счел возможным посвящать его в эту *семейную тайну*. Молчит и всезнающий Маковицкий.

И только в секретном — «для самого себя» — дневнике Толстого глухо помечено: «Потом рассказывала ужасное: половое раздражение (“Последние два слова вымараны рукой С.А. Толстой”, — сообщают издатели). Страшно сказать: (Далее вымарано ещё три слова и стоит редакционное: “Прочесть не удалось” — это единственные во всём дневнике вымаранные ею слова, о которых упоминалось выше.) И Толстой заключает: «Ужасно, но слава Богу жалка, могу жалеть. Буду терпеть. Помоги Бог. Всех измучила и больше всего себя»[*****].

Готовый ко всему, этого он от неё не ожидал. От неё, корившей его за чувственность и мечтавшей о тихих прелестях поздней супружеской дружбы. И в пандан ей он, толкуя о причинах их охлажде-

---

[*] *Гольденвейзер.* С. 476.
[**] Там же. С. 474.
[***] Там же. С. 535.
[****] Там же. С. 535–536.
[*****] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 133.

ния, замечал: «...Не говорю о прекращении брачных отношений — такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения ненастоящей любви»*.

То, с чем «приставала» к нему Софья Андреевна, — это порыв последнего отчаяния, полубред, попытка какой угодно — пусть даже безумной — ценой удержать его подле себя, противопоставить «физическому обаянию» Черткова (с кем она запрещает ему не только целоваться при встрече, но даже близко сидеть) свои женские, некогда так привлекавшие его достоинства. Она не чувствует, что в этом качестве становится похожа на комическую старуху, за которую он испытывает мучительный стыд.

«Она невыразимо жалка!» — не устает повторять Толстой. «Жалка» на его языке (и на языке той культурной традиции, к которой он принадлежит) имеет иной, чем теперь, смысловой оттенок: не брезгливо-презрительный, указующий на ничтожность обозначаемого предмета, сочувственный, предполагающий жалость.

Он щадит её даже тогда, когда, казалось бы, все мосты сожжены. «Свидание наше и тем более возвращение моё *теперь* совершенно невозможно», — пишет он ей уже из Шамордина**. Подчёркнутое им слово призвано оставить ей надежду.

А пока он делает то, что должно.

Обитель дальная

Был ли вероятен какой-то иной исход?

Представим то, что представить почти невозможно: Софья Андреевна смиряет себя, побеждает свои истерики и ради здоровья и спокойствия мужа примиряется со «злым дураком» Чертковым. Более того, она соглашается отдать все издательские права в общее пользование, признаёт толстовское завещание и остаток жизни посвящает служению тому делу, которое полагал для себя главным Толстой. Допустим даже — при максимальном взлете фантазии, — что она становится правоверной «толстовкой», отдаляется от Церкви и, что вообразить гораздо труднее, отказывается от «роскоши» яснополянского дома. (Заметим: порядок в нем не изменится даже в голодные 1918–1919 годы, когда всё тот же лакей в белых перчатках будет ежедневно подавать на стол кормовую свеклу.)

---

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 84 С. 399. 14 июля 1910 г.

** Там же. С. 407.

Спрашивается: обрадовала бы Толстого именно такая жена? Она была бы больше похожа на любимую им «святую старушку» Марию Александровну Шмидт, жившую рядом, в Овсянникове, обожавшую Толстого, хранившую его бумаги и кормившуюся простым крестьянским трудом. Смогла бы такая чудесным образом преобразившаяся подруга восполнить тот богатый оттенками мир (в том числе мир воспоминаний), который худо-бедно воплощала собой *прежняя* Софья Андреевна? И возросла бы его любовь, если бы неожиданно исчез этот противостоящий ему характер, этот постоянный, но очевидно внутренне необходимый ему укор?

Вряд ли можно ответить на этот праздный вопрос.

Не потому ли Софья Андреевна упорно стремится к концу, что чувствует дыхание рока, свое бессилие что-либо изменить, иссякновение жизни? Страшась ухода, она, собственно, провоцирует его, ибо, как и её взыскательный муж, не желает жить без любви.

Ну а Чертков?

Опять же допустим, что, ради блага Толстого и дабы не противиться злому, он тоже смирит свою апостольскую гордыню, покинет Телятинки, отдалится от Ясной Поляны и будет скромно, по-христиански служить учителю, не претендуя при этом на полное и безраздельное обладание его духовным наследием. Пусть это будет отступлением от принципов, от идеала, от теории, изменой убеждениям, но подобная *милость* даст 82-летнему старику возможность прожить хотя бы ещё несколько лет...

Но никто не хотел жертвовать собой. Куда проще было пожертвовать Толстым.

И вот — сотни раз приводившееся: «Ч<ертков> вовлёк меня в борьбу, и борьба эта оч<ень> и тяжела, и противна мне»*. И еще: «Они разрывают меня на части. Иногда умается: уйти ото всех»**.

Он не может этого сделать, ибо они — в нём, и «все» — это в значительной степени он сам.

Всей жизнью укоренённый в Ясной Поляне, Толстой последние годы проживает в ней «как в гостинице». Но не вся ли Россия предстаёт большим постоялым двором, пересадкой в грядущее, промежуточной станцией на пути в Царствие Божие? Он, вечный духов-

---

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58 С. 129.

** Там же. С. 138. В том, что Толстой мыслил свой отъезд как сугубо личную, независимую, «не чертковскую» акцию, убеждают его слова из письма к дочери Саше из Оптиной пустыни: «От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться» (Т. 82 С. 216). Это не только тактика: Толстой не хочет делать свой выбор в пользу *лица*.

ный скиталец, умирает в дороге, на забытой Богом (но теперь вспомянутой Им) станции, в доме её начальника, в двух шагах от железнодорожного полотна, где окончила свои дни его несчастная героиня. Он умирает на перегоне — по дороге к тому любимому им Начальнику, в чьём ведении находится и конечный пункт. По доброй воле он отказывается от полагающегося всем туда прибывающим пропуска (не так ли Иван Карамазов «возвращает билет»?). Он предпочитает добраться до места назначения сам, без каких-либо официальных гарантий. Он надеется, что *там* его примут — с таким же добросердечием, как здесь, где дал ему кров потрясённый его явлением и не сильно переживший его латыш Озолин.

Да, он вечный русский скиталец, о котором Достоевский сказал, что ему нужно всемирное счастье, ибо дешевле он не примирится.

Недаром толстовский Лёвин — персонаж столь близкий самому автору — любящий «себя называть народом», заподозрен Достоевским всё в том же национальном грехе. «Пусть он помещик, и работящий помещик, и работы мужицкие знает, и сам косит и телегу запрячь умеет, и знает, что к сотовому меду огурцы свежие подаются. Всё-таки в душе его, как он ни старайся, останется оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать *праздношатайством* – тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а всё же досталось ему по наследству и которое, уж конечно, видит во всяком барине народ, благо не нашими глазами смотрит»[*].

Праздношатайство — одна из ипостасей вечного русского скитальчества. И то, что образованному обществу представлялось великой драмой, «с точки зрения народа», к которому Толстой так влечётся в свой последний час, но который «не нашими глазами смотрит», могло выглядеть совсем по-иному. И в рукописном полотнище, которое несли перед его гробом местные мужики: «Лев Николаевич, память о твоём добре не умрёт среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны»[**], были вспомянуты отнюдь не нравственные искания покойного графа, а то реальное осязаемое добро, которое творил он на этом малом клочке русской земли.

«Удирать надо, удирать», — будет повторять он в предсмертном бреду. Но от себя — не уйдешь.

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам...

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 25. С. 205.

[**] *Булгаков В.Ф.* Л.Н. Толстой в последний год его жизни. С. 71.

«Удирать надо, удирать», кто же спорит. Он наконец решился исполнить свою заветную мечту — ту, которая была заявлена отечественной словесностью задолго до него:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Пушкин замыслил побег *в обитель;* Толстой — *из обители,* где он, собственно, провёл свои лучшие годы. Ему, очевидно, но, нужна обитель ещё более «дальная». Такая, где его уже не сможет настигнуть никто. Труды при этом не исключаются. О чистых негах речь, по-видимому, уже не идёт.

«Пора, мой друг, пора!» — это призыв, обращённый к жене. Очевидно, само сбой разумелось, что она будет сопутствовать тому, кто замыслил побег. Толстой бежит *от* жены — покоя сердце просит. Но где гарантия, что она — к ужасу его и стыду — не последовала бы за ним, пусть даже на край света?

«Лёвочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей жизни, всё, всё делаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вест дружны, буду лечиться, буду кротка <...> Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой»*.

Это, конечно, «вопль женщин всех времён: "Мой милый, что тебе я сделала?!"» Его невозможно сравнивать с горьким и холодным толстовским прощанием: «Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной». Вопленица не только готова *исправиться*, она готова на всё. В её безумном лепете прочитывается ясная мысль: «Я честно и твёрдо обещаю, голубчик, и мы всё опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь».

Толстому только этого не хватало.

Но, покинув её, он ни на минуту не забывает о ней.

«Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились», — скажет он перед смертью, уже впадая в забытьё. И на вопрос старшей дочери — «Что ты сказал, папа́?» — повторит: «На Соню, на Соню многое падает»**.

«Мы плохо распорядились...» Но можно ли было распорядиться иначе?

Давно, усталый раб, замыслил я побег...

---

* *Толстая С.А.* Письма к Л.Н. Толстому. М; Л,1936. С. 795–796.

** *Сухотина-Толстая Т.Л.* О смерти моего отца и об отдалённых причинах его ухода // Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М, 1976. С. 423.

Побег-то он, может, и замыслил. Поражает другое: за тридцать лет он не почёл нужным озаботиться его *техническим исполнением*.

И впрямь: для него ещё нигде и ничего не готово. Робкие вопросы о конкретной — тёплой и отдельной — хате появятся лишь в самом конце. Сотни его сторонников — и в России, и за рубежом — с восторгом приняли бы Толстого и даже постарались бы, если б он захотел, в максимальной степени обеспечить ему непубличность (хотя последнее, конечно, трудно представить). Но он не может уехать открыто, *легально* (как открыто не может огласить завещание), ибо в таком случае его ждёт грандиозный, с непредсказуемыми последствиями скандал. Недаром он (о котором Гольденвейзер сказал: «Я не могу представить его испуганным, боящимся чего-либо»*) так дрожит в ту октябрьскую ночь, опасаясь пробуждения жены и погони.

Допустим, существовали варианты: объявить о поездке к старшей дочери в Кочеты (куда он дважды «срывался» в этот последний год и где действительно отходил душой), а затем — двигаться дальше. Но это был бы обман: то, чего Толстой не мог принять никогда.

Он уезжает неожиданно, внезапно, врасплох, сам не зная куда. Ни сам беглец, ни телятинский «штаб» не позаботились о маршруте.

С другой стороны, во всем этом наличествует какой-то скрытый автоматизм, какая-то жуткая сценарность.

Он говорит, что ищет только предлога, чтобы уйти. И предлог не заставляет себя ждать. Он является в ночь на 28 октября 1910 года.

«Лёг в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С.А. что-то разыскива<ет>, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Её обе двери отворены, так что малейш<ее> моё движение слышно ей.

И днём и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под её контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит».

Так излагаются на следующий день в дневнике события минувшей ночи.

«Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажёг свечу и сел. Отворяет дверь и входит С.А., спрашивая “о здоровье” и удивляясь

* *Гольденвейзер.* С. 65.

на свет у меня, к<оторый> она видит у меня. Отвращение и возмущение растёт, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо...»[*]

«Пишу ей письмо» — но черновик набросан уже накануне. И не этот ли почти уже написанный текст толкает автора на последний, отчаянный шаг?

Но и Софья Андреевна действует не по наитию, а так, как будто давно знает, как всё может произойти.

Утром 28-го, после позднего вставания (сон, очевидно, был очень крепок, если даже ночные сборы не смогли нарушить его), лишь взглянув на первые строки оставленного ей мужем письма («Отъезд мой огорчит тебя»), она не дочитывает его до конца, швыряет на пол «и с криком: "Ушёл, ушёл совсем, прощай, Саш, я утоплюсь", — бросилась бежать»[**].

Она поступает именно так, как не раз толковала о том в своих дневниках. При этом публично оглашается порядок действий («Я утоплюсь»). Сценарий начинает разыгрываться как по нотам — и в нём, при всём его драматизме, возникают явно пародийные черты. Образованный русский читатель имел основания вспомнить не только карамзинскую «Бедную Лизу», но и сопутствовавшие ей эпиграммы.

Здесь бросилася в пруд Эрастова невеста.
Топитесь, девушки: в пруду довольно места!

«Графиня изменившимся лицом бежит пруду»... Насмешливые потомки тоже всё обращают в шутку. Но графиня действительно могла утонуть: дочь Саша и Булгаков не без труда вытащат её из холодной, уже почти ноябрьской воды.

Она заранее знала, что будет именно так.

Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

«Вот умрёт Толстой, всё к чёрту пойдёт!»[***] — говаривал Чехов.

Он как в воду глядел.

Он как в воду глядел: мир после Толстого стал ещё неблагообразнее и жесточе. И ныне, по прошествии века, почти на всём его про-

---

[*] *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58 С. 123–124.

[**] *Толстая А.Л.* Отец. С. 468–469.

[***] *Бунин И.А.* Чехов // Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 гг. М.: Наследие, 1998. С. 269.

тяжении уверенные в обладании истиной, мы вновь обращаемся к «слишком элементарным», «наивным», «простым» толстовским решениям. Ибо, как выясняется, никакие новейшие обстоятельства не в силах перечеркнуть сказанного тогда: мир, лежащий во зле, спасаем только любовью. И если XX столетие, потрясённое исполнившимися пророчествами, было по преимуществу веком Достоевского, то кто знает, не станет ли надвигающаяся эпоха веком Толстого? «Нет ничего абсолютно мёртвого, — говорит Бахтин, — у каждого смысла будет свой праздник возрождения»*.

Казалось бы, Толстой *ушёл* по той же причине, по какой «возвратил билет» Иван Карамазов: не принял несправедливости земной. Но в отличие от «русского Фауста» автор «Исповеди» не почёл возможным обвинять Творца в несовершенстве творения. По его, Толстого, разумению, жизнь — это лишь путь, проходя который человек способен изменить мир, только сам сделавшись лучше. Постулат достаточно спорный. Однако за время, минувшее после ухода Толстого, никто ещё не сумел доказать обратное.

Последний дневник Толстого — его подлинное, не вынужденное никем завещание. Его последняя воля и предсмертный итог. Помимо прочего, дневник этот свидетельствует о том, что человек, даже обладающий необыкновенным могуществом и пребывающий на вершине славы, по сути своей одинок. Но и мы куда как одиноки без Толстого. «Не нужно мне вашей стенографии!» — мог бы воскликнуть он в виду ленивого и праздно любопытствующего потомства. Ему, как и любому из нас, необходима любовь.

---

* *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 373.

Астапово

Может, и впрямь этот мир иллюзорен
и преисполнен наитий и грёз.
...Но станционный начальник Озолин
благоразумен, толков и тверёз.

Не ожидая событий недолжных,
не одобряя, случись они где б,
он на распутьях железнодорожных
единовластный вершитель судеб.

Но изменяется жизни исходник,
свист паровозный несётся вдогон,
и на путях непостижных господних
ждёт отправленья последний вагон.

Видно, у смерти язык намозолен —
местные вести уходят в улёт.
Чем же ты столь провинился, Озолин,
если в такой угодил переплёт?

Что же, заглянем в буфет станционный,
дёрнем по маленькой — за упокой.
Жаль, что насельник обители оной
нам не махнёт на прощанье рукой.

Ибо он только свидетель и зритель,
неразличимый в пучине утрат.
Старый дурак, станционный смотритель,
птицею-тройкой раздавленный брат.

Волгин И.Л. Homo poeticus. Стихи и о стихах.
М.: Академический проект, 2021

Из книги:

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДОСТОЕВСКОГО

Последний год Достоевского
(предисловие – Д. Лихачёва)
М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной. 2017.
780 с.

Три части, 21 глава.

В этой книге, вышедшей пятью изданиями и переведённой на многие иностранные языки, судьба создателя «Братьев Карамазовых» впервые соотнесена с роковыми минутами российской истории, с кровавым финалом царствования Александра II. Уникальные открытия, сделанные автором, позволяют постичь драму последних дней Достоевского, в том числе тайну его ухода.
Предлагаемые ***фрагменты*** из «Последнего года Достоевского» дают существенное представление как об исходе его жизненного пути, так и о художественных и исторических достоинствах авторского труда.

Несколько вступительных слов

От автора

В один из последних дней 1880 года Достоевский заехал к своему старинному приятелю Алексею Николаевичу Плещееву: завёз долг двадцатилетней давности. «Вот ещё 150 р., — пишет он в адресованной поэту записке, — всё-таки за мной остаётся хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь ещё пока только леплюсь. Всё только ещё начинается»[*].

Ему оставалось жить чуть больше месяца.

Пушкин незадолго до своей гибели пишет «Памятник»; Гоголь, Тургенев, Толстой в конце пути тоже подводят итоги. Достоевский говорит: «Всё только ещё начинается».

Он умирает на взлёте, в момент величайшего проявления своей духовной мощи: после недавнего московского триумфа, едва успев дописать последние страницы «Братьев Карамазовых». Он уходит в час, когда, по его собственным словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной»[**], уходит, не ведая, что всего через месяц после его кончины будет оборвано неспокойное царствование Александра II. Он уходит, не подозревая о том, что его собственные похороны сделаются заключительным актом целой исторической эпохи.

В свой последний год автор Пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба.

Конечно, гений интересен в любой момент времени. Но всегда по-особому значителен финал его жизненного пути: здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в 30 томах. Ленинград: 1972–1990. Т. 30. Кн. I. С. 238–239. (Далее: Достоевский Ф.М. ПСС.)

[**] Там же. С. 23.

Эта книга не охватывает (да и не может охватить) всех тех вопросов, которые занимали её героя: *он*, а не *они* составляют её сокровенный интерес. Но не от разгадки ли этой главной проблемы существенно зависят все остальные?

Автор исходил не только из тех соображений, что избранный им год — последний и что в нём сходятся основные линии жизни. Концентрация исследовательских усилий в одной исторической точке позволяет острее рассмотреть (и по-новому оценить) то, что окажется в фокусе.

Медленное вглядывание в обстоятельства и события этого последнего года вдруг позволяет обнаружить вещи, неразличимые при высоком (в смысле — *над*) литературоведческом парении; вслушивание в тон, в интонацию каждого из тех, кому предоставлено слово, делает внятными звуки, нередко скрадываемые бодрой биографической скороговоркой. Ни один факт не должен приниматься на веру: ему надлежит получить подтверждение при перекрёстном допросе свидетелей и обрести своё место в системе доказательств.

Сюжеты, возникающие в ходе нашего повествования, как правило, не затрагивались (или почти не затрагивались) исследователями. Так, в почти необозримом море отечественной и зарубежной литературы о Достоевском нельзя указать работ, которые были бы посвящены смерти писателя и отношению к ней русского общества. Подобные лакуны немыслимы в науке о Пушкине, Гоголе, Толстом.

От читателя, очевидно, не укроется предпочтение, отдаваемое первоисточникам. Впервые приводится значительное количество печатных материалов (откликов прессы, дневниковых и мемуарных свидетельств и т. п.), доселе не привлекавших исследовательского внимания и поэтому практически неизвестных. Сказанное, разумеется, относится и к большинству использованных архивных документов.

Порою автор отваживался на предположения: историческая реконструкция (как и любая реконструкция) допускает восстановление неизвестного и утраченного на основе достоверного.

Автор не стремился удержаться в жестких хронологических рамках, когда выход из них диктовался самим сюжетом: отступления от 1880 года оправданы тем, что почти каждое событие последнего года Достоевского так или иначе соотносится с коллизиями всей его жизни и — не побоимся это сказать — с дальнейшим ходом русской истории.

Важно было остановиться и на развязке личных и литературных отношений Достоевского с Тургеневым, а также на некоторых моментах его духовного сосуществования с Львом Толстым.

Предвидя возможные упреки в «достоевскоцентризме», когда речь касается отношений его героя с великими современниками, автор спешит оговориться, что он не руководствовался добрым школярским правилом — раздать всем сестрам по серьгам: он старался соотнести происходящее с кругом сознания Достоевского. Нужно ли разъяснять, что исторический анализ вовсе не игнорирует суждений субъективных и даже пристрастных: они являются принадлежностью самой эпохи.

«Всё только ещё начинается», — написано им за месяц до смерти. И он не ошибся. Всё ещё было впереди. Сам он так и не успел отдать Плещееву всю занятую у него сумму: последний «хвостик» возвращала уже Анна Григорьевна. Но с Достоевским всегда особые счёты. Существует задолженность ему самому — его современников и потомков. Причём «сумма» имеет тенденцию к росту.

Следует отдавать долги.

Из главы I

«КОЛЕБЛЯСЬ НАД БЕЗДНОЙ...»

Зима 1880 года

Новый, 1880 год огорошил сюрпризом. В первый же день простыла Анна Григорьевна — и слегла с кашлем и лихорадкой. Это не замедлило сказаться на работе: хотя еженощное писание двигалось своим чередом, перемаранные листы угрожающе скапливались в кабинете. Обычно с этих черновых и получерновых листов текст передиктовывался Анне Григорьевне, которая воспроизводила его стенографически, после чего аккуратнейшим образом переписывала.

В «Русском вестнике» хвалили её почерк.

Между тем приближались последние сроки: январский номер, как всегда, выходил в конце месяца, следовательно, не позже 16 января девятая книга «Братьев Карамазовых» должна была быть в редакции. Приходилось писать в Москву успокоительные письма: к новогодним поздравлениям многоуважаемым Николаю Алексеевичу и Михаилу Никифоровичу (Любимову и Каткову) присовокуплялись извинения за невольную задержку. Кроме того, сама девятая книга — «Предварительное следствие» — вместо предполагаемых полутора печатных листов разрасталась до пяти: финал безумной ночи в Мокром, допрос Мити с обыском и раздеванием, а также массой других идущих к делу подробностей заслуживали самого досконального изображения.

Времени было в обрез.

Пришлось отложить в сторону неотвеченные письма, отказаться от необходимейших визитов. «И во всей моей жизни страшный

беспорядок», — жалуется он 8 января, вежливо отклоняя приглашение на вечернюю чашку чая.

Приглашение исходило из дома графини С.А. Толстой — вдовы поэта Алексея Константиновича Толстого. Достоевский любил бывать в этой дружественной ему семье и потому не замедлил посетить салон графини, как только очередная порция «Карамазовых» была отправлена в Москву.

...Возможно, в ту самую ночь, когда Фёдор Михайлович Достоевский возвращался от графини Толстой, толпа полицейских чинов ломилась в одну из квартир дома номер девять по Сапёрному переулку. Квартира встретила пришельцев огнём. Силы оказались слишком неравными: первая типография «Народной воли» была взята штурмом. Двадцативосьмилетний наборщик Абрам Лубкин (по прозвищу Птаха), прежде чем его схватили, успел выстрелить себе в висок.

Год начинался с револьверной пальбы.

Род оружия

Впрочем, к этому уже привыкли. С тех пор как в январе 1878-го Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор поразила петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, подобные события — ошеломляющие, из ряда вон выходящие — утратили свою чрезвычайность.

События эти были *ответом* на приговоры участникам политических процессов — к сотням лет каторги, на издевательства в местах заключения, на административный произвол и массовые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.

Впервые (если не считать одного дня — 14 декабря 1825 года) страна была поставлена перед небывалым в её истории фактом: организованной вооружённой борьбой против существующей власти. Факт этот постепенно перевешивал всё остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай Бог, чтобы я ошибался, — писал Лев Толстой, — но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим»*.

Толстой называет именно те проблемы, которые занимали Достоевского на протяжении минувших двух лет. Автор «Дневника пи-

* *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений в 90 томах. Москва: 1928–1958. Т. 62. С. 409. (Далее: *Толстой Л.Н.* ПСС.)

сателя» полагал, что именно там, на Балканах, будет положено начало некоему мировому нравственному перевороту — тому, что он именовал «русским решением вопроса». Это решение должно было зиждиться не на холодном государственном расчёте, а на правде и справедливости — «пусть даже в ущерб собственной выгоде».

Русско-турецкая война закончилась; армия, уже различавшая на горизонте купол «святой Софии», по доброй воле отступила от Константинополя. После Берлинского конгресса «собственная выгода» России (как бы в насмешку над его словами) была действительно сведена на нет: дипломаты отдали то, за что было заплачено русской кровью. Что же касается нравственной — главной для него — стороны дела, то о ней и не вспоминали. Восточный вопрос не обновил Европы и не повёл к возрождению его собственной страны.

Прекратился и выпуск «Дневника писателя», к которому за два года (1876–1877) читающая Россия уже привыкла. Подписчики, приученные находить на страницах «Дневника» если не ответы на злобу дня, то, по меньшей мере, пристальное её обсуждение, теперь должны были оставаться в неведении относительно того, как смотрит их постоянный собеседник на совершающиеся события.

События между тем совершались.

Пока генерал-адъютант Трепов оправлялся от полученной раны, в Киеве был убит жандармский полковник барон Гейкинг, а в Ростове-на-Дону жизнью поплатился за свою деятельность агент сыскной полиции Никонов (у позднейших историков их «вина» вызывала некоторые сомнения). В Киеве же Валериан Осинский стрелял в местного прокурора Котляревского. Лишь спасительная толщина прокурорской шубы остановила полёт пуль и сохранила жизнь её владельцу: счастливец не был даже ранен, хотя и свалился на землю от страха.

Россия не знала ничего подобного.

Правда, 14 декабря 1825 года из каре восставших войск на Сенатской площади прогремело несколько выстрелов — и Каховский, один из тех штатских, коих правительственный бюллетень аттестует господами «гнусного вида во фраках», сразил генерала Милорадовича; правда, 4 апреля 1866 года пуля Каракозова просвистела мимо решётки Летнего сада, едва не задев Александра II. Но это были печальные *исключения*. Теперь же власть постоянно находилась под револьверным прицелом.

Впрочем, страшен был не только револьвер.

4 августа 1878 года, около девяти часов утра, шеф жандармов и начальник III Отделения генерал-адъютант Мезенцов возвращал-

ся домой после ранней молитвы в часовне у Гостиного двора. Вместе со своим спутником — отставным подполковником Макаровым — генерал вступил на Михайловскую площадь. В этот момент, как гласит текст официального донесения императору, он «был... встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках». Молодой человек стремительно бросился на шефа жандармов и поразил его кинжалом в живот (чем и был отчасти поколеблен слух, будто генерал носит кольчугу). Подполковник Макаров с криком «держи, держи» ударил нападавшего зонтиком. «...В ту же минуту другой молодой человек с чёрными усами в длинном синем пальто и чёрной пуховой круглой шляпе выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряжённые вороною лошадью; на козлах сидел молодой кучер с чёрными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду»*.

Вороной не подвёл. Это был, как выяснилось впоследствии, знаменитый Варвар — тот самый «революционный конь», который в 1876 году умчал из тюремного госпиталя Петра Кропоткина, в 1877 году — бежавшего из тюрьмы В.С. Ивановского, а за несколько месяцев до покушения на Мезенцова спас от тюремной погони А.К. Преснякова (Преснякова позднее поймают — и казнят в ноябре 1880 года; тогда же Достоевский обозначит его имя в своей записной книжке: к этой записи мы ещё обратимся). По прихоти судьбы именно Варвар, наконец-то пленённый правительством и призванный на полицейскую службу, 1 марта 1881 года доставит в Зимний дворец смертельно раненного русского самодержца.

Тяжёлый кинжал, предназначенный для медвежьей охоты, всадил в Мезенцова («ниже кольчуги») Сергей Кравчинский. Вскоре он эмигрирует и под псевдонимом Степняк выпустит за границей несколько книг о русской революции, которые принесут ему европейскую известность. В одной из них он упомянет Достоевского: «Единственные талантливые люди, которых она (реакция. — *И. В.*) закрепила за собой... — Достоевский в художественной литературе и Катков в журналистике — оба ренегаты революционного дела»**.

Автор не вполне прав: не говоря уже о несоизмеримости талантов, Катков никогда не принадлежал к «революционному делу».

---

* Цит. по кн.: *Народоволец А.И.* Баранников в его письмах. М., 1935. С. 34–35.

** *Степняк-Кравчинский С.М.* Россия под властью царей. М., 1965. С. 381.

Что же касается «ренегатства» Достоевского, то к этой расхожей формуле нам ещё придётся вернуться.

Чудом избежавши виселицы, Сергей Кравчинский намного переживёт автора «Бесов»: он погибнет случайно, в 1895 году, — под колёсами пригородного лондонского поезда.

Имя «молодого кучера с чёрными усами» — Адриан Михайлов. Его поймают не скоро: его процесс, которым, как всяким политическим делом, будет остро интересоваться Достоевский, состоится только через два года — накануне Пушкинского праздника — и окажется в некоторой связи с последним.

Наконец, следует сказать о третьем участнике драмы, разыгравшейся на Михайловской площади, — человеке «в чёрной пуховой шляпе», который огнём прикрыл своего товарища (на суде в 1882 году он будет утверждать, что стрелял в воздух, ибо усматривал в подполковнике Макарове не охранника, а лишь случайного спутника). Этот человек станет *последним соседом* Достоевского: зимой 1880–1881 годов в доме 5/2 по Кузнечному переулку, на одной лестнице с Достоевским, под чужой фамилией будет проживать член «великого ИК» — первого Исполнительного комитета «Народной воли», участник убийства Мезенцова, а затем почти всех покушений на Александра II — Александр Иванович Баранников.

Так затягивались узлы, распутать или разрубить которые уже не представлялось возможным. Так протягивались нити — с «мировых подмостков» к автору «Карамазовых».

Из главы III

ВЕРА ЗАСУЛИЧ И СТАРЕЦ ЗОСИМА

Выстрел в градоначальника

31 марта 1878 года в переполненном зале Петербургского окружного суда слушалось дело по обвинению дочери капитана Веры Ивановны Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерал-адъютанта Фёдора Фёдоровича Трепова.

Это было первое (и последнее) дело такого рода, доверенное суду присяжных: оно намеренно рассматривалось как уголовное.

Председательствовал на суде добрый знакомый Достоевского Анатолий Фёдорович Кони. На почётных местах за судьями поместились первые сановники империи: лицейский товарищ Пушкина, а ныне государственный канцлер восьмидесятилетний князь Горчаков, статс-секретарь Сольский, высшие чины Министерства юстиции, сенаторы...

Достоевский сидел в ряду, отведённом для прессы.

В преступлении Засулич был нравственный акцент, не могущий не взволновать автора «Преступления и наказания»: она мстила Трепову за его приказ высечь политического заключённого Боголюбова. Она подняла руку на человека, вступившись *за* человека.

Молодая женщина (ей было двадцать восемь лет) вступилась не за своего жениха или возлюбленного (так подумали вначале: это было бы понятно), не за собственную честь или честь своих близких, а за лицо, абсолютно ей незнакомое. Она вступилась *за принцип*.

24 января 1878 года, в десять часов утра, Засулич явилась в приёмную к градоначальнику. На ней была широкая чёрная тальма без рукавов: в её складках скрывался шестизарядный револьвер. Генерал начал обходить просителей (их было человек двенадцать) —

первой стояла Засулич. Трепов принял прошение, спросив о чём оно; затем обратился к следующей просительнице с тем же вопросом. Старушка не успела ответить: раздался выстрел.

Засулич стреляла в упор, с расстояния полушага «из револьвера, — как сказано в обвинительном акте, — заряженного пулями большого калибра»[*]. Трепов взялся за бок и начал падать; покушавшуюся схватили.

На суде А.Ф. Кони допрашивал свидетеля — майора Курнеева; Достоевский слышал весь диалог.

«В<опрос>. Боролась с вами подсудимая?

О<твет>. Нет.

В <опрос>. Делала она движение, чтоб выстрелить второй раз? О<твет>. Нет, у неё не было револьвера, она его бросила. В<опрос>. Так что, она выстрелила только один раз?

О<твет>. Да, один раз»[**].

Итак, произведя выстрел, Засулич отбросила пистолет в сторону. Когда А.Ф. Кони спросил её, желала ли она убить Трепова или только ранить, она отвечала, что это ей было всё равно: она лишь хотела «показать этим, что нельзя так безнаказанно надругаться над человеком»[***].

(Дубровин уже подходит к вопросу *как практик*: он считал, что покушение не удалось по чисто техническим причинам. «Вера Ивановна Засулич, — писал он в изъятых у него при аресте «Записках русского офицера-террориста», — тоже напрасно выбрала револьвер системы “бульдог” среднего калибра... Если приходится погибать нашим дорогим товарищам-социалистам, то пусть они погибают, производя, насколько только возможно, наибольший урон в рядах нашего бесчеловечного, дикого и крупного врага»[****].)

Выстрел Засулич был преступлением *идеологическим*.

Почти все убийства и самоубийства в романах Достоевского — идеологичны.

Некоторые моменты этого процесса (в частности, поведение председателя суда, речи сторон и т. д.) отзовутся впоследствии в «Братьях Карамазовых». Но нас пока интересует другое.

Нас интересует приговор.

Приговор был беспрецедентен: общество (в лице присяжных) поквиталось с тяжёлым самодуром — полновластным хозяином сто-

---

[*] *Кони А.Ф.* Воспоминания о деле Веры Засулич. М., 1933. С. 104.

[**] Там же. С. 108.

[***] Там же. С. 139.

[****] Каторга и ссылка. 1929. № 5. С. 72.

лицы. По негодующему слову Каткова, этот процесс обратился в «дело петербургского градоначальника Трепова, судившегося по обвинению в наказании арестанта Боголюбова»[*].

Большинство присутствовавших были уверены, что присяжные вынесут обвинительный вердикт. Один из свидетелей (буквальных: он выступал свидетелем по делу) вспоминает: «Кони среди воцарившейся мёртвой тишины молча просмотрел первую страницу, медленно перевернул её, перейдя глазами на вторую, и... слышно было, как зал удручённо вздохнул. У меня тоже болезненно заныло сердце. Неужели наши опасения оправдались и Засулич признана виновною?»[**]

Вот та же сцена, увиденная с другой точки, на сей раз — глазами самого председателя суда: «Они (присяжные. — *И. В.*) вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Настала мёртвая тишина... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист... Против первого вопроса стояло крупным почерком: "Нет, не виновна!.."[***]

Оправдание Засулич было публичной пощёчиной правительству: суду присяжных такого не могли простить никогда.

«Это самый счастливый день русского правосудия!» — воскликнул один из присутствовавших на процессе сановников, на что Кони мрачно возразил: «Вы ошибаетесь, это самый печальный день его»[****]. Он оказался прав: вскоре после оправдания Засулич все дела, связанные с покушением на должностных лиц, были изъяты из ведения суда присяжных. Правительство повело целенаправленный натиск на «суд общественной совести».

«Московские ведомости» (да и не только они) считали, что едва ли не всё зло на Руси пошло от этого скандального вердикта.

«Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич... — вспоминает Кони. — То же серое "несуразное" лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного; те же поднятые кверху, немного расширенные глаза... "Нет!" — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла её щёки... "не вин...", но далее он не мог продолжать».

Достоевский был свидетелем того неистового восторга, который охватил публику после объявления приговора.

---

[*] Сборник передовых статей «Московских ведомостей» (1878). М., 1897. С. 161.

[**] *Глаголь С.* Процесс первой русской террористки // Голос минувшего. 1918. № 7–8. С. 154.

[***] *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 215.

[****] См.: *Гессен И.В.* Судебная реформа. Санкт-Петербург, 1904. С. 167.

«Крики несдержанной радости, — продолжает Кони, — истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: "Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!" — всё слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики, обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали...»[*]

Интересно, что делал в этот момент Достоевский? Как отнёсся он к приговору присяжных?

Но прежде: как отнеслось к нему русское общество?

Многие не могли поверить в оправдательный приговор, полагая, что вести о нём — первоапрельская шутка.

Получив петербургские газеты, полные ликующих откликов на решение присяжных (такова была единодушная реакция либеральной прессы), Катков сообщил своим читателям, что в Москву прибыл «весь сумасшедший дом петербургской печати»[**]. Позднее он не упустит случая напомнить, что путь к 1 марта 1881 года был открыт 31 марта 1878-го.

В своих позднейших воспоминаниях издатель консервативного «Гражданина» — князь В.П. Мещерский — писал: «Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмерическом сне... Никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государевыми высшими слугами и столь наглое торжество крамолы... Так, промеж себя, некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое прямое революционное проявление правосудия, Государь своею властью кассировал решение суда, и весь состав суда подверг изгнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и всенародно, то весьма вероятно развитие крамолы было бы сразу приостановлено»[***].

Спустя семь лет Победоносцев, узнав о намерении Александра III назначить Кони на должность обер-прокурора кассационного департамента Сената, предостерегал своего бывшего воспитанника от этого шага, ссылаясь на роль Кони в деле Засулич[****].

Катков, Мещерский, Победоносцев — их мнение было единым, их негодование — искренним и неподдельным. Все они исходили не

---

[*] *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 215–216.

[**] Московские ведомости. 1878. 3 апреля.

[***] *Мещерский В.П.* Мои воспоминания. Часть II. Санкт-Петербург, 1898. С. 404–405.

[****] См.: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. Полутом 2. Москва, 1925. С. 496.

только из своих собственных убеждений, но и из соображений высшей государственной целесообразности.

Эти люди — круг Достоевского. Во всяком случае, все они могли считать и, очевидно, считали его «своим». И вправе были бы требовать от него единомыслия.

Взгляд на это дело Достоевского решительно не похож ни на возмущение охранителей, ни на умиление либералов.

Он вообще ни на что не похож.

Ибо Достоевский «изымает» дело из сферы формальноюридической и переносит его на какую-то совсем иную почву.

Он не высказал своего мнения публично: «Дневник писателя» в это время уже не выходил. Но оно всё-таки известно.

«Иди, ты свободна...»

Вечером 1 апреля Г.К. Градовский (Гамма), автор знаменитого фельетона о процессе, который на следующее утро должен был появиться в «Голосе» («“Голос”, — жалуется Победоносцев наследнику престола, — разразился дикою пляской восторга по случаю оправдания Засулич»[*]), посетил председателя Комитета министров. «Неужели вы за оправдание?» — поразился Валуев. — «Не я один, — отвечал журналист. — ...Возле меня сидел Достоевский, и тот признал (замечательно здесь «и тот». — *И.* В.), что наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, — сказал он: — «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». — «Удивительно», — процедил сквозь зубы Валуев»[**].

Министра можно понять: «приговор» Достоевского не имеет аналогов в мировой юридической практике (не парафраз ли евангельского: «Иди и впредь не греши»?). Между тем в словах, сказанных им Градовскому, заключалась идея, вынашиваемая много лет, не прошедшая бесследно для «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».

«Иди, ты свободна...» — произносится ещё *до* объявления оправдательного вердикта. «Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, — добавил Достоевский, — а чего доброго, её теперь возведут в героини»[***].

Нет юридической формулы; та же «формула», которую предлагает Достоевский («Иди, ты свободна, но не делай этого в другой

[*] Письма К.П. Победоносцева к Александру III. Москва, 1925. С. 256.

[**] *Градовский Г.К.* Итоги. Киев, 1908. С. 8–9.

[***] Там же. С. 18.

раз»), неприемлема *для государства*. Но, может быть, то, что предлагается, осуществимо просто *среди людей*, связанных какой-то иной, негосударственной общностью?

Ложь в постановке вопроса

Вопрос для Достоевского заключается не в большей или меньшей целесообразности существующих правовых норм, а в несоответствии судебной процедуры сути дела. Ибо сам суд основан на внутренней неправде, на разрыве между государственной нравственностью и моралью лица.

...Один из известнейших русских адвокатов В.Д. Спасович не без труда выиграл в петербургском суде дело, возбуждённое против его подзащитного Кроненберга. Кроненберг подвергал жестоким телесным наказаниям собственную дочь. Спасович употребил весь свой блистательный талант (черты этого «прелюбодея мысли» сказались в образе адвоката Фетюковича в «Братьях Карамазовых»), чтобы выгородить своего клиента.

Никто из современников Достоевского, пришедших в негодование от исхода этого дела, не почувствовал столь остро, как он, нравственную невыносимость такого положения, когда вся феерическая мощь адвокатского искусства была брошена против маленькой шестилетней девочки — с одной лишь целью: уличить дочь и оправдать отца.

Достоевский буквально уничтожил Спасовича (естественно, что у него не нашлось добрых слов и для Кроненберга). Однако нарисовав картину, по своей разоблачительной силе не идущую ни в какое сравнение с теми сентенциозными общими местами, какие выставляло обвинение, он вовсе не требует наказания, предусмотренного законом.

Ситуация, при которой дочь может *засудить* родного отца, столь же неприемлема для Достоевского, как и тот факт, что отец может безнаказанно истязать родную дочь. Здесь крылась какая-то изначальная фальшь: то, что он называл «ложью в постановке вопроса». И не только потому, что в систему глубоко интимных, родственных отношений грубо вторгается государство (пусть даже с благородной целью — защитить слабейшего). Драматизм положения заключается в том, что любой обвинительный приговор автоматически отнимал у ребёнка отца (пусть даже такого отца), разбивал семью и обрекал *выигравшую* дело жертву на полное сиротство (у девочки не было матери). А между тем суд не имел выбора: русское законода-

тельство не предусматривало в этом (да и в иных) случае какую-либо форму нравственного осуждения.

«Нет у нас, кажется, такой юридической формулы».

Государственный человек Валуев по своей занятости, очевидно, не читал «Дневника писателя»: иначе бы, пожалуй, он смог подметить, что в словах Достоевского о Засулич содержится та же самая «неформальная формула», которая последовательно применялась автором «Дневника».

Отделение осуждения от наказания — вещь практически невозможная. Однако именно так ставит вопрос Достоевский.

Так у него всегда: не совершенствование «системы», не улучшение отдельных её частей, а коренное преобразование; внесение «чисто человеческого» (можно сказать — исключительно человеческого) в круг понятий надличностных и общих. Мир холодных абстракций «утепляется», они обретают новый (максимально приближенный к человеку) образ. Бесполезно оценивать степень его «прогрессивности» отношением к тем или иным правовым нормам или юридическим институтам. То, о чём он говорит, «выше» права: здесь не действует никакой иной закон, кроме закона нравственного.

Сказанное им на процессе Засулич имело своё продолжение.

Ещё один «гордый человек»

4 ноября 1880 года в Петропавловской крепости были повешены двадцатичетырёхлетний Андрей Пресняков и двадцатисемилетний Александр Квятковский.

Самому Достоевскому оставалось жить менее трёх месяцев.

Он записывает в последней тетради: «Казнь Квятковского, Преснякова и помилование остальных. *NB!* Как государство — не могло помиловать (кроме воли монарха). Что такое казнь? — В государстве — жертва за идею. Но если Церковь — нет казни»[*].

Проще простого: Достоевский сторонник церковного суда. И следовательно, не кто иной, как религиозный фанатик, который, по образной подсказке одного эссеиста, предстает перед нами «злым, фанатичным, средневековым монахом с византийским крестом — словно бичом — в руке»[**].

Инквизиторы (и великие, и «рядовые») обрекают на казнь. Причём как раз именем Церкви. «Нет казни», — говорит Достоевский.

---

[*] Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 672–673.

[**] *Цвейг С.* Собрание сочинений. Т. 7. М., 1929. С. 172.

В записи о Квятковском и Преснякове звучит что-то уже знакомое.

...В монастыре, в келье старца Зосимы, идёт любопытный разговор. Выслушав рассуждение отца Паисия о том, что в противоположность римско-католической идее — «по русскому пониманию» — «государство должно кончить тем, чтоб сподобиться стать единственно лишь Церковью, и ничем иным», помещик Миусов с тончайшей иронией замечает, что всё это «что-то даже похожее на социализм» и что если всё это принять всерьёз, то «Церковь теперь... будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, так и смертную казнь».

Тут в разговор вступает Иван Фёдорович Карамазов. «Не смигнув глазом», он спокойно разъясняет Миусову, что это отнюдь не так, поскольку не будет нужды прибегать к «механическим» мерам исправления преступников, когда сам взгляд на преступление в корне изменится.

Заметим: мысль эту Достоевский доверяет скептику и богоборцу, молодому отрицателю «из новейших». Впрочем, как и Легенду (поэму) о великом инквизиторе.

Но ещё удивительнее другое: Ивана Карамазова вдруг поддерживает сам Зосима.

«Вот если бы, — говорит старец, — суд принадлежал обществу как Церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе»[*].

Обществу как Церкви.

Действительно: о какой церкви говорит Достоевский? Может быть, как это и подобает «средневековому монаху», он разумеет уже готовую церковную организацию, её отлаженный столетиями механизм, ту или иную форму современной ему церковной иерархии?

Но, как сказано в той же последней тетради: «Церковь в параличе с Петра Великого»[**]. Всё, что она может, — это совершить казённый обряд, напутствуя уводимого на казнь преступника. «Церковь в параличе» — неужели, сознавая это, Достоевский желает, чтобы государство обратилось в *такую* церковь и тем самым как бы само омертвело, впало в глубокое оцепенение?

Странное и, на первый взгляд, необъяснимое противоречие. Однако повременим объяснять его очередным парадоксом автора «Карамазовых».

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 14. С. 56, 58–60.

[**] Биография... С. 356 (вторая пагинация).

Вот ещё одна запись: «Церковь — весь народ...»[*]. «Весь народ», т. е. не учреждение, не институт, отделённый от народа и стоящий над ним, а некая духовная общность, полностью с этим народом совпадающая.

В этом смысле «народ» и «церковь» — синонимы. Последняя становится собирательным именем народной совести.

В своём последнем «Дневнике писателя» он говорит, что главная ошибка русских интеллигентных людей в том, «что они не признают в русском народе Церкви». «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, — добавляет Достоевский, — я про наш русский "социализм" теперь говорю (и это обратно противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), — цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществлённая на земле, поколику земля может вместить её»[**].

Итак, «русский социализм» есть «вселенская церковь», иными словами — достижение такого нравственного состояния, когда все будут поступать *по совести*.

Но вот скиталец, изгой, перекати-поле — Алеко Пушкинской речи, — ведь и ему «необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»[***]. Не жаждет ли и этот Алеко стать членом некоей «вселенской Церкви»?

Пожалуй что и жаждет; правда, пока у него слабо получается...

Ему, обагрившему свои руки кровью, говорят:

Оставь нас, гордый человек.
Мы дики; нет у нас законов.
Мы не терзаем, не казним.

У цыган «нет казни» — ибо это ещё *до* государства. У Церкви тоже «нет казни» — ибо это уже *после* государства.

Но само государство — «терзающее и казнящее» — не тот же ли «гордый человек» и не к нему ли тоже обращён вопль о смирении?

...1 сентября 1866 года присуждённый к повешению Дмитрий Каракозов решился просить царя о помиловании. Его письмо заканчивалось так: «А теперь, Государь, прошу у вас прощения как христианин у христианина и как человек у человека»[****].

---

[*] Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

[**] Дневник писателя. 1881. Январь. Первый корень...

[***] Дневник писателя. 1880. Август. Пушкин (очерк).

[****] Покушение Каракозова. Стенографический отчёт. Т. 2. Москва, 1928. С. 284.

Александр II, кротко улыбаясь, выслушал эти слова, прочитанные ему министром юстиции, и — с сожалением развёл руками.

На следующий день, 2 сентября, председатель Верховного уголовного суда семидесятисемилетний князь Гагарин (он, кстати, в 1849 году вёл следствие по делу Достоевского и других петрашевцев) вызвал к себе осуждённого и сказал: «Каракозов, Государь Император повелел мне объявить вам, что Его Величество прощает вас как христианин, но как государь — простить не может. Вы должны готовиться к смерти...»*

3 сентября Каракозов был повешен.

Нравственность во множественном числе

В той воображаемой теоретической ситуации, которая обсуждается в келье старца Зосимы, подобный исход невозможен. «Там» нет двух нравственностей: для государства и для частного лица. Поступок государства, противоречащий совести, не сможет прикрыться государственным авторитетом, ибо «там» только совесть является критерием любого — в том числе общественного — интереса.

Осуждённые по «делу шестнадцати» на сей раз избавили императора от душевной раздвоенности: ни Пресняков, ни Квятковский не подали прошения о помиловании.

Между тем, констатируя, что государство «не могло помиловать» приговорённых, Достоевский делает существенную оговорку: «кроме воли монарха». То есть в иных случаях монарх имеет право быть более христианином, нежели государем.

Александр II думал иначе.

И всё же «помилование остальных» для Достоевского — факт громадной величины. Исходя из него, он делает поистине глобальные обобщения.

«Церковь и Государство нельзя смешивать, — продолжает свою запись Достоевский. — То, что смешивают, — добрый признак, ибо значит клонит на Церковь»**.

Это было самообольщением. Казнь всего лишь двух отнюдь не свидетельствовала об эволюции российского самодержавия в том направлении, которое указывал ему Достоевский. Дело обстояло гораздо проще. В конце 1880 года, в период неустойчивости власти, правительственного лавирования и лорис-меликовских заигрыва-

* *Шилов А.А.* Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года. Пб., 1920. С. 47.
** Биография... С. 355 (вторая пагинация).

ний, «помилование остальных» — лишь тактический ход: нельзя было «сверх меры» дразнить общество виселицами*.

«В Англии и во Франции и не задумались бы повесить», — заканчивает свою запись Достоевский. Именно в таком виде она была опубликована в 1883 году — в первом посмертном издании его сочинений.

Но полный текст этой записи звучит несколько иначе: «Не задумались бы повесить — Церковь и монарх во главе»**. Издатели несколько сократили фразу — по соображениям вполне понятным.

Кажется, редакторы не столько опасались оскорбить иностранную державу, сколько устраняли более близкие политические аллюзии: как-никак за два года русский царь «не задумался» повесить двадцать человек. При этом церковь не промолвила ни единого слова в защиту казнимых.

Достоевскому казалось, что «помилование остальных» не столько следствие некоторой — не без подсказки — высочайшей задумчивости, сколько факт исторический. Он видит в нём доброе предзнаменование. Зыбкость правительственной политики принимается им за колебание нравственное.

В своей предсмертной записной книжке он ведёт жестокий спор с профессором К.Д. Кавелиным. Спор о том, что такое нравственность. Кавелин утверждал, что последняя определяется очень просто: верностью своим убеждениям.

«Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями, — возражает он Кавелину. — Это лишь ч е с т н о с т ь (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, — нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный»***. (Уж не отсюда ли помянутый выше эссеист взял своего «злого, фанатичного, средневекового монаха»?)

---

* 31 октября 1880 года Лорис-Меликов направил в Ливадию следующую шифрованную телеграмму: «Прошу доложить Его Величеству, что исполнение в столице приговора одновременно над всеми осуждёнными произвело бы крайне тягостное впечатление среди господствующего в огромном большинстве общества благоприятного политического настроения» (*Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг. М., 1964. С. 188–189). Поэтому Лорис-Меликов рекомендовал ограничиться казнью двоих.

** Ср.: Биография... С. 355 (вторая пагинация) и Литературное наследство. Т. 83. С. 673.

*** Биография... С. 371 (вторая пагинация).

Самодержавное государство не есть «нравственный человек», ибо оно — согласно самому искреннему убеждению — сожигает «своих» еретиков. «Христос» Достоевского не обрёк бы на «расстрелянние» петрашевцев, не повесил бы Дубровина, Квятковского и Преснякова.

Мораль, исповедуемая Достоевским, не совпадает с моралью, действующей *применительно к случаю* и извиняющей собственный прагматизм ссылкой на человеческое несовершенство.

Он не желает принимать этих ссылок.

Он не желает принимать разрыва, «ножниц» между тем вероисповеданием, на которое государство вынуждено указывать как на свою собственную религию, и реальной государственной практикой, не имеющей ничего общего с главными догматами этой официальной веры. Поэтому «церковь» Достоевского нимало не похожа на существующую историческую Церковь*, которая сама является одним из институтов государства и безоговорочно освящает любые его поступки.

В своём *уповании* Достоевский минует все посредующие звенья. Он связует отдалённейшую «надысторическую» перспективу с «живой жизнью». Это, пожалуй, одна из самых поразительных черт его миросозерцания. И отстаивается она с поразительным упорством. «Что правда для человека как лица, то пусть остаётся правдой и для всей нации»**, — сказано в «Дневнике писателя» 1877 года. Нравственный закон един.

Колебания перед пролитием крови

Слова «кровь» и «нравственность» часто стоят у Достоевского рядом.

На процессе Засулич слово «нравственность» повторялось неоднократно. Особенно часто прибегал к нему представитель обвинения — товарищ прокурора К.И. Кессель. «Я ни одной минуты не могу представить себе, — заявил он в своей обвинительной речи, —

---

* Это довольно-таки существенный момент. Как справедливо замечено, говоря о вселенской церкви и православии, Достоевский «ни слова не упоминает о духовенстве, как будто бы действительной православной церкви вовсе не существует» (*Радлов Э.Л.* Вл. Соловьёв и Достоевский // Достоевский. Статьи и материалы. Петроград, 1922. С. 161). Правда, однажды упоминает (в записной тетради 1875–1876 гг.): «Народ у нас ещё верует в истину... если только наши «батюшки» не ухлопают нашу веру окончательно» (Литературное наследство. Т. 83. С. 394).

** Дневник писателя. 1877. Февраль. Меттернихи и Дон-Кихоты...

чтобы Засулич считала те средства, к которым она прибегала, нравственными...»[*].

Выяснилось, однако, что у прокурора и обвиняемой понятия о нравственности существенно различны. В глазах подсудимой нравственная уязвимость преступления искупалась готовностью заплатить за него собственной жизнью. Сама она ожидала, «что её повесят после комедии суда»[**].

«...Я решилась, — сказала на суде Засулич, — хоть ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью... (В.И. Засулич была настолько взволнована, — бесстрастно фиксирует стенограмма, — что не могла продолжать. Председатель пригласил её отдохнуть и успокоиться.) ...Я не нашла другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать»[***].

Достоевский хорошо запомнил эти слова. Почти через два года он, вечно жалующийся на память и забывающий имена своих героев, цитирует обвиняемую — по смыслу совершенно точно.

В своём споре с Кавелиным он пользуется Засулич как аргументом.

«Засулич, — записывает Достоевский, — "тяжело поднять руку пролить кровь", — это колебание было нравственнее, чем само пролитие крови»[****] (то есть чем поступок, соответствующий убеждениям).

Душевные терзания Родиона Раскольникова — при всей несопоставимости мотивов — тоже «нравственнее» его верности собственной теории: недаром он более «любопытен» Достоевскому, когда *сомневается,* а не когда *исполняет.*

Нерешительность самодержавия, казнящего «только» двух и милующего остальных, нерешительность, проистекающая исключительно из соображений государственной целесообразности, — внутренне аморальна. Колебание Веры Засулич, страшащейся поднять руку на человека только потому, что он человек, — нравственно по своей природе.

Достоевский пытается уравнять эти величины, но — безуспешно. Засулич — одна! — «перевешивает» государство, которое вовсе и не думает обращаться в «церковь».

---

[*] См.: *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 158–159.

[**] Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора // Голос минувшего. 1920–1921. С. 86.

[***] *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 139.

[****] Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

Любопытно бы знать: высказывал ли Достоевский своё мнение о деле Засулич Каткову или Победоносцеву? Скорее всего нет: он никогда не был с ними особенно откровенен (по его собственным словам, «наблюдал тактику»).

Лучшая лекция Владимира Соловьёва

Вопрос таков: как повёл бы себя автор «Братьев Карамазовых» *после* 1 марта 1881 года? Мнение о том, что он горячо бы одобрил образ действий нового царствования и даже стал бы его официальным идеологом, встречается не столь уж редко.

Не будем пока оспаривать эту — более чем сомнительную — точку зрения. Остановимся только на одном пункте: как (в свете того, что о нём известно) отнёсся бы Достоевский к казни первомартовцев?

Желябов, Перовская, Кибальчич, Т. Михайлов и Рысаков были повешены 3 апреля 1881 года. При этом в первый и последний раз за весь XIX век в России была казнена женщина.

28 марта, в день, когда Особое присутствие правительствующего Сената должно было вынести приговор, двадцатисемилетний Владимир Сергеевич Соловьёв читал лекцию в зале Кредитного общества. Тема лекции была достаточно отвлечённой: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

Владимир Соловьёв — один из немногих, с кем Достоевский был духовно близок в свои последние годы. Кажется, у автора «Карамазовых» была некоторая слабость к Соловьёву. Лицо молодого философа, по словам Анны Григорьевны, напоминало её мужу любимую им картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи. Духовный облик Владимира Соловьёва, согласно преданию, отразился в любимом герое Достоевского — Алёше Карамазове.

Молодёжь ломилась на его лекции: будущий автор «Оправдания добра» входил в моду.

28 марта 1881 года послушать Соловьёва явились общие друзья его и Достоевского. Приехала и Анна Григорьевна — в трауре.

Очевидцы вспоминают, что Владимир Соловьёв взошёл на кафедру «высокий, тонкий, ещё бледнее обыкновенного». Его, как всегда, слушали внимательно. Но тишина стала мёртвой, когда от высоких материй молодой философ перешёл к тому, о чём тайно думали все.

«Сегодня, — сказал Соловьёв, — судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы Царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признаёт двух правд».

Зал замер. В стране, где вот уже целый месяц не смолкали призывы к беспощадной расправе с цареубийцами, никто ещё не осмеливался публично выступить с таким, по-видимому, безумным предложением*.

«Не от нас зависит решение этого дела, — продолжал Владимир Соловьёв, — не мы призваны судить... но если государственная власть отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем, отстранимся, отречёмся от неё».

Далее произошло то, что, вероятно, должно было напоминать сцену в зале суда после оправдания Засулич. Публика неистовствовала. Правда, на сей раз порыв был не столь единодушным. Нашлись люди, кричавшие оратору: «Тебя первого казнить, изменник!»**, но эти возгласы потонули в общем вопле восторга.

Согласно другому источнику, события в зале Кредитного общества развивались несколько иначе. «Не то чиновник, не то офицер» взошёл на кафедру и обратился к Соловьёву:

«— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного миросозерцания или это есть реальные требования?..

Соловьёв вернулся на кафедру.

— Я сказал то, что сказал. Как представитель православного народа, не приемлющего казни... Царь должен помиловать убивших его отца»***.

Несмотря на возмущение части публики, лектора вынесли из зала на руках.

Увы. Среди негодующих находилась и вдова Достоевского. Искренне считавшая себя и своего покойного мужа людьми определённых и, главное, одинаковых убеждений, Анна Григорьевна при всём своём расположении к Владимиру Соловьёву никак не могла согласиться с подобным кощунством.

Несправедливо было бы упрекать Анну Григорьевну в том, что, переписывая рукописи Достоевского, она не всегда имела возможности осмыслить их философически.

---

* Правда, на это отважился Лев Толстой: он обратился к Александру III с аналогичной просьбой. Однако сделано это было в личном письме, которое в то время так и не стало известно обществу. (Подробнее см.: *Игорь Волгин.* Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., 1998. С. 529–534.)

** См.: *П.Щ.* Событие 1-го марта и Владимир Сергеевич Соловьёв // Былое. 1906. № 3. С. 52–53.

*** *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. Москва, 1933. С. 93–94.

То, что посмел публично высказать Владимир Соловьёв, почти буквально совпадает с размышлениями на этот счёт его покойного учителя и собеседника.

Вспомним: «Церковь и Государство нельзя смешивать. То, что смешивают, — добрый знак, ибо значит клонит на Церковь».

Соловьёв именно «смешал». Но этот «добрый знак» не был понят и тем более — принят: самодержавию в его смертельном единоборстве с революцией было не до тонких соловьёвских умствований. Что касается неискушенной публики, то она восприняла слова оратора как простой призыв к милосердию, не вдаваясь в сложные философские обоснования*.

Между тем для Владимира Соловьёва вопрос о помиловании первомартовцев имел глубокий мировоззренческий смысл. Подобный жест «с высоты престола» мог бы оправдать в его глазах само существование русской исторической власти. Иначе — «мы выйдем, отстранимся, отречёмся от неё».

Соловьёв вовсе не был политическим радикалом, и его слова, конечно, не следует рассматривать как какой-то сочувственный по отношению к революции призыв. Нет, Соловьёв, как и Достоевский, готов признать историческую необходимость русской монархии. Однако их понимание нравственной природы самодержавия вступало в тягостный конфликт с тем, чем самодержавие являлось на самом деле.

«Но если царь, — сказал в своей речи Владимир Соловьёв, — действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен стать твёрдо на идеальных началах народной жизни: то, что народ считает верховной нормой жизни и деятельности, то и царь должен ставить верховным началом жизни»**.

Нет никакого сомнения, что Соловьёв внимательно читал последний «Дневник писателя», вышедший в день похорон Достоевского. И не исключено, что именно этот выпуск был у него на памяти, когда он произносил свою вдохновенную и рискованную речь. Ведь буквально то, о чём говорил оратор, автор «Дневника» высказал двумя месяцами раньше. «Царь для народа не внешняя сила...

---

* Вл. Соловьёву не простили этой акции: несмотря на «объяснительное» письмо Александру III, где автор повторил свои основные аргументы, его временно лишили права публичных выступлений. Вскоре он оставил профессорство в Петербургском университете.

** Былое. 1906. № 3. С. 52.

Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его»*.

Но если так, то «нет казни».

Казнь была: русский царь не позволил «смешать» себя с той «Церковью», о которой говорил Достоевский, к которой «подталкивал» его Владимир Соловьёв и которая существовала только в их воображении. Недаром официальный блюститель другой церкви — отнюдь не «вселенской», а вполне земной и реальной — К.П. Победоносцев сделал всё от него зависящее, чтобы не допустить такого развития событий.

* Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

Из главы IV

ПОРТРЕТ С НАТУРЫ

Зима 1880 года. Продолжение

Если пересмотреть дневниковые записи, которые вели в 1879–1880 годах видные деятели царствования — председатель Комитета министров П.А. Валуев, военный министр Д.А. Милютин, государственный секретарь Е.А. Перетц, сенатор А.А. Половцев и другие, — можно убедиться, что, пожалуй, ни один из них не сохранил душевного спокойствия. «Кризис верхов» выражался не только в судорожных действиях правительственной администрации, но и в необычных умонастроениях её главных руководителей.

Летом 1879 года, вернувшись вместе с императорской семьей из Крыма, Д.А. Милютин записывает: «...Я нашёл в Петербурге странное настроение: даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово “конституция”; никто не верует в прочность существующего порядка вещей»[*].

Год заканчивался; выхода пока не предвиделось.

В декабрьском номере «Отечественных записок» М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского»[**].

В своём интимном дневнике наследник престола (будущий Александр III) с присущей ему любовью к определённости делает вывод, что «самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия, — 1879 и начало 1880»[***].

---

[*] *Милютин Д.А.* Дневник (1878–1880). Ред. и примеч. П.А. Зайончковского. Т. 3. М., 1950. С. 148.

[**] Отечественные записки. 1879. № 12. С. 238.

[***] Цит. по кн.: *Хейфец М.И.* Вторая революционная ситуация в России. М., 1963. С. 136.

Разумеется, Салтыков-Щедрин и Александр Александрович имели в виду весьма различные вещи. Но ощущение неблагополучия, неуверенности, разлада, предчувствие близкой катастрофы были всеобщими.

Что принесёт новый, 1880 год? Этого Достоевский не знал.

Его давний приятель — Яков Петрович Полонский — печатно гадал о ближайшем будущем (почему-то — размером лермонтовского «Мцыри»):

...И пусть из нас никто не пьёт
За новый, в мир грядущий год.
Идёт с закрытым он лицом,
С неведомым добром и злом,
Не разглашая наперёд,
Какое знамя он несёт*.

Стихотворение называлось «Беспутный год»: подразумевался год минувший.

Шестнадцать смертных казней и три дерзких посягновения на особу государя — такой статистики Россия ещё не знала.

Последнее покушение пришлось на конец года и не походило ни на одно из предыдущих.

19 ноября, в одиннадцатом часу вечера, рвануло на третьей версте Московско-Курской железной дороги: гром был слышен в Первопрестольной. Минную галерею подвели под железнодорожное полотно прямо из расположенного неподалёку дома. Будущий сосед Достоевского, Александр Баранников, хотел лично сомкнуть гальваническую цепь: за ним и так уже числился Мезенцов. Но — не знал, как обращаться с аппаратом, и операцию доверили другому.

Императорский состав проследовал первым; с рельсов сошёл второй поезд — свитский. Счастье снова улыбнулось государю: обычно поезда двигались в обратном порядке.

В дело впервые вступил динамит.

Это было необычно и современно: романтические пуля и кинжал явно уступали новому устрашающему оружию. В русский язык входило новое слово: «динамитчик».

...Зима 1880 года перевалила на вторую половину. Анна Григорьевна быстро оправилась от простуды (она не любила залёживаться), и жизнь постепенно наладилась.

---

* Неделя. 1880. 1 января.

По четвергам его приглашали две дамы — уже упомянутая выше Софья Андреевна Толстая и её племянница — Софья Петровна Хитрово.

Вдова Алексея Константиновича Толстого по прихоти судьбы обладала тем же титулом, именем и отчеством, как и жена автора «Войны и мира». Пятидесятишестилетняя С.А. Толстая, не имея собственных детей, обожала племянницу Софью Петровну (в которую, к слову, много лет был безнадёжно влюблён Владимир Сергеевич Соловьёв). Она выдала её за дипломата, но, памятуя о печальной участи Грибоедова, нашла более справедливым, чтобы он отстаивал русские интересы в Персии один — без семьи. Софья Петровна Хитрово с детьми были поселены в доме С.А. Толстой.

Сорок лет спустя, уже в двадцатые годы XX столетия, одна старая дама из высшего русского общества встретила в Швейцарии дочь Достоевского: та доживала свои дни на европейских курортах. «Когда графиня Софья, — доверительно призналась эта дама Любови Фёдоровне, — приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда же она писала: "Одной из нас Достоевский обещал прийти", тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»*.

Салон С.А. Толстой — один из немногих петербургских салонов, соединявших в себе политику и литературу.

В апреле 1877 года Н.Н. Страхов, регулярно посвящавший Льва Толстого в события своей и чужой жизни, сообщает ему следующие подробности о графине: «Она, да и ещё и другая дама, её приятельница (очевидно, С.П. Хитрово. — *И. В.*), — большие охотницы до философии, много читают и даже ходили до этого в Публичную Библиотеку... Графиня очень учёна, даже знает п о - с а н с к р и т с к и несколько... На женскую учёность я смотрю, как Вы; но тут всё имеет такие большие размеры, что если это одна фальшь — то грустное и странное явление».

Характеристика, как часто бывает у Страхова, двусмысленна: с одной стороны, ему явно льстит это интеллектуально-светское знакомство, с другой — он старается сохранить по отношению к учёной графине известную ироничность. Впрочем, автор письма вынужден признать, что графиня Софья Андреевна «очень проста и мила; ум ей приписывают необыкновенный».

В начале 1880 года Н.Н. Страхов попадает наконец в *дом*. «Затем большое событие, — адресуется он к жене Льва Толстого, — я был...

---

* Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 304.

у графини С.А. Толстой, Вашей тёзки... Там я нашёл Гончарова и Достоевского, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга... Большой свет состоял из Игнатьева (будущий министр внутренних дел. — *И.* В.) и дам, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке. Графиня считается женщиной необычайного ума, и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьёв считает решительным бесстыдством»[*].

Дружба с С.А. Толстой — одна из немногих привязанностей позднего Достоевского.

«Хотя моя мать, — вспоминала Любовь Фёдоровна, — и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы». Соблазну иных посещений «он предпочитает комфорт и сдержанную элегантность графини Толстой»[**].

Действительно: как только девятая книга «Карамазовых» была отправлена в Москву, он не замедлил появиться в доме, который, по словам Мельхиора де Вогюэ, напоминал гостиные Сен-Жерменского предместья.

Секретарь французского посольства в Петербурге виконт Мельхиор де Вогюэ был непременным посетителем салона. Трудно сказать, отличался ли он какими-нибудь выдающимися талантами на поприще внешней политики. Но он совершил то, что превосходит самый блистательный дипломатический успех. Он познакомил Запад с русским романом, открыв для европейского читателя имена Толстого и Достоевского.

17 января 1880 года был четверг. Вернувшись от графини С.А. Толстой, где он в этот вечер встретил автора «Карамазовых», «первый славист» записывает в дневнике: «Любопытный образчик русского одержимого, считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более смутен. Смесь «медведя» и «ежа». Самообольщение, позволяющее предвидеть, до каких пределов дойдёт славянская мысль в её ближайшем большом движении. «Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением, — утверждает Достоевский, — вот почему мы можем понять Вас, а Вы не в состоянии нас постигнуть»[***].

---

[*] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870–1894. Издание Общества Толстовского музея. Т. 2. СПб., 1914. С. 111–112, 252.

[**] Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 303–304.

[***] Литературное наследство. Т. 15. М., 1934. С. 146.

В этой внутренней полемичной записи, как будто ещё хранящей жар недавнего спора, Мельхиор де Вогюэ зафиксировал (правда, в сильно преувеличенном и, кажется, не вполне адекватном виде) некоторые мотивы будущей Пушкинской речи. Ещё остаётся целых полгода до открытия памятника на Тверском бульваре в Москве; ещё сам автор «Речи» и не подозревает о своём будущем триумфе. Однако *слово* уже готово сорваться с губ.

...Ночи, как всегда, были отданы «Карамазовым». Днём — обычно после двух (хозяин ложился около семи и поднимался поздно) — являлись посетители: всякие. Немало сил отнимали и литературные вечера, которые всё более входили в моду, несмотря на неспокойствие политическое.

«Мастерское чтение Фёдора Михайловича, — говорит Анна Григорьевна, — всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят»*.

Положим, привлекало не только чтение.

Литературные вечера были явлением сравнительно новым. Их начали устраивать ещё в шестидесятые годы, но постоянной и примечательной чертой общественного быта они сделались лишь недавно. Они устраивались Литературным фондом, Медико-хирургической академией, Университетом, педагогическими курсами, гимназиями и, как правило, носили благотворительный характер. Выручка шла в пользу больниц, сиротских приютов, недостаточных студентов различных учебных заведений и т. д.

Разумеется, ни о каком гонораре не могло быть и речи: выступления рассматривались как прямой общественный долг.

Ещё не вошло в обычай посылать выступавшим записки или задавать им вопросы. Поэтому, как правило, функции писателей ограничивались *декламацией*: чтением отрывков из собственных или чужих произведений (разумеется, тексты предварительно просматривались той или иной цензурой). Слушателям же на подобных вечерах предоставлялась единственная возможность лицезреть «живого» писателя: вещь немаловажная, если вспомнить об исключительности в России звания литератора.

После смерти Некрасова только четыре человека в стране могли претендовать на роль её духовных вождей: Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и Достоевский.

На протяжении двух последних зим имя Достоевского нередко являлось на петербургских афишах. Его звали, на него рассчитывали,

* *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 350.

его участия добивались. Этот вполне новый для него род деятельности требовал немалых усилий — как духовных, так и физических (последние были тем ощутимее, что, выступая, он совершенно не умел беречься и при своём расстроенном здоровье *выкладывался* весь).

Правда, здесь были и свои приятные стороны. Восторженные овации, неизменно (с весны 1879 года) сопровождавшие его появление на литературных вечерах и как бы идущие наперекор установившемуся по отношению к нему журнальному стереотипу, медленный, но неостановимый рост популярности — все эти, строго говоря, внелитературные факторы создавали новую литературную ситуацию. Его писательское положение менялось. Менялось и положение общественное. Сдвиги на первый взгляд были не столь уж заметны; однако именно они в значительной мере подготовили его московский триумф.

«Указующий перст, страстно поднятый», необходимый, по его понятиям, во всякой художественной деятельности, отныне мог быть поднят прилюдно. То, что он говорил, сопрягалось теперь с тем, *как* он это говорил: со звуком его голоса, с интонацией, с выражением лица. На глазах у публики слово воссоединялось со своим творцом: такое видимое *преображение,* конечно, превышало эффект «чистого» чтения. «Кафедра» отвечала характеру его дарования, но только в самом конце он обрёл её буквально.

К концу зимы стало возможным несколько перевести дух (следующие главы романа появятся лишь в апрельской книжке «Русского вестника»). И если в самом начале года, по горло занятый работой, он вежливо, но твёрдо отказывается принять участие в *престижном* вечере Литературного фонда, то теперь он готов появиться на эстрадах весьма и весьма скромных.

2 февраля предполагалось выступление в Коломенской женской гимназии. «Какое нетерпеливое волнение, — писал Достоевскому устроитель вечера Пётр Исаевич Вейнберг, — происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня — Вы и представить себе не можете!»[*]. Волновался и сам поэт: не забудет ли? Достоевский успокаивал: явится вовремя и прочтёт «что Вам будет угодно назначить».

В конце письма следовала приписка: «В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятнее, что все обойдётся благополучно»[**].

---

[*] Материалы и исследования. Т. 4. Ленинград, 1980. С. 246.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 130.

В Петербурге наводнений в феврале обычно не случается: следовательно, это была шутка. Она свидетельствовала об известном расположении духа.

«Вообще говоря, — вспоминает Анна Григорьевна, — 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Фёдора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879-м), по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. "Братья Карамазовы" имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Фёдор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен. Задуманное нами предприятие (книжная торговля) осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Фёдора Михайловича, и настроение его духа было весёлое и приподнятое»[*].

Зимой 1880 года Достоевский ни в малой степени не разделяет глубокого пессимизма «верхов». Его тревоги — совсем иного рода.

Действительно, если проследить хотя бы один только *тон* его поздней переписки, можно не без некоторого удивления убедиться, что настроение его всё время идёт крещендо, достигая апогея в дни пушкинских торжеств. «Настроение» не очень удачное слово: здесь правильнее было бы сказать о чувстве, более похожем на историческое ожидание. Ожидание скорой и неминуемой перемены судеб: не личных, но общих.

Это чувство и связанный с ним строй ценностных представлений заметно отличаются от его умственного и душевного расположения в начале десятилетия — с зачастую резкими и безоговорочными суждениями, жесткостью литературных и идейных характеристик, раздражительностью и непримиримостью к «чужому».

Конечно, подобный сдвиг можно объяснить тем громадным духовным подъёмом, который испытал в свои последние годы автор «Братьев Карамазовых», его мощной творческой поглощённостью.

Это объясняет многое, но не всё.

Еще в 1878 году, приступая к «Карамазовым», он пишет одному старому знакомому: «Огромное теперь время для России, и дожили мы до любопытнейшей точки...»[**] Он хвалит своего корреспондента за то, что тот чувствует себя принадлежащим «ко всему текущему, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся жизнью». «Ведь и я, например, — продолжает Достоевский, — точь-в-точь так же, хотя по

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 350.
[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 19.

симпатиям я вовсе не шестидесятых и даже не сороковых годов. Скорее теперешние годы мне более нравятся почему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»[*].

Ощущение «огромности времени» — доминирующая черта позднего Достоевского. Понимание того, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», вовсе не ввергает его в чёрную меланхолию и не обращает в мизантропа. Напротив, именно это чувство заставляет страстно желать развязки. Он не отворачивается от будущего, не бежит от него — он идёт навстречу ему с открытым лицом.

Зимой 1880 года он нередко проповедует в гостиных, как бы «обкатывая» положения уже близкой Пушкинской речи. Круг знакомых всё тот же: Штакеншнейдер, Полонские, графиня С.А. Толстая...

О наружности и внешности

Микулич пишет: «...некрасивое, болезненно-бледное лицо с русой бородой, с умным сморщенным лбом и проницательными глазами». Для неё, двадцатитрёхлетней девушки, пятидесятивосьмилетний Достоевский имеет вид «хилого», «бледнолицего старика»[**]. Может быть, это впечатление обманчиво?

Всеволод Соловьёв познакомился с Достоевским в 1873 году. «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с небольшой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни».

Хотя Соловьёв отмечает в Достоевском признаки некоторой физической изношенности («кожа была тонкая, бледная, будто восковая»[***]), рисуемый им портрет оставляет впечатление свежести и силы.

Анна Григорьевна, познакомившись со своим будущим мужем в 1866 году, когда ему было сорок пять лет, сначала полагала, что он

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 40.

[**] *Микулич В.* Встреча со знаменитостью. М., 1903. С. 8, 18.

[***] *Соловьёв Вс.* (...) Большой человек (Из воспоминаний о Достоевском). СПб., 1904. С. 35.

значительно моложе. «С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, были сильно напомажены и тщательно приглажены»[*].

Он делается моложе, когда говорит, ибо его речь не «прикрывает» его внутреннюю жизнь, а наоборот, передает малейшие душевные движения («выражение его подвижного нервного лица, — отмечает В. Микулич, — ясно говорило, что он думает о каждой сказанной фразе»[**]).

В.В. Тимофеева (О. Починковская) впервые увидела Достоевского в том же году, что и Всеволод Соловьёв. Её женский взгляд весьма проницателен и добавляет к портрету, нарисованному Соловьёвым, важные детали:

«Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнурённым лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряжённо сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворён был чувством и мыслью».

И Всеволод Соловьёв, и Тимофеева отмечают одну и ту же сильно поразившую их черту: одухотворённость. Причём одухотворённость не подчеркнуто театрального, «романтического» типа, а глубоко затаённую, «нутряную».

«И эти чувства и мысли, — продолжает Тимофеева, — неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного жеста, — только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил»[***].

Ни один воспоминатель, говоря о Достоевском 1873 года, не употребляет слово «старик».

Вообще 1873 году повезло на воспоминания: о Достоевском — редакторе «Гражданина» свидетельствует и метранпаж типографии, где печатался этот журнал, — Михаил Александрович Александров.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 51.

[**] *Микулич В.* Указ. соч. С. 8.

[***] *Т-ва В.В.* <О. Починковская, В.В. Тимофеева>. Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

«Между прочим, как неоднократно впоследствии мне приходилось наблюдать, — пишет Александров, — Фёдор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса.

— Хорошие ли у вас наборщики? — спросил меня Фёдор Михайлович таким искусственно напряжённым голосом, в котором, однако, нетрудно было заметить старческую надтреснутость».

Возраст прежде всего даёт себя почувствовать *в звуке* — тогда, когда волевым усилием он пытается преодолеть давнюю физическую усталость.

«С первого взгляда, — замечает М.А. Александров, — он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым... меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности...»[*]

Страхов говорит, что Достоевский, «несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, т. е. простонародные черты лица»[**]. Тимофеева повторяет это определение почти дословно: лицо Достоевского напоминает ей «солдат — из «разжалованных»... тюрьму и больницу»[***]. И, не сговариваясь с ними, — Всеволод Соловьёв: «Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах — это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты»[****].

В обликах Тургенева и Толстого удивительным образом сочетались русские простонародные черты с чертами высокого аристократизма. В облике Достоевского последние начисто отсутствуют. Его «простота» уравновешивается чистой духовностью — и ничем иным.

Х.Д. Алчевская, впервые увидевшая Достоевского в мае 1876 года, так передаёт свои впечатления: «Передо мной стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию,

---

[*] *Александров М.А.* Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах // Русская старина. 1892. № 4. С. 178–182.

[**] Биография... С. 181 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 271).

[***] Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

[****] *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 35.

морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенёс. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле»[*].

К 1880 году происходит заметное физическое постарение Достоевского; одновременно всё мощнее выступает наружу его духовная природа.

Если ещё в начале семидесятых годов Достоевский кажется современникам весьма болезненным человеком, то к 1880 году это впечатление резко усиливается. Один из свидетелей Пушкинского праздника говорит о «худом, пергаментно-жёлтом, скрюченном болезнью»[**]ораторе. Во всяком случае, все без исключения отмечают бросающуюся в глаза физическую немощь Достоевского (может быть, по контрасту с тем потрясающим впечатлением, которое произвела Пушкинская речь).

В 1880 году слово «старик» вполне приложимо к нему: он выглядит на свои годы.

Остаётся вместе с Крамским пожалеть, что «нет портрета последнего времени, равного перовскому»[***]. Этот знаменитый (1872 года) портрет очень нравился самому натурщику. Анна Григорьевна утверждает, что Перов «сумел подметить самое характерное выражение... которое Фёдор Михайлович имел, когда он был погружён в свои художественные мысли»[****]. Правда, находились любители, приглашавшие «публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишённых»[*****].

Крамской считает, что в последние годы лицо Достоевского сделалось ещё значительнее, ещё глубже и трагичнее»[******]. В подтверждение своих слов он указывает на одну из его последних фотографий. Она сделана в Москве 9 июня 1880 года — на следующий день после Пушкинской речи.

Фотография Панова — одно из самых поразительных и, думается, самых «адекватных» изображений Достоевского. При всём

---

[*] *Алчевская Х.Д.* Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М.,1912. С. 74.

[**] *Буква (И.Ф. Василевский).* Литературные знаменитости на Пушкинском празднике в Москве в 1880 году // Русские ведомости. 1899. 19 мая.

[***] *Крамской И.Н.* Письма, статьи в 2-х томах. Т. 2. М., 1966. С. 256.

[****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 219.

[*****] *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–41.

[******] *И.Н. Крамской.* Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. СПб., 1888. С. 669.

своём техническом несовершенстве она почти художественно передаёт «геометрию лица»: порой кажется, что портрет выполнен кубистом. Ни одной мягкой, расплывчатой линии — всё жёстко огранено, угловато, костисто. Глаза посажены столь глубоко, что их почти не видно из-под твёрдых надбровных дуг. Асимметрия лица ещё более усиливает сходство с живописью кубистов.

Ни на одном фотографическом портрете Достоевского нельзя заметить такой духовной концентрации, такой внутренней силы, как на снимке 1880 года.

Обидчивый обидчик

Но вот странность: носитель этой исключительной силы, по-видимому, нимало не заботится о том, чтобы обставить своё духовное «я» хоть какими-то атрибутами внешней торжественности. Напротив: его житейское поведение как бы намеренно разрушает тот возвышенный образ мыслителя и пророка, представление о котором присуще русскому интеллигентскому сознанию.

«Он не вполне сознавал свою духовную силу, — пишет Е.А. Штакеншнейдер, — но не чувствовать её не мог и не мог не видеть отражения её на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы»[*].

Толстой и Тургенев — особенно на склоне лет — никогда не позволяли себе таких *выходок*, как Достоевский. Отсюда отнюдь не следует, что их поведение отличалось какой-то особой преднамеренностью или театральностью. Просто оба писателя хорошо знали свои, как бы сказали теперь, социальные роли. Они никогда не забывали, кто они такие.

Достоевский тоже пытается помнить об этом; однако он всё же плохой «социальный актёр» — его непосредственность перевешивает необходимый минимум лицедейства; отсюда — срывы.

---

[*] *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки (1854–1886). М.; Л., 1934. С. 456.

Конечно, болезнь: она сильно деформировала личность. Но приписывать, как это часто делается, все его «уклонения» эпилепсии было бы ошибочно. В поведении Достоевского есть моменты, которые можно назвать структурными: они вытекают из общего психического склада его личности, и болезнь играет здесь лишь роль катализатора.

Многие мемуаристы, писавшие о Достоевском, обнаруживают одну общую подробность. В мемуарах упоминается о том тяжёлом впечатлении, которое производил автор «Преступления и наказания» при первом знакомстве (этой участи не избежала и его будущая подруга жизни). Он не умел нравиться сразу. Правда, Штакеншнейдер говорит, что он «в первое же своё посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех», но тут же добавляет: «Слово "очарование" даже не вполне выражает впечатление, которое он произвёл. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя»[*]. Это «лишение покоя», производимое им самим, одновременно и один из важнейших признаков его художества. До конца жизни он так и не сумел усвоить безлично-вежливых, нейтральных форм общения — даже со случайными знакомыми. Если он «признавал» собеседника, тогда, как правило, наступало сближение, степень которого превышала психологический минимум, необходимый для простого поддержания знакомства.

«Он был чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо»[**], — свидетельствует Всеволод Соловьёв. В тесном интимном общении «проповедническое» могло успешно соседствовать с непритворным вниманием к собеседнику, с вхождением в мелкие и мельчайшие детали его жизненных забот (так, с величайшим участием выслушивает он все подробности любовной истории Всеволода Соловьёва). Он — исповедник не только в общественных или «мировых» вопросах: к нему обращаются по сугубо частным, порой интимным поводам.

Он умеет не только говорить, но и слушать — в том случае, если собеседник ему интересен и если он желает к нему приглядеться. «Он всё время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: "Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!"»[***] — не без скрытой гордости сообщает Х.Д. Алчевская: почти жертвенное ликование сквозит в тоне этой темпераментной поклонницы (правнучки молдавского госпо-

[*] *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки (1854–1886). С. 457.
[**] *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–42.
[***] *Алчевская Х.Д.* Указ. соч. С. 78.

даря), когда она — может быть, несколько самонадеянно — повествует о том, что чувствовала себя во время разговора с писателем тщательно анализируемым объектом.

Его расположение к собеседнику может помимо прочего выражаться в усиленном угощении сластями, до которых он сам большой охотник: королевским черносливом, свежей пастилой, виноградом, изюмом. Он любит потчевать гостя и не приступает к деловому разговору, не предложив сластей, папирос, чаю (чем и удивляет явившуюся к нему *для работы* строгую Анну Григорьевну).

«"Постойте, голубчик!" — часто говорил он, останавливаясь среди разговора... Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевным, таким милым...»* — свидетельствует Всеволод Соловьёв.

Он, как мы уже сказали, непосредствен: на любительском спектакле у Штакеншнейдеров может прийти в «положительное восхищение», увидев Николая Николаевича Страхова в костюме испанского монаха: «Как он хорош! Браво, Страхов! Вызывать Страхова!» Он сам готов принять участие в домашнем театре (причём непременно желает взять роль, требующую сильных страстей, — Отелло).

Он слушает музыку, и лицо его, по свидетельству украдкой наблюдающей за ним Микулич, кажется «таким добрым, простым и спокойным»**.

Поведение знаменитости можно прогнозировать с большей или меньшей степенью точности: человек, постоянно находящийся в «фокусе», вырабатывает какой-то определённый стереотип поведения.

В этом смысле Достоевский непредсказуем.

«Меня всегда поражало в нём, — говорит Штакеншнейдер, — что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы её не мог. Дерзости природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности в нём тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выража-

* *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–41.
** *Микулич В.* Указ. соч. С. 13, 17.

лась на его лице, — я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаясь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала, не что именно, но что-то злое воспоследствует».

Это «злое» могло быть, впрочем, совершенно невинным. У замужней сестры Штакеншнейдер родился ребёнок (была ещё другая сестра — вдова, с которой Достоевский недавно повздорил). Естественно, что на очередной субботе это семейное событие горячо обсуждалось. «Достоевский молчал, сидя, по обыкновению, возле меня. Вдруг я вижу, что губы его заиграли, а глаза виновато на меня смотрят. Я сейчас догадалась, что подкатился шарик. Хотел его проглотить наш странный дедка, да, видно, не мог. «Это у вдовы-то родился ребёнок?» — тихо спросил он и виновато улыбнулся. «У неё, — говорю, — и видите: она ходит по комнате, а другая сестра моя, не вдова, лежит в постели, а рядом с нею ребёночек», — говорю я и смеюсь. Он видит, что сошло благополучно: и себя удовлетворил, и меня не рассердил и не обидел, — и тоже засмеялся, уже не виновато, а весело».

Пустяковая «бытовая» острота спасла положение. Правда, этой психологической разрядки могло и не последовать: «Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда он обыкновенно делался сумрачным, умолкал, был не в духе»[*].

Он крайне раздражителен, но он же — отходчив; более того: он — управляем, и такая умная и сердечная женщина, как Елена Андреевна, это отлично знает и тактично этим пользуется. «Наш странный дедка» (никто больше так не называет Достоевского!) — в этом совершенно домашнем определении стойкая душевная приязнь, которую Достоевский, конечно, не мог не чувствовать.

Он отходчив даже в тех случаях, когда дело касается «заветных убеждений»: сколь ни удивительно, но это так. Единственное условие — искренность собеседника и, естественно, некоторое к нему расположение.

«...Фёдор Михайлович, — замечает Страхов, — всегда поражал меня широкостью своих сочувствий, уменьем понимать различные и противоположные взгляды»[**]. Признание Страхова звучит несколько неожиданно в свете известного представления об идейной нетерпимости Достоевского, однако оно находит подтверждение и в других источниках.

---

[*] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 461–462, 458.

[**] Биография... С. 186 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 176).

Он умеет извинять самые невозможные вещи при одном условии: если они произносятся друзьями.

В азарте спора его вечная оппонентка Анна Павловна Философова (её дочь вспоминает: «Они оба спорить абсолютно не умели, горячились, не слушали друг друга, и тенорок Фёдора Михайловича доходил до тамберликовских высот») может с досадой воскликнуть: «Ну и поздравляю вас, и сидите со своим “православным богом”! И отлично!» — и Достоевский, вместо того чтобы смертельно оскорбиться, «вдруг громко и добродушно рассмеялся: “Ах, Анна Павловна! и горячимся же мы с вами, точно юнцы!”»*

Но то, что прощалось Анне Павловне Философовой, не прощалось Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Здесь необходимо вернуться в 1879 год.

* Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 1. С. 266.

Из главы VIII

СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ

Христос у магазина Дациаро

20 февраля Суворин посетил Достоевского: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

— А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы».

Естественно, разговор зашёл о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».

Обратим внимание: речь касается *нравственной оценки*.

«Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили?

Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошёл бы...

— И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить...»*

«Если сравнить, — пишет Л.П. Гроссман, — эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придётся пожалеть об упавшей общественной морали великого романиста»**.

Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаключение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном: о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к проблемам общественной морали.

В 1849 году он действительно вёл себя мужественно и честно: поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрёкся ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих товарищей и друзей.

Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим политическим противникам в минуту двойной смертельной опасности. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других (в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалеченных солдат Финляндского полка — по-видимому, не последняя величина в условиях этой поставленной самому себе задачи).

---

* *Суворин А.С.* Дневник. С. 15–16.

Имеет смысл остановиться на странной и до сих пор не замеченной хронологической неувязке. Считается, что в неоднократно упоминавшейся нами статье «О покойном» (Новое время. 1881. 1 февраля) и в своём дневнике Суворин рассказывает об одном и том же разговоре (в первом случае в качестве даты он называет «праздник двадцатипятилетия государя», т. е. по точному смыслу — 19 февраля, во втором — 20 февраля; к «празднику двадцатипятилетия» можно, разумеется, отнести оба дня). При этом Суворин говорит о только что прошедшем у Достоевского припадке. Однако в собственноручной записи Достоевского «Припадки 79–80 гг.» ни 19-е, ни 20 февраля *не отмечены*. Ближайшим по времени оказывается припадок 9 февраля (Литературное наследство. Т. 83. С. 698). Из этого следует: либо Суворин спутал два разных посещения 9-го и 20 февраля, либо 20 февраля всё-таки был припадок, не отмеченный Достоевским. Правда, Суворин в дневнике делает одно точное указание: на событие, которое совершилось именно 20 февраля (о нём будет сказано ниже). Но автор дневника не застрахован от ошибок памяти (тем более что запись сделана через несколько лет). Возможен и другой вариант: Суворин был у Достоевского тогда же, когда и Смирнова (Сазонова), т. е. в день объявления о назначении Лорис-Меликова — 15 февраля; около этого дня (9-го?) у Достоевского был упомянутый Смирновой (Сазоновой) припадок. Во всяком случае, и она, и Суворин, очевидно, говорят об одном и том же приступе эпилепсии. Установление точной даты могло бы многое прояснить, ибо в *такое* время важны не только дни, но и часы.

** *Гроссман Л.* Достоевский. М., 1965. С. 540.

Рассматриваются две возможности: просто пойти предупредить — и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей — или обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.

Оба этих варианта по размышлении отвергаются.

Тут следует вновь обратиться к его предсмертному спору с Кавелиным.

Выше уже приводилась запись о том, что инквизитора, «со- жигающего еретиков» в согласии со своими убеждениями, нельзя признать нравственным человеком. Через несколько страниц Достоевский вновь возвращается к этой теме.

«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»*

Это моральная проблема Родиона Раскольникова.

Действительно: если пролитие «крови по совести» (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо *любое* пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.

«Нравственно, — записывает Достоевский, — только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете».

Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней — оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьёт, — прошептал Тихон, опуская глаза», — после того как выслушал исповедь Ставрогина о растлении им двенадцатилетней Матрёши).

Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.

«Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос, — ещё раз приведём запись в последней тетради. — Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, — нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»**.

Против этой записи, на полях, он ставит *NB,* три плюса и два восклицательных знака.

---

* Литературное наследство. Т. 83. С. 695.

** Там же. С. 676.

В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков — это эпоха Великого Инквизитора, «ночь Средневековья».

Но у него есть аргументы и поновее.

«Помилуйте, — записывает Достоевский, — если я хочу по убеждению, неужели я человек нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно»[*].

Попробуем в данном случае применить тот же критерий, который принимает сам Достоевский.

Христос, взрывающий Зимний дворец, — это выглядит чудовищно.

Но намного ли лучше выглядит Христос, *доносящий* полиции на тех, кто взрывает?

В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком»[**].

Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «непозволяющих» причин были не только одни «ничтожные».

В той же записной тетради сказано: «...иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, и сам убеждённый, вполне сохраняя своё убеждение, останавливается от какого- то чувства и не совершает поступка»[***].

Донос — даже в соответствии с убеждениями — не становится от этого эстетически ценным. «Некрасивость» убийства не выкупается «красотой» предательства.

Как же должен был поступить Христос (или, что легче представить, Алёша Карамазов), окажись он у магазина Дациаро? Лично схватить преступников или кликнуть городового, т. е. вмешать в дело «кесаря»? Броситься в Зимний дворец и погибнуть вместе с взрываемыми?

Из этого положения не было выхода.

«Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния»[****] — так передает Суворин слова Достоевского. Выставляется причина внешняя и, по сути, не главная. «До отчаяния»

---

[*] Литературное наследство. Т. 83. С. 675. Это место не вошло в первую (1883 г.) публикацию записных книжек (Ср.: Биография.... С. 370–371, вторая пагинация).

[**] *Суворин А.С.* Дневник. С. 15–16.

[***] Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

[****] *Суворин А.С.* Дневник. С. 16.

могла скорее довести собственная совесть — колебание нравственное.

Либералы, однако, упомянуты не случайно. Отношение либерального общества к политическому террору своей двусмысленностью подавало повод вспомнить поведение Ивана Карамазова, уезжающего перед убийством отца в Чермашню. Такая нравственная позиция невыносима для Достоевского. Но, как сказано, невыносима и мысль о возможности политического доноса (уж никак не совпадающего с «чувством красоты»).

Вопрос о личном моральном самоопределении оставался открытым.

Знакомство в день казни

Ранним петербургским утром 4 октября 1866 года на Смоленское поле были доставлены осуждённые по каракозовскому делу (самого Каракозова казнили месяцем раньше). Маленького горбатого Ишутина (его одного приговорили к смерти) поставили под виселицу, остальных — к позорным столбам.

Попытаемся воссоздать подробности этого дня, который, как выяснится, сыграл в жизни Достоевского исключительную роль.

«Сегодня Петербург проснулся очень рано, — сообщают «С.-Петербургские ведомости». — В 5 часов утра на улицах было шумно от ехавших экипажей, толпы всевозможного народа шли по направлению к Николаевскому мосту и оттуда на Смоленское поле... Небо было серое, совершенно осеннее. Часов в шесть пошёл дождь, и потом повалил сильный снег, как в хорошую зимнюю пору. Дурная погода никого не останавливала — народ продолжал идти к месту казни; многие несли с собой скамейки, лестницы, стулья»[*].

Казни политических отличались в столице завидным единообразием: и петрашевцы, и Каракозов, и Ишутин, и Млодецкий прошли через один и тот же тщательно регламентированный ритуал.

«По прочтении приговора, — пишут «Биржевые ведомости», — Ишутин, поддерживаемый палачами и в сопровождении священника, сошёл с эшафота к виселице, между тем как над некоторыми из остальных преступников (дворянами. — *И. В.*) палач ломал шпаги»[**]. (Ишутин, как потомственный почётный гражданин (то есть не дворянин), избегнул этой процедуры.)

---

[*] С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

[**] Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

«Священник заговорил с преступником, — сообщают «С.-Петербургские ведомости», — потом последний стал на колени, молился, поднялся снова, припал губами (к кресту. — *И. В.*) и долго от него не отрывался. Священник благословил его и осенил ещё раз крестом. Наступило молчание, словно на этой площади не было ни одного человека»[*].

Не только детали, но и сам *ритм* этого газетного описания удивительно напоминают известную сцену из «Идиота».

Конечно, все казни похожи одна на другую. Однако у нас нет сведений, что автор «Идиота» — романа, где на «зарубежном материале» воспроизведена точно такая же сцена, когда-нибудь присутствовал при гильотинировании. Меж тем *домашние* примеры были под рукой.

Достоевский был внимательнейшим читателем газет: многие сюжеты перекочевали в его романы прямо из газетной хроники.

Правда, в «Идиоте» нет (и не могло быть) одной подробности, которая характерна именно для русских казней: со времён Разина и Пугачева (и ещё ранее) она составила неотъемлемую принадлежность отечественной традиции. «По окончании исповеди Ишутин поклонился народу...»[**] — свидетельствует газетный отчёт.

Это было чисто русское, национальное прощание, после которого для приговорённого наступала тьма: ему — уже по-европейски — завязывали глаза и надевали саван.

Один из приговорённых (И. Худяков) так описывает происходящее: «...перед нашими глазами готовились повесить Ишутина; его закутали в какой-то белый мешок, накинули петлю на шею, причём он так согнулся, что совершенно походил на живой окорок. Это была возмутительная сцена. Его продержали в петле десять минут...»[***].

«В таком положении, — сообщает газетный репортёр, — он стоял несколько минут, поддерживаемый палачами и опуская по временам голову на грудь»[****].

Возможно, что и это промедление было тщательно рассчитано: паузе надлежало оттенить развязку.

«...Как вдруг в толпе раздались громко голоса: “Фельдъегерь, фельдъегерь едет! Помиловали!” Действительно, в каре въехал фельдъегерь на обыкновенных дрожках с плоскими рессорами, за-

---

[*] С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

[**] Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

[***] *Худяков И.А.* Записки каракозовца. М.; Л., 1930. С. 166.

[****] Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

пряжённых парою в дышло, как обыкновенно фельдъегери ездят по городу. Он держал в руках бумагу, которою махал, подняв её высоко над головою»[*].

Власть понимала толк в театральных эффектах.

Итак, на площади появился фельдъегерь — и министр юстиции Замятин (*благой вестник* был на сей раз повышен чином), вскрыв запечатанный пакет, громко прочитал конфирмацию. «Немедленно с Ишутина была снята петля, а затем и саван, и были развязаны глаза. Погода была так дурна, что с мест, где стоял народ, не было никакой возможности, даже и в бинокль (и здесь наличествует этот *комфортный* прибор. — *И. В.*), рассмотреть, какое впечатление произвело это на преступника, который, впрочем, всё время, казалось нам, держал себя довольно спокойно, разумеется — относительно»[**].

«Все сняли шапки, — говорит ещё один газетный очевидец, — руки невольно брались за них, когда произносились слова милосердия».

«...Верёвку с петлёй быстро вытянули из кольца, — повествует другой корреспондент, — она упала мгновенно, и это вызвало шумный, радостный взрыв в народе... Монаршее милосердие было общим предметом разговоров»[***].

История повторилась — с не менее жуткими, чем в первом случае, подробностями. Ишутин, по высочайшему милосердию ссылаемый в *вечную* каторгу, получил вдобавок к ней свои *десять минут.* Когда его вынимали из петли, палач отечески заметил: «Что, не будешь больше?»[****]

Петрашевцы были помилованы в последний момент; в последний момент получил жизнь *обратно* Ишутин. Не позволительно ли было надеяться, что и на сей раз — не совершится и что несчастного Млодецкого в худшем случае ожидает участь его *счастливых* предшественников?

К милосердию взывал Гаршин; мысль об этом в первые дни Лорис-Меликова не казалась столь уж неисполнимой.

Казнь Млодецкого была единственной смертной казнью, которую бывший петрашевец мог наблюдать со стороны: 3 сентября 1866 года он был в Москве, 28 мая 1879-го — в Старой Руссе и, следовательно, не мог присутствовать при последних минутах Каракозова и Соловьёва.

---

[*] Голос. 1866. 5 октября.

[**] Там же.

[***] С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

[****] *Худяков И.А.* Указ. соч. С. 167.

Но что делал он в день несостоявшейся казни Ишутина?

4 октября 1866 года Достоевский находился в Петербурге и в принципе мог присутствовать на Смоленском поле. Но здесь мы обнаруживаем одно поразительное совпадение. Не менее поразительно, что оно до сих пор не было замечено.

4 октября 1866 года — важнейшая дата биографии Достоевского. В этот день он познакомился со своей будущей женой — Анной Григорьевной Сниткиной.

Воспоминания Анны Григорьевны об этом событии прекрасно известны. Но попробуем рассмотреть её свидетельства ещё раз*.

Предложение о работе у Достоевского было сделано Анне Григорьевне в понедельник 3 октября её преподавателем стенографии П.М. Ольхиным. Вручая адрес писателя, Ольхин, по словам Анны Григорьевны, прибавил, что ей «непременно следует быть там в половине 12-го, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил»**.

Казнь Ишутина состоялась в 8 часов утра.

Мог ли Достоевский присутствовать при казни?

Теоретически мог вполне: он успел бы к половине двенадцатого вернуться домой — в Столярный переулок. Представить же такой вариант практически весьма затруднительно: во-первых, он поздно вставал; во-вторых, время визита было назначено заранее. Так что вряд ли до половины двенадцатого он выходил из дома.

Известно, какое впечатление произвёл Достоевский на Анну Григорьевну. Но вчитаемся ещё раз: «Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможённым, больным, тем более что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей».

И внешний вид, и душевное состояние Достоевского вполне объяснимы: в это время забот у него хватало (неоконченное «Преступление и наказание», история со Стелловским, кредиторы и т. д.). Октябрь 1866 года — один из самых критических моментов его жизни. Однако Анна Григорьевна, впоследствии хорошо изучившая мужа, подмечает, что в этот день он был озабочен сверх обыкновенного. «Он как бы был уж слишком расстроен и кажется даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы

---

* Наряду с «Воспоминаниями» мы пользуемся также женевским (стенографическим) дневником Анны Григорьевны 1867 года. Записи об интересующем нас дне сделаны в нём ровно через год после описываемых событий и воспроизводят их более подробно и непосредственно, чем позднейшие воспоминания.

** Литературное наследство. Т. 86. С. 217.

забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чём-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать».

Рассеян, раздражён («Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный»), чем-то подавлен — всё это в нём не столь уж необычно. Но, как мы убедимся, точно такое же психологическое состояние овладевает им и после казни Млодецкого.

«Наконец, — продолжает Анна Григорьевна, — он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в 8». На том и порешили.

Что же получается? Основная цель, которую преследовало это свидание (диктовка) и к наилучшему осуществлению которой должны были подготовиться оба собеседника, так и не была достигнута. И не потому ли, что на одного из них, помимо всех прочих причин, подействовало какое-то дополнительное (и экстраординарное) обстоятельство?

То, что произошло вечером, подтверждает такое предположение.

Ровно в восемь Анна Григорьевна вновь у Достоевского. Однако и на этот раз он не спешит приступать к работе. Он затевает разные посторонние разговоры: расспрашивает о семействе, интересуется её воспитанием и образованием и т. д. И наконец,— «он начал рассказывать про себя».

О чём же поведал сорокапятилетний писатель двадцатилетней девушке, которую он видел впервые в жизни (если не считать утренней встречи) и которая пока оставалась для него совершенно чужим человеком?

Он, как свидетельствует его собеседница, заговорил о самом страшном своём воспоминании. О том, «как он четверть часа стоял под боязнью смертной казни и как ему оставалось жить только 5 минут, наконец, он доживал минуты, и как ему казалось, что не 5 минут осталось, а целых 5 лет, 5 веков, так ему было ещё <долго> жить»[*]. Далее следуют известные подробности.

«*Почему-то,* — говорит Анна Григорьевна в воспоминаниях, — разговор коснулся петрашевцев и смертной казни»[**].

Позволительно спросить: почему?

«Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, — заключает (в дневнике) Анна Григорьевна, — и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен.

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 222, 224.

[**] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 55.

Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал всё с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть»*.

С чего бы? Зачем вдруг ему, человеку, трудно сходящемуся с посторонними, отнюдь не охотнику до скорых душевных излияний, вздумалось исповедоваться перед юным существом, безмолвно внимавшим его ужасным признаниям? Ведь не рисовался же он перед ней *этим*. Тем более что он не любил вспоминать эту историю, и, как мы уже знаем, Анне Григорьевне довелось слышать её из его уст не более трёх раз.

Конечно, всё можно объяснить одним словом: одиночество (Анна Григорьевна так это и объясняет).

Одиночество подвигает на странные поступки. И психологически вполне объяснимо (и даже естественно), что самое сокровенное «вдруг» поверяется вовсе незнакомому человеку.

Всё это так. Но не уместно ли ко всем указанным причинам *теперь* прибавить ещё одну?

Независимо от того, был или не был он в тот день на Смоленском поле, он не мог не знать о совершающейся драме.

При первой, утренней встрече с Анной Григорьевной, помня о том, что только что произошло *там* (известие о помиловании могло ещё не достичь Столярного переулка), он не в силах собраться, взять себя в руки, приступить к делу. Ибо само дело, как он любил повторять, требовало спокойствия душевного.

Вечером того же дня мы наблюдаем совсем иную картину.

Он более приветлив, более общителен и разговорчив (как сейчас сказали бы — более коммуникабелен). Расположение его духа явно переменилось. Разумеется, в восемь часов он уже знает о помиловании. Не это ли известие послужило толчком к его исповеди? Могло ли не поразить его сходство положений, одинаковость развязки, тайное сближение судеб? И не потому ли явился сам рассказ о казни петрашевцев, что разговор зашёл об утренних событиях?

Анна Григорьевна не говорит об этом ни слова. Но ведь напрасно мы стали бы искать у неё и каких-либо свидетельств о том, что делал её муж утром 22 февраля 1880 года. Ибо сами воспоминания Анны Григорьевны полемичны по отношению к той, в начале века достаточно авторитетной традиции, которая рассматривала Достоевского через призму его «извращённой», «больной», «подпольной» гениальности. И столь выразительный биографический штрих (автор

* Литературное наследство. Т. 86. С. 225.

«Бесов», *глазеющий* на виселичную экзекуцию!) мог бы дать дополнительные аргументы сторонникам этой весьма «привлекательной» точки зрения.

Но умолчание о «казни» Ишутина могло быть продиктовано ещё одним очень субъективным и вполне извинительным мотивом.

4 октября 1866 года — слишком большой и слишком *светлый* день в жизни Анны Григорьевны, чтобы связывать его — даже в интимных записях, — с каким-либо омрачающим обстоятельством. Тем более когда дело касается политического преступления: и в записных книжках, и в воспоминаниях Анна Григорьевна не жалует политику.

И тем не менее у истоков их любви обнаруживается трагедия: личная судьба пересекается с грозным и кровавым ходом русской истории.

Через пятнадцать лет Анна Григорьевна возмутится призывом Владимира Соловьёва не казнить первомартовцев: она забыла многое.

Но пора вернуться к Млодецкому.

«...Ввиду отрубленной головы!»

Да, пора вернуться к их *встрече*. Но прежде следует, пожалуй, назвать ещё одну причину, почему утром 22 февраля бывший смертник вновь оказался на Семёновском плацу.

Десять лет назад, летом 1870 года, в Дрездене Достоевский прочитал статью Тургенева «Казнь Тропмана»: она была опубликована в июньской книжке «Вестника Европы».

«Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, — пишет он Страхову, — но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он всё конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришёл; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвёртываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие н р а в с т в е н н ы е причины на то. *«Homo sum et nihil humanum...»*[*] и т. д.»[**].

Не эту ли же мысль — почти дословно — повторит он в 1880 году великому князю?

В январе 1870 года в Париже был гильотинирован ещё сравнительно молодой человек — Тропман, жестокий и хладнокровный

---

[*] «Я человек, и ничто человеческое...» *(лат.)*.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 127–128.

убийца. Его процесс наделал в то время много шума. Тургеневу (благодаря содействию его парижских друзей) представилась редкая возможность: не только присутствовать при самой казни, но войти в камеру приговорённого, наблюдать его предсмертный туалет, проводить его до гильотины. Тургенев описывает бессонную ночь, проведённую им накануне казни в доме начальника тюрьмы, громадную толпу на площади, наконец самого Тропмана. «Что касается до меня, — пишет Тургенев, — то я чувствовал одно: а именно то, что я не был вправе находиться там, где я находился, что никакие психологические и философские соображения меня не извиняли».

«Есть высшие н р а в с т в е н н ы е причины», — говорит Достоевский.

Для Тургенева в подобной ситуации таких причин не существует. Автор статьи главным образом фиксирует внимание на собственных ощущениях. (При этом он не забывает упомянуть, что отказался от утренней чашки шоколада, любезно предложенной радушным хозяином — начальником тюрьмы.)

Впрочем, последние минуты Тропмана изображены с чрезвычайным талантом.

Преступника втащили на гильотину, «два человека бросились на него, точно пауки на муху»; «он вдруг повалился головой вперёд», «подошвы его брыкнули». «Но тут я, — говорит автор, — отвернулся — и начал ждать — а земля тихо поплыла под ногами...»*

Здесь не только различие двух нравственных позиций. Разные мировосприятия и, что существенно, — разные поэтики. В эстетический круг Тургенева не входит изображение безобразного (в том числе — безобразной смерти). В эстетике Достоевского безобразное равноправно «всему остальному»: смерть у него (как, впрочем, и у Толстого) — явление этически и эстетически значимое. Муза Достоевского не отводит взора там, где муза Тургенева в ужасе закрывает глаза: естественно, что объекты изображения при этом не совпадают.

22 февраля 1880 года Тургенев находился в Петербурге.

«Всего комичнее, — продолжает Достоевский своё письмо Страхову, — что он в конце отвёртывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: “Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать!” Впрочем, он себя выдаёт: главное впечатление статьи в результате — ужасная забота, до последней щепетильности,

* *Тургенев И.С.* Собрание сочинений в 12 томах. Т. 10. М., 1956. С. 399, 405, 416.

о себе, о своей целости и своём спокойствии, и это в виду отрубленной головы!»[*]

22 февраля 1880 года Достоевский видел всё. И каковы бы ни были его личные переживания, очевидно, не они составляли главный предмет его забот. Недаром он, по выражению русского физиолога А.А. Ухтомского, обладал «доминантой на лицо другого»[**], т. е. мощной способностью вживаться в чужое состояние, в чужой психический мир, видеть в другом равноценное с собой бытие.

Он видел такое равноценное бытие и в Млодецком: на его глазах оно подходило к концу.

К вопросу о бессмертии души

Это происходило тридцать лет назад.

...Когда аудитор закончил чтение приговора, его сменил на эшафоте священник: его появление должно было окончательно убедить их, что казнь действительно свершится. Изо всех петрашевцев к исповеди подошёл один Тимковский; к кресту, однако, приложились все. Приложился даже Петрашевский, явный атеист.

Почему же они отказались от исповеди? Ведь среди них были люди истинно религиозные (Дуров, как про него говорили, даже «до смешного»). Может быть, потому, что крестное целование — не более чем формальность, тогда как исповедь (тем паче последняя) требует, чтобы исповедующийся участвовал в обряде всем своим существом...

Князь Мышкин рассказывает:

«С ним всё время неотлучно был священник, и в тележке с ним ехал и всё говорил, — вряд ли тот слышал: и начнёт слушать, а с третьего слова уж не понимает... Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать... поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырёхконечный, — часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал»[***].

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 128–129.

[**] См.: *Меркулов В.Л.* О влиянии Ф.М. Достоевского на творческие искания А.А. Ухтомского // Вопросы философии. 1971. № 11. С. 117.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 9. С. 55–56.

Процитировав последние слова и применив их к самому автору «Идиота», Л. Гроссман пишет: «В момент такого страшного испытания вера изменила Достоевскому».

Это очень серьёзное утверждение — и оно требует не менее серьёзных доказательств. Конечно, вера его прошла «через горнило сомнений», и почти нельзя сомневаться в том, что она действительно временами изменяла ему (или он изменял ей). Но справедливо ли полагать, что это случилось именно на эшафоте?

Л. Гроссман говорит, что вере в загробную жизнь и бессмертие души «неумолимо противостояло представление о растворении умершего в природе, о его естественном слиянии с космосом, быть может, с отблесками солнечных лучей, которые и станут его «новой природой». Такое «неверие» останется навсегда основой мироощущения Достоевского, несмотря на весь его живейший интерес к вопросам религиозной проблематики»[*].

Если следовать Л. Гроссману, Достоевский был, так сказать, стыдливым пантеистом, которому оставалось сделать только шаг до «чистого» материализма. Имеется в виду известная цитата из «Идиота»: «Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышею сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог он от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольётся с ними...» Здесь действительно есть оттенок пантеистической грусти, и, казалось бы, дальше должна зазвучать более мажорная нота, свидетельствующая о здоровом оптимизме обречённого, — в связи с его скорым «растворением в природе», о сладком предвкушении «естественного слияния с космосом».

Но увы. У Достоевского звучит совсем иное. «*Неизвестность и отвращение* от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны...»[**] [***] Ужас и отвращение вызваны почему-то заманчивой пантеистической перспективой...

Но, может быть, этот ужас как раз и есть свидетельство веры? Именно так полагает первый биограф Достоевского — Орест Фёдорович Миллер. Основываясь на тех же самых обстоятельствах, что и Гроссман, он приходит к выводам прямо противоположным.

«Он ощущал только мистический страх, — пишет Миллер, — весь находился под влиянием мысли, что через каких- нибудь пять минут

---

[*] *Гроссман Л.* Достоевский. С. 176.

[**] Ср. слова, сказанные автором «Идиота» великому князю: «...Ужасен переход в другой неизвестный образ».

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 9. С. 52.

перейдёт в другую, неизвестную жизнь (в нём, стало быть, нимало не была поколеблена вера в бессмертье)»*.

Вопрос, который так безапелляционно решают два разных, но ставящих перед собой некую *обязательную* задачу биографа, заслуживает между тем обсуждения.

В том, что преступник во время смертного обряда судорожно тянется к кресту, нельзя усмотреть наличие веры, точно так же, как нельзя усмотреть неверие в том, что он не сознаёт в этот момент «что-нибудь религиозное». Эшафот — не самое удобное место для разрешения теологических споров.

Млодецкий, после некоторого колебания всё-таки целующий крест, и толпа, отозвавшаяся на его поступок глухим и сочувственным гулом, — эта картина исполнена для Достоевского глубокого смысла. Временное сходилось с вечным — и это схождение давало надежду примирить всех. «Злодеи» превращались в мучеников — и мученичеством своим как бы искупали злодейство.

Если Алёше Карамазову суждено было погибнуть на эшафоте, то день 22 февраля сыграл бы в этом замысле не последнюю роль.

---

* Биография... С. 119 (первая пагинация).

Из главы X

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

Ещё одно обвинение против Страхова

10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу молодого Владимира Соловьёва (это была седьмая из цикла в одиннадцать лекций — «Чтения о Богочеловечестве»), Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил её:

«— А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошёл, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь?

— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. — Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: "Не забудьте воскресенья", — он ответил: "Ваш гость"».

Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено обоими супругами.

«Меня несколько тревожило, — продолжает Анна Григорьевна, — не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу»[*].

Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, *она* могла чем-то обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует подкреплять хорошим столом[**].

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 319.

[**] Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужим хлебом- солью, если бы этот момент не был обыгран в указанной записи Достоевского. Ср. приводимый

...Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришёл обедать, Анна Григорьевна прямо спросила его, в чём дело.

« — Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

— Как! С вами был Толстой? — с горестным изумлением воскликнул Фёдор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»*

Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьёва (тема которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочёл сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно**. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит ли, что *после* этого сообщения Толстой отказался от знакомства?

Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с автором «Войны и мира» (это была их единственная встреча). «Я всегда жалею, — заметил Толстой, — что никогда не встречался с вашим мужем...»

«А как о н об этом жалел! — воскликнула в свою очередь Анна Григорьевна. — А ведь была возможность встретиться — это когда вы были на лекции Владимира Соловьёва в Соляном городке. Помню, Фёдор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему,

---

Анной Григорьевной отзыв о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в сущности, был Страхов? Это... тип "благородного приживальщика", каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определённым дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом» (*Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 405.).

* Там же. С. 320.

** Не совсем ясно, был ли Толстой на лекции с одним Страховым. Ср. его письмо к А.А. Толстой: «Я вспомнил, что нынче лекция Соловьёва, и лекция, как мне говорили, самая важная, и я еду на неё. Мне кажется, что вы хотели послушать его. Не поедете ли вы?» (*Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 62. М., 1953. С. 392.)

что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось бы побеседовать”».

Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна Григорьевна так передаёт его слова:

«Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»*

Толстой удивлён и огорчён одновременно. Его трудно заподозрить в неискренности. Страхов, видевший Достоевского (и холодно с ним поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого, он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы «переиграл» саму судьбу — и уготованная ею (надо думать, не без усилий!) встреча в последний момент сорвалась.

Чем же руководствовался Страхов?

Знакомство (тем более дружба) с Толстым — немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских *рассказов* стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т. д.). Страхов утратил бы все те почти неощутимые, но не лишённые приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) недостоверную и не вполне «адекватную» информацию.

Этого Страхов боялся и не желал. Но только ли по его милости не состоялось свидание двух самых значительных людей России?

К этому вопросу нам ещё предстоит вернуться.

Женщины в его жизни

До сих пор речь шла о друзьях-мужчинах. Но не пора ли задуматься над тем фактом, почему в позднем писательском успехе Достоевского такую важную роль играют женщины?

---

* *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 393, 476.

Почему именно они чутче и тоньше мужчин воспринимают его личность, а иногда — и творчество, и почему на закате его жизни женщины занимают всё большее место в его личном и общественном окружении?

С.А. Толстая, Е.А. Штакеншнейдер, А.П. Философова, Е.Н. Гейден, Ю.Д. Засецкая, О.А. Новикова, А.Н. Энгельгардт — вот круг, тяготеющий к Достоевскому, круг, к которому и он, по-видимому, испытывает чувство приязни. Среди этих женщин есть дамы высшего света, но нет ни одной женщины *только* светской: все они или довольно видные общественные деятельницы (Философова, Гейден, Засецкая, Новикова), или женщины сильного ума и «умного сердца» (Толстая, Штакеншнейдер), или, наконец, те и другие одновременно.

О Достоевском нельзя сказать словами поэта: «Он средь женщин находчив, средь мужчин — нелюдим» (ибо нелюдим он порой и среди представительниц прекрасного пола). Однако душевное предпочтение, отдаваемое им в последние годы женщинам, очевидно.

«Кстати скажу, что Фёдор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, — с видимым бесстрастием пишет Анна Григорьевна, — и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Фёдор Михайлович с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшиеся ему чутьём понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и её страдания, как понимал и угадывал их Фёдор Михайлович»[*].

Эти наблюдения Анны Григорьевны дополняет дочь Достоевского Любовь Фёдоровна: «В салоне графини Толстой так же, как и на студенческих вечерах, Достоевский имел больший успех у женщин, чем у мужчин, и всё по той же причине: потому что он всегда относился к слабому полу с уважением... Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьёзно, как с равными. Никогда не хотел он... целовать у женщины руку; он утверждал, что это целование унизительно для неё»[**].

Женщины — его благодарная аудитория. Но и у него к ним — особый счёт.

---

[*] *Достоевская А.Г.* С. 357.

[**] Литературное наследство. Т. 86. С. 305. Любовь Фёдоровна приводит также мнение одного из знакомых Достоевского, что её отец, говоря словами Мишле, принадлежит к тому типу мужчин, которые «обладают очень сильной мужественностью, но имеют многое от женской натуры...» (Там же).

Однажды (это было в 1873 году) он попросил корректора типографии, где печатался «Гражданин», купить ему по дороге коробку папирос. В.В. Тимофеева исполнила просьбу «с превышением»: к купленным папиросам она прибавила «от себя» несколько апельсинов. Не избалованный таким вниманием, Достоевский был тронут. Оторвавшись от рукописи, он «полушутя, полусерьёзно» заметил: «А я вот вам за это комплимент по адресу нынешних женщин пишу...»*

«Комплимент» этот через несколько дней появился в «Гражданине»: «В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьёзность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было выше, чем у мужчин... Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьёзнее, чем мужчина; хочет дела для самого дела, а не для того, чтоб казаться. Уж нев самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»**

Как видим, «комплимент» носит вполне общественный характер. Высказанный впервые («никогда ещё современную женщину не «хвалил»), он перекликается с его будущими — чрезвычайно высокими — оценками современной ему русской молодежи и непосредственно предшествует им. Поколение семидесятников было открыто Достоевским благодаря женщинам.

В его общем историко-психологическом прогнозе русской женщине отведена исключительная роль.

Он говорит о поколении, которое сознательно обрекло себя «на служение и жертву». Именно в женщинах, хочет он того или нет, явственней и резче сказался нравственный порыв русской революции, подвижничество и искупление. Женщина — хранительница мирового идеального начала — и это означает для него великую надежду. «Может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой, возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жаждой делать дело, и это до жертвы, до подвига»***.

Конечно, женщины из ближайшего окружения Достоевского вовсе не принадлежали к поколению семидесятниц.

---

* *Т-ва В.В. (О. Починковская).* Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 515–516.

** Гражданин. 1873. 27 августа. С. 50.

*** Дневник писателя. 1877. Сентябрь. К читателям...

Однако почти все они отличались такими качествами, как искренность, душевное бескорыстие, сердечное участие в делах общественных.

Тут пора назвать одно имя.

Наследницы Татьяны Лариной

Это — Татьяна Ларина.

Когда в центр Пушкинской речи Достоевский ставит образ пушкинской Татьяны, то это естественно вытекает из его размышлений и наблюдений семидесятых годов, из современной ему исторической практики. Он, этот образ, не только исходное звено в известной литературной цепи: на Татьяне замыкается ещё и другая традиция — этико-историческая. «Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдёт за тем, во что поверит, и она доказала это». В этих совершенно понятных для тогдашней аудитории словах содержится недвусмысленное указание на исторические прецеденты: от декабристок до участниц недавних политических процессов и сестёр-доброволок последней Русско-турецкой войны (иных аналогий просто не существует). Татьяна — женщина именно этого склада, и то, что она «не пошла» за Онегиным, объясняется отнюдь не её житейской трусостью, а причинами совсем иного порядка*.

Именно Татьяна, «угаданная» гением Пушкина, есть реальное воплощение главной, определяющей черты нации, её нравственного ядра. Это — невозможность поступить «не по правде», пойти против совести, невозможность созиждеть своё личное благополучие на несчастье другого (будь то «слезинка ребенка» или горе убитого изменой «старика»).

В нравственных коллизиях, которые пытается разрешить Достоевский, критерием истины, её «последней» проверкой оказывается не только названный в записных книжках Христос, но ещё и другой персонаж — пушкинская Татьяна. Конечно, эти понятия для Достоевского вовсе не равнозначны, однако в известном смысле — *художе-*

---

* По-своему замечательны оценки этого места Пушкинской речи в вульгарно-социологической критике 1930-х гг.

Обозвав саму Речь «надуманной истерикой», автор пишет: «Дочего же убога «родная нива» Достоевского в сравнении с теми реальными советскими нивами, на которых Мария Демченко вместе со свёклой выращивает новую, великолепную женщину... которая не может быть другому отдана!» (*Заславский Д.* Всемирное счастье и родина // Молодая гвардия. 1936. № 2. С. 185).

ственно сопоставимы (ибо *его* Христос — отчасти тоже литературный образ, некая бесконечная нравственная величина).

Из этой цепи намёков и сопоставлений, согласно этой «исторической эстетике», возникала одна надежда.

Если образ Татьяны Лариной, её жизнеповедение отвечает мирочувствованию основного состава нации («народа»), не противоборствуя, а совпадая с ним, тогда подобное совпадение открывает невиданную историческую перспективу. То, что основополагающая народная черта воплощена в женщине, вековыми сословными перегородками отторгнутой от народа, но не утратившей с ним внутренней духовной связи, давало повод для «русского решения вопроса». Татьяна оказывалась единственной художественно-осязаемой точкой соединения двух противостоящих друг другу социальных стихий, единственным залогом будущего духовного возрождения.

Поэтому весной 1880 года, накануне Пушкинской речи, он так пристально всматривается в лица своих современниц: он ищет знакомые черты.

Молчание как жанр

И всё же существует ещё одна — пожалуй, наиболее скрытая — черта, определяющая особые отношения Достоевского с его современницами. Эта черта, как думается, имеет прямое касательство не только к его личности, но и к самому типу его художественного мышления.

Чтобы пояснить нашу мысль, сошлёмся на Л. Толстого. Его ближайшее духовное окружение — преимущественно мужское. Само понятие «толстовец» в русском языке плохо сочетается с женским родом, обозначая в последнем случае, скорее всего, вид одежды. Но дело, разумеется, не только в семантике...

Дело в ином: в исключительно сильном рационалистическом начале, пронизывающем все стороны мирочувствования Толстого, в мощной логико-аналитической доминанте его духа и его мышления.

Тут следует сделать одно отступление.

Художественное мышление Толстого и Достоевского — два разнонаправленных (встречных) потока, два противоположных способа миропостижения.

Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры

действующих в его романах персонажей, твёрдо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, недоговоренностей, намёков, умолчаний: его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределённость.

Это стремление выражено в самом синтаксисе толстовской прозы, в построении фраз (типа «не потому что, а потому, что»), в обилии объясняющих, «разматывающих», уточняющих придаточных предложений и т. д.

Обнажение скрытых от глаз читателей внутренних причин и следствий совершается либо в форме прямого авторского толкования, либо через перекрещивающиеся и дополняющие друг друга сознания действующих лиц. Но в любом случае — открыто, неприкровенно, на наших глазах.

Эта художественная методология одинаково применима и к воссозданию глобальных исторических событий, и к изображению камерных семейных сцен.

«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашёва.

Александр отказался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорблённым. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакать по ровному полю».

Называются скрытые побудительные мотивы; единым взором охватывается бесконечная совокупность причин и следствий; определяется позиция каждого персонажа по отношению к главному событию (войне 1812 года), и само это событие находит соответствующее место в слепой (но теперь выявленной и осознанной) игре мировых сил.

Именно такой способ видения организует художественное действие на всех уровнях.

Приведём характерный эпизод из «Войны и мира»: Наполеону приносят портрет сына («короля Рима»), присланный в подарок Императрицей.

«Со свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошёл к портрету и сделал вид задум-

чивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он... выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность».

Ничто не остаётся необъяснённым: вся информация вводится в текст. Сам эпизод дан не с точки зрения кого-то из его участников (например, Наполеона, как это может показаться на первый взгляд), а через всеобъемлющее авторское созерцание. Сцена психологически завершена; читателю не оставляется возможности для каких-либо *дополнительных* предположений.

Анна сообщает Вронскому о своей беременности. Она наблюдает реакцию Вронского. Следует подробное описание внешнего поведения, «суммы движений» каждого из героев. Сообщается о том, что думает Анна по поводу того, что, по её мнению, думает Вронский. Но этого мало. Приводятся исчерпывающие сведения о том, что думает Вронский на самом деле.

«Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренной силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение».

Ситуация, таким образом, рассматривается с *разных* точек зрения, дополняющих и корректирующих друг друга; достигается максимальная полнота и объективность в изображении того, что не произносится персонажами вслух, но подразумевается. Всё подлежит немедленной художественной огласке.

В «Анне Карениной» есть эпизод, где рассмотренный метод достигает своего предела. Это сцена падения Вронского с лошади во время скачек.

«Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! что я сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка!

И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!»*

То, что мгновенно (в виде нерасчлененного ощущения) должно пронестись в душе Вронского (и что выражается его *немым* мычанием — «ааа!»), разлагается на составляющие и оформляется в монолог: герой фактически «прокричал» здесь авторский текст. В самый

* *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 18. С. 197–198.

момент душевного (и физического) потрясения происшествию даётся исчерпывающая и всесторонняя оценка; при этом герой умудряется избегнуть *крепких* (и в этом смысле всегда иррациональных) выражений: его эпитеты не только вполне литературны, но и тщательно подобраны.

Мощное аналитическое начало господствует в толстовской прозе. Даже в оценке самой «неуправляемой» героини «Войны и мира» — Наташи Ростовой (которая «не удостаивает» быть умной) — можно усмотреть попытку рационалистического объяснения характера, в общем, иррационального.

Грандиозное единство и целостность толстовского романа не отменяют того обстоятельства, что любой романный эпизод обретает максимальное количество художественных связей в самый момент своего воплощения; если те или иные сцены «аукаются» между собой, то это происходит как перекличка уже завершённых единств. Количество сцеплений в толстовской прозе бесконечно; однако это именно *сцепление* одного с другим, а не *превращение* одного в другое.

Художественное зрение Достоевского устроено совсем иначе.

У Достоевского отдельные романные ситуации, как правило, оставляют некоторый простор для читательской догадки. Автор не настаивает на одной (безусловной) версии происходящего. Это особенно видно на примере жизнеописаний: даётся несколько биографических версий — без авторского ручательства в правильности какой-либо из них. Тот или иной слух играет при характеристике Свидригайлова, Ставрогина, Фёдора Павловича Карамазова, Смердякова и так далее — ничуть не меньшую роль, чем достоверно установленный факт. Достоевский почти никогда не даёт происходящему немедленной авторской интерпретации.

Нередко та или иная сцена содержит в себе зёрна, зародыши, элементы тех повествовательных положений, которые развернутся лишь в дальнейшем. (Этот «детективный» приём обретает у Достоевского силу художественного закона и распространяется на коллизии уже не сюжетного, а идеологического порядка.)

Можно сказать, что в прозе Достоевского действует система *повествовательных намёков*.

...Порфирий Петрович предлагает Раскольникову написать «объявление» в полицию о заложенных им у старухи-процентщицы вещах.

— Это ведь на простой бумаге? — поспешил перебить Раскольников...

— О, на самой простейшей-с! — и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и *как бы* ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так *показалось* Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, *что-то такое* было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, *чёрт знает для чего.*

«Знает!» — промелькнуло в нём как молния».

Вся сцена дана с одной точки зрения, а именно Раскольникова, находится в круге его сознания. То, что представляется Раскольникову, не дополняется и не корректируется сознанием Порфирия Петровича (мы не знаем, что последний при этом думает) или сознаниями других участников эпизода (все они, кроме Раскольникова, даны только в поведении, а не в мышлении). Однако то, что видит Раскольников, подвергается некоторому сомнению. Происходящее не получает объективного освещения; оно не зафиксировано, так сказать, твёрдо и окончательно (путём сопоставления нескольких точек зрения или при помощи «разрешающего» авторского комментария): остаётся неясным, действительно ли подмигнул Порфирий Петрович или всё это лишь пригрезилось его впечатлительному собеседнику. Увиденное глазами Раскольникова читатель может восполнить собственными предположениями: этот *принцип дополнительности* сообщает прозе Достоевского кажущуюся психологическую неопределённость.

Для его героев характерны прозрения, предвидения и предчувствия; важную роль играют отношения интуитивного порядка. Так, Сонечка Мармеладова догадывается о том, что Раскольников — убийца, ещё до его признания; Иван Карамазов знает, что убийство должно произойти, ещё до его совершения, и т. д. и т. п.

Известный разговор Ивана со Смердяковым целиком построен на недомолвках. Здесь значимы не только и не столько слова, сколько *движения*.

«Что батюшка, спит или проснулся? — *тихо и смиренно* проговорил он (Иван. — *И. В.*), себе самому *неожиданно, и вдруг,* тоже совсем *неожиданно,* сел на скамейку»; «Иван Фёдорович *длинно* посмотрел на него»; «с *особенным и раздражительным* любопытством осведомился Иван Фёдорович»; «что-то как бы *перекосилось и дрогнуло* в лице Ивана Фёдоровича. Он *вдруг* покраснел». И т. д.

Иван уезжает наконец в Чермашню. «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковёр.

— Видишь... в Чермашню еду... — как-то *вдруг вырвалось* у Ивана Фёдоровича, опять, как вчера, так *само собою* слетело, да ещё с каким-то *нервным смешком*...

— Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, — *твёрдо* ответил Смердяков, *проникновенно* глянув на Ивана Фёдоровича»[*].

Сговор фактических сообщников происходит без произнесения окончательного слова; он выражается в намёках, интонационных акцентах, в «мимике и жесте».

Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, «загнаны», запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится *вывести* эти смыслы наружу — в текст — из тьмы внетекстового хаоса; он хочет твёрдым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений.

В публицистике Толстого анализу (и часто осуждению) подлежит сама авторская личность: с неменьшей пристальностью, чем Наташу Ростову или Андрея Болконского, Толстой разбирает самого себя. Разымается не только человек: религия, государство, семья, искусство — ничто не может избегнуть скептического и всепроникающего взгляда. Любое явление спешит получить прямую моральную оценку.

Поразительно, что, переводя и комментируя Новый Завет, такой художник, как Толстой, пренебрегает именно поэтической стороной евангельского мифа и опирается главным образом на евангельскую «публицистику», всячески рационализируя сам миф и добиваясь в первую очередь *логической гармонии*[**]. Не случайно такую важную роль играет в толстовстве его практическое, поведенческое, императивное начало (опрощение, непротивление, вегетарианство и т. д.) — именно то, что Достоевский, не доживший до оформления толстовской доктрины, проницательно назовёт в «Дневнике писателя» *мундиром*.

Может быть, чисто головная, рационалистическая, *мужская* доминанта толстовства, «оправдание добра» с «насильственной» помощью разума помешали возникнуть типу страстных и фанатичных

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 6. С. 193; Т. 14. С. 244–249, 254.

[**] Ср. известную запись в дневнике Толстого от 4 марта 1855 года: «Разговор о Божественном и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». (*Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 47. С. 37.) «Запись Толстого, — замечает современный исследователь, — поразительно напоминает замысел Великого Инквизитора в “Братьях Карамазовых”». (Прометей. Т. 12. М., 1980. С. 115.)

последовательниц этого учения («боярынь Морозовых») — при наличии достаточного количества преданных учеников. (У толстовства были свои мученики, но оно не знает *мучениц*, как, скажем, раннее христианство; из числа последних можно назвать разве Софью Андреевну. И одними ли материальными соображениями объясняется активное неприятие ею учения мужа? Не было ли здесь ещё и стихийного сердечного недоверия к рационалистическому примату толстовства, чисто женского непонимания *обязательности* любви?)

Женщины более откровенны с Достоевским, нежели с Толстым. И, отвечая на их послания, автор «Дневника писателя» всегда старается учесть личность своих корреспонденток. Его ответы никогда не строятся по известной моральной схеме, как многие «типовые» письма позднего Толстого. Достоевскому совершенно несвойствен эпистолярный автоматизм.

Может быть, женская доверительность была не чем иным, как интуитивным отзывом на интуитивное начало его искусства и его «учения» (ибо у Достоевского мы не обнаруживаем признаков того, что можно именовать «системой» в толстовском смысле). Достоевский многое не договаривает до конца. Но в его поэтике молчание есть момент содержательный.

Раскольников словоохотлив; Сонечка Мармеладова — молчалива. Но последнее слово остаётся за ней.

Из главы XII

ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ

Исторический феномен

Месяц спустя после открытия памятника Пушкину П.А. Гайдебуров писал, что если бы кто-нибудь прочёл московские речи «у себя в комнате, тот непременно сказал бы о наших московских восторгах, что мы просто “с ума посходили”. Оно, пожалуй, так и было, — заключает издатель «Недели», — только я не прочь бы ещё хоть раз в жизни сойти так с ума»*.

Менее чем за год до взрыва, оборвавшего царствование Александра II, совершается событие, бросающее какой-то фантастический свет не только на его непосредственных участников, но и высвечивающее невидимые глубины русской жизни. Эта вспышка представляется тем более ослепительной, что почти сразу же вслед за ней смыкается мрак, поглотивший действующих лиц и позволяющий лишь гадать о возможности иной исторической развязки.

Пушкинский праздник 1880 года исключителен не только по своему осуществлению, но главным образом по своему «неожиданному» историческому смыслу. Он вызвал безумное ликование и породил не менее безумные надежды. Он заставил пристальнее вглядеться в прошлое и будущее. Он, наконец, явил некий урок.

Наряду с Пушкиным ещё один человек сделался главным героем этого торжества.

«По внешнему впечатлению, кажется, ничто не может встать рядом с тем днем 8 июня 1880 года, когда в громадной зале б<ывшего>

* Неделя. 1880. 6 июля.

Дворянского собрания, битком набитой интеллигентной публикой, раздался такой рёв, что казалось, стены здания рухнут»*, — вспоминает одна из тех, кому довелось в этот день слышать Достоевского.

Никогда ещё ни одно публичное выступление не вызывало подобной бури.

Салон, гостиная, обеденная зала — вот поле деятельности русских литераторов. Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Белинский не выступали перед широкой аудиторией. Лев Толстой являлся публике тоже в редчайших случаях.

В 1880 году русский писатель впервые обратился к русскому образованному обществу не только «через литературу», но — с «настоящей» общественной трибуны: такой, которая в силу обстоятельств приобретала *общенациональный* характер. Впервые в речи, сказанной по частному (литературному) поводу, затрагивались мировые вопросы.

Пушкинский праздник весьма отличался от тех «национальных торжеств», к каким привыкла Россия и какие только и были в ней возможны: коронации, освящение храмов, возвращение победоносных войск, пополнение августейшего семейства и т. д. Все названные и им подобные ликования всегда устраивались государством и исходили от него: власть, и только власть, служила источником и целью легальных общественных возбуждений.

Так было всегда, и думалось, что так всегда и будет: самодержавие никому не собиралось уступать одну из своих важнейших прерогатив. Московские торжества «нечаянно» поколебали эту древнейшую государственную традицию: последствия подобного «прорыва» представлялись чрезвычайно заманчивыми.

«Московский праздник, — писал «Вестник Европы», — был со времен Рюрика первым чисто общественно-литературным праздником, и по своему поводу, и по исполнению», он «принимал размеры, принадлежащие национальным событиям»**.

Знаменитый «исторический» обморок, о котором, кажется, не забыли упомянуть ни одна русская газета и ни один из позднейших воспоминателей, — обморок «молодого человека», ринувшегося на эстраду и в беспамятстве рухнувшего у ног Достоевского, — это, повидимому, сугубо медицинское происшествие не только оттенило ораторский успех автора Речи, но и явилось предельным «физио-

* Звенья. Т. 1. С. 469.
** Вестник Европы. 1880. Июль. С. XXV, XXI.

логическим» выражением того глубокого *стресса*, который переживало русское общество.

Пушкинская речь непостижима в отрыве от реальных исторических обстоятельств, её породивших. Более того: изъятие текста Речи из реального общественного контекста парадоксальным образом «искривляет» сам текст.

Ни одно произведение Достоевского при жизни автора не вызывало такого количества откликов: «очерк» объёмом около одного печатного листа породил лавину комментариев, оценок, возражений и опровержений — лавину, которая на протяжении нескольких месяцев буквально захлёстывала русскую прессу.

Немало писали о Пушкинской речи и после смерти Достоевского.

И всё-таки, говоря его собственными словами, остаётся «некоторая великая тайна».

«Устраняемое лицо»

Супруга Александра II, Мария Александровна, скончалась 22 мая 1880 года — в день, когда Достоевский выехал из Старой Руссы в Москву. В Твери он купил газеты: по случаю «кончины государыни императрицы и наложения глубокого траура» государю «благоугодно было повелеть, чтобы торжество открытия памятника Пушкину было на некоторое время отложено»*.

Памятник этот имел свою историю. Мысль о нём впервые возникла ещё в 1860 году — при подготовке к 50-летнему юбилею Лицея. Самым подходящим местом показалось Царское Село; объявили подписку. Она шла не очень бойко, по-домашнему и, достигнув тринадцати тысяч рублей, замерла. Дело стало.

Через десять лет, на очередном Лицейском обеде, о памятнике вспомнили вновь — и учредили комитет. В него вошли два бывших однокашника Пушкина — барон М.А. Корф и адмирал Ф.Ф. Матюшкин (ни один из них так и не доживёт до открытия). Именно Матюшкин первым подал идею поставить памятник в Москве, ибо в Петербурге, «уже богатом памятниками царственных особ и знаменитых полководцев, мало было надежды найти достойное поэта, достаточно открытое и почётное место». Высшая власть подозрительно быстро согласилась с этой идеей — и монумент было указано ставить в Первопрестольной, где он «получит вполне националь-

* Московские ведомости. 1880. 23 мая.

ное значение»[***]. Подписка пошла веселее — и вскоре достигла ста шести тысяч рублей. Объявили конкурс: предпочтение было отдано модели Опекушина.

Официальное приглашение прибыть в Москву Достоевский получил от Общества любителей российской словесности. Донельзя занятый «Карамазовыми», он колебался.

Однако в апреле-мае обнаружились причины, без сомнения, повлиявшие на его окончательное решение.

В обстановке национального кризиса задуманный праздник начинает приобретать всё более выраженный политический характер. Конечно, речь шла лишь о пробе сил, но в условиях России эта теоретическая *проба* (здесь уместно вспомнить Раскольникова) могла повлечь самые неожиданные практические последствия.

С приближением праздника ситуация обострялась.

«Национальное торжество всей образованной России, — с негодованием писал «Берег», — грозит превратиться в партиозный скандал ошалевших краснокожих нашей журнальной прессы. Вместо воздаяния должных почестей памяти великого поэта они готовы проплясать качучу над его могилой, — им-то что такое? Во имя чего стали бы они сдерживать проявления своего морального безумия? Удивляться здесь нечему: разве могут подняться до идеи народного дела те, кто на всё смотрит с точки зрения удобств своего дебоша?»[***]

Газета Цитовича беспокоилась не напрасно: праздник мог оказаться в руках либеральной интеллигенции. Для этого предпринимались определённые шаги.

«...Надобно, чтобы манифестация была полная и чтобы все литераторы и др. явились сюда в полном сборе... — в стиле боевых приказов пишет Стасюлевичу из Москвы И.С. Тургенев. — Никаких стеснений не будет — и враждебный элемент устранён»[****].

---

[*] Матюшкин, внося своё предложение, в какой-то мере мог руководствоваться неприязнью к городу, *погубившему* поэта. Что же касается власти, то она, очевидно, руководствовалась желанием отдалить памятник от официальной столицы империи и царской резиденции. Именно так понимали дело современники. Ср.: «Москве нечего особенно радоваться, и если теперь памятник поэта высится в Белокаменной, то потому только, что памятники знаменитых полководцев помешали найти в Петербурге почётное место, достойное поэта. Недаром Петербург — военный город!» (Дело. 1880. Июль. С. 110.)

[**] Венок на памятник Пушкину. Санкт-Петербург, 1880. С. 199–200.

[***] Берег. 1880. 2 июня. Ср.: «...Г. Цитович (издатель «Берега». — *И.В.*), верный своему призванию, сумел подняться «до идеи народного дела»... доносом в честь Пушкина!» (Русское богатство. 1880. Июль. С. 28)

[****] М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 180.

Последняя фраза особенно примечательна: остановимся пока на её первой части.

«Никаких стеснений не будет» — эта неслыханная уверенность зиждется на определённой основе. Дело даже не в том, что московский генерал-губернатор князь Долгоруков пообещал отсутствовать на публичных обедах, дабы «не стеснять выражения мнений в спичах и тостах». Сам губернаторский посул — следствие тех изменений, которые произошли в политическом климате страны на протяжении последних недель.

С тех пор как у кормила власти встал Лорис-Меликов, правительственный курс переменился. «Диктатура сердца», какими бы тактическими соображениями ни руководствовались её вдохновители, повела к некоторому ослаблению административного произвола, смягчению цензуры и т. п.

Весна и лето 1880 года — краткая историческая передышка, некое равновесие сил «между революцией и реакцией» (если иметь в виду под первой террористическое подполье, а под второй — консервативные правительственные круги). После потрясшего воображение современников февральского взрыва в Зимнем дворце покушения как будто бы приостановились. Приостановился и террор «сверху». Создавалось впечатление, что обе стороны выжидают. Это могло быть понято *как знак,* намёк на готовность к диалогу.

Вопрос, *куда* пойдёт страна и каким именно образом осуществится этот переход, оставался открытым.

Русские либералы чувствовали приближение своего звёздного часа: борьба, в которой они не принимали почти никакого участия, могла окончиться в их пользу.

Но вернёмся ко второй половине тургеневской фразы — «враждебный элемент устранён».

«Враждебный элемент» — это прежде всего партия «Московских ведомостей». Очевидно, ещё в конце апреля состоялось решение о недопущении на заседания Общества любителей российской словесности (так называемые чтения) депутатов от этой газеты (иначе говоря — М.Н. Каткова). Что и вызвало громкий скандал, речь о котором впереди.

У Достоевского между тем были основания принять доходившую до него противоречивую информацию на свой счёт. Осторожно сообщая Победоносцеву, что даже «в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах»*, он, надо полагать, имеет в виду фельe-

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 156.

тон московского корреспондента «Нового времени»: в фельетоне туманно намекалось, что «кого-то не допускают к празднеству», «кто-то устраняется от участия в торжестве» и т. п. Далее в газете следовала фраза, которая должна была особенно насторожить Достоевского: «С этими слухами связывалось одно почтенное имя, которое, однако, стоит в программе празднества...»[*]

А.С. Долинин полагал, что в данном случае имелся в виду Катков. Достоевский же «по болезненной своей мнительности мог, конечно, подумать, что под этим устраняемым лицом разумеется именно он»[**].

Представляется, однако, что Достоевский был прав.

В 1891 году издатель «Русского архива» П.И. Бартенев обнародовал замечательный факт: «Любопытно, что в одном из заседаний приготовительной комиссии едва было не постановили не допускать Достоевского к чтению чего-либо на Пушкинском празднике. Некоторые члены комиссии настаивали на таком недопущении, потому что Достоевский якобы нанёс Тургеневу обиду, спросив его прямо и во всеуслышание, на одном из петербургских общественных обедов, чего именно хочет он от наших студентов (вот ещё одна версия обеденного инцидента! — *И. В.*), и тем приведя знаменитого друга молодёжи в неловкое положение и смущение. На этот раз большинство членов комиссии не допустили такого остракизма; но прения были горячие»[***].

Таким образом, выясняется, что «мнительность» здесь ни при чём. «Интрига» всё-таки имела место. И связана она, оказывается, с прошлогодним происшествием, бережно, хотя и с разночтениями, хранимым общественной памятью.

Обо всём этом Достоевский мог кое-что знать. Во всяком случае, желал знать. В первом же письме Анне Григорьевне из Москвы он пишет: «Узнаю, наконец, и об литературных интригах подноготную»[**** *****].

---

[*] Новое время. 1880. 17 мая.

[**] *Достоевский Ф.М.* Письма. Т. 2. М., 1959. С. 416 (Примечания).

[***] Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 97.

[****] Новейшие комментаторы полагают, что речь здесь идёт либо о возможном столкновении западников и славянофилов, либо об отказе М.Е. Салтыкова-Щедрина и Л.Н. Толстого принять участие в празднике. (Там же. С. 459–460 (Примечания).) Думается, однако, что Достоевский имеет в виду прежде всего себя. Ср.: «Интриги, однако, были несомненные». (Там же. С. 313.) И употреблённое здесь прошедшее время, и сама тональность (очевидная личная заинтересованность) свидетельствуют в пользу подобного предположения.

[*****] Переписка. С. 317.

В этой связи примечателен один нюанс его переписки с С.А. Юрьевым.

Сообщая председателю Общества любителей о своём согласии приехать в Москву, Достоевский спрашивает: «Неужели же разрешат читать вновь написанное без предварительной *чьей-нибудь* цензуры? Аксаков, Тургенев и проч. как будут читать: с цензурой или без цензуры, *a vive voix* или по написанному?»*

Вопрос как будто бы касается цензуры официальной. Но подчёркнутые слова позволяют предположить, что он, помимо прочего, опасается ещё и цензуры «внутренней» — той самой, по его позднейшему выражению, «либеральной полиции», которая на празднике призвана защищать интересы «своей» партии.

Юрьев поспешил успокоить Достоевского, заверив его, что Общество любителей, согласно своему уставу, само цензор всех речей и выступлений и поэтому «не обязано представлять их ни общей цензуре и ни на цензуру никаких властей». «Конечно, ваше слово не подвергнется и этой процедуре»**, — добавлял Юрьев, имея в виду «приготовительное» собрание Общества, рассматривающее тексты публичных выступлений. Однако при этом подробнейшим образом описывал саму «процедуру».

Такое «успокоение» могло, пожалуй, встревожить его ещё больше. Он пишет Победоносцеву: «Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатаю»***.

Он ехал в Москву как боец. Анна Григорьевна до конца своих дней сокрушалась, что не смогла сопровождать мужа. Но жён не берут на войну.

Однако *готовились* не только общественные силы.

III Отделение и «Генеральные штаты»

18 мая Лорис-Меликов обратился к московскому генерал-губернатору с отношением «о принятии мер к недопущению манифестаций при открытии памятника поэту Пушкину в Москве». Правда, Москва была относительно спокойным городом: здесь (исключая взрыв свитского поезда в ноябре 1879 года) не совершилось ни одного крупного покушения и, следовательно, — ни одной смертной казни. Однако общая ситуация давала правительству по-

* *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 153–154.

** НИОР РГБ. Ф 93. Разд. II. Карт. 10. Ед. хр. 14. Л. 13 об. (Письмо от 7 мая 1880 года.)

*** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 156.

вод для беспокойства. Тревога эта, по-видимому, исходила от самого императора: Лорис-Меликов подчёркивает, что он обращается к Долгорукову «на основании высочайше преподанных мне указаний».

Хозяин Москвы немедленно принимает меры к «недопущению каких бы то ни было противузаконных проявлений». Устанавливается должное наблюдение «за лицами, навлекающими на себя подозрение и могущими дать повод к каким-либо противоправительственным манифестациям». Полицейские офицеры ежедневно обходят гостиницы и меблированные комнаты. Назначаются пешие и конные патрули по всем частям города. «...В день же открытия памятника на площади Страстного монастыря будет достаточный полицейский и жандармский наряд с особым резервом»*, — рапортует в Петербург Долгоруков.

Несмотря на заверения московской полиции, что среди участников праздника будут действовать особые «доверенные лица», III Отделение сочло необходимым направить в Москву своих собственных осведомителей (одним из них «по совместительству» оказался сотрудник газеты «Берег»). Эти агенты должны были озаботиться «в особенности тем, чтобы иметь совершенно верные сведения как о представителях литературы и почитателях поэта, так и обо всём, что во время празднеств будет происходить в собраниях литераторов и других»**.

Итак, правительство готовится встретить Пушкинский праздник во всеоружии.

Между тем в Москве собирается цвет русской интеллигенции. Помимо литераторов, профессоров и представителей печати сюда прибыли посланцы едва ли не всех существующих в стране общественных учреждений (вплоть до Русского хорового общества и Общества акклиматизации животных и растений) — всего 106 делегаций. 244 депутата томились в ожидании открытия. Пожалуй, лишь

---

* Письма Ф.М. Достоевского к жене. М.; Л., 1926. С. 360–361 (Примечания). В секретном отношении Министерства внутренних дел от 2 июня 1880 г. московскому обер-полицмейстеру предписывается «обратить особенное внимание на предъявляемые к прописке письменные виды лиц, пребывающих в это время в Москву, и тщательно следить вообще за каждым подозрительным лицом». Кроме того, «обходы гостиниц и меблированных комнат и доставление по оным в мою Канцелярию ведомостей прибывающим лицам продолжить до 7-го сего июня». Документ подписал «Свиты Его Величества Генерал-Майор Козлов» (ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1405. Л. 1).

** См.: *Бельчиков Н.* Пушкинские торжества в Москве в 1880 году в освещении агента III Отделения // Октябрь. 1937. № 1. С. 271.

коронационные торжества собирали в Москве такое количество гостей. Но тогда являлась Россия «верхняя» — парадная, титулованная, аристократическая; ныне же — в основном «средняя»: земская, журнальная, интеллигентская — *неофициальная*.

Здесь были представители университетов и гимназий, земских управ и юридических обществ, архивов и библиотек, столичных и провинциальных театров, советов присяжных поверенных и технических училищ, петербургского и уездного дворянства, обществ торговли и судоходства. *Литературное* дело собрало вокруг себя силы, далеко превышающие потребности литературы.

Какова же политическая подоплёка московского *съезда?*

Пушкинский праздник был первым (со времён земских соборов и комиссий Екатерины) собранием общественных представителей. Его можно назвать первым русским «парламентом» (или, вернее, «предпарламентом»). Разумеется, эти выражения весьма условны: то, что происходило в Москве, ни в малой мере не напоминало парламентской процедуры и вообще не обладало никакими признаками «нормального» парламентаризма. И всё-таки в условиях самодержавной России, в период «конституционного ожидания», в обстановке значительного общественного подъёма, кризиса «верхов» и недовольства «низов», московский съезд приобретал характер некоего, хотя и ограниченного, национального представительства. Была сделана — пусть полусознательно — попытка в «литературной» форме заявить минимальные общественные требования. Тут был момент стихийности, который власть инстинктивно предчувствовала, но не могла в полной мере осознать или предотвратить. Официально разрешённая церемония неожиданно для самих её участников и устроителей превращалась в смотр наличных общественных сил.

В *духовном* плане подобный съезд мог стать русскими «Генеральными штатами».

Но у московского форума была одна существенная особенность. Пушкинские торжества носили сугубо корпоративный характер: это было собрание интеллигенции*, и *только* интеллигенции. Причём интеллигенции либеральной. (Представители «Отечественных записок» ограничились ролью зрителей.)

Пожалуй, никогда ещё в своей «нетворческой» жизни Достоевский не испытывал такого напряжения душевных и физических

* Ср.: «За всё время своего бесцветного прозябания русская интеллигенция, конечно, не запомнит ничего подобного...» (Слово. 1880. Июнь. С. 155). А.Н. Островский на обеде 7 июня закончил свой тост словами: «Нынче на нашей улице праздник!» (Венок на памятник А.С. Пушкину. С. 59.)

сил. Он настолько поглощён происходящим, что его письма к Анне Григорьевне — «в личном плане» — гораздо сдержаннее, чем обычно. Если в его эпистолярных циклах, связанных с пребыванием в скучном бессобытийном Эмсе, информативная часть обычно уравновешена «лирикой» — поверкой чувств, интимными (порой сугубо интимными) признаниями, то в московских письмах 1880 года эти последние моменты почти полностью отсутствуют. Чуткая Анна Григорьевна не могла не заметить столь необычной сухости — и забеспокоилась: «Вообще же, мой дорогой, я замечаю из твоих писем явную ко мне холодность»*.

У неё были причины для ревности.

Суета сует

Он приехал в Москву в 10 часов вечера 23 мая и уехал домой, в Старую Руссу, 10 июня в час дня. Он не знал, что это последний визит в город его детства — на родину. За тринадцать лет супружеской жизни (во втором браке) он покидал семью на столь длительный срок только для путешествий в Эмс, на воды. Анне Григорьевне, как мы уже говорили, очень хотелось сопутствовать ему в этой поездке. Однако когда были подсчитаны ресурсы, выяснилось, что и без того напряжённый семейный бюджет не выдержит чрезвычайных расходов. Встречались и другие препятствия. «После смерти нашего сына Алёши, — пишет Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал ещё мнительнее насчёт их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку... К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то все-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки» (Анна Григорьевна не знала, что смерть императрицы и официальный по этому случаю траур могли бы избавить её от последних забот).

Полагали, что он пробудет в Москве самое большее неделю. Но в связи с отсрочкой торжеств он оставался там восемнадцать дней (не считая дороги). За это время Анна Григорьевна натерпелась страху. Она опасалась, что с мужем случится в Москве припадок и он, «ещё не придя в себя, пойдёт по гостинице отыскивать меня, что там его примут за помешанного и ославят по Москве, как сумасшедшего». Она прекрасно знала, что в такие минуты его нельзя оставлять одного: после приступа он испытывал «мистический

* Переписка. С. 334.

ужас», и присутствие близкого человека было ему необходимо. Анна Григорьевна даже подумывала, не поехать ли ей в Москву инкогнито и, нигде не показываясь, наблюдать здоровье мужа.

Впрочем, у неё имелись опасения и иного рода. Хорошо изучившая характер своего супруга, она пыталась по мере сил уберечь его от неприятных встреч и разговоров, прибегая порой для этого к маленьким хитростям. В гостях она просила хозяйку дома посадить мужа подальше от того или иного потенциально опасного посетителя. Под благовидным предлогом она отзывала мужа в сторону, если он начинал слишком уж горячиться.

Москва таила в себе угрозу. В ней собиралась «вся литература», причём в большинстве своём — враждебная (Анненков, Тургенев). Поэтому опасения, что мужа «могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка»* (тургеневский обед ещё на памяти!) — все эти опасения выглядят не столь уж неосновательными.

Единственным утешением было то, что он обещал писать регулярно. И он сдержал слово: письма из Москвы отправлялись порой даже два раза в сутки.

Он написал ей тринадцать больших посланий (с припиской, имеющей характер самостоятельного письма, — четырнадцать)**. Больше в эти дни он не писал никому.

«А письма ты должен о празднике писать подлиннее, — просит Анна Григорьевна мужа, — слышишь ты, голубчик мой, а то подумай, я ничего о нём не узнаю, а ты так пишешь, как никто»***.

---

* *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 358, 362.

** Указанная приписка всегда печатается как дополнение к письму от 25 мая и датируется этим же числом. Такая датировка ошибочна (она вызвана опиской Достоевского в дате: «25 мая, 2 часа пополудни»). Из текста письма явствует, что оно написано *днём 26 мая* и представляет собой постскриптум к письму от 25/26 мая. В два часа пополудни 25 мая Достоевский не мог говорить об обеде в его честь, который намечался на пять часов того же дня, как о «вчерашнем». После смерти мужа Анна Григорьевна хранила его письма в особой клеёнчатой сумке, поместив их — по времени написания — в отдельные бумажные пакеты. Московские письма 1880 г. находились в последнем пакете — одиннадцатом. Не опубликовав при жизни ни одного его письма к ней, Анна Григорьевна прекрасно понимала им цену. В 1902 г. в тетради под заголовком «*En cas de ma mort ou d'une maladie grave* (В случае моей смерти или тяжёлой болезни — *фр.*)» она записала: «Письма Фёдора Михайловича ко мне, как представляющие собою чрезвычайный литературный и общественный интерес, могут быть напечатаны после моей смерти в каком-либо журнале или отдельною книгою... Если нельзя напечатать целиком, то можно бы было напечатать лишь письма, относящиеся к Пушкинскому празднику» (Красный архив. 1922. Т. 1. С. 367. См. также: Письма Достоевского к жене. Москва–Ленинград, 1926. С. 4–5).

*** Переписка. С. 339.

Он действительно писал «как никто».

Трудно отделаться от чувства, что судьба имела свой тайный умысел, разлучая супругов на время московских торжеств. Будь они вместе, мы никогда бы не обрели возможность читать этот, как выражался его автор, «бюллетень», вводящий нас в самую гущу событий. Мы никогда бы не увидали совершающееся *его* глазами.

Он останавливается в гостинице «Лоскутная» на Тверской, твёрдо намереваясь покинуть Москву через день-два. И не без удивления убеждается, насколько за последнее время выросла его популярность. Его уверяют, что праздник переносится лишь на несколько дней, и умоляют остаться. Он говорит, что «Русский вестник» ждёт на июнь очередную порцию «Карамазовых», — ему отвечают, что готовы послать к Каткову специальную депутацию с просьбой об отсрочке. Он — как на последний довод — указывает на жену и детей — и слышит в ответ, что и к Анне Григорьевне будет отправлена коллективная телеграмма и даже (в случае надобности) опять-таки депутация всё с той же просьбой.

Об интригах, разумеется, предпочитают умалчивать.

Он посещает Каткова — главным образом для того, чтобы попытаться оттянуть публикацию романа до осени. В первый свой визит он «опрокинул чашку с чаем и весь замочился»; поэтому, повествуя о втором посещении, ставит в особенную себе заслугу, что «в этот раз я у него чаю не пролил...»*.

Катков отменно любезен: потчует своего гостя дорогими сигарами, рекомендует ему лучшего в Москве зубного врача.

Его втягивает в себя предпраздничный водоворот; он принимает бесчисленных посетителей и сам отдаёт визиты; он участвует в приготовлениях и томится в ожиданиях. Самое удивительное, что среди всех этих хлопот он не оставляет надежды выкроить хотя бы несколько часов — и заняться романом («А Карамазовы-то, Карамазовы! Эх, в какую суетню въехал»). Но с горестью убеждается, что это физически невозможно.

Его везут в «Эрмитаж», где в его честь устраивают обед (кажется, он впервые в жизни удостаивается подобной чести). Его поражает московский размах («...не по-петербургски устраивают»): снимается отдельная зала, наличествуют «балыки осетровые 1½ аршина, полтораршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». Он отдаёт должное утончённости стола

* Переписка. С. 319, 327.

и тому, что после обеда за кофеем и ликёром являются «две сотни великолепных и дорогих сигар». (Правда, позднее выяснится, что обед был по подписке, трёхрублевый, а «всю роскошь, цветы, черепаший суп, сигары, залу» и т. д. — всё это издатель «Русской мысли» и большой поклонник Достоевского В.М. Лавров прибавил уже «от себя».)

Радует не только стол: «Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные»[*].

Он отмечает все эти подробности потому, что пишет жене, которой всё это интересно и которой он желает зримо продемонстрировать, как его принимают и как потчуют. В информации такого рода «вставание с места» и продолжительность речей — момент существенный.

Трудно представить, чтобы, скажем, Л. Толстой в подобном тоне сообщал о своих успехах и приберегал для Софьи Андреевны такие подробности. Черепашьим супом автора «Анны Карениной» не удивишь. В своих романах он может описывать замечательные обеды, но ему не придёт в голову повествовать об этом в своих письмах. Для него это дело светское, следовательно, — привычное. Еда, которой могут его угостить московские друзья, именно еда — и ничего больше.

Для Достоевского разварная стерлядь и дорогие сигары — знак уважения к нему лично.

При этом он совершенно не опасается показаться смешным. С обезоруживающей, почти детской непосредственностью рассказывает он Анне Григорьевне о расточаемых в его адрес знаках внимания: жизнь не очень-то баловала его этим.

Простодушие — вот слово, которое применительно к Достоевскому встречается у нас уже не впервые. Эту свою черту он, очевидно, сознавал и сам. «...У Феди (сына. — *И. В.*) характер мой, — пишет он Анне Григорьевне, — моё простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты, про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась»[**].

---

[*] Переписка. С 333, 322–323. Не исключено, что «интриги» коснулись и обеда (о чём Достоевский не подозревал). На это намекают слова Гл. Успенского: «...слух пошёл об обеде г. Достоевскому, обеде, который дают этому писателю почитатели, и почитатели не из числа главных действующих в обществе российской словесности лиц» (*Успенский Г.* ПСС. Т. 6. М., 1953. С. 415). Действительно, Достоевский называет только три более или менее значительных имени — И. Аксакова, С. Юрьева, Н. Рубинштейна (из двадцати двух присутствовавших).

[**] Переписка. С. 225.

Его письма к ней покоряют не блеском ума (и вообще не литературным *блеском*, этим защитным цветом эпистолярного жанра). Их обаяние, может быть, как раз в их нелитературности, в незащищённости автора, безоглядно подставляющего себя ретроспективным насмешкам.

«Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться»*, — сообщает он в Старую Руссу. Звучит совершенно так же, как тридцать пять лет назад, когда, упоённый внезапным успехом «Бедных людей», он поведал брату: «Всюду почтение неимоверное, любопытство насчёт меня страшное... Все меня принимают, как чудо.

Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать... откровенно тебе скажу, что я теперь почти упоён собственной славой своей...»**

Такие признания встречаются у него *только* в начале и в конце пути: крайности сходятся. Его первый год в литературе и его последний год — «праздник жизни». «В середине» ничего подобного нет: там только будни — вечный, не приносящий ощутимого успеха труд, насмешки недавних друзей, разочарования, недовольство собой...

Но, несмотря на исполненную драматизма жизнь, каторгу, болезни, взлёты и падения, несмотря на возраст и опыт, обнаруживается мало изменившаяся душевная организация. Тогда, в молодости, то, что с ним совершалось, было искушением. Ему выпал успех, и он вёл себя, как положено по «сценарию». Он *играл* этот успех, внутренне ужасаясь, потому что прозревал в себе настоящего писателя и предчувствовал, какие муки принесёт ему это открытие. Он словно предвидел, что никогда не будет доволен собой, — и чем яснее он это сознавал, тем громче звучали его самовосхваления, тем лихорадочнее вёл он счёт своим действительным и мнимым заслугам.

Теперь он старый известный писатель. Но почему же в его письмах Анне Григорьевне наряду с откровенной гордостью (слишком откровенной, чтобы обратиться в гордыню) звучат и нотки плохо скрываемого удивления? Он искренне удивлён тем, что его так встречают, что посторонние люди узнают его в лицо, что его ценят и им дорожат. То, к чему Тургенев или Толстой отнеслись бы внешне спокойно как к чему-то вполне естественному и заслуженному, глубоко волнует его: он видит в этом неожиданную милость и перст судьбы.

---

* Переписка. С. 319–320.

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28. Кн. I. С. 115, 116.

«Он вовсе не знает своей цены», — приводились слова мемуаристки.

Он по-настоящему скромен, и эта внутренняя скромность проявляется уже на бытовом, житейском уровне. В «Лоскутной» его просят перейти в лучший номер: Дума «записала» его именно в нём. «Я удивился и спросил: почему знает Дума? — Да ведь вы же стоите на счёт Думы, ответил Юрьев. Я закричал...»

Он «закричал», ибо во всю свою жизнь никогда не жил на чужой счёт: он за всё привык платить сам. Юрьев «твёрдо» возразил ему, что все гости праздника стоят за счёт Думы и что, отказавшись, он тем самым оскорбит её. «Я решил, наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания». Он осведомляется у управляющего гостиницей, правда ли, что его счета оплачивает Дума, и, получив утвердительный ответ, заявляет, что вовсе этого не хочет. Но ему опять возражают, что в таком случае он обидит город Москву. «Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесётся, войдёт в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч.»

Его знакомые удивлены его щепетильностью. В конце концов он смиряется (он, рассчитывающий для поездки в Москву каждую копейку). Путешествие оказывается не столь накладным, но — «но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в ресторан, чтоб, по возможности, убавить счёт, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает»[*] [**].

Подобные опасения оказались не такими уж пустыми. Он, боявшийся из-за своей щепетильности «войти в анекдот», вошёл-таки в него — правда, через четверть века и в смысле, совершенно обратном предполагаемому.

Некий анонимный воспоминатель («Одиссей») помещал в 1906 году в бульварной «Петербургской газете» заметки из «Записной книжки» («Вытащена из моего собственного кармана», —

---

[*] Ср. рассуждения на эту тему П. Гайдебурова: «Я нахожу, что для меня это дорого (4-рублёвый номер в “Лоскутной”. — *И. В.*), но мне деликатно намекают, что это не моя забота... Немножко стеснительно, но в то же время (не стану притворяться) очень приятно и даже трогательно... Узнавши, что я — гость, которому ни за что не придётся платить, я, естественно (как, вероятно, и все другие), старался довольствоваться самым необходимым; например, я привык пить за обедом порядочное красное вино, а тут требовал себе самого дешёвого, чтобы не вводить Думу в напрасные расходы». (Неделя. 1880. 15 июня.)

[**] Переписка. С. 324.

игриво сообщал подзаголовок). В этих извлечённых из кармана историях нашлось место и для Достоевского.

Посетовав, что «такой-то великий человек был совершенным ребёнком в жизни», Одиссей в подтверждение своего тезиса сообщает следующее.

На Пушкинском празднике «все мы, представители тогдашней петербургской литературы и прессы, считались гостями города Москвы, пользовались помещениями в гостиницах, полным содержанием и экипажами в течение недели. Потом стали разъезжаться. Пора, дескать, гостям и честь знать... Один Ф.М. Достоевский остался на долгое время.

— Зачем я буду торопиться? Здесь так прекрасно, и город Москва так принимает меня любезно.

Город Москва был, конечно, рад, что он так понравился знаменитому писателю, и просил погостить сколько ему будет угодно»*.

Если бы нас не удерживал пиетет перед всегда почтенной неизвестностью (вдруг — что, впрочем, маловероятно — под маской Одиссея обнаружится лицо уважаемое!), мы назвали бы свидетельство таинственного воспоминателя совершеннейшей чепухой. Достоевский, буквально по минутам высчитывающий, когда он сможет вернуться к семье и «Карамазовым», не задержавшийся в Москве ни одного лишнего часа, под пером Одиссея предстаёт этаким парнасским ленивцем, у которого в запасе вечность.

Нет, в подобных случаях он бывал достаточно взросл: «детскость» его выражалась не в этом.

Она хотя бы в том, как популярно объясняет он Анне Григорьевне необходимость остаться и ждать открытия: «Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (т. е. в смысле уже завоёванного Тургеневым и Толстым величия)». Мыслимое ли дело, чтобы те же Тургенев и Толстой так беззастенчиво, так ребячески-откровенно признавались в подобных помыслах и приводили подобные аргументы! Да они постеснялись бы употребить само это слово «величие» — и вовсе не потому, что не смели соотнести себя с таким высоким понятием. Достоевский упоминает о «величии» буднично, с естественностью человека, отнюдь не снедаемого тайным жаром честолюбия: слову не придаётся никакого особого смысла. Это фразеология мальчишки, запальчиво доказывающего окружающим, что и он ничуть не хуже других.

---

* Петербургская газета. 1906. 29 января.

Но кроме соображений престижного порядка он приводит в пользу своего дальнейшего пребывания в Москве и иные доводы. «Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы»*.

Битва между тем приближалась.

Потомки Пушкина и другие

Накануне открытия, 5 июня, Московская городская дума устроила приём депутаций.

В зале, убранной зеленью и цветами, красовались три портрета: благополучно царствующего государя, его дяди — Александра I и его прабабки — Екатерины II. Не хватало одного изображения — родителя нынешнего монарха (кстати, портреты тех же особ — опять-таки в отсутствие Николая Павловича — будут фигурировать и завтра на акте в университете: подобная *избирательность* вряд ли была случайной).

Впрочем, императорский дом был представлен не одними лишь живописными полотнами: в зале присутствовал его высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский — августейший председатель комитета по сооружению памятника. «Весело и радостно было уже видеть, — говорит в частном письме И. Аксаков, — члена царской фамилии и носителей высшей власти сидящими (несколько смиренно и даже сконфуженно) под огромным бюстом Пушкина... Это у нас новое зрелище: явление силы нравственной, смирившей силу внешней государственной власти»**.

Депутации входили в залу одна за другой и заявляли свои чувствования. Однако и здесь наблюдались проблемы. «От православного духовенства, — меланхолически замечает «Неделя», — не было ни одного депутата. Из всех иноверных исповеданий только московский раввин явился представителем своих единоверцев на общерусском празднестве»***.

Один депутат (от Московского юридического общества) привлёк всеобщее внимание. Это была дама: доктор прав Лейпцигского университета, тридцатишестилетняя А.М. Евреинова — первая русская женщина с таким учёным званием. «Одета она была прилично, — не без некоторого удивления отмечает агент тайной полиции, — хотя,

* Переписка. С. 327–328.
** Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 92.
*** Неделя. 1880. 8 июня.

разумеется, не в трауре (объявленном по случаю кончины государыни. — *И. В.*), а вся в белом, но манеры её мало женственны; развязности нигилистки, впрочем, не было заметно»[*].

Присутствовали все дети Пушкина: Александр Александрович, командир нарвского гусарского полка; Григорий Александрович, отставной военный, «псковский землевладелец»; дочери — Наталья Александровна, графиня Меренберг, морганатическая жена немецкого принца Николая Нассауского, и Мария Александровна Гартунг.

Красавица Наталья Александровна не оставила равнодушным никого — даже упомянутого тайного соглядатая. «Её изящная манера себя держать, непринуждённость любезных ответов... очертание носа, живость и блеск глаз многим старикам напоминали одновременно и её отца и её мать», — добросовестно доносит агент, утруждая начальство явно избыточной информацией. И, словно спохватившись, добавляет: «В субботу она уезжает»[**].

О Наталье Александровне — правда, без лирических подробностей — упоминает и Достоевский. «Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина (Нассауской)»[***], — кратко извещает он Анну Григорьевну.

Он ничего не говорит о второй дочери — Марии Александровне, хотя, казалось бы, именно она должна была заинтересовать его в первую очередь.

Мария Александровна была вдовой генерал-майора Гартунга. Её мужа в 1877 году присяжные признали виновным в подлогах и мошенничестве. Во время суда, в ожидании приговора, генерал выстрелил себе в сердце. Он оставил записку, в которой категорически отрицал свою вину.

Достоевский подробно писал о самоубийстве Гартунга в «Дневнике писателя».

Через много лет Л. Толстой в «Живом трупе» воспроизведёт некоторые подробности этой трагедии.

Аристократическая внешность Марии Александровны («породистые» завитки на затылке) в своё время поразила Толстого: старшая дочь Пушкина послужила «физическим» прототипом для изображения Анны Карениной.

Странные встречи случались на Пушкинском празднике.

Хотя церемония в Думе прошла гладко, главные опасности были ещё впереди. «Говорят, — замечает “Берег”, — что для депутатов от

[*] Октябрь. 1937. № 1. С. 2.
[**] Там же. С. 275.
[***] Переписка. С. 343.

газет и журналов сделана одна хоругвь. Один шутник говорит, что представители разных "литературных групп" на площади пред лицом Пушкина изорвут эту хоругвь в клочки и здесь же передерутся»[*].

В тот же день Достоевский пишет Анне Григорьевне: «И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся... Послезавтра... обед человек в 500 с речами, а может быть, и с дракой»[**].

Это письмо написано в гостинице «Лоскутная» в 8 часов вечера 5 июня (то есть накануне открытия): оно передаёт крайнее возбуждение автора. Но имеется ещё одно свидетельство — «со стороны», — запечатлевшее Достоевского примерно за час до написания им вышеуказанного письма. Свидетельство это, принадлежащее П.А. Гайдебурову и носящее вполне дневниковый характер, до сих пор не было замечено.

«Вечером (5 июня. — *И. В.*) захожу к Достоевскому и вижу, что он в ужаснейшем состоянии: весь как-то подёргивается, в глазах — беспокойство, в движениях — раздражительность и тревога. Я знал, что он человек в высочайшей степени нервный и впечатлительный, страстно отдающийся всякому чувству, но в таком состоянии я, кажется, никогда ещё его не видел. "Что с вами, Фёдор Михайлович?" — "Ах, что это будет, что это будет!" — восклицает он в ответ с отчаянием. "Да что такое? В чём дело?" Он не говорит ничего определённого, но я и без него отлично знаю, в чём дело. Я стараюсь, однако же, успокоить и уверить, что не будет ничего, что всё обойдётся прекрасно. Когда уверяешь другого в чём-то таком, в чём сам не уверен, а только хочешь увериться, то всегда делаешь это с особенным азартом, и чем меньше веришь сам, тем сильнее уверяешь другого. Не знаю, удалось ли мне уверить Достоевского, но он, по-видимому, несколько успокоился, а сам я ушёл от него ещё более встревоженный, чем пришёл»[***].

Две фигуры в белом

...С утра 6 июня накрапывал дождик; затем перестал, но погода оставалась серенькой. «Четыре фотографа, — сообщает журнал "Будильник", — ещё с раннего утра установили, в разных пунктах, свои

[*] Берег. 1880. 5 июня.

[**] Переписка. С. 343.

[***] Неделя. 1880. 15 июня. Хотя статья не подписана, автором её несомненно является П.А. Гайдебуров. Ср.: «Пришёл домой... в надежде... просмотреть мою статью (т. е. будущую Речь. — *И.В.*), затем приготовить рубашку, фрак к завтраму, а затем пораньше лечь спать. Но пришёл Гайдебуров...» (Переписка. С. 343)

аппараты...»* Депутаты в чёрных фраках с белыми бутоньерками (на которых стояли золотые буквы А.П.) спешили в верхнюю церковь Страстного монастыря, где Московский митрополит Макарий служил панихиду.

«Почему-то, — замечает Страхов, — нельзя было совершить окропление памятника Святою водою, как это принято при всяких сооружениях»**. Об этом же пишет и Глеб Успенский: «...поговаривали в народе, что едва ли митрополит разрешит святить статую, так как, что ни говори, Пушкин-то он Пушкин, а всё-таки он истукан, статуй, идол... человек не на коне, не с саблей, а просто со шляпой в руке...»*** Может быть, дело было не только в шляпе...

...Молодая жена А.С. Суворина, тронутая прекрасной службой, дивным пением певчих, молилась за Пушкина со слезами на глазах. Вдруг кто-то тронул её за плечо. «Я чуть-чуть оглянулась, думая, что это, как обычно, передают свечу к Образу. Смотрю — пустая рука. Взглянула вверх, — о ужас — вижу Фёд<ор> Мих<айлович>, как всегда, с блестящими проникновенными глазами смотрит мне в глаза и шепчет: "У меня к Вам большая просьба... Обещайте только её исполнить"».

Он повёл смущённую Анну Ивановну в притвор, повторяя: «Обещаете?» Ей подумалось, что он сейчас попросит подвезти его в экипаже, и она (уже с улыбкой) сказала, что с удовольствием исполнит его желание. «Он взял мою руку, крепко сжал в своей и сказал: "Так вот что! Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня молиться, как вы молились за Пушкина! Я всё время наблюдал за вами, будете? Обещаете?"» И, не слушая её сконфуженный лепет, повторил сурово: «Вы обещаете?»****

Она — обещала.

Он вышел на площадь, расцвеченную красными, белыми и синими флагами, заполненную депутациями городских цехов и делегатами с венками в руках. Громадная толпа глухо гудела в ближайших улицах; люди усеяли крыши (окна, выходящие на площадь, сдавались по цене от 20 до 50 рублей). Под звон колоколов и звуки гимна парусиновая пелена, колеблемая ветром, медленно упала к ногам монумента.

---

* Будильник. 1880. 9 июня.

** Биография... С. 306 (первая пагинация).

*** *Успенский Г.* ПСС. Т. 6. С. 410. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания и других современников. Ср.: «Остаётся доселе непонятным лишь одно — отчего религиозное освящение не коснулось самого открытия памятника» (Открытие памятника Пушкину в Москве (записки депутата) // Древняя и новая Россия. 1880. Июнь. С. 5.)

**** Цит. по кн.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 297.

Тут следует остановиться и вспомнить.

Несколько месяцев назад он тоже стоял на площади — в пятидесятитысячной толпе, собравшейся, правда, совсем по иному поводу. Это было 22 февраля: казнили Млодецкого.

Две толпы, два события, внешне ничем не связанные друг с другом, знаменуют собой крайние точки незабываемого 1880 года. В феврале — один из последних всплесков кровавой волны затихающего правительственного террора; в июне — неистовое ликование, клики восторга, объятия и слёзы: первый всплеск иной, закипающей волны — того желанного единения, которое, как мнилось, уже близко, уже грядёт, уже «у дверей».

Тогда, на Семёновском плацу в Петербурге, и теперь — на Тверской площади в Москве, высились фигуры *в белых балахонах:* но тогда — балахон *надевали,* теперь — *снимали,* и он медленно падал, обнажая «благородный медный лик» того, чьё имя должно было, словно по волшебству, прекратить вековые распри.

«Ещё свежо рисуются воображению убийства и покушения фанатиков, ещё не заглажено мрачное впечатление виселицы»*, — писало «Новое время» на следующий день после открытия памятника.

Пушкинский праздник был пиром духа, но — пиром во время чумы. И всё же (как думалось) он мог знаменовать исцеление.

Накануне праздника были помилованы приговорённые к смертной казни Адриан Михайлов (тот самый кучер, который правил Варваром в момент покушения на Мезенцова) и О. Веймар. Это решение расценивалось как важный политический жест. «В этом помиловании он (русский человек. — *И. В.*) почерпнёт главную уверенность в прочности государственного строя... В таком успокоении лучший залог борьбы со всякими преступными замыслами»**, — радовался «Голос». Ему вторила «Неделя»: «Мы считаем знаменательным... что памятник... открыт в начале того десятилетия, когда обещают замириться у нас внутренние тревоги, так сильно смущавшие русское общество в течение последних годов»***.

Вспомним оптимизм Тургенева в его апрельском письме к Стасюлевичу. «Враждебный элемент» устранялся в Москве потому, что он «устранялся» и в Петербурге: только что по настоянию Лорис-Меликова был уволен в отставку «министр народного помрачения» — Д.А. Толстой. «Представьте, кому ни скажешь, кому ни покажешь телеграмму — первым делом все крестятся, — сообщает Турге-

* Новое время. 1880. 7 июня.

** Голос. 1880. 17 мая.

*** Неделя. 1880. 8 июня.

нев о реакции москвичей. — Вот ненавидим был человек! Но каким образом это случилось? Как рухнул этот столб?! — Подробностей, ради Бога, подробностей!»*

Отставка Толстого была косвенным ударом и по Каткову: он сразу оценил этот шаг и отозвался в своей газете сдержанно-негодующей статьёй.

Место Толстого на посту министра просвещения занял А.А. Сабуров, а на посту обер-прокурора Синода — К.П. Победоносцев (вряд ли Лорис-Меликов мог предположить, что именно этот последний свалит его самого и всю его систему ровно через год — в апреле 1881-го).

Сабуров «по должности» представлял правительство на московских торжествах. «...Новый министр Народного Просвещения, сам лицеист, выпросился на этот день у Государя в Москву»**, — свидетельствует И. Аксаков. П.А. Висковатов (родственник Сабурова) говорил Достоевскому, что министр «читал некоторые места Карамазовых, буквально плача от восторга»***.

Сразу же после открытия памятника состоялся торжественный акт в университете, на котором присутствовал и Сабуров. «Министр народного просвещения, — спешит наябедничать петербургскому начальству агент-осведомитель, — заставил себя долго ждать и вошёл лишь через полчаса, уже после того, как все заняли места, не исключая в том числе и его высочества принца Ольденбургского»****.

Во время церемонии Тургенев был избран почётным членом Университетского совета. Это была самая крупная победа западников на Пушкинском празднике.

«...Мы слышали, например, из вполне достоверного источника, — писал “Вестник Европы”, — что два месяца назад избрание московским университетом одного из его новых почётных членов было делом весьма проблематическим — казалось возможным не получить утверждение выбора (Д.А. Толстой скорее всего не утвердил бы. — *И. В.*)*;* но обстоятельства быстро переменились — и новый министр народного просвещения самым торжественным образом приветствовал избрание Тургенева»*****.

---

* М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 179. Ср. собственное признание Лорис-Меликова: «Всем памятно, как в Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга словами: «Толстой сменён, воистину сменён!» (отставка совпала с Пасхой. — *И.В.*) // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 122.

** Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 93.

*** Переписка. С. 332.

**** Октябрь. 1937. № 1. С. 275.

***** Вестник Европы. 1880. Июль. С. 28–29.

Что же произошло в университетском зале днём 6 июня?

Когда крупная фигура Тургенева поднялась со своего места, раздался вопль восторга. Новый министр, повествует «Неделя», «с приветливой улыбкой на симпатичном, ещё совсем молодом лице (Сабурову — сорок два года. — *И. В.*)... делает несколько шагов к Тургеневу, который и со своей стороны старается пробраться к нему сквозь стулья. Вот они подошли друг к другу, министр протягивает Тургеневу руку — и публично, перед всей этой возбужденной толпой, целует его три раза»*. (Здесь, правда, закрадывается одно подозрение: не был ли этот поцелуй *вынужденным*, причём не только в общественном, но и в прямом физическом смысле? Не сам ли Иван Сергеевич, по своему обыкновению, подставил щёку неопытному представителю власти?)

Министерский поцелуй означал нечто большее, нежели оценку художественных заслуг Тургенева. Он как бы символизировал официальное признание тех интересов, за которые либеральное общество ратовало последние четверть века. Он мог означать, что отныне власть намерена опереться на либеральные круги, ибо правительственное лобзание адресовалось человеку, «которого, — с укором писала «Неделя», — иные выставляли прежде каким-то вождём антиправительственной интеллигентской оппозиции»**.

Как же повёл себя в подобной ситуации редактор «Московских ведомостей»?

Incident Katkoff

«Катков, — напишет в одной ныне забытой статье В.В. Розанов, — создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении».

Розанов полагает, что именно Катков в большей степени, чем сама власть, защищал национальные интересы России. Ибо власть «была в сущности «расхищена»: и каждый ковал своё личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание». Редактор «Московских ведомостей» как бы осуществлял московскую цензуру над всей петербургской администрацией — во имя своего главного дела: «Дело это — единство и величие России». Розанову, писавшему о мистической роли госу-

* Неделя. 1880. 15 июня.

** Там же.

дарства, была близка такая позиция. Он говорит, что только в Москве, вдали от мелочной и своекорыстной петербургской бюрократии, которая в общем боялась Каткова, «вблизи Кремля и московских соборов, — могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая»[*].

Розанов не вполне прав: можно указать на одно исключение.

В эти июньские дни Катков испытывает небывалую растерянность. Это потом, через год-два, он настолько осмелеет, что, оказываясь порой большим католиком, чем папа, будет «громить» правительство справа и менять неугодных ему министров. Сейчас же, летом 1880 года, реальная власть (вернее, влияние на реальную власть) ускользает из его рук. Не в силах предугадать истинные намерения правительства, он делается расчётливее и осторожнее: он предпочитает тактику выжидания.

Между тем его противникам мнится, что он готов дать решительный бой.

«Драка», которой так опасался Достоевский, грозила вспыхнуть в тот же день 6 июня на обеде, который Московская городская дума давала гостям.

Утром этого дня Тургенев посылает М.М. Ковалевскому следующую записку: «Любезнейший Максим Михайлович, вчера было решено соборне, чтоб нам всем идти непременно — иначе может показаться, что мы трусим, — но если Катков что-нибудь себе позволит, мы все встанем и удалимся»[**].

Это уже настоящая война — с рекогносцировкой, выработкой общей тактики и т. д. То, что предлагается, тоже большое новшество для отечественных застолий: так фракция — в знак протеста — покидает парламентскую (здесь: обеденную) залу.

Позднее Е.А. Штакеншнейдер со слов В.П. Гаевского сообщит Достоевскому дополнительные подробности об этих предобеденных манёврах: «...Тургенев ни за что не хотел идти на обед, чтобы не встретиться с Катковым, и пошёл только, когда его друзья ему обещали, что при первой неприятности, которую ему сделает Катков, они все вместе с ним выйдут из залы»[***].

Думский обед запомнился надолго.

П. Гайдебуров, накануне пытавшийся успокоить Достоевского, сам пребывал сегодня в величайшем волнении: «...несмотря на страшную жару, я вздрагивал от холода. Ведь слова, одного слова,

---

[*] *Ветлугин В.* <*В.В. Розанов*> Суворин и Катков // Колокол. 1916. 11 марта.

[**] *Тургенев И.С.* СС. Т. 12 (Письма). С. 270.

[***] РО ИРЛИ. № 29906. Ср.: Материалы и исследования. Т. 5. С. 266.

одного неподходящего звука достаточно, чтобы испортить это настроение, а затем погубить и весь праздник... Неужели такой звук раздастся!»*

Сабуров, как ему и полагалось, провозгласил первый тост за здоровье государя («радушно, но не восторженно»**, — спешит отметить тонко чувствующий агент III Отделения).

После Ивана Аксакова должен был говорить Катков. Корреспондент «Недели» описывает это событие в эпических тонах.

«Наконец он встаёт. Это человек среднего роста, с совершенно белой головой, выразительным лицом и очень умными глазами. Я думаю, подсудимый смотрит на старшину присяжных, начинающего читать приговор, не с большим волнением, чем я смотрел в этот момент на г. Каткова. И вот он заговорил...»***

Катков-оратор оказался гораздо слабее Каткова-публициста. Он говорил «глухим голосом и смущённо»****, так что в отдалённых концах залы его совсем не было слышно. Те, кто хорошо знал приёмы «московского громовержца», не верили собственным ушам. «И вместо всего того, что от него ожидалось, я увидел в руках его протянутую масличную ветвь...»***** — изумляется Гайдебуров.

Что же сказал Катков?

Тихо и невнятно он выразил надежду на то, что его «искреннее слово будет принято дружелюбно всеми без исключения». Он говорил о том, что, может быть, «это минутное сближение послужит залогом более прочного сближения в будущем и поведёт к замирению, по крайней мере, к смягчению вражды между враждующими». Он закончил Пушкиным: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»******

Тургенев и его единомышленники могли спокойно доедать свой обед.

Дальновидный редактор «Московских ведомостей» предпочёл открытой, как бы сейчас сказали, конфронтации демонстративную лояльность и даже лёгкое заигрывание со своими политическими противниками. Не надеясь более на явно «размягшую» власть, он страшится остаться в одиночестве и озирается, ища союзников: никогда ещё они не были так ему нужны!

Ему нужна передышка.

---

* Неделя. 1881. № 24. 15 июля.
** Октябрь. 1937. № 1. С. 276.
*** Неделя. 1880. 15 июня.
**** Русский архив. 1891. Кн. II. Вып. 5. С. 93.
***** Неделя. 1880. 15 июня.
****** Венок на памятник Пушкину... С. 213–214.

Из главы XIV

ЗАВЕЩАНИЕ

Главный день

«Надо ещё речь исправить, бельё к завтраму приготовить. Завтра мой главный дебют. Боюсь, что не высплюсь. Боюсь припадка»[*], — отрывисто сообщает Достоевский Анне Григорьевне в ночь на 8 июня — накануне.

Припадка не было: в обморок падали другие[**].

И. Аксаков должен был читать первым, но, видя волнение Достоевского, уступил ему свою очередь.

Предоставим слово современникам.

Д. Любимов: «Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошёл к кафедре, продолжая нервно перебирать листки, видимо, список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нём висел, как на вешалке, рубашка была уже измята, белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу»[***].

Глеб Успенский: «Когда пришла его очередь, он «смирнёхонько» взошёл на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти

---

[*] Переписка. С. 345.

[**] Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика» (Звенья. Т. 1. С. 468.), — записывает в своём дневнике Е.П. Леткова-Султанова. Это единственный источник, в котором упомянуто имя впечатлительного «молодого человека» — литератора К.Э. Паприца. Ср. «Тут же в зале со многими делалось дурно, несколько дам впали в глубокий обморок, с одним юношей на моих глазах сделался припадок падучей (?! — *И. В.*)» (*С.У. <С.И. Уманец>*. Мозаика. Из старых записных книжек // Исторический вестник. 1912. № 12. С. 1031.). О припадке падучей толкуют и другие воспоминатели.

[***] *Любимов Д.Н.* Из воспоминаний // Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 162.

были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал со знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений он сказал публике, что думает о Пушкине... Он нашёл возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске»[*].

Н. Страхов: «Как только начал говорить Фёдор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писаному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине... До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздаётся напряжённый и полный чувства голос: "Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!"»[**]

Граф Д. Олсуфьев: «Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряжённо-сосредоточенным и неприветливым, с живыми, проницательными, чернеющими, как угольки, глазами; всё обличье его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым, величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным. Голос у него был высокого тембра и средней силы, так что слова, которые Достоевский хотел особенно подчеркнуть, он почти выкрикивал. Читал он свой доклад просто и вместе необычайно сильно по выразительности и по какой-то особой проникновенности»[***].

И. Василевский: «Он взошёл на кафедру взволнованный и бледный. В нём чувствовался вдохновенный, воинственнонастроенный проповедник и фанатик... Орган у Достоевского был от природы слабый, но читал... прекрасно...»[****]

В. Михневич: «Но вот взошёл на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами, под выпуклым, изборожденным морщинами лбом. Взошёл он как-то застенчиво, неловко и, сгорбившись над пюпитром... раскрыл тетрадку и начал читать

---

[*] *Успенский Г.* ПСС. Т. 6. С. 422.

[**] Биография... С. 310 (первая пагинация).

[***] Возрождение. 1925. 6 июля (Париж). Приносим благодарность С.В. Белову, сообщившему этот текст.

[****] *Бука (И.Ф. Василевский).* Литературные знаменитости на Пушкинском празднике в Москве в 1880 году // Русские ведомости. 1899. 19 мая.

слабым, надорванным голосом, без всяких ораторских приёмов, как если бы он собрался читать для самого себя, а не перед огромной аудиторией...»*

Перечитывая воспоминания современников, замечаешь: им трудно отделаться от впечатления, что они сделались свидетелями чуда.

Как чудо воспринимал это и сам Достоевский.

«Когда же я провозгласил в конце о в с е м и р н о м е д и н е н и и людей, то зала была как в истерике; когда я закончил — я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и к л я л и с ь д р у г д р у г у б ы т ь л у ч ш и м и, н е н е н а в и д е т ь в п е р ё д д р у г д р у г а, а л ю б и т ь. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня... Вызовы продолжались полчаса...»**

Уже сама сила и острота общественной реакции должны были восприниматься правительством как явление необычное, тревожное и нежелательное***.

Но если бы у властей и возникло желание умерить последствия Пушкинской речи, они могли бы этого не делать: с подобной задачей не без успеха справилась отечественная пресса (о чём ещё будет сказано ниже).

Речь Достоевского продолжалась около 45 минут. Толки о ней длятся уже более столетия.

Пора обратиться к тексту.

Кого призывают смириться?

Слово, чаще других встречающееся в Пушкинской речи, — «фантастический»: оно в тех или иных вариантах повторено в тексте семнадцать раз.

---

* *Коломенский Кандид <В.О. Михневич>*. Вчера и сегодня // Новости и биржевая газета. 1881. 1 февраля.

** Переписка. С. 346.

*** Любопытна анонимная информация, поступившая в III Отделение: «...наибольшим успехом в среде здешнего общества пользуется речь Достоевского; судя по слышанным отзывам, успех этой речи обусловливается, к сожалению, не литературными её достоинствами, но заключающимися в ней намёками на правительственные притеснения к свободному развитию литературы (?! — *И. В.*). Вследствие этого... ограничение распространения речи Достоевского представляется полезным». (Октябрь. 1937. № 1. С. 272.)

Алеко «является... в фантастическом свете» (само его бегство в цыганский табор характеризуется как «маленькая фантазийка»; духовные наследники Алеко стремятся достичь всемирного счастья «в своём фантастическом делании»; «фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних»; «Онегин любит в Татьяне только свою новую фантазию»; «да ведь он и сам фантазия» и т. д.

Слово это (вообще одно из ключевых у Достоевского) не только задаёт внутренний музыкальный тон всей речи, но как бы отбрасывает на всё странный двоящийся отсвет.

Во всех приведённых примерах «фантастическое» имеет определённо негативный оттенок. «Фантастический человек» — человек неполный, морально и исторически ущербный. Он «пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка». Его биографическое существование как бы выпадает из мирового порядка: с грехом пополам он ещё может вписаться в один из четырнадцати классов, но — не в реальную историческую жизнь, которой не знает, не понимает, *не помнит*. Его тоска проистекает не столько от сознания собственного несовершенства (в этом он готов винить себя в последнюю очередь), сколько от претензий к несовершенству внешнему. При этом он не прочь споспешествовать тому, чтобы и *другие* сделались жертвами указанной дисгармонии: «Ленского он убил просто от хандры, почём знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно».

Все эти «фантастические люди» поражены застарелой национальной болезнью, они носят в себе смертельный изъян, порчу наследственного исторического кода. Их фантастичность — порождение «фантастического» течения отечественной истории.

Всё, что ни делает «русский скиталец», сразу же приобретает черты исторического инфантилизма.

Алеко в нравственном отношении — большое дитя, и, как всякий ребёнок, он жесток и безответствен: «чуть не по нём, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду». И конечно, именно Онегин, а не Татьяна «нравственный эмбрион»: его духовный возраст неизмеримо меньше Татьяниного. Татьяна сопричастна возрасту народной души, она мудра её великой мудростью. И Алеко, и Онегин по сравнению с ней младенцы; они дети фантастической «постпетровской» цивилизации.

«Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмще-

ния (что взять с дитяти? — *И. В.*), без злобы, величаво и простодушно:

— Оставь нас, г о р д ы й ч е л о в е к...»

Мы намеренно подчеркнули последние слова: они вошли в печально знаменитую (возмутившую столь многих) формулу.

Но посмотрим внимательнее.

«Гордый человек» Достоевского — не человек «вообще», а лицо вполне определённое, максимально конкретное. Он — не изобретение автора, а буквальная цитата из Пушкина. И призыв «смирись» обращён не в пустое историческое пространство, а — к реальному историческому типу.

Запомним, *к кому* обращаются. Теперь следует выяснить — кто.

«Ну, разумеется, сам Достоевский!» — в сердцах скажет читатель.

Возмущение вполне понятное: мы привыкли думать, что знаменитая тирада — не что иное, как авторская речь. Однако это не так; вернее, не совсем так.

«Нет, эта гениальная поэма не подражание! — говорит Достоевский. — Тут уж *подсказывается* русское решение вопроса, "проклятого вопроса", по народной вере и правде: "Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве", вот это решение по народной правде и народному разуму».

Две ключевые фразы берутся Достоевским в кавычки как *чужая* прямая речь: они произносятся не «от себя», а как бы от имени «подсказывающей» народной правды. Таким образом, призыв «смириться» — не что иное, как цитата.

Все эти наблюдения могут показаться излишними: не всё ли равно, кому принадлежат процитированные слова, если их смысл, по-видимому, вполне разделяет сам Достоевский? Но в высокоорганизованной «нервной» структуре Пушкинской речи нет ничего случайного: это — литература.

«Оставь нас, гордый человек», — говорят бездомному «скитальцу» настоящие кочевники. «Оставь» — т. е. уйди, но сам оставайся таким, каким тебе быть угодно. Они не навязывают Алеко своей правды: им достаточно отвергнуть его закон. Достоевский поступает иначе. «Своего» Алеко он ставит перед проблемой: с чего, собственно, начинать мировое переустройство?

Вновь открываются кавычки — для «чужой» (внутренне одобряемой) речи. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём

собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен...»[*]

Что ж, метод известный, пожалуй, даже тривиальный и, как полагал оратор, вполне отвечающий требованиям христианской этики (хотя, например, К. Леонтьев полагал иначе). Но именно это — неприемлемое для иных — обстоятельство вызвало наибольшее раздражение: не только «безрелигиозной общественности», но и всей так называемой *прогрессивной критики.*

Раскольников как «гордый человек»

Кухарка Настасья приносит будущему убийце вчерашние щи и спрашивает его, почему он оставил уроки. Тот нехотя отвечает, что за детей платят медные деньги.

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на неё.

— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он, помолчав[**].

К названным им пушкинским персонажам Достоевский мог бы добавить ещё одного: своего собственного. Раскольников — духовный близнец Алеко и Онегина; он звено всё той же цепи. И дело не только в их общей оторванности от «нивы»: дело ещё в той *лёгкости,* с какой они позволяют себе «преступить».

Трое убийц как будто ни в чём не схожи друг с другом (их жертвы — Земфира, Ленский и старуха-процентщица — ещё более вопиют об их несопоставимости). Тем не менее глубинный мотив всех трёх преступников один: «я» выше, чем «не-я», и убийство — самое простое средство для самоутверждения.

«Весь капитал» (будь то честь, как у Онегина, самолюбие, как у Алеко, или самостановление, как у Раскольникова) приобретается (или сохраняется) одним ударом: кажущееся самым трудным, на деле — элементарно. Это, впрочем, относится ко всем их поступкам. Алеко пытается достигнуть «рая» *простым* перемещением в географическом и социальном пространстве; Онегин — *простым* удовлетворением страсти; Раскольников — *простым* криминальным экспериментом. Ни о каком «потрудись» они не захотели бы слышать.

К внешнему миру предъявляются требования неизмеримо большие, нежели те, которые обращены к самому себе.

---

[*] Дневник писателя. 1880. Август. Пушкин.

[**] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 6. С. 27.

Поэтому «смириться» должен вовсе не Человек (с большой буквы), но — Алеко, Онегин, Раскольников. Поразительно, что персональная направленность этого призыва, как правило, «не прочитывается».

Стоит задуматься над тем, какой объективный смысл имело понятие «гордый человек» во времена Достоевского.

Немного этимологии

«Гордый... — определяет Даль, — надменный, высокомерный, кичливый, надутый, высоносый, спесивый, зазнающийся; кто ставит себя самого выше прочих... Гордость, гордыня, горделивость... качество, свойство гордого; надменность, высокомерие. "Гордым быть, глупым слыть". Гордиться... быть гордым, кичиться, зазнаваться, чваниться, спесивиться; хвалиться чем, тщеславиться; ставить себе что-либо в заслугу, в преимущество, быть самодовольным»[*].

Словарь Даля вышел вторым изданием в 1880 году — в год Пушкинской речи. Его автор не приводит ни одного значения слова «гордость» хоть с каким-нибудь мало-мальски положительным оттенком.

Гордость в народном понимании равносильна гордыне; качество это сугубо отрицательное, заслуживающее нравственного осуждения.

С годами понятие претерпело существенную метаморфозу.

«Гордость... — определяет словарь современного русского языка, — чувство собственного достоинства, самоуважения. Чувство удовлетворения от чего-либо. Гордый... исполненный чувства собственного достоинства, сознающий своё превосходство. Заключающий в себе нечто возвышенное, высокое... Гордые мечты»[**].

Что же происходит?

Водрузив на место «надменного, кичливого, высокомерного» и т. п. Алеко некоего абстрактного (но при этом «исполненного чувства собственного достоинства») «гордого человека», мы совершаем невольную, но отнюдь не безопасную подмену. Ибо сами становимся жертвами этой удивительной аберрации[***].

---

[*] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. СПб.; М.,1880. С. 378.

[**] *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1964. С. 134. Пушкин неоднократно употребляет это слово и в указанном смысле. Но в интересующем нас случае «гордый» трактуется именно как «надменный, высокомерный» (см.: Словарь языка Пушкина. Т. 1. М., 1956. С. 513).

[***] Понятие изменилось уже к началу XX столетия (как изменился и воспринимающий слух). Поэтому «лобовое» противопоставление формулы Достоевского

В этом нам немало помогли современники Достоевского.

«Не решён вопрос, пред чем гордились “скитальцы”, — писал А.Д. Градовский. — Остаётся без ответа и другой — пред чем следует “смириться”»*.

Действительно, не оставляет ли нас Достоевский в неведении относительно этого пункта?

«Недоделанные люди» и мировая гармония

В «Дневнике писателя» за 1877 год сказано: «...сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина... Мыслители провозглашают общие законы, т. е. такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с н е д о д е л а н н ы м и людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные»**.

Это — предвосхищение того, что через три года будет вновь заявлено в Пушкинской речи.

Мысль, объединяющая всё творчество Достоевского, на первый взгляд, чрезвычайно проста. Жизнь не даётся даром, «весь капитал» не приобретается *механическим* путём.

Человек как личность не есть некая законченная данность, он — *процесс*, требующий неустанной душевной работы («тут дисциплина»). Человек не обладает автоматическим «правом первородства»: надо «выделаться в человека». Счастье не есть что-то готовое, внешнее по отношению к личности, оно — тоже процесс, величина переменная, зависящая от самого человека.

Мировое переустройство оказывается самым тесным образом сопряжённым с «переустройством» человеческой личности.

Конечно, всё это при желании можно отнести к сфере личной нравственности, к сфере, казалось бы, далёкой от реальной общественной борьбы. Однако подобные проблемы волновали не только таких мыслителей, как Достоевский или Толстой. О них задумывались люди, казалось бы, совершенно иного склада.

«Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он. Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идём... и знает ли он процесс (кроме простого ломанья), которым должно

горьковскому «Человек... Это звучит... гордо» несостоятельно: разумеется, Горький употреблял слово «гордость» в его «втором», положительном значении.

* Голос. 1880. 25 июня.

** Дневник писателя. 1877. Февраль. О сдирании кож...

совершиться превращение в неё старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело»*.

Слова эти были произнесены за десять лет до Пушкинской речи. Причём — самым знаменитым из «русских скитальцев». Герцен адресует их другому «скитальцу» — Бакунину, человеку, фанатически преданному идее, но не ведающему иных форм исторической работы, кроме «простого ломанья».

Речь идёт о честности, трезвости и нравственной ответственности.

Герцен пишет: «Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнёт с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. Потому что он внутри не кончен и потому ещё, что ни мир построяющий, ни новая организация не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь»**.

Достоевский говорит о «недоделанных людях»; Герцен — о том, что старый мир не кончен «внутри», т. е. в самом человеке. И тот, и другой толкуют о вещах очень близких***.

Герцена в конце жизни чрезвычайно занимают нравственные аспекты революционного переворота. Он полагает необходимейшим его условием наличие у революционеров именно тех качеств, которые, согласно Достоевскому, как раз и помогают «выработаться в человека». «Нельзя, — пишет автор писем «К старому товарищу», — людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри»****. Без внутренних духовных усилий исторический прогресс сомнителен.

Алеко Пушкинской речи — бездельник и в нравственном, и в историческом смысле.

Да, «гордый человек» Достоевского есть «праздный человек», а вовсе не лицо, исполненное предполагаемых общественных достоинств. Стремясь к мировому идеалу, он ничего не делает, чтобы приблизить к нему самого себя. Он — «праздный человек» не только из-за нежелания трудиться на «родной ниве», но также из-за равнодушия к своему духовному «я», из-за боязни серьёзной внутренней работы.

«Прежде чем проповедовать людям: “как им быть”, — говорит Достоевский в “Дневнике писателя”, — покажите это на себе. Испол-

---

* *Герцен А.И.* Собрание сочинений. Т. 20. Кн. II. С. 577.

** Там же.

*** *Карякин Ю.* Перечитывая Достоевского... // Новый мир. 1971. № 11.

**** *Герцен А.И.* СС. Т. 20. Кн. II. С. 590.

ните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю!»* Именно в «самообладании и самоодолении» — «тайна первого шага».

В этом своём убеждении Достоевский обретает ещё одного неожиданного союзника. Страстный оппонент автора «Что делать?», он в своих размышлениях «невольно» приближается к нравственным коллизиям этого романа. Разумеется, «новые люди» весьма далеки от идеалов Достоевского, но не они ли поставили целью «самообладание и самоодоление», иначе говоря, познали «тайну первого шага»?

Так автор Пушкинской речи вписывается в общую этическую традицию русского XIX столетия, начинающую отсчёт исторической жизни с её главного виновника и участника — человека.

Но повторим вопрос: перед чем призывает смириться Достоевский?

Может быть, речь идёт о смирении перед какой-нибудь внешней силой, перед авторитетом церкви или государства?

Или — о чисто религиозном смирении, об отказе от мира?** Или, наконец, о смирении как об абсолютной духовной неподвижности, индифферентности, психическом штиле?

Ничего этого у Достоевского нет. Его «смирение» — равнозначно работе («выделке в человека»). «Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам её недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за неё надобно заплатить».

«Высшие цели» вовсе не отменяются, но им назначается дорогая цена. Мировое переустройство ставится в жёсткую зависимость от моральной составляющей тех, кто предпринимает подобное деяние.

Столь категорическое сопряжение «внутренней» и «внешней» сторон социального поведения явлено в русской литературе впервые.

Разумеется, те, кто этого желал, могли обратить (и, как мы увидим, действительно обратили) «смирись» — против революции.

---

* Дневник писателя. 1877. Февраль. Русское решение вопроса.

** Любопытно, что последнее предположение отвергалось даже некоторыми церковными писателями. Так, архиепископ Антоний (Храповицкий), говоря об «одном публицисте», который «дополнил» Достоевского («смирись, гордый человек, пред Богом»), замечает: «Находились невежды, вменявшие эту прибавку в особенную похвалу критику, но, конечно, единственно по незнанию Отеческого учения: “Послушание имей ко всем”». (Ф.М. Достоевский как проповедник христианского возрождения и вселенского православия. М., 1908. С. 35.)

Было бы несправедливым утверждать, что в Речи нет никаких реальных «зацепок» для интерпретаций подобного рода. Более того: сам Достоевский, очевидно, стремился к тому, чтобы «в первом приближении» его поняли именно так. Но вряд ли он ожидал, что это «первое приближение» окажется и последним: его поняли только так, игнорируя «за ненадобностью» всё остальное.

В Речи прямо указывается на «скитальцев», которые «ударяются в социализм», и, следовательно, как бы установлен новый социальный адрес Алеко и Онегина*. И этим указанием не замедлили воспользоваться охранители: в их устах «смирись» приобретало уже строго однонаправленный вид, превращаясь в своего рода табу для любых попыток достигнуть мирового идеала. Их менее всего занимала этическая сторона проповеди Достоевского: им был важен её сиюминутный, прикладной, политический смысл.

К сожалению, никто им не возражал.

Но дело в том, что формула Достоевского обоюдоостра.

Заметив, что Алеко «злобно растерзает и казнит за свою обиду», Достоевский «вдруг» добавляет: «Или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и это), к закону терзающему и казнящему, и призовёт его, только бы отомщена была личная обида его».

Мы уже говорили о том, что государство для Достоевского такой же «гордый человек», как и Алеко. Российская монархия, разделённая «нигилистом»** (именно так именует его Достоевский) Петром Великим на четырнадцать классов, тоже принадлежит к числу исторических скитальцев. Она столь же «фантастична», и уж, конечно, не в ней может быть воплощён народный идеал.

Когда же Алеко не нужно будет ни убегать к цыганам, ни «оставлять» их?

Снова о нравственности во множественном числе

Признав, что в Пушкинской речи заключена «мощная проповедь личной нравственности», А. Градовский снисходительно указывает её автору, что в ней «нет и намёка на идеалы общественные»***.

---

* Подобная генеалогия давала русским «социалистам» некую эстетическую санкцию (их противники предпочли бы, чтобы у социальных «злодеев», «монстров» и т. п. была менее почтенная (более примитивная) родословная).

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67.

*** Голос. 1880. 25 июня.

«Указание Градовского на господство в истории общественных идеалов над нравственными следует признать правильным»*, — безоговорочно соглашается с либеральным профессором один из позднейших комментаторов Пушкинской речи.

Не слишком ли поспешно это согласие?

Признать, что в истории общественные идеалы «господствуют» *над* нравственными, значит лишить первые их собственного смысла. Подобное признание абсурдно: общественный идеал — уже в силу того, что он идеал, — не может быть вненравственным. Нельзя привести ни одного примера, когда бы идеология опиралась на аргументы внеморального порядка**. Другое дело, что сами моральные принципы («классовые», «общечеловеческие», «христианские», «расовые» и т. д.) могут толковаться в зависимости от нужд толкователей.

В истории не общественные идеалы господствуют над нравственными, а *одни* общественные (а значит, и нравственные!) идеалы господствуют над *другими*.

«Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, — отвечает Достоевский Градовскому, — тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит их в будущее... Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?»

Нравственный идеал Пушкинской речи есть одновременно и идеал общественный: ничем иным и быть не может стремление «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению». Всемирность и всечеловечность мыслятся как естественная для нации форма её общественного бытия. Индивидуальные этические задачи трансформируются в сферу социального поведения.

«Узнайте, учёный профессор, — продолжает Достоевский, — что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных

---

* *Достоевский Ф.М.* Собрание сочинений в 10 томах. Т. 10. М., 1958. С. 526 (Примечания).

** Это самоочевидно для идей, игравших «дрожжевую», движущую роль в историческом процессе, — Просвещения, Великой французской революции, утопического и научного социализма и т. д. Но даже «реакционные», консервативно-ортодоксальные или, положим, ксенофобские системы идеологии вынуждены обосновывать своё право на существование аргументами высшего порядка. «Попробуйте-ка, — говорит Достоевский, — соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: *«Chacun pour soi et Dieu pour tous»* («Каждый за себя, и Бог за всех». — *И. В.*). С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживёт, г. Градовский». (Дневник писателя. 1880. Август. Две половинки...)

органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим учёным ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, — нет вовсе, не существовало никогда, и не может существовать!»*

Речь идёт о неделимости морали. Нравственный закон, как уже говорилось, един: он не может действовать «применительно к случаю».

Вспомним: «Что правда для человека как лица, то пусть останется правдой и для всей нации».

В этом своём убеждении Достоевский не одинок.

За шестнадцать лет до Пушкинской речи в учредительном манифесте Международного товарищества рабочих К. Маркс формулирует важнейшие цели пролетариата. Одна из них заключается в том, «чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»**.

Российские последователи Маркса забыли, что в этой системе координат «слезинка ребенка» имеет абсолютную ценность.

В своей, казалось бы, чисто публицистической Пушкинской речи Достоевский «вдруг» вступает в многомерное художественное пространство, чтобы именно *там* получить санкцию для своей идеологической системы.

И санкция эта оказывается *художественной*.

К вопросу о жанре

«Если наша мысль есть фантазия, — говорит Достоевский, — то с Пушкиным есть по крайней мере на чём этой фантазии основываться». Ссылка на Пушкина — не только указание на его художественный опыт. Это — указание и на *самого* Пушкина, на его личность, на всю грандиозность его явления. Но дело в том, что «сам Пушкин» выступает у Достоевского как определённая художественная величина.

В Пушкинской речи *образ* Пушкина играет не меньшую роль, чем образ его любимой героини. В течение каких-нибудь 45 минут До-

---

* Дневник писателя. 1880. Август. Две половинки...

** *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 16. С. 11.

стоевскому удалось убедить Россию в мировом значении Пушкина — убедить не путём логических доказательств, а силой искусства.

Дело обстоит именно так. Пусть автор Речи пытается на минуту «притвориться» учёным-исследователем (хотя и оговаривается специально, что он не критик) — и делит творчество Пушкина на «три периода»; пусть порой «надевает личину» историка или, скажем, философа; тем не менее он ни тот, ни другой и ни третий. Он «лишь» тот, кто он есть на самом деле*.

Пушкинская речь была, пожалуй, первой попыткой «глобального» прочтения Пушкина, попыткой «перевести» его из литературного контекста в сферу этико-историческую.

Но парадокс заключается в том, что «перевод» этот был осуществлён как раз *литературными* средствами.

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» — так закончил Достоевский. «Разгадка тайны» производится не путём логической расшифровки, а в категориях художественного мышления.

Пушкин и его судьба воспринимаются как некая художественная данность, как «миф», обладающий собственной онтологической жизнью. И наиболее адекватное усвоение этого «мифа» совершается в формах, родственных его собственной природе: художественное познаётся через художественное.

Все компоненты Пушкинской речи могут быть рассмотрены как связанные друг с другом элементы единой образной структуры, где такие понятия, как «Пушкин», «Татьяна», «русский народ», «скиталец», «всечеловек» и так далее, имеют не только прямую, непосредственно-публицистическую функцию, но и обладают ещё дополнительным художественным смыслом. Эта «дополнительность» и создала предпосылки для многоаспектного, плюралистического восприятия Речи, её выхода за пределы сиюминутной «практической» полемики — в иную историческую глубину.

Именно так была воспринята Речь в момент её произнесения. Сам Достоевский являлся в эту минуту её зримым, материальным образом. Отделённый от текста, он превратился просто в «автора»

---

* По окончании речи П.В. Анненков сказал Н.Н. Страхову: «...Вот что значит гениальная *художественная характеристика!* Она разом порешила дело!» (Биография... С. 310, первая пагинация).

И.С. Аксаков в письме к О.Ф. Миллеру также замечает, что Достоевский поставил вопрос «на художественно-реальную почву» (Литературное наследство. Т. 86. С. 515).

(или, в лучшем случае, в «лирического героя»): текст «оголился». «Смирись...», лишённое своего собственного звука, обретало чужую интонацию: от начальственно-угрожающего (государственного!) окрика до шепотливого монашеского увещевания.

Скрытая художественная природа Пушкинской речи явилась провоцирующим моментом для разразившейся вслед за ней журнальной бури. Речь, притворившаяся публицистикой, и была воспринята в качестве таковой. Критики Речи не делали (да, собственно, и не обязаны были делать) поправку на жанр. Но, вычленив из Речи те или иные моменты и без особого труда их опровергнув, они не могли не чувствовать некоторой (может быть, тайной) неудовлетворённости. Во-первых, оказывался «остаток», нечто, ускользавшее от их анализа, а во-вторых, смущал беспрецедентный успех Речи (не потому ли её оппоненты оперируют такими полумистическими понятиями, как «затмение», «наваждение» и т. д.).

Достоевского (как выразился бы один булгаковский герой) следовало «разъяснить».

«Идеалистический радикал» (ещё к вопросу о жанре)

«Не беспокойтесь, скоро услышу: “смех толпы холодной”, — пишет Достоевский С.А. Толстой (вдове А.К. Толстого) через четыре дня после Пушкинской речи. — Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях»[*].

Нужно было сделать известное волевое усилие, чтобы, по словам Глеба Успенского, «“очухаться” от ворожбы Достоевского»[**]. Недаром вторая его корреспонденция о Пушкинской речи (посланная в «Отечественные записки» после первой, вполне сочувственной) называлась «На другой день».

«На другой день» как бы опомнились. Гармонию следовало поверить алгеброй. Началось разложение художественного смысла Речи. Естественно, что при этом все её внутренние связи были нарушены, и здание, ещё недавно казавшееся столь величественным, бесславно рухнуло — к вящему удовольствию истолкователей.

Спор о Пушкине откатился к вечным русским вопросам: «что делать?» и «кто виноват?».

В Пушкинской речи пытались найти «прямые» ответы.

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 188.

[**] Звенья. Т. 1. С. 470.

В 1888 году Чехов писал А.С. Суворину: «...Вы смешиваете два понятия: р е ш е н и е в о п р о с а и п р а в и л ь н а я п о с т а н о в к а в о п р о с а. Только второе обязательно для художника. В "Анне Карениной" и в "Онегине" не решён ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно»*.

Пушкинская речь ставила вопросы, «делая вид», что отвечает на них. Она была — да простится нам эта красивость — пунктиром, трассирующим в исторической мгле. Но — только пунктиром. То, что, казалось бы, должно было удовлетворить всех, не удовлетворило никого.

1880 год жаждал конкретных указаний и ждал быстрых ощутимых плодов. Он требовал «формулы перехода».

Но — увы. То, что предлагал Достоевский, не было ни реальной политической программой, ни тем паче инструкцией по немедленному усовершенствованию общественных нравов. Автор Речи оперировал не «понятиями», а рядом художественных значений, которые в своей совокупности давали определённый художественный эффект. Пушкинская речь была таким же «пророчеством и указанием», как и сам Пушкин.

«Его (Достоевского. — *И. В.*) воззрения, — писала «Неделя», — страдают недостатком практичности, в них нет переходных ступенек, которые, конечно, необходимы. Но ведь он и не претендует на практичность; идеалистический радикал, если можно так выразиться, он смотрит далеко вперёд, видит там яркую звезду и зовёт к ней; указывать пути совсем не его дело: он только носитель идеала. Дурен этот идеал в своей основе, очищенный от случайных примесей?.. Господа, бросать грязью в такие вещи — значит пачкать самих себя!»**

К этому одинокому голосу никто не прислушался. Расшифровка Речи была предпринята русской критикой в категориях внехудожественного мышления: «перевод» оказался неадекватным.

Правомерно ли обвинять Достоевского в отвержении реального дела, в обольщении пустыми иллюзиями и даже в том, что его призыв вылился «в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения»***? Может быть, «вторичная реакция» на Речь более справедлива, чем первоначальный стихийный порыв?

---

* *Чехов А.П.* ПСС и писем. Т. 14. М., 1949. С. 208.

** Неделя. 1880. 5 октября.

*** *Успенский Г.* ПСС. Т. 6. С. 429.

Но, в конце концов, ведь не малые дети наполняли 8 июня Колонный зал московского Благородного собрания: неужели все были «загипнотизированы» Достоевским?

Нет, слушатель 1880 года был не так прост. Произошло то, что должно было произойти. Несколько одновременно сработавших факторов дали непредсказуемый эффект.

Пушкинская речь — художественный концентрат всего того, что пытался выразить Достоевский в своём «Дневнике писателя». Это и есть «Дневник» — только художественно обобщённый, достигший своего собственного предела, к которому он всегда стремился (но, правда, не всегда достигал). Не выстраиваясь, не складываясь в строгую и законченную картину единого, внутренне непротиворечивого, рационалистически проработанного миропонимания, Пушкинская речь сохраняла поразительную целостность на ином уровне. Это — всеобъемлющее и мощное единство явленного в ней *мирочувствования*. Это — неделимость её категорического императива, её нравственного устройства, её могучего духовного подтекста. Это, наконец, сфокусированность всех периферийных и мировых линий в одной художественной точке — в Пушкине.

В Речи сказались характернейшие черты творческого гения Достоевского: его этический максимализм, его обострённое восприятие русской истории и русского человека, его скорбь и его мировой порыв.

Всего этого не могла не почувствовать аудитория.

«Мы менее чем кто-либо можем смотреть на речь Достоевского как на живую политическую программу живой политической партии... — замечает журнал «Мысль», — если на идеалы г. Достоевского смотреть... как на формулу, удовлетворяющую, главным образом, чувству или, вернее, потребности чувства, а именно чувства любви и уважения к своей родине, к своему народу, то это — почти единственный идеал, возможный для нашего времени...»[*].

Но если бы Пушкинская речь была произнесена, скажем, годом раньше или годом позже, она не возымела бы такого действия. В 1880 году её собственный духовный заряд был умножен реальной общественной ситуацией. Её пафос оказался созвучен жгучему чувству исторического ожидания. Эта конгениальность и вызвала «резонансный эффект».

Можно предположить, что речь Достоевского отвечала ещё и более отдалённым историческим ожиданиям. Россия, «стеная и скор-

[*] Мысль. 1880. Сентябрь. С. 90.

бя», вступала на мировую авансцену: ей было суждено остановить на себе «зрачок мира». Пушкинская речь прозвучала в момент перелома, на перепутье: у страны ещё был выбор. Трагедии XX века могло бы не быть. Судьба России сложилась не так, как мечтал Достоевский, а так, как он предчувствовал. Утешила бы его грандиозность этой судьбы?

«Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство, и не будет недоумений»[*].

Тем горше было отрезвление.

«Русский Мефистофель»

«Памятник Пушкина, — писал Орест Миллер, — собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остаётся только весело потирать себе руки и приговаривать: *«divide et impera»*[**] [***]. «На другой день» стало очевидно, что праздник, по сути дела, только разгорячил страсти.

Первый русский «парламент» не оправдал надежд, которые на него возлагались. «Вдруг» выяснилось, что интеллигенция (как целое) не способна стать той исторической силой, которая могла бы возглавить национальное обновление.

Не потому ли в своём предсмертном «Дневнике» Достоевский обращает взор в другую сторону — туда, откуда, как он полагает, ещё можно ожидать спасения? «Народ» — последняя ставка автора Пушкинской речи[****].

Сам Достоевский всю жизнь хотел, чтобы его услышали. В 1880 году наконец это произошло. И — тотчас же явились обвинения в кликушестве, юродстве и прочих устремлениях «всезаячьего» свойства.

При желании Достоевского можно было понять именно так.

Когда-то он писал, что, если бы во время лиссабонского землетрясения какой-нибудь местный лирик сочинил «Шёпот, робкое

---

[*] Переписка. С. 346.

[**] Разделяй и властвуй (*лат.*).

[***] Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 32.

[****] Ср. интересное замечание Л.Е. Оболенского: «...Русские либералы делятся на обожающих народ и обожающих Запад. Обожание здесь неизбежно, как в институтах и вообще в закрытых заведениях» (Мысль. 1880. Сентябрь. С. 92).

дыханье...», возмущённые лиссабонцы всенародно казнили бы сего незадачливого стихотворца (правда, добавляет Достоевский, впоследствии поставили бы ему на площади памятник). Теперь он сам невольно оказался в подобной роли: в паузе между взрывами народовольческих бомб призыв к нравственному совершенствованию мог показаться насмешкой.

Как же быть с Пушкинской речью?

Любая неоднозначная художественная структура поддаётся более или менее однозначной интерпретации. И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Отцы и дети», и «Преступление и наказание» *при желании* могут быть истолкованы (и нередко истолковывались) как реакционные произведения. Устойчивость подобной репутации зависит не только от «внутреннего сопротивления» текста, но и от внешних факторов: в первую очередь от укоренённости той или иной точки зрения в историко-литературной традиции.

История восприятия Пушкинской речи поучительна и драматична. С восторгом принятая *слушателями*, она «на другой день» предстала совсем в ином качестве перед своими *читателями*. Едва появившись на свет, она сделалась козырем в политической борьбе.

Козырь этот был немедленно разыгран. Речь поспешили усыновить те, кто вовсе не обладал правом духовного отцовства.

Об этом стоит сказать подробнее.

Опасные игры

«...Во мне нуждаются... вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет...» — разъясняет Достоевский Анне Григорьевне ситуацию накануне праздника. «Наша партия» поминается неоднократно. Попробуем подсчитать: кто же конкретно к ней принадлежит.

Сам Достоевский называет только два имени: «Оппонентами же им (то есть либералам. — *И. В.*), с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют весу), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве».

Итак, Юрьев и Аксаков. Не очень-то густо. Но даже эти двое — союзники, так сказать, официальные. Ни тот, ни другой не являются единомышленниками в полном смысле слова. Это, скорее, круг, близкий Достоевскому, тяготеющий к нему, но вовсе не «однопартийцы». И автор Пушкинской речи старается соблюсти по отношению к ним известную дистанцию.

Может быть, Катков? Он — «шеф», патрон, работодатель, его мнение уважаемо. Но он — «человек вовсе не славянофил»*. Издатель «Русского вестника» ни разу не отнесён к «нашей партии».

Кто же остаётся? Да никого. При ближайшем рассмотрении выясняется, что в «нашу партию» практически входит один Достоевский.

Правда, отправляясь в Москву, он сообщает Победоносцеву: «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз, в самом к р а й н е м духе моих (н а ш и х, т. е., осмелюсь так выразиться) убеждений...»**

Позволим себе в данном случае Достоевскому не поверить. И не потому, что он неискренен, — нет. Но с Победоносцевым у него особые игры (даже сама стилистика их переписки, тщательный подбор выражений, осторожная дозировка «добрых чувств» — всё это свидетельствует не столько о душевной близости, сколько о дипломатии, причём взаимной). Кроме того, не следует забывать, что в это время только что назначенный обер-прокурор Святейшего синода почти неизвестен политически: «совиные крыла» он «прострёт» над Россией несколько позже. И, пожалуй, трудно представить большую дистанцию, нежели та, которая отделяет пафос Пушкинской речи от «государственной программы» Победоносцева.

По окончании Пушкинского праздника Победоносцев сдержанно, не вдаваясь в подробности, поздравит Достоевского с успехом. И — вслед за поздравлениями пошлёт ему «Варшавский дневник» со статьёй Константина Леонтьева. Статья эта гневлива и сокрушительна. К. Леонтьев не только по пунктам уничтожает Речь с точки зрения своего — аскетического и безысходного — христианства, он лоб в лоб сталкивает её с другим публичным выступлением, состоявшимся почти в одно время с московскими торжествами, — в Ярославской епархии на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей. «...В речи г. Победоносцева (оратором был именно он. — *И. В.*), — пишет Леонтьев, — Христос познаётся не иначе как через Церковь: “Любите прежде всего Церковь”. В речи г. Достоевского Христос... до того помимо Церкви

* Переписка. С. 328. Кстати, ни С. Юрьев, ни И. Аксаков отнюдь не считали себя единомышленниками Каткова. Достоевский прямо называет С. Юрьева «врагом» Каткова (Письма. Т. 4. С. 149); так оно и было (см. острейшую полемику первых месяцев 1880 г. между «Московскими ведомостями» и «Русской мыслью»). Ср.: «Восставать против Каткова, высказывать зловредность его направления и статей есть, по-моему, гражданский долг каждого из нас» (Письма А.И. Кошелева к И.С. Аксакову (1881–1883 гг.) // О минувшем. СПб., 1909. С. 406).

** *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 156.

доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе... приписывать Спасителю никогда не высказанные им обещания "всеобщего братства народов", "повсеместного мира" и "гармонии"...»*

К. Леонтьев подметил чрезвычайно любопытную вещь: в Пушкинской речи о Церкви не говорится ни слова (вспомним: «Церковь — весь народ» — положение, с которым вряд ли согласился бы автор «Варшавского дневника»). Та Церковь, над которой начальствует Победоносцев (то есть реально существующий институт), не играет в «пророчествах» Достоевского никакой роли. Впрочем, как и реально существующее государство. Достоевский в данном случае имеет дело с общественным, и только с общественным.

Мы уже говорили о том, что автор «Дневника писателя» предпринял последнюю в русской литературе попытку осуществить «идейное опекунство» над властью. Но почему сама тенденция оказалась столь живучей?

Русское самодержавие, как это ни странно, на протяжении веков так и не выработало своей собственной, адекватной себе и закреплённой «литературно» идеологии. Оно строит свою моральную деятельность на традиции и предании, на силе исторической инерции или, в лучшем случае, на эффектных формулах вроде уваровской. Как историческая данность оно вовсе не совпадает с тем, что «предлагали» ему — в разное время — Посошков, Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь и Достоевский.

В момент кризиса (а именно такой момент имеет место в 1880 году) могло казаться, что в силу собственной «безыдейности» власть примет и санкционирует одну из предлагаемых ей «чужих» идеологических доктрин. И славянофилы вроде Ивана Аксакова, и либералы «тургеневского» типа могли надеяться (и надеялись), что выбор падёт именно на них.

Мог надеяться на это и Достоевский. Он предлагает свою собственную «подстановку». Но всерьёз принять идеал Пушкинской речи означало бы для самодержавия изменить свою собственную историческую природу.

Российская монархия предпочла совсем иную программу — программу Победоносцева и Каткова. Она сделала это сразу же, как только почувствовала себя уверенней.

То, о чём говорил Достоевский в своём последнем «Дневнике» («позовите серые зипуны»), было дружно похоронено в 1882 году — не кем иным, как теми же Победоносцевым и Катковым: оконча-

* Варшавский дневник. 1880. 12 августа.

тельный крах идеи Земского собора стал катастрофой и для «нашей партии» (если всё же причислить к ней И. Аксакова).

Достоевский до этого не дожил. Но сейчас, в 1880 году, он *нужен* Победоносцеву и *нужен* Каткову. Он — их формальный союзник, единственная серьёзная литературная сила с их стороны*. Они ни в коем случае не желают обострять разномыслие. Более того: неприятие Речи слева как нельзя кстати для них.

Они спешат поставить на ней свою собственную мету.

Пушкинская речь появилась в «Московских ведомостях». И это во многом предопределило её дальнейшую судьбу. Широкой публике не было дела до того, что появилась она там почти случайно (после увиливаний Юрьева, первоначально хотевшего напечатать её в «Русской мысли»), что для Достоевского не последнюю роль в этой истории играли чисто материальные соображения. Да читатели и не желали знать таких подробностей. Появление Речи в газете Каткова воспринималось как политический жест, как акт идейной солидарности.

Репутация издания не могла не сказаться и на репутации Речи.

Орест Миллер заметит в «Русской мысли», что, хотя Пушкинская речь и появилась в «Московских ведомостях» («не берусь разгадать этого странного... факта»), её автор «в самом корне» отличается от своих издателей. «...Именно всечеловек, — добавляет Миллер, — всего менее и подходит к “Московским ведомостям”... Каков бы ни был этот язык (можно, если угодно, называть его даже юродствующим), но это, конечно, не язык “Московских ведомостей”».

Почему же тогда Катков взял «статью»? Он предложил Достоевскому напечатать её, ещё не слыша и не читая. После же грандиозного успеха Речи её публикация сделала бы честь любому изданию. «Они напечатали речь, — говорит О. Миллер, — но кто же бы отказался от речи Достоевского?»**

Катков поспешил разыграть этот козырь. Но каково было его истинное отношение к тому, что он столь поспешно обнародовал?

Об этом сохранилось одно забытое, но в высшей степени выразительное свидетельство.

---

* Недаром накануне Пушкинского праздника охранительная пресса (как бы забегая вперёд) настойчиво сопрягает их имена. «...Такие люди, как Ф.М. Достоевский и М.Н. Катков, сумеют ответить тем, кто захочет проводить тенденции на празднике народном» (Берег. 1880. 2 июня). «Почитателям г. Достоевского, — замечает по этому поводу «Вестник Европы», — было очень неловко видеть его имя в этом союзе и в этой усмирительской Роли» (Вестник Европы. 1880. Октябрь. С. 812).

** Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 31, 33.

В 1903 году В. Розанов опубликовал замечания покойного К. Леонтьева на рукопись одной своей статьи. В этой статье Розанов цитировал опубликованные после смерти Достоевского далеко не лестные отзывы последнего в адрес Леонтьева (как раз по поводу его критики Пушкинской речи). Пытаясь оправдаться перед Розановым, Леонтьев спешит заметить, что в своём негативном отношении к Речи он не был одинок. «Катков заплатил ему (Достоевскому. — *И. В.*) за эту речь 6 0 0 р., но за глаза смеялся, говоря: «к а к о е ж е э т о с о б ы т и е»*.

Итак, круг замкнулся. Охранительный лагерь отнюдь не принимает Речь как свою. Потенциальным союзникам (да и то не всем) она нужна только как временное подспорье, как идущая в руки карта в их тактической игре. И когда К. Леонтьев обрушивается на Пушкинскую речь (он «чистый» идеолог, а не реальный политик, он может себе это позволить!), Победоносцев (осторожно, без комментариев) спешит довести его негодование до сведения Достоевского. А первый публикатор Речи Катков «за глаза» над ней *смеётся*. Для них всех Речь — «не событие».

Событием Пушкинская речь была для России.

«Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими», — говорит автор Речи. Слово «фантастический» произнесено вновь.

Фантастическим Алеко и Онегину, людям, порождённым фантастическим ходом отечественной истории, противополагается «русское решение вопроса». Но это решение, по собственному признанию Достоевского, тоже оказывается *фантазией*.

Крайности сходятся.

«Сон смешного человека», эта грустная и красивая утопия, названа «фантастическим рассказом». Но точно так же именуется и «Кроткая», в основе которой лежит реальнейшая бытовая драма.

---

* Из переписки К.Н. Леонтьева. С предисл. и примеч. В.В. Розанова // Русский вестник. 1903. Май. С. 176. К.А. Иславин писал Достоевскому: «Михаил Никифорович, просматривая корректуры вашего очерка, стеснялся изменять некоторые, как вы выражаетесь, «шероховатости слога и лишние фразы», вырвавшиеся у вас наскоро; он теперь даже жалеет, что не исправил их...» (НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 58). Вспомним, что в своё время Катков «запросто» позволял себе править текст «Преступления и наказания» (см. подробнее: *Волгин И.Л.* Пропавший заговор. М., 2000. С. 118–120.). Можно предположить, что сожаление Каткова распространялось не только на стилистические погрешности Речи. Ср.: «Но о парадоксах мы умалчиваем. Какое наше право не клонить головы перед кумиром дня?» (*Хрущов И.* Впечатления одного депутата на открытии памятника Пушкину // Берег. 1880. 10 июля).

Пушкинская речь имеет строгий жанровый подзаголовок: «Очерк». Её автор мог бы смело добавить: «фантастический».

«Если наша мысль есть фантазия, — ещё раз повторим слова Достоевского, — то с Пушкиным есть по крайней мере на чём этой фантазии основаться».

Пушкин — последний (и, может быть, единственный) *аргумент* Пушкинской речи. Ибо он — самое фантастическое из всего, что породила русская действительность. И тот же Пушкин — её высшая реальность.

«Тьмы низких истин...» — сказал Пушкин.

Из главы XV

РАЗВЯЗКА С ТУРГЕНЕВЫМ

Вечные соперники

Лев Толстой в Москву не явился (как выразился современник, он «блистал» своим отсутствием). Был упущен великий шанс: историческое *свидание трёх* так и не состоялось. Оставались двое: они сошлись в Москве, не ведая, что сходятся в последний раз.

Имеет смысл остановиться на событиях «по второму заходу»: с точки зрения этого финала.

Оба они готовились самым тщательным образом: Тургенев уезжает в Спасское-Лутовиново, Достоевский — в Старую Руссу. Вдали от мирской суеты трудятся они над своими текстами: каждый отлично понимает, что именно его слово сойдётся со словом соперника один на один.

Да, именно им будут принадлежать главные роли. Уединясь — один в своем родовом поместье, другой — в недавно приобретённом (первом и единственном в жизни) собственном доме, — уединясь, они, очевидно, не могут целиком унестись в горние области духа: они не могут не думать о встрече.

Их недавние петербургские контакты — достаточно редкие — прошли сравнительно гладко: во всяком случае, не случилось ничего, подобного прошлогоднему «обеденному инциденту». В последний момент ситуация, правда, омрачилась историей с каймой — но тут формальным виновником представал автор «Замечательного десятилетия». («Приехал и Анненков, — сообщает Достоевский Анне Григорьевне, — то-то будет наша встреча».)

Возможная встреча с Анненковым волнует его исключительно в личном плане; диалог с Тургеневым — ещё и в общественном. Не-

обходимо противостоять «враждебной партии», ибо она «(Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность». Тургенев окружён друзьями и единомышленниками: тем более трудной представляется задача.

«Интриги» продолжаются на самом празднике. Участники торжеств «случайно» сходятся у Тургенева, а его, Достоевского, на это предварительное совещание не приглашают: «Стало быть, меня прямо обошли».

Их первая встреча, надо полагать, произошла 3 июня. «Тургенев со мною был довольно мил...» — лаконически докладывает он Анне Григорьевне. Так; но отчего вдруг приятель Тургенева, Ковалевский («...большая толстая туша и враг нашему направлению»[*]), столь пристально его разглядывает? Очевидно, не к добру[**].

Сам Тургенев «довольно мил» — и это, по крайней мере, свидетельствует о том, что они разговаривают, общаются. Поэтому следует признать ошибочным утверждение одного из мемуаристов (Д.Н. Любимова, сына редактора «Русского вестника») о полном отсутствии между ними дипломатических отношений.

Впрочем, приводимый воспоминателем анекдот весьма характерен.

В Москве, пишет Любимов, много говорили «о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым». Распорядители праздника были в отчаянии, «и Д.В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались (в Петербурге, как помним, эти функции выполнял Я.П. Полонский. — *И. В.*). На рауте в Думе вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошёл в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же отвернулся и стал смотреть в окно. Григорович засуетился

---

[*] Ср. с малоизвестными воспоминаниями К.А. Тимирязева (о М.М. Ковалевском): «Живо помню, каким негодованием сверкали его всегда добрые глаза, когда он мне кивал головой на Достоевского, закончившего свою речь словами: «Что могу я прибавить к отзыву о Пушкине самого умного, лучшего из его современников — императора Николая?» Сказано это было, добавляет мемуарист, очевидно, для того, чтобы насладиться беспомощностью оппонентов — невозможностью для них «ответить на этот вызов» (См.: *Тимирязев К.А.* Избр. соч. Т. 2. М., 1957. С. 548). Заметим, что в Пушкинской речи нет ничего похожего на «процитированное» воспоминателем утверждение; ни малейшего намёка на него не обнаруживается также ни в одном известном источнике. Может быть, имелись в виду слова Достоевского, произнесённые на одном из обедов, и не имел ли в виду Достоевский фразу, приписываемую императору Николаю Павловичу, — о Пушкине как «умнейшем человеке в России» (если нечто подобное действительно было им произнесено)?

[**] Переписка. С. 326, 328, 337, 340.

и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдём, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». — «Ну, если это такая же, как эта, — ответил Тургенев, указывая на Достоевского, — то, пожалуйста, уволь...»[*] [**].

Даже если Любимов приводит подлинную фразу Тургенева, нельзя сомневаться, что произнесена она была за спиной адресата этой шутки: он вряд ли оценил бы тургеневский юмор.

Сам Достоевский тоже описывает «раут в Думе». «Подходил ко мне Островский — здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы»[***].

Замечательно, что все перечисленные лица — самостоятельные «партии»: сколько людей, столько и партий.

Важны не столько убеждения, сколько сам человек.

Тургенев может быть или не быть с ним любезным. То или иное поведение — вопрос тактики. Но он уже не изменит своего мнения об авторе «Дыма». Оно сложилось прочно и — навсегда.

В декабре 1879 года говорено одному знакомому (последний занёс эти слова в свой дневник): «Он (то есть Иван Сергеевич) по самой своей натуре сплетник и клеветник... Он... всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал».

«Презрительная снисходительность» — вот обида, затаённая ещё с молодых лет и с годами только укрепившаяся в своей уязвлённой правоте. Конечно, теперь Тургенев не позволит себе явной бестактности. Однако за глаза он не стесняется в выражениях, именуя, например, «Подростка» кислятиной и больничной вонью, никому не нужным бормотанием и психологическим ковырянием.

«Кислятиной» роман Достоевского назван в 1875 году в письме к Салтыкову-Щедрину, вместе с Некрасовым публикующему этот роман в «Отечественных записках». Впечатление, производимое «Преступлением и наказанием», сравнивается с продолжительной холерной коликой. Тургенев жалуется Я.П. Полонскому: «Дают нам каких-то больных людей, грязных оборвышей, юродивых или про-

---

[*] Этот «анекдот» по типу совершенно аналогичен другому, уже приводившемуся. На вечере 9 марта 1879 года Тургенев, уязвлённый враждебным отношением к нему Достоевского и Салтыкова, демонстративно замечает: «Здесь что-то холодно!»

[**] Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 161.

[***] Переписка. С. 343

сто безумных развратников; водят нас в какие-то лачуги, с удовольствием описывают вонь и грязь, при одной мысли о которой начинает тошнить, и приказывают нам всем этим интересоваться, любить этих уродливых людей. Да я просто ничего этого не хочу, мне ничего этого не надо...»[*]

Тургенев осторожен: имя Достоевского не названо (у Полонского в это время присутствует посторонний), однако все прекрасно понимают, о ком идёт речь.

Тургенев не приемлет Достоевского как художника, не отрицая, впрочем, его бесспорного литературного дара. Со своей стороны Достоевский, ценя Тургенева как писателя («А талантом его Бог не обидел: может и тронуть и увлечь»), ставит под сомнение то, что, по его мнению, должно составлять главную суть художества.

Он полагает, что даже в лучших вещах Тургенева присутствует некая преднамеренность. «Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актёрская: «Смотрите, мол, как я умею чувствовать».

Их мнения друг о друге пристрастны и несправедливы.

Уже одно то, *как* они говорят, затронув больную тему, выдаёт стойкую взаимную неприязнь. Достоевский «сильно нервничал, то двигая как бы непроизвольно руками, то передвигая бумаги на столе». «Только под конец, — замечает его собеседник, — несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка». В свою очередь Тургенев судит о сопернике «громко, даже чуть-чуть с привизгом», тоном, в котором звучат «нотки личной обиды»[**].

Да, в напряжённости и резкости их взаимоуничтожающих оценок заключено не одно лишь эстетическое отталкивание. Под подозрением находятся моральные качества оппонента.

Знал ли Достоевский о тургеневских отзывах? Несомненно: круг, где они произносились, достаточно узок, и к этому кругу принадлежат они оба. Более того: Достоевский убежден, что Тургенев является не только распространителем, но и источником порочащих его пересудов и клевет.

Но, может быть, подозрения Достоевского вызваны всё той же мнительностью и зиждутся на предположениях вовсе не основательных?

Это не совсем так.

---

[*] *Опочинин Е.Н.* Беседы с Достоевским (Записки и припоминания) // Звенья. Т. 6. М.; Л., 1936. С. 457.

[**] Там же. С. 458, 475, 476.

19 июля 1880 года (то есть через месяц после Пушкинских торжеств) А.А. Киреев записывает в дневнике: «Тургенев — совершенный *ramolli*, делает гадости, позволяет всякой дряни (вроде редакции «Голоса») злоупотреблять его именем в борьбе с Достоевским, про которого эта партия чёрт знает что рассказывает»[*]. В свете подобных свидетельств резкости и преувеличения со стороны Достоевского (а сторона эта порою действительно сильно преувеличивает) если и не извинительны, то, по крайней мере, понятны.

Их личное и идейное противостояние достигает на Пушкинском празднике своей высшей точки.

«Он со злобою удалился...»

Описывая «потрясающие, восторженные рукоплескания», которые раздались в честь избрания Тургенева почётным членом Московского университета, Страхов добавляет: «Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопляющийся энтузиазм». Его чествовали как главного посланца русской литературы. «И так как Тургенев, — продолжает Страхов, — был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль в предстоявшем умственном турнире»[**].

Когда после открытия памятника Тургенев садился в коляску, ему, прямо на площади, «сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина»[***].

Сев в коляску, Тургенев проследовал с Тверской площади на Моховую, где его ожидал уже описанный нами министерский поцелуй.

Выше этой точки общественная температура вокруг Тургенева уже не поднималась.

Был ли Достоевский свидетелем тургеневского триумфа, всего на два дня опередившего его собственный, ещё более могущественный? Подобный вопрос никогда не возникал: присутствие Достоевского считалось само собой разумеющимся.

Позволим себе в этом усомниться.

Накануне открытия, сообщая Анне Григорьевне о предстоящем дне, он сетует на крайнюю уплотнённость программы, исполнение которой требует немалых физических усилий. «Представь себе,

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 515.
[**] Биография... С. 307 (первая пагинация).
[***] Звенья. Т. 1. С. 467.

что открытие памятника будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится церемония и начнётся акт в Университете». И добавляет в скобках: «но, ей-богу, не буду»[*].

«Не будет» не из-за неуважения к учреждению, а потому, что после этой церемонии предстоит ещё обед в Думе, а затем он, «усталый, измученный, наевшийся и напившийся, должен читать монолог Летописца (из «Бориса Годунова». — *И. В.*) — самый трудный к чтению, требующий спокойствия и обладания сюжетом».

В интервале между церемонией открытия и думским обедом он решает позволить себе небольшой роздых.

Это предположение подтверждается тем, что в письме от 7 июня, описывая предшествующий день, он ни словом не обмолвится об акте в Университете. Но зато подробно говорит о вечерних чтениях, где он выступал вместе с Тургеневым и был принят восторженно. Между тем по своей значимости университетский триумф Тургенева важнее вечерних чтений. И если всё же событие это осталось не отмеченным таким ревнивым наблюдателем, как Достоевский, то отсюда должно следовать, что он не присутствовал при сём лично[**].

Относительно знаменитого думского обеда (где говорил Катков и закрывал свой бокал Тургенев) таких сомнений не возникает. Но попробуем взглянуть на эту трапезу ещё с одной стороны.

Неизвестный воспоминатель (наш знакомец Одиссей, поспешивший отметиться к двадцатипятилетию со дня смерти писателя), повествуя о думском обеде, замечает, что на нём Достоевский проявил «черту болезненного самолюбия, свойственную многим крупным талантам». В чём же, по мнению Одиссея, заключалась эта черта?

Распорядители застолья «отвели место Достоевскому за первым столом, но несколько подальше от центра. Он заплакал и категорически заявил, что не сядет *ниже* Тургенева, и тот любезно уступил ему место, подвинувшись к Стасюлевичу»[***].

Это, пожалуй, слишком — даже для Достоевского. Представить автора «Карамазовых» проливающим слёзы из-за того, что его обошли местом, хотя и соблазнительно, но всё-таки трудно. Картина эта вызывает тем большее недоверие, что обозначенный в ней Стасюлевич, к которому якобы «подвинулся» Тургенев, мог в действительности находиться от него на некотором отдалении, а именно — в Петербурге.

---

[*] Переписка. С. 342.

[**] Заметим также, что присутствие Достоевского на университетском акте не отмечено также ни в одном из известных нам источников.

[***] Петербургская газета. 1906. 29 января.

Но если Одиссей самолично присутствовал на обеде, очевидно, его ретроспекции покоятся на какой-то фактической основе. Возможно, Достоевский и в самом деле был чем-то огорчён. Чем же?

На этот вопрос помогает ответить другой, гораздо более достоверный источник.

13 июня 1880 года, т. е. всего через день после возвращения из Москвы в Старую Руссу, Достоевский отправляет следующее послание.

«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, — пишет он. — Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее моё уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня, знакомства нашего»[*].

У него случались такие внезапные *приливы*. Впервые увиденный им человек (особенно женщина) мог чем-то поразить его воображение. Какая-то неуловимая черта могла глубоко запасть ему в душу — и он отзывался благодарностью, симпатией, приязнью.

Так произошло и ныне. Вера Николаевна — жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи (по его заказу Перов написал в своё время знаменитый портрет). Она отметила в дневнике: «На обеде... познакомилась с Достоевским... который сразу как бы понял меня, сказав, что он верит мне, потому что у меня и лицо и глаза добрые, и всё то, что я ни говорила ему, всё ему было дорого слышать как от женщины».

Его поражает доброта. В своем письме он называет тридцатишестилетнюю В.Н. Третьякову «прекрасным существом».

Вера Николаевна продолжает: «Собирались мы сесть вместе за обедом, но, увидев, что я имела уже назначенного кавалера, Тургенева, он со злобою удалился и долго не мог угомониться от этой неудачи»[**].

Его можно понять. Только он ощутил прилив острого интереса к человеку, к женщине, которая среди окружавших его и не очень близких ему людей расположила его к себе с первого взгляда, только настроился на душевную беседу, как его соперник, вечный баловень судьбы, вновь заявил свое присутствие и лишил его этого невинного удовольствия.

Было отчего «со злобою» удалиться[***].

---

[*] *Боткина А.П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М.,1951. С. 217.

[**] Литературное наследство. Т. 86. С. 124.

[***] В.Н. Третьякова говорит, что Тургенев был её «назначенным» кавалером. «Назначение», очевидно, исходило от одного из хозяев обеда — московского городского

Уж не эту ли сцену имеет в виду таинственный Одиссей? В его памяти могло сохраниться заметное постороннему глазу неудовольствие Достоевского, которое теперь, через двадцать пять лет, объясняется как следствие необходимости сесть «ниже» Тургенева.

Между тем автор «Дыма» занимал свою соседку беседою вполне светскою. Замечательно, что, поместившаяся рядом с Тургеневым (и, следовательно, напротив Каткова), она ни словом не упоминает о знаменитом тургеневском жесте с бокалом: эти материи её, очевидно, не интересуют.

С кем разговаривал в это время «удалившийся» Достоевский, мы можем только гадать. Но вскоре он был вознаграждён.

«Во время обеда, — пишет Вера Николаевна, — я вспомнила о Достоевском и желала дать ему букет лилий и ландышей с лаврами, который напоминал бы ему меня — поклонницу тех чистых идей, которые он проводит в своих сочинениях...» И, поднявшись из-за стола, она исполняет своё намерение.

«Он обрадовался им (цветам. — *И. В.*) потому, что я вспомнила о нём за обедом, сидевши рядом с его литературным врагом — Тургеневым».

Вера Николаевна тонко понимает ситуацию. И чисто по-женски пытается всё сгладить, утрясти, наладить, вернуть своему собеседнику хорошее расположение духа. Ей это наконец удается. «Он нервно мялся на одном месте, выговаривая всё своё удовольствие за внимание моё к нему...» Он намеревается поцеловать ей руку, хотя тут же замечает, что это не принято в большом собрании, «но всё-таки, пройдя шагов пять, поцеловал мне руку с благодарностью...»[*].

Выше мы приводили слова его дочери о том, что он не любил оказывать женщинам подобные знаки внимания. По-видимому, бывали исключения.

Если иметь в виду, что обед в Дворянском собрании начался в шесть часов вечера и длился примерно до девяти и что значительную часть этого времени В.Н. Третьякова провела за столом рядом с Тургеневым, получается, что их общение с Достоевским было не столь продолжительным. И всё-таки он напишет ей о своём глубочайшем уважении, которое он «когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей»[**].

Уважение тоже бывает с первого взгляда.

головы С.М. Третьякова, родного брата мужа Веры Николаевна (сам муж отсутствовал по болезни). Такое подчёркнутое внимание к почётному гостю могло лишний раз покоробить Достоевского (ведь для него самого не удосужились «назначить» даму).

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 125.

[**] *Боткина А.П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. С. 217.

Больше они никогда не встретятся. Но он этого не знает. И, поцеловав Вере Николаевне руку, он направляется в главное помещение Дворянского благородного собрания (известное ныне как Колонный зал Дома союзов), где нетерпеливо шумит публика, ожидающая своих любимцев.

Апофеоз при электрическом свете

Он проходит к эстраде, «странно съёжившись», может быть, чувствуя себя не очень ловко под взглядами сотен устремлённых на него глаз. В отличие, скажем, от Тургенева, который ощущал себя как рыба в воде и, по свидетельству очевидца, «стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно пред другими писателями, находившимися в зале...»[*].

Это ему вполне удалось. Ибо ни Николай Рубинштейн, дирижировавший оркестром, ни знаменитые вокалисты, потрясавшие своими руладами своды Собрания, ни даже любимцы обеих столиц драматические актеры Горбунов и Самарин — нет, не они составляли главный предмет зрительских восторгов. «И опять Пушкин сливается с Тургеневым»[**], — замечает мемуаристка, поведавшая нам о «странно съёжившемся» Достоевском.

Тургенев чувствовал настроение зала. Он прочёл стихотворение Пушкина (видимо, это было «Вновь я посетил...») — и «публика ясно поняла намерения чтеца применить к самому себе те чувства, которые испытал когда-то Пушкин»[***]. («...Прескверно прочёл...»[****] — сообщает Достоевский Анне Григорьевне. «Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шепелявость (вспомним язвительное: «Старичок-то пришепётывает!» — *И. В.*) и слишком высокий голос, завораживающее»[*****], — не соглашается с Достоевским одна из слушательниц.)

Тургенева вызывали семь раз. «Больше меня»[******], — ревниво отмечает его соперник, не ведая, что это обстоятельство не укрылось и от агента III Отделения, донёсшего куда следует: «Других наших литературныхизвестностейвстречалисгораздобольшимспокойствием»[*******].

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 502.
[**] Звенья. Т. 1. С. 467.
[***] Литературное наследство. Т. 86. С. 503.
[****] Переписка. С. 344.
[*****] Звенья. Т. 1. С. 468.
[******] Переписка. С. 344.
[*******] Октябрь. 1937. № 1. С. 277.

Публика неистовствовала — и Тургенев, выйдя к краю рампы, «голосом, в котором слышалось волнение»*, прочитал пушкинское «Последняя туча рассеянной бури...»:

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась и буря промчалась... —

стихи, как нельзя более подходившие к настроению момента.

Современник так живописует сцену: «Довольно!» — раздался энергичный вызов чтеца. Вся зала, как один человек, грянула «браво»**.

Странные, однако, бывают сближения. Один из героев «Бесов», знаменитый писатель Кармазинов (как известно — злая пародия на Тургенева)***, позорно проваливается, читая на вечере своё произведение «*Merci*»: в последнем в свою очередь были спародированы некоторые мотивы тургеневского рассказа «Довольно». Но вряд ли кому-либо из присутствовавших в зале пришла на ум эта неуместная аналогия.

Ещё менее вероятно, чтобы кто-либо из зрителей, потенциальных читателей «Бесов», соотнёс известную сцену этого романа — «кадриль литературы» — с той торжественной церемонией, которой завершился литературный вечер 6 июня.

Церемония эта (именовавшаяся в афише апотеозом) носила подчёркнуто аллегорический характер. «При соединённых звуках оркестра и хора взвился занавес, и глазам публики представился бюст Пушкина на невысоком пьедестале, поставленном посреди сцены».

Бюст утопал в зелени и был освещён ярким электрическим светом: сиянию славы основоположника новой русской литературы по мере сил способствовали последние достижения технического прогресса.

Некоторое время сцена оставалась пуста; затем из-за боковой кулисы вышли оперные певицы, а за ними гуськом потянулись известные русские писатели — Тургенев, Островский, Достоевский, Писемский, вперемежку с менее известными Потехиным и Юрьевым и уж почти никому не известными Максимовым и Поливановым.

---

* Литературное наследство. Т. 86. С. 503.

** Торжества открытия памятника А.С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 года с биографиею А.С. Пушкина. М., 1881. С. 37.

*** Можно предположить, что аналогия Кармазинов — Тургенев прочно укоренилась в читательском сознании. Об этом, в частности, свидетельствует не слишком остроумная, но выразительная эпиграмма 1870-х гг.: «О Кармазинов вековечный, / Готов любовь ты воспевать, /А сам годишься, друг сердечный, / Песком дорожки посыпать.» (Звенья. Т. 6. С. 468)

«Каждый из вышепоименованных нёс с собой венок, который клался им к подножию пушкинского бюста».

По свидетельству очевидца, перед началом этого «номера» в публике «заметно было нетерпеливое и любопытное ожидание». Повидимому, не меньшее, чем на балу в «Бесах»: там весь город толкует о предстоящем литературном «шоу».

Ещё деталь: в «Бесах» идею «кадрили литературы» городская молва приписывает Кармазинову, который «даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную роль». И ныне именно Тургеневу, по убеждению присутствовавших, принадлежала сама мысль об «апотеозе». И именно он берёт на себя некую *особую* роль.

В отличие от «кадрили» в «Бесах», церемония в Благородном собрании была встречена бурными рукоплесканиями. Аплодировали, впрочем, не все.

«...Апотеоз этот, — записывает современник, — вышел, по крайней мере, по моему личному впечатлению, несколько комичен».

Пока Н.Г. Рубинштейн, размахивая дирижёрской палочкой, управлял оркестром и невидимым хором, участники церемонии выстроились позади Пушкина (по словам того же очевидца, «глупо глядя на публику»). Венки, как было сказано, слагались к подножию бюста. «Один только Тургенев, подойдя к бюсту, увенчал своим венком главу Пушкина».

В этом заключалась его особая роль.

Нам неизвестно, как отнёсся Достоевский к «апотеозу» и к своему в нём участию. Не посетила ли его мысль об удивительной судьбе его романных фантазий? О странных сближениях сюжетов — вымышленных и реальных, об их перевоплощениях и нечаянных встречах? Не волновала ли его пугающая способность угадки — тех событий, с которыми ему ещё предстояло столкнуться в будущем: казнь в «Идиоте» — и казнь Млодецкого, «кадриль литературы» — и московский «апотеоз»?

«Высокая фигура Тургенева, с его внушительной седою головой особенно выделялась в среде писателей, допущенных на сцену... Максимов, Потехин и прочая литературная мелкота самодовольно улыбались на этом самодельном Олимпе. Даже скромная фигура Достоевского как-то стушевалась перед видным станом Тургенева, выступившего несколько вперёд и усерднее других кланявшегося в ответ на восторженные приветствия».

Трезвому скептическому наблюдателю (археологу М.А. Веневитинову) не нравится этот спектакль. Ибо литераторы не столько

чествуют Пушкина, сколько исполняют роли статистов при Тургеневе. «Апотеоз... — добавляет он, — как-то не вязался с представлением об обыкновенной скромности наших доморощенных писателей и с простотою русского человека...»[*].

Но такова была атмосфера этого праздника, где главные участники «волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение». Страхов рассказывает, что две его знакомые дамы, приехавшие из Петербурга («большие поклонницы просвещения и литературы»[**]), горько жаловались ему, что они просто не узнают знакомых литераторов, настолько те стали вдруг надменными и поглощёнными собой.

Страхов не поясняет, кого именно имели в виду вышеупомянутые дамы. Но «надменность» плохо вяжется со «странно съёжившимся» Достоевским.

В конце вечера он должен был «съёжиться» ещё больше. И не только потому, что соперник обошёл его по «сумме оваций». Его насторожило другое.

«За кулисами, — сообщает он Анне Григорьевне, — ...я заметил до сотни молодых людей, оравших в исступлении, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры, *claque*, посаженные Ковалевским»[***].

Он, конечно, преувеличивает. Энтузиазм был искренний. Но ведь недаром объясняет ему Иван Аксаков, что клакеры — это студенты Ковалевского («все западники»); они «заготовлены» заранее, чтобы «выставить Тургенева как шефа их направления». И именно поэтому Аксаков на следующий день откажется читать свою речь после Тургенева.

В антракте Достоевский прошёлся по зале — и «бездна людей, молодёжи и седых дам бросались ко мне, говоря: вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли Карамазовых. (Одним словом, я убедился, что “Карамазовы” имеют колоссальное значение.)[****]»

Незнакомые люди «толпами» приходят к нему за кулисы — пожать руку. Его обступают на лестнице при разъезде. В общем, он не может пожаловаться на отсутствие интереса к его особе. Он явно несправедлив к сопернику: сам он любим, пожалуй, не меньше.

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 503–504.
[**] Биография... С. 309 (первая пагинация).
[***] Переписка. С. 344.
[****] Там же. С. 345.

Тут автору следует остановиться. Ибо он как бы различает упрёк, что в его книге наличествует явное недоброжелательство к Тургеневу и «перекос» в пользу Достоевского.

Автора огорчило бы подобное предположение. Ему не хотелось бы специально разъяснять, что его собственное отношение к творцу «Отцов и детей» не совпадает с точкой зрения его героя. Но он, автор, как уже говорилось, вовсе не претендует на то, чтобы блюсти заслуженную его персонажами меру академических воздаяний. Именно глубокое уважение к ним повелевает автору не подгонять историю «в пользу» литературы. Он надеется на читательские объективность и понимание. Он в первую очередь озабочен тем, чтобы рассказать правду: уловить скрытую пульсацию взаимных симпатий и антипатий, разобраться в глухом борении страстей — общественных, литературных и личных. Подобная задача требует не только ретроспективных созерцаний, но и взгляда *изнутри*.

«Перестаньте, — советовал Г.К. Честертон, — хоть на время читать то, что пишут живые о мёртвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди»*.

Последуем этому совету — и вернёмся к июньским дням 1880 года.

Главные баталии были ещё впереди.

«Речь была встречена холодно...»

В час дня 7 июня зал, бывший вчера свидетелем литературных чтений, вновь наполнился возбуждённой толпой. На эстраде, затянутой красным сукном, высился бюст Пушкина: он был покрыт венками вчерашнего «апотеоза».

Писатели, среди которых находился и Достоевский, поместились на эстраде.

Первое заседание Общества любителей российской словесности открыл его председатель С.А. Юрьев. Вслед за ним на кафедру взошёл делегат Французской республики Луи Леже (или, как писали газеты, — Лежар). Он прочёл свою речь по-русски, хотя и с сильным акцентом.

Лежара встречали восторженно: присутствие иностранного гостя на национальных торжествах как бы сообщало им важность события европейского.

Впрочем, внимание Европы к московским торжествам этим не ограничилось. Были оглашены письма от немецкого романиста

* *Честертон Г.К.* Пять эссе // Прометей. Т. 2. М., 1967. С. 299.

Бертольда Ауэрбаха, от Виктора Гюго (он выражал сожаление, что по многочисленности занятий не может присутствовать в Москве лично, но заверял, что мысленно он там) и от английского поэта Альфреда Теннисона.

Все три письма были на имя Тургенева*.

Среди присутствующих в зале писателей один Тургенев был более или менее известен на Западе; он один имел давние и устойчивые связи с зарубежным литературным миром. Для большинства европейских литераторов именно Тургенев являлся крупнейшим представителем русской словесности.

Достоевский, конечно, осведомлён об этом обстоятельстве. В декабре 1879 года он говорит одному своему знакомому, что Тургенев желает, чтобы его превозносили и дома, и за границей. «Для этого и к Флоберу пролез, и ко многим другим, — желчно добавляет Достоевский. — Ну а для публики такая дружба хороший козырь. "Я-де европейский писатель, не то что другие мои соотечественники, — дружен, мол, с самим Флобером"»**.

Он опять несправедлив — и к Тургеневу, и к Флоберу. Сам он не знаком ни с кем из европейских знаменитостей (и вообще ни с кем из иностранных литераторов), и не исключено, что это вызывает у него тайную досаду.

... Долгожданный момент наступил: после перерыва на кафедру поднялся Тургенев. «Не нужно говорить... — замечает хроникёр, — какую бурю вызвало это появление»***. Речь Тургенева, блестящая по форме, адресовалась, как это признавал впоследствии М. Ковалевский, «более к разуму, нежели к чувству». Воздав должное великим заслугам Пушкина, Тургенев высказал некоторое сомнение относительно того, можно ли считать автора «Евгения Онегина» поэтом национальным (и, следовательно, всемирным), как Гомера, Шекспира, Гёте. Этот вопрос, осторожно добавил он, «мы оставим пока открытым».

«Речь была встречена холодно, — вспоминает М. Ковалевский, — и эту холодность ещё более оттенили те овации, предметом которых сделался... Достоевский»****.

---

* Ср.: «Кто-то, кажется, И.С. Тургенев, предложил послать благодарственные телеграммы западноевропейским литераторам — В. Гюго, Ауэрбаху и Теннисону... Но так как эти письма вместе с приветствиями содержали в себе и вежливый отказ от личного участия в нашем торжестве, то предложение это по всей справедливости было отклонено» (Древняя и новая Россия. 1880. Июнь. С. 8).

** Звенья. Т. 6. С. 457.

*** Венок на памятник Пушкину. Москва, 1880. С. 47.

**** Минувшие годы. 1908. № 8. С. 13.

В свою очередь, Страхов говорит, что тургеневское выступление породило у некоторых участников торжества чувство неловкости и «кто-то успел написать даже насмешливые стихи — конечно, не для публичного чтения»[*].

Разумеется, готовя собственную речь, Достоевский ничего не знал о тургеневском тексте. Но вновь — в который раз! — получалось так, что его воззрение сталкивалось с тургеневским: завтра, 8 июня, он ответит на вопрос о всемирности Пушкина.

В письме домой он упомянет о речи своего главного оппонента мимоходом, одной фразой в скобках (Тургенев «унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта»)[**]: Анну Григорьевну волнует не столько тургеневское мнение о Пушкине, сколько ход нынешнего соперничества.

А.Н. Майков тоже писал из Москвы письма супруге. Перечисляя различные эпизоды праздника, он замечает, что «изо всего этого лучше всего были обеды»[***].

Очередной обед предстоял вечером 7 июня.

Меню как исторический источник

Он давался в залах всё того же Дворянского собрания, но в отличие от вчерашнего, думского, носил чисто литературный характер. Устроителем было Общество любителей российской словесности; платили на сей раз сами обедающие — в складчину.

Прежде чем перейти к духовным аспектам этой литературной трапезы, позволим остановиться и на её гастрономической стороне. Тем более что в бумагах Достоевского сохранился один любопытный (и вполне исчерпывающий тему) документ, а именно — обеденное меню.

---

[*] Биография... С. 309 (первая пагинация). Сам Страхов не приводит этих стихов. Однако у нас есть возможность воспроизвести их и указать имя автора. Они принадлежат писательнице Ольге Андреевне Голохвастовой (Достоевский называет её в числе своих почитательниц) и цитируются в одном мемуарном источнике:

Но чтоб нам не возгордиться,
О себе не возмечтать,
Поспешим оговориться,
Что не след нам торопиться
Пушкина великим звать...

(*Нелидова Л.* Памяти Тургенева // Вестник Европы. 1909. Сентябрь. С. 235.)

[**] Переписка. С. 344–345.

[***] Временник Пушкинской комиссии 1975. Ленинград, 1979. С. 51.

Теперь этот плотный, глянцевитый, изящный лист, который Достоевский когда-то держал в руках, находится в отдельной папке и имеет собственный архивный номер. Меню украшено роскошной, как любили тогда выражаться, виньеткой: под бюстом Пушкина красавица в русском наряде ставит на стол, и без того ломящийся от яств, нечто похожее на поднос с пирогами. Тут же обретается и муза в античном одеянии — натурально, с лирой и кубком.

Пушкинские стихи, начертанные чуть выше, также приличествуют случаю:

Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!

(Пушкин, впрочем, годился на *все* случаи: ведь именно этими стихами закончил вчера Катков свою «примирительную» речь!)

Однако обратимся *к тексту*.

«Суп: Пюре из шампиньонов и
Претеньер Империаль
Пирожки
Осётры разварные
Филей Ренессанс. Соус Мадера.
Жаркое: дичь молодая и цыплята.
Салат Лутук и огурцы
Спаржа. Соусы: Голландский и Польский
Султан глясе *á la* Пушкин
Чай и кофе»[*].

Привередливый хроникёр замечает, что «со стороны обстановочной роскоши»[**] это торжество значительно уступало думскому обеду. Осмелимся всё же предположить, что никто из двухсот двадцати трёх обедавших гостей не поднялся из-за стола с чувством голода.

Но внимание Достоевского способны были привлечь не только поименованные в меню блюда, некоторые из которых нам, признаться, вообразить затруднительно. Он не мог не заметить подписи, стоявшей под виньеткой: К.А. Трутовский.

Это — имя его старого товарища, соученика по Инженерному училищу. Карандашу Трутовского принадлежит первый (1847 года) и пока единственный известный портрет молодого Достоевского: мягкий овал чуть опушённого лица, спокойный и в то же время неуловимо напряжённый взор, платок, повязанный вокруг шеи...

[*] НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 4. Ед. хр. 14.
[**] Венок на памятник Пушкину. С. 52.

Во время Пушкинских дней они виделись мельком и — в последний раз.

Пора, однако, перейти к невещественной стороне обеда.

Заблуждение Луи Лежара

«...Это была, — повествует восторженный наблюдатель, — блестящая трапеза ума, чувства и остроумия, сплошной звон товарищеских, инстинктивно тянувшихся друг к другу бокалов...»

Действительно, на сей раз ничто не мешало бокалам «инстинктивно» тянуться друг к другу: Катков отсутствовал, и не было надобности загораживать пиршественную чашу презрительною ладонью.

Отсутствовали и представители власти. Их функции взял на себя Юрьев, провозгласивший непременный тост — «за Того, Чьим велением сбылось задушевное желание поэта видеть народ освобождённым и Кто дал нам возможность соорудить этому поэту памятник»*.

Впрочем, Юрьев не ограничился предложением поднять бокалы за здоровье государя. Не менее горячо почтил он и другое значительное лицо: посланца прекрасной Франции.

Ученый-славист Луи Леже был зван на празднество Тургеневым, рядом с которым он сейчас и поместился. В своих позднейших «Воспоминаниях славянофила» он упомянет об этом обеде и среди прочих назовет Достоевского, «чьи глубоко посаженные глаза и сведённое судорогой лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами мятущийся гений, и о перенесённых им долгих испытаниях»**.

Приходило ли когда-нибудь на ум автору этих воспоминаний, что подмеченная им судорога в лице «мятущегося гения» имела самое прямое касательство к нему, Луи Лежару, и свидетельствовала не столько «о перенесённых долгих испытаниях», сколько о страданиях, именно в данный момент переносимых?

Разумеется, ни о чём подобном он не подозревал. Между тем у нас есть основание полагать, что дело обстояло именно так.

Поздним вечером 9 июня, накануне отъезда Достоевского из Москвы, его посетила М.А. Поливанова (речь о которой ещё впереди). Во время их беседы в номер зашёл С.А. Юрьев. Выяснилось, что он пригласил Достоевского в этот день к себе на обед, но тот его не застал, так как сам Юрьев предпочёл отобедать у Поливановых.

---

* Венок на памятник Пушкину. С. 52–53.

** *Souvenirs d'un Slavophine.* P., 1905. P. 127.

Юрьев пытался загладить неловкость, а Достоевский его успокаивал, говоря, что ведь не нарочно же Юрьев «убежал» из дома.

М.А. Поливанова, записавшая эту сцену, приводит следующий диалог:

« — Не могу не любить этого человека, — говорил он (Достоевский. — *И. В.*). — На депутатском обеде ведь совсем рассердился на него. Если бы вы слышали, Марья Александровна, как он унижал Россию перед Францией. Французы должное оказали великому русскому поэту, а мы удивляемся этому, носимся и чуть ли не делаем героем дня французского депутата. Я, знаете, даже отвернулся от него во время обеда; сказал, что не хочу быть знакомым с ним.

— Вы всё за фалды меня дёргали, — вставил Юрьев.

— Я хотел Вас остановить, но Вы не обращали внимания. Я очень сердит был, а после обеда не мог, пошёл к нему, и помирился. Не понимает он, что он делает. — Тут оба обнялись и поцеловались»[*].

Достоевский отходчив: он не может долго сердиться на прекраснодушного, многоглагольного, но незлобивого Юрьева.

Между тем у председателя Общества любителей российской словесности имелись личные причины для застольных восторгов. Дело в том, что Луи Леже привёз в Москву весть о том, что правительство его страны в честь праздника удостаивает звания *Officier de l'instruction publique* и высшего знака Золотой пальмы директора Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна, ректора Университета Николая Саввича Тихонравова и его, Сергея Андреевича Юрьева.

«Не есть ли это, — воскликнул в своей речи Юрьев, — свидетельство о сочувствии французского народа к русскому?.. Не есть ли это также свидетельство о высшей цивилизации французского народа?..»

Надо полагать, именно в этот момент Достоевский начал тянуть оратора за фалды и лицо его исказилось той самой «судорогой», которую зорко подметил, но не совсем верно истолковал безмятежный адресат тоста.

Автора «Карамазовых», помимо прочего, могло покоробить ещё и то, что старик Юрьев (он ровесник Достоевского) так распинается перед сравнительно молодым, тридцатисемилетним заезжим гостем.

Очевидно, дёрнув оратора за фалды и не добившись цели, он совсем перестал его слушать. И напрасно: он мог бы уловить в словах

---

[*] *Поливанова М.А.* [Запись о посещении Достоевского 9 июня 1880 г.] // Голос минувшего. 1923. № 3. С. 32.

Юрьева нечто, напоминающее его собственную, ещё не произнесённую речь.

«Если к всемирному братству, — сказал Юрьев, — тяготеет природа духа французского народа... то к тому же тяготеет и стремится природа духа русского народа, но только путями, отличными от путей французских. И быт, и дух русского народа предуготованы к возможному осуществлению этой великой всемирной идеи... Человечность, стремление к братству и общность — вот наша природа»*.

Но, может быть, как раз эти слова Юрьева ещё больше возмутили его соседа? Уж не имел ли в виду оратор ненавистную ему, Достоевскому, идею безликого, стадного, космополитического единения, стирающего национальные личности и придающего всем одинаково тупое выражение довольства? А вовсе не ту жертвенную силу, которую, по мысли автора Пушкинской речи, до поры таит в себе русский человек, желающий стать братом всех людей?..

Меж тем обед шёл своим чередом, и Павел Васильевич Анненков провозглашал тост за здоровье двух оставшихся в живых лицейских товарищей Пушкина: господина Комовского и государственного канцлера Российской империи князя Горчакова (Комовский умрёт через несколько недель, разрешив леденящий душу пушкинский вопрос: «Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придётся одному?» — в пользу восьмидесятидвухлетнего министра иностранных дел).

Да, тост провозглашал Анненков: автор недавно обнародованной сплетни о «кайме» находился в зале.

Вспомним слова Анны Григорьевны о намерении её мужа игнорировать Павла Васильевича в случае их встречи. И в письме от 31 мая Достоевский как будто подтверждает это намерение: «Любопытно, как встречусь с Анненковым? Неужели протянет руку? Не хотелось бы столкновений»**.

Вплоть до 7 июня Анненков (кстати, он, как и Тургенев, был избран почётным членом Университета) в московских письмах более не упоминается. Да и 7-го он упомянут лишь одной фразой: «Анненков льнул было ко мне, но я отворотился».

Отсюда, пожалуй, можно заключить, что рукопожатие все-таки воспоследовало («не хотелось бы столкновений» взяло верх), ибо «льнуть» легче после того, как поздороваешься с тем, к кому

---

* Венок на памятник Пушкину. С. 53–54.

** Переписка. С. 336.

«льнёшь». Возможно, Анненков как-то пытался загладить впечатление от своего мемуарного «прокола», но Достоевский — «отворотился».

Впрочем, приятных встреч было больше.

Он рассказывает Анне Григорьевне, как молодёжь «потчевала» его и «ухаживала» за ним, как ему адресовали «исступлённые речи». «Я не хотел говорить, но под конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я сказал лишь несколько слов, — рёв энтузиазма, буквально рёв»*.

Газеты, подробно изложившие выступления всех ораторов (в том числе самое содержательное — Островского), о «нескольких словах» Достоевского хранят полное молчание.

Однако какие-то слова, по-видимому, всё-таки были сказаны: это можно заключить из воспоминаний одного из участников обеда.

Когда все встали из-за стола, молодёжь столпилась вокруг Достоевского. Ей, молодежи, очевидно, и предназначались «несколько слов», не попавших в газеты, — поскольку они были произнесены уже вне официальных рамок обеда, так сказать, приватно.

Беседуя с обступившими его молодыми людьми, он жалуется на болезнь, на память, на то, что после припадков он порой забывает, о чём говорится в отосланных в редакцию главах романа. «Помолчав, он прибавил: «Напишу ещё “Детей” и умру»**.

Имелось в виду продолжение «Братьев Карамазовых». Дальше он не заглядывал.

Он выходит на улицу — и толпа «без платьев, без шляп» выходит вслед за ним. Его усаживают на извозчика — «и вдруг бросились целовать мне руки — и не один, а десятки людей, и не молодёжь лишь, а седые старики».

Но даже в эту, поразившую его минуту (детальным описанием которой он хочет в свою очередь поразить Анну Григорьевну), — даже в этот момент он не забывает о сопернике. «Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм». (Тургенев, разумеется, тоже присутствовал на обеде: по свидетельству мемуариста, он «много шутил».)

Завтра его «самый роковой день» — и он настороже, ибо «несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что завтра на утреннем чтении на меня и на Аксакова целая кабала». И он готов поверить этим неизвестным доброжелателям, хотя и вынужден

* Переписка. С. 345.

** *Сливицкий А.М.* Из моих воспоминаний о Л.И. Поливанове (Пушкинские дни) // Московский еженедельник. 1908. № 46. С. 43.

признать, что его противники ведут себя по отношению к нему почти безукоризненно. «Ковалевский наружно очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других, провозгласил моё имя, Тургенев тоже»[*].

Завтра он ответит Тургеневу поистине королевским жестом.

Королевский жест и другие движения

Теперь вновь вернёмся в залу Благородного собрания, где мы оставили Достоевского в *его* день — 8 июня 1880 года, между двумя и тремя часами пополудни, когда была произнесена эта едва ли не самая знаменитая в русской истории речь.

«Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от Карамазовых!). Наконец, я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий».

Он объясняет этот энтузиазм причинами чисто литературными: такое объяснение льстит его авторскому самолюбию. Роман ещё не окончен: восторги публики словно бы обязывают его к достойному завершению труда.

«Я читал громко, с огнём»[**], — говорит оратор, и эта бесхитростная самооценка мало помогает понять то, что, к сожалению, утрачено навсегда. Он запнулся только один раз — когда упомянул о пушкинской Татьяне.

«Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе... кроме, пожалуй...» Тут Достоевский, — свидетельствует очевидец, — точно задумался, потом, точно превозмогая себя, быстро: «кроме разве Лизы в “Дворянском гнезде” Тургенева...»[***].

Эта заминка (о которой говорит Д.Н. Любимов) находит точное документальное подтверждение.

В дошедшей до нас рукописи Речи, в той самой тетрадке, о которой упоминают мемуаристы, слова, процитированные Любимовым, располагаются не в основном тексте, а отдельно, внизу страницы: они представляют позднейшую вставку[****].

---

[*] Переписка. С. 345.

[**] Там же. С. 346.

[***] Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 163.

[****] См.: НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. 1. Карт. 2. Ед. хр. 15. Л. 22. Н.Н. Страхов утверждает (это — единственное свидетельство), что Достоевский продолжал:

«Тургенев, — пишет Достоевский Анне Григорьевне, — про которого я ввернул доброе слово...» и т. д. Именно «ввернул» — ибо рукопись переписана рукою Анны Григорьевны, вставка же сделана рукой самого автора — скорее всего уже в Москве, «накануне» (в противном случае, какой смысл сообщать переписчице то, что ей и так известно?)[*].

Можно было бы предположить, что решение упомянуть Тургенева в столь ответственный час и в столь ответственном тексте созрело под влиянием чисто тактических соображений: как ответная любезность, вызванная сдержаннокорректным поведением соперника. Но такое объяснение (в качестве главной и единственной причины) плохо согласуется с самим Достоевским.

Через два месяца после Пушкинского праздника И. Аксаков в письме к О. Миллеру говорит: «Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода *captatio benevolentiae* (заискивание. — *И. В.*). Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать... Достоевский в разговоре со мной о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в Речи, и так же упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал...»[**]

Он действительно высоко ценил *того* Тургенева: известно, как последнего обрадовал его проницательный («восторженный») отзыв об «Отцах и детях» — в не разысканном до сих пор письме (Тургенев, по собственному его признанию, «только руки расставлял от изумленья — и удовольствия»[***]). Он печатает Тургенева в своем журнале «Эпоха». В 1866 году при первых своих разговорах с Анной Григорьевной он отзывается о нём «как о первостепенном таланте»[****]. И, наконец, уже в 1879-м, он говорит Е. Опочинину: «Что ж Т<ургенев>? Это человек, каких не много... Талант блестящий и огромный...» И тут же добавляет: «Жаль, правда, что талант

«...и Наташи в «Войне и мире» Толстого», но гром аплодисментов, раздавшийся вслед за упоминанием Тургенева, заглушил эти слова, и в печати они были автором выпущены, как непроизнесённые (вернее, нерасслышанные) (см.: Биография... С. 310–311, первая пагинация). Страхова можно было бы заподозрить в желании сделать приятное Толстому, однако в данном случае он, очевидно, сказал правду. После слов о Тургеневе в рукописи Речи следует густо зачёркнутая строка: с трудом, но всё же можно разобрать — «в “Войне и мире”».

[*] Г. Успенский говорит, что Достоевский до своего выступления «смирнёхонько» сидел, притаившись возле эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке. Не вносились ли исправления в текст до самого *последнего* момента?

[**] Литературное наследство. Т. 86. С. 514.

[***] *Тургенев И.С.* ПСС и писем. Письма. Т. 4. С. 358.

[****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 60.

этот вмещён в таком себялюбце и притворщике; ну, да ведь и солнышко не без пятен...»*

Таким образом, упоминание Тургенева в Пушкинской речи — глубоко принципиально. Несмотря на личную неприязнь, автор Речи не может пойти против собственной совести: он старается соблюсти литературную справедливость.

Не исключено, конечно, что корректное поведение Тургенева на празднике помогло ему *решиться*.

«Ив. Сергеевич, — пишет И. Аксаков, — вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием».

Другой очевидец подтверждает эти слова, добавляя, что Тургенев был, видимо, «польщён и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора "Братьев Карамазовых"»**.

Достоевский, как он говорит, «делал жесты» перед началом своей речи; Тургеневу пришлось делать их во время неё.

В настоящем случае мы понимаем жесты буквально — в смысле тех или иных телодвижений. Однако в разных источниках движения эти трактуются по-разному.

В письме, написанном современницей через день после Пушкинской речи, утверждается, что, упомянув о Лизе, «Достоевский поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями»***. Поклон этот больше никем не отмечен. Не исключено, что воспоминательница просто подыскала для метафизического жеста Достоевского соответствующую физическую основу.

У Любимова интересующая нас сцена исполнена высокой патетики: «Вся зала посмотрела на Тургенева, тот даже взмахнул руками и заволновался; затем закрыл руками лицо и вдруг тихо зарыдал. Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; среди общей тишины слышались сдерживаемые всхлипывания Тургенева»****.

Увы, это *кино*. Смена крупных и средних планов: Достоевский, делающий эффектную паузу и докторально глядящий на раздавленного его великодушием противника; сам противник, рыдающий от избытка чувств... Эти *литературные* слёзы очень напоминают другие, якобы пролитые самим Достоевским на обеде 6 июня...

---

* Звенья. Т. 6. С. 461.

** Там же. С. 505.

*** *Барсукова А.* Письмо о «Пушкинской» речи Достоевского // Звенья. Т. 1. С. 479.

**** Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 164.

Не будем, однако, излишне строги к мемуаристу: его воспоминания создавались на склоне лет, едва ли не через пять десятилетий после изображаемых событий.

Приведём ещё одно свидетельство: «Всем памятно то движение руки, поцелуй, посланный Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он в своей речи говорил о Лизе из «Дворянского гнезда». Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника»[*].

Это уже больше похоже на правду. Хотя, признаться, «поцелуй» смущает: до него дело ещё не доходило.

Воспоминания эти опубликованы в 1909 году.

Слишком широкий диапазон движений (от закрывания лица руками до воздушного поцелуя), воссоздаваемых через десятилетия, настоятельно требует поискать источники поближе.

Вот отрывок из записной книжки 1880 года. После слов Достоевского «весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся»[**].

Одно мелкое разночтение: здесь Тургенев «бледен»; у И. Аксакова он «покраснел и просиял удовольствием». Последнее вероятнее: не следует забывать о природном румянце.

И, наконец, ещё один источник. Ему-то и приходится верить более остальных — в силу специфичности жанра.

Это — отчет агента III Отделения.

Изложив соответствующее место Речи, профессиональный наблюдатель тут же аккуратно фиксирует: «При этих словах раздаются дружные рукоплескания. Тургенев поднимается с своего места и кланяется публике»[***].

Автор только что упомянутого «Дворянского гнезда» вновь (на сей раз невольно) оказывается в центре внимания. Но это его последняя крупная удача, ибо исход борьбы уже предрешён.

Следует отдать должное Тургеневу: он вёл себя в высшей степени *спортивно*. Он поздравил своего соперника первым.

«Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и цаловать меня в плечо. (Вспомним: «Неужели протянет руку?» — *И. В.*). “Вы гений, вы более чем гений!” — говорили они мне оба».

---

[*] *Нелидова Л.* Памяти И.С. Тургенева // Вестник Европы. 1909. Сентябрь. С. 236.

[**] Звенья. Т. 1. С. 468.

[***] Октябрь. 1937. № 1. С. 279.

Далее Достоевский повествует о том, как Иван Аксаков, вбежавший «На эстраду, объявил публике, что речь его «есть не просто речь, а историческое событие»! И что отныне «наступает братство, и не будет недоумений. Да. Да! — закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось»*.

Эпизод с Аксаковым изложен довольно точно. Опущены лишь некоторые детали, которые, однако, не могли остаться не замеченными публикою.

Назвав речь Достоевского гениальной, Аксаков продолжал: «Вчера ещё можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднён; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать»**.

«Вчера» в устах Аксакова имело буквальный смысл: именно вчера, 7 июня, был поставлен «вопрос», который сегодня «упразднён» Достоевским; автор «вопроса» находился тут же.

Однако Аксаков не ограничился иносказаниями. Он назвал имя.

«Всё разъяснено, всё ясно, — передаёт слова Аксакова Д.Н. Любимов. — Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною»***.

Свидетельство Любимова вновь вызывает сомнение: дело в том, что в речи Аксакова, напечатанной в «Русском архиве», эти слова отсутствуют.

Однако они всё-таки были произнесены. В этом убеждает нас газетная хроника. Репортёр «Голоса» следующим образом излагает аксаковский текст: «С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев»****.

«Тургенев, — продолжает свой рассказ Любимов, — с места что-то кричит, видимо утвердительное»*****.

На этот раз память не подвела мемуариста. Тургенев действительно что-то кричал с места. Вопрос лишь в том, было ли это «что-то» *утвердительным.*

В одном редком и малоизвестном издании тот же эпизод воспроизводится следующим образом: «В это время И.С. Тургенев хочет

---

* Переписка. С. 346–347.
** Русский архив. 1880. Кн. II. С. 61.
*** Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 166.
**** Голос. 1880. 9 июня.
***** Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 166.

что-то сказать, но поднявшиеся аплодисменты не дают ему возможности вымолвить слова»[*].

Что же всё-таки хотел сказать Тургенев? Оказывается, у современников имелись на этот счёт некоторые соображения.

«Правда, — пишет автор, укрывшийся под псевдонимом Очевидец, — после слов г. Аксакова поднялся было И.С. Тургенев и хотел что-то сказать или возразить, но раскатившиеся по залу аплодисменты не дали вымолвить ему слова. Обладай он голосовыми средствами г. Юрьева, ладоши не заглушили бы его слов...»[**]

Предположение о том, что Тургенев хотел «что-то возразить», не столь уж безосновательно. Эти возражения были через несколько дней изложены им письменно.

«И в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах, — пишет Тургенев Стасюлевичу, — сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне её одобряю. Но это не так — и я ещё не закричал: "Ты победил, галилеанин!" Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия... понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать»[***].

Конечно, ничего подобного Тургенев не рискнул бы произнести 8 июня — во всеуслышание. Не исключено, однако, что какие-то (можно не сомневаться, в высшей степени деликатные) уточнения к словам И. Аксакова он бы сделал.

Понятно, почему в печатном тексте своей речи Аксаков снял слова о тургеневском «согласии»: очевидно, его попросил об этом сам Тургенев.

Вообще следует признать, что упоминание Достоевским автора «Дворянского гнезда» было едва ли не главным толчком для проявления первых тургеневских эмоций. Аксаков говорит, что Тургенев «был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети)»[****] подкуплен этим упоминанием. Сам Тургенев, как свидетельствует Достоевский, высказав ему свои восторги, счёл нужным специально заметить:

---

[*] Торжество открытия памятника А.С. Пушкину... С. 44.

[**] Русское богатство. 1880. Июль. С. 45.

[***] *Тургенев И.С.* ПСС и писем. Письма. Т. 12. Кн. II. С. 272. Пожелание Тургенева было исполнено почти дословно. Ср.: «...речь г. Достоевского была построена на фальши — на фальши крайне приятной для раздражённого самолюбия» (Вестник Европы. 1880. Июль. С. 33).

[****] Литературное наследство. Т. 86. С. 514.

«Не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это»[*]. Оговорка знаменательная.

Со временем тургеневские оценки всё более ужесточаются[**]. 15 июля, беседуя в Париже с В.В. Стасовым (последний именует Речь «поганой и дурацкой»), он признаётся, «как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа». Он говорит, что для него невыносима даже трактовка пушкинской Татьяны: он словно запамятовал, что его собственное имя было произнесено в связи с именем этой героини. «Тургенев, — продолжает Стасов, — был в сильной досаде, в сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обуявший... всю русскую интеллигенцию»[***].

«Получили ли Вы “Дневник писателя” Достоевского? — спрашивает Тургенев Анненкова в августе 1880 года. — Там много говорится о Пушкинском празднике (вся речь напечатана целиком). Ужасно подмывает меня сказать по этому поводу слово — но, вероятно, я удержусь...»[****] И Анненков, как помним, совсем недавно почтивший лобзанием *плечо* автора Речи, теперь говорит об этом авторе в тоне, заставляющем вспомнить другой исторический поцелуй, а именно — Евангельский.

«Хорошо сделали, — отвечает Анненков Тургеневу, — что отказались от намерения войти в диспут с одержимым бесом и святым духом одновременно Достоевским: это значило бы растравить его болезнь и сделать героем в серьёзной литературе. Пусть останется достоянием фельетона, пасквиля, баб, ищущих Бога, и России для развлечения и студентов с задатками чёрной немощи. Это его настоящая публика»[*****].

Но всё это будет сказано потом. Сейчас же вновь вернёмся в залу Благородного собрания.

Через много лет после описываемых событий, в последний год уходящего XIX столетия, в газете «Русские ведомости» были опу-

---

[*] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 188.

[**] Ср. (Тургенев о Достоевском): «Это самый злобный христианин, которого я встретил в своей жизни». (*Тимирязев К.А.* Указ. соч. С. 549.)

[***] *Стасов В.* Двадцать писем И.С. Тургенева и моё знакомство с ним // Северный вестник. 1888. № 10. С. 161.

[****] *Тургенев И.С.* ПСС. Письма. Т. 12. С. 298.

[*****] Там же. С. 578 (Примечания).

Ср. письмо Анненкова Стасюлевичу от 14 июня 1880 г.: «Скажите Тургеневу, чтобы не забыл положить на бумагу полной эпиграммы Некрасова на эту одичавшую собаку, которая зовётся в мире...» (М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 389).

бликованы воспоминания, которые никогда не перепечатывались и практически неизвестны.

«Достоевский стоял у кафедры недвижно, как изваяние, — пишет очевидец. — По-видимому, он не думал и не ждал, что так сильно всколыхнёт это человеческое море. Очень взволнованный и очень бледный, счастливый и точно испуганный, он смотрел застывшим, неподвижным, действительно "внутренним" взором, который, казалось, ничего не видел, ничего не замечал. Худощавая, костлявая рука его медленно растирала лоб, на котором выступили капли нервного пота...»*

Отчаянно звоня в колокольчик, Юрьев объявил перерыв.

«Чтение стало продолжаться, — говорит Достоевский, — а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: "За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!"...»**

Нет, не зря всё-таки задерживаем мы внимание читателя на букетах, венках и прочих вещественных знаках невещественных отношений. Они, эти знаки, не пустая ритуальная принадлежность: они содержали в себе известную информацию. Недаром такого рода подношения зорко отмечаются искушённой в символах, намёках и иносказаниях русской публикой.

«Тут были "курсистки" курса Герье (крайнего западника), ещё в прошлом году делавшие овации Тургеневу, — сообщает И. Аксаков. — Бог знает где, тут же в собрании, добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется...»***

Судьба уготовила ему очередной сюрприз: те, кого он склонен был принимать за тургеневских клакеров, венчали его лаврами — зримым и осязаемым признанием его победы.

Всё это не могло быть слишком приятно Тургеневу, тем более что увенчание соперника сопровождалось действиями, не ставшими достоянием широкой публики, но от этого не менее оскорбительными для того, кого они непосредственно задевали.

---

* Русские ведомости. 1899. 19 мая.

** Переписка. С. 347.

*** Русский архив. 1891. Вып. 5. С. 97. Современница утверждает, что «громадный венок» был поднесён Достоевскому «по почину одной девицы Некрасовой» (Звенья. Т. 1. С. 481). Речь, видимо, идёт о 33-летней Е.С. Некрасовой, историке литературы.

В своих воспоминаниях М. Ковалевский приводит следующий эпизод: «Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, нёсших венок Достоевскому, в числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живёт вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: “Не вам, не вам!”»*

Зачем нужно было *отталкивать* Ивана Сергеевича? Уж не сделал ли он инстинктивное движение благодарности, приняв венок на свой счёт? Мог ли он предполагать, что «дама», политические убеждения которой, по-видимому, не являлись для него секретом (и благодаря которым она впоследствии будет жить «вне России»), собирается увенчать лаврами человека, чьи взгляды не должны быть ею разделяемы?

Все эти «мелочи» не могли не укрепить Тургенева в его отрицательном отношении к Речи. И, может быть, самым обидным и для себя непростительным он полагал то, что он, Тургенев, поддался на неожиданный выпад противника, просиял при упоминании своего имени, явил публичную слабость.

Сторонники Тургенева почувствовали всю деликатность ситуации. «...После заседания, — пишет Е. Леткова-Султанова, — уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу»**.

Эта попытка восстановить нарушенное равновесие была предпринята вечером. А пока «вереница дам», с трудом пробиваясь сквозь заполнившую проходы толпу, поднимается на сцену; они возлагают огромный зелёный венок на виновника торжества, т. е. не-

---

* Минувшие годы. 1908. Август. С. 13.

** Звенья. Т. 1. С. 469.

Ср.: «Ещё более негодовали мы, — говорит очевидец, — на совсем уже скверную личную выходку Достоевского в его знаменитой, вызвавшей истерические восторги речи. Уставившийся своими злобными глазками (ср. с лексикой воспоминаний Г.К. Градовского об инциденте на тургеневском обеде! — *И. В.*) на Тургенева, поместившегося под самой кафедрой и с добродушным вниманием следившего за речью, Достоевский произнёс следующие слова: «Татьяна могла сказать: «я другому отдана и буду век ему верна, потому что она была русская женщина, а не какая-нибудь француженка или испанка» («Намёк на *Viardo-Garcia*...» — добавляет мемуарист в сноске) (*Тимирязев К.А.* Указ. соч. Т. 2. С. 548). Не говоря уже о приблизительной текстуально и неверной в смысловом отношении передаче этого места Речи, здесь содержится обвинение в высшей степени субъективное, носящее характер очередной (и весьма оскорбительной как для Достоевского, так и для Тургенева) окололитературной сплетни. Подобные суждения не зафиксированы более ни в одном источнике.

которое время «при криках и топоте и махании платков»[*] держат его над ним. («Венок был насильно надет на Достоевского»[**], — говорит очевидец.)

«Восторг, — свидетельствует ещё один источник, — дошёл до высших пределов, когда Фёдор Михайлович, растроганный, как бы подавленный своим торжеством, стал благодарить; видимо взволнованный, он поспешил удалиться»[***].

Он поспешил удалиться — к себе, в гостиницу: перевести дух перед вечерними чтениями и написать Анне Григорьевне обо всём случившемся. Ему сопутствовал венок, эскортируемый одним из распорядителей. Распорядитель этот впоследствии вспоминал:

«Мы подъехали к "Лоскутной" почти одновременно, и я вошёл в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и, видимо, утомлён, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он вертел в руках тетрадку почтовой бумаги мелкого формата, в которой не без помарок (вспомним о вставках! — *И. В.*) была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: "Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал..."»[****].

Примерно через час он напишет Анне Григорьевне свой знаменитый «бюллетень». В предыдущем послании она сообщила ему о покупке жеребёночка — на радость детям. Заканчивая своё восторженное, лихорадочное письмо и наспех целуя всех домашних, он прибавит: «Цалую жеребёночка»[*****].

В эту минуту он готов расцеловать весь мир.

Ночной венок

...День 8 июня стремительно шёл к концу — и вот наступил вечер: последний вечер незабываемых пушкинских торжеств. Порядком измученные зрители начали под конец сдавать — и в зале Благородного собрания оказались даже свободные места.

Достоевский читал своего любимого «Пророка». Как полагает современник, присутствующий здесь же Тургенев «не мог скрыть... своего завистливого неудовольствия на утренний успех Достоевского». Он исполнил отрывок из пушкинских «Цыган» — рассказ

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 505.
[**] Звенья. Т. 1. С. 481.
[***] Современные известия. 1880. 10 июня.
[****] Московский еженедельник. 1908. 22 ноября. С. 41.
[*****] Переписка. С. 347.

о сосланном Овидии. «По моему мнению... — записывает в дневнике Веневитинов, — не следовало... после успеха Достоевского читать стихи, оканчивающиеся словами: “Что слава? — Дым пустой!” — и т. д.»*

Автор не вполне справедлив: ведь «Пророка», прочитанного Достоевским, *теперь* тоже можно было принять за намёк — и с ещё большим основанием.

Именно на этом вечере Тургенев получил моральную компенсацию в виде уже упомянутого венка, принимая который он громогласно заявил, что положит его «к подножию пушкинского бюста». Затем был повторён позавчерашний «апотеоз»: писатели с венками (без последних положительно не могли обойтись!) вновь продефилировали по сцене. Теперь уже Достоевский («...вероятно, по просьбе Тургенева и в виде взаимной любезности») увенчал своим венком (не путать с утрешним!) главу поэта.

Вся эта сцена не понравилась скептически настроенному наблюдателю ещё больше, чем в первый раз. Он в сердцах замечает, что вторичная демонстрация «апотеоза» напоминает ему «казённые реверансы институток перед важною особою... или фиктивные коленопреклонения мальчиков в католических церквах, когда они пробегают мимо алтаря... не понимаю, — заключает автор, — как Достоевский, умный, как кажется, человек, мог согласиться на личное участие в этой глупой комедии... Уж лучше бы он и во второй раз предоставил Тургеневу дешёвую честь увенчания фиктивного Пушкина на фиктивном апотеозе русской литературы, которая сама показалась мне какою-то фикциею в этот вечер...»**

Можно понять раздражение немного ошалевшего от оваций свидетеля торжеств. Ему претит вольное или невольное писательское позёрство. Он не знает, что на исходе этого бесконечного дня (вернее, уже глубокой ночью) Достоевский совершит поступок, который тоже мог бы показаться театральным, наблюдай его кто-нибудь со стороны.

Но зрителей не было: ни одного человека не случилось в этот неурочный час на площади у Страстного монастыря. Извозчик остановил пролётку: может быть, он-то и помог барину поднести громадный венок (тот самый!) к немо черневшему в ночи бронзовому изваянию.

---

* Литературное наследство. Т. 86. С. 507. Веневитинов приводит пушкинские стихи в весьма вольном пересказе.

** Там же.

Достоевский положил венок к подножию монумента и молча «поклонился ему до земли»[*].

В отличие от Тургенева он не стал оповещать публику о своем намерении. Он поделился только с Анной Григорьевной, которая и поведала об этом факте потомству.

Ему не суждено больше увидеться с Тургеневым — никогда. Но значит ли это, что именно день 8 июня стал их последним днём?

История любит символические финалы. Заманчиво пойти ей навстречу и представить, что судьбоносная развязка произошла здесь, в зале Благородного собрания, под сенью пушкинского бюста (самого Пушкина, примиряющего своих наследников). Такое завершение выглядит *красиво*.

Попробуем подыграть судьбе.

Таинственные старики: быль или притча?

В письме Достоевского, повествующем о его триумфе (письме захлёбывающемся и задыхающемся, написанном дрожащей рукой), — в этом письме есть одно загадочное место.

«...Вдруг, например, — пишет Достоевский, — останавливают меня два незнакомых старика: "Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой, вы наш пророк!"»[**]

Что же это за старики? Их имена не названы, но сама сцена запомнилась крепко. Через несколько дней в письме С.А. Толстой она воспроизводится вновь.

«Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал:

— Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло; после вашей речи мы теперь, сейчас, помирились и пришли вам это заявить».

И Достоевский вновь подчёркивает: «Это были люди мне незнакомые»[***].

И, наконец, ещё одно упоминание о таинственных стариках. Это слова Достоевского в передаче М.А. Поливановой: «Два седых старика помирились после того, как двадцать лет жили во вражде. Да в какой! Где только могли, там вредили они один другому, ночь не спали, а думали, как бы почувствительнее затронуть другого; а тут

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 365.

[**] Переписка. С. 346.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 188.

один из них уверял меня, что теперь точно ничего и не было, вся ненависть пропала у него»[*].

Итак, факт зафиксирован трижды. Во всех случаях информация исходит от самого Достоевского.

Повторяются и некоторые устойчивые подробности: оба старика седы, жили во вражде (причём активной) двадцать лет; примирение произошло немедленно после Речи.

Правда, несколько странно, что говорит при этом только один из стариков («*один из них* уверял меня», «вся ненависть прошла *у него*»), второй почему-то предпочитает помалкивать.

Удивительно и другое: как быстро они успели столковаться! Насколько можно понять, всё происходит буквально через несколько минут после окончания Речи — и старики должны были проявить незаурядную прыть, чтобы найти друг друга в толпе (ведь не сидели же они рядом!), обняться и успеть известить обо всём этом Достоевского.

Право же, странные старики! Думается, однако, что они существовали на самом деле. И, кажется, мы даже можем назвать их имена.

Это — Достоевский и Тургенев.

Предвидя возможные протесты (и отчасти их разделяя), попытаемся всё же обосновать наше рискованное предположение.

Мы уже приводили слова Достоевского о том, что Тургенев бросился его «обнимать со слезами». Воспоминатель (Д.Н. Любимов) подтверждает: «Тургенев, спотыкаясь как медведь, шёл прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями». Именно Тургенев и Аксаков ведут его под руки: «...он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком»[**].

Достоевский говорит, что с Тургеневым они только обнялись (вернее, обнимал Тургенев), но кто знает, не подставил ли опять щёку автор только что упомянутого «Дворянского гнезда»? Во всяком случае, современник записывает: «По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие, говорят, горячо между собой поцеловались»[***].

Не забудем и об уже упоминавшемся воздушном поцелуе: он мог носить и менее платонический характер.

Наконец, в памяти А.И. Сувориной триумф Достоевского вообще запечатлелся как праздник *двоих*: после того как автор Речи произнёс имя тургеневской Лизы, кто-то вскрикнул, «кричали Достоевского, Тургенева...». И вот «Тургенева вытащили на сцену.

[*] Голос минувшего. 1923. № 3. С. 30.

[**] Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 165.

[***] Литературное наследство. Т. 86. С. 505.

Достоевский протянул ему руку, и они поцеловались... Восторга публики, — продолжает Суворина, — я не могу изобразить при этой трогательной сцене, когда два таких огромных писателя-учителя помирились!»*

Память подвела мемуаристку, и она, очевидно, смешивает два разных случая: публичное рукопожатие 16 марта 1879 года (чему она также была свидетельницей) и объятия 8 июня. Однако смысл происходящего передан верно.

Григоровичу было отчего бежать впереди и махать платком: он являлся вестником примирения.

Достоевский говорит о двух седых стариках. Оба они действительно немолоды: Тургеневу — почти шестьдесят два, Достоевскому — без малого пятьдесят девять. И один из них, именно Тургенев, бел как лунь.

Достоевский говорит, что старики не разговаривали двадцать лет. В явной ссоре они с Тургеневым несколько меньше: лет тринадцать. Но история их взаимного недоброжелательства (в том числе скрытого) насчитывает более трёх десятилетий.

Достоевский говорит, что старики только и думали, как повредить друг другу. Конечно, у него с Тургеневым имелись и другие заботы. Следует, однако, признать, что крови было попорчено немало.

Достоевский говорит, что старики именовали его пророком. Через несколько дней в письме С.А. Толстой он обмолвится, что «пророческой» назвал его речь именно Тургенев.

Наконец, в письме Анне Григорьевне фраза о стариках непосредственно предшествует описанию тургеневских объятий. Переход от стариков к Тургеневу совершается в рамках единого сюжета.

Почему же Достоевский не называет вещи (точнее, лица) своими именами?

Он — страшится. Нет, не Тургенева и уж, разумеется, не Анны Григорьевны, которую первой оповещает о достойных всяческого уважения незнакомцах. Он страшится поверить. Поверить в то, что такое действительно бывает.

Не потому ли всей картине сообщается почти художественный характер? Фигурам вполне символическим наспех придаются какие-то конкретные черты. Но благородные седины, двадцатилетняя вражда и внезапное, как гром небесный, раскаяние — всё это атрибуты сентиментально-романтической прозы. Достоевский слишком большой реалист, чтобы принимать такие вещи всерьёз.

---

* Достоевский и его время. Л., 1971. С. 298–299.

Поэтому оба старика остаются *там*, в рамках некой мифологемы, в виде предельно обобщённом. Он не находит нужным расшифровывать эту метафору. И не случайно в этой *полувымышленной* сцене смещены некоторые акценты.

Тургенев и в самом деле обратился к нему с какими-то словами. Они, эти слова, могли содержать не только высокую оценку его Речи, но и косвенно относиться ко всему контексту их взаимных отношений. Эти слова могли содержать намёк на необходимость личного примирения — именно теперь, когда он призвал к примирению общему.

Недаром у Достоевского говорит только один из стариков: второй, т. е. сам Достоевский, внимательно его слушает.

Он пишет С.А. Толстой: «Тургенев и Анненков (последний положительно враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая». Любопытно, что врагом назван здесь один Анненков. Он — «положительно враг»; в отношении Тургенева такой положительной уверенности *теперь* быть не может.

Тургеневские объятия сделали своё дело. Но предмет этих объятий, приявший их, так сказать, художественно, умудрён опытом: в частной жизни он оставляет себе путь к отступлению.

«Все плакали, даже немножко Тургенев»*, — сообщает он С.А. Толстой. В этом «немножко» сказались всё его недоверие и вся осторожность по отношению к вечному сопернику. Он не убеждён в его искренности. И он — что, может быть, главное, — он не хочет выглядеть смешным.

Он не хочет выглядеть смешным, ибо ни он сам, ни Тургенев вовсе не годятся на роли чудесно перевоспитавшихся стариков. Оба они слишком непростые и слишком искушённые люди, чтобы поверить в столь благостный исход.

Но, с другой стороны, Достоевскому жалко упускать такой почти воплотившийся сюжет. Поэтому он предельно схематизирует ситуацию, даёт, так сказать, некий обобщённый образ. Старики — герои моральной притчи, они — персонажи нарицательные, и их собственные имена не так уж важны. Действие совершается, но сами действующие лица остаются неназванными.

Все эти предосторожности оказались совсем не лишними: Тургенев, как мы помним, очень скоро признается, что Речь Достоевского ему «противна».

Допустим теперь, что старики — вполне реальные люди и что сцена, описанная Достоевским, в точности соответствует действи-

* Письма. Т. 4. С. 175.

тельности. Что же тогда? Тогда мы имеем выразительную смысловую рифму: зеркальность эпизодов, схожее поведение двух пар стариков — момент почти художественный.

Как бы там ни было, велик соблазн закончить «историю одной вражды» трогательной сценой примирения, хотя бы и внешнего. Но, увы, это невинное желание трудноисполнимо. Существует документ, заставляющий нас усомниться даже в таком формально благополучном финале.

Последняя встреча, или Русский человек на rendez-vous*

Мы имеем в виду воспоминания Е.Н. Опочинина, в которых автор описывает свою московскую встречу с Достоевским. Встреча эта произошла, как он говорит, «после открытия памятника Пушкину и знаменитой речи».

Достоевский покинул Москву 10 июня утром: следовательно, встреча могла иметь место только 9 июня.

«Я встретил его у Никитских ворот, — говорит Опочинин, — и пошёл с ним по бульвару. Фёдор Михайлович смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно.

— Устал я что-то, — заметил он, когда мы прошли с сотню шагов по бульвару. — Давайте сядем».

Они садятся и продолжают беседу.

«А-а-а, Фёдор Михайлович! — послышался радостный голос с боковой аллейки позади нас, и вдруг перед нашей скамьёй выросла монументальная фигура И.С. Тургенева».

Тургенев присаживается рядом с Достоевским. «Занятый своими мыслями, — продолжает Опочинин, — я не прислушался к разговору... но с последними словами, которые медоточиво пропел Тургенев, я вдруг заметил, что Достоевский встал со скамьи. Лицо его было бледно, губы подёргивались.

— Велика Москва, — сердито бросил он своему собеседнику, — а от вас и в ней никуда не скроешься! — И, отмахнувшись рукой, зашагал по бульвару»**.

Сразу же оговоримся: если сам факт, приводимый Опочининым, весьма правдоподобен, то некоторые сомнения возникают относительно его датировки.

---

* Свидание (*фр.*).

** Звенья. Т. 6. С. 476–477.

Следует иметь в виду, что день 9 июня оказался для Достоевского очень насыщенным[*]. Днём он отдавал необходимые визиты. С утра же, по просьбе фотографа М.М. Панова, отправился к нему в мастерскую, где и был сделан тот знаменитый снимок, о котором мы говорили в главе «Портрет с натуры».

Анна Григорьевна считала эту фотографию «наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения)» изображений её мужа. Она говорит, что на этом портрете она «узнала то выражение, которое видала много раз на лице Фёдора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья»[**].

Анне Григорьевне приходится верить, хотя, признаться, особой «радости», а тем более «счастья» на лице Достоевского не заметно. Скорее следует согласиться с И.Н. Крамским, полагавшим, что «по этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значения и глубины мысли»[***]. Но, может быть, именно такое выражение и означало у него *счастье?*

Во всяком случае, 9 июня он бесспорно испытывал сильный душевный подъём. И свидетельство Опочинина, что Достоевский «смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно», плохо вяжется с переживаемым моментом. Трудно избавиться от подозрения, что воспоминатель просто путает числа и описанная им встреча произошла не после, а до Пушкинской речи.

Но, с другой стороны, в пользу Опочинина (точнее, в пользу его хронологии) говорят некоторые детали. Во-первых, в разговоре с ним Достоевский упоминает Ивана Аксакова и жалеет, что он только теперь по-настоящему его узнал. Эти слова, конечно, могли быть произнесены и до 9 июня, но после вчерашних аксаковских восторгов 9-е — дата очень подходящая.

Во-вторых, никем ещё не доказано, что нельзя быть усталым и даже понурым в момент величайших духовных взлётов. Вчерашний день измотал триумфатора: на той же фотографии Панова он выглядит (с житейской точки зрения) далеко не лучшим образом.

---

[*] Жена Суворина в своих позднейших воспоминаниях утверждает, что в этот день Достоевский завтракал у Тестова — в компании с её мужем и другими литераторами (см.: Достоевский и его время. С. 299–300). Однако есть все основания полагать, что это происходило не 9-го, а 4 июня, причём из указанных А.И. Сувориной лиц присутствовали лишь Суворин, Григорович и Буренин (см.: Переписка. С. 342).

[**] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 365.

[***] *Крамской И.Н.* Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. СПб, 1888. С. 669.

Кроме того: что могло так взорвать Достоевского? Уж не пытался ли Тургенев в этой — под липами Никитского бульвара — беседе несколько подкорректировать свои вчерашние оценки и «медоточиво» указать собеседнику на его идейные промахи? И не почувствовал ли Достоевский в словах Тургенева первые признаки той журнальной бури, того *отбоя*, которые обрушатся на его Речь и на него самого буквально через несколько дней?

Но Е.Н. Опочинин был занят своими мыслями и — «не прислушался». Когда свидетель событий рассеян, историку ничего не остаётся, как строить гипотезы.

И, наконец, самое капитальное. Если бы размолвка на бульваре произошла до 9 июня, такой факт, вне всякого сомнения, нашёл бы отражение в письмах Анне Григорьевне. Но там на это нет и намёка. Если принять хронологию Е.Н. Опочинина, тогда всё понятно: последнее письмо из Москвы написано 8-го вечером; о том же, что происходило 9-го, он уже рассказывал жене лично.

Достоевский уходит от Тургенева, «отмахнувшись». После вчерашних объятий это выглядит грустно.

Итак, как бы нам ни хотелось обратного, есть серьёзные основания полагать, что их последняя встреча (или, если угодно, расставание — перед вечной разлукой) произошла при обстоятельствах, не вполне приличествующих случаю. Не умильная слеза и не взаимное раскаяние двух «седых стариков» сопровождает последний акт этой исторической распри. Достоевский, уходя в вечность, даёт «отмашку» Тургеневу: несмотря на неизящность жеста, он более (чем, скажем, воздушный поцелуй) соответствует характеру их отношений.

Конечно, в высшем смысле ни Достоевскому не дано «отмахнуться» от Тургенева, ни Тургеневу — умалить Достоевского. Они останутся навсегда рядом — как писатели и как люди, — являя разные, но в равной мере значительные исторические надежды, боль, упование и урок. И пусть они ещё раз не поймут друг друга на том московском бульваре (как не понимали всю жизнь), у них всё же остается шанс. Ибо и тот и другой — оба дети России, страны, где молодые люди способны грохаться в обморок от «мировых вопросов», где у седых стариков под влиянием всё тех же *вопросов* достаёт сил заключить друг друга в искупительные объятья. Да, оба они — разумеется, в высшем смысле — могут вписаться в ту идеальную картину, которая явилась одному из них, и, как мы сейчас убедимся, имела некоторые аналоги в реальной жизни.

Для этого следует отступить в один боковой сюжет.

Глава XVII

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Поздний отец

Он был поздним отцом: ему шёл сорок седьмой год, когда двадцатиоднолетняя Анна Григорьевна разрешилась первым ребёнком.

Это произошло в Женеве.

Он страшно волновался за исход родов, бегал за акушеркой, горячо молился. Когда родилась девочка, его восторгам не было предела. Акушерка даже шепнула роженице, что за всю её многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца «в таком волнении и расстройстве».

«К моему большому счастью, — пишет Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завёртывал её в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал её на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только заслышит её голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: "Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?" Фёдор Михайлович целыми часами просиживал у её постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею...»

Соня умерла через три месяца — от воспаления лёгких. Отец переживал эту смерть не менее тяжело, чем мать: «...отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя перед остывавшим телом своей любимицы, и покрывал её бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала»[*].

Плакала, конечно, и Анна Григорьевна. Их соседи, знавшие о несчастье, присылали просить, чтобы она делала это не столь громко:

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 177–178.

откровенный русский плач действовал на нервы сдержанным женевским жителям.

Они покинули ненавистную Женеву, и он, не любивший роптать на судьбу, впервые стал жаловаться Анне Григорьевне, исчисляя все свои страдания и неудачи: «Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей»[*].

Смерть первого и единственного ребёнка словно открыла какой-то клапан: перенесший каторгу, потерю первой жены и брата, не сломленный нуждой и литературной подёнщиной, он, так любивший ветхозаветную книгу Иова, наконец возопил.

Он пишет Майкову: «Если даже и будет другой ребёнок, то не понимаю, как я буду любить его; где любви найду; мне нужно Соню. Я понять не могу, что её нет и что я её никогда не увижу»[**].

Ему необходимо не дитя вообще, а именно это конкретное дитя. Так штабс-капитан Снегирёв, теряющий своего Илюшечку, на утешающий совет сына взять после его смерти «хорошего мальчика другого» ответит: «Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика!»

Почти через полтора года после смерти Сони на свет появляется вторая дочь — Люба (или Лиля, как звали ее в семье). Она родилась в Дрездене. «...Ребёнок большой, здоровый и красавица»[***], — сообщает он Майкову (Любовь Фёдоровна, повзрослев, будет не очень крупной, не очень красивой и очень болезненной женщиной).

В 1871 году они возвращаются на родину — после четырёх лет странствий. Спустя восемь дней по приезде в Петербург Анна Григорьевна разрешается третьим ребенком. На сей раз это был мальчик: он получает имя своего отца.

Достоевский был хорошим отцом. Его дочь говорит, что он занялся воспитанием детей слишком рано («в такое время, когда большинство отцов держат своих детей в детской»)[****], не подозревая, что новейшая педагогика очень скоро вообще отменит нижнюю возрастную границу воспитательного процесса.

Впрочем, он не претендует исключительно на роль педагога: в случае необходимости он с видимым удовольствием выполняет функции няньки.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 180.

[**] Биография... С. 188 (вторая пагинация).

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 62.

[****] Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.; Пг., 1922. С. 88 (Далее: *Достоевская Л.Ф.*).

Когда двухлетняя Люба сломала себе руку (кость неправильно срослась и срочно потребовалась операция), он отрывается от своих занятий и вместе с женой и больным ребёнком возвращается из Старой Руссы в душный Петербург. Он стоит за дверью операционной, где хирург склоняется над его дочерью, и по миновании опасности тотчас отправляется обратно — не для того, чтобы избежать дальнейших хлопот, а чтобы в отсутствие матери присмотреть за их десятимесячным малышом.

Он требует, чтобы на Рождество детям непременно покупалась большая и ветвистая ёлка, и, взобравшись на табурет, самолично прилаживает звезду и зажигает свечи. Он берёт на руки раскапризничавшегося ребенка и, усадив его в стоявшие на полу санки, полночи бодрствует рядом, ожидая, пока мальчик успокоится и заснет.

«Чем старше мы становились, — пишет его дочь, — тем строже становился он, но всегда был с нами очень ласков, пока мы были малы. Я была в детстве очень нервна и часто плакала. Для того, чтобы развлечь меня, мой отец предложил мне танцевать с ним. Мебель в гостиной была отодвинута в сторону, моя мать взяла в качестве кавалера своего сына, и мы танцевали кадриль»[*].

Представить Достоевского танцующим затруднительно: гораздо затруднительнее, чем, скажем, на кафедре в зале Благородного собрания. Закреплённый в сознании стереотип — человек с неулыбчивым лицом пророка — плохо вписывается в интимную домашнюю обстановку.

Анна Григорьевна сетовала, что большинство воспоминателей изображают её мужа мрачным и неприветливым человеком: она знала его совсем с иной стороны.

Он был исключительно правдив и, как пишет его дочь, «ему не приходила в голову мысль о том, что его кто-нибудь желает обмануть». (Под «кто-нибудь» разумеются, очевидно, его близкие: к посторонним он бывал весьма подозрителен.) Сам он обманывал только 1 апреля — и нельзя сказать, чтобы эти розыгрыши отличались особой изобретательностью. Однажды он попросил Анну Григорьевну извлечь из его постели крысу, которую он задавил ночью. Анна Григорьевна, сопровождаемая любопытствующими детьми, направилась в комнату мужа, но все поиски оказались тщетными. «Куда же ты её бросил?» — спросила она. «Первое апреля!» — сказал он, в восхищении от своей хитрости[**].

---

[*] *Достоевская Л. Ф.* С. 84.

[**] Там же. С. 83. Ср.: *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 282.

Он — подлинно семейный человек, нимало не похожий на мятущихся гениев байронического типа, — романтиков, брезгливо отстраняющихся от всего, связанного с домом и бытом. Все, касающееся семьи и детей, глубоко его волнует, влияет на его умонастроение и расположение духа.

«Ах, зачем вы не женаты, — пишет он Страхову, — и зачем у вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь вам, что в этом ¾ счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть»*.

И — в письме А.П. Философовой: «Детки — мука, но необходимы, без них нет цели жизни... Я знаю великолепных душой людей, женатых, но детей не имеющих, — и что же: при таком уме, при такой душе — всё чего-то недостает и (ей-богу, правда) в высших задачах и вопросах жизни они как бы хромают»**.

Можно предположить, что в этом он сходится с Л. Толстым: во всяком случае, теоретически. Но в *практическом* плане между ними существуют значительные различия.

Сон с субботы на воскресенье

Как Достоевского трудно представить в лоне семьи, так Толстой совершенно невообразим вне её. Слиянность автора «Анны Карениной» с его родовым гнездом, с почвой, со всем укладом Ясной Поляны слишком очевидна. Бессмысленна любая попытка «извлечь» Толстого из плотно охватывающей его семейно-родовой жизни. Он — глава клана, патриарх, дающий смысл и движение всему этому кровно связанному с ним миру, центр обращающейся вокруг него вселенной. Вне семьи для него нет жизни: он умирает, покинув однажды её хранительный кров.

Всё это так. И, однако же, не секрет, что между Толстым и его близкими всегда существовала достаточно ощутимая дистанция.

Мы имеем в виду не только отличия нравственного и духовного порядка и не позднейшие отдаления от жены и детей, вызванные идейными исканиями главы семейства. Мы разумеем отчуждённость уже на «нижнем», бытовом уровне.

«После рождения моего первенца, — пишет Софья Андреевна, — вся энергия моя сосредоточилась на нём, на его трудном физическом воспитании, на его болезнях и развитии. Всё остальное было

* Биография... С. 287 (вторая пагинация).
** *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 78.

второстепенно. Для Льва Николаевича же первое было его творчество — и всё остальное было второстепенно; хотя ещё одно дело, в совершенно уже другой области, а именно хозяйство — занимало и увлекало его одно время очень сильно»*.

Предпочтение, отдаваемое Толстым творчеству, естественно для художника. У Достоевского работа тоже стоит на первом плане. Однако, находясь в положении, ни в каком смысле не сравнимом с толстовским, он способен пожертвовать своими писательскими интересами ради интересов семьи. (Так, мы помним, он не позволяет жене переписывать по ночам его рукописи; относительно жены Толстого подобные указания отсутствуют.)

Описывая лето 1880 года в Ясной Поляне (то самое лето), Софья Андреевна замечает, что она «уже не любила своего уединения с любимым мужем, как прежде», а предпочитала развлечения и общество других людей. Она даже научилась игре в винт, чтобы не оставаться одной. «Слишком я натерпелась в жизни от уединения, — добавляет жена Толстого, — и слишком далеко уходил Лев Николаевич от меня душой, чтобы я могла вновь охотно предаваться уединённой жизни»**.

Конечно, нелепо упрекать Толстого за то, что его жена не в состоянии была поспеть за его неостановимым духовным движением. Но ведь и духовное развитие Достоевского вряд ли можно представить в виде некой постоянной величины. Между тем интенсивность его интеллектуальной жизни ничуть не мешает ему сохранять самую тесную душевную связь с Анной Григорьевной, конечно же, уступающей ему в этом отношении. Мощная всепоглощающая деятельность его духа не обдает хладом, не оледеняет окружающее его семейное пространство: в своей домашней жизни он остаётся открытым, излучающим тепло человеком.

Может быть, в этом есть заслуга и Анны Григорьевны. Впрочем, жена Достоевского сама заслуживает отдельной книги.

В воспоминаниях С.А. Толстой, достаточно сдержанных по тону, нотки раздражения прорываются чаще всего тогда, когда она повествует об отношении мужа к семье и детям.

Это очень характерно.

«Отношение же Льва Николаевича к семье, — пишет Софья Андреевна, — меня возмущало всю жизнь. Он писал, например, что, живя с нами, он чувствует себя ещё более врозь с семьёй, чем когда он в отлучке»***.

---

* *Толстая С.А.* Моя жизнь // Прометей. Т. 12. Москва, 1980. С. 158.

** Прометей. Т. 12. С. 168.

*** Там же. С. 174.

«Неужели тебе хорошо? — спрашивает Софья Андреевна мужа, уехавшего в самарское имение пить кумыс. — Иногда просто не верится, я думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты в н е нашей жизни, нас и, главное, вдали от м е н я»[*].

Свои вынужденные отрывы от семьи Достоевский переживает как состояние неестественное и страдательное. Более того: ему не работается *одному*.

«Ты не поверишь, как мне грустно было, особенно по вечерам, вспоминать всю дорогу об детках и о тебе! И чем дальше, тем больше будет это».

«Цалую тебя и обнимаю, благодарю Лилечку за письмецо, а Федю поздравляю с рыбкой. Пусть поймает три налима к моему приезду, сварим уху. Как я их люблю, моих ангелов, про вашу милость и говорить нечего. Только бы поскорей нам свидеться».

«Деток цалую и благословляю. Скажи Лилечке, что жду от неё цвета лица. Пусть Федя не простужается. Береги своё здоровье. Что если ты заболеешь — кто за ними посмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре»[**].

Достоевский с головой погружён в семейное. Толстой, увенчивая семью, как бы парит над ней. Временами хозяйственные, а временами чисто идеологические заботы (бывает, что те и другие разом) имеют в его глазах явное преимущество перед хлопотами домашними и воспитательными (правда, он способен порой целиком отдаваться своим педагогическим увлечениям, но, как правило, — вне семьи). «Не лучше ли было... — говорит о муже Софья Андреевна, — вместо того, чтобы шить сапоги, месить лепёшки, возить воду и рубить дрова — разделить труд семейной и деловой жизни с женой, и дать ей досуг для материнской жизни?»[***]

Достоевский входит в такие домашние подробности, от которых Толстой полностью освобождён, — не столько в силу своего особого положения в семье, сколько вследствие материального положения самой семьи.

Однажды проживавший лето в Старой Руссе Н.П. Вагнер (тот самый — спирит) встретил на улице Достоевского и попросил разрешения ему сопутствовать. «Идите, если хотите», — неприветливо отозвался тот.

По дороге Достоевский стал расспрашивать прохожих, не встречалась ли им бурая корова, чем немало удивил своего спутника.

---

[*] *Жданов В.* Любовь в жизни Льва Толстого. Кн. II. М., 1928. С. 28.

[**] Переписка. С. 278, 288, 286.

[***] Прометей. Т. 12. С. 174.

— Да на что вам, Фёдор Михайлович, понадобилась бурая корова? — спросил он.

— Как на что? Я её ищу.

— Ищете? — удивился профессор зоологии.

— Ну, да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли её разыскивать, и я тоже ищу.

Поведав об этом разговоре Анне Григорьевне, Вагнер выказал удивление, как это её муж, «ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка», бродит по улицам, разыскивая какую-то бурую корову.

На это Анна Григорьевна ответила Вагнеру (и одновременно — будущим читателям её воспоминаний) следующей сентенцией:

«Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович... что Фёдор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого всё происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если б корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока или получили бы его от незнакомой, а пожалуй, и нездоровой коровы. Вот Фёдор Михайлович и пошёл на розыски»[*].

Ему случалось находить корову, пригонять её домой и собственноручно впускать в калитку.

Достоевский несёт свой «семейный крест» с естественностью человека, для которого эта ноша внутренне необходима.

Его письма полны расспросами о детях. Ему всё время кажется, что с ними может что-то случиться (потеря первенца не забылась), и он умоляет Анну Григорьевну быть начеку.

«Осторожно ходи с нею (Любой. — *И. В.*) по улицам. В Петербурге так толкаются, столько пьяных. Ради Бога, не ходи смотреть на праздник 30 мая (праздновалось двести лет со дня рождения Петра I. — *И. В.*). Ей сломают опять ручку в толпе наверно. Всё об этом думаю и об тысяче вещах и всё тоскую»[**].

«Ангелов моих... цалую и умоляю быть послушными. В дороге не позволяй Феде около колёс и лошадей бегать. Да и не потеряй их как-нибудь в толпе. Аня, молю тебя!»[***]

Он пишет жене, что ему снились дети, и это перекликается со сказанным по иному поводу (в «Мальчике с ручкой»): «Дети странный народ, они снятся и мерещатся».

---

[*] См.: *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 295–296.

[**] Переписка. С. 49.

[***] Там же. С. 291.

Его нередко посещали тяжёлые и тревожные сновидения — убийства, пожары, но чаще всего — кровопролитные битвы. «Во сне, — говорит Анна Григорьевна, — он составлял планы сражений и почему-то особенно часто разбивал именно австрийцев»[*]. Просачивалась в сны и постоянная тревога о детях.

«С субботы на воскресенье, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он полетел, перевёртываясь, вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: прощай, Федя! и тут проснулся. Напиши мне как можно скорее о Феде, не случилось ли с ним чего с субботы на воскресение. Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успокоюсь до письма твоего»[**].

С Федей ничего плохого не случилось. До судебного процесса Корниловой, столкнувшей с четвёртого этажа свою маленькую падчерицу (он будет писать об этом деле), оставалось ещё несколько лет.

О «двойном зрении» говорить как будто не приходится; следует сказать о зрении художническом.

Д.В. Григорович вспоминает: в молодости он прочёл Достоевскому свой очерк о шарманщике. Там была фраза, что какой-то чиновник бросил пятак к ногам бродячего музыканта. «Не то, не то, — раздражённо заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, з в е н я и п о д п р ы г и в а я»[***].

Самое страшное в его сне — это то, что Федя не просто падает из окна, а летит вниз, «перевёртываясь». Можно сказать, что сновидческие образы Достоевского естественно вписываются в его художественную систему.

О чём он думает, глядя на детей?

«Ребёнку можно говорить всё...»

«Когда мы обедали, — пишет А. Суслова, — он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: “Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «истребить весь город». Всегда так было на свете”»[****].

Дети в его романах изображаются часто и — уважительно.

---

[*] Цит. по кн.: Семинарий по Достоевскому. С. 60.

[**] Переписка. С. 79.

[***] *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания. М., 1961. С. 84–85.

[****] *Суслова А.П.* Годы близости с Достоевским. М., 1926. С. 60.

Алёша Карамазов разговаривает с Колей Красоткиным как с равным — без взрослой извиняющей снисходительности. «Ребёнку можно говорить всё» — этого правила, как свидетельствует Анна Григорьевна, её муж держался при общении с детьми.

Ребёнку можно говорить всё, ибо, по слову Мити Карамазова, «всё — дитё». «Дитё» — прообраз и первообраз человечества, и само человечество — позабывший о своём детстве ребёнок.

У него был план: «РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ, И О ГЕРОЕ — РЕБЁНКЕ... Заговор детей составить свою д е т с к у ю и м п е р и ю. Споры детей о республике и монархии»*.

В детские споры, как и в словопрения взрослых, он вводит самое злободневное: легко представить того же Колю Красоткина, рассуждающего «о республике и монархии».

Отсюда не следует, что его общение с ребёнком отличается какой-то особой серьёзностью. Нет, с детьми он разговаривает как с детьми.

В воспоминаниях И.И. Попова (будущего народовольца) рассказывается, что ещё студентом он часто видел Достоевского отдыхающим в ограде Владимирской церкви. Однажды Попов подсел к нему на скамейку.

«Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испёк кулич и поставил на моё пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя, — обратился Достоевский к малютке...

— Сиди, я ещё принесу, — ответил малютка. Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду ещё с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и «куличи» рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком...»**

Анна Григорьевна описывает семейную поездку 1877 года из Петербурга в Курскую губернию, в имение её брата. Шла Русско-

---

* Литературное наследство. Т. 77. М., 1963. С. 59–66.

** *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. М., 1934. С. 88–89.

турецкая война; поезд долго стоял на железнодорожных станциях, пропуская воинские эшелоны.

«Вспоминая это длинное путешествие, — пишет Анна Григорьевна, — скажу, что меня всегда удивляло, что Фёдор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге: на всё соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но, наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих в дороге и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребёнка: чуть, бывало, кто из троих (в 1875 году родился последний их сын — Алёша. — *И. В.*) начинал капризничать, Фёдор Михайлович являлся из своего уголка... брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое уменье разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми) и так заинтересовать ребёнка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашнею любовью к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать»[*].

Его архив сохранил следы его общения с детьми (вернее, детей — с ним): записочки, нацарапанные неуклюжей детской рукой:

Папа возьми меня в баню!
Федя

Папа с добрым утром ты сегодня пойдешь гулять в садик
Федя
(На обороте: Фёдору Михалочу в кабинет)

Милый папочка я тебе люблю
Люба

Папа дай гостинца
Федя

«Подобные пакеты с просьбой о гостинце, — пометила Анна Григорьевна, — часто подавались Фёд<ору> Михайловичу»[**].

---

[*] *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 312.
[**] РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29703, 29704.

Сохранилось и настоящее письмо — небольшой листок бумаги с поставленными вкривь и вкось крупными каракулями. Очевидно, десятилетняя Люба адресовала его в Эмс, где её отец лечился летом 1879 года.

«Милый мой папочка как твоё здоровье мы все слава Богу здоровы и представляем у Юрика театр из басен Крылова “Стрекоза и муравей” (я буду муравьём, а Юрик стрекозой) затем “Петух и кукушка” кукушкой будет Анфиса а Петухом я “Квартет” в котором мишкой будет Федя прощай мой папочка твоя Люба».

Приведённый *документ* имеет лаконичную архивную помету: «Вынуто Музеем Достоевского из Евангелия, принадлежащего Достоевскому»*. Это означает, что Любины каракули он хранил в книге, подаренной в Сибири жёнами декабристов: он не расставался с ней никогда.

Есть в архиве и детские письма, адресованные Анне Григорьевне. В одном из них Люба информирует мать о том, чем они занимались в её отсутствие: «Федя с папой после машины (то есть с вокзала, проводив Анну Григорьевну. — *И. В.*) отправились в городской сад около царского сада и видели, как пускают воздушные шары. Оттуда пришли пешком»**.

Когда Анне Григорьевне приводилось отлучаться из Старой Руссы, дети оставались на его попечении. И он прекрасно справлялся со своими обязанностями: «Животик у него совершенно хорош и марается очень хорошо и аккуратно. Вид очень весёлый»***, — сообщает он супруге, понимая, какие именно сведения о десятимесячном Феде важны для матери.

Он вдруг начинает напоминать «позднюю» Наташу Ростову, с волнением вглядывающуюся в пятна на детских пелёнках.

Он даже дает жене поручения такого свойства, какие жена обычно даёт мужу: «У Феди совсем нет шляпы. Летняя вся разорвалась

---

* НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 4. Ед. хр. 1а.

** Там же. Письмо без даты; оно каким-то образом оказалось среди писем Любови Фёдоровны 1917 года (в одной архивной папке). Но, конечно, речь в нём идёт о 10 августа 1880 г. — дне, когда Анна Григорьевна отправилась в Петербург по делам «Дневника писателя». Это следует из сопоставления Любиного текста с письмом самого Достоевского от 11 августа, в котором описываются те же события: «Проводив тебя, мы с Федей... на извощике (узнав от него про гулянье) отправились в Городской сад, что на Красном берегу, рядом с Дворцовым садом. Там было много народу, спускали шар и пели военные песельники. Федя очень слушал. Но так как было сыро, то мы рано воротились, зашли за Любой, и затем дети полегли спать. Я ночь всю просидел». (Переписка. С. 347.)

*** Там же. С. 48.

(Лиля зашивала её), да и не по сезону, а от фуражки (очень засаленной) оторвался козырёк. Хорошо, если б ты привезла ему. В Гостином дворе, близ часовни, в угловом игрушечном магазине были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю»[*].

Всё это пишется в августе 1880 года — в самый разгар работы над «Карамазовыми». Занимают ли подобные проблемы Толстого, когда он трудится над «Крейцеровой сонатой»?

Огорчения Софьи Андреевны

«Лев Николаевич, — пишет Софья Андреевна, — берёг себя, не мог и не хотел тратить свою энергию и время на семью, — и был прав как художник и мыслитель. (Последняя оговорка — реверанс в сторону негодующей по поводу претензий Софьи Андреевны публики. — *И. В.*) Но сделал он для детей, особенно после 3-х старших — очень мало, а для меньших ничего»[**].

То, что в мемуарной ретроспективе звучит достаточно приглушённо, гораздо откровеннее высказывалось в письмах. 5 февраля 1884 года Софья Андреевна пишет сестре — о муже: «Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей, и у меня всё больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьёй и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади — только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни»[***].

Нельзя сказать, чтобы Толстой не следил за воспитанием своих детей: он был в этом отношении весьма *внимателен*. Он записывает в дневнике: «Воспитание детей ведётся кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но переменчивой и измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жернова на шеи».

Приведя в своих воспоминаниях эти слова, Софья Андреевна добавляет к ним следующий комментарий: «Если Лев Николаевич это видел, почему же он не помог, не снял эти жернова?»

---

[*] Переписка. С. 348.

[**] Прометей. Т. 12. С. 180.

[***] *Жданов В.* Любовь в жизни Льва Толстого. С. 36–37.

Она снова цитирует дневник мужа: «Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Молюсь и вижу, что не могу иначе».

«И успокоившись на этом, — продолжает Софья Андреевна, — Лев Николаевич уходил косить траву...»*

Толстой часто затевал весёлые игры со своим многочисленным потомством. Но вот что замечает его супруга: «...я любила, когда отец возился так или иначе со своими детьми, хотя невольно думала, что он ими не занимается, а только забавляется»**.

Было бы большой ошибкой безоговорочно принять на веру эти и им подобные высказывания Софьи Андреевны. Отчуждение Толстого от семейной жизни проистекает вовсе не оттого, что он стал вдруг равнодушен к её заботам и радостям. В воспоминаниях его детей он предстаёт не только как замечательный педагог, но и как человек, оказавший на них неизгладимое нравственное влияние. Суждения Софьи Андреевны нуждаются в корректировке.

Толстой отдаляется от семьи потому, что не может принять *весь* строй её жизни, её материальной избыточности, её культурного — по сравнению с окружающей средой — монополизма. Он охладевает не к семье как таковой, а к определённому «барскому» типу семьи, распространяя эту свою неприязнь на конкретные условия Ясной Поляны. Материальное благополучие семьи как бы само по себе обеспечивает воспитание его детей — без непременного его вмешательства.

Толстой мечтает избавиться от земельной собственности, Достоевский — приобрести её: каждого тянет к тому, чего у него нет.

Нельзя механически сравнивать Толстого и Достоевского: слишком различны их житейские и семейные обстоятельства. Перед автором «Преступления и наказания», чьи материальные возможности не превышали прожиточного минимума интеллигентной семьи среднего достатка, — перед ним никогда не возникало специфической толстовской дилеммы.

В свою очередь Толстому вряд ли могли бы прийти на ум «шутейные» строки, вроде тех, что были набросаны Достоевским в его записной книжке:

Дорого стоят детишки,
Анна Григорьевна, да,
Лиля да эти мальчишки —
Вот она наша беда***!

---

* Прометей. Т. 12. С. 180.

** Там же. С. 182.

*** Литературное наследство. Т. 83. С. 630.

Следует иметь в виду и различия душевного склада. Толстой во всех своих внешних проявлениях гораздо сдержаннее Достоевского (что иногда принимается за холодность). Его второй сын, Илья Львович, говорит, что отец «никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился её проявления». Сын считает, что в его отце было много черт, напоминающих князя Андрея и старика Болконского: «Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви».

«За всю мою жизнь, — добавляет Илья Львович, — меня отец ни разу не приласкал»*.

Дети Толстого вспоминают, как отец занимался с ними латынью и греческим, как был строг и требователен в этих занятиях. И, конечно, — о незабываемых семейных чтениях.

В Ясной Поляне учебный процесс лишь корректируется хозяином дома: деталями занимаются другие. У детей Достоевского нет ни бонн, ни гувернёров: эти функции глава семьи вынужден брать на себя.

В гостиной и в детской

Любовь Фёдоровна рассказывает, как отец устроил им первый литературный вечер. Он объявил, что прочтёт вслух «Разбойников» Шиллера. Желая доставить отцу приятное, его дочь сделала «такое лицо, точно я очень ценю гений Шиллера». Но её простодушный брат откровенно уснул. Когда Достоевский взглянул на свою аудиторию, он замолчал, расхохотался и стал смеяться над собой. «Они не могут этого понять, они ещё слишком молоды», — сказал он печально своей жене**.

Урок с Шиллером был усвоен. Теперь он читал им русские былины, повести Пушкина и Лермонтова, «Тараса Бульбу». «После того, как наш литературный вкус был более или менее выработан, Достоевский стал нам читать стихотворения Пушкина и Алексея Толстого — двух поэтов, которых он больше всего любил»***.

Первой книгой, которую он подарил дочери, была «История...» Карамзина — книга его детства. Он любил объяснять иллюстрации: давалось толкование событиям историческим.

---

* *Толстой И.Л.* Мои воспоминания. М., 1969. С. 45, 59.

** *Достоевская Л.Ф.* С. 89. Хотя дочь Достоевского относит эту сцену к более раннему периоду, на основании записей в тетрадях Анны Григорьевны можно утверждать, что она имела место летом 1880 года. (См.: Жизнь и труды... С. 305.)

*** Там же.

Дети воспитывались сразу на взрослой литературе: хороших детских книг в то время в России было не так уж много.

Почему-то он никогда не читал им ничего своего.

Он просит Анну Григорьевну в его отсутствие читать детям Вальтера Скотта и Диккенса — этого, по его словам, «великого христианина». Оба писателя любимы им с детства, особенно — последний.

«Раз прихожу я к Достоевским, — вспоминает Е.А. Штакеншнейдер, — и в первой же комнате встречаю его самого. “У меня, — говорит, — вчера был припадок падучей, голова болит, а тут ещё этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса; б е з д е л ю ш к и, говорит, писал он, детские сказки. Да где ему Диккенса понять! Он его красоты и вообразить не может, а осмеливается рассуждать. Хотелось мне сказать ему «дурака», да, кажется, я и сказал, только, знаете, так, очень тонко. Стеснялся тем, что он мой гость, что это у меня в доме, и жалел, что не у вас, например, у вас я бы прямо назвал его дураком”.— “Покорно благодарю вас. И очень рада, что дело обошлось без нас и кончилось благополучно. Совсем я не желала, чтобы наших гостей называли прямо дураками”.

Он засмеялся, и, по-видимому, головная боль его прошла тут же»[*].

В свою последнюю зиму он намеревался прочитать детям отрывки из «Горя от ума» — комедии, высоко им ценимой. Ему особенно нравилась роль Репетилова: он считал этот комический персонаж фигурой глубоко трагической. В нём, говорит его дочь, он видел «истинного предшественника либеральной партии западников».

Сценическая классика подключалась к давним — ещё не оконченным — спорам.

Он сам желает взять роль в любительском спектакле — к вящему удовольствию детей, наблюдающих его домашние репетиции: «Как всегда, он страстно увлекался новой идеей и играл очень серьёзно, вскакивал с пола, как бы упав при входе в комнату, жестикулировал и декламировал»[**].

Он вывозит детей и в настоящий театр. Не очень жалуя балет, он предпочитает оперу: «Руслан и Людмила» была прослушана маленькими Любой и Федей неоднократно.

Он любил богослужения — особенно на Страстной: ему нравилось стройное пение певчих, строгая череда обрядов. Он берёт детей с собой в церковь и объясняет им смысл совершающегося.

---

[*] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 462–463.

[**] *Достоевская Л.Ф.* С. 92–93.

Книга, театр, церковная служба — вот дары, которые, по его мнению, таят в себе радость и открывают детям мир прекрасного. Но он не скупится и на подарки иного рода.

Он никогда не является из своих поездок с пустыми руками: тут он неистощим. Ежедневные его прогулки редко обходятся без посещения фруктовых и кондитерских лавок: сласти («гостинцы») покупаются всегда, нередко на последние деньги.

Надо полагать, эти *лишние* траты вызывали сугубое неодобрение экономной Анны Григорьевны, что в свою очередь раздражало её мужа. Отголоски таких взаимных неудовольствий можно найти в бесхитростных, но не лишённых интереса воспоминаниях П.Г. Кузнецова (он, как уже говорилось, мальчиком служил у Достоевских).

«Фёдор Михайлович очень любил хорошо пообедать, — пишет Кузнецов, — очень любил рябчики, т. е. больше что из дичи, но Анна Григорьевна очень была жадная, нет-нет его своей беднотой расстраивала. Раз Ф.М. сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия, Ф.М. раскричался и затопал ногами, что "всё тебе мало, всё себя изображаешь нищей"»[*].

Толстой никогда (может быть, за двумя-тремя исключениями) не кричал на супругу и тем паче не топал на неё ногами. У него были свои приёмы. Известно, однако, что Софья Андреевна завидовала жене Достоевского.

Кстати, справедливость слов Кузнецова подтверждается отдельными вырвавшимися у Достоевского фразами — в его чрезвычайно нежных посланиях к жене. «Обнимаю детишек, — говорит он в письме 1872 года, — Любочку, Федюрку. Корми их лучше, Аня, не скупись на говядинку». И через восемь лет — в письме с пушкинских торжеств: «Детишек крепко поцалуй за их славные приписки и непременно купи им гостинцев, слышишь, Аня. Детям и медицина предписывает сладкое»[**].

Эти эпистолярные интонации свидетельствуют о том, что счастливая, в общем, семейная жизнь Достоевских была далека от идиллии.

Говоря о гостинцах, он ссылается на медицину: ради детей приходится прибегать к авторитету науки. Это может значить, что прочие аргументы уже исчерпаны. Позволительно поверить Кузнецову: «Ф.М. со своей женой не так был ласковый и всегда стоял на своём твёрдо»[***].

---

[*] Литературное наследство. Т. 83. С. 335.

[**] Переписка. С. 48, 336–337.

[***] Литературное наследство. Т. 86. С. 335.

Он регулярно посылает денежную помощь впавшему в нужду приятелю, не ставя об этом в известность свою супругу: у него есть от неё свои маленькие секреты.

Но и сама его семейная жизнь содержит в себе некую тайну.

Холостяк или отец семейства?

В отличие от Толстого, внешне подчиненного размеренному ритму семейной жизни, у него, ночного работника, свой цикл, не совпадающий с семейным. Он живет в скромной городской квартире или в небольшом старорусском доме, где возможности для творческого уединения весьма ограниченны. У него нет необходимости восставать против заведённого уклада: его быт не знает никаких излишеств. Образ жизни его семьи не отражается расслабляющим образом на его устойчивых индивидуальных привычках.

«Я никогда не видела моего отца ни в халате, ни в туфлях, — пишет его дочь. — С утра он бывал уже прилично одет, в сапогах и галстуке и в красивой белой рубашке с крахмальным воротником». Он мог носить не очень новое платье (всегда, впрочем, стараясь одеваться у хороших портных), но неизменно был в белоснежном белье (что отметила ещё при первом знакомстве его будущая супруга). Он сам чистил свои костюмы. По утрам он надевал короткую домашнюю куртку.

Его день начинался поздно: в двенадцать, в час. Он ложился, когда семья уже собиралась вставать. Его дочь говорит, что по утрам он делал гимнастику, а затем долго мылся в своей уборной комнате: «Он употреблял для своих тщательных омовений много воды, мыла и одеколону»*.

Умываясь, он напевал «На заре ты её не буди...». Впрочем, последнее имело место, когда он находился в добром расположении духа. Чаще в первые минуты после пробуждения он бывал мрачен.

Он сам заваривал себе чай или готовил кофе: то и другое крепости чрезвычайной.

«Пил чай и закусывал один, и не смела Анна Григорьевна войти, когда пьёт и закусывает, — говорит Кузнецов. — Я где занимался, комната была рядом со столовой, Ф.М. мне закричит: “Петюшка” или “Пьер”, “иди чай” или “кофей пить”, нальёт очень крепкого, скажет: “Пей и закусывай”. Я сперва не смел.— “Раз тебя зовут, дол-

* *Достоевская Л. Ф.* С. 81.

жен идти", и ежедневно я с Фёд. Мих. завтракал»*, — заключает Кузнецов, гордый оказанным ему предпочтением.

Впрочем, семнадцатилетний «Петюшка» не был его единственным — после вставания — собеседником. Именно во время утренних чаепитий он любил разговаривать с детьми — об их детских делах и заботах.

Он всегда присутствует за поздним семейным обедом: разговор там ведётся общий, не превышающий степень понимания младших членов семьи.

В Ясной Поляне за стол тоже садится всё семейство: это не мешает хозяину дома быть порой бесконечно далёким и недоступным для своих домочадцев.

Существуя *над* семьей, Толстой почти не вмешивается в её внутренний распорядок. Он — всегда сам по себе, всегда «выше» — отъединённо, автономно, отдельно. За общим столом — у него свой собственный личный стол; за общими заботами — свои собственные «толстовские» (связанные с *учением*) интересы. Являясь центром многоОбразного и многообрАзного яснополянского мира, он как бы пребывает и вне его.

Иногда кажется, что он больше привязан к месту, чем к его обитателям.

У Достоевского нет своего родового угла: дом в Старой Руссе, купленный в последние годы, — не унаследованное, «чужое». В Петербурге он постоянно меняет квартиры (он сменил их около двадцати). Его страстная мечта — купить имение, «прикрепиться» к земле — так и осталась неосуществлённой. Перемещаясь во всегда враждебном ему пространстве, он привязывается только к людям: самым близким.

Он по-настоящему укоренён в семье. Он не может отделить себя от того, что стало частью его самого, — не только в бытовом, но и в духовном смысле.

Семейная жизнь Толстого напоминает эпос: вначале он глубоко захвачен её всепоглощающей поэзией. «Война и мир» хранит на себе печать этого высокого очарования.

Вместе с тем Толстой (особенно поздний) — холостяк по своему душевному строю. Певец семьи, изобразитель всемирной родовой жизни, он вступает в гибельную борьбу со слепым инстинктом рода; всей силой своего могучего «я» он восстает на мировую стихию. Его колоссальная личность дерзновенно противостоит волнам этого

* Литературное наследство. Т. 83. С. 334.

океана, грозящего, как ему кажется, поглотить его самоё. Он уходит из Ясной Поляны — назад, в мировое одиночество. Умирая, он принадлежит не семье, но миру — и жена его, приподнимаясь на цыпочках, заглядывает в окно.

В романах Достоевского клокочет жизнь бессемейная и почти безбытийственная; сама же семья всегда находится под ударом. Раскольникова, Ставрогина, Ивана и Дмитрия Карамазовых трудно вообразить женатыми. Его романные сюжеты никогда не завершаются счастливым матримониалом, но часто — крушением предполагаемых браков. Однако, оставаясь хроникёром «случайных семейств», сам он кладёт душу на то, чтобы созиждить жизнеспособную семью, противостоящую натиску нечаянных и разрушительных сил. Его личность естественно примыкает к роду, к быту, к устойчивой родовой общности, не только не растворяясь в них, но жадно питаясь их живительными соками.

Его существование в семье не противоречит общему домашнему укладу. Вместе с тем все его индивидуальные склонности приняты семьёй, взяты в расчёт, уважаемы.

Любящий изображать людей беспорядочных, он в своих собственных занятиях — строгий аккуратист. «На его письменном столе... — говорит Любовь Фёдоровна, — царил величайший порядок. Газеты, коробки с папиросами, письма, которые он получал, книги, взятые для справок, — всё должно было лежать на своём месте. Малейший беспорядок раздражал отца»[*].

Его раздражают даже такие мелочи, как случайное пятно от стеарина на домашней куртке: оно мешает ему сосредоточиться, и он не может приступить к работе, не уничтожив его радикально.

Тщательностью своего туалета, опрятностью домашней одежды, образцовым порядком на своём письменном столе он как бы противостоит изображаемому им хаосу.

Но хаос этот вторгается и в его семейную жизнь.

16 мая 1878 года умирает трёхлетний Алёша, их последний ребёнок. Он умирает внезапно, от приступа эпилепсии: ранее болезнь ничем себя не обнаруживала. Врач, осмотревший заболевшего мальчика, успокаивает родителей: нет никакой опасности. Достоевский, вышедший проводить доктора, возвращается «страшно бледный» и молча опускается на колени у постели сына.

Как узнала впоследствии Анна Григорьевна, доктор сказал её мужу, что у мальчика уже началась агония.

---

[*] *Достоевская Л. Ф.* С. 82.

Он был страшно поражён этой смертью. «Он, — говорит Анна Григорьевна, — как-то особенно любил Лёшу, почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится»[*]. Старшим детям было запрещено без приглашения вторгаться в комнату отца; маленькому Алёше это дозволялось. «Папа, зизи!» — кричал он на своём детском языке, и отец, свидетельствует Любовь Фёдоровна, «оставлял свою работу, брал ребёнка на колени, вынимал часы и подносил их к уху мальчика»[**].

Его потрясло, что сын погиб от болезни, очевидно, им унаследованной. «Судя по виду, — продолжает Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы, но я сильно опасалась, что это сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье»[***].

Он плачет, «как женщина», когда умирает их первый ребёнок; он не произносит ни слова, когда погибает последний.

Ребёнок у Достоевского всегда мерило человеческой и божеской справедливости.

«Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, — говорит Алёше Иван Карамазов, — то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста?»[****]

Он даёт имя умершего сына любимому своему герою: повествование подходит к концу, но автор ещё не знает, что этот роман — последний.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 321.
[**] *Достоевская Л.Ф.* С. 79.
[***] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 321.
[****] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 14. С. 222.

Из главы XVIII

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Севастопольский зоил и другие доброжелатели

Не было летом никаких событий, ибо все события останавливались и отвращались главным: работой. Роман подвигался к концу; развязка, однако, всё отдалялась.

Из-за этого безостановочного труда он возвратился в Петербург поздно — 7 октября. В первую же пятницу, 10-го, он посетил Штакеншнейдеров. «Сказал мне комплимент, — записала в дневнике Елена Андреевна, — и очень обрадовался своей прыти и находчивости».

Комплимент состоял в следующем. Поднимаясь по лестнице, он сильно запыхался. Хозяйка осведомилась: не трудно ли ему взбираться так высоко?

«Трудно-то трудно, — отвечает. — Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадёшь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас.

Сказал это и развеселился окончательно. “Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!”*»

Пожаловался, что дома его ждёт ворох неотвеченных писем. И к ним всё время прибавляются новые.

Среди этой обширной корреспонденции попадались послания воистину утешительные.

«Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович, — обращался к нему земский врач В. Никольский из села Абакумовка Тамбовского уезда. — Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый ярый, самый страстный (хоть я моложе Вас на целых три десятилетия), умо-

* *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 424.

ляю Вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, напр<имер>, современного псевдолиберализма».

Ещё недавно в письме Победоносцеву, сетуя на своих критиков, он между прочим заметил: «Публика, читатели — другое дело: они всегда меня поддерживали»*. И теперь неизвестный ему корреспондент как бы подтверждал это его заявление: «Верьте, что число Ваших поклонников велико <...> Вы бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и плодотворно, я в этом глубоко убеждён»**.

Отзвуки Пушкинской речи всё ещё витали в воздухе. Это уже не столь близкое событие продолжало занимать воображение читателей.

Читатели, впрочем, попадались разные.

Пришло длиннейшее послание из города Севастополя. Оно, надо полагать, заставило адресата не раз усмехнуться: даже теперь, более века спустя, нам трудно не повторить этой усмешки.

Автор письма, пребывающий, по-видимому, в летах довольно почтенных (ибо утверждает, что он — современник Пушкина), на одиннадцати больших, густо исписанных страницах гневно укоряет Достоевского за его легкомысленные суждения.

«Вы в увлекательной речи восхваляете Пушкина до небес, — пишет обладающий эпистолярными досугами севастопольский житель, — и провозглашаете его вместе с людьми, не имеющими никаких убеждений, — народным поэтом; положа руку на сердце, я не могу с этим согласиться, что такое в самом деле Пушкин? Это человек, посвятивший всю свою жизнь изящной словесности, преимущественно стихотворству; но он не был и быть не мог гением, потому что в произведениях его никогда не проглядывали начала философии и религии, и Пушкин в этом отношении был бы единственным гением, у которого отсутствовали бы философия и религия <...> Я готов доказать, что ни один безбожник ничего не мог придумать для человечества полезного, а следовательно, таких людей нельзя называть гениями».

Пушкин, в своё время неосторожно заметивший, что цель поэзии — сама поэзия, получал теперь мудрое ретроспективное назидание. Счёт, предъявляемый поэту его современником, достаточно

---

* *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 209.

** РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29790.

суров: это и сочинения, «которые ни одна безнравственная печать не согласится поместить на страницах своих изданий», и тот факт, что «над государями он издевался, не щадя даже своего благодетеля Николая Павловича», и то прискорбное обстоятельство, что «ни один из великих моментов русской жизни не был понят Пушкиным, и кроме поэмы “Полтава” мы ничего не знаем такого, что бы удостоилось описания Пушкиным», и, наконец, замечательная мысль, что у поэта «не было точек соприкосновения с народом».

На этом последнем пункте оппонент Достоевского настаивает с особенным увлечением.

«<...> В самых поэмах Пушкина, — пишет он, — никакой народности видеть нельзя: в “Кавказском пленнике” изображается народность кавказских горцев, в “Бахчисарайском фонтане” говорится о народности крымских татар, в “Цыганах” видим больше нравы и обычаи цыганских таборов <...>». Таковое пристрастие поэта к инородцам и неудивительно, ибо «русской народности нельзя было изучать Пушкину ни в Новороссийске (очевидно, Одессе. — *И. В.*), ни в Крыму и ни на Кавказе». По всему этому, сердито заключал автор письма, «у Пушкина поучаться нечему, кроме, может быть, изящества его стихов и вполне русской речи»[*].

Эти тонкие критические наблюдения содержали нечто в высшей степени знакомое. Они не могли не напомнить Достоевскому знаменитые критические инвективы шестидесятых годов, когда не приученных ещё к умственной свободе российских читателей поражали, а порой и приводили в восторг следующие рассуждения:

«...К сожалению, публика времени Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика... переписывала... “Бахчисарайский фонтан”, в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок»[**].

Так утверждал Дмитрий Писарев в статье «Пушкин и Белинский». И — в статье «Реалисты»: «Говорят, например, что Пушкин — великий поэт, и этому все верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист — и больше ничего»[***].

Сколь бы изумился талантливый автор этих статей, блистательный полемист, убеждённейший радикал, если бы каким-то образом смог проведать, что его безапелляционные суждения окажутся созвучными эстетическим вкусам пережившего свой век доморощен-

[*] РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29941. Письмо от 2 ноября 1880 г.

[**] *Писарев Д.И.* ПСС в 4-х т. Т. 3. М., 1956. С. 363.

[***] Там же. С. 109.

ного зоила из города Севастополя — человека, судя по его письму, весьма ограниченного, придерживающегося сугубо консервативных, охранительных взглядов.

Они бы не сошлись ни в чём, кроме одного: оба они полагали, что смысл поэзии находится вне самой поэзии.

«Вы можете называть меня невеждой за мои мнения о Пушкине, — строго предупреждал автор письма, — но поверьте, что потомство будет об этом судить иначе».

Однако, уповая на суд потомков, предусмотрительный корреспондент кое-какие меры спешит взять безотлагательно: «<...> Вы спросите, для чего же я Вам пишу? А вот для чего: с этого письма остаётся у меня копия, которая когда-нибудь будет напечатана (частично мы и осуществили эту мечту, воспользовавшись, правда, оригиналом. — *И. В.*); пусть тогда читатели рассудят, кто из нас прав, кто виноват!»[*]

Подписано было: *Христианин.*

Да, любопытная корреспонденция стекалась этой осенью в Кузнечный переулок. В иных посланиях наличествовал слог, сильно напоминавший тот, каким через полвека будет изъясняться небезызвестный Васисуалий Лоханкин:

«Был праздник Пушкина. И Пушкин в первый раз был понят мною: его с восторгом я читал и в сердце снова ощущал прилив каких-то странных новых сил. Я пережил второй момент. Теперь студент я, верю в Вас и к Вам пишу — прошу Вас оживить меня. Открыть мне рай своей восторженной души и силой гения обнять и словом высшей красоты мне светоч истины сказать и ободрить мой шаткий ум; ум юного поэта боится праздной пустоты».

Засим «юный поэт» деловито переходит на прозу (впрочем, тоже несколько ритмизованную): «Позвольте к Вам придти со своими виршами, со своей мечтой. Назначьте день и час. Мой адрес здесь: Захарьевская ул.; дом № 11/1, кв. 25»[**].

Подписано было: студент В. Синицкий.

«Русские студенты, — замечает дочь Достоевского, — не склонны к порядку, — они являлись к моему отцу во всякое время дня и мешали его работе»[***].

Являлись, впрочем, не только студенты. Порой посещали и гимназисты. Одного пятнадцатилетнего стихотворца сопровождал отец. Позднее, уже став известным литератором, посетитель Достоевского вспоминал:

---

[*] РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29941.

[**] Там же. № 29847. Письмо от 20 октября 1880 г. (почтовый штемпель).

[***] *Достоевская Л. Ф.* С. 80.

«Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские жалкие стишонки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою...

— Слабо, плохо... никуда не годится, — сказал он, наконец, — чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

— Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! — возразил отец»*.

Чадолюбивого родителя можно понять. Он не желает, чтобы его сын платил за сомнительные блага сочинительства столь высокую цену.

Вопрос о смерти с разных точек зрения

Толстой думает о смерти с неослабевающим постоянством. Это один из главнейших, кардинальнейших вопросов, преследующий его во все моменты его духовной деятельности. Для него эта проблема не есть что-то раз и навсегда решённое — в религиозном, философском или ещё каком-либо смысле: он решает её для себя лично, и каждый раз как бы заново.

Страх небытия — одна из существеннейших констант в мире Толстого. Это чувство всегда — явно или незримо — присутствует на страницах его художественной и публицистической прозы, его писем и дневников. «Смерть Ивана Ильича» — лишь одно из наиболее сильных воплощений этой неотвязной думы.

У Достоевского нет этого *специфического* интереса. Он почти никогда (за редким исключением) не изображает умирания — во всяком случае, как процесс. Сцены смерти — Мармеладова и Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании» или Степана Трофимовича в «Бесах» — художественно очень значительны; однако изображаемые в них события являются скорее сюжетными кульминациями, нежели предметом особого художественного любопытства. В отличие от Толстого (вспомним сцены смерти Андрея Болконского или Ивана Ильича), Достоевский никогда не даёт самосознания умирающего (однако подробнейшим образом исследует самосознание приговорённого к смертной казни).

Героев Достоевского занимает не столько вопрос о смерти, сколько — о бессмертии. От того или иного ответа на него зависит отношение этих героев к миру и к самим себе. Именно бессмертие — тот стержень, вокруг которого вращаются все «карамазовские» разго-

---

* *Мережковский Д.* Автобиографические заметки // Русская литература XX века. Т. 1. М., 1914. С. 291.

воры; с постоянной внутренней оглядкой на этот предмет действуют главные персонажи его главных романов. Даже его самоубийцы лишают себя жизни, отталкиваясь от идеи бессмертия или споря с ней.

Сама смерть — как момент перехода от бытия к небытию — мало занимает Достоевского. У него нет связанной с этим событием мучительной рефлексии — т. е. того, что так характерно для Толстого. У него совершенно отсутствует острый толстовский интерес к таинству смерти. Он воспринимает мысль о неизбежности собственной кончины без леденящего душу «арзамасского» ужаса: он воспринимает её, можно сказать, буднично.

Несмотря на почти шекспировское обилие смертей в его романах (намного превышающее «смертность» в романах Толстого), он не задерживается на аксессуарах: чаще всего просто сообщается о факте. Так же относится он и к возможности собственного конца: он говорит о нём без трагического надрыва, без выхода во «вселенские бездны», а удивительно спокойно, конкретно, по-житейски.

Такой *практический* подход к прекращению личного существования соответствует устойчивым, исконно народным воззрениям, уходящим в глубь веков. «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь», — усмешливо говорит народная мудрость.

Толстого, постоянно «замкнутого» на этой проблеме, она занимает прежде всего в соотнесении с его собственной личностью. Его бесконечно волнует, что будет *с ним,* и в значительно меньшей мере, что — *после него.*

Один из современников вспоминает: «Высокопочтенный Лев Николаевич последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти... я заметил ему как бы для утешения, с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже б е с с м е р т е н при жизни и будет таковым же после смерти! На что он мне ответил: “Да я-то не буду ничего чувствовать и сознавать”»[*].

Достоевский всегда, когда он упоминает о собственной смерти, говорит о судьбе близких.

В августе 1879 года он пишет Победоносцеву из Эмса: «Я здесь сижу и беспрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня?»[**] «Предоставьте их Богу, и себя не смущайте»[***], — назидательно отвечает ему будущий обер-прокурор

[*] *Янжул И.И.* Страх смерти. Разговор с графом Л.Н. Толстым. СПб., 1904. С. 4.
[**] *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30. Кн. II. С. 104.
[***] Литературное наследство. Т. 15. С. 139.

Святейшего синода; вряд ли, однако, этот универсальный совет доставил адресату чаемое утешение.

«Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь лично к коловращению людей и увижу их в их эгоизме...»* — пишет он жене за две с половиной недели до упомянутого письма Победоносцеву. И повторяет вновь и вновь: «Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьёзно здесь думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего»**.

В эту последнюю заграничную поездку грустные мысли посещали его чаще, чем обычно. Он думает о том, как обеспечить детей, ибо знает, что такое нужда, знает цену независимости. Он говорит, что надо «копить» — не для себя, для других. Материальный достаток расценивается как средство, как орудие борьбы и самозащиты.

Толстого не заботит материальное положение семьи — каким оно может стать после его кончины. Исходя из своих убеждений, он делает всё возможное, чтобы не только плоды его духовной деятельности, но, так сказать, и материальные выгоды от реализации этих плодов принадлежали всем. Нелепо упрекать Толстого за подобное желание. Но столь же нелепо утверждать, что в своей «завещательной политике» автор «Братьев Карамазовых» более «буржуазен», нежели автор «Войны и мира».

Ещё в 1873 году Достоевский дарит литературные права на все свои произведения Анне Григорьевне. Толстой незадолго до смерти лишает семью подобных прав.

И в том и в другом акте была своя логика.

Достоевский прекрасно знал, что кроме его произведений у его жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких иных источников существования: он (живой или мёртвый) — их единственный кормилец.

Все дети Толстого были уже взрослыми и вели жизнь от него независимую. Все они обладали наследственным правом на недвижимость. Кроме того, Толстой был признан всем миром, и не возникало ни малейших сомнений, что в обозримом будущем его произведения будут переиздаваться неисчислимо. У Достоевского такой уверенности не было.

Толстой не желал делать своих детей миллионерами. Достоевский не хотел оставлять их нищими.

---

* Переписка. С. 278.

** Там же. С. 303.

Описывая жене свой московский триумф, Достоевский говорит: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться (на открытие памятника. — *И. В.*): это залог и будущего, залог и всего, если я даже умру»[*]. Под «всем» разумеется не только посмертное признание, но и то будущее обеспечение, на которое *теперь* может рассчитывать его семейство. Он думает о судьбе близких даже в эту счастливейшую для него лично минуту...

Его последние слова были: «Бедная... дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!»[**]

Предчувствовал ли он свою близкую кончину?

В уже приводившемся письме 1879 года Победоносцеву он говорит, что умрёт «через год или через два». Ему оставалось жить полтора года.

Его письмо Гусевой — со словами «дни мои сочтены» — написано 15 октября 1880 года: оставалось три с половиной месяца.

28 ноября 1880 года он пишет брату Андрею Михайловичу — в ответ на пожелания здоровья, что они, эти пожелания, имеют мало шансов осуществиться: «...вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму». Он говорит о том, что при его обстоятельствах, при его работе сберечь здоровье практически невозможно, и добавляет: «Дотянуть бы только до весны и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает»[***].

Это его последнее письмо младшему брату: увидеться им уже не суждено...

Несогласия в зрительном зале

Впервые после московской речи он вновь явился перед публикой 19 октября — в годовщину основания Царскосельского лицея (утренник устраивался Литературным фондом). Чтения, приуроченные к подобной дате, неизбежно должны были вызвать ассоциации с недавними московскими торжествами. Тем более что исполнялись исключительно произведения Пушкина. И даже некоторые внешние детали усиливали сходство.

«В обширной и безукоризненной в акустическом отношении зале нового дома Петербургского городского кредитного общества, — писало «Новое время», — собрались представители интеллигентного общества столицы. На кафедру, установленную впереди

[*] Переписка. С. 347.

[**] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.

[***] *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 229.

большого пушкинского бюста, увенчанного лавровым венком и декорированного зеленью, поочередно всходили известные литераторы...»*

Всех: и писателей — Д.В. Григоровича, П.И. Вейнберга, А.А. Голенищева-Кутузова, и артистов — М.Г. Савину и И.Ф. Горбунова — встречали дружными аплодисментами. «Но всего сочувственнее, — свидетельствует «Берег», — публикою был принят Ф.М. Достоевский. Не знаем, был ли это отклик московского торжества или вполне независимо от московской речи наша публика хотела выразить свои симпатии автору "Преступления и наказания", "Бесов" и "Братьев Карамазовых", но всякое появление маститого романиста-психолога нашего вызывало буквально гром рукоплесканий. Публика даже злоупотребляла своим правом вызывать лектора»**.

«Публика, — присоединяется к наблюдениям "Берега" "Петербургская газета", — вероятно, выражала... благодарность за речь, сказанную в Москве». Далее следовал неожиданный вопрос: «Но за что вызывали его после окончания чтения?»

Он прочитал сцену из «Скупого рыцаря», и, как выразилась та же «Петербургская газета», прочёл «замечательно неудачно. Кажется, и он сам и публика забыли, что речь идёт о "скупом рыцаре", а не о каком-то скупердяе-лавочнике, которого представил нам почтенный чтец»***.

Можно было бы усомниться в справедливости высказанной газетным репортёром оценки, если бы она не находила поддержки в одних позднейших воспоминаниях.

Их автор, актёр В.Н. Давыдов (кстати, приглашённый на вечер Савиной — «послушать Достоевского»), утверждает, что монолог из «Скупого рыцаря» исполнитель «читал невероятно плохо, но публика бесновалась, видя своего любимого писателя»****.

Итак, два независимых очевидца согласны в том, что эта пушкинская сцена не удалась Достоевскому. И мы вполне доверились бы такому совпадению, если бы не обнаружились источники, содержащие оценку, прямо противоположную только что приведённым.

В. Микулич вспоминает: зимой 1880 года Достоевский читал монолог старого барона в гостиной Штакеншнейдеров.

---

* Новое время. 1880. 21 октября.

** В конце 1880 г. М.Г. Савина часто выступала вместе с Достоевским и, по свидетельству очевидца, «страшно волновалась... особенно когда читала стихи» (*Давыдов В.Н.* Рассказ о прошлом. М., 1932. С. 379); Берег. 1880. 20 октября.

*** Петербургская газета. 1880. 21 октября.

**** *Давыдов В.Н.* Указ. соч. С. 380.

«...Среди наступившей почтительной тишины он начал своим глухим, но внятным голосом:

Как молодой повеса ждёт свиданья...

Он превосходно прочёл этот монолог. Не думаю, чтоб можно было прочесть его лучше. Я, по крайней мере, в жизни не слышала лучшего чтения. А когда в конце 3-й сцены он начал шептать, задыхаясь:

Ноги мои слабеют...
Душно!.. Душно!..

Мы испугались, думая, что у него начинается припадок. Но всё кончилось благополучно. Он выпил стакан воды и поклонился публике при громе восторженных рукоплесканий»[*].

Полагаем, что и 19 октября Достоевский — вопреки двукратно высказанному мнению — прочёл этот монолог не столь уж дурно. В этом подозрении укрепляет нас корреспонденция, помещённая в газете «Голос». «Ф.М. Достоевский, — отмечает репортёр, — разбитым старческим голосом, как нельзя лучше соответствовавшим содержанию пьесы, прочёл “сцену в подвале”...»[**]

Современники редко сходятся в эстетических пристрастиях: почему-то трудно (почти невозможно) адекватно оценить то, что создаётся (или совершается) на наших глазах. Как не сходятся, впрочем, и во многом другом...

Если «Новое время» хвалило, например, «безукоризненные акустические условия залы Кредитного общества», то отсюда не следует, что это мнение разделялось всеми. В тот же день, 19 октября, Штакеншнейдер записывает в дневнике, что литературное утро проходило в помещении, «где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! — продолжает Елена Андреевна. — Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шёпотным голосом, он, едва начнёт читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведёт когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!»[***]

---

[*] *Микулич В.* Встреча со знаменитостью. М., 1903. С. 15.

[**] Голос. 1880. 20 октября.

[***] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 432–433. Автор дневника отмечает ту же особенность, о которой упоминали и другие: «Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет».

Он называет Елене Андреевне ту самую болезнь, которая действительно сведёт его вскоре в могилу — «неожиданно и быстро».

На том утреннике 19 октября он прочитал ещё одно стихотворение — «Как весенней тёплой порой» («и тоже плохо», — замечает актёр В.Н. Давыдов) — оно значилось в программе. И уже сверх программы, уступая настойчивым требованиям публики («стоя и с неподражаемым пафосом»), — своего любимого «Пророка». Заключительную строфу, по свидетельству газетного хроникёра, он «произнёс со слезами в голосе, чем и произвёл немалый эффект»*.

«При первых же строфах, — пишет воспоминатель, которому столь не понравился «Скупой рыцарь», — Достоевский весь изменился. Его нельзя было узнать! Сгорбленный, разбитый, сутоловатый, он мгновенно превратился в могучего, стального». Последнюю строфу он произнёс «с необыкновенною силою, равною приказанию, со слезами в горле. Публика застонала от восхищения, а Достоевский побледнел, и казалось, что сейчас упадёт в глубокий обморок»**.

«...На перепутье мне явился»

Из всего «не своего», что читал он со сцены, наибольшее впечатление неизменно производило это пушкинское стихотворение. Тут был момент конгениальности — прозрения и тайновидения; интимнейшее схождение замысла и интерпретации. И в результате — разряд, вспышка, ожог.

Поэт Иннокентий Анненский (ему было тогда 25 лет) видел его в эту последнюю осень. Он вспоминает: Достоевский «поспешно» выходил на сцену; «останавливался у самого края, шага этак за три от входа, — как сейчас вижу его мешковатый сюртук, сутулую фигуру и скуластое лицо с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами, — и голосом, которому самая осиплость придавала нутряной и зловещий оттенок, читал, немного торопясь и как бы про себя, знаменитую оду».

«Читал как бы про себя», — говорит Анненский, разумея, конечно, манеру исполнения. Но, может быть, потому так читал, что полагал: действительно — *про себя*.

«...В заключительном стихе, — продолжает Анненский, —

Глаголом жги сердца людей —

* Голос. 1880. 20 октября.

** *Давыдов В.Н.* Рассказ о прошлом. М., 1932. С. 380.

Достоевский не забирал вверх, как делают иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ (как воспринимал эту строчку, например, Давыдов. — *И. В.),* а скорее, предсказание, и притом невесёлое»[*].

В свои последние месяцы он читает «Пророка» особенно часто: очевидно, не только потому, что это чтение неизменно вызывает восторг аудитории, но и в силу какой-то глубокой внутренней потребности. Осенью 1880 года *историческое ожидание* достигает своей высшей точки — и образ пророка, взыскующего и страждущего, этот достаточно хрестоматийный образ, вдруг обретает грозный конкретный смысл.

...На перепутье мне явился...

Россия стояла на перепутье.

Пушкин исходил из известного библейского сюжета. Он говорит о пророческом даре, о миссии пророка. Но не упоминает о том, какую мученическую кончину должен претерпеть богоизбранный вестник: по велению царя Манассеи Исайя был распилен деревянной пилой.

Пророческое служение всегда оканчивается трагически[**].

За несколько дней до 19 октября Достоевский читал «Пророка» в гостиной Штакеншнейдеров — и «заэлектризовал или замагнетизировал всё общество». Он сделал это, говорит хозяйка дома, «без всяких вспомогательных средств, вроде шёпота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего, слабым своим голосом... все, самые равнодушные, пришли в какое-то восторженное состояние».

Однако и среди гостей Штакеншнейдеров нашлись тонкие эстетики, осудившие подобную манеру исполнения. После отъезда Достоевского всё тот же Аверкиев «с таким жаром и азартом» стал кричать про «Пророка», будто его следует понимать совсем не так, как Достоевский, что один из гостей спросил горячившегося драматурга: «Да что ты, в самом деле, знаком, что ли, был с Исайей?»[***]

Между тем вопрос о том, как понимать «Пророка», носил характер не только академический: он заключал острый и злободневный исторический интерес.

«А мы-то, — пишет Иннокентий Анненский, — тогда, в двадцать лет, представляли себе пророков чуть что не социалистами. Проро-

---

[*] *Анненский И.Ф.* Ф.М. Достоевский. Казань, 1906. С. 3–7.

[**] Достоевский любил и лермонтовского «Пророка», особенно выделяя строфу: «Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья: / В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья».

[***] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 429–430.

ки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу, — так что этот новый, осуждённый жечь сердца людей и при этом твёрдо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, — признаюсь, немало-таки нас смущал».

Выходит, что пророк Достоевского — это антипророк (по отношению к традиционному, усвоенному интеллигентским сознанием образу), «не только не деятель, — говорит Анненский, — но самое яркое отрицание деятельности».

Такая не лишённая остроумия трактовка имеет, как думается, большее касательство к миронастроению начала века, когда И. Анненский писал свои воспоминания. Ведь у Достоевского «указующий перст, страстно поднятый» — это именно перст *указующий,* а не бесцельно устремлённый в мировое пространство. Это призыв, рассчитанный на отзвук, ответ, встречное движение.

Недаром Анненский признаётся, что такого *бездеятельного* пророка трудно было примирить «с образом писателя, который за 30 лет перед тем сам пострадал за интерес к фаланстере. Получалась какая-то двойственность»[*].

Что ж, может быть, двойственность действительно имела место. В пророке Достоевского брезжило несколько различных, не исключено — даже противоборствующих, смыслов. Эти множественность, неоднозначность, неисчерпаемость (характерные для его собственного искусства) открывали простор столь же неоднозначным толкованиям.

Вечер, состоявшийся 19 октября, был повторён 26-го — в той же зале Кредитного общества. Его снова просили прочитать «Пророка» — и он читал дважды, на бис. Восторженные слушатели провожали его до подъезда. «На этот раз энтузиазм был колоссальный, — пишет Анна Григорьевна, — и Фёдор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики»[**].

Петербург с некоторым опозданием пытался догнать Москву.

Прощание с Гоголем

Между тем именно в эти осенние дни создаётся «Эпилог» «Братьев Карамазовых» (одновременно читаются и правятся корректуры от-

[*] *Анненский И. Ф.* Указ. соч. С. 4.
[**] *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 368.

дельного издания). И автору волей-неволей приходится ограждать это главное своё дело от непомерных притязаний эстрады.

2 ноября он пишет Вейнбергу, что на прошлой неделе отказался читать на пяти вечерах. Поэтому никак не может согласиться участвовать в очередном чтении — на Бестужевских курсах. Иначе что скажут про него все остальные? «Ведь относительно их моё согласие читать для женских курсов... будет подлостью...» Если принять все приглашения, то в ноябре он был бы обязан явиться перед петербургскою публикой восемь раз. «Согласитесь, что это невозможно: скажут — это самолюбие, уверенное в себе чересчур уж слишком... Прибавлю ещё, что я, в настоящую минуту, не завален, а задавлен работой»*.

И всё-таки два раза в ноябре выступить ему пришлось: 21-го и 30-го. 21-го — снова в пользу Литературного фонда.

«Интерес этого чтения, — замечает «Новое время», — увеличивается ещё и тем обстоятельством, что г. Достоевский ещё никогда не читал Гоголя...»**

Прошлое возвращалось. В эти последние недели его жизни смыкались начала и концы.

...В 1845 году, майским вечером, робея и дичась, он снёс Некрасову свою первую повесть «Бедные люди». Не в силах идти домой, отправился он затем к одному своему старому приятелю. «...Мы всю ночь проговорили с ним о "Мёртвых душах" и читали их, в который раз — не помню. Тогда это бывало между молодёжью; сойдутся двое или трое: "А не почитать ли нам, господа, Гоголя!", садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь»***.

Теперь, в 1880 году, он читал Гоголя уже не в тесном дружеском кругу, а перед сотнями заполнивших зал слушателей. Как уже говорилось, он не любил исполнять с эстрады чужую прозу — для Гоголя делалось исключение.

Это было прощание.

Один из современников говорит так:

«На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причёсаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо».

---

* *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 224.

** Новое время. 1880. 22 ноября.

*** Дневник писателя. 1877. Январь. Русская сатира...

Он прочитал сцену между Собакевичем и Чичиковым — и прочитал, как свидетельствует тот же мемуарист, «чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актёрски. Думаю, однако, — продолжает воспоминатель, — что ни один актёр не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича...»[*]

Спустя несколько недель на святках (за два дня до нового, 1881 года) он разговорится с В. Микулич. «Я сказала, — вспоминает его собеседница, — что жалею о том, что Гоголь не дожил до этого романа (до "Карамазовых"). Он порадовался бы тому, как хорошо Достоевский продолжает его, Гоголя... Кажется, это не очень понравилось Фёдору Михайловичу, и он сказал: "Вот вы как думаете?"»

Да, конечно: все мы вышли из гоголевской «Шинели». Но теперь-то, на исходе дней, после всего, что было им написано, он мог бы надеяться, что его не будут сопрягать с Гоголем столь непосредственным образом. Впрочем, подобное простодушие извинялось литературной неискушённостью его юной собеседницы...

Место в ряду великих

В эти последние дни он всё чаще задумывается над тем, что оставит он после себя, или, выражаясь более торжественно, — какое место займёт в истории отечественной словесности.

В разговоре своём с Микулич он ни словом не упомянул Тургенева. Но — не забыл о Льве Толстом: «Да, Толстой это — сила. И талант удивительный. Он не всё ещё сказал...»[**]

Месяца за полтора до этого разговора Штакеншнейдер занесла в дневник: «С гордостью и радостью, которые меня даже и удивили и порадовали в то же время, рассказал он мне, что получил от Страхова в подарок письмо Л.Н. Толстого, в котором он пишет Страхову в самых восторженных выражениях о «Записках о Мёртвом доме» и называет это произведение единственным, и ставит его даже выше пушкинских»[***].

О реакции Достоевского на это письмо подробно докладывал Толстому сам Страхов: «Немножко его задело Ваше непочтение

[*] *Поссе В.А.* Пережитое и продуманное. Л., 1933. С. 73.
[**] *Микулич В.* Указ. соч. С. 26.
[***] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 440–441.

к Пушкину, которое тут же выражено ("лучше всей нашей литературы, включая Пушкина"). "Как — в к л ю ч а я?" — спросил он»[*].

Толстой соотнёс его имя с именем любимого им поэта — и как бы ни было приятно ему это обстоятельство, его поражает (почти пугает!) то, что автор «Войны и мира» дерзнул поставить «Записки из Мёртвого дома» выше произведений боготворимого им Пушкина. (Страхов, правда, тут же поспешил его успокоить, заметив, что Толстой и прежде был, а теперь особенно стал большим вольнодумцем.)

Всегда склонный скорее преуменьшать свои писательские заслуги, умалять своё значение именно как художника, он окидывает теперь взором всё пространство русской классики и пытается осознать — не для соблюдения «табели о рангах», а для себя самого, — что же он такое как писатель, реализовал ли он своё предназначение в этом мире, свой данный ему от Бога талант? И будет ли дорог будущим своим читателям, если таковые обнаружатся?

Пожалуй, он задумывается и над вопросом, который позднее сформулируют так: «Достоевский и мировая литература» (не забудем, что в это время — в отличие от Тургенева и Толстого — Запад с ним практически не знаком).

В. Микулич в упомянутом разговоре осмелилась задать своему собеседнику довольно рискованный вопрос: «Ну, а кого вы ставите выше: Бальзака или себя?»

«Достоевский, — говорит она, — не усмехнулся моей младенческой простоте и, подумав с секунду, сказал: "Каждый из нас дорог только в той мере, в какой он принёс в литературу что-нибудь своё, что-нибудь оригинальное. В этом — всё. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги"»[**].

Это не дипломатический уход от прямого ответа. Ответ вполне искренен: подобная мысль высказывалась им неоднократно. Он ценит в писателе не только верность действительности, психологический или изобразительный дар, не только литературное мастерство как таковое. Он ставит выше всего *новое слово:* «В этом — всё».

Овации под занавес

В конце 1880 года люди, видевшие Достоевского, не предполагали, что они видят его, может быть, в последний раз.

---

[*] Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 259.

[**] *Микулич В.* Указ. соч. С. 25.

30 ноября в зале Кредитного общества он читает в пользу недостаточных студентов Петербургского университета (чистый сбор от этого вечера превысит 1800 рублей). Как помним, его сестра Варвара Михайловна сообщила ему, что читала в «Современных известиях» «восторженную похвалу» какому-то из его выступлений. Полагаем, что она имела в виду следующий текст:

«Вечер открылся чтением нашего талантливого романиста-психолога, уважаемого Фёдора Михайловича Достоевского. Трудно и даже невозможно передать словами впечатление, произведённое на публику мастерски-художественным, живым чтением романиста эпилога из своих “Карамазовых”. То стоны и вопли, то слёзы радости, то страшная ненависть и христианское смирение, то, наконец, искреннее раскаяние слышались в голосе лектора, сумевшего неподражаемо передать всё психологическое движение человека. Нечего, конечно, и говорить о том, что г. Достоевский удостоился самых шумных оваций; ему поднесли лавровый венок...»*

В первых числах декабря он получает письмо от неугомонного Вейнберга: тот пишет, что Достоевского «буквально умоляют» принять участие в вечере в пользу Бестужевских курсов, «так как без Вас он положительно немыслим в смысле сбора». Свою просьбу Вейнберг подкреплял поэтически (начало его стихотворения уже приводилось выше: см. с. 234):

...Об этом
Я Вам писал уже, горя
Надеждой нас привлечь. Ответом
Мне было: раньше декабря
Никак нельзя. И вот я снова
Мольбы к Вам обращаю слово!**

14 декабря он выступил перед бестужевками. В первом отделении он прочитал «Пророка», а его собственный рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» почему-то прозвучал в исполнении Григоровича (странно, что автор доверил свой текст другому). Во втором отделении он вместе с тем же Григоровичем прочитал сцену из гоголевской «Женитьбы» (причём принял на себя роль Подколесина, а Григорович — Кочкарёва).

Да, все замыкалось, и концы сходились с концами. С Григоровичем они познакомились ещё в Инженерном училище.

* Современные известия. 1880. 6 декабря.
** Материалы и исследования. Т. 4. С. 251.

В 1845 году они жили некоторое время под одной крышей — в доме на углу Владимирской и Графского переулка. Сосед Григоровича по квартире писал тогда своих «Бедных людей». Просиживая дни и ночи у себя в комнате, он, как вспоминал через сорок с лишним лет его сожитель, «слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать». Тем не менее именно Григорович стал первым слушателем первой повести Достоевского («“Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай”*, — сказал он с необычною живостью»).

Позднее они никогда не будут особенно близки — ни в личном, ни в литературном отношениях. (Однажды, без малейших, впрочем, оснований, Достоевский приревновал Анну Григорьевну к представительному, барственному, светскиобходительному «французу» — мать Дмитрия Васильевича была француженкой.) И вот теперь, незадолго до конца, судьбе было угодно вновь свести двух приятелей юности: возможно, в последний раз.

И.И. Попов вспоминает:

«...поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я... встретил Ф.М. Достоевского вместе с Д.В. Григоровичем... Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый, как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твёрдо, держался прямо и высоко нёс свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шёл сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке, ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик...

Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживёт Достоевского»**. (Попов оказался прав: Григорович умрёт почти девятнадцатью годами позже.)

14 декабря они, не ведая своих сроков, стояли на сцене Благородного собрания. Они произносили текст того самого писателя, который был кумиром их общей молодости.

«Женитьба» — пьеса комическая. Достоевский (мечтавший, как помним, сыграть Отелло) в роли Подколесина был, очевидно, забавен.

Это было его последнее появление перед широкой публикой.

---

* *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания. С. 88–89.

** *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 90.

В последние месяцы 1880 года он не избегает и великосветских салонов. Летковой-Султановой довелось как-то наблюдать его в этой обстановке.

Литература в высшем свете

В ярко освещённой зале (наполненной «нарядными дамами и блестящими мундирами») он стоял во фраке («слишком широком») «и слушал с напряжённым вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже её». Он показался Летковой-Султановой «ещё меньше, худее и беднее, чем прежде. И так захотелось увести его отсюда, — продолжает достаточно враждебная этому миру воспоминательница, — от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Фёдор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у «знаменитостей», говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у неё в салоне — сам Достоевский».

«...Я была поражена, — говорит Леткова-Султанова, — его страдальческим видом, может быть, оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная».

Да, он чувствует себя «вполне хорошо», но сторонняя наблюдательница (она попала в этот дом в общем-то случайно) ощущает его человеком не отсюда, не от мира сего (именно не от *этого* мира): «Фёдор Михайлович спокойно, с достоинством слушал, кланялся, болезненно улыбался и точно всё время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа»[*].

Этот мир чужд ему не только в силу его собственного социального положения и житейских привычек, он чужд ему ещё и как писателю: недаром (не без иронии замечает Штакеншнейдер) «знакомство с большим светом всё-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в “Бесах”, он, верно, в этом отношении не пойдёт...»[**]

То, что двадцатичетырёхлетняя курсистка (и будущая писательница) наблюдала в доме маркизы Паулуччи, не было светским успе-

[*] Звенья. Т. 1. С. 473.
[**] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 438.

хом Достоевского, вернее, не было успехом преимущественно светским. Само появление автора «Карамазовых» в высшем свете, в гостиных петербургской аристократии — лишь отголосок того стихийного, «низового» признания, которое в последние два-три года подняло его на самый гребень общественной волны. Он — *в моде*. И высший свет, как всегда, чутко реагирует на эту очередную моду, не подозревая о том, что силою обстоятельств он вынужден рассматривать предмет своей благосклонности именно *в высшем свете*, что на сей раз внимают не переменчивому настроению минуты, а уже ощутимому дыханию вечности.

Русский парадокс

В своём дневнике Штакеншнейдер размышляет о причинах столь неожиданной популярности. Она вспоминает, как «лет двадцать тому назад», когда в Петербурге впервые стали устраиваться литературные вечера, Шевченко, например (он только что получил разрешение жить в Петербурге), «оглушали рукоплесканиями и самыми восторженными овациями, однажды довели его ими до обморока. Достоевскому же не выпадало на долю ничего! Его едва замечали и хлопали заурядно, как всем, меньше, чем всем»[*].

Автор дневника решительно не согласен с теми, кто склонны нынешнюю славу Достоевского приписать его каторге. Ведь тогда, в начале шестидесятых годов, он только-только вернулся из Сибири, он уже был автором «Униженных и оскорблённых» (а чуть позже — и «Записок из Мёртвого дома»), но публика тем не менее оставалась холодна.

«Тогда, — подтверждает эти наблюдения П.Д. Боборыкин, — автор “Карамазовых” хоть и стоял высоко, как писатель... но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни»[**].

Елена Андреевна полагает — всё дело в том, что у Достоевского не было тогда своей «партии» в университете. Но резонно спросить: разве сейчас, в 1880 году, среди публики появилось нечто такое, что можно было бы именовать «партией Достоевского»? Увы, такой «партии» нет. Ему рукоплещут и к нему прислушиваются люди самых различных, часто диаметрально противоположных, убеждений.

---

[*] *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 433.

[**] *Боборыкин П.Д.* Воспоминания. Т. 1. М., 1965. С. 340.

Славу Достоевскому, продолжает Штакеншнейдер, принесли не каторга и даже не его романы, «по крайней мере не главным образом они», а «Дневник писателя». Именно «Дневник» «сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодёжи, да и не одной молодёжи, а всех, мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»*.

Здесь Елена Андреевна высказывает удивительную истину.

В самом деле: ни один из романов Достоевского не вызвал такого ощутимого общественного резонанса, такого живого и непосредственного читательского отклика, как формально «нехудожественный» публицистический «Дневник писателя». Только после того, как автор «Преступления и наказания» поставил себя в *прямые* отношения с читающей Россией, только после того, как он заговорил с ней от *первого лица* и попытался разрушить вечную преграду, отделяющую писателя от читателя, — только тогда, неожиданно для себя самого, он оказался в фокусе жгучего общественного интереса.

Очевидно, мы имеем дело с одним из интереснейших парадоксов русского общественного сознания**.

Трём российским гениям — Гоголю, Достоевскому, Толстому — в какой-то момент становится *мало* одной литературы. Они вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель как будто бы вовсе не обязан заниматься: они желают установить новое соотношение между искусством и действительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с её идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой. Иначе — придать самой действительности новый *образ*. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, публицистика позднего Толстого и, наконец, «Дневник писателя» — всё это (в разной, разумеется, мере) и есть реализация этого неодолимого стремления.

Это прорыв к читателю — «сквозь» литературу.

Для Гоголя, а затем для Толстого и Достоевского самым главным становится то, что, как они полагают, «больше» литературы: *жизнетворчество*. Их высшая цель — изменение самого состава жизни, новое жизнеустроение.

Аудитория 1880 года воспринимала Достоевского в качестве человека, принявшего на себя эту вселенскую миссию. «Учительское» (и, если угодно, «пророческое») обладало в глазах этой аудитории

* *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 433–434.

** О «Дневнике писателя» см. подробнее: *Волгин И.Л.* Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004. С. 25–145.

большей значимостью, нежели «чисто писательское». Правда, поклонники Достоевского навряд ли сумели бы исчерпывающе ясно сформулировать, чему же, собственно, хочет научить их автор Пушкинской речи (будущим последователям Толстого ответить на аналогичный вопрос значительно легче). Но они, слушатели и зрители, отчётливо различали «указующий перст, страстно поднятый». Причём — и это очень существенно — перст, направленный не к промежуточным, а к конечным, отдалённейшим мировым целям, к той запредельности, где, по известному пророчеству (не случайно вспоминаемому Иваном Карамазовым в его разговоре с Алёшей), волк должен был возлечь рядом с ягнёнком. Достоевский как бы воплощал в себе то идеальное мировое начало, на которое столь отзывчивы сокровенные струны русского национального духа. Его порыв к мировому совершенству не мог не вызвать ответной волны — искренней, горячей, благодарной.

«Дешевле не примиримся»

В первых числах января 1881 года Орест Миллер писал в газете «Неделя»: «Кого, наконец, — если обратиться не к профессорам, а к писателям — продолжает особенно любить молодёжь, как не Ф.М. Достоевского, несмотря на то, что его давно преследует ярою бранью значительная часть так называемой "либеральной" прессы. Молодёжь (по крайней мере у нас здесь) продолжает буквально н о с и т ь Д о с т о е в с к о г о н а р у к а х, как это недавно произошло на вечере у студентов-технологов, произносивших при этом из его Пушкинской речи: "дешевле не помиримся"...»

«Дешевле не помиримся» — *обращённая на себя* цитата: «Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится...»

«Он», — говорил Достоевский. «Мы», — отвечали ему его современники, как бы игнорируя тончайшую самоиронию, заключённую в этом пассаже. Счастье (подлинное счастье) не может быть, по их представлению, ни личным, ни даже «национальным»: только «всемирным».

Как и Штакеншнейдер, О. Миллер размышляет о причинах поздних триумфов Достоевского: «...это объясняется не столько силой его дарования, сколько качествами его характера: способностью говорить всегда откровенно и по всем направлениям смело, не заботясь о том, что об этом скажут. Молодёжь приветствует чутким сердцем всё прямое и непоклонливое и брезгливо сторонится от

всего вилявого и межеумочного, обессиленного и обезличенного девизом: "и нашим, и вашим". Наша пресса, — добавляет О. Миллер, — мало обращает на это внимание: напротив, она по большей части умалчивает даже о таких фактах, как совершенно выдающиеся овации Достоевскому всякий раз, что он выступает публично, — овации, в которых всего более участвует учащаяся молодёжь»[*].

Эти «совершенно выдающиеся овации» отмечаются почти всеми современниками: они сильно поразили их воображение. «И вдруг, — вспоминает чрезвычайно плодовитый, но от этого не избежавший забвения писатель А.В. Круглов, — опальный Достоевский, которого травило "Дело" с нахальством и грубостью хитровца, сделался общим кумиром, его имя стало произноситься с благоговением»[**].

В чём причина подобных метаморфоз?

За несколько месяцев до цареубийства 1 марта, в канун ещё никем не предчувствуемой — почти четвертьвековой — эпохи политического безвременья, в России нашёлся человек, верящий в такое историческое решение, которое могло бы отвратить кровавую развязку (последняя неизбежно воспоследовала бы в результате победы любой из противоборствующих сил). Этот *намёк*, это дуновение призрачной, но жгучей надежды властно привлекало к автору Пушкинской речи смятённые умы и сердца. То, к чему «клонил» Достоевский, обреталось далеко за пределами обыденной жизни, сама обыденность которой, казалось, не оставляла никаких иллюзий. Но чем неосуществимее её идеал, тем могущественнее его завораживающая сила.

Внутренняя духовная «революция» противополагалась Достоевским революции политической — как альтернатива. Однако в такой же степени она являлась альтернативой и политической реакции.

В речи А.Н. Майкова, посвящённой памяти Достоевского, сказано: «После кликов, рукоплесканий и венков, которыми удостаивали его на публичных чтениях, опять он говаривал: "Да, да, всё это хорошо, да всё-таки главного не понимают!"»[***].

Что же было главным?

Когда он писал, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», он предупреждал не об одной,

---

[*] Неделя. 1881. 4 января. Вечер у студентов-технологов в литературе не отмечен. Если верить О. Миллеру, он состоялся в самом конце 1880 года. Возможно, это последнее публичное выступление Достоевского.

[**] *Круглов А.В.* Пёстрые странички // Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 471.

[***] Биография... С. 57 (третья пагинация).

а о двух смертельных опасностях. Ибо для него любая развязка, не совпадающая с решением нравственным, чревата грозными и непредсказуемыми последствиями. Террор «сверху» ничуть не лучше террора «снизу»: торжество любой из этих крайностей означает падение и гибель. Он в одинаковой степени страшился этих двух бездн; он горячо верил, что у России достанет сил пройти по самому краю пропасти, не сорвавшись в зияющую пустоту. Нравственный выбор должен был, по его мысли, стать выбором историческим.

Боль страны отзывалась в нём собственной болью. Может быть, именно потому так высок был его моральный авторитет.

В своих воспоминаниях А.В. Круглов приводит следующий эпизод:

«Я шёл по Невскому с медиком. Навстречу нам попался на извозчике Достоевский. Медик быстро, раньше меня, снял фуражку.

— Вы разве знаете Фёдора Михайловича? — спросил я.

— Нет, но что же такое? Я не п о к л о н и л с я ему, а обнажил голову перед ним, как я это сделал и в Москве, проходя мимо памятника Пушкину»*.

Он дожил и до этого. Незнакомые люди приветствовали его на улице (как позднее — Толстого): в их глазах он был достоянием национальным. Но сам он, занимающий столь многие умы, окружённый всеобщим вниманием, почти поклонением, сам он по-прежнему одинок.

30 октября ему исполнилось 59 лет.

* Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 471.

Глава XX

СМЕРТЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Воскресенье, 25 января

Итак, в воскресенье, 25 января, у них были гости. Лишь только хозяин встал, явился Аполлон Николаевич Майков. Вслед за Майковым, как уже говорилось, пожаловал Страхов.

Последним подошёл Орест Фёдорович Миллер. У него было дело.

Миллер уже приходил на днях и, как помним, застал хозяина в недобрую минуту: ни о каком выступлении он не хотел и слышать. «Потом, — говорит Миллер, — Фёдор Михайлович смилостивился немножко и подал некоторую надежду»[*].

Поэтому был избран окольный путь: зная отходчивость Достоевского, Миллер 20 января обращается к Анне Григорьевне и вверяет ей «участь Пушкинского вечера»[**].

Профессор рассчитал точно: Достоевский уже и сам был огорчён своим отказом, беспокоясь, не обидел ли он Миллера («Вот и ещё, пожалуй, человека потеряю»), и прося Анну Григорьевну извиниться перед ним письменно[***].

Анна Григорьевна отвечала в тот же день: «...Фёдор Михайлович поручил мне написать Вам, что он будет читать у Вас 29 января в о

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 527. 29 января, на следующий день после смерти Достоевского, выступая на том самом вечере, в котором тот должен был участвовать, Орест Миллер так объяснил причины первоначального отказа: «Его впечатлительная душа находилась под влиянием свежих ещё попрёков, что он любит овации...» // Там же. С. 529.

[**] Там же. С. 527.

[***] См.: Биография... С. 322 (первая пагинация).

в с я к о м с л у ч а е, т. е. даже в случае, если б ему запретили его январский «Дневник» (чего он так опасается)»[*].

В тот же день, 20-го, новый начальник Главного управления по делам печати Н.С. Абаза присылает Достоевскому свою визитную карточку — с надписью на обороте: «Прошу извинить, что задержал, никаких препятствий, конечно, нет»[**]. По свидетельству первых биографов Достоевского, Абаза успокоил автора «Дневника», «что у цензуры рука не поднимется ни на одну его мысль»[***].

Таким образом, «серые зипуны» прошли: времена стояли неслыханно либеральные[****].

В его последней записной книжке есть помета: «На мартовск. № »[*****]. Интересно, о чём говорил бы он в своём «Дневнике» *после* 1 марта?

До взрыва на Екатерининском канале оставалось чуть более месяца. Жизни ему было отпущено ещё три дня.

В воскресенье, 25 января, подтвердив О.Ф. Миллеру своё согласие на участие в Пушкинском вечере, хозяин тем не менее «настоятельно заявил», что прочтёт «некоторые любимые им небольшие стихотворения Пушкина». Орест Фёдорович встревожился: ведь Анна Григорьевна уведомила его, что её муж выбрал для чтения отрывок из последней главы «Онегина» — именно так и значилось в готовящейся к печати афише. Перемена потребовала бы новых цензурных хлопот — у попечителя учебного округа и градоначальника. Поэтому Миллер попробовал деликатно возразить. «Фёдор Михайлович несколько раздражился и сказал, что кроме указываемых им теперь небольших стихотворений он ничего другого читать не будет. О.Ф. Миллер, в свою очередь раздражившись, неосторожно попрекнул Фёдора Михайловича недостаточным вниманием к его, Миллера, нелёгкому положению в качестве устроителя вечера. Тогда Фёдор Михайлович уже не раздражился, а огорчился: «И не грех вам, — сказал он, — говорить это; сколько раз я по вашей просьбе читал для студентов».

«Небольшая размолвка, — вспоминают свидетели этого инцидента, — окончилась миролюбиво. О.Ф. Миллер дал слово выхлопотать

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 528.

[**] НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 1. Ед. хр. 1.

[***] Биография... С. 322 (первая пагинация).

[****] Надо полагать, визитная карточка Абазы была приложена к возвращаемой автору рукописи, так как типографский набор вряд ли был готов. Словечко «конечно» в записке Абазы звучит многозначительно: либеральное начальство намекало, что высокая степень цензурной терпимости предполагает ответную авторскую сдержанность.

[*****] Литературное наследство. Т. 83. С. 694.

разрешение на замену прежнего отрывка другими стихотворениями, только бы Фёдор Михайлович участвовал в вечере». Когда он уходил, хозяин, «совершенно уже успокоенный», проводил его до дверей...[**] [**]

Проводил он и другую посетительницу — Катерину Ипполитовну, жену родственника Анны Григорьевны, доктора М.Н. Сниткина. Она сидела у хозяйки, которая и «вызвала» мужа, чтобы тот простился с гостьей. «Та ему сказала, что он будто сердитый. Он очень удивился и сказал ей: вот лучше не жить с людьми; тут Бог знает, как занят человек, ему тяжело и грустно, и люди тотчас придумают, что он сердится. "Да ведь я пошутила", — ответила ему К.И.»[***].

Очевидно, он показался «сердитым» после объяснения с Миллером, ибо другими гостями было замечено, что в этот день он был «вполне здоров и весел, и ничто не предвещало того, что произошло через несколько часов»[****].

В пятницу, 23 января, у них с Анной Григорьевной зашёл разговор о предстоящем лете. Он полагал, что на деньги, вырученные за «Карамазовых» и за будущий «Дневник» (набиралось тысяч двенадцать-пятнадцать, а тысяч пять можно было занять у знакомых), следует купить имение под Москвой: «Ну, так я поеду в Эмс, а ты поедешь в имение и будешь там хозяйничать и проживём до осени, а там сюда. Ты и дети отлично поправитесь».

«Дни мои сочтены», — говорит он за три месяца до смерти. За пять дней — строит обширные планы на будущее.

«Всегда мечтал об имении, — продолжает свою запись Анна Григорьевна, — но непременно спрашивал: есть ли лес. На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы и небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения... Не любил дуба, а любил лиственный лес, не расчищенный, а скорее запущенный, разросшийся». Он был согласен, чтобы его долю куманинского наследства выделили лесом, который он стал бы растить — к совершеннолетию детей лес уже бы шумел: «...пусть все продают; а я не продам, из принципа не продам, чтобы не безлесить Россию»[*****].

---

[*] В черновых записях Анны Григорьевны эпизод этот выглядит несколько иначе: «Зашёл разговор о перемене программы и о том, чтоб ему не читать "Онегина", которого прочтёт вместо него Герард с К (?). Фёдор Михайлович был недоволен, почти обижен...» (Жизнь и труды... С. 319.) Выходит, следовательно, что не сам Достоевский отказался от чтения главы из «Онегина», а наоборот, его просьба о закреплении за ним этого отрывка не была уважена. Что, естественно, и вызвало его недовольство.

[**] См.: Биография... С. 322 (первая пагинация).

[***] Там же.

[****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

[*****] Жизнь и труды... С. 318. Ср.: Литературное наследство. Т. 86. С. 527.

До чеховского «Вишнёвого сада» оставалось около четверти века.

Но вернёмся к воскресенью 25 января.

После ухода гостей он отправился в типографию — отдать последний листок «Дневника» и просить завтра же прислать корректуру. Он вернулся в половине седьмого, когда вся семья садилась обедать: это была их последняя (если не считать завтрашней, роковой) совместная трапеза.

«За обедом всё время говорили о Пиквикском клубе, — записывает Анна Григорьевна (очевидно, перед тем она с детьми была на спектакле. — *И. В.*), — вспоминали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же был этот актёр. “Мистер Джингль”, — сказал Фёдор Михайлович»[*].

Разговор этот доставлял ему видимое удовольствие.

Жена А.С. Суворина, Анна Ивановна, свидетельствует: однажды в дни Пушкинского праздника она вместе с мужем сидела в ресторане Тестова — в компании литераторов: Островского, Григоровича, Достоевского и других. Подавали расстегаи. «Вдруг Ф.М. обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Диккенс? Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивился и замолчал». Разговор шёл своим чередом, как вдруг Достоевский громко заявил: «Господа, между нами есть счастливейший из смертных!» Анна Ивановна обвела компанию недоуменным взглядом: все присутствующие были людьми довольно пожилыми и особенного счастья на их лицах не было заметно. Меж тем Достоевский продолжал: «Моя соседка Анна Ивановна... Да, да! она! Господа, счастливая Ан<на> Ив<ановна> ещё не читала Диккенса, и ей, счастливице, предстоит ещё это счастье! Ах, как бы я хотел быть на её месте!»

Диккенс — один из его любимейших авторов: об этом он говорил неоднократно. И — повторил А.И. Суворину: «Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!»[**]

Он вспоминает о нём за своим последним застольем.

«После обеда, — записывает Анна Григорьевна, — пошёл пить свой кофе, а затем сел писать своё письмо к Каткову, а написав, позвал меня и прочёл его мне»[***].

«Письмо к Каткову» (на самом деле — к Любимову) — это, по всей видимости, последние строки, написанные его рукой (если не считать деловых заметок, сделанных назавтра, — о продаже его сочине-

[*] Жизнь и труды... С. 319.

[**] См.: Достоевский и его время. С. 299–300. (Ср. примечание № 97 к главе XV.)

[***] Жизнь и труды... С. 319.

ний). Письмо помечено 26 января: очевидно, оно переписано набело с 25-го на 26-е. Анне Григорьевне мог читаться черновик.

Автор письма просит редакцию «Русского вестника» выслать ему остаток всё ещё причитающейся за «Карамазовых» суммы. «Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться ещё раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней, последней может быть просьбе?»*

Исследователи склонны относить это послание ко дню 26 января, полагая, что слова о *последней* просьбе могли быть произнесены только после появления первых признаков смертельной болезни. Но такой смысл они приобретают лишь ретроспективно. Вечером 25 января «последняя просьба» могла означать надежду на близкую материальную независимость, намёк на грядущий отказ от унизительных выпрашиваний аванса. «...Я на это со смехом сказала, — записывает Анна Григорьевна, — что вот будешь писать опять «Карамазовых», опять будешь просить вперёд»** ***.

Как бы там ни было, его последнее собственноручное послание мало отличалось от десятков ему подобных: всю свою жизнь он заботился о деньгах.

«Вечером ходил гулять, — продолжает Анна Григорьевна (это его последняя прогулка. — *И. В.*), – а затем...»**** Далее в записи следуют стенографические знаки...

Этой зашифрованности соответствует некая неопределённость в развитии дальнейших событий. Но мы отложим на некоторое время вопрос о том, насколько литературное изложение помянутых событий соответствует их действительному содержанию. Примем пока некритически, на веру ту версию, которая почитается «официальной».

---

* *Достоевский Ф.*М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 241.

** Катков писал в некрологе: «...27 января получили мы от него собственноручное письмо, писанное твёрдым почерком и не возбуждавшее никаких опасений». (Московские ведомости. 1881. 30 января. Очевидно, в этот день Достоевским было написано ещё одно письмо — к графине А.Е. Комаровской (которое, кстати, упомянуто в записях Анны Григорьевны, но до нас не дошло): фраза из него — что автор «чрезвычайно занят своим изданием, но к среде 29-го надеется освободиться» и быть у графини, — цитируется адресаткой в одном обнаруженном нами источнике (см.: *Волгин И.Л.* Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М.,1998. С. 422).) Письмо действительно написано ясным, почти каллиграфическим почерком, вряд ли возможным после первых приступов болезни.

*** Жизнь и труды... С. 319.

**** Там же.

«Закон крови» в действии

Ночью, как утверждает Анна Григорьевна, с её мужем случилось «маленькое происшествие: его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку (а вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос); чтобы достать вставку, Фёдор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжёлая, и Фёдору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась лёгочная артерия и пошла горлом кровь; но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью»*.

Заметим, что единственным участником (и свидетелем) ночного происшествия был сам Достоевский: Анна Григорьевна говорит с его слов.

Заметим также, что он не пожелал будить мирно спящую жену.

В понедельник 26 января он поднялся, по обыкновению, в час дня и, когда Анна Григорьевна вошла в кабинет, сообщил ей о ночном событии. Анна Григорьевна «страшно встревожилась» и, не говоря ничего мужу, послала мальчика Петю (того самого П.Г. Кузнецова, чьи воспоминания приводились выше) за доктором Я.Б. фон Бретцелем. Но тот уже отбыл к больным и смог явиться только к пяти.

Анна Григорьевна сообщает, что всё это время её муж «был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать “Новое время”. Далее у Анны Григорьевны следует одно довольно загадочное место.

«Часа в три, — пишет воспоминательница, — пришёл к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком — всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем “Дневнике”; собеседник начал что-то доказывать, Фёдор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я два раза говорила гостю, что Фёдор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить. Наконец, около пяти часов, гость ушёл и мы собирались идти обедать, как вдруг Фёдор Михайлович присел на свой диван, помолчал минуты три, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбородок

* *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

мужа окрасился кровью и она тонкой струёй течёт по его бороде»[*].

В первой биографии Достоевского, опубликованной в 1883 году, о предобеденном визите таинственного господина не говорится ни слова. Сказано кратко: «В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом»[**]. Причины такой лаконичности обнаруживаются в письме Анны Григорьевны Страхову от 21 октября 1883 года.

«В течение дня, — пишет Анна Григорьевна, — ему (Достоевскому. — *И. В.)* пришлось иметь крупный разговор и почти ссору с своей сестрой Верой Михайловной, приехавшей из Москвы (конечно об этом не следует упоминать в печати)»[***].

В печати об этом тогда упомянуто не было. И даже через несколько десятилетий, работая над своими воспоминаниями, Анна Григорьевна не сочла возможным поведать о том, что «один господин», очень добрый и симпатичный её мужу, но обладавший пагубной привычкой спорить, — не кто иной, как родная сестра Достоевского Вера Михайловна.

Между тем предмет спора был отнюдь не новый.

Родственная тяжба вокруг куманинского наследства тянулась уже несколько лет — с периодическими обострениями: вспомним хотя бы эпизод с П.П. Казанским (см. главу «Свидетель казни»). Тётушка умерла в 1872 году, но лишь совсем недавно Достоевский был наконец формально введён во владение частью её рязанского имения.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

[**] Биография... С. 323 (первая пагинация).

[***] Жизнь и труды... С. 352. С.В. Белов, как водится, в очередной раз ловит нас на «ошибке». Он полагает, что «одним господином» была не сестра Достоевского Вера Михайловна («непонятно, — раздумчиво пишет он,— ...почему женщину надо выдавать за мужчину»), а не кто иной, как А.Н. Майков, с которым Достоевский и вступил в роковой спор. Но, во-первых, причины замены Веры Михайловны «одним господином» настолько очевидны, что не требуют комментариев. (Забавно, что, упрекая нас в невнимательности к источникам, Белов, вероятно, запамятовал, что именно эту версию он излагает в составленных им (совместно с В.А. Туниманом) примечаниях к воспоминаниям А.Г. Достоевской (М., 1971. С. 473–474).) Во-вторых, А.Н. Майков не имел склонности к спорам (особенно по поводу «Дневника писателя», идеи которого он разделял). В записях Анны Григорьевны «для себя», сделанных по следам недавних событий, нет и намёка на какие-либо возникшие между ним и её мужем недоумения. И уж полной нелепостью выглядит утверждение Белова, что «только в судороге предсмертных дней мужа (как изящно выражается автор. — *И.В.*) Анна Григорьевна перепутала, когда приходил Майков — 25-го или 26-го января». Ибо в главе «Последние минуты», составленной *«общими силами очевидцев»*, совершенно недвусмысленно сказано, что, когда О.Ф. Миллер 25 января пришёл к Достоевскому, он застал там Н.Н. Страхова и А.Н. Майкова

При этом он должен был выплатить определённые суммы в пользу сестёр, не участвовавших в разделе.

Дочь Достоевского пишет, что её тётки были «крайне недовольны» таким поворотом дела: «Тут они вспомнили, с какой лёгкостью их брат Фёдор отказался взамен ничтожной и тотчас выплаченной суммы от наследства своих родителей (действительно, в 1844 году он уступил свою часть наследства за тысячу рублей. — *И. В.*). Они думали, что он и вторично легко позволит обобрать себя...»*

Конечно, Любовь Фёдоровна стоит на *семейной* точке зрения. Она указывает на то, что все сёстры её отца находились в гораздо лучших материальных условиях, чем семья Достоевских: «Моя тётка Александра владела домом в Петербурге, у тётки Варвары было несколько домов в Москве, а тётка Вера получила имение родителей Даровое». Тем не менее, «зная великодушие отца», Любовь Фёдоровна убеждена, «что он отдал бы свою долю наследства сёстрам, если бы его обязанности по отношению к жене и детям не были более настоятельными».

С сестрой Александрой Достоевский был в ссоре, и она не бывала в их доме; с сестрой Варварой отношения были тёплые (вспомним её декабрьское письмо); сестра Вера была любима. Может быть, именно поэтому она и приняла на себя довольно щекотливую миссию: попытаться уговорить его принести *братскую* жертву.

Согласно свидетельству Анны Григорьевны, объяснение с «одним господином» имело место до обеда. По словам же Любови Фёдоровны, — во время застолья.

Эта деталь существенна. Если сцена происходила во время обеда, на котором присутствовали и дети, то Любовь Фёдоровна может опираться на собственные воспоминания. В противном же случае вся информация исходит от Анны Григорьевны.

Вера Михайловна была у Достоевских около трёх и покинула их дом в четыре или в пять. Достоевские обычно обедали позже. С другой стороны, трудно предположить, чтобы московскую гостью отпустили без угощенья.

Обратимся, однако, к воспоминаниям Любови Фёдоровны.

---

* Справедливости ради заметим, что тогдашний опекун семейства Достоевских, П.А. Карепин, всячески отговаривал будущего автора «Бедных людей» от подобного шага и согласился пойти на это только по настоятельному требованию самого Достоевского. Так что о позволении «обобрать себя» говорить не приходится. (Биография... С. 322). Трудно представить, чтобы четыре очевидца (а все они, включая самого Майкова, участвовали в составлении указанной главы) «в судороге предсмертных дней» перепутали дату визита.

Дочь Достоевского пишет, что семейный обед (который она ошибочно относит к 25 января) начался прекрасно: брат и сестра увлеклись «обменом воспоминаний об играх и развлечениях в детские годы». Впрочем, вскоре Вера Михайловна перешла к делу.

«Отец нахмурился, моя мать пыталась перевести разговор... Ничто не помогало: тётка Вера была наименее интеллигентной из всей семьи». Тон беседы повысился, посыпались взаимные упрёки, и наконец тётка Вера разразилась слезами. «Достоевский потерял терпение и, чтобы прекратить тяжёлые пререкания, встал из-за стола до окончания обеда. В то время как моя мать вела обратно свою золовку, продолжавшую плакать и собиравшуюся как можно скорее отправиться домой, мой отец скрылся в свою комнату».

Итак, версия Анны Григорьевны, изложенная в её воспоминаниях, опровергается дважды: самой Анной Григорьевной (в письме к Страхову) и воспоминаниями дочери. Причём дочь приводит такие подробности, о которых её мать предпочитает умалчивать. Если даже допустить, что семейный обед всё-таки состоялся, он был прерван при весьма драматических обстоятельствах.

Любовь Фёдоровна пишет далее, что её отец, сев за письменный стол, тронул руками свой рот и усы — и в ужасе отнял их: «они были в крови»[*].

Кровное родство явило свой забытый дословный смысл.

Но с другой стороны: он — так или иначе — исполнил «закон крови на земле», о котором толковал в последней записной книжке. Он исполнил его не только символически, но и буквально: он расплатился *кровью*.

Любовь Фёдоровна говорит, что её отец был «в ужасе». Её мать, наоборот, утверждает, что в ужасе была она, Анна Григорьевна, сам же больной «не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться...». Он повёл детей к письменному столу и стал показывать им только что полученное объявление о подписке на юмористический журнал «Осколки». На картинке были изображены два рыболова, которые запутались в сетях и свалились в воду. Отец прочёл детям стихотворные подписи, «и так весело, что дети успокоились»[**].

Что же это за стихи он, гениальный исполнитель «Пророка», декламировал последний раз в своей жизни? Имеет смысл привести текст — прежде он никогда не воспроизводился:

---

[*] *Достоевская Л. Ф.* С. 95–96, 97.

[**] *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 372–373.

После жирного обеда
Мирно удят два соседа.

«Я боюся, как бы с вами
Не сцепиться мне крюками!..»

Трах! сбылося предсказанье.
Ведь сцепились!.. наказанье!..

Чем распутывают дольше,
Тем запутывают больше...

Все опутались крюками
С головами и руками...

Перепутались, сцепились —
Бух! и в воду повалились.

Но, читатель, ты не бойся,
Выслушай и успокойся:

Их спасли городовые...
Нынче строгости такие!..*

Разумеется, это не Пушкин («Тятя! тятя! наши сети...»); аудитория, однако, осталась вполне довольной.

Наконец явился фон Бретцель: только он начал выстукивать грудь больного, как кровь полилась сильнее прежнего. Достоевский потерял сознание.

Анна Григорьевна не говорит, как скоро он пришёл в себя, но, очевидно, беспамятство продолжалось недолго. Когда наконец он очнулся, первые его слова были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься»**.

Толстой перед смертью опасался, что ему, «отпавшему» от церкви, помимо его воли навяжут исполнение церковных таинств. Достоевский умирает «как все»: он страшится не успеть исполнить требования веры.

Из соседней Владимирской церкви призвали священника отца Николая. Анна Григорьевна говорит, что её муж встретил батюшку «спокойно и добродушно» и затем долго исповедовался и причащался. Что говорил Достоевский отцу Николаю, осталось неизвестным. Тайна исповеди, слава богу, нерушима до сих пор.

---

* Осколки. 1881. 3 января. № 1. (Стихи и картинки напечатаны на внутренней стороне обложки.)

** *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 373.

Хотя доктор и уверял, что особой опасности нет, больной делает всё, что подобает умирающему: исповедуется, прощается с женой и детьми, благословляет их. Он не хочет, чтобы смерть застала его врасплох.

«Потеря крови сильно его истощила, — пишет Суворин, — голова упала на грудь, лицо потемнело»*.

Вечером приехал профессор Кошлаков (фон Бретцель послал ему тревожную записку). Опытный медик не стал беспокоить больного осмотром, а Анне Григорьевне сказал, что так как крови излилось сравнительно немного («стакана два»), «то может образоваться «пробка», и дело пойдёт на выздоровление»**.

Кошлаков вообще был оптимистом: в самый день смерти он уверял, «что спасти ещё возможно»***.

Доктора рекомендовали больному как можно меньше разговаривать и двигаться. Фон Бретцель остался бодрствовать у постели своего пациента.

В эту ночь — с понедельника на вторник — Анна Григорьевна садится за письмо О.Ф. Миллеру:

«...Считаю нужным вас уведомить, что Фёдор Михайлович не в состоянии читать на вечере 29 января. Вчера в шесть часов вечера (по другим источникам — в четыре или в пять. — *И. В.*) Фёдор Михайлович опасно заболел: у него лопнула лёгочная артерия и сильно шла горлом кровь... У нас был консилиум, и Кошлаков настоятельно требует, чтобы Фёдор Михайлович не двигался и не говорил в течение недели.

Я в страшном отчаянии; опасность ещё не прошла: ещё одно такое кровотечение, и Фёдора Михайловича не станет»****.

Больной, впрочем, провёл ночь спокойно.

«Не удерживай...»

«На следующее утро, — пишет Любовь Фёдоровна, — он проснулся бодрый и здоровый»*****.

Появилась надежда: кровотечение не повторялось. Больной несколько повеселел; позвал детей, немного с ними поговорил. Днём зашёл метранпаж — потолковать о печатающемся «Дневнике». «Ну,

---

* Новое время. 1881. 1 февраля.

** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 373.

*** Жизнь и труды... С. 352.

**** Литературное наследство. Т. 86. С. 529.

***** *Достоевская Л.Ф.* С. 97.

что скажете, барин?» — обратился к нему Достоевский: так шутливо называл он своего выпускающего*.

Метранпаж принёс корректуры: в них оказалось семь лишних строк. Достоевский встревожился. Анна Григорьевна нашла выход: предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, что и проделала собственноручно. Больной совершенно успокоился, узнав, что номер, посланный Н.С. Абазе (на сей раз, очевидно, в гранках), начальником всей русской цензуры благополучно пропущен**.

Он чрезвычайно заботится о том, чтобы первый «Дневник» вышел, как это и было объявлено, в последний день месяца — 31 января.

Шёл вторник, 27 января.

«Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях, — пишет Суворин. — Но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждёт смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живёт, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает...»***

В другой своей статье Суворин рисует схожую картину: «Весь день был весел и спокоен, шутил, говорил о будущих своих работах, говорил о своих детях, успокаивал окружающих. “Чего вы меня отпеваете? Я ещё вас переживу”»****.

Ему остаётся жить сутки.

Вновь приезжал Кошлаков: «нашёл, что положение значительно улучшилось, и обнадёжил больного...»*****Велено было как можно больше спать: поэтому все улеглись рано. Анна Григорьевна постелила себе в кабинете, на тюфяке, рядом с диваном.

Сохранилась беглая черновая запись Анны Григорьевны об этом дне: «Во вторник была Штакеншнейдер, Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с белым хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него Бретцель, разъехались, ходил кое-куда, освежал комна-

---

* М.А. Александров ошибочно относит этот визит к 24–25 января (См.: Русская старина. 1892. Май. С. 332).

** Отсюда как будто следует, что первоначально (в рукописи) посылалась одна, по-видимому, наиболее рискованная глава. Ср.: «...Н.С. Абаза сказал ему:

— Да зачем вам, Фёдор Михайлович, цензора?..

— Нет, знаете... всё лучше, спокойнее, — отвечал Достоевский.

— Ну хотите, я вам сам прочту? — предложил г. Абаза.

Достоевский, конечно, согласился...» (Порядок. 1881. 3 февраля).

*** Новое время. 1881. 1 февраля.

**** Новое время. 1881. 29 января.

***** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374.

ту. Вечером Верочка и Павел Александрович (пасынок. — *И. В.*)*, рано легли, пил много лимонаду, сделанного мамой, часто. Во вторник боялся, что съедят весь виноград, а когда принесли ещё винограда, то просил меня есть».

Все эти подробности, может быть, незначительные, дороги Анне Григорьевне. Ведь это она собственноручно поила больного молоком, давала ему хлеб с икрой. Зная его любовь к сладкому, сама сходила за виноградом (недешёвым, надо думать, в январе месяце). Отметила его раздражительную мнительность («боялся, что съедят весь виноград») и — его последний знак внимания («просил меня есть»).

Пушкина перед смертью жена кормила морошкой.

«Во вторник вечером перед его сном, — продолжает свои записи Анна Григорьевна, — я ходила наверх попросить господина не ходить, так как эта вечная ходьба очень его беспокоила. Господин перестал»**.

Отметим, что в доме довольно хорошая слышимость: эта деталь нам ещё пригодится.

Анна Григорьевна ночью несколько раз поднималась и при свете ночника смотрела на больного: он спал спокойно. Наконец забылась и она.

Наступила среда, 28 января.

«Проснулась я около семи утра, — говорит Анна Григорьевна, — и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня, — сказал Фёдор Михайлович полушёпотом, — я уже три часа как не сплю и всё думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру».

---

* В предисловии к составленному им сборнику (где, в частности, воспроизведены многие тексты, впервые обнародованные нами в настоящей книге) С.В. Белов утверждает, что мы приняли *Верочку* «не за сестру писателя Верочку Иванову, а за жену его пасынка Павла Александровича Исаева» (Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 17). Должны заметить, что ни в одном из трёх изданий «Последнего года» подобного утверждения нет. Полагаем, что «Верочка» — это крестница Достоевского, семилетняя дочь Павла Исаева (недаром их имена названы *вместе*). Очень сомнительно, что «Верочкой» Анна Григорьевна именует пятидесятидвухлетнюю сестру Достоевского Веру Михайловну. Тем более что последняя, как помним, посетила брата накануне и её визит закончился столь роковой для Достоевского ссорой. (О семействе П.А. Исаева см. подробнее: *Волгин И.Л.* Сага о Достоевских // Октябрь. 2009. № 2.), а также: *Волгин И.Л.* Хроника рода Достоевских. Родные и близкие. М., 2013. С. 1128–1167.

** Жизнь и труды... С. 320.

Не слушая её отчаянных разуверений, он сказал: «Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!»*

Это была книга, подаренная ему в Сибири жёнами декабристов — единственная, которую он мог иметь в остроге, — та самая. С ней он не расставался никогда и под её обложку прятал, как помним, бесхитростные записки своих детей. Евангелие служило и книгой гадательной: он любил открыть его наудачу и прочесть то, что стояло на первой странице слева. И сейчас он поступил точно так же.

Открылось Евангелие от Матфея: глава III, стихи 14–15 («Подавляя слёзы, — дополняет Любовь Фёдоровна, — моя мать прочла громким голосом»**): «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду»***.

«— Ты слышишь — “не удерживай” — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу»****.

Она хорошо запомнила этот утренний разговор. Муж стал её утешать, «говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной». Всё это Анной Григорьевной сообщается в пересказе, и только одна фраза даётся прямой речью: «Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!»*****

В своих черновых заметках Анна Григорьевна даёт несколько иную редактуру: «...просил прощения, любил, [уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле...]» Слова, поставленные в квадратные скобки, записаны стенографически******.

Около девяти часов он спокойно уснул, не выпуская из своих рук руку жены. «Но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось».

---

* *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374–375.

** *Достоевская Л.Ф.* С. 98.

*** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 375. В позднейших изданиях Евангелия значится: «всякую правду».

**** Там же.

***** Там же. С. 376.

****** Достоевский в забытых... С. 284. Приведём это маленькое разночтение, хотя вполне разделяем благородный пафос публикатора: «Не надо ни в чём подозревать или уличать женщину, которой Достоевский посвятил величайший роман мировой литературы “Братья Карамазовы”» (Там же. С. 19).

Так пишет Анна Григорьевна. Суворин добавляет некоторые подробности:

«С утра ему опять было хорошо. Он непременно сам хотел надеть себе носки. Никакие увещания и напоминания о спокойствии не подействовали. Он сел на постели и стал обуваться. Это мелочь, но в подобных болезнях всё зависит от самых ничтожных мелочей. Усилие, которое он сделал, вызвало новое кровотечение, которое повторялось несколько раз. Он стал тревожнее и тревожнее»*.

«Он стал тревожнее и тревожнее», — пишет Суворин. Напротив, Анна Григорьевна уверяет, что её муж сохранял полное присутствие духа, и по его «умиротворённому лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен». Когда после утреннего кровотечения Анна Григорьевна попыталась утешить больного, он «только печально покачал головой, как бы вполне убеждённый в том, что предсказание о смерти сегодня же сбудется»**.

Существует ещё один (сравнительно недавно обнародованный) документальный источник, в котором зафиксированы последние часы Достоевского. Это письма племянницы — дочери его младшего брата Е.А. Рыкачёвой и её мужа к их отцу и тестю в Ярославль.

28 января в два часа дня Е.А. Рыкачёва была у Достоевских. «Дядя был покоен, — пишет она Андрею Михайловичу, — и к нему никого не пускали, хотя и говорили ему обо всех, кто приходил навестить его, — он непременно этого желал»***.

В этот день в «Новом времени» появилось первое сообщение об его болезни. Тут же пошли посетители. Колокольчик над входной дверью звонил непрестанно: его пришлось привязать. Хотя пришедших к больному не пускали, сам он, как сообщает Анна Григорьевна, «был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием, шёпотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо»****.

«Любопытствовал, кто приходил, продиктовал бюллетень»*****, — подтверждается в черновых записях.

---

* Новое время. 1881. 1 февраля. Ср.: «...В среду уже ему было много легче, он начал поправляться, шутил с детьми, читал газеты, но раздражительный вообще, вдруг на что-то рассердился, кровь горлом хлынула снова...» (Петербургская газета. 1881. 1 февраля).

** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 376–377.

*** *Галаган Г.Я.* Кончина и похороны Ф.М. Достоевского (В письмах Е.А. и М.А. Рыкачёвых) // Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1974. С. 289.

**** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна ошибочно относит эти события не к среде, 28 января, а ко вторнику.

***** Жизнь и труды... С. 322.

«Бюллетень» был ответом на встревоженное письмо графини Е.Н. Гейден. В бумагах Анны Григорьевны сохранился черновик: часть его написана обычным письмом, часть — стенографическими знаками. На этом же листке имеется запись (очевидно, позднейшая): «Продиктовано мне в ответ на письмо Графини Гейден в 5 часов или в ½ 6-го в день смерти».

Он диктует ей свой последний текст: сам даёт оценку своему положению. «26-го числа в лёгких лопнула артерия и залила, наконец, лёгкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением. С ¼ <часа> Фёдор Михайлович был в полном убеждении, что умрёт; его исповедали и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровотечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия»[*].

Нет оснований не верить Анне Григорьевне, что этот «бюллетень» продиктован её мужем за несколько часов до смерти. Но тогда возникают некоторые недоумения.

Почему в тексте, продиктованном во второй половине дня 28 января, ни словом не упоминается об утренних и дневных кровотечениях, а говорится лишь о «припадках», бывших 26-го? Уж скорее подобные сведения могли относиться к 27-му, когда действительно не наблюдалось обострения болезни. Но, с другой стороны, первое печатное известие о нездоровье Достоевского появилось, как уже сказано, 28 января, и письмо графини Гейден могло быть откликом именно на это газетное сообщение.

Можно предположить, что утреннее и дневное кровотечения были не столь значительны, и больной не счёл их достойными упоминания. Это как будто находит подтверждение в письме племянницы.

«...Приехала я в 2 часа дня, — пишет Е.А. Рыкачёва, — тогда ещё не теряли надежды и послали за Кошлаковым... Во время моего пребывания кровь у дяди почти не выделялась, и все очень надеялись на его выздоровление...»[**]

В «бюллетене», продиктованном 28 января, содержится очень точная оценка ситуации. Его автор прекрасно сознаёт грозящую ему опасность и не питает на этот счёт никаких иллюзий. Вместе с тем графиня Гейден уведомляется, что больной «в полной памяти и в силах».

---

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 147.

[**] Материалы и исследования. Т. 1. С. 289.

Он не только пребывает в полном сознании, но и отдаёт Анне Григорьевне кое-какие деловые распоряжения. Так, он категорически настаивает, чтобы в случае его смерти подписчики «Дневника писателя» незамедлительно получили назад свои подписные деньги. «Не один, а несколько раз он возвращался к этим деньгам»*, — с некоторым удивлением отмечает одна из петербургских газет.

Он не хотел оставаться должен никому.

Как протекали его последние часы? Об этом сохранились отрывочные записи Анны Григорьевны. Трудность состоит в том, что некоторые из них могут относиться и к предыдущим дням: в этом следует разобраться.

«Утром, пока я ездила в типографию, — записывает Анна Григорьевна, — был Покровский (знакомый Достоевского и его страстный поклонник. — *И. В.*), потом Майков, Рыкачёва, Орест Миллер, Кашпирёва (издательница «Семейных вечеров». — *И. В.*), Павел Александрович, Михаил Михайлович (племянник. — *И. В.*), Григорович, Майков и Анна Ивановна (жена Майкова. — *И. В.*)»**.

Интересно: где был в это время Николай Николаевич Страхов? Ни в одном источнике, содержащем информацию о болезни и смерти Достоевского, о нём не упоминается.

Из записи Анны Григорьевны следует, что утром 28 января она ездила в типографию — разумеется, по делам «Дневника писателя». Что заставило её отлучиться из дома?

«Новое время» писало 31 января: «Утром, в день смерти... ему принесли свёрстанный последний лист этого нумера, уже прочитанный им в корректуре: требовалась только подпись его для печати. Он не мог этого сделать. Жена его сказала посланному: “приходите завтра — ему будет лучше и он подпишет”. Завтра Ф.М. лежал уже на столе»***.

Не с одной ли из этих корректур и направилась Анна Григорьевна в типографию? Автор, очевидно, не хотел мириться ни с малейшей задержкой.

«Я весь день ни на минуту не отходила от мужа...»**** — говорит Анна Григорьевна в позднейших воспоминаниях, противореча своей же только что приведённой записи. Не в укор ей будь замечено, всё же отходила: она оставалась его *помощницей* до конца.

---

* Новое время. 1881. 31 января.

** Жизнь и труды... С. 322.

*** Новое время. 1881. 31 января.

**** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.

И он до конца оставался самим собой: только стилистическое целомудрие не позволяет нам выразиться, что он умер с корректурами в руках*.

«Когда, — продолжает Анна Григорьевна, — я предложила ему по совету Кошлакова нанять студента для присмотра за ним, он согласился, но говорил: “Как я вас разоряю...” И ещё: “Сколько на меня истратили”».

Он боится, что если болезнь затянется, он станет непосильным бременем для семьи.

Проследим далее записи в тетради Анны Григорьевны.

«Меня бы теперь хоронили». Сердился насчёт чаю. «Это раздражительность. Попроси, чтобы он приехал (Кошлаков). Видишь, не удерживай».

«Меня бы теперь хоронили» — т. е. на третий день, если бы первое горловое кровотечение закончилось смертельным исходом. «Сердился насчёт чаю» — это его вечная претензия, что чай слишком крепко или слишком слабо заварен (недаром любил заваривать сам). И тут же извинение — в форме не очень лестной самооценки: «Это раздражительность».

«В день смерти беспокоился о печке, хорошо ли её закрыли, пусть Марья придёт. “Ты ещё не пообедала?”»

Последние его поступки, жесты, слова — всё обыденно, просто; ничего «для истории».

«Читала “Новое время”, вторник»**, — записывает Анна Григорьевна. Газета извещала о том, что к генералу Скобелеву, две недели назад захватившему в прикаспийских степях укрепление Геок-Тепе, подошли свежие силы. Сообщалось также, что представители великих держав в Константинополе, обсуждавшие греко-турецкий вопрос, «разошлись без всяких результатов»***.

«Недружелюбно встретил незнакомого доктора», — записывает Анна Григорьевна: как и следовало ожидать, приехавший А.А. Пфейфер не сумел расположить подозрительного, не доверяющего «чужим» врачевателям пациента...

«Прочти “Новое время”, что сказано обо мне», два раза, не скучал. «Конец, конец, зальёт. Если б моя прежняя мнительность...»****

---

* Следует признать ошибочным утверждение Любови Фёдоровны: «Достоевский не интересовался больше своим журналом...» (*Достоевская Л.Ф.* С. 98). Выходит, что интересовался — буквально до последнего дня.

** Жизнь и труды... С. 322.

*** Новое время. 1881. 27 января.

**** Жизнь и труды... С. 322.

Он просит прочесть «Новое время» за среду, 28 января: здесь как уже сказано, — первое печатное известие об его болезни. Оно гласило:

«В сообщаемой сегодня программе Пушкинского вечера читатели не найдут возвещённого прежде имени Ф.М. Достоевского. Он сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели. Люди, ещё так недавно попрекавшие его тем, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро. Лишь бы сохранилась для русского народа дорогая жизнь глубочайшего из его современных писателей, прямого преемника наших литературных гениев!»*

Он не был избалован такими оценками. Можно было попросить Анну Григорьевну прочитать текст «два раза» — и при этом не скучать.

Между тем повышенная тональность в заметке «Нового времени» предвещает уже близкие некрологи.

В том же номере газеты сообщалось, что парижская палата депутатов продолжала прения о восстановлении разводов. Испанский кабинет подал в отставку. Застрелился командир пензенского полка полковник Муромцев. Блистательная Порта не разрешила учреждения европейских колоний в Палестине.

Всё шло своим чередом.

«Я поздравила его с принятием Св. тайн, — записывает Анна Григорьевна, — но он сказал, что ещё не причащался, сомневался и спросил священника, хорошо ли он сделал, что причастился, а вдруг выздоровеет»**.

К какому дню относится эта запись? Анна Григорьевна утверждает, что визит священника состоялся вечером 26 января. Но из приведённого текста как будто следует, что больной принял причастие не сразу, а лишь после некоторых колебаний. Всё это могло происходить в один вечер — 26-го. Однако в письме Е.А. Рыкачёвой от 29 января сказано: «Третьего дня он причащался...» М.А. Рыкачёв пишет ещё определённее: «27-го он приобщился к тайне...»*** Можно, следовательно, предположить, что либо священника пригласили не сразу, а только на второй день, либо (что вероятнее) — он посещал Достоевского дважды.

---

* Новое время. 1881. 28 января.

** Жизнь и труды... С. 322.

*** Материалы и исследования. Т. 1. С. 287. Ср.: «Вчера (27 января. — *И.В.*)... он исповедался и причащался» (Новое время. 1881. 29 января).

...Когда умирающий Толстой лежал в доме начальника станции в Астапове, весь мир затаив дыхание ждал, как разрешатся его отношения с Богом (с «официальным», разумеется). Святейший синод и департамент полиции слали телеграммы; в Астапово срочно направлялись священнослужители высокого ранга. Толстой не принял никого: он умер нераскаянный и отлучённый*.

Смерть Толстого — по своему драматизму и даже по внешней обстановке — событие эпического масштаба. Современники недаром говорят, что газеты раскупались тогда на улицах, как в день объявления войны. Толстой покидает этот мир, «хлопнув дверью»: громовое эхо ещё долго раскатывается над землёй...

Достоевский умирает, можно сказать, *банально* — благословив домашних и приведя в относительный порядок свои имущественные и религиозные дела. Он отдаёт Богу богово: спешит неукоснительно исполнить предписываемые церковью обряды, не придавая, впрочем, этому акту какого-либо исключительного смысла. В его поступках нельзя усмотреть ни бунта, ни показного смирения. Всю жизнь мучительно выяснявший отношения с Богом, умирая, он делает всё *как положено*. Исповедующий религию «серых зипунов», он не хочет выделяться из этого большинства.

Толстой покидает Ясную Поляну в разгар великих страстей, разыгравшихся вокруг истории с завещанием, — истории, в которую оказались втянутыми десятки людей и которая по своим «сюжетным ходам» напоминает захватывающий детектив.

Достоевский не оставляет никакого формального завещания. Его наследство не столь значительно, чтобы вызывать страсти. И тем не менее кое-какие движения у одра умирающего имели место.

По словам Анны Григорьевны, «очень волновался» пасынок Достоевского П.А. Исаев. Он повторял всем — «знакомым и незнакомым, что у "отца" не составлено духовного завещания и что надо привезти на дом нотариуса, чтобы Фёдор Михайлович мог лично распорядиться тем, что ему принадлежит»**. Однако профессор Кошлаков якобы воспротивился этим намерениям: он полагал, что подобная *деловая* сцена может вызвать волнение и погубить больного.

Так говорит Анна Григорьевна, не питавшая, как известно, особых симпатий к Павлу Александровичу. Однако из письма Рыкачё-

* Строго говоря, акта отлучения не было: определением Синода от 20–22 февраля 1901 года Толстой был объявлен «отпавшим» от церкви.

** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.

вой вырисовывается несколько иная картина: «Анна Григорьевна и дети плачут и волнуются... мне никто не мог ничего толком сказать, так как все суетились. Один пасынок Фёдора Мих<айловича> отличался спокойствием и всех успокаивал»[*].

Возможно, именно тогдашнее спокойствие 33-летнего Павла Александровича и вызвало у Анны Григорьевны ретроспективное раздражение. Конечно, ей не могли нравиться претензии сомнительного родственника. Она вразумительно объясняет, что ни в каком духовном завещании не было надобности, ибо ещё в 1873 году её муж подарил ей литературные права на все свои произведения, а те несколько тысяч рублей, которые «Русский вестник» остался им должен и которые составляли их единственный капитал, по праву принадлежат ей и детям.

Павел Александрович непременно желал войти к больному, и, когда доктор его не пустил, стал заглядывать в щёлку. «Фёдор Михайлович заметил его подглядывания, взволновался и сказал: “Аня, не пускай его ко мне, он меня расстроит!”»[**]

В черновой тетради записано так: «Не хотел звать Пашу, качал головой, чтоб тот не смотрел в щёлку. Позвал Пашу, рассердился и отдёрнул руку, когда тот её поцеловал».

Может быть, в данном случае недовольство больного было вызвано не всем известным легкомыслием Павла Александровича, а, напротив, его излишней деловитостью — неуместным стремлением оформить свои права?[***]

Но вот ещё запись в тетради Анны Григорьевны, которая как будто свидетельствует о том, что волновался не только П.А. Исаев: «“Все деньги твои”. Нотариус подписал повестки, подписал доверенность (“как бы не обидеть детей”)»[****].

Возможны два предположения. Либо был составлен (причём по инициативе самой Анны Григорьевны) какой-то заверенный нотариусом формальный акт («доверенность»), закрепляющий все наследственные права за супругой завещателя, либо здесь имеется в виду старый, 1873 года, документ.

«Как бы не обидеть детей»: т. е., разумеется, детей уже взрослых, достигших совершеннолетия.

---

[*] Материалы и исследования. Т. 1. С. 286–287.

[**] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.

[***] Об отношениях Достоевского и П.А. Исаева см.: *Волгин И.Л.* Хроника рода Достоевских. Родные и близкие. М., 2013. С. 1128–1167, а также *Волгин И.Л.* Сага о Достоевских // Октябрь. 2009. № 2.

[****] Жизнь и труды... С. 322.

В январе 1881 года Феде было девять лет, Любе — одиннадцать.

В последние часы он несколько раз шептал: «Зови детей». «Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и, по приказанию доктора, тотчас уходили, а Фёдор Михайлович провожал их печальным взором»[*].

В эти дни он призывает их неоднократно, просит любить и не оставлять мать.

«Анна Григорьевна и Лиля страшно плакали, когда выходили по временам от дяди», — пишет Е.А. Рыкачёва. «Лиля, — дополняет М.А. Рыкачёв, — была в ужасном волнении и удивительно всё понимала. “Папочка, папочка, всегда я буду помнить, что ты мне говоришь, всю жизнь мою ты будешь как бы при мне”»[**].

Через много лет Л.Ф. Достоевская следующим образом попытается передать слова отца — так, как она тогда их запомнила: «Если бы вам даже случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то всё-таки не теряйте надежды на Господа. Вы его дети; смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом, молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына»[***].

На смертном одре он говорит детям не о счастливой и безмятежной жизни — он предупреждает их о возможном грехе и падении и умоляет не отчаиваться и не терять веры в искупление, помнить, что и в последней крайности нельзя отказываться от надежды. При этом изо всех библейских сюжетов он выбирает именно тот, который вполне отвечает духу его творений.

Замечено, что всё творчество Достоевского есть развёрнутая метафора притчи о блудном сыне.

За два часа до кончины он просит отдать девятилетнему Феде своё Евангелие.

Конец

Если воспоминания Анны Григорьевны о событиях последних дней логичны, стройны и последовательны, то черновые записи её о тех же днях беспорядочны, кратки и не всегда поддаются расшифровке.

«Просил зубы вымыть, завёл часы, причесался, зачем я не в ту сторону... “Ты спишь? — Нет, до свидания, я тебя люблю. — И я так-

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377–378.

[**] Материалы и исследования. Т. 1. С. 289, 288.

[***] *Достоевская Л.Ф.* С. 99.

же”... Виноград алмерийский и клюква в сахаре; киевское варенье, чулки, панталоны. “Это была лишь раздражительность... Какая мучительно длинная ночь, только теперь я понял, что ещё кровотеченье, и я могу умереть. Дай ему сигару”»[*].

Публикатор этой записи полагал, что «дай ему сигару» относится к доктору. Из письма Е.А. Рыкачёвой следует другое: «Когда ему сказали, что пришёл Майков, он выразил желание видеть его — ведь они всегда были друзьями, Майков взошёл на минутку; дядя пожал ему руку и сказал: “Анна Григорьевна, дай ему сигару”, — что и было исполнено, и тотчас же Майков вышел, боясь волновать больного»[**].

«Дай ему сигару» — прощальный жест, проявление мужской приязни, последнее, что он может сделать для своего старинного приятеля.

Анна Григорьевна сообщает, что Майков некоторое время говорил с Достоевским, «который отвечал шёпотом на его приветствия»[***]. Согласно другому источнику, Майков провел у постели больного всё предобеденное время: «Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить»[****].

В пятом часу Майков уехал домой — обедать.

Очевидно, после отъезда Майкова и был продиктован ответ («бюллетень») на упомянутый запрос графини Гейден: разумеется, тоже шёпотом.

«Около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой, — пишет Анна Григорьевна, — и ждали Кошлакова, который около этого часа посещал нас. Вдруг безо всякой видимой причины Фёдор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо»[*****].

Ему стали давать кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Вернулся Майков — с женой. Она, не дожидаясь Кошлакова, бросилась на поиски знакомого доктора. Достоевский был без сознания.

Это была агония.

Анна Григорьевна: «...Дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее

---

[*] Жизнь и труды... С. 322. Расшифровка стенографических знаков дана в примечании № 43.

[**] Материалы и исследования. Т. 1. С. 289.

[***] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 378.

[****] Биография... С. 324 (первая пагинация).

[*****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 378.

человека, это слух, и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего»[*].

Любовь Фёдоровна: «Странный шум, напоминающий клокотание воды, слышался в горле умирающего, его грудь вздымалась, он говорил быстро и тихо, но слов нельзя было понять. Постепенно дыхание становилось тише, слова стали реже»[**].

Анна Григорьевна: «Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьётся все слабее и слабее... Приехавший доктор Н.П. Черепнин мог только уловить последние биения его сердца»[***].

Было 28 января 1881 года: восемь часов тридцать восемь минут.

Лучшая повесть Болеслава Маркевича

«Я вынул часы: они показывали 8 ч. 36 м.»[****], — пишет один из присутствовавших, внося двухминутную поправку в исчисления Анны Григорьевны.

Человек, вынувший часы и засёкший минуты смерти, был писатель Болеслав Маркевич.

Автор антинигилистических романов, печатавшихся у Каткова, почти ровесник Достоевского, он никогда не был к нему близок и не вызывал у него особых симпатий. Он ни разу не бывал в его доме и попал туда впервые («как бы для усиления моего горя», — замечает Анна Григорьевна) минут за сорок до кончины хозяина (выполняя просьбу графини С.А. Толстой — узнать о здоровье больного). Анна Григорьевна говорит, что, зная Маркевича, она опасалась, «что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа»[*****]. Она оказалась права: Маркевич не удержался. 1 февраля в «Московских ведомостях» появилась его статья: «Несколько слов о кончине Ф.М. Достоевского».

Болеслав Маркевич был плохим беллетристом. Он обожал мелодраму. Его описание последних минут Достоевского составлено в основном по методу «графиня побледнела». Но, к сожалению, у нас нет других внесемейных источников. Поэтому, стараясь опу-

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 378.

[**] Там же. С. 99.

[***] Там же. С. 378.

[****] *Маркевич Б.* Несколько слов о кончине Ф.М. Достоевского // Московские ведомости. 1881. 1 февраля.

[*****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 379.

стить надрыв, приведём отрывки, на наш взгляд, заслуживающие некоторого доверия.

«Ещё стоя на площадке лестницы, я уже слышал сквозь эту дверь какой-то странный гул. Кто-то быстро отворил её и рванулся мне навстречу. “Доктор, скорее, скорее!” — стенящим голосом вскрикнул какой-то молодой человек (П.А. Исаев? — *И. В.*). Я не успел ответить, как в переднюю вылетела десятилетняя белокурая девочка с раздирающим криком: “Господин доктор, Бога ради, спасите папашу, он хрипит!” — “Я не доктор”, — растерянно с внезапным уже ужасом проговорил я. В эту минуту в ту же переднюю вышел бледный, с лихорадочно горевшими глазами Ап. Ник. Майков: “Ах, это Вы...”»

Пожалуй, самое достоверное место во всей статье — это изображение умирающего:

«Во глубине неказистой, мрачной комнаты, его кабинете, лежал он, одетый, на диване с закинутой на подушку головой. Свет лампы или свеч, не помню, стоявших подле на столике, падал плашмя на белые, как лист бумаги, лоб и щёки и несмытое тёмно-красное пятно крови на его подбородке. Он не «хрипел», как выразилась его дочь, но дыхание каким-то слабым свистом прорывалось из его горла сквозь судорожно раскрывшиеся губы. Веки были прижмурены как бы таким же механически-судорожным процессом поражённого организма... Он был в полном забытьи».

Далее следуют экстатические подробности: жена (которую Маркевич упорно именует Марьей Григорьевной), бьющаяся «в безумном отчаянии», дочь «в отчаянном порыве» хватающая автора статьи за руки и истерически восклицающая: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы если у него были грехи, Бог ему простил!» и т. д. и т. п. «О, кого я теряю, кого я теряю!» — причитает упавшая в кресло Анна Григорьевна. «“Кого теряет Россия!” — невольно и одновременно вырвалось у нас с Майковым», — строго добавляет Маркевич.

Наконец явился долгожданный доктор (Н.П. Черепнин). Он «поспешно прошёл в кабинет, велел открыть форточку, потребовал пульверизатор и потребовал настоятельно, чтобы его оставили одного с пасынком Фёдора Михайловича».

Через несколько минут доктор вышел от умирающего. «Что, конец!» — вскрикнула несчастная женщина, вскакивая конвульсивно с места... — «Не кончено ещё... но кончается...»

Все проходят в комнату умирающего; жена и дети молча опускаются на колени. Тут Маркевич приводит подробность, отсутствую-

щую в других источниках: «Вошёл священник, шёпотом начал отходную...»

У его постели — Анна Григорьевна с детьми, её мать, Майков с супругой, Б. Маркевич, П. Исаев, возможно, другие родственники, доктор, священник...

Б. Маркевич: «Доктор нагнулся к н е м у, прислушался, отстегнул сорочку, пропустил под неё руку — и качнул мне головой. На этот раз всё было действительно "кончено"»*.

Маркевич вынул часы.

Судьба Александра Баранникова

Маркевич вынул часы: время теперь начинает течь по-иному. Но попробуем перевести стрелки на несколько оборотов назад. Вернёмся к ночи с воскресенья на понедельник — с 25 на 26 января 1881 года.

Такое отступление необходимо.

Ибо той же ночью, когда, согласно Анне Григорьевне, у её мужа случилось первое кровотечение, в квартире номер одиннадцать, расположенной на одной лестнице с квартирой номер десять, где обитал Достоевский, был произведён обыск и оставлена полицейская засада.

В квартире номер одиннадцать проживал член Исполнительного комитета «Народной воли» Александр Иванович Баранников.

Нас интересуют три вопроса: 1) был ли Достоевский знаком с Баранниковым; 2) знал ли о том, что происходит у соседа; 3) имел ли какую-нибудь прикосновенность к событиям этой ночи.

Сразу же оговоримся: никаких *бесспорных* документальных данных, позволяющих утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов, пока не существует.

Существуют предположения. Но прежде, чем перейти к последним, необходимо хотя бы кратко ознакомиться с биографией Баранникова, вернее — с образом его жизни и деятельности.

«Он не носил черт аскетического образа революционера, — пишет его знаменитый товарищ по революционному подполью Вера

---

* Московские ведомости. 1881. 1 февраля.

Отходную, как уже говорилось, читал духовник Достоевского о. Николай (Ярославский). «О. Николай мне рассказывал, — свидетельствует Н.А. Лейкин, — что Достоевский испустил последний вздох именно в тот момент, когда были произнесены последние слова отходной» (Петербургская газета. 1881. 1 февраля. См.: Материалы и исследования. Т. 11. С. 270).

Фигнер. — Им владел сильный инстинкт жизни, которую он понимал лишь в п о л н о т е её. В ней он хотел в с ё испытать, всё изведать; взять всё, что она может дать и что он от неё может взять»[*].

Судьба Баранникова поистине фантастична.

Его отец был военным; он служил в Эриванском лейб-гренадерском полку близ Тифлиса. Женившись на грузинке и выйдя в отставку, он вернулся на родину — в уездный город Путивль Курской губернии, где и умер, когда сыну было пять лет.

Баранников рос в провинциальной дворянской семье среднего достатка вместе с двумя сёстрами и братом.

Соседями Баранникова в Путивле была семья Михайловых. Один из столпов «Народной воли» («хозяин» организации), легендарный Александр Дмитриевич Михайлов — товарищ его детских игр и друг на всю его недолгую жизнь.

Баранников окончил военную гимназию в Орле и, уступая настоятельным требованиям домашних, вынужден был поступить в 1-е военное (Павловское) училище в Петербурге.

Дальше начинается невероятное.

Баранников инсценирует самоубийство. Он отсылает письмо своему ротному командиру, где, указывая на тяжёлый душевный разлад, объявляет о своём намерении расстаться с жизнью. Оставив на берегу Невы (по другим источникам — у проруби) военное платье, он на долгие годы исчезает из поля зрения своих родных и начальства.

«Такой решительный шаг его очень всем нам понравился, — вспоминает Л. Дейч, — да и вообще он производил чрезвычайно симпатичное впечатление»[**].

Восемнадцатилетний Баранников уходит в революцию.

Он становится нелегалом. С весны 1876 года он скитается по югу России: работает косарем, батраком, грузчиком, рыболовом. Но «хождение в народ» не оправдывает надежд радикальных народолюбцев. В лучшем случае народ безмолвствует. Пробыв недолгое время в Астрахани в качестве молотобойца («что, — замечает его биограф, — соответствовало его недюжинной физической силе»[***]), Баранников вскоре возвращается в Петербург.

Летом 1877 года с одной из групп землевольцев он вновь отправляется на Волгу, в Нижегородскую губернию. После разгрома груп-

[*] Народоволец А.И. Баранников в его письмах. М., 1935. С. 9.

[**] *Дейч Л.* Валерьян Осинский (К 50-летию со дня казни) // Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 18.

[***] Народоволец А.И. Баранников... С. 21.

пы ему удаётся ускользнуть от ареста. Ему вообще везло: играя важную роль во многих рискованных предприятиях, он ни разу не был задержан — и так до самого конца.

В том же 1877 году Баранников объявляется в Черногории, ведущей неравную борьбу за своё освобождение. Он сражается против турок в качестве русского добровольца (с целью, как он заявил позднее, на следствии, «ознакомиться поближе с условиями борьбы мелких партизанских отрядов с регулярными войсками и приобретённые там познания употребить с пользою в минуту народного восстания на родине»[*]). Иными словами, участвует в том самом добровольческом движении, за которым пристально следил и которое горячо поддерживал в своём «Дневнике писателя» Достоевский (разумеется, не ведавший об указанных Баранниковым целях).

В 1878 году Баранников возвращается в Россию.

В январе он намеревается мстить генерал-адъютанту Трепову — за Боголюбова: его опережает Засулич. В июле под Харьковом он вместе с товарищами, переодетый в офицерскую форму, нападает на конвой, сопровождавший одного из осуждённых землевольцев. Отбить заключённого не удаётся, и он уходит, ранив конвоира. 6 августа он, как уже говорилось, прикрывает огнём Кравчинского, всадившего кинжал в шефа жандармов Мезенцова: испугавшись выстрела, Варвар понёс так, что стрелявший только благодаря своей громадной физической силе сумел ухватиться за дрожки и спастись.

Он живёт по чужим паспортам и под чужими фамилиями; его знают как Тюрикова и Кошурникова; его партийные клички — «Порфирий» и «Семён».

Летом 1879 года он принимает участие в воронежском и липецком съездах «Земли и воли». Сразу же после возникновения «Народной воли» он становится одним из деятельнейших членов её Исполнительного комитета.

Осенью 1879 года Баранников (вместе с казнённым впоследствии Пресняковым) доставляет в Одессу около трёх пудов динамита: ожидался царский проезд. Августейший путешественник избрал другой маршрут. Тогда Баранников переселяется в Москву, где оказывается среди тех, кто подводит минную галерею длиной 41 метр под полотно Московско-Курской железной дороги. Последовавший 19 ноября взрыв выводит из строя свитский поезд

[*] Народоволец А.И. Баранников... С. 145.

Летом 1880 года (во время «затишья») четыре гуттаперчевые подушки, содержащие в себе семь пудов динамита, опускаются в воду Екатерининского канала близ Каменного моста. Концы проводников выводятся на плот, где устраивается прачечная. Во время проезда государя один из участников покушения должен был находиться на плоту и мыть в корзине картофель: ему надлежало соединить провода со спрятанной в корзине батареей. Операция не удаётся: император направляется в Ливадию прямо из Царского Села.

Участвуя в этом деле, Баранников предлагает наряду со взрывом моста применить новое оружие — метательные снаряды. Они-то в конце концов и поразят венценосную цель.

Незадолго до своего ареста он присматривает на Малой Садовой подходящее помещение — в нём устраивается сырная лавка. Из подвала лавки ведётся подкоп: государь часто ездит этой дорогой. 25 января Баранников вместе с товарищами начинает ломать стену подвала. Подкоп заканчивают уже без него.

За любое из этих деяний Александру Ивановичу Баранникову грозила смертная казнь.

Как выглядел последний сосед Достоевского, которого товарищи по партии элегически именуют «ангелом мести»?

«Он имел фигуру, выдающуюся по своей стройности и красоте, и отличался большой физической силой и цветущим здоровьем... — вспоминает В.Н. Фигнер. — Его красивое лицо, смуглое, матовое, без малейшего румянца, волосы цвета воронова крыла и чёрные глаза делали его непохожим на русского: его можно было легко принять за “восточного человека”, всего более — за кавказца, каким он и был по матери... Его фигура и мрачное лицо вполне гармонировали с решительностью его убеждений...»[*]

«Брюнет, выше среднего роста, широкоплечий, с выдающейся вперёд грудью, Баранников выглядел силачом и красавцем, — дополняет нарисованный В. Фигнер портрет Л. Дейч. — Говорил он отрывисто, лаконично, словно отдавал команду, и имел воинскую выправку. Ни начитанностью, ни развитием, ни природным умом он не отличался, но своими манерами, голосом и взглядом этот юноша обнаруживал большую волю, энергию, в особенности же — отчаянную решимость, отвагу»[**].

---

[*] *Фигнер В.* Портреты народовольцев // Фигнер В. ПСС в 7 томах. Т. 5. М., 1932. С. 323–324.

[**] Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 18.

Все воспоминатели сходятся в одном: Баранников обладал не только интересной внешностью, но и выдающимися личными качествами. Он был до безумия смел. Он был беззаветно предан своему делу. На него можно было полностью положиться.

Сосед Достоевского был несловоохотлив. «Иногда случалось, — пишет В. Фигнер, — что Исполнительный комитет назначал для переговоров с кем-нибудь Желябова вместе с Баранниковым. Тогда в шутку мы говорили, что Желябов назначается для того, чтобы говорить, а Баранников — чтобы устрашать».

На протяжении 1879–1880 годов Баранников наряду с А.Д. Михайловым, А. Желябовым и С. Перовской участвует практически во всех крупных предприятиях «Народной воли». Он без колебаний принимает новые методы борьбы. «...Если бы нужно было дать физическое воплощение террора, — заключает В. Фигнер, — то нельзя было сделать лучшего выбора, как взяв образ Баранникова»*.

При всём при этом Баранников не чурался моды: одевался он тщательно и со вкусом. Он сохранял военную выправку; воспитание в офицерском училище во многом определяло его поведение. Его прошлое и некоторые черты его натуры, пишет П.С. Ивановская, «не позволяли ему проникнуться общими радикальными манерами, демократической наружностью, что... заметно выделяло его среди небрежно одетых революционеров». При своей мрачной внешности он был необыкновенно деликатен с товарищами — «до грубости с кем бы то ни было “Семён” и не в состоянии был дойти»**. Бывшие народоволки единодушно отмечают его джентльменское отношение к слабому полу, причём В. Фигнер добавляет: «Его счастливая наружность обеспечивала ему большой успех среди женщин, и в некоторых он вызывал настоящее поклонение»***.

---

* *Фигнер В.* ПСС в 7 томах. Т. 5. М., 1932. С. 324.

** *Ивановская П.С.* Первая типография «Народной воли» // Каторга и ссылка. 1926. № 3 (24). С. 48.

*** *Фигнер В.* ПСС в 7 томах. Т. 5. С. 324.

«Все считали его красавцем за его богатырское сложение и выражение лица (! — *И. В.*), — пишет сестра его жены Е.Н. Оловенникова. — Эти внешние привлекательные черты соединялись в нём с необыкновенной смелостью и способностью быстро ориентироваться. Однажды не успели мы опомниться, как он ухватил и помчал нас с Гесей Гельфман и ещё одной подругой на публичный бал в Художественном клубе. У нас, как говорится, поджилки тряслись, когда наш нелегальный кавалер, разодетый франтом, в чёрном сюртуке, как светский лев, поднимался с нами в зал по лестнице, уставленной цветами» (Деятели СССР и революционного движения

Арестованный за месяц до 1 марта, он не попал на знаменитый процесс цареубийц, а судился почти годом позже — по делу 20-ти террористов. Письма его из тюрьмы отнюдь не подкрепляют утверждение Л. Дейча об отсутствии у их автора «природного ума». Но они поражают одной чертой, не вполне обычной даже для специфической тюремной эпистолярии.

Глубоко убеждённый в том, что он будет повешен, Баранников жёстко, последовательно, можно сказать, методично готовит своих родных (для которых он совсем недавно воскрес из мёртвых) к новому — на сей раз окончательному — исчезновению своему из жизни. Он пишет, что вовсе не жалуется на судьбу и почитает за высшее благо умереть молодым (в тюрьме ему исполнилось двадцать три года). Его угловатый, грубый, решительный слог поразительно напоминает слог Базарова. Его невесёлый, в буквальном смысле *висельный* юмор, призванный отвратить от него всякое сострадание, достигает обратной цели. Трудно не согласиться с тонким наблюдением публикатора этих писем: «Приходит мысль, не утверждает ли автор самого себя в мысли о неизбежности смерти. Не в себе ли хочет убить инстинкт жизни, инстинкт самосохранения... чтоб с лёгкостью перейти в небытие»[*].

На суде Баранников держался очень хладнокровно и произвёл сильное впечатление. «...Слова его, — записывает один из очевидцев, — дышат такой правдивостью, что кажется дерзостью усомниться в них. Он просто объясняет свою роль, говорит, что делал, чего не делал, и всё это так убедительно, что только изолгавшийся человек мог бы потребовать доказательств... На вопросы же, могущие служить против других, он прямо отказывается отвечать»[**].

Его друг, А.Д. Михайлов, писал из тюрьмы: «Особенно оживлён, весел и бодр Баранников — он как на балу. Для него это последний жизненный пир». И — в другом письме: «Баранников — рыцарь без страха и упрёка, служитель идеала и чести. Его открытое, гордое поведение так же прекрасно, как его юношеская душа»[***].

России. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 176). Баранников, как помним, любил переодевания.

[*] Народоволец А.И. Баранников... С. 50.

[**] Заметки о процессе двадцати // Былое. 1906. № 1. С. 288.

[***] Цит. по кн.: *Прибылёва-Корба А.П., Фигнер В.Н.* Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. Л., 1925. С. 204, 206.

Прокурор Муравьёв (тот самый, который отправил на эшафот первомартовцев) произносил свою обвинительную речь 3 часа 50 минут. Защитник Баранникова Кишенский говорил 13 минут. Последнее слово подсудимого состояло из двух фраз*.

В Государственном архиве Российской Федерации (бывший ЦГАОР) нам удалось найти клочок бумаги, исписанный мелким острым почерком: записка Баранникова на волю.

«Друзья! Чем хуже будет моё положение, тем значит лучше идёт дело революции. Вот единственное мерило, остающееся у меня для определения ваших успехов. Пусть же поэтому ожидает меня не каторга и не централка, а мрачный подземный каземат: в нём я буду спокоен за дорогое дело, полный надежд расстаюсь с жизнью. Вперёд же, вперёд и да здравствует "Народная воля". Порфирий»**.

В своём завещании он пишет: «Живите и торжествуйте. Мы торжествуем и умираем»***.

Не исключено, что цельная, внушающая невольное уважение личность Баранникова подействовала даже на Особое присутствие Правительствующего сената: во всяком случае, из всех вероятных кандидатов на виселицу он один не был осуждён на смертную казнь — он, чьи деяния подразумевали её многократно.

Его приговорили к вечной каторге.

Приговор, как он сам говорит, раздавил его. Приготовивший себя к смерти, к *этому* он был не готов****. Александр III сократил срок до двадцати лет*****. После чего он провёл в одиночной камере Алексеевского равелина немногим более года******.

---

* См.: Процесс 20-ти народовольцев в 1882 г. Ростов н/Д, 1906. С. 120. Баранников, как уже отмечалось, лишь нашёл нужным сказать, что он не имел намерения убить спутника Мезенцова — подполковника Макарова (см. Гл. I).

** ГА РФ. Ф. 112 (ОППС). Оп. 2. Ед. хр. 2720. Л. 1.

*** Там же. Л. 2. Отметим, что подлинник завещания заметно отличается от опубликованного текста (ср. в кн.: Литература партии «Народная воля». М.,1907; перепечатано в кн.: Жуковский-Жук И. Александр Иванович Баранников. М.,1930; Народоволец А.И. Баранников в его письмах).

**** А.Д. Михайлов пишет из тюрьмы: «Милый Баранников огорчён чрезвычайно, у него чуть не слёзы на глазах — он хотел смерти... Его как водой окатили, сохранив ему жизнь» (Письма народовольца А.Д. Михайлова. Собрал П.Е. Щеголев. М., 1933. С. 210).

***** Всем приговорённым к повешению смертная казнь была заменена пожизненной каторгой (кроме Суханова, который, как офицер, был расстрелян).

****** Баранников умер 6 августа 1883 года (в пятую годовщину покушения на Мезенцова) в Петропавловской крепости — от скоротечной чахотки. Знаменательно, что, находясь под следствием, он в письмах к домашним придумал себе эту болезнь (чтобы облегчить для них весть о неминуемом, как он полагал, смертном приговоре): тогда ещё он был абсолютно здоров.

Такова судьба человека, с которым жизнь (вернее, смерть) свела Достоевского. Вопрос лишь в том, как понимать слово «свела»: в прямом или в переносном смысле.

Документы из полицейского досье

В своей книге «За и против» (а ещё раньше — в повести «Сомнения Фёдора Достоевского») Виктор Шкловский высказал предположение, что смерть жильца квартиры номер десять так или иначе связана с арестом Баранникова*.

Впрочем, никаких серьёзных доказательств представлено не было: версия не получила признания (и даже не обсуждалась) в литературе**.

Остановимся на этом вопросе подробнее.

В обширной мемуаристике народовольцев только один-единственный раз имена Достоевского и Баранникова называются рядом.

В своих воспоминаниях М.Ф. Фроленко (он судился вместе с Баранниковым) говорит о том, что некоторые члены Исполнительного комитета, в частности Колодкевич и Баранников, переживали иногда настроение полной безопасности. «Как-то ночью, — пишет Фроленко, — они шли ещё с кем-то, и их поразила тишина, пустота улиц недалеко от квартиры Баранникова, и на прощание с ним они все посмеялись над страхами шпионов, боязнью слежки. На них напало то же спокойствие, уверенность в своей безопасности. В эту же ночь Баранников был арестован. Жил он на квартире Ф.М. Достоевского, и его спокойствие отчасти и в этом обстоятельстве находило себе поддержку»***.

Кое в чём Фроленко ошибается. Во-первых, Баранников был арестован не ночью, а днём, и не на своей, а на чужой квартире. Во-вторых, он жил не в квартире Достоевского, а рядом.

---

* *Шкловский В.* Сомнения Фёдора Достоевского // Красная новь. 1933. Декабрь. С. 138–152; *Шкловский В.* За и против. М., 1957. С. 251–255.

** Уже после завершения настоящей книги мы познакомились с публикацией В.А. Твардовской «На углу Кузнечного и Ямской» (Литературная газета. 1982. 3 ноября), где автор на основании материалов следственного дела (сами документы в публикации не приводятся) высказывает ряд интересных наблюдений. Поиски Твардовской, несмотря на некоторые фактические ошибки и неточности, представляются шагом в правильном направлении.

*** *Фроленко М.Ф.* Заметки семидесятника. М., 1927. С. 68. Цитируя это место, Шкловский допускает две неточности (см.: За и против. С. 251): 1) речь у Фроленко идёт не о «весенних днях 1881 г.», а о январе; 2) говоря «они шли», Фроленко подразумевает не себя и Баранникова, как полагает Шкловский, а Баранникова и Колодкевича.

Но, с другой стороны, то, что Фроленко запомнил Баранникова живущим именно на квартире Достоевского, не может не навести на размышления. Прежде всего, отметим (хотя это и может показаться само собой разумеющимся), что Баранников знает, кто его сосед, и это обстоятельство им как-то учитывается. Из текста Фроленко совершенно недвусмысленно следует, что жилец Достоевского лично знаком с хозяином. Более того: именно уверенность в факте этого знакомства могла породить у Фроленко ошибку памяти — и он невольно переместил Баранникова в соседнюю квартиру.

Далее. Фроленко говорит, что спокойствие Баранникова отчасти находило себе поддержку в том обстоятельстве, что он живёт на квартире Достоевского. Что остаётся, если исключить из этого утверждения фактическую ошибку, т. е. квартиру? Остаётся, что Баранников считает названное им лицо весьма надёжным «прикрытием». При этом не указано, знает ли само лицо о таковых своих функциях или выполняет их, так сказать, объективно.

Теперь посмотрим, как развивались события в двадцатых числах января. Для этой цели наряду с другими источниками мы используем обнаруженные нами архивные документы: они извлечены из огромного, насчитывающего несколько тысяч листов «дела 20-ти». Это дело рассматривалось Особым присутствием Правительствующего сената с 9 по 16 февраля 1882 года. Материалы предварительного следствия и самого процесса сосредоточены в настоящее время в ГА РФ (Ф. 112. Особое присутствие Правительствующего сената)*.

От ареста Баранникова тянется цепочка провалов, которые сильно обескровили партию как раз накануне цареубийства 1 марта. Уже после Октябрьской революции стало известно, что причиной этих провалов было предательство одного из осуждённых в ноябре 1880 года по «делу 16-ти» рабочего Ивана Окладского.

На самом процессе 16-ти (в результате которого были казнены Квятковский и Пресняков) Окладский, подражая другим подсуди-

* Указанные источники (главным образом микрофильмы) были изучены нами летом 1982 г. (о чём, разумеется, есть соответствующие записи в архивных листах использования). Результаты наших разысканий были впервые доложены на заседании кафедры истории русской журналистики и литературы факультета журналистики МГУ в октябре 1982 г., а также на ежегодной конференции в Литературно-мемориальном музее Достоевского в Ленинграде и на чтениях в Старой Руссе. Таким образом, публикация глав настоящей книги, по словам одного исследователя, «грянувшая» в журнале «Дружба народов» № 1, 1984 и № 7, 1985, а ещё раньше, добавим, в «Новом мире» № 11, 1981 и др., была предварена рядом сообщений, которые не остались секретом для научного сообщества (ср. позднейшее, к сожалению, довольно невнятное воспроизведение этого сюжета: *Федоренко Б.В.* Гибель Достоевского // Статьи о Достоевском. 1971–2001. СПб., 2001. С. 187–277).

мым, держался вполне достойно. Он заявил в своём последнем слове: «...я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление»*.

Суд приговорил его к повешению, заменённому пожизненной каторгой. Окладский отнюдь не оскорбился: ценя оказанную милость и в надежде на грядущие благодеяния он начал выдавать.

В результате предательства Окладского полиция вышла на след давно разыскиваемого государственного преступника Кибальчича (краткости ради мы опускаем подробности этого поиска). Выяснилось, что Кибальчич летом 1880 года жил по паспорту на имя Агатескулова. Велико же было изумление жандармских чинов, когда в ответ на их запрос из городского адресного стола явился ответ: господин Агатескулов и ныне благополучно проживает в городе С.-Петербурге по адресу: Казанская улица, дом 38, квартира 18. Немедленно было постановлено:

«...если ныне по виду Агатескулова проживает не Кибальчич, то лицо настолько близкое к нему, что имело возможность получить от него вид, а потому <...> сего же числа произвести обыск в квартире № 18 <...> с лицами, застигнутыми в этой квартире, поступить по результатам обыска»**.

В два с половиной часа пополуночи 25 января подполковник Отдельного корпуса жандармов Никольский и товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Доброжинский прибыли в дом № 38 по Казанской улице. Правда, обнаруженное лицо не имело ни малейшего сходства с разыскиваемым Кибальчичем: по паспорту Агатескулова проживал купеческий сын Григорий Михайлович Фриденсон, двадцати шести лет от роду. При обыске были найдены номера подпольной «Народной воли». Разумеется, Агатескулов (Фриденсон) был подвергнут «личному задержанию», причём, как сказано в официальном документе, «без допроса ввиду позднего времени»***.

Тут же на месте было оформлено постановление, сыгравшее роковую роль во всех последующих событиях: «<...> Поручить полиции иметь секретное наблюдение за обысканной квартирой Агатескулова и, задержав лиц, которые явятся в квартиру Агатескулова как его знакомые, довести об этом до сведения С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления, не останавливаясь в принятии мер к выяснению их личностей и места жительства. В то же

* Процесс шестнадцати террористов (1880 г.). СПб., 1906. С. 228.
** ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 230. Постановление № 18.
*** Там же. Л. 231. Протокол № 81.

время просить Секретное Отделение Канцелярии С.-Петербургского Градоначальства распорядиться, чтобы этот приём наблюдения за квартирами был последовательно применяем в отношении всех остальных лиц, которые будут задерживаемы на обнаруживаемых квартирах подозрительных лиц»[*].

В переводе с канцелярского это означало: любое лицо, явившееся в квартиру Фриденсона (Агатескулова), автоматически попадало в западню, после чего в квартире задержанного лица в свою очередь устраивалась засада и т. д. и т. д.

Нехитрый полицейский приём сработал немедленно. Об этом свидетельствует следующий документ:

С.-Петербургского Градоначальника — Секретно

Отделение по охранению общественного порядка и спокойствия в С.-Петербурге
26 января 1881 г.
№ 1273

В С.-Петербургское Губернское Жандармское Управление

В квартиру № 18 дома № 38 по Казанской улице, за которой имеется наблюдение, явился вчера, как это известно лично г. Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления, молодой человек, назвавший себя потомственным Почётным гражданином Георгием Ивановичем Алафузовым, отказавшийся указать в С.-Петербурге лиц, знающих и могущих его удостоверить.

Сообщая об изложенном Жандармскому Управлению, Секретное Отделение имеет честь направить в Управление назвавшегося Алафузовым на зависящее распоряжение. Причём препровождаются составленные о названной личности два протокола, с приложениями к одному из них, а равно оказавшиеся при нём деньги кредитными билетами пятьдесят восемь рублей, кожаный портмоне, золотые дамские часы с цепочкою, золотой карандашик, записная книжка, перочинный ножик и различные газеты в особом пакете.

Начальник Секретного Отделения
Фурсов[**]

Тут обнаруживается одна странность. Документ, сопровождающий передачу Баранникова из Секретного отделения, как мы виде-

---

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 230. Постановление № 19.
[**] Там же. Л. 242.

ли, помечен 26 января. Между тем из других документов явствует, что жандармы занялись Алафузовым уже 25-го, т. е. в самый день его задержания. Чем же объяснить эту несообразность?

Как сказано в сопроводительном документе, о факте задержания Алафузова уже известно «лично г. Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления». Вспомним, что 25 января приходилось на воскресенье. Очевидно, начальника петербургских жандармов оторвали от воскресного отдыха и он потребовал немедленной передачи задержанного в распоряжение подполковника Никольского. Документ о передаче был оформлен только на следующий день — когда заработали канцелярии.

Алафузов (не будем скрывать, что это — Баранников) явился на квартиру к Фриденсону, как это следует из другого документа (донесения начальника С.-Петербургского губернского жандармского управления министру внутренних дел*), 25 января утром — скорее всего прямо с Малой Садовой, где в эту ночь начали подкоп. Он был задержан чинами полиции и, как это ни странно, при нём не было обнаружено абсолютно ничего подозрительного. Арестованного препроводили в Секретное отделение градоначальства. То в свою очередь передаёт арестованного жандармскому управлению.

Баранников провёл в Секретном отделении градоначальства несколько часов. Он заявил, что кроме его невесты и её родственников, «которых он назвать не желает», его в Петербурге никто не знает и поэтому удостоверить его личность не может. Было постановлено: «<...> Передать его, Алафузова, по месту объявленного им жительства по Кузнечному переулку и Ямской улице, дом № 5/2 для личного осмотра его имущества, истребования письменного вида, по которому называющий себя Алафузовым прибыл в Петербург, для проверки такового, и затем возвращения со всем оказавшимся в Секретное Отделение для дальнейшего распоряжения»**.

Так в официальных документах появляется адрес дома, где жил Достоевский.

Баранников не стал скрывать своего места жительства, справедливо полагая, что последнее легко установить через адресный стол.

Гораздо труднее установить это нам — спустя более ста лет после события. Ибо до сих пор не вполне ясно, где именно располагалась квартира Баранникова.

---

* Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.

** ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 243. Протокол № 84.

По одной версии, она находилась на втором этаже — бок о бок с квартирой Достоевского. По другой — на третьем, причём нельзя исключить, что комната Баранникова помещалась как раз над кабинетом его соседа снизу.

Независимо от того, где квартировал господин Алафузов — рядом или этажом выше, — он оставался *соседом*.

...Пока арестованный ждал дальнейших событий, с ним случилось маленькое приключение.

Как гласит протокол, находясь в отдельной комнате при Секретном отделении «под наблюдением в числе других и служителя Лесниковского», задержанный попытался незаметно сорвать «с галош своих две металлические буквы "З" и таковые бросил в находящийся в той же комнате ватерклозет, откуда буквы эти Лесниковским и были вынуты».

Алафузову пришлось письменно объяснить, что вышеуказанные галоши принадлежат его брату Захару* и он, Алафузов, посягнул на буквы «З», «чтобы не вызвать подозрение к себе о желании пользоваться чужим именем»**.

Однако именно это подозрение закрадывается в души чинов тайной полиции всё глубже и глубже.

Если исходить из материалов дознания, для подполковника Никольского с самого начала не было секретом, с кем он имеет дело. В постановлении от 25 января за № 22, написанном неудобочитаемым подполковничьим почерком, сказано, что обыск у Алафузова назначается именно на основании подозрения, что он не кто иной, как Баранников***. В градоначальстве, мол, могли этого и не знать, а уж жандармам всё доподлинно известно.

Но официальным документам не всегда можно верить на слово.

26 января Лорис-Меликов в качестве министра внутренних дел направил Александру II очередной доклад. Сообщив об аресте Агатескулова, «оказавшегося в действительности евреем Фриденсоном», и о задержании на его квартире Алафузова, Лорис-Меликов далее пишет, что на квартире самого Алафузова были найдены фотографические карточки жильца, причём обнаружилось сходство «с давно уже разыскиваемым, известным Вашему Величеству по

---

* Баранников, само собой, не стал объяснять полицейским, что Захар — одна из конспиративных кличек А. Желябова, которому, как можно предположить, и принадлежали указанные галоши. К чести полиции они были возвращены Баранникову — разумеется, без приобщённых к делу букв «З».

** ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 244. Протокол № 85.

*** Там же. Л. 238. Постановление № 22.

имени путивльским дворянином Александром Ивановичем Баранниковым (он же Тюриков и Кошурников)»[*]. Фотографии были показаны заключённому Ивану Окладскому, который признал сходство бесспорным. Для пущей верности «Окладский был доставлен из крепости и по указании ему задержанного лица, незаметно для последнего, вновь подтвердил несомненное тождество его с Баранниковым».

Окладский взирал на Баранникова прикровенно — через замочную скважину, специальное отверстие в стене или укрывшись за портьерой. Это называлось негласным предъявлением.

«Считаю результат этот весьма важным»[**], — начертал на докладе Александр II.

Итак, личность Баранникова была установлена только 26 января — *после* посещения его квартиры жандармами. И, кажется, теперь нет сомнения в том, что постановление № 22 от 25 января об обыске у Баранникова составлено подполковником Никольским тоже 26-го, т. е. опять-таки задним числом. В этом окончательно убеждает нас то обстоятельство, что сам обыск (в ночь с 25-го на 26-е) про-

---

[*] Таким образом, выясняется, что подлинное имя соседа Достоевского, равно как и его «псевдонимы», лично известны императору.

[**] Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.

Приведём неизвестный ранее документ от 17 июня 1880 г. (канцелярия московского обер-полицмейстера) о розыске государственных преступников А. Михайлова и А. Баранникова, где в частности — с полицейской точки зрения — даётся описание последнего: «Баранников 22-х лет, роста около 2-х аршин 8 вершков, брюнет, глаза и брови чёрные, нос прямой, подбородок круглый, лицо белое, смугловатое, сложения плотного, голос имеет довольно грубый и сильный, зад значительно выдаётся. Он имеет мать Елизавету Иванову, родом грузинку; брата Василия 30-ти лет, бывшего капитана 501 артиллерийской бригады, а ныне служащего в Болгарской армии; сестру Надежду, находящуюся в замужестве за Путивльским нотариусом Якубовичем, и меньшую Марию 19 лет, девицу, живущую при матери в г. Путивле, в собственном доме. У Баранниковых имеется земля, в количестве 102-х десятин, в разных дачах недалеко от Путивля. Александр Баранников окончил курс наук в Орловской военной гимназии в 1875 г. <...> Баранников и Михайлов, как оказалось, уже давно весьма близкие между собой, и последний, приобретя сильное влияние на первого, находясь с ним во время каникул в Путивльском уезде неразлучно, уговаривал не поступать в военное училище, так что только усиленные просьбы родных Баранникова успели склонить его на поступление в Павловское военное училище, откуда он, выйдя в Апреле 1876 года, неизвестно куда скрылся (т. е. версия «о проруби» официально не подтверждается. — *И. В.*). <...> К вышеизложенному необходимо присовокупить, что родная тётка Баранникова была в замужестве за умершим в Путивльском уезде Коллежским Советником Петром Захаровичем Тюряковым, фамилией которого, по всему вероятию, Баранников и воспользовался, назвавшись Тюриковым. Причём Тюряковых хотя имеется два сына, но оба они находятся на лицо и подозрений на себя ничем не навлекают» (ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1405. Л. 22 об. — 23 об.).

изводили не ведущие это дело жандармский подполковник и товарищ прокурора, а совсем другие лица. Даже если учесть сильное утомление Никольского и Добржинского от событий предыдущей бессонной ночи, арестом Фриденсона, его последующим дневным допросом, всё равно невозможно допустить, что если бы у следователей существовало хоть малейшее подозрение, что перед ними один из членов неуловимого Исполнительного комитета, давно разыскиваемый убийца генерала Мезенцова и виновник взрыва царского поезда под Москвой, то — в предвкушении дальнейших открытий и наград — они не отправились бы на его квартиру самолично.

Они предпочли отдохнуть, доверив обыск потомственного почётного гражданина города Ставрополя дежурным чиновникам...

В те самые часы, когда решалась судьба Баранникова, в двух шагах от его пустовавшей квартиры его сосед мирно беседовал с Майковым; обсуждал толстовское письмо со Страховым; раздражался, споря о репертуаре пушкинского вечера с Орестом Миллером.

Близился вечер.

Протокол № 83: дела соседские

В своей повести «Сомнения Фёдора Достоевского» (1933) В. Шкловский нарисовал захватывающую картину: жандармские чины стучатся в квартиру к Достоевскому (он почему-то решает, что явились за ним) и, успокоив перепуганного хозяина, просят его оказать им честь и быть понятым при обыске у соседа. Достоевский нехотя соглашается; он сильно взволнован; у него открывается кровотечение.

Нельзя не признать, что версия эта очень привлекательна. Она предлагает разгадку неожиданного ночного недомогания Достоевского, по-новому освещает причину его предсмертной болезни.

Дело было за малым — найти документ.

Теперь документ найден: хотя кое-что прояснилось, загадка стала ещё загадочней.

Ввиду важности этого источника приведём его полностью:

Протокол № 83

1881 года Января 25-го дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Майор Кузьмин, вследствие предписания Начальника С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления от 25-го сего Января месяца за

№ 180 прибыв во 2-й участок Московской части, в дом № $^{5}/_{2}$, на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы, в квартиру № 11, нанимаемую Московской мещанкою Мариею Николаевою Прибыловою, состоящую из семи меблированных комнат, из числа коих одну за № 1 нанимает Потомственный почётный Гражданин Георгий Иванович Алафузов, — совместно с Товарищем Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда Н.М. Богдановичем, в присутствии местного пристава Надворного Советника Надежина, содержательницы меблированных комнат, ниже подписавшихся понятых и Георгия Иванова Алафузова произвели в имуществе последнего, на основании закона 19 мая 1871 года, тщательный обыск, по коему ничего преступного и относящегося к делу не найдено, но признано необходимым отобрать для соображения с делом нижеследующие предметы: 1) Свидетельство на жительство, выданное Потомственному Почетному Гражданину Георгию Иванову Алафузову из Ставропольской Городской Управы 24 марта 1876 года № 1146. 2) Две фотографические карточки Алафузова и одна такая же карточка с какой-то женщины. 3) Пузырёк с каким-то лекарством и принадлежащей к нему сигнатуркой на имя Господина Попова. 4) Два носовых платка с вензелевыми метками А.Г. и другая, по-видимому, А.К. 5) Серебряная чайная ложка с вензелем М.О., завёрнутая в газетную бумагу с надетым на неё обручальным золотым кольцом. 6) Записная книжка на 1880 год.

Постановил: о выше изложенном заключить настоящий протокол за подписом всех присутствовавших лиц.

Товарищ Кузьмин
Товарищ Прокурора *Н. Богданович*
Пристав 2-й Московской части *Надежин*
Мария Николаевна Прибылова
Дворник понятой *Яков <Иевлев>*
при доме по Кузнечному переулку д. № 9
Дворник *Трофим Скрипин* <1 нрзб.>
при доме № 5/2 на углу Кузнечного переулка
и Ямской улицы
Потомственный Почетный Гражданин
Георгий Алафузов[*]

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 239–240. Протокол № 83. Указанного в документе предписания № 180 нет в деле. Естественно, что после появления постановления № 22 об обыске у Баранникова, вынесенного задним числом, предписание № 180 становится излишним и изымается из дела. Получается, что решение об обыске выносилось трижды (Секретным отделением градоначальства, начальником жандармского управления и следователем по делу).

Из этого документа следует, что жилец квартиры № 10 при обыске не присутствовал: роль понятого, как и положено в подобных случаях, исполнял дворник Трофим Скрипин.

Текст написан не очень грамотно: майор Кузьмин (обладающий в отличие от подполковника Никольского прекрасным почерком) выводит слово «Кузьнечный» с мягким знаком — очевидно, по аналогии с собственной фамилией.

Итак, Достоевский при обыске не присутствовал. Документ, впрочем, не даёт абсолютной уверенности в том, что он об этом событии ничего не знал.

Не обсуждая пока последнего вопроса, обратимся к самому документу. Из его текста можно почерпнуть ряд важных подробностей.

Во-первых, обыск производился не очень поздно, во всяком случае, он был начат до полуночи. Иначе бы протокол датировался 26 января: в подобных случаях полиция старалась соблюсти точность.

Во-вторых, выясняется, что в квартире № 11 обитал вовсе не один Баранников, а состояла она из семи меблированных комнат, нанимаемых некой Марией Николаевной Прибыловой и населённых, по-видимому, и другими жильцами.

В-третьих, названы присутствовавшие при обыске лица, причём оказывается, что среди них находился сам арестованный квартиросъёмщик.

Обращает внимание и другое: в квартире Баранникова (как, впрочем, и при нём самом) не обнаружено буквально ни одного предмета или документа компрометирующего свойства: обстоятельство в подобных случаях чрезвычайно редкое. Квартира № 11 оказалась «чистой».

Позволительно, конечно, предположить, что могущие вызвать подозрения предметы Баранников хранил в другом месте — по-видимому, не слишком далеко. Если дать волю воображению (скажем, чуть большую, нежели позволил себе В. Шкловский), то можно даже представить, как жилец квартиры № 10, прослышав об обыске у соседа, спешит перепрятать нечто весьма тяжёлое*: резкое физическое усилие вызывает разрыв кровеносного сосуда.

Автор «Дневника писателя», перетаскивающий в безопасный угол тюки с нелегальщиной или — при максимальном взлёте фантазии — компоненты для производства динамита, — всё это, разумеется, в высшей степени *детективно,* но, увы, столь же неправдоподобно.

---

* Разумеется, *шутка.* Приходится сделать эту вынужденную оговорку, поскольку некоторые критики сочли возможным всерьёз обсуждать «предложенную гипотезу».

Постараемся иметь дело только с фактами.

Главный же факт заключается в следующем: обыск производился до или сразу после полуночи; так рано Достоевский никогда не ложился, и нельзя полностью исключить, что он кое-что знал о том, что происходит в доме.

Приведём ещё раз черновую запись Анны Григорьевны, относящуюся к 25 января 1881 года: «Вечером ходил гулять, а затем...» (Далее следуют стенографические знаки.)

В.А. Твардовская полагает, что в этой *тайнописи* могут содержаться указания на события, происходившие ночью в квартире № 11*. Заметим, что загадочный текст расшифрован; в нём, насколько известно, нет никаких намёков на интересующие нас обстоятельства.

Нет подобных намёков и в мемуарах Анны Григорьевны. Правда, в её рассказе о ночном происшествии с мужем обнаруживаются небольшие странности.

Как помним, Анна Григорьевна говорит о том, что, пытаясь достать упавшую на пол вставку, её муж отодвинул этажерку. «*Очевидно,* – продолжает мемуаристка, — вещь была тяжёлая...» Трудно поверить, что *скрупулёзная* Анна Григорьевна рассуждает о вещи, принадлежавшей к её домашней обстановке и сыгравшей такую роковую роль, столь неуверенно.

Когда печатный текст вызывает сомнения, следует обратиться к черновикам.

Наряду со всем известной «хрестоматийной» сценой (отодвинул этажерку) в рукописи обнаруживается следующий *вариант:*

«Словом, казалось, пред нами обоими открывалось новое, светлое будущее и вдруг благодаря малозначительной неосторожности (поднял тяжёлый стул) порвалась какая-то артерия и в два дня человека не стало».

Видимо, написанное не удовлетворило строгую к подробностям мемуаристку: непонятно, для какой надобности оказалось необходимым *поднимать* «тяжёлый стул».

---

* Литературная газета. 1982. 3 ноября. Эта расшифровка (а также её смысл) были известны нам при первой публикации настоящей книги (*Волгин И.Л.* Последний год Достоевского. М., 1986. С. 560. Прим. 43). Но ввиду того, что текст расшифровки тогда не был опубликован, мы не сочли возможным привести его в печати. Ныне цитируем фразу полностью: «Вечер ходил гулять, а затем [было дело]» (Ф.М. Достоевский в забытых... С. 280. Слова в квадратных скобках записаны стенографически.) Комментатор этой записи отмечает, что под «делом» Анна Григорьевна подразумевает посещение её мужем туалета (Там же. С. 313).

Работа над текстом продолжается. В рукописи появляются следующие строки: «<...> вдруг из-за маленькой неосторожности (отодвинул тяжёлую этажерку) порвалась какая-то лёгочная артерия <...>» и т. д.

Но и этот вариант не устроил повествовательницу. Для пущей убедительности она решает передоверить рассказ о ночном происшествии самому его участнику: именно он извещает Анну Григорьевну, что «сегодня ночью ему пришлось *зачем-то* отодвинуть большой <шую>...».

Далее воспоминательница поступает следующим образом. Она зачёркивает слово «большой» и проставляет: «тяжёлую этажерку». Теперь следовало вразумительно объяснить читателю, для чего, собственно, предпринимались эти ночные передвижки мебели. Анна Григорьевна решительно отбрасывает слово «зачем-то». После слова «ночью» над строкой она вписывает: «его перо закатилось», «запало за этажерку»[*].

В окончательном (печатном) тексте вставка с пером уже не просто закатывается под этажерку, а этому несчастью даётся ещё и некое *дополнительное* толкование: владелец вставки потому-де решился на немедленные меры по её спасению, что «вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос». Несколько туманная поначалу картина обрастает житейскими подробностями и обретает историческую достоверность.

Итак, выясняется: варианты рукописи — не результат мучительной работы памяти (они вовсе не отражают процесс припоминания), а, так сказать, следствие творческих поисков мемуаристки. В рукописи зафиксированы все стадии этой художественной работы: «тяжёлый стул» заменяется «тяжёлой этажеркой» (сам предмет здесь условен и играет чисто служебную роль), уточняются детали, подыскиваются логические связи.

На свет появляется *версия*.

«Очевидно, вещь была тяжёлая, и Фёдору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась лёгочная артерия и пошла горлом кровь...»[**] Так сказано в «Воспоминаниях». В первой биографии Достоевского (в главе «Последние минуты»,

---

[*] РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 68 об., 48 об. Именно так расположены в записной тетради Анны Григорьевны цитируемые тексты. Однако трудно сказать, какой текст появился раньше, ибо тетрадь могла заполняться не в строгой последовательности.

[**] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

составленной «общими силами очевидцев») эти подробности отсутствуют. Там лишь кратко сообщается: «Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Фёдор Михайлович не обратил никакого внимания»*.

В «Биографии...» сказано, что кровь шла из носа. Анна Григорьевна говорит о горловом кровотечении.

Известно, сколь мнителен был Достоевский, имевший склонность драматизировать даже мелкие нарушения в работе своего организма. Мог ли он не обратить внимания на кровь — если она появилась у него впервые и тем более если кровотечение носило всё-таки горловой характер? Думается, что при всей любви к Анне Григорьевне он — ввиду подобных чрезвычайных обстоятельств — рискнул бы нарушить её ночной покой.

Анну Григорьевну вполне устраивала версия, согласно которой причиной болезни был визит Веры Михайловны и бурная сцена между братом и сестрой. Такое объяснение бросало невыгодный свет на корыстолюбивых, с точки зрения Анны Григорьевны, родственников мужа, к которым жена Достоевского всегда испытывала инстинктивную, продиктованную заботой о собственной семье неприязнь. Для Анны Григорьевны важно умалить серьёзность первого кровотечения и подчеркнуть роковой характер второго.

Следует сказать, что уже на следующий день после смерти Достоевского эта версия вызвала некоторые сомнения.

30 января Е.А. Рыкачёва пишет А.М. Достоевскому: «Анна Григорьевна уверяет, что Вера Михайловна и была причиною (смерти) сильной болезни дяди, потому что она его очень раздражила 26-го, говоря с ним об Вашем наследстве и требуя от него денег; но я что-то не очень доверяю этому, так как кровь показалась у дяди ещё с утра 26, а Вера Михайловна была в обед у них, когда уже болезнь началась»**.

Рыкачёва ошибается в деталях (кровь «показалась» ещё ночью), но тенденциозность в рассказе Анны Григорьевны она уловила верно. Жена Достоевского желает создать впечатление — разумеется, в узком семейном кругу, — что истинной причиной недуга была ссора с родственницей. С годами эта версия укореняется как «внутрисемейная»: так, Любовь Фёдоровна вообще не упоминает о первом (ночном) кровотечении — она начинает отсчёт болезни прямо с драматического визита тётки.

---

* Биография... С. 323 (первая пагинация).

** Материалы и исследования. Т. 1. С. 290.

В «Биографии...» сказано, что, когда О.Ф. Миллер узнал о внезапном недомогании Достоевского, он «в сильнейшем беспокойстве» поспешил к Анне Григорьевне — выяснить, «не вчерашние ли объяснения повредили Фёдору Михайловичу». Оказалось, что вчерашние объяснения ни при чём. «К успокоению своему, О.Ф. Миллер узнал, что вслед за тем Фёдор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением»*.

Под «другим посещением» подразумевается, очевидно, визит сестры — в понедельник 26 января. Сказано глухо, ибо широкой публике незачем знать о семейных раздорах. Но почему «вслед за тем»? Так, скорее, можно выразиться о происшествии, случившемся через несколько часов, а не по истечении целых суток после визита О.Ф. Миллера, который приходил в воскресенье 25-го.

Итак, можно установить существование различных, весьма отличающихся друг от друга версий. Причины болезни называются следующие: 1) ссора с сестрой (письмо Анны Григорьевны к Страхову от 21 октября 1883 года, воспоминания Любови Фёдоровны, свидетельство Рыкачёвой); 2) поднимание тяжёлого стула (черновые наброски воспоминаний Анны Григорьевны); 3) закатившаяся за этажерку вставка; 4) горячий спор Достоевского с неким не названным по имени господином (печатный текст тех же «Воспоминаний»); 5) взволнованность Достоевского каким-то таинственным посещением («Биография...»).

Множественность упоминаемых (и отчасти дополняющих друг друга) событий усиливает потенциальную возможность того, что среди них способно затеряться ещё одно — утаённое.

Какими субъективными причинами могла руководствоваться Анна Григорьевна, скрывая от ближайших друзей и от любопытствующего потомства какую бы то ни было прикосновенность своего мужа к событиям на квартире Баранникова?

Выше уже приходилось отмечать, что Анна Григорьевна не жаловала политики. Она всячески избегает опасных и двусмысленных (с её точки зрения) тем. Если судить по её воспоминаниям, Достоевский наглухо отделён от мира русской революции: таких проблем для него просто не существует. Мемуаристка игнорирует как раз ту сторону русской жизни, которая играла существенную роль в творческом и общественном бытии Достоевского.

Анна Григорьевна ни словом не упоминает о трагедии Ишутина. Молчит она и о казни Млодецкого. Молчит, надо полагать, и о мно-

* Биография... С. 323 (первая пагинация).

гом другом. С какой же стати было Анне Григорьевне связывать болезнь её удостоенного по смерти *государственного признания* мужа (о чём речь впереди) с каким-то сомнительным, живущим по фальшивому паспорту господином Алафузовым — как выяснилось, политическим преступником и злодеем, лишь по нелепой случайности оказавшимся соседом такого достойного человека, как Фёдор Михайлович Достоевский? Нет, не только упоминание, даже малейший намёк на ночное событие 25–26 января выглядел бы неприличным. И если о семейной ссоре ещё можно было сообщить ближайшим друзьям (и даже извлечь из этого сообщения кое-какую моральную выгоду), то об обыске в соседней квартире следовало забыть: сразу и навсегда*.

Теперь зададимся вопросом: мог ли майор Кузьмин со своими спутниками зайти к Достоевским (чтобы, скажем, расспросить о личности соседа)? Это не исключено. Достоевский мог и сам выйти из квартиры, привлечённый шумом и шагами на лестнице.

«Квартира наша, — пишет Анна Григорьевна, — состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок... Парадный вход... расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом)»**.

Таким образом, окно кабинета выходило прямо на главный вход, и если та специфическая группа, что двигалась в квартиру Баранникова, избрала именно этот путь, она не могла миновать квартиры нижнего жильца***.

Не упустим из виду и «громадную кладовую». В кладовке хозяйничал мальчик Пётр (П.Г. Кузнецов). Среди массы книг легко могла затеряться литература определённого рода, особенно если допустить, что владелец этой литературы был в неплохих отношениях с тем же

---

* В неопубликованной части своих воспоминаний Анна Григорьевна говорит о том, как она была испугана и возмущена, когда после 1 марта получила по почте прокламацию Исполнительного комитета. Воспоминательница негодует, что «какие-то злодеи могут считать меня солидарной с их гнусными решениями». Анне Григорьевне явилась даже мысль, не подвергает ли она себя опасности ареста. Она поспешила представить послание «Народной воли» Победоносцеву. (РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 67–68.)

** *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 323.

*** Говоря в предыдущих изданиях настоящей книги о расположении квартиры Баранникова на одной лестничной площадке с квартирой Достоевского, мы ссылались на мнение Б.В. Федоренко, сообщённое нам его коллегами по Музею Достоевского. Впоследствии исследователь изменил свою точку зрения, склоняясь к тому, что квартира № 11 находилась не на втором, а на третьем этаже (См.: *Федоренко Б.В.* Указ. соч. С. 276). У нас нет оснований не доверять этой версии.

мальчиком Петром. «Стерильность» квартиры Баранникова невольно наводит на это, само собой, вполне безумное предположение.

Но вернёмся к майору Кузьмину. Он, как нам известно, явился не один: по крайней мере, двух из присутствовавших Достоевский должен был знать лично.

Первое из этих лиц — дворник Трофим Скрипин. Второе — полицейский пристав Надежин.

С дворником всё понятно. Его служебные обязанности (например, доставка дров) должны были сталкивать его с семейством Достоевских неоднократно.

Сложнее с надворным советником Надежиным.

В письме Рыкачёвой к отцу от 30 января, где она описывает паломничество ко гробу Достоевского, есть фраза: «Пристав говорил, что народа перебывало до 10-ти тысяч»*. Пристав говорил это домашним: разумеется, он посещал квартиру в те печальные дни — хотя бы для установления внешнего порядка. Но трудно предположить, чтобы за два с половиной года проживания Достоевского в Кузнечном переулке у пристава 2-й Московской части не было случая познакомиться и пообщаться со знаменитым жильцом.

Наличие в группе, явившейся в квартиру № 11, лиц, лично знавших Достоевского, увеличивает вероятность того, что он — в той или иной форме — мог быть привлечён к ночному событию. Вероятность эта ещё более возрастает, если допустить, что присутствовавший тут же Баранников был знаком со своим соседом.

В. Шкловский приводит два аргумента в пользу того, что Достоевский мог кое-что знать о господине Алафузове. Во-первых, в набросках и планах к «Братьям Карамазовым» Алёша спорит с террористами. Во-вторых, дневниковая запись Суворина — рассказ о воображаемом разговоре двух взрывателей у магазина Дациаро: по мнению Шкловского, этот разговор мог быть не таким уж воображаемым.

Для того чтобы эти аргументы «работали», следует выяснить, когда именно Баранников поселился в Кузнечном переулке.

До сих пор об этом обстоятельстве ничего не было известно. Между тем соответствующие хронологические указания можно отыскать — как у самого Баранникова, так и в других заслуживающих доверия источниках.

---

* Материалы и исследования. Т. 1. С. 290.

Рассказ о вселении господина Алафузова в новую квартиру

26 января подполковник Никольский в присутствии товарища прокурора Добржинского (который под конец своей карьеры станет директором Департамента полиции) приступает к допросу арестованного.

В показаниях Баранникова, естественно, ничего не знающего об откровениях Ивана Окладского, преобладает элемент фантастический.

На вопрос, сколько ему лет, господин Алафузов отвечает — 26. О месте рождения и постоянного жительства сообщает, что он — гражданин города Ставрополя, где и ныне обитают его родители, получающие средства к жизни от собственных нефтяных промыслов; он же, их сын, разъезжает по их торговым делам. На вопрос, был ли за границей, отвечает, что не был, оставляя следствие в неведении относительно своего участия в черногорских делах. В графе «семейное положение» Баранников проставляет «холост», хотя он (под именем Кошурникова) обвенчался в 1879 году с Марией Николаевной Ошаниной (Оловенниковой), в будущем — одним из членов Исполнительного комитета. Найденные при обыске серебряная чайная ложка с вензелем М.О. и надетым на неё золотым обручальным кольцом — вещественные знаки этого весьма непродолжительного союза.

Арестованный упорно повторяет, что он никого не знает в Петербурге и приехал туда «вслед за своей невестой, с которой хотел провести в этом городе зиму». С Агатескуловым (то бишь Фриденсоном), на чьей квартире он был вчера задержан, он познакомился у дяди своей невесты.

В общем, в показаниях господина Алафузова не содержится ни грана правды. За одним, впрочем, исключением.

Говоря о своём последнем посещении Петербурга, он указывает время: «с последних чисел октября прошлого (то есть 1880-го. — *И. В.*) года». Сначала он «остановился в меблированных комнатах, что на углу Невского и Караванной, откуда переехал по Кузнечному переулку, дом 5/2, квартира 11»[*]. В данном случае Баранникову не было смысла конспирировать: сообщаемые сведения легко могли быть проверены по домовым книгам.

К этим источникам мы и обратимся.

---

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 247. Протокол № 86.

9 февраля 1881 года полиция произвела осмотр домовой книги дома, в котором умер Достоевский. «<...> Причём, — сказано в протоколе осмотра, — оказалось в отделе под буквою А на обороте 8-го листа имеется 2-ая статья следующего содержания: Алафузов Георгий Иванов, сын Ставропольского Потомственного Почётного Гражданина 28 лет (! — *И. В.*), православный, прибыл 10 ноября 1880 года из 1-го участка Спасской части из дома № 66/21 по Невскому проспекту кв. № 39 в квартиру № 11 названного выше дома (...) 26 января 1881 года значится выбывшим под арест»*.

Квартирная хозяйка М.Н. Прибылова показала: «Алафузов прожил в квартире моей, занимая комнату № 1, со 2-го ноября прошлого 1880 года по день своего ареста, т. е. до 26 января настоящего года»**.

Итак, можно считать установленным, что Баранников поселился рядом с Достоевским в первых числах ноября. Следовательно, он оставался его соседом около двух с половиной месяцев.

Но если это так, то вышеуказанные соображения В. Шкловского ничем не подкрепляются. В ноябре 1880 года «Братья Карамазовы» уже закончены. Что же касается свидетельства Суворина, то оно, как мы знаем, относится к февралю 1880 года.

И всё же отказаться от предположения о знакомстве Достоевского с Баранниковым было бы опрометчиво.

Семейство Достоевских — с детьми и прислугой, с рассылкой книг, приёмом бесчисленных посетителей, с заботами о подписке на «Дневник» и о куманинском наследстве — живёт своей жизнью и, по-видимому, совсем не интересуется, что происходит по соседству, — в меблированных комнатах, сдаваемых московской мещанкою Марией Николаевной Прибыловой. Эти миры почти не соприкасаются, но, очевидно, имеют возможность наблюдать друг за другом...

Как-никак жилец квартиры № 10 — всероссийская знаменитость, и уже одно это должно вызывать особый интерес — к нему самому, его семье, их образу жизни.

С другой стороны, трудно допустить, чтобы сам Достоевский и члены его семейства не обратили ни малейшего внимания на молодого, всегда со вкусом и по моде одетого соседа с восточными чертами лица и вообще довольно замечательной наружности. Не

* ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 247. Протокол № 189.
** Там же. Л. 481. Протокол № 190.

исключены беглые встречи на лестнице, взаимные поклоны, контакты на бытовом уровне. Но не исключены и другие, более тесные формы общения.

В одном письме из тюрьмы Баранников замечает: «...питая особенно нежные чувства к своему идеалу, я в то же время признаю существование и других, и, следовательно, могу любить и уважать людей, которые к осуществлению их стремятся, раз только служение это бескорыстно... В истории да и в жизни современной часто приходится видеть двух врагов, проникнутых друг к другу уважением»[*].

Конечно, это общее место. Но за общими словами могут скрываться впечатления личные.

Баранников чувствовал себя очень уверенно на Кузнечном. Лицо, часто посещавшее Баранникова (о нём — речь впереди), говорит в своих показаниях: «Особенной озабоченности, тревоги или поспешности я в Алафузове не замечал: заставал его лежащим на кровати или диване за чтением Лермонтова, которым он особенно восхищался...»[**]

«Но Лермонтов мне, говоря серьёзно, очень, очень нравится, — пишет Баранников из тюрьмы, — его «Демона» я знаю почти всего наизусть. Не кончи он так рано, в 26 лет, из него вышел бы не только великий поэт, но и великий гражданин. В моих глазах он стоит неизмеримо выше Пушкина»[***].

Темы для разговоров с соседом были: неясно только — были ли сами разговоры.

В своих тюремных посланиях Баранников ни разу не упоминает имя Достоевского. Казалось бы, это обстоятельство как нельзя лучше свидетельствует в пользу того, что этот сюжет нимало его не интересует.

Но отсюда можно сделать и совершенно обратный вывод. Ибо неупоминание Достоевского — факт поразительный и, на первый взгляд, необъяснимый.

Действительно: за срок более года, в ожидании суда Баранников написал из Петропавловской крепости и Дома предварительного заключения несколько десятков писем — и ни в одном из них нет и намёка на Достоевского. Положим, письма дошли до нас не все и не полностью; положим, в некоторых из них есть вымарки, сделанные тюремной цензурой, — всё равно такое молчание выглядит странным.

---

[*] Народоволец А.И. Баранников... С. 68.

[**] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 344 об. Протокол № 122.

[***] Народоволец А.И. Баранников... С. 78.

Круг тем, разрешённых Баранникову для переписки, весьма ограничен: родственные дела, воспоминания детства, ожидающая его участь. Отечественная словесность — тема совершенно нейтральная и вполне позволительная. Сказав о Лермонтове, почему бы не упомянуть и о другом литераторе — более близком по времени и по месту жительства? Ведь в конце концов не каждый день оказываешься соседом знаменитого писателя, который к тому же умирает через два дня после твоего ареста и чьи грандиозные похороны становятся национальным событием. Почему бы — хоть в двух словах — не откликнуться на это, с точки зрения жильца квартиры № 11, почти *домашнее* происшествие?

И тут закрадывается подозрение: да знал ли Баранников о смерти своего соседа?

Вопрос этот не столь невероятен, как кажется.

Вскоре после ареста Баранников пишет родным: «Одного только мне недостаёт в настоящее время, это — газет; не знаешь, что делается на свете, в каком положении греческий вопрос, ирландское движение, экспедиция Скобелева (военная жилка у меня ещё осталась); но, что делать, нужно мириться с этой маленькой неприятностью, тем более, что 99/100 обывателей Российской Империи не чувствуют даже и надобности в них». И снова — 22 марта: «Что-то делается на свете? Ах, если бы газет почитать! Не понимаю, право, отчего нам не дают. Воспользоваться сведениями, оттуда почерпнутыми, если бы ими можно было воспользоваться, мы лишены возможности; а между тем это весьма значительное стеснение, которого люди, находящиеся под предварительным арестом, не заслуживают. Но что делать!»*

С момента своего ареста подследственный не видит прессы. Нет в его распоряжении и других источников информации (за исключением писем родственников, живущих вне Петербурга). Ни следователи, ни тюремные служители вовсе не обязаны докладывать ему, что происходит на воле.

Он, правда, знает, что покушение 1 марта увенчалось успехом: эти сведения ему вынуждены сообщить по его прикосновенности к событию.

Но если Баранникову ничего не известно о смерти Достоевского, его молчание становится ещё более выразительным. Создаётся впечатление, что он намеренно обходит эту тему: желание вполне извинительное, если допустить, что неупоминаемое лицо имеет какое-либо касательство к расследуемому делу.

---

* Народоволец А.И. Баранников... С. 62–63, 69.

Достоевский служил хорошим прикрытием: об этом можно было сказать товарищам. Но совершенно необязательно осведомлять об этом подполковника Никольского и прокурора Добржинского и тем самым компрометировать своего соседа.

Баранников, как известно, был немногословен.

«Драгоценный агент»

Баранников был немногословен, и на следствии он не стал распространяться о лицах, посещавших его в Кузнечном. Между тем лица эти заслуживают внимания.

28 ноября 1880 года в фотографии на Невском был арестован Александр Дмитриевич Михайлов. В партии Михайлова звали «дворником» или «генералом от конспирации»: среди членов «Народной воли» не было более сурового блюстителя партийной дисциплины. Его, выдающегося организатора и оберегателя партии, после победы революции прочили на роль первого министра.

Но помимо своей широкоизвестной в подпольных кругах деятельности Михайлов занимался делом, о котором ведали лишь несколько посвящённых.

Он поддерживал связь с первым «контрразведчиком революции» — Николаем Васильевичем Клеточниковым, в январе 1879 года внедрённым в III Отделение, а после закрытия последнего беззаветно служившим «Народной воле» в 3-м делопроизводстве Департамента полиции*.

Клеточников не был профессиональным революционером. Выходец из скромной семьи пензенского архитектора, он служил мелким чиновником в Ялте и Симферополе — поближе к морю, ибо уже тогда чувствовал в себе признаки надвигающейся чахотки. Ему было за тридцать, когда он явился в Петербург, — с твёрдым намерением отдать остаток жизни тому делу, которое он считал единственно достойным.

Он предложил свои услуги — и они были приняты. Ему — отчасти во исполнение хитроумного плана, отчасти по невероятному везению — удалось устроиться в святая святых русской тайной полиции — в её сыскной отдел и таким образом получить почти неограниченный доступ к секретам того самого ведомства, которое твёр-

* Подробнее см.: *Троицкий Н.* Подвиг Николая Клеточникова // Прометей. Т. 9. М., 1972. С. 57–76.

же и компетентнее всех других противостояло всё круче закипавшему валу русской революции.

Клеточников стал ангелом-хранителем партии. Он отвращал от неё неминуемые беды: предупреждал о готовящихся обысках, извещал о задуманных полицейских операциях, разоблачал шпионов и нейтрализовал последствия предательств.

Он был, пишет Вера Фигнер, «для целости нашей организации человек совершенно неоценимый: в течение двух лет он отражал удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности извне, как Александр Михайлов заботился о ней внутри»[*].

Невысокого роста, покашливающий, узкоплечий, в круглых очках, с небольшой мягкой бородкой — с внешностью неяркой и типично «интеллигентской», Клеточников спас от верного провала не одну конспиративную затею, предотвратил аресты десятков, если не сотен людей. Такого *оборотня* (причём формально — не члена организации) отечественные заговорщики не имели более никогда.

«Если Клеточников охранял революционную организацию, — пишет современный историк «Народной воли» Н. Троицкий, — то революционная организация охраняла Клеточникова». А.Д. Михайлов, как вспоминали потом народовольцы, «вёл все сношения с ним самолично и вообще берёг его как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, нежели допустить гибель драгоценного агента»[**].

Они встречались в совершенно «чистой» квартире: её нанимала Наталья Николаевна Оловенникова. Она жила по своему собственному паспорту и была отстранена от всякой нелегальной деятельности.

Н.Н. Оловенникова — родная сестра М.Н. Ошаниной, жены Баранникова, и, следовательно, его свояченица[***].

После ареста Михайлова сношения с Клеточниковым должны были поддерживать Баранников и другой член Исполнительного комитета — Колодкевич.

---

[*] *Фигнер В.* Запечатлённый труд. Т. 1. М., 1964. С. 258.

[**] *Троицкий Н.* Указ. соч. С. 69.

[***] Другая свояченица Баранникова — Елизавета Николаевна Оловенникова — накануне 1 марта находилась в числе лиц, следивших за выездами государя. После казни Александра II она была арестована и должна была судиться вместе с Баранниковым (по «делу 20-ти»), но впала в продолжительное душевное расстройство и много лет провела в лечебнице для душевнобольных. Умерла она в 1932 году. Что касается Натальи Николаевны Оловенниковой, то её судьба не менее трагична: она вскоре тоже заболела — и неизлечимо.

«Почему Исполнительный комитет счёл возможным принимать своего сверхсекретного агента в квартире нелегального (имеется в виду Колодкевич. — *И. В.*), давно разыскиваемого жандармскими ищейками, непонятно», — пишет Н. Троицкий. Члены Исполнительного комитета вспоминали потом, «что это решение выглядит странным, но не могли объяснить, почему оно всё-таки было принято»[*].

Сказанное о Колодкевиче в полной мере можно отнести и к Баранникову.

Обратимся к протоколам допросов Клеточникова.

31 января арестованный показал, что Михайлов познакомил его с неизвестным, назвав того «Порфирием Николаевичем», который на самом деле оказался Георгием Ивановичем Алафузовым, «легальным, как уверял меня Михайлов».

«В ноябре, — продолжает Клеточников, — Михайлов повёл меня в квартиру Алафузова, где потом я стал бывать довольно часто, иногда заходил просто побеседовать и выпить, так как Алафузов оказался весельчаком и жуиром»[**].

Почему Михайлов, человек сверхосторожный, сам привёл Клеточникова на квартиру своего земляка и друга, давно разыскиваемого полицией за участие в убийстве Мезенцова, в покушении на цареубийство и в ряде других не менее отчаянных предприятий? Предчувствовал ли Михайлов свой близкий арест и старался ли на этот случай обеспечить преемственность в сношениях с «драгоценным агентом»? Уверовал ли он в неуловимость Баранникова и в надёжность имеющегося у него паспорта?

Конечно, Михайлов мог руководствоваться всеми этими соображениями. Но не исключено, что решающим аргументом в пользу Баранникова была высокая надёжность его квартиры — и имя Достоевского играло здесь не последнюю роль.

Материалы дознания позволяют нам — разумеется, лишь с внешней стороны — воссоздать образ жизни Баранникова.

Крестьянка Василиса Бомбина, жившая «в услужении у г-жи Прибыловой», показала: «Из дома уходил рано, часов в 9, и возвращался лишь к вечеру. Ничего особенного в жизни его я не замечала»[***].

Клеточников сообщает некоторые подробности: «<...> Потом разговор за чаем и вином[****] о мелочах, и только раза два за послед-

---

[*] *Троицкий Н.* Указ. соч. С. 71.

[**] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 342–342 об. Протокол № 122.

[***] Там же. Д. 504. Протокол № 200.

[****] Двукратное указание Клеточникова на употребление им при встречах с «весельчаком и жуиром» Алафузовым горячительных напитков заставляет вспомнить

нее время случалось, что в десятом часу, посмотрев на часы, Алафузов говорил, что через полчаса ему нужно ещё зайти в одно место и то говорил один раз, что едет в Мариинский театр, а в другой раз, что едет в маскарад, и одевался при этом, действительно, в чистое бельё и лучшее платье. Но мне известно из его же рассказов, что он все дни с утра до поздней ночи проводил вне дома и только в назначенные мне дни возвращался домой к условленному часу»[*].

Клеточников не скрывает от следствия, что господин Алафузов вёл несколько рассеянный образ жизни. «Ему, — пишет в своих воспоминаниях одна из оставшихся в живых членов Исполнительного комитета, — часто приходилось показываться на улицах Петербурга в качестве прогуливающегося денди, безукоризненно одетого, видимо, беззаботного и праздного. Осенью 1880 года, в одну из таких прогулок, он нашёл подвал на бывшей Малой Садовой, отдававшийся в наём...»[**]

Это, как уже говорилось, был подвал, откуда затем тянули минную галерею: тот самый.

Не так часто доводилось жильцу квартиры № 11 отдыхать на диване за чтением своего любимого поэта (о чём — это можно теперь сказать — поведал следствию тот же Клеточников). Полицейский документ подтверждает высокую мобильность Алафузова, который «никакого имущества, за исключением носимого платья, холщового чемодана и бархатного саквояжа не имел, из квартиры выходил рано, а возвращался поздно <...>»[***].

шутливое замечание Льва Тихомирова: «...революционеры считали его (Клеточникова. — *И. В.*) очень сдержанным человеком и упрекали за буржуазную жизнь. И в самом деле он был очень тонкий знаток крымских вин и играл в карты». (*Тихомиров Л.* Заговорщики и полиция. М., 1930. С. 133.) Этот любитель «буржуазной жизни», заявивший на предварительном следствии, что он служил социалистам за деньги, не только не брал у партии ни копейки, но ещё ухитрялся передавать для её нужд небольшие суммы из своего более чем скромного жалованья (крупного повышения служебного оклада — до 1500 р. в год — Клеточников удостоился только 1 января 1881 года, т. е. за месяц до своего ареста).

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 344 об. — 345. Протокол № 122.

По свидетельству Ф.А. Марейнис-Муратовой, Баранников и Кибальчич были основными работниками в конспиративной мастерской на Забалканском проспекте, где осенью 1880 г. изготовлялся нитроглицерин (Деятели СССР и революционного движения России. С. 163).

[**] *Прибылёва-Корба А.П.* «Народная воля». Воспоминания о 1876–1880 гг. М., 1926. С. 50.

[***] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 381. Отношение начальника Секретного отделения петербургского градоначальства в Главное жандармское управление от 3 февраля 1881 г.

Он уходил из дома, когда Достоевский ещё спал, и возвращался домой, когда тот бодрствовал. Видел ли он свет в окне его кабинета? Интересовался ли жизнью своего соседа, знал ли его домашних, общался ли с прислугой? Или автор «Братьев Карамазовых» оставался вне поля зрения погружённого в конспиративные заботы члена Исполнительного комитета?

В одном из своих показаний Клеточников пишет: «<...> арест Михайлова произвёл на Алафузова <...> не переполох, а только сожаление о потере одного из хороших и преданных делу сочленов; по словам Алафузова, такие люди, как Михайлов, вполне заменимы, тогда как литературные силы все целы»*.

Баранников преуменьшает последствия потери Михайлова по соображениям сугубо педагогическим: он желает утешить горячо привязанного к своему «опекуну» Клеточникова. Но вовсе не случайно подчёркивает он важность сохранения именно *литературных* сил: он ценит силу слова.

Два с половиной месяца проводит он бок о бок с крупнейшей «литературной силой» своего времени (по его представлениям, возможно, враждебной). Последние дни жизни одного из них совпадают с последними днями свободы другого. Оба они покидают сей мир «в его минуты роковые».

Гость в западне

Что происходило в квартире № 11 по отбытии из неё должностных лиц вместе с одним из жильцов? Первую половину дня 26 января там, по-видимому, всё было тихо.

Из соседней квартиры уже послали за доктором фон Бретцелем; особенного волнения, однако, пока не наблюдалось и даже затевался семейный обед.

Между тем в доме скрывалась засада.

О том, что произошло несколько позднее, свидетельствует приводимый ниже официальный документ:

Протокол № 89

1881 года января 26 дня, Полициею 2-го Участка Московской части составлен сей протокол о нижеследующем:

В доме 5/2 на углу Ямской улицы и Кузнечного переулка в квартиру № 11, где в ночь на сегодня арестован живший там сын ставропольского

* ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 346–346 об. Протокол № 122.

Почётного гражданина Георгий Иванов Алафузов, сего числа в 4-ом часу пополудни пришёл неизвестного звания мужчина, спрашивая Алафузова, получив ответ, что его нет дома, вышел на улицу, где наблюдавший за квартирою Алафузова околоточный надзиратель Яковлев пригласил неизвестного в управление участка, по дороге куда задержанный намеревался уйти, чего сделать не допустил Яковлев. После этого неизвестный просил отпустить его, предлагал деньги. По приходе в участок неизвестный отказался объявить своё звание и место жительства, почему заключено тотчас же отправить его в Секретное Отделение.

Пристав *Надежин*[*]

Бесстрастный стиль полицейского протокола не в силах скрыть драматизма происходящего: смятения неизвестного, внезапно попавшего в западню, сомнительного «приглашения» в участок, обречённого единоборства с неподкупной честностью околоточного надзирателя Яковлева и, наконец, отбытия туда, откуда, как правило, нет возврата.

В своих позднейших показаниях околоточный надзиратель Яковлев сообщает дополнительные подробности. «Неизвестного звания мужчине», явившемуся около четырёх часов пополудни, дверь открыла «кухарка квартирной хозяйки» (Василиса Бомбина?) и пригласила его пройти. В эту минуту неусыпно бдящий Яковлев явился из комнаты Баранникова (где он помещался с другим полицейским, причём оба были одеты в цивильное платье) и ответил вошедшему, что, хотя хозяина нет дома, он может указать, где именно находится господин Алафузов[**].

Впрочем, это могли указать и другие обитатели дома. Нельзя сомневаться в том, что утром 26 января многие из них уже знают об исчезновении одного из квартиросъёмщиков. Вряд ли эта животрепещущая новость миновала и обитателей квартиры № 10. Вопрос лишь в том, осведомлены ли они о засаде.

Знает ли о засаде Достоевский?

---

[*] ГА РФ. Ф. 112. Д. 504. Л. 253–254. Таким образом, утверждение В. Шкловского, что по прибытии полиции к Баранникову «в комнате спал незнакомый человек» (Красная новь. 1933. Декабрь. С. 143), остаётся в пределах художественного вымысла: «незнакомый человек» явился позднее.

[**] Там же. Д. 507. Л. 212. Кстати, указание Фроленко на квартиру Достоевского, где якобы проживал Баранников, — не единственное. Ср.: «26 января на квартире Баранникова (он жил под фамилией Алафузова... у писателя Ф.М. Достоевского) арестован был Н.Н. Колодкевич» (*Тютчев Н.С.* К арестам в связи с 1-м марта 1881 г. // *Тютчев Н.С.* Революционное движение 1870–1880 гг. Статьи и воспоминания. М., 1925. Ч. I. С. 137).

Если даже допустить, что он не был ни прямым, ни косвенным участником, ни, наконец, просто свидетелем ночных событий, то толки о них не могли не взволновать его до глубины души. Он, пристально вглядывающийся в мир русской революции, как личную драму переживший смертную участь Ишутина, ввергнутый в горестные раздумья казнями Дубровина, Квятковского, Преснякова и, наконец, принявший на себя *труд* явиться на казнь Млодецкого, неужели он мог равнодушно отнестись к известию, что ночью в соседней квартире *взяли* человека, которого он видел, встречал и, может быть, знал по имени? Могли ли не посетить его совершенно естественные в подобном случае воспоминания — его собственного давнего обыска, ареста, увоза в здание у Цепного моста и затем — исчезновения на долгие годы «в мрачных пропастях земли»?

Думается, что утреннее известие могло потрясти его не меньше, чем дневная ссора с сестрой Верой Михайловной.

То, что квартира № 11 находится под наблюдением, не было, очевидно, большим секретом — ни для жильцов самой этой квартиры, ни для их соседей. Хорошо информированный дворник — Трофим Скрипин — вовсе не давал обета молчания.

Кроме того, наблюдение за лицами, направлявшимися в одиннадцатую квартиру, удобно вести из квартиры № 10.

И тут следует вновь вспомнить разговор Достоевского и Суворина — воображаемую сцену у магазина Дациаро. Там смертельная опасность грозила государю («власти»): «машина заведена» — и Зимний дворец обречён взлететь на воздух. И некто, знающий об этом, цепенел перед вопросом: как поступить?

26 января ситуация практически та же, но уже не воображаемая, а вполне реальная и при этом как бы вывернутая наизнанку. Смертельная опасность грозит теперь не власти, а тем, кто на эту власть посягает. «Машина заведена», но на сей раз «завод» работает против самих взрывателей.

И снова между этими и теми оказывается некто третий, знающий об этих и о тех и медлящий перед мучительным выбором.

Тогда можно было спасти «своих», предав в их руки тех, кто завёл машину. *Теперь* — спасти «чужих», играющих роль жертвы. Невмешательство было бы равносильно тому же предательству, только молчаливому, скрытному.

Конечно, как и тогда, на вопрос: предупредить ли? — он мог бы ответить: «Разве это моё дело? Это дело полиции» — с обратным, правда, знаком, ибо предупреждать тех, *кого* ловят (как и тех, *кто* ловит),

тоже — *не его* дело. Однако этот успокоительный трюизм не снимал самого вопроса. Он не был обязан предупреждать — ни в том, ни в другом случае, но и в том, и в другом случае нравственное чувство (и, если угодно, «чувство красоты») оставалось неутолённым.

«Христос» у магазина Дациаро не ведал, как ему поступить, точно так же, как не ведал этого и «Христос» у квартиры Баранникова.

Но пора вспомнить *о хронологии*.

Согласно имеющимся сведениям, неизвестный мужчина явился в квартиру Баранникова около четырёх часов пополудни. В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны говорится, что господин, взволновавший её мужа спором о «Дневнике писателя», посетил их «часа в три» и ушёл «около пяти часов», после чего случился первый серьёзный приступ болезни[*]. В «Биографии...» время указано более точно: «В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом»[**]. Это же время названо и в письме Анны Григорьевны Страхову[***].

Итак, имеются уже два по меньшей мере странных и озадачивающих совпадения. Первые признаки предсмертной болезни появляются у Достоевского в часы обыска у Баранникова, а решительный приступ той же болезни настигает его буквально через несколько минут после задержания ещё одного члена Исполнительного комитета «Народной воли» — Николая Колодкевича.

Таково настоящее имя неизвестного мужчины, не пожелавшего объявить своё звание и место жительства.

На следующий день граф Лорис-Меликов сообщает Александру II: «В дополнение к всеподданнейшей записке моей (о задержании Агатескулова. — *И. В.*), долгом считаю доложить Вашему Императорскому Величеству, что вчерашнего числа в квартире Агатескулова (в действительности Фриденсона) на Казанской улице, дом № 38 задержан снова под фамилией Сабанеева давно разыскиваемый студент Киевского университета Николай Колодкевич, в чём он уже и сознался. Колодкевич известен по производящимся делам как деятельный член “Исполнительного комитета”»[****].

Происходит несообразное: министр внутренних дел лжёт своему государю! Ибо упомянутый Колодкевич арестован не на квартире Фриденсона (где был арестован Баранников), а — на квартире самого Баранникова.

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

[**] Биография... С. 323 (первая пагинация).

[***] Жизнь и труды... С. 352.

[****] Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152. К сожалению, В. Шкловский не даёт ссылки на этот документ. Нам пока не удалось обнаружить его в архивохранилищах.

В чём же дело?

В. Шкловский полагает, что адрес квартиры Баранникова остался «секретом III Отделения (очевидно, Департамента государственной полиции, ибо III Отделение уже не существовало. — *И. В.*)»: жандармы «боялись неожиданности компрометантного свойства». Поэтому, мол, указанный адрес и был удалён «из оглашаемых документов»[*].

Это предположение логично, если иметь в виду именно «оглашаемые документы» (например, такие, как обвинительный акт по «делу 20-ти», где адрес Баранникова действительно не назван). Но с какой стати Лорис-Меликову утаивать местонахождение баранниковской квартиры в документе, абсолютно «неоглашаемом», предназначенном исключительно для августейших очей? (В бумагах такого рода назывались вещи и посекретнее — например, имя Ивана Окладского, которое было одной из самых охраняемых тайн государственной полиции.)

Думается, всё обстояло гораздо проще. Явила себя обычная российская неразбериха. В бюрократической переписке — донесениях нижестоящих вышестоящим — выпало одно звено. Колодкевич оказался, по не очень грамотному выражению всеподданнейшего доклада, «задержан снова» — на той же квартире, на которой сутками ранее уже был арестован Баранников.

Но для Александра II было не суть важно, где именно задержан Колодкевич. Важно было, что он — задержан. И на победоносном рапорте министра государь удовлетворённо начертал: «Браво»[**].

Колодкевич между тем посещал Баранникова не впервые.

К вопросу о конспирации

Бывший младший помощник делопроизводителя Департамента государственной полиции Николай Васильевич Клеточников показывает: «В конце же месяца (ноября. — *И. В.*), после ареста Михайлова, при мне к Алафузову зашёл нарочно, чтобы познакомиться со мною и заменить Михайлова некто, отрекомендовавшийся Владимиром Николаевичем, но в котором я почти с первой встречи заподозрил Колодкевича»[***]. (Клеточников знал его по фотографиям, имевшимся в том учреждении, где он служил.)

Михайлов познакомил Клеточникова с Баранниковым (нелегалом) и ввёл его к нему в дом, что было, с точки зрения конспирации, весь-

[*] Красная новь. 1933. Декабрь. С. 143. См. также: *Шкловский В.* За и против. С. 254.
[**] Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.
[***] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 342 об. Протокол № 122.

ма рискованным шагом. «Порфирий» в свою очередь свёл Клеточникова с Колодкевичем, а тот усугубил дело, открыв для «драгоценного агента» ещё одну небезопасную квартиру — свою собственную.

«Во второй половине декабря, — продолжает Клеточников, — Алафузов собрался ехать куда-то недели на две-три (так как он просматривал расписание поездов Николаевской железной дороги), то я полагаю, что он поехал в Москву, после чего Владимир Николаевич (т. е. Колодкевич) пригласил меня к себе»*.

Можно сказать, что с ноября 1880 года Клеточников всё время ходит по краю: предательство Окладского, положившее начало цепочке январских арестов, ускорило развязку.

Чем же было вызвано это, по выражению Н.А. Троицкого, «конспиративное затмение»? Нельзя не согласиться, что, занявшись генеральной подготовкой цареубийства, Исполнительный комитет пренебрёг всем остальным. Слежка за царём, рытьё подкопа на Малой Садовой, изготовление метательных снарядов — всё это поглотило почти все силы партии и отвлекло её внимание от важнейших требований безопасности. «Мы затерроризировались»**, — с тревогой говорил Желябов.

Сам Желябов будет арестован через месяц — 27 февраля, за сорок часов до взрыва на Екатерининском канале. И хотя партия ценой неимоверных усилий и жертв достигнет своей заветной цели, она уже идёт навстречу гибели: январские провалы станут началом конца.

...26 января, в 4 часа пополудни, мужчина «неизвестного звания» был доставлен в Секретное отделение. Протокол его обыска содержит двадцать пять наименований различных предметов (вспомним — по контрасту — аскетизм аналогичного документа, относящегося к Баранникову!). Кажется, что, если бы некто намеренно решил навлечь на себя самые мрачные подозрения, ему трудно было бы иметь при себе больше того, что он имел. У Колодкевича были отобраны: устав кружка партии «Народная воля», Программа Исполнительного комитета, фальшивые служебные бланки — «с печа-

* ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 343 об. Протокол № 122.

** См.: Прометей. Т. 9. С. 71.

По свидетельству одной из народоволок, на вечеринке, устроенной под новый 1881 год в динамитной мастерской на Забалканском проспекте, было «так весело, что все смеялись. Под конец настолько развеселились, что принялись плясать, причём сняли ботинки, чтобы не производить шума, а Геля Гельфман наигрывала на гребёнке. Помню, я не плясала и не могла отделаться от вопроса: кто из пляшущих доживёт до следующего Нового года... Воображение накидывало саван то на одного то на другого из плясавших мужчин: женщин-революционерок в те времена ещё не подвергали смертной казни» (Деятели СССР и революционного движения России. С. 164).

тью и подписью должностных лиц», рукопись «Общие начала организации местной и центральной группы» и т. д. и т. п.[*] Добычей полиции стала и записная книжка с адресами и различными заметками (в которых, как выяснилось позднее, заключались «сведения об изготовлении разных веществ для стопина, гремучего студня, гремучей ртути, а также таблица удельного веса динамитов разного состава»)[**].

Непостижимо, зачем Колодкевичу понадобилось брать с собой полный набор вещественных доказательств. Ведь не был же он настолько беспечен, чтобы постоянно таскать отобранные у него при обыске предметы. Не естественнее ли предположить, что в настоящем случае он намеревался передать фальшивые служебные бланки, равно как и подлинные документы «Народной воли», своему товарищу по партии?

Однако мы знаем: квартира Баранникова была абсолютно «чистой». Если у жильца и имелись какие-то компрометирующие его материалы, то, во всяком случае, они хранились вне занимаемого им помещения.

Приходится вспомнить о нашем *фантастическом* предположении. В жилище Баранникова (или в окрестностях) действительно могли находиться какие-то тайники. Во всяком случае, обнаруженные у Колодкевича предметы выглядят как *транзитные*.

Единственными относительно безобидными вещами в этом собрании улик оказались браслет — с выглядевшей в свете всего случившегося весьма двусмысленно надписью «Бог тебя храни» и «медальон на бархотке с фотографической карточкой женщины» (женский портрет, как помним, наличествовал и у Баранникова), а также «две серьги в виде стрел гнутых» и «маленькие стальные ножницы»[***].

Колодкевич отказался назвать свою квартиру в Петербурге. У него на то были серьёзные причины.

Он, член высшего руководящего органа «Народной воли», один из немногих посвящённых в тайну Клеточникова, не мог не понимать, что с арестом Баранникова он, Колодкевич, — единственное связующее звено между «драгоценным агентом» и Исполнительным комитетом. Клеточников мог пойти к Баранникову — его бы там взяли. Он мог пойти к Колодкевичу: жильца не оказалось бы дома, но не оказалось бы пока и полиции.

---

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 255–256. Протокол № 90.

[**] Былое. 1906. № 1. С. 261.

[***] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 256.

В одном из своих показаний Клеточников пишет: «Т.к. Алафузов вернулся раньше, чем я предполагал (из своей московской поездки. — *И. В.*), а именно пробыл в отлучке всего 5–6 дней, то я опять стал по-прежнему посещать квартиру Алафузова»[*].

Таким образом, в январе 1881 года квартира, расположенная рядом с последним обиталищем Достоевского, оказалась главным пунктом, где «Народная воля» получала поистине бесценную информацию.

Но почему же «ангел-хранитель» партии не мог предотвратить ареста Баранникова?

Осенью 1880 года розыскными операциями в Петербурге занимается не только Департамент полиции, но и Секретное отделение градоначальника. Этот полицейский параллелизм обратился против Клеточникова. «В последний раз, — говорит он в своих показаниях, — у меня было назначено свидание с Алафузовым в трактире Палкина, на углу Б. Садовой, на понедельник 26 января, но ни он, ни Колодкевич не явились, во вторник я узнал об аресте Алафузова, а в среду, наконец, решился зайти в квартиру Колодкевича, чтобы узнать о причинах ареста Алафузова <...>»[**]

«Чтобы узнать о причинах ареста Алафузова», — говорит Клеточников. Он мог бы узнать об этих причинах у себя, в Департаменте полиции. Он направился («решился зайти»!) к Колодкевичу, чтобы предупредить того о Баранникове, не ведая, что уже слишком поздно.

Но покамест, 26 и 27 января, Колодкевич темнит и сбивает жандармов со следа, надеясь, что за это время Клеточников что-нибудь разузнает и — спасётся. Медлит и Клеточников. Между тем полиция не оставляет в покое дом, где угасает Достоевский: там совершаются события, о которых до последнего времени ничего не было известно.

Ночной визит к жене подпоручика

Приведём документ.

М. В. Д. Секретно
С. Петербургской полиции
Пристав
2-го Участка
Московской Части

В отделение по охране
общественного порядка
и спокойствия

[*] ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 343. Протокол № 122.
[**] Там же. Л. 343 об.

27 января 1881 в С. Петербурге
№ 27

Вследствие отношения Отделения от 26 января за № 1118 мною произведён обыск в имуществе жены подпоручика Веры Фёдоровны Григорьевой, проживающей в д. 5/2 на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы, причём ничего преступного не найдено. Опечатанную переписку Григорьевой с протоколом обыска имею честь представить в Секретное Отделение. Григорьева до особого распоряжения подвергнута домашнему аресту.

Пристав *Надежин*

Из приложенного протокола явствует, что приставу Надежину пришлось вновь посещать всё ту же беспокойную квартиру номер одиннадцать, которая уже доставила полиции столько чреватых радостью хлопот.

Представители власти прибыли в квартиру 27 января, «в 1½ пополуночи» (то есть в ночь с понедельника на вторник) — в комнату № 2, занимаемую вышеназванной женой подпоручика, и произвели «тщательный обыск в имуществе», а также рассмотрели переписку. Не найдя ничего «преступного или предосудительного», пристав Надежин запечатал бумаги Григорьевой своей печатью, а самой жене подпоручика было объявлено, чтобы она никуда не выходила из дома.

Протокол подписали знакомые нам лица: содержательница меблированных комнат Прибылова и неразлучная пара дворников-понятых, причём один из них, а именно Трофим Скрипин, в порядке возрастающего от ночи к ночи самоуважения, именует себя не просто младшим дворником, а ещё и «отставным рядовым».

К протоколу сделана приписка: «Гласное наблюдение за Г-жою Григорьевой принял помощник пристава ротмистр [подпись неразборчива]».

«Доктор фон Бретцель, — говорит Анна Григорьевна, — всю ночь провёл у постели Фёдора Михайловича, который, по-видимому, спал спокойно. Я тоже заснула лишь под утро».

Это была его предпоследняя ночь.

Но кто же такая госпожа Григорьева и почему она удостоилась ночного посещения? Ответить на этот вопрос не столь просто. К сожалению, в деле не сохранилось отношения за № 1118, на основании которого производился обыск. Скорее всего визит пристава Надежина к госпоже Григорьевой (живущей в комнате № 2) каким-

то образом связан с бывшим накануне обыском у Баранникова (жившего в комнате № 1): её, например, могли заподозрить в сообщничестве*.

Об этом обыске жилец квартиры номер десять действительно мог ничего не знать: теперь его старались не беспокоить.

Итак, в течение суток, на которые приходится начало предсмертной болезни Достоевского, в доме по Кузнечному переулку происходят три драматических события, по меньшей мере два из которых могут быть поставлены в связь с внезапным недомоганием одного из жильцов: обыск у Баранникова в ночь с воскресенья на понедельник, арест Колодкевича в понедельник 26 января и новый обыск (у Григорьевой) в ночь с понедельника на вторник.

Кстати: что это за господин наверху, чья ходьба, как помним, очень беспокоила Достоевского и к которому Анна Григорьевна отправилась во вторник вечером с просьбой «не ходить»? Если комната Баранникова действительно располагалась над кабинетом, то ходить там мог только один человек: томящийся в засаде полицейский. (Впрочем, возможно, их было двое.) Ибо после ареста Баранникова других мужчин в квартире № 11 не оставалось (только женщины: хозяйка квартиры Прибылова, её служанка и г-жа Григорьева со своим ребёнком). Вчера, в понедельник, там взяли Колодкевича и ночью обыскали Григорьеву. Во вторник наступило затишье. Что остаётся скучающему, но неусыпно бдящему в засаде служивому, как не мерить шагами вверенное ему пространство?** Не читать же Лермонтова. «Господин перестал», — пишет Анна Григорьевна. В свою последнюю ночь Достоевский мог спать спокойно.

Но, следует, наконец, назвать ещё одно имя. Это имя доселе никогда не связывалось с последними днями обитателя квартиры номер десять. В январе 1881 года оно ещё не известно полиции. Но зато — давно знакомо Фёдору Михайловичу Достоевскому.

Речь идёт об Анне Павловне Корбе.

---

* Как явствует из протокола осмотра бумаг Григорьевой, подвергались прочтению письма её мужа из Гонконга. Кроме того, «в пакете находилась различная переписка и фотографические карточки, не имеющие никакого значения для дела». 29 января было заключено: ввиду того, что Григорьева и ряд других подвергшихся обыску лиц «при настоящем положении дела <...> не навлекают на себя никаких обвинений <...> лиц этих в качестве обвиняемых не привлекать к настоящему дознанию».

** Правда, Анна Григорьевна говорит о «вечной ходьбе». Но засада сидит у Баранникова уже двое суток, так что «ходьба» могла представляться достаточно долгой.

Из главы XXI

ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

«Маленький человек»: загробная драма

В бумагах Анны Григорьевны сохранилось письмо, написанное расслабленным старческим почерком и не имеющее конца. Документ этот удивителен. Он гласит:

> «Господин Распорядитель погребального шествия за телом Фёдора Михайловича Достоевского.
>
> Вчера я принимал участие в этой печальной церемонии, и в тот момент, когда один из распорядителей (по серебряным погонам на плечах видно было, что он Коллежский советник) подошёл к одному из господ, несших венок, окружающий всю свиту, сопровождавшую тело великого учителя, и начал просить, в очень вежливых выражениях и в деликатном тоне, чтобы этот господин составил угол из венка для того, чтобы составилось правильное каре; молодой человек начал оправдываться тем, что художник, который следует с шестом за ним, отстаёт и поэтому он не может удержать строго угла, а так как господин распорядитель настаивал на том, чтобы исполнить требование церемониала, хотя и в самых деликатнейших выражениях, как человек вежливого круга, то молодой человек отказался несть венок, и в этот критический момент я взялся исполнить требование члена распорядителя, взявшись нести венок, и начал напирать на угол, чтобы составить каре, и господин распорядитель нашёл мои действия правильными, сказав: “Вот это так, старики умеют действовать”».

Что это? Кто это пишет? Не воскресший ли Макар Алексеевич Девушкин поспешает за гробом своего творца? Или — перебивающий собственную речь бесконечными оговорками, повторениями,

уточнениями и замечаниями в скобках господин Голядкин явился проводить в последний путь автора «Двойника»? Чей это бесподобный, спотыкающийся, оглядчивый, не доверяющий сам себе слог? Если бы не бесспорная подлинность документа, можно было бы предположить, что перед нами — литературная мистификация.

Но вернёмся к не обозначившему своего имени и звания автору. Маленькая заминка с венком имела для него драматические последствия.

> «Вдруг подходит околодочный и в повелительном тоне говорит мне: «Вы не так держите палку, Вы держите прямо». Дерзость околодочного меня взволновала, потому что обязанность полиции соблюдать порядок в публике, а не вмешиваться в дела распорядителей; наконец, я более 40 лет в офицерском чине [мои дети учителями], и вдруг мне публично наносит оскорбление околодочный, который, по-видимому, не что иное, как отставной писарь или целовальник; на дерзость околодочного я ответил, что не его дело и что я давно то забыл, что ему нужно знать! околодочный замолчал и тем бы дело кончилось, но вдруг подскакивает другой член распорядитель и начинает кричать дерзко на меня, как в оное время помещики на своих рабов, и требовать, чтобы палку держать прямо, на его требование, выраженное в дерзком взгляде и дерзком тоне, я из уважения к праху покойного великого учителя ответил тихо и сдержанно, что так палку держать невозможно, надеясь, что человек образованный и [разыгрывающий] роль распорядителя в почётной процессии поймёт свою ошибку и постарается исправить её, но я ошибся <…>» и т. д. и т. п.

Письмо длинно, подробно, дотошно. Далее повествуется, как быстро накалились страсти. Кончилось тем, что околоточный схватил автора письма «за руку и повернул в сторону».

Человека («маленького человека»!) публично унижают и оскорбляют, и он, униженный и оскорблённый, жаждет справедливости. Всеми силами души пытается он защитить своё человеческое достоинство, отстоять целость и неприкосновенность своего «я». Он бросает для этого на весы все свои нехитрые аргументы. Но офицерский чин (очевидно, невысокий, свидетельствующий лишь о принадлежности к одному из четырнадцати классов), дети, выбившиеся в учителя, и, наконец, почтенные лета — всё это слабая защита против враждебно надвинувшегося мира, не желающего входить во все эти жалкие подробности, мира, оскорбительного уже по одному тому, что он заведомо глух к этому *бесполезному* крику души.

Да, так могли бы говорить многие из героев Достоевского: не только Макар Девушкин или господин Голядкин. Это речь «вечно обиженного» Мармеладова, да, пожалуй, — и штабс-капитана Снегирёва (правда, «серьёзного» Снегирёва, без его вечного ёрничества). И ещё вопрос: принял бы автор письма материальную компенсацию от своих обидчиков (буде она ему предложена), не растоптал бы он, как Снегирёв, стыдливо сунутую ему ассигнацию...

Но никто и не думал просить извинений у старого человека, и он, произведя скрупулёзный разбор всего происшествия, приходит к неутешительному заключению, что на его оскорбителей «ещё нет суда в России, вот они и <...> б а ш и б у з у к с т в у ю т». И, уже совсем выбившись из «деликатного» стиля, грозно восклицает: «Чтобы варваров уничтожить, с варварами надо по-варварски поступать!»

Какие же меры находит автор письма уместными в настоящем случае? Они романтичны и весьма радикальны: «Кто имеет средства», тот должен укрощать негодных распорядителей «нагайками в сараях (как это было сделано с одним негодяем в *N* губернии)», а тем, кто в средствах ограничен, рекомендуется «в публичных собраниях наказывать этих негодяев хлыстами по харе, чтобы не замарать руки своей».

«Я пишу в общество распорядителей с тою целью, — заключает своё послание неудачливый носитель венков, — чтобы они знали вперёд, когда свершится наказание распорядителя <...> то за что я его наказал»*.

И ещё один персонаж приходит на ум. Это всё тот же «маленький человек», чиновник, но на сей раз — существо не только глубоко уязвлённое, но и — мстительное. Это он, герой «Записок из подполья». Он, способный мучительно переживать собственные унижения, но одновременно — задним числом — «переигрывать» их в свои победы. И при этом — мысленно казнить своих действительных или мнимых притеснителей.

Да, за гробом писателя шёл человек, очевидно, одного или близкого с ним возраста, человек, в котором теми или иными гранями отразились личности излюбленных Достоевским литературных героев. Он искренне желал проститься с «великим учителем» и нимало не подозревал, что сам он — живое подтверждение действенности того художественного метода, который именовался его автором реализмом в высшем смысле.

---

* НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. III. Карт. 5. Ед. хр. 12 (Материалы, относящиеся к погребению).

И странное дело. В этот высокоторжественный час судьба как бы вновь явила грустную и язвительную усмешку: не только над достойной всяческого сочувствия жертвой, а пожалуй что — и надо всеми присутствующими. Ибо в процессии, сопровождавшей в могилу «апостола любви», сеятеля мира и проповедника нравственного совершенствования — в процессии, которая всем своим смыслом была устремлена к признанию и, кто знает, возможно, утверждению этих врачующих начал, вдруг пробудились чувства, не только бесконечно далёкие от чаемого идеала, но даже в конце концов возвавшие к «нагайке». Сам же идеал (как и в случае с Пушкинской речью) не выдерживал проверки на исходном, бытовом уровне: он рушился при первом соприкосновении с «живым» хамством. И меры, признанные годными к его восстановлению (и одновременно — к исправлению общественных нравов), вряд ли могли быть приемлемы для его искренних прозелитов. Теория и жизнь снова разошлись, дали «сбой». По неисповедимым законам судьбы это случилось в высокую патетическую минуту. Малая драма отразила в себе гораздо большую: может быть — мировую.

Но некогда было задумываться над всем этим: монастырские врата отделили Достоевского от города Петербурга — со всеми его радостями и печалями. В Святодуховской церкви надлежало провести ему последнюю ночь[*].

Камо грядеши? (Попытка исторической ретроспекции)

28 сентября 1899 года шестидесятипятилетний А.С. Суворин вспомнил о событиях восемнадцатилетней давности — смерти и похоронах Достоевского. Он записал в дневнике:

«Удивительный был этот подъём в Петербурге. Как раз это перед убийством Императора. Публика бросилась читать и покупать Достоевского. Точно смерть его открыла, а до этого его не было»[**].

Остановимся на первой фразе. О каком подъёме, казалось бы, может идти речь в минуту всеобщей скорби?

Но вот что писал тот же Суворин — тогда, в 1881 году: «Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, её воскресение...»[***]

---

[*] Между прочим, автор письма говорит, что «происходил страшный скандал у церкви, и стёкла выбиты, и на паперти гвалт, крик как в кабаке» (Там же). Эти подробности не встречаются более ни в одном источнике.

[**] Дневник А.С. Суворина. С. 212–213.

[***] Новое время. 1881. 1 февраля.

«Это, — говорит другой современник, — даже мало напоминало похороны, это было какое-то народное празднество...»[*]

«Процессия... — пишет Тюменев, — походила на какое-то триумфальное шествие...»[**]

«Как ни странно это звучит, — замечает Н.К. Михайловский, — но в проводах было нечто даже как бы ликующее...

Я видел настоящие, искренние слёзы и истинно скорбные лица у гроба Достоевского. Но я ощущал кругом себя и радость и слышал выражения радости, что вот, мол, сколько свободы и единения»[***].

«Голос» называет событие горестным и утешительным в одно и то же время[****].

«Торжество», «празднество», «радость» — все эти определения мало подходят для выражения чувств, вызванных печальной потерей. Получается, что скорбь сама по себе не являлась господствующим настроением тех дней. Выходит, что печаль была *светла*, что к ней примешивались какие-то совершенно неожиданные оттенки.

Если в траурной мелодии вдруг прорывается мажорная тема, для этого должны быть основания.

То, о чём говорят современники, можно назвать историческим оптимизмом. Разумеется, оптимизм этот имеет касательство не к самому факту смерти (увы, необратимому), а к тому, что эта смерть выявила в продолжающейся жизни и что, несмотря на горечь потери, подало повод к надежде.

На что же можно было надеяться зимой 1881 года?

Достоевский умер в исключительный момент русской истории: исключительный как в духовном, так и в политическом плане.

К началу восьмидесятых годов почти все зародившиеся ранее течения русской общественной мысли выявили себя с достаточной полнотой. Российское XIX столетие, беспримерное по объёму и напряжению духовной деятельности, «переварившее» великое множество воззрений, концепций и идеологических формул, познавшее живительную и иссушающую страсть литературных полемик (восполнявших отчасти отсутствие *дела*), — это столетие подошло к некой критической точке. Богатое наследство сороковых и шестидесятых было в основном исчерпано: наследники ещё спорили о деталях, но не знали, как соединить теорию с неподдающейся жизнью. Ни одно из идейных устремлений предыдущих десятиле-

[*] Литературное наследство. Т. 86. С. 545.
[**] Там же. С. 341.
[***] Отечественные записки. 1881. Февраль. С. 243–244.
[****] Голос. 1881. 8 февраля.

тий не сумело доказать своего права на бесспорный общественный приоритет; ни одна сила, не смогла утвердить себя в сфере практических осуществлений.

Великая распря западников и славянофилов давно утратила былую историческую непосредственность. Ясность идейных физиономий замутилась. Если раньше ещё можно было предположить, что этот старый спор, пользуясь словами Достоевского, есть недоразумение ума, а не сердца, то теперь он превратился в средство личного самоутверждения и сведения давних счётов. Западничество уже давно не сознавало себя какой-то единой общностью: сохранив тягу к европейскому конституционализму, оно — в своём народническом варианте — вполне усвоило заветную славянофильскую мечту об исторической исключительности России. С другой стороны, позднее славянофильство, формально не отрекаясь от своих духовных предтеч — Хомякова и Константина Аксакова, всё менее одушевлялось их высоким поэтическим чувством и всё более склонялось к компромиссу с существующим порядком вещей.

Русский либерализм западнического толка — внешне достаточно импозантный и сохранявший, на первый взгляд, прочные общественные позиции — был величиной довольно условной, подверженной колебаниям государственного климата. Он не обладал ни единой идеологией, ни претерпевшими гонения идеологами (без чего в России невозможен сколько-нибудь серьёзный моральный авторитет). Исполненный благородных и высокоинтеллигентных стремлений, он никогда не мог соотнести их с той тёмной, тяжёлой, непредсказуемой стихией, которая глухо ворочалась в исторической мгле, именуемой народной жизнью. Модель, предлагаемая либералами, не затрагивала этих глубин: в ней отчётливо обнаруживались черты корпоративного эгоизма. «Стихия» не принималась в расчёт: разумелось, что она может быть упорядочена и управляема с помощью «нормальных» парламентских процедур. Страшась эксцессов как правого, так и левого толка, русский либерализм никак не мог нащупать собственную точку опоры и внутренне был готов поддержать существующую власть — как меньшее из зол. Не приуготовленный к реальному политическому действию, он стремился избежать и потрясений духовных: недаром так тщательно обходились все «мировые» вопросы. Ставя перед собой весьма умеренные и, казалось бы, вполне достижимые цели, российские либералы не заботились об их нравственном «глобальном» обеспечении: в России такое пренебрежение никому не проходит даром.

Что мог предложить стране в 1881 году лагерь охранительный?

Не обладающий — за редким исключением — сильными и самобытными мыслителями, ограниченный даже в своей охранительной инициативе застарелой государственной практикой, русский общественный консерватизм поневоле отождествлялся с консерватизмом правительственным, давно утратившим свой моральный кредит. Ценности, отстаиваемые официозной или полуофициозной публицистикой, не внушали образованному обществу ни малейшего доверия. Такие понятия, как «православие», «самодержавие», «народность» — в их казённо-патриотической трактовке, — были скомпрометированы ещё в предыдущее царствование. Русское охранительство всё больше превращалось в консервативную оппозицию — тем реформам, которые были проведены в начале 60-х годов. «Московские ведомости» считали себя правее правительства: они раньше других уловили ту тенденцию, которая возобладает после 1 марта. В отличие от либералов они принимали в расчёт «стихию»: с последней — для её же собственного блага — была призвана совладать сильная государственная власть. Если теоретически и допускалось осторожное консервативное обновление, оно (как и у западников) не должно было затрагивать глубин национальной жизни и мыслилось в качестве противовеса конституционным поползновениям либеральной интеллигенции. Нельзя сказать, чтобы охранительство не заботилось о моральном обосновании своих претензий: обоснования эти носили, главным образом, национально-исторический характер (соответствие «исконного» самодержавия историческому типу нации). В 1881 году всё это выглядело изрядным анахронизмом.

И наконец, лагерь русской революции.

К 1881 году здесь обнаруживаются признаки глубокого разброда. Это вызвано не только исчезновением с исторической сцены признанных лидеров движения, но и тем обстоятельством, что после реформы 1861 года — освобождения крестьян — крестьянская антифеодальная революция делалась всё более проблематичной. Крестьянство не шелохнулось во время *великого* «хождения в народ» 1874 года: бесчисленные жертвы, принесённые молодыми интеллигентами ради абстрактного «мужика», реального мужика оставили вполне равнодушным. Народолюбие, обратившееся, так сказать, в официальную принадлежность русской демократии, подвергалось тяжкому испытанию. Крестьянство, всё глубже враставшее в новый общественный уклад, не спешило обнаруживать своих антибуржуазных потенций. В семидесятые годы народники столкнулись с неким социальным вакуумом, когда «мужик» уже не оправды-

вал возлагаемых на него революционных надежд, а иной силы, способной «раскачать» самодержавие, ещё не существовало.

Русские радикалы делают последний отчаянный шаг: они вступают в бой с правительством один на один.

Результаты этого единоборства были налицо: ошеломлённая власть впервые заколебалась. Народовольческий террор внёс глубокое смятение в её дрогнувшие ряды. «Диктатура сердца» призвана была восстановить пошатнувшееся равновесие. У правительства ещё оставались громадные материальные резервы: армия, полиция, аппарат государственной власти. В то же время «Народная воля» почти исчерпала свои ресурсы. Загадочная «стихия» никак не отзывалась на её бескорыстные усилия и жертвы.

Теоретически возможно представить, что Исполнительный комитет в конце концов сумел бы свалить правительство. Труднее вообразить, кто и каким именно образом воспользовался бы плодами этой победы.

То, что произойдёт через месяц после кончины Достоевского — достижение революционным подпольем его главной цели, явит историческое бессилие террора. Но ещё при жизни автора «Карамазовых» обнаружатся вызванные этой борьбой мучительные нравственные коллизии. Террор был всё тем же «механическим» разрешением общественных вопросов, раскольниковской «арифметикой», хотя и облагороженной самозакланием тех, кто поднимал «топор». Ибо вопрос о «слезинке ребенка» и о всеобщем счастье был поставлен задолго до того, как бомба, разорвавшаяся на Екатерининском канале и предназначенная императору, *случайно* покалечит и убьёт оказавшегося рядом подростка. Алёша Карамазов у Илюшиного камня призывал русских мальчиков любить друг друга — и уходил во вторую часть романа, дабы покуситься на цареубийство. Интересно, явились бы при сём дети?

Русская революция замешкалась у порога: она ещё не решила всех «предвечных» вопросов*.

Таков был многосоставный спектр 1881 года: от белого царя до «красного» террора; от философских прений о существовании Божьем до взрывов народовольческих бомб, подтверждавших и отрицавших присутствие нравственного закона одновременно. Это была «мёртвая точка» века: он мог сдвинуться в ту или иную сторону.

* У А. Желябова, кстати, при обыске и аресте был обнаружен «Дневник писателя». Единственный выпуск на 1880 г. То есть — Пушкинская речь с обширным авторским комментарием. Достоевский пребывает в поле зрения «человеков из подполья».

Достоевский умер — и вдруг почудилось, что дело пошло.

Так почудилось потому, что сам он был чудом: единственный человек в России, чья смерть, казалось, примирила всех. Все партии склонили свои знамёна: факт доселе невиданный и никогда в русской истории более не повторявшийся.

Всё это продолжалось только одну историческую минуту и — обернулось призраком, фантомом, обманом зрения. Но всё-таки это было, а раз так — подобный парадокс требует объяснений.

В 1881 году будущее представлялось туманным, загадочным, но — открытым: никто не знал, куда пойдёт страна и каким образом осуществится этот переход. Россия жила *накануне*. Все ощущали близость рубежа, но никто не ведал, что произойдёт. Это смешанное чувство надежды и неуверенности проистекало из общей жизненной неопределённости, когда известные возможности казались исчерпанными, а новые пути — достаточно сложными и гадательными. Кризис общественного сознания порождал духовную нестабильность; кризис власти — нестабильность политическую. Вместе с тем тот общественный пессимизм, который определит тональность следующего царствования, ещё не возобладал.

Будучи молчаливым свидетелем схватки правительства с революционным подпольем, большинство российской интеллигенции не имеет ни сил, ни желания встать на точку зрения одной из сторон. Оно, это большинство, психологически подготовлено к принятию идеологических моделей, сулящих близкий и желательно безболезненный выход из существующего положения.

Меньшинство рвалось в решительный бой; большинство жаждало «покоя и воли». Покоя хотя бы относительного, но твёрдо гарантированного. Воли — хотя бы умеренной, личной, без давящего ярма наглого и бесконтрольного деспотизма.

Это большинство должно было склоняться к какой-то идеальной схеме, примиряющей противоречия *хотя бы* в сфере духа, — как к исходному пункту «всего остального». Это большинство желало верить, что существует некое целостное решение, способное удовлетворить всех и обозначить новую эру общественной жизни.

Может быть, секрет Достоевского и заключался в том, что он не рекомендовал никаких конкретных решений. Он начинал «с другого конца»: говорил о правде, о добре, об искренности, о справедливости. Он говорил о своём понимании христианской морали. Он полагал, что здоровье государства зависит от нравственного здоровья его граждан; что никакие «механические» усовершенствования не поведут к желаемой цели, если останется несовершенным сам

человек. Его называли учителем: это было учительство особого рода. Он не брал на себя смелость *по пунктам* ответить на сакраментальный вопрос: «Что делать?» Скорее он намекал на то, *как* делать, именно намекал, потому что в отличие, например, от Толстого у него нельзя отыскать указаний на обязательность тех или иных действий или поведенческих норм. Он доверял каждому отдельному человеку, его нравственному чутью, его свободной воле и не желал насиловать эту волю нравственной «обязаловкой», навязыванием решений, приемлемых абсолютно для всех. Он призывал поступать *по совести,* будучи глубоко убеждён, что это сугубо индивидуальное «качество» в конечном счёте совпадает с мирочувствованием нации и питается от него. Он указывал интеллигенции на «серые зипуны», а от последних ожидал приятия двухвековой «верхушечной» культуры, оплодотворённой этим спасительным союзом. Раздельное существование народа и образованного общества, чреватое взаимной гибелью, он хотел восполнить их схождением — прежде всего в сфере духовной.

То, что он говорил, не было «программой». Это походило скорее на чувство, но — чрезвычайно сильное, колеблющее сокровенные струны души. И если политика не предвещала исхода, то, может быть, такой исход мнился в новом жизнеустроении, когда человек сбрасывает маску и обращает к другому человеку свой открытый и доброжелательный лик.

Смерть Достоевского, соединившая вокруг его гроба людей всех верований и направлений, как бы служила первым ошеломляющим подтверждением того, к чему призывал покойный. Словно только так — умерев — мог он воочию явить свою правоту: в этом смысле его кончина принадлежала к числу его сильнейших *доказательств*.

Процессия, следовавшая от Кузнечного переулка к Александро-Невской лавре, была заключительным актом царствования Александра II. Она завершала собой целую эпоху. Она знаменовала крайнюю точку того общественного движения, которое началось со смерти императора Николая Павловича. Летосчисление, открытое погребением Николая, заканчивалось похоронами его бывшей жертвы. Сами эти похороны свидетельствовали о том, что минувшая четверть века не прошла для России бесследно.

Но ещё в большей степени проводы Достоевского были обращены в будущее. Десятки тысяч людей отдавали дань уважения и любви тому, кто призывал их к нравственному обновлению — как первому шагу к всеобщему (может быть, всемирному) переустройству. Те,

кто следовал за гробом автора Пушкинской речи, как бы говорили сильным мира сего: *мы готовы.* Мы готовы «смириться» (и безропотно отдать несомые вместо венков кандалы), если сама власть в свою очередь тоже «смирится» и на деле примет те начала любви, о которых говорил покойный. Довольно обоюдных убийств, безгласности, беззакония, официального и подпольного произвола! Общество готово к реформам: оно воспользовалось *случаем* и вышло на улицу, чтобы открыто заявить об этом. Глядите: мы вполне лояльны; мы стройно поём «Святый Боже», вместо того чтобы распевать, положим, «Марсельезу». Вам, правительству, даётся последний шанс: не упустите ж его!

Шанс был упущен.

Был упущен последний шанс, когда самодержавие теоретически ещё могло бы найти общий язык — если не со всей интеллигенцией, то хотя бы со значительной её частью. Спасение от революции было возможно не только при помощи откровенной контрреволюции, как это произойдёт месяц-другой спустя. Созыв Земского собора и иные шаги в том же направлении, хотя, разумеется, и не повели бы к тому, о чём говорил Достоевский, но во многом могли бы изменить дальнейший ход судеб.

У самодержавия недостало для этого ни желания, ни сил. Следующее массовое шествие в городе Санкт-Петербурге — тоже мирное, хотя и совсем иное по своему составу и по вызвавшим его причинам, — власть встретит пулями: это случится 9 января 1905 года.

Это случится — и положит начало первой русской революции.

Два шествия аукнутся между собой: кровь, пролитая участниками второго, оттенит всю фантасмагоричность первого.

Да, то, что происходило в столице 31 января 1881 года, можно назвать исторической фантасмагорией. Но одновременно — и крупнейшей политической манифестацией русского XIX столетия. Манифестацией, случившейся на грани двух эпох и вдохнувшей в сердца так и не сбывшиеся надежды.

Победоносцев не напрасно тревожился, вспоминая проводы Достоевского: он знал толк в исторических предзнаменованиях.

Прощание на русский манер

Вечером 31 января Анна Григорьевна с детьми приехала в Духовскую церковь, чтобы присутствовать при парастасе (торжественной всенощной), совершаемой у гроба.

«Церковь была полна молящихся; особенно много было молодёжи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении Псалтыря над гробом...»[*]

Когда утром пришли убирать храм, в нём не обнаружилось ни одного окурка. Это чрезвычайно удивило монахов. «...Обычно, за долгими службами, — пишет Анна Григорьевна, — почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурок»[**]. Уважение к памяти покойного превысило уважение к месту.

Гроб возвышался посреди храма — под балдахином из гранатового бархата с золотыми кистями, в окружении многочисленных венков. Некоторые из них, поднятые на высоких шестах, разместились вдоль стен (что, как замечает Анна Григорьевна, «придавало храму своеобразную красоту»). С хоров свисала, осеняя гроб, огромная трёхцветная хоругвь — от редакции «Русской речи»: её необыкновенные размеры должны были, по-видимому, выкупить нападки этого издания на творчество покойного...

«Мне невольно вспомнился, — замечает очевидец, — тот момент, когда на Пушкинском празднике Достоевский взошёл на кафедру, а сзади его, как рамку, держали венок»[***].

В субботу вечером митрополит Петербургский Исидор (тот самый, который столь твёрдо противостоял намерению похоронить автора «Карамазовых» в стенах Лавры) направился в Духовскую церковь. «Монахи, — передаёт его слова дочь Достоевского, — остановили меня у дверей, объявив, что церковь, которую я считал пустой, полна людей». Тогда высокопреосвященный избрал пунктом своего пастырского наблюдения маленькую часовню во втором этаже соседней церкви: её окна выходили внутрь храма, где стоял гроб. «Я провёл там часть ночи, наблюдая за студентами, не видевшими меня. Они молились, плакали и рыдали, стоя на коленях. Монахи хотели читать псалмы у подножия катафалка, но студенты взяли у них из рук Псалтырь и читали попеременно псалмы. Никогда я не слыхал ещё подобного чтения... Студенты читали псалмы дрожащим от волнения голосом и вкладывали свою душу в каждое произносимое ими слово».

---

[*] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 388. Анна Григорьевна ошибочно (вероятно, описка) относит это к 30 января.

[**] Там же.

[***] *Круглов А.В.* Пёстрые странички // Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 483.

Так смущённому этой сценой Исидору сподобилось убедиться в мудрой правоте обер-прокурора Святейшего синода, пёкшегося, чтобы врата Лавры отверзлись пред *не столь заслуженным* прахом...

Ранним утром в воскресенье 1 февраля Победоносцев в сопровождении брата Анны Григорьевны отправился в Лавру. «Они открыли гроб, — пишет Любовь Фёдоровна, — и нашли Достоевского страшно изменившимся». Шёл уже четвёртый день после его кончины. Почти трое суток тело находилось в душных комнатах, битком набитых людьми. Гроб несколько часов несли на руках, покачивая и встряхивая. Всё это не прошло бесследно. «Из опасения, чтобы вид изменившегося лица покойника не произвёл тяжёлого впечатления на вдову и детей Достоевского, Победоносцев не разрешил монахам открыть гроб. Моя мать никогда не могла простить ему этого запрещения»*.

Анна Григорьевна скорбела о том, что не смогла исполнить обряд, предписываемый православным обычаем: отдать усопшему последнее целование.

Она вообще едва попала в Александро-Невскую лавру.

На площади перед Лаврой гудела толпа. Людей собралось несколько тысяч: внутрь пропускали строго по билетам. У Анны Григорьевны билета не оказалось. Она попыталась удостоверить свою личность.

«— Тут много вдов Достоевского прошли и одни, и с детьми, — получила я в ответ.

— Но вы видите, что я в глубоком трауре.

— Но и те были с вуалями. Пожалуйте вашу визитную карточку»**.

Визитной карточки, разумеется, тоже не было. И только помощь случившихся рядом знакомых позволила Анне Григорьевне с детьми проникнуть в стены обители.

«Сегодня, — пишут «С.-Петербургские ведомости», — в противоположность вчерашнему дню от полиции были сделаны большие наряды чинов для соблюдения порядка...» Начальство словно спохватилось и спешило наверстать упущенное.

«К сожалению, — продолжает корреспондент, — мы должны заметить, что полицейские чины... держали себя с публикою чрезвычайно грубо... Я пробыл у ворот Лавры 20 минут и видел обращение полицейских. Градоначальник поступит весьма справедливо, если сделает замечание тем чинам полиции, которые были в наряде у во-

---

* *Достоевская Л. Ф.* С. 103, 104.

** *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 389.

рот Лавры и на площади. Бесцельная грубость со стороны полицейских не есть ли первый повод к беспорядкам»[*].

Беспорядков не было: был беспорядок. Правда, в самой церкви царило торжественное спокойствие: депутаты окружили катафалк, вокруг которого прибавилось новых венков: от Артиллерийской Академии, Академии Генерального Штаба, от литераторов и даже «от русских детей».

В 10 часов утра началась заупокойная литургия. Пел хор александроневских певчих — и молодёжь негромко подхватывала слова молитвы. Власть была представлена тремя правительственными лицами: Победоносцевым, начальником Главного управления по делам печати Абазой и министром народного просвещения Сабуровым.

После литургии совершилось отпевание. Затем ректор Петербургской духовной академии протоиерей Янышев обратился к присутствующим с проповедью. «Звучный голос, тёплое чувство, которое слышалось в каждом звуке проповеди, и красноречие проповедника, — отмечается в одном источнике, — произвели сильное впечатление на слушателей»[**]. «...Речь... мне не понравилась, — возражает И.П. Павлов, — не слышал искренности, душевности»[***].

«Дадим теперь ему, — воззвал в заключение Янышев, — как многолюбившему, последний поцелуй нашей любви»[****], — запамятовав, очевидно, что ввиду закрытого гроба исполнить этот призыв можно только метафорически...

Когда гроб выносили из церкви, то, как свидетельствует М.А. Рыкачёв, «поднялась суматоха и давка». «Теснота оказалась такою подавляющею, — подтверждают «С.-Петербургские ведомости», — что распорядителям стоило немало труда пробить дорогу для духовенства и гроба к последнему месту его успокоения»[*****].

Это место находилось тут же — на Тихвинском кладбище: рядом с могилами Жуковского и Карамзина.

«У могилы, — пишет воспоминатель, — также были толпы: памятники, деревья, каменная ограда... всё было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов очистить путь к могиле и место около неё. Мы с трудом это сделали

---

[*] С.-Петербургские ведомости. 1881. 2 февраля.
[**] Биография... С. 91 (третья пагинация).
[***] Москва. 1959. № 10. С. 176.
[****] Биография... С. 91 (третья пагинация).
[*****] С.-Петербургские ведомости. 1881. 2 февраля.

и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода»[*].

Когда гроб опускали в могилу, раздался крик одиннадцатилетней Лили: «Прощай, милый, добрый, хороший папа, прощай!»[**]

Три года назад он произнёс несколько слов над раскрытой могилой Некрасова. Он говорил тогда, что Некрасов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Выше, выше!» — закричали в толпе.

Над его собственной могилой не раздалось никаких полемических восклицаний: все споры были ещё впереди. Среди говоривших не оказалось ни одного крупного литературного имени. Тургенев пребывал за границей, Толстой — в Ясной Поляне, Салтыков-Щедрин — больной у себя дома. Да и вряд ли кто-нибудь из них захотел бы высказаться. Майков приготовил речь, но произнести её не успел. Говорили литераторы второго ряда; брали слово люди вовсе случайные...

«Впечатление осталось от апостольской фигуры В.С. Соловьёва, — вспоминает И.И. Попов, — от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией»[***]. Анна Григорьевна также свидетельствует, что молодой философ «выделялся своим взволнованным видом»[****].

«Соединённые любовью к нему, — сказал о покойном Владимир Соловьёв, — постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом»[*****].

Это могло напоминать речь Алёши у Илюшиного камня. Смерть оказывалась большей, чем просто смерть: она «невольно» служила тому, к чему автор «Карамазовых» направлял все свои духовные помышления.

«Самому Достоевскому, — говорит И.П. Павлов, — если бы он видел и чувствовал всё это, должно было бы быть хорошо! Сколько народу на его могиле приняло решение, дало обет быть лучше, походить на него»[******].

«А если умрёт, то принесёт много плода...»

Его смерть не только завершила его жизнь. Она сама стала элементом «учения», первой попыткой осуществить его на практике.

---

[*] *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 91.
[**] Биография... С. 92 (третья пагинация).
[***] *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 91.
[****] *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 390.
[*****] Биография... С. 94 (третья пагинация).
[******] Москва. 1959. № 10. С. 178.

Смерть оказалась *конструктивной:* в обществе обнаружились такие идеальные силы, о которых само общество даже не подозревало. Мнилось, что цели вещественные могут быть достигнуты невещественнейшим изо всех мыслимых средств — любовью.

1 февраля казалось: до этого уже подать рукой.

1 февраля ещё позволительно было надеяться, что 1 марта *(то 1 марта)* может не наступить вовсе.

Это была ошибка.

Это была ошибка, в которую впадали тем легче, что в неё страстно желали впасть.

Речей на могиле произносилось много. Выступал А.И. Пальм, сотоварищ покойного по делу Петрашевского: они вместе стояли на эшафоте. Говорил никому не известный студент Павловский: имя попало в газеты. Орест Фёдорович Миллер заключил свою речь чтением стихотворения безымянной слушательницы Высших женских курсов. Сказал речь профессор Бестужев-Рюмин. Стихи собственного сочинения огласили литераторы П. Быков и П. Гайдебуров, а также несколько лиц, оставшихся неизвестными.

Главная мысль у всех выступавших была одна: покойный указал *путь*. И остаётся только следовать в указанном направлении: остальное приложится.

Ораторов было плохо слышно.

Около трёх часов открыли кладбищенские ворота: толпа хлынула на Невский.

«Всё закончилось, — пишет И.П. Павлов, — немножко на русский манер насильным, нежелательным для хозяев разрыванием венков»[*].

Всё закончилось немножко на русский манер:

...триумфальные венки, осенявшие его в его последний год, обратились в венки погребальные и были разодраны жадной в своём бескорыстии толпой;

вечером того же дня некто справлял новоселье; вернувшиеся с похорон заспорили о покойном и «добеседовались» до полвосьмого утра («Пример даже в наших летописях небывалый»[**], — замечает один из присутствовавших);

через неделю заключённый в Петропавловскую крепость (где тридцатью годами ранее обретался его бывший сосед) потомственный почётный гражданин города Ставрополя господин Алафузов

[*] Москва. 1959. № 10. С. 176.

[**] Литературное наследство. Т. 86. С. 342–343.

будет предъявлен доставленной из Путивля Елизавете Ивановне Баранниковой и после минутного колебания признает в ней свою родную мать*;

через месяц русский император целым и невредимым выйдет из кареты, подорванной бомбой 19-летнего Рысакова, и вступит в непродолжительную беседу с покушавшимся, после чего второй метательный снаряд, брошенный Гриневицким, прекратит его царствование;

ещё через месяц Кавказское медицинское общество учредит стипендию имени Достоевского за сочинение на тему: «Этиология умопомешательства в общественных и нравственных условиях русской жизни по сочинениям Ф.М. Достоевского»**.

Он умер в годину великих потрясений и великих надежд. Россия стояла «на какой-то окончательной точке»: чаша весов колебалась.

Будущее было открытым.

Он умер — и вопросы, которые в зависимости от нужд вопрошавших именовались то вечными, то мировыми, то проклятыми, получили ещё одно обозначение: они стали называться вопросами Достоевского.

---

* ГА РФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 475. Напомним, что Баранников не видел мать с августа 1875 г. «Вдова капитана» Е.И. Баранникова, очевидно, была неграмотна (или плохо знала русский язык), т.к. протоколы допросов подписывала за неё дочь. После очной ставки с матерью Баранников впервые подписался своим настоящим именем.

** См.: Новое время. 1881. 1 мая.

Содержание

От автора. 5

Из книги:
РОДИТЬСЯ В РОССИИ

От автора. 9

Из главы 2. БОЛЬНИЦА ДЛЯ БЕДНЫХ 11
Отцы и дети 11
Развенчанная тень 21

Из главы 3. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК 25
Портрет второгодника 25
На что способен народ 29
Дом с привидениями 31
«Какой дурак это чертил?» 36

Из главы 4. БЕЛАЯ НОЧЬ. 41
«Это выше сна!» 41
Любимец публики 48
«И чуть-чуть скоропостижно...» 57
Страсти вокруг каймы 78
К истории болезни 88
Русский мат с идеологической подоплёкой 91
Конец прекрасной эпохи 102

Из книги:
ПРОПАВШИЙ ЗАГОВОР

Несколько вступительных слов. 111

Из главы 1 (Часть I). ДОМИК В КОЛОМНЕ. 113
Уличное знакомство 113
Сын живописца 119
До и после полуночи 120

Из главы 4. «ЖАР ГИБЕЛИ СВИРЕПЫЙ...» 126
Раскол в нигилистах 126
Под музыку Россини 129
Грустная повесть из жизни Филиппова 133
Цена графоманства. 135

Ночной визит к Аполлону Майкову 138
«Что бы я сказал?» (К протоколу ночного допроса) 142
«Целый заговор пропал» 145
«А вот и я!» (К явлению беса) 149
Стуки в Алексеевском равелине 151
О пользе семейных связей 154
Из главы 5. ЗЛОУМЫШЛЕННИК В ЖИЗНИ ЧАСТНОЙ 158
«Когда из мрака заблужденья...» 158
Суета вокруг борделя 165
Катков и Набоков против Сонечки Мармеладовой 172
«В чем заключались сношения...» 175
Из главы 7. АРЕСТОВАНИЕ НА РАССВЕТЕ 179
По высочайшему повелению 179
24 апреля 1849: доклад министру 182
Плачущий генерал 185
Конспирация по-русски: с точки зрения знатока 187
Из главы 8 (Часть II). ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 191
Из главы 10. ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРНОЙ ПРОЗЫ 197
«Требовать явки обвинителя...» 197
Сотворение имиджа, или Работа над текстом 201
Из главы 11. «ГДЕ НЕ ЛЮБЯТ ГУТЕНБЕРГА...» 205
Злоключения актёра Бурдина 205
Человек без особых примет 209
Тайный визит (Ещё одно потрясение Дубельта) 213
Об искусстве сокрытия улик 217
«Родные люди вот какие...» 223
Из главы 12. СОУЗНИКИ ЦАРЕЙ 225
Частная жизнь Алексеевского равелина 225
А был ли заговор? (К проблеме инакомыслия) 228
Из главы 13. ЦАРЬ-ЛИЦЕДЕЙ 231
К проблеме семейного сходства 231
Невольник чести 236
Инженеры человеческих душ 242
Красивейший мужчина Европы 247
Ревнивец маркиз, или Невинность по исторической части 253
«Император пленил меня» 259
«Явилась условная честь» 263
Из главы 16 (Часть III). «ДЕЛАЕТ УЖАСНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ...» . . . 268
Смертный приговор (Попытка юридической экспертизы) 268
Из главы 19. РОССИЯ И ЕВРОПА 272
Титулярный советник как бунтовщик 272
Последнее причастие 274

«Под вами вдруг раздвигается пол...» (Секреты III Отделения) . . . 278
«Но с царём опасно вздорить...» 282
«Мы будем вместе с Христом!» 286

Из книги:
НИЧЕЙ СОВРЕМЕННИК

Из главы 5 (Часть I). «ВСЕ ЕГО ЛЮБЯТ...» 291
«Дневник писателя» и его корреспонденты 291
«Как бы в самом деле...» 291
«Ваша мысль гениальна...» 294
От чего «отрезвлял» «Дневник писателя»? 299
Консерватор или радикал? 302
Без «последнего» слова 306

Из главы 7. ЧТО ЖЕ ЕСТЬ ИСТИНА? 312

Восточный вопрос в «Дневнике писателя» 312
«Выход в полноту истории...» 312
Чёрные трупы на крестах 314
Можно ли убивать турку? 318
«Россия поступит честно...» 324

Глава 10. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ГЕРОЯ. 328

Из раздела: Революция и власть 328
Московское полицейское досье 1864–1867 гг. 328

Глава 4 (**Часть II**). «СТИХИ НЕ ТВОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 345
Достоевский как стихотворец 345

Глава 1 (**Часть III**). «БРАТ, СТОЛЬКО ЛЕТ
СОПУТСТВОВАВШИЙ МНЕ...» 352
Михаил Михайлович 352
Судьба Мих-Миха. 352
Вдова с немецким акцентом 361
Неудобства гражданского брака 363
Ф.М.-младший и его потомство 368

Из главы 2. «ШЁЛ ПЛЕМЯННИК МОЙ КАРЕПИН...» 375

Варвара Михайловна 375
«А в губки не смею...» Николай Михайлович 382

Из главы 3. ПОСЛЕДЫШ 387
Александра Михайловна 387

Из главы 4. “ЕНЕU!” 391
Марья Дмитриевна: к истории первого брака 391
Ужасная женщина 391
Письма к одинокой девственнице 394
«...Лучше бы никогда не любить» 399
Счастливчик Вергунов 404

«Решенье моё неизменимо...» 407
Признание в неверности 411
Надо ли ставить памятник бывшим женам? 416
«Маша лежит на столе» 420
Из главы 5. НЕРАВНЫЙ БРАК 424
Анна Григорьевна: жена в России больше, чем жена 424
«Этой отваги и верности...» 424
Знакомство в день казни 427
Брачные игры 431
Сюрпризы медового месяца 439
«Враги человеку — домашние его» 445
Стенография как тайнопись души 449
Долгие прощания 455
Попытка ревности 458
«Мы довольно сильно побранились...» 463
Без цинических выражений 468
Из главы 6. БОЛЬШАЯ ИГРА 477
«...Не называй меня подлецом!» 477
Эпилептик или лицедей? 481
«...Пусть только он успокоится» 483
Суета вокруг рулетки 489
В любви везёт неудачникам 492
10 июля 1867 г.: свидание в Бадене 495
Секрет выигрыша прост 503
В ожидании Годо 509
«Голова моя обратилась в мельницу» 513

Из книги:
СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНЬЯ

Лев Толстой как русский скиталец

Глава 1 (Часть I). ЗЕМНАЯ СЛАВА 517
«Е.Б.Ж.»: условное наклонение 517
Urbi et orbi 521
Глава 2. ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ 526
«Шекспир его раздражает» 526
Карта звёздного неба 529
«О Достоевском он говорил неохотно...» 534
«Не мог дочитать...» 539
Предсмертные сны 547
Из главы 4. РАЗРЫВАНИЕ НА ЧАСТИ 553
«Я ни за что не вышла бы за него замуж...» 553
«Бывают странные сближенья...» 558
«Девки мои хороши» 561

Попытка ревности 567
Обитель дальная 571
Астапово 578

Из книги:
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДОСТОЕВСКОГО

Несколько вступительных слов 581
От автора 581
Из главы I. «КОЛЕБЛЯСЬ НАД БЕЗДНОЙ...» 584
Зима 1880 года 584
Род оружия 585
Из главы III. ВЕРА ЗАСУЛИЧ И СТАРЕЦ ЗОСИМА 589
Выстрел в градоначальника 589
«Иди, ты свободна...» 593
Ложь в постановке вопроса 594
Ещё один «гордый человек» 595
Нравственность во множественном числе 598
Колебания перед пролитием крови 600
Лучшая лекция Владимира Соловьёва 602
Из главы IV. ПОРТРЕТ С НАТУРЫ 606
Зима 1880 года. Продолжение 606
О наружности и внешности 613
Обидчивый обидчик 617
Из главы VIII. СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ 622
Христос у магазина Дациаро 622
Знакомство в день казни 626
«...Ввиду отрубленной головы!» 632
К вопросу о бессмертии души 634
Из главы X. ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ 637
Ещё одно обвинение против Страхова 637
Женщины в его жизни 639
Наследницы Татьяны Лариной 642
Молчание как жанр 643
Из главы XII. ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ 650
Исторический феномен 650
«Устраняемое лицо» 652
III Отделение и «Генеральные штаты» 656
Суета сует 659
Потомки Пушкина и другие 666
Две фигуры в белом 668
Incident Katkoff 672
Из главы XIV. ЗАВЕЩАНИЕ 675
Главный день 675

Кого призывают смириться? . . . 677
Раскольников как «гордый человек» . . . 680
Немного этимологии . . . 681
«Недоделанные люди» и мировая гармония . . . 682
Снова о нравственности во множественном числе . . . 685
К вопросу о жанре . . . 687
«Идеалистический радикал» (ещё к вопросу о жанре) . . . 689
«Русский Мефистофель» . . . 692
Опасные игры . . . 693

Из главы XV. РАЗВЯЗКА С ТУРГЕНЕВЫМ . . . 699
Вечные соперники . . . 699
«Он со злобою удалился...» . . . 703
Апофеоз при электрическом свете . . . 707
«Речь была встречена холодно...» . . . 711
Меню как исторический источник . . . 713
Заблуждение Луи Лежара . . . 715
Королевский жест и другие движения . . . 719
Ночной венок . . . 728
Таинственные старики: быль или притча? . . . 730
Последняя встреча, или Русский человек на rendez-vous . . . 734

Глава XVII. СЕМЬЯ И ДЕТИ . . . 737
Поздний отец . . . 737
Сон с субботы на воскресенье . . . 740
«Ребёнку можно говорить всё...» . . . 744
Огорчения Софьи Андреевны . . . 748
В гостиной и в детской . . . 750
Холостяк или отец семейства? . . . 753

Из главы XVIII. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ . . . 757
Севастопольский зоил и другие доброжелатели . . . 757
Вопрос о смерти с разных точек зрения . . . 761
Несогласия в зрительном зале . . . 764
«...На перепутье мне явился» . . . 767
Прощание с Гоголем . . . 769
Место в ряду великих . . . 771
Овации под занавес . . . 772
Литература в высшем свете . . . 775
Русский парадокс . . . 776
«Дешевле не примиримся» . . . 778

Глава XX. СМЕРТЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ . . . 781
Воскресенье, 25 января . . . 781
«Закон крови» в действии . . . 786
«Не удерживай...» . . . 791
Конец . . . 802

Лучшая повесть Болеслава Маркевича 804
Судьба Александра Баранникова. 806
Документы из полицейского досье 813
Протокол № 83: дела соседские 820
Рассказ о вселении господина Алафузова в новую квартиру. 829
«Драгоценный агент» 833
Гость в западне 837
К вопросу о конспирации 841
Ночной визит к жене подпоручика 844
Из главы XXI. ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА 847
«Маленький человек»: загробная драма 847
Камо грядеши? (Попытка исторической ретроспекции) 850
Прощание на русский манер 857

Научное издание

Круговая порука.
Жизнь и смерть Достоевского
(из пяти книг)

Редакторы: Крайко Ю.В, Гура А.И.
Корректор: Иванченко С.Ю.
Компьютерная верстка: Крылов К.А.

Подписано в печать 22.08.2023. Формат 60×90/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 54,5. Тираж 1000 экз.
Заказ №

ООО «Издательство Культура»,
адрес: 111399, г. Москва, Мартеновская ул., д. 3

Отпечатано в ООО «ТИПОГРАФИЯ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
430030, Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 2а.
E-mail: tko-saransk@mail.ru

Издательская группа
«Альма Матер»
представляет
в серии «Методы культуры: филология»

Пушкинская речь Ф.М. Достоевского как историческое событие

Сост. В.А. Викторович

Пушкинская речь Ф.М. Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 г. в московском Благородном собрании на заседании Общества любителей российской словесности, до глубины души потрясла многочисленных слушателей. Очень скоро исходный текст Речи оброс разноречивыми интерпретациями и стал средоточием острой идейной борьбы, в которой столкнулись противостоящие друг другу модели исторического развития России. Для одних заявленная Достоевским русская «всечеловечность» была утопией, а для других — пророчеством. Речь стала единственным подобного рода событием русской истории. Ее «тайну», то есть смысл и значение, без малого полтора века «разгадывают» критики, писатели, философы, исследователи. А тема Речи все так же актуальна и для сегодняшней России, и споры о судьбе страны звучат совсем не как голоса далекого прошлого.

В издании впервые с исчерпывающей полнотой собраны реакции современников на Речь. Это эгодокументы (письма, дневники, мемуары), оставленные свидетелями исторического события, а также отклики в газетах и журналах, быстро перешедшие в горячую полемику.